This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

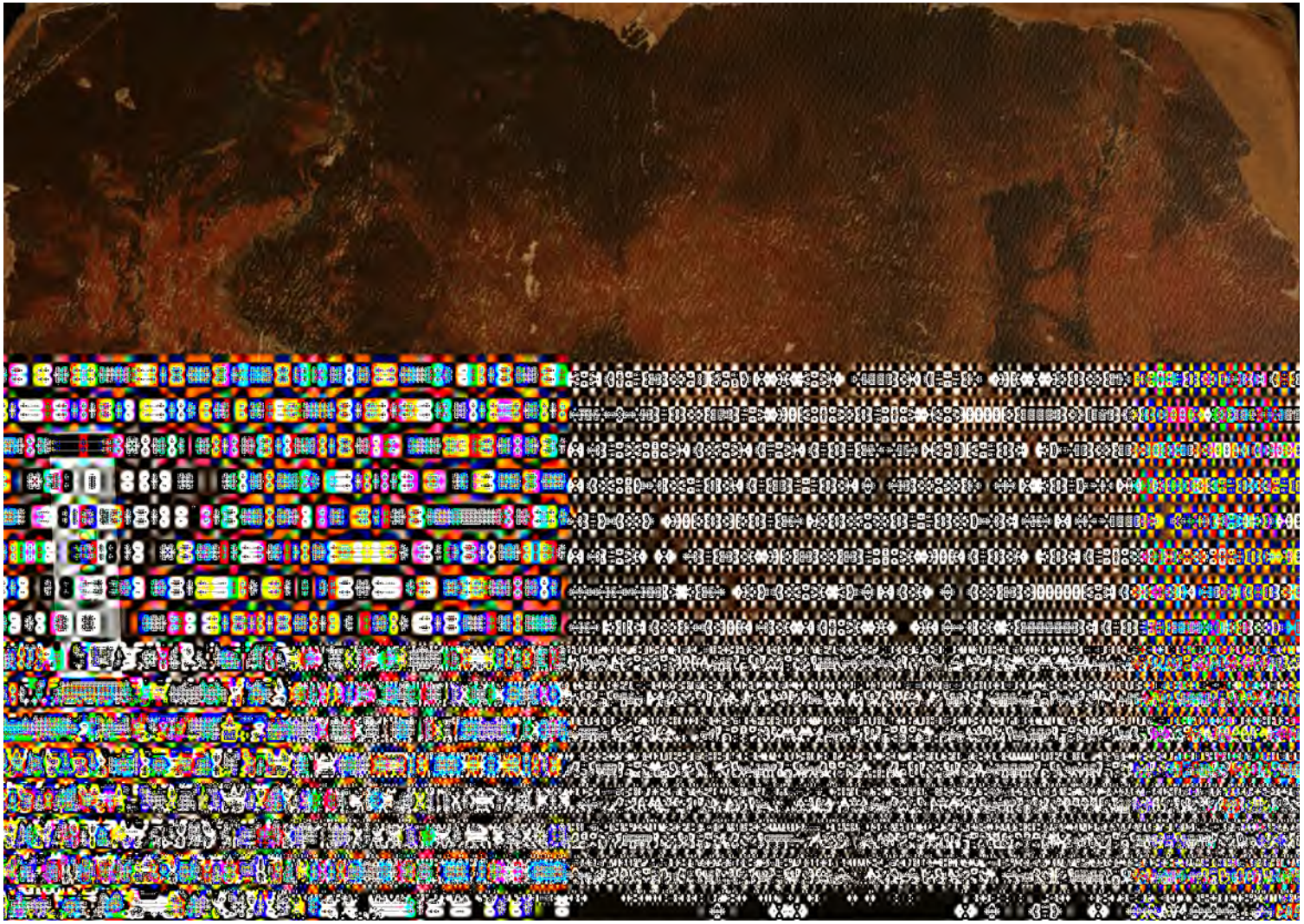
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



891.7
C51
A

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

Vol. 9

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Страхъ.—Разсказъ неизвѣстнаго человѣка.—Хорошіе люди.—Бабье царство—Попрыгунья.—Черный монахъ.—Скрипка Ротшильда.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СТРАХЪ.

(Разсказъ моего пріятеля).

Дмитрій Петровичъ Силинъ кончилъ курсъ въ университетѣ и служилъ въ Петербургѣ, но въ 30 лѣтъ бросилъ службу и занялся сельскимъ хозяйствомъ. Хозяйство шло у него не дурно, но все-таки мнѣ казалось, что онъ не на своемъ мѣстѣ и что хорошо бы онъ сдѣлалъ, если бы опять уѣхалъ въ Петербургъ. Когда онъ, загорѣлый, сѣрый отъ пыли, замученный работой, встрѣчалъ меня около воротъ или у подъѣзда и потомъ за ужиномъ боролся съ дремотой, и жена уводила его спать, какъ ребенка, или когда онъ, осиливъ дремоту, начиналъ своимъ мягкимъ, душевнымъ, точно умоляющимъ голосомъ излагать свои хорошія мысли, то я видѣлъ въ немъ не хозяина и не агронома, а только замученнаго человѣка, и мнѣ ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтобъ день прошелъ — и слава Богу.

Я любилъ бывать у него и, случалось, гостилъ въ его усадьбѣ дня по два, по три. Я любилъ и его домъ, и паркъ, и большой фруктовый садъ, и рѣчку, и его философію, немножко вялую и витіеватую, но ясную. Должно-быть, я любилъ и его самого, хотя не могу сказать этого навѣрное, такъ какъ до сихъ поръ еще не могу разобраться въ своихъ тогдашнихъ чувствахъ. Это былъ умный, добрый, нескучный и искренній человѣкъ, но помню очень хорошо, что когда онъ повѣрялъ мнѣ свои сокровенныя тайны и называлъ наши отношенія дружбою, то это непріятно волновало меня, и я чувствовалъ неловкость. Въ его дружбѣ

185959

ко мнѣ было что-то неудобное, тягостное, и я охотно предпочелъ бы ей обыкновенныя пріятельскія отношенія.

Дѣло въ томъ, что мнѣ чрезвычайно нравилась его жена, Марія Сергѣевна. Я влюбленъ въ нее не былъ, но мнѣ нравились ея лицо, глаза, голосъ, походка, я скучалъ по ней, когда долго не видалъ ея, и мое воображеніе въ то время никого не рисовало такъ охотно, какъ эту молодую, красивую и изящную женщину. Относительно ея я не имѣлъ никакихъ опредѣленныхъ намѣреній и ни о чемъ не мечталъ, но почему-то всякій разъ, когда мы оставались вдвоемъ, я вспоминалъ, что ея мужъ считалъ меня своимъ другомъ, и мнѣ становилось неловко. Когда она играла на роялѣ мои любимыя пьесы, или разсказывала мнѣ что-нибудь интересное, я съ удовольствіемъ слушалъ и въ то же время почему-то въ мою голову лѣзли мысли о томъ, что она любитъ своего мужа, что онъ мой другъ и что она сама считаетъ меня его другомъ, настроеніе мое портилось, и я становился вялъ, неловокъ и скученъ. Она замѣчала эту перемѣну и обыкновенно говорила:

— Вамъ скучно безъ вашего друга. Надо послать за нимъ въ поле.

И когда приходилъ Дмитрій Петровичъ, она говорила:

— Ну, вотъ теперь пришелъ вашъ другъ. Радуйтесь.

Такъ продолжалось года полтора.

Какъ-то разъ въ одно изъ іюльскихъ воскресеній я и Дмитрій Петровичъ, отъ нечего дѣлать, поѣхали въ большое село Клушино, чтобы купить тамъ къ ужину закусокъ. Пока мы ходили по лавкамъ, зашло солнце и наступилъ вечеръ, тотъ вечеръ, котораго я, вѣроятно, не забуду никогда въ жизни. Купивши сыру, похожаго на мыло, и окаменѣлой колбасы, отъ которой пахло дегтемъ, мы отправились въ трактиръ спросить, нѣтъ ли пива. Нашъ кучеръ уѣхалъ въ кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будемъ ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смѣялись надъ своими покупками, а за нами молча и съ таинственнымъ видомъ, точно сыщикъ, слѣдовалъ человѣкъ, имѣвшій у насъ въ уѣздѣ довольно странное прозвище: Сорокъ Мучениковъ. Этотъ Сорокъ Мучениковъ былъ не кто иной, какъ Гаврила Сѣверовъ, или попросту, Гаврюшка, служившій у меня недолго лакеемъ и уволенный мною за пьянство. Онъ служилъ и у Дмитрія

Петровича и имъ тоже былъ уволенъ все за тотъ же грѣхъ. Это былъ лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и такою же безпутною, какъ онъ самъ. Отецъ у него былъ священникъ, а мать дворянка, значитъ, по рожденію принадлежалъ онъ къ сословію привилегированному, но какъ я ни всматривался въ его испитое, почтительное, всегда потное лицо, въ его рыжую уже сѣдѣющую бороду, въ жалкенькій рваный пиджакъ и красную рубаху навыпускъ, я никакъ не могъ найти даже слѣда того, что у насъ въ общежитіи зовется привилегіями. Онъ называлъ себя образованнымъ и разсказывалъ, что учился въ духовномъ училищѣ, гдѣ курса не кончилъ, такъ какъ его уволили за куреніе табаку; затѣмъ пѣлъ въ архіерейскомъ хорѣ и года два жилъ въ монастырѣ, откуда его тоже уволили, но ужъ не за куреніе, а за «слабость». Онъ исходилъ пѣшкомъ двѣ губерніи, подавалъ зачѣмъ-то прошенія въ консисторіи и въ разныя присутственныя мѣста, четыре раза былъ подъ судомъ. Наконецъ, застрявши у насъ въ уѣздѣ, онъ служилъ въ лакеяхъ, лѣсникахъ, псаряхъ, церковныхъ сторожахъ, женился на гулящей вдовѣ-кухаркѣ и окончательно погрязъ въ холуйскую жизнь и такъ сжился съ ея грязью и дрязгами, что уже самъ говорилъ о своемъ привилегированномъ происхожденіи съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, какъ о какомъ-то миѳѣ. Въ описываемое время онъ шатался безъ мѣста, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала гдѣ-то безъ вѣсти.

Изъ трактира мы пошли къ церкви и сѣли на паперти въ ожиданіи кучера. Сорокъ Мучениковъ сталъ поодаль и поднесъ руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть въ нее, когда понадобится. Было уже темно; сильно пахло вечерней сыростью и собиралась восходить луна. На чистомъ, звѣздномъ небѣ было только два облака и какъ разъ надъ нами: одно большое, другое поменьше; они одинокія, точно мать съ дитятею, бѣжали другъ за дружкой въ ту сторону, гдѣ догорала вечерняя заря.

— Славный сегодня день, — сказалъ Дмитрій Петровичъ.

— До чрезвычайности...—согласился Сорокъ Мучениковъ и почтительно кашлянулъ въ руку.—Какъ это вы, Дмитрій Петровичъ, изволили надумать сюда пріѣхать? — спросилъ

онъ вкрадчивымъ голосомъ, видимо, желая завязать разговоръ.

Дмитрій Петровичъ ничего не отвѣтилъ. Сорокъ Мучениковъ глубоко вздохнулъ и проговорилъ тихо, не глядя на насъ:

— Страдаю единственно черезъ причину, за которую долженъ дать отвѣтъ Всемогущему Богу. Оно, конечно, человѣкъ я потерянный и неспособный, но вѣрьте совѣсти: безъ куска хлѣба и хуже собаки... Простите, Дмитрій Петровичъ!

Силинъ не слушалъ и, подперевъ голову кулаками, о чемъ-то думалъ. Церковь стояла на краю улицы, на высокомъ берегу, и намъ сквозь рѣшетку ограды были видны рѣка, заливные луга по ту сторону и яркій, багровый огонь отъ костра, около котораго двигались черные люди и лошади. А дальше за костромъ еще огоньки: это деревушка... Тамъ пѣли пѣсню.

На рѣкѣ и кое-гдѣ на лугу поднимался туманъ. Высокіе, узкіе клочья тумана, густые и бѣлые, какъ молоко, бродили надъ рѣкой, заслоняя отраженія звѣздъ и цѣпляясь за ивы. Они каждую минуту мѣняли свой видъ и казалось, что одни обнимались, другіе кланялись, третьи поднимали къ небу свои руки съ широкими поповскими рукавами, какъ будто молились... Вѣроятно, они навели Дмитрія Петровича на мысль о привидѣніяхъ и покойникахъ, потому что онъ обернулся ко мнѣ лицомъ и спросилъ, грустно улыбаясь:

— Скажите мнѣ, дорогой мой, почему это, когда мы хотимъ разсказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаемъ матеріалъ не изъ жизни, а непремѣнно изъ міра привидѣній и загробныхъ тѣней?

— Страшно то, что непонятно.

— А развѣ жизнь вамъ понятна? Скажите: развѣ жизнь вы понимаете больше, чѣмъ загробный міръ?

Дмитрій Петровичъ подсѣлъ ко мнѣ совсѣмъ близко, такъ что я чувствовалъ на своей щекѣ его дыханіе. Въ вечернихъ сумеркахъ его блѣдное, худощавое лицо казалось еще блѣднѣе, а темная борода—чернѣе сажи. Глаза у него были грустные, искренніе и немножко испуганные, какъ будто онъ собирался разсказать мнѣ что-нибудь страшное. Онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза и продолжалъ своимъ, по обыкновенію, умоляющимъ голосомъ:

— Наша жизнь и загробный міръ одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидѣній, тотъ долженъ бояться и меня, и этихъ огней, и неба, такъ какъ все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менѣе, чѣмъ выходцы съ того свѣта. Принцъ Гамлетъ не убивалъ себя потому, что боялся тѣхъ видѣній, которыя, быть-можетъ, посѣтили бы его смертный сонъ; этотъ его знаменитый монологъ мнѣ нравится, но, откровенно говоря, онъ никогда не трогалъ меня за душу. Признаюсь вамъ, какъ другу, я иногда въ тоскливыя минуты рисовалъ себѣ свой смертный часъ, моя фантазія изобрѣтала тысячи самыхъ мрачныхъ видѣній, и мнѣ удавалось доводить себя до мучительной экзальтаціи, до кошмара, и это, увѣряю васъ, мнѣ не казалось страшнѣе дѣйствительности. Что и говорить, страшны видѣнія, но страшна и жизнь. Я, голубчикъ, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть-можетъ, я больной, свихнувшійся человѣкъ. Нормальному, здоровому человѣку кажется, что онъ понимаетъ все, что видитъ и слышитъ, а я вотъ утерялъ это «кажется» и изо-дня въ день отравляю себя страхомъ. Есть болѣзнь—боязнь пространства, такъ вотъ и я боленъ боязнью жизни. Когда я лежу на травѣ и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимаетъ, то мнѣ кажется, что ея жизнь состоитъ изъ сплошного ужаса, и въ ней я вижу самого себя.

— Что же собственно вамъ страшно?—спросилъ я.

— Мнѣ все страшно. Я человѣкъ отъ природы не глубокій и мало интересуюсь такими вопросами, какъ загробный міръ, судьбы человѣчества, и вообще рѣдко уношусь въ высь поднебесную. Мнѣ страшна главнымъ образомъ обыденщина, отъ которой никто изъ насъ не можетъ спрятаться. Я неспособенъ различать, что̀ въ моихъ поступкахъ правда и что̀ ложь, и они тревожатъ меня; я сознаю, что условія жизни и воспитаніе заключили меня въ тѣсный кругъ лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, какъ ежедневная забота о томъ, чтобы обманывать себя и людей и не замѣчать этого, и мнѣ страшно отъ мысли, что я до самой смерти не выберусь изъ этой лжи. Сегодня я дѣлаю что-нибудь, а завтра ужъ не понимаю, зачѣмъ я это сдѣлалъ. Поступилъ я въ Петербургѣ на службу и испугался, пріѣхалъ сюда, чтобъ заняться сельскимъ хозяйствомъ, и

тоже испугался... Я вижу, что мы мало знаемъ и поэтому каждый день ошибаемся, бываемъ несправедливы, клевещемъ, заѣдаемъ чужой вѣкъ, расходуемъ всѣ свои силы на вздоръ, который намъ не нуженъ и мѣшаетъ намъ жить, и это мнѣ страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно. Я, голубчикъ, не понимаю людей и боюсь ихъ. Мнѣ страшно смотрѣть на мужиковъ, я не знаю, для какихъ такихъ высшихъ цѣлей они страдаютъ и для чего они живутъ. Если жизнь есть наслажденіе, то они лишніе, ненужные люди; если же цѣль и смыслъ жизни— въ нуждѣ и непроходимомъ, безнадежномъ невѣжествѣ, то мнѣ непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиція. Никого и ничего я не понимаю. Извольте-ка вы понять вотъ этого субъекта! — сказалъ Дмитрій Петровичъ, указывая на Сорокъ Мучениковъ.—Вдумайтесь!

Замѣтивъ, что оба мы посмотрѣли на него, Сорокъ Мучениковъ почтительно кашлянулъ въ кулакъ и сказалъ:

— У хорошихъ господъ я завсегда былъ вѣрной слугой, но главная причина — спиртные напитки. Ежели бы мнѣ теперь уважили, несчастному человѣку, и дали мѣсто, то я бы образъ поцѣловалъ. Слово мое твердо!

Церковный сторожъ прошелъ мимо, съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на насъ и сталъ дергать за веревку. Колоколъ медленно и протяжно, рѣзко нарушая тишину вечера, пробилъ десять.

— Однако, уже десять часовъ!—сказалъ Дмитрій Петровичъ. — Пора бы ужъ намъ ѣхать. Да, голубчикъ мой, — вздохнулъ онъ:—если бы вы знали, какъ я боюсь своихъ сбыденныхъ, житейскихъ мыслей, въ которыхъ, кажется, не должно быть ничего страшнаго. Чтобъ не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтобъ крѣпко спать ночью. Дѣти, жена—у другихъ это обыкновенно, но у меня какъ это тяжело, голубчикъ!

Онъ помялъ руками лицо, крякнулъ и засмѣялся.

— Если бъ я могъ разсказать вамъ, какого я дурака разыгралъ въ жизни! — сказалъ онъ. — Мнѣ всѣ говорятъ: у васъ милая жена, прелестныя дѣти и сами вы прекрасный семьянинъ. Думаютъ, что я очень счастливъ, и завидуютъ мнѣ. Ну, коли на то пошло, то скажу вамъ по секрету: моя счастливая семейная жизнь—одно только печальное недоразумѣніе, и я боюсь ея.

Его блѣдное лицо стало некрасивымъ отъ напряженной улыбки. Онъ обнялъ меня за талію и продолжалъ вполголоса:

— Вы мой искренній другъ, я вамъ вѣрю и глубоко уважаю васъ. Дружбу посылаетъ намъ небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться отъ тайнъ, которыя угнетаютъ насъ. Позвольте же мнѣ воспользоваться вашимъ дружескимъ расположеніемъ ко мнѣ и высказать вамъ всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вамъ такою восхитительной, — мое главное несчастье и мой главный страхъ. Я женился странно и глупо. Надо вамъ сказать, что до свадьбы я любилъ Машу безумно и ухаживалъ за нею два года. Я дѣлалъ ей предложеніе пять разъ, и она отказывала мнѣ, потому что была ко мнѣ совершенно равнодушна. Въ шестой разъ, когда я, угорѣвши отъ любви, ползалъ передъ ней на колѣняхъ и просилъ руки, какъ милостыни, она согласилась... Такъ она сказала мнѣ: — «Я васъ не люблю, но буду вамъ вѣрна»... Такое условіе я принялъ съ восторгомъ. Я тогда понималъ, что̀ это значитъ, но теперь, клянусь Богомъ, не понимаю. — «Я васъ не люблю, но буду вамъ вѣрна», — что̀ это значитъ? Это туманъ, потемки... Я люблю ее теперь такъ же сильно, какъ въ первый день свадьбы, а она, мнѣ кажется, попрежнему равнодушна и, должно-быть, бываетъ рада, когда я уѣзжаю изъ дому. Я не знаю навѣрное, любитъ она меня, или нѣтъ, не знаю, не знаю, но вѣдь мы живемъ подъ одной крышей, говоримъ другъ другу ты, спимъ вмѣстѣ, имѣемъ дѣтей, собственность у насъ общая... Что же это значитъ? Къ чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчикъ? Жестокая пытка! Оттого, что въ нашихъ отношеніяхъ я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоихъ вмѣстѣ, все у меня въ головѣ перепуталось, я мучаю себя и тупѣю, а какъ на зло она съ каждымъ днемъ все хорошѣетъ, она становится удивительной... По-моему, волосы у нея замѣчательные, а улыбается она, какъ ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь къ женщинѣ, отъ которой имѣешь уже двухъ дѣтей! Развѣ это понятно и не страшно? Развѣ это не страшнѣе привидѣній?

Онъ находился въ такомъ настроеніи, что говорилъ бы еще очень долго, но къ счастью послышался голосъ ку-

чера. Пришли наши лошади. Мы сѣли въ коляску, и Сорокъ Мучениковъ, снявъ шапку, подсадилъ насъ обоихъ и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто давно уже ждалъ случая, чтобы прикоснуться къ нашимъ драгоцѣннымъ тѣламъ.

— Дмитрій Петровичъ, позвольте къ вамъ придти,—проговорилъ онъ, сильно моргая глазами и склонивъ голову на бокъ.—Явите Божескую милость! Пропадаю съ голоду!

— Ну, ладно,—сказалъ Силинъ.—Приходи, поживешь три дня, а тамъ увидимъ.

— Слушаю-съ! — обрадовался Сорокъ Мучениковъ.—Я сегодня же приду-съ.

До дому было шесть верстъ. Дмитрій Петровичъ, довольный тѣмъ, что, наконецъ, высказался передъ другомъ, всю дорогу держалъ меня за талію, и ужъ не съ горечью и не съ испугомъ, а весело говорилъ мнѣ, что если бы у него въ семьѣ было благополучно, то онъ вернулся бы въ Петербургъ и занялся тамъ наукой. То вѣяніе, говорилъ онъ, которое погнало въ деревню столько даровитыхъ молодыхъ людей, было печальное вѣяніе. Ржи и пшеницы у насъ въ Россіи много, но совсѣмъ нѣтъ культурныхъ людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой; поступать иначе—значитъ, быть неразсчетливымъ. Онъ философствовалъ съ удовольствіемъ и выражалъ сожалѣніе, что завтра рано утромъ разстанется со мной, такъ какъ ему нужно ѣхать на лѣсные торги.

А мнѣ было неловко и грустно, и казалось мнѣ, что я обманываю человѣка. И въ то же время мнѣ было пріятно. Я смотрѣлъ на громадную, багровую луну, которая восходила, и воображалъ себѣ высокую, стройную блондинку, блѣднолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускусъ, и мнѣ почему-то весело было думать, что она не любитъ своего мужа.

Пріѣхавъ домой, мы сѣли ужинать. Марія Сергѣевна, смѣясь, угощала насъ нашими покупками, а я находилъ, что у нея въ самомъ дѣлѣ замѣчательные волосы и что улыбается она, какъ ни одна женщина. Я слѣдилъ за ней, и мнѣ хотѣлось въ каждомъ ея движеніи и взглядѣ видѣть то, что она не любитъ своего мужа, и мнѣ казалось, что я это вижу.

Дмитрій Петровичъ скоро сталъ бороться съ дремотой. Послѣ ужина онъ посидѣлъ съ нами минутъ десять и сказалъ:

— Какъ вамъ угодно, господа, а мнѣ завтра нужно вставать въ три часа. Позвольте оставить васъ.

Онъ нѣжно поцѣловалъ жену, крѣпко, съ благодарностью пожалъ мнѣ руку и взялъ съ меня слово, что я непремѣнно пріѣду на будущей недѣлѣ. Чтобы завтра не проспать, онъ пошелъ ночевать во флигель.

Марія Сергѣевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я былъ радъ этому.

— И такъ?—началъ я, когда мы остались одни.—Итакъ, вы будете добры, сыграете что-нибудь.

Мнѣ не хотѣлось музыки, но я не зналъ, какъ начать разговоръ. Она сѣла за рояль и сыграла, не помню что. Я сидѣлъ возлѣ, смотрѣлъ на ея бѣлыя, пухлыя руки и старался прочесть что-нибудь на ея холодномъ, равнодушномъ лицѣ. Но вотъ она чему-то улыбнулась и поглядѣла на меня.

— Вамъ скучно безъ вашего друга,—сказала она.

Я засмѣялся.

— Для дружбы достаточно было бы ѣздить сюда разъ въ мѣсяцъ, а я бываю тутъ чаще, чѣмъ каждую недѣлю.

Сказавши это, я всталъ и въ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ. Она тоже встала и отошла къ камину.

— Вы что хотите этимъ сказать?—спросила она, поднимая на меня свои большіе, ясные глаза.

Я ничего не отвѣтилъ.

— Вы сказали неправду,—продолжала она, подумавъ.— Вы бываете здѣсь только ради Дмитрія Петровича. Что жъ, я очень рада. Въ нашъ вѣкъ рѣдко кому приходится видѣть такую дружбу.

— Эге!—подумалъ я и, не зная, что̀ сказать, спросилъ:— Хотите пройтись по саду?

— Нѣтъ.

Я вышелъ на террасу. По головѣ у меня бѣгали мурашки и мнѣ было холодно отъ волненія. Я уже былъ увѣренъ, что разговоръ нашъ будетъ самый ничтожный и что ничего особеннаго мы не сумѣемъ сказать другъ другу, но что непремѣнно въ эту ночь должно случиться то, о чемъ я не смѣлъ даже мечтать. Непремѣнно въ эту ночь, или никогда.

— Какая хорошая погода!—сказалъ я громко.

— Для меня это рѣшительно все равно, — послышался отвѣтъ.

Я вошелъ въ гостиную. Марія Сергѣевна попрежнему стояла около камина, заложивъ назадъ руки, о чемъ-то дудумая, и смотрѣла въ сторону.

— Почему же это для васъ рѣшительно все равно? — спросилъ я.

— Потому что мнѣ скучно. Вамъ бываетъ скучно только безъ вашего друга, а мнѣ всегда скучно. Впрочемъ... это для васъ не интересно.

Я сѣлъ за рояль и взялъ нѣсколько аккордовъ, выжидая, что̀ она скажетъ.

— Вы, пожалуйста, не церемоньтесь,—сказала она сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать съ досады.—Если вамъ хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы другъ Дмитрія Петровича, то ужъ обязаны скучать съ его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.

Я не ушелъ, конечно. Она вышла на террасу, а я остался въ гостиной и минутъ пять перелистывалъ ноты. Потомъ и я вышелъ. Мы стояли рядомъ въ тѣни отъ занавѣсокъ, а подъ нами были ступени, залитыя луннымъ свѣтомъ. Черезъ цвѣточныя клумбы и по желтому песку аллей тянулись черныя тѣни деревьевъ.

— Мнѣ тоже нужно уѣзжать завтра,—сказалъ я.

— Конечно, если мужа нѣтъ дома, то вамъ нельзя оставаться здѣсь,—проговорила она насмѣшливо.—Воображаю, какъ бы вы были несчастны, если бы влюбились въ меня! Вотъ погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вамъ на шею... Посмотрю, съ какимъ ужасомъ вы побѣжите отъ меня. Это интересно.

Ея слова и блѣдное лицо были сердиты, но ея глаза были полны самой нѣжной страстной любви. Я уже смотрѣлъ на это прекрасное созданіе, какъ на свою собственность, и тутъ впервые я замѣтилъ, что у нея золотистыя брови, чудныя брови, какихъ я раньше никогда не видѣлъ. Мысль, что я сейчасъ могу привлечь ее къ себѣ, ласкать, касаться ея замѣчательныхъ волосъ, представилась мнѣ вдругъ такою чудовищной, что я засмѣялся и закрылъ глаза.

— Однако, уже пора... Спокойной, ночи,—проговорила она.

— Я не хочу спокойной ночи... — сказалъ я смѣясь и идя за ней въ гостиную.—Я прокляну эту ночь, если она будетъ спокойной.

Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видѣлъ по ея лицу, что она понимаетъ меня и рада, что я тоже понимаю ее.

Я пошелъ къ себѣ въ комнату. На столѣ у меня около книгъ лежала фуражка Дмитрія Петровича, и это напомнило мнѣ объ его дружбѣ. Я взялъ трость и вышелъ въ садъ. Тутъ ужъ подымался туманъ, и около деревьевъ и кустовъ, обнимая ихъ, бродили тѣ самыя высокія и узкія привидѣнія, которыхъ я видѣлъ давеча на рѣкѣ. Какъ жаль, что я не могъ съ ними говорить!

Въ необыкновенно прозрачномъ воздухѣ отчетливо выдѣлялись каждый листокъ, каждая росинка—все это улыбалось мнѣ въ тишинѣ, съ просонокъ; и, проходя мимо зеленыхъ скамей, я вспоминалъ слова изъ какой-то шекспировской пьесы: какъ сладко спитъ сіяніе луны здѣсь на скамьѣ!

Въ саду была горка. Я взошелъ на нее и сѣлъ. Меня томило очаровательное чувство. Я зналъ навѣрное, что сейчасъ буду обнимать, прижиматься къ ея роскошному тѣлу, цѣловать золотыя брови, и мнѣ хотѣлось не вѣрить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня такъ мало мучила и такъ скоро сдалась.

Но вотъ неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллеѣ показался мужчина средняго роста, и я тотчасъ же узналъ въ немъ Сорокъ Мучениковъ. Онъ сѣлъ на скамью и глубоко вздохнулъ, потомъ три раза перекрестился и легъ. Черезъ минуту онъ всталъ и легъ на другой бокъ. Комары и ночная сырость мѣшали ему уснуть.

— Ну, жизнь!—проговорилъ онъ.—Несчастная, горькая жизнь!

Глядя на его тощее, согнутое тѣло и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнилъ еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповѣдалась мнѣ, и мнѣ стало жутко и страшно своего блаженнаго состоянія. Я спустился съ горки и пошелъ къ дому.

«Жизнь, по его мнѣнію, страшна,—думалъ я:—такъ не церемонься же съ нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери все, что можно урвать отъ нея».

На террасѣ стояла Марія Сергѣевна. Я молча обнялъ ее и сталъ жадно цѣловать ея брови, виски, шею...

Въ моей комнатѣ она говорила мнѣ, что она любитъ меня уже давно, больше года. Она клялась мнѣ въ любви, плакала, просила, чтобы я увезъ ее къ себѣ. Я то и дѣло подводилъ ее къ окну, чтобы посмотрѣть на ея лицо при лунномъ свѣтѣ, и она казалась мнѣ прекраснымъ сномъ, и я торопился крѣпко обнять ее, чтобы повѣрить въ дѣйствительность. Давно ужъ я не переживалъ такихъ восторговъ... Но все-таки далеко, гдѣ-то въ глубинѣ души я чувствовалъ какую-то неловкость, и мнѣ было не по-себѣ. Въ ея любви ко мнѣ было что-то неудобное и тягостное, какъ въ дружбѣ Дмитрія Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотѣлъ, чтобы не было ничего серьезнаго — ни слезъ, ни клятвъ, ни разговоровъ о будущемъ. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула въ нашей жизни свѣтлымъ метеоромъ — и баста.

Ровно въ три часа она вышла отъ меня и, когда я, стоя въ дверяхъ, смотрѣлъ ей вслѣдъ, въ концѣ коридора вдругъ показался Дмитрій Петровичъ. Встрѣтясь съ нимъ, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ея фигурѣ было написано отвращеніе. Онъ какъ-то странно улыбнулся, кашлянулъ и вошелъ ко мнѣ въ комнату.

— Тутъ я забылъ вчера свою фуражку...—сказалъ онъ, не глядя на меня.

Онъ нашелъ и обѣими руками надѣлъ на голову фуражку, потомъ посмотрѣлъ на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорилъ не своимъ, а какимъ-то страннымъ, сиплымъ голосомъ:

Мнѣ, вѣроятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю васъ. У меня темно въ глазахъ.

И онъ вышелъ, покашливая. Потомъ я видѣлъ въ окно, какъ онъ самъ около конюшни запрягалъ лошадей. Руки у него дрожали, онъ торопился и оглядывался на домъ; вѣроятно, ему было страшно. Затѣмъ онъ сѣлъ въ тарантасъ и со страннымъ выраженіемъ, точно боясь погони, ударилъ по лошадямъ.

Немного погодя, уѣхалъ и я самъ. Уже восходило солнце и вчерашній туманъ робко жался къ кустамъ и пригор-

камъ. На козлахъ сидѣлъ Сорокъ Мучениковъ, уже успѣвшій гдѣ-то выпить, и мололъ пьяный вздоръ.

— Я человѣкъ вольный!—кричалъ онъ на лошадей.—Эй, вы, малиновыя! Я потомственный почетный гражданинъ, ежели желаете знать!

Страхъ Дмитрія Петровича, который не выходилъ у меня изъ головы, сообщился и мнѣ. Я думалъ о томъ, что случилось, и ничего не понималъ. Я смотрѣлъ на грачей, и мнѣ было странно и страшно, что они летаютъ.

— Зачѣмъ я это сдѣлалъ?—спрашивалъ я себя въ недоумѣніи и съ отчаяніемъ.—Почему это вышло именно такъ, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтобъ она любила меня серьезно и чтобъ онъ явился въ комнату за фуражкой? Причемъ тутъ фуражка?

Въ тотъ же день я уѣхалъ въ Петербургъ, и съ Дмитріемъ Петровичемъ и его женой ужъ больше ни разу не видѣлся. Говорятъ, что они продолжаютъ жить вмѣстѣ.

РАЗСКАЗЪ НЕИЗВѢСТНАГО ЧЕЛОВѢКА.

I.

По причинамъ, о которыхъ не время теперь говорить подробно, я долженъ былъ поступить въ лакеи къ одному петербургскому чиновнику, по фамиліи Орлову. Было ему около тридцати пяти лѣтъ и звали его Георгіемъ Иванычемъ.

Къ этому Орлову поступилъ я ради его отца, извѣстнаго государственнаго человѣка, котораго считалъ я серьезнымъ врагомъ своего дѣла. Я разсчитывалъ, что, живя у сына, по разговорамъ, которые услышу, и по бумагамъ и запискамъ, какія буду находить на столѣ, я въ подробности изучу планы и намѣренія отца.

Обыкновенно часовъ въ одиннадцать утра въ моей лакейской трещалъ электрическій звонокъ, давая мнѣ знать, что проснулся баринъ. Когда я съ вычищеннымъ платьемъ и сапогами приходилъ въ спальню, Георгій Иванычъ сидѣлъ неподвижно въ постели, не заспанный, а скорѣе утомленный сномъ, и глядѣлъ въ одну точку, не выказывая по поводу своего пробужденія никакого удовольствія. Я помогалъ ему одѣваться, а онъ неохотно подчинялся мнѣ, молча и не замѣчая моего присутствія; потомъ съ мокрою отъ умыванья головой и пахнущій свѣжими духами, онъ шелъ въ столовую пить кофе. Онъ сидѣлъ за столомъ, пилъ кофе и перелистывалъ газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у дверей и смотрѣли на него. Два взрослыхъ человѣка должны были съ самымъ серьезнымъ вниманіемъ смотрѣть, какъ третій пьетъ кофе и грызетъ сухарики. Это, по

всей вѣроятности, смѣшно и дико, но я не видѣлъ для себя ничего унизительнаго въ томъ, что приходилось стоять около двери, хотя былъ такимъ же дворяниномъ и образованнымъ человѣкомъ, какъ самъ Орловъ.

У меня тогда начиналась чахотка, а съ нею еще кое-что, пожалуй, поважнѣе чахотки. Не знаю, подъ вліяніемъ ли болѣзни, или начинавшейся перемѣны міровоззрѣнія, которой я тогда не замѣчалъ, мною изо дня въ день овладѣвала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мнѣ хотѣлось душевнаго покоя, здоровья, хорошаго воздуха, сытости. Я становился мечтателемъ и, какъ мечтатель, не зналъ, что собственно мнѣ нужно. То мнѣ хотѣлось уйти въ монастырь, сидѣть тамъ по цѣлымъ днямъ у окошка и смотрѣть на деревья и поля; то я воображалъ, какъ я покупаю десятинъ пять земли и живу помѣщикомъ; то я давалъ себѣ слово, что займусь наукой и непремѣнно сдѣлаюсь профессоромъ какого-нибудь провинціальнаго университета. Я — отставной лейтенантъ нашего флота; мнѣ грезилось море, наша эскадра и корветъ, на которомъ я совершилъ кругосвѣтное плаваніе. Мнѣ хотѣлось еще разъ испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя въ тропическомъ лѣсу или глядя на закатъ солнца въ Бенгальскомъ заливѣ, замираешь отъ восторга и въ то же время грустишь по родинѣ. Мнѣ снились горы, женщины, музыка, и съ любопытствомъ, какъ мальчикъ, я всматривался въ лица, вслушивался въ голоса. И когда я стоялъ у двери и смотрѣлъ, какъ Орловъ пьетъ кофе, я чувствовалъ себя не лакеемъ, а человѣкомъ, которому интересно все на свѣтѣ, даже Орловъ.

Наружность у Орлова была петербургская: узкія плечи, длинная талія, впалые виски, глаза неопредѣленнаго цвѣта и скудная, тускло окрашенная растительность на головѣ, бородѣ и усахъ. Лицо у него было холеное, потертое и непріятное. Особенно непріятно оно было, когда онъ задумывался или спалъ. Описывать обыкновенную наружность едва ли и слѣдуетъ; къ тому же Петербургъ — не Испанія, наружность мужчинъ здѣсь не имѣетъ большого значенія даже въ любовныхъ дѣлахъ и нужна только представительнымъ лакеямъ и кучерамъ. Заговорилъ же я о лицѣ и волосахъ Орлова потому только, что въ его наружности было нѣчто, о чемъ стоитъ упомянуть, а именно: когда Орловъ брался

за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встрѣчался съ людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выраженіе легкой, не злой насмѣшки. Передъ тѣмъ, какъ прочесть что-нибудь или услышать, у него всякій разъ была уже наготовѣ иронія, точно щитъ у дикаря. Это была иронія привычная, старой закваски, и въ послѣднее время она показывалась на лицѣ уже безо всякаго участія воли, вѣроятно, а какъ бы по рефлексу. Но объ этомъ послѣ.

Въ первомъ часу онъ съ выраженіемъ ироніи бралъ свой портфель, набитый бумагами, и уѣзжалъ на службу. Обѣдалъ онъ не дома и возвращался послѣ восьми. Я зажигалъ въ кабинетѣ лампу и свѣчи, а онъ садился въ кресло, протягивалъ ноги на стулъ и, развалившись такимъ образомъ, начиналъ читать. Почти каждый день онъ привозилъ съ собой или ему присылали изъ магазиновъ новыя книги, и у меня въ лакейской въ углахъ и подъ моею кроватью лежало множество книгъ на трехъ языкахъ, не считая русскаго, уже прочитанныхъ и брошенныхъ. Читалъ онъ съ необыкновенною быстротой. Говорятъ: скажи мнѣ, что̀ ты читаешь, и я скажу тебѣ, кто ты. Это, быть можетъ, и правда, но судить объ Орловѣ по тѣмъ книгамъ, какія онъ читалъ, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философія, и французскіе романы, и политическая экономія, и финансы, и новые поэты, и изданія «Посредника», — и все онъ прочитывалъ одинаково быстро и все съ тѣмъ же ироническимъ выраженіемъ глазъ.

Послѣ десяти онъ тщательно одѣвался, часто во фракъ, очень рѣдко въ свой камеръ-юнкерскій мундиръ, и уѣзжалъ изъ дому. Возвращался подъ утро.

Жили мы съ нимъ тихо и мирно и никакихъ недоразумѣній у насъ не было. Обыкновенно онъ не замѣчалъ моего присутствія и, когда говорилъ со мною, то на лицѣ у него не было ироническаго выраженія, — очевидно, не считалъ меня человѣкомъ.

Только одинъ разъ я видѣлъ его сердитымъ. Однажды,— это было черезъ недѣлю послѣ того, какъ я поступилъ къ нему,—онъ вернулся съ какого-то обѣда часовъ въ девять; лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шелъ за нимъ въ кабинетъ, чтобы зажечь тамъ свѣчи, онъ сказалъ мнѣ:

— У насъ въ комнатахъ чѣмъ-то воняетъ.

— Нѣтъ, воздухъ чистъ,—отвѣтилъ я.

— А я тебѣ говорю, что воняетъ,—повторилъ онъ раздраженно.

— Я каждый день отворяю форточки.

— Не разсуждай, болванъ!—крикнулъ онъ.

Я обидѣлся и хотѣлъ возражать, и Богъ знаетъ, чѣмъ бы это кончилось, если бы не вмѣшалась Поля, знавшая своего барина лучше, чѣмъ я.

— Въ самомъ дѣлѣ, какой дурной запахъ!—сказала она, поднимая брови.—Откуда бы это? Степанъ, отвори въ гостиной форточки и затопи каминъ.

Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всѣмъ комнатамъ, шурша своими юбками и шипя въ пульверизаторъ. А Орловъ все былъ не въ духѣ; онъ, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидѣлъ за столомъ и быстро писалъ письмо. Написавши нѣсколько строкъ, онъ сердито фыркнулъ и порвалъ письмо, потомъ началъ снова писать.

— Чортъ ихъ возьми!—пробормоталъ онъ.—Хотятъ, чтобъ я имѣлъ чудовищную память!

Наконецъ, письмо было написано; онъ всталъ изъ-за стола и сказалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Ты поѣдешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаидѣ Ѳедоровнѣ Красновской въ собственныя руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли мужъ, то-есть господинъ Красновскій. Если онъ вернулся, то письма не отдавай и поѣзжай назадъ. Постой!.. Въ случаѣ, если она спроситъ, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что съ восьми часовъ у меня сидятъ два какихъ-то господина и что-то пишутъ.

Я поѣхалъ на Знаменскую. Швейцаръ сказалъ мнѣ, что господинъ Красновскій еще не вернулись, и я отправился на третій этажъ. Мнѣ отворилъ дверь высокій, толстый, бурый лакей съ черными бакенами и сонно, вяло и грубо, какъ только лакей можетъ разговаривать съ лакеемъ, спросилъ меня, что мнѣ нужно. Не успѣлъ я отвѣтить, какъ въ переднюю изъ залы быстро вошла дама въ черномъ платьѣ. Она прищурила на меня глаза.

— Зинаида Ѳедоровна дома?—спросилъ я.

— Это я,—сказала дама.

— Письмо отъ Георгія Иваныча.

Она нетерпѣливо распечатала письмо и, держа его въ обѣихъ рукахъ и показывая мнѣ свои кольца съ брильянтами, стала читать. Я разглядѣлъ бѣлое лицо съ мягкими линіями, выдающійся впередъ подбородокъ, длинныя, темныя рѣсницы. На видъ я могъ дать этой дамѣ не больше двадцати пяти лѣтъ.

— Кланяйтесь и благодарите, — сказала она, кончивъ читать. — Есть кто-нибудь у Георгія Иваныча? — спросила она мягко, радостно и какъ бы стыдясь своего недовѣрія.

— Какіе-то два господина,—отвѣтилъ я.—Что-то пишутъ.

— Кланяйтесь и благодарите, — повторила она и, склонивъ голову на бокъ и читая на ходу письмо, безшумно вышла.

Я тогда встрѣчалъ мало женщинъ, и эта дама, которую я видѣлъ мелькомъ, произвела на меня впечатлѣніе. Возвращаясь домой пѣшкомъ, я вспомнилъ ея лицо и запахъ тонкихъ духовъ, и мечталъ. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.

II.

Итакъ, съ хозяиномъ мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я такъ боялся, поступая въ лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладилъ съ Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что онъ баринъ, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вѣроятно, съ точки зрѣнія настоящаго лакея или повара, она была обольстительна: румяныя щеки, вздернутый носъ, прищуренные глаза и полнота тѣла, переходящая уже въ пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась въ корсетъ и носила турнюръ и браслетку изъ монетъ. Походка у нея была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертѣла или, какъ говорится, дрыгала плечами и задомъ. Шуршанье ея юбокъ, трескъ корсета и звонъ браслета и этотъ хамскій запахъ губной помады, туалетнаго уксуса и духовъ, украденныхъ у барина, возбуждали во мнѣ, когда я по утрамъ убиралъ съ нею комнаты, такое чувство, какъ будто я дѣлалъ вмѣстѣ съ нею что-то мерзкое.

Оттого ли, что я не воровалъ вмѣстѣ съ нею, или не изъявлялъ никакого желанія стать ея любовникомъ, что, вѣроятно, оскорбляло ее, или, быть-можетъ, оттого, что она чуяла во мнѣ чужого человѣка, она возненавидѣла меня съ перваго же дня. Моя неумѣлость, не лакейская наружность и моя болѣзнь представлялись ей жалкими и вызывали въ ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлялъ и, случалось, по ночамъ мѣшалъ ей спать, такъ какъ ея и мою комнату отдѣляла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мнѣ:

— Ты опять не давалъ мнѣ спать. Въ больницѣ тебѣ лежать, а не у господъ жить.

Она такъ искренно вѣрила, что я не человѣкъ, а нѣчто, стоящее неизмѣримо ниже ея, что, подобно римскимъ матронамъ, которыя не стыдились купаться въ присутствіи рабовъ, при мнѣ иногда ходила въ одной сорочкѣ.

Однажды за обѣдомъ (мы каждый день получали изъ трактира супъ и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроеніе, я спросилъ:

— Поля, вы въ Бога вѣруете?

— А то какъ же!

— Стало-быть, вы вѣруете,—продолжалъ я:—что будетъ страшный судъ и что мы дадимъ отвѣтъ Богу за каждый свой дурной поступокъ?

Она ничего не отвѣтила и только сдѣлала презрительную гримасу, и, глядя въ этотъ разъ на ея сытые, холодные глаза, я понялъ, что у этой цѣльной, вполнѣ законченной натуры не было ни Бога, ни совѣсти, ни законовъ, и что если бы мнѣ понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не могъ бы найти лучшаго сообщника.

Въ необычной обстановкѣ, да еще при моей непривычкѣ къ *ты* и къ постоянному лганью (говорить «барина нѣтъ дома», когда онъ дома), мнѣ въ первую недѣлю жилось у Орлова не легко. Въ лакейскомъ фракѣ я чувствовалъ себя какъ въ латахъ. Но потомъ привыкъ. Какъ настоящій лакей, я прислуживалъ, убиралъ комнаты, бѣгалъ и ѣздилъ, исполняя всякія порученія. Когда Орлову не хотѣлось ѣхать на свиданіе къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ, или когда онъ забывалъ, что обѣщалъ быть у нея, я ѣздилъ на Знаменскую, отдавалъ тамъ письмо въ собственныя руки и лгалъ. И въ результатѣ выходило совсѣмъ не то, что я ожидалъ, посту-

пая въ лакси; всякій день этой моей новой жизни оказывался пропащимъ и для меня, и для моего дѣла, такъ какъ Орловъ никогда не говорилъ о своемъ отцѣ, его гости— тоже, и о дѣятельности извѣстнаго государственнаго человѣка я зналъ только то, что̀ удавалось мнѣ, какъ и раньше, добывать изъ газетъ и переписки съ товарищами. Сотни записокъ и бумагъ, которыя я находилъ въ кабинетѣ и читалъ, не имѣли даже отдаленнаго отношенія къ тому, что̀ я искалъ. Орловъ былъ совершенно равнодушенъ къ громкой дѣятельности своего отца и имѣлъ такой видъ, какъ будто не слыхалъ о ней или какъ будто отецъ у него давно умеръ.

III.

По четвергамъ у насъ бывали гости.

Я заказывалъ въ ресторанѣ кусокъ ростбифа и говорилъ въ телефонъ Елисѣеву, чтобы прислали намъ икры, сыру, устрицъ и проч. Покупалъ игральныхъ картъ. Поля уже съ утра приготовляла чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правдѣ, эта маленькая дѣятельность нѣсколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для насъ были самыми интересными днями.

Гостей приходило только трое. Самымъ солиднымъ и, пожалуй, самымъ интереснымъ былъ гость по фамиліи Пекарскій, высокій, худощавый человѣкъ, лѣтъ сорока пяти, съ длиннымъ, горбатымъ носомъ, съ большою черною бородой и съ лысиной. Глаза у него были большіе, навыкатѣ, и выраженіе лица серьезное, вдумчивое, какъ у греческаго философа. Служилъ онъ въ управленіи желѣзной дороги и въ банкѣ, былъ юрисконсультомъ при какомъ-то важномъ казенномъ учрежденіи и состоялъ въ дѣловыхъ отношеніяхъ со множествомъ частныхъ лицъ, какъ опекунъ, предсѣдатель конкурса и т. п. Имѣлъ онъ чинъ совсѣмъ небольшой и скромно называлъ себя присяжнымъ повѣреннымъ, но вліяніе у него было громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы васъ принялъ не въ очередь знаменитый докторъ, директоръ дороги или важный чиновникъ; говорили, что по его протекціи можно было получить должность даже четвертаго класса и замять какое угодно непріятное дѣло. Считался онъ очень умнымъ человѣкомъ, но это былъ какой-то особенный, странный умъ.

Онъ могъ въ одно мгновеніе помножить въ умѣ 213 на 373 или перевести стерлинги на марки безъ помощи карандаша и табличекъ, превосходно зналъ желѣзнодорожное дѣло и финансы, и во всемъ, что касалось администраціи, для него не существовало тайнъ; по гражданскимъ дѣламъ, какъ говорили, это былъ искуснѣйшій адвокатъ, и тягаться съ нимъ было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что̀ знаетъ даже иной глупый человѣкъ. Такъ, онъ рѣшительно не могъ понять, почему это люди скучаютъ, плачутъ, стрѣляются и даже другихъ убиваютъ, почему они волнуются по поводу вещей и событій, которыя ихъ лично не касаются, и почему они смѣются, когда читаютъ Гоголя или Щедрина... Все отвлеченное, исчезающее въ области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, какъ музыка для того, кто не имѣетъ слуха. На людей смотрѣлъ онъ только съ дѣловой точки зрѣнія и дѣлилъ ихъ на способныхъ и неспособныхъ. Иного дѣленія у него не существовало. Честность и порядочность составляютъ лишь признакъ способности. Кутить, играть въ карты и развратничать можно, но такъ, чтобы это не мѣшало дѣлу. Вѣровать въ Бога не умно, но религія должна быть охраняема, такъ какъ для народа необходимо сдерживающее начало, иначе онъ не будетъ работать. Наказанія нужны только для устрашенія. На дачу выѣзжать незачѣмъ, такъ какъ и въ городѣ хорошо. И такъ далѣе. Онъ былъ вдовъ и дѣтей не имѣлъ, но жизнь велъ на широкую, семейную ногу и платилъ за квартиру три тысячи въ годъ.

Другой гость, Кукушкинъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ изъ молодыхъ, былъ небольшого роста и отличался въ высшей степени непріятнымъ выраженіемъ, какое придавала ему несоразмѣрность его толстаго, пухлаго туловища съ маленькимъ, худощавымъ лицомъ. Губы у него были сердечкомъ и стриженные усики имѣли такой видъ, какъ будто были приклеены лакомъ. Это былъ человѣкъ съ манерами ящерицы. Онъ не входилъ, а какъ-то вползалъ, мелко сѣменя ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смѣялся, то скалилъ зубы. Онъ былъ чиновникомъ особыхъ порученій при комъ-то и ничего не дѣлалъ, хотя получалъ большое содержаніе, особенно лѣтомъ, когда для него изобрѣтали разныя командировки. Это былъ карьеристъ не до

мозга костей, а глубже, до послѣдней капли крови, и притомъ карьеристъ мелкій, неувѣренный въ себѣ, строившій свою карьеру на однѣхъ лишь подачкахъ. За какой-нибудь иностранный крестикъ или за то, чтобы въ газетахъ напечатали, что онъ присутствовалъ на панихидѣ или на молебнѣ вмѣстѣ съ прочими высокопоставленными особами, онъ готовъ былъ идти на какое угодно униженіе, клянчить, льстить, обѣщать. Изъ трусости онъ льстилъ Орлову и Пекарскому, потому что считалъ ихъ сильными людями, льстилъ Полѣ и мнѣ, потому что мы служили у вліятельнаго человѣка. Всякій разъ, когда я снималъ съ него шубу, онъ хихикалъ и спрашивалъ меня: «Степанъ, ты женатъ?»—и затѣмъ слѣдовали скабрезныя пошлости—знакъ особаго ко мнѣ вниманія. Кукушкинъ льстилъ слабостямъ Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, онъ прикидывался злымъ насмѣшникомъ и безбожникомъ, критиковалъ вмѣстѣ съ нимъ тѣхъ, передъ кѣмъ въ другомъ мѣстѣ рабски ханжилъ. Когда за ужиномъ говорили о женщинахъ и о любви, онъ прикидывался утонченнымъ и изысканнымъ развратникомъ. Вообще, надо замѣтить, петербургскіе жуиры любятъ поговорить о своихъ необыкновенныхъ вкусахъ. Иной дѣйствительный статскій совѣтникъ изъ молодыхъ превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, такъ онъ зараженъ всѣми пороками Востока и Запада, состоитъ почетнымъ членомъ цѣлаго десятка тайныхъ предосудительныхъ обществъ и уже на замѣчаніи у полиціи. Кукушкинъ вралъ про себя безсовѣстно, и ему не то чтобы не вѣрили, а какъ-то мимо ушей пропускали всѣ его небылицы.

Третій гость — Грузинъ, сынъ почтеннаго ученаго генерала, ровесникъ Орлова, длинноволосый и подслѣповатый блондинъ, въ золотыхъ очкахъ. Мнѣ припоминаются его длинные, блѣдные пальцы, какъ у піаниста; да и во всей его фигурѣ было что-то музыкантское, виртуозное. Такія фигуры въ оркестрахъ играютъ первую скрипку. Онъ кашлялъ и страдалъ мигренью, вообще казался болѣзненнымъ и слабенькимъ. Вѣроятно, дома его раздѣвали и одѣвали, какъ ребенка. Онъ кончилъ въ училищѣ правовѣдѣнія и служилъ сначала по судебному вѣдомству, потомъ перевели его въ сенатъ, отсюда онъ ушелъ и по протекціи получилъ

мѣсто въ министерствѣ государственныхъ имуществъ и скоро опять ушелъ. Въ мое время онъ служилъ въ отдѣленіи Орлова, былъ у него столоначальникомъ, но поговаривалъ, что скоро перейдетъ опять въ судебное вѣдомство. Къ службѣ и къ своимъ перекочевкамъ съ мѣста на мѣсто онъ относился съ рѣдкимъ легкомысліемъ, и когда при немъ серьезно говорили о чинахъ, орденахъ, окладахъ, то онъ добродушно улыбался и повторялъ афоризмъ Пруткова: «Только на государственной службѣ познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщеннымъ лицомъ, очень ревнивая, и пятеро тощенькихъ дѣтей; женѣ онъ измѣнялъ, дѣтей любилъ, только когда видѣлъ ихъ, а въ общемъ относился къ семьѣ довольно равнодушно и подшучивалъ надъ ней. Жилъ онъ съ семьей въ долгъ, занимая, гдѣ и у кого попало, при всякомъ удобномъ случаѣ, не пропуская даже своихъ начальниковъ и швейцаровъ. Это была натура рыхлая, лѣнивая до полнаго равнодушія къ себѣ и плывшая по теченію неизвѣстно куда и зачѣмъ. Куда его вели, туда и шелъ. Вели его въ какой-нибудь притонъ—онъ шелъ, ставили передъ нимъ вино—пилъ, не ставили—не пилъ; бранили при немъ женъ—и онъ бранилъ свою, увѣряя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то онъ тоже хвалилъ и искренно говорилъ: «Я ее, бѣдную, очень люблю». Шубы у него не было и носилъ онъ всегда плэдъ, отъ котораго пахло дѣтской. Когда за ужиномъ, о чемъ-то задумавшись, онъ каталъ шарики изъ хлѣба и пилъ много краснаго вина, то, странное дѣло, я бывалъ почти увѣренъ, что въ немъ сидитъ что-то, что онъ, вѣроятно, самъ чувствуетъ въ себѣ смутно, но за суетой и пошлостями не успѣваетъ понять и оцѣнить. Онъ немножко игралъ на роялѣ. Бывало, сядетъ за рояль, возьметъ два-три аккорда и запоетъ тихо:

Что день грядущій мнѣ готовитъ?

но тотчасъ же, точно испугавшись, встанетъ и уйдетъ подальше отъ рояля.

Гости обыкновенно сходились къ десяти часамъ. Они играли въ кабинетѣ Орлова въ карты, а я и Поля подавали имъ чай. Тутъ только я могъ, какъ слѣдуетъ, постигнуть всю сладость лакейства. Стоять въ продолженіе четырехъ-пяти часовъ около двери, слѣдить за тѣмъ, чтобы не было пустыхъ стакановъ, перемѣнять пепельницы, подбѣгать къ столу, чтобы поднять оброненный мѣлокъ или карту, а,

главное, стоять, ждать, быть внимательнымъ и не смѣть ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, увѣряю васъ, тяжелѣе самаго тяжелаго крестьянскаго труда. Я когда-то стаивалъ на вахтѣ по четыре часа въ бурныя зимнія ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.

Играли въ карты часовъ до двухъ, иногда до трехъ и потомъ, потягиваясь, шли въ столовую ужинать или, какъ говорилъ Орловъ, подзакусить. За ужиномъ разговоры. Начиналось обыкновенно съ того, что Орловъ со смѣющимися глазами заводилъ рѣчь о какомъ-нибудь знакомомъ, о недавно прочитанной книгѣ, о новомъ назначеніи или проектѣ; льстивый Кукушкинъ подхватывалъ въ тонъ, и начиналась, по тогдашнему моему настроенію, препротивная музыка. Иронія Орлова и его друзей не знала предѣловъ и не щадила никого и ничего. Говорили о религіи — иронія, говорили о философіи, о смыслѣ и цѣляхъ жизни—иронія, поднималъ ли кто вопросъ о народѣ — иронія. Въ Петербургѣ есть особая порода людей, которые спеціально занимаются тѣмъ, что вышучиваютъ каждое явленіе жизни; они не могутъ пройти даже мимо голоднаго или самоубійцы безъ того, чтобы не сказать пошлости. Но Орловъ и его пріятели не шутили и не вышучивали, а говорили съ ироніей. Они говорили, что Бога нѣтъ и со смертью личность исчезаетъ совершенно; безсмертные существуютъ только во французской академіи. Истиннаго блага нѣтъ и не можетъ быть, такъ какъ наличность его обусловлена человѣческимъ совершенствомъ, а послѣднее есть логическая нелѣпость. Россія такая же скучная и убогая страна, какъ Персія. Интеллигенція безнадежна; по мнѣнію Пекарскаго, она въ громадномъ большинствѣ состоитъ изъ людей неспособныхъ и никуда не годныхъ. Народъ же спился, облѣнился, изворовался и вырождается. Науки у насъ нѣтъ, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничествѣ: — «не обманешь — не продашь». И все въ такомъ родѣ, и все смѣшно.

Отъ вина къ концу ужина становилось веселѣе и переходили къ веселымъ разговорамъ. Подсмѣивались надъ семейною жизнью Грузина, надъ побѣдами Кукушкина или надъ Пекарскимъ, у котораго будто бы въ расходной книжкѣ была одна страничка съ заголовкомъ: *На дѣла благотворительности* и другая — *На физіологическія потребности.*

Говорили, что нѣтъ вѣрныхъ женъ; нѣтъ такой жены, отъ которой, при нѣкоторомъ навыкѣ, нельзя было бы добиться ласкъ, не выходя изъ гостиной, въ то время, когда рядомъ въ кабинетѣ сидитъ мужъ. Дѣвочки-подростки развращены и уже знаютъ все. Орловъ хранитъ у себя письмо одной четырнадцатилѣтней гимназистки: она, возвращаясь изъ гимназіи, «замарьяжила на Невскомъ офицерика», который будто бы увелъ ее къ себѣ и отпустилъ только поздно вечеромъ, а она поспѣшила написать объ этомъ подругѣ, чтобы подѣлиться восторгами. Говорили, что чистоты нравовъ не было никогда и нѣтъ ея, очевидно, она не нужна; человѣчество до сихъ поръ прекрасно обходилось безъ нея. Вредъ же отъ такъ-называемаго разврата несомнѣнно преувеличенъ. Извращеніе, предусмотрѣнное въ нашемъ уставѣ о наказаніяхъ, не мѣшало Діогену быть философомъ и учителемъ; Цезарь и Цицеронъ были развратники и въ то же время великіе люди. Старикъ Катонъ женился на молоденькой, и все-таки продолжалъ считаться суровымъ постникомъ и блюстителемъ нравовъ.

Въ три или четыре часа гости расходились или уѣзжали вмѣстѣ за городъ или на Офицерскую къ какой-то Варварѣ Осиповнѣ, а я уходилъ къ себѣ въ лакейскую и долго не могъ уснуть отъ головной боли и кашля.

IV.

Недѣли черезъ три послѣ того, какъ я поступилъ къ Орлову, помнится, въ воскресенье утромъ кто-то позвонилъ. Былъ одиннадцатый часъ и Орловъ еще спалъ. Я пошелъ отворить. Можете себѣ представить мое изумленіе: за дверью на площадкѣ лѣстницы стояла дама съ вуалью.

— Георгій Иванычъ всталъ?—спросила она.

И по голосу я узналъ Зинаиду Ѳедоровну, къ которой я носилъ письма на Знаменскую. Не помню, успѣлъ ли и сумѣлъ ли я отвѣтить ей, — я былъ смущенъ ея появленіемъ. Да и не нуженъ ей былъ мой отвѣтъ. Въ одно мгновеніе она шмыгнула мимо меня и, наполнивъ переднюю ароматомъ своихъ духовъ, которые я до сихъ поръ еще прекрасно помню, ушла въ комнаты, и шаги ея затихли. По крайней мѣрѣ, съ полчаса потомъ ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонилъ. На этотъ разъ какая-то расфранченная дѣвушка, повидимому, горничная изъ богатаго

дома, и нашъ швейцаръ, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.

— Это Зинаидѣ Ѳедоровнѣ,—сказала дѣвушка.

И ушла, не сказавъ больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговѣвшей передъ барскими шалостями, хитрую усмѣшку; она какъ будто хотѣла сказать: «Вотъ какіе мы!»—и все время ходила на цыпочкахъ. Наконецъ, послышались шаги; Зинаида Ѳедоровна быстро вошла въ переднюю и, увидѣвъ меня въ дверяхъ моей лакейской, сказала:

— Степанъ, дайте Георгію Иванычу одѣться.

Когда я вошелъ къ Орлову съ платьемъ и сапогами, онъ сидѣлъ на кровати, свѣсивъ ноги на медвѣжій мѣхъ. Вся его фигура выражала смущеніе. Меня онъ не замѣчалъ и моимъ лакейскимъ мнѣніемъ не интересовался; очевидно, былъ смущенъ и конфузился передъ самимъ собой, передъ своимъ «внутреннимъ окомъ». Одѣвался, умывался и потомъ возился онъ со щетками и гребенками молча и не спѣша, какъ будто давая себѣ время обдумать свое положеніе и сообразить, и даже по спинѣ его замѣтно было, что онъ смущенъ и недоволенъ собой.

Пили они кофе вдвоемъ. Зинаида Ѳедоровна налила изъ кофейника себѣ и Орлову, потомъ поставила локти на столъ и засмѣялась.

— Мнѣ все еще не вѣрится, — сказала она. — Когда долго путешествуешь и потомъ пріѣдешь въ отель, то все еще не вѣрится, что уже не надо ѣхать. Пріятно легко вздохнуть.

Съ выраженіемъ дѣвочки, которой очень хочется шалить, она легко вздохнула и опять засмѣялась.

— Вы мнѣ простите,—сказалъ Орловъ, кивнувъ на газеты.—Читать за кофе—это моя непобѣдимая привычка. Но я умѣю дѣлать два дѣла разомъ: и читать, и слушать.

— Читайте, читайте... Ваши привычки и ваша свобода останутся при васъ. Но отчего у васъ постная физіономія? Вы всегда бываете такимъ по утрамъ или только сегодня? Вы не рады?

— Напротивъ. Но я, признаюсь, немножко ошеломленъ.

— Отчего? Вы имѣли время приготовиться къ моему нашествію. Я каждый день угрожала вамъ.

— Да, но я не ожидалъ, что вы приведете вашу угрозу въ исполненіе именно сегодня.

— И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой другъ. Вырвать больной зубъ сразу и—конецъ.

— Да, конечно.

— Ахъ, милый мой!—сказала она, зажмуривая глаза.— Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чѣмъ кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смѣюсь; я рада, счастлива, но мнѣ плакать хочется больше, чѣмъ смѣяться. Вчера я выдержала цѣлую баталію,—продолжала она по-французски. — Только одинъ Богъ знаетъ, какъ мнѣ было тяжело. Но я смѣюсь, потому что мнѣ не вѣрится. Мнѣ кажется, что сижу я съ вами и пью кофе не наяву, а во снѣ.

Затѣмъ она, продолжая говорить по-французски, разсказала, какъ вчера разошлась съ мужемъ, и ея глаза то наполнялись слезами, то смѣялись и съ восхищеніемъ смотрѣли на Орлова. Она разсказала, что мужъ давно уже подозрѣвалъ ее, но избѣгалъ объясненій; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно въ самый разгаръ ихъ онъ внезапно умолкалъ и уходилъ къ себѣ въ кабинетъ чтобы вдругъ въ запальчивости не высказать своихъ подозрѣній и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Ѳедоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смѣлый, серьезный шагъ, и отъ этого съ каждымъ днемъ все сильнѣе ненавидѣла себя и мужа и мучилась, какъ въ аду. Но вчера, во время ссоры, когда онъ закричалъ плачущимъ голосомъ: «Когда же все это кончится, Боже мой?»—и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ, она погналась за нимъ, какъ кошка за мышью, и, мѣшая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидитъ его всею душой. Тогда онъ впустилъ ее въ кабинетъ, и она высказала ему все и призналась, что любитъ другого, что этотъ другой ея настоящій, самый законный мужъ, и она считаетъ долгомъ совѣсти сегодня же переѣхать къ нему, несмотря ни на что, хотя бы въ нее стрѣляли изъ пушекъ.

— Въ васъ сильно бьется романтическая жилка,—перебилъ ее Орловъ, не отрывая глазъ отъ газеты.

Она засмѣялась и продолжала разсказывать, не дотрогиваясь до своего кофе. Щеки ея разгорѣлись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Полю.

Изъ ея дальнѣйшаго разсказа я узналъ, что мужъ отвѣтилъ ей попреками, угрозами и въ концѣ-концовъ слезами, и вѣрнѣе было бы сказать, что не она, а онъ выдержалъ баталію.

— Да, мой другъ, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, — разсказывала она: — но какъ только наступила ночь, я пала духомъ. Вы, Жоржъ, не вѣрите въ Бога, а я немножко вѣрую и боюсь возмездія. Богъ требуетъ отъ насъ терпѣнія, великодушія, самопожертвованія, а я вотъ отказываюсь терпѣть и хочу устроить жизнь на свой ладъ. Хорошо ли это? А вдругъ это съ точки зрѣнія Бога не хорошо? Въ два часа ночи мужъ вошелъ ко мнѣ и говоритъ: «Вы не посмѣете уйти. Я вытребую васъ со скандаломъ черезъ полицію». А немного погодя, гляжу, онъ опять въ дверяхъ, какъ тѣнь. «Пощадите меня. Ваше бѣгство можетъ повредить мнѣ по службѣ». Эти слова подѣйствовали на меня грубо, я точно заржавѣла отъ нихъ, подумала, что это уже начинается возмездіе, и стала дрожать отъ страха и плакать. Мнѣ казалось, что на меня обвалится потолокъ, что меня сейчасъ поведутъ въ полицію, что вы меня разлюбите,—однимъ словомъ, Богъ знаетъ что! Уйду, думаю, въ монастырь или куда-нибудь въ сидѣлки, откажусь отъ счастья, но тутъ вспоминаю, что вы меня любите и что я не въ правѣ распоряжаться собой безъ вашего вѣдома, и все у меня въ головѣ начинаетъ путаться, и я въ отчаяніи, не знаю, что думать и дѣлать. Но взошло солнышко, и я опять повеселѣла. Дождалась утра и прикатила къ вамъ. Ахъ, какъ замучилась, милый мой! Подъ рядъ двѣ ночи не спала!

Она была утомлена и возбуждена. Ей хотѣлось въ одно и то же время и спать, и безъ конца говорить, и смѣяться, и плакать, и ѣхать въ ресторанъ завтракать, чтобы почувствовать себя на свободѣ.

— У тебя уютная квартира, но боюсь, для двоихъ она будетъ мала, — говорила она послѣ кофе, быстро обходя всѣ комнаты.—Какую ты дашь мнѣ комнату? Мнѣ нравится вотъ эта, потому что она рядомъ съ твоимъ кабинетомъ.

Во второмъ часу она переодѣлась въ комнатѣ рядомъ съ кабинетомъ, которую стала послѣ этого называть своею, и уѣхала съ Орловымъ завтракать. Обѣдали они тоже

въ ресторанѣ, а въ длинный промежутокъ между завтракомъ и обѣдомъ ѣздили по магазинамъ. Я до поздняго вечера отворялъ приказчикамъ и посыльнымъ изъ магазиновъ и принималъ отъ нихъ разныя покупки. Привезли, между прочимъ, великолѣпное трюмо, туалетъ, кровать и роскошный чайный сервизъ, который былъ намъ не нуженъ. Привезли цѣлое семейство мѣдныхъ кастрюлей, которыя мы поставили рядкомъ на полкѣ въ нашей пустой холодной кухнѣ. Когда мы разворачивали чайный сервизъ, то у Поли разгорѣлись глаза, и она раза три взглянула на меня съ ненавистью и со страхомъ, что, быть-можетъ, не она, а я первый украду одну изъ этихъ граціозныхъ чашечекъ. Привезли дамскій письменный столъ, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Ѳедоровна имѣла намѣреніе засѣсть у насъ крѣпко, по-хозяйски.

Вернулась она съ Орловымъ часу въ десятомъ. Полная горделиваго сознанія, что ею совершено что-то смѣлое и необыкновенное, страстно любящая и, какъ казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крѣпкій и счастливый сонъ, Зинаида Ѳедоровна упивалась новою жизнью. Отъ избытка счастья она крѣпко сжимала себѣ руки, увѣряла, что все прекрасно, и клялась, что будетъ любить вѣчно, и эти клятвы и наивная, почти дѣтская увѣренность, что ее тоже крѣпко любятъ и будутъ любить вѣчно, молодили ее лѣтъ на пять. Она говорила милый вздоръ и смѣялась надъ собой.

— Нѣтъ выше блага, какъ свобода!—говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. — Вѣдь какая, подумаешь, нелѣпость! Мы не даемъ никакой цѣны своему собственному мнѣнію, даже если оно умно, но дрожимъ передъ мнѣніемъ разныхъ глупцовъ. Я боялась чужого мнѣнія до послѣдней минуты, но какъ только послушалась самоё себя и рѣшила жить по-своему, глаза у меня открылись, я побѣдила свой глупый страхъ и теперь счастлива и всѣмъ желаю такого счастья.

Но тотчасъ же порядокъ мыслей у нея обрывался, и она говорила о новой квартирѣ, объ обояхъ, лошадяхъ, о путешествіи въ Швейцарію и Италію. Орловъ же былъ утомленъ поѣздкой по ресторанамъ и магазинамъ и продолжалъ испытывать то смущеніе передъ самимъ собой, какое я замѣтилъ у него утромъ. Онъ улыбался, но больше

изъ вѣжливости, чѣмъ отъ удовольствія, и когда она говорила о чемъ-нибудь серьезно, то онъ иронически соглашался: «О, да!»

— Степанъ, найдите поскорѣе хорошаго повара,—обратилась она ко мнѣ.

— Не слѣдуетъ торопиться съ кухней,—сказалъ Орловъ, холодно поглядѣвъ на меня. — Надо сначала перебраться на новую квартиру.

Онъ никогда не держалъ у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, какъ выражался, не любилъ «заводить у себя нечистоту», и меня и Полю терпѣлъ въ своей квартирѣ только по необходимости... Такъ-называемый семейный очагъ съ его необыкновенными радостями и дрязгами оскорблялъ его вкусы, какъ пошлость; быть беременной или имѣть дѣтей и говорить о нихъ—это дурной тонъ, мѣщанство. И для меня теперь представлялось крайне любопытнымъ, какъ уживутся въ одной квартирѣ эти два существа, — она домовитая и хозяйственная, со своими мѣдными кастрюлями и съ мечтами о хорошемъ поварѣ и лошадяхъ, и онъ, часто говорившій своимъ пріятелямъ, что въ квартирѣ порядочнаго, чистоплотнаго человѣка, какъ на военномъ кораблѣ, не должно быть ничего лишняго—ни женщинъ, ни дѣтей, ни тряпокъ, ни кухонной посуды...

V.

Затѣмъ я разскажу вамъ, что̀ происходило въ ближайшій четвергъ. Въ этотъ день Орловъ и Зинаида Ѳедоровна обѣдали у Контана или Донона. Вернулся домой только одинъ Орловъ, а Зинаида Ѳедоровна уѣхала, какъ я узналъ потомъ, на Петербургскую сторону къ своей старой гувернанткѣ, чтобы переждать у нея время, пока у насъ будутъ гости. Орлову не хотѣлось показывать ее своимъ пріятелямъ. Это понялъ я утромъ за кофе, когда онъ сталъ увѣрять ее, что ради ея спокойствія необходимо отмѣнить четверги.

Гости, какъ обыкновенно, прибыли почти въ одно время.

— И барыня дома? — спросилъ у меня шопотомъ Кукушкинъ.

— Никакъ нѣтъ,—отвѣтилъ я.

Онъ вошелъ съ хитрыми, масляными глазами, таинственно улыбаясь и потирая съ мороза руки.

— Честь имѣю поздравить,—сказалъ онъ Орлову, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ льстиваго, угодливаго смѣха. — Желаю вамъ плодитися и размножатися, аки кедры ливанстіе.

Гости отправились въ спальню и поострили тамъ насчетъ женскихъ туфель, ковра между обѣими постелями и сѣрой блузы, которая висѣла на спинкѣ кровати. Имъ было весело оттого, что упрямецъ, презиравшій въ любви все обыкновенное, попался вдругъ въ женскія сѣти такъ просто и обыкновенно.

— Чему посмѣяхомся, тому же и послужиша, — нѣсколько разъ повторилъ Кукушкинъ, имѣвшій, кстати сказать, непріятную претензію щеголять церковно-славянскими текстами.—Тише!—зашепталъ онъ, поднося палецъ къ губамъ, когда изъ спальни перешли въ комнату рядомъ съ кабинетомъ. — Тссс! Здѣсь Маргарита мечтаетъ о своемъ Фаустѣ.

И покатился со смѣху, какъ будто сказалъ что-то ужасно смѣшное. Я вглядывался въ Грузина, ожидая, что его музыкальная душа не выдержитъ этого смѣха, но я ошибся. Его доброе, худощавое лицо сіяло отъ удовольствія. Когда садились играть въ карты, онъ, картавя и захлебываясь отъ смѣха, говорилъ, что Жоржинькѣ для полноты семейнаго счастья остается теперь только завести черешневый чубукъ и гитару. Пекарскій солидно посмѣивался, но по его сосредоточенному выраженію видно было, что новая любовная исторія Орлова была ему непріятна. Онъ не понималъ, что̀ собственно произошло.

— Но какъ же мужъ?—спросилъ онъ съ недоумѣніемъ, когда уже сыграли три робера.

— Не знаю,—отвѣтилъ Орловъ.

Пекарскій расчесалъ пальцами свою большую бороду и задумался, и молчалъ потомъ до самаго ужина. Когда сѣли ужинать, онъ сказалъ медленно, растягивая каждое слово:

— Вообще, извини, я васъ обоихъ не понимаю. Вы могли влюбляться другъ въ друга и нарушать седьмую заповѣдь, сколько угодно, — это я понимаю. Да, это мнѣ понятно. Но зачѣмъ посвящать въ свои тайны мужа? Развѣ это нужно?

— А развѣ это не все равно?

— Гм...—задумался Пекарскій.—Такъ вотъ что я тебѣ скажу, другъ мой любезный, — продолжалъ онъ съ види-

мымъ напряженіемъ мысли: — если я когда-нибудь женюсь во второй разъ и тебѣ вздумается наставить мнѣ рога, то дѣлай это такъ, чтобы я не замѣтилъ. Гораздо честнѣе обманывать человѣка, чѣмъ портить ему порядокъ жизни и репутацію. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но съ этимъ... какъ это называется?.. съ этимъ романтизмомъ согласиться я не могу.

Орловъ ничего не отвѣтилъ. Онъ былъ не въ духѣ и ему не хотѣлось говорить. Пекарскій, продолжая недоумѣвать, постучалъ пальцами по столу, подумалъ и сказалъ:

— Я все-таки васъ обоихъ не понимаю. Ты не студентъ и она не швейка. Оба вы люди со средствами. Полагаю, ты могъ бы устроить для нея отдѣльную квартиру.

— Нѣтъ, не могъ бы. Почитай-ка Тургенева.

— Зачѣмъ мнѣ его читать? Я уже читалъ.

— Тургеневъ въ своихъ произведеніяхъ учитъ, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая дѣвица уходила съ любимымъ мужчиною на край свѣта и служила бы его идеѣ,— сказалъ Орловъ, иронически щуря глаза. — Край свѣта — это licentia poëtica; весь свѣтъ со всѣми своими краями помѣщается въ квартирѣ любимаго мужчины. Поэтому не жить съ женщиной, которая тебя любитъ, въ одной квартирѣ — значитъ отказывать ей въ ея высокомъ назначеніи и не раздѣлять ея идеаловъ. Да, душа моя, Тургеневъ писалъ, а я вотъ теперь за него кашу расхлебывай.

— При чемъ тутъ Тургеневъ, не понимаю,—сказалъ тихо Грузинъ и пожалъ плечами.—А помните, Жоржинька, какъ онъ въ *Трехъ встрѣчахъ* идетъ поздно вечеромъ гдѣ-то въ Италіи и вдругъ слышитъ: Vieni pensando a me segretamente!—запѣлъ Грузинъ.—Хорошо!

— Но вѣдь она не насильно къ тебѣ переѣхала,—сказалъ Пекарскій.—Ты самъ этого захотѣлъ.

— Ну, вотъ еще! Я не только не хотѣлъ, но даже не могъ думать, что это когда-нибудь случится. Когда она говорила, что переѣдетъ ко мнѣ, то я думалъ, что она мило шутитъ.

Всѣ засмѣялись.

— Я не могъ хотѣть этого,—продолжалъ Орловъ такимъ тономъ, какъ будто его вынуждали оправдываться.—Я не тургеневскій герой и если мнѣ когда-нибудь понадобится

освобождать Болгарію, то я не понуждаюсь въ дамскомъ обществѣ. На любовь я прежде всего смотрю какъ на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять съ разсужденіемъ, или же совсѣмъ отказаться отъ нея, иначе она внесетъ въ твою жизнь такіе же нечистые элементы, какъ она сама. Чтобы она была наслажденіемъ, а не мученіемъ, я стараюсь дѣлать ее красивой и обставлять множествомъ иллюзій. Я не поѣду къ женщинѣ, если заранѣе не увѣренъ, что она будетъ красива, увлекательна; и самъ я не поѣду къ ней, если я не въ ударѣ. И лишь при такихъ условіяхъ намъ удается обмануть другъ друга и намъ кажется, что мы любимъ и что мы счастливы. Но могу ли я хотѣть мѣдныхъ кастрюлей и нечесанной головы, или чтобы меня видѣли, когда я не умытъ и не въ духѣ? Зинаида Ѳедоровна въ простотѣ сердца хочетъ заставить меня полюбить то, отъ чего я прятался всю свою жизнь. Она хочетъ, чтобы у меня въ квартирѣ пахло кухней и судомойками; ей нужно съ шумомъ перебираться на новую квартиру, разъѣзжать на своихъ лошадяхъ, ей нужно считать мое бѣлье и заботиться о моемъ здоровьѣ; ей нужно каждую минуту вмѣшиваться въ мою личную жизнь и слѣдить за каждымъ моимъ шагомъ, и въ то же время искренно увѣрять, что мои привычки и свобода останутся при мнѣ. Она убѣждена, что мы, какъ молодожены, въ самомъ скоромъ времени совершимъ путешествіе, то-есть она хочетъ неотлучно находиться при мнѣ и въ купэ, и въ отеляхъ, а между тѣмъ, въ дорогѣ я люблю читать и терпѣть не могу разговаривать.

— А ты сдѣлай ей внушеніе,—сказалъ Пекарскій.

— Какъ? Ты думаешь, она пойметъ меня? Помилуй, мы мыслимъ такъ различно! По ея мнѣнію, уйти отъ папаши и мамаши или отъ мужа къ любимому мужчинѣ—это верхъ гражданскаго мужества, а по-моему это — ребячество. Полюбить, сойтись съ мужчиной—это значитъ начать новую жизнь, а по-моему это ничего не значитъ. Любовь и мужчина составляютъ главную суть ея жизни и, быть-можетъ, въ этомъ отношеніи работаетъ въ ней философія безсознательнаго; изволь-ка убѣдить ее, что любовь есть только простая потребность, какъ пища и одежда, что міръ вовсе не погибаетъ отъ того, что мужья и жены плохи, что

можно быть развратникомъ, обольстителемъ и въ то же время геніальнымъ и благороднымъ человѣкомъ, и съ другой стороны—можно отказываться отъ наслажденій любви и въ то же время быть глупымъ, злымъ животнымъ. Современный культурный человѣкъ, стоящій даже внизу, напримѣръ, французскій рабочій, тратитъ въ день на обѣдъ 10 су, на вино къ обѣду 5 су и на женщину отъ 5 до 10 су, а свой умъ и нервы онъ цѣликомъ отдаетъ работѣ. Зинаида же Ѳедоровна отдаетъ любви не су, а всю свою душу. Я, пожалуй, сдѣлаю ей внушеніе, а она въ отвѣтъ искренно завопіетъ, что я погубилъ ее, что у нея въ жизни ничего больше не осталось.

— Ты ей ничего не говори, — сказалъ Пскарскій: — а просто найми для нея отдѣльную квартиру. Вотъ и все.

— Это легко говорить...

Немного помолчали.

— Но она мила,—сказалъ Кукушкинъ.—Она прелестна. Такія женщины воображаютъ, что будутъ любить вѣчно, и отдаются съ паѳосомъ.

— Но надо имѣть голову на плечахъ,—сказалъ Орловъ:— надо разсуждать. Всѣ опыты, извѣстные намъ изъ повседневной жизни и занесенные на скрижали безчисленныхъ романовъ и драмъ, единогласно подтверждаютъ, что всякіе адюльтеры и сожительства у порядочныхъ людей, какова бы ни была любовь вначалѣ, не продолжаются дольше двухъ, а много—трехъ лѣтъ. Это она должна знать. А потому всѣ эти переѣзды, кастрюли и надежды на вѣчныя любовь и согласіе — ничего больше, какъ желаніе одурачить себя и меня. Она и мила, и прелестна,—кто споритъ? Но она перевернула телѣгу моей жизни: то, что до сихъ поръ я считалъ пустякомъ и вздоромъ, она вынуждаетъ меня возводить на степень серьезнаго вопроса, я служу идолу, котораго никогда не считалъ Богомъ. Она и мила, и прелестна, но почему-то теперь, когда я ѣду со службы домой, у меня бываетъ нехорошо на душѣ, какъ будто я жду, что встрѣчу у себя дома какое-то неудобство, въ родѣ печниковъ, которые разобрали всѣ печи и навалили горы кирпича. Однимъ словомъ, за любовь я отдаю уже не су, а часть своего покоя и своихъ нервовъ. А это скверно.

— И она не слышитъ этого злодѣя!—вздохнулъ Кукушкинъ.—Милостивый государь,—сказалъ онъ театрально:—

я освобожу васъ отъ тяжелой обязанности любить это прелестное созданіе! Я отобью у васъ Зинаиду Ѳедоровну!

— Можете...—сказалъ небрежно Орловъ.

Съ полминуты Кукушкинъ смѣялся тонкимъ голоскомъ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ, потомъ проговорилъ:

— Смотрите, я не шучу! Не извольте потомъ разыгрывать Отелло!

Всѣ стали говорить о неутомимости Кукушкина въ любовныхъ дѣлахъ, какъ онъ неотразимъ для женщинъ и опасенъ для мужей и какъ на томъ свѣтѣ черти будутъ поджаривать его на угольяхъ за безпутную жизнь. Онъ молчалъ и щурилъ глаза и, когда называли знакомыхъ дамъ, грозилъ мизинцемъ—нельзя-де выдавать чужихъ тайнъ. Орловъ вдругъ посмотрѣлъ на часы.

Гости поняли и стали собираться. Помню, Грузинъ, охмѣлѣвшій отъ вина, одѣвался на этотъ разъ томительно долго. Онъ надѣлъ свое пальто, похожее на тѣ капоты, какіе шьютъ дѣтямъ въ небогатыхъ семьяхъ, поднялъ воротникъ и сталъ что-то длинно разсказывать; потомъ, видя, что его не слушаютъ, перекинулъ черезъ плечо свой пледъ, отъ котораго пахло дѣтской, и съ виноватымъ, умоляющимъ лицомъ попросилъ меня отыскать его шапку.

— Жоржинька, ангелъ мой!—сказалъ онъ нѣжно.—Голубчикъ, послушайтесь меня, поѣдемте сейчасъ за городъ!

— Поѣзжайте, а мнѣ нельзя. Я теперь на женатомъ положеніи.

— Она славная, не разсердится. Начальникъ добрый мой, поѣдемъ! Погода великолѣпная, метелица, морозикъ... Честное слово, вамъ встряхнуться надо, а то вы не въ духѣ; чортъ васъ знаетъ...

Орловъ потянулся, зѣвнулъ и посмотрѣлъ на Пекарскаго.

— Ты поѣдешь?—спросилъ онъ въ раздумьи.

— Не знаю. Пожалуй.

— Развѣ напиться, а? Ну, ладно, поѣду,—рѣшилъ Орловъ послѣ нѣкотораго колебанія.—Погодите, схожу за деньгами.

Онъ пошелъ въ кабинетъ, а за нимъ поплелся Грузинъ, волоча за собою пледъ. Черезъ минуту оба вернулись въ переднюю. Пьяненькій и очень довольный Грузинъ комкалъ въ рукѣ десятирублевую бумажку.

— Завтра сочтемся,—говорилъ онъ.—А она добрая, не разсердится... Она у меня Лизочку крестила, я люблю ее,

бѣдную. Ахъ, милый человѣкъ!—радостно засмѣялся онъ вдругъ и припалъ лбомъ къ спинѣ Пекарскаго.—Ахъ, Пекарскій, душа моя! Адвокатиссимусъ, сухарь сухаремъ, а женщинъ небось любитъ...

— Прибавьте толстыхъ, — сказалъ Орловъ, надѣвая шубу. — Однако, поѣдемте, а то, гляди, на порогѣ встрѣтится.

Vieni pensando a me segretamente!—запѣлъ Грузинъ.

Наконецъ, уѣхали. Орловъ дома не ночевалъ и вернулся на другой день къ обѣду.

VI.

У Зинаиды Ѳедоровны пропали золотые часики, подаренные ей когда-то отцомъ. Эта пропажа удивила и испугала ее. Полдня она ходила по всѣмъ комнатамъ, растерянно оглядывая столы и окна, но часы какъ въ воду канули.

Вскорѣ послѣ этого, дня черезъ три, Зинаида Ѳедоровна, вернувшись откуда-то, забыла въ передней свой кошелекъ. Къ счастью для меня, въ этотъ разъ не я помогалъ ей раздѣваться, а Поля. Когда хватились кошелька, то въ передней его уже не оказалось.

— Странно! — недоумѣвала Зинаида Ѳедоровна. — Я отлично помню, вынула его изъ кармана, чтобъ заплатить извозчику... и потомъ положила здѣсь около зеркала. Чудеса!

Я не кралъ, но мною овладѣло такое чувство, какъ будто я укралъ и меня поймали. У меня даже слезы выступили. Когда садились обѣдать, Зинаида Ѳедоровна сказала Орлову по-французски:

— У насъ завелись духи. Я сегодня потеряла въ передней кошелекъ, а сейчасъ, гляжу, онъ лежитъ у меня на столѣ. Но духи не безкорыстно устроили такой фокусъ. Взяли себѣ за работу золотую монету и двадцать рублей.

— То у васъ часы пропадаютъ, то деньги... — сказалъ Орловъ. — Отчего со мною никогда не бываетъ ничего подобнаго?

Черезъ минуту Зинаида Ѳедоровна уже не помнила про фокусъ, который устроили духи, и со смѣхомъ разсказывала, какъ она на прошлой недѣлѣ заказала себѣ почтовой бумаги, но забыла сообщить свой новый адресъ и магазинъ послалъ бумагу на старую квартиру къ мужу, который дол-

женъ былъ заплатить по счету двѣнадцать рублей. И вдругъ она остановила свой взглядъ на Полѣ и пристально посмотрѣла на нее. При этомъ она покраснѣла и смутилась до такой степени, что заговорила о чемъ-то другомъ.

Когда я принесъ въ кабинетъ кофе, Орловъ стоялъ около камина спиной къ огню, а она сидѣла въ креслѣ противъ него.

— Я вовсе не въ дурномъ настроеніи, — говорила она по-французски.—Но я теперь стала соображать и мнѣ все понятно. Я могу назвать вамъ день и даже часъ, когда она украла у меня часы. А кошелекъ? Тутъ не можетъ быть никакихъ сомнѣній. О! — засмѣялась она, принимая отъ меня кофе. — Теперь я понимаю, отчего я такъ часто теряю свои платки и перчатки. Какъ хочешь, завтра я отпущу эту сороку на волю и пошлю Степана за своею Софьей. Та не воровка и у нея не такой... отталкивающій видъ.

— Вы не въ духѣ. Завтра вы будете въ другомъ настроеніи и поймете, что нельзя гнать человѣка только потому, что вы подозрѣваете его въ чемъ-то.

— Я не подозрѣваю, а увѣрена,—сказала Зинаида Ѳедоровна.—Пока я подозрѣвала этого пролетарія съ несчастнымъ лицомъ, вашего лакея, я ни слова не говорила. Обидно, Жоржъ, что вы мнѣ не вѣрите.

— Если мы съ вами различно думаемъ о какомъ-нибудь предметѣ, то это не значитъ, что я вамъ не вѣрю. Пусть вы правы,—сказалъ Орловъ, оборачиваясь къ огню и бросая туда папиросу:—но волноваться все-таки не слѣдуетъ. Вообще, признаться, я не ожидалъ, что мое маленькое хозяйство будетъ причинять вамъ столько серьезныхъ заботъ и волненій. Пропала золотая монета, ну, и Богъ съ ней, возьмите у меня ихъ хоть сотню, но мѣнять порядокъ, брать съ улицы новую горничную, ждать, когда она привыкнетъ,— все это длинно, скучно и не въ моемъ характерѣ. Теперешняя наша горничная, правда, толста и, быть-можетъ, имѣетъ слабость къ перчаткамъ и платкамъ, но зато она вполнѣ прилична, дисциплинирована и не визжитъ, когда ее щиплетъ Кукушкинъ.

— Однимъ словомъ, вы не можете съ ней разстаться... Такъ и скажите.

— Вы ревнуете?

— Да, я ревную! — сказала рѣшительно Зинаида Ѳедоровна.

— Благодарю.

— Да, я ревную! — повторила она, и на глазахъ у нея заблестѣли слезы.—Нѣтъ, это не ревность, а что-то хуже... я затрудняюсь назвать.—Она взяла себя за виски и продолжала съ увлеченіемъ: — Вы, мужчины, бываете такъ гадки! Это ужасно!

— Ничего я не вижу тутъ ужаснаго.

— Я не видѣла, не знаю, но говорятъ, что вы, мужчины, еще въ дѣтствѣ начинаете съ горничными и потомъ уже по привычкѣ не чувствуете никакого отвращенія. Я не знаю, не знаю, но я даже читала... Жоржъ, ты, конечно, правъ,—сказала она, подходя къ Орлову и мѣняя свой тонъ на ласковый и умоляющій:—въ самомъ дѣлѣ, я сегодня не въ духѣ. Но ты пойми, я не могу иначе. Она мнѣ противна и я боюсь ея. Мнѣ тяжело ее видѣть.

— Неужели нельзя быть выше этихъ мелочей? — сказалъ Орловъ, пожимая въ недоумѣніи плечами и отходя отъ камина.—Вѣдь нѣтъ ничего проще: не замѣчайте ея, и она не будетъ противна и не понадобится вамъ изъ пустяка дѣлать цѣлую драму.

Я вышелъ изъ кабинета и не знаю, какой отвѣтъ получилъ Орловъ. Какъ бы то ни было, Поля осталась у насъ. Послѣ этого Зинаида Ѳедоровна ни за чѣмъ уже не обращалась къ ней и, видимо, старалась обходиться безъ ея услугъ; когда Поля подавала ей что-нибудь или даже только проходила мимо, звеня своимъ браслетомъ и треща юбками, то она вздрагивала.

Я думаю, что если бы Грузинъ или Пекарскій попросили Орлова расчитать Полю, то онъ сдѣлалъ бы это безъ малѣйшаго колебанія, не утруждая себя никакими объясненіями; онъ былъ сговорчивъ, какъ всѣ равнодушные люди. Но въ отношеніяхъ своихъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ онъ почему-то даже въ мелочахъ проявлялъ упрямство, доходившее подчасъ до самодурства. Такъ ужъ я и зналъ: если что понравилось Зинаидѣ Ѳедоровнѣ, то навѣрное не понравится ему. Когда она, вернувшись изъ магазина, спѣшила похвалиться передъ нимъ обновками, то онъ мелькомъ взглядывалъ на нихъ и холодно говорилъ, что чѣмъ больше въ квартирѣ лишнихъ вещей, тѣмъ меньше воздуха.

Случалось, уже надѣвши фракъ, чтобы идти куда-нибудь, и уже простившись съ Зинаидою Ѳедоровной, онъ вдругъ изъ упрямства оставался дома. Мнѣ казалось тогда, что онъ оставался дома для того только, чтобы чувствовать себя несчастнымъ.

— Почему же вы остались? — говорила Зинаида Ѳедоровна съ напускною досадой и въ то же время сіяя отъ удовольствія. — Почему? Вы привыкли по вечерамъ не сидѣть дома, и я не хочу, чтобы вы ради меня измѣняли вашимъ привычкамъ. Поѣзжайте, пожалуйста, если не хотите, чтобы я чувствовала себя виноватой.

— А развѣ васъ винитъ кто-нибудь?—говорилъ Орловъ.

Съ видомъ жертвы, онъ разваливался у себя въ кабинетѣ въ креслѣ и, заслонивъ глаза рукой, брался за книгу. Но скоро книга валилась изъ рукъ, онъ грузно поворачивался въ креслѣ и опять заслонялъ глаза, какъ отъ солнца. Теперь ужъ ему было досадно, что онъ не ушелъ.

— Можно войти? — говорила Зинаида Ѳедоровна, нерѣшительно входя въ кабинетъ.—Вы читаете? А я соскучилась и пришла на одну минутку... взглянуть.

Помню, въ одинъ изъ вечеровъ она вошла такъ же вотъ нерѣшительно и не кстати и опустилась на коверъ у ногъ Орлова, и по ея робкимъ, мягкимъ движеніямъ видно было, что она не понимала его настроенія и боялась.

— А вы все читаете...—начала она вкрадчиво, видимо, желая польстить ему.—Знаете, Жоржъ, въ чемъ еще тайна вашего успѣха? Вы очень образованы и умны. Это у васъ какая книга?

Орловъ отвѣтилъ. Прошло въ молчаніи нѣсколько минутъ, показавшихся мнѣ очень длинными. Я стоялъ въ гостиной, откуда наблюдалъ обоихъ, и боялся закашлять.

— Я хотѣла что-то сказать вамъ... — проговорила тихо Зинаида Ѳедоровна и засмѣялась.—Сказать? Вы, пожалуй, станете смѣяться и назовете это самообольщеніемъ. Видите ли, мнѣ ужасно, ужасно хочется думать, что вы сегодня остались дома ради меня... чтобы этотъ вечеръ провести вмѣстѣ. Да? Можно такъ думать?

— Думайте,—сказалъ Орловъ, заслоняя глаза.—Истинно счастливый человѣкъ тотъ, кто думаетъ не только о томъ, что есть, но даже о томъ, чего нѣтъ.

— Вы сказали что-то длинное, я не совсѣмъ поняла.

То-есть вы хотите сказать, что счастливые люди живутъ воображеніемъ? Да, это правда. Я люблю по вечерамъ сидѣть въ вашемъ кабинетѣ и уноситься мыслями далеко, далеко... Пріятно бываетъ помечтать. Давайте, Жоржъ, мечтать вслухъ!

— Я въ институтѣ не былъ, не проходилъ этой науки.

— Вы не въ духѣ?—спросила Зинаида Ѳедоровна, беря Орлова за руку.—Скажите—отчего? Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у васъ болитъ или вы сердитесь на меня...

Прошло въ молчаніи еще нѣсколько длинныхъ минутъ.

— Отчего вы перемѣнились?—сказала она тихо.—Отчего вы не бываете уже такъ нѣжны и веселы, какъ на Знаменской? Прожила я у васъ почти мѣсяцъ, но мнѣ кажется, мы еще не начинали жить и ни о чемъ еще не поговорили, какъ слѣдуетъ. Вы всякій разъ отвѣчаете мнѣ шуточками или холодно и длинно, какъ учитель. И въ шуточкахъ вашихъ что-то холодное... Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?

— Я всегда говорю серьезно.

— Ну, вотъ давайте говорить. Ради Бога, Жоржъ... Давайте?

— Давайте. Но о чемъ?

— Будемъ говорить о нашей жизни, о будущемъ...—сказала мечтательно Зинаида Ѳедоровна.—Я все строю планы жизни, все строю — и мнѣ такъ хорошо! Жоржъ, я начну съ вопроса: когда вы оставите вашу службу?..

— Это зачѣмъ же? — спросилъ Орловъ, отнимая руку отъ лба.

— Съ вашими взглядами нельзя служить. Вы тамъ не на мѣстѣ.

— Мои взгляды?—спросилъ Орловъ.—Мои взгляды? По убѣжденіямъ и по натурѣ я обыкновенный чиновникъ, щедринскій герой. Вы принимаете меня за кого-то другого, смѣю васъ увѣрить.

— Опять шуточки, Жоржъ!

— Нисколько. Служба не удовлетворяетъ меня, быть-можетъ, но все же для меня она лучше, чѣмъ что-нибудь другое. Тамъ я привыкъ, тамъ люди такіе же, какъ я; тамъ я не лишній во всякомъ случаѣ и чувствую себя сносно.

— Вы ненавидите службу и вамъ она претитъ.

— Да? Если я подамъ въ отставку, стану мечтать вслухъ и унесусь въ иной міръ, то, вы думаете, этотъ міръ будетъ мнѣ менѣе ненавистенъ, чѣмъ служба?

— Чтобы противорѣчить мнѣ, вы готовы даже клеветать на себя,—обидѣлась Зинаида Ѳедоровна и встала.—Я жалѣю, что начала этотъ разговоръ.

— Что же вы сердитесь? Вѣдь я не сержусь, что вы не служите. Каждый живетъ, какъ хочетъ.

— Да развѣ вы живете, какъ хотите? Развѣ вы свободны? Писать всю жизнь бумаги, которыя противны вашимъ убѣжденіямъ, — продолжала Зинаида Ѳедоровна, въ отчаяніи всплескивая руками:—подчиняться, поздравлять начальство съ новымъ годомъ, потомъ карты, карты и карты, а, главное, служить порядкамъ, которые не могутъ быть вамъ симпатичны,—нѣтъ, Жоржъ, нѣтъ! Не шутите такъ грубо. Это ужасно. Вы идейный человѣкъ и должны служить только идеѣ.

— Право, вы принимаете меня за кого-то другого, — вздохнулъ Орловъ.

— Скажите просто, что вы не хотите со мной говорить. Я вамъ противна, вотъ и все,—проговорила сквозь слезы Зинаида Ѳедоровна.

— Вотъ что, моя милая,—сказалъ Орловъ наставительно поднимаясь въ креслѣ.—Вы сами изволили замѣтить, человѣкъ я умный и образованный, а ученаго учить — только портить. Всѣ идеи, малыя и великія, которыя вы имѣете въ виду, называя меня идейнымъ человѣкомъ, мнѣ хорошо извѣстны. Стало-быть, если службу и карты я предпочитаю этимъ идеямъ, то, вѣроятно, имѣю на то основаніе. Это разъ. Во-вторыхъ, вы, насколько мнѣ извѣстно, никогда не служили и сужденія свои о государственной службѣ можете черпать только изъ анекдотовъ и плохихъ повѣстей. Поэтому намъ не мѣшало бы условиться разъ навсегда; не говорить о томъ, что намъ давно уже извѣстно, или о томъ что не входитъ въ кругъ нашей компетенціи.

— Зачѣмъ вы со мной такъ говорите?—проговорила Зинаида Ѳедоровна, отступая назадъ, какъ бы въ ужасѣ. — Зачѣмъ? Жоржъ, опомнитесь Бога ради!

Голосъ ея дрогнулъ и оборвался; она, повидимому, хотѣла задержать слезы, но вдругъ зарыдала.

— Жоржъ, дорогой мой, я погибаю! — сказала она по-французски, быстро опускаясь передъ Орловымъ и кладя голову ему на колѣни.—Я измучилась, утомилась и не могу больше, не могу... Въ дѣтствѣ ненавистная, развратная мачиха, потомъ мужъ, а теперь вы... вы... Вы на мою безумную любовь отвѣчаете ироніей и холодомъ... И эта страшная, наглая горничная!—продолжала она, рыдая.—Да, да, я вижу: я вамъ не жена, не другъ, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашею любовницей... Я убью себя!

Я не ожидалъ, что эти слова и этотъ плачъ произведутъ на Орлова такое сильное впечатлѣніе. Онъ покраснѣлъ, безпокойно задвигался въ креслѣ и на лицѣ его вмѣсто ироніи показался тупой, мальчишескій страхъ.

— Дорогая моя, вы меня не поняли, клянусь вамъ, — растерянно забормоталъ онъ, трогая ее за волосы и плечи.— Простите меня, умоляю васъ. Я былъ неправъ и.... ненавижу себя.

— Я оскорбляю васъ своими жалобами и нытьемъ... Вы честный, великодушный... рѣдкій человѣкъ, я сознаю это каждую минуту, но меня всѣ дни мучила тоска...

Зинаида Ѳедоровна порывисто обняла Орлова и поцѣловала его въ щеку.

— Только не плачьте, пожалуйста,—проговорилъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ... Я уже наплакалась и мнѣ легко.

— Что касается горничной, то завтра же ея не будетъ,—сказалъ онъ, все еще безпокойно двигаясь въ креслѣ.

— Нѣтъ, она должна остаться, Жоржъ! Слышите? Я уже не боюсь ея... Надо быть выше мелочей и не думать глупостей. Вы правы! Вы—рѣдкій... необыкновенный человѣкъ!

Скоро она перестала плакать. Съ невысохшими слезинками на рѣсницахъ, сидя на колѣняхъ у Орлова, она вполголоса разсказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминанія дѣтства и юности, и гладила его рукой по лицу, цѣловала и внимательно разсматривала его руки съ кольцами и брелоки на цѣпочкѣ. Она увлекалась и своимъ разсказомъ, и близостью любимаго человѣка, и оттого, вѣроятно, что недавнія слезы очистили и освѣжили ея душу, голосъ ея звучалъ необыкновенно чисто и искренно. А Орловъ игралъ ея каштановыми волосами и цѣловалъ ея руки, беззвучно прикасаясь къ нимъ губами.

Затѣмъ пили въ кабинетѣ чай и Зинаида Ѳедоровна читала вслухъ какія-то письма. Въ первомъ часу пошли спать.

Въ эту ночь у меня сильно болѣлъ бокъ, и я до самаго утра не могъ согрѣться и уснуть. Мнѣ слышно было, какъ Орловъ прошелъ изъ спальни къ себѣ въ кабинетъ. Просидѣвъ тамъ около часа, онъ позвонилъ. Отъ боли и утомленія я забылъ о всѣхъ порядкахъ и приличіяхъ въ свѣтѣ и отправился въ кабинетъ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и босой. Орловъ въ халатѣ и въ шапочкѣ стоялъ въ дверяхъ и ждалъ меня.

— Когда тебя зовутъ, ты долженъ являться одѣтымъ,— сказалъ онъ строго.—Подай другія свѣчи.

Я хотѣлъ извиниться, но вдругъ сильно закашлялся и, чтобы не упасть, ухватился одною рукой за косякъ.

— Вы больны?—спросилъ Орловъ.

Кажется, за все время нашего знакомства это онъ въ первый разъ сказалъ мнѣ вы, Богъ его знаетъ, почему. Вѣроятно, въ нижнемъ бѣльѣ и съ лицомъ, искаженнымъ отъ кашля, я плохо игралъ свою роль и мало походилъ на лакея.

— Если вы больны, то зачѣмъ же вы служите? — сказалъ онъ.

— Чтобы не умереть съ голода,—отвѣтилъ я.

— Какъ все это въ сущности пакостно! — тихо проговорилъ онъ, идя къ своему столу.

Пока я, накинувъ на себя сюртукъ, вставлялъ и зажигалъ новыя свѣчи, онъ сидѣлъ около стола и, протянувъ ноги на кресло, обрѣзывалъ книгу.

Оставилъ я его углубленнымъ въ чтеніе, и книга уже не валилась у него изъ рукъ, какъ вечеромъ.

VII.

Теперь, когда я пишу эти строки, мою руку удерживаетъ воспитанный во мнѣ съ дѣтства страхъ — показаться чувствительнымъ и смѣшнымъ; когда мнѣ хочется ласкать и говорить нѣжности, я не умѣю быть искреннимъ. Вотъ именно отъ этого страха и съ непривычки я никакъ не могу выразить съ полной ясностью, что происходило тогда въ моей душѣ.

Я не былъ влюбленъ въ Зинаиду Ѳедоровну, но въ обыкновенномъ человѣческомъ чувствѣ, какое я питалъ къ ней,

было гораздо больше молодого, свѣжаго и радостнаго, чѣмъ въ любви Орлова.

Работая по утрамъ сапожною щеткой или вѣникомъ, я съ замираніемъ сердца ждалъ, когда, наконецъ, услышу ея голосъ и шаги. Стоять и смотрѣть на нее, когда она пила кофе и потомъ завтракала, подавать ей въ передней шубку и надѣвать на ея маленькія ножки калоши, причемъ она опиралась о мое плечо, потомъ ждать, когда снизу позвонитъ мнѣ швейцаръ, встрѣчать ее въ дверяхъ, розовую, холодную, попудренную снѣгомъ, слушать отрывистыя восклицанія насчетъ мороза или извозчика,—если бъ вы знали, какъ все это было для меня важно! Мнѣ хотѣлось влюбиться, имѣть свою семью, хотѣлось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голосъ. Я мечталъ и за обѣдомъ, и на улицѣ, когда меня посылали куда-нибудь, и ночью, когда не спалъ. Орловъ брезгливо отбрасывалъ отъ себя женскія тряпки, дѣтей, кухню, мѣдныя кастрюли, а я подбиралъ все это и бережно лелѣялъ въ своихъ мечтахъ, любилъ, просилъ у судьбы, и мнѣ грезились жена, дѣтская, тропинки въ саду, домикъ...

Я зналъ, что если бы я полюбилъ ее, то не посмѣлъ бы разсчитывать на такое чудо, какъ взаимность, но это соображеніе меня не безпокоило. Въ моемъ скромномъ, тихомъ чувствѣ, похожемъ на обыкновенную привязанность, не было ни ревности къ Орлову, ни даже зависти, такъ какъ я понималъ, что личное счастье для такого калѣки, какъ я, возможно только въ мечтахъ.

Когда Зинаида Ѳедоровна по ночамъ, поджидая своего Жоржа, неподвижно глядѣла въ книгу, не перелистывая страницъ, или когда вздрагивала и блѣднѣла оттого, что черезъ комнату проходила Поля, я страдалъ вмѣстѣ съ нею и мнѣ приходило въ голову—разрѣзать поскорѣе этотъ тяжелый нарывъ, сдѣлать поскорѣе такъ, чтобы она узнала все то, что говорилось здѣсь въ четверги за ужиномъ, но—какъ это сдѣлать? Все чаще и чаще мнѣ приходилось видѣть слезы. Въ первыя недѣли она смѣялась и пѣла свою пѣсенку, даже когда Орлова не было дома, но уже на другой мѣсяцъ у насъ въ квартирѣ была унылая тишина, нарушаемая только по четвергамъ.

Она льстила Орлову и, чтобы добиться отъ него неискренней улыбки или поцѣлуя, стояла передъ нимъ на колѣняхъ,

ласкалася, какъ собачонка. Проходя мимо зеркала, даже когда у нея на душѣ было очень тяжело, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически. Мнѣ казалось страннымъ, что она все еще продолжала интересоваться нарядами и приходить въ восторгъ отъ своихъ покупокъ. Это какъ-то не шло къ ея искренней печали. Она слѣдила за модой и шила себѣ дорогія платья. Для кого и для чего? Мнѣ особенно памятно одно новое платье, которое стоило четыреста рублей. За лишнее, не нужное платье отдавать четыреста рублей, когда наши поденщицы за свой каторжный трудъ получаютъ по двугривенному въ день на своихъ харчахъ, и когда венеціанскимъ и брюссельскимъ кружевницамъ платятъ только по полуфранку въ день въ расчетѣ, что остальное онѣ добудутъ развратомъ; и мнѣ было странно, что Зинаида Ѳедоровна не сознаетъ этого, мнѣ было досадно. Но стоило ей только уйти изъ дому, какъ я все извинялъ, все объяснялъ и ждалъ, когда позвонитъ мнѣ снизу швейцаръ.

Относилась она ко мнѣ, какъ къ лакею, существу низшему. Можно гладить собаку и въ то же время не замѣчать ея; мнѣ приказывали, задавали вопросы, но не замѣчали моего присутствія. Хозяева считали неприличнымъ говорить со мной больше, чѣмъ это принято; если бъ я, прислуживая за обѣдомъ, вмѣшался въ разговоръ или засмѣялся, то меня навѣрное сочли бы сумасшедшимъ и дали бы мнѣ расчетъ. Но все же Зинаида Ѳедоровна благоволила ко мнѣ. Когда она посылала меня куда-нибудь или объясняла, какъ обращаться съ новою лампой, или что-нибудь въ родѣ, то лицо у нея было необыкновенно ясное, доброе и привѣтливое, и глаза смотрѣли мнѣ прямо въ лицо. При этомъ мнѣ всякій разъ казалось, что она съ благодарностью вспоминаетъ, какъ я носилъ ей письма на Знаменскую. Когда она звонила, то Поля, считавшая меня ея фаворитомъ и ненавидѣвшая меня за это, говорила съ язвительною усмѣшкой:

— Иди, тебя *твоя* зоветъ.

Зинаида Ѳедоровна относилась ко мнѣ, какъ къ существу низшему, и не подозрѣвала, что если кто и былъ въ домѣ униженъ, такъ это только она одна. Она не знала, что я, лакей, страдалъ за нее и разъ двадцать на день спрашивалъ себя, что ожидаетъ ее впереди и чѣмъ все это кон-

чится. Дѣла съ каждымъ днемъ замѣтно становились хуже. Послѣ того вечера, когда говорили о службѣ, Орловъ, не любившій слезъ, сталъ видимо бояться и избѣгать разговоровъ; когда Зинаида Ѳедоровна начинала спорить или умолять, или собиралась заплакать, то онъ подъ благовиднымъ предлогомъ уходилъ къ себѣ въ кабинетъ или вовсе изъ дому. Онъ все рѣже и рѣже ночевалъ дома и еще рѣже обѣдалъ; по четвергамъ онъ уже самъ просилъ своихъ пріятелей, чтобъ они увезли его куда-нибудь. Зинаида Ѳедоровна попрежнему мечтала о своей кухнѣ, о новой квартирѣ и путешествіи за границу, но мечты оставались мечтами. Обѣдъ приносили изъ ресторана, квартирнаго вопроса Орловъ просилъ не поднимать впредь до возвращенія изъ-за границы, а о путешествіи говорилъ, что нельзя ѣхать раньше, чѣмъ у него отростутъ длинные волосы, такъ какъ таскаться по отелямъ и служить идеѣ нельзя безъ длинныхъ волосъ.

Въ довершеніе всего, къ намъ въ отсутствіе Орлова сталъ навѣдываться по вечерамъ Кукушкинъ. Въ поведеніи его не было ничего особеннаго, но я все никакъ не могъ забыть того разговора, когда онъ собирался отбить у Орлова Зинаиду Ѳедоровну. Его поили чаемъ и краснымъ виномъ, а онъ хихикалъ и, желая сказать пріятное, увѣрялъ, что гражданскій бракъ во всѣхъ отношеніяхъ выше церковнаго и что въ сущности всѣ порядочные люди должны придти теперь къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ и поклониться ей въ ножки.

VIII.

Рождественскія святки прошли скучно, въ смутныхъ ожиданіяхъ чего-то недобраго. Наканунѣ новаго года за утреннимъ кофе Орловъ неожиданно объявилъ, что начальство посылаетъ его съ особыми полномочіями къ сенатору, ревизующему какую-то губернію.

— Не хочется ѣхать, да не придумаешь отговорки! — сказалъ онъ съ досадой. — Надо ѣхать, ничего не подѣлаешь.

Отъ такой новости у Зинаиды Ѳедоровны мгновенно покраснѣли глаза.

— Надолго?—спросила она.

— Дней на пять.

— Я, признаться, рада, что ты ѣдешь, — сказала она,

подумавъ. — Развлечешься. Влюбишься въ кого-нибудь дорогой и потомъ мнѣ разскажешь.

Она при всякомъ удобномъ случаѣ старалась дать понять Орлову, что она его нисколько не стѣсняетъ и что онъ можетъ располагать собою, какъ хочетъ, и эта не хитрая, шитая бѣлыми нитками политика никого не обманывала и только лишній разъ напоминала Орлову, что онъ не свободенъ.

— Я поѣду сегодня вечеромъ, — сказалъ онъ и сталъ читать газеты.

Зинаида Ѳедоровна собиралась проводить его на вокзалъ, но онъ отговорилъ ее, сказавши, что онъ уѣзжаетъ не въ Америку и не на пять лѣтъ, а только всего на пять дней, даже меньше.

Въ восьмомъ часу происходило прощаніе. Онъ обнялъ ее одною рукой и поцѣловалъ въ лобъ и въ губы.

— Будь умницей, не скучай безъ меня, — проговорилъ онъ ласковымъ, сердечнымъ тономъ, который и меня тронулъ.—Храни тебя Создатель.

Она жадно вглядывалась въ его лицо, чтобы покрѣпче запечатлѣть въ памяти дорогія черты, потомъ граціозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.

— Прости мнѣ наши недоразумѣнія,—сказала она по-французски.—Мужъ и жена не могутъ не ссориться, если любятъ, а я люблю тебя до сумасшествія. Не забывай... Телеграфируй почаще и подробнѣе.

Орловъ поцѣловалъ ее еще разъ и, не сказавъ ни слова, вышелъ въ смущеніи. Когда уже за дверью щелкнулъ замокъ, онъ остановился на срединѣ лѣстницы въ раздумьи и взглянулъ наверхъ. Мнѣ казалось, что если бы сверху въ это время донесся хоть одинъ звукъ, то онъ вернулся бы. Но было тихо. Онъ поправилъ на себѣ шинель и сталъ нерѣшительно спускаться внизъ.

У подъѣзда давно уже ждали извозчики. Орловъ сѣлъ на одного, я съ двумя чемоданами на другого. Былъ сильный морозъ и на перекресткахъ дымились костры. Отъ быстрой ѣзды холодный вѣтеръ щипалъ мнѣ лицо и руки, захватывало духъ, и я, закрывъ глаза, думалъ: какая она великолѣпная женщина! Какъ она любитъ! Даже ненужныя вещи собираютъ теперь по дворамъ и продаютъ ихъ съ благотворительною цѣлью, и битое стекло

считается хорошимъ товаромъ, но такая драгоцѣнность, такая рѣдкость, какъ любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадаетъ совершенно даромъ. Одинъ старинный соціологъ смотрѣлъ на всякую дурную страсть, какъ на силу, которую при умѣньи можно направить къ добру, а у насъ и благородная, красивая страсть зарождается и потомъ вымираетъ, какъ безсиліе, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?

Извозчики неожиданно остановились. Я открылъ глаза и увидѣлъ, что мы стоимъ на Сергіевской, около большого дома, гдѣ жилъ Пекарскій. Орловъ вышелъ изъ саней и скрылся въ подъѣздѣ. Минутъ черезъ пять въ дверяхъ показался лакей Пекарскаго, безъ шапки, и крикнулъ мнѣ, сердясь на морозъ:

— Глухой, что ли? Отпусти извозчиковъ и ступай наверхъ. Зовутъ!

Ничего не понимая, я отправился во второй этажъ. Я и раньше бывалъ въ квартирѣ Пекарскаго, то-есть стоялъ въ передней и смотрѣлъ въ залу, и послѣ сырой, мрачной улицы она всякій разъ поражала меня блескомъ своихъ картинныхъ рамъ, бронзы и дорогой мебели. Теперь въ этомъ блескѣ я увидѣлъ Грузина, Кукушкина и немного погодя Орлова.

— Вотъ что, Степанъ,—сказалъ онъ, подходя ко мнѣ.— Я проживу здѣсь до пятницы или субботы. Если будутъ письма и телеграммы, то каждый день приноси ихъ сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уѣхалъ и велѣлъ кланяться. Ступай съ Богомъ.

Когда я вернулся домой, Зинаида Ѳедоровна лежала въ гостиной на софѣ и ѣла грушу. Горѣла только одна свѣча, вставленная въ канделябру.

— Не опоздали къ поѣзду? — спросила Зинаида Ѳедоровна.

— Никакъ нѣтъ. Приказали кланяться.

Я пошелъ къ себѣ въ лакейскую и тоже легъ. Дѣлать было нечего и читать не хотѣлось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягалъ мысль, чтобы понять, для чего понадобился этотъ обманъ. Вѣдь такъ только подростки обманываютъ своихъ любовницъ. Неужели онъ, много читающій и разсуждающій человѣкъ, не могъ придумать чего-нибудь поумнѣе? Признаюсь, я былъ не пло-

хого мнѣнія объ его умѣ. Я думалъ, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильнаго человѣка, то онъ употребилъ бы на это много энергіи и искусства, тутъ же, чтобы обмануть женщину, сгодилось очевидно то, что первое пришло въ голову; удастся обманъ—хорошо, не удастся—бѣда не велика, можно будетъ солгать во второй разъ такъ же просто и скоро, не ломая головы.

Въ полночь, когда въ верхнемъ этажѣ надъ нами, встрѣчая новый годъ, задвигали стульями и прокричали ура, Зинаида Ѳедоровна позвонила мнѣ изъ комнаты, что рядомъ съ кабинетомъ. Она, вялая отъ долгаго лежанья, сидѣла за столомъ и писала что-то на клочкѣ бумаги.

— Нужно отправить телеграмму,—сказала она и улыбнулась.—Поѣзжайте скорѣе на вокзалъ и попросите послать вслѣдъ.

Выйдя затѣмъ на улицу, я прочелъ на клочкѣ: «Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ. Скорѣй телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла цѣлая вѣчность. Жалѣю, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцѣлуевъ и самое сердце. Будь веселъ, радость моя. Зина».

Я послалъ эту телеграмму и на другой день утромъ отдалъ росписку.

IX.

Хуже всего, что Орловъ необдуманно посвятилъ въ тайну своего обмана также и Полю, приказавъ ей принести сорочки на Сергіевскую. Послѣ этого она со злорадствомъ и съ непостижимою для меня ненавистью смотрѣла на Зинаиду Ѳедоровну и не переставала у себя въ комнатѣ и въ передней фыркать отъ удовольствія.

— Зажилась, пора и честь знать! — говорила она съ восторгомъ.—Самой бы надо понимать...

Она уже нюхомъ чуяла, что Зинаидѣ Ѳедоровнѣ осталось у насъ не долго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила все, что попадалось на глаза — флаконы, черепаховыя шпильки, платки, ботинки. На другой день новаго года Зинаида Ѳедоровна позвала меня въ свою комнату и сообщила мнѣ вполголоса, что у нея пропало черное платье. И потомъ ходила по всѣмъ комнатамъ, блѣдная,

съ испуганнымъ и негодующимъ лицомъ и разговаривала сама съ собой:

— Каково? Нѣтъ, каково? Вѣдь это неслыханная дерзость!

За обѣдомъ она хотѣла налить себѣ супу, но не могла,— дрожали руки. И губы у нея дрожали. Она безпомощно поглядывала на супъ и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдругъ не выдержала и посмотрѣла на Полю.

— Вы, Поля, можете выйти отсюда, — сказала она.— Достаточно одного Степана.

— Ничего-съ, постою-съ,—отвѣтила Поля.

— Незачѣмъ вамъ тутъ стоять. Вы уходите отсюда совсѣмъ... совсѣмъ! — продолжала Зинаида Ѳедоровна, вставая въ сильномъ волненіи.— Можете искать себѣ другое мѣсто. Сейчасъ же уходите!

— Безъ приказанія барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Какъ они прикажутъ, такъ и будетъ.

— Я тоже приказываю вамъ! Я тутъ хозяйка!—сказала Зинаида Ѳедоровна и вся покраснѣла.

Можетъ, вы и хозяйка, но расчетъ мнѣ можетъ только баринъ. Они меня нанимали.

Вы не смѣете оставаться здѣсь ни одной минуты!— кричала Зинаида Ѳедоровна и ударила ножомъ по тарелкѣ.—Вы вороны! Слышите?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— Телеграммы не приносили?—спросила она.

— Никакъ нѣтъ.

— Справьтесь у швейцара, можетъ-быть, есть телеграмма. Да не уходите изъ дому,—сказала она мнѣ вслѣдъ:— мнѣ страшно оставаться одной.

Потомъ мнѣ почти каждый часъ приходилось бѣгать внизъ къ швейцару и спрашивать, нѣтъ ли телеграммы. Что за жуткое время, долженъ признаться! Зинаида Ѳедоровна, чтобы не видѣть Поли, обѣдала и пила чай у себя въ комнатѣ, тутъ же и спала на короткомъ диванѣ, похожемъ на букву Э, и сама убирала за собой постель. Въ первые дни носилъ телеграммы я, но, не получая отвѣта, она перестала вѣрить мнѣ и сама ѣздила на телеграфъ. Глядя на нее, я тоже съ нетерпѣніемъ ждалъ телеграммы. Я надѣялся, что онъ придумаетъ какую-нибудь ложь, напримѣръ, распорядится, чтобы ей послали телеграмму съ какой-нибудь станціи. Если онъ слишкомъ заигрался въ карты, думалъ я, или успѣлъ уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнятъ ему о насъ и Грузинъ, и Кукушкинъ. Но напрасно мы ожидали. Разъ пять на день я входилъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ съ тѣмъ, чтобы разсказать ей всю правду, но она глядѣла, какъ коза, плечи у нея были опущены, губы шевелились, и я уходилъ назадъ, не сказавъ ни слова. Состраданіе и жалость отнимали у меня все мужество. Поля, какъ ни въ чемъ не бывало, веселая и довольная, убирала кабинетъ барина, спальню, рылась въ шкапахъ и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Ѳедоровны, напѣвала что-то и кашляла. Ей нравилось, что отъ нея прятались. Вечеромъ она уходила куда-то, а часа въ два или три звонилась, и я долженъ былъ отворять ей и выслушивать замѣчанія насчетъ своего кашля. Тотчасъ же слышался другой звонокъ, я бѣжалъ къ комнатѣ, что рядомъ съ кабинетомъ, и Зинаида Ѳедоровна, просунувъ въ дверь голову, спрашивала: «Кто это звонилъ?» А сама смотрѣла мнѣ на руки — нѣтъ ли въ нихъ телеграммы.

Когда, наконецъ, въ субботу позвонили снизу и на лѣстницѣ послышался знакомый голосъ, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала; она бросилась къ нему навстрѣчу, обняла его, цѣловала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцаръ

внесъ чемоданы, послышался веселый голосъ Поли. Точно кто на каникулы пріѣхалъ!

— Отчего ты не телеграфировалъ? — говорила Зинаида Ѳедоровна, тяжело дыша отъ радости. — Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время... О, Боже мой!

— Очень просто! Мы съ сенаторомъ въ первый же день поѣхали въ Москву, я не получалъ твоихъ телеграммъ,— сказалъ Орловъ. — Послѣ обѣда я, душа моя, дамъ тебѣ самый подробный отчетъ, а теперь спать, спать и спать... Замаялся въ вагонѣ.

Видно было, что онъ не спалъ всю ночь: вѣроятно, игралъ въ карты и много пилъ. Зинаида Ѳедоровна уложила его въ постель, и всѣ мы потомъ до самаго вечера ходили на цыпочкахъ. Обѣдъ прошелъ вполнѣ благополучно, но когда ушли въ кабинетъ пить кофе, началось объясненіе. Зинаида Ѳедоровна заговорила о чемъ-то быстро, вполголоса, она говорила по-французски, и рѣчь ея журчала, какъ ручей, потомъ послышался громкій вздохъ Орлова и его голосъ.

— Боже мой! — сказалъ онъ по-французски. — Неужели у васъ нѣтъ новостей посвѣжѣе, чѣмъ эта вѣчная пѣсня о злодѣйкѣ горничной?

— Но, милый, она меня обокрала и наговорила мнѣ дерзостей.

— Но отчего она меня не обкрадываетъ и не говоритъ мнѣ дерзостей? Отчего я никогда не замѣчаю ни горничныхъ, ни дворниковъ, ни лакеевъ? Милая моя, вы просто капризничаете и не хотите имѣть характера... Я даже подозрѣваю, что вы беременны. Когда я предлагалъ вамъ уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогналъ ее. А я въ такихъ случаяхъ тоже упрямый человѣкъ: на капризъ я отвѣчаю тоже капризомъ. Вы хотите, чтобы она ушла, ну, а я вотъ хочу, чтобы она осталась. Это единственный способъ излѣчить васъ отъ нервовъ.

— Ну, будетъ, будетъ!—сказала испуганно Зинаида Ѳедоровна.—Перестанемъ говорить объ этомъ... Отложимъ до завтра. Теперь разскажи мнѣ о Москвѣ... Что въ Москвѣ?

X.

На другой день — это было 7-го января, день Іоанна Крестителя—Орловъ послѣ завтрака надѣлъ черный фракъ

и орденъ, чтобы ѣхать къ отцу поздравлять его съ ангеломъ. Нужно было ѣхать къ двумъ часамъ, а когда онъ кончилъ одѣваться, была только половина второго. Какъ употребить эти полчаса? Онъ ходилъ по гостиной и декламировалъ поздравительные стихи, которые читалъ когда-то въ дѣтствѣ отцу и матери. Тутъ же сидѣла Зинаида Ѳедоровна, собравшаяся ѣхать къ портнихѣ или въ магазинъ, и слушала его съ улыбкой. Не знаю, съ чего у нихъ начался разговоръ, но когда я принесъ Орлову перчатки, онъ стоялъ передъ Зинаидою Ѳедоровной и съ капризнымъ, умоляющимъ лицомъ говорилъ ей:

— Ради Бога, ради всего святого, не говорите вы о томъ, что уже извѣстно всѣмъ и каждому. И что за несчастная способность у нашихъ умныхъ, мыслящихъ дамъ говорить съ глубокомысленнымъ видомъ и съ азартомъ о томъ, что давно уже набило оскомину даже гимназистамъ. Ахъ, если бы вы исключили изъ нашей супружеской программы всѣ эти серьезные вопросы! Какъ бы одолжили!

— Мы, женщины, не можемъ смѣть свое сужденіе имѣть.

— Я даю вамъ полную свободу, будьте либеральны и цитируйте какихъ угодно авторовъ, но сдѣлайте мнѣ уступку, не трактуйте въ моемъ присутствіи только о двухъ вещахъ: о зловредности высшаго свѣта и о ненормальностяхъ брака. Поймите же вы, наконецъ. Высшій свѣтъ бранятъ всегда, чтобы противопоставить его тому свѣту, гдѣ живутъ купцы, попы, мѣщане и мужики, разные тамъ Сидоры и Никиты. Оба свѣта мнѣ противны, но если бы мнѣ предложили выбирать по совѣсти между тѣмъ и другимъ, то я, не задумываясь, выбралъ бы высшій, и это не было бы ложью и кривляньемъ, такъ какъ всѣ мои вкусы на его сторонѣ. Нашъ свѣтъ и пошлъ, и пустъ, но зато мы съ вами хоть порядочно говоримъ по-французски, кое-что почитываемъ и не толкаемъ другъ друга подъ микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоровъ, Никитъ и у ихъ степенствъ — потрафляемъ, таперича, чтобъ тебѣ повылазило, и полная разнузданность кабацкихъ нравовъ и идолопоклонство.

— Мужикъ и купецъ кормятъ васъ.

— Да, ну такъ что же? Это рекомендуетъ съ дурной стороны не меня только, но и ихъ также. Они кормятъ меня и ломаютъ передо мною шапку, значитъ, у нихъ не

хватаетъ ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высшій свѣтъ и низшій—оба лучше. Сердцемъ и умомъ я противъ обоихъ, но вкусы мои на сторонѣ перваго. Ну-съ, что же касается теперь ненормальностей брака,—продолжалъ Орловъ, взглянувъ на часы:—то пора вамъ понять, что никакихъ ненормальностей нѣтъ, а есть пока только неопредѣленныя требованія къ браку. Что вы хотите отъ брака? Въ законномъ и незаконномъ сожительствѣ, во всѣхъ союзахъ и сожительствахъ, хорошихъ и дурныхъ, — одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для васъ все, безъ нея ваше существованіе не имѣло бы для васъ смысла. Вамъ ничего не нужно, кромѣ сущности, вы и берете ее, но съ тѣхъ поръ, какъ вы начитались повѣстей, вамъ стало стыдно брать, и вы мечетесь изъ стороны въ сторону, мѣняете, очертя голову, мужчинъ и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностяхъ брака. Разъ вы не можете и не хотите устранить сущности, самаго главнаго вашего врага, вашего сатану, разъ вы продолжаете рабски служить ему, то какіе тутъ могутъ быть серьезные разговоры? Все, что вы ни скажете мнѣ, будетъ вздоръ и кривлянье. Не повѣрю я вамъ.

Я пошелъ узнать у швейцара, есть ли извозчикъ, и, когда вернулся, то засталъ уже ссору. Какъ выражаются моряки, вѣтеръ крѣпчалъ.

— Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашимъ цинизмомъ, — говорила Зинаида Ѳедоровна, ходя въ сильномъ волненіи по гостиной.—Мнѣ отвратительно васъ слушать. Я чиста передъ Богомъ и людьми, и мнѣ не въ чемъ раскаиваться. Я ушла отъ мужа къ вамъ и горжусь этимъ. Горжусь, клянусь вамъ моею честью!

— Ну, и прекрасно.

— Если вы честный, порядочный человѣкъ, то вы тоже должны гордиться моимъ поступкомъ. Онъ возвышаетъ меня и васъ надъ тысячами людей, которые хотѣли бы поступить такъ же, какъ я, но не рѣшаются изъ малодушія или мелкихъ разсчетовъ. Но вы не порядочны. Вы боитесь свободы и насмѣхаетесь надъ честнымъ порывомъ изъ страха, чтобы какой-нибудь невѣжда не заподозрилъ, что вы честный человѣкъ. Вы боитесь показывать меня своимъ знакомымъ, для васъ нѣтъ выше наказанія, какъ ѣхать вмѣстѣ

со мною по улицѣ... Что? Развѣ это не правда? Почему вы до сихъ поръ не представили меня вашему отцу и вашей кузинѣ? Почему? Нѣтъ, мнѣ это надоѣло, наконецъ!—крикнула Зинаида Ѳедоровна и топнула ногой.—Я требую того, что мнѣ принадлежитъ по праву. Извольте представить меня вашему отцу!

— Если онъ вамъ нуженъ, то представьтесь ему сами. Онъ принимаетъ ежедневно по утрамъ отъ десяти до половины одиннадцатаго.

— Какъ вы низки! — сказала Зинаида Ѳедоровна, въ отчаяніи ломая руки.—Если даже вы не искренни и говорите не то, что думаете, то за одну эту жестокость можно возненавидѣть васъ. О, какъ вы низки!

— Мы все ходимъ вокругъ да около и никакъ не договоримся до настоящей сути. Вся суть въ томъ, что вы ошиблись и не хотите въ этомъ сознаться вслухъ. Вы воображали, что я герой и что у меня какіе-то необычайные идеи и идеалы, а на повѣрку-то вышло, что я самый заурядный чиновникъ, картежникъ и не имѣю пристрастія ни къ какимъ идеямъ. Я достойный отпрыскъ того самаго гнилого свѣта, изъ котораго вы бѣжали, возмущенная его пустотой и пошлостью. Сознайтесь же и будьте справедливы: негодуйте не на меня, а на себя, такъ какъ ошиблись вы, а не я.

— Да, я сознаюсь: я ошиблась!

— Вотъ и прекрасно. До главнаго договорились, слава Богу. Теперь слушайте дальше, если угодно. Возвыситься до васъ я не могу, такъ какъ слишкомъ испорченъ: унизиться до меня вы тоже не можете, такъ какъ высоки слишкомъ. Остается, стало-быть, одно...

— Что?—быстро спросила Зинаида Ѳедоровна, притаивъ дыханіе и ставши вдругъ блѣдною, какъ бумага.

— Остается позвать на помощь логику...

— Георгій, за что вы меня мучаете?—сказала Зинаида Ѳедоровна вдругъ по-русски, надтреснувшимъ голосомъ.— За что? Поймите мои страданія...

Орловъ, испугавшійся слезъ, быстро пошелъ въ кабинетъ и, не знаю зачѣмъ,—желалъ ли онъ причинить ей лишнюю боль, или вспомнилъ, что это практикуется въ подобныхъ случаяхъ,—заперъ за собою дверь на ключъ. Она вскрикнула и побѣжала за нимъ вдогонку, шурша платьемъ.

— Это что значитъ?—спросила она, стучась въ дверь.— Это... это что значитъ?—повторила она тонкимъ, обрывающимся отъ негодованія голосомъ.—А, вы вотъ какъ? Такъ знайте же, я ненавижу, презираю васъ! Между нами все уже кончено! Все!

Послышался истерическій плачъ съ хохотомъ. Въ гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось. Орловъ пробрался изъ кабинета въ переднюю черезъ другую дверь и, трусливо оглядываясь, быстро надѣлъ шинель и цилиндръ и вышелъ.

Прошло полчаса, потомъ часъ, а она все плакала. Я вспомнилъ, что у нея нѣтъ ни отца, ни матери, ни родныхъ, что здѣсь она живетъ между человѣкомъ, который ее ненавидитъ, и Полей, которая ее обкрадываетъ,—и какою безотрадною представилась мнѣ ея жизнь! Я, самъ не знаю зачѣмъ, пошелъ къ ней въ гостиную. Она, слабая, безпомощная, съ прекрасными волосами, казавшаяся мнѣ образцомъ нѣжности и изящества, мучилась какъ больная; она лежала на кушеткѣ, пряча лицо, и вздрагивала всѣмъ тѣломъ.

— Сударыня, не прикажете ли сходить за докторомъ?— спросилъ я тихо.

— Нѣтъ, не нужно... пустяки, — сказала она и посмотрѣла на меня заплаканными глазами.—У меня немножко голова болитъ... Благодарю.

Я вышелъ. А вечеромъ она писала письмо за письмомъ и посылала меня то къ Пекарскому, то къ Кукушкину, то къ Грузину и, наконецъ, куда мнѣ угодно, лишь бы только я поскорѣе нашелъ Орлова и отдалъ ему письмо. Когда я всякій разъ возвращался обратно съ письмомъ, она бранила меня, умоляла, совала мнѣ въ руки деньги — точно въ горячкѣ. И ночью она не спала, а сидѣла въ гостиной и разговаривала сама съ собой.

На другой день Орловъ вернулся къ обѣду, и они помирились.

Въ первый четвергъ послѣ этого Орловъ жаловался своимъ пріятелямъ на невыносимо тяжелую жизнь; онъ много курилъ и говорилъ съ раздраженіемъ:

— Это не жизнь, а инквизиція. Слезы, вопли, умные разговоры, просьбы о прощеніи, опять слезы и вопли, а въ итогѣ—у меня нѣтъ теперь собственной квартиры, я заму-

чился и ее замучилъ. Неужели придется жить такъ еще мѣсяцъ или два? Неужели? А вѣдь это возможно!

— А ты съ ней поговори,—сказалъ Пекарскій.

— Пробовалъ, но не могу. Можно смѣло говорить какую угодно правду человѣку самостоятельному, разсуждающему, а вѣдь тутъ имѣешь дѣло съ существомъ, у котораго ни воли, ни характера, ни логики. Я не выношу слезъ, онѣ меня обезоруживаютъ. Когда она плачетъ, то я готовъ клясться въ вѣчной любви и самъ плакать.

Пекарскій не понялъ, почесалъ въ раздумьи свой широкій лобъ и сказалъ:

— Право, нанялъ бы ты ей отдѣльную квартиру. Вѣдь, это такъ просто!

— Ей нуженъ я, а не квартира. Да что говорить?— вздохнулъ Орловъ.—Я слышу только безконечные разговоры, но не вижу выхода изъ своего положенія. Вотъ ужъ воистину безъ вины виноватъ! Не назывался груздемъ, а полѣзай въ кузовъ. Всю свою жизнь открещивался отъ роли героя, всегда терпѣть не могъ тургеневскіе романы и вдругъ, словно на смѣхъ, попалъ въ самые настоящіе герои. Увѣряю честнымъ словомъ, что я вовсе не герой, привожу тому неопровержимыя доказательства, но мнѣ не вѣрятъ. Почему не вѣрятъ? Должно-быть, въ самомъ дѣлѣ у меня въ физіономіи есть что-нибудь геройское.

— А вы поѣзжайте ревизовать губерніи, — сказалъ Кукушкинъ со смѣхомъ.

— Да только это и остается.

Черезъ недѣлю послѣ этого разговора Орловъ объявилъ, что его опять командируютъ къ сенатору, и въ тотъ же день вечеромъ уѣхалъ со своими чемоданами къ Пекарскому.

XI.

На порогѣ стоялъ старикъ лѣтъ шестидесяти, въ длинной до земли шубѣ и въ бобровой шапкѣ.

— Дома Георгій Иванычъ?—спросилъ онъ.

Сначала я подумалъ, что это одинъ изъ ростовщиковъ, кредиторовъ Грузина, которые иногда хаживали къ Орлову за мелкими получками, но когда онъ вошелъ въ переднюю и распахнулъ шубу, я увидалъ густыя брови и характерно сжатыя губы, которыя я такъ хорошо изучилъ по фото-

графіямъ, и два ряда звѣздъ на форменномъ фракѣ. Я узналъ его: это былъ отецъ Орлова, извѣстный государственный человѣкъ.

Я отвѣтилъ ему, что Георгія Иваныча нѣтъ дома. Старикъ крѣпко сжалъ губы и въ раздумьи поглядѣлъ въ сторону, показывая мнѣ свой сухой, беззубый профиль.

— Я оставлю записку,—сказалъ онъ.—Проводи меня.

Онъ оставилъ въ передней калоши и, не снимая своей длинной, тяжелой шубы, пошелъ въ кабинетъ. Тутъ онъ сѣлъ въ кресло передъ письменнымъ столомъ и, прежде чѣмъ взяться за перо, минуты три думалъ о чемъ-то, заслонивъ глаза рукою, какъ отъ солнца,—точь въ точь, какъ это дѣлалъ его сынъ, когда бывалъ не въ духѣ. Лицо у него было грустное, задумчивое, съ выраженіемъ той покорности, какую мнѣ приходилось видѣть на лицахъ только у людей старыхъ и религіозныхъ. Я стоялъ позади, глядѣлъ на его лысину и на ямку въ затылкѣ, и для меня было ясно, какъ день, что этотъ слабый, больной старикъ теперь въ моихъ рукахъ. Вѣдь во всей квартирѣ, кромѣ меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мнѣ только употребить немножко физической силы, потомъ сорвать часы, чтобы замаскировать цѣли, и уйти чернымъ ходомъ, и я получилъ бы неизмѣримо больше, чѣмъ могъ разсчитывать, когда поступалъ въ лакеи. Я думалъ: едва ли когда представится мнѣ болѣе счастливый случай. Но вмѣсто того, чтобы дѣйствовать, я совершенно равнодушно посматривалъ то на лысину, то на мѣхъ и покойно размышлялъ объ отношеніяхъ этого человѣка къ своему единственному сыну и о томъ, что людямъ, избалованнымъ богатствомъ и властью, вѣроятно, не хочется умирать...

— Ты давно служишь у моего сына? — спросилъ онъ, выводя на бумагѣ крупныя буквы.

— Третій мѣсяцъ, ваше высокопревосходительство.

Онъ кончилъ писать и всталъ. У меня еще оставалось время. Я торопилъ себя и сжималъ кулаки, стараясь выдавить изъ своей души хотя каплю прежней ненависти; я вспоминалъ, какимъ страстнымъ, упрямымъ и неутомимымъ врагомъ я былъ еще такъ недавно... Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое, грустное лицо и холодный блескъ звѣздъ вызывали во мнѣ только мелкія, деше-

выя и ненужныя мысли о бренности всего земного, о скорой смерти...

— Прощай, братецъ! — сказалъ старикъ, надѣлъ шапку и вышелъ.

Нельзя ужъ было сомнѣваться: во мнѣ произошла перемѣна, я сталъ другимъ. Чтобы провѣрить себя, я началъ вспоминать, но тотчасъ же мнѣ стало жутко, какъ будто я нечаянно заглянулъ въ темный сырой уголъ. Вспомнилъ я своихъ товарищей и знакомыхъ, и первая мысль моя была о томъ, какъ я теперь покраснѣю и растеряюсь, когда встрѣчу кого-нибудь изъ нихъ. Кто же я теперь такой? О чемъ мнѣ думать и что дѣлать? Куда идти? Для чего я живу?

Ничего я не понималъ и ясно сознавалъ только одно: надо поскорѣе укладывать свой багажъ и уходить. До посѣщенія старика мое лакейство имѣло еще смыслъ, теперь же оно было смѣшно. Слезы капали у меня въ раскрытый чемоданъ, было нестерпимо грустно, но какъ хотѣлось жить! Я готовъ былъ обнять и вмѣстить въ свою короткую жизнь все, доступное человѣку. Мнѣ хотѣлось и говорить, и читать, и стучать молотомъ гдѣ-нибудь въ большомъ заводѣ, и стоять на вахтѣ, и пахать. Меня тянуло и на Невскій, и въ поле, и въ море — всюду, куда хватало мое воображеніе. Когда вернулась Зинаида Ѳедоровна, я бросился отворять ей и съ особенною нѣжностью снялъ съ нея шубу. Въ послѣдній разъ!

Кромѣ старика, въ этотъ день приходило къ намъ еще двое. Вечеромъ, когда совсѣмъ уже стемнѣло, неожиданно пришелъ Грузинъ, чтобы взять для Орлова какія-то бумаги. Онъ открылъ столъ, досталъ нужныя бумаги и, свернувъ ихъ въ трубку, приказалъ мнѣ положить въ передней около его шапки, а самъ пошелъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ. Она лежала въ гостиной на софѣ, подложивъ руки подъ голову. Прошло уже пять или шесть дней, какъ Орловъ уѣхалъ на ревизію, и никому не было извѣстно, когда онъ вернется, но она уже не посылала телеграммъ и не ожидала ихъ. Поли, которая все еще жила у насъ, она какъ будто не замѣчала. «Пусть!» — читалъ я на ея безстрастномъ, очень блѣдномъ лицѣ. Ей уже, какъ Орлову, изъ умпрямства хотѣлось быть несчастной; она на зло себѣ и всему на свѣтѣ по цѣлымъ днямъ лежала неподвижно на софѣ,

желая себѣ только одного дурного и ожидая только дурное. Вѣроятно, она воображала себѣ возвращеніе Орлова и неизбѣжныя ссоры съ нимъ, потомъ его охлажденіе, измѣны, потомъ какъ они разойдутся, и эти мучительныя мысли доставляли ей, быть-можетъ, удовольствіе. Но что бы она сказала, если бы вдругъ узнала настоящую правду?

— Я васъ люблю, кума,—говорилъ Грузинъ, здороваясь и цѣлуя ей руку. — Вы такая добрая! А Жоржинька-то уѣхалъ,—солгалъ онъ.—Уѣхалъ, злодѣй!

Онъ со вздохомъ сѣлъ и нѣжно погладилъ ее по рукѣ.

— Позвольте, голубка, посидѣть у васъ часокъ, — сказалъ онъ.—Домой мнѣ идти не хочется, а къ Биршовымъ еще рано. Сегодня у Биршовыхъ день рожденія ихъ Кати. Славная дѣвочка!

Я подалъ ему стаканъ чаю и графинчикъ съ коньякомъ. Онъ медленно, съ видимою неохотой выпилъ чай и, возвращая мнѣ стаканъ, спросилъ робко:

— А нѣтъ ли у васъ, дружокъ, чего-нибудь закусить? Я еще не обѣдалъ.

У насъ ничего не было. Я сходилъ въ ресторанъ и принесъ ему обыкновенный рублевый обѣдъ.

— За ваше здоровье, голубчикъ!—сказалъ онъ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ и выпилъ рюмку водки.—Моя маленькая, ваша крестница кланяется вамъ. Бѣдняжка, у нея золотушка! Ахъ дѣти, дѣти!—вздохнулъ онъ.—Что ни говорите, кума, а пріятно быть отцомъ. Жоржинькѣ непонятно это чувство.

Онъ еще выпилъ. Тощій, блѣдный, съ салфеткой на груди, точно въ передничкѣ, онъ съ жадностью ѣлъ и, поднимая брови, виновато поглядывалъ то на Зиниаду Ѳедоровну, то на меня, какъ мальчикъ. Казалось, что если бы я не далъ ему рябчика или желе, то онъ заплакалъ бы. Утоливъ голодъ, онъ повеселѣлъ и сталъ со смѣхомъ разсказывать что-то о семьѣ Биршовыхъ, но, замѣтивъ, что это скучно и что Зинаида Ѳедоровна не смѣется, замолчалъ. И какъ-то вдругъ стало скучно. Послѣ обѣда оба сидѣли въ гостиной при свѣтѣ одной только лампы и молчали: ему тяжело было лгать, а она хотѣла спросить его о чемъ-то, но не рѣшалась. Такъ прошло съ полчаса. Грузинъ поглядѣлъ на часы.

— А пожалуй, что мнѣ и пора.

— Нѣтъ, посидите... Намъ поговорить надо.

Опять помолчали. Онъ сѣлъ за рояль, тронулъ одинъ клавишъ, потомъ заигралъ и тихо запѣлъ: «Что день грядущій мнѣ готовитъ?» — но по обыкновенію тотчасъ же всталъ и встряхнулъ головой.

— Сыграйте, кумъ, что-нибудь,—попросила Зинаида Ѳедоровна.

— Что же?—спросилъ онъ, пожавъ плечами.—Я все уже перезабылъ. Давно бросилъ.

Глядя на потолокъ, какъ бы припоминая, онъ съ чудеснымъ выраженіемъ сыгралъ двѣ пьесы Чайковскаго, такъ тепло, такъ умно! Лицо у него было такое, какъ всегда—не умное и не глупое, и мнѣ казалось просто чудомъ, что человѣкъ, котораго я привыкъ видѣть среди самой низменной, нечистой обстановки, былъ способенъ на такой высокій и недосягаемый для меня подъемъ чувства, на такую чистоту. Зинаида Ѳедоровна раскраснѣлась и въ волненіи стала ходить по гостиной.

— А вотъ погодите, кума, если вспомню, я сыграю вамъ одну штучку,—сказалъ онъ.—Я слышалъ, какъ ее играли на віолончели.

Сначала робко и подбирая, затѣмъ съ увѣренностью онъ заигралъ *Лебединую пѣсню* Сенъ-Санса. Сыгралъ и повторилъ.

— Мило, вѣдь?—сказалъ онъ.

Взволнованная Зинаида Ѳедоровна остановилась около него и спросила:

— Кумъ, скажите мнѣ искренно, по-дружески: что̀ вы обо мнѣ думаете?

— Что же сказать?—проговорилъ онъ, поднимая брови.—Я люблю васъ и думаю о васъ одно только хорошее. Если же вы хотите, чтобъ я говорилъ вообще по интересующему васъ вопросу,—продолжалъ онъ, вытирая себѣ рукавъ около локтя и хмурясь:—то, милая, знаете ли... Свободно слѣдовать влеченіямъ своего сердца,—это не всегда даетъ хорошимъ людямъ счастье. Чтобы чувствовать себя свободнымъ и въ то же время счастливымъ, мнѣ кажется, надо не скрывать отъ себя, что жизнь жестока, груба и безпощадна въ своемъ консерватизмѣ, и надо отвѣчать ей тѣмъ, чего она сто̀итъ, то-есть быть такъ же, какъ она, грубымъ и безпощаднымъ въ своихъ стремленіяхъ къ свободѣ. Я такъ думаю.

— Куда мнѣ! — печально улыбнулась Зинаида Ѳедоровна.—Я уже утомилась, кумъ. Я такъ утомилась, что не пошевельну пальцемъ для своего спасенія.

— Ступайте, кума, въ монастырь.

Это онъ сказалъ шутя, но послѣ его словъ у Зинаиды Ѳедоровны, а потомъ и у него самого на глазахъ заблестѣли слезы.

— Ну-съ, — сказалъ онъ: — сидѣли-сидѣли, да поѣхали. Прощайте, кумушка милая. Дай Богъ вамъ здоровья.

Онъ поцѣловалъ ей обѣ руки и, нѣжно погладивъ ихъ, сказалъ, что непремѣнно побываетъ еще на-дняхъ. Надѣвая въ передней свое пальто, похожее на дѣтскій капотикъ, онъ долго шарилъ въ карманахъ, чтобы дать мнѣ на чай, но ничего не нашелъ.

— Прощай, голубчикъ!—сказалъ онъ грустно и вышелъ.

Никогда не забуду того настроенія, какое оставилъ послѣ себя этотъ человѣкъ. Зинаида Ѳедоровна все еще продолжала въ волненіи ходить по гостиной. Не лежала, а ходила — ужъ одно это хорошо. Я хотѣлъ воспользоваться этимъ настроеніемъ, чтобъ откровенно поговорить съ ней и тотчасъ уйти, но едва я успѣлъ проводить Грузина, какъ послышался звонокъ. Это пришелъ Кукушкинъ.

— Дома Георгій Иванычъ? — спросилъ онъ.—Вернулся? Ты говоришь: нѣтъ? Экая жалость! Въ такомъ случаѣ, пойду поцѣлую хозяйкѣ ручку и—вонъ. Зинаида Ѳедоровна, можно? — крикнулъ онъ. — Я хочу вамъ ручку поцѣловать. Извините, что такъ поздно.

Онъ просидѣлъ въ гостиной не долго, не больше десяти минутъ, но мнѣ казалось, что онъ сидитъ уже давно и никогда не уйдетъ. Я кусалъ себѣ губы отъ негодованія и досады и уже ненавидѣлъ Зинаиду Ѳедоровну. «Почему она не гонитъ его отъ себя?» — возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала съ нимъ.

Когда я подавалъ ему шубу, онъ въ знакъ особаго ко мнѣ расположенія спросилъ меня, какъ это я могу обходиться безъ жены.

— Но, я думаю, ты не зѣваешь,—сказалъ онъ, смѣясь.— У тебя съ Полей, должно-быть, тутъ шуры-амуры... Шалунъ!

Несмотря на свой житейскій опытъ, я тогда мало зналъ людей, и очень возможно, что я часто преувеличивалъ ни-

чтожное и вовсе не замѣчалъ важнаго. Мнѣ показалось, что Кукушкинъ хихикаетъ и льститъ мнѣ не даромъ: ужъ не надѣется ли онъ, что я, какъ лакей, буду болтать всюду по чужимъ лакейскимъ и кухнямъ о томъ, что онъ бываетъ у насъ по вечерамъ, когда нѣтъ Орлова, и просиживаетъ съ Зинаидой Ѳедоровной до поздней ночи? А когда мои сплетни дойдутъ до ушей его знакомыхъ, онъ будетъ конфузливо опускать глаза и грозить мизинцемъ. И развѣ самъ онъ,— думалъ я, глядя на его маленькое, медовое лицо, — не будетъ сегодня же за картами дѣлать видъ и, пожалуй, проговариваться, что онъ уже отбилъ у Орлова Зинаиду Ѳедоровну?

Та ненависть, которой такъ недоставало мнѣ въ полдень, когда приходилъ старикъ, теперь овладѣла мной. Кукушкинъ вышелъ наконецъ, и я, прислушиваясь къ шарканью его кожаныхъ калошъ, чувствовалъ сильное желаніе послать ему вдогонку на прощанье какое-нибудь грубое ругательство, но сдержалъ себя. А когда шаги затихли на лѣстницѣ, я вернулся въ переднюю и, самъ не зная, что̀ дѣлаю, схватилъ свертокъ бумагъ, забытый Грузинымъ, и опрометью побѣжалъ внизъ. Безъ пальто и безъ шапки я выбѣжалъ на улицу. Было не холодно, но шелъ крупный снѣгъ и дулъ вѣтеръ.

— Ваше превосходительство!—крикнулъ я, догоняя Кукушкина.—Ваше превосходительство!

Онъ остановился около фонаря и оглянулся съ недоумѣніемъ.

— Ваще превосходительство! — проговорилъ я, задыхаясь.—Ваше превосходительство!

И, не придумавъ, что сказать, я раза два ударилъ его бумажнымъ сверткомъ по лицу. Ничего не понимая и даже не удивляясь, — до такой степени я ошеломилъ его, — онъ прислонился спиной къ фонарю и заслонилъ руками лицо. Въ это время мимо проходилъ какой-то военный докторъ и видѣлъ, какъ я билъ человѣка, но только съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на насъ и пошелъ дальше.

Мнѣ стало стыдно, и я побѣжалъ обратно въ домъ.

XII.

Съ мокрою отъ снѣга головой и запыхавшись, я прибѣжалъ въ лакейскую и тотчасъ же сбросилъ фракъ, надѣлъ

ниджакъ и пальто и вынесъ свой чемоданъ въ переднюю. Бѣжать! Но, прежде чѣмъ уйти, я поскорѣе сѣлъ и сталъ писать Орлову:

«Оставляю вамъ свой фальшивый паспортъ,—началъ я:— прошу оставить его себѣ на память, фальшивый человѣкъ, господинъ петербургскій чиновникъ!»

«Вкрасться въ домъ подъ чужимъ именемъ, наблюдать изъ-подъ лакейской маски интимную жизнь, все видѣть и слышать, чтобы потомъ непрошенно изобличить во лжи,— все это, скажете вы, похоже на воровство. Да, но мнѣ теперь не до благородства. Я пережилъ десятки вашихъ ужиновъ и обѣдовъ, когда вы говорили и дѣлали, что хотѣли, а я долженъ былъ слушать, видѣть и молчать,—я не хочу подарить вамъ этого. Къ тому же, если около васъ нѣтъ живой души, которая осмѣлилась бы говорить вамъ правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степанъ умоетъ вамъ вашу великолѣпную физіономію».

Это начало мнѣ не понравилось, но исправлять мнѣ не хотѣлось. Да и не все ли равно?

Большія окна съ темными портьерами, постель, скомканный фракъ на полу и мокрые слѣды отъ моихъ ногъ смотрѣли сурово и печально. И тишина была какая-то особенная.

Вѣроятно, оттого, что я выбѣгалъ на улицу безъ шапки и калошъ, у меня поднялся сильный жаръ. Горѣло лицо, ломило ноги... Тяжелую голову клонило къ столу, а въ мысляхъ было какое-то раздвоеніе, когда кажется, что за каждою мыслью въ мозгу движется ея тѣнь.

«Я боленъ, слабъ, нравственно угнетенъ,—продолжалъ я:—я не могу писать вамъ, какъ бы хотѣлъ. Въ первую минуту у меня было желаніе оскорбить и унизить васъ, но теперь мнѣ не кажется, что я имѣю на это право. Вы и я—оба упали и оба уже никогда не встанемъ, и мое письмо, если бы даже оно было краснорѣчиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стукъ по гробовой крышкѣ: какъ ни стучи—не разбудишь! Никакія усилія уже не могутъ согрѣть вашей проклятой холодной крови, и это вы знаете лучше, чѣмъ я. Зачѣмъ же писать? Но голова и сердце горятъ, я продолжаю писать, почему-то волнуюсь, какъ будто это письмо можетъ еще спасти васъ и меня. Отъ жара мысли не вяжутся въ головѣ и перо какъ-то

безсмысленно скрипитъ по бумагѣ, но вопросъ, который я хочу задать вамъ, стоитъ передо мной ясно, какъ огненный».

«Отчего я раньше времени ослабѣлъ и упалъ, объяснить не трудно. Я, подобно библейскому силачу, поднялъ на себя Газскія ворота, чтобы отнести ихъ на вершину горы, но только когда уже изнемогъ, когда во мнѣ навѣки погасли молодость и здоровье, я замѣтилъ, что эти ворота мнѣ не по плечамъ и что я обманулъ себя. Къ тому же у меня была непрерывная, жестокая боль. Я испыталъ голодъ, холодъ, болѣзни, лишеніе свободы; личнаго счастья я не зналъ и не знаю, пріюта у меня нѣтъ, воспоминанія мои тяжки и совѣсть моя часто боится ихъ. Но отчего вы-то упали, вы? Какія роковыя, дьявольскія причины помѣшали вашей жизни развернуться полнымъ весеннимъ цвѣтомъ, отчего вы, не успѣвъ начать жить, поторопились сбросить съ себя образъ и подобіе Божіе и превратились въ трусливое животное, которое лаетъ и этимъ лаемъ пугаетъ другихъ оттого, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, какъ азіатъ, тотъ самый, который по цѣлымъ днямъ сидитъ на перинѣ и куритъ кальянъ. Да, вы много читаете и на васъ ловко сидитъ европейскій фракъ, но все же съ какою нѣжною, чисто азіатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя отъ голода, холода, физическаго напряженія,— отъ боли и безпокойства, какъ рано ваша душа спряталась въ халатъ, какого труса разыграли вы передъ дѣйствительною жизнью и природой, съ которою борется всякій здоровый и нормальный человѣкъ. Какъ вамъ мягко, уютно, тепло, удобно — и какъ скучно! Да, бываетъ убійственно, безпросвѣтно скучно, какъ въ одиночной тюрьмѣ, но вы стараетесь спрятаться и отъ этого врага: вы по восьми часовъ въ сутки играете въ карты».

«А ваша иронія? О, какъ хорошо я ее понимаю! Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна; для лѣниваго, празднаго ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячамъ вашихъ сверстниковъ, поспѣшили смолоду поставить ее въ рамки; вы вооружились ироническимъ отношеніемъ къ жизни, или какъ хотите называйте, и сдержанная, припугнутая мысль не смѣетъ прыгнуть черезъ тотъ палисадникъ, который вы поставили ей, и когда вы глумитесь надъ идеями, которыя якобы *всѣ*

вамъ извѣстны, то вы похожи на дизертира, который позорно бѣжитъ съ поля битвы, но, чтобы заглушить стыдъ, смѣется надъ войной и надъ храбростью. Цинизмъ заглушаетъ боль. Въ какой-то повѣсти Достоевскаго старикъ топчетъ ногами портретъ своей любимой дочери, потому что онъ передъ нею неправъ, а вы гадко и пошловато посмѣиваетесь надъ идеями добра и правды, потому что уже не въ силахъ вернуться къ нимъ. Всякій искренній и правдивый намекъ на ваше паденіе страшенъ вамъ, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умѣютъ только льстить вашимъ слабостямъ. И не даромъ, не даромъ вы такъ боитесь слезъ!»

«Кстати, ваши отношенія къ женщинѣ. Безстыдство мы унаслѣдовали съ плотью и кровью и въ безстыдствѣ воспитаны, но, вѣдь, на то мы и люди, чтобы побѣждать въ себѣ звѣря. Съ возмужалостью, когда вамъ стали извѣстны *всѣ* идеи, вы не могли не увидѣть правды; вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ея, и, чтобы обмануть свою совѣсть, стали громко увѣрять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она такъ же низменна, какъ и ваши отношенія къ ней. Развѣ холодные, скабрёзные анекдоты, лошадиный смѣхъ, всѣ ваши безчисленныя теоріи о сущности, неопредѣленныхъ требованіяхъ къ браку, о десяти су, которыя платитъ женщинѣ французскій рабочій, ваши вѣчныя ссылки на бабью логику, лживость, слабость и проч.,—развѣ все это не похоже на желаніе во что бы то ни стало пригнуть женщину низко къ грязи, чтобы она и ваши отношенія къ ней стояли на одномъ уровнѣ? Вы—слабый, несчастный, несимпатичный человѣкъ».

Въ гостиной заиграла на роялѣ Зинаида Ѳедоровна, стараясь вспомнить пьесу Сенъ-Санса, которую игралъ Грузинъ. Я пошелъ и легъ на постель, но, вспомнивъ, что мнѣ пора уходить, поднялся черезъ силу и съ тяжелою, горячею головой опять пошелъ къ столу.

«Но вотъ вопросъ, — продолжалъ я.—Отчего мы утомились? Отчего мы вначалѣ такіе страстные, смѣлые, благородные, вѣрующіе, къ 30—35 годамъ становимся уже полными банкротами? Отчего одинъ гаснетъ въ чахоткѣ, другой пускаетъ пулю въ лобъ, третій ищетъ забвенія въ водкѣ, картахъ, четвертый, чтобы заглушить страхъ и тоску, цинически топчетъ ногами портретъ своей чистой, пре-

красной молодости? Отчего мы, упавши разъ, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищемъ другого? Отчего?»

«Разбойникъ, висѣвшій на крестѣ, сумѣлъ вернуть себѣ жизненную радость и смѣлую, осуществимую надежду, хотя, быть-можетъ, ему оставалось жить не больше часа. У васъ впереди еще длинные годы, и я, вѣроятно, умру не такъ скоро, какъ кажется. Что, если бы чудомъ настоящее оказалось сномъ, страшнымъ кошмаромъ, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой?... Сладкія мечты жгутъ меня, и я едва дышу отъ волненія. Мнѣ страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, какъ сводъ небесный. Будемъ жить! Солнце не восходитъ два раза въ день и жизнь дается не дважды,—хватайтесь же цѣпко за остатки вашей жизни и спасайте ихъ...»

Больше я не написалъ ни одного слова. Мыслей было много въ головѣ, но всѣ онѣ расплывались и не укладывались въ строки. Не окончивъ письма, я подписалъ свое званіе, имя и фамилію и пошелъ въ кабинетъ. Было темно. Я нащупалъ столъ и положилъ письмо. Должно-быть, въ потемкахъ я натыкался на мебель и производилъ шумъ.

— Кто тамъ? — послышался тревожный голосъ изъ гостиной.

И тотчасъ же на столѣ часы нѣжно пробили часъ ночи.

XIII.

Въ потемкахъ я, по крайней мѣрѣ, съ полминуты царапалъ дверь, нащупывая ее, потомъ медленно отворилъ и вошелъ въ гостиную. Зинаида Ѳедоровна лежала на кушеткѣ и, поднявшись на локоть, глядѣла мнѣ навстрѣчу. Не рѣшаясь заговорить, я медленно прошелъ мимо, и она проводила меня взглядомъ. Я постоялъ немного въ залѣ и опять прошелъ мимо, и она посмотрѣла на меня внимательно и съ недоумѣніемъ, даже со страхомъ. Наконецъ, я остановился и проговорилъ черезъ силу:

— Онъ не вернется!

Она быстро встала на ноги и смотрѣла на меня, не понимая.

— Онъ не вернется! — повторилъ я, и у меня страшно застучало сердце.—Онъ не вернется, потому что не уѣзжалъ изъ Петербурга. Онъ живетъ у Пекарскаго.

Она поняла и повѣрила мнѣ,—это я видѣлъ по ея внезапной блѣдности и по тому, какъ она вдругъ скрестила на груди руки со страхомъ и мольбой. Въ мгновеніе въ ея памяти промелькнуло ея недавнее прошлое, она сообразила и съ неумолимою ясностью увидѣла всю правду. Но въ то же время она вспомнила, что я лакей, низшее существо... Проходимецъ съ всклокоченными волосами, съ краснымъ отъ жара лицомъ, быть-можетъ, пьяный, въ какомъ-то пошломъ пальто, грубо вмѣшался въ ея интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мнѣ сурово:

— Васъ не спрашиваютъ. Подите отсюда прочь.

— О, вѣрьте мнѣ!—сказалъ я съ увлеченіемъ, протягивая къ ней руки. — Я не лакей, я такой же свободный, какъ и вы!

Я назвалъ себя и быстро, быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла къ себѣ, объяснилъ, кто я и зачѣмъ тутъ живу. Это новое открытіе поразило ее сильнѣе, чѣмъ первое. У нея ранѣе была все-таки надежда, что лакей солгалъ или ошибся или сказалъ глупость, теперь же, послѣ моего признанія, у нея не оставалось никакихъ сомнѣній. По выраженію ея несчастныхъ глазъ и лица, которое вдругъ стало некрасиво, потому что постарѣло и потеряло свою мягкость, я видѣлъ, что ей нестерпимо тяжело, что я не къ добру началъ этотъ разговоръ; но я продолжалъ съ увлеченіемъ:

— Сенаторъ и ревизія были придуманы, чтобы обмануть васъ. Въ январѣ онъ такъ же, какъ и теперь, никуда не уѣзжалъ, а жилъ у Пекарскаго, и я видѣлся съ нимъ каждый день и участвовалъ въ обманѣ. Вами тяготились, ваше присутствіе здѣсь ненавидѣли, надъ вами смѣялись... Если бы вы могли подслушать, какъ онъ и его друзья здѣсь издѣвались надъ вами и вашею любовью, то вы не остались бы здѣсь ни одной минуты! Бѣгите отсюда! Бѣгите!

— Ну, что жъ?—проговорила она дрожащимъ голосомъ и провела рукой по волосамъ.—Ну, что жъ? Пусть.

Глаза ея были полны слезъ, губы дрожали и все лицо было поразительно блѣдно и дышало гнѣвомъ. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей презрѣнною, смѣшною; она улыбалась, и мнѣ не нравилась эта ея улыбка.

— Ну, что жъ?—повторила она и опять провела рукой по волосамъ. — Пусть. Онъ воображаетъ, что я умру отъ униженія, а мнѣ... смѣшно. Напрасно онъ прячется.—Она отошла отъ рояля и сказала, пожавъ плечами:—Напрасно... Было бы проще объясниться, чѣмъ прятаться и скитаться по чужимъ квартирамъ. У меня есть глаза, я сама давно уже видѣла... и только ждала его пріѣзда, чтобъ окончательно объясниться.

Потомъ она сѣла въ кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. Въ гостиной горѣла одна только свѣча въ канделябрѣ, и около креселъ, гдѣ она сидѣла, было темно, но я видѣлъ, какъ вздрагивали ея голова и плечи и какъ волосы, выбиваясь изъ прически, закрывали шею, лицо, руки... Въ ея тихомъ, ровномъ плачѣ, не истерическомъ, обыкновенномъ женскомъ плачѣ слышались оскорбленіе, униженная гордость, обида и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и къ чему нельзя привыкнуть. Въ моей взволнованной, страдающей душѣ ея плачъ отзывался эхомъ; я уже забылъ про свою болѣзнь и про все на свѣтѣ, ходилъ по гостиной и бормоталъ растерянно:

— Что же это за жизнь?.. О, нельзя такъ жить! Нельзя! Это—безуміе, преступленіе, а не жизнь!

— Какое униженіе! — говорила она сквозь плачъ. — Жить вмѣстѣ... улыбаться мнѣ въ тѣ время, какъ я ему въ тягость, смѣшна... О, какое униженіе!

Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые отъ слезъ, и поправляя эти волосы, мѣшавшіе ей смотрѣть на меня, спросила:

— Они смѣялись?

— Этимъ людямъ были смѣшны и вы, и ваша любовь, и Тургеневъ, котораго вы будто бы начитались. И если мы оба сейчасъ умремъ съ отчаянія, то это имъ будетъ тоже смѣшно. Они сочинятъ смѣшной анекдотъ и будутъ разсказывать его на вашей панихидѣ. Да что о нихъ говорить?— сказалъ я съ нетерпѣніемъ. — Надо бѣжать отсюда. Я не могу оставаться здѣсь дольше ни одной минуты.

Она опять заплакала, а я отошелъ къ роялю и сѣлъ.

— Что жъ мы ждемъ?—спросилъ я уныло.—Уже третій часъ.

— Ничего я не жду,—сказала она.—Я пропала.

— Зачѣмъ говорить такъ? Давайте-ка лучше обдумаемъ вмѣстѣ, что намъ дѣлать. Ни вамъ, ни мнѣ уже нельзя оставаться здѣсь... Куда вы намѣрены ѣхать отсюда?

Вдругъ въ передней раздался звонокъ. У меня ёкнуло сердце. Ужъ не Орловъ ли это, которому пожаловался на меня Кукушкинъ? Какъ мы съ нимъ встрѣтимся? Я пошелъ отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула въ передней со своего бурнуса снѣгъ и, не сказавъ мнѣ ни слова, отправилась къ себѣ. Когда я вернулся въ гостиную, Зинаида Ѳедоровна, блѣдная, какъ мертвецъ, стояла среди комнаты и большими глазами смотрѣла мнѣ навстрѣчу.

— Кто это пришелъ?—спросила она тихо.

— Поля,—отвѣчалъ я.

Она провела рукой по волосамъ и въ изнеможеніи закрыла глаза.

— Я сейчасъ уѣду отсюда, — сказала она. — Вы будете добры, проводите меня на Петербургскую сторону. Теперь который часъ?

— Безъ четверти три.

XIV.

Когда мы, немного погодя, вышли изъ дому, на улицѣ было темно и безлюдно. Шелъ мокрый снѣгъ и влажный вѣтеръ хлесталъ по лицу. Помнится, тогда было начало марта, стояла оттепель и уже нѣсколько дней извозчики ѣздили на колесахъ. Подъ впечатлѣніемъ черной лѣстницы, холода, ночныхъ потемокъ и дворника въ тулупѣ, который опросилъ насъ, прежде чѣмъ выпустилъ за ворота, Зинаида Ѳедоровна совсѣмъ ослабѣла и пала духомъ. Когда мы сѣли въ пролетку и накрылись верхомъ, она, дрожа всѣмъ тѣломъ, торопливо заговорила о томъ, какъ она мнѣ благодарна.

— Я не сомнѣваюсь въ вашемъ доброжелательствѣ, но мнѣ стыдно, что вы безпокоитесь...—бормотала она.—О, я понимаю, понимаю... Когда сегодня былъ Грузинъ, я чувствовала, что онъ лжетъ и что-то скрываетъ. Ну, что жъ? Пусть. Но, все-таки, мнѣ совѣстно, что вы такъ безпокоитесь.

У нея оставались еще сомнѣнія. Чтобы окончательно разсѣять ихъ, я приказалъ извозчику ѣхать по Сергіевской; остановивши его у подъѣзда Пекарскаго, я вылѣзъ изъ

пролетки и позвонилъ. Когда вышелъ швейцаръ, я громко, чтобы могла слышать Зинаида Ѳедоровна, спросилъ, дома ли Георгій Иванычъ.

— Дома, — отвѣтилъ онъ. — Съ полчаса какъ пріѣхалъ. Должно, ужъ спитъ. А тебѣ что?

Зинаида Ѳедоровна не выдержала и высунулась изъ пролетки.

— А давно Георгій Ивановичъ живетъ здѣсь? — спросила она.

— Уже третью недѣлю.

— И никуда не уѣзжалъ?

— Никуда,—отвѣтилъ швейцаръ и посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Передай ему завтра пораньше,—сказалъ я:—что къ нему изъ Варшавы сестра пріѣхала. Прощай.

Затѣмъ мы поѣхали дальше. Въ пролеткѣ не было фартука и снѣгъ валилъ на насъ хлопьями, и вѣтеръ, особенно на Невѣ, пронизывалъ до костей. Мнѣ стало казаться, что мы давно уже ѣдемъ, давно страдаемъ и что я давно уже слышу, какъ дрожитъ дыханіе у Зинаиды Ѳедоровны. Я мелькомъ, въ какомъ-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, безтолковую жизнь, и вспомнилась мнѣ почему-то мелодрама *Парижскіе нищіе*, которую я раза два видѣлъ въ дѣтствѣ. И почему-то, когда я, чтобы встряхнуться отъ этого полубреда, выглянулъ изъ-подъ верха и увидѣлъ разсвѣтъ, всѣ образы прошлаго, всѣ туманныя мысли вдругъ слились у меня въ одну ясную, крѣпкую мысль: я и Зинаида Ѳедоровна погибли уже безвозвратно. Это была увѣренность, какъ будто синее холодное небо содержало въ себѣ пророчество, но черезъ мгновеніе я думалъ уже о другомъ и вѣрилъ въ другое.

— Что же я теперь? — говорила Зинаида Ѳедоровна голосомъ, сиплымъ отъ холода и сырости. — Куда мнѣ идти, что дѣлать? Грузинъ сказалъ: ступайте въ монастырь. О, я пошла бы! Перемѣнила бы одежду, свое лицо, имя, мысли... все, все, и спряталась бы навѣки. Но меня не пустятъ въ монастырь. Я беременна.

— Мы завтра поѣдемъ съ вами за границу,—сказалъ я.

— Нельзя это. Мужъ не дастъ мнѣ паспорта.

— Я провезу васъ безъ паспорта.

Извозчикъ остановился около двухъэтажнаго деревяннаго

дома, выкрашеннаго въ темный цвѣтъ. Я позвонилъ. Принимая отъ меня небольшую легкую корзинку, — единственный багажъ, который мы взяли съ собой,—Зинаида Ѳедоровна какъ-то кисло улыбнулась и сказала:

— Это мои bijoux...

Но она такъ ослабѣла, что была не въ силахъ держать эти bijoux. Намъ долго не отворяли. Послѣ третьяго или четвертаго звонка въ окнахъ замелькалъ свѣтъ и послышались шаги, кашель, шопотъ; наконецъ, щелкнулъ замокъ и въ дверяхъ показалась полная баба съ краснымъ, испуганнымъ лицомъ. Позади ея, на нѣкоторомъ разстояніи, стояла маленькая худенькая старушка съ стриженными сѣдыми волосами, въ бѣлой кофточкѣ и со свѣчой въ рукахъ. Зинаида Ѳедоровна вбѣжала въ сѣни и бросилась къ этой старушкѣ на шею.

— Нина, я обманута!—громко зарыдала она.—Я обманута грубо, гадко! Нина! Нина!

Я отдалъ бабѣ корзинку. Дверь заперли, но все еще слышались рыданія и крикъ: «Нина!» Я сѣлъ въ пролетку и приказалъ извозчику ѣхать не спѣша къ Невскому. Нужно было подумать и о своемъ ночлегѣ.

На другой день, передъ вечеромъ, я былъ у Зинаиды Ѳедоровны. Она сильно измѣнилась. На ея блѣдномъ, сильно похудѣвшемъ лицѣ не было уже и слѣда слезъ, и выраженіе было другое. Не знаю, оттого ли, что я видѣлъ ее теперь при другой обстановкѣ, далеко не роскошной, и что отношенія наши были уже иныя, или, быть-можетъ, сильное горе положило уже на нее свою печать, она не казалась теперь такою изящною и чарядною, какъ всегда; фигура у нея стала какъ будто мельче, въ движеніяхъ, въ походкѣ, въ ея лицѣ я замѣтилъ излишнюю нервность, порывистость, какъ будто она спѣшила, и не было прежней мягкости даже въ ея улыбкѣ. Я былъ одѣтъ теперь въ дорогую пару, которую купилъ себѣ днемъ. Она окинула взглядомъ прежде всего эту пару и шляпу въ моей рукѣ, потомъ остановила нетерпѣливый, испытующій взглядъ на моемъ лицѣ, какъ бы изучая его.

— Ваше превращеніе мнѣ все еще кажется какимъ-то чудомъ,—сказала она.—Извините, я съ такимъ любопытствомъ осматриваю васъ. Вѣдь, вы необыкновенный человѣкъ.

Я разсказалъ ей еще разъ, кто я и зачѣмъ жилъ у

Орлова, и разсказывалъ объ этомъ дольше и подробнѣе, чѣмъ вчера. Она слушала съ большимъ вниманіемъ и, не давъ мнѣ кончить, проговорила:

— Тамъ у меня все уже кончено. Знаете, я не выдержала и написала письмо. Вотъ отвѣтъ.

На листикѣ, который она подала мнѣ, почеркомъ Орлова было написано: «Я не стану оправдываться. Но согласитесь: ошиблись вы, а не я. Желаю счастья и прошу поскорѣе забыть уважающаго васъ Г. О.

«PS. Посылаю ваши вещи».

Сундуки и корзины, присланные Орловымъ, стояли тутъ же въ гостиной и среди нихъ находился также и мой жалкій чемоданъ.

— Значитъ...—сказала Зинаида Ѳедоровна и не договорила.

Мы помолчали. Она взяла записку и минуты двѣ держала ее передъ глазами, и въ это время лицо ея приняло то самое надменное, презрительное и гордое, черствое выраженіе, какое у нея было вчера въ началѣ нашего объясненія; на глазахъ у нея выступили слезы, не робкія, не горькія, а гордыя, сердитыя слезы.

— Слушайте, — сказала она, порывисто поднимаясь и отходя къ окну, чтобы я не видѣлъ ея лица. — Я рѣшила такъ: завтра же ѣду съ вами за границу.

— И прекрасно. Я готовъ ѣхать хоть сегодня.

— Вербуйте меня. Вы читали Бальзака?—спросила она вдругъ, обернувшись. — Читали? Его романъ *Père Goriot* кончается тѣмъ, что герой глядитъ съ вершины холма на Парижъ и грозитъ этому городу: «Теперь мы раздѣлаемся!» — и послѣ этого начинаетъ новую жизнь. Такъ и я, когда изъ вагона взгляну въ послѣдній разъ на Петербургъ, то скажу ему: «Теперь мы раздѣлаемся!»

И, сказавши это, она улыбнулась этой своей шуткѣ и почему-то вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

XV.

Въ Венеціи у меня начались плевритическія боли. Вѣроятно, я простудился вечеромъ, когда мы съ вокзала плыли въ Hôtel Bauer. Пришлось съ перваго же дня лечь въ постель и пролежать недѣли двѣ. Каждое утро, пока я былъ боленъ, приходила ко мнѣ изъ своего номера Зинаида Ѳедоровна, чтобы вмѣстѣ пить кофе, и потомъ читала мнѣ

вслухъ французскія и русскія книги, которыхъ мы много накупили въ Вѣнѣ. Эти книги были мнѣ давно уже знакомы или же не интересны, но около меня звучалъ милый, добрый голосъ, такъ что въ сущности содержаніе всѣхъ ихъ для меня сводилось къ одному: я не одинокъ. Она уходила гулять, возвращалась въ своемъ свѣтло-сѣромъ платьѣ, въ легкой соломенной шляпѣ, веселая, согрѣтая весеннимъ солнцемъ, и, сѣвши у постели, нагнувшись низко къ моему лицу, разсказывала что-нибудь про Венецію, или читала эти книги—и мнѣ было хорошо.

Ночью мнѣ было холодно, больно и скучно, но днемъ я упивался жизнью, — лучшаго выраженія не придумаешь. Яркое, горячее солнце, бьющее въ открытыя окна и въ дверь на балконѣ, крики внизу, плесканье веселъ, звонъ колоколовъ, раскатистый громъ пушки въ полдень и чувство полной, полной свободы дѣлали со мной чудеса; я чувствовалъ на своихъ бокахъ сильныя, широкія крылья, которыя уносили меня Богъ вѣсть куда. А какая прелесть, сколько порой радости отъ мысли, что съ моею жизнью теперь идетъ рядомъ другая жизнь, что я слуга, сторожъ, другъ, необходимый спутникъ существа молодого, красиваго и богатаго, но слабаго, оскорбленнаго, одинокаго! Даже болѣть пріятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждутъ твоего выздоровленія, какъ праздника. Разъ я слышалъ, какъ она за дверью шепталась съ моимъ докторомъ, и потомъ вошла ко мнѣ съ заплаканными глазами,—это плохой знакъ, — но я былъ растроганъ и у меня стало на душѣ необыкновенно легко.

Но вотъ мнѣ позволили выходить на балконъ. Солнце и легкій вѣтерокъ съ моря нѣжатъ и ласкаютъ мое больное тѣло. Я смотрю внизъ на давно знакомыя гондолы, которыя плывутъ съ женственною граціей, плавно и величаво, какъ будто живутъ и чувствуютъ всю роскошь этой оригинальной, обаятельной культуры. Пахнетъ моремъ. Гдѣ-то играютъ на струнахъ и поютъ въ два голоса. Какъ хорошо! Какъ не похоже на ту петербургскую ночь, когда шелъ мокрый снѣгъ и такъ грубо билъ по лицу! Вотъ, если взглянуть прямо черезъ каналъ, то видно взморье и на горизонтѣ на просторѣ солнце рябитъ по водѣ такъ ярко, что больно смотрѣть. Тянетъ душу туда, къ родному, хорошему морю, которому я отдалъ свою молодость. Жить хочется! Жить и—больше ничего!

Черезъ двѣ недѣли я сталъ ходить, куда мнѣ угодно. Я любилъ сидѣть на солнышкѣ, слушать гондольера, не понимать и по цѣлымъ часамъ смотрѣть на домикъ, гдѣ, говорятъ, жила Дездемона, — наивный, грустный домикъ съ дѣвственнымъ выраженіемъ, легкій, какъ кружево, до того легкій, что, кажется, его можно сдвинуть съ мѣста одною рукой. Я подолгу стоялъ у могилы Кановы и не отрывалъ глазъ съ печальнаго льва. А въ дворцѣ дожей меня все манило къ тому углу, гдѣ замазали черною краской несчастнаго Марино Фальеро. Хорошо быть художникомъ, поэтомъ, драматургомъ, думалъ я, но если это недоступно для меня, то хотя бы удариться въ мистицизмъ! Эхъ, къ этому безмятежному спокойствію и удовлетворенію, какое наполняетъ душу, хотя бы кусочекъ какой-нибудь вѣры.

Вечеромъ ѣли устрицъ, пили вино, катались. Помню, наша черная гондола тихо качается на одномъ мѣстѣ, подъ ней чуть слышно хлюпаетъ вода. Тамъ и сямъ дрожатъ и колышатся отраженія звѣздъ и прибрежныхъ огней. Недалеко отъ насъ въ гондолѣ, увѣшанной цвѣтными фонарями, которые отражаются въ водѣ, сидятъ какіе-то люди и поютъ. Звуки гитаръ, скрипокъ, мандолинъ, мужскіе и женскіе голоса раздаются въ потемкахъ, и Зинаида Ѳедоровна, блѣдная, съ серьезнымъ, почти суровымъ лицомъ, сидитъ рядомъ со мной, крѣпко стиснувъ губы и руки. Она думаетъ о чемъ-то и не пошевельнетъ даже бровью, и не слышитъ меня. Лицо, поза и неподвижный, ничего не выражающій взглядъ, и до невѣроятнаго унылыя, жуткія и, какъ снѣгъ, холодныя воспоминанія, а кругомъ гондолы, огни, музыка, пѣсня съ энергическимъ страстнымъ вскрикомъ: «Jam-mo!.. Jam-mo!..»,—какіе житейскіе контрасты! Когда она сидѣла такимъ образомъ, стиснувъ руки, окаменѣлая, скорбная, мнѣ представлялось, что оба мы участвуемъ въ какомъ-то романѣ, въ старинномъ вкусѣ, подъ названіемъ: *Злосчастная*, *Покинутая* или что-нибудь въ родѣ. Оба мы: она—злосчастная, брошенная, а я—вѣрный. преданный другъ, мечтатель и, если угодно, лишній человѣкъ, неудачникъ, неспособный уже ни на что, какъ только кашлять и мечтать, да, пожалуй, еще жертвовать собой... но кому и на что нужны теперь мои жертвы? Да и чѣмъ жертвовать, спрашивается?

Послѣ вечерней прогулки мы каждый разъ пили чай въ

ея номерѣ и разговаривали. Мы не боялись трогать старыхъ, еще не зажившихъ ранъ, — напротивъ, я почему-то даже испытывалъ удовольствіе, когда разсказывалъ ей о своей жизни у Орлова, или откровенно касался отношеній, которыя мнѣ были извѣстны и не могли быть отъ меня скрыты.

— Минутами я васъ ненавидѣлъ,—говорилъ я.—Когда онъ капризничалъ, снисходилъ и лгалъ, то меня поражало, какъ это вы ничего не видите, не понимаете, когда все такъ ясно. Цѣлуете ему руки, стоите на колѣняхъ, льстите...

— Когда я... цѣловала руки и стояла на колѣняхъ, я любила...—говорила она, краснѣя.

— Неужели было такъ трудно разгадать его? Хорошъ сфинксъ! Сфинксъ — камеръ-юнкеръ! Я ни въ чемъ васъ не упрекаю, храни Богъ,—продолжалъ я, чувствуя, что я грубоватъ, что у меня нѣтъ свѣтскости и той деликатности, которая такъ нужна, когда имѣешь дѣло съ чужою душой; раньше, до знакомства съ ней, я не замѣчалъ въ себѣ этого недостатка.—Но какъ вы могли не угадать?—повторялъ я, но уже тише и неувѣреннѣе.

— Вы хотите сказать, что презираете мое прошлое, и вы правы,—говорила она въ сильномъ волненіи.—Вы принадлежите къ особенному разряду людей, которыхъ нельзя мѣрить на обыкновенный аршинъ, ваши нравственныя требованія отличаются исключительною строгостью, и, я понимаю, вы не можете прощать; я понимаю васъ и, если иной разъ я противорѣчу, то это не значитъ, что я иначе смотрю на вещи, чѣмъ вы; говорю я прежній вздоръ просто оттого, что еще не успѣла износить своихъ старыхъ платьевъ и предразсудковъ. Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь... Какая это любовь? Теперь даже смѣшно все это, — говорила она, подходя къ окну и глядя внизъ на каналъ. — Всѣ эти любви только туманятъ совѣсть и сбиваютъ съ толку. Смыслъ жизни только въ одномъ—въ борьбѣ. Наступить каблукомъ на подлую змѣиную голову, и чтобы она — кракъ! — Вотъ въ чемъ смыслъ. Въ этомъ одномъ, или же вовсе нѣтъ смысла.

Я разсказывалъ ей длинныя исторіи изъ своего прошлаго и описывалъ свои въ самомъ дѣлѣ изумительныя похожде-

нія. Но о той перемѣнѣ, какая произошла во мнѣ, я не обмолвился ни однимъ словомъ. Она съ большимъ вниманіемъ слушала меня всякій разъ и въ интересныхъ мѣстахъ потирала руки, какъ будто съ досадой, что ей не удалось еще пережить такія же приключенія, страхи и радости, но вдругъ задумывалась, уходила въ себя, и я уже видѣлъ по ея лицу, что она не слушаетъ меня.

Я закрывалъ окна, выходящія на каналъ, и спрашивалъ: не затопить ли каминъ?

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ. Мнѣ не холодно, — говорила она, вяло улыбаясь:—я только ослабѣла вся. Знаете, мнѣ кажется, что за послѣднее время я страшно поумнѣла. У меня теперь необыкновенныя, оригинальныя мысли. Когда я, напримѣръ, думаю о прошломъ, о своей тогдашней жизни... ну, о людяхъ вообще, то все это сливается у меня въ одно — въ образъ моей мачихи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая, развратная и къ тому же еще морфинистка. Отецъ, слабый и безхарактерный, женился на моей матери изъ-за денегъ и вогналъ ее въ чахотку, а эту вотъ свою вторую жену, мою мачиху, любилъ страстно, безъ памяти... Натерпѣлась я! Ну, да что говорить! Такъ вотъ все, говорю я, сливается въ одинъ образъ... И мнѣ досадно: зачѣмъ мачиха умерла? Хотѣлось бы теперь встрѣтиться съ ней!..

— Зачѣмъ?

— Такъ, не знаю... — отвѣчала она со смѣхомъ, красиво встряхивая головой. — Спокойной ночи. Выздоравливайте. Какъ только поправитесь, займемся нашими дѣлами... Пора...

Когда я, уже простившись, брался за ручку двери, она говорила:

— Какъ думаете? Поля все еще живетъ у него?

— Вѣроятно.

И я уходилъ къ себѣ. Такъ мы прожили цѣлый мѣсяцъ. Въ одинъ пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна въ моемъ номерѣ и молча глядѣли на тучи, которыя надвигались съ моря, и на посинѣвшій каналъ и ожидали, что сейчасъ хлынетъ дождь, и когда ужъ узкая, густая полоса дождя, какъ марля, закрыла взморье, намъ обоимъ вдругъ стало скучно. Въ тотъ же день мы уѣхали во Флоренцію.

XVI.

Дѣло происходило уже осенью, въ Ниццѣ. Однажды утромъ, когда я зашелъ къ ней въ номеръ, она сидѣла въ креслѣ, положивъ ногу на ногу, сгорбившись, осунувшись, закрывъ лицо руками, и плакала горько, навзрыдъ, и ея длинные, не причесанные волосы падали ей на колѣни. Впечатлѣніе чуднаго, удивительнаго моря, которое я только-что видѣлъ, про которое хотѣлъ разсказать, вдругъ оставило меня, и сердце мое сжалось отъ боли.

— О чемъ вы?—спросилъ я; она отняла одну руку отъ лица и махнула мнѣ, чтобъ я вышелъ.—Ну, о чемъ вы?—повторилъ я, и въ первый разъ за все время нашего знакомства поцѣловалъ у нея руку.

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего!—проговорила она быстро.—Ахъ, ничего, ничего... Уйдите... Видите, я не одѣта.

Я вышелъ въ страшномъ смущеніи. Покой и безпечальное настроеніе, въ какомъ я такъ долго находился, были отравлены состраданіемъ. Мнѣ страстно хотѣлось пасть къ ея ногамъ, умолять, чтобы она не плакала въ одиночку, а дѣлилась бы со мной своимъ горемъ, и ровный шумъ моря заворчалъ въ моихъ ушахъ уже какъ мрачное пророчество, и я видѣлъ впереди новыя слезы, новыя скорби и потери. О чемъ, о чемъ она плачетъ?—спрашивалъ я, вспоминая ея лицо и страдальческій взглядъ. Я вспомнилъ, что она беременна. Она старалась скрыть свое положеніе и отъ людей, и отъ себя самой. Дома она ходила въ просторной блузѣ или въ кофточкѣ съ преувеличенно пышными складками на груди, а уходя куда-нибудь, затягивалась въ корсетъ такъ сильно, что два раза во время прогулокъ съ ней случались обмороки. Со мной она никогда не говорила о своей беременности, и однажды, когда я заикнулся о томъ, что ей не мѣшало бы посовѣтоваться съ докторомъ, она вся покраснѣла и не сказала ни слова.

Когда я потомъ вошелъ къ ней, она была уже одѣта и причесана.

— Полно, полно! — сказалъ я, видя, что она готова опять заплакать. — Давайте-ка лучше пойдемъ къ морю и потолкуемъ.

— Не могу я говорить. Простите, я теперь въ такомъ настроеніи, когда хочется быть одной. И, пожалуйста, Вла-

диміръ Ивановичъ, когда въ другой разъ захотите войти ко мнѣ, то предварительно постучите въ дверь.

Это «предварительно» прозвучало какъ-то особенно, не по-женски. Я вышелъ. Возвращалось проклятое, петербургское настроеніе и всѣ мои мечты свернулись и сжались, какъ листья отъ жара. Я чувствовалъ, что я опять одинокъ, что близости между нами нѣтъ. Я для нея то же, что вотъ для этой пальмы паутина, которая повисла на ней случайно и которую сорветъ и унесетъ вѣтеръ. Я прогулялся по скверу, гдѣ играла музыка, зашелъ въ казино; тутъ я оглядывалъ разодѣтыхъ, сильно пахнущихъ женщинъ, и каждая взглядывала на меня такъ, какъ будто хотѣла сказать: «Ты одинокъ, и прекрасно...» Потомъ я вышелъ на террасу и долго глядѣлъ на море. Вдали на горизонтѣ ни одного паруса, на лѣвомъ берегу въ лиловатой мглѣ горы, сады, башни, дома, на всемъ играетъ солнце, но все чуждо, равнодушно, путаница какая-то.

XVII.

Она попрежнему приходила ко мнѣ по утрамъ пить кофе, но мы уже не обѣдали вмѣстѣ; ей, какъ она говорила, не хотѣлось ѣсть, и питалась она только кофе, чаемъ и разными пустяками, въ родѣ апельсиновъ и карамели.

И разговоровъ у насъ по вечерамъ уже не было. Не знаю, почему такъ. Послѣ того, какъ я засталъ ее въ слезахъ, она стала относиться ко мнѣ какъ-то слегка, подчасъ небрежно, даже съ ироніей, и называла меня почему-то «сударь мой». То, что раньше казалось ей страшнымъ, удивительнымъ, героическимъ и что возбуждало въ ней зависть и восторгъ, теперь не трогало ея вовсе, и обыкновенно, выслушавъ меня, она слегка потягивалась и говорила:

— Да, было дѣло подъ Полтавой, сударь мой, было.

Случалось даже, что я не встрѣчался съ ней по цѣлымъ днямъ. Бывало, постучишься робко и виновато въ ея дверь — отвѣта нѣтъ; постучишься еще разъ — молчаніе... Стоишь около двери и слушаешь; но вотъ мимо проходитъ горничная и холодно заявляетъ: «madame est partie». Затѣмъ ходишь по коридору гостиницы, ходишь, ходишь... Какіе-то англичане, полногрудыя дамы, гарсоны во фракахъ... И когда я долго смотрю на длинный полосатый

коверъ, который тянется черезъ весь коридоръ, мнѣ приходитъ на мысль, что въ жизни этой женщины я играю странную, вѣроятно, фальшивую роль и что уже не въ моихъ силахъ измѣнить эту роль; я бѣгу къ себѣ въ номеръ, падаю на постель и думаю, думаю и не могу ничего придумать, и для меня ясно только, что мнѣ хочется жить, и что чѣмъ некрасивѣе, суше и черствѣе становится лицо, тѣмъ она ближе ко мнѣ и тѣмъ сильнѣе и больнѣй я чувствую наше родство. Пусть я — «сударь мой», пусть этотъ легкій, пренебрежительный тонъ, пусть что угодно, но только не оставляй меня, мое сокровище. Мнѣ теперь страшно одному.

Потомъ я опять выхожу въ коридоръ, съ тревогой прислушиваюсь... Я не обѣдаю, не замѣчаю, какъ наступаетъ вечеръ. Наконецъ, часу въ одиннадцатомъ слышатся знакомые шаги, и на поворотѣ около лѣстницы показывается Зинаида Ѳедоровна.

— Прогуливаетесь?—спрашиваетъ она проходя мимо.— Вы бы лучше шли наружу... Спокойной ночи!

— Но развѣ мы уже не увидимся сегодня?

— Уже поздно, кажется. Впрочемъ, какъ хотите?

— Скажите, гдѣ вы были?—спрашиваю я, входя за нею въ номеръ.

— Гдѣ? Въ Монте-Карло, — она достаетъ изъ кармана штукъ десять золотыхъ монетъ и говоритъ:—Вотъ, сударь мой. Выиграла. Это въ рулетку.

— Ну, вы не станете играть.

— Отчего же? Я и завтра опять поѣду.

Я воображалъ, какъ она съ нехорошимъ болѣзненнымъ лицомъ, беременная, сильно затянутая, стоитъ около игорнаго стола въ толпѣ кокотокъ, выжившихъ изъ ума старухъ, которыя жмутся у золота, какъ мухи у меда, вспоминалъ, что она уѣзжала въ Морте-Карло почему-то тайно отъ меня...

— Я не вѣрю вамъ,—сказалъ я однажды.—Вы не поѣдете туда.

— Не волнуйтесь. Много я не могу проиграть.

— Дѣло не въ проигрышѣ, — сказалъ я съ досадой. — Развѣ вамъ не приходило на мысль, когда вы тамъ играли, что блескъ золота, всѣ эти женщины, старыя и молодыя,

крупье, вся обстановка, что все это—подлая, гнусная насмѣшка надъ трудомъ рабочаго, надъ кровавымъ потомъ?

— Если не играть, то что же тутъ дѣлать? — спросила она. — И трудъ рабочаго, и кровавый потъ — это краснорѣчіе вы отложите до другого раза, а теперь, разъ вы начали, то позвольте мнѣ продолжать; позвольте мнѣ поставить ребромъ вопросъ: что мнѣ тутъ дѣлать и что я буду дѣлать?

— Что дѣлать?—сказалъ я, пожавъ плечами.—На этотъ вопросъ нельзя отвѣтить сразу.

— Я прошу отвѣта по совѣсти, Владиміръ Иванычъ,— сказала она, и лицо ея стало сердитымъ.—Разъ я рѣшилась задать вамъ этотъ вопросъ, то не для того, чтобы слышать общія фразы. Я васъ спрашиваю, — продолжала она, стуча ладонью по столу, какъ бы отбивая тактъ: — что я должна здѣсь дѣлать? И не только здѣсь въ Ниццѣ, но вообще?

Я молчалъ и смотрѣлъ въ окно на море. Сердце у меня страшно забилось.

— Владиміръ Иванычъ, — сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить. — Владиміръ Иванычъ, если вы сами не вѣрите въ дѣло, если вы уже не думаете вернуться къ нему, то зачѣмъ... зачѣмъ вы тащили меня изъ Петербурга? Зачѣмъ обѣщали и зачѣмъ возбудили во мнѣ сумасшедшія надежды? Убѣжденія ваши измѣнились, вы стали другимъ человѣкомъ, и никто не винитъ васъ въ этомъ—убѣжденія не всегда въ нашей власти, но... но, Владиміръ Иванычъ, Бога ради, зачѣмъ вы неискренни?— продолжала она тихо, подходя ко мнѣ. — Когда я всѣ эти мѣсяцы мечтала вслухъ, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый ладъ, то почему вы не говорили мнѣ правды, а молчали, или поощряли разсказами и держали себя такъ, какъ будто вполнѣ сочувствовали мнѣ? Почему? Для чего это было нужно?

— Трудно сознаваться въ своемъ банкротствѣ, — проговорилъ я, оборачиваясь, но не глядя на нее. — Да, я не вѣрю, утомился, палъ духомъ... Тяжело быть искреннимъ, страшно тяжело, и я молчалъ. Не дай Богъ никому пережить то, что я пережилъ.

Мнѣ показалось, что я сейчасъ заплачу, и я замолчалъ.

— Владиміръ Иванычъ,—сказала она и взяла меня за

обѣ руки.—Вы много пережили и испытали, знаете больше, чѣмъ я; подумайте серьезно и скажите: что мнѣ дѣлать? Научите меня. Если вы сами уже не въ силахъ идти и вести за собой другихъ, то по крайней мѣрѣ укажите, куда мнѣ идти. Согласитесь, вѣдь я живой, чувствующій и разсуждающій человѣкъ. Попасть въ ложное положеніе... играть какую-то нелѣпую роль... мнѣ это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю васъ, а только прошу.

Принесли чай.

— Ну, что же?—спросила Зинаида Ѳедоровна, подавая мнѣ стаканъ.—Что вы мнѣ скажете?

— Не только свѣту, что въ окнѣ, — отвѣтилъ я. — И кромѣ меня есть люди, Зинаида Ѳедоровна.

— Такъ вотъ укажите мнѣ ихъ,—живо сказала она.—Я объ этомъ только и прошу васъ.

— И еще я хочу сказать, — продолжалъ я. — Служить идеѣ можно не въ одномъ какомъ-нибудь поприщѣ. Если ошиблись, извѣрились въ одномъ, то можно отыскать другое. Міръ идей щирокъ и неисчерпаемъ.

— Міръ идей! — проговорила она и насмѣшливо поглядѣла мнѣ въ лицо. — Такъ ужъ лучше мы перестанемъ... Что ужъ тутъ...

Она покраснѣла.

— Міръ идей!—повторила она и отбросила салфетку въ сторону, и лицо ея приняло негодующее, брезгливое выраженіе.—Всѣ эти ваши прекрасныя идеи, я вижу, сводятся къ одному неизбѣжному, необходимому шагу: я должна сдѣлаться вашею любовницей. Вотъ что нужно. Носиться съ идеями и не быть любовницей честнѣйшаго, идейнѣйшаго человѣка — значитъ не понимать идей. Надо начинать съ этого... то-есть съ любовницы, а остальное само приложится.

— Вы раздражены, Зинаида Ѳедоровна,—сказалъ я.

— Нѣтъ, я искренна! — крикнула она, тяжело дыша.— Я искренна!

— Вы искренни, быть-можетъ, но вы заблуждаетесь, и мнѣ больно слушать васъ.

— Я заблуждаюсь!—засмѣялась она.—Кто бы говорилъ, да не вы, сударь мой. Пусть я покажусь вамъ неделикатной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Вѣдь любите?

Я пожалъ плечами.

— Да, пожимайте плечами! — продолжала она насмѣшливо.—Когда вы были больны, я слышала, какъ вы бредили, потомъ постоянно эти обожающіе глаза, вздохи, благонамѣренные разговоры о близости, духовномъ родствѣ... Но, главное, почему вы до сихъ поръ были не искренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о томъ, чего нѣтъ? Сказали бы съ самаго начала, какія собственно идеи заставили васъ вытащить меня изъ Петербурга, такъ бы ужъ я и знала. Отравилась бы тогда, какъ хотѣла, и не было бы теперь этой нудной комедіи... Э, да что говорить!—она махнула на меня рукой и сѣла.

— Вы говорите такимъ тономъ, какъ будто подозрѣваете во мнѣ безчестныя намѣренія,—обидѣлся я.

— Ну, да ужъ ладно. Что ужъ тутъ. Я не намѣренія подозрѣваю въ васъ, а то, что у васъ никакихъ намѣреній не было. Будь они у васъ, я бы ужъ знала ихъ. Кромѣ идей и любви, у васъ ничего не было. Теперь идеи и любовь, а въ перспективѣ—я любовница. Таковъ ужъ порядокъ вещей и въ жизни и въ романахъ... Вотъ вы бранили его, — сказала она и ударила ладонью по столу: — а вѣдь поневолѣ съ нимъ согласишься. Не даромъ онъ презираетъ всѣ эти идеи.

— Онъ не презираетъ идей, а боится ихъ, — крикнулъ я.—Онъ трусъ и лжецъ.

— Ну, да ужъ ладно! Онъ трусъ, лжецъ и обманулъ меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Онъ обманулъ и бросилъ меня на произволъ судьбы въ Петербургѣ, а вы обманули и бросили меня здѣсь. Но тотъ хоть идей не приплеталъ къ обману, а вы...

— Бога ради, зачѣмъ вы это говорите? — ужаснулся я, ломая руки и быстро подходя къ ней. — Нѣтъ, Зинаида Ѳедоровна, нѣтъ, это цинизмъ, нельзя такъ отчаиваться, выслушайте меня,—продолжалъ я, ухватившись за мысль, которая вдругъ неясно блеснула у меня въ головѣ и, казалось, могла еще спасти насъ обоихъ. — Слушайте меня. Я испыталъ на своемъ вѣку много, такъ много, что теперь при воспоминаніи голова кружится, и я теперь крѣпко понялъ мозгомъ, своей изболѣвшей душой, что назначеніе человѣка или ни въ чемъ, или только въ одномъ—въ са-

моотверженной любви къ ближнему. Вотъ куда мы должны идти и въ чемъ наше назначеніе! Вотъ моя вѣра!

Дальше я хотѣлъ говорить о милосердіи, о всепрощеніи, но голосъ мой вдругъ зазвучалъ неискренно, и я смутился.

— Мнѣ жить хочется!—проговорилъ я искренно.—Жить, жить! Я хочу мира, тишины, хочу тепла, вотъ этого моря, вашей близости. О, какъ бы я хотѣлъ внушить и вамъ эту страстную жажду жизни! Вы только-что говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выраженія лица...

Она покраснѣла и сказала быстро, чтобы помѣшать мнѣ говорить:

— Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало-быть, дороги у насъ разныя.

Она налила себѣ чаю, но не дотронулась до него, пошла въ спальню и легла.

— Я полагаю, намъ бы лучше прекратить этотъ разговоръ,—сказала она мнѣ оттуда. — Для меня все уже кончено и ничего мнѣ не нужно... Что жъ тутъ разговаривать еще!

— Нѣтъ, не все кончено!

— Ну, да ладно!.. Знаю я! Надоѣло... Будетъ.

Я постоялъ, прошелся изъ угла въ уголъ и вышелъ въ коридоръ. Когда потомъ, поздно ночью, я подошелъ къ ея двери и прислушался, мнѣ явственно послышался плачъ.

На другой день утромъ лакей, подавая мнѣ платье, сообщилъ съ улыбкой, что госпожа изъ 13-го номера родитъ. Я кое-какъ одѣлся и, замирая отъ ужаса, поспѣшилъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ. Въ ея номерѣ находились докторъ, акушерка и пожилая русская дама изъ Харькова, которую звали Дарьей Михайловной. Пахло эфирными каплями. Едва я переступилъ порогъ, какъ изъ комнаты, гдѣ лежала она, послышался тихій, жалобный стонъ, и точно это вѣтеръ донесъ мнѣ его изъ Россіи, я вспомнилъ Орлова, его иронію, Полю, Неву, снѣгъ хлопьями, потомъ пролетку безъ фартука, пророчество, какое я прочелъ на холодномъ утреннемъ небѣ, и отчаянный крикъ: «Нина! Нина!»

— Вы сходите къ ней,—сказала дама.

Я вошелъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ съ такимъ чувствомъ, какъ будто я былъ отцомъ ребенка. Она лежала съ за-

крытыми глазами, худая, блѣдная, въ бѣломъ чепчикѣ съ кружевами. Помню, два выраженія были на ея лицѣ: одно равнодушное, холодное, вялое, другое дѣтское и безпомощное, какое придавалъ ей бѣлый чепчикъ. Она не слышала, какъ я вошелъ или, быть-можетъ, слышала, но не обратила на меня вниманія. Я стоялъ, смотрѣлъ на нее и ждалъ.

Но вотъ лицо ея покривилось отъ боли, она открыла глаза и стала глядѣть въ потолокъ, какъ бы соображая, что съ ней... На ея лицѣ выразилось отвращеніе.

— Гадко,—прошептала она.

— Зинаида Ѳедоровна,—позвалъ я слабо.

Она равнодушно, вяло поглядѣла на меня и закрыла глаза. Я постоялъ немного и вышелъ.

Ночью Дарья Михайловна сообщила мнѣ, что родилась дѣвочка, но что роженица въ опасномъ положеніи; потомъ по коридору бѣгали, былъ шумъ. Опять приходила ко мнѣ Дарья Михайловна и съ отчаяннымъ лицомъ, ломая руки, говорила:

— О, это ужасно! Докторъ подозрѣваетъ, что она приняла ядъ! О, какъ не хорошо ведутъ себя здѣсь русскія!

А на другой день въ полдень Зинаида Ѳедоровна скончалась.

XVIII.

Прошло два года. Обстоятельства измѣнились, я опять поѣхалъ въ Петербургъ и могъ жить тутъ, уже не скрываясь. Я уже не боялся быть и казаться чувствительнымъ и весь ушелъ въ отеческое или, вѣрнѣе, идолопоклонническое чувство, какое возбуждала во мнѣ Соня, дочь Зинаиды Ѳедоровны. Я кормилъ ее изъ своихъ рукъ, купалъ, укладывалъ спать, не сводилъ съ нея глазъ по цѣлымъ ночамъ и вскрикивалъ, когда мнѣ казалось, что нянька ее сейчасъ уронитъ. Моя жажда обыкновенной обывательской жизни съ теченіемъ времени становилась все сильнѣе и раздражительнѣе, но широкія мечты остановились около Сони, какъ будто нашли въ ней, наконецъ, именно то, что мнѣ нужно было. Я любилъ эту дѣвочку безумно. Въ ней я видѣлъ продолженіе своей жизни, и мнѣ не то чтобы казалось, а я чувствовалъ, почти вѣровалъ, что когда, наконецъ, я сброшу съ себя длинное, костлявое, бородатое тѣло, то буду жить въ этихъ голубыхъ глазкахъ, въ бѣлокурыхъ

шелковыхъ волосикахъ и въ этихъ пухлыхъ розовыхъ ручонкахъ, которыя такъ любовно гладятъ меня по лицу и обнимаютъ мою шею.

Судьба Сони пугала меня. Отцомъ ея былъ Орловъ, въ метрическомъ свидѣтельствѣ она называлась Красновскою, а единственный человѣкъ, который зналъ объ ея существованіи и для котораго оно было интересно, то-есть я, уже дотягивалъ свою пѣсню. Нужно было подумать о ней серьезно.

На другой же день по пріѣздѣ въ Петербургъ, я отправился къ Орлову. Отворилъ мнѣ толстый старикъ съ рыжими бакенами и безъ усовъ, повидимому нѣмецъ. Поля, убиравшая въ гостиной, не узнала меня, но зато Орловъ узналъ тотчасъ же.

— А, господинъ крамольникъ!—сказалъ онъ, оглядывая меня съ любопытствомъ и смѣясь.—Какими судьбами?

Онъ нисколько не измѣнился: все то же холеное, непріятное лицо, та же иронія. И на столѣ, какъ въ прежнее время, лежала какая-то новая книга съ заложеннымъ въ нее ножомъ изъ слоновой кости. Очевидно, читалъ до моего прихода. Онъ усадилъ меня, предложилъ сигару и съ деликатностью, свойственною только отлично воспитаннымъ людямъ, скрывая непріятное чувство, какое возбуждали въ немъ мое лицо и моя тощая фигура, замѣтилъ вскользь, что я нисколько не измѣнился и что меня легко узнать, несмотря даже на то, что я обросъ бородою. Поговорили о погодѣ, о Парижѣ. Чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ тяжелаго неизбѣжнаго вопроса, который томилъ и его, и меня, онъ спросилъ:

— Зинаида Ѳедоровна умерла?

— Да, умерла,—отвѣтилъ я.

— Отъ родовъ?

— Да, отъ родовъ. Докторъ подозрѣвалъ другую причину смерти, но... и для васъ, и для меня покойнѣе думать, что она умерла отъ родовъ.

Онъ вздохнулъ изъ приличія и помолчалъ. Пролетѣлъ тихій ангелъ.

— Такъ-съ, а у меня все по-старому, никакихъ особенныхъ перемѣнъ, — живо заговорилъ онъ, замѣтивъ, что я оглядываю кабинетъ.—Отецъ, какъ вы знаете, въ отставкѣ и уже на покоѣ, я все тамъ же. Пекарскаго помните? Онъ

все такой же. Грузинъ въ прошломъ году умеръ отъ дифтерита... Ну-съ, Кукушкинъ живъ и частенько вспоминаетъ о васъ. Кстати,—продолжалъ Орловъ, застѣнчиво опуская глаза: — когда Кукушкинъ узналъ, кто вы, то сталъ вездѣ разсказывать, что вы будто учинили на него нападеніе, хотѣли его убить... и онъ едва спасся.

Я промолчалъ.

— Старые слуги не забываютъ своихъ господъ... Это очень мило съ вашей стороны,—пошутилъ Орловъ.—Однако, не хотите ли вина или кофе? Я прикажу сварить.

— Нѣтъ, благодарю. Я къ вамъ по очень важному дѣлу, Георгій Иванычъ.

— Я не охотникъ до важныхъ дѣлъ, но вамъ радъ служить. Что прикажете?

— Видите ли,—началъ я, волнуясь:—со мной въ настоящее время находится здѣсь дочь покойной Зинаиды Ѳедоровны... До сихъ поръ я занимался ея воспитаніемъ, но, какъ видите, не сегодня-завтра я превращусь въ звукъ пустой. Мнѣ хотѣлось бы умереть съ мыслью, что она пристроена.

Орловъ слегка покраснѣлъ, нахмурился и сурово, мелькомъ взглянулъ на меня. На него непріятно подѣйствовало не столько «важное дѣло», какъ слова мои о превращеніи въ звукъ пустой, о смерти.

— Да, объ этомъ надо подумать,—сказалъ онъ, заслоняя глаза, какъ отъ солнца. — Благодарю васъ. Вы говорите: дѣвочка?

— Да, дѣвочка. Чудная дѣвочка!

— Такъ. Это, конечно, не мопсъ, а человѣкъ... понятно, надо серьезно подумать. Я готовъ принять участіе и... и очень обязанъ вамъ.

Онъ всталъ, прошелся, кусая ногти, и остановился передъ картиной.

— Объ этомъ надо подумать,—сказалъ онъ глухо, стоя ко мнѣ спиной. — Я сегодня побываю у Пекарскаго и попрошу его съѣздить къ Красновскому. Думаю, что Красновскій не будетъ долго ломаться и согласится взять эту дѣвочку.

— Но, простите, я не знаю, при чемъ тутъ Красновскій,—сказалъ я, тоже вставая и подходя къ картинѣ въ другомъ концѣ кабинета.

— Но, вѣдь, она носитъ его фамилію, надѣюсь! — сказалъ Орловъ.

— Да, онъ, быть-можетъ, обязанъ по закону принять къ себѣ этого ребенка, я не знаю, но я пришелъ къ вамъ, Георгій Иванычъ, не для того, чтобъ говорить о законахъ.

— Да, да, вы правы, — живо согласился онъ. — Я, кажется, говорю вздоръ. Но вы не волнуйтесь. Мы все это обсудимъ ко взаимному удовольствію. Не одно, такъ другое, не другое, такъ третье, а такъ или иначе этотъ щекотливый вопросъ будетъ рѣшенъ. Пекарскій все устроитъ. Вы будете добры, оставите мнѣ свой адресъ, и я сообщу вамъ немедленно то рѣшеніе, къ какому мы придемъ. Вы гдѣ живете?

Орловъ записалъ мой адресъ, вздохнулъ и сказалъ съ улыбкой:

— Что за комиссія, Создатель, быть малой дочери отцомъ! Но Пекарскій все устроитъ. Это «умный» мужчина. А вы долго прожили въ Парижѣ?

— Мѣсяца два.

Мы помолчали. Орловъ, очевидно, боялся, что я опять заговорю о дѣвочкѣ и, чтобы отвлечь мое вниманіе въ другую сторону, сказалъ:

— Вы, вѣроятно, уже забыли про свое письмо. А я берегу его. Ваше тогдашнее настроеніе я понимаю и, признаться, уважаю это письмо. Проклятая, холодная кровь, азіатъ, лошадиный смѣхъ — это мило и характерно, — продолжалъ онъ, иронически улыбаясь. — И основная мысль, пожалуй, близка къ правдѣ, хотя можно было бы спорить безъ конца. То-есть, — замялся онъ: — спорить не съ самою мыслью, а съ вашимъ отношеніемъ къ вопросу, съ вашимъ, такъ сказать, темпераментомъ. Да, моя жизнь ненормальна, испорчена, не годится ни къ чему, и начать новую жизнь мнѣ мѣшаетъ трусость, — тутъ вы совершенно правы. Но что вы такъ близко принимаете это къ сердцу, волнуетесь и приходите въ отчаяніе, — это не резонъ, тутъ вы совсѣмъ неправы.

— Живой человѣкъ не можетъ не волноваться и не отчаиваться, когда видитъ, какъ погибаетъ самъ и вокругъ гибнутъ другіе.

— Кто говоритъ! Я вовсе не проповѣдую равнодушія, а хочу только объективнаго отношенія къ жизни. Чѣмъ объек-

тивнѣе, тѣмъ меньше риску впасть въ ошибку. Надо смотрѣть въ корень и искать въ каждомъ явленіи причину всѣхъ причинъ. Мы ослабѣли, опустились, пали наконецъ, наше поколѣніе всплошную состоитъ изъ неврастениковъ и нытиковъ, мы только и знаемъ, что толкуемъ объ усталости и переутомленіи, но виноваты въ этомъ не вы и не я; мы слишкомъ мелки, чтобы отъ нашего произвола могла зависѣть судьба цѣлаго поколѣнія. Тутъ, надо думать, причины большія, общія, имѣющія съ точки зрѣнія біологической свой солидный raison d'être. Мы неврастеники, кисляи, отступники, но, быть-можетъ, это нужно и полезно для тѣхъ поколѣній, которыя будутъ жить послѣ насъ. Ни единый волосъ не падаетъ съ головы безъ воли Отца Небеснаго,—другими словами, въ природѣ и въ человѣческой средѣ ничто не творится такъ-себѣ. Все обосновано и необходимо. А если такъ, то чего же намъ особенно безпокоиться и писать отчаянныя письма?

— Такъ-то такъ,—сказалъ я, подумавъ.—Я вѣрю, слѣдующимъ поколѣніямъ будетъ легче и виднѣй; къ ихъ услугамъ будетъ нашъ опытъ. Но вѣдь хочется жить независимо отъ будущихъ поколѣній и не только для нихъ. Жизнь дается одинъ разъ, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется дѣлать исторію, чтобы тѣ же поколѣнія не имѣли права сказать про каждаго изъ насъ: то было ничтожество, или еще хуже того... Я вѣрю и въ цѣлесообразность, и въ необходимость того, что происходитъ вокругъ, но какое мнѣ дѣло до этой необходимости, зачѣмъ пропадать моему «я»?

— Ну, что дѣлать! — вздохнулъ Орловъ, поднимясь и какъ бы давая понять, что разговоръ нашъ уже конченъ.

Я взялся за шапку.

— Только полчаса посидѣли, а сколько вопросовъ рѣшили, подумаешь! — говорилъ Орловъ, провожая меня до передней.—Такъ я позабочусь о томъ... Сегодня же повидаюсь съ Пекарскимъ. Будьте безъ сумлѣнія.

Онъ остановился въ ожиданіи, пока я одѣнусь, и видимо чувствовалъ удовольствіе отъ того, что я сейчасъ уйду.

— Георгій Иванычъ, возвратите мнѣ мое письмо,—сказалъ я.

— Слушаю-съ.

Онъ пошелъ въ кабинетъ и черезъ минуту вернулся съ письмомъ. Я поблагодарилъ и вышелъ.

На другой день я получилъ отъ него записку. Онъ поздравлялъ меня съ благополучнымъ рѣшеніемъ вопроса. У Пекарскаго есть знакомая дама, писалъ онъ, которая держитъ пансіонъ, что-то въ родѣ дѣтскаго сада, куда принимаются даже очень маленькія дѣти. На даму можно положиться вполнѣ, но прежде чѣмъ входить съ нею въ соглашеніе, не мѣшаетъ переговорить съ Красновскимъ — этого требуетъ формальность. Совѣтовалъ мнѣ немедленно отправиться къ Пекарскому и кстати прихватить съ собою метрическое свидѣтельство, если таковое имѣется. «Примите увѣреніе въ искреннемъ уваженіи и преданности вашего покорнаго слуги»...

Я читалъ это письмо, а Соня сидѣла на столѣ и смотрѣла на меня внимательно, не мигая, какъ будто знала, что рѣшается ея участь.

ХОРОШІЕ ЛЮДИ.

Жилъ-былъ въ Москвѣ Владиміръ Семенычъ Лядовскій. Онъ кончилъ курсъ въ университетѣ по юридическому факультету, служилъ въ контролѣ какой-то желѣзной дороги, но если бы вы спросили его, чѣмъ онъ занимается, то сквозь золотое pince-nez открыто и ясно поглядѣли бы на васъ большіе, блестящіе глаза, и тихій, бархатный, шепелявящій баритонъ отвѣтилъ бы вамъ:

— Я занимаюсь литературой!

Послѣ окончанія курса въ университетѣ, Владиміръ Семенычъ помѣстилъ въ одной газетѣ театральную замѣтку. Съ замѣтки перешелъ онъ къ библіографическому отдѣлу, а годъ спустя уже велъ въ газетѣ еженедѣльный критическій фельетонъ. Но изъ такого начала не слѣдуетъ, что онъ былъ дилетантъ, что его писательство имѣло случайный, преходящій характеръ. Когда я видѣлъ его чистенькую, худощавую фигурку, большой лобъ и длинную гриву, когда вслушивался въ его рѣчи, то мнѣ всякій разъ казалось, что его писательство, независимо отъ того, что̀ и какъ онъ пишетъ, свойственно ему органически, какъ біеніе сердца, и что еще во чревѣ матери въ его мозгу сидѣла наростомъ вся его программа. Даже въ его походкѣ, жестикуляціи, въ манерѣ сбрасывать съ папиросы пепелъ я читалъ всю эту программу отъ а до ижицы, со всей ея шумихой, скукой и порядочностью. Въ немъ былъ виденъ пишущій, когда съ вдохновеннымъ лицомъ возлагалъ онъ вѣнокъ на гробъ какой-нибудь знаменитости, или съ важнымъ, торжественнымъ выраженіемъ собиралъ подписи для

адреса; его страсть знакомиться съ извѣстными литераторами, способность находить таланты даже тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, постоянная восторженность, пульсъ 120 въ минуту, незнаніе жизни, та чисто женская взбудораженность, съ какою онъ хлопоталъ на концертахъ и литературныхъ вечерахъ въ пользу учащейся молодежи, тяготѣніе къ молодежи—все это создало бы ему репутацію «пишущаго», если бы даже онъ и не писалъ своихъ фельетоновъ.

Это пишущій, къ которому очень шло, когда онъ говорилъ: «Насъ немного!», или: «Что за жизнь безъ борьбы? Впередъ!», хотя онъ ни съ кѣмъ никогда не боролся и никогда не шелъ впередъ. Не выходило также приторно, когда онъ начиналъ толковать объ идеалахъ. Въ каждую университетскую годовщину, въ Татьянинъ день, онъ напивался пьянъ, подтягивалъ не въ тонъ «gaudeamus», и въ это время его сіяющее, вспотѣвшее лицо какъ бы говорило: «Глядите, я пьянъ, я кучу!» Но и это шло къ нему.

Владиміръ Семенычъ искренно вѣровалъ въ свое право писать и въ свою программу, не зналъ никакихъ сомнѣній и, повидимому, былъ очень доволенъ собой. Одно только печалило его, а именно: у газеты, въ которой онъ работалъ, было мало подписчиковъ и не было солидной репутаціи. Но Владиміръ Семенычъ вѣровалъ, что рано или поздно ему удастся пристроиться въ толстомъ журналѣ, гдѣ онъ развернется и покажетъ себя — и его маленькая печаль блѣднѣла въ виду яркихъ надеждъ.

Бывая у этого милаго человѣка, я познакомился съ его родной сестрой, женщиной-врачомъ Вѣрой Семеновной. Съ перваго же взгляда эта женщина поразила меня своимъ утомленнымъ, крайне болѣзненнымъ видомъ. Она была молода, хорошо сложена, съ правильнымъ, нѣсколько грубоватымъ лицомъ, но, въ сравненіи съ подвижнымъ, изящнымъ и болтливымъ братомъ, казалась угловатой, вялой, неряшливой и угрюмой. Ея движенія, улыбки и слова носили въ себѣ что-то вымученное, холодное, апатичное, и она не нравилась, ее считали гордой, недалекой.

На самомъ же дѣлѣ, мнѣ кажется, онъ отдыхала.

— Милый другъ мой, — часто говорилъ мнѣ ея братъ, вздыхая и красивымъ писательскимъ жестомъ откидывая назадъ волосы: — никогда не судите по наружности! Поглядите вы на эту книгу: она давно уже прочтена, закорузла,

растрепана, валяется въ пыли, какъ ненужная вещь, но раскройте ее, и она заставитъ васъ поблѣднѣть и заплакать. Моя сестра похожа на эту книгу. Приподнимите переплетъ, загляните въ душу, и васъ охватитъ ужасъ. Въ какіе-нибудь три мѣсяца Вѣра перенесла, сколько хватило бы на всю человѣческую жизнь!

Владиміръ Семенычъ оглядывался, бралъ меня за рукавъ и начиналъ шептать:

— Вы знаете, кончивъ курсъ, она вышла замужъ по любви за одного архитектора. Цѣлая драма! Едва успѣли молодые прожить мѣсяцъ, какъ мужъ—фюйть! — умираетъ отъ тифа. Но это не все. Она сама заражается отъ мужа тифомъ и, когда, выздоровѣвъ, узнаетъ, что ея Иванъ умеръ, принимаетъ хорошую дозу морфія. Если бы не энергія подругъ, то моя Вѣра была бы уже въ раю. Послушайте, развѣ это не драма? И развѣ моя сестра не похожа на ingénue, которая уже сыграла всѣ пять дѣйствій своей жизни? Пусть публика глядитъ водевиль, но ingénue должна ѣхать домой отдыхать.

Вѣра Семеновна, переживъ три несчастныхъ мѣсяца, поселилась у брата. Практическая медицина была не по ней, не удовлетворяла и утомляла ее; да она и не производила впечатлѣнія знающей, и я ни разу не слышалъ, чтобы она говорила о чемъ-нибудь, имѣющемъ отношеніе къ ея наукѣ.

Она оставила медицину и въ бездѣльи и молчаніи, точно заключенная, поникнувъ головой и опустивъ руки, лѣниво и безцвѣтно доживала свою молодость. Единственное, къ чему она еще не относилась равнодушно и что немного проясняло ея жизненныя сумерки, было присутствіе около нея брата, котораго она любила. Она любила его самого, его программу, благоговѣла передъ его фельетонами, и когда ее спрашивали, чѣмъ занимается ея братъ, она тихимъ голосомъ, точно боясь разбудить или помѣшать, отвѣчала: «Онъ пишетъ!..» Обыкновенно, когда онъ писалъ, она сидѣла возлѣ и не сводила глазъ съ его пишущей руки. Въ это время она походила на больное животное, грѣющееся на солнцѣ...

Въ одинъ изъ зимнихъ вечеровъ Владиміръ Семенычъ сидѣлъ у себя за столомъ и писалъ для газеты критическій фельетонъ, возлѣ сидѣла Вѣра Семеновна и по обы-

кновенію глядѣла на его пишущую руку. Критикъ писалъ быстро, безъ помарокъ и остановокъ. Перо поскрипывало и взвизгивало. На столѣ около пишущей руки лежала раскрытая, только-что обрѣзанная книжка толстаго журнала.

Тамъ былъ разсказъ изъ крестьянской жизни, подписанный двумя буквами. Владиміръ Семенычъ былъ въ восторгѣ. Онъ находилъ, что авторъ прекрасно справляется съ формой изложенія, въ описаніяхъ природы напоминаетъ Тургенева, искрененъ и знаетъ превосходно крестьянскую жизнь. Самъ критикъ былъ знакомъ съ этой жизнью только по книгамъ и по наслышкѣ, но чувство и внутреннее убѣжденіе заставляли его вѣрить разсказу. Онъ предсказывалъ автору блестящую будущность, увѣрялъ его, что ждетъ окончанія разсказа съ большимъ нетерпѣніемъ и проч.

— Прекрасный разсказъ!—проговорилъ онъ, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза отъ удовольствія.—Идея въ высшей степени симпатичная!

Вѣра Семеновна поглядѣла на него, громко зѣвнула и вдругъ задала неожиданный вопросъ. Вообще вечерами она имѣла привычку нервно зѣвать и задавать короткіе, отрывистые вопросы, не всегда шедшіе къ дѣлу.

— Володя, — спросила она: — что̀ значитъ непротивленіе злу?

— Непротивленіе злу? — переспросилъ братъ, открывая глаза.

— Да. Какъ ты его понимаешь?

— Видишь ли, милая, представь, что на тебя нападаютъ воры или разбойники и хотятъ тебя ограбить, а ты вмѣсто того, чтобы...

— Нѣтъ, ты дай логическое опредѣленіе.

— Логическое опредѣленіе? Гм!.. Ну, что жъ?—замялся Владиміръ Семенычъ.—Непротивленіе злу выражаетъ безучастное отношеніе ко всему, что̀ въ сферѣ нравственнаго именутся зломъ.

Сказавши это, Владиміръ Семенычъ нагнулся къ столу и принялся за повѣсть. Въ этой повѣсти, написанной женщиною, изображалась тягость нелегальнаго положенія свѣтской дамы, живущей подъ одной крышей съ любовникомъ и со своимъ незаконнорожденнымъ ребенкомъ. Владиміръ Семенычъ былъ доволенъ и симпатичной идеей, и фабулой,

и исполненіемъ. Передавая вкратцѣ содержаніе повѣсти, онъ выбиралъ лучшія мѣста и прибавлялъ къ нимъ от себя: «Не правда ли, какъ все это вѣрно дѣйствительности, какъ жизненно и картинно! Авторъ не только повѣствователь-художникъ, но онъ также и тонкій психологъ, умѣющій вглядываться въ душу своихъ персонажей. Для примѣра возьмемъ хоть это рельефное описаніе душевнаго состоянія героини во время встрѣчи ея съ мужемъ» и т. д.

— Володя!—перебила Вѣра Семеновна его критическія изліянія.—Странная мысль занимаетъ меня со вчерашняго дня. Я все думаю: что̀ мы изображали бы изъ себя, если бы жизнь человѣческая была построена на началахъ непротивленія злу?

— По всей вѣроятности, ничего. Непротивленіе злу дало бы полную свободу преступной волѣ, а отъ этого, не говоря ужъ о цивилизаціи, на землѣ не осталось бы камня на камнѣ.

— А что же бы осталось?

— Баши-бузуки и дома терпимости. Въ слѣдующемъ фельетонѣ я поговорю насчетъ этого, пожалуй. Спасибо, что напомнила.

И мой пріятель черезъ недѣлю сдержалъ свое обѣщаніе. Это было какъ разъ время—восьмидесятые годы, когда у насъ въ обществѣ и печати заговорили о непротивленіи злу, о правѣ судить, наказывать, воевать, когда кое-кто изъ нашей среды сталъ обходиться безъ прислуги, уходилъ въ деревню пахать, отказывался отъ мясной пищи и плотской любви.

Прочитавъ фельетонъ брата, Вѣра Семеновна подумала и едва замѣтно пожала плечами.

— Очень мило!—сказала она.—Но все же я еще многаго не понимаю. Напримѣръ, въ «Соборянахъ» Лѣскова есть одинъ чудакъ-огородникъ, который сѣетъ на долю всѣхъ: покупателей, нищихъ и тѣхъ, кто захочетъ украсть. Разумно онъ поступаетъ?

По выраженію лица и по тону сестры Владиміръ Семенычъ понялъ, что его фельетонъ не понравился ей, и чуть ли не первый разъ въ жизни въ немъ вздрогнуло его авторское чувство. Не безъ раздраженія онъ отвѣтилъ:

— Кража—явленіе безнравственное. Сѣять на долю воровъ, значитъ, признавать за ворами право на ихъ суще-

ствованіе. Что бы ты сказала, если бы я, открывая газету и планируя ее на отдѣлы, кромѣ честныхъ идей имѣлъ бы въ виду еще и шантажъ? Вѣдь по логикѣ этого огородника я долженъ удѣлить мѣсто также и шантажистамъ, подлецамъ мысли! Да?

Вѣра Семеновна ничего не отвѣтила. Она встала изъ-за стола, лѣниво поплелась къ дивану и легла.

— Не знаю, ничего не знаю! — сказала она въ раздумьи.—Ты, вѣроятно, правъ, но мнѣ кажется, я такъ чувствую, что въ нашей борьбѣ со зломъ есть какая-то фальшь, точно что-то не досказано или скрыто. Богъ знаетъ, быть-можетъ, наши пріемы въ противленіи злу принадлежатъ къ числу предразсудковъ, которые вкоренились въ насъ такъ глубоко, что мы уже не въ силахъ разстаться съ ними и потому уже не можемъ судить о нихъ правильно.

— То-есть какъ же это?

— Я не знаю, какъ тебѣ объяснить. Быть-можетъ, человѣкъ ошибается, думая, что онъ обязанъ и имѣетъ право бороться со зломъ, такъ же, какъ ошибается, думая, напримѣръ, что сердце имѣетъ видъ червоннаго туза. Очень можетъ быть, что въ борьбѣ со зломъ мы имѣемъ право дѣйствовать не силой, а тѣмъ, что противоположно силѣ, то-есть, если ты, напримѣръ, хочешь, чтобы у тебя не украли этой картины, то не запирай ее, а отдай...

— Умно, очень умно! Если я хочу жениться на богатой купчихѣ, то, чтобы помѣшать мнѣ сдѣлать эту подлость, купчиха должна поспѣшить сама выйти за меня замужъ!

До полуночи бесѣдовали братъ и сестра, не понимая другъ друга. Если бы посторонній человѣкъ подслушалъ ихъ, то едва ли бы понялъ, чего хочетъ одинъ и чего хочетъ другая.

Вечерами братъ и сестра обыкновенно сидѣли дома. Знакомыхъ семейныхъ домовъ у нихъ не было, да они и не чувствовали потребности въ знакомствахъ, въ театръ ходили только на новыя пьесы,—таковъ былъ тогда обычай у пишущихъ,—на концертахъ не бывали, потому что не любили музыки...

— Ты какъ хочешь думай, — сказала на другой день Вѣра Семеновна:—но для меня вопросъ уже отчасти рѣшенъ. Глубоко я убѣждена, что противиться злу, направленному противъ меня лично, я не имѣю никакого осно-

ванія. Захотятъ убить меня? Пусть. Отъ того, что я буду защищаться, убійца не станетъ лучше. Теперь для меня остается только рѣшить вторую половину вопроса: какъ я должна относиться къ злу, направленному противъ моихъ ближнихъ?

— Вѣра, ты не взбѣсись!—сказалъ Владиміръ Семенычъ и засмѣялся.—Непротивленіе становится, какъ я вижу, твоей idée-fixe!

Ему хотѣлось разыграть эти скучные разговоры въ шутку, но какъ-то уже было не до шутокъ, улыбка на лицѣ выходила кривой и кислой. Сестра ужъ не садилась у его стола и не слѣдила благоговѣйно за его пишущей рукой, а самъ онъ каждый вечеръ чувствовалъ, что позади него на диванѣ лежитъ человѣкъ, не согласный съ нимъ... И спина у него какъ будто деревянѣла и нѣмѣла, а въ душѣ вѣяло холодомъ. Авторское чувство злопамятно, неумолимо, не знаетъ прощенія, а сестра была первая и единственная, которая обнажила и растревожила это безпокойное чувство, похожее на большой ящикъ съ посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, какъ она была, невозможно.

Проходили недѣли и мѣсяцы, а сестра не оставляла своихъ мыслей и не садилась у стола. Однажды, весеннимъ вечеромъ, Владиміръ Семенычъ сидѣлъ за столомъ и писалъ фельетонъ. Онъ разбиралъ повѣсть о томъ, какъ одна сельская учительница отказываетъ любимому и любящему ее человѣку, богатому и интеллигентному, только потому, что для нея съ бракомъ сопряжена невозможность продолжать свою педагогическую дѣятельность. Вѣра Семеновна лежала на диванѣ и думала о чемъ-то.

— Боже, какая скука!—сказала она, потягиваясь.—Какъ вяло и безсодержательно течетъ жизнь! Я не знаю, что дѣлать съ собой, а ты тратишь свои лучшіе годы на Богъ знаетъ что. Какъ алхимикъ, роешься въ старомъ, никому ненужномъ хламѣ—о, Боже мой!

Владиміръ Семенычъ выронилъ перо и медленно оглянулся на сестру.

— Скучно глядѣть на тебя! — продолжала сестра. — Вагнеръ изъ «Фауста» выкапывалъ червей, но тотъ хоть клада искалъ, а ты ищешь червей ради червей...

— Туманно-съ!

— Да, Володя, всѣ эти дни я думала, долго, мучительно думала и убѣдилась: ты безнадежный обскурантъ и рутинеръ. Ну, спроси себя, что̀ можетъ дать тебѣ твоя усердная и добросовѣстная работа? Скажи: что? Вѣдь изъ этого стараго хлама, въ которомъ ты роешься, давно уже извлекли все, что̀ можно было извлечь. Какъ ни толки воду въ ступѣ, какъ ни разлагай ее, а больше того, что̀ уже сказано химиками, не скажешь...

— Вотъ ка-акъ!—протянулъ Владиміръ Семенычъ, поднимаясь.—Да, все это старый хламъ, потому что идеи эти вѣчны, но что̀ же по-твоему ново?

— Ты берешься работать въ области мысли, твое дѣло придумать что-нибудь новое. Не мнѣ тебя учить.

— Я — алхимикъ! — удивлялся и возмущался критикъ, насмѣшливо щуря глаза. — Искусство, прогрессъ — это алхимія!?

— Видишь ли, Володя, мнѣ кажется, что если бы всѣ вы, мыслящіе люди, посвятили себя рѣшенію большихъ задачъ, то всѣ эти твои вопросики, надъ которыми ты теперь бьешься, рѣшились бы сами собой, побочнымъ путемъ. Если ты поднимешься на шарѣ, чтобы увидѣть городъ, то поневолѣ, само собою, увидишь и поле, и деревни, и рѣки... Когда добываютъ стеаринъ, то, какъ побочный продуктъ, получается глицеринъ. Мнѣ кажется, что современная мысль засѣла на одномъ мѣстѣ и прилипла къ этому мѣсту. Она предубѣждена, вяла, робка, боится широкаго, гигантскаго полета, какъ мы съ тобой боимся взобраться на высокую гору, она консервативна.

Подобные разговоры не проходили безслѣдно. Взаимныя отношенія брата и сестры съ каждымъ днемъ становились все хуже и хуже. Братъ въ присутствіи сестры уже не могъ работать и раздражался, когда зналъ, что сестра лежитъ на диванѣ и глядитъ ему въ спину; сестра же какъ-то болѣзненно морщилась и потягивалась, когда онъ, пытаясь вернуть прошлое, пробовалъ дѣлиться съ нею своими восторгами. Каждый вечеръ она жаловалась на скуку, заводила рѣчь о свободѣ мысли, о рутинерахъ. Увлеченная своими новыми мыслями, Вѣра Семеновна доказывала, что работа, въ которую былъ погруженъ ея братъ, есть предразсудокъ, тщетная попытка консервативныхъ умовъ продолжать то, что̀ уже сослужило свою службу и уже сходитъ со сцены.

Сравненіямъ не было конца. Она сравнивала брата то съ алхимикомъ, то съ раскольникомъ-начетчикомъ, который скорѣе умретъ, чѣмъ поддастся убѣжденію...

Мало-по-малу стала замѣчаться перемѣна и въ ея образѣ жизни. Она могла уже по цѣлымъ днямъ и вечерамъ лежать па диванѣ, ничего не дѣлая, не читая, а только думая, причемъ лицо ея принимало холодное, сухое выраженіе, какое бываетъ у людей одностороннихъ, сильно вѣрующихъ; она стала отказываться отъ удобствъ, доставляемыхъ прислугой: сама за собой убирала, выносила, сама чистила полусапожки и платье. Братъ не могъ безъ раздраженія и даже ненависти глядѣть на ея холодное лицо, когда она принималась за черную работу. Въ этой работѣ, совершаемой всегда съ нѣкоторою торжественностью, онъ видѣлъ что-то натянутое, фальшивое, видѣлъ и фарисейство, и кокетство. И ужъ зная, что онъ не въ силахъ тронуть ее убѣжденіемъ, онъ, какъ школьникъ, придирался, дразнилъ ее.

— Не противишься злу, а сама противишься тому, что я имѣю прислугу! — язвилъ онъ. — Если прислуга зло, то зачѣмъ же ты противишься? Это непослѣдовательно!

Онъ страдалъ, возмущался и даже стыдился. Ему стыдно дѣлалось, когда сестра начинала дурить при постороннихъ.

— Ужасно, голубчикъ!—говорилъ онъ мнѣ по секрету, въ отчаяніи взмахивая руками.—Оказывается, что наша ingénue осталась играть еще и въ водевилѣ. Опсихопатилась до мозга костей! Я уже рукой махнулъ, пусть мыслитъ, какъ хочетъ, но зачѣмъ она говоритъ, зачѣмъ волнуетъ меня. Она бы подумала: каково-то мнѣ слушать ее? Каково мнѣ, когда въ моемъ присутствіи осмѣливаются кощунственно подтверждать свое заблужденіе ученіемъ Христа? Мнѣ душно! Меня бросаетъ въ жаръ, когда моя сестрица берется проповѣдывать свое ученіе и старается перетолковать Евангеліе въ свою пользу, когда она нарочно умалчиваетъ объ изгнаніи торгующихъ изъ храма! Вотъ что значитъ, батенька, недоразвитіе, недомысліе! Вотъ что значитъ медицинскій факультетъ, не дающій общаго развитія!

Разъ Владиміръ Семенычъ, вернувшись со службы домой, засталъ сестру плачущей. Она сидѣла на диванѣ, опу-

стивъ голову и ломая руки, и обильныя слезы текли у нея по лицу. Доброе сердце критика сжалось отъ боли. Слезы потекли и у него изъ глазъ, и ему захотѣлось приласкать сестру, простить ее, попросить прощенія, зажить по-старому... Онъ сталъ на колѣни, осыпалъ поцѣлуями ея голову, руки, плечи... Она улыбнулась, улыбнулась непонятно, горько, а онъ радостно вскрикнулъ, вскочилъ, схватилъ со стола журналъ и сказалъ съ жаромъ:

— Ура! Живемъ по-старому, Вѣрочка! Господи благослови! А какую я для тебя штучку приготовилъ! Давай-ка вмѣсто примирительнаго шампанскаго прочтемъ ее вмѣстѣ! Прекрасная, чудная вещь!

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ...—испугалась Вѣра Семеновна, отстраняя книгу.—Я уже читала! Не нужно, не нужно!

— Когда же ты читала?

— Годъ... два назадъ... Давно читала и знаю, знаю!

— Гм!.. Ты фанатичка!—сказалъ холодно братъ, бросая на столъ журналъ.

— Нѣтъ, ты фанатикъ, а не я! Ты!

И Вѣра Семеновна опять залилась слезами. Братъ стоялъ передъ ней, глядѣлъ на ея вздрагивающія плечи и думалъ. Думалъ онъ не о мукахъ одиночества, какое переживаетъ всякій, начинающій мыслить по-новому, по-своему, не о страданіяхъ, какія неизбѣжны при серьезномъ душевномъ переворотѣ, а о своей оскорбленной программѣ, о своемъ уязвленномъ авторскомъ чувствѣ.

Съ этого раза сталъ онъ относиться къ сестрѣ холодно, небрежно-насмѣшливо и терпѣлъ ее въ своей квартирѣ, какъ терпятъ старухъ-приживалокъ, она же перестала спорить съ нимъ и на всѣ его убѣжденія, насмѣшки и придирки отвѣчала снисходительнымъ молчаніемъ, которое еще болѣе раздражало его.

Въ одно лѣтнее утро Вѣра Семеновна, одѣтая по-дорожному, съ сумочкой черезъ плечо, вошла къ брату и холодно поцѣловала его въ лобъ.

— Ты это куда?—удивился Владиміръ Семенычъ.

— Въ N—скую губернію, оспу прививать.

Братъ вышелъ проводить ее на улицу.

— Ишь, ты, проказница, что̀ надумала... — бормоталъ онъ.—Денегъ тебѣ не нужно?

— Нѣтъ, спасибо. Прощай.

Сестра пожала брату руку и пошла.

— Что же ты извозчика не нанимаешь?—крикнулъ Владиміръ Семенычъ.

Докторша не отвѣчала. Братъ поглядѣлъ вслѣдъ на ея рыжій ватерпруфъ, на покачиванія ея стана отъ лѣнивой походки, насильно вздохнулъ, но не возбудилъ въ себѣ чувства жалости. Сестра была для него уже чужой. Да и онъ былъ чуждъ для нея. По крайней мѣрѣ, она ни разу не оглянулась.

Вернувшись къ себѣ въ комнату, Владиміръ Семенычъ тотчасъ же сѣлъ за столъ и принялся за фельетонъ.

И потомъ уже я ни разу не видѣлъ Вѣры Семеновны. Гдѣ она теперь — не знаю. А Владиміръ Семенычъ все писалъ свои фельетоны, возлагалъ вѣнки, пѣлъ «gaudeamus», хлопоталъ о «кассѣ взаимопомощи сотрудниковъ московскихъ повременныхъ изданій».

Какъ-то онъ заболѣлъ воспаленіемъ легкаго; лежалъ онъ больной три мѣсяца, сначала дома, потомъ въ Голицынской больницѣ. Образовалась у него фистула въ колѣнѣ. Поговаривали о томъ, что надо бы отправить его въ Крымъ, стали собирать въ его пользу. Но въ Крымъ онъ не поѣхалъ—умеръ. Мы похоронили его въ Ваганьковскомъ кладбищѣ, на лѣвой сторонѣ, гдѣ хоронятъ артистовъ и литераторовъ.

Какъ-то мы, пишущіе, сидѣли въ Татарскомъ ресторанѣ. Я разсказалъ, что недавно я былъ въ Ваганьковскомъ кладбищѣ и видѣлъ могилу Владиміра Семеныча. Могила была совершенно заброшена, сравнялась уже почти съ землей, крестъ повалился; необходимо было привести ее въ порядокъ, собрать для этого нѣсколько рублей...

Но меня выслушали равнодушно, не отвѣтили ни слова, и я не собралъ ни копейки. Уже никто не помнилъ Владиміра Семеныча. Онъ былъ совершенно забытъ.

БАБЬЕ ЦАРСТВО.

I.

Наканунѣ.

Вотъ толстый денежный пакетъ. Это изъ лѣсной дачи, отъ приказчика. Онъ пишетъ, что посылаетъ полторы тысячи рублей, которыя онъ отсудилъ у кого-то, выигравъ дѣло во второй инстанціи. Анна Акимовна не любила и боялась такихъ словъ, какъ отсудилъ и выигралъ дѣло. Она знала, что безъ правосудія нельзя, но почему-то, когда директоръ завода Назарычъ или приказчикъ на дачѣ, которые часто судились, выигрывали въ пользу ея какое-нибудь дѣло, то ей всякій разъ становилось жутко и какъ будто совѣстно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотѣлось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видѣть ихъ.

Она думала съ досадой: ея ровесницы,—а ей шелъ двадцать-шестой годъ,—теперь хлопочутъ по хозяйству, утомились и крѣпко уснутъ, а завтра утромъ проснутся въ праздничномъ настроеніи; многія изъ нихъ давно уже повыходили замужъ и имѣютъ дѣтей. Только она одна почему-то обязана, какъ старуха, сидѣть за этими письмами, дѣлать на нихъ помѣтки, писать отвѣты, потомъ весь вечеръ до полуночи ничего не дѣлать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будутъ ее поздравлять и просить у ней, а послѣ-завтра на заводѣ непремѣнно случится какой-нибудь скандалъ,—побьютъ кого, или кто-нибудь умретъ отъ водки, и ее почему-то будетъ мучить совѣсть; а послѣ праздниковъ Назарычъ уволитъ за прогулъ человѣкъ двадцать,

и всѣ эти двадцать будутъ безъ шапокъ жаться около ея крыльца, и ей будетъ совѣстно выйти къ нимъ, и ихъ прогонятъ, какъ собакъ. И всѣ знакомые будутъ говорить за глаза и писать ей въ анонимныхъ письмахъ, что она милліонерша, эксплуататорша, что она заѣдаетъ чужой вѣкъ и сосетъ у рабочихъ кровь.

Вотъ въ сторонѣ лежитъ пачка прочитанныхъ и уже отложенныхъ писемъ. Это отъ просителей. Тутъ голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные... Анна Акимовна уже намѣтила на каждомъ письмѣ, кому три рубля, кому пять; письма эти сегодня же пойдутъ въ контору, и завтра тамъ будетъ происходить выдача пособій, или, какъ говорятъ служащіе, кормленіе звѣрей.

Раздадутъ по мелочамъ и 470 рублей—проценты съ капитала, завѣщаннаго покойнымъ Акимомъ Иванычемъ на нищихъ и убогихъ. Будетъ безобразная толкотня. Отъ воротъ до дверей конторы потянется гусемъ длинный рядъ какихъ-то чужихъ людей со звѣриными лицами, въ лохмотьяхъ, озябшихъ, голодныхъ и уже пьяныхъ, поминающихъ хриплыми голосами матушку-благодѣтельницу Анну Акимовну и ея родителей; задніе будутъ напирать на переднихъ, а передніе—браниться нехорошими словами. Конторщикъ, которому прискучатъ шумъ, брань и причитыванія, выскочитъ и дастъ кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствію. А свои люди, рабочіе, не получившіе къ празднику ничего, кромѣ своего жалованья, и уже истратившіе все до копейки, будутъ стоять среди двора, смотрѣть и посмѣиваться—одни завистливо, другіе иронически.

«Купцы, а особенно купчихи больше любятъ нищихъ, чѣмъ своихъ рабочихъ,—подумала Анна Акимовна.—Это всегда такъ».

Взглядъ ея упалъ на денежный пакетъ. Хорошо бы раздать завтра эти ненужныя, противныя деньги рабочимъ, но нельзя ничего давать рабочему даромъ, а то запроситъ въ другой разъ. Да и что значатъ эти полторы тысячи, если на заводѣ всѣхъ рабочихъ тысяча-восемьсотъ слишкомъ, не считая ихъ женъ и дѣтей? А то, пожалуй, выбрать одного изъ просителей, писавшихъ эти письма, какого-нибудь несчастнаго, давно уже потерявшаго надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бѣдняка ошеломятъ эти

деньги, какъ громъ, и, быть-можетъ, первый разъ въ жизни онъ почувствуетъ себя счастливымъ. Эта мысль показалась Аннѣ Акимовнѣ оригинальной и забавной и развлекла ее. Она наудачу потянула изъ пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернскій секретарь Чаликовъ давно уже безъ мѣста, боленъ и проживаетъ въ домѣ Гущина; жена въ чахоткѣ, пять малолѣтнихъ дочерей. Гущинскій четырехъэтажный домъ, въ которомъ жилъ Чаликовъ, хорошо знала Анна Акимовна. Ахъ, нехорошій, гнилой, нездоровый домъ!

— Вотъ отдамъ этому Чаликову,—рѣшила она.—Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишнихъ разговоровъ. Да,—разсуждала она, пряча въ карманъ полторы тысячи:—посмотрю и, пожалуй, дѣвочекъ куда-нибудь пристрою.

Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей.

Когда она садилась въ сани, былъ седьмой часъ вечера. Окна во всѣхъ корпусахъ были ярко освѣщены, и оттого на громадномъ дворѣ казалось очень темно. У воротъ и далеко въ глубинѣ двора, около складовъ и рабочихъ бараковъ горѣли электрическіе фонари.

Этихъ темныхъ, угрюмыхъ корпусовъ, складовъ и бараковъ, гдѣ жили рабочіе, Анна Акимовна не любила и боялась. Въ главномъ корпусѣ послѣ смерти отца она была только одинъ разъ. Высокіе потолки съ желѣзными балками, множество громадныхъ, быстро вертящихся колесъ, приводныхъ ремней и рычаговъ, пронзительное шипѣніе, визгъ стали, дребезжанье вагонетокъ, жесткое дыханіе пара, блѣдныя или багровыя или черныя отъ угольной пыли лица, мокрыя отъ пота рубахи, блескъ стали, мѣди и огня, запахъ масла и угля, и вѣтеръ, то очень горячій, то холодный, произвели на нее впечатлѣніе ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячіе шипящіе цилиндры стараются сорваться со своихъ связей, чтобы уничтожить людей, а люди, съ озабоченными лицами, не слыша другъ друга, бѣгаютъ и суетятся около машинъ, стараясь остановить ихъ страшное движеніе. Аннѣ Акимовнѣ что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнитъ, какъ въ кузнечномъ отдѣленіи вытащили изъ печи кусокъ раскаленнаго желѣза, и какъ одинъ старикъ съ ремешкомъ на головѣ, а другой—молодой, въ синей блузѣ, съ цѣпочкой на груди и съ сер-

дитымъ лицомъ, должно-быть, изъ старшихъ, ударили молотками по куску желѣза, и какъ брызнули во всѣ стороны золотыя искры, и какъ, немного погодя, гремѣли передъ ней громаднымъ кускомъ листового желѣза; старикъ стоялъ на вытяжку и улыбался, а молодой вытиралъ рукавомъ мокрое лицо и объяснялъ ей что-то. И она еще помнитъ, какъ въ другомъ отдѣленіи старикъ съ однимъ глазомъ пилилъ кусокъ желѣза, и сыпались желѣзныя опилки, и какъ рыжій, въ темныхъ очкахъ и съ дырами на рубахѣ, работалъ у токарнаго станка, дѣлая что-то изъ куска стали; станокъ ревѣлъ и визжалъ и свистѣлъ, а Анну Акимовну тошнило отъ этого шума, и казалось, что у нея сверлятъ въ ушахъ. Она глядѣла, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать сотни тысячъ отъ дѣла, котораго не понимаешь и не можешь любить,—какъ это странно!

А въ рабочихъ баракахъ она не была ни разу. Тамъ, говорятъ, сырость, клопы, развратъ, безначаліе. Удивительное дѣло: на благоустройство бараковъ уходятъ ежегодно тысячи рублей, а положеніе рабочихъ, если вѣрить анонимнымъ письмамъ, съ каждымъ годомъ становится все хуже и хуже...

«При отцѣ было больше порядка, — думала Анна Акимовна, выѣзжая со двора: — потому что онъ самъ былъ рабочій и зналъ, что нужно. Я же ничего не знаю и дѣлаю однѣ глупости».

Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поѣхала, и мысль о счастливцѣ, на котораго сваливаются съ неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ѣхать къ какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падаетъ милліонное дѣло, и рабочіе въ баракахъ живутъ хуже арестантовъ, — это значитъ дѣлать глупости и обманывать свою совѣсть. По шоссе и около него черезъ поле, направляясь къ городскимъ огнямъ, шли толпами рабочіе изъ сосѣднихъ фабрикъ—ситцевой и бумажной. Въ морозномъ воздухѣ раздавались смѣхъ и веселый говоръ. Анна Акимовна поглядѣла на женщинъ и малолѣтковъ, и ей вдругъ захотѣлось простоты, грубости, тѣсноты. Она ясно представила себѣ то далекое время, когда ее звали Анюткой, и когда она, маленькая, лежала подъ однимъ одѣяломъ съ матерью, а рядомъ, въ другой

комнатѣ, стирала бѣлье жилица-прачка, и изъ сосѣднихъ квартиръ, сквозь тонкія стѣны, слышались смѣхъ, брань, дѣтскій плачъ, гармоника, жужжаніе токарныхъ станковъ и швейныхъ машинъ, а отецъ, Акимъ Ивапычъ, знавшій почти всѣ ремесла, не обращая никакого вниманія на тѣсноту и шумъ, паялъ что-нибудь около печки или чертилъ или строгалъ. И ей захотѣлось стирать, гладить, бѣгать въ лавку и кабакъ, какъ это она дѣлала каждый день, когда жила съ матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой! Ея большой домъ съ люстрами и картинами, лакей Мишенька во фракѣ и съ бархатными усиками, благолѣпная Варварушка и льстивая Агаѳьюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходятъ къ ней просить денегъ, и передъ которыми она почему-то всякій разъ чувствуетъ себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящіе на ея счетъ, льстящіе ей и презирающіе ее втайнѣ за низкое происхожденіе, — какъ все это уже прискучило и чуждо ей!

Вотъ желѣзнодорожный переѣздъ и застава; пошли дома вперемежку съ огородами; вотъ, наконецъ, и широкая улица, гдѣ стоитъ знаменитый домъ Гущина. На улицѣ, обыкновенно тихой, теперь по случаю кануна праздника было большое движеніе. Въ трактирахъ и портерныхъ шумѣли. Если бы проѣзжалъ теперь по улицѣ кто-нибудь не здѣшній, живущій въ центрѣ города, то онъ замѣтилъ бы только грязныхъ, пьяныхъ и ругателей, но Анна Акимовна, жившая съ дѣтства въ этихъ краяхъ, узнавала теперь въ толпѣ то своего покойнаго отца, то мать, то дядю. Отецъ былъ мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазёръ, безпечный и лекомысленный; у него не было пристрастія ни къ деньгамъ, ни къ почету, ни къ власти; онъ говорилъ, что рабочему человѣку некогда разбирать праздники и ходить въ церковь; и если бъ не жена, то онъ, пожалуй, никогда бы не говѣлъ и въ постъ ѣлъ бы скоромное. А дядя, Иванъ Иванычъ, наоборотъ, былъ кремень; во всемъ, что относилось къ религіи, политикѣ и нравственности, онъ былъ крутъ и неумолимъ, и наблюдалъ не только за собой, но и за всѣми служащими и знакомыми. Не дай Богъ, бывало, войти къ нему въ комнату и не перекреститься! Роскошныя хоромы, въ которыхъ живетъ теперь Анна Акимовна, онъ держалъ запертыми и отпиралъ ихъ только въ большіе

праздники для важныхъ гостей, а самъ жилъ въ конторѣ, въ одной маленькой комнаткѣ, уставленной образами. Онъ тяготѣлъ къ старой вѣрѣ и постоянно принималъ у себя старообрядческихъ архіереевъ и поповъ, хотя былъ крещенъ и вѣнчанъ, и жену свою похоронилъ по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственнаго наслѣдника, онъ не любилъ за легкомысліе, которое называлъ простотой и глупостью, и за равнодушіе къ вѣрѣ. Онъ держалъ его въ черномъ тѣлѣ, на положеніи рабочаго, платилъ ему по 16 руб. въ мѣсяцъ. Акимъ говорилъ своему брату *вы* и въ прощеные дни со всѣмъ своимъ семействомъ кланялся ему въ ноги. Но года за три до своей смерти Иванъ Ивапычъ приблизилъ его къ себѣ, простилъ и приказалъ нанять для Анютки гувернантку.

Ворота подъ домомъ Гущина темныя, глубокія, вонючія; слышно, какъ около стѣнъ покашливаютъ мужчины. Оставивъ сани на улицѣ, Анна Акимовна вошла во дворъ и спросила тутъ, какъ пройти въ 46-й номеръ къ чиновнику Чаликову. Ее направили къ крайней двери направо, въ третій этажъ. И во дворѣ, и около крайней двери, даже на лѣстницѣ былъ тотъ же противный запахъ, что и подъ воротами. Въ дѣтствѣ, когда отецъ Анны Акимовны былъ простымъ рабочимъ, она живала въ такихъ домахъ, и потомъ, когда обстоятельства измѣнились, часто посѣщала ихъ въ качествѣ благотворительницы; узкая каменная лѣстница съ высокими ступенями, грязная, прерываемая въ каждомъ этажѣ площадкою; засаленный фонарь въ пролетѣ; смрадъ, на площадкахъ около дверей корыта, горшки, лохмотья,—все это было знакомо ей уже давнымъ-давно... Одна дверь была открыта, и въ нее видно было, какъ на столахъ сидѣли портные-евреи въ шапкахъ и шили. На лѣстницѣ Аннѣ Акимовнѣ встрѣчались люди, но ей и въ голову не приходило, что ее могутъ обидѣть. Рабочихъ и мужиковъ, трезвыхъ и пьяныхъ, она такъ же мало боялась, какъ своихъ интеллигентныхъ знакомыхъ.

Въ квартирѣ № 46 сѣней не было, и начиналась она съ кухни. Обыкновенно въ квартирахъ фабричныхъ и мастеровыхъ пахнетъ лакомъ, смолой, кожей, дымомъ, смотря по тому, чѣмъ занимается хозяинъ; квартиры же обѣднѣвшихъ дворянъ и чиновниковъ узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этотъ противный запахъ обдалъ Анну

Акимовну и теперь, едва она переступила порогъ. Въ углу за столомъ сидѣлъ спиной къ двери какой-то мужчина въ черномъ сюртукѣ, должно-быть, самъ Чаликовъ, и съ нимъ пять дѣвочекъ. Старшей, широколицей и худенькой, съ гребенкой въ волосахъ, было на видъ лѣтъ пятнадцать, а младшей, пухленькой, съ волосами какъ у ежа,—не больше трехъ. Всѣ шестеро ѣли. Около печи, съ ухватомъ въ рукѣ, стояла маленькая, очень худая, съ желтымъ лицомъ женщина въ юбкѣ и бѣлой кофточкѣ, беременная.

— Не ожидалъ я отъ тебя, Лизочка, что ты такая непослушная, — говорилъ мужчина съ укоризной. — Ай, ай, какъ стыдно! Значитъ, ты хочешь, чтобы папочка тебя высѣкъ, да?

Увидѣвъ на порогѣ незнакомую даму, тощая женщина вздрогнула и оставила ухватъ.

— Василій Никитичъ!—окликнула она не сразу, глухимъ голосомъ, какъ будто не вѣря своимъ глазамъ.

Мужчина оглянулся и вскочилъ. Это былъ костлявый, узкоплечій человѣкъ, со впалыми висками и съ плоскою грудью. Глаза у него были маленькіе, глубокіе, съ темными кругами, носъ длинный, птичій и немножко покривившійся вправо, ротъ широкій. Борода у него двоилась, усы онъ брилъ и отъ этого походилъ больше на выѣздного лакея, чѣмъ на чиновника.

— Здѣсь живетъ господинъ Чаликовъ?—спросила Анна Акимовна.

— Точно такъ-съ, — строго отвѣтилъ Чаликовъ, но тотчасъ же узналъ Анну Акимовну и вскрикнулъ: — Госпожа Глаголева! Анна Акимовна!—и вдругъ задохнулся и всплеснулъ руками, какъ бы отъ страшнаго испуга. — Благодѣтельница.

Со стономъ онъ подбѣжалъ къ ней и, мыча, какъ паралличный,—на бородѣ у него была капуста, и пахло отъ него водкой,—припалъ лбомъ къ муфтѣ и какъ бы замеръ.

— Ручку! Ручку святую!—проговорилъ онъ, задыхаясь.— Сонъ! Прекрасный сонъ! Дѣти, разбудите меня!

Онъ повернулъ къ столу и сказалъ рыдающимъ голосомъ, потрясая кулаками:

— Провидѣніе услышало насъ! Пришла наша избавительница, нашъ ангелъ! Мы спасены! Дѣти, на колѣни! На колѣни!

Госпожа Чаликова и дѣвочки, кромѣ самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.

— Вы писали, что ваша жена очень больна,—сказала Анна Акимовна, и ей стало совѣстно и досадно.

«Полторы тысячи я ему не дамъ»,—подумала она.

— Вотъ она, моя жена! — сказалъ Чаликовъ тонкимъ женскимъ голоскомъ, какъ будто слезы ударили ему въ голову.—Вотъ она, несчастная! Одною ногою въ могилѣ! Но мы, сударыня, не ропщемъ. Легче умереть, чѣмъ такъ жить. Умирай, несчастная!

«Что онъ ломается?—подумала Анна Акимовна съ досадой.—Сейчасъ видно, что привыкъ имѣть дѣло съ купцами».

— Говорите со мной, пожалуйста, по-человѣчески,—сказала она.—Я комедій не люблю.

— Да, сударыня, пятеро осиротѣвшихъ дѣтей вокругъ гроба матери при погребальныхъ свѣчахъ — это комедія! Эхъ!—сказалъ Чаликовъ съ горечью и отвернулся.

— Замолчи!—шепнула жена и дернула его за рукавъ.—У насъ, сударыня, не прибрано,—сказала она, обращаясь къ Аннѣ Акимовнѣ: — ужъ вы извините... Дѣло семейное, сами изволите знать. Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ.

«Не дамъ я имъ полторы тысячи»,—опять подумала Анна Акимовна.

И, чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ этихъ людей и отъ кислаго запаха, она уже достала портмонэ и рѣшила оставить рублей 25—не больше; но ей вдругъ стало совѣстно, что она ѣхала такъ далеко и безпокоила людей изъ-за пустяковъ.

— Если вы дадите мнѣ бумаги и чернилъ, то я сейчасъ напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы онъ побывалъ у васъ, — сказала она, краснѣя. — Докторъ очень хорошій. А на лѣкарства я вамъ оставлю.

Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола.

— Здѣсь не чисто! Куда ты? — прошипѣлъ Чаликовъ, глядя на нее со злобой.—Проводи къ жильцу! Пожалуйте, сударыня, къ жильцу, осмѣлюсь просить васъ,—обратился онъ къ Аннѣ Акимовнѣ.—Тамъ чисто.

— Осипъ Ильичъ не велѣлъ ходить въ его комнату!—сказала строго одна изъ дѣвочекъ.

Но Анну Акимовну уже повели изъ кухни черезъ узкую

проходную комнату, межъ двухъ кроватей; видно было по расположенію постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой—трое поперекъ. Въ слѣдующей затѣмъ комнатѣ жильца, въ самомъ дѣлѣ, было чисто. Опрятная постель съ краснымъ шерстянымъ одѣяломъ, подушка въ бѣлой наволочкѣ, даже башмачокъ для часовъ, столъ, покрытый пеньковою скатертью, а на немъ чернильница молочнаго цвѣта, перья, бумага, фотографіи въ рамочкахъ, все какъ слѣдуетъ, и другой столъ, черный, на которомъ въ порядкѣ лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стѣнахъ были развѣшаны молотки, клещи, буравчики, стамезки, плоскозубцы и т. п., и висѣло трое стѣнныхъ часовъ, которые тикали; одни часы громадные, съ толстыми гирями, какіе бываютъ въ трактирахъ.

Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидѣла передъ собой на столѣ портретъ отца и свой портретъ. Это ее удивило.

— Кто здѣсь у васъ живетъ?—спросила она.

— Жилецъ, сударыня, Пименовъ. Онъ у васъ на заводѣ служитъ.

— Да? А я думала, часовой мастеръ.

— Часами онъ занимается приватнымъ образомъ, между дѣломъ. Любитель-съ.

Послѣ нѣкотораго молчанія, когда слышно было только, какъ тикали часы и скрипѣло перо по бумагѣ, Чаликовъ вздохнулъ и сказалъ насмѣшливо, съ негодованіемъ:

— Правда говорится: изъ благородства да изъ чиновъ шубы себѣ не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титулъ, а кушать нечего. По-моему, если человѣкъ низкаго званія помогаетъ бѣднымъ, то онъ гораздо благороднѣе какого-нибудь Чаликова, который погрязъ въ нищетѣ и порокѣ.

Чтобы польстить Аннѣ Акимовнѣ, онъ сказалъ еще нѣсколько фразъ, обидныхъ для своего благородства, и было ясно, что онъ унижалъ себя потому, что считалъ себя выше ея. Она, между тѣмъ, кончила письмо и запечатала. Письмо будетъ брошено, а деньги пойдутъ не на лѣченіе,—это она знала, но все-таки положила на столъ 25 рублей и, подумавъ, прибавила еще двѣ красныхъ бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нея передъ глазами и сжала деньги въ кулачокъ.

— Это вы изволили дать на лѣкарства,—сказалъ Чаликовъ дрогнувшимъ голосомъ:—но протяните руку помощи также мнѣ... и дѣтямъ,—добавилъ онъ и всхлипнулъ:—дѣтямъ несчастнымъ! Не за себя боюсь, за дочерей боюсь! Гидры разврата боюсь!

Стараясь открыть портмонэ, въ которомъ испортился замочекъ, Анна Акимовна сконфузилась, покраснѣла. Ей было стыдно, что люди стоятъ передъ ней, смотрятъ ей въ руки и ждутъ и, вѣроятно, въ глубинѣ души смѣются надъ ней. Въ это время кто-то вошелъ въ кухню и застучалъ ногами, стряхивая снѣгъ.

— Жилецъ пришелъ,—сказала госпожа Чаликова.

Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотѣлось, чтобы кто-нибудь изъ заводскихъ засталъ ее въ этомъ смѣшномъ положеніи. Жилецъ, какъ нарочно, вошелъ въ свою комнату въ ту самую минуту, когда она, сломавши, наконецъ замочекъ, подавала Чаликову нѣсколько бумажекъ, а Чаликовъ мычалъ, какъ параличный, и искалъ губами, куда бы поцѣловать ее. Въ жильцѣ она узнала рабочаго, который когда-то въ кузнечномъ отдѣленіи гремѣлъ передъ ней желѣзнымъ листомъ и давалъ ей объясненія. Очевидно, онъ пришелъ теперь прямо съ завода: лицо у него было смуглое отъ копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсѣмъ черныя, и блуза безъ пояса лоснилась отъ масляной грязи. Это былъ мужчина лѣтъ тридцати, средняго роста, черноволосый, плечистый и, повидимому, очень сильный. Анна Акимовна съ перваго же взгляда опредѣлила въ немъ старшаго, получающаго не меньше 35 руб. въ мѣсяцъ, строгаго, крикливаго, бьющаго рабочихъ по зубамъ, и это видно было по его манерѣ стоять, по той позѣ, какую онъ невольно вдругъ принялъ, увидѣвъ у себя въ комнатѣ даму, а главное потому, что у него были брюки на-выпускъ, карманы на груди и острая, красиво подстриженная бородка. Покойный отецъ, Акимъ Иванычъ, былъ братомъ хозяина, а все-таки боялся старшихъ, въ родѣ этого жильца и заискивалъ у нихъ.

— Извините, мы безъ васъ распорядились тутъ,—сказала Анна Акимовна.

Рабочій смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, конфузливо улыбался и молчалъ.

— Вы, сударыня, погромче...—тихо сказалъ Чаликовъ.—

Господинъ Пименовъ, когда приходятъ по вечерамъ съ завода, бываютъ туги на ухо.

Но Анна Акимовна была уже рада, что ей тутъ больше нечего дѣлать, кивнула головой и быстро вышла. Пименовъ пошелъ проводить ее.

— Вы давно у насъ служите?—спросила она громко, не оборачиваясь къ нему.

— Съ девяти лѣтъ. Я еще при вашемъ дяденькѣ опредѣлился.

— Какъ, однако, давно! Вотъ дядя и отецъ знали всѣхъ служащихъ, а я почти никого не знаю. Я васъ видѣла и раньше, но не знала, что ваша фамилія Пименовъ.

Анна Акимовна чувствовала желаніе оправдаться передъ нимъ, сдѣлать видъ, что давала она сейчасъ деньги не серьезно, а шутя.

— Охъ, эта бѣдность! — вздохнула она. — Творимъ мы добрыя дѣла и въ праздники, и въ будни, а все толку нѣтъ. Мнѣ кажется, что помогать такимъ, какъ этотъ Чаликовъ, безполезно.

— Конечно, безполезно,—согласился Пименовъ.—Сколько ни дайте, все пропьетъ. А теперь всю ночь мужъ и жена будутъ отнимать другъ у дружки и драться,—добавилъ онъ и засмѣялся.

— Да, надо сознаться, наша филантропія безполезна, скучна и смѣшна. Но, вѣдь, тоже, согласитесь, нельзя сидѣть сложа руки, надо дѣлать что-нибудь. Напримѣръ, что дѣлать съ Чаликовыми?

Она обернулась къ Пименову и остановилась, ожидая отъ него отвѣта; онъ тоже остановился и медленно и молча пожалъ плечами. Очевидно, онъ зналъ что дѣлать съ Чаликовыми, но это было такъ грубо и нечеловѣчно, что онъ не рѣшался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и ничтожны, что черезъ мгновеніе онъ уже не помнилъ о нихъ; глядя въ глаза Аннѣ Акимовнѣ, онъ улыбался отъ удовольствія, и выраженіе у него было такое, какъ будто ему снилось что-то очень хорошее. Анна Акимовна только теперь, стоя къ нему близко, по его лицу, особенно по глазамъ, увидала, какъ онъ утомленъ и какъ ему хочется спать.

«Вотъ ему бы дать тѣ полторы тысячи!»—подумала она,

но эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова.

— У васъ небось все тѣло болитъ отъ работы, а вы меня провожаете,—сказала она, спускаясь по лѣстницѣ.— Идите домой.

Но онъ не разслышалъ. Когда выходили на улицу, онъ забѣжалъ впередъ, отстегнулъ у саней полость и, подсаживая Анну Акимовну, сказалъ:

— Благополучно праздника встрѣтить!

II.

Утро.

— Ужъ давно отзвонили! Наказаніе Господне, и къ шапочному разбору не поспѣете! Вставайте!

— Двѣ лошади бѣгутъ, бѣгутъ...—сказала Анна Акимовна и проснулась; передъ ней со свѣчой въ рукахъ стояла ея горничная, рыжая Маша.—Что? Что тебѣ?

— Обѣдня уже отошла!—говорила Маша съ отчаяньемъ.— Третій разъ бужу! По мнѣ хоть до вечера спите, но вѣдь сами приказали будить!

Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворѣ еще было совсѣмъ темно, и только нижній край оконной рамы бѣлѣлъ отъ снѣга. Слышался густой низкій звонъ, но это звонили не въ приходѣ, а гдѣ-то дальше. Часы на столикѣ показывали три минуты седьмого.

— Хорошо, Маша... Черезъ три минутки... — сказала Анна Акимовна умоляющимъ голосомъ и укрылась съ головой.

Она представила себѣ снѣгъ у крыльца, сани, темное небо, толпу въ церкви и запахъ можжевельника, и ей стало жутко, но она все-таки рѣшила, что тотчасъ же встанетъ и поѣдетъ къ ранней обѣднѣ. И пока она грѣлась въ постели и боролась со сномъ, который, какъ нарочно, бываетъ удивительно сладокъ, когда не велятъ спать, и пока ей мерещился то громадный садъ на горѣ, то Гущинскій домъ, ее все время безпокоила мысль, что ей надо сію минуту вставать и ѣхать въ церковь.

Но когда она встала, было уже совсѣмъ свѣтло, и часы показывали половину десятаго. За ночь навалило много новаго снѣгу, деревья одѣлись въ бѣлое, и воздухъ былъ

необыкновенно свѣтелъ, прозраченъ и нѣженъ, такъ что когда Анна Акимовна поглядѣла въ окно, то ей, прежде всего, захотѣлось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остатокъ давняго дѣтскаго чувства, — радость, что сегодня Рождество, вдругъ шевельнулась въ ея груди, и послѣ этого стало легко, свободно и чисто на душѣ, какъ будто и душа умылась или окунулась въ бѣлый снѣгъ. Вошла Маша, разряженная и крѣпко затянутая въ корсетъ, и поздравила съ праздникомъ; потомъ она долго причесывала и помогала надѣвать платье. Запахъ и ощущеніе новаго, пышнаго, прекраснаго платья, его легкій шумъ и запахъ свѣжихъ духовъ возбуждали Анну Акимовну.

— Вотъ и святки,—сказала она весело Машѣ.—Теперь будемъ гадать.

— Мнѣ лѣтошній годъ вышло—за старикомъ быть. Три раза такъ выходило.

— Ну, Богъ милостивъ.

— А что жъ, Анна Акимовна? Я такъ думаю, чѣмъ ни то, ни се, ни два, ни полтора, такъ ужъ лучше за старика, — сказала печально Маша и вздохнула. — Мнѣ ужъ двадцать-первый годъ пошелъ, не шутка.

Всѣмъ въ домѣ было извѣстно, что рыжая Маша была влюблена въ лакея Мишеньку, и вотъ уже три года, какъ продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.

— Ну, полно пустяки говорить, — утѣшила Анна Акимовна.—Мнѣ скоро тридцать лѣтъ, а я все собираюсь за молодого.

Пока хозяйка одѣвалась, Мишенька, въ новомъ фракѣ и въ лакированныхъ ботинкахъ, ходилъ по залѣ и гостиной и ждалъ, когда она выйдетъ, чтобы поздравить ее съ праздникомъ. Онъ ходилъ всегда какъ-то особенно, мягко и нѣжно ступая; глядя при этомъ на его ноги, руки и наклонъ головы, можно было подумать, что онъ это не просто ходитъ, а учится танцовать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкіе бархатные усики и красивую, нѣсколько даже шулерскую наружность, онъ былъ степененъ, разсудителенъ и набоженъ, какъ старикъ. Молился онъ Богу всегда съ земными поклонами и любилъ кадить у себя въ комнатѣ ладаномъ. Богатыхъ и знатныхъ онъ уважалъ и благоговѣлъ предъ ними, бѣдняковъ же и вся-

каго рода просителей презиралъ всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Подъ крахмальною сорочкой у него была еще фланелевая, которую онъ носилъ зимою и лѣтомъ, крѣпко дорожа своимъ здоровьемъ; уши были заткнуты ватой.

Когда черезъ залу проходила Анна Акимовна съ Машей, онъ склонилъ голову внизъ и нѣсколько на бокъ и сказалъ своимъ пріятнымъ, медовымъ голосомъ:

— Честь имѣю поздравить васъ, Анна Акимовна, съ высокоторжественнымъ праздникомъ Рождества Христова.

Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бѣдная Маша обомлѣла. Его праздничный видъ, поза, голосъ и то, что онъ сказалъ, поразили ее своею красотой и изяществомъ; продолжая идти за своею барышней, она уже ни о чемъ не думала, ничего не видѣла и только улыбалась то блаженно, то горько.

Верхній этажъ въ домѣ назывался чистой, или благородной половиной и хоромами, нижнему же, гдѣ хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено названіе торговой, стариковской или просто бабьей половины. Въ первой принимали обыкновенно благородныхъ и образованныхъ, а во второй—кого попроще и личныхъ знакомыхъ тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свѣжая, чувствуя на себѣ роскошное платье, отъ котораго, казалось ей, во всѣ стороны шло сіяніе, Анна Акимовна спустилась въ нижній этажъ. Тутъ ее встрѣтили упреками, что она, образованная, Бога забыла, проспала обѣдню и не приходила внизъ разговляться, и всѣ всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она вѣрила этому, смѣялась, цѣловалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человѣку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь,—кіоты, образа, лампады, портреты духовныхъ особъ, пахнетъ монахами, въ кухнѣ стучатъ ножами, и уже понесся по всѣмъ комнатамъ запахъ чего-то скоромнаго, очень вкуснаго. Желтые крашеные полы сіяютъ, и отъ дверей къ переднимъ угламъ идутъ дорожками узкіе ковры съ ярко-синими полосами, а солнце такъ и рѣжетъ въ окна.

Въ столовой сидятъ какія-то чужія старушки; въ комнатѣ Варварушки тоже старушки и съ ними глухонѣмая дѣвица, которая все стыдится чего-то и говоритъ: «блы,

блы...» Двѣ тощенькія дѣвочки, взятыя изъ пріюта на праздники, подошли къ Аннѣ Акимовнѣ, чтобы поцѣловать ручку, и остановились передъ ней, пораженныя роскошью ея платья; она замѣтила, что одна изъ дѣвочекъ косенькая, и среди легкаго праздничнаго настроенія у нея вдругъ болѣзненно сжалось сердце отъ мысли, что этою дѣвочкой будутъ пренебрегать женихи, и она никогда не выйдетъ замужъ. Въ комнатѣ у кухарки Агаѳьюшки за самоваромъ сидѣло человѣкъ пять громадныхъ мужиковъ въ новыхъ рубахахъ, но это были не рабочіе съ завода, а кухонная родня. Увидѣвъ Анну Акимовну, мужики вскочили съ мѣстъ и изъ приличія перестали жевать, хотя у всѣхъ были полные рты; въ комнату вошелъ изъ кухни поваръ Степанъ, въ бѣломъ колпакѣ и съ ножомъ въ рукѣ, и поздравилъ; пришли дворники въ валенкахъ и тоже поздравили. Выглянулъ водовозъ съ сосульками на бородѣ, но не посмѣлъ войти.

Анна Акимовна ходила по комнатамъ, а за нею весь штатъ: тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марѳа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всѣхъ въ домѣ, одѣтая во все черное, пахнущая кипарисомъ и кофеемъ, въ каждой комнатѣ крестилась на образа и кланялась въ поясъ, и при взглядѣ на нее почему-то всякій разъ приходило на память, что она уже приготовила себѣ къ смертному часу саванъ, и что въ томъ же сундукѣ, гдѣ лежитъ этотъ саванъ, спрятаны также ея выигрышные билеты.

— Ты, Анютинька, будь милостива ради праздника,— сказала она, отворяя дверь въ кухню.—Прости его, ужъ Богъ съ нимъ! Ну ихъ!

Среди кухни на колѣняхъ стоялъ кучеръ Пантелей, уволенный за пьянство еще въ ноябрѣ. Это былъ добрый человѣкъ, но во хмелю онъ бывалъ буенъ и никакъ не могъ уснуть, а все ходилъ въ корпуса и кричалъ тамъ угрожающимъ тономъ: «Мнѣ все извѣстно!» Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазамъ, налитымъ кровью, видно было, что съ ноября до праздника онъ пилъ не переставая.

— Простите, Анна Акимовна!—проговорилъ онъ хриплымъ голосомъ, стукнувъ лбомъ о полъ и показывая свой бычій затылокъ.

— Тебя тетушка уволила, у нея и проси.

— Что тетушка?—говорила тетушка, входя въ кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ея груди могли бы помѣститься самоваръ и подносъ съ чашками.—Что тамъ еще тетушка? Ты тутъ хозяйка, ты и распоряжайся, а по мнѣ ихъ, подлецовъ, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боровъ!—крикнула она на Пантелея, не вытерпѣвъ.—Пошелъ съ глазъ! Послѣдній разъ тебя прощаю, а случится опять грѣхъ—не проси милости!

Затѣмъ пошли въ столовую пить кофе. Но едва сѣли за столъ, какъ опрометью вбѣжала нижняя Маша и проговорила съ ужасомъ: «Пѣвчіе!»—и побѣжала назадъ. Послышались сморканье, низкій басовой кашель и шумъ шаговъ, похожій на то, какъ будто въ переднюю около залы вводили подкованныхъ лошадей. На полминуты все затихло... Пѣвчіе вскрикнули внезапно и такъ громко, что всѣ вздрогнули. Пока они пѣли, пріѣхалъ богадѣленскій батюшка, а съ нимъ дьяконъ и дьячокъ. Надѣвая епитрахиль, батюшка медленно разсказалъ, что ночью, когда звонили къ утренѣ, шелъ снѣгъ и было не холодно, а къ утру морозъ сталъ крѣпчать, Богъ съ нимъ, и теперь, должно-быть, градусовъ двадцать.

— Многіе, однако, утверждаютъ, что зима для человѣка здоровѣе, чѣмъ лѣто,—сказалъ дьяконъ, но тотчасъ же придалъ своему лицу суровое выраженіе и запѣлъ вслѣдъ за священникомъ: «Рождество Твое, Христе Боже нашъ...»

Вскорѣ пріѣхалъ батюшка изъ чернорабочей больницы съ дьячкомъ, потомъ сестры изъ общины, дѣти изъ пріюта, и пѣніе слышалось почти непрерывно. Пѣли, закусывали и уходили.

Пришли съ поздравленіемъ служащіе на заводѣ, человѣкъ двадцать. Тутъ были одни только старшіе: механики, ихъ помощники, модельщики, бухгалтеръ и проч.,—всѣ благообразные, въ новыхъ черныхъ сюртукахъ. Все это были молодцы, точно на подборъ, каждый зналъ себѣ цѣну, т. е. зналъ, что, потеряй онъ сегодня мѣсто, завтра же его съ удовольствіемъ пригласятъ на другой заводъ. Повидимому, тетушку они любили, такъ какъ держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтеръ, когда толпой подходили къ закускѣ, взялъ ее за широкую талію. Развязны они были отчасти и оттого, быть-можетъ, что Варварушка,

имѣвшая при старикахъ большую власть и слѣдившая за нравственностью служащихъ, теперь не имѣла въ домѣ никакого значенія, а, быть-можетъ, и оттого, что многіе изъ нихъ еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали въ строгости, была одѣта простою бабой, на манеръ Агаѳьюшки, и когда Анна Акимовна бѣгала по двору около корпусовъ, и всѣ звали ее Анюткой.

Служащіе кушали, говорили и посматривали съ недоумѣніемъ на Анну Акимовну: какъ она выросла, какъ похорошѣла! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями дѣвушка была уже чужая для нихъ, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила имъ *ты*, угощала ихъ непрерывно и, чокаясь съ ними, уже выпила двѣ рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона въ павлиньихъ перьяхъ; и теперь, пока служащіе толпились около закуски, она не выходила изъ столовой и вмѣшивалась въ разговоръ. У своего вчерашняго знакомаго Пименова она спросила.

— Отчего у васъ въ комнатѣ такъ много часовъ?

— Я въ починку беру,—отвѣтилъ онъ. — Занимаюсь этакъ между дѣломъ, по праздникамъ, или когда не спится.

— Значитъ, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вамъ ихъ въ починку?—спросила Анна Акимовна, смѣясь.

— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,—сказалъ Пименовъ, и на лицѣ его выразилось умиленіе, когда она, сама не зная зачѣмъ, отцѣпила отъ корсажа свои великолѣпные часики и подала ему; онъ молча осмотрѣлъ ихъ и возвратилъ.— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,—повторилъ онъ.—Я уже не починяю карманныхъ часовъ. У меня зрѣніе слабое, и докторъ запретилъ мнѣ заниматься мелкой работой. Но для васъ я могу сдѣлать исключеніе.

— Доктора врутъ, — сказалъ бухгалтеръ; всѣ засмѣялись.—Ты не вѣрь имъ,—продолжалъ онъ, польщенный этимъ смѣхомъ.—Въ прошломъ году, въ посту, изъ барабана зубъ выскочилъ и угораздилъ прямо въ старика Калмыкова, въ голову, такъ что мозгъ видать было, и докторъ сказалъ, что помретъ; одначе, до сихъ поръ живъ и работаетъ, только послѣ этой штуки заикаться сталъ.

— Врутъ-то, врутъ доктора, да не очень, — вздохнула

тетушка.—Петръ Андреичъ покойничекъ потерялъ глаза. Такъ же вотъ, какъ ты, день-деньской работалъ на заводѣ около горячей печки и ослѣпъ. Глаза не любятъ жара. Ну, да что толковать?—встрепенулась она.—Пойдемъ выпьемъ! Съ праздничкомъ васъ поздравляю, голубчики мои. Ни съ кѣмъ не пью, а съ вами выпью, грѣшница. Дай Богъ!

Аннѣ Акимовнѣ казалось, что Пименовъ послѣ вчерашняго презираетъ ее, какъ филантропку, но очарованъ ею, какъ женщиной. Она смотрѣла на него и находила, что онъ держится очень мило и одѣтъ прилично. Правда, у сюртука немного рукава коротки и, кажется, талія высокая и брюки не модныя, не широкія, но зато галстукъ повязанъ со вкусомъ и небрежно, и не такъ ярокъ, какъ у другихъ. И, повидимому, онъ добродушный человѣкъ, такъ какъ покорно кушаетъ все, что кладетъ ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой онъ былъ вчера черный, и какъ ему хотѣлось спать, и это воспоминаніе почему-то растрогало ее.

Когда служащіе собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку, ей хотѣлось сказать ему, чтобъ онъ какъ-нибудь запросто пришелъ посидѣть, но не сумѣла: какъ-то языкъ не послушался; и чтобы не подумали, что Пименовъ ей понравился, она и товарищамъ его подала руку.

Затѣмъ пришли ученики той школы, гдѣ она была попечительницей. Всѣ они были острижены и одѣты въ однообразныя сѣрыя блузы. Учитель,—высокій, еще безусый молодой человѣкъ съ красными пятнами на лицѣ,—замѣтно волнуясь, выстроилъ учениковъ въ ряды; мальчики запѣли стройно, но рѣзкими, непріятными голосами. Директоръ завода, Назарычъ, лысый, остроглазый старовѣръ, никогда не ладилъ съ учителями, но этого, который теперь суетливо помахивалъ рукой, онъ презиралъ и ненавидѣлъ, самъ не зная за что. Онъ обращался съ нимъ высокомѣрно и грубо, задерживалъ жалованье и вмѣшивался въ преподаваніе, и, чтобы окончательно выжить его, недѣли за двѣ до праздника опредѣлилъ въ школу сторожемъ дальняго родственника своей жены, пьянаго мужика, который не слушался учителя и при ученикахъ говорилъ ему дерзости.

Аннѣ Акимовнѣ все это было извѣстно, но помочь она не могла, такъ какъ сама боялась Назарыча. Теперь ей хотѣлось, по крайней мѣрѣ, обласкать учителя, сказать

ему, что она имъ очень довольна, но когда послѣ пѣнія онъ сталъ сильно конфузиться и извиняться въ чемъ-то, и когда тетушка, говоря ему *ты*, фамильярно потащила его къ столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказавъ дать дѣтямъ гостинцевъ, пошла къ себѣ наверхъ.

— Въ этихъ праздничныхъ порядкахъ въ сущности много жестокаго,—сказала она, немного погодя, какъ бы про себя, глядя въ окно на мальчиковъ, какъ они толпою шли отъ дома къ воротамъ и на ходу, пожимаясь отъ холода, надѣвали свои шубы и пальто.—Въ праздники хочется отдыхать, сидѣть дома съ родными, а бѣдные мальчики, учитель, служащіе обязаны почему-то идти по морозу, потомъ поздравлять, выражать свое почтеніе, конфузиться...

Мишенька, стоявшій тутъ же въ залѣ у дверей и слышавшій это, сказалъ:

— Не отъ насъ это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человѣкъ, Анна Акимовна, но такъ понимаю, бѣдные должны всегда почитать богатыхъ. Сказано: Богъ шельму мѣтитъ. Въ острогахъ, въ ночлежныхъ домахъ и въ кабакахъ всегда только одни бѣдные, а порядочные люди, замѣтьте, всегда богатые. Про богатыхъ сказано: бездна бездну призываетъ.

— Вы, Миша, всегда выражаетесь какъ-то скучно и непонятно,—сказала Анна Акимовна и пошла въ другой конецъ залы.

Былъ только двѣнадцатый часъ въ началѣ. Тишина громадныхъ комнатъ, нарушаемая только изрѣдка пѣніемъ; доносившимся изъ нижняго этажа, нагоняла зѣвоту. Бронза, альбомы и картины на стѣнахъ, изображавшія море съ корабликами, лугъ съ коровками и рейнскіе виды, были до такой степени не новы, что взглядъ только скользилъ по нимъ и не замѣчалъ ихъ. Праздничное настроеніе стало уже прискучать. Анна Акимовна попрежнему чувствовала себя красивою, доброю и необыкновенною, но уже ей казалось, что это никому не нужно; казалось ей, что и это дорогое платье она надѣла неизвѣстно для кого и для чего. И ее уже, какъ это бывало во всѣ праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ея красота, здоровье, богатство—одинъ лишь обманъ, такъ какъ она лишняя на этомъ свѣтѣ, никому она не нужна, никто ее не любитъ.

Она прошлась по всѣмъ комнатамъ, напѣвая и поглядывая въ окна. Остановившись въ залѣ, она не могла удержаться, чтобы не заговорить съ Мишенькой.

— Не знаю, Миша, что вы о себѣ думаете,—сказала она и вздохнула.—Право, за это даже Богъ накажетъ.

— Вы о чемъ-съ?

— Вы знаете, о чемъ. Извините, что я вмѣшиваюсь въ ваши личныя дѣла, но мнѣ кажется, вы сами изъ упрямства портите себѣ жизнь. Согласитесь, вамъ теперь какъ разъ самая пора жениться, а она дѣвушка прекрасная, достойная. Лучше ея вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная... А наружность!.. Принадлежи она къ нашему, или высшему кругу, въ нее влюблялись бы за одни чудные рыжіе волосы. Посмотрите, какъ у нея волосы подходятъ къ цвѣту лица. Ахъ, Боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вамъ нужно,—сказала съ горечью Анна Акимовна, и слезы выступили у нея на глазахъ.—Бѣдная дѣвочка, мнѣ ее такъ жалко! Я знаю, вы хотите взять съ деньгами, но я вамъ уже говорила: я за Машей дамъ приданое.

Свою будущую супругу Мишенька рисовалъ въ воображеніи не иначе, какъ въ видѣ высокой, полной, солидной и благочестивой женщины съ походкой какъ у павы и почему-то непремѣнно съ длинною шалью на плечахъ, а Маша худа и тонка, стянута въ корсетъ, и походка у нея мелкая, а главное, она была слишкомъ соблазнительна и подчасъ сильно нравилась Мишенькѣ, но это, по его мнѣнію, годилось не для брака, а лишь для дурного поведенія. Когда Анна Акимовна пообѣщала дать приданое, то онъ нѣкоторое время колебался; но какъ-то бѣдный студентъ въ коричневомъ пальто поверхъ мундира, приходившій къ Аннѣ Акимовнѣ съ письмомъ, не могъ удержаться и, восхищенный, обнялъ Машу внизу около вѣшалокъ, и она слегка вскрикнула; Мишенька, стоя наверху на лѣстницѣ, видѣлъ это и съ той поры сталъ питать къ Машѣ брезгливое чувство. Бѣдный студентъ! Кто знаетъ, если бы ее обнялъ богатый студентъ или офицеръ, то послѣдствія были бы другія...

— Отчего же вы не хотите?—спрашивала Анна Акимовна.—Чего вамъ еще нужно?

Мишенька молчалъ и неподвижно глядѣлъ на кресло, поднявъ брови.

— Вы любите другую?

Молчаніе. Вошла рыжая Маша съ письмами и визитными карточками на подносѣ. Догадавшись, что разговоръ шелъ о ней, она покраснѣла до слезъ.

— Почтальоны приходили,—пробормотала она.—И тамъ пришелъ какой-то чиновникъ Чаликовъ и дожидается внизу. Говоритъ, что вы приказали ему зачѣмъ-то придти сегодня.

— Какая наглость!—разсердилась Анна Акимовна.—Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтобъ онъ убирался, меня дома нѣтъ!

Послышался звонокъ. Это были священники изъ своего прихода, ихъ всегда принимали въ благородной половинѣ, то-есть наверху. Вслѣдъ за попами пришли съ визитомъ директоръ завода Назарычъ и фабричный докторъ, потомъ Мишенька доложилъ объ инспекторѣ народныхъ училищъ. Пріемъ визитеровъ начался.

Когда выпадали свободныя минутки, Анна Акимовна садилась въ гостиной въ глубокое кресло и, закрывъ глаза, думала о томъ, что одиночество ея вполнѣ естественно, такъ какъ она не вышла замужъ и никогда не выйдетъ. Но въ этомъ не она виновата. Сама судьба изъ простой рабочей обстановки, гдѣ, если вѣрить воспоминаніямъ, ей было такъ удобно и по себѣ, бросила ее въ эти громадныя комнаты, гдѣ она никакъ не можетъ придумать, что съ собой дѣлать, и не можетъ понять, для чего передъ ней мелькаетъ такъ много людей; то, что происходило теперь, казалось ей ничтожнымъ, ненужнымъ, такъ какъ ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать.

«Вотъ влюбиться бы,—думала она, потягиваясь, и отъ одной этой мысли у нея около сердца становилось тепло.—И отъ завода избавиться бы...»—мечтала она, воображая, какъ съ ея совѣсти сваливаются всѣ эти тяжелые корпуса, бараки, школа... Затѣмъ она вспомнила отца и подумала, что если бы онъ жилъ дольше, то, навѣрное, выдалъ бы ее за простого человѣка, напримѣръ, за Пименова. Приказалъ бы ей выходить за него,—вотъ и все. И это было бы хорошо: заводъ тогда попалъ бы въ настоящія руки.

Она представила себѣ его курчавую голову, смѣлый профиль, тонкія, насмѣшливыя губы и силу, страшную силу въ его плечахъ, рукахъ, въ груди и то утомленіе, съ какимъ онъ сегодня разсматривалъ ея часики.

— Что жъ?—проговорила она.—И ничего бы... Я бы вышла.

— Анна Акимовна!—позвалъ ее Мишенька, неслышно войдя въ гостиную.

— Какъ вы меня испугали!—сказала она, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ.—Что вамъ?

— Анна Акимовна!—повторилъ онъ, прикладывая руку къ сердцу и поднимая брови.—Вы—моя госпожа и благодѣтельница, и вы одна только можете наставлять меня насчетъ брака, такъ какъ вы для меня все равно, что мать родная... Но прикажите, чтобы внизу не смѣялись и не дразнили. Проходу не даютъ!

— А какъ они васъ дразнятъ?

— Говорятъ: Машенькинъ Мишенька.

— Фуй, какой вздоръ!—возмутилась Анна Акимовна.—Какъ вы всѣ глупы! Какой вы глупый, Миша! Какъ вы надоѣли мнѣ! Я васъ видѣть не хочу!

III.

Обѣдъ.

Какъ и въ прошломъ году, послѣдніе пріѣхали съ визитомъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Крылинъ и извѣстный адвокатъ Лысевичъ. Пріѣхали они, когда на дворѣ становилось уже темно. Крылинъ, старикъ за 60 лѣтъ, съ широкимъ ртомъ и съ сѣдыми бакенами около ушей, похожій лицомъ на рысь, былъ въ мундирѣ съ аннинскою лентой и въ бѣлыхъ штанахъ. Онъ долго держалъ руку Анны Акимовны въ своихъ обѣихъ рукахъ, глядѣлъ ей пристально въ лицо, шевелилъ губами и, наконецъ, сказалъ съ разстановкой, въ одну ноту:

— Я уважалъ вашего дядюшку... и батюшку, и пользовался ихъ расположеніемъ. Теперь считаю пріятнымъ долгомъ, какъ видите, поздравить ихъ уважаемую наслѣдницу... несмотря на болѣзнь и на значительное разстояніе... И весьма радъ видѣть васъ въ добромъ здоровьи.

Присяжный повѣренный Лысевичъ, высокій красивый блондинъ, съ легкою просѣдью въ вискахъ и бородѣ, отличается необыкновенно изящными манерами. Онъ входитъ съ перевальцемъ, кланяется будто нехотя и, разговаривая, поводитъ плечами, и все это съ лѣнивою граціей, какъ за-

стоявшійся, избалованный конь. Онъ сытъ, чрезвычайно здоровъ и богатъ; разъ даже выигралъ сорокъ тысячъ, но скрылъ это отъ своихъ знакомыхъ. Любитъ хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую рѣдьку съ конопляннымъ масломъ, а въ Парижѣ, по его словамъ, онъ ѣлъ жареныя немытыя кишки. Говоритъ онъ складно, плавно, безъ запинки, и лишь изъ кокетства иной разъ позволитъ себѣ запнуться и щелкнуть пальцами, какъ бы подбирая слово. Во все то, что ему приходится говорить на судѣ, онъ давно уже не вѣритъ, или, быть-можетъ, и вѣритъ, но не придаетъ этому никакой цѣны,—все это давно уже извѣстно, старо, обыкновенно... Онъ вѣритъ въ одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль въ оригинальной формѣ вызываетъ у него слезы. Обѣ записныя книжки у него исписаны необыкновенными выраженіями, которыя онъ вычитываетъ у разныхъ авторовъ, и когда ему нужно бываетъ отыскать какое-нибудь выраженіе, то онъ нервно роется въ обѣихъ книжкахъ и обыкновенно не находитъ. Еще покойный Акимъ Иванычъ въ веселую минуту изъ тщеславія пригласилъ его въ повѣренные по дѣламъ завода и назначилъ ему двѣнадцать тысячъ жалованья. Всѣ заводскія дѣла заключались въ двухъ-трехъ мелкихъ взысканіяхъ, которыя Лысевичъ поручалъ своимъ помощникамъ.

Анна Акимовна знала, что на заводѣ ему нечего дѣлать, но отказать ему не могла: не хватало мужества, да и привыкла къ нему. Онъ называлъ себя ея юрисконсультомъ, а свое жалованье, за которымъ онъ присылалъ аккуратно каждое первое число,—суровою прозой. Аннѣ Акимовнѣ было извѣстно, что когда послѣ смерти отца продавали ея лѣсъ на шпалы, то Лысевичъ нажилъ на этой продажѣ больше пятнадцати тысячъ и подѣлился съ Назарычемъ. Узнавши объ этомъ обманѣ, Анна Акимовна горько заплакала, но потомъ привыкла.

Поздравивъ и поцѣловавъ обѣ руки, онъ смѣрилъ ее взглядомъ и поморщился.

— Не надо,—сказалъ онъ съ искреннимъ огорченіемъ.— Я говорилъ, милая, не надо!

— Вы о чемъ, Викторъ Николаичъ?

— Я говорилъ: не надо полнѣть. Въ вашемъ роду у всѣхъ несчастная склонность къ полнотѣ. Не надо,—по-

вторилъ онъ умоляющимъ голосомъ и поцѣловалъ руку.— Вы такая хорошая! Вы такая славная! Вотъ, ваше превосходительство,—обратился онъ къ Крылину:—рекомендую: единственная въ свѣтѣ женщина, которую я когда-либо серьезно любилъ.

— Это неудивительно. Быть въ ваши годы знакомымъ съ Анной Акимовной и не любить ея—это невозможно.

— Я ее обожаю!—продолжалъ адвокатъ совершенно искренно, но со своею обычною лѣнивою граціей.—Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина; когда я съ ней, то кажется, что она какого-то третьяго пола, а я четвертаго, и мы уносимся вмѣстѣ въ область тончайшихъ цвѣтовыхъ оттѣнковъ и тамъ сливаемся въ спектръ. Лучше всѣхъ опредѣляетъ подобныя отношенія Leconte de Lisle. У него есть одно превосходное мѣсто, удивительное мѣсто.

Лысевичъ порылся въ одной книжкѣ, потомъ въ другой и, не найдя изреченія, успокоился. Стали говорить о погодѣ, объ оперѣ, о томъ, что скоро пріѣдетъ Дузе. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевичъ и, кажется, Крылинъ въ прошломъ году обѣдали у нея, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющимъ голосомъ стала доказывать имъ, что такъ какъ они уже больше никуда не поѣдутъ съ визитомъ, то должны остаться у нея пообѣдать. Послѣ нѣкотораго колебанія гости согласились.

Кромѣ обѣда, состоящаго изъ щей, поросенка, гуся съ яблоками и проч., на кухнѣ въ большіе праздники готовили еще такъ-называемый французскій или поварской обѣдъ, на случай, если кто изъ гостей въ верхнемъ этажѣ пожелаетъ откушать. Когда въ столовой застучали посудой, Лысевичъ сталъ проявлять замѣтное возбужденіе; онъ потиралъ руки, поводилъ плечами, жмурился и съ чувствомъ разсказывалъ о томъ, какіе обѣды когда-то задавали старики и какой чудесный матлотъ изъ налимовъ умѣетъ готовить здѣшній поваръ,—не матлотъ, а откровеніе! Онъ предвкушалъ обѣдъ, уже ѣлъ его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его подъ руку въ столовую, и онъ, наконецъ, выпилъ рюмку водки и положилъ себѣ въ ротъ кусочекъ семги, то даже замурлыкалъ отъ удовольствія. Жевалъ онъ громко, противно, издавая носомъ какіе-то звуки, и глаза его при этомъ становились масляными и алчными.

Закуска была роскошная. Были, между прочимъ, свѣжіе бѣлые грибы въ сметанѣ и соусъ провансаль изъ жареныхъ устрицъ и раковыхъ шеекъ, сильно сдобренный горькими пикулями. Самый обѣдъ состоялъ изъ праздничныхъ, изысканныхъ блюдъ, и вина были прекрасныя. Мишенька прислуживалъ за столомъ съ упоеніемъ. Когда онъ ставилъ на столъ какое-нибудь новое кушанье и снималъ съ блестящей кастрюли крышку, или наливалъ вино, то дѣлалъ это съ важностью профессора черной магіи, и, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокатъ нѣсколько разъ подумалъ: «Какой дуракъ!»

Послѣ третьяго блюда Лысевичъ говорилъ, обращаясь къ Аннѣ Акимовнѣ:

— Женщина fin de siècle,—я разумѣю молодую и, конечно, богатую,—должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смѣла и немножко развратна. Развратна въ мѣру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомленіе. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, какъ всѣ, а смаковать жизнь, а легкій развратъ есть соусъ жизни. Заройтесь въ цвѣты съ одуряющимъ ароматомъ, задыхайтесь въ мускусѣ, ѣшьте гашишъ, а, главное, любите, любите и любите... На первыхъ порахъ я на вашемъ мѣстѣ завелъ бы себѣ семерыхъ мужчинъ, по числу дней въ недѣлѣ, и одного назвалъ бы Понедѣльникомъ, другого—Вторникомъ, третьяго—Средой и т. д., чтобы каждый зналъ свой день.

Этотъ разговоръ волновалъ Анну Акимовну. Она ничего не ѣла и только выпила рюмку вина.

— Дайте же мнѣ, наконецъ, сказать!—говорила она.—Для себя лично я не понимаю любви безъ семьи. Я одинока, одинока, какъ мѣсяцъ на небѣ, да еще съ ущербомъ, и, что̀ бы вы тамъ ни говорили, я увѣрена, я чувствую, что этотъ ущербъ можно пополнить только любовью въ обыкновенномъ смыслѣ. Мнѣ кажется, что эта любовь опредѣлитъ мои обязанности, мой трудъ, освѣтитъ мое міросозерцаніе. Я хочу отъ любви мира моей душѣ, покоя, хочу подальше отъ мускуса и всѣхъ тамъ спиритизмовъ и fin de siècle... однимъ словомъ,—смѣшалась она:—мужъ и дѣти.

— Замужъ хотите? Что жъ, и это можно,—согласился Лысевичъ.—Вамъ все нужно испытать: и замужество, и ревность, и сладость первой измѣны, и даже дѣтей... Но

торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходитъ, не ждетъ.

— Вотъ возьму и выйду замужъ!—сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо.—Выйду самымъ обыкновеннымъ, самымъ пошлымъ образомъ и буду сіять отъ счастья. И, можете себѣ представить, выйду за простого рабочаго человѣка, за какого-нибудь механика или чертежника.

— И это недурно. Герцогиня Джосіана полюбила Гуинплена, и это ей позволяется, потому что она герцогиня; вамъ тоже все позволяется, потому что вы необыкновенная. Если, милая, захотите любить негра или арапа, то не стѣсняйтесь, выписывайте себѣ негра. Ни въ чемъ себѣ не отказывайте. Вы должны быть такъ же смѣлы, какъ ваши желанія. Не отставайте отъ нихъ.

— Неужели меня такъ трудно понять?—спросила Анна Акимовна съ изумленіемъ, и глаза ея заблестѣли отъ слезъ.—Поймите же, у меня на рукахъ громадное дѣло, двѣ тысячи рабочихъ, за которыхъ я должна отвѣтить передъ Богомъ. Люди, которые работаютъ на меня, слѣпнутъ и глохнутъ. Мнѣ страшно жить, страшно! Я страдаю, а вы имѣете жестокость говорить мнѣ о какихъ-то неграхъ и... и улыбаетесь!—Анна Акимовна ударила кулакомъ по столу.—Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же празднаго, неумѣлаго человѣка, какъ я, было бы просто преступленіемъ. Я не могу больше такъ жить,—сказала она горячо:—не могу!

— Какъ она хороша! — проговорилъ Лысевичъ, восхищаясь ею.—Богъ мой, какъ она хороша! Но что же вы сердитесь, милая? Пусть я не правъ, но неужели вы думаете, что если вы во имя идей, которыя я, впрочемъ, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себѣ въ жизненной радости, то рабочимъ станетъ отъ этого легче? Ничуть! Нѣтъ, развратъ, развратъ!—сказалъ онъ рѣшительно.—Вамъ необходимо, вы обязаны быть развратной! Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте!

Анна Акимовна была рада, что высказалась, и повеселѣла. Ей нравилось, что она такъ хорошо говорила и такъ честно и красиво мыслитъ, и она была уже увѣрена, что если бы, напримѣръ, Пименовъ полюбилъ ее, то она пошла бы за него съ удовольствіемъ.

Миненька стала наливать шампанское.

— Вы меня злите, Викторъ Николаичъ,—сказала она, чокаясь съ адвокатомъ.—Мнѣ досадно, что вы даете совѣты, а сами совсѣмъ не знаете жизни. По-вашему, если механикъ или чертежникъ, то ужъ непремѣнно мужикъ и невѣжа. А это умнѣйшіе люди! Необыкновенные люди!

— Вашъ батюшка и дядюшка... я ихъ зналъ и уважалъ,—проговорилъ съ разстановкой Крылинъ, который сидѣлъ, вытянувшись какъ истуканъ, и все время, не переставая, ѣлъ:—были люди значительнаго ума и... и высокихъ душевныхъ качествъ.

— Ладно; знаемъ мы эти качества!—пробормоталъ адвокатъ и попросилъ позволенія закурить.

Когда кончился обѣдъ, Крылина увели отдыхать. Лысевичъ докурилъ сигару и, покачиваясь отъ сытости, пошелъ за Анной Акимовной въ ея кабинетъ. Укромные уголки съ фотографіями, вѣерами на стѣнахъ и съ неизбѣжнымъ розовымъ или голубымъ фонаремъ среди потолка онъ не любилъ, какъ выраженіе вялаго, неоригинальнаго характера; къ тому же, воспоминанія о нѣкоторыхъ его романахъ, которыхъ онъ теперь стыдился, были у него связаны съ этимъ фонаремъ. Кабинетъ же Анны Акимовны съ голыми стѣнами и безвкусною мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидѣть на турецкомъ диванѣ и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидѣла на коврѣ передъ каминомъ и, охвативъ колѣни руками, глядѣла на огонь и о чемъ-то думала, и въ это время ему казалось, что въ ней играетъ мужицкая, староверская кровь.

Всякій разъ послѣ обѣда, когда подавали кофе и ликеры, онъ оживлялся и разсказывалъ ей разныя литературныя новости. Говорилъ онъ витіевато, вдохновенно, самъ увлекался своимъ разсказомъ, а она слушала его и всякій разъ думала, что за такое удовольствіе можно заплатить не двѣнадцать тысячъ, а втрое больше, и прощала ему все, что ей не нравилось въ немъ. Случалось, что онъ разсказывалъ ей содержаніе повѣстей и даже романовъ, и тогда два или три часа проходили незамѣтно, какъ минуты. Теперь онъ началъ какъ-то кисло, разслабленнымъ голосомъ и закрывши глаза.

— Я, милая, давно ужъ ничего не читалъ, — сказалъ онъ, когда она попросила его разсказать что-нибудь.— Впрочемъ, иногда читаю Жюля Верна.

— А я думала, что вы разскажете мнѣ что-нибудь новенькое.

— Гм... новенькое, — сонно пробормоталъ Лысевичъ и еще глубже забился въ уголъ дивана.—Вся новенькая литература, милая моя, для насъ съ вами не подходитъ. Конечно, она должна быть такою, какова она есть, и не признавать ея—значило бы не признавать естественнаго порядка вещей, и я признаю ее, но...

Лысевичъ, казалось, уснулъ. Но черезъ минуту опять послышался его голосъ:

— Вся новенькая литература, на манеръ осенняго вѣтра въ трубѣ, стонетъ и воетъ: «Ахъ, несчастный! ахъ, жизнь твою можно уподобить тюрьмѣ! ахъ, какъ тебѣ въ тюрьмѣ темно и сыро! ахъ, ты непремѣнно погибнешь, и нѣтъ тебѣ спасенія!» Это прекрасно, но я предпочелъ бы литературу, которая учитъ, какъ бѣжать изъ тюрьмы. Изъ всѣхъ современныхъ писателей я почитываю, впрочемъ, иногда одного Мопасана.—Лысевичъ открылъ глаза.—Хорошій писатель, превосходный писатель!—Лысевичъ задвигался на диванѣ.—Удивительный художникъ! Страшный, чудовищный, сверхъестественный художникъ! — Лысевичъ всталъ съ дивана и поднялъ кверху правую руку.—Мопасанъ!—сказалъ онъ въ восторгѣ.—Милая, читайте Мопасана! Одна страница его дастъ вамъ больше, чѣмъ всѣ богатства земли! Что ни строка, то новый горизонтъ. Мягчайшія, нѣжнѣйшія движенія души смѣняются сильными, бурными ощущеніями, ваша душа точно подъ давленіемъ сорока тысячъ атмосферъ обращается въ ничтожнѣйшій кусочекъ какого-то вещества неопредѣленнаго, розоватаго цвѣта, которое, какъ мнѣ кажется, если бы можно было положить его на языкъ, дало бы терпкій, сладострастный вкусъ. Какое бѣшенство переходовъ, мотивовъ, мелодій! Вы покоитесь на ландышахъ и розахъ, и вдругъ мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетаетъ на васъ, какъ локомотивъ, и обдаетъ васъ горячимъ паромъ и оглушаетъ свистомъ. Читайте, читайте Мопасана! Милая, я этого требую!

Лысевичъ замахалъ руками и въ сильномъ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ.

— Нѣтъ, это невозможно!—проговорилъ онъ, какъ бы въ отчаяніи.—Послѣдняя его вещь истомила меня, опьянила! Но я боюсь, что вы останетесь къ ней равнодушны. Чтобъ

она увлекла васъ, надо ее смаковать, медленно выжимать сокъ изъ каждой строчки, пить... Надо ее пить!

Послѣ длиннаго вступленія, въ которомъ было много такихъ словъ, какъ демоническое сладострастіе, сѣть изъ тончайшихъ нервовъ, самумъ, кристаллъ и т. п., онъ, наконецъ, сталъ разсказывать содержаніе романа. Разсказывалъ онъ уже не такъ вычурно, но очень подробно, приводя наизусть цѣлыя описанія и разговоры; дѣйствующія лица романа восхищали его, и, характеризуя ихъ, онъ становился въ позы, мѣнялъ выраженіе лица и голосъ, какъ настоящій актеръ. Отъ восторга онъ хохоталъ то басомъ, то очень тонкимъ голоскомъ, всплескивалъ руками или хваталъ себя за голову съ такимъ выраженіемъ, какъ будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала съ восхищеніемъ, хотя уже читала этотъ романъ, и въ передачѣ адвоката онъ казался ей во много разъ красивѣе и сложнѣе, чѣмъ въ книжкѣ. Онъ обращалъ ея вниманіе на разныя тонкости и подчеркивалъ счастливыя выраженія и глубокія мысли, но она видѣла только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, какъ будто была дѣйствующимъ лицомъ романа; у нея поднимало духъ, и она сама, тоже хохоча и всплескивая руками, думала о томъ, что такъ жить нельзя, что нѣтъ надобности жить дурно, если можно жить прекрасно; она вспомнила свои слова и мысли за обѣдомъ и гордилась ими, и когда въ воображеніи вдругъ выросталъ Пименовъ, то ей было весело и хотѣлось, чтобы онъ полюбилъ ее.

Кончивши разсказывать, Лысевичъ, изнеможенный, сѣлъ на диванъ.

— Какая вы славная! Какая хорошая!—началъ онъ, немного погодя, слабымъ голосомъ, точно больной.—Я, милая, счастливъ около васъ, но все-таки зачѣмъ мнѣ сорокъ два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадаютъ: вы должны быть развратны, а я давно уже пережилъ этотъ фазисъ и хочу любви тончайшей, не матеріальной, какъ солнечный лучъ, то-есть, съ точки зрѣнія женщины вашихъ лѣтъ, я уже ни къ чорту не годенъ.

Онъ, по его словамъ, любилъ Тургенева, пѣвца дѣвственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы, но самъ онъ любилъ дѣвственную любовь не вблизи, а по наслышкѣ, какъ нѣчто отвлеченное, существующее внѣ дѣйствительной жизни. Теперь онъ увѣрялъ себя, что Анну Аки-

мовну онъ любилъ платонически, идеально, хотя самъ не зналъ, что это значитъ. Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательною, оригинальною, и онъ думалъ, что пріятное самочувствіе, вызываемою въ немъ этою обстановкой, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью.

Онъ припалъ щекой къ ея рукѣ и сказалъ тономъ, какимъ обыкновенно ласкаютъ маленькихъ дѣтей:

— Дуся моя, а за что вы меня оштрафовали?

— Какъ? Когда?

— Я къ празднику не получилъ отъ васъ наградныхъ.

Раньше Аннѣ Акимовнѣ ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату къ праздникамъ посылались наградныя, и теперь она находилась въ затрудненіи: сколько ему дать? А дать было нужно, такъ какъ онъ ждалъ, хотя смотрѣлъ на нее глазами, полными любви.

— Должно-быть, Назарычъ забылъ,—сказала она.—Но это не поздно поправить.

Вдругъ она вспомнила про вчерашнія полторы тысячи, которыя лежали у нея теперь въ спальнѣ, въ туалетномъ столикѣ. И когда она принесла эти несимпатичныя деньги и подала ихъ адвокату, и онъ съ лѣнивою граціей сунулъ ихъ въ боковой карманъ, то все это произошло какъ-то мило и естественно. Неожиданное напоминаніе о наградныхъ и эти полторы тысячи были къ лицу адвокату.

— Merçi,—сказалъ онъ и поцѣловалъ ей палецъ.

Вошелъ Крылинъ съ заспаннымъ блаженнымъ лицомъ, но уже безъ орденовъ.

Онъ и Лысевичъ посидѣли еще немного, выпили по стакану чаю и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена... Она совершенно забыла, гдѣ служитъ Крылинъ, и нужно ли давать ему деньги или нѣтъ, а если нужно, то теперь дать или послать въ конвертѣ.

— Гдѣ онъ служитъ?—шепнула она Лысевичу.

— А чортъ его знаетъ,—пробормоталъ адвокатъ, зѣвая.

Она сообразила, что если Крылинъ бывалъ у дяди и отца и уважалъ ихъ, то не даромъ: очевидно, дѣлалъ добрыя дѣла на ихъ счетъ, служа въ какомъ-нибудь благотворительномъ учрежденіи. Она, прощаясь, сунула ему въ руку триста рублей; онъ какъ бы изумился и минуту молча

смотрѣлъ на нее оловянными глазами, но потомъ какъ бы понялъ и сказалъ:

— Но квитанцію, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше новаго года.

Лысевичъ совсѣмъ уже раскисъ и отяжелѣлъ и шатался, когда Мишенька надѣвалъ на него шубу. А спускаясь внизъ, онъ имѣлъ видъ совершенно разслабленнаго, и видно было, что какъ только онъ сядетъ въ сани, то уснетъ тотчасъ же.

— Ваше превосходительство, — сказалъ онъ Крылину томно, останавливаясь среди лѣстницы:—не приходилось ли вамъ испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягиваетъ васъ въ длину, вы все тянетесь-тянетесь и, наконецъ, обращаетесь въ тончайшую проволоку? Субъективно это выражается въ какомъ-то особенномъ сладострастномъ чувствѣ, которое ни съ чѣмъ сравнить нельзя.

Анна Акимовна, стоя наверху, видѣла, какъ оба они дали Мишенькѣ по бумажкѣ.

— Не забывайте! До свиданья! — крикнула она имъ и побѣжала къ себѣ въ спальню.

Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надѣла капотъ и побѣжала внизъ. И когда бѣжала по лѣстницѣ, то смѣялась и стучала ногами какъ мальчишка. Ей сильно хотѣлось шалить.

IV.

Вечеръ.

Тетушка въ просторной ситцевой блузѣ, Варварушка и еще какихъ-то двѣ старушки сидѣли въ столовой и ужинали. Передъ ними на столѣ лежали большой кусокъ солонины, окорокъ и разныя соленыя закуски, и отъ солонины, очень жирной и вкусной на видъ, валилъ къ потолку паръ. Въ нижнемъ этажѣ виноградныхъ винъ не употребляли, но зато было много разнаго рода водокъ и наливокъ. Кухарка Агаѳьюшка, полная, бѣлая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанья подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка съ пунцовою лентой въ волосахъ. Старухи были сыты еще съ утра и за часъ до ужина пили чай со сладкимъ сдобнымъ

пирогомъ, а потому ѣли теперь черезъ силу, какъ бы по обязанности.

— Охъ, матушки!—охнула тетушка, когда въ столовую вдругъ вбѣжала Анна Акимовна и сѣла на стулъ рядомъ съ нею.—Испугала до смерти!

Въ домѣ любили, когда Анна Акимовна бывала въ духѣ и дурачилась; это всякій разъ напоминало, что старики уже умерли, а старухи въ домѣ не имѣютъ уже никакой власти, и каждый можетъ жить какъ угодно, не боясь, что съ него сурово взыщутъ. Только двѣ незнакомыя старухи покосились на Анну Акимовну съ недоумѣніемъ: она напѣвала, а за столомъ грѣхъ пѣть.

— Матушка наша, красавица, картина писаная!—начала слащаво причитывать Агаѳьюшка.—Алмазъ нашъ драгоцѣнный!.. Народу-то, народу нынче пріѣзжало нашу королевну глядѣть—Господи твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа... Я въ окно глядѣла-глядѣла, считала-считала, да и бросила.

— А по мнѣ, они хоть бы вовсе не ѣздили, подлецы!—сказала тетушка; она съ грустью поглядѣла на племянницу и добавила:—Только время провели сироткѣ моей бѣдной.

Анна Акимовна была голодна, такъ какъ съ самаго утра ничего не ѣла. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солониной съ горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потомъ нижняя Маша подала индѣйку, моченыя яблоки и крыжовникъ. И это тоже понравилось. Но только одно было непріятно: отъ изразцовой печки вѣяло жаромъ, было душно, и у всѣхъ разгорѣлись щеки. Послѣ ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки съ мятными пряниками, орѣхами и изюмомъ.

— Садись и ты... чего тамъ!—сказала тетушка кухаркѣ.

Агаѳьюшка вздохнула и сѣла за столъ; передъ ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Аннѣ Акимовнѣ стало уже казаться, что одинаково, какъ отъ печки, такъ и отъ бѣлой шеи Агаѳьюшки, вѣетъ жаромъ. Говорили всѣ о томъ, какъ теперь трудно стало выходить замужъ, что въ прежнее время мужчины если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что имъ нужно, и прежде оставались въ дѣвушкахъ только горбатыя и хромыя, а теперь не берутъ даже красивыхъ и богатыхъ. Тетушка стала объяснять это безнравствен-

ностью и тѣмъ, что люди Бога не боятся, но вдругъ вспомнила, что ея братъ Иванъ Иванычъ и Варварушка — оба святой жизни—и Бога боялись, а все же потихоньку дѣтей рожали и отправляли въ воспитательный домъ; она спохватилась и перевела разговоръ на то, какой у нея когда-то женишокъ былъ, изъ заводскихъ, и какъ она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца иконописца, который, слава Богу, черезъ два года померъ. Нижняя Маша тоже подсѣла къ столу и съ таинственнымъ видомъ разсказала, что вотъ уже недѣля, какъ каждый день по утрамъ во-дворѣ показывается какой-то неизвѣстный мужчина съ черными усами и въ пальто съ барашковымъ воротникомъ: войдетъ во дворъ, поглядитъ на окна большого дома и пойдетъ дальше—къ корпусамъ; мужчина ничего себѣ, видный...

Отъ всѣхъ этихъ разговоровъ Аннѣ Акимовнѣ почему-то вдругъ захотѣлось замужъ, захотѣлось сильно, до тоски; кажется, полжизни и все состояніе отдала бы, только знать бы, что въ верхнемъ этажѣ есть человѣкъ, который для нея ближе всѣхъ на свѣтѣ, что онъ крѣпко любитъ ее и скучаетъ по ней; и мысль объ этой близости, восхитительной, невыразимой на словахъ, волновала ея душу. И инстинктъ здоровья и молодости льстилъ ей и лгалъ, что настоящая поэзія жизни не пришла, а еще впереди, и она вѣрила и, откинувшись на спинку стула (у нея распустились волосы при этомъ), стала смѣяться, а глядя на нее, смѣялись и остальныя. И въ столовой долго не умолкалъ безпричинный смѣхъ.

Доложили, что пришла ночевать Жужелица. Это была богомолка Паша или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина, лѣтъ пятидесяти, въ черномъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ, остроглазая, остроносая, съ острымъ подбородкомъ; глаза у нея были хитрые, ехидные, и глядѣла она съ такимъ выраженіемъ, какъ будто всѣхъ насквозь видѣла. Губы у нея были сердечкомъ. За ехидство и ненавистничество въ купеческихъ домахъ ее прозвали Жужелицей.

Войдя въ столовую, она, ни на кого не глядя, направилась къ образамъ и запѣла альтомъ «Рождество Твое», потомъ спѣла «Дѣва днесь», потомъ «Христосъ рождается», затѣмъ обернулась и пронизала всѣхъ взглядомъ.

— Съ праздничкомъ! — сказала она и поцѣловала въ

плечо Анну Акимовну.—Насилу, насилу добралась до васъ, благодѣтели мои.—Она поцѣловала въ плечо тетушку.—Пошла я къ вамъ еще утромъ, да по дорогѣ къ добрымъ людямъ заходила отдохнуть. «Останься, да останься, Спиридоновна»,—анъ, и не видала, какъ вечеръ насталъ.

Такъ какъ она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всѣхъ исподлобья, и водочки три рюмки выпила. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Аннѣ Акимовнѣ въ ноги.

Какъ это было въ прошломъ и въ третьемъ году, стали играть въ короли, а вся прислуга, сколько ея было въ двухъ этажахъ, столпилась въ дверяхъ, чтобы поглядѣть на игру. Аннѣ Акимовнѣ показалось, что раза два въ толпѣ бабъ и мужиковъ промелькнулъ и Мишенька съ снисходительною улыбкой. Первая вышла въ короли Жужелица, и Анна Акимовна-солдатъ платила ей дань, а потомъ тетушка стала королемъ, и Анна Акимовна попала въ мужики или «тютьки», что вызвало общій восторгъ, а Агаѳьюшка вышла въ принцы и застыдилась отъ удовольствія. На другомъ концѣ стола составилась еще партія: обѣ Маши, Варварушка и швейка Марѳа Петровна, которую разбудили нарочно для игры въ короли, и лицо у нея было заспанное, злое.

Во время игры разговоръ шелъ о мужчинахъ, о томъ, какъ трудно теперь выйти за хорошаго человѣка, и о томъ, какая доля лучше—дѣвичья или вдовья.

— Дѣвка ты красивая, здоровая, крѣпкая,—сказала Жужелица Аннѣ Акимовнѣ.—Только я никакъ не пойму, мать, для кого ты себя бережешь.

— Что же дѣлать, если никто не беретъ?

— А, можетъ, дала обѣтъ остаться въ дѣвахъ? — продолжала Жужелица, какъ бы не слыша.—Что жъ, хорошее дѣло, оставайся... Оставайся,—повторила она, внимательно и ехидно глядя себѣ въ карты.—Тэкъ, братъ, оставайся... да... Только дѣвы, преподобныя-то эти самыя, разныя бываютъ,—вздохнула она и пошла съ короля.—Охъ, разныя, мать! Однѣ, дѣйствительно, блюдутъ себя, словно монашенки, и ни синь пороха, а ежели какая и согрѣшитъ часомъ, то измучится вся, бѣдная, и осуждать грѣхъ. А вотъ другія дѣвушки и въ черныхъ платьяхъ ходятъ, и саваны себѣ шьютъ, а сами-то втихомолку старичковъ богатенькихъ

любятъ. Да-а, канареечки мои. Иная шельма околдуетъ старика и властвуетъ надъ нимъ, голубушки мои, властвуетъ, кружитъ его, кружитъ, а какъ набрала побольше денегъ да выигрышныхъ билетовъ, такъ и заколдуетъ до смерти.

Въ отвѣтъ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядѣла на образъ. На лицѣ ея изобразилось христіанское смиреніе.

— Есть у меня одна знакомая дѣвушка такая, врагиня моя лютая, — продолжала Жужелица, оглядывая всѣхъ съ торжествомъ.—Тоже все вздыхаетъ, да все на образа смотритъ, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь къ ней, а она дастъ тебѣ кусокъ и прикажетъ земные поклоны класть, и сама читаетъ: «Въ рождествѣ дѣвство сохранила еси»... Въ праздникъ дастъ кусокъ, а въ будни попрекаетъ. Ну, а теперь ужъ я натѣшусь надъ ней! Натѣшусь вволю, алмазныя!

Варварушка опять взглянула на образъ и перекрестилась.

— Да, никто меня не беретъ, Спиридоновна,—сказала Анна Акимовна, чтобы перемѣнить разговоръ. — Что подѣлаешь?

— Сама виновата, мать. Все ждешь благородныхъ да образованныхъ, а шла бы за своего брата—купца.

— Купца не нужно! — сказала тетушка и встревожилась.—Спаси, Царица Небесная! Благородный деньги твои промотаетъ, да зато жалѣть тебя будетъ, дурочка. А купецъ заведетъ такія строгости, что ты въ своемъ же домѣ мѣста себѣ не найдешь. Тебѣ приласкаться къ нему хочется, а онъ купоны рѣжетъ, а сядешь съ нимъ ѣсть, онъ тебя твоимъ же кускомъ хлѣба попрекаетъ, деревенщина!.. Выходи за благороднаго.

Заговорили всѣ сразу, громко перебивая другъ друга, а тетушка стучала по столу щипцами для орѣховъ и, красная, сердитая, говорила:

— Не надо купца, не надо! А заведешь въ домѣ купца, пойду въ богадѣльню!

— Тш... Тише!—крикнула Жужелица; когда всѣ утихли, она прищурила одинъ глазъ и сказала: — Знаешь, что, Аннушка, ласточка моя? Выходить замужъ по-настоящему, какъ всѣ, тебѣ не къ чему. Ты человѣкъ богатый, вольный, сама себѣ королева; но и въ старыхъ дѣвкахъ оставаться какъ будто, дѣтка, не годится. Найду-ка я тебѣ, знаешь,

какого-нибудь заваляшенькаго и простоватенькаго человѣчка, примешь ты для видимости законъ и тогда — гуляй, Малашка! Ну, мужу сунешь тамъ тысячъ пять или десять, и пусть идетъ, откуда пришелъ, а ты дома сама себѣ госпожа,—кого хочешь, того любишь, и никто не можетъ тебя осудить. И люби ты тогда своихъ благородныхъ да образованныхъ. Эхъ, не жизнь, а масляница! — Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула:—Гуляй, Малашка!

— А грѣхъ!—сказала тетушка.

— Ну, грѣхъ,—усмѣхнулась Жужелица. — Она образованная, понимаетъ. Человѣка зарѣзать или старика околдовать—грѣхъ, это точно, а любить милаго дружочка даже очень не грѣхъ. Да и что тамъ, право! Никакого грѣха нѣтъ! Все это богомолки выдумали, чтобы простой народъ морочить. Я вотъ тоже вездѣ говорю — грѣхъ да грѣхъ, а сама и не знаю, почему грѣхъ.—Жужелица выпила наливки и крякнула.—Гуляй, Малашка! — сказала она, обращаясь на этотъ разъ, очевидно, къ себѣ самой.—Тридцать лѣтъ, бабочки, думала все о грѣхахъ, да боялась, а теперь вижу: прозѣвала, проворонила! Эхъ, дура я, дура! — вздохнула она. — Бабій вѣкъ—короткій вѣкъ, и каждымъ денечкомъ дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а ужъ какъ стукнетъ тридцать-пять или сорокъ, только и вѣку твоего, пиши конецъ. Не слушай, братъ, никого, живи, гуляй до сорока, а потомъ успѣешь отмолить,—хватитъ времени поклоны бить, да саваны шить. Богу свѣчка, валяй и чорту кочергу! Валяй все въ одно мѣсто! Ну, такъ какъ же? Хочешь облагодѣтельствовать человѣчка?

— Хочу,—засмѣялась Анна Акимовна.—Мнѣ теперь все равно, я бы за простого пошла.

— Что жъ, и хорошо бы! Ухъ, какого бы ты тогда себѣ молодца выбрала!—Жужелица зажмурилась и покачала головой.—Ухъ!

— Я и сама ей говорю: благородныхъ не дождешься, такъ шла бы ужъ не за купца, а за кого попроще,—сказала тетушка.—По крайности, взяли бы мы себѣ въ домъ хозяина. А мало ли хорошихъ людей? Хоть нашихъ заводскихъ взять. Всѣ тверезые, степенные...

— А еще бы!—согласилась Жужелица.—Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединскаго Василія посватаю?

— Ну, у Васи ноги длинныя,—сказала тетушка серьезно.— Сухой очень. Виду нѣтъ.

Въ толпѣ около дверей засмѣялись.

— Ну, за Пименова. Хочешь идти за Пименова?—спросила Жужелица у Анны Акимовны.

— Хорошо. Сватай за Пименова.

— Ей-Богу?

— Сватай!—сказала рѣшительно Анна Акимовна и ударила по столу.—Честное слово пойду!

— Ей-Богу?

Аннѣ Акимовнѣ вдругъ стало стыдно, что у нея горятъ щеки и что на нее всѣ смотрятъ, она смѣшала на столѣ карты и побѣжала изъ комнаты, и когда бѣжала по лѣстницѣ и потомъ пришла наверхъ и сѣла въ гостиной у рояля, изъ нижняго этажа доносился гулъ, будто море шумѣло; вѣроятно, говорили про нее и про Пименова и, быть-можетъ, пользуясь ея отсутствіемъ, Жужелица обижала Варварушку и ужъ, конечно, не стѣснялась въ выраженіяхъ.

Во всемъ верхнемъ этажѣ горѣла только одна лампа въ залѣ, и ея слабый свѣтъ черезъ дверь проникалъ въ темную гостиную. Былъ десятый часъ, не больше. Анна Акимовна сыграла одинъ вальсъ, потомъ другой, третій,— играла непрерывно. Она смотрѣла въ темный уголъ за роялью, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило въ голову: не поѣхать ли сейчасъ въ городъ къ кому-нибудь, напримѣръ, хоть къ Лысевичу, и не разсказать ли ему, что происходитъ у нея теперь на душѣ? Ей хотѣлось говорить безъ умолку, смѣяться, дурачиться, но темный уголъ за роялью угрюмо молчалъ и кругомъ, во всѣхъ комнатахъ верхняго этажа, было тихо, безлюдно.

Она любила чувствительные романсы, но у нея былъ грубый, необработанный голосъ, и потому она только аккомпанировала, а пѣла чуть слышно, однимъ лишь дыханіемъ. Она пѣла шопотомъ романсъ за романсомъ, все больше о любви, разлукѣ, утраченныхъ надеждахъ, и воображала, какъ она протянетъ къ нему руки и скажетъ съ мольбой, со слезами: «Пименовъ, снимите съ меня эту тяжесть!» И тогда, точно грѣхи ей простятся, станетъ на душѣ легко, радостно, наступитъ свободная и, быть-можетъ, счастливая жизнь. Въ тоскѣ ожиданія она склонилась къ клавишамъ

и ей страстно захотѣлось, чтобы перемѣна въ жизни произошла сейчасъ же, немедленно, и было страшно отъ мысли, что прежняя жизнь будетъ продолжаться еще нѣкоторое время. Потомъ опять играла и пѣла чуть слышно, и кругомъ было тихо. Изъ нижняго этажа уже не доносился гулъ: должно-быть, тамъ легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь.

Анна Акимовна прошлась по всѣмъ комнатамъ, полежала на диванѣ, прочла у себя въ кабинетѣ письма, полученныя вечеромъ. Было двѣнадцать писемъ поздравительныхъ и три анонимныхъ, безъ подписи. Въ одномъ какой-то простой рабочій ужаснымъ, едва разборчивымъ почеркомъ жаловался на то, что въ фабричной лавкѣ продаются рабочимъ горькое постное масло, отъ котораго пахнетъ керосиномъ; въ другомъ—кто-то доносилъ почтительно, что Назарычъ на послѣднихъ торгахъ, покупая желѣзо, взялъ отъ кого-то взятку въ тысячу рублей; въ третьемъ ее бранили за безчеловѣчность.

Праздничное возбужденіе уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна сѣла опять за рояль и тихо заиграла одинъ изъ новыхъ вальсовъ, потомъ вспомнила, какъ умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обѣдомъ. Поглядѣла она кругомъ на темныя окна и стѣны съ картинами, на слабый свѣтъ, который шелъ изъ залы, и вдругъ нечаянно заплакала и ей досадно стало, что она такъ одинока, что ей не съ кѣмъ поговорить, посовѣтоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать въ воображеніи Пименова, но уже ничего не выходило.

Пробило двѣнадцать. Вошелъ Мишенька, уже не во фракѣ, а въ пиджакѣ, и молча зажегъ двѣ свѣчи; затѣмъ онъ вышелъ и черезъ минуту вернулся съ подносомъ, на которомъ была чашка съ чаемъ.

— Что вы смѣетесь? — спросила она, замѣтивъ на его лицѣ улыбку.

— Я внизу былъ и слышалъ, какъ вы шутили насчетъ Пименова... — сказалъ онъ и прикрылъ рукой смѣющійся ротъ.—Посадить бы его давеча обѣдать съ Викторомъ Николаевичемъ и съ генераломъ, такъ онъ померъ бы со страху.—У Мишеньки задрожали плечи отъ смѣха.—Онъ и вилки, небось, держать не умѣетъ.

Смѣхъ лакея, его слова, пиджакъ и усики произвели на Анну Акимовну впечатлѣніе нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видѣть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова обѣдающаго вмѣстѣ съ Лысевичемъ и Крылинымъ, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, безпомощной, и она почувствовала отвращеніе. И только теперь въ первый разъ за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименовѣ и о бракѣ съ простымъ рабочимъ—вздоръ, глупость и самодурство. Чтобы убѣдить себя въ противномъ, преодолѣть отвращеніе, она хотѣла вспомнить слова, какія говорила за обѣдомъ, но уже не могла сообразить; стыдъ за свои мысли и поступки, и страхъ, что она, быть-можетъ, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращеніе къ своему малодушію смутили ее чрезвычайно. Она взяла свѣчу и быстро, какъ будто ее гналъ кто-нибудь, сошла внизъ, разбудила тамъ Спиридоновну и стала увѣрять ее, что она попутила. Потомъ пошла къ себѣ въ спальню. Рыжая Маша, дремавшая въ креслѣ около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нея было утомленное, заспанное, и великолѣпные волосы сбились на одну сторону.

— Вечеромъ опять приходилъ чиновникъ Чаликовъ, — сказала она, зѣвая: — да я не посмѣла докладывать. Ужъ очень пьяный. Говоритъ, что опять завтра придетъ.

— Что ему нужно отъ меня?—разсердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой объ полъ.—Я не хочу его видѣть! Не хочу!

Она рѣшила, что у нея въ жизни никого уже больше не осталось, кромѣ этого Чаликова, что онъ уже не перестанетъ преслѣдовать ее и напоминать ей каждый день, какъ неинтересна и нелѣпа ея жизнь. Вѣдь она на то только и способна, чтобы помогать бѣднымъ. О, какъ это глупо!

Она легла, не раздѣваясь, и зарыдала отъ стыда и скуки. Досаднѣе и глупѣе всего казалось ей то, что сегодняшнія мечты насчетъ Пименова были честны, возвышенны, благородны, но въ то же время она чувствовала, что Лысевичъ и даже Крылинъ для нея были ближе, чѣмъ Пименовъ и всѣ рабочіе, взятые вмѣстѣ. Она думала теперь, что если бы можно было только-что прожитый длинный день изобразить на картинѣ, то все дурное и пошлое, какъ, напримѣръ, обѣдъ, слова адвоката, игра въ короли, были бы

правдой, мечты же и разговоры о Пименовѣ выдѣлялись бы изъ цѣлаго, какъ фальшивое мѣсто, какъ натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастьѣ, что все уже для нея погибло и вернуться къ той жизни, когда она спала съ матерью подъ однимъ одѣяломъ, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно.

Рыжая Маша стояла на колѣняхъ передъ постелью и смотрѣла на нее печально, съ недоумѣніемъ, потомъ и сама заплакала и припала лицомъ къ ея рукѣ; и безъ словъ было понятно, отчего ей такъ горько.

— Дуры мы съ тобой,—говорила Анна Акимовна, плача и смѣясь.—Дуры мы! Ахъ, какія мы дуры!

ПОПРЫГУНЬЯ.

I.

На свадьбѣ у Ольги Ивановны были всѣ ея друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, въ немъ что-то есть? — говорила она своимъ друзьямъ, кивая на мужа и какъ бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновеннаго и ничѣмъ не замѣчательнаго человѣка.

Ея мужъ, Осипъ Степанычъ Дымовъ, былъ врачомъ и имѣлъ чинъ титулярнаго совѣтника. Служилъ онъ въ двухъ больницахъ: въ одной сверхштатнымъ ординаторомъ, а въ другой — прозекторомъ. Ежедневно отъ 9 часовъ утра до полудня онъ принималъ больныхъ и занимался у себя въ палатѣ, а послѣ полудня ѣхалъ на конкѣ въ другую больницу, гдѣ вскрывалъ умершихъ больныхъ. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсотъ въ годъ. Вотъ и все. Что еще можно про него сказать? А между тѣмъ, Ольга Ивановна и ея друзья и добрые знакомые были не совсѣмъ обыкновенные люди. Каждый изъ нихъ былъ чѣмъ-нибудь замѣчателенъ и немножко извѣстенъ, имѣлъ уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не былъ еще знаменитъ, но зато подавалъ блестящія надежды. Артистъ изъ драматическаго театра, большой, давно признанный талантъ, изящный, умный и скромный человѣкъ и отличный чтецъ, учившій Ольгу Ивановну читать; пѣвецъ изъ оперы, добродушный толстякъ, со вздохомъ увѣрявшій

Ольгу Ивановну, что она губитъ себя: если бы она не лѣнилась и взяла себя въ руки, то изъ нея вышла бы замѣчательная пѣвица; затѣмъ, нѣсколько художниковъ и во главѣ ихъ жанристъ, анималистъ и пейзажистъ Рябовскій, очень красивый бѣлокурый молодой человѣкъ, лѣтъ 25, имѣвшій успѣхъ на выставкахъ и продавшій свою послѣднюю картину за пятьсотъ рублей; онъ поправлялъ Ольгѣ Ивановнѣ ея этюды и говорилъ, что изъ нея, быть-можетъ, выйдетъ толкъ; затѣмъ віолончелистъ, у котораго инструментъ плакалъ, и который откровенно сознавался, что изъ всѣхъ знакомыхъ ему женщинъ умѣетъ аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затѣмъ литераторъ, молодой, но уже извѣстный, писавшій повѣсти, пьесы и разсказы. Еще кто? Ну, еще Василій Васильевичъ, баринъ, помѣщикъ, дилетантъ-иллюстраторъ и виньетистъ, сильно чувствовавшій старый русскій стиль, былину и эпосъ; на бумагѣ, на фарфорѣ и на закопченыхъ тарелкахъ онъ производилъ буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компаніи, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшій о существованіи какихъ-то докторовъ только во время болѣзни, и для которой имя Дымовъ звучало такъ же безразлично, какъ Сидоровъ или Тарасовъ, — среди этой компаніи Дымовъ казался чужимъ, лишнимъ и маленькимъ, хотя былъ высокъ ростомъ и широкъ въ плечахъ. Казалось, что на немъ чужой фракъ и что у него приказчицкая бородка. Впрочемъ, если бы онъ былъ писателемъ или художникомъ, то сказали бы, что своей бородкой онъ напоминаетъ Зола.

Артистъ говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что со своими льняными волосами и въ вѣнчальномъ нарядѣ она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бываетъ покрыто нѣжными бѣлыми цвѣтами.

— Нѣтъ, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Какъ это могло вдругъ случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вамъ сказать, что отецъ служилъ вмѣстѣ съ Дымовымъ въ одной больницѣ. Когда бѣдняжка-отецъ заболѣлъ, то Дымовъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ дежурилъ около его постели. Столько самопожертвованія! Слушайте, Рябовскій... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвованія, искренняго участія! Я тоже не спала

ночи и сидѣла около отца, и вдругъ — здравствуйте, побѣдила добра молодца! Мой Дымовъ врѣзался по самыя уши. Право, судьба бываетъ такъ причудлива. Ну, послѣ смерти отца онъ иногда бывалъ у меня, встрѣчался на улицѣ и въ одинъ прекрасный вечеръ вдругъ—бацъ! сдѣлалъ предложеніе... какъ снѣгъ на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вотъ, какъ видите, стала супругой. Не правда ли, въ немъ есть что-то сильное, могучее, медвѣжье? Теперь его лицо обращено къ намъ въ три четверти, плохо освѣщено, но когда онъ обернется, вы посмотрите на его лобъ. Рябовскій, что вы скажете объ этомъ лбѣ? Дымовъ, мы о тебѣ говоримъ! — крикнула она мужу.—Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вотъ такъ. Будьте друзьями.

Дымовъ, добродушно и наивно улыбаясь, протянулъ Рябовскому руку и сказалъ:

— Очень радъ. Со мной кончилъ курсъ тоже нѣкто Рябовскій. Это не родственникъ вашъ?

II.

Ольгѣ Ивановнѣ было 22 года, Дымову 31. Зажили они послѣ свадьбы превосходно. Ольга Ивановна въ гостиной увѣшала всѣ стѣны сплошь своими и чужими этюдами въ рамахъ и безъ рамъ, а около рояля и мебели устроила красивую тѣсноту изъ китайскихъ зонтовъ, мольбертовъ, разноцвѣтныхъ тряпочекъ, кинжаловъ, бюстиковъ, фотографій... Въ столовой она оклеила стѣны лубочными картинами, повѣсила лапти и серпъ, поставила въ углу косу и грабли, и получилась столовая въ русскомъ вкусѣ. Въ спальнѣ она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолокъ и стѣны темнымъ сукномъ, повѣсила надъ кроватями венеціанскій фонарь, а у дверей поставила фигуру съ аллебардой. И всѣ находили, что у молодыхъ супруговъ очень миленькій уголокъ.

Ежедневно, вставши съ постели часовъ въ одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли, или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потомъ, въ первомъ часу, она ѣхала къ своей портнихѣ. Такъ какъ у нея и Дымова денегъ было очень немного, въ обрѣзъ, то, чтобы часто появляться въ новыхъ платьяхъ и поражать своими нарядами, ей и ея портнихѣ приходилось пускаться на

хитрости. Очень часто изъ стараго перекрашеннаго платья, изъ ничего не стоящихъ кусочковъ тюля, кружевъ, плюша и шелка выходили просто чудеса, нѣчто обворожительное, не платье, а мечта. Отъ портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ѣхала къ какой-нибудь знакомой актрисѣ, чтобы узнать театральныя новости и кстати похлопотать насчетъ билета къ первому представленію новой пьесы или къ бенефису. Отъ актрисы нужно было ѣхать въ мастерскую художника или на картинную выставку, потомъ къ кому-нибудь изъ знаменитостей—приглашать къ себѣ, или отдать визитъ, или просто поболтать. И вездѣ ее встрѣчали весело и дружелюбно и увѣряли ее, что она хорошая, милая, рѣдкая... Тѣ, которыхъ она называла знаменитыми и великими, принимали ее, какъ свою, какъ ровню, и пророчили ей въ одинъ голосъ, что при ея талантахъ, вкусѣ и умѣ, если она не разбросается, выйдетъ большой толкъ. Она пѣла, играла на рояли, писала красками, лѣпила, участвовала въ любительскихъ спектакляхъ, но все это не какъ-нибудь, а съ талантомъ; дѣлала ли она фонарики для иллюминаціи, рядилась ли, завязывала ли кому галстукъ—все у нея выходило необыкновенно художественно, граціозно и мило. Но ни въ чемъ ея талантливость не сказывалась такъ ярко, какъ въ ея умѣньи быстро знакомиться и коротко сходиться съ знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хотъ немножко и заставить о себѣ говорить, какъ она ужъ знакомилась съ нимъ, въ тотъ же день дружилась и приглашала къ себѣ. Всякое новое знакомство было для нея сущимъ праздникомъ. Она боготворила знаменитыхъ людей, гордилась ими и каждую ночь видѣла ихъ во снѣ. Она жаждала ихъ и никакъ не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смѣну имъ новые, но и къ этимъ она скоро привыкала или разочаровывалась въ нихъ и начинала жадно искать новыхъ и новыхъ великихъ людей, находила и опять искала. Для чего?

Въ пятомъ часу она обѣдала дома съ мужемъ. Его простота, здравый смыслъ и добродушіе приводили ее въ умиленіе и восторгъ. Она то и дѣло вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцѣлуями.

— Ты, Дымовъ, умный, благородный человѣкъ, — говорила она:—но у тебя есть одинъ очень важный недостатокъ.

Ты совсѣмъ не интересуешься искусствомъ. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

— Я не понимаю ихъ,—говорилъ онъ кротко.—Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мнѣ некогда было интересоваться искусствами.

— Но вѣдь это ужасно, Дымовъ!

— Почему же? Твои знакомые не знаютъ естественныхъ наукъ и медицины, однако ты не ставишь имъ этого въ упрекъ. У каждаго свое. Я не понимаю пейзажей и оперъ, но думаю такъ: если одни умные люди посвящаютъ имъ всю свою жизнь, а другіе умные люди платятъ за нихъ громадныя деньги, то, значитъ, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значитъ отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

Послѣ обѣда Ольга Ивановна ѣхала къ знакомымъ, потомъ въ театръ или на концертъ и возвращалась домой послѣ полуночи. Такъ каждый день.

По средамъ у нея бывали вечеринки. На этихъ вечеринкахъ хозяйка и гости не играли въ карты и не танцовали, а развлекали себя разными художествами. Актеръ изъ драматическаго театра читалъ, пѣвецъ пѣлъ, художники рисовали въ альбомы, которыхъ у Ольги Ивановны было множество, віолончелистъ игралъ, и сама хозяйка тоже рисовала, лѣпила, пѣла и аккомпанировала. Въ промежуткахъ между чтеніемъ, музыкой и пѣніемъ говорили и спорили о литературѣ, театрѣ и живописи. Дамъ не было, потому что Ольга Ивановна всѣхъ дамъ, кромѣ актрисъ и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась безъ того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждомъ звонкѣ и не говорила съ побѣднымъ выраженіемъ лица: «Это онъ!», разумѣя подъ словомъ «онъ» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова въ гостиной не было, и никто не вспоминалъ объ его существованіи. Но ровно въ половинѣ двѣнадцатаго отворялась дверь, ведущая въ столовую, показывался Дымовъ со своею добродушною кроткою улыбкой и говорилъ, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Всѣ шли въ столовую и всякій разъ видѣли на столѣ одно и то же: блюдо съ устрицами, кусокъ ветчины или

телятины, сардины, сыръ, икру, грибы, водку и два графина съ виномъ.

— Милый мой метръ-д'отель!—говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками отъ восторга. —Ты просто очарователенъ! Господа, посмотрите на его лобъ! Дымовъ, повернись въ профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальскаго тигра, а выраженіе доброе и милое, какъ у оленя. У, милый!

Гости ѣли и, глядя на Дымова, думали: «Въ самомъ дѣлѣ, славный малый»,—но скоро забывали о немъ и продолжали говорить о театрѣ, музыкѣ и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь ихъ текла какъ по маслу. Впрочемъ, третья недѣля ихъ медоваго мѣсяца была проведена не совсѣмъ счастливо, даже печально. Дымовъ заразился въ больницѣ рожей, пролежалъ въ постели шесть дней и долженъ былъ остричь до-гола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидѣла около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надѣла на его стриженую голову бѣленькій платокъ и стала писать съ него бедуина. И обоимъ было весело. Дня черезъ три послѣ того, какъ онъ, выздоровѣвши, сталъ опять ходить въ больницы, съ нимъ произошло новое недоразумѣніе.

— Мнѣ не везетъ, мама! — сказалъ онъ однажды за обѣдомъ.—Сегодня у меня было четыре вскрытія, и я себѣ сразу два пальца порѣзалъ. И только дома я это замѣтилъ.

Ольга Ивановна испугалась. Онъ улыбнулся и сказалъ, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытій дѣлать себѣ порѣзы на рукахъ.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь разсѣяннымъ.

Ольга Ивановна съ тревогой ожидала трупнаго зараженія и по ночамъ молилась Богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь безъ печалей и тревогъ. Настоящее было прекрасно, а на смѣну ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обѣщавшая тысячу радостей. Счастью не будетъ конца! Въ апрѣлѣ, въ маѣ и въ іюнѣ дача далеко за городомъ, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потомъ, съ іюля до самой осени, поѣздка художниковъ на Волгу и въ этой поѣздкѣ, какъ непремѣнный членъ сосьетѐ, будетъ принимать участіе и Ольга Ивановна. Она уже сшила себѣ два дорожныхъ костюма изъ холстинки, купила на дорогу красокъ, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день къ ней при-

ходилъ Рябовскій, чтобы посмотрѣть, какіе она сдѣлала успѣхи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, онъ засовывалъ руки глубоко въ карманы, крѣпко сжималъ губы, сопѣлъ и говорилъ:

— Такъ-съ... Это облако у васъ кричитъ: оно освѣщено не по-вечернему. Передній планъ какъ-то сжеванъ и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у васъ подавилась чѣмъ-то и жалобно пищитъ... надо бы уголъ этотъ потемнѣе взять. А въ общемъ недурственно... Хвалю.

И чѣмъ онъ непонятнѣе говорилъ, тѣмъ легче Ольга Ивановна его понимала.

III.

На второй день Троицы послѣ обѣда Дымовъ купилъ закусокъ и конфетъ и поѣхалъ къ женѣ на дачу. Онъ не видѣлся съ нею уже двѣ недѣли и сильно соскучился. Сидя въ вагонѣ и потомъ отыскивая въ большой рощѣ свою дачу, онъ все время чувствовалъ голодъ и утомленіе и мечталъ о томъ, какъ онъ на свободѣ поужинаетъ вмѣстѣ съ женой и потомъ завалится спать. И ему весело было смотрѣть на свой свертокъ, въ которомъ были завернуты икра, сыръ и бѣлорыбица.

Когда онъ отыскалъ свою дачу и узналъ ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нѣтъ дома и что, должно-быть, онѣ скоро придутъ. На дачѣ, очень неприглядной на видъ, съ низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и съ неровными щелистыми полами, было только три комнаты. Въ одной стояла кровать, въ другой на стульяхъ и окнахъ валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужскія пальто и шляпы, а въ третьей Дымовъ засталъ трехъ какихъ-то незнакомыхъ мужчинъ. Двое были брюнеты съ бородами, а третій совсѣмъ бритый и толстый, повидимому, — актеръ. На столѣ кипѣлъ самоваръ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ актеръ басомъ, нелюдимо оглядывая Дымова. — Вамъ Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчасъ придетъ.

Дымовъ сѣлъ и сталъ дожидаться. Одинъ изъ брюнетовъ, сонно и вяло поглядывая на него, налилъ себѣ чаю и спросилъ:

— Можетъ, чаю хотите?

Дымову хотѣлось и пить и ѣсть, но, чтобы не портить себѣ аппетита, онъ отказался отъ чая. Скоро послышались шаги и знакомый смѣхъ; хлопнула дверь, и въ комнату вбѣжала Ольга Ивановна въ широкополой шляпѣ и съ ящикомъ въ рукѣ, а вслѣдъ за нею съ большимъ зонтомъ и со складнымъ стуломъ вошелъ веселый, краснощекій Рябовскій.

— Дымовъ! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула отъ радости.—Дымовъ!—повторила она, кладя ему на грудь голову и обѣ руки. — Это ты! Отчего ты такъ долго не пріѣзжалъ? Отчего? Отчего?

— Когда же мнѣ, мама? Я всегда занятъ, а когда бываю свободенъ, то все случается такъ, что расписаніе поѣздовъ не подходитъ.

— Но какъ я рада тебя видѣть! Ты мнѣ всю, всю ночь снился, и я боялась, какъ бы ты не заболѣлъ. Ахъ, если бъ ты зналъ, какъ ты милъ, какъ ты кстати пріѣхалъ! Ты будешь моимъ спасителемъ. Ты одинъ только можешь спасти меня! Завтра будетъ здѣсь преоригинальная свадьба,—продолжала она, смѣясь и завязывая мужу галстукъ.—Женится молодой телеграфистъ на станціи, нѣкто Чикельдѣевъ. Красивый молодой человѣкъ, ну, не глупый и есть въ лицѣ, знаешь, что-то сильное, медвѣжье... Можно съ него молодого варяга писать. Мы, всѣ дачники, принимаемъ въ немъ участіе и дали ему честное слово быть у него на свадьбѣ... Человѣкъ небогатый, одинокій, робкій и, конечно, было бы грѣшно отказать ему въ участіи. Представь, послѣ обѣдни вѣнчанье, потомъ изъ церкви всѣ пѣшкомъ до квартиры невѣсты... понимаешь, роща, пѣніе птицъ, солнечныя пятна на травѣ и всѣ мы разноцвѣтными пятнами на ярко-зеленомъ фонѣ — преоригинально, во вкусѣ французскихъ экспрессіонистовъ. Но, Дымовъ, въ чемъ я пойду въ церковь?—сказала Ольга Ивановна и сдѣлала плачущее лицо.— У мень здѣсь ничего нѣтъ, буквально ничего! Ни платья, ни цвѣтовъ, ни перчатокъ... Ты долженъ меня спасти. Если пріѣхалъ, то, значитъ, сама судьба велитъ тебѣ спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поѣзжай домой и возьми тамъ въ гардеробѣ мое розовое платье. Ты его помнишь, оно виситъ первое... Потомъ въ кладовой съ правой стороны на полу ты увидишь двѣ картонки. Какъ откроешь верхнюю, такъ тамъ все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки,

а подъ ними цвѣты. Цвѣты всѣ вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, ихъ потомъ я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказалъ Дымовъ. — Я завтра поѣду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрѣла на него съ удивленіемъ.—Когда же ты успѣешь завтра? Завтра отходитъ первый поѣздъ въ 9 часовъ, а вѣнчаніе въ 11. Нѣтъ, голубчикъ, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебѣ нельзя будетъ пріѣхать, то пришли съ разсыльнымъ. Ну, иди же... Сейчасъ долженъ придти пассажирскій поѣздъ. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ахъ, какъ мнѣ жаль тебя отпустить,—сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нея на глазахъ.—И зачѣмъ я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымовъ быстро выпилъ стаканъ чаю, взялъ баранку и, кротко улыбаясь, пошелъ на станцію. А икру, сыръ и бѣлорыбицу съѣли два брюнета и толстый актеръ.

IV.

Въ тихую лунную іюльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубѣ волжскаго парохода и смотрѣла то на воду, то на красивые берега. Рядомъ съ нею стоялъ Рябовскій и говорилъ ей, что черныя тѣни на водѣ—не тѣни, а сонъ, что въ виду этой колдовской воды съ фантастическимъ блескомъ, въ виду бездоннаго неба и грустныхъ, задумчивыхъ береговъ, говорящихъ о суетѣ нашей жизни и о существованіи чего-то высшаго, вѣчнаго, блаженнаго, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминаніемъ. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная въ жизни ночь скоро кончится, сольется съ вѣчностью—зачѣмъ же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то къ голосу Рябовскаго, то къ тишинѣ ночи и думала о томъ, что она безсмертна и никогда не умретъ. Бирюзовый цвѣтъ воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черныя тѣни и безотчетная радость, наполнявшая ея душу, говорили ей, что изъ нея выйдетъ великая художница, и что гдѣ-то тамъ за далью, за лунной ночью, въ безконечномъ пространствѣ ожидаютъ ее успѣхъ, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрѣла вдаль, ей чудились

толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она въ бѣломъ платьѣ и цвѣты, которые сыпались на нее со всѣхъ сторонъ. Думала она также о томъ, что рядомъ съ нею, облокотившись о бортъ, стоитъ настоящій великій человѣкъ, геній, Божій избранникъ... Все, что онъ создалъ до сихъ поръ, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создастъ онъ со временемъ, когда съ возмужалостью окрѣпнетъ его рѣдкій талантъ, бедетъ поразительно, неизмѣримо высоко, и это видно по его лицу, по манерѣ выражаться и по его отношенію къ природѣ. О тѣняхъ, вечернихъ тонахъ, о лунномъ блескѣ онъ говоритъ какъ-то особенно, своимъ языкомъ, такъ что невольно чувствуется обаяніе его власти надъ природой. Самъ онъ очень красивъ, оригиналенъ, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейскаго, похожа на жизнь птицы.

— Становится свѣжо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовскій окуталъ ее въ свой плащъ и сказалъ печально:

— Я чувствую себя въ вашей власти. Я рабъ. Зачѣмъ вы сегодня такъ обворожительны?

Онъ все время глядѣлъ на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю васъ...—шепталъ онъ, дыша ей на щеку.—Скажите мнѣ одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормоталъ онъ въ сильномъ волненіи. — Любите меня, любите...

— Не говорите такъ,—сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.—Это страшно. А Дымовъ?

— Что Дымовъ? Почему Дымовъ? Какое мнѣ дѣло до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторгъ, а никакого нѣтъ Дымова... Ахъ, я ничего не знаю... Не нужно мнѣ прошлаго, мнѣ дайте одно мгновеніе... одинъ мигъ!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотѣла думать о мужѣ, но все ея прошлое со свадьбой, съ Дымовымъ и съ вечеринками, казалось ей маленькимъ, ничтожнымъ, тусклымъ, ненужнымъ и далекимъ-далекимъ... Въ самомъ дѣлѣ: что̀ Дымовъ? почему Дымовъ? какое ей дѣло до Дымова? Да существуетъ ли онъ въ природѣ и не сонъ ли онъ только?

«Для него, простого и обыкновеннаго человѣка, достаточно и того счастья, которое онъ уже получилъ,—думала

она, закрывая лицо руками.—Пусть осуждаютъ *тамъ*, проклинаютъ, а я вотъ на зло всѣмъ возьму и погибну, возьму вотъ и погибну... Надо испытать все въ жизни. Боже, какъ жутко и какъ хорошо!»

— Ну что? Что?—бормоталъ художникъ, обнимая ее и жадно цѣлуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его отъ себя.—Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь!—прошептала она, глядя ему въ глаза, блестящіе отъ слезъ, потомъ быстро оглянулась, обняла его и крѣпко поцѣловала въ губы.

— Къ Кинешмѣ подходимъ!—сказалъ кто-то на другой сторонѣ палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходилъ мимо человѣкъ изъ буфета.

— Послушайте,—сказала ему Ольга Ивановна, смѣясь и плача отъ счастья:—принесите намъ вина.

Художникъ, блѣдный отъ волненія, сѣлъ на скамью, посмотрѣлъ на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потомъ закрылъ глаза и сказалъ, томно улыбаясь:

— Я усталъ.

И прислонился головою къ борту.

V.

Второго сентября день былъ теплый и тихій, но пасмурный. Рано утромъ на Волгѣ бродилъ легкій туманъ, а послѣ девяти часовъ сталъ накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаемъ Рябовскій говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что живопись—самое неблагодарное и самое скучное искусство, что онъ не художникъ, что одни только дураки думаютъ, что у него есть талантъ, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, схватилъ ножъ и поцарапалъ имъ свой самый лучшій этюдъ. Послѣ чая онъ, мрачный, сидѣлъ у окна и смотрѣлъ на Волгу. А Волга уже была безъ блеска, тусклая, матовая, холодная на видъ. Все, все напоминало о приближеніи тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегахъ, алмазныя отраженія лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь съ Волги и уложила въ сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! голая!» Рябовскій слу-

шалъ ихъ карканье и думалъ о томъ, что онъ уже выдохся и потерялъ талантъ, что все на этомъ свѣтѣ условно, относительно и глупо, и что не слѣдовало бы связывать себя съ этой женщиной... Однимъ словомъ, онъ былъ не въ духѣ и хандрилъ.

Ольга Ивановна сидѣла за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то въ гостиной, то въ спальнѣ, то въ кабинетѣ мужа; воображеніе уносило ее въ театръ, къ портнихѣ и къ знаменитымъ друзьямъ. Что-то они подѣлываютъ теперь? Вспоминаютъ ли о ней? Сезонъ уже начался, и пора бы подумать о вечеринкахъ. А Дымовъ? Милый Дымовъ! Какъ кротко и дѣтски-жалобно онъ проситъ ее въ своихъ письмахъ поскорѣе ѣхать домой! Каждый мѣсяцъ онъ высылалъ ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникамъ сто рублей, то онъ прислалъ ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человѣкъ! Путешествіе утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотѣлось поскорѣе уйти отъ этихъ мужиковъ, отъ запаха рѣчной сырости и сбросить съ себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя въ крестьянскихъ избахъ и кочуя изъ села въ село. Если бы Рябовскій не далъ честнаго слова художникамъ, что онъ проживетъ съ ними здѣсь до 20-го сентября, то можно было бы уѣхать сегодня же. И какъ бы это было хорошо!

— Боже мой,—простоналъ Рябовскій:—когда же, наконецъ, будетъ солнце? Не могу же я солнечный пейзажъ продолжать безъ солнца!..

— А у тебя есть этюдъ при облачномъ небѣ,—сказала Ольга Ивановна, выходя изъ-за перегородки. — Помнишь, на правомъ планѣ лѣсъ, а на лѣвомъ — стадо коровъ и гуси. Теперь ты могъ бы его кончить.

— Э!—поморщился художникъ. — Кончить! Неужели вы думаете, что самъ я такъ глупъ, что не знаю, что мнѣ нужно дѣлать!

— Какъ ты ко мнѣ перемѣнился! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла къ печкѣ и заплакала.

— Да, недоставало только слезъ. Перестаньте! У меня тысячи причинъ плакать, однакоже, я не плачу.

— Тысячи причинъ!—всхлипнула Ольга Ивановна.—Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да!—сказала она и зарыдала. — Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не замѣтили, хотя этого скрыть нельзя, и имъ все давно уже извѣстно.

— Ольга, я объ одномъ прошу васъ, — сказалъ художникъ умоляюще и приложивъ руку къ сердцу:—объ одномъ: не мучьте меня! Больше мнѣ отъ васъ ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно!—процѣдилъ сквозь зубы художникъ и вскочилъ.—Кончится тѣмъ, что я брошусь въ Волгу или сойду съ ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня!—крикнула Ольга Ивановна.—Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крышѣ избы зашуршалъ дождь. Рябовскій схватилъ себя за голову и прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ съ рѣшительнымъ лицомъ, какъ будто желая что-то кому-то доказать, надѣлъ фуражку, перекинулъ черезъ плечо ружье и вышелъ изъ избы.

По уходѣ его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о томъ, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшійся Рябовскій засталъ ее мертвою, потомъ же она унеслась мыслями въ гостиную, въ кабинетъ мужа и вообразила, какъ она сидитъ неподвижно рядомъ съ Дымовымъ и наслаждается физическимъ покоемъ и чистотой, и какъ вечеромъ сидитъ въ театрѣ и слушаетъ Мазини. И тоска по цивилизаціи, по городскому шуму и извѣстнымъ людямъ защемила ея сердце. Въ избу вошла баба и стала не спѣша топить печь, чтобы готовить обѣдъ. Запахло гарью, и воздухъ посинѣлъ отъ дыма. Приходили художники въ высокихъ грязныхъ сапогахъ и съ мокрыми отъ дождя лицами, разсматривали этюды и говорили себѣ въ утѣшеніе, что Волга даже и въ дурную погоду имѣетъ свою прелесть. А дешевые часы на стѣнкѣ: тикъ-тикъ-тикъ... Озябшія мухи столпились въ переднемъ углу около образовъ и жужжатъ, и слышно, какъ подъ лавками въ толстыхъ папкахъ возятся прусаки...

Рябовскій вернулся домой, когда заходило солнце. Онъ бросилъ на столъ фуражку и, блѣдный, замученный, въ грязныхъ сапогахъ, опустился на лавку и закрылъ глаза.

— Я усталъ...—сказалъ онъ и задвигалъ бровями, силясь поднять вѣки.

Чтобы приласкаться къ нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла къ нему, молча поцѣловала и провела гребенкой по его бѣлокурымъ волосамъ. Ей захотѣлось причесать его.

— Что такое?—спросилъ онъ, вздрогнувъ, точно къ нему прикоснулись чѣмъ-то холоднымъ, и открылъ глаза. — Что такое? Оставьте меня въ покоѣ, прошу васъ.

Онъ отстранилъ ее руками и отошелъ, и ей показалось, что лицо его выражало отвращеніе и досаду. Въ это время баба осторожно несла ему въ обѣихъ рукахъ тарелку со щами, и Ольга Ивановна видѣла, какъ она обмочила во щахъ свои большіе пальцы. И грязная баба съ перетянутымъ животомъ, и щи, которыя сталъ жадно ѣсть Рябовскій, и изба, и вся эта жизнь, которую вначалѣ она такъ любила за простоту и художественный безпорядокъ, показались ей теперь ужасными. Она вдругъ почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Намъ нужно разстаться на нѣкоторое время, а то отъ скуки мы можемъ серьезно поссориться. Мнѣ это надоѣло. Сегодня я уѣду.

— На чемъ? На палочкѣ верхомъ?

— Сегодня четвергъ, значитъ, въ половинѣ десятаго придетъ пароходъ.

— А? Да, да... Ну, что жъ, поѣзжай... — сказалъ мягко Рябовскій, утираясь вмѣсто салфетки полотенцемъ. — Тебѣ здѣсь скучно и дѣлать нечего, и надо быть большимъ эгоистомъ, чтобы удерживать тебя. Поѣзжай, а послѣ двадцатаго увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нея разгорѣлись отъ удовольствія. Неужели это правда,— спрашивала она себя: — что скоро она будетъ писать въ гостиной, а спать въ спальнѣ и обѣдать со скатертью? У нея отлегло отъ сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебѣ, Рябуша, — говорила она. — Что останется, привезешь... Смотри же, безъ меня

тутъ не лѣнись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

Въ десять часовъ Рябовскій, на прощанье, поцѣловалъ ее для того, какъ она думала, чтобы не цѣловать на пароходѣ при художникахъ, и проводилъ на пристань. Подошелъ скоро пароходъ и увезъ ее.

Пріѣхала она домой черезъ двое съ половиной сутокъ. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша отъ волненія, она прошла въ гостиную, а оттуда въ столовую. Дымовъ безъ сюртука, въ разстегнутой жилеткѣ сидѣлъ за столомъ и точилъ ножъ о вилку; передъ нимъ на тарелкѣ лежалъ рябчикъ. Когда Ольга Ивановна входила въ квартиру, она была убѣждена, что необходимо скрыть все отъ мужа и что на это хватитъ у нея умѣнья и силы, но теперь, когда она увидѣла широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящіе радостные глаза, она почувствовала, что скрывать отъ этого человѣка такъ же подло, отвратительно и такъ же невозможно и не подъ силу ей, какъ оклеветать, украсть или убить, и она въ одно мгновеніе рѣшила разсказать ему все, что было. Давши ему поцѣловать себя и обнять, она опустилась передъ нимъ на колѣни и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросилъ онъ нѣжно. — Соскучилась?

Она подняла лицо, красное отъ стыда, и поглядѣла на него виновато и умоляюще, но страхъ и стыдъ помѣшали ей говорить правду.

— Ничего...—сказала она.—Это я такъ...

— Сядемъ, — сказалъ онъ, поднимая ее и усаживая за столъ. — Вотъ такъ... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бѣдняжка.

Она жадно вдыхала въ себя родной воздухъ и ѣла рябчика, а онъ съ умиленіемъ глядѣлъ на нее и радостно смѣялся.

VI.

Повидимому, съ середины зимы Дымовъ сталъ догадываться, что его обманываютъ. Онъ, какъ будто у него была совѣсть нечиста, не могъ уже смотрѣть женѣ прямо въ глаза, не улыбался радостно при встрѣчѣ съ нею и, чтобы меньше оставаться съ нею наединѣ, часто приводилъ къ

себѣ обѣдать своего товарища, Коростелева, маленькаго стриженаго человѣчка съ помятымъ лицомъ, который, когда разговаривалъ съ Ольгой Ивановной, то отъ смущенія разстегивалъ всѣ пуговицы своего пиджака и опять ихъ застегивалъ и потомъ начиналъ правой рукой щипать свой лѣвый усъ. За обѣдомъ оба доктора говорили о томъ, что при высокомъ стояніи діафрагмы иногда бываютъ перебои сердца, или что множественные невриты въ послѣднее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымовъ, вскрывши трупъ съ діагностикой «злокачественная анемія», нашелъ ракъ поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинскій разговоръ только для того, чтобы дать Ольгѣ Ивановнѣ возможность молчать, т. е. не лгать. Послѣ обѣда Коростелевъ садился за рояль, а Дымовъ вздыхалъ и говорилъ ему:

— Эхъ, братъ! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Поднявъ плечи и широко разставивъ пальцы, Коростелевъ бралъ нѣсколько аккордовъ и начиналъ пѣть теноромъ «Укажи мнѣ такую обитель, гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ», а Дымовъ еще разъ вздыхалъ, подпиралъ голову кулакомъ и задумывался.

Въ послѣднее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась въ самомъ дурномъ настроеніи и съ мыслью, что она Рябовскаго уже не любитъ и что, слава Богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовскій отнялъ у нея мужа и что теперь она осталась безъ мужа и безъ Рябовскаго; потомъ она вспомнила разговоры своихъ знакомыхъ о томъ, что Рябовскій готовитъ къ выставкѣ нѣчто поразительное, смѣсь пейзажа съ жанромъ, во вкусѣ Полѣнова, отчего всѣ, кто бываетъ въ его мастерской, приходятъ въ восторгъ; но вѣдь это, думала она, онъ создалъ подъ ея вліяніемъ и вообще, благодаря ея вліянію, онъ сильно измѣнился къ лучшему. Вліяніе ея такъ благотворно и существенно, что, если она оставитъ его, то онъ, пожалуй, можетъ погибнуть. И вспомнила она также, что въ послѣдній разъ онъ приходилъ къ ней въ какомъ-то сѣромъ сюртучкѣ съ искрами и въ новомъ галстукѣ и спрашивалъ томно: «Я красивъ?» И въ самомъ дѣлѣ, онъ, изящный, со своими длинными кудрями и съ голубыми глазами, былъ

очень красивъ (или, можетъ-быть, такъ показалось) и былъ ласковъ съ ней.

Вспомнивъ про многое и сообразивъ, Ольга Ивановна одѣвалась и въ сильномъ волненіи ѣхала въ мастерскую къ Рябовскому. Она заставала его веселымъ и восхищеннымъ своею, въ самомъ дѣлѣ, великолѣпною картиной; онъ прыгалъ, дурачился и на серьезные вопросы отвѣчалъ шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовскаго къ картинѣ и ненавидѣла ее, но изъ вѣжливости простаивала передъ картиной молча минутъ пять и, вздохнувъ, какъ вздыхаютъ передъ святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писалъ еще ничего подобнаго. Знаешь, даже страшно.

Потомъ она начинала умолять его, чтобы онъ любилъ ее, не бросалъ, чтобы пожалѣлъ ее бѣдную и несчастную. Она плакала, цѣловала ему руки, требовала, чтобы онъ клялся ей въ любви, доказывала ему, что безъ ея хорошаго вліянія онъ собьется съ пути и погибнетъ. И, испортивъ ему хорошее настроеніе духа и чувствуя себя униженной, она уѣзжала къ портнихѣ или къ знакомой актрисѣ похлопотать насчетъ билета.

Если она не заставала его въ мастерской, то оставляла ему письмо, въ которомъ клялась, что, если онъ сегодня не придетъ къ ней, то она непремѣнно отравится. Онъ трусилъ, приходилъ къ ней и оставался обѣдать. Не стѣсняясь присутствіемъ мужа, онъ говорилъ ей дерзости, она отвѣчала ему тѣмъ же. Оба чувствовали, что они связываютъ другъ друга, что они деспоты и враги, и злились, и отъ злости не замѣчали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелевъ понимаетъ все. Послѣ обѣда Рябовскій спѣшилъ проститься и уйти.

— Куда вы идете?—спрашивала его Ольга Ивановна въ передней, глядя на него съ ненавистью.

Онъ, морщясь и щуря глаза, называлъ какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это онъ смѣется надъ ея ревностью и хочетъ досадить ей. Она шла къ себѣ въ спальню и ложилась въ постель; отъ ревности, досады, чувства униженія и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымовъ оставлялъ Коростелева въ гостиной, шелъ въ спальню и, сконфуженной, растерянный, говорилъ тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачѣмъ? Надо молчать объ этомъ... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, какъ усмирить въ себѣ тяжелую ревность, отъ которой даже въ вискахъ ломило, и думая, что еще можно поправить дѣло, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летѣла къ знакомой дамѣ. Не заставъ у нея Рябовскаго, она ѣхала къ другой, потомъ къ третьей... Сначала ей было стыдно такъ ѣздить, но потомъ она привыкла, и случалось, что въ одинъ вечеръ она объѣзжала всѣхъ знакомыхъ женщинъ, чтобы отыскать Рябовскаго, и всѣ понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушіемъ!

Эта фраза ей такъ понравилась, что, встрѣчаясь съ художниками, которые знали объ ея романѣ съ Рябовскимъ, она всякій разъ говорила про мужа, дѣлая энергическій жестъ рукой:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушіемъ!

Порядокъ жизни былъ такой же, какъ въ прошломъ году. По средамъ бывали вечеринки. Артистъ читалъ, художники рисовали, віолончелистъ игралъ, пѣвецъ пѣлъ, и неизмѣнно въ половинѣ двѣнадцатаго открывалась дверь, ведущая въ столовую, и Дымовъ, улыбаясь, говорилъ:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Попрежнему Ольга Ивановна искала великихъ людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. Попрежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымовъ уже не спалъ, какъ въ прошломъ году, а сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и что-то работалъ. Ложился онъ часа въ три, а вставалъ въ восемь.

Однажды вечеромъ, когда она, собираясь въ театръ, стояла передъ трюмо, въ спальню вошелъ Дымовъ во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ. Онъ кротко улыбался и, какъ прежде, радостно смотрѣлъ женѣ прямо въ глаза. Лицо его сіяло.

— Я сейчасъ диссертацію защищалъ,—сказалъ онъ, садясь и поглаживая колѣна.

— Защитилъ?—спросила Ольга Ивановна.

— Ого!—засмѣялся онъ и вытянулъ шею, чтобы увидѣть въ зеркалѣ лицо жены, которая продолжала стоять къ нему спиной и поправлять прическу.—Ого!—повторилъ онъ.—

Знаешь, очень возможно, что мнѣ предложатъ приватъ-доцентуру по общей паталогіи. Этимъ пахнетъ.

Видно было по его блаженному, сіяющему лицу, что, если бы Ольга Ивановна раздѣлила съ нимъ его радость и торжество, то онъ простилъ бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забылъ, но она не понимала, что̀ значитъ приватъ-доцентура и общая патологія, къ тому же боялась опоздать въ театръ и ничего не сказала.

Онъ посидѣлъ двѣ минуты, виновато улыбнулся и вышелъ.

VII.

Это былъ безпокойнѣйшій день.

У Дымова сильно болѣла голова; онъ утромъ не пилъ чаю, не пошелъ въ больницу и все время лежалъ у себя въ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ. Ольга Ивановна, по обыкновенію, въ первомъ часу отправилась къ Рябовскому, чтобы показать ему свой этюдъ nature morte и спросить его, почему онъ вчера не приходилъ. Этюдъ казался ей ничтожнымъ, и написала она его только затѣмъ, чтобы имѣть лишній предлогъ сходить къ художнику.

Она вошла къ нему безъ звонка, и когда въ передней снимала калоши, ей послышалось, какъ будто въ мастерской что-то тихо пробѣжало, по-женски шурша платьемъ, и когда она поспѣшила заглянуть въ мастерскую, то увидѣла только кусокъ коричневой юбки, который мелькнулъ на мгновеніе и исчезъ за большою картиной, занавѣшенной вмѣстѣ съ мольбертомъ до пола чернымъ каленкоромъ. Сомнѣваться нельзя было, это пряталась женщина. Какъ часто сама Ольга Ивановна находила себѣ убѣжище за этой картиной! Рябовскій, повидимому, очень смущенный, какъ бы удивился ея приходу, протянулъ къ ней обѣ руки и сказалъ, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень радъ васъ видѣть. Что скажете хорошенькаго?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за милліонъ не согласилась бы говорить въ присутствіи посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вѣроятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вамъ этюдъ... — сказала она робко, тонкимъ голоскомъ, и губы ея задрожали:—nature morte.

— А-а-а... этюдъ?

Художникъ взялъ въ руки этюдъ и, разсматривая его, какъ бы машинально прошелъ въ другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за нимъ.

— Nature morte... первый сортъ,—бормоталъ онъ, подбирая риѳму:—курортъ... чортъ... портъ...

Изъ мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значитъ, *она* ушла. Ольгѣ Ивановнѣ хотѣлось громко крикнуть, ударить художника по головѣ чѣмъ-нибудь тяжелымъ и уйти, но она ничего не видѣла сквозь слезы, была подавлена своимъ стыдомъ и чувствовала себя ужъ не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я усталъ...—томно проговорилъ художникъ, глядя на этюдъ и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюдъ, и въ прошломъ году этюдъ, и черезъ мѣсяцъ будетъ этюдъ... Какъ вамъ не наскучитъ? Я бы на вашемъ мѣстѣ бросилъ живопись и занялся серьезно музыкой или чѣмъ-нибудь. Вѣдь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, какъ я усталъ! Я сейчасъ скажу, чтобъ дали чаю... А?

Онъ вышелъ изъ комнаты, и Ольга Ивановна слышала, какъ онъ что-то приказывалъ своему лакею. Чтобъ не прощаться, не объясняться, а главное не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовскій, поскорѣе побѣжала въ переднюю, надѣла калоши и вышла на улицу. Тутъ она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и отъ Рябовскаго, и отъ живописи, и отъ тяжелаго стыда, который такъ давилъ ее въ мастерской! Все кончено!

Она поѣхала къ портнихѣ, потомъ къ Барнаю, который только вчера пріѣхалъ, отъ Барная—въ нотный магазинъ, и все время она думала о томъ, какъ она напишетъ Рябовскому холодное, жесткое, полное собственнаго достоинства письмо, и какъ весною или лѣтомъ она поѣдетъ съ Дымовымъ въ Крымъ, освободится тамъ окончательно отъ прошлаго и начнетъ новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечеромъ, она, не переодѣваясь, сѣла въ гостиной сочинять письмо. Рябовскій сказалъ ей, что она не художница, и она въ отместку напишетъ ему теперь, что онъ каждый годъ пишетъ все одно и то же и каждый день говоритъ одно и то же, что онъ застылъ, и

что изъ него не выйдетъ ничего, кромѣ того, что уже вышло. Ей хотѣлось написать также, что онъ многимъ обязанъ ея хорошему вліянію, а если онъ поступаетъ дурно, то это только потому, что ея вліяніе парализуется разными двусмысленными особами, въ родѣ той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвалъ изъ кабинета Дымовъ, не отворяя двери.—Мама!

— Что тебѣ?

— Мама, ты не входи ко мнѣ, а только подойди къ двери.—Вотъ что... Третьяго дня я заразился въ больницѣ дифтеритомъ и теперь... мнѣ не хорошо. Пошли скорѣе за Коростелевымъ.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, какъ всѣхъ знакомыхъ мужчинъ, не по имени, а по фамиліи; его имя Осипъ не нравилось ей, потому что напоминало гоголевскаго Осипа и каламбуръ: «Осипъ охрипъ, а Архипъ осипъ». Теперь же она вскрикнула:

— Осипъ, это не можетъ быть!

— Пошли! Мнѣ не хорошо... — сказалъ за дверью Дымовъ, и слышно было, какъ онъ подошелъ къ дивану и легъ.—Пошли!—глухо послышался его голосъ.

«Что же это такое?—подумала Ольга Ивановна, холодѣя отъ ужаса.—Вѣдь это опасно!»

Безъ всякой надобности она взяла свѣчу и пошла къ себѣ въ спальню и тутъ, соображая, что ей нужно дѣлать, нечаянно поглядѣла на себя въ трюмо. Съ блѣднымъ, испуганнымъ лицомъ, въ жакетѣ съ высокими рукавами, съ желтыми воланами на груди и съ необыкновеннымъ направленіемъ полосъ на юбкѣ, она показалась себѣ страшной и гадкой. Ей вдругъ стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви къ ней, его молодой жизни и даже этой его осиротѣлой постели, на которой онъ давно уже не спалъ, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII.

Когда въ восьмомъ часу утра Ольга Ивановна, съ тяжелой отъ безсонницы головой, непричесанная, некрасивая и съ виноватымъ выраженіемъ вышла изъ спальни, мимо

нея прошелъ въ переднюю какой-то господинъ съ черною бородой, повидимому, докторъ. Пахло лѣкарствами. Около двери въ кабинетъ стоялъ Коростелевъ и правою рукой крутилъ лѣвый усъ.

— Къ нему, извините, я васъ не пущу, — угрюмо сказалъ онъ Ольгѣ Ивановнѣ.—Заразиться можно. Да и не къ чему вамъ, въ сущности. Онъ все равно въ бреду.

— У него настоящій дифтеритъ? — спросила шопотомъ Ольга Ивановна.

— Тѣхъ, кто на рожонъ лѣзетъ, по-настоящему подъ судъ отдавать надо,—пробормоталъ Коростелевъ, не отвѣчая на вопросъ Ольги Ивановны.—Знаете, отчего онъ заразился? Во вторникъ у мальчика высасывалъ черезъ трубочку дифтеритныя пленки. А къ чему? Глупо... Такъ, сдуру...

— Опасно? Очень?—спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорятъ, что форма тяжелая. Надо бы за Шрекомъ послать, въ сущности.

Приходилъ маленькій, рыженькій, съ длиннымъ носомъ и съ еврейскимъ акцентомъ, потомъ высокій, сутулый, лохматый, похожій на протодьякона; потомъ молодой, очень полный съ краснымъ лицомъ и въ очкахъ. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелевъ, отдежуривъ свое время, не уходилъ домой, а оставался, и какъ тѣнь, бродилъ по всѣмъ комнатамъ. Горничная подавала дежурившимъ докторамъ чай и часто бѣгала въ аптеку, и некому было убрать комнатъ. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидѣла у себя въ спальнѣ и думала о томъ, что это Богъ ее наказываетъ за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, безхарактерное, слабое отъ излишней доброты, глухо страдало гдѣ-то тамъ у себя на диванѣ и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы въ бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноватъ тутъ не одинъ только дифтеритъ. Спросили бы они Коростелева: онъ знаетъ все и не даромъ на жену своего друга смотритъ такими глазами, какъ будто она-то и есть самая главная, настоящая злодѣйка, а дифтеритъ только ея сообщникъ. Она уже не помнила ни луннаго вечера на Волгѣ, ни объясненій въ любви, ни поэтической жизни въ избѣ, а помнила только, что она изъ пустой прихоти, изъ баловства, вся, съ руками и ногами, выма-

залась во что-то грязное, липкое, отъ чего никогда ужъ не отмоешься...

«Ахъ, какъ я страшно солгала!—думала она, вспоминая о безпокойной любви, какая у нея была съ Рябовскимъ.— Будь оно все проклято!..»

Въ четыре часа она обѣдала вмѣстѣ съ Коростелевымъ. Онъ ничего не ѣлъ, пилъ только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ѣла. То она мысленно молилась и давала обѣтъ Богу, что если Дымовъ выздоровѣетъ, то она полюбитъ его опять и будетъ вѣрною женой. То, забывшись на минуту, она смотрѣла на Коростелева и думала: «Неужели нескучно быть простымъ, ничѣмъ не замѣчательнымъ, неизвѣстнымъ человѣкомъ, да еще съ такимъ помятымъ лицомъ и съ дурными манерами?» То ей казалось, что ее сію минуту убьетъ Богъ за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была въ кабинетѣ у мужа. А въ общемъ было тупое унылое чувство и увѣренность, что жизнь уже испорчена и что ничѣмъ ея не исправишь...

Послѣ обѣда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла въ гостиную, Коростелевъ спалъ на кушеткѣ, подложивъ подъ голову шелковую подушку, шитую золотомъ. «Кхи-пуа...—храпѣлъ онъ:—кхи-пуа».

И доктора, приходившіе дежурить и уходившіе, не замѣчали этого безпорядка. То, что чужой человѣкъ спалъ въ гостиной и храпѣлъ, и этюды на стѣнахъ, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одѣта — все это не возбуждало теперь ни малѣйшаго интереса. Одинъ изъ докторовъ нечаянно чему-то засмѣялся, и какъ-то странно и робко прозвучалъ этотъ смѣхъ, даже жутко сдѣлалось.

Когда Ольга Ивановна въ другой разъ вышла въ гостиную, Коростелевъ уже не спалъ, а сидѣлъ и курилъ.

— У него дифтеритъ носовой полости, — сказалъ онъ вполголоса.—Уже и сердце не важно работаетъ. Въ сущности, плохи дѣла.

— А вы пошлите за Шрекомъ,—сказала Ольга Ивановна.

— Былъ уже. Онъ-то и замѣтилъ, что дифтеритъ перешелъ въ носъ. Э, да что Шрекъ! Въ сущности ничего Шрекъ. Онъ Шрекъ, я Коростелевъ—и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одѣтая въ неубранной съ утра постели и дремала. Ей чу-

дилось, что вся квартира отъ полу до потолка занята громаднымъ кускомъ желѣза, и что стоитъ только вынести вонъ желѣзо, какъ всѣмъ станетъ весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не желѣзо, а болѣзнь Дымова.

«Nature morte, портъ... — думала она, опять впадая въ забытье:—спортъ... курортъ... А какъ Шрекъ? Шрекъ, грекъ, врекъ... крекъ. А гдѣ-то теперь мои друзья? Знаютъ ли они, что у насъ горе? Господи, спаси... избави. Шрекъ, грекъ...»

И опять желѣзо... Время тянулось длинно, а часы въ нижнемъ этажѣ били часто. И то и дѣло слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная съ пустымъ стаканомъ на подносѣ и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получивъ отвѣта, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волгѣ, и опять кто-то вошелъ въ спальню, кажется, посторонній. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который часъ?—спросила она.

— Около трехъ.

— Ну что?

— Да что! Я пришелъ сказать: кончается...

Онъ всхлипнулъ, сѣлъ на кровать рядомъ съ ней и вытеръ слезы рукавомъ. Она сразу не поняла, но вся похолодѣла и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторилъ онъ тонкимъ голоскомъ и опять всхлипнулъ. — Умираетъ, потому что пожертвовалъ собой... Какая потеря для науки!—сказалъ онъ съ горечью.— Это, если всѣхъ насъ сравнить съ нимъ, былъ великій, необыкновенный человѣкъ! Какія дарованія! Какія надежды онъ подавалъ намъ всѣмъ! — продолжалъ Коростелевъ, ломая руки.—Господи Боже мой, это былъ бы такой ученый, какого теперь съ огнемъ не найдешь. Оська Дымовъ, Оська Дымовъ, что ты надѣлалъ! Ай-ай, Боже мой!

Коростелевъ въ отчаяніи закрылъ обѣими руками лицо и покачалъ головой.

— А какая нравственная сила! — продолжалъ онъ, все больше и больше озлобляясь на кого-то.—Добрая, чистая, любящая душа—не человѣкъ, а стекло! Служилъ наукѣ и умеръ отъ науки. А работалъ, какъ волъ, день и ночь, никто его не щадилъ, и молодой ученый, будущій профессоръ, долженъ былъ искать себѣ практику и по ночамъ за-

ниматься переводами, чтобы платить вотъ за эти... подлыя тряпки!

Коростелевъ поглядѣлъ съ ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обѣими руками и сердито рванулъ, какъ будто она была виновата.

— И самъ себя не щадилъ, и его не щадили. Э, да что, въ сущности!

— Да, рѣдкій человѣкъ!—сказалъ кто-то басомъ въ гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь съ нимъ, отъ начала до конца, со всѣми подробностями, и вдругъ поняла, что это былъ въ самомъ дѣлѣ необыкновенный, рѣдкій и, въ сравненіи съ тѣми, кого она знала, великій человѣкъ. И вспомнивъ, какъ къ нему относились ея покойный отецъ и всѣ товарищи-врачи, она поняла, что всѣ они видѣли въ немъ будущую знаменитость. Стѣны, потолокъ, лампа и коверъ на полу замигали ей насмѣшливо, какъ бы желая сказать: «Прозѣвала! Прозѣвала!» Она съ плачемъ бросилась изъ спальни, шмыгнула въ гостиной мимо какого-то незнакомаго человѣка и вбѣжала въ кабинетъ къ мужу. Онъ лежалъ неподвижно на турецкомъ диванѣ, покрытый до пояса одѣяломъ. Лицо его страшно осунулось, похудѣло и имѣло сѣровато-желтый цвѣтъ, какого никогда не бываетъ у живыхъ; и только по лбу, по чернымъ бровямъ, да по знакомой улыбкѣ можно было узнать, что это Дымовъ. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лобъ и руки. Грудь еще была тепла, но лобъ и руки были непріятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрѣли не на Ольгу Ивановну, а на одѣяло.

— Дымовъ!—позвала она громко.—Дымовъ!

Она хотѣла объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще можетъ быть прекрасной и счастливой, что онъ рѣдкій, необыкновенный, великій человѣкъ, и что она будетъ всю жизнь благоговѣть предъ нимъ, молиться и испытывать священный страхъ...

— Дымовъ!—звала она его, трепля его за плечо и не вѣря тому, что онъ уже никогда не проснется.—Дымовъ, Дымовъ же!

А въ гостиной Коростелевъ говорилъ горничной:

— Да что тутъ спрашивать? Вы ступайте въ церковную сторожку и спросите, гдѣ живутъ богадѣлки. Онѣ и обмоютъ тѣло и уберутъ—все сдѣлаютъ, что нужно.

ЧЕРНЫЙ МОНАХЪ.

I.

Андрей Васильевичъ Ковринъ, магистръ, утомился и разстроилъ себѣ нервы. Онъ не лѣчился, но какъ-то вскользь, за бутылкой вина, поговорилъ съ пріятелемъ докторомъ, и тотъ посовѣтовалъ ему провести весну и лѣто въ деревнѣ. Кстати же пришло длинное письмо отъ Тани Песоцкой, которая просила его пріѣхать въ Борисовку и погостить. И онъ рѣшилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ нужно проѣхаться.

Сначала — это было въ апрѣлѣ — онъ поѣхалъ къ себѣ, въ свою родовую Ковринку, и здѣсь прожилъ въ уединеніи три недѣли; потомъ дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадяхъ къ своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, извѣстному въ Россіи садоводу. Отъ Ковринки до Борисовки, гдѣ жили Песоцкіе, считалось не больше семидесяти верстъ, и ѣхать по мягкой весенней дорогѣ въ покойной рессорной коляскѣ было истиннымъ наслажденіемъ.

Домъ у Песоцкаго былъ громадный, съ колоннами, со львами, на которыхъ облупилась штукатурка, и съ фрачнымъ лакеемъ у подъѣзда. Старинный паркъ, угрюмый и строгій, разбитый на англійскій манеръ, тянулся чуть ли не на цѣлую версту отъ дома до рѣки и здѣсь оканчивался обрывистымъ, крутымъ глинистымъ берегомъ, на которомъ росли сосны съ обнажившимися корнями, похожими на мохнатыя лапы; внизу нелюдимо блестѣла вода, носились съ жалобнымъ пискомъ кулики, и всегда тутъ было

такое настроеніе, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самаго дома, во дворѣ и въ фруктовомъ саду, который вмѣстѣ съ питомниками занималъ десятинъ тридцать, было весело и жизнерадостно даже въ дурную погоду. Такихъ удивительныхъ розъ, лилій, камелій, такихъ тюльпановъ всевозможныхъ цвѣтовъ, начиная съ ярко-бѣлаго и кончая чернымъ какъ сажа, вообще такого богатства цвѣтовъ, какъ у Песоцкаго, Коврину не случалось видѣть нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. Весна была еще только въ началѣ, и самая настоящая роскошь цвѣтниковъ пряталась еще въ теплицахъ, но ужъ и того, что цвѣло вдоль аллей и тамъ и сямъ на клумбахъ, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя въ царствѣ нѣжныхъ красокъ, особенно въ ранніе часы, когда на каждомъ лепесткѣ сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что самъ Песоцкій презрительно обзывалъ пустяками, производило на Коврина когда-то въ дѣтствѣ сказочное впечатлѣніе. Какихъ только тутъ не было причудъ, изысканныхъ уродствъ и издѣвательствъ надъ природой! Тутъ были шпалеры изъ фруктовыхъ деревьевъ, груша, имѣвшая форму пирамидальнаго тополя, шаровидные дубы и липы, зонтъ изъ яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 изъ сливъ— цифра, означавшая годъ, когда Песоцкій впервые занялся садоводствомъ. Попадались тутъ и красивыя стройныя деревца съ прямыми и крѣпкими, какъ у пальмъ, стволами, и, только пристально всмотрѣвшись, можно было узнать въ этихъ деревцахъ крыжовникъ или смородину. Но что больше всего веселило въ саду и придавало ему оживленный видъ, такъ это постоянное движеніе. Отъ ранняго утра до вечера около деревьевъ, кустовъ, на аллеяхъ и клумбахъ, какъ муравьи, копошились люди съ тачками, мотыками, лейками...

Коврин пріѣхалъ къ Песоцкимъ вечеромъ, въ десятомъ часу. Таню и ея отца, Егора Семеныча, онъ засталъ въ большой тревогѣ. Ясное, звѣздное небо и термометръ пророчили морозъ къ утру, а между тѣмъ, садовникъ Иванъ Карлычъ уѣхалъ въ городъ, и положиться было не на кого. За ужиномъ говорили только объ утренникѣ и было рѣшено, что Таня не ляжетъ спать и въ первомъ часу пройдется по саду и посмотритъ, все ли въ порядкѣ, а Егоръ Семенычъ встанетъ въ три часа и даже раньше.

Коврин просидѣлъ съ Таней весь вечеръ и послѣ полуночи отправился съ ней въ садъ. Было холодно. Во дворѣ уже сильно пахло гарью. Въ большомъ фруктовомъ саду, который назывался коммерческимъ и приносилъ Егору Семенычу ежегодно нѣсколько тысячъ чистаго дохода, стлался по землѣ черный, густой, ѣдкій дымъ и, обволакивая деревья, спасалъ отъ мороза эти тысячи. Деревья тутъ стояли въ шашечномъ порядкѣ, ряды ихъ были прямы и правильны, точно шеренги солдатъ, и эта строгая педантическая правильность и то, что всѣ деревья были одного роста и имѣли совершенно одинаковые кроны и стволы, дѣлали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядамъ, гдѣ тлѣли костры изъ навоза, соломы и всякихъ отбросовъ, и изрѣдка имъ встрѣчались работники, которые бродили въ дыму, какъ тѣни. Цвѣли только вишни, сливы и нѣкоторые сорта яблонь, но весь садъ утопалъ въ дыму, и только около питомниковъ Коврин вздохнулъ полной грудью.

— Я еще въ дѣтствѣ чихалъ здѣсь отъ дыма,—сказалъ онъ, пожимая плечами: — но до сихъ поръ не понимаю, какъ это дымъ можетъ спасти отъ мороза.

— Дымъ замѣняетъ облака, когда ихъ нѣтъ...—отвѣтила Таня.

— А для чего нужны облака?

— Въ пасмурную и облачную погоду не бываетъ утренниковъ.

— Вотъ какъ!

Онъ засмѣялся и взялъ ее за руку. Ея широкое, очень серьезное, озябшее лицо съ тонкими черными бровями, поднятый воротникъ пальто, мѣшавшій ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, въ подобранномъ отъ росы платьѣ, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая!—сказалъ онъ.—Когда я уѣзжалъ отсюда въ послѣдній разъ, пять лѣтъ назадъ, вы были еще совсѣмъ дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнилъ васъ цаплей... Что дѣлаетъ время!

— Да, пять лѣтъ!—вздохнула Таня.—Много воды утекло съ тѣхъ поръ. Скажите, Андрюша, по совѣсти,—живо заговорила она, глядя ему въ лицо:—вы отвыкли отъ насъ? Впрочемъ, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже

своею, интересною жизнью, вы величина... Отчужденіе такъ естественно! Но какъ бы ни было, Андрюша, мнѣ хочется, чтобы вы считали насъ своими. Мы имѣемъ на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у насъ такъ много вашихъ фотографій. Вѣдь вы знаете, мой отецъ обожаетъ васъ. Иногда мнѣ кажется, что васъ онъ любитъ больше, чѣмъ меня. Онъ гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человѣкъ, вы сдѣлали себѣ блестящую карьеру, и онъ увѣренъ, что вы вышли такой оттого, что онъ воспиталъ васъ. Я не мѣшаю ему такъ думать. Пусть.

Уже начинался разсвѣтъ, и это особенно было замѣтно по той отчетливости, съ какою стали выдѣляться въ воздухѣ клубы дыма и кроны деревьевъ. Пѣли соловьи, и съ полей доносился крикъ перепеловъ.

— Однако, пора спать,—сказала Таня.—Да и холодно.— Она взяла его подъ руку. — Спасибо, Андрюша, что пріѣхали. У насъ неинтересные знакомые, да и тѣхъ мало. У насъ только садъ, садъ, садъ,—и больше ничего. Штамбъ, полуштамбъ,—засмѣялась она:—апортъ, ранетъ, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла въ садъ, мнѣ даже ничего никогда не снится, кромѣ яблонь и грушъ. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразія. Я помню, когда вы бывало пріѣзжали къ намъ на каникулы или просто такъ, то въ домѣ становилось какъ-то свѣжѣе и свѣтлѣе, точно съ люстры и съ мебели чехлы снимали. Я была тогда дѣвочкой и все-таки понимала.

Она говорила долго и съ большимъ чувствомъ. Ему почему-то вдругъ пришло въ голову, что въ теченіе лѣта онъ можетъ привязаться къ этому маленькому, слабому, многорѣчивому существу, увлечься и влюбиться,—въ положеніи ихъ обоихъ это такъ возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмѣшила его; онъ нагнулся къ милому, озабоченному лицу и запѣлъ тихо:

Онѣгинъ, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егоръ Семенычъ уже всталъ. Ков-

рину не хотѣлось спать, онъ разговорился со старикомъ и вернулся съ нимъ въ садъ. Егоръ Семенычъ былъ высокаго роста, широкъ въ плечахъ, съ большимъ животомъ и страдалъ одышкой, но всегда ходилъ такъ быстро, что за нимъ трудно было поспѣть. Видъ онъ имѣлъ крайне озабоченный, все куда-то торопился и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто опоздай онъ хоть на одну минуту, то все погибло!

— Вотъ, братъ, исторія...—началъ онъ, останавливаясь, чтобы перевести духъ. — На поверхности земли, какъ видишь, морозъ, а подними на палкѣ термометръ сажени на двѣ повыше земли, тамъ тепло... Отчего это такъ?

— Право, не знаю, — сказалъ Ковринъ и засмѣялся.

— Гм... Всего знать нельзя, конечно... Какъ бы обширенъ умъ ни былъ, всего туда не помѣстишь. Ты вѣдь все больше насчетъ философіи?

— Да. Читаю психологію, занимаюсь же вообще философіей.

— И не прискучаетъ?

— Напротивъ, этимъ только я и живу.

— Ну, дай Богъ... — проговорилъ Егоръ Семенычъ, въ раздумьѣ поглаживая свои сѣдые бакены. — Дай Богъ... Я за тебя очень радъ... радъ, братецъ...

Но вдругъ онъ прислушался и, сдѣлавши страшное лицо, побѣжалъ въ сторону и скоро исчезъ за деревьями, въ облакахъ дыма.

— Кто это привязалъ лошадь къ яблонѣ?—послышался его отчаянный, душу раздирающій крикъ.—Какой это мерзавецъ и каналья осмѣлился привязать лошадь къ яблонѣ? Боже мой, Боже мой! Перепортили, перемерзили, перескверниля, перепакостили! Пропалъ садъ! Погибъ садъ! Боже мой!

Когда онъ вернулся къ Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну, что ты подѣлаешь съ этимъ анаѳемскимъ народомъ? — сказалъ онъ плачущимъ голосомъ, разводя руками. — Степка возилъ ночью навозъ и привязалъ лошадь къ яблонѣ! Замоталъ, подлецъ, вожжищи туго-натуго, такъ что кора въ трехъ мѣстахъ потерлась. Каково! Говорю ему, а онъ—толкачъ толкачомъ и только глазами хлопаетъ! Повѣсить мало!

Успокоившись, онъ обнялъ Коврина и поцѣловалъ въ щеку.

— Ну, дай Богъ... дай Богъ... — забормоталъ онъ. — Я очень радъ, что ты пріѣхалъ. Несказанно радъ... Спасибо.

Потомъ онъ все тою же быстрою походкой и съ озабоченнымъ лицомъ обошелъ весь садъ и показалъ своему бывшему воспитаннику всѣ оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои двѣ пасѣки, которыя называлъ чудомъ нашего столѣтія.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко освѣтило садъ. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Ковринъ вспомнилъ, что вѣдь это еще только начало мая и что еще впереди цѣлое лѣто, такое же ясное, веселое, длинное, и вдругъ въ груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое онъ испытывалъ въ дѣтствѣ, когда бѣгалъ по этому саду. И онъ самъ обнялъ старика и нѣжно поцѣловалъ его. Оба растроганные пошли въ домъ и стали пить чай изъ старинныхъ фарфоровыхъ чашекъ, со сливками, съ сытными, сдобными кренделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его дѣтство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшіяся въ немъ впечатлѣнія прошлаго сливались вмѣстѣ; отъ нихъ въ душѣ было тѣсно, но хорошо.

Онъ дождался, когда проснулась Таня, и вмѣстѣ съ нею напился кофе, погулялъ, потомъ пошелъ къ себѣ въ комнату и сѣлъ за работу. Онъ внимательно читалъ, дѣлалъ замѣтки и изрѣдка поднималъ глаза, чтобы взглянуть на открытыя окна или на свѣжіе, еще мокрые отъ росы цвѣты, стоявшіе въ вазахъ на столѣ, и опять опускалъ глаза въ книгу, и ему казалось, что въ немъ каждая жилочка дрожитъ и играетъ отъ удовольствія.

II.

Въ деревнѣ онъ продолжалъ вести такую же нервную и безпокойную жизнь, какъ въ городѣ. Онъ много читалъ и писалъ, учился итальянскому языку и, когда гулялъ, съ удовольствіемъ думалъ о томъ, что скоро опять сядетъ за работу. Онъ спалъ такъ мало, что всѣ удивлялись; если нечаянно уснетъ днемъ на полчаса, то уже потомъ не спитъ всю ночь и послѣ безсонной ночи, какъ ни въ чемъ не бывало, чувствуетъ себя бодро и весело.

Онъ много говорилъ, пилъ вино и курилъ дорогія сигары. Къ Песоцкимъ часто, чуть ли не каждый день, прі-

ѣзжали барышни-сосѣдки, которыя вмѣстѣ съ Таней играли на роялѣ и пѣли; иногда пріѣзжалъ молодой человѣкъ, сосѣдъ, хорошо игравшій на скрипкѣ. Ковринъ слушалъ музыку и пѣніе съ жадностью и изнемогалъ отъ нихъ, и послѣднее выражалось физически тѣмъ, что у него слипались глаза и клонило голову на бокъ.

Однажды послѣ вечерняго чая онъ сидѣлъ на балконѣ и читалъ. Въ гостиной въ это время Таня—сопрано, одна изъ барышень—контральто и молодой человѣкъ на скрипкѣ разучивали извѣстную серенаду Брага. Ковринъ вслушивался въ слова — они были русскія, — и никакъ не могъ понять ихъ смысла. Наконецъ, оставивъ книгу и вслушавшись внимательно, онъ понялъ: дѣвушка, больная воображеніемъ, слышала ночью въ саду какіе-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать ихъ гармоніей священной, которая намъ, смертнымъ, непонятна и потому обратно улетаетъ въ небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Онъ всталъ и въ изнеможеніи прошелся по гостиной, потомъ по залѣ. Когда пѣніе прекратилось, онъ взялъ Таню подъ руку и вышелъ съ нею на балконъ.

— Меня сегодня съ самаго утра занимаетъ одна легенда,—сказалъ онъ.—Не помню, вычиталъ ли я ее откуда или слышалъ, но легенда какая-то странная, ни съ чѣмъ не сообразная. Начать съ того, что она не отличается ясностью. Тысячу лѣтъ тому назадъ какой-то монахъ, одѣтый въ черное, шелъ по пустынѣ, гдѣ-то въ Сиріи или Аравіи... За нѣсколько миль отъ того мѣста, гдѣ онъ шелъ, рыбаки видѣли другого чернаго монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этотъ второй монахъ былъ миражъ. Теперь забудьте всѣ законы оптики, которыхъ легенда, кажется, не признаетъ, и слушайте дальше. Отъ миража получился другой миражъ, потомъ отъ другого третій, такъ что образъ чернаго монаха сталъ безъ конца передаваться изъ одного слоя атмосферы въ другой. Его видѣли то въ Африкѣ, то въ Испаніи, то въ Индіи, то на Дальнемъ Сѣверѣ... Наконецъ, онъ вышелъ изъ предѣловъ земной атмосферы и теперь блуждаетъ по всей вселенной, все никакъ не попадая въ тѣ условія, при которыхъ онъ могъ бы померкнуть. Быть-можетъ, его видятъ теперь гдѣ-нибудь на Марсѣ или на какой-нибудь звѣздѣ Южнаго

Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается въ томъ, что ровно черезъ тысячу лѣтъ послѣ того, какъ монахъ шелъ по пустынѣ, миражъ опять попадетъ въ земную атмосферу и покажется людямъ. И будто бы эта тысяча лѣтъ уже на исходѣ... По смыслу легенды, чернаго монаха мы должны ждать не сегодня—завтра.

— Странный миражъ,—сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнѣе всего,—засмѣялся Ковринъ:—что я никакъ не могу вспомнить, откуда попала мнѣ въ голову эта легенда. Читалъ гдѣ? Слышалъ? Или, быть-можетъ, черный монахъ снился мнѣ? Клянусь Богомъ, не помню. Но легенда меня занимаетъ. Я сегодня о ней цѣлый день думаю.

Отпустивъ Таню къ гостямъ, онъ вышелъ изъ дому и въ раздумьѣ прошелся около клумбъ. Уже садилось солнце. Цвѣты, оттого, что ихъ только-что полили, издавали влажный, раздражающій запахъ. Въ домѣ опять запѣли, и издали скрипка производила впечатлѣніе человѣческаго голоса. Ковринъ, напрягая мысль, чтобы вспомнить, гдѣ онъ слышалъ или читалъ легенду, направился, не спѣша, въ паркъ и незамѣтно дошелъ до рѣки.

По тропинкѣ, бѣжавшей по крутому берегу мимо обнаженныхъ корней, онъ спустился внизъ къ водѣ, обезпокоилъ тутъ куликовъ, спугнулъ двухъ утокъ. На угрюмыхъ соснахъ кое-гдѣ еще отсвѣчивали послѣдніе лучи заходящаго солнца, но на поверхности рѣки былъ уже настоящій вечеръ. Ковринъ по лавамъ перешелъ на другую сторону. Передъ нимъ теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цвѣтущею рожью. Ни человѣческаго жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведетъ въ то самое неизвѣстное загадочное мѣсто, куда только-что опустилось солнце, и гдѣ такъ широко и величаво пламенѣетъ вечерняя заря.

«Какъ здѣсь просторно, свободно, тихо!—думалъ Ковринъ, идя по тропинкѣ.—И кажется, весь міръ смотритъ на меня, притаился и ждетъ, чтобы я понялъ его...»

Но вотъ по ржи пробѣжали волны, и легкій вечерній вѣтерокъ нѣжно коснулся его непокрытой головы. Черезъ минуту опять порывъ вѣтра, но уже сильнѣе, — зашумѣла рожь, и послышался сзади глухой ропотъ сосенъ. Ковринъ

остановился въ изумленіи. На горизонтѣ, точно вихрь или смерчъ, поднимался отъ земли до неба высокій черный столбъ. Контуры у него были неясны, но въ первое же мгновеніе можно было понять, что онъ не стоялъ на мѣстѣ, а двигался съ страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чѣмъ ближе онъ подвигался, тѣмъ становился все меньше и яснѣе. Ковринъ бросился въ сторону, въ рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успѣлъ это сдѣлать...

Монахъ въ черной одеждѣ, съ сѣдою головой и черными бровями, скрестивъ на груди руки, пронесся мимо... Босыя ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, онъ оглянулся на Коврина, кивнулъ головой и улыбнулся ему ласково и въ то же время лукаво. Но какое блѣдное, страшно блѣдное, худое лицо! Опять начиная расти, онъ пролетѣлъ черезъ рѣку, неслышно ударился о глинистый берегъ и сосны и, пройдя сквозь нихъ, исчезъ какъ дымъ.

— Ну, вотъ видите ли... — пробормоталъ Ковринъ.— Значитъ, въ легендѣ правда.

Не стараясь объяснить себѣ странное явленіе, довольный однимъ тѣмъ, что ему удалось такъ близко и такъ ясно видѣть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, пріятно взволнованный, онъ вернулся домой.

Въ паркѣ и въ саду покойно ходили люди, въ домѣ играли, — значитъ, только онъ одинъ видѣлъ монаха. Ему сильно хотѣлось разсказать обо всемъ Танѣ и Егору Семенычу, но онъ сообразилъ, что они навѣрное сочтутъ его слова за бредъ, и это испугаетъ ихъ; лучше промолчать. Онъ громко смѣялся, пѣлъ, танцовалъ мазурку, ему было весело, и всѣ, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что онъ очень интересенъ.

III.

Послѣ ужина, когда уѣхали гости, онъ пошелъ къ себѣ въ комнату и легъ на диванъ: ему хотѣлось думать о монахѣ. Но черезъ минуту вошла Таня.

— Вотъ, Андрюша, почитайте статьи отца,—сказала она, подавая ему пачку брошюръ и оттисковъ. — Прекрасныя статьи. Онъ отлично пишетъ.

— Ну, ужъ и отлично! — говорилъ Егоръ Семенычъ, входя за ней и принужденно смѣясь; ему было совѣстно.— Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочемъ, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По-моему, великолѣпныя статьи, — сказала Таня съ глубокимъ убѣжденіемъ. — Вы прочтите, Андрюша, и убѣдите папу писать почаще. Онъ могъ бы написать полный курсъ садоводства.

Егоръ Семенычъ напряженно захохоталъ, покраснѣлъ и сталъ говорить фразы, какія обыкновенно говорятъ конфузящіеся авторы. Наконецъ, онъ сталъ сдаваться.

— Въ такомъ случаѣ прочти сначала статью Гоше и вотъ эти русскія статейки, — забормоталъ онъ, перебирая дрожащими руками брошюры: — а то тебѣ будетъ непонятно. Прежде чѣмъ читать мои возраженія, надо знать, на что я возражаю. Впрочемъ, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егоръ Семенычъ подсѣлъ къ Коврину на диванъ и глубоко вздохнулъ.

— Да, братецъ ты мой,..—началъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія. — Такъ-то, любезнѣйшій мой магистръ. Вотъ я и статьи пишу, и на выставкахъ участвую, и медали получаю... У Песоцкаго, говорятъ, яблоки съ голову, и Песоцкій, говорятъ, садомъ себѣ состояніе нажилъ. Однимъ словомъ, богатъ и славенъ Кочубей. Но спрашивается: къ чему все это? Садъ, дѣйствительно, прекрасный, образцовый... Это не садъ, а цѣлое учрежденіе, имѣющее высокую государственную важность, потому что это, такъ сказать, ступень въ новую эру русскаго хозяйства и русской промышленности. Но къ чему? Какая цѣль?

— Дѣло говоритъ само за себя.

— Я не въ томъ смыслѣ. Я хочу спросить: что будетъ съ садомъ, когда я помру? Въ томъ видѣ, въ какомъ ты видишь его теперь, онъ безъ меня не продержится и одного мѣсяца. Весь секретъ успѣха не въ томъ, что садъ великъ и рабочихъ много, а въ томъ, что я люблю дѣло — понимаешь? — люблю, быть-можетъ, больше чѣмъ самого себя. Ты посмотри на меня: я все самъ дѣлаю. Я работаю отъ утра до ночи. Всѣ прививки я дѣлаю самъ, обрѣзку— самъ, посадки — самъ, все — самъ. Когда мнѣ помогаютъ,

я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секретъ въ любви, то-есть въ зоркомъ хозяйскомъ глазѣ да въ хозяйскихъ рукахъ, да въ томъ чувствѣ, когда поѣдешь куда-нибудь въ гости на часокъ, сидишь, а у самого сердце не на мѣстѣ, самъ не свой: боишься, какъ бы въ саду чего не случилось. А когда я умру, кто будетъ смотрѣть? Кто будетъ работать? Садовникъ? Работники? Да? Такъ вотъ что я тебѣ скажу, другъ любезный: первый врагъ въ нашемъ дѣлѣ не заяцъ, не хрущъ и не морозъ, а чужой человѣкъ.

— А Таня? — спросилъ Коврин, смѣясь. — Нельзя, чтобы она была вреднѣе, чѣмъ заяцъ. Она любитъ и понимаетъ дѣло.

— Да, она любитъ и понимаетъ. Если послѣ моей смерти ей достанется садъ, и она будетъ хозяйкой, то, конечно, лучшаго и желать нельзя. Ну, а если, не дай Богъ, она выйдетъ замужъ? — зашепталъ Егоръ Семенычъ и испуганно посмотрѣлъ на Коврина.—То-то вотъ и есть! Выйдетъ замужъ, пойдутъ дѣти, тутъ ужъ о садѣ некогда думать. Я чего боюсь главнымъ образомъ: выйдетъ за какого-нибудь молодца, а тотъ сжадничаетъ и сдастъ садъ въ аренду торговкамъ, и все пойдетъ къ чорту въ первый же годъ! Въ нашемъ дѣлѣ бабы—бичъ Божій!

Егоръ Семенычъ вздохнулъ и помолчалъ немного.

— Можетъ, это и эгоизмъ, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замужъ. Боюсь! Тутъ къ намъ ѣздитъ одинъ фертъ со скрипкой и пиликаетъ; знаю, что Таня не пойдетъ за него, хорошо знаю, но видѣть его не могу! Вообще, братъ, я большой-таки чудакъ. Сознаюсь.

Егоръ Семенычъ всталъ и въ волненіи прошелся по комнатѣ, и видно было, что онъ хочетъ сказать что-то очень важное, но не рѣшается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить съ тобой откровенно, — рѣшился онъ, наконецъ, засовывая руки въ карманы. — Къ нѣкоторымъ щекотливымъ вопросамъ я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпѣть не могу такъ-называемыхъ сокровенныхъ мыслей. Говорю прямо: ты единственный человѣкъ, за котораго я не побоялся бы выдать дочь. Ты человѣкъ умный, съ сердцемъ, и не далъ бы погибнуть моему любимому дѣлу. А главная причина — я тебя люблю какъ сына... и горжусь тобой.

Если бы у васъ съ Таней наладился какъ-нибудь романъ, то—что жъ? я былъ бы очень радъ и даже счастливъ. Говорю это прямо, безъ жеманства, какъ честный человѣкъ.

Ковринъ засмѣялся. Егоръ Семеновичъ открылъ дверь, чтобы выйти, и остановился на порогѣ.

— Если бы у тебя съ Таней сынъ родился, то я бы изъ него садовода сдѣлалъ, — сказалъ онъ, подумавъ.— Впрочемъ, сіе есть мечтаніе пустое... Спокойной ночи.

Оставшись одинъ, Ковринъ легъ поудобнѣе и принялся за статьи. У одной было такое заглавіе: «О промежуточной культурѣ», у другой: «Нѣсколько словъ по поводу замѣтки г. Z. о перештыковкѣ почвы подъ новый садъ», у третьей: «Еще объ окулировкѣ спящимъ глазкомъ» — и все въ такомъ родѣ. Но какой непокойный, неровный тонъ, какой нервный, почти болѣзненный задоръ! Вотъ статья, кажется, съ самымъ мирнымъ заглавіемъ и безразличнымъ содержаніемъ: говорится въ ней о русской антоновской яблонѣ. Но начинаетъ ее Егоръ Семенычъ съ «audiatur altera pars» и кончаетъ — «sapienti sat», а между этими изреченіями цѣлый фонтанъ разныхъ ядовитыхъ словъ по адресу «ученаго невѣжества нашихъ патентованныхъ гг. садоводовъ, наблюдающихъ природу съ высоты своихъ каѳедръ», или г. Гоше, «успѣхъ котораго созданъ профанами и дилетантами», и тутъ же некстати натянутое и неискреннее сожалѣніе, что мужиковъ, ворующихъ фрукты и ломающихъ при этомъ деревья, уже нельзя драть розгами.

«Дѣло красивое, милое, здоровое, но и тутъ страсти и война, — подумалъ Ковринъ. — Должно-быть, вездѣ и на всѣхъ поприщахъ идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вѣроятно, это такъ нужно».

Онъ вспомнилъ про Таню, которой такъ нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, блѣдная, тощая, такъ что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищутъ; походка, какъ у отца, мелкая, торопливая. Она много говоритъ, любитъ поспорить, и при этомъ всякую даже незначительную фразу сопровождаетъ выразительною мимикой и жестикуляціей. Должно-быть, нервна въ высшей степени.

Ковринъ сталъ читать дальше, но ничего не понялъ и бросилъ. Пріятное возбужденіе, то самое, съ какимъ онъ давеча танцовалъ мазурку и слушалъ музыку, теперь томило

его и вызывало въ немъ множество мыслей. Онъ поднялся и сталъ ходить по комнатѣ, думая о черномъ монахѣ. Ему пришло въ голову, что если этого страннаго, сверхъестественнаго монаха видѣлъ только онъ одинъ, то, значитъ, онъ боленъ и дошелъ уже до галлюцинацій. Это соображеніе испугало его, но не надолго.

«Но вѣдь мнѣ хорошо, и я никому не дѣлаю зла; значитъ, въ моихъ галлюцинаціяхъ нѣтъ ничего дурного»,— подумалъ онъ, и ему опять стало хорошо.

Онъ сѣлъ на диванъ и обнялъ голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потомъ опять прошелся и сѣлъ за работу. Но мысли, которыя онъ вычитывалъ изъ книги, не удовлетворяли его. Ему хотѣлось чего-то гигантскаго, необъятнаго, поражающаго. Подъ утро онъ раздѣлся и нехотя легъ въ постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившаго въ садъ, Ковринъ позвонилъ и приказалъ лакею принести вина. Онъ съ наслажденіемъ выпилъ нѣсколько рюмокъ лафита, потомъ укрылся съ головой; сознаніе его затуманилось, и онъ уснулъ.

IV.

Егоръ Семенычъ и Таня часто ссорились и говорили другъ другу непріятности.

Какъ-то утромъ они о чемъ-то повздорили. Таня заплакала и ушла къ себѣ въ комнату. Она не выходила ни обѣдать, ни чай пить. Егоръ Семенычъ сначала ходилъ важный, надутый, какъ бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свѣтѣ, но скоро не выдержалъ характера и палъ духомъ. Онъ печально бродилъ по парку и все вздыхалъ: «ахъ, Боже мой, Боже мой!» и за обѣдомъ не съѣлъ ни одной крошки. Наконецъ, виноватый, замученный совѣстью, онъ постучалъ въ запертую дверь и позвалъ робко:

— Таня! Таня?

И въ отвѣтъ ему изъ-за двери послышался слабый, изнемогшій отъ слезъ и въ то же время рѣшительный голосъ:

— Оставьте меня, прошу васъ.

Томленіе хозяевъ отражалось на всемъ домѣ, даже на людяхъ, которые работали въ саду. Ковринъ былъ погру-

женъ въ свою интересную работу, но подъ конецъ и ему стало скучно и неловко. Чтобы какъ-нибудь развѣять общее дурное настроеніе, онъ рѣшилъ вмѣшаться и передъ вечеромъ постучался къ Танѣ. Его впустили.

— Ай-ай, какъ стыдно! — началъ онъ шутливо, съ удивленіемъ глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани.—Неужели такъ серьезно? Ай-ай!

— Но если бы вы знали, какъ онъ меня мучитъ!— сказала она, и слезы, горючія, обильныя слезы брызнули изъ ея большихъ глазъ.—Онъ замучилъ меня!—продолжала она, ломая руки.—Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нѣтъ надобности держать... лишнихъ работниковъ, если... если можно, когда угодно, имѣть поденщиковъ. Вѣдь... вѣдь работники уже цѣлую недѣлю ничего не дѣлаютъ... Я... я только это сказала, а онъ раскричался и наговорилъ мнѣ... много обиднаго, глубоко оскорбительнаго. За что?

— Полно, полно,—проговорилъ Ковринъ, поправляя ей прическу. — Побранились, поплакали и будетъ. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тѣмъ болѣе, что онъ васъ безконечно любитъ.

— Онъ мнѣ... мнѣ испортилъ всю жизнь, — продолжала Таня, всхлипывая.—Только и слышу одни оскорбленія и... и обиды. Онъ считаетъ меня лишней въ его домѣ. Что же? Онъ правъ. Я завтра уѣду отсюда, поступлю въ телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я васъ помирю.

Ковринъ говорилъ ласково и убѣдительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, какъ будто ее въ самомъ дѣлѣ постигло страшное несчастье. Ему было жаль ея тѣмъ сильнѣе, что горе у нея было не серьезное, а страдала она глубоко. Какихъ пустяковъ было достаточно, чтобы сдѣлать это созданіе несчастнымъ на цѣлый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утѣшая Таню, Ковринъ думалъ о томъ, что кромѣ этой дѣвушки и ея отца, во всемъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь людей, которые любили бы его какъ своего, какъ родного; если бы не эти два человѣка, то, пожалуй, онъ, потерявшій отца и мать въ раннемъ дѣтствѣ, до самой смерти не узналъ бы,

что такое искренняя ласка и та наивная, не разсуждающая любовь, какую питаютъ только къ очень близкимъ, кровнымъ людямъ. И онъ чувствовалъ, что его полубольнымъ, издерганнымъ нервамъ, какъ желѣзо магниту, отвѣчаютъ нервы этой плачущей, вздрагивающей дѣвушки. Онъ никогда бы ужъ не могъ полюбить здоровую, крѣпкую, краснощекую женщину, но блѣдная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И онъ охотно гладилъ ее по волосамъ и плечамъ, пожималъ ей руки и утиралъ слезы... Наконецъ, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь въ этомъ домѣ, умоляя Коврина войти въ ея положеніе; потомъ стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Богъ послалъ ей такой дурной характеръ, въ концѣ-концовъ, громко разсмѣявшись, назвала себя дурой и выбѣжала изъ комнаты.

Когда немного погодя Ковринъ вышелъ въ садъ, Егоръ Семенычъ и Таня уже какъ ни въ чемъ не бывало гуляли рядышкомъ по аллеѣ и оба ѣли ржаной хлѣбъ съ солью, такъ какъ оба были голодны.

V.

Довольный, что ему такъ удалась роль миротворца, Ковринъ пошелъ въ паркъ. Сидя на скамьѣ и размышляя, онъ слышалъ стукъ экипажей и женскій смѣхъ — это пріѣхали гости. Когда вечернія тѣни стали ложиться въ саду, неясно послышались звуки скрипки, поющіе голоса, и это напомнило ему про чернаго монаха. Гдѣ-то, въ какой странѣ или на какой планетѣ носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва онъ вспомнилъ легенду и нарисовалъ въ своемъ воображеніи то темное привидѣніе, которое видѣлъ на ржаномъ полѣ, какъ изъ-за сосны, какъ разъ напротивъ, вышелъ неслышно, безъ малѣйшаго шороха, человѣкъ средняго роста съ непокрытою сѣдою головой, весь въ темномъ и босой, похожій на нищаго, и на его блѣдномъ, точно мертвомъ лицѣ рѣзко выдѣлялись черныя брови. Привѣтливо кивая головой, этотъ нищій или странникъ безшумно подошелъ къ скамьѣ и сѣлъ, и Ковринъ узналъ въ немъ чернаго монаха. Минуту оба смотрѣли другъ на друга — Ковринъ съ изу-

мленіемъ, а монахъ ласково и, какъ и тогда, немножко лукаво, съ выраженіемъ себѣ-на-умѣ.

— Но вѣдь ты миражъ,—проговорилъ Ковринъ.—Зачѣмъ же ты здѣсь и сидишь на одномъ мѣстѣ? Это не вяжется съ легендой.

— Это все равно,—отвѣтилъ монахъ не сразу, тихимъ голосомъ, обращаясь къ нему лицомъ. — Легенда, миражъ и я—все это продуктъ твоего возбужденнаго воображенія. Я—призракъ.

— Значитъ, ты не существуешь?—спросилъ Ковринъ.

— Думай, какъ хочешь,—сказалъ монахъ и слабо улыбнулся.—Я существую въ твоемъ воображеніи, а воображеніе твое есть часть природы, значитъ, я существую и въ природѣ.

— У тебя очень старое, умное и въ высшей степени выразительное лицо, точно ты въ самомъ дѣлѣ прожилъ больше тысячи лѣтъ,—сказалъ Ковринъ.—Я не зналъ, что мое воображеніе способно создавать такіе феномены. Но что ты смотришь на меня съ такимъ восторгомъ? Я тебѣ нравлюсь?

— Да. Ты одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые по справедливости называются избранниками Божіими. Ты служишь вѣчной правдѣ. Твои мысли, намѣренія, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носятъ на себѣ божественную, небесную печать, такъ какъ посвящены они разумному и прекрасному, то-есть тому, что вѣчно.

— Ты сказалъ: вѣчной правдѣ... Но развѣ людямъ доступна и нужна вѣчная правда, если нѣтъ вѣчной жизни?

— Вѣчная жизнь есть,—сказалъ монахъ.

— Ты вѣришь въ безсмертіе людей?

— Да, конечно. Васъ, людей, ожидаетъ великая, блестящая будущность. И чѣмъ больше на землѣ такихъ, какъ ты, тѣмъ скорѣе осуществится это будущее. Безъ васъ, служителей высшему началу, живущихъ сознательно и свободно, человѣчество было бы ничтожно; развиваясь естественнымъ порядкомъ, оно долго бы еще ждало конца своей земной исторіи. Вы же на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше введете его въ царство вѣчной правды—и въ этомъ ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословеніе Божіе, которое почило на людяхъ.

— А какая цѣль вѣчной жизни?—спросилъ Ковринъ.

— Какъ и всякой жизни—наслажденіе. Истинное насла-

жденіе въ познаніи, а вѣчная жизнь представитъ безчисленные и неисчерпаемые источники для познанія, и въ этомъ смыслѣ сказано: въ дому Отца Моего обители многи суть.

— Если бы ты зналъ, какъ пріятно слушать тебя! — сказалъ Ковринъ, потирая отъ удовольствія руки.

— Очень радъ.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будетъ безпокоить вопросъ о твоей сущности. Ты призракъ, галлюцинація. Значитъ, я психически боленъ, ненормаленъ?

— Хотя бы и такъ. Что смущаться? Ты боленъ, потому что работалъ черезъ силу и утомился, а это значитъ, что свое здоровье ты принесъ въ жертву идеѣ, и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это—то, къ чему стремятся всѣ вообще одаренные свыше благородныя натуры.

— Если я знаю, что я психически боленъ, то могу ли я вѣрить себѣ?

— А почему ты знаешь, что геніальные люди, которымъ вѣритъ весь свѣтъ, тоже не видѣли призраковъ? Говорятъ же теперь ученые, что геній сродни умопомѣшательству. Другъ мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображенія насчетъ нервнаго вѣка, переутомленія, вырожденія и т. п. могутъ серьезно волновать только тѣхъ, кто цѣль жизни видитъ въ настоящемъ, то-есть стадныхъ людей.

— Римляне говорили: mens sana in corpore sano.

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроеніе, возбужденіе, экстазъ—все то, что отличаетъ пророковъ, поэтовъ, мучениковъ за идею отъ обыкновенныхъ людей, противно животной сторонѣ человѣка, то-есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоровъ и нормаленъ, иди въ стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мнѣ самому приходитъ въ голову,—сказалъ Ковринъ.—Ты какъ будто подсмотрѣлъ и подслушалъ мои сокровенныя мысли. Но давай говорить не обо мнѣ. Что ты разумѣешь подъ вѣчною правдой?

Монахъ не отвѣтилъ. Ковринъ взглянулъ на него и не разглядѣлъ лица: черты его туманились и расплывались. Затѣмъ у монаха стали исчезать голова, руки; туловище

его смѣшалось со скамьей и съ вечерними сумерками, и онъ исчезъ совсѣмъ.

— Галлюцинація кончилась! — сказалъ Ковринъ и засмѣялся.—А жаль.

Онъ пошелъ назадъ къ дому веселый и счастливый. То немногое, что сказалъ ему черный монахъ, льстило не самолюбію, а всей душѣ, всему существу его. Быть избранникомъ, служить вѣчной правдѣ, стоять въ ряду тѣхъ, которые на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше сдѣлаютъ человѣчество достойнымъ царствія Божія, то-есть избавятъ людей отъ нѣсколькихъ лишнихъ тысячъ лѣтъ борьбы, грѣха и страданій, отдать идеѣ все — молодость, силы, здоровье, быть готовымъ умереть для общаго блага,—какой высокій, какой счастливый удѣлъ! У него пронеслось въ памяти его прошлое, чистое, цѣломудренное, полное труда, онъ вспомнилъ то, чему учился и чему самъ училъ другихъ, и рѣшилъ, что въ словахъ монаха не было преувеличенія.

Навстрѣчу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здѣсь?—сказала она.—А мы васъ ищемъ, ищемъ... Но что съ вами?—удивилась она, взглянувъ на его восторженное, сіяющее лицо, и на глаза, полные слезъ.—Какой вы странный, Андрюша.

— Я доволенъ, Таня,—сказалъ Ковринъ, кладя ей руки на плечи.—Я больше чѣмъ доволенъ, я счастливъ! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я такъ радъ, такъ радъ!

Онъ горячо поцѣловалъ ей обѣ руки и продолжалъ:

— Я только-что пережилъ свѣтлыя, чудныя, неземныя минуты. Но я не могу разсказать вамъ всего, потому что вы назовете меня сумасшедшимъ, или не повѣрите мнѣ. Будемъ говорить о васъ. Милая, славная Таня! Я васъ люблю и уже привыкъ любить. Ваша близость, встрѣчи наши по десяти разъ на день стали потребностью моей души. Не знаю, какъ я буду обходиться безъ васъ, когда уѣду къ себѣ.

— Ну!—засмѣялась Таня.—Вы забудете про насъ черезъ два дня. Мы люди маленькіе, а вы великій человѣкъ.

— Нѣтъ, будемъ говорить серьезно! — сказалъ онъ.—Я возьму васъ съ собой, Таня. Да? Вы поѣдете со мной? Вы хотите быть моей?

— Ну!—сказала Таня и хотѣла опять засмѣяться, но смѣха не вышло, и красныя пятна выступили у нея на лицѣ.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не къ дому, а дальше въ паркъ.

— Я не думала объ этомъ... не думала!—говорила она какъ бы въ отчаяніи сжимая руки.

А Коврннъ шелъ за ней и говорилъ все съ тѣмъ же сіяющимъ, восторженнымъ лицомъ:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мнѣ. Я счастливъ! Счастливъ!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лѣтъ, а онъ находилъ ее прекрасной и громко выражалъ свой восторгъ.

— Какъ она хороша!

VI.

Узнавъ отъ Коврина, что не только романъ наладился, но что даже будетъ свадьба, Егоръ Семенычъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, стараясь скрыть волненіе. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровѣла, онъ велѣлъ заложить бѣговыя дрожки и уѣхалъ куда-то. Таня, видѣвшая, какъ онъ хлеснулъ по лошади и какъ глубоко, почти на уши, надвинулъ фуражку, поняла его настроеніе, заперлась у себя и проплакала весь день.

Въ оранжереяхъ уже поспѣли персики и сливы; упаковка и отправка въ Москву этого нѣжнаго и прихотливаго груза требовала много вниманія, труда и хлопотъ. Благодаря тому, что лѣто было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множествѣ гусеница, которую работники и даже Егоръ Семенычъ и Таня, къ великому омерзѣнію Коврина, давили прямо пальцами. При всемъ томъ, нужно уже было принимать заказы къ осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И въ самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевыя работы, которыя отняли у сада больше половины рабочихъ; Егоръ Семенычъ, сильно загорѣвшій, замученный, злой, скакалъ то въ садъ, то въ поле и кричалъ, что его разрываютъ на части, и что онъ пуститъ себѣ пулю въ лобъ.

А тутъ еще возня съ приданымъ, которому Песоцкіе придавали не малое значеніе; отъ звяканья ножницъ, стука швейныхъ машинъ, угара утюговъ и отъ капризовъ модистки, нервной, обидчивой дамы, у всѣхъ въ домѣ кружились головы. И какъ нарочно, каждый день пріѣзжали гости, которыхъ надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незамѣтно, какъ въ туманѣ. Таня чувствовала себя такъ, какъ будто любовь и счастье захватили ее врасплохъ, хотя съ четырнадцати лѣтъ была увѣрена почему-то, что Ковринъ женится именно на ней. Она изумлялась, недоумѣвала, не вѣрила себѣ... То вдругъ нахлынетъ такая радость, что хочется улетѣть подъ облака и тамъ молиться Богу, а то вдругъ вспомнится, что въ августѣ придется разставаться съ роднымъ гнѣздомъ и оставлять отца, или, Богъ вѣсть откуда, придетъ мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великаго человѣка, какъ Ковринъ,—и она уходитъ къ себѣ, запирается на ключъ и горько плачетъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Когда бываютъ гости, вдругъ ей покажется, что Ковринъ необыкновенно красивъ и что въ него влюблены всѣ женщины и завидуютъ ей, и душа ея наполняется восторгомъ и гордостью, какъ будто она побѣдила весь свѣтъ, но стоитъ ему привѣтливо улыбнуться какой-нибудь барышнѣ, какъ она ужъ дрожитъ отъ ревности, уходитъ къ себѣ—и опять слезы. Эти новыя ощущенія завладѣли ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замѣчала ни персиковъ, ни гусеницъ, ни рабочихъ, ни того, какъ быстро бѣжало время.

Съ Егоромъ Семенычемъ происходило почти то же самое. Онъ работалъ съ утра до ночи, все спѣшилъ куда-то, выходилъ изъ себя, раздражался, но все это въ какомъ-то волшебномъ полуснѣ. Въ немъ уже сидѣло какъ будто бы два человѣка: одинъ былъ настоящій Егоръ Семенычъ, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшаго ему о безпорядкахъ, возмущался и въ отчаяніи хваталъ себя за голову, и другой не настоящій, точно полупьяный который вдругъ на полусловѣ прерывалъ дѣловой разговоръ, трогалъ садовника за плечо и начиналъ бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значитъ. Его мать была удивительная, благороднѣйшая, умнѣйшая женщина. Было наслажденіемъ смотрѣть на ея доброе, ясное, чистое лицо

какъ у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранныхъ языкахъ, пѣла... Бѣдняжка, царство ей небесное, скончалась отъ чахотки.

Не настоящій Егоръ Семенычъ вздыхалъ и, помолчавъ, продолжалъ:

— Когда онъ былъ мальчикомъ и росъ у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взглядъ, и движенія, и разговоръ нѣжны и изящны, какъ у матери. А умъ? Онъ всегда поражалъ насъ своимъ умомъ. Да и то сказать, не даромъ онъ магистръ! Не даромъ! А погоди, Иванъ Карлычъ, каковъ онъ будетъ лѣтъ черезъ десять! Рукой не достанешь!

Но тутъ настоящій Егоръ Семенычъ, спохватившись, дѣлалъ страшное лицо, хваталъ себя за голову и кричалъ:

— Черти! Перескверниили, перепоганили, перемерзили! Пропалъ садъ! Погибъ садъ!

А Ковринъ работалъ съ прежнимъ усердіемъ и не замѣчалъ сутолоки. Любовь только подлила масла въ огонь. Послѣ каждаго свиданія съ Таней, онъ, счастливый, восторженный, шелъ къ себѣ и съ тою же страстностью, съ какою онъ только-что цѣловалъ Таню и объяснялся ей въ любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорилъ черный монахъ объ избранникахъ Божіихъ, вѣчной правдѣ, о блестящей будущности человѣчества и проч., придавало его работѣ особенное, необыкновенное значеніе и наполняло его душу гордостью, сознаніемъ собственной высоты. Разъ или два въ недѣлю, въ паркѣ или въ домѣ, онъ встрѣчался съ чернымъ монахомъ и подолгу бесѣдовалъ съ нимъ, но это не пугало, а, напротивъ, восхищало его, такъ какъ онъ былъ уже крѣпко убѣжденъ, что подобныя видѣнія посѣщаютъ только избранныхъ, выдающихся людей, посвятившихъ себя служенію идеѣ.

Однажды монахъ явился во время обѣда и сѣлъ въ столовой у окна. Ковринъ обрадовался и очень ловко завелъ разговоръ съ Егоромъ Семенычемъ и съ Таней о томъ, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушалъ и привѣтливо кивалъ головой, а Егоръ Семенычъ и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозрѣвая, что Ковринъ говоритъ не съ ними, а со своей галлюцинаціей.

Незамѣтно подошелъ Успенскій постъ, а за нимъ скоро

и день свадьбы, которую, по настойчивому желанію Егора Семеныча отпраздновали «съ трескомъ», то-есть съ безтолковою гульбой, продолжавшеюся двое сутокъ. Съѣли и выпили тысячи на три, но отъ плохой наемной музыки, крикливыхъ тостовъ и лакейской бѣготни, отъ шума и тѣсноты не поняли вкуса ни въ дорогихъ винахъ, ни въ удивительныхъ закускахъ, выписанныхъ изъ Москвы.

VII.

Какъ-то въ одну изъ длинныхъ зимнихъ ночей Ковринъ лежалъ въ постели и читалъ французскій романъ. Бѣдняжка Таня, у которой по вечерамъ болѣла голова отъ непривычки жить въ городѣ, давно уже спала и изрѣдка въ бреду произносила какія-то безсвязныя фразы.

Пробило три часа. Ковринъ потушилъ свѣчу и легъ; долго лежалъ съ закрытыми глазами, но уснуть не могъ оттого, какъ казалось ему, что въ спальнѣ было очень жарко и бредила Таня. Въ половинѣ пятаго онъ опять зажегъ свѣчу и въ это время увидѣлъ чернаго монаха, который сидѣлъ въ креслѣ около постели.

— Здравствуй,—сказалъ монахъ и, помолчавъ немного, спросилъ:—о чемъ ты теперь думаешь?

— О славѣ,—отвѣтилъ Ковринъ.—Во французскомъ романѣ, который я сейчасъ читалъ, изображенъ человѣкъ, молодой ученый, который дѣлаетъ глупости и чахнетъ отъ тоски по славѣ. Мнѣ эта тоска непонятна.

— Потому что ты уменъ. Ты къ славѣ относишься безразлично, какъ къ игрушкѣ, которая тебя не занимаетъ.

— Да, это правда.

— Извѣстность не улыбается тебѣ. Что лестнаго или забавнаго, или поучительнаго въ томъ, что твое имя вырѣжутъ на могильномъ памятникѣ и потомъ время сотретъ эту надпись вмѣстѣ съ позолотой? Да и къ счастью, васъ слишкомъ много, чтобы слабая человѣческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно,—согласился Ковринъ.—Да и зачѣмъ ихъ помнить? Но давай поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ. Напримѣръ, о счастьѣ. Что такое счастье?

Когда часы били пять, онъ сидѣлъ на кровати, свѣсивъ ноги на коверъ, и говорилъ, обращаясь къ монаху:

— Въ древности одинъ счастливый человѣкъ въ концѣ

концовъ, испугался своего счастья — такъ оно было велико! — и, чтобы умилостивить боговъ, принесъ имъ въ жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, какъ Поликрата, начинаетъ немножко безпокоить мое счастье. Мнѣ кажется страннымъ, что отъ утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняетъ всего меня и заглушаетъ всѣ остальныя чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вотъ я не сплю, у меня безсонница, но мнѣ не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумѣвать.

— Но почему? — изумился монахъ. — Развѣ радость сверхъестественное чувство? Развѣ она не должна быть нормальнымъ состояніемъ человѣка? Чѣмъ выше человѣкъ по умственному и нравственному развитію, чѣмъ онъ свободнѣе, тѣмъ большее удовольствіе доставляетъ ему жизнь. Сократъ, Діогенъ и Маркъ Аврелій испытывали радость, а не печаль. И апостолъ говоритъ: постоянно радуйтеся. Радуйся же и будь счастливъ.

— А вдругъ прогнѣваются боги?—пошутилъ Ковринъ и засмѣялся. — Если они отнимутъ у меня комфортъ и заставятъ меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мнѣ по вкусу.

Таня, между тѣмъ, проснулась и съ изумленіемъ и ужасомъ смотрѣла на мужа. Онъ говорилъ, обращаясь къ креслу, жестикулировалъ и смѣялся; глаза его блестѣли, и въ смѣхѣ было что-то странное.

— Андрюша, съ кѣмъ ты говоришь?—спросила она, хватая его за руку, которую онъ протянулъ къ монаху. — Андрюша! Съ кѣмъ?

— А? Съ кѣмъ?—смутился Ковринъ.—Вотъ съ нимъ... Вотъ онъ сидитъ, — сказалъ онъ, указывая на чернаго монаха.

— Никого здѣсь нѣтъ... никого! Андрюша, ты боленъ!

Таня обняла мужа и прижалась къ нему, какъ бы защищая его отъ видѣній, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты боленъ! — зарыдала она, дрожа всѣмъ тѣломъ. — Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже замѣтила, что душа у тебя разстроена чѣмъ-то... Ты психически боленъ, Андрюша...

Дрожь ея сообщилась и ему. Онъ взглянулъ еще разъ на кресло, которое уже было пусто, почувствовалъ вдругъ

слабость въ рукахъ и ногахъ, испугался и сталъ одѣваться.

— Это ничего, Таня, ничего...—бормоталъ онъ, дрожа.— Въ самомъ дѣлѣ я немножко нездоровъ... пора уже сознаться въ этомъ.

— Я уже давно замѣчала... и папа замѣтилъ, — говорила она, стараясь сдержать рыданія.—Ты самъ съ собой говоришь, какъ-то странно улыбаешься... не спишь. О, Боже мой, Боже мой, спаси насъ! — проговорила она въ ужасѣ. — Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, Бога ради не бойся...

Она тоже стала одѣваться. Только теперь, глядя на нее, Ковринъ понялъ всю опасность своего положенія, понялъ, что значатъ черный монахъ и бесѣды съ нимъ. Для него теперь было ясно, что онъ сумасшедшій.

Оба, сами не зная зачѣмъ, одѣлись и пошли въ залу: она впереди, онъ за ней. Тутъ ужъ, разбуженный рыданіями, въ халатѣ и со свѣчой въ рукахъ стоялъ Егоръ Семенычъ, который гостилъ у нихъ.

— Ты не бойся Андрюша,—говорила Таня, дрожа какъ въ лихорадкѣ: — не бойся... Папа, это все пройдетъ... все пройдетъ...

Ковринъ отъ волненія не могъ говорить. Онъ хотѣлъ сказать тестю шутливымъ тономъ:

— Поздравьте, я, кажется, сошелъ съ ума, — но пошевелилъ только губами и горько улыбнулся.

Въ девять часовъ утра на него надѣли пальто и шубу, окутали его шалью и повезли въ каретѣ къ доктору. Онъ сталъ лѣчиться.

VIII.

Опять наступило лѣто, и докторъ приказалъ ѣхать въ деревню. Ковринъ уже выздоровѣлъ, пересталъ видѣть чернаго монаха и ему оставалось только подкрѣпить свои физическія силы. Живя у тестя въ деревнѣ, онъ пилъ много молока, работалъ только два часа въ сутки, не пилъ вина и не курилъ.

Подъ Ильинъ день вечеромъ въ домѣ служили всенощную. Когда дьячокъ подалъ священнику кадило, то въ старомъ громадномъ залѣ запахло точно кладбищемъ, и Коврину стало скучно. Онъ вышелъ въ садъ. Не замѣчая

роскошныхъ цвѣтовъ, онъ погулялъ по саду, посидѣлъ на скамьѣ, потомъ прошелся по парку; дойдя до рѣки, онъ спустился внизъ и тутъ постоялъ въ раздумьѣ, глядя на воду. Угрюмыя сосны съ мохнатыми корнями, которыя въ прошломъ году видѣли его здѣсь такимъ молодымъ, радостнымъ и бодрымъ, теперь не шептались, а стояли неподвижныя и нѣмыя, точно не узнавали его. И въ самомъ дѣлѣ, голова у него острижена, длинныхъ красивыхъ волосъ уже нѣтъ, походка вялая, лицо, сравнительно съ прошлымъ лѣтомъ, пополнѣло и поблѣднѣло.

По лавамъ онъ перешелъ на тотъ берегъ. Тамъ, гдѣ въ прошломъ году была рожь, теперь лежалъ въ рядахъ скошенный овесъ. Солнце уже зашло, и на горизонтѣ пылало широкое красное зарево, предвѣщавшее на завтра вѣтреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направленію, гдѣ въ прошломъ году показался впервые черный монахъ, Ковринъ постоялъ минутъ двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря...

Когда онъ вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егоръ Семенычъ и Таня сидѣли на ступеняхъ террасы и пили чай. Они о чемъ-то говорили, но, увидѣвъ Коврина, вдругъ замолчали, и онъ заключилъ по ихъ лицамъ, что разговоръ у нихъ шелъ о немъ.

— Тебѣ, кажется, пора уже молоко пить,—сказала Таня мужу.

— Нѣтъ, не пора... — отвѣчалъ онъ, садясь на самую нижнюю ступень.—Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась съ отцомъ и сказала виноватымъ голосомъ:

— Ты самъ замѣчаешь, что молоко тебѣ полезно.

— Да, очень полезно!—усмѣхнулся Ковринъ.—Поздравляю васъ: послѣ пятницы во мнѣ прибавился еще одинъ фунтъ вѣсу. — Онъ крѣпко сжалъ руками голову и проговорилъ съ тоской:—Зачѣмъ, зачѣмъ вы меня лѣчили? Бромистые препараты, праздность, теплыя ванны, надзоръ, малодушный страхъ за каждый глотокъ, за каждый шагъ—все это въ концѣ концовъ доведетъ меня до идіотизма. Я сходилъ съ ума, у меня была манія величія, но зато я былъ веселъ, бодръ и даже счастливъ, я былъ интересенъ и оригиналенъ. Теперь я сталъ разсудительнѣе и солиднѣе, но зато я такой, какъ всѣ: я — посредственность, мнѣ

скучно жить... О, какъ вы жестоко поступили со мной! Я видѣлъ галлюцинаціи, но кому это мѣшало? Я спрашиваю: кому это мѣшало?

— Богъ знаетъ, что ты говоришь! — вздохнулъ Егоръ Семенычъ.—Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствіе людей, особенно Егора Семеныча, теперь ужъ раздражало Коврина, онъ отвѣчалъ ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрѣлъ на него, какъ насмѣшливо и съ ненавистью, а Егоръ Семенычъ смущался и виновато покашливалъ, хотя вины за собой никакой не чувствовалъ. Не понимая, отчего такъ рѣзко измѣнились ихъ милыя, благодушныя отношенія, Таня жалась къ отцу и съ тревогой заглядывала ему въ глаза; она хотѣла понять и не могла, и для нея ясно было только, что отношенія съ каждымъ днемъ становятся все хуже и хуже, что отецъ въ послѣднее время сильно постарѣлъ, а мужъ сталъ раздражителенъ, капризенъ, придирчивъ и неинтересенъ. Она уже не могла смѣяться и пѣть, за обѣдомъ ничего не ѣла, не спала по цѣлымъ ночамъ, ожидая, чего-то ужаснаго, и такъ измучилась, что однажды пролежала въ обморокѣ отъ обѣда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отецъ плакалъ, и теперь, когда они втроемъ сидѣли на террасѣ, она дѣлала надъ собой усилія, чтобы не думать объ этомъ.

— Какъ счастливы Будда и Магометъ или Шекспиръ, что добрые родственники и доктора не лѣчили ихъ отъ экстаза и вдохновенія—сказалъ Ковринъ.—Если бы Магометъ принималъ отъ нервовъ бромистый калій, работалъ только два часа въ сутки и пилъ молоко, то послѣ этого замѣчательнаго человѣка осталось бы такъ же мало, какъ послѣ его собаки. Доктора и добрые родственники въ концѣ концовъ сдѣлаютъ то, что человѣчество отупѣетъ, посредственность будетъ считаться геніемъ и цивилизація погибнетъ. Если бы вы знали,—сказалъ Ковринъ съ досадой:—какъ я вамъ благодаренъ!

Онъ почувствовалъ сильное раздраженіе и, чтобы не сказать лишняго, быстро всталъ и пошелъ въ домъ. Было тихо, и въ открытыя окна несся изъ сада ароматъ табака и ялапы. Въ громадномъ темномъ залѣ на полу и на рояли зелеными пятнами лежалъ лунный свѣтъ. Коврину

припомнились восторги прошлаго лѣта, когда такъ же пахло ялаппой и въ окнахъ свѣтилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроеніе, онъ быстро пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, закурилъ крѣпкую сигару и приказалъ лакею принести вина. Но отъ сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, какъ въ прошломъ году. И что значитъ отвыкнуть! Отъ сигары и двухъ глотковъ вина у него закружилась голова и началось сердцебіеніе, такъ что понадобилось принимать бромистый калій.

Передъ тѣмъ, какъ ложиться спать, Таня говорила ему:

— Отецъ обожаетъ тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убиваетъ его. Посмотри: онъ старѣетъ не по днямъ, а по часамъ. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради, ради своего покойнаго отца, ради моего покоя, будь съ нимъ ласковъ!

— Не могу и не хочу.

— Но почему?—спросила Таня, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Объясни мнѣ, почему?

— Потому, что онъ мнѣ не симпатиченъ, вотъ и все,— небрежно сказалъ Ковринъ и пожалъ плечами:—но не будемъ говорить о немъ: онъ твой отецъ.

— Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себѣ виски и глядя въ одну точку. — Что-то непостижимое, ужасное происходитъ у насъ въ домѣ. Ты измѣнился, сталъ на себя не похожъ... Ты, умный, необыкновенный человѣкъ, раздражаешься изъ-за пустяковъ, вмѣшиваешься въ дрязги... Такія мелочи волнуютъ тебя, что иной разъ просто удивляешься и не вѣришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своихъ словъ и цѣлуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедливъ къ отцу. Онъ такой добрый!

— Онъ не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, въ родѣ твоего отца, съ сытыми добродушными физіономіями, необыкновенно хлѣбосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смѣшили и въ повѣстяхъ, и въ водевиляхъ, и въ жизни, теперь же они мнѣ противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнѣе всего мнѣ ихъ сытость и этотъ желудочный, чисто бычій или кабаній оптимизмъ.

Таня сѣла на постель и положила голову на подушку.

— Это пытка,—проговорила она, и по ея голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить.—Съ самой зимы ни одной покойной минуты... Вѣдь это ужасно, Боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Иродъ, а ты и твой папенька — египетскіе младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Танѣ некрасивымъ и непріятнымъ. Ненависть и насмѣшливое выраженіе не шли къ нему. Да и раньше она замѣчала, что на его лицѣ уже чего-то недостаетъ, какъ будто съ тѣхъ поръ, какъ онъ остригся, измѣнилось и лицо. Ей захотѣлось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчасъ же она поймала себя на непріязненномъ чувствѣ, испугалась и пошла изъ спальни.

IX.

Ковринъ получилъ самостоятельную каѳедру. Вступительная лекція была назначена на второе декабря, и объ этомъ было вывѣшено объявленіе въ университетскомъ коридорѣ. Но въ назначенный день онъ извѣстилъ инспектора студентовъ телеграммой, что читать лекціи не будетъ по болѣзни.

У него шла горломъ кровь. Онъ плевалъ кровью, но случалось раза два въ мѣсяцъ, что она текла обильно, и тогда онъ черезвычайно слабѣлъ и впадалъ въ сонливое состояніе. Эта болѣзнь не особенно пугала его, такъ какъ ему было извѣстно, что его покойная мать жила точно съ такою же болѣзнью десять лѣтъ, даже больше; и доктора увѣряли, что это не опасно, и совѣтовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

Въ январѣ лекція опять не состоялась по той же причинѣ, а въ февралѣ было уже поздно начинать курсъ. Пришлось отложить до будущаго года.

Жилъ онъ уже не съ Таней, а съ другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за нимъ, какъ за ребенкомъ. Настроеніе у него было мирное, покорное: онъ охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна—такъ звали его подругу—собралась везти его въ Крымъ, то онъ согласился, хотя предчувствовалъ, что изъ этой поѣздки не выйдетъ ничего хорошаго.

Они пріѣхали въ Севастополь вечеромъ и остановились въ гостиницѣ, чтобы отдохнуть и завтра ѣхать въ Ялту. Обоихъ утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Ковринъ не ложился. Еще дома, за часъ до отъѣзда на вокзалъ, онъ получилъ отъ Тани письмо и не рѣшился его распечатать, и теперь оно лежало у него въ боковомъ карманѣ, и мысль о немъ непріятно волновала его. Искренно, въ глубинѣ души, свою женитьбу на Танѣ онъ считалъ теперь ошибкой, былъ доволенъ, что окончательно разошелся съ ней, и воспоминаніе объ этой женщинѣ, которая въ концѣ концовъ обратилась въ ходячія живыя мощи, и въ которой, какъ кажется, все уже умерло, кромѣ большихъ, пристально вглядывающихся, умныхъ глазъ, воспоминаніе о ней возбуждало въ немъ одну только жалость и досаду на себя. Почеркъ на конвертѣ напомнилъ ему, какъ онъ года два назадъ былъ несправедливъ и жестокъ, какъ вымещалъ на ни въ чемъ неповинныхъ людяхъ свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же онъ вспомнилъ, какъ однажды онъ рвалъ на мелкіе клочки свою диссертацію и всѣ статьи, написанныя за время болѣзни, и какъ бросалъ въ окно, и клочки, летая по вѣтру, цѣплялись за деревья и цвѣты; въ каждой строчкѣ видѣлъ онъ странныя, ни на чемъ не основанныя претензіи, легкомысленный задоръ, дерзость, манію величія, и это производило на него такое впечатлѣніе, какъ будто онъ читалъ описаніе своихъ пороковъ; но когда послѣдняя тетрадка была разорвана и полетѣла въ окно, ему почему-то вдругъ стало досадно и горько, онъ пошелъ къ женѣ и наговорилъ ей много непріятнаго. Боже мой, какъ онъ изводилъ ее! Однажды, желая причинить ей боль, онъ сказалъ ей, что ея отецъ игралъ въ ихъ романѣ непривлекательную роль, такъ какъ просилъ его жениться на ней; Егоръ Семенычъ нечаянно подслушалъ это, вбѣжалъ въ комнату и съ отчаянія не могъ выговорить ни одного слова, и только топтался на одномъ мѣстѣ и какъ-то странно мычалъ, точно у него отнялся языкъ, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающимъ голосомъ и упала въ обморокъ. Это было безобразно.

Все это приходило на память при взглядѣ на знакомый почеркъ. Ковринъ вышелъ на балконъ; была тихая теплая погода и пахло моремъ. Чудесная бухта отражала въ себѣ

луну и огни и имѣла цвѣтъ, которому трудно подобрать названіе. Это было нѣжное и мягкое сочетаніе синяго съ зеленымъ; мѣстами вода походила цвѣтомъ на синій купоросъ, а мѣстами, казалось, лунный свѣтъ сгустился и вмѣсто воды наполнялъ бухту, а въ общемъ какое согласіе цвѣтовъ, какое мирное, покойное и высокое настроеніе!

Въ нижнемъ этажѣ, подъ балкономъ, окна, вѣроятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женскіе голоса и смѣхъ. Повидимому, тамъ была вечеринка.

Ковринъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, распечаталъ письмо и, войдя къ себѣ въ номеръ, прочелъ:

«Сейчасъ умеръ мой отецъ. Этимъ я обязана тебѣ, такъ какъ ты убилъ его. Нашъ садъ погибаетъ, въ немъ хозяйничаютъ уже чужіе, то-есть происходитъ то самое, чего такъ боялся бѣдный отецъ. Этимъ я обязана тоже тебѣ. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорѣе погибъ. О, какъ я страдаю! Мою душу жжетъ невыносимая боль... Будь ты проклятъ. Я приняла тебя за необыкновеннаго человѣка, за генія, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшимъ...»

Ковринъ не могъ дальше читать, изорвалъ письмо и бросилъ. Имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, какъ она дышала; изъ нижняго этажа доносились женскіе голоса и смѣхъ, но у него было такое чувство, какъ будто во всей гостиницѣ кромѣ него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горемъ Таня въ своемъ письмѣ проклинала его и желала его погибели, ему было жутко, и онъ мелькомъ взглядывалъ на дверь, какъ бы боясь, чтобы не вошла въ номеръ и не распорядилась имъ опять та невѣдомая сила, которая въ какіе-нибудь два года произвела столько разрушеній въ его жизни и въ жизни близкихъ.

Онъ уже по опыту зналъ, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство отъ нихъ—это работа. Надо сѣсть за столъ и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Онъ досталъ изъ своего краснаго портфеля тетрадку, на которой былъ набросанъ конспектъ небольшой компилятивной работы, придуманной имъ на случай, если въ Крыму покажется скучно безъ дѣла. Онъ сѣлъ за столъ и занялся этимъ конспектомъ, и ему казалось, что къ нему возвращается его мирное, по-

корное, безразличное настроеніе. Тетрадка съ конспектомъ навела даже на размышленіе о суетѣ мірской. Онъ думалъ о томъ, какъ много беретъ жизнь за тѣ ничтожныя или весьма обыкновенныя блага, какія она можетъ дать человѣку. Напримѣръ, чтобы получить подъ сорокъ лѣтъ каѳедру, быть обыкновеннымъ профессоромъ, излагать вялымъ, скучнымъ, тяжелымъ языкомъ обыкновенныя и притомъ чужія мысли,—однимъ словомъ, для того, чтобы достигнуть положенія посредственнаго ученаго, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лѣтъ, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болѣзнь, пережить неудачный бракъ и продѣлать много всякихъ глупостей и несправедливостей, о которыхъ пріятно было бы не помнить. Ковринъ теперь ясно сознавалъ, что онъ—посредственность, и охотно мирился съ этимъ, такъ какъ, по его мнѣнію, каждый человѣкъ долженъ быть доволенъ тѣмъ, что онъ есть.

Конспектъ совсѣмъ-было успокоилъ его, но разорванное письмо бѣлѣло на полу и мѣшало ему сосредоточиться. Онъ всталъ изъ-за стола, подобралъ клочки письма и бросилъ въ окно, но подулъ съ моря легкій вѣтеръ, и клочки разсыпались по подоконнику. Опять имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ, и стало казаться, что во всей гостиницѣ кромѣ него нѣтъ ни одной души... Онъ вышелъ на балконъ. Бухта, какъ живая, глядѣла на него множествомъ голубыхъ, синихъ, бирюзовыхъ и огненныхъ глазъ и манила къ себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, было жарко и душно и не мѣшало бы выкупаться.

Вдругъ въ нижнемъ этажѣ подъ балкономъ заиграла скрипка, и запѣли два нѣжныхъ женскихъ голоса. Это было что-то знакомое. Въ романсѣ, который пѣли внизу, говорилось о какой-то дѣвушкѣ, больной воображеніемъ, которая слышала ночью въ саду таинственные звуки и рѣшила, что это гармонія священная, намъ, смертнымъ, непонятная... У Коврина захватило дыханіе, и сердце сжалось отъ грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой онъ давно уже забылъ, задрожала въ его груди.

Черный высокій столбъ, похожій на вихрь или смерчъ, показался на томъ берегу бухты. Онъ съ страшною быстротой двигался черезъ бухту по направленію къ гостиницѣ, становясь все меньше и темнѣе, и Ковринъ едва успѣлъ посторониться, чтобы дать дорогу... Монахъ съ непокрытою

сѣдою головой и съ черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не повѣрилъ мнѣ?—спросилъ онъ съ укоризной, глядя ласково на Коврина.—Если бы ты повѣрилъ мнѣ тогда, что ты геній, то эти два года ты провелъ бы не такъ печально и скудно.

Ковринъ уже вѣрилъ тому, что онъ избранникъ Божій и геній, онъ живо припомнилъ всѣ свои прежніе разговоры съ чернымъ монахомъ и хотѣлъ говорить, но кровь текла у него изъ горла прямо на грудь, и онъ, не зная, что дѣлать, водилъ руками по груди, и манжетки стали мокрыми отъ крови. Онъ хотѣлъ позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сдѣлалъ усиліе и проговорилъ:

— Таня!

Онъ упалъ на полъ и, поднимаясь на руки, опять позвалъ:

— Таня!

Онъ звалъ Таню, звалъ большой садъ съ роскошными цвѣтами, обрызганными росой, звалъ паркъ, сосны съ мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смѣлость, радость, звалъ жизнь, которая была такъ прекрасна. Онъ видѣлъ на полу около своего лица большую лужу крови и не могъ уже отъ слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу подъ балкономъ играли серенаду, а черный монахъ шепталъ ему, что онъ геній, и что онъ умираетъ потому только, что его слабое человѣческое тѣло уже утеряло равновѣсіе и не можетъ больше служить оболочкой для генія.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла изъ-за ширмъ, Ковринъ былъ уже мертвъ и на лицѣ его застыла блаженная улыбка.

СКРИПКА РОТШИЛЬДА.

Городокъ былъ маленькій, хуже деревни, и жили въ немъ почти одни только старики, которые умирали такъ рѣдко, что даже досадно. Въ больницу же и въ тюремный замокъ гробовъ требовалось очень мало. Однимъ словомъ, дѣла были скверныя. Если бы Яковъ Ивановъ былъ гробовщикомъ въ губернскомъ городѣ, то, навѣрное, онъ имѣлъ бы собственный домъ и звали бы его Яковомъ Матвѣичемъ; здѣсь же въ городишкѣ звали его просто Яковомъ, уличное прозвище у него было почему-то—Бронза, а жилъ онъ бѣдно, какъ простой мужикъ, въ небольшой старой избѣ, гдѣ была одна только комната, и въ этой комнатѣ помѣщались онъ, Мареа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстакъ и все хозяйство.

Яковъ дѣлалъ гробы хорошіе, прочные. Для мужиковъ и мѣщанъ онъ дѣлалъ ихъ на свой ростъ и ни разу не ошибся, такъ какъ выше и крѣпче его не было людей нигдѣ, даже въ тюремномъ замкѣ, хотя ему было уже семьдесятъ лѣтъ. Для благородныхъ же и для женщинъ дѣлалъ по мѣркѣ и употреблялъ для этого желѣзный аршинъ. Заказы на дѣтскіе гробики принималъ онъ очень неохотно и дѣлалъ ихъ прямо безъ мѣрки, съ презрѣніемъ, и всякій разъ, получая деньги за работу, говорилъ:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кромѣ мастерства, небольшой доходъ приносила ему также игра на скрипкѣ. Въ городкѣ на свадьбахъ игралъ обыкновенно жидовскій оркестръ, которымъ управлялъ лудиль-

щикъ Моисей Ильичъ Шахкесъ, бравшій себѣ больше половины дохода. Такъ какъ Яковъ очень хорошо игралъ на скрипкѣ, особенно русскія пѣсни, то Шахкесъ иногда приглашалъ его въ оркестръ съ платою по пятьдесятъ копеекъ въ день, не считая подарковъ отъ гостей. Когда Бронза сидѣлъ въ оркестрѣ, то у него прежде всего потѣло и багровѣло лицо; было жарко, пахло чеснокомъ до духоты, скрипка взвизгивала, у праваго уха хрипѣлъ контрабасъ, у лѣваго— плакала флейта, на которой игралъ рыжій тощій жидъ съ цѣлою сѣтью красныхъ и синихъ жилокъ на лицѣ, носившій фамилію извѣстнаго богача Ротшильда. И этотъ проклятый жидъ даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Безъ всякой видимой причины Яковъ мало-по-малу проникался ненавистью и презрѣніемъ къ жидамъ, а особенно къ Ротшильду; онъ начиналъ придираться, бранить его нехорошими словами и разъ даже хотѣлъ побить его, и Ротшильдъ обидѣлся и проговорилъ, глядя на него свирѣпо:

— Если бы я не уважалъ васъ за талантъ, то вы бы давно полетѣли у меня въ окошке.

Потомъ заплакалъ. Поэтому Бронзу приглашали въ оркестръ не часто, только въ случаѣ крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь изъ евреевъ.

Яковъ никогда не бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, такъ какъ ему постоянно приходилось терпѣть страшные убытки. Напримѣръ, въ воскресенья и праздники грѣшно было работать, понедѣльникъ—тяжелый день, и такимъ образомъ въ году набиралось около двухсотъ дней, когда поневолѣ приходилось сидѣть сложа руки. А вѣдь это какой убытокъ! Если кто-нибудь въ городѣ игралъ свадьбу безъ музыки или Шахкесъ не приглашалъ Якова, то это тоже былъ убытокъ. Полицейскій надзиратель былъ два года боленъ и чахнулъ, и Яковъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда онъ умретъ, но надзиратель уѣхалъ въ губернскій городъ лѣчиться и взялъ да тамъ и умеръ. Вотъ вамъ и убытокъ, по меньшей мѣрѣ рублей на десять, такъ какъ гробъ пришлось бы дѣлать дорогой, съ глазетомъ. Мысли объ убыткахъ донимали Якова особенно по ночамъ; онъ клалъ рядомъ съ собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лѣзла въ голову, трогалъ струны, скрипка въ темнотѣ издавала звукъ, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлаго года Марѳа вдругъ занемогла.

Старуха тяжело дышала, пила много воды и цопатывалась, но все-таки утромъ сама истопила печь и даже ходила по воду. Къ вечеру же слегла. Яковъ весь день игралъ на скрипкѣ; когда же совсѣмъ стемнѣло, взялъ книжку, въ которую каждый день записывалъ свои убытки, и отъ скуки сталъ подводить годовой итогъ. Получилось больше тысячи рублей. Это такъ потрясло его, что онъ хватилъ счетами о полъ и затопалъ ногами. Потомъ поднялъ счеты и опять долго щелкалъ и глубоко, напряженно вздыхалъ. Лицо у него было багрово и мокро отъ пота. Онъ думалъ о томъ, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить въ банкъ, то въ годъ проценту накопилось бы самое малое— сорокъ рублей. Значитъ, и эти сорокъ рублей тоже убытокъ. Однимъ словомъ, куда ни повернись, вездѣ только убытки и больше ничего.

— Яковъ!—позвала Мареа неожиданно.—Я умираю!

Онъ оглянулся на жену. Лицо у нея было розовое отъ жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкшій всегда видѣть ея лицо блѣднымъ, робкимъ и несчастнымъ, теперь смутился. Похоже было на то, какъ будто она въ самомъ дѣлѣ умирала и была рада, что, наконецъ, уходитъ навѣки изъ этой избы, отъ гробовъ, отъ Якова.... И она глядѣла въ потолокъ и шевелила губами, и выраженіе у нея было счастливое, точно она видѣла смерть, свою избавительницу, и шепталась съ ней.

Былъ уже разсвѣтъ, въ окно видно было, какъ горѣла утренняя заря. Глядя на старуху, Яковъ почему-то вспомнилъ, что за всю жизнь онъ, кажется, ни разу не приласкалъ ее, не пожалѣлъ, ни разу не догадался купить ей платочекъ, или принести со свадьбы чего-нибудь сладенькаго, а только кричалъ на нее, бранилъ за убытки, бросался на нее съ кулаками; правда, онъ никогда не билъ ее, но все-таки пугалъ, и она всякій разъ цѣпенѣла отъ страха. Да, онъ не велѣлъ ей пить чай, потому что и безъ того расходы большіе, и она пила только горячую воду. И онъ понялъ, отчего у нея теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, онъ взялъ у сосѣда лошадь и повезъ Мареу въ больницу. Тутъ больныхъ было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. Къ его великому удовольствію, въ этотъ разъ принималъ больныхъ не док-

торъ, который самъ былъ боленъ, а фельдшеръ Максимъ Николаичъ, старикъ, про котораго всѣ въ городѣ говорили, что хотя онъ и пьющій и дерется, но понимаетъ больше, чѣмъ докторъ.

— Здравія желаемъ,—сказалъ Яковъ, вводя старуху въ пріемную.—Извините, все безпокоимъ васъ, Максимъ Николаичъ, своими пустяшными дѣлами. Вотъ, изволите видѣть, захворалъ мой предметъ. Подруга жизни, какъ это говорится, извините за выраженіе...

Нахмуривъ сѣдыя брови и поглаживая бакены, фельдшеръ сталъ оглядывать старуху, а она сидѣла на табуретѣ сгорбившись и тощая, остроносая, съ открытымъ ртомъ походила въ профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Такъ...—медленно проговорилъ фельдшеръ и вздохнулъ.—Инфлуэнца, а можетъ и горячка. Теперь по городу тифъ ходитъ. Что жъ? Старушка пожила, слава Богу... Сколько ей?

— Да безъ года семьдесятъ, Максимъ Николаичъ.

— Что жъ? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили замѣтить, Максимъ Николаичъ, — сказалъ Яковъ, улыбаясь изъ вѣжливости:—и чувствительно васъ благодаримъ за вашу пріятность, но позвольте вамъ выразиться, всякому насѣкомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказалъ фельдшеръ такимъ тономъ, какъ будто отъ него зависѣло жить старухѣ или умереть.— Ну, такъ вотъ, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компрессъ и давай вотъ эти порошки по два въ день. А за симъ досвиданція, бонжуръ.

По выраженію его лица Яковъ видѣлъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марѳа помретъ очень скоро, не сегодня—завтра. Онъ слегка толкнулъ фельдшера подъ локоть, подмигнулъ глазомъ и сказалъ вполголоса:

— Ей бы, Максимъ Николаичъ, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи съ Богомъ. Досвиданція.

— Сдѣлайте такую милость,—взмолился Яковъ. — Сами изволите знать, если бъ у нея, скажемъ, животъ болѣлъ, или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то

вѣдь въ ней простуда! При простудѣ первое дѣло — кровь гнать, Максимъ Николаичъ.

А фельдшеръ уже вызвалъ слѣдующаго больного, и въ пріемную входила баба съ мальчикомъ.

— Ступай, ступай...—сказалъ онъ Якову, хмурясь.—Нечего тѣнь наводить.

— Въ такомъ случаѣ поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вѣчно Бога молить!

Фельдшеръ вспылилъ и крикнулъ:

— Поговори мнѣ еще! Ддубина...

Яковъ тоже вспылилъ и побагровѣлъ весь, но не сказалъ ни слова, а взялъ подъ руку Марѳу и повелъ ее изъ пріемной. Только когда ужъ садились въ телѣгу, онъ сурово и насмѣшливо поглядѣлъ на больницу и сказалъ:

— Насажали васъ тутъ артистовъ! Богатому небось поставилъ бы банки, а для бѣднаго человѣка и одной пьявки пожалѣлъ. Ироды!

Когда пріѣхали домой, Марѳа, войдя въ избу, минутъ десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжетъ, то Яковъ будетъ говорить объ убыткахъ и бранить ее за то, что она все лежитъ и не хочетъ работать. А Яковъ глядѣлъ на нее со скукой и вспоминалъ, что завтра Іоанна Богослова, послѣзавтра Николая Чудотворца, а потомъ воскресенье, потомъ понедѣльникъ—тяжелый день. Четыре дня нельзя будетъ работать, а навѣрное Марѳа умретъ въ какой-нибудь изъ этихъ дней; значитъ, гробъ надо дѣлать сегодня. Онъ взялъ свой желѣзный аршинъ, подошелъ къ старухѣ и снялъ съ нея мѣрку. Потомъ она легла, а онъ перекрестился и сталъ дѣлать гробъ.

Когда работа была кончена, Бронза надѣлъ очки и записалъ въ свою книжку:

«Марѳѣ Ивановой гробъ—2 р. 40 к.».

И вздохнулъ. Старуха все время лежала молча съ закрытыми глазами. Но вечеромъ, когда стемнѣло, она вдругъ позвала старика.

— Помнишь, Яковъ?—спросила она, глядя на него радостно.—Помнишь, пятьдесятъ лѣтъ назадъ намъ Богъ далъ ребеночка съ бѣлокурыми волосиками? Мы съ тобой тогда все на рѣчкѣ сидѣли и пѣсни пѣли... подъ вербой. — И, горько усмѣхнувшись, она добавила:—Умерла дѣвочка.

Яковъ напрягъ память, но никакъ не могъ вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебѣ мерещится,—сказалъ онъ.

Приходилъ батюшка, пріобщалъ и соборовалъ. Потомъ Мареа стала бормотать что-то непонятное и къ утру скончалась.

Старухи-сосѣдки обмыли, одѣли и въ гробъ положили. Чтобы не платить лишняго дьячку, Яковъ самъ читалъ псалтырь, и за могилку съ него ничего не взяли, такъ какъ кладбищенскій сторожъ былъ ему кумъ. Четыре мужика несли до кладбища гробъ, но не за деньги, а изъ уваженія. Шли за гробомъ старухи, нищіе, двое юродивыхъ, встрѣчный народъ набожно крестился... И Яковъ былъ очень доволенъ, что все такъ честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь въ послѣдній разъ съ Мареой, онъ потрогалъ рукой гробъ и подумалъ: «Хорошая работа!»

Но когда онъ возвращался съ кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыханье было горячее и тяжкое, ослабѣли ноги, тянуло къ питью. А тутъ еще полѣзли въ голову всякія мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь онъ ни разу не пожалѣлъ Мареы, не приласкалъ. Пятьдесятъ-два года, пока они жили въ одной избѣ, тянулись долго-долго, но какъ-то такъ вышло, что за все это время онъ ни разу не подумалъ о ней, не обратилъ вниманія, какъ будто она была кошка или собака. А вѣдь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала съ нимъ на одной кровати, а когда онъ возвращался пьяный со свадебъ, она всякій разъ съ благоговѣніемъ вѣшала его скрипку на стѣну и укладывала его спать и все это молча, съ робкимъ, заботливымъ выраженіемъ.

Навстрѣчу Якову, улыбаясь и кланяясь, шелъ Ротшильдъ.

— А я васъ ищу, дяденька!—сказалъ онъ.—Кланялись вамъ Мойсей Ильичъ и велѣли вамъ заразъ приходить къ нимъ.

— Якову было не до того. Ему хотѣлось плакать.

— Отстань!—сказалъ онъ и пошелъ дальше.

— А какъ же это можно? — встревожился Ротшильдъ, забѣгая впередъ.—Мойсей Ильичъ будутъ обижаться! Они велѣли заразъ!

Якову показалось противно, что жидъ запыхался, моргаетъ и что у него такъ много рыжихъ веснушекъ. И было гадко глядѣть на его зеленый сюртукъ съ темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лѣзешь ко мнѣ, чеснокъ?—крикнулъ Яковъ.— Не приставай!

Жидъ разсердился и тоже крикнулъ:

— Но ви пожалуйста потише, а то ви у меня черезъ заборъ нолетите!

— Прочь съ глазъ долой!—заревѣлъ Яковъ и бросился на него съ кулаками.—Житья нѣтъ отъ нархатыхъ!

Ротшильдъ помертвѣлъ отъ страха, присѣлъ и замахалъ руками надъ головой, какъ бы защищаясь отъ ударовъ, потомъ вскочилъ и побѣжалъ прочь что есть духу. На бѣгу онъ подпрыгивалъ, всплескивалъ руками, и видно было, какъ вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за нимъ съ криками: «Жидъ! Жидъ!». Собаки тоже погнались за нимъ съ лаемъ. Кто-то захохоталъ, потомъ свистнулъ, собаки залаяли громче и дружнѣе... Затѣмъ, должно-быть, собака укусила Ротшильда, такъ какъ послышался отчаянный, болѣзненный крикъ.

Яковъ погулялъ по выгону, потомъ пошелъ по краю города, куда глаза глядятъ, и мальчишки кричали: «Бронза идетъ! Бронза идетъ!» А вотъ и рѣка. Тутъ съ пискомъ носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и отъ воды шло такое сверканье, что было больно смотрѣть. Яковъ прошелся по тропинкѣ вдоль берега и видѣлъ, какъ изъ купальни вышла полная краснощекая дама, и подумалъ про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко отъ купальни мальчишки ловили на мясо раковъ; увидѣвъ его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вотъ широкая старая верба съ громаднымъ дупломъ, а на ней вороньи гнѣзда... И вдругъ въ памяти Якова, какъ живой, выросъ младенчикъ съ бѣлокурыми волосами и верба, про которую говорила Марѳа. Да, это и есть та самая верба— зеленая, тихая, грустная... Какъ она постарѣла, бѣдная!

Онъ сѣлъ подъ нее и сталъ вспоминать. На томъ берегу, гдѣ теперь заливной лугъ, въ ту пору стоялъ крупный березовый лѣсъ, а вонъ на той лысой горѣ, что виднѣется на горизонтѣ, тогда синѣлъ старый-старый сосновый боръ.

что безъ ихъ никакъ невозможно. Въ среду швадьба... Да-а! Господинъ Шаповаловъ выдаютъ дочку жа хорошаго целовѣка... И швадьба будетъ богатая, у-у!—добавилъ жидъ и прищурилъ одинъ глазъ.

— Не могу...— проговорилъ Яковъ, тяжело дыша. — Захворалъ, братъ.

И опять заигралъ, и слезы брызнули изъ глазъ на скрипку. Ротшильдъ внимательно слушалъ, ставши къ нему бокомъ и скрестивъ на груди руки. Испуганное, недоумѣвающее выраженіе на его лицѣ мало-по-малу смѣнилось скорбнымъ и страдальческимъ, онъ закатилъ глаза, какъ бы испытывая мучительный восторгъ, и проговорилъ: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекамъ и закапали на зеленый сюртукъ.

И потомъ весь день Яковъ лежалъ и тосковалъ. Когда вечеромъ батюшка, исповѣдуя, спросилъ его, не помнитъ ли онъ за собою какого-нибудь особеннаго грѣха, то онъ, напрягая слабѣющую память, вспомнилъ опять несчастное лицо Марѳы и отчаянный крикъ жида, котораго укусила собака, и сказалъ едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо,—отвѣтилъ батюшка.

И теперь въ городѣ всѣ спрашиваютъ: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купилъ онъ ее или укралъ, или, быть-можетъ, она попала къ нему въ закладъ? Онъ давно уже оставилъ флейту и играетъ теперь только на скрипкѣ. Изъ-подъ смычка у него льются такіе же жалобные звуки, какъ въ прежнее время изъ флейты, но когда онъ старается повторить то, что игралъ Яковъ, сидя на порогѣ, то у него выходитъ нѣчто такое унылое и скорбное, что слушатели плачутъ, и самъ онъ подъ конецъ закатываетъ глаза и говоритъ: «Ваххх!..» И эта новая пѣсня такъ понравилась въ городѣ, что Ротшильда приглашаютъ къ себѣ наперерывъ купцы и чиновники и заставляютъ играть ее по десяти разъ.

Оглавленіе

IX ТОМА.

	стр.
Страхъ	1
Разсказъ неизвѣстнаго человѣка	16
Хорошіе люди	93
Бабье царство	104
Попрыгунья	144
Черный монахъ	169
Скрипка Ротшильда	201

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Володя большой и Володя маленькій.—Учитель словесности.—Въ усадьбѣ.—Студентъ.—Сосѣди.—Три года.—Убійство.—Аріадна.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКІЙ.

— Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядомъ съ ямщикомъ!—говорила громко Софья Львовна.—Ямщикъ, погоди, я сяду съ тобой на козлы.

Она стояла въ саняхъ, а ея мужъ Владиміръ Никитычъ и другъ дѣтства Владиміръ Михайлычъ держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

— Я говорилъ, не слѣдовало давать ей коньяку,—шепнулъ съ досадой Владиміръ Никитычъ своему спутнику.—Экій ты, право!

Полковникъ зналъ по опыту, что у такихъ женщинъ, какъ его жена Софья Львовна, вслѣдъ за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступаетъ истерическій смѣхъ и потомъ плачъ. Онъ боялся, что теперь, когда они пріѣдутъ домой, ему, вмѣсто того чтобы спать, придется возиться съ компрессами и каплями.

— Тирр!—кричала Софья Львовна.—Я хочу править!

Она была искренно весела и торжествовала. Въ послѣдніе два мѣсяца, съ самаго дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и, какъ говорится, par dépit; сегодня же въ загородномъ ресторанѣ она убѣдилась, наконецъ, что любитъ его страстно. Несмотря на свои пятьдесятъ четыре года, онъ былъ такъ строенъ, ловокъ, гибокъ, такъ мило каламбурилъ и подпѣвалъ цыганкамъ. Право, теперь старики въ тысячу разъ интереснѣе молодыхъ, и похоже на то, какъ будто старость и молодость помѣнялись своими ролями. Полковникъ старше ея отца на два года, но можетъ ли это обстоятельство имѣть какое-

нибудь значеніе, если, говоря по совѣсти, жизненной силы, бодрости и свѣжести въ немъ неизмѣримо больше, чѣмъ въ ней самой, хотя ей только двадцать три года?

«О, мой милый!—думала она.—Чудный!»

Въ ресторанѣ она также убѣдилась, что отъ прежняго чувства въ ея душѣ не осталось даже искры. Къ другу дѣтства Владиміру Михайлычу или, попросту, Володѣ, котораго она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаянія, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечеръ онъ казался ей вялымъ, соннымъ, неинтереснымъ, ничтожнымъ, и его хладнокровіе, съ какимъ онъ обыкновенно уклоняется отъ платежа по ресторанным счетамъ, на этотъ разъ возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бѣдный, то сидите дома». Платилъ одинъ только полковникъ.

Оттого, быть-можетъ, что въ глазахъ у нея мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самыя разнообразныя мысли приходили ей въ голову. Она думала: по счету въ ресторанѣ уплачено сто двадцать и цыганамъ — сто, и завтра она, если захочетъ, можетъ бросить на вѣтеръ хоть тысячу рублей, а два мѣсяца назадъ, до свадьбы, у нея не было и трехъ рублей собственныхъ, и за каждымъ пустякомъ приходилось обращаться къ отцу. Какая перемѣна въ жизни!

Мысли у нея путались, и она вспоминала, какъ полковникъ Ягичъ, ея теперешній мужъ, когда ей было лѣтъ десять, ухаживалъ за тетей, и всѣ въ домѣ говорили, что онъ погубилъ ее, и въ самомъ дѣлѣ тетя часто выходила къ обѣду съ заплаканными глазами и все куда-то уѣзжала, и говорили про нее, что она, бѣдняжка, не находитъ себѣ мѣста. Онъ былъ тогда очень красивъ и имѣлъ необычайный успѣхъ у женщинъ, такъ что его зналъ весь городъ, и разсказывали про него, будто онъ каждый день ѣздилъ съ визитами къ своимъ поклонницамъ, какъ докторъ къ больнымъ. И теперь, даже несмотря на сѣдину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно въ профиль, кажется прекраснымъ.

Отецъ Софьи Львовны былъ военнымъ докторомъ и служилъ когда-то въ одномъ полку съ Ягичемъ. Отецъ Володи тоже былъ военнымъ докторомъ и тоже служилъ когда-то въ одномъ полку съ ея отцомъ и съ Ягичемъ. Несмотря

на любовныя приключенія, часто очень сложныя и безпокойныя, Володя учился прекрасно; онъ кончилъ курсъ въ университетѣ съ большимъ успѣхомъ и теперь избралъ своею спеціальностью иностранную литературу и, какъ говорятъ, пишетъ диссертацію. Живетъ онъ въ казармахъ, у своего отца, военнаго доктора, и не имѣетъ собственныхъ денегъ, хотя ему уже тридцать лѣтъ. Въ дѣтствѣ Софья Львовна и онъ жили въ разныхъ квартирахъ, но подъ одною крышей, и онъ часто приходилъ къ ней играть, и ихъ вмѣстѣ учили танцовать и говорить по-французски; но когда онъ выросъ и сдѣлался стройнымъ, очень красивымъ юношей, она стала стыдиться его, потомъ полюбила безумно и любила до послѣдняго времени, пока не вышла за Ягича. Онъ тоже имѣлъ необыкновенный успѣхъ у женщинъ, чуть ли не съ четырнадцати лѣтъ, и дамы, которыя для него измѣняли своимъ мужьямъ, оправдывались тѣмъ, что Володя маленькій. Про него недавно кто-то разсказывалъ, будто бы онъ, когда былъ студентомъ, жилъ въ номерахъ, поближе къ университету, и всякій разъ, бывало, какъ постучишься къ нему, то слышались за дверью его шаги и затѣмъ извиненіе вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul». Ягичъ приходилъ отъ него въ восторгъ и благословлялъ его на дальнѣйшее, какъ Державинъ Пушкина, и, повидимому, любилъ его. Оба они по цѣлымъ часамъ молча играли на бильярдѣ или въ пикетъ, и если Ягичъ ѣхалъ куда-нибудь на тройкѣ, то бралъ съ собою и Володю, и въ тайны своей диссертаціи Володя посвящалъ только одного Ягича. Въ первое время, когда полковникъ былъ помоложе, они часто попадали въ положеніе соперниковъ, но никогда не ревновали другъ къ другу. Въ обществѣ, гдѣ они бывали вмѣстѣ, Ягича прозвали Володей большимъ, а его друга—Володей маленькимъ.

Въ саняхъ, кромѣ Володи большого, Володи маленькаго и Софьи Львовны, находилась еще одна особа—Маргарита Александровна, или, какъ ее всѣ звали, Рита, кузина госпожи Ягичъ, дѣвушка уже за тридцать, очень блѣдная, съ черными бровями, въ pince-nez, курившая папиросы безъ передышки, даже на сильномъ морозѣ; всегда у нея на груди и на колѣняхъ былъ пепелъ. Она говорила въ носъ, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньякъ, сколько угодно, и не пьянѣла, и двусмысленные

анекдоты разсказывала вяло, безвкусно. Дома она отъ утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая ихъ пепломъ, или кушала мороженыя яблоки.

— Соня, перестань бѣситься,—сказала она нараспѣвъ.— Право, глупо даже.

Въ виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирѣла, прижалась къ мужу и вся отдалась своимъ мыслямъ. Володя маленькій сидѣлъ противъ. Теперь уже къ веселымъ, легкимъ мыслямъ стали примѣшиваться и мрачныя. Она думала: этому человѣку, который сидитъ противъ, было извѣстно, что она его любила, и онъ, конечно, вѣрилъ разговорамъ, что она вышла за полковника par dépit. Она еще ни разу не признавалась ему въ любви и не хотѣла, чтобы онъ зналъ, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что онъ превосходно понималъ ее — и самолюбіе ея страдало. Но въ ея положеніи унизительнѣе всего было то, что послѣ свадьбы этотъ Володя маленькій вдругъ сталъ обращать на нее вниманіе, чего раньше никогда не бывало; просиживалъ съ ней по цѣлымъ часамъ молча или болтая о пустякахъ, и теперь въ саняхъ, не разговаривая съ нею, онъ слегка наступалъ ей на ногу и пожималъ руку; очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замужъ; и очевидно было, что онъ презираетъ ее, и что она возбуждаетъ въ немъ интересъ лишь извѣстнаго свойства, какъ дурная и непорядочная женщина. И когда въ ея душѣ торжество и любовь къ мужу мѣшались съ чувствомъ униженія и оскорбленной гордости, то ею овладѣвалъ задоръ и хотѣлось тогда сѣсть на козлы и кричать, подсвистывать...

Какъ разъ въ то самое время, когда проѣзжали мимо женскаго монастыря, раздался ударъ большого тысячепудоваго колокола. Рита перекрестилась.

— Въ этомъ монастырѣ наша Оля, — сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

— Зачѣмъ она пошла въ монастырь? — спросилъ полковникъ.

— Par dépit,—сердито отвѣтила Рита, очевидно намекая на бракъ Софьи Львовны съ Ягичемъ. — Теперь въ модѣ это par dépit. Вызовъ всему свѣту. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеровъ и вдругъ—на, поди! Удивила!

— Это неправда, — сказалъ Володя маленькій, опуская воротникъ шубы и показывая свое красивое лицо. — Тутъ не par dépit, а сплошной ужасъ, если хотите. Ея брата, Дмитрія, сослали въ каторжныя работы, и теперь неизвѣстно, гдѣ онъ. А мать умерла съ горя.

Онъ опять поднялъ воротникъ.

— И хорошо сдѣлала Оля,—добавилъ онъ глухо.—Жить на положеніи воспитанницы, да еще съ такимъ золотомъ, какъ Софья Львовна,—тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала въ его голосѣ презрительный тонъ и хотѣла сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладѣлъ тотъ же задоръ; она поднялась на ноги и крикнула плачущимъ голосомъ:

— Я хочу къ утренѣ! Ямщикъ, назадъ! Я хочу Олю видѣть!

Повернули назадъ. Звонъ монастырскаго колокола былъ густой, и, какъ казалось Софьѣ Львовнѣ, что-то въ немъ напоминало объ Олѣ и ея жизни. Зазвонили и въ другихъ церквахъ. Когда ямщикъ осадилъ тройку, Софья Львовна выскочила изъ саней и одна, безъ провожатаго, быстро пошла къ воротамъ.

— Скорѣй, пожалуйста!—крикнулъ ей мужъ.—Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потомъ по аллеѣ, которая вела отъ воротъ къ главной церкви, и снѣжокъ хрустѣлъ у нея подъ ногами, и звонъ раздавался уже надъ самою головой и, казалось, проникалъ во все ея существо. Вотъ церковная дверь, три ступеньки внизъ, затѣмъ притворъ съ изображеніями святыхъ по обѣ стороны, запахло можжевельникомъ и ладаномъ, опять дверь, и темная фигурка отворяетъ ее и кланяется низко-низко... Въ церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свѣчи на ставникахъ, другая зажигала паникадило. Тамъ и сямъ, ближе къ колоннамъ и боковымъ придѣламъ, стояли неподвижно черныя фигуры. «Значитъ, какъ онѣ стоятъ теперь, такъ ужъ не сойдутъ до самаго утра»,—подумала Софья Львовна, и ей показалось тутъ темно, холодно, скучно,—скучнѣе, чѣмъ на кладбищѣ. Она съ чувствомъ скуки поглядѣла на неподвижныя, застывшія фигуры, и вдругъ сердце у нея сжалось. Почему-то въ одной изъ монашенокъ, небольшого роста, съ худенькими плечами и съ черною косынкой на головѣ она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила въ монастырь, была

полная и какъ будто повыше. Нерѣшительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла къ послушницѣ и черезъ плечо поглядѣла ей въ лицо, и узнала Олю.

— Оля! — сказала она и всплеснула руками, и ужъ не могла говорить отъ волненія.—Оля!

Монашенка тотчасъ же узнала ее, удивленно подняла брови, и ея блѣдное, недавно умытое, чистое лицо и даже, какъ показалось, ея бѣлый платочекъ, который виденъ былъ изъ-подъ косынки, просіяли отъ радости.

— Вотъ Господь чудо послалъ, — сказала она и тоже всплеснула своими худыми, блѣдными ручками.

Софья Львовна крѣпко обняла ее и поцѣловала, и боялась при этомъ, чтобы отъ нея не пахло виномъ.

— А мы сейчасъ ѣхали мимо и вспомнили про тебя,— говорила она, запыхавшись, какъ отъ быстрой ходьбы.— Какая ты блѣдная, Господи! Я... я очень рада тебя видѣть. Ну, что? Какъ? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на другихъ монахинь и продолжала уже тихимъ голосомъ:

— У насъ столько перемѣнъ... Ты знаешь, я замужъ вышла за Ягича, Владиміра Никитича. Ты его помнишь, навѣрное... Я очень счастлива съ нимъ.

— Ну, слава Богу. А папа твой здоровъ?

— Здоровъ. Часто про тебя вспоминаетъ. Ты же, Оля, приходи къ намъ на праздникахъ. Слышишь?

— Приду,—сказала Оля и усмѣхнулась. — Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потомъ вытерла глаза и сказала:

— Рита будетъ очень жалѣть, что тебя не видѣла. Она тоже съ нами. И Володя тутъ. Они около воротъ. Какъ бы они были рады, если бы ты повидалась съ ними! Пойдемъ къ нимъ, вѣдь служба еще не начиналась.

— Пойдемъ,—согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вмѣстѣ съ Софьей Львовной пошла къ выходу.

— Такъ ты говоришь, Сонечка, счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота.

— Очень.

— Ну, слава Богу.

Володя большой и Володя маленькій, увидѣвъ монашенку,

вышли изъ саней и почтительно поздоровались; оба были замѣтно тронуты, что у нея блѣдное лицо и черное монашеское платье, и обоимъ было пріятно, что она вспомнила про нихъ и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна окутала ее въ пледъ и прикрыла одною полой своей шубы. Недавнія слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, безпокойная и въ сущности нечистая ночь неожиданно кончилась такъ чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

— Давайте ее прокатимъ! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашенка откажется—святые на тройкахъ не ѣздятъ, — но къ ихъ удивленію она согласилась и сѣла въ сани. И когда тройка помчалась къ заставѣ, всѣ молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думалъ о томъ, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нея теперь было безстрастное, мало выразительное, холодное и блѣдное, прозрачное, будто въ жилахъ ея текла вода, а не кровь. А года два-три назадъ она была полной, румяной, говорила о женихахъ, хохотала отъ малѣйшаго пустяка...

Около заставы тройка повернула назадъ; когда она минутъ черезъ десять остановилась около монастыря, Оля вышла изъ саней. На колокольнѣ уже перезванивали.

— Спаси васъ Господи,—сказала Оля и низко, по-монашески, поклонилась.

— Такъ ты же приходи, Оля.

— Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла въ темныхъ воротахъ. И послѣ этого почему-то, когда тройка поѣхала дальше, стало грустно-грустно. Всѣ молчали. Софья Львовна почувствовала во всемъ тѣлѣ слабость и пала духомъ; то, что она заставила монашенку сѣсть въ сани и прокатиться на тройкѣ, въ нетрезвой компаніи, казалось ей уже глупымъ, безтактнымъ и похожимъ на кощунство; вмѣстѣ съ хмелемъ у нея прошло и желаніе обманывать себя, и для нея уже ясно было, что мужа своего она не любитъ и любить не можетъ, что все вздоръ и глупость. Она вышла изъ расчета, потому что онъ, по выраженію ея институтскихъ подругъ, безумно богатъ, и потому что ей страшно было оставаться въ старыхъ дѣвахъ, какъ Рита, и потому, что

надоѣлъ отецъ-докторъ и хотѣлось досадить Володѣ маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это такъ тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какія блага въ свѣтѣ не согласилась бы вѣнчаться. Но теперь бѣды не поправишь. Надо мириться.

Пріѣхали домой. Ложась въ теплую мягкую постель и укрываясь одѣяломъ, Софья Львовна вспомнила темный притворъ, запахъ ладана и фигуры у колоннъ, и ей было жутко отъ мысли, что эти фигуры будутъ стоять неподвижно все время, пока она будетъ спать. Утреня будетъ длинная-длинная, потомъ часы, потомъ обѣдня, молебенъ...

«Но вѣдь Богъ есть, навѣрное есть, и я непремѣнно должна умереть, значитъ, надо рано или поздно подумать о душѣ, о вѣчной жизни, какъ Оля. Оля теперь спасена, она рѣшила для себя всѣ вопросы... Но если Бога нѣтъ? Тогда пропала ея жизнь. То-есть какъ пропала? Почему пропала?»

А черезъ минуту въ голову опять лѣзетъ мысль:

«Богъ есть, смерть непремѣнно придетъ, надо о душѣ подумать. Если Оля сію минуту увидитъ свою смерть, то ей не будетъ страшно. Она готова. А главное, она уже рѣшила для себя вопросъ жизни. Богъ есть... да... Но неужели нѣтъ другого выхода, какъ только идти въ монастырь? Вѣдь идти въ монастырь — значитъ отречься отъ жизни, погубить ее...»

Софьѣ Львовнѣ становилось немножко страшно; она спрятала голову подъ подушку.

— Не надо объ этомъ думать,—шептала она.—Не надо...

Ягичъ ходилъ въ сосѣдней комнатѣ по ковру, мягко звеня шпорами, и о чемъ-то думалъ. Софьѣ Львовнѣ пришла мысль, что этотъ человѣкъ близокъ и дорогъ ей только въ одномъ: его тоже зовутъ Владиміромъ. Она сѣла на постель и позвала нѣжно:

— Володя!

— Что тебѣ?—отозвался мужъ.

— Ничего.

Она опять легла. Послышался звонъ, быть-можетъ, тотъ же самый монастырскій, припомнились ей опять притворъ и темныя фигуры, забродили въ головѣ мысли о Богѣ и неизбѣжной смерти, и она укрылась съ головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что прежде чѣмъ насту-

пять старость и смерть, будетъ еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо дня въ день придется считаться съ близостью нелюбимаго человѣка, который вотъ пришелъ уже въ спальню и ложится спать, и придется душить въ себѣ безнадежную любовь къ другому—молодому, обаятельному, и, какъ казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотѣла пожелать ему доброй ночи, но вмѣсто этого вдругъ заплакала. Ей было досадно на себя.

— Ну, начинается музыка!—проговорилъ Ягичъ, дѣлая удареніе на *зы*.

Она успокоилась, но поздно, только къ десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всѣмъ тѣломъ, но зато у ней начиналась сильная головная боль. Ягичъ торопился къ поздней обѣднѣ и въ сосѣдней комнатѣ ворчалъ на денщика, который помогалъ ему одѣваться. Онъ вошелъ въ спальню разъ, мягко звеня шпорами, и взялъ что-то, потомъ въ другой разъ—уже въ эполетахъ и орденахъ, чуть-чуть прихрамывая отъ ревматизма, и Софьѣ Львовнѣ показалось почему-то, что онъ ходитъ и смотритъ какъ хищникъ.

Она слышала, какъ Ягичъ позвонилъ у телефона.

— Будьте добры, соедините съ Васильевскими казармами!—сказалъ онъ; а черезъ минуту:—Васильевскія казармы? Пригласите, пожалуйста, къ телефону доктора Салимовича...—И еще черезъ минуту:—Съ кѣмъ говорю? Ты, Володя? Очень радъ. Попроси, милый, отца пріѣхать сейчасъ къ намъ, а то моя супруга сильно расклеилась послѣ вчерашняго. Нѣтъ дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Merci.

Ягичъ въ третій разъ вошелъ въ спальню, нагнулся къ женѣ, перекрестилъ ее, далъ ей поцѣловать свою руку (женщины, которыя его любили, цѣловали ему руку, и онъ привыкъ къ этому) и сказалъ, что вернется къ обѣду. И вышелъ.

Въ двѣнадцатомъ часу горничная доложила, что пришли Владиміръ Михайлычъ. Софья Львовна, пошатываясь отъ усталости и головной боли, быстро надѣла свой новый удивительный капотъ сиреневаго цвѣта, съ мѣховою обшивкой, наскоро кое-какъ причесалась; она чувствовала въ своей душѣ невыразимую нѣжность и дрожала отъ радости и страха, что онъ можетъ уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленькій пришелъ съ визитомъ, какъ слѣдуетъ, во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ. Когда въ гостиную вошла Софья Львовна, онъ поцѣловалъ у нея руку и искренно пожалѣлъ, что она нездорова. Потомъ, когда сѣли, похвалилъ ея капотъ.

— А меня разстроило вчерашнее свиданіе съ Олей, — сказала она. — Сначала мнѣ было жутко, но теперь я ей завидую. Она—несокрушимая скала, ее съ мѣста не сдвинешь; но неужели, Володя, у нея не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо, значитъ рѣшать вопросъ жизни? Вѣдь это смерть, а не жизнь.

При воспоминаніи объ Олѣ на лицѣ у Володи маленькаго показалось умиленіе.

— Вотъ вы, Володя, умный человѣкъ, — сказала Софья Львовна: — научите меня, чтобы я поступила точно такъ же, какъ она. Конечно, я невѣрующая и въ монастырь не пошла бы, но вѣдь можно сдѣлать что-нибудь равносильное. Мнѣ не легко живется, — продолжала она, помолчавъ немного.—Научите же... Скажите мнѣ что-нибудь убѣдительное. Хоть одно слово скажите.

— Одно слово? Извольте: тарарабумбія.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо. — Вы говорите со мной какимъ-то особеннымъ, простите, фатовскимъ языкомъ, какъ не говорятъ съ друзьями и съ порядочными женщинами. Вы имѣете успѣхъ, какъ ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о наукѣ? Отчего? Я не достойна?

Володя маленькій досадливо поморщился и сказалъ:

— Отчего это вамъ такъ вдругъ науки захотѣлось? А, можетъ, хотите конституціи? Или, можетъ, севрюжины съ хрѣномъ?

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, безпринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибокъ, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но вѣдь вы, Володя, старше меня на десять лѣтъ, а мужъ старше меня на тридцать лѣтъ. Я росла на вашихъ глазахъ, и если бы вы захотѣли, то могли бы сдѣлать изъ меня все, что вамъ угодно, хоть ангела. Но вы... (голосъ у нея дрогнулъ), поступаете со мной ужасно. Ягичъ женился на мнѣ, когда уже постарѣлъ, а вы...

— Ну, полно, полно, — сказалъ Володя, садясь поближе

и цѣлуя ей обѣ руки.—Предоставимъ Шопенгауерамъ философствовать и доказывать все, что̀ имъ угодно, а сами будемъ цѣловать эти ручки.

— Вы меня презираете и если бы вы знали, какъ я страдаю отъ этого!—сказала она нерѣшительно, заранѣе зная, что онъ ей не повѣритъ.—А если бы вы знали, какъ мнѣ хочется измѣниться, начать новую жизнь! Я съ восторгомъ думаю объ этомъ,—проговорила она, и въ самомъ дѣлѣ прослезилась отъ восторга. — Быть хорошимъ, честнымъ, чистымъ человѣкомъ, не лгать, имѣть цѣль въ жизни...

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю!—сказалъ Володя, и лицо его приняло капризное выраженіе. — Ей Богу, точно на сценѣ. Будемъ держать себя почеловѣчески.

Чтобы онъ не разсердился и не ушелъ, она стала оправдываться и въ угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила объ Олѣ и про то, какъ ей хочется рѣшить вопросъ своей жизни, стать человѣкомъ.

— Тара...ра...бумбія...—запѣлъ онъ вполголоса.—Тара... ра...бумбія!

И неожиданно взялъ ее за талію. А о̀на, сама не зная, что̀ дѣлаетъ, положила ему на плечи руки и минуту съ восхищеніемъ, точно въ чаду какомъ-то, смотрѣла на его умное, насмѣшливое лицо, лобъ, глаза, прекрасную бороду...

— Ты самъ давно знаешь, я люблю тебя, — созналась она ему и мучительно покраснѣла, и почувствовала, что у нея даже губы судорожно покривились отъ стыда.—Я тебя люблю. Зачѣмъ же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крѣпко поцѣловала его въ губы, и долго, пожалуй, съ минуту, никакъ не могла кончить этого поцѣлуя, хотя знала, что это неприлично, что онъ самъ можетъ осудить ее, можетъ войти прислуга...

— О, какъ ты меня мучаешь!—повторила она.

Когда черезъ полчаса онъ, получившій то, что ему нужно было, сидѣлъ въ столовой и закусывалъ, она стояла передъ нимъ на колѣняхъ и съ жадностью смотрѣла ему въ лицо, и онъ говорилъ ей, что она похожа на собачку, которая ждетъ, чтобъ ей бросили кусочекъ ветчины. Потомъ онъ посадилъ ее къ себѣ на одно колѣно и, качая какъ ребенка, запѣлъ:

— Тара... рабумбія... Тара... рабумбія!

А когда онъ собрался уходить, она спрашивала его страстнымъ голосомъ:

— Когда? Сегодня? Гдѣ?

И она протянула къ его рту обѣ руки, какъ бы желая схватить отвѣтъ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно, — сказалъ онъ, подумавъ.—Вотъ развѣ завтра.

И они разстались. Передъ обѣдомъ Софья Львовна поѣхала въ монастырь къ Олѣ, но тамъ сказали ей, что Оля гдѣ-то по покойникѣ читаетъ псалтирь. Изъ монастыря она поѣхала къ отцу и тоже не застала дома, потомъ перемѣнила извозчика и стала ѣздить по улицамъ и переулкамъ безъ всякой цѣли, и каталась такъ до вечера. И почему-то при этомъ вспомнилась ей та самая тетя съ заплаканными глазами, которая не находила себѣ мѣста.

А ночью опять катались на тройкахъ и слушали цыганъ въ загородномъ ресторанѣ. И когда опять проѣзжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко отъ мысли, что для дѣвушекъ и женщинъ ея круга нѣтъ другого выхода, какъ не переставая кататься на тройкахъ и лгать, или же идти въ монастырь, убивать плоть... А на другой день было свиданіе, и опять Софья Львовна ѣздила по городу одна на извозчикѣ и вспоминала про тетю.

Черезъ недѣлю Володя маленькій бросилъ ее. И послѣ этого жизнь пошла попрежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковникъ и Володя маленькій играли подолгу на бильярдѣ и въ пикетъ, Рита безвкусно и вяло разсказывала анекдоты, Софья Львовна все ѣздила на извозчикѣ и просила мужа, чтобы онъ покаталъ ее на тройкѣ.

Заѣзжая почти каждый день въ монастырь, она надоѣдала Олѣ, жаловалась ей на свои невыносимыя страданія, плакала и при этомъ чувствовала, что въ келью вмѣстѣ съ нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тономъ заученнаго урока говорила ей, что все это ничего, все пройдетъ и Богъ проститъ.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ.

I.

Послышался стукъ лошадиныхъ копытъ о бревенчатый полъ; вывели изъ конюшни сначала вороного «Графа Нулина», потомъ бѣлаго «Великана», потомъ сестру его «Майку». Все это были превосходныя и дорогія лошади. Старикъ Шелестовъ осѣдлалъ «Великана» и сказалъ, обращаясь къ своей дочери Машѣ:

— Ну, Марія Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей въ семьѣ; ей было уже 18 лѣтъ, но въ семьѣ еще не отвыкли считать ее маленькой и потому всѣ звали ее Маней и Манюсей; а послѣ того, какъ въ городѣ побывалъ циркъ, который она усердно посѣщала, ее всѣ стали звать Маріей Годфруа.

— Опля!—крикнула она, садясь на «Великана».

Сестра ея Варя сѣла на «Майку», Никитинъ—на «Графа Нулина», офицеры — на своихъ лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрѣя бѣлыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагомъ потянулась со двора.

Никитинъ замѣтилъ, что, когда садились на лошадей и потомъ выѣхали на улицу, Манюся почему-то обращала вниманіе только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и «Графа Нулина» и говорила:

— Вы, Сергѣй Васильичъ, держите его все время на мундштукѣ. Не давайте ему пугаться. Онъ притворяется.

И оттого ли, что ея «Великанъ» былъ въ большой дружбѣ съ «Графомъ Нулинымъ», или выходило это случайно, она,

какъ вчера и третьяго дня, ѣхала все время рядомъ съ Никитинымъ. А онъ глядѣлъ на ея маленькое стройное тѣло, сидѣвшее на бѣломъ гордомъ животномъ, на ея тонкій профиль, на цилиндръ, который вовсе не шелъ къ ней и дѣлалъ ее старѣе, чѣмъ она была,—глядѣлъ съ радостью, съ умиленіемъ, съ восторгомъ, слушалъ ее, мало понималъ и думалъ:

«Даю себѣ честное слово, клянусь Богомъ, что не буду робѣть и сегодня же объяснюсь съ ней»...

Былъ седьмой часъ вечера—время, когда бѣлая акація и сирень пахнутъ такъ сильно, что, кажется, воздухъ и сами деревья стынутъ отъ своего запаха. Въ городскомъ саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всѣхъ сторонъ слышались смѣхъ, говоръ, хлопанье калитокъ. Встрѣчные солдаты козыряли офицерамъ, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всѣмъ гулящимъ, спѣшившимъ въ садъ на музыку, было очень пріятно глядѣть на кавалькаду. А какъ тепло, какъ мягки на видъ облака, разбросанныя въ безпорядкѣ по небу, какъ кротки и уютны тѣни тополей и акацій,— тѣни, которыя тянутся черезъ всю широкую улицу и захватываютъ на другой сторонѣ дома до самыхъ балконовъ и вторыхъ этажей!

Выѣхали за городъ и побѣжали рысью по большой дорогѣ. Здѣсь уже не пахло акаціей и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полемъ, зеленѣли молодыя рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, вездѣ зелено, только кое-гдѣ чернѣютъ бахчи, да далеко влѣво, на кладбищѣ, бѣлѣетъ полоса отцвѣтающихъ яблонь.

Проѣхали мимо боенъ, потомъ мимо пивовареннаго завода, обогнали толпу солдатъ-музыкантовъ, спѣшившихъ въ загородный садъ.

— У Полянскаго очень хорошая лошадь, я не спорю,— говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ѣхавшаго рядомъ съ Варей.—Но она бракованная. Совсѣмъ ужъ некстати это бѣлое пятно на лѣвой ногѣ и, поглядите, головой закидываетъ. Теперь ужъ ее ничѣмъ не отучишь, такъ и будетъ закидывать, пока не издохнетъ.

Манюся была такой же страстной лошадницей, какъ и ея отецъ. Она страдала, когда видѣла у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки

у чужихъ лошадей. Никитинъ же ничего не понималъ въ лошадяхъ, для него было рѣшительно все равно, держать ли лошадь на поводьяхъ или на мундштукѣ, скакать ли рысью или галопомъ; онъ только чувствовалъ, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умѣютъ держаться на сѣдлѣ, должны нравиться Манюсѣ больше, чѣмъ онъ. И онъ ревновалъ ее къ офицерамъ.

Когда ѣхали мимо загороднаго сада, кто-то предложилъ заѣхать и выпить сельтерской воды. Заѣхали. Въ саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, такъ что теперь сквозь молодую листву виденъ былъ весь садъ съ его эстрадой, столиками, качелями, видны были всѣ вороньи гнѣзда, похожія на большія шапки. Всадники и ихъ дамы спѣшились около одного изъ столиковъ и потребовали сельтерской воды. Къ нимъ стали подходить знакомые, гулявшіе въ саду. Между прочимъ подошли военный докторъ въ высокихъ сапогахъ и капельмейстеръ, дожидавшійся своихъ музыкантовъ. Должно-быть, докторъ принялъ Никитина за студента, потому что спросилъ:

— Вы изволили на каникулы пріѣхать?

— Нѣтъ, я здѣсь постоянно живу, — отвѣтилъ Никитинъ.—Я служу преподавателемъ въ гимназіи.

— Неужели?—удивился докторъ. — Такъ молоды и уже учительствуете?

— Гдѣ же молодъ? Мнѣ 26 лѣтъ... Слава Тебѣ Господи.

— У васъ и борода, и усы; но все же на видъ вамъ нельзя дать больше 22—23 лѣтъ. Какъ вы моложавы!

«Что за свинство!—подумалъ Никитинъ.—И этотъ считаетъ меня молокососомъ!»

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводилъ рѣчь объ его молодости, особенно въ присутствіи женщинъ или гимназистовъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ пріѣхалъ въ этотъ городъ и поступилъ на службу, онъ сталъ ненавидѣть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодымъ человѣкомъ, женщины охотнѣе танцовали съ нимъ, чѣмъ слушали его длинныя разсужденія. И онъ дорого далъ бы за то, чтобы постарѣть теперь лѣтъ на десять.

Изъ сада поѣхали дальше, на ферму Шелестовыхъ. Здѣсь остановились около воротъ, вызвали жену приказчика Пра-

сковью и потребовали парного молока. Молока никто не сталъ пить, всѣ переглянулись, засмѣялись и поскакали назадъ. Когда ѣхали обратно, въ загородномъ саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова отъ зари.

Манюся опять ѣхала рядомъ съ Никитинымъ. Ему хотѣлось заговорить о томъ, какъ страстно онъ ее любитъ, но онъ боялся, что его услышатъ офицеры и Варя, и молчалъ. Манюся тоже молчала, и онъ чувствовалъ, отчего она молчитъ и почему ѣдетъ рядомъ съ нимъ, и былъ такъ счастливъ, что земля, небо, городскіе огни, черный силуетъ пивовареннаго завода — все сливалось у него въ глазахъ во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его «Графъ Нулинъ» ѣдетъ по воздуху и хочетъ вскарабкаться на багровое небо.

Пріѣхали домой. На столѣ въ саду уже кипѣлъ самоваръ, и на одномъ краю стола со своими пріятелями, чиновниками окружного суда, сидѣлъ старикъ Шелестовъ и, по обыкновенію, что-то критиковалъ.

— Это хамство! — говорилъ онъ. — Хамство и больше ничего. Да-съ, хамство-съ!

Никитину съ тѣхъ поръ, какъ онъ влюбился въ Манюсю, все нравилось у Шелестовыхъ: и домъ, и садъ при домѣ, и вечерній чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любилъ часто произносить старикъ. Не нравилось ему только изобиліе собакъ и кошекъ, да египетскіе голуби, которые уныло стонали въ большой клѣткѣ на террасѣ. Собакъ дворовыхъ и комнатныхъ было такъ много, что за все время знакомства съ Шелестовыми онъ научился узнавать только двухъ: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облѣзлая собачонка съ мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидѣла; увидѣвъ его, она всякій разъ склоняла голову на бокъ, скалила зубы и начинала: «ррр... нга-нга-нга-нга... ррр...» Потомъ садилась подъ стулъ. Когда же онъ пытался прогнать ее изъ-подъ своего стула, она заливалась пронзительнымъ лаемъ, а хозяева говорили:

— Не бойтесь, она не кусается. Она у насъ добрая.

Сомъ же представлялъ изъ себя огромнаго чернаго пса на длинныхъ ногахъ и съ хвостомъ, жесткимъ какъ палка. За обѣдомъ и за чаемъ онъ обыкновенно ходилъ молча

подъ столомъ и стучалъ хвостомъ по сапогамъ и по ножкамъ стола. Это былъ добрый глупый песъ, но Никитинъ терпѣть его не могъ за то, что онъ имѣлъ привычку класть свою морду на колѣни обѣдающимъ и пачкать слюной брюки. Никитинъ не разъ пробовалъ бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкалъ по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюкъ отъ пятенъ.

Послѣ прогулки верхомъ, чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стаканъ всѣ выпили съ большимъ аппетитомъ и молча, передъ вторымъ же принялись спорить. Споры всякій разъ за чаемъ и за обѣдомъ начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивѣе Манюси, считалась самою умной и образованной въ домѣ и держала себя солидно, строго, какъ это и подобало старшей дочери, занявшей въ домѣ мѣсто покойной матери. На правахъ хозяйки она ходила при гостяхъ въ блузѣ, офицеровъ величала по фамиліи, на Манюсю глядѣла какъ на дѣвочку и говорила съ нею тономъ классной дамы. Называла она себя старою дѣвой — значитъ, была увѣрена, что выйдетъ замужъ.

Всякій разговоръ даже о погодѣ она непремѣнно сводила на споръ. У нея была какая-то страсть—ловить всѣхъ на словѣ, уличать въ противорѣчіи, придираться къ фразѣ. Вы начинаете говорить съ ней о чемъ-нибудь, а она уже пристально смотритъ вамъ въ лицо и вдругъ перебиваетъ: «Позвольте, позвольте, Петровъ, третьяго дня вы говорили совсѣмъ противоположное!»

Или же она насмѣшливо улыбается и говоритъ: «Однако, я замѣчаю, вы начинаете проповѣдывать принципы третьяго отдѣленія. Поздравляю васъ».

Если вы сострили или сказали каламбуръ, тотчасъ же вы слышите ея голосъ: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же остритъ офицеръ, то она дѣлаетъ презрительную гримасу и говоритъ: «Арррмейская острота!»

И это «ррр...» выходило у нея такъ внушительно, что Мушка непремѣнно отвѣчала ей изъ-подъ стула: «ррр... нга-нга-нга...»

Теперь за чаемъ споръ начался съ того, что Никитинъ заговорилъ о гимназическихъ экзаменахъ.

— Позвольте, Сергѣй Васильичъ,—перебила его Варя.— Вотъ вы говорите, что ученикамъ трудно. А кто вино-

ватъ, позвольте васъ спросить? Напримѣръ, вы задали ученикамъ VIII класса сочиненіе на тему: «Пушкинъ, какъ психологъ». Во-первыхъ, нельзя задавать такихъ трудныхъ темъ, а во-вторыхъ, какой же Пушкинъ психологъ? Ну, Щедринъ или, положимъ, Достоевскій — другое дѣло, а Пушкинъ великій поэтъ и больше ничего.

— Щедринъ самъ по себѣ, а Пушкинъ самъ по себѣ,— угрюмо отвѣтилъ Никитинъ.

— Я знаю, у васъ въ гимназіи не признаютъ Щедрина, но не въ этомъ дѣло. Вы скажите мнѣ, какой же Пушкинъ психологъ?

— А то развѣ не психологъ? Извольте, я приведу вамъ примѣры.

И Никитинъ продекламировалъ нѣсколько мѣстъ изъ Онѣгина, потомъ изъ Бориса Годунова.

— Никакой не вижу тутъ психологіи, — вздохнула Варя. — Психологомъ называется тотъ, кто описываетъ изгибы человѣческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

— Я знаю, какой вамъ нужно психологіи! — обидѣлся Никитинъ. — Вамъ нужно, чтобы кто-нибудь пилилъ мнѣ тупой пилою палецъ и чтобы я оралъ во все горло — это, по-вашему, психологія.

— Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мнѣ: почему же Пушкинъ психологъ?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чѣмъ-нибудь въ родѣ этого, то обыкновенно онъ вскакивалъ съ мѣста, хваталъ себя обѣими руками за голову и начиналъ со стономъ бѣгать изъ угла въ уголъ. И теперь то же самое: онъ вскочилъ, схватилъ себя за голову и со стономъ прошелся вокругъ стола, потомъ сѣлъ поодаль.

За него вступились офицеры. Штабсъ-капитанъ Полянскій сталъ увѣрять Варю, что Пушкинъ въ самомъ дѣлѣ психологъ, и въ доказательство привелъ два стиха изъ Лермонтова; поручикъ Гернетъ сказалъ, что если бы Пушкинъ не былъ психологомъ, то ему не поставили бы въ Москвѣ памятника.

— Это хамство!—доносилось съ другого конца стола.— Я такъ и губернатору сказалъ: это, ваше превосходительство, хамство!

— Я больше не спорю!—крикнулъ Никитинъ.—Это его же царствію не будетъ конца! Баста! Ахъ, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнулъ онъ на Сома, который положилъ ему на колѣни голову и лапу.

«Ррр... нга-нга-нга...» послышалось изъ-подъ стула.

— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя. — Сознайтесь!

Но пришли гостьи-барышни, и споръ прекратился самъ собой. Всѣ отправились въ залъ. Варя сѣла за рояль и стала играть танцы. Протанцовали сначала вальсъ, потомъ польку, потомъ кадриль съ grand-rond, которое провелъ по всѣмъ комнатамъ штабсъ-капитанъ Полянскій, потомъ опять стали танцовать вальсъ.

Старики во время танцевъ сидѣли въ залѣ, курили и смотрѣли на молодежь. Между ними находился и Шебалдинъ, директоръ городского кредитнаго общества, славившійся своей любовью къ литературѣ и сценическому искусству. Онъ положилъ начало мѣстному «Музыкально-драматическому кружку» и самъ принималъ участіе въ спектакляхъ, играя почему-то всегда только однихъ смѣшныхъ лакеевъ или читая нараспѣвъ «Грѣшницу». Звали его въ городѣ муміей, такъ какъ онъ былъ высокъ, очень тощъ, жилистъ и имѣлъ всегда торжественное выраженіе лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство онъ любилъ такъ искренно, что даже брилъ себѣ усы и бороду, а это еще больше дѣлало его похожимъ на мумію.

Послѣ grand-rond онъ нерѣшительно, какъ-то бокомъ подошелъ къ Никитину, кашлянулъ и сказалъ:

— Я имѣлъ удовольствіе присутствовать за чаемъ во время спора. Вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе. Мы съ вами единомышленники и мнѣ было бы очень пріятно поговорить съ вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургію» Лессинга?

— Нѣтъ, не читалъ.

Шебалдинъ ужаснулся и замахалъ руками такъ, какъ-будто ожегъ себѣ пальцы, и, ничего не говоря, попятился отъ Никитина. Фигура Шебалдина, его вопросъ и удивленіе показались Никитину смѣшными, но онъ все-таки подумалъ:

«Въ самомъ дѣлѣ неловко. Я—учитель словесности, а до сихъ поръ еще не читалъ Лессинга. Надо будетъ прочесть».

Передъ ужиномъ всѣ, молодые и старые, сѣли играть въ «судьбу». Взяли двѣ колоды картъ: одну сдали всѣмъ поровну, другую положили на столъ рубашкой вверхъ.

— У кого на рукахъ эта карта,—началъ торжественно старикъ Шелестовъ, поднимая верхнюю карту второй колоды: — тому судьба пойти сейчасъ въ дѣтскую и поцѣловаться тамъ съ няней.

Удовольствіе цѣловаться съ няней выпало на долю Шебалдина. Всѣ гурьбой окружили его, повели въ дѣтскую и со смѣхомъ, хлопая въ ладоши, заставили поцѣловаться съ няней. Поднялся шумъ, крикъ...

— Не такъ страстно! — кричалъ Шелестовъ, плача отъ смѣха. — Не такъ страстно!

Никитину вышла судьба исповѣдывать всѣхъ. Онъ сѣлъ на стулъ среди залы. Принесли шаль и накрыли его съ головой. Первой пришла къ нему исповѣдываться Варя.

— Я знаю ваши грѣхи, — началъ Никитинъ, глядя въ потемкахъ на ея строгій профиль. — Скажите мнѣ, сударыня, съ какой это стати вы каждый день гуляете съ Полянскимъ? Охъ, не даромъ, не даромъ она съ гусаромъ!

— Это плоско, — сказала Варя и ушла.

Затѣмъ подъ шалью заблестѣли большіе неподвижные глаза, обозначился въ потемкахъ милый профиль и запахло чѣмъ-то дорогимъ, давно знакомымъ, что напоминало Никитину комнату Манюси.

— Марія Годфруа, — сказалъ онъ и не узналъ своего голоса — такъ онъ былъ нѣженъ и мягокъ: — въ чемъ вы грѣшны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончикъ языка, потомъ засмѣялась и ушла. А черезъ минуту она уже стояла среди залы, хлопала въ ладоши и кричала:

— Ужинать, ужинать, ужинать!

И всѣ повалили въ столовую.

За ужиномъ Варя опять спорила и на этотъ разъ съ отцомъ. Полянскій солидно ѣлъ, пилъ красное вино и разсказывалъ Никитину, какъ онъ разъ зимою, будучи на войнѣ, всю ночь простоялъ по колѣно въ болотѣ; непріятель былъ близко, такъ что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дулъ пронзительный вѣтеръ. Никитинъ слушалъ и косился на Манюсю. Она глядѣла на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о

чемъ-то или забылась... Для него это было и пріятно, и мучительно.

«Зачѣмъ она на меня такъ смотритъ?—мучился онъ.— Это неловко. Могутъ замѣтить. Ахъ, какъ она еще молода, какъ наивна!»

Гости стали расходиться въ полночь. Когда Никитинъ вышелъ за ворота, во второмъ этажѣ дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.

— Сергѣй Васильичъ! — окликнула она.

— Что прикажете?

— Вотъ что... — проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. — Вотъ что... Полянскій обѣщалъ прійти на-дняхъ со своей фотографіей и снять всѣхъ насъ. Надо будетъ собраться.

— Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло и тотчасъ же въ домѣ кто-то заигралъ на роялѣ.

«Ну, домъ!—думалъ Никитинъ, переходя черезъ улицу.— Домъ, въ которомъ стонутъ одни только египетскіе голуби, да и тѣ потому, что иначе не умѣютъ выражать своей радости!»

Но не у однихъ только Шелестовыхъ жилось весело. Не прошелъ Никитинъ и двухсотъ шаговъ, какъ и изъ другого дома послышались звуки рояля. Прошелъ онъ еще немного и увидѣлъ у воротъ мужика, играющаго на балалайкѣ. Въ саду оркестръ грянулъ попури изъ русскихъ пѣсенъ...

Никитинъ жилъ въ полуверстѣ отъ Шелестовыхъ, въ квартирѣ изъ восьми комнатъ, которую онъ нанималъ за триста рублей въ годъ, вмѣстѣ со своимъ товарищемъ, учителемъ географіи и исторіи Ипполитомъ Ипполитычемъ. Этотъ Ипполитъ Ипполитычъ, еще не старый человѣкъ, съ рыжею бородкой, курносый, съ лицомъ грубоватымъ и не интеллигентнымъ, какъ у мастерового, но добродушнымъ, когда вернулся домой Никитинъ, сидѣлъ у себя за столомъ и поправлялъ ученическія карты. Самымъ нужнымъ и самымъ важнымъ считалось у него по географіи черченіе картъ, а по исторіи—знаніе хронологіи; по цѣлымъ ночамъ сидѣлъ онъ и синимъ карандашомъ поправлялъ карты своихъ учениковъ и ученицъ, или же составлялъ хронологическія таблички.

— Какая сегодня великолѣпная погода!—сказалъ Никитинъ, входя къ нему.—Удивляюсь вамъ, какъ это вы можете сидѣть въ комнатѣ.

Ипполитъ Ипполитычъ былъ человѣкъ не разговорчивый; онъ или молчалъ, или же говорилъ только о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно. Теперь онъ отвѣтилъ такъ:

— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будетъ настоящее лѣто. А лѣто не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а лѣтомъ и безъ печей тепло. Лѣтомъ откроешь ночью окна и все-таки тепло, а зимою—двойныя рамы и все-таки холодно.

Никитинъ посидѣлъ около стола не больше минуты и соскучился.

— Спокойной ночи!—сказалъ онъ, поднимаясь и зѣвая.—Хотѣлъ-было я разсказать вамъ нѣчто романическое, меня касающееся, но вѣдь вы—географія! Начнешь вамъ о любви, а вы сейчасъ: «Въ какомъ году была битва при Калкѣ?» Ну васъ къ чорту съ вашими битвами и съ Чукотскими носами!

— Что же вы сердитесь?

— Да досадно!

И, досадуя, что онъ не объяснился еще съ Манюсей и что ему не съ кѣмъ теперь поговорить о своей любви, онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и легъ на диванъ. Въ кабинетѣ было темно и тихо. Лежа и глядя въ потемки, Никитинъ сталъ почему-то думать о томъ, какъ черезъ два или три года онъ поѣдетъ зачѣмъ-нибудь въ Петербургъ, какъ Манюся будетъ провожать его на вокзалъ и плакать; въ Петербургѣ онъ получитъ отъ нея длинное письмо, въ которомъ она будетъ умолять его скорѣе вернуться домой. И онъ напишетъ ей... Свое письмо начнетъ такъ: милая моя крыса...

— Именно, милая моя крыса,—сказалъ онъ и засмѣялся.

Ему было неудобно лежать. Онъ подложилъ руки подъ голову и задралъ лѣвую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тѣмъ окно начало замѣтно блѣднѣть, на дворѣ заголосили сонные пѣтухи. Никитинъ продолжалъ думать о томъ, какъ онъ вернется изъ Петербурга, какъ встрѣтитъ его на вокзалѣ Манюся и, вскрикнувъ отъ радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, онъ схитритъ: пріѣдетъ ночью потихоньку, кухарка отворитъ ему,

потомъ на цыпочкахъ пройдетъ онъ въ спальню, безшумно раздѣнется и—бултыхъ въ постель! А она проснется и—о радость!

Воздухъ совсѣмъ побѣлѣлъ. Кабинета и окна уже не было. На крылечкѣ пивовареннаго завода, того самаго, мимо котораго сегодня проѣзжали, сидѣла Манюся и что-то говорила. Потомъ она взяла Никитина подъ-руки и пошла съ нимъ въ загородный садъ. Тутъ онъ увидѣлъ дубы и воронья гнѣзда, похожія на шапки. Одно гнѣздо закачалось, выглянулъ изъ него Шебалдинъ и громко крикнулъ: «Вы не читали Лессинга!»

Никитинъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и открылъ глаза. Передъ диваномъ стоялъ Ипполитъ Ипполитычъ и, откинувъ назадъ голову, надѣвалъ галстукъ.

— Вставайте, пора на службу,—говорилъ онъ.—А въ одеждѣ спать нельзя. Отъ этого одежда портится. Спать надо въ постели, раздѣвшись...

И онъ, по обыкновенію, сталъ длинно и съ разстановкой говорить о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно.

Первый урокъ у Никитина былъ по русскому языку, во второмъ классѣ. Когда онъ ровно въ девять часовъ вошелъ въ этотъ классъ, то здѣсь, на черной доскѣ, были написаны мѣломъ двѣ большія буквы: М. Ш. Это, вѣроятно, значило: Маша Шелестова.

«Ужъ пронюхали, подлецы...—подумалъ Никитинъ.—И откуда они все знаютъ?»

Второй урокъ по словесности былъ въ пятомъ классѣ. И тутъ на доскѣ было написано М. Ш., а когда онъ, кончивъ урокъ, выходилъ изъ этого класса, сзади него раздался крикъ, точно въ театральномъ райкѣ:

— Ура-а-а! Шелестова!!

Отъ спанья въ одеждѣ было не хорошо въ головѣ, тѣло изнемогало отъ лѣни. Ученики, каждый день ждавшіе роспуска передъ экзаменами, ничего не дѣлали, томились, шалили отъ скуки. Никитинъ тоже томился, не замѣчалъ шалостей и то и дѣло подходилъ къ окну. Ему была видна улица, ярко освѣщенная солнцемъ. Надъ домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, безконечная даль съ синѣющими рощами, съ дымкомъ отъ бѣгущаго поѣзда...

Вотъ по улицѣ въ тѣни акацій, играя хлыстиками, про-

шли два офицера въ бѣлыхъ кителяхъ. Вотъ на линейкѣ проѣхала куча евреевъ съ сѣдыми бородами и въ картузахъ. Гувернантка гуляетъ съ директорскою внучкой... Пробѣжалъ куда-то Сомъ съ двумя дворняжками... А вотъ, въ простенькомъ сѣромъ платьѣ въ красныхъ чулочкахъ, держа въ рукѣ «Вѣстникъ Европы», прошла Варя. Была, должно-быть, въ городской библіотекѣ...

А уроки кончатся еще не скоро—въ три часа! Послѣ же уроковъ нужно идти не домой и не къ Шелестовымъ, а къ Вольфу на урокъ. Этотъ Вольфъ, богатый еврей, принявшій лютеранство, не отдавалъ своихъ дѣтей въ гимназію, а приглашалъ къ нимъ гимназическихъ учителей и платилъ по пяти рублей за урокъ...

«Скучно, скучно, скучно!»

Въ три часа онъ пошелъ къ Вольфу и высидѣлъ у него, какъ ему показалось, цѣлую вѣчность. Вышелъ отъ него въ пять часовъ, а въ седьмомъ уже долженъ былъ идти въ гимназію, на педагогическій совѣтъ—составлять расписаніе устныхъ экзаменовъ для IV и VI классовъ!

Когда, поздно вечеромъ, шелъ онъ изъ гимназіи къ Шелестовымъ, сердце у него билось и лицо горѣло. Недѣлю и мѣсяцъ тому назадъ всякій разъ, собираясь объясниться, онъ приготовлялъ цѣлую рѣчь съ предисловіемъ и съ заключеніемъ, теперь же у него не было наготовѣ ни одного слова, въ головѣ все перепуталось, и онъ только зналъ, что сегодня онъ *навѣрное* объяснится и что дольше ждать нѣтъ никакой возможности.

«Я приглашу ее въ садъ,—обдумывалъ онъ,—немножко погуляю и объяснюсь»...

Въ передней не было ни души; онъ вошелъ въ залу, потомъ въ гостиную... Тутъ тоже никого не было. Слышно было, какъ наверху, во второмъ этажѣ, съ кѣмъ-то спорила Варя и какъ въ дѣтской стучала ножницами наемная швея.

Была въ домѣ комнатка, которая носила три названія: маленькая, проходная и темная. Въ ней стоялъ большой старый шкапъ съ медикаментами, съ порохомъ и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этажъ узкая деревянная лѣстничка, на которой всегда спали кошки. Были тутъ двери: одна—въ дѣтскую, другая—въ гостиную. Когда вошелъ сюда Никитинъ, чтобы отправиться наверхъ,

дверь изъ дѣтской отворилась и хлопнула такъ, что задрожали и лѣстница, и шкапъ; вбѣжала Манюся въ темномъ платьѣ, съ кускомъ синей матеріи въ рукахъ, и, не замѣчая Никитина, шмыгнула къ лѣстницѣ.

— Постойте...—остановилъ ее Никитинъ.—Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Онъ запыхался, не зналъ что говорить; одною рукой держалъ ее за руку, а другою—за синюю матерію. А она не то испугалась, не то удивилась и глядѣла на него большими глазами.

— Позвольте...—продолжалъ Никитинъ, боясь, чтобъ она не ушла. — Мнѣ нужно вамъ кое-что сказать... Только... здѣсь неудобно. Я не могу, не въ состояніи... Понимаете ли, Годфруа, я не могу... вотъ и все...

Синяя матерія упала на полъ, и Никитинъ взялъ Манюсю за другую руку. Она поблѣднѣла, зашевелила губами, потомъ попятилась назадъ отъ Никитина и очутилась въ углу между стѣной и шкапомъ.

— Честное слово, увѣряю васъ...—сказалъ онъ тихо: — Манюся, честное слово...

Она откинула назадъ голову, а онъ поцѣловалъ ее въ губы и, чтобъ этотъ поцѣлуй продолжался дольше, онъ взялъ ее за щеки пальцами; и какъ-то такъ вышло, что самъ онъ очутился въ углу между шкапомъ и стѣной, а она обвила руками его шею и прижалась къ его подбородку головой.

Потомъ оба побѣжали въ садъ.

Садъ у Шелестовыхъ былъ большой, на четырехъ десятинахъ. Тутъ росло съ два десятка старыхъ кленовъ и липъ, была одна ель, все же остальное составляли фруктовыя деревья: черешни, яблони, груши, дикій каштанъ, серебристая маслина... Много было и цвѣтовъ.

Никитинъ и Манюся молча бѣгали по аллеямъ, смѣялись, задавали изрѣдка другъ другу отрывистые вопросы, на которые не отвѣчали, а надъ садомъ свѣтилъ полумѣсяцъ, и на землѣ изъ темной травы, слабо освѣщенной этимъ полумѣсяцемъ, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и съ ними объяснились въ любви.

Когда Никитинъ и Манюся вернулись въ домъ, офицеры и барышни были уже въ сборѣ и танцовали мазурку. Опять Полянскій водилъ по всѣмъ комнатамъ grand-rond, опять послѣ танцевъ играли въ судьбу. Передъ ужиномъ, когда

гости пошли изъ залы въ столовую, Манюся, оставшись одна съ Никитинымъ, прижалась къ нему и сказала:

— Ты самъ поговори съ папой и Варей. Мнѣ стыдно...

Послѣ ужина онъ говорилъ со старикомъ. Выслушавъ его, Шелестовъ подумалъ и сказалъ:

— Очень вамъ благодаренъ за честь, которую вы оказываете мнѣ и дочери, но позвольте мнѣ поговорить съ вами по-дружески. Буду говорить съ вами не какъ отецъ, а какъ джентльменъ съ джентльменомъ. Скажите, пожалуйста, что вамъ за охота такъ рано жениться? Это только мужики женятся рано, но тамъ, изъѣстно, хамство, а вы-то съ чего? Что за удовольствіе въ такіе молодые годы надѣвать на себя кандалы?

— Я вовсе не молодъ!—обидѣлся Никитинъ.—Мнѣ 27-ой годъ.

— Папа, коновалъ пришелъ!—крикнула изъ другой комнаты Варя.

И разговоръ прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянскій. Когда подошли къ его калиткѣ, Варя сказала:

— Что это вашъ таинственный Митрополитъ Митрополитычъ никуда не показывается? Пусть бы къ намъ пришелъ.

Таинственный Ипполитъ Ипполитычъ, когда вошелъ къ нему Никитинъ, сидѣлъ у себя на постели и снималъ панталоны.

— Не ложитесь, голубчикъ!—сказалъ ему Никитинъ, задыхаясь.—Постойте, не ложитесь!

Ипполитъ Ипполитычъ быстро надѣлъ панталоны и спросилъ встревоженно:

— Что такое?

— Я женюсь!

Никитинъ сѣлъ рядомъ съ товарищемъ и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себѣ, сказалъ:

— Представьте, женюсь! На Машѣ Шелестовой! Сегодня предложеніе сдѣлалъ.

— Что жъ? Она дѣвушка, кажется, хорошая. Только молода очень.

— Да, молода! — вздохнулъ Никитинъ и озабоченно пожалъ плечами.—Очень, очень молода!

— Она у меня въ гимназіи училась. Я ее знаю. По гео-

графіи училась ничего себѣ, а по исторіи — плохо. И въ классѣ была невнимательна.

Никитину вдругъ почему-то стало жаль своего товарища и захотѣлось сказать ему что-нибудь ласковое, утѣшительное.

— Голубчикъ, отчего вы не женитесь?—спросилъ онъ.— Ипполитъ Ипполитычъ, отчего бы вамъ, напримѣръ, на Варѣ не жениться? Это чудная, превосходная дѣвушка! Правда, она очень любитъ спорить, но зато сердце... какое сердце! Она сейчасъ про васъ спрашивала. Женитесь на ней, голубчикъ! А?

Онъ отлично зналъ, что Варя не пойдетъ за этого скучнаго курносаго человѣка, но все-таки убѣждалъ его жениться на ней. Зачѣмъ?

— Женитьба—шагъ серьезный,—сказалъ Ипполитъ Ипполитычъ, подумавъ.—Надо обсудить все, взвѣсить, а такъ нельзя. Благоразуміе никогда не мѣшаетъ, а въ особенности въ женитьбѣ, когда человѣкъ, переставъ быть холостымъ, начинаетъ новую жизнь.

И онъ заговорилъ о томъ, что всѣмъ давно уже извѣстно. Никитинъ не сталъ слушать его, простился и пошелъ къ себѣ. Онъ быстро раздѣлся и быстро легъ, чтобы поскорѣе начать думать о своемъ счастіи, о Манюсѣ, о будущемъ, улыбнулся и вдругъ вспомнилъ, что онъ не читалъ еще Лессинга.

«Надо будетъ прочесть...—подумалъ онъ.—Впрочемъ, зачѣмъ мнѣ его читать? Ну его къ чорту!»

И утомленный своимъ счастьемъ, онъ тотчасъ же уснулъ и улыбался до самаго утра.

Снился ему стукъ лошадиныхъ копытъ о бревенчатый полъ; снилось, какъ изъ конюшни вывели сначала вороного «Графа Нулина», потомъ бѣлаго «Великана», потомъ сестру его «Майку»...

II.

«Въ церкви было очень тѣсно и шумно, и разъ даже кто-то вскрикнулъ, и протоіерей, вѣнчавшій меня и Манюсю, взглянулъ черезъ очки на толпу и сказалъ сурово:

— «Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страхъ Божій имѣть».

«Шаферами у меня были два моихъ товарища, а у

Мани—штабсъ-капитанъ Полянскій и поручикъ Гернетъ. Архіерейскій хоръ пѣлъ великолѣпно. Трескъ свѣчей, блескъ, наряды, офицеры, множество веселыхъ, довольныхъ лицъ и какой-то особенный, воздушный видъ у Мани, и вся вообще обстановка и слова вѣнчальныхъ молитвъ трогали меня до слезъ, наполняли торжествомъ. Я думалъ: какъ расцвѣла, какъ поэтически красиво сложилась въ послѣднее время моя жизнь! Два года назадъ я былъ еще студентомъ, жилъ въ дешевыхъ номерахъ на Неглинномъ, безъ денегъ, безъ родныхъ и, какъ казалось мнѣ тогда, безъ будущаго. Теперь же я — учитель гимназіи въ одномъ изъ лучшихъ губернскихъ городовъ, обезпеченъ, любимъ, избалованъ. Для меня вотъ, думалъ я, собралась теперь эта толпа, для меня горятъ три паникадила, реветъ протодьяконъ, стараются пѣвчіе, и для меня такъ молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое, немного погодя, будетъ называться моею женой. Я вспомнилъ первыя встрѣчи, наши поѣздки за городъ, объясненіе въ любви и погоду, которая, какъ нарочно, все лѣто была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинномъ представлялось мнѣ возможнымъ только въ романахъ и повѣстяхъ, теперь я испытывалъ на самомъ дѣлѣ, казалось, бралъ его руками.

«Послѣ вѣнчанія всѣ въ безпорядкѣ толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствіе, поздравляли и желали счастья. Бригадный генералъ, старикъ лѣтъ подъ семьдесятъ, поздравилъ одну только Манюсю и сказалъ ей старческимъ скрипучимъ голосомъ, такъ громко, что пронеслось по всей церкви:

— «Надѣюсь, милая, и послѣ свадьбы вы останетесь все такимъ же розаномъ».

«Офицеры, директоръ и всѣ учителя улыбнулись изъ приличія, и я тоже почувствовалъ на своемъ лицѣ пріятную неискреннюю улыбку. Милѣйшій Ипполитъ Ипполитычъ, учитель исторіи и географіи, всегда говорящій то, что всѣмъ давно извѣстно, крѣпко пожалъ мнѣ руку и сказалъ съ чувствомъ:

— «До сихъ поръ вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоемъ»

«Изъ церкви поѣхали въ двухъэтажный нештукатуренный домъ, который я получаю теперь въ приданое. Кромѣ этого дома, за Маней деньгами тысячъ двадцать и еще какая-то

Мелитоновская пустошь со сторожкой, гдѣ, какъ говорятъ, множество куръ и утокъ, которыя безъ надзора становятся дикими. По пріѣздѣ изъ церкви, я потягивался, развалясь у себя въ новомъ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ, и курилъ; мнѣ было мягко, удобно и уютно, какъ никогда въ жизни, а въ это время гости кричали ура, и въ передней плохая музыка играла туши и всякій вздоръ. Варя, сестра Мани, вбѣжала въ кабинетъ съ бокаломъ въ рукѣ и съ какимъ-то страннымъ, напряженнымъ выраженіемъ, точно у нея ротъ былъ полонъ воды; она, повидимому, хотѣла бѣжать дальше, но вдругъ захохотала и зарыдала, и бокалъ со звономъ покатился по полу. Мы подхватили ее подъ руки и увели.

— «Никто не можетъ понять!—бормотала она потомъ въ самой дальней комнатѣ, лежа на постели у кормилицы.— Никто, никто! Боже мой, никто не можетъ понять!»

«Но всѣ отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и все еще не замужемъ и что плакала она не изъ зависти, а изъ грустнаго сознанія, что время ея уходитъ и, быть-можетъ, даже ушло. Когда танцовали кадриль, она была уже въ залѣ, съ заплаканнымъ, сильно напудреннымъ лицомъ, и я видѣлъ, какъ штабсъ-капитанъ Полянскій держалъ передъ ней блюдечко съ мороженымъ, а она кушала ложечкой...

«Уже шестой часъ утра. Я взялся за дневникъ, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думалъ, что напишу листовъ шесть и завтра прочту Манѣ, но, странное дѣло, у меня въ головѣ все перепуталось, стало неясно, какъ сонъ, и мнѣ припоминается рѣзко только этотъ эпизодъ съ Варей и хочется написать: бѣдная Варя! Вотъ такъ бы все сидѣлъ и писалъ: бѣдная Варя! Кстати же зашумѣли деревья: будетъ дождь; каркаютъ вороны, и у моей Мани, которая только-что уснула, почему-то грустное лицо».

Потомъ Никитинъ долго не трогалъ своего дневника. Въ первыхъ числахъ августа начались у него переэкзаменовки и пріемные экзамены, а послѣ Успеньева дня — классныя занятія. Обыкновенно въ девятомъ часу утра онъ уходилъ на службу и уже въ десятомъ начиналъ тосковать по Манѣ и по своемъ новомъ домѣ и посматривалъ на часы. Въ низшихъ классахъ онъ заставлялъ кого-нибудь изъ мальчиковъ

диктовать и, пока дѣти писали, сидѣлъ на подоконникѣ съ закрытыми глазами и мечталъ; мечталъ ли онъ о будущемъ, вспоминалъ ли о прошломъ, — все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. Въ старшихъ классахъ читали вслухъ Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, въ воображеніи вырастали люди, деревья, поля, верховыя лошади, и онъ говорилъ со вздохомъ, какъ бы восхищаясь авторомъ:

— Какъ хорошо!

Во время большой перемѣны Маня присылала ему завтракъ въ бѣлой, какъ снѣгъ, салфеточкѣ, и онъ съѣдалъ его медленно, съ разстановкой, чтобы продлить наслажденіе, а Ипполитъ Ипполитычъ, обыкновенно завтракавшій одною только булкой, смотрѣлъ на него съ уваженіемъ и съ завистью и говорилъ что-нибудь извѣстное, въ родѣ:

— Безъ пищи люди не могутъ существовать.

Изъ гимназіи Никитинъ шелъ на частные уроки и когда, наконецъ, въ шестомъ часу возвращался домой, то чувствовалъ и радость, и тревогу, какъ будто не былъ дома цѣлый годъ. Онъ вбѣгалъ по лѣстницѣ, запыхавшись, находилъ Маню, обнималъ ее, цѣловалъ и клялся, что любитъ ее, жить безъ нея не можетъ, увѣрялъ, что страшно соскучился, и со страхомъ спрашивалъ ее, здорова ли она и отчего у нея такое невеселое лицо. Потомъ вдвоемъ обѣдали. Послѣ обѣда онъ ложился въ кабинетѣ на диванъ и курилъ, а она садилась возлѣ и разсказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда онъ съ утра до вечера оставался дома. Въ эти дни онъ принималъ участіе въ наивной, но необыкновенно пріятной жизни, напоминавшей ему пастушескія идилліи. Онъ не переставая наблюдалъ, какъ его разумная и положительная Маня устраивала гнѣздо, и самъ тоже, желая показать, что онъ не лишній въ домѣ, дѣлалъ что-нибудь безполезное, напримѣръ, выкатывалъ изъ сарая шарабанъ и оглядывалъ его со всѣхъ сторонъ. Манюся завела отъ трехъ коровъ настоящее молочное хозяйство, и у нея въ погребѣ и на погребицѣ было много кувшиновъ съ молокомъ и горшечковъ со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитинъ просилъ у нея стаканъ молока; она пугалась, такъ какъ это былъ непорядокъ, но онъ со смѣхомъ обнималъ ее и говорилъ:

— Ну, ну, я пошутилъ, золото мое! Пошутилъ!

Или же онъ посмѣивался надъ ея педантизмомъ, когда она, напримѣръ, найдя въ шкапу завалящій, твердый, какъ камень, кусочекъ колбасы или сыру, говорила съ важностью:

— Это съѣдятъ въ кухнѣ.

Онъ замѣчалъ ей, что такой маленькій кусочекъ годится только въ мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимаютъ въ хозяйствѣ и что прислугу ничѣмъ не удивишь, пошли ей въ кухню хоть три пуда закусокъ, и онъ соглашался и въ восторгѣ обнималъ ее. То, что въ ея словахъ было справедливо, казалось ему необыкновеннымъ, изумительнымъ; то же, что расходилось съ его убѣжденіями, было, по его мнѣнію, наивно и умилительно.

Иногда на него находилъ философскій стихъ, и онъ начиналъ разсуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрѣла ему въ лицо съ любопытствомъ.

— Я безконечно счастливъ съ тобой, моя радость,—говорилъ онъ, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. — Но на это свое счастье я не смотрю какъ на нѣчто такое, что свалилось на меня случайно, точно съ неба. Это счастье—явленіе вполнѣ естественное, послѣдовательное, логически вѣрное. Я вѣрю въ то, что человѣкъ есть творецъ своего счастья, и теперь я беру именно то, что я самъ создалъ. Да, говорю безъ жеманства, это счастье создалъ я самъ и владѣю имъ по праву. Тебѣ извѣстно мое прошлое. Сиротство, бѣдность, несчастное дѣтство, тоскливая юность,—все это борьба, это путь, который я прокладывалъ къ счастью...

Въ октябрѣ гимназія понесла тяжелую потерю: Ипполитъ Ипполитычъ заболѣлъ рожей головы и скончался. Два послѣднихъ дня передъ смертью онъ былъ въ безсознательномъ состояніи и бредилъ, но и въ бреду говорилъ только то, что всѣмъ извѣстно:

— Волга впадаетъ въ Каспійское море... Лошади кушаютъ овесъ и сѣно...

Въ тотъ день, когда его хоронили, ученія въ гимназіи не было. Товарищи и ученики несли крышку и гробъ, и гимназическій хоръ всю дорогу до кладбища пѣлъ «Святый Боже». Въ процессіи участвовало три священника,

два дьякона, вся мужская гимназія и архіерейскій хоръ въ парадныхъ кафтанахъ. И глядя на торжественныя похороны, встрѣчные прохожіе крестились и говорили:

— Дай Богъ всякому такъ помереть.

Вернувшись съ кладбища домой, растроганный Никитинъ отыскалъ въ столѣ свой дневникъ и написалъ:

«Сейчасъ опустили въ могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкаго.

«Миръ праху твоему, скромный труженикъ! Маня, Варя и всѣ женщины, бывшія на похоронахъ, искренно плакали, быть-можетъ, оттого, что знали, что этого неинтереснаго, забитаго человѣка не любила никогда ни одна женщина. Я хотѣлъ сказать на могилѣ товарища теплое слово, но меня предупредили, что это можетъ не понравиться директору, такъ какъ онъ не любилъ покойнаго. Послѣ свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душѣ»...

Затѣмъ во весь учебный сезонъ не было никакихъ особенныхъ событій.

Зима была вялая, безъ морозовъ, съ мокрымъ снѣгомъ; подъ Крещенье, напримѣръ, всю ночь вѣтеръ жалобно вылъ по-осеннему, и текло съ крышъ, а утромъ во время водосвятія полиція не пускала никого на рѣку, такъ какъ, говорили, ледъ надулся и потемнѣлъ. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось такъ же счастливо, какъ и лѣтомъ. Даже еще прибавилось одно лишнее развлеченіе: онъ научился играть въ винтъ. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мѣшало ему быть вполнѣ счастливымъ: это кошки и собаки, которыхъ онъ получилъ въ приданое. Въ комнатахъ всегда, особенно по утрамъ, пахло какъ въ звѣринцѣ, и этого запаха ничѣмъ нельзя было заглушить; кошки часто дрались съ собаками. Злую Мушку кормили по десяти разъ въ день, она попрежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

— Ррр... нга-нга-нга...

Какъ-то Великимъ постомъ въ полночь возвращался онъ домой изъ клуба, гдѣ игралъ въ карты. Шелъ дождь, было темно и грязно. Никитинъ чувствовалъ на душѣ непріятный осадокъ и никакъ не могъ понять, отчего это: оттого ли, что онъ проигралъ въ клубѣ двѣнадцать рублей, или оттого, что одинъ изъ партнеровъ, когда расплачивались,

сказалъ, что у Никитина куры денегъ не клюютъ, очевидно, намекая на приданое? Двѣнадцати рублей было не жалко, и слова партнера не содержали въ себѣ ничего обиднаго, но все-таки было непріятно. Даже домой не хотѣлось.

— Фуй, какъ нехорошо! — проговорилъ онъ, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло въ голову, что двѣнадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даромъ. Вотъ если бы онъ былъ работникомъ, то зналъ бы цѣну каждой копейкѣ и не былъ бы равнодушенъ къ выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, разсуждалъ онъ, досталось ему даромъ, понапрасну и въ сущности было для него такою же роскошью, какъ лѣкарство для здороваго; если бы онъ, подобно громадному большинству людей, былъ угнетенъ заботой о кускѣ хлѣба, боролся за существованіе, если бы у него болѣли спина и грудь отъ работы, то ужинъ, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшеніемъ его жизни; теперь же все это имѣло какое-то странное, неопредѣленное значеніе.

— Фуй, какъ нехорошо!—повторилъ онъ, отлично понимая, что эти разсужденія сами по себѣ уже дурной знакъ.

Когда онъ пришелъ домой, Маня была въ постели. Она ровно дышала и улыбалась и, повидимому, спала съ большимъ удовольствіемъ. Возлѣ нея, свернувшись клубочкомъ, лежалъ бѣлый котъ и мурлыкалъ. Пока Никитинъ зажигалъ свѣчу и закуривалъ, Маня проснулась и съ жадностью выпила стаканъ воды.

— Мармеладу наѣлась, — сказала она и засмѣялась. — Ты у нашихъ былъ?—спросила она, помолчавъ.

— Нѣтъ, не былъ.

Никитинъ уже зналъ, что штабсъ-капитанъ Полянскій, на котораго въ послѣднее время сильно разсчитывала Варя, получилъ переводъ въ одну изъ западныхъ губерній и уже дѣлалъ въ городѣ прощальные визиты, и поэтому въ домѣ тестя было скучно.

— Вечеромъ заходила Варя,—сказала Маня, садясь.— Она ничего не говорила, но по лицу видно, какъ ей тяжело, бѣдняжкѣ. Терпѣть не могу Полянскаго. Толстый, обрюзгъ, а когда ходитъ или танцуетъ, щеки трясутся... Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочнымъ человѣкомъ.

— Я и теперь считаю его порядочнымъ.

— А зачѣмъ онъ такъ дурно поступилъ съ Варей?

— Почему же дурно? — спросилъ Никитинъ, начиная чувствовать раздраженіе противъ бѣлаго кота, который потягивался, выгнувъ спину.—Насколько мнѣ извѣстно, онъ предложенія не дѣлалъ и обѣщаній никакихъ не давалъ.

— А зачѣмъ онъ часто бывалъ въ домѣ? Если не намѣренъ жениться, то не ходи.

Никитинъ потушилъ свѣчу и легъ. Но не хотѣлось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, какъ амбаръ, и что въ ней бродятъ новыя какія-то особенныя мысли въ видѣ длинныхъ тѣней. Онъ думалъ о томъ, что кромѣ мягкаго лампаднаго свѣта, улыбающагося тихому семейному счастью, кромѣ этого мірка, въ которомъ такъ спокойно и сладко живется ему и вотъ этому коту, есть вѣдь еще другой міръ... И ему страстно, до тоски вдругъ захотѣлось въ этотъ другой міръ, чтобы самому работать гдѣ-нибудь на заводѣ или въ большой мастерской, говорить съ каѳедры, сочинять, печатать, шумѣть, утомляться, страдать... Ему захотѣлось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвенія самого себя, до равнодушія къ личному счастью, ощущенія котораго такъ однообразны. И въ воображеніи вдругъ, какъ живой, выросъ бритый Шебалдинъ и проговорилъ съ ужасомъ:

— Вы не читали даже Лессинга! Какъ вы отстали! Боже, какъ вы опустились!

Маня опять стала пить воду. Онъ взглянулъ на ея шею, полныя плечи и грудь и вспомнилъ слово, которое когда-то въ церкви сказалъ бригадный генералъ: розанъ.

— Розанъ,—пробормоталъ онъ и засмѣялся.

Въ отвѣтъ ему подъ кроватью заворчала сонная Мушка:

— Ррр... нга-нга-нга...

Тяжелая злоба, точно холодный молотокъ, повернулась въ его душѣ, и ему захотѣлось сказать Манѣ что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебіеніе.

— Такъ значитъ,—спросилъ онъ, сдерживая себя:—если я ходилъ къ вамъ, въ домъ, непремѣнно долженъ былъ жениться на тебѣ?

— Конечно. Ты самъ это отлично понимаешь.

— Мило.

И черезъ минуту опять повторилъ:

— Мило.

Чтобы не сказать лишняго и успокоить сердце, Никитинъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и легъ на диванъ безъ подушки, потомъ полежалъ на полу, на коврѣ.

«Какой вздоръ!—успокаивалъ онъ себя.—Ты—педагогъ, работаешь на благороднѣйшемъ поприщѣ... Какого же тебѣ еще нужно другого міра? Что за чепуха!»

Но тотчасъ же онъ съ увѣренностью говорилъ себѣ, что онъ вовсе не педагогъ, а чиновникъ, такой же бездарный и безличный, какъ чехъ, преподаватель греческаго языка; никогда у него не было призванія къ учительской дѣятельности, съ педагогіей онъ знакомъ не былъ и ею никогда не интересовался, обращаться съ дѣтьми не умѣетъ; значеніе того, что онъ преподавалъ, было ему неизвѣстно и, быть-можетъ, даже онъ училъ тому, что не нужно. Покойный Ипполитъ Ипполитычъ былъ откровенно тупъ, и всѣ товарищи и ученики знали, кто онъ и чего можно ждать отъ него; онъ же, Никитинъ, подобно чеху, умѣетъ скрывать свою тупость и ловко обманываетъ всѣхъ, дѣлая видъ, что у него, слава Богу, все идетъ хорошо. Эти новыя мысли пугали Никитина, онъ отказывался отъ нихъ, называлъ ихъ глупыми и вѣрилъ, что все это отъ нервовъ, что самъ же онъ будетъ смѣяться надъ собой...

И въ самомъ дѣлѣ, подъ утро онъ уже смѣялся надъ своею нервностью и называлъ себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерянъ, вѣроятно, навсегда и что въ двухъэтажномъ нештукатуренномъ домѣ счастье для него уже невозможно. Онъ догадывался, что иллюзія изсякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не въ ладу съ покоемъ и личнымъ счастьемъ.

На другой день, въ воскресенье, онъ былъ въ гимназической церкви и видѣлся тамъ съ директоромъ и товарищами. Ему казалось, что всѣ они были заняты только тѣмъ, что тщательно скрывали свое невѣжество и недовольство жизнью, и самъ онъ, чтобы не выдать имъ своего безпокойства, пріятно улыбался и говорилъ о пустякахъ. Потомъ онъ ходилъ на вокзалъ и видѣлъ тамъ, какъ пришелъ и ушелъ почтовый поѣздъ, и ему пріятно было, что онъ одинъ и что ему не нужно ни съ кѣмъ разговаривать.

Дома засталъ онъ тестя и Варю, которые пришли къ нему обѣдать. Варя была съ заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестовъ ѣлъ очень много и говорилъ о томъ, какъ теперешніе молодые люди ненадежны и какъ мало въ нихъ джентльменства.

— Это хамство! — говорилъ онъ. — Такъ я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитинъ пріятно улыбался и помогалъ Манѣ угощать гостей, но послѣ обѣда пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и заперся.

Мартовское солнце свѣтило ярко, и сквозь оконныя стекла падали на столъ горячіе лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ѣздили на колесахъ, и въ саду шумѣли скворцы. Похоже было на то, что сейчасъ вотъ войдетъ Манюся, обниметъ одною рукой за шею и скажетъ, что подали къ крыльцу верховыхъ лошадей или шарабанъ, и спроситъ, что ей надѣть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна такая же чудесная, какъ и въ прошломъ году, и обѣщала тѣ же радости... Но Никитинъ думалъ о томъ, что хорошо бы взять теперь отпускъ и уѣхать въ Москву и остановиться тамъ на Неглинномъ въ знакомыхъ номерахъ. Въ сосѣдней комнатѣ пили кофе и говорили о штабсъ-капитанѣ Полянскомъ, а онъ старался не слушать и писалъ въ своемъ дневникѣ: «Гдѣ я, Боже мой?! Меня окружаетъ пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшечки со сметаной, кувшины съ молокомъ, тараканы, глупыя женщины... Нѣтъ ничего страшнѣе, оскорбительнѣе, тоскливѣе пошлости. Бѣжать отсюда, бѣжать сегодня же, иначе я сойду съ ума!»

ВЪ УСАДЬБѢ.

Павелъ Ильичъ Рашевичъ ходилъ, мягко ступая по полу, покрытому малороссійскими плахтами, и бросая длинную узкую тѣнь на стѣну и потолокъ, а его гость Мейеръ, исправляющій должность судебнаго слѣдователя, сидѣлъ на турецкомъ диванѣ, поджавъ подъ себя одну ногу, курилъ и слушалъ. Часы уже показывали одиннадцать, и слышно было, какъ въ комнатѣ, сосѣдней съ кабинетомъ, накрывали на столъ.

— Какъ хотите-съ,—говорилъ Рашевичъ:—съ точки зрѣнія братства, равенства и прочее, свинопасъ Митька, пожалуй, такой же человѣкъ, какъ Гёте или Фридрихъ Великій; но станьте вы на научную почву, имѣйте мужество заглянуть фактамъ прямо въ лицо, и для васъ станетъ очевиднымъ, что бѣлая кость—не предразсудокъ, не бабья выдумка. Бѣлая кость, дорогой мой, имѣетъ естественно-историческое оправданіе, и отрицать ее, по-моему, такъ же странно, какъ отрицать рога у оленя. Надо считаться съ фактами! Вы — юристъ и не вкусили никакихъ другихъ наукъ, кромѣ гуманитарныхъ, и вы еще можете обольщать себя иллюзіями насчетъ равенства, братства и прочее; я же — неисправимый дарвинистъ, и для меня такія слова, какъ порода, аристократизмъ, благородная кровь, — не пустые звуки.

Рашевичъ былъ возбужденъ и говорилъ съ чувствомъ. Глаза у него блестѣли, pince-nez не держалось на носу, онъ нервно подергивалъ плечами, подмигивалъ, а при словѣ «дарвинистъ» молодцовато поглядѣлся въ зеркало и обѣими

руками расчесалъ свою сѣдую бороду. Онъ былъ одѣтъ въ очень короткій поношенный пиджакъ и узкіе брюки; быстрота движеній, молодцоватость и этотъ кургузый пиджакъ какъ-то не шли къ нему, и казалось, что его большая длинноволосая благообразная голова, напоминавшая архіерея или маститаго поэта, была приставлена къ туловищу высокаго худощаваго и манернаго юноши. Когда онъ широко разставлялъ ноги, то длинная тѣнь его походила на ножницы.

Вообще онъ любилъ поговорить, и всегда ему казалось, что онъ говоритъ нѣчто новое и оригинальное. Въ присутствіи же Мейера онъ чувствовалъ необыкновенный подъемъ духа и наплывъ мыслей. Слѣдователь былъ ему симпатиченъ и вдохновлялъ его своею молодостью, здоровьемъ, прекрасными манерами, солидностью, а главное — своимъ сердечнымъ отношеніемъ къ нему и къ его семьѣ. Вообще знакомые не любили Рашевича, чуждались его и, какъ было извѣстно ему, разсказывали про него, будто онъ разговорами вогналъ въ гробъ свою жену, и называли его за глаза ненавистникомъ и жабой. Одинъ только Мейеръ, человѣкъ новый и непредубѣжденный, бывалъ у него часто и охотно и даже гдѣ-то говорилъ, что Рашевичъ и его дочери—единственные люди въ уѣздѣ, у которыхъ онъ чувствуетъ себя тепло, какъ у родныхъ. Нравился онъ Рашевичу также и за то, что былъ молодымъ человѣкомъ, который могъ бы составить хорошую партію для Жени, старшей дочери.

И теперь, наслаждаясь своими мыслями и звуками собственнаго голоса и съ удовольствіемъ поглядывая на умѣренно полнаго, красиво подстриженнаго, приличнаго Мейера, Рашевичъ мечталъ о томъ, какъ онъ пристроитъ свою Женю за хорошаго человѣка, и какъ потомъ всѣ заботы по имѣнію перейдутъ къ зятю. Непріятныя заботы! Проценты въ банкъ не взнесены уже за два срока, и разныхъ недоимокъ и пеней скопилось больше двухъ тысячъ!

— Для меня не подлежитъ сомнѣнію, — продолжалъ Рашевичъ, все больше вдохновляясь:—что если какой-нибудь Ричардъ Львиное Сердце или Фридрихъ Барбаросса, положимъ, храбръ и великодушенъ, то эти качества передаются по наслѣдству его сыну вмѣстѣ съ извилинами и мозговыми шишками, и если эти храбрость и великодушіе охраняются въ сынѣ путемъ воспитанія и упражненія, и если онъ женится на принцессѣ, тоже великодушной и храброй, то эти

качества передаются внуку и такъ далѣе, пока не становятся видовою особенностью и не переходятъ органически, такъ сказать, въ плоть и кровь. Благодаря строгому половому подбору, тому, что благородныя фамиліи инстинктивно охраняли себя отъ неравныхъ браковъ, и знатные молодые люди не женились чортъ знаетъ на комъ, высокія душевныя качества передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе во всей ихъ чистотѣ, охранялись и съ теченіемъ времени черезъ упражненіе становились все совершеннѣе и выше. Тѣмъ, что у человѣчества есть хорошаго, мы обязаны именно природѣ, правильному естественно-историческому, цѣлесообразному ходу вещей, старательно, въ продолженіе вѣковъ обособлявшему бѣлую кость отъ черной. Да, батенька мой! Не чумазый же, не кухаркинъ сынъ, далъ намъ литературу, науку, искусство, право, понятія о чести, долгѣ... Всѣмъ этимъ человѣчество обязано исключительно бѣлой кости, и въ этомъ смыслѣ, съ точки зрѣнія естественно-исторической, плохой Собакевичъ, только потому, что онъ бѣлая кость, полезнѣе и выше, чѣмъ самый лучшій купецъ, хотя бы этотъ послѣдній построилъ пятнадцать музеевъ. Какъ хотите-съ! И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его съ собой за столъ, то этимъ самымъ я охраняю лучшее, что есть на землѣ, и исполняю одно изъ высшихъ предначертаній матери-природы, ведущей насъ къ совершенству...

Рашевичъ остановился, расчесывая бороду обѣими руками; остановилась на стѣнѣ и его тѣнь, похожая на ножницы.

— Возьмите вы нашу матушку-Расею,—продолжалъ онъ, заложивъ руки въ карманы и становясь то на каблуки, то на носки.—Кто ея лучшіе люди? Возьмите нашихъ первоклассныхъ художниковъ, литераторовъ, композиторовъ... Кто они? Все это, дорогой мой, были представители бѣлой кости. Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Толстой—не дьячковскія дѣти-съ!

— Гончаровъ былъ купецъ,—сказалъ Мейеръ.

— Что же! Исключенія только подтверждаютъ правило. Да и насчетъ геніальности-то Гончарова можно еще сильно поспорить. Но оставимъ имена и вернемся къ фактамъ. Что вы, напримѣръ, скажете, сударь мой, насчетъ такого краснорѣчиваго факта: какъ только чумазый полѣзъ туда,

куда его прежде не пускали—въ высшій свѣтъ, въ науку, въ литературу, въ земство, въ судъ,—то, замѣтьте, за высшія человѣческія права вступилась прежде всего сама природа и первая объявила войну этой ордѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ только чумазый полѣзъ не въ свои сани, то сталъ киснуть, чахнуть, сходить съ ума и вырождаться, и нигдѣ вы не встрѣтите столько неврастениковъ, психическихъ калѣкъ, чахоточныхъ и всякихъ заморышей, какъ среди этихъ голубчиковъ. Мрутъ какъ осеннія мухи. Если бы не это спасительное вырожденіе, то отъ нашей цивилизаціи давно бы уже не осталось камня на камнѣ, все слопалъ бы чумазый. Вы скажите мнѣ, сдѣлайте милость: что до сихъ поръ дало намъ это нашествіе? Что принесъ съ собой чумазый?—Рашевичъ сдѣлалъ таинственное, испуганное лицо и продолжалъ:—Никогда еще наша наука и литература не находились на такомъ низкомъ уровнѣ, какъ теперь! У нынѣшнихъ, сударь мой, ни идей, ни идеаловъ, и вся ихъ дѣятельность проникнута однимъ духомъ: какъ бы побольше содрать и съ кого бы снять послѣднюю рубашку. Всѣхъ этихъ нынѣшнихъ, которые выдаютъ себя за передовыхъ и честныхъ людей, вы можете купить за рубль-цѣлковый, и современный интеллигентъ отличается именно тою особенностью, что когда вы говорите съ нимъ, то должны покрѣпче держаться за карманъ, а то вытащитъ бумажникъ.—Рашевичъ подмигнулъ и захохоталъ.—Ей-Богу вытащитъ!—проговорилъ онъ радостно тонкимъ голоскомъ. — А нравственность? Нравственность какова?—Рашевичъ оглянулся на дверь.—Теперь уже не удивляются, когда жена обкрадываетъ и покидаетъ мужа,—это что, пустяки! Нынче, батенька, двѣнадцатилѣтняя дѣвчонка норовитъ уже имѣть любовника, и всѣ эти любительскіе спектакли и литературные вечера придуманы для того только, чтобы легче было подцѣпить богатаго кулака и пойти къ нему на содержаніе... Матери продаютъ своихъ дочерей, а у мужей прямо такъ и спрашиваютъ, по какой цѣнѣ продаются ихъ жены, и можно даже поторговаться, дорогой мой...

Мейеръ, все время молчавшій и сидѣвшій неподвижно, вдругъ поднялся съ дивана и посмотрѣлъ на часы.

— Виноватъ, Павелъ Ильичъ,—сказалъ онъ:—мнѣ уже пора домой.

Но Павелъ Ильичъ, который еще не кончилъ говорить,

обнялъ его и, насильно усаживая на диванъ, поклялся, что не отпуститъ его безъ ужина. И Мейеръ опять сидѣлъ и слушалъ, но уже посматривалъ на Рашевича съ недоумѣніемъ и тревогой, какъ будто только теперь начиналъ понимать его. Красныя пятна выступили у него на лицѣ. И когда, наконецъ, вошла горничная и сказала, что барышни просятъ ужинать, онъ легко вздохнулъ и первый вышелъ изъ кабинета.

Въ сосѣдней комнатѣ за столомъ сидѣли дочери Рашевича, Женя и Ираида, 24 и 22-хъ лѣтъ, обѣ черноглазыя, очень блѣдныя, одинаковаго роста. Женя съ распущенными волосами, а Ираида съ высокою прической. Передъ тѣмъ какъ ѣсть, обѣ выпили по рюмкѣ горькой настойки, съ такимъ видомъ, какъ будто это онѣ выпили нечаянно, первый разъ въ жизни, и обѣ сконфузились и захохотали.

— Не шалите, дѣвочки,—сказалъ Рашевичъ.

Женя и Ираида между собой говорили по-французски, а съ отцомъ и гостемъ по-русски. Перебивая другъ друга и мѣшая русскую рѣчь съ французской, онѣ стали быстро разсказывать, какъ именно въ эту пору, въ августѣ, онѣ въ прежніе годы уѣзжали въ институтъ и какъ это было весело. Теперь же ѣхать некуда и приходится жить въ усадьбѣ безвыѣздно все лѣто и зиму. Какая скука!

— Не шалите, дѣвочки,—повторилъ Рашевичъ.

Ему самому хотѣлось говорить. Если при немъ говорили другіе, то онъ испытывалъ чувство, похожее на ревность.

— Такія-то дѣла, дорогой мой...—началъ онъ опять, ласково глядя на слѣдователя. — Мы по добротѣ и простотѣ и изъ страха, чтобы насъ не заподозрили въ отсталости, братаемся, извините, со всякою дрянью, проповѣдуемъ братство и равенство съ кулаками и кабатчиками; но если бы мы пожелали вдуматься, то и увидѣли бы, до какой степени преступна эта наша доброта. Мы сдѣлали то, что цивилизація виситъ уже на волоскѣ. Дорогой мой! То, что вѣками добывали наши предки, не сегодня—завтра будетъ поругано и истреблено этими новѣйшими гуннами...

Послѣ ужина всѣ пошли въ гостиную. Женя и Ираида зажгли свѣчи на роялѣ, приготовили ноты... Но отецъ все продолжалъ говорить, и неизвѣстно было, когда онъ кончитъ. Онѣ уже съ тоской и досадой смотрѣли на эгоиста-отца, для котораго, очевидно, удовольствіе поболтать и блеснуть своимъ умомъ было дороже и важнѣе, чѣмъ счастье

дочерей. Мейеръ—единственный молодой человѣкъ, который бывалъ въ ихъ домѣ, бывалъ — онѣ это знали — ради ихъ милаго женскаго общества, но неугомонный старикъ завладѣлъ имъ и не отпускалъ его отъ себя ни на шагъ.

— Подобно тому, какъ западные рыцари отразили нападеніе монголовъ, такъ и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага, — продолжалъ Рашевичъ тономъ проповѣдника, поднимая вверхъ правую руку.—Пусть я явлюсь передъ чумазымъ не какъ Павелъ Ильичъ, а какъ грозный и сильный Ричардъ Львиное Сердце. Перестанемъ же деликатничать съ нимъ, довольно! Давайте мы всѣ сговоримся, что едва близко подойдетъ къ намъ чумазый, какъ мы бросимъ ему прямо въ харю слова пренебреженія: «руки прочь! сверчокъ, знай свой шестокъ!» Прямо въ харю! — продолжалъ Рашевичъ съ восторгомъ, тыча передъ собой согнутымъ пальцемъ.— Въ харю! Въ харю!

— Я не могу этого,—проговорилъ Мейеръ, отворачиваясь.

— Почему же?—живо спросилъ Рашевичъ, предчувствуя интересный и продолжительный споръ.—Почему же?

— Потому, что я самъ мѣщанинъ.

Сказавши это, Мейеръ покраснѣлъ, и даже шея у него надулась, и даже слезы заблестѣли на глазахъ.

— Мой отецъ былъ простымъ рабочимъ,—добавилъ онъ грубымъ, отрывистымъ голосомъ:—но я въ этомъ не вижу ничего дурного.

Рашевичъ страшно смутился и ошеломленный, точно пойманный на мѣстѣ преступленія, растерянно смотрѣлъ на Мейера и не зналъ, что сказать. Женя и Ираида покраснѣли и нагнулись къ нотамъ; имъ было стыдно за своего безтактнаго отца. Минута прошла въ молчаніи, и стало невыносимо совѣстно, когда вдругъ какъ-то болѣзненно, натянуто и некстати прозвучали въ воздухѣ слова:

— Да, я мѣщанинъ и горжусь этимъ.

Затѣмъ Мейеръ, неловко спотыкаясь о мебель, простился и быстро пошелъ въ переднюю, хотя еще не подавали лошадей.

— А вамъ будетъ сегодня темненько ѣхать,—бормоталъ Рашевичъ, идя за нимъ.—Луна теперь поздно восходитъ.

Оба стояли на крыльцѣ въ потемкахъ и ждали, когда подадутъ лошадей. Было прохладно.

— Звѣзда упала... — проговорилъ Мейеръ, кутаясь въ пальто.

— Въ августѣ ихъ много падаетъ.

Когда подали лошадей, Рашевичъ поглядѣлъ внимательно на небо и сказалъ со вздохомъ:

— Явленіе, достойное пера Фламмаріона...

Проводивъ гостя, онъ прошелся по саду, жестикулируя въ потемкахъ руками и не желая вѣрить, что только-что произошло такое странное, глупое недоразумѣніе. Ему было стыдно и досадно на себя. Во-первыхъ, съ его стороны было крайне неосторожно и безтактно поднимать этотъ проклятый разговоръ о бѣлой кости, не узнавши предварительно, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло; нѣчто подобное съ нимъ уже случалось раньше; какъ-то въ вагонѣ онъ сталъ бранить нѣмцевъ, и потомъ оказалось, что всѣ его собесѣдники—нѣмцы. Во-вторыхъ, онъ чувствовалъ, что Мейеръ уже больше не пріѣдетъ къ нему. Эти интеллигенты, вышедшіе изъ народа, болѣзненно самолюбивы, упрямы и злопамятны.

— Не хорошо, не хорошо...—бормоталъ Рашевичъ, отплевываясь; ему было неловко и противно, какъ будто онъ поѣлъ мыла.—Ахъ, не хорошо!

Въ окно изъ сада видно было, какъ въ гостиной около рояля Женя съ распущенными волосами, очень блѣдная, испуганная, говорила о чемъ-то быстро-быстро... Ираида ходила изъ угла въ уголъ, задумавшись; но вотъ и она заговорила, тоже быстро, съ негодующимъ лицомъ. Говорили обѣ разомъ. Не было слышно ни одного слова, но Рашевичъ догадывался, о чемъ онѣ говорили. Женя, вѣроятно, роптала на то, что отецъ своими разговорами отвадилъ отъ дома всѣхъ порядочныхъ людей и сегодня отнялъ у нихъ единственнаго знакомаго, быть-можетъ, жениха, и теперь уже у бѣднаго молодого человѣка во всемъ уѣздѣ нѣтъ мѣста, гдѣ онъ могъ бы отдохнуть душой. А Ираида, судя по тому, что она съ отчаяніемъ поднимала вверхъ руки, говорила, вѣроятно, на тему о скучной жизни, о сгубленной молодости...

Прійдя къ себѣ въ комнату, Рашевичъ сѣлъ на кровать и сталъ медленно раздѣваться. Состояніе духа было угнетенное, и томило все то же чувство, какъ будто онъ поѣлъ мыла. Было стыдно. Раздѣвшись, онъ поглядѣлъ на свои

длинныя жилистыя старческія ноги и вспомнилъ, что въ уѣздѣ его прозвали жабой и что послѣ всякаго длиннаго разговора ему бывало стыдно. Какъ-то такъ, роковымъ образомъ выходило, что начиналъ онъ мягко, ласково, съ добрыми намѣреніями, называя себя старымъ студентомъ, идеалистомъ, Донъ-Кихотомъ, но незамѣтно для самого себя мало-по-малу переходилъ на брань и клевету и, что̀ удивительнѣе всего, самымъ искреннимъ образомъ критиковалъ науку, искусства и нравы, хотя вотъ уже двадцать лѣтъ прошло, какъ не прочелъ онъ ни одной книжки, не былъ нигдѣ дальше губернскаго города и въ сущности не зналъ, что̀ происходитъ на бѣломъ свѣтѣ. Если же онъ садился писать что-нибудь, хотя бы поздравительное письмо, то и въ письмѣ выходила брань. И все это странно потому, что на самомъ дѣлѣ онъ чувствительный, слезливый человѣкъ. Ужъ не сидитъ ли въ немъ нечистый духъ, который ненавидитъ и клевещетъ въ немъ помимо его воли?

— Не хорошо...—вздыхалъ онъ, лежа подъ одѣяломъ.— Не хорошо!

Дочери тоже не спали. Послышались хохотъ и крикъ, какъ будто за кѣмъ-то гнались: это съ Женей сдѣлалась истерика. Немного погодя зарыдала и Ираида. По коридору нѣсколько разъ пробѣжала босая горничная...

— Экая исторія, Господи...—бормоталъ Рашевичъ, вздыхая и поворачиваясь съ боку на бокъ.—Не хорошо!

Во снѣ давилъ его кошмаръ. Приснилось ему, будто самъ онъ, голый, высокій, какъ жирафъ, стоитъ среди комнаты и говоритъ, тыча передъ собой пальцемъ:

— Въ харю! Въ харю! Въ харю!

Онъ проснулся въ испугѣ и прежде всего вспомнилъ, что вчера произошло недоразумѣніе, и что Мейеръ, конечно, уже больше не пріѣдетъ. Вспомнилъ онъ также, что надо проценты платить въ банкъ, дочерей замужъ выдавать, надо ѣсть, пить, а тутъ болѣзни, старость, непріятности, скоро зима, дровъ нѣтъ...

Былъ уже десятый часъ утра. Рашевичъ медленно одѣлся, напился чаю и съѣлъ два большихъ ломтя хлѣба съ масломъ. Дочери не вышли къ чаю; онѣ не хотѣли встрѣчаться съ нимъ, и это оскорбляло его. Онъ полежалъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, потомъ сѣлъ за столъ и принялся писать дочерямъ письмо. Рука у него дрожала и чесались

глаза. Онъ писалъ о томъ, что онъ уже старъ, никому не нуженъ и что его никто не любитъ, и просилъ дочерей забыть о немъ и, когда онъ умретъ, похоронить его въ простомъ сосновомъ гробѣ, безъ церемоній, или послать его трупъ въ Харьковъ, въ анатомическій театръ. Онъ чувствовалъ, что каждая его строчка дышитъ злобой и комедіантствомъ, но остановиться уже не могъ и все писалъ, писалъ...

— Жаба! — вдругъ послышалось изъ сосѣдней комнаты: это былъ голосъ старшей дочери, негодующій, шипящій голосъ.—Жаба!

— Жаба!—повторила, какъ эхо, младшая.—Жаба!

СТУДЕНТЪ.

Погода вначалѣ была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по сосѣдству въ болотахъ что-то живое жалобно гудѣло, точно дуло въ пустую бутылку. Протянулъ одинъ вальдшнепъ, и выстрѣлъ по немъ прозвучалъ въ весеннемъ воздухѣ раскатисто и весело. Но когда стемнѣло въ лѣсу, некстати подулъ съ востока холодный пронизывающій вѣтеръ, все смолкло. По лужамъ протянулись ледяныя иглы, и стало въ лѣсу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иванъ Великопольскій, студентъ духовной академіи, сынъ дьячка, возвращаясь съ тяги домой, шелъ все время заливнымъ лугомъ по тропинкѣ. У него закоченѣли пальцы, и разгорѣлось отъ вѣтра лицо. Ему казалось, что этотъ внезапно наступившій холодъ нарушилъ во всемъ порядокъ и согласіе, что самой природѣ жутко, и оттого вечернія потемки сгустились быстрѣй, чѣмъ надо. Кругомъ было пустынно и какъ-то особенно мрачно. Только на вдовьихъ огородахъ около рѣки свѣтился огонь; далеко же кругомъ и тамъ, гдѣ была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало въ холодной вечерней мглѣ. Студентъ вспомнилъ, что, когда онъ уходилъ изъ дому, его мать, сидя въ сѣняхъ на полу, босая, чистила самоваръ, а отецъ лежалъ на печи и кашлялъ; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотѣлось ѣсть. И теперь, пожимаясь отъ холода, студентъ думалъ о томъ, что точно такой же вѣтеръ дулъ и при Рюрикѣ, и при Іоаннѣ Грозномъ, и при Петрѣ, и что при нихъ была точно такая же лютая бѣдность, голодъ; такія же дырявыя соломенныя крыши, невѣ-

жество, тоска, такая же пустыня кругомъ, мракъ, чувство гнета,—всѣ эти ужасы были, есть и будутъ, и оттого, что пройдетъ еще тысяча лѣтъ, жизнь не станетъ лучше. И ему не хотѣлось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что ихъ содержали двѣ вдовы, мать и дочь. Костеръ горѣлъ жарко, съ трескомъ, освѣщая далеко кругомъ вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха въ мужскомъ полушубкѣ, стояла возлѣ и въ раздумьѣ глядѣла на огонь; ея дочь, Лукерья, маленькая, рябая, съ глуповатымъ лицомъ, сидѣла на землѣ и мыла котелъ и ложки. Очевидно, только-что отужинали. Слышались мужскіе голоса; это здѣшніе работники на рѣкѣ поили лошадей.

— Вотъ вамъ и зима пришла назадъ,—сказалъ студентъ, подходя къ костру.—Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчасъ же узнала его и улыбнулась привѣтливо.

— Не узнала, Богъ съ тобой,—сказала она.—Богатымъ быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господъ въ мамкахъ, а потомъ нянькахъ, выражалась деликатно, и съ лица ея все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ея Лукерья, деревенская баба, забитая мужемъ, только щурилась на студента и молчала, и выраженіе у нея было странное, какъ у глухонѣмой.

— Точно такъ же въ холодную ночь грѣлся у костра апостолъ Петръ, — сказалъ студентъ, протягивая къ огню руки.—Значитъ, и тогда было холодно. Ахъ, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Онъ посмотрѣлъ кругомъ на потемки, судорожно встряхнулъ головой и спросилъ:

— Небось, была на двѣнадцати евангеліяхъ?

— Была,—отвѣтила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петръ сказалъ Іисусу: «Съ Тобою я готовъ и въ темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебѣ, Петръ, не пропоетъ сегодня пѣтелъ, то-есть пѣтухъ, какъ ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». Послѣ вечери Іисусъ смертельно тосковалъ въ саду и молился, а бѣдный Петръ истомился душой, ослабѣлъ, вѣки у него отяжелѣли, и онъ

никакъ не могъ побороть сна. Спалъ. Потомъ, ты слышала, Іуда въ ту же ночь поцѣловалъ Іисуса и предалъ Его мучителямъ. Его связаннаго вели къ первосвященнику и били, а Петръ, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшійся, предчувствуя, что вотъ-вотъ на землѣ произойдетъ что-то ужасное, шелъ вслѣдъ... Онъ страстно, безъ памяти любилъ Іисуса, и теперь видѣлъ издали, какъ Его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взглядъ на студента.

— Пришли къ первосвященнику, — продолжалъ онъ: — Іисуса стали допрашивать, а работники тѣмъ временемъ развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грѣлись. Съ ними около костра стоялъ Петръ и тоже грѣлся, какъ вотъ я теперь. Одна женщина, увидѣвъ его, сказала: «И этотъ былъ съ Іисусомъ», то-есть, что и его, молъ, нужно вести къ допросу. И всѣ работники, что находились около огня, должно-быть, подозрительно и сурово поглядѣли на него, потому что онъ смутился и сказалъ: «Я не знаю Его». Немного погодя опять кто-то узналъ въ немъ одного изъ учениковъ Іисуса и сказалъ: «И ты изъ нихъ». Но онъ опять отрекся. И въ третій разъ кто-то обратился къ нему: «Да не тебя ли сегодня я видѣлъ съ Нимъ въ саду?» Онъ третій разъ отрекся. И послѣ этого раза тотчасъ же запѣлъ пѣтухъ, и Петръ, взглянувъ издали на Іисуса, вспомнилъ слова, которыя Онъ сказалъ ему на вечери... Вспомнилъ, очнулся, пошелъ со двора и горько-горько заплакалъ. Въ евангеліи сказано: «И исшедъ вонъ, плакася горько». Воображаю: тихій-тихій, темный-темный садъ, и въ тишинѣ едва слышатся глухія рыданія...

Студентъ вздохнулъ и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдругъ всхлипнула, слезы, крупныя, изобильныя, потекли у нея по щекамъ, и она заслонила рукавомъ лицо отъ огня, какъ бы стыдясь своихъ слезъ, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснѣла, и выраженіе у нея стало тяжелымъ, напряженнымъ, какъ у человѣка, который сдерживаетъ сильную боль.

Работники возвращались съ рѣки, и одинъ изъ нихъ верхомъ на лошади былъ уже близко, и свѣтъ отъ костра дрожалъ на немъ. Студентъ пожелалъ вдовамъ спокойной ночи и пошелъ дальше. И опять наступили потемки, и

стали зябнуть руки. Дулъ жестокій вѣтеръ, въ самомъ дѣлѣ возвращалась зима, и не было похоже, что послѣзавтра Пасха.

Теперь студентъ думалъ о Василисѣ: если она заплакала, то, значитъ, все, происходившее въ ту страшную ночь съ Петромъ, имѣетъ къ ней какое-то отношеніе...

Онъ оглянулся. Одинокій огонь спокойно мигалъ въ темнотѣ, и возлѣ него уже не было видно людей. Студентъ опять подумалъ, что если Василиса заплакала, а ея дочь смутилась, то, очевидно, то, о чемъ онъ только-что разсказывалъ, что происходило девятнадцать вѣковъ назадъ, имѣетъ отношеніе къ настоящему—къ обѣимъ женщинамъ и, вѣроятно, къ этой пустынной деревнѣ, къ нему самому, ко всѣмъ людямъ. Если старуха заплакала, то не потому, что онъ умѣетъ трогательно разсказывать, а потому, что Петръ ей близокъ, и потому, что она всѣмъ своимъ существомъ заинтересована въ томъ, что̀ происходило въ душѣ Петра.

И радость вдругъ заволновалась въ его душѣ, и онъ даже остановился на минуту, чтобы перевести духъ. Прошлое,—думалъ онъ:—связано съ настоящимъ непрерывною цѣпью событій, вытекавшихъ одно изъ другого. И ему казалось, что онъ только-что видѣлъ оба конца этой цѣпи: дотронулся до одного конца, какъ дрогнулъ другой.

А когда онъ переправлялся на паромѣ черезъ рѣку и потомъ, поднимаясь на гору, глядѣлъ на свою родную деревню и на западъ, гдѣ узкою полосой свѣтилась холодная багровая заря, то думалъ о томъ, что правда и красота, направлявшія человѣческую жизнь тамъ, въ саду и во дворѣ первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное въ человѣческой жизни и вообще на землѣ; и чувство молодости, здоровья, силы,—ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожиданіе счастья, невѣдомаго, таинственнаго счастья овладѣвали имъ мало-по-малу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокаго смысла.

СОСѢДИ.

Петръ Михайлычъ Ивашинъ былъ сильно не въ духѣ: его сестра, дѣвушка, ушла къ Власичу, женатому человѣку. Чтобы какъ-нибудь отдѣлаться отъ тяжелаго, унылаго настроенія, какое не оставляло его ни дома, ни въ полѣ, онъ призывалъ къ себѣ на помощь чувство справедливости, свои честныя, хорошія убѣжденія—вѣдь онъ всегда стоялъ за свободную любовь! — но это не помогало, и онъ всякій разъ помимо воли приходилъ къ такому же заключенію, какъ глупая няня, то-есть, что сестра поступила дурно, а Власичъ укралъ сестру. И это было мучительно.

Мать цѣлый день не выходила изъ своей комнаты, няня говорила шопотомъ и все вздыхала, тетка каждый день собиралась уѣхать, и чемоданы ея то вносили въ переднюю, то уносили назадъ въ комнату. Въ домѣ, во дворѣ и въ саду была тишина, похожая на то, какъ будто въ домѣ былъ покойникъ. Тетка, прислуга и даже мужики, казалось Петру Михайлычу, загадочно и съ недоумѣніемъ смотрѣли на него, какъ будто хотѣли сказать: «Твою сестру обольстили, что же ты бездѣйствуешь?» И онъ упрекалъ себя въ бездѣйствіи, хотя и не зналъ, въ чемъ собственно должно было заключаться дѣйствіе.

Такъ прошло дней шесть. Въ седьмой — это было въ воскресенье послѣ обѣда—верховой привезъ письмо. Адресъ былъ написанъ знакомымъ женскимъ почеркомъ: «Ея Превосх. Аннѣ Николаевнѣ Ивашиной». Петру Михайлычу почему-то показалось, что въ оболочкѣ письма и въ почеркѣ, и въ недописанномъ словѣ «Превосх.» было что-то

вызывающее, задорное, либеральное. А женскій либерализмъ упрямъ, неумолимъ, жестокъ...

«Она скорѣе согласится умереть, чѣмъ сдѣлать несчастной матери уступку, попросить у нея прощенія»,—подумалъ Петръ Михайлычъ, идя къ матери съ письмомъ.

Мать лежала въ постели, одѣтая. Увидѣвъ сына, она порывисто поднялась и, поправляя сѣдые волосы, выбившіеся изъ-подъ чепца, быстро спросила:

— Что? Что?

— Прислала...—сказалъ сынъ, подавая ей письмо.

Имя Зины и даже слово «она» не произносилось въ домѣ; о Зинѣ говорили безлично: «прислала», «ушла»... Мать узнала почеркъ дочери, и лицо ея стало некрасивымъ, непріятнымъ, и сѣдые волосы опять выбились изъ-подъ чепца.

— Нѣтъ!—сказала она, дѣлая руками такъ, какъ будто письмо обожгло ей пальцы. — Нѣтъ, нѣтъ, никогда! Ни за что!

Мать истерически зарыдала отъ горя и стыда; ей, очевидно, хотѣлось прочесть письмо, но мѣшала гордость. Петръ Михайлычъ понималъ, что ему самому слѣдовало бы распечатать письмо и прочесть его вслухъ, но имъ вдругъ овладѣла злоба, какой онъ раньше никогда не испытывалъ; онъ выбѣжалъ на дворъ и крикнулъ верховому:

— Скажи, что отвѣта не будетъ! Не будетъ отвѣта! Такъ и скажи, скотина!

И разорвалъ письмо; потомъ слезы выступили у него на глазахъ, и, чувствуя себя жестокимъ, виноватымъ и несчастнымъ, онъ ушелъ въ поле.

Ему шелъ только двадцать-восьмой годъ, но ужъ онъ былъ толстъ, одѣвался по-стариковски во все широкое и просторное и страдалъ одышкой. Въ немъ были уже всѣ задатки помѣщика стараго холостяка. Онъ не влюблялся, о женитьбѣ не думалъ и любилъ только мать, сестру, пяню, садовника Васильича; любилъ хорошо поѣсть, поспать послѣ обѣда, поговорить о политикѣ и о возвышенныхъ матеріяхъ... Въ свое время онъ кончилъ курсъ въ университетѣ, но теперь смотрѣлъ на это такъ, какъ будто отбылъ повинность, неизбѣжную для юношей въ возрастѣ отъ 18 до 25 лѣтъ; по крайней мѣрѣ, мысли, которыя теперь каждый день бродили въ его головѣ, не имѣли ни-

чего общаго съ университетомъ и съ тѣми науками, которыя онъ проходилъ.

Въ полѣ было жарко и тихо, какъ передъ дождемъ. Въ лѣсу парило, и шелъ душистый тяжелый запахъ отъ сосенъ и лиственнаго перегноя. Петръ Михайлычъ часто останавливался и вытиралъ мокрый лобъ. Онъ осмотрѣлъ свои озимыя и яровыя, обошелъ клеверное поле и раза два согналъ на опушкѣ куропатку съ цыплятами; и все время онъ думалъ о томъ, что это невыносимое состояніе не можетъ продолжаться вѣчно и что надо его такъ или иначе кончить. Кончить какъ-нибудь глупо, дико, но непремѣнно кончить.

«Но какъ же? Что же сдѣлать?»—спрашивалъ онъ себя и умоляюще поглядывалъ на небо и на деревья, какъ бы прося у нихъ помощи.

Но небо и деревья молчали. Честныя убѣжденія не помогали, а здравый смыслъ подсказывалъ, что мучительный вопросъ можно рѣшить не иначе, какъ глупо, и что сегодняшняя сцена съ верховымъ не послѣдняя въ этомъ родѣ. Что еще будетъ—страшно подумать!

Когда онъ возвращался домой, уже заходило солнце. Теперь ужъ ему казалось, что вопроса никакъ нельзя рѣшить. Съ совершившимся фактомъ мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а средины нѣтъ. Когда онъ, снявши шляпу и обмахиваясь платкомъ, шелъ по дорогѣ и до дома оставалось версты двѣ, сзади послышались звонки. Это былъ затѣйливый и очень удачный подборъ колокольчиковъ и бубенчиковъ, издававшихъ стеклянные звуки. Съ такимъ звономъ ѣздилъ одинъ только исправникъ Медовскій, бывшій гусарскій офицеръ, промотавшійся и истасканный, больной человѣкъ, дальній родственникъ Петра Михайлыча. У Ивашиныхъ онъ былъ своимъ человѣкомъ и къ Зинѣ питалъ нѣжное отеческое чувство и восхищался ею.

— А я къ вамъ,—сказалъ онъ, обогнавъ Петра Михайлыча.—Садитесь, подвезу.

Онъ улыбался и глядѣлъ весело; очевидно, не зналъ еще, что Зина ушла къ Власичу; быть-можетъ, ему уже сообщали объ этомъ, но онъ не вѣрилъ. Петръ Михайлычъ почувствовалъ себя въ затруднительномъ положеніи.

— Милости просимъ, — пробормоталъ онъ, краснѣя до

слезъ и не зная, какъ и что солгать. — Я очень радъ, — продолжалъ онъ, стараясь улыбнуться:—но... Зина уѣхала, а мама больна.

— Какая досада!—сказалъ исправникъ, задумчиво глядя на Петра Михайлыча. — А я собирался провести у васъ вечеръ. Куда же уѣхала Зинаида Михайловна?

— Къ Синицкимъ, а оттуда, кажется, хотѣла въ монастырь. Не знаю навѣрное.

Исправникъ поговорилъ еще немного и повернулъ назадъ. Петръ Михайлычъ шелъ домой и съ ужасомъ думалъ о томъ, какое чувство будетъ у исправника, когда онъ узнаетъ правду. И Петръ Михайлычъ вообразилъ себѣ это чувство и, испытывая его, вошелъ въ домъ.

«Помоги, Господи, помоги...»—думалъ онъ.

Въ столовой за вечернимъ чаемъ сидѣла одна только тетка. По обыкновенію, на лицѣ у нея было такое выраженіе, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидѣть себя никому не позволитъ. Петръ Михайлычъ сѣлъ на другой конецъ стола (онъ не любилъ тетки) и сталъ молча пить чай.

— Твоя мать сегодня опять не обѣдала, — сказала тетка. — Ты бы, Петруша, обратилъ вниманіе. Морить себя будешь голодомъ, этимъ горю не пособишь.

Петру Михайлычу показалось нелѣпымъ, что тетка вмѣшивается въ чужія дѣла, и свой отъѣздъ ставитъ въ зависимость отъ того, что ушла Зина. Онъ хотѣлъ сказать ей дерзость, но сдержалъ себя. И, сдерживая себя, онъ почувствовалъ, что настала подходящая пора, чтобы дѣйствовать, и что терпѣть долѣе нѣтъ силъ. Или дѣйствовать сейчасъ же, или же упасть на полъ, кричать и биться головой о полъ. Онъ вообразилъ Власича и Зину, какъ они оба, либеральные и довольные собой, цѣлуются теперь гдѣ-нибудь подъ кленомъ, и все тяжелое и злобное, что скоплялось въ немъ въ теченіе семи дней, навалилось на Власича.

«Одинъ обольстилъ и укралъ сестру,—подумалъ онъ:—другой придетъ и зарѣжетъ мать, третій подожжетъ домъ или ограбитъ... И все это подъ личиной дружбы, высокихъ идей, страданій!»

— Нѣтъ, этого не будетъ!—вдругъ крикнулъ Петръ Михайлычъ и ударилъ кулакомъ по столу.

Онъ вскочилъ и выбѣжалъ изъ столовой. Въ конюшнѣ стояла осѣдланная лошадь управляющаго. Онъ сѣлъ на нее и поскакалъ къ Власичу.

Въ душѣ у него происходила цѣлая буря. Онъ чувствовалъ потребность сдѣлать что-нибудь изъ ряда вонъ выходящее, рѣзкое, хотя бы потомъ пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецомъ, дать ему пощечину и потомъ вызвать на дуэль? Но Власичъ не изъ тѣхъ, которые дерутся на дуэли; отъ подлеца же и пощечины онъ станетъ только несчастнѣе и глубже уйдетъ въ самого себя. Эти несчастные, безотвѣтные люди — самые несносные, самые тяжелые люди. Имъ все проходитъ безнаказанно. Когда несчастный человѣкъ, въ отвѣтъ на заслуженный упрекъ, взглянетъ своими глубокими виноватыми глазами, болѣзненно улыбнется и покорно подставитъ голову, то, кажется, у самой справедливости не хватитъ духа поднять на него руку.

«Все равно. Я при ней ударю его хлыстомъ и наговорю ему дерзостей»,—рѣшилъ Петръ Михайлычъ.

Онъ ѣхалъ своимъ лѣсомъ и пустырями и воображалъ, какъ Зина, чтобы оправдать свой поступокъ, будетъ говорить о правахъ женщины, о свободѣ личности и о томъ, что между церковнымъ и гражданскимъ бракомъ нѣтъ никакой разницы. Она по-женски будетъ спорить о томъ, чего не понимаетъ. И, вѣроятно, въ концѣ концовъ она спроситъ: «При чемъ ты тутъ? Какое ты имѣешь право вмѣшиваться?»

— Да, я не имѣю права,—пробормоталъ Петръ Михайлычъ. — Но тѣмъ лучше... Чѣмъ грубѣе, чѣмъ меньше права, тѣмъ лучше.

Было душно. Низко надъ землей стояли тучи комаровъ, и въ пустыряхъ жалобно плакали чибисы. Все предвѣщало дождь, но не было ни одного облачка. Петръ Михайлычъ переѣхалъ свою межу и поскакалъ по ровному, гладкому полю. Онъ часто ѣздилъ по этой дорогѣ и зналъ на ней каждый кустикъ, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, въ сумеркахъ, представлялось темнымъ утесомъ, была красная церковь; онъ могъ вообразить ее себѣ всю до мелочей, даже штукатурку на воротахъ и телятъ, которые всегда паслись въ оградѣ. Въ верстѣ отъ церкви направо темнѣетъ роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.

Изъ-за церкви и графской рощи надвигалась громадная черная туча, и на ней вспыхивали блѣдныя молніи.

«Вотъ оно что!—подумалъ Петръ Михайлычъ.—Помоги, Господи, помоги».

Лошадь отъ быстрой ѣзды скоро устала, и самъ Петръ Михайлычъ усталъ. Грозовая туча сердито смотрѣла на него и какъ будто совѣтовала вернуться домой. Стало немножко жутко.

«Я имъ докажу, что они не правы! — подбодрялъ онъ себя. — Они будутъ говорить, что это свободная любовь, свобода личности; но вѣдь свобода — въ воздержаніи, а не въ подчиненіи страстямъ. У нихъ развратъ, а не свобода!»

Вотъ большой графскій прудъ; отъ тучи онъ посинѣлъ и нахмурился; повѣяло отъ него сыростью и тиной. Около гати двѣ ивы, старая и молодая, нѣжно прислонились другъ къ другу. На этомъ самомъ мѣстѣ недѣли двѣ назадъ Петръ Михайлычъ и Власичъ шли пѣшкомъ и пѣли вполголоса студенческую пѣсню: «Не любить — погубить, значитъ, жизнь молодую...» Жалкая пѣсня!

Когда Петръ Михайлычъ ѣхалъ черезъ рощу, гремѣлъ громъ, и деревья шумѣли и гнулись отъ вѣтра. Надо было торопиться. Отъ рощи до усадьбы Власича оставалось еще проѣхать лугомъ не болѣе версты. Тутъ по обѣ стороны дороги стояли старыя березы. Онѣ были такъ же печальны и несчастны на видъ, какъ ихъ хозяинъ Власичъ, такъ же были тощи и высоко вытянулись, какъ онъ. Въ березахъ и въ травѣ зашуршалъ крупный дождь, вѣтеръ тотчасъ же стихъ и запахло мокрою землей и тополемъ. Вонъ показалась изгородь Власича съ желтою акаціей, которая тоже тоща и вытянулась; тамъ, гдѣ рѣшетка обвалилась, виденъ запущенный фруктовый садъ.

Петръ Михайлычъ не думалъ уже ни о пощечинѣ, ни о хлыстѣ, и не зналъ, что будетъ онъ дѣлать у Власича. Онъ струсилъ. Ему было страшно за себя и за сестру, и было жутко, что онъ ее сейчасъ увидитъ. Какъ она будетъ держать себя съ братомъ? О чемъ они оба будутъ говорить? И не вернуться ли назадъ, пока не поздно? Думая такъ, онъ по липовой аллеѣ поскакалъ къ дому, обогнулъ широкіе кусты сирени и вдругъ увидѣлъ Власича.

Власичъ безъ шляпы, въ ситцевой рубахѣ и высокихъ

Онъ вскочилъ и выбѣжалъ изъ столовой. Въ конюшнѣ стояла осѣдланная лошадь управляющаго. Онъ сѣлъ на нее и поскакалъ къ Власичу.

Въ душѣ у него происходила цѣлая буря. Онъ чувствовалъ потребность сдѣлать что-нибудь изъ ряда вонъ выходящее, рѣзкое, хотя бы потомъ пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецомъ, дать ему пощечину и потомъ вызвать на дуэль? Но Власичъ не изъ тѣхъ, которые дерутся на дуэли; отъ подлеца же и пощечины онъ станетъ только несчастнѣе и глубже уйдетъ въ самого себя. Эти несчастные, безотвѣтные люди — самые несносные, самые тяжелые люди. Имъ все проходитъ безнаказанно. Когда несчастный человѣкъ, въ отвѣтъ на заслуженный упрекъ, взглянетъ своими глубокими виноватыми глазами, болѣзненно улыбнется и покорно подставитъ голову, то, кажется, у самой справедливости не хватитъ духа поднять на него руку.

«Все равно. Я при ней ударю его хлыстомъ и наговорю ему дерзостей»,—рѣшилъ Петръ Михайлычъ.

Онъ ѣхалъ своимъ лѣсомъ и пустырями и воображалъ, какъ Зина, чтобы оправдать свой поступокъ, будетъ говорить о правахъ женщины, о свободѣ личности и о томъ, что между церковнымъ и гражданскимъ бракомъ нѣтъ никакой разницы. Она по-женски будетъ спорить о томъ, чего не понимаетъ. И, вѣроятно, въ концѣ концовъ она спроситъ: «При чемъ ты тутъ? Какое ты имѣешь право вмѣшиваться?»

— Да, я не имѣю права,—пробормоталъ Петръ Михайлычъ. — Но тѣмъ лучше... Чѣмъ грубѣе, чѣмъ меньше права, тѣмъ лучше.

Было душно. Низко надъ землей стояли тучи комаровъ, и въ пустыряхъ жалобно плакали чибисы. Все предвѣщало дождь, но не было ни одного облачка. Петръ Михайлычъ переѣхалъ свою межу и поскакалъ по ровному, гладкому полю. Онъ часто ѣздилъ по этой дорогѣ и зналъ на ней каждый кустикъ, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, въ сумеркахъ, представлялось темнымъ утесомъ. красная церковь; онъ могъ вообразить ее себѣ всю лочей, даже штукатурку на воротахъ и телятъ, всегда паслись въ оградѣ. Въ верстѣ отъ церкви темнѣетъ роща, это графа Колтовича. А за рог нается уже земля Власича.

лась громадная
молніи.
лычъ.—Помоги,

и самъ Петръ
о смотрѣла на
омой. Стало не-

подбодрялъ онъ
бодная любовь,
ь воздержаніи,
развратъ, а не

онъ посинѣлъ
и тиной. Около
лонились другъ
и двѣ назадъ
ь и пѣли впо-
погубить. зна-

рощу. гре
ть Ѳетра. Н
остав

сапогахъ, согнувшись подъ дождемъ, шелъ отъ угла дома къ крыльцу; за нимъ работникъ несъ молотокъ и ящикъ съ гвоздями. Должно-быть, починяли ставню, которая хлопала отъ вѣтра. Увидѣвъ Петра Михайлыча, Власичъ остановился.

— Это ты? — сказалъ онъ и улыбнулся. — Ну, вотъ и хорошо.

— Да, пріѣхалъ, какъ видишь... — тихо проговорилъ Петръ Михайлычъ, стряхивая съ себя дождь обѣими руками.

— Ну, вотъ и ладно. Очень радъ, — сказалъ Власичъ, но руки не подалъ: очевидно, не рѣшался и ждалъ, когда ему подадутъ. — Для овсовъ хорошо! — сказалъ онъ и поглядѣлъ на небо.

— Да.

Молча вошли въ домъ. Направо изъ передней вела дверь въ другую переднюю и потомъ въ залу, а налѣво—въ маленькую комнату, гдѣ зимою жилъ приказчикъ. Петръ Михайлычъ и Власичъ пошли въ эту комнату.

— Тебя гдѣ дождь захватилъ?—спросилъ Власичъ.

— Недалеко. Почти около дома.

Петръ Михайлычъ сѣлъ на кровать. Онъ былъ радъ, что шумѣлъ дождь и что въ комнатѣ было темно. Этакъ лучше: не такъ жутко и не нужно собесѣднику въ лицо смотрѣть. Злобы у него уже не было, а были страхъ и досада на себя. Онъ чувствовалъ, что дурно началъ и что изъ этой его поѣздки не выйдетъ никакого толку.

Оба нѣкоторое время молчали и дѣлали видъ, что прислушиваются къ дождю.

— Спасибо, Петруша,—началъ Власичъ, кашлянувъ.— Я очень благодаренъ тебѣ, что ты пріѣхалъ. Это великодушно и благородно съ твоей стороны. Я это понимаю и, вѣрь мнѣ, цѣню высоко. Вѣрь мнѣ.

Онъ поглядѣлъ въ окно и продолжалъ, стоя среди комнатки:

— Все произошло какъ-то тайно, точно мы скрывались отъ тебя. Сознаніе, что ты, быть-можетъ, оскорбленъ нами и сердишься, всѣ эти дни лежало пятномъ на нашемъ счастьѣ. Но позволь оправдаться. Дѣйствовали мы тайно не потому, что тебѣ мало довѣряли. Во-первыхъ, все произошло внезапно. по какому-то вдохновенію, и разсуждать

было некогда. Во-вторыхъ, это дѣло интимное, щекотливое... было неловко вмѣшивать третье лицо, хотя бы даже такое близкое, какъ ты. Главное же, во всемъ этомъ мы сильно разсчитывали на твое великодушіе. Ты великодушнѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ. Я тебѣ безконечно благодаренъ. Если тебѣ когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Власичъ говорилъ тихимъ, глухимъ басомъ, все въ одну ноту, будто гудѣлъ; онъ, видимо, волновался. Петръ Михайлычъ почувствовалъ, что наступила его очередь говорить и что слушать и молчать значило бы для него въ самомъ дѣлѣ разыгрывать изъ себя великодушнѣйшаго и благороднѣйшаго простака, а онъ не за этимъ сюда пріѣхалъ. Онъ быстро поднялся и сказалъ вполголоса, задыхаясь:

— Послушай, Григорій, ты знаешь, я любилъ тебя и лучшаго мужа для своей сестры не желалъ; но то, что произошло, ужасно! Страшно подумать!

— Почему же страшно?—спросилъ Власичъ дрогнувшимъ голосомъ.—Было бы страшно, если бы мы дурно поступили, но вѣдь этого нѣтъ!

— Послушай, Григорій, ты знаешь, я безъ предразсудковъ; но, извини за откровенность, по моему мнѣнію, вы оба поступили эгоистически. Конечно, я этого не скажу Зинѣ, это ее огорчитъ, но ты долженъ знать: мать страдаетъ до такой степени, что описать трудно.

— Да, это грустно,—вздохнулъ Власичъ.—Мы это предвидѣли, Петруша, но что же мы должны были дѣлать? Если твой поступокъ огорчаетъ кого-нибудь, то это еще не значитъ, что онъ дуренъ. Что дѣлать! Всякій твой серьезный шагъ неминуемо долженъ огорчить кого-нибудь. Если бы ты пошелъ сражаться за свободу, то это тоже заставило бы твою мать страдать. Что дѣлать! Кто выше всего ставитъ покой своихъ близкихъ, тотъ долженъ совершенно отказаться отъ идейной жизни.

За окномъ ярко сверкнула молнія, и этотъ блескъ какъ будто измѣнилъ теченіе мыслей у Власича. Онъ сѣлъ рядомъ съ Петромъ Михайлычемъ и заговорилъ совсѣмъ не то, что нужно.

— Я, Петруша, благоговѣю передъ твоею сестрой, — сказалъ онъ.—Когда я ѣздилъ къ тебѣ, то всякій разъ у

меня бывало такое чувство, какъ будто я шелъ на богомолье, и я въ самомъ дѣлѣ молился на Зину. Теперь мое благоговѣніе растетъ съ каждымъ днемъ. Она для меня выше, чѣмъ жена! Выше! (Власичъ взмахнулъ руками). Она моя святыня. Съ тѣхъ поръ, какъ она живетъ у меня, я вхожу въ свой домъ какъ въ храмъ. Это рѣдкая, необыкновенная, благороднѣйшая женщина!

«Ну, завелъ свою шарманку!»—подумалъ Петръ Михайлычъ; слово «женщина» ему не понравилось.

— Отчего бы вамъ не жениться по-настоящему?—спросилъ онъ.—Сколько твоя жена хочетъ за разводъ?

— Семьдесятъ пять тысячъ.

— Многовато. А если поторговаться?

— Не уступитъ ни копейки. Это, братъ, ужасная женщина!—вздохнулъ Власичъ.—Я тебѣ раньше о ней никогда не говорилъ, было противно вспоминать, но вотъ пришлось къ случаю, упоминаю. Женился я на ней подъ вліяніемъ хорошей, честной минуты. Въ нашемъ полку, если хочешь подробностей, одинъ батальонный камандиръ сошелся съ восемнадцатилѣтнею дѣвицей, то-есть, попросту, обольстилъ ее, пожилъ съ ней мѣсяца два и бросилъ. Очутилась она, братъ, въ ужаснѣйшемъ положеніи. Къ родителямъ возвращаться совѣстно, да и не примутъ, любовникъ бросилъ,—хоть иди въ казармы и продавай себя. Товарищи по полку были возмущены. Сами тоже они не святые, но подлость ужъ очень глаза рѣзала. Батальоннаго, къ тому же, въ полку всѣ терпѣть не могли. И, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали всѣ негодующіе прапорщики и подпоручики собирать деньги по подпискѣ въ пользу несчастной дѣвицы. Ну, вотъ, когда мы, младшіе оберъ-офицеры, собрались на совѣщаніе и когда стали выкладывать кто пять, кто десять рублей, у меня вдругъ загорѣлась голова. Обстановка показалась мнѣ слишкомъ подходящею для подвига. Я поспѣшилъ къ дѣвицѣ и въ горячихъ выраженіяхъ высказалъ ей свое сочувствіе. И пока я шелъ къ ней и потомъ говорилъ, я горячо любилъ ее, какъ униженную и оскорбленную. Да... Ну, вышло такъ, что черезъ недѣлю послѣ этого я сдѣлалъ ей предложеніе. Начальство и товарищи нашли бракъ мой несовмѣстимымъ съ достоинствомъ офицера. Это меня еще пуще воспламенило. Я, понимаешь ли, написалъ длинное письмо, въ которомъ дока-

салъ, что мой поступокъ долженъ быть записанъ въ исторіи полка золотыми буквами и прочее. Письмо послалъ командиру, а копіи товарищамъ. Ну, конечно, былъ возбужденъ и не обошлось безъ рѣзкостей. Меня попросили оставить полкъ. Гдѣ-то у меня спрятанъ черновикъ, я тебѣ дамъ прочесть какъ-нибудь. Написано съ большимъ чувствомъ. Ты увидишь, какія я переживалъ честныя, свѣтлыя минуты. Подалъ я въ отставку и пріѣхалъ съ женой сюда. Послѣ отца остались кое-какіе должишки, денегъ у меня не было, а жена съ перваго же дня завела знакомства, стала щеголять и играть въ карты, и я вынужденъ былъ заложить имѣніе. Вела она, понимаешь ли, нехорошую жизнь, и изъ всѣхъ моихъ сосѣдей только одинъ ты не былъ ея любовникомъ. Года черезъ два далъ я ей отступного, все, что у меня было тогда, и она уѣхала въ городъ. Да... И теперь я выплачиваю ей по тысячѣ двѣсти ежегодно. Ужасная женщина! Есть, братъ, муха, которая кладетъ личинку на спину паука такимъ образомъ, что тотъ никакъ не можетъ сбросить ея; личинка прирастаетъ къ пауку и пьетъ изъ его сердца кровь. Точно такъ же вотъ приросла ко мнѣ и пьетъ изъ моего сердца кровь эта женщина. Она ненавидитъ и презираетъ меня за то, что я сдѣлалъ глупость, то-есть женился на такой женщинѣ, какъ она. Мое великодушіе кажется ей жалкимъ. «Умный человѣкъ, говоритъ, бросилъ меня, а дуракъ подобралъ». По ея мнѣнію, только жалкій идіотъ могъ поступить такъ, какъ я. И мнѣ, братъ, это невыносимо горько. Вообще, братъ, скажу въ скобкахъ, гнетъ меня судьба. Въ дугу гнетъ.

Петръ Михайлычъ слушалъ Власича и въ недоумѣніи спрашивалъ себя: чѣмъ этотъ человѣкъ могъ такъ понравиться Зинѣ? Не молодой,—ему уже 41 годъ,—тощій, сухопарый, узкогрудый, съ длиннымъ носомъ, съ просѣдью въ бородѣ. Говоритъ онъ—точно гудетъ, улыбается болѣзненно и, разговаривая, некрасиво взмахиваетъ руками. Ни здоровья, ни красивыхъ мужественныхъ манеръ, ни свѣтскости, ни веселости, а такъ, съ внѣшней стороны, что-то тусклое и неопредѣленное. Одѣвается онъ безвкусно, обстановка у него унылая, поэзіи и живописи онъ не признаетъ, потому что онѣ «не отвѣчаютъ на запросы дня», то-есть онъ не понимаетъ ихъ; музыка его не трогаетъ. Хозяинъ онъ плохой. Имѣніе у него приведено въ полное разстройство и

заложено; по второй закладной онъ платитъ двѣнадцать процентовъ и, кромѣ того, по векселямъ еще долженъ тысячъ десять. Когда приходитъ время платить проценты или высылать женѣ деньги, онъ проситъ у всѣхъ взаймы съ такимъ выраженіемъ, какъ будто у него дома пожаръ, и въ это время, очертя голову, продаетъ онъ весь свой зимній запасъ хвороста за пять рублей, скирду соломы за три рубля и потомъ велитъ топить свои печи садовою рѣшеткой или старыми парниковыми рамами. Луга у него потравлены свиньями, въ лѣсу по молодняку ходитъ мужицкій скотъ, а старыхъ деревьевъ съ каждой зимой становится все меньше и меньше; въ огородѣ и въ саду валяются пасѣчныя колодки и ржавыя ведра. У него нѣтъ ни талантовъ, ни дарованій и нѣтъ даже обыкновенной способности жить, какъ люди живутъ. Въ практической жизни это наивный, слабый человѣкъ, котораго легко обмануть и обидѣть, и мужики не даромъ называютъ его «простоватымъ».

Онъ либералъ и считается въ уѣздѣ краснымъ, но и это выходитъ у него скучно. Въ его вольнодумствѣ нѣтъ оригинальности и паѳоса; возмущается, негодуетъ и радуется онъ какъ-то все въ одну ноту, не эффектно и вяло. Даже въ минуты сильнаго воодушевленія онъ не поднимаетъ головы и остается сутулымъ. Но скучнѣе всего, что даже свои хорошія, честныя идеи онъ умудряется выражать такъ, что онѣ кажутся у него банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда онъ медленно, съ глубокомысленнымъ видомъ, начинаетъ толковать про честныя, свѣтлыя минуты, про лучшіе годы, или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идетъ впереди общества, или порицаетъ русскихъ людей за то, что они въ тридцать лѣтъ надѣваютъ халатъ и забываютъ завѣты своей almae matris. Когда остаешься у него ночевать, то онъ кладетъ на ночной столикъ Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читалъ, то онъ выйдетъ и принесетъ Добролюбова.

Это называлось въ уѣздѣ вольнодумствомъ, и многіе смотрѣли на это вольнодумство какъ на невинное и безобидное чудачество; но оно, однако, сдѣлало его глубоко несчастнымъ. Оно было для него тою личинкой, о которой онъ только-что говорилъ: крѣпко приросло къ нему и пило изъ

его сердца кровь. Въ прошломъ странный бракъ во вкусѣ Достоевскаго, длинныя письма и копіи, писанныя плохимъ, неразборчивымъ почеркомъ, но съ большимъ чувствомъ, безконечныя недоразумѣнія, объясненія, разочарованія, потомъ долги, вторая закладная, жалованье женѣ, ежемѣсячные займы — и все это никому не въ пользу, ни себѣ, ни людямъ. И въ настоящемъ, какъ прежде, все онъ торопится, ищетъ подвига и суется въ чужія дѣла; попрежнему, при всякомъ удобномъ случаѣ, длинныя письма и копіи, утомительные шаблонные разговоры объ общинѣ или о поднятіи кустарной промышленности, или объ учрежденіи сыроваренъ, — разговоры, похожіе одинъ на другой, точно онъ приготовляетъ ихъ не въ живомъ мозгу, а машиннымъ способомъ. И, наконецъ, этотъ скандалъ съ Зиной, который неизвѣстно чѣмъ еще кончится!

А между тѣмъ сестра Зина молода,—ей только 22 года,— хороша собой, изящна, весела; она хохотушка, болтунья, спорщица, страстная музыкантша; она знаетъ толкъ въ нарядахъ, въ книгахъ и въ хорошей обстановкѣ, и у себя дома не потерпѣла бы такой комнатки, какъ эта, гдѣ пахнетъ сапогами и дешевою водкой. Она тоже либералка, но въ ея вольнодумствѣ чувствуются избытокъ силъ, тщеславіе молодой, сильной, смѣлой дѣвушки, страстная жажда быть лучше и оригинальнѣе другихъ... Какъ же могло случиться, что она полюбила Власича?

«Онъ — Донъ-Кихотъ, упрямый фанатикъ, маньякъ,—думалъ Петръ Михайлычъ, — а она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, какъ я... Мы съ ней сдаемся скоро и безъ сопротивленія. Она полюбила его; но развѣ я самъ не люблю его, несмотря ни на что»...

Петръ Михайлычъ считалъ Власича хорошимъ, честнымъ, но узкимъ и одностороннимъ человѣкомъ. Въ его волненіяхъ и страданіяхъ да и во всей его жизни онъ не видѣлъ ни ближайшихъ, ни отдаленныхъ высшихъ цѣлей, а видѣлъ только скуку и неумѣнье жить. Его самоотверженіе и все то, что Власичъ называлъ подвигомъ или честнымъ порывомъ, представлялись ему безполезною тратой силъ, ненужными холостыми выстрѣлами, на которые шло очень много пороху. А то, что Власичъ фанатически вѣрилъ въ необыкновенную честность и непогрѣшимость своего мышленія, казалось ему наивнымъ и даже болѣзненнымъ;

и то, что Власичъ всю свою жизнь какъ-то ухитрялся перепутывать ничтожное съ высокимъ, что онъ глупо женился и считалъ это подвигомъ, и потомъ сходился съ женщинами и видѣлъ въ этомъ торжество какой-то идеи, — это было просто непонятно.

Но все-таки Петръ Михайлычъ любилъ Власича, чувствовалъ присутствіе въ немъ какой-то силы, и почему-то у него никогда не хватало духа противорѣчить ему.

Власичъ подсѣлъ совсѣмъ близко, чтобы потолковать подъ шумокъ дождя, въ темнотѣ, и уже откашлялся, готовый разсказать что-нибудь длинное, въ родѣ исторіи своей женитьбы; но Петру Михайлычу невыносимо было слушать; его томила мысль, что сейчасъ онъ увидитъ сестру.

— Да, тебѣ не везло въ жизни,—сказалъ онъ мягко:— но, извини, мы съ тобой уклонились отъ главнаго. Мы не о томъ говоримъ.

— Да, да, въ самомъ дѣлѣ. Такъ вотъ вернемся къ главному, — сказалъ Власичъ и всталъ. — Я говорю тебѣ, Петруша: совѣсть наша чиста. Мы не вѣнчаны, но что бракъ нашъ вполнѣ законенъ,—не мнѣ доказывать и не тебѣ слушать. Ты такъ же свободно мыслишь, какъ я, и, слава Богу, разногласія у насъ на этотъ счетъ не можетъ быть. Что же касается до нашего будущаго, то оно не должно пугать тебя. Я буду работать до кроваваго пота, не спать ночей,—однимъ словомъ, я напрягу всѣ силы, чтобы Зина была счастлива. Жизнь ея будетъ прекрасной. Ты спросишь: сумѣю ли я это сдѣлать? Сумѣю, братъ! Когда человѣкъ думаетъ каждую минуту все объ одномъ и томъ же, то ему не трудно добиться, чего онъ хочетъ. Но пойдемъ къ Зинѣ. Надо ее обрадовать.

У Петра Михайлыча забилось сердце. Онъ всталъ и пошелъ за Власичемъ въ переднюю, а оттуда въ залу. Въ этой громадной, угрюмой комнатѣ былъ только фортепьянъ да длинный рядъ старинныхъ стульевъ съ бронзой, на которые никто никогда не садился. На фортепьянѣ горѣла одна свѣча. Изъ залы молча прошли въ столовую. Тутъ тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый столъ изъ двухъ половинокъ на шести толстыхъ ногахъ и только одна свѣча. Часы въ большомъ красномъ футлярѣ, похожемъ на кіотъ, показывали половину третьяго.

Власичъ отворилъ дверь въ сосѣднюю комнату и сказалъ:

— Зиночка, у насъ Петруша!

Тотчасъ же послышались торопливые шаги, и въ столовую вошла Зина, высокая, полная и очень блѣдная, какою Петръ Михайлычъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ дома, — въ черной юбкѣ и въ красной кофточкѣ съ большою пряжкой на поясѣ. Она одною рукой обняла брата и поцѣловала его въ високъ.

— Какая гроза!—сказала она.—Григорій ушелъ куда-то, и я осталась одна на весь домъ.

Она не была смущена и смотрѣла на брата искренно и ясно, какъ дома; глядя на нее, и Петръ Михайлычъ пересталъ испытывать смущеніе.

— Но вѣдь ты не боишься грозы,—сказалъ онъ, садясь за столъ.

— Да, но здѣсь огромныя комнаты, домъ старый и весь звенитъ отъ грома, какъ шкапъ съ посудой. Вообще, миленькій домикъ,—продолжала она, садясь противъ брата.— Тутъ, что ни комната, то какое-нибудь пріятное воспоминаніе. Въ моей комнатѣ, можешь себѣ представить, застрѣлился дѣдушка Григорія.

— Въ августѣ будутъ деньги, ремонтирую флигель въ саду,—сказалъ Власичъ.

— Почему-то во время грозы вспоминается дѣдушка,— продолжала Зина.—А въ этой столовой засѣкли на́-смерть какого-то человѣка.

— Это дѣйствительный фактъ,—подтвердилъ Власичъ и посмотрѣлъ большими глазами на Петра Михайлыча. — Въ сороковыхъ годахъ это имѣніе арендовалъ нѣкій Оливьеръ, французъ. Портретъ его дочери валяется у насъ теперь на чердакѣ. Очень хорошенькая. Этотъ Оливьеръ, какъ разсказывалъ мнѣ отецъ, презиралъ русскихъ за невѣжество и глумился надъ ними жестоко. Такъ, онъ требовалъ, чтобы священникъ, проходя мимо усадьбы, снималъ шапку за полверсты, и когда семейство Оливьеровъ проѣзжало черезъ деревню, то чтобъ звонили въ церкви. Съ крѣпостными и вообще съ малыми міра сего онъ, конечно, церемонился еще меньше. Какъ-то проходилъ здѣсь по дорогѣ одинъ изъ благодушнѣйшихъ сыновъ бродячей Руси, что-то въ родѣ гоголевскаго бурсака Хомы Брута. Попросился онъ ночевать, понравился тутъ приказчикамъ, и его оставили при конторѣ. Существуетъ много варіацій.

Одни говорятъ, что бурсакъ волновалъ крестьянъ, другіе же, — будто его полюбила дочь Оливьера. Не знаю, что вѣрно, но только въ одинъ прекрасный вечеръ позвалъ его сюда Оливьеръ и сдѣлалъ ему допросъ, потомъ же приказалъ его бить. Понимаешь ли, самъ сидитъ за этимъ столомъ и бордо пьетъ, а конюхи бьютъ бурсака. Должно-быть, пыталъ. Къ утру бурсакъ умеръ отъ истязаній, и трупъ его спрятали куда-то. Говорятъ, что въ прудъ Колтовича бросили. Подняли дѣло, но французъ заплатилъ кому слѣдуетъ нѣсколько тысячъ и уѣхалъ въ Эльзасъ. Кстати же подошелъ срокъ аренды, тѣмъ дѣло и кончилось.

— Какіе негодяи!—проговорила Зина и вздрогнула.

— Мой отецъ хорошо помнилъ и Оливьера, и его дочь. Говорилъ, что красавица была замѣчательная и притомъ эксцентричная. Я думаю, что бурсакъ все вмѣстѣ: и крестьянъ волновалъ, и дочь увлекъ. Можетъ-быть, даже это былъ вовсе не бурсакъ, а инкогнито какой-нибудь.

Зина задумалась: исторія бурсака и красивой француженки, повидимому, унесла ея воображеніе далеко. Какъ казалось Петру Михайлычу, она наружно нисколько не измѣнилась въ послѣднюю недѣлю, только стала немножко блѣднѣе. Она глядѣла покойно и обыкновенно, какъ будто вмѣстѣ съ братомъ пріѣхала къ Власичу въ гости. Но Петръ Михайлычъ чувствовалъ, что произошла какая-то перемѣна въ немъ самомъ. Въ самомъ дѣлѣ, прежде, когда она жила дома, онъ могъ говорить съ нею рѣшительно обо всемъ, теперь же онъ былъ не въ силахъ задать даже простого вопроса: «Какъ тебѣ живется здѣсь?» Этотъ вопросъ казался неловкимъ и ненужнымъ. Должно-быть, такая перемѣна произошла и въ ней. Она не спѣшила заводить разговоръ о матери, о домѣ, о своемъ романѣ съ Власичемъ; она не оправдывалась, не говорила, что гражданскій бракъ лучше церковнаго, не волновалась и покойно задумалась надъ исторіей Оливьера... И почему вдругъ заговорили объ Оливьерѣ?

— У васъ у обоихъ плечи мокрыя отъ дождя,—сказала Зина и радостно улыбнулась; она была тронута этимъ маленькимъ сходствомъ между братомъ и Власичемъ.

И Петръ Михайлычъ почувствовалъ всю горечь и весь ужасъ своего положенія. Онъ вспомнилъ свой опустѣвшій

домъ, закрытый рояль и Зинину свѣтленькую комнату, въ которую теперь уже никто не входитъ; онъ вспомнилъ, что на аллеяхъ въ саду уже нѣтъ слѣдовъ отъ маленькихъ ногъ и что передъ вечернимъ чаемъ уже никто съ громкимъ смѣхомъ не уходитъ купаться. То, къ чему онъ больше и больше привязывался съ самаго ранняго дѣтства, о чемъ любилъ думать, когда сидѣлъ, бывало, въ душномъ классѣ или въ аудиторіи, — ясность, чистота, радость, все, что наполняло домъ жизнью и свѣтомъ, ушло безвозвратно, исчезло и смѣшалось съ грубою, неуклюжею исторіей какого-то батальоннаго командира, великодушнаго прапорщика, развратной бабы, застрѣлившагося дѣдушки... И начинать разговоръ о матери или думать, что прошлое можетъ вернуться, значило бы не понимать того, что ясно.

Глаза у Петра Михайлыча наполнились слезами, и рука, лежавшая на столѣ, задрожала. Зина угадала, о чемъ онъ думалъ, и глаза ея тоже покраснѣли и заблестѣли.

— Григорій, поди сюда!—сказала она Власичу.

Оба отошли къ окну и стали говорить о чемъ-то шопотомъ. И по тому, какъ Власичъ нагнулся къ ней и какъ она смотрѣла на него, Петръ Михайлычъ еще разъ понялъ, что все уже непоправимо кончено и что говорить ни о чемъ не нужно. Зина вышла.

— Такъ-то, братъ, — заговорилъ Власичъ послѣ нѣкотораго молчанія, потирая руки и улыбаясь. — Я давеча назвалъ нашу жизнь счастьемъ, но это подчиняясь, такъ сказать, литературнымъ требованіямъ. Въ сущности же ощущенія счастія еще не было. Зина все время думала о тебѣ, о матери, и мучилась; глядя на нее, и я мучился. Она натура свободная, смѣлая, но безъ привычки, знаешь, тяжело, да и молода къ тому же. Прислуга называетъ ее барышней; кажется, пустякъ, но это ее волнуетъ. Такъ-то, братъ.

Зина принесла полную тарелку земляники. За ней вошла маленькая горничная, на видъ безотвѣтная и забитая. Она поставила на столъ кувшинъ молока и поклонилась низко-низко... Въ ней было что-то общее съ старинной мебелью, такое же оцѣпенѣлое и скучное.

Дождя уже не было слышно. Петръ Михайлычъ ѣлъ землянику, а Власичъ и Зина смотрѣли на него молча.

Приближалось время ненужнаго, но неизбѣжнаго разговора, и всѣ трое уже чувствовали его тяжесть. У Петра Михайлыча глаза опять наполнились слезами; онъ отодвинулъ отъ себя тарелку и сказалъ, что ему пора уже ѣхать домой, а то будетъ поздно и, пожалуй, опять пойдетъ дождь. Настала минута, когда Зина изъ приличія должна была заговорить о домашнихъ и о своей новой жизни.

— Что у насъ? — спросила она быстро, и ея блѣдное лицо задрожало.—Что мама?

— Ты маму знаешь...—отвѣтилъ Петръ Михайлычъ, не глядя на нее.

— Петруша, ты долго думалъ о томъ, что произошло,— проговорила она, взявши брата за рукавъ, и онъ понялъ, какъ ей тяжело говорить. — Ты долго думалъ; скажи мнѣ, можно ли разсчитывать, что мама когда-нибудь примирится съ Григоріемъ... и вообще съ этимъ положеніемъ?

Она стояла близко къ брату, лицомъ къ лицу, и онъ изумился, что она такъ красива, и что раньше онъ точно не замѣчалъ этого; и то, что его сестра, похожая лицомъ на мать, изнѣженная, изящная, жила у Власича и съ Власичемъ, около оцѣпенѣлой горничной, около стола на шести ногахъ, въ домѣ, гдѣ засѣкли живого человѣка, что она сейчасъ не поѣдетъ съ нимъ домой, а останется тутъ ночевать,—это показалось ему невѣроятнымъ абсурдомъ.

— Ты маму знаешь...—сказалъ онъ, не отвѣчая на вопросъ. — По-моему, слѣдовало бы соблюсти... что-нибудь сдѣлать, попросить у нея прощенія, что ли...

— Но просить прощенія—значитъ дѣлать видъ, что мы поступили дурно. Для успокоенія мамы я готова солгать, но вѣдь это ни къ чему не поведетъ. Я знаю маму. Ну, что̀ будетъ, то будетъ!—сказала Зина, повеселѣвшая оттого, что самое непріятное было уже сказано.—Подождемъ пять, десять лѣтъ, потерпимъ, а тамъ, что Богъ дастъ.

Она взяла брата подъ руку и, когда проходила черезъ темную переднюю, прижалась къ его плечу.

Вышли на крыльцо. Петръ Михайлычъ простился, сѣлъ на лошадь и поѣхалъ шагомъ; Зина и Власичъ пошли проводить его немного. Было тихо, тепло и чудесно пахло сѣномъ; на небѣ межъ облаковъ ярко горѣли звѣзды. Старый садъ Власича, видѣвшій на своемъ вѣку столько печаль-

ныхъ исторій, спалъ, окутавшись въ потемки, и почему-то было грустно проѣзжать черезъ него.

— А мы съ Зиной сегодня послѣ обѣда провели нѣсколько воистину свѣтлыхъ минутъ! — сказалъ Власичъ.— Я прочелъ ей вслухъ превосходную статью по переселенческому вопросу. Прочти, братъ! Тебѣ это необходимо! Статья замѣчательная по честности. Я не выдержалъ и написалъ въ редакцію письмо для передачи автору. Написалъ только одну строчку: «Благодарю и крѣпко жму честную руку!»

Петръ Михайлычъ хотѣлъ сказать: «Не впутывайся ты, пожалуйста, не въ свои дѣла!»—но промолчалъ.

Власичъ шелъ у праваго стремени, а Зина у лѣваго; оба какъ будто забыли, что нужно возвращаться домой, а было сыро и уже немного оставалось до рощи Колтовича. Петръ Михайлычъ чувствовалъ, что они ждутъ отъ него чего-то, хотя сами не знаютъ чего, и ему стало невыносимо жаль ихъ. Теперь, когда они, съ покорнымъ видомъ и задумавшись, шли около лошади, онъ былъ глубоко убѣжденъ, что они несчастны и не могутъ быть счастливы, и ихъ любовь казалась ему печальною, непоправимою ошибкой. Отъ жалости и сознанія, что онъ ничѣмъ не можетъ помочь, имъ овладѣло то состояніе душевнаго разслабленія, когда онъ, чтобы избавиться отъ тяжелаго чувства состраданія, готовъ бывалъ на всякія жертвы.

— Я къ вамъ буду ѣздить ночевать,—сказалъ онъ.

Но это походило на то, какъ будто онъ дѣлалъ уступку, и не удовлетворило его. Когда остановились около рощи Колтовича, чтобы проститься, онъ нагнулся къ Зинѣ, дотронулся до ея плеча и сказалъ:

— Ты, Зина, права. Ты хорошо поступила!

И, чтобы не сказать больше и не расплакаться, онъ ударилъ по лошади и поскакалъ въ рощу. Въѣзжая въ потемки, онъ оглянулся и увидѣлъ, какъ Власичъ и Зина шли домой по дорогѣ,—онъ широко шагая, а она рядомъ съ нимъ торопливою подпрыгивающей походкой,—и о чемъ-то оживленно разговаривали.

«Я—старая баба,—подумалъ Петръ Михайлычъ.—Ѣхалъ затѣмъ, чтобы рѣшить вопросъ, но еще больше запуталъ его. Ну, да Богъ съ нимъ!»

На душѣ у него было тяжело. Когда кончилась роща,

онъ поѣхалъ шагомъ и потомъ около пруда остановилъ лошадь. Хотѣлось сидѣть неподвижно и думать. Восходилъ мѣсяцъ и краснымъ столбомъ отражался на другой сторонѣ пруда. Гдѣ-то глухо погромыхивалъ громъ. Петръ Михайлычъ не мигая смотрѣлъ на воду и воображалъ отчаяніе сестры, ея страдальческую блѣдность и сухіе глаза, съ какими она будетъ скрывать отъ людей свое униженіе. Онъ вообразилъ себѣ ея беременность, смерть матери, ея похороны, ужасъ Зины... Гордая суевѣрная старуха кончитъ не иначе, какъ смертью. Страшныя картины будущаго рисовались передъ нимъ на темной гладкой водѣ, и среди блѣдныхъ женскихъ фигуръ онъ видѣлъ самого себя, малодушнаго, слабаго, съ виноватымъ лицомъ...

Въ ста шагахъ на правомъ берегу пруда стояло неподвижно что-то темное: человѣкъ это или высокій пень? Петръ Михайлычъ вспомнилъ про бурсака, котораго убили и бросили въ этотъ прудъ.

«Оливьеръ поступилъ безчеловѣчно, но вѣдь такъ или иначе онъ рѣшилъ вопросъ, а я вотъ ничего не рѣшилъ, а только напуталъ,—подумалъ онъ, вглядываясь въ темную фигуру, похожую на привидѣніе.—Онъ говорилъ и дѣлалъ то, что думалъ, а я говорю и дѣлаю не то, что думаю; да и не знаю навѣрное, что собственно я думаю...»

Онъ подъѣхалъ къ темной фигурѣ: это былъ старый гніющій столбъ, уцѣлѣвшій отъ какой-то постройки.

Изъ рощи и усадьбы Колтовича сильно потянуло ландышами и медовыми травами. Петръ Михайлычъ ѣхалъ по берегу пруда и печально глядѣлъ на воду и, вспоминая свою жизнь, убѣждался, что до сихъ поръ говорилъ онъ и дѣлалъ не то, что думалъ, и люди платили ему тѣмъ же, и оттого вся жизнь представлялась ему теперь такою же темной, какъ эта вода, въ которой отражалось ночное небо и перепутались водоросли. И казалось ему, что этого нельзя поправить.

ТРИ ГОДА.

I.

Было еще темно, но кое-гдѣ въ домахъ уже засвѣтились огни и въ концѣ улицы изъ-за казармы стала подниматься блѣдная луна. Лаптевъ сидѣлъ у воротъ на лавочкѣ и ждалъ, когда кончится всенощная въ церкви Петра и Павла. Онъ разсчитывалъ, что Юлія Сергѣевна, возвращаясь отъ всенощной, будетъ проходить мимо, и тогда онъ заговоритъ съ ней и, быть-можетъ, проведетъ съ ней весь вечеръ.

Онъ сидѣлъ уже часа полтора, и воображеніе его въ это время рисовало московскую квартиру, московскихъ друзей, лакея Петра, письменный столъ; онъ съ недоумѣніемъ посматривалъ на темныя, неподвижныя деревья, и ему казалось страннымъ, что онъ живетъ теперь не на дачѣ въ Сокольникахъ, а въ провинціальномъ городѣ, въ домѣ, мимо котораго каждое утро и вечеръ прогоняютъ большое стадо и при этомъ поднимаютъ страшныя облака пыли и играютъ на рожкѣ. Онъ вспоминалъ длинные московскіе разговоры, въ которыхъ самъ принималъ участіе еще такъ недавно,— разговоры о томъ, что безъ любви жить можно, что страстная любовь есть психозъ, что, наконецъ, нѣтъ никакой любви, а есть только физическое влеченіе половъ — и все въ такомъ родѣ; онъ вспоминалъ и думалъ съ грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то онъ не нашелся бы, что̀ отвѣтить.

Всенощная отошла, показался народъ. Лаптевъ съ на-

пряженіемъ всматривался въ темныя фигуры. Уже провезли архіерея въ каретѣ, уже перестали звонить, и на колокольнѣ одинъ за другимъ погасли красные и зеленые огни,— это была иллюминація по случаю храмового праздника, — а народъ все шелъ, не торопясь, разговаривая, останавливаясь подъ окнами. Но вотъ, наконецъ, Лаптевъ услышалъ знакомый голосъ, сердце его сильно забилось, и оттого, что Юлія Сергѣевна была не одна, а съ какими-то двумя дамами, имъ овладѣло отчаяніе.

«Это ужасно, ужасно! — шепталъ онъ, ревнуя ее. — Это ужасно!»

На углу, при поворотѣ въ переулокъ, она остановилась, чтобы проститься съ дамами, и въ это время взглянула на Лаптева.

— А я къ вамъ, — сказалъ онъ. — Иду потолковать съ вашимъ батюшкой. Онъ дома?

— Вѣроятно,—отвѣтила она.—Въ клубъ ему еще рано.

Переулокъ былъ весь въ садахъ и у заборовъ росли липы, бросавшія теперь при лунѣ широкую тѣнь, такъ что заборы и ворота на одной сторонѣ совершенно утопали въ потемкахъ; слышался оттуда шопотъ женскихъ голосовъ, сдержанный смѣхъ и кто-то тихо-тихо игралъ на балалайкѣ. Пахло липой и сѣномъ. Шопотъ невидимокъ и этотъ запахъ раздражали Лаптева. Ему вдругъ страстно захотѣлось обнять свою спутницу, осыпать поцѣлуями ея лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть къ ея ногамъ, разсказать, какъ онъ долго ждалъ ее. Отъ нея шелъ легкій, едва уловимый запахъ ладана, и это напомнило ему время, когда онъ тоже вѣровалъ въ Бога и ходилъ ко всенощной, и когда мечталъ много о чистой, поэтической любви. И оттого, что эта дѣвушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о которомъ онъ мечталъ тогда, для него утеряна навсегда.

Она съ участіемъ заговорила о здоровьѣ его сестры Нины Ѳедоровны. Мѣсяца два назадъ у его сестры вырѣзали ракъ и теперь всѣ ждали возврата болѣзни.

— Я была у нея сегодня утромъ, — сказала Юлія Сергѣевна:—и мнѣ показалось, что за эту недѣлю она не то, чтобы похудѣла, а поблекла.

— Да, да, — согласился Лаптевъ. — Рецидива нѣтъ, но съ каждымъ днемъ, я замѣчаю, она становится все слабѣе

и слабѣе и таетъ на моихъ глазахъ. Не пойму, что съ ней.

— Господи, а вѣдь какая она была здоровая, полная, краснощекая! — проговорила Юлія Сергѣевна послѣ минутнаго молчанія. — Ее здѣсь всѣ такъ и звали московкой. Какъ хохотала! Она на праздникахъ наряжалась простою бабой, и это очень шло къ ней.

Докторъ Сергѣй Борисычъ былъ дома; полный, красный, въ длинномъ ниже колѣнъ сюртукѣ и, какъ казалось, коротконогій, онъ ходилъ у себя въ кабинетѣ, изъ угла въ уголъ, засунувъ руки въ карманы, и напѣвалъ вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Сѣдые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, какъ будто онъ только-что всталъ съ постели. И кабинетъ его съ подушками на диванахъ, съ кипами старыхъ бумагъ по угламъ и съ больнымъ грязнымъ пуделемъ подъ столомъ производилъ такое же растрепанное, шершавое впечатлѣніе, какъ онъ самъ.

— Тебя желаетъ видѣть м-сье Лаптевъ, — сказала ему дочь, входя въ кабинетъ.

— Ру-ру-ру-ру, — запѣлъ онъ громче и, повернувъ въ гостиную, подалъ руку Лаптеву и спросилъ: — Что скажете хорошенькаго?

Было темно въ гостиной. Лаптевъ, не садясь и держа шляпу въ рукахъ, сталъ извиняться за безпокойство; онъ спросилъ, что дѣлать, чтобы сестра спала по ночамъ, и отчего она такъ страшно худѣетъ, и его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы онъ уже задавалъ доктору сегодня во время его утренняго визита.

— Скажите, — спросилъ онъ: — не пригласить ли намъ изъ Москвы какого-нибудь спеціалиста по внутреннимъ болѣзнямъ? Какъ вы думаете?

Докторъ вздохнулъ, пожалъ плечами и сдѣлалъ обѣими руками неопредѣленный жестъ.

Было очевидно, что онъ обидѣлся. Это былъ чрезвычайно обидчивый, мнительный докторъ, которому всегда казалось, что ему не вѣрятъ, что его не признаютъ и недостаточно уважаютъ, что публика эксплоатируетъ его, а товарищи относятся къ нему съ недоброжелательствомъ. Онъ все смѣялся надъ собой, говорилъ, что такіе дураки, какъ онъ, созданы только для того, чтобы публика ѣздила на нихъ верхомъ.

Юлія Сергѣевна зажгла лампу. Она утомилась въ церкви,

и это было замѣтно по ея блѣдному, томному лицу, по вялой походкѣ. Ей хотѣлось отдохнуть. Она сѣла на диванъ, положила руки на колѣни и задумалась. Лаптевъ зналъ, что онъ некрасивъ, и теперь ему казалось, что онъ даже ощущаетъ на тѣлѣ эту свою некрасоту. Онъ былъ невысокъ ростомъ, худъ, съ румянцемъ на щекахъ, и волосы у него уже сильно порѣдѣли, такъ что зябла голова. Въ выраженіи его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубыя, некрасивыя лица дѣлаетъ симпатичными; въ обществѣ женщинъ былъ неловокъ, излишне разговорчивъ, манеренъ. И теперь онъ почти презиралъ себя за это. Чтобы Юлія Сергѣевна не скучала въ его обществѣ, нужно было говорить. Но о чемъ? Опять о болѣзни сестры?

И онъ сталъ говорить о медицинѣ то, что о ней обыкновенно говорятъ, похвалилъ гигіену и сказалъ, что ему давно хочется устроить въ Москвѣ ночлежный домъ, и что у него даже уже есть смѣта. По его плану рабочій, приходя вечеромъ въ ночлежный домъ, за пять-шесть копеекъ долженъ получать порцію горячихъ щей съ хлѣбомъ, теплую сухую постель съ одѣяломъ и мѣсто для просушки платья и обуви.

Юлія Сергѣевна обыкновенно молчала въ его присутствіи, и онъ страннымъ образомъ, быть-можетъ, чутьемъ влюбленнаго, угадывалъ ея мысли и намѣренія. И теперь онъ сообразилъ, что если она послѣ всенощной не пошла къ себѣ переодѣваться и пить чай, то, значитъ, пойдетъ сегодня вечеромъ еще куда-нибудь въ гости.

— Но я не тороплюсь съ ночлежнымъ домомъ,—продолжалъ онъ уже съ раздраженіемъ и досадой, обращаясь къ доктору, который глядѣлъ на него какъ-то тускло и съ недоумѣніемъ, очевидно не понимая, зачѣмъ это ему понадобилось поднимать разговоръ о медицинѣ и гигіенѣ. — И, должно-быть, не скоро еще я воспользуюсь нашею смѣтой. Я боюсь, что нашъ ночлежный домъ попадетъ въ руки нашихъ московскихъ святошъ и барынь-филантропокъ, которые губятъ всякое начинаніе.

Юлія Сергѣевна поднялась и протянула Лаптеву руку.

— Виновата, — сказала она: — мнѣ пора. Поклонитесь вашей сестрѣ, пожалуйста.

— Ру-ру-ру-ру,—запѣлъ докторъ.—Ру-ру-ру-ру.

Юлія Сергѣевна вышла, и Лаптевъ немного погодя про-

стился съ докторомъ и пошелъ домой. Когда человѣкъ неудовлетворенъ и чувствуетъ себя несчастнымъ, то какою пошлостью вѣетъ на него отъ этихъ липъ, тѣней, облаковъ, отъ всѣхъ этихъ красотъ природы, самодовольныхъ и равнодушныхъ! Луна стояла уже высоко, и подъ нею быстро бѣжали облака. «Но какая наивная, провинціальная луна, какія тощія, жалкія облака!»—думалъ Лаптевъ. Ему было стыдно, что онъ только-что говорилъ о медицинѣ и о ночлежномъ домѣ, онъ ужасался, что и завтра у него не хватитъ характера, и онъ опять будетъ пытаться увидѣть ее и говорить съ ней, и еще разъ убѣдится, что онъ для нея чужой. Послѣзавтра — опять то же самое. Для чего? И когда и чѣмъ все это кончится?

Дома онъ пошелъ къ сестрѣ. Нина Ѳедоровна была еще крѣпка на видъ и производила впечатлѣніе хорошо сложенной, сильной женщины, но рѣзкая блѣдность дѣлала ее похожей на мертвую, особенно когда она, какъ теперь, лежала на спинѣ, съ закрытыми глазами; возлѣ нея сидѣла ея старшая дочь, Саша, десяти лѣтъ, и читала ей что-то изъ своей хрестоматіи.

— Алеша пришелъ,—проговорила больная тихо, про себя.

Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашеніе: они смѣняли другъ друга. Теперь Саша закрыла свою хрестоматію и, не сказавъ ни слова, тихо вышла изъ комнаты; Лаптевъ взялъ съ комода историческій романъ и, отыскавъ страницу, какую нужно, сѣлъ и сталъ читать вслухъ.

Нина Ѳедоровна была московская уроженка. Дѣтство и юность ея и двухъ братьевъ прошли на Пятницкой улицѣ, въ родной купеческой семьѣ. Дѣтство было длинное, скучное; отецъ обходился сурово, и даже раза три наказывалъ ее розгами, а мать чѣмъ-то долго болѣла и умерла; прислуга была грязная, грубая, лицемѣрная; часто приходили въ домъ попы и монахи, тоже грубые и лицемѣрные; они пили и закусывали, и грубо льстили ея отцу, котораго не любили. Мальчикамъ посчастливилось поступить въ гимназію, а Нина такъ и осталась неученой, всю жизнь писала каракулями и читала одни только историческіе романы. Лѣтъ 17 назадъ, когда ей было 22 года, она на дачѣ въ Химкахъ познакомилась съ теперешнимъ своимъ мужемъ Панауровымъ, помѣщикомъ, влюбилась и вышла за него

замужъ противъ воли отца, тайно. Панауровъ, красивый, немножко наглый, закуривающій изъ лампадки и посвистывающій, казался ея отцу совершеннымъ ничтожествомъ и, когда потомъ зять въ своихъ письмахъ сталъ требовать приданаго, старикъ написалъ дочери, что посылаетъ ей въ деревню шубы, серебро и разныя вещи, оставшіяся послѣ матери, и 30 тысячъ деньгами, но безъ родительскаго благословенія; потомъ прислалъ еще 20 тысячъ. Деньги эти и приданое были прожиты, имѣніе продано, и Панауровъ переселился съ семьей въ городъ и поступилъ на службу въ губернское правленіе. Въ городѣ онъ завелъ себѣ другую семью, и это вызывало каждый день много разговоровъ, такъ какъ незаконная семья его жила открыто.

Нина Ѳедоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая историческій романъ, она думала о томъ, какъ она много пережила, сколько выстрадала за все время, и что если бы кто-нибудь описалъ ея жизнь, то вышло бы очень жалостно. Такъ какъ опухоль у нея была въ груди, то она была увѣрена, что и болѣетъ она отъ любви, отъ семейной жизни, и что въ постель ее уложили ревность и слезы.

Но вотъ Алексѣй Ѳедорычъ закрылъ книгу и сказалъ:

— Конецъ и Богу слава. Завтра другой начнемъ.

Нина Ѳедоровна засмѣялась. Она всегда была смѣшлива, но теперь Лаптевъ сталъ замѣчать, что у нея отъ болѣзни минутами какъ будто ослабѣвалъ разсудокъ, и она смѣялась отъ малѣйшаго пустяка и даже безъ причины.

— Безъ тебя тутъ до обѣда приходила Юлія,—сказала она.—Какъ я поглядѣла, она не очень-то вѣритъ своему папашѣ. Пусть, говоритъ, васъ лѣчитъ мой папа, но вы все-таки потихоньку напишите святому старцу, чтобы онъ за васъ помолился. Тутъ у нихъ завелся старецъ какой-то. Юличка у меня зонтикъ свой забыла, ты ей пошли завтра,— продолжала она, помолчавъ немного. — Нѣтъ, ужъ когда конецъ, то не помогутъ ни доктора, ни старцы.

— Нина, отчего ты по ночамъ не спишь? — спросилъ Лаптевъ, чтобы перемѣнить разговоръ.

— Да такъ. Не сплю, вотъ и все. Лежу себѣ и думаю.

— О чемъ же ты думаешь, милая?

— О дѣтяхъ, о тебѣ... о своей жизни. Я вѣдь, Алеша, много пережила. Какъ начнешь вспоминать, какъ начнешь... Господи Боже мой!—Она засмѣялась.—Шутка ли пять разъ

рожала, троихъ похоронила... Бывало, собираешься родить, а мой Григорій Николаичъ въ это время у другой сидитъ, послать за акушеркой или за бабкой некого, пойдешь въ сѣни или въ кухню за прислугой, а тамъ жиды, лавочники, ростовщики—ждутъ, когда онъ домой вернется. Голова, бывало, кружится... Онъ не любилъ меня, хоть и не высказывалъ этого. Теперь-то я угомонилась, отлегло отъ сердца, а прежде, когда моложе была, обидно было,—обидно, ахъ, какъ обидно, голубчикъ! Разъ,—это еще въ деревнѣ было,—застала я его въ саду съ одной дамой, и ушла я... ушла, куда глаза мои глядятъ, и не знаю, какъ очутилась на паперти, упала на колѣни: «Царица, говорю, небесная!» А на дворѣ ночь, мѣсяцъ свѣтитъ...

Она утомилась, стала задыхаться; потомъ, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабымъ, беззвучнымъ голосомъ:

— Какой ты, Алеша, добрый... Какой ты умный... Какой изъ тебя хорошій человѣкъ вышелъ!

Въ полночь Лаптевъ простился съ нею и, уходя, взялъ съ собой зонтикъ, забытый Юліей Сергѣевной. Несмотря на позднее время, въ столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой безпорядокъ! Дѣти не спали и находились тутъ же въ столовой. Говорили тихо, вполголоса, и не замѣчали, что лампа хмурится и скоро погаснетъ. Всѣ эти большіе и маленькіе люди были обезпокоены цѣлымъ рядомъ неблагопріятныхъ примѣтъ и настроеніе было угнетенное: разбилось въ передней зеркало, самоваръ гудѣлъ каждый день и, какъ нарочно, даже теперь гудѣлъ; разсказывали, что изъ ботинки Нины Ѳедоровны, когда она одѣвалась, выскочила мышь. И страшное значеніе всѣхъ этихъ примѣтъ было уже извѣстно дѣтямъ; старшая дѣвочка, Саша, худенькая брюнетка, сидѣла за столомъ неподвижно, и лицо у нея было испуганное, скорбное, а младшая, Лида, семи лѣтъ, полная блондинка, стояла возлѣ сестры и смотрѣла на огонь исподлобья.

Лаптевъ спустился къ себѣ въ нижній этажъ, въ комнаты съ низкими потолками, гдѣ постоянно пахло геранью и было душно. Въ гостиной у него сидѣлъ Панауровъ, мужъ Нины Ѳедоровны, и читалъ газету. Лаптевъ кивнулъ ему головой и сѣлъ противъ. Оба сидѣли и молчали. Случалось,

что такъ молча они проводили цѣлые вечера, и это молчаніе не стѣсняло ихъ.

Пришли сверху дѣвочки прощаться. Панауровъ молча, не спѣша, нѣсколько разъ перекрестилъ обѣихъ и далъ имъ поцѣловать свою руку, онѣ сдѣлали реверансъ, затѣмъ подошли къ Лаптеву, который тоже долженъ былъ крестить ихъ и давать имъ цѣловать свою руку. Эта церемонія съ поцѣлуями и реверансами повторялась каждый вечеръ.

Когда дѣвочки вышли, Панауровъ отложилъ въ сторону газету и сказалъ:

— Скучно въ нашемъ богоспасаемомъ городѣ! Признаюсь, дорогой мой,—добавилъ онъ со вздохомъ: — я очень радъ, что вы, наконецъ, нашли себѣ развлеченіе.

— Вы о чемъ это?—спросилъ Лаптевъ.

— Давеча я видѣлъ, какъ вы выходили изъ дома доктора Бѣлавина. Надѣюсь, вы ходили туда не ради папаши.

— Конечно,—сказалъ Лаптевъ и покраснѣлъ.

— Ну, конечно. А, кстати сказать, другого такого одра, какъ этотъ папаша, не сыскать днемъ съ огнемъ. Вы не можете себѣ представить, что это за нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! У васъ тамъ, въ столицѣ, до сихъ поръ еще интересуются провинціей только съ лирической стороны, такъ сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но, клянусь вамъ, мой другъ, никакой лирики нѣтъ, а есть только дикость, подлость, мерзость — и больше ничего. Возьмите вы здѣшнихъ жрецовъ науки, здѣшнюю, такъ сказать, интеллигенцію. Можете ли себѣ представить, здѣсь въ городѣ 28 докторовъ, всѣ они нажили себѣ состоянія и живутъ въ собственныхъ домахъ, а населеніе, между тѣмъ, попрежнему находится въ самомъ безпомощномъ положеніи. Вотъ понадобилось сдѣлать Нинѣ операцію, въ сущности, пустую, а вѣдь для этого пришлось выписывать хирурга изъ Москвы, — здѣсь ни одинъ не взялся. Вы не можете себѣ представить. Ничего они не знаютъ, не понимаютъ, ничѣмъ не интересуются. Спросите-ка ихъ, напримѣръ, что такое ракъ? Что? Отчего онъ происходитъ?

И Панауровъ сталъ объяснять, что такое ракъ. Онъ былъ спеціалистомъ по всѣмъ наукамъ и объяснялъ научно все, о чемъ бы ни зашла рѣчь. Но объяснялъ онъ все какъ-то по-своему. У него была своя собственная теорія кровообра-

щенія, своя химія, своя астрономія. Говорилъ онъ медленно, мягко, убѣдительно и слова «вы не можете себѣ представить» произносилъ умоляющимъ голосомъ, щурилъ глаза, томно вздыхалъ и улыбался милостиво, какъ король, и видно было, что онъ очень доволенъ собой и совсѣмъ не думаетъ о томъ, что ему уже 50 лѣтъ.

— Мнѣ что-то ѣсть захотѣлось,—сказалъ Лаптевъ.—Я съ удовольствіемъ поѣлъ бы чего-нибудь соленаго.

— Ну, что жъ? Это можно сейчасъ устроить.

Немного погодя Лаптевъ и его зять сидѣли наверху въ столовой и ужинали. Лаптевъ выпилъ рюмку водки и потомъ сталъ пить вино, Панауровъ же ничего не пилъ. Онъ никогда не пилъ и не игралъ въ карты и, несмотря на это, все-таки прожилъ свое и женино состояніе и надѣлалъ много долговъ. Чтобы прожить такъ много въ такое короткое время, нужно имѣть не страсти, а что-то другое, какой-то особый талантъ. Панауровъ любилъ вкусно поѣсть, любилъ хорошую сервировку, музыку за обѣдомъ, спичи, поклоны лакеевъ, которымъ небрежно бросалъ на чай по десяти и даже по двадцати-пяти рублей; онъ участвовалъ всегда во всѣхъ подпискахъ и лотереяхъ, посылалъ знакомымъ именинницамъ букеты, покупалъ чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачекъ, попугаевъ, японскія вещи, древности; ночныя сорочки у него были шелковыя, кровать изъ чернаго дерева съ перламутромъ, халатъ настоящій бухарскій и т. п., и на все это ежедневно уходило, какъ самъ онъ выражался, «прорва» денегъ.

За ужиномъ онъ все вздыхалъ и покачивалъ головой.

— Да, все на этомъ свѣтѣ имѣетъ конецъ,—тихо говорилъ онъ, щуря свои темные глаза.—Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите, будутъ вамъ измѣнять, потому что нѣтъ женщины, которая бы не измѣняла, вы будете страдать, приходить въ отчаяніе и сами будете измѣнять. Но настанетъ время, когда все это станетъ уже воспоминаніемъ и вы будете холодно разсуждать и считать это совершенными пустяками...

А Лаптевъ, усталый, слегка пьяный, смотрѣлъ на его красивую голову, на черную, подстриженную бородку, и, казалось, понималъ, почему это женщины такъ любятъ этого

избалованнаго, самоувѣреннаго и физически обаятельнаго человѣка.

Послѣ ужина Панауровъ не остался дома, а пошелъ къ себѣ на другую квартиру. Лаптевъ вышелъ проводить его. Во всемъ городѣ только одинъ Панауровъ носилъ цилиндръ, и около сѣрыхъ заборовъ, жалкихъ трехъоконныхъ домиковъ и кустовъ крапивы его изящная, щегольская фигура, его цилиндръ и оранжевыя перчатки производили всякій разъ и странное, и грустное впечатлѣніе.

Простившись съ нимъ, Лаптевъ возвращался къ себѣ не спѣша. Луна свѣтила ярко, можно было разглядѣть на землѣ каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свѣтъ ласкаетъ его непокрытую голову, точно кто пухомъ проводитъ по волосамъ.

— Я люблю!—произнесъ онъ вслухъ, и ему захотѣлось вдругъ бѣжать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денегъ, и потомъ бѣжать куда-нибудь въ поле, въ рощу, и все бѣжать безъ оглядки.

Дома онъ увидѣлъ на стулѣ зонтикъ, забытый Юліей Сергѣевной, схватилъ его и жадно поцѣловалъ. Зонтикъ былъ шелковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой; ручка была изъ простой, бѣлой кости, дешевая. Лаптевъ раскрылъ его надъ собой, и ему казалось, что около него даже пахнетъ счастьемъ.

Онъ сѣлъ поудобнѣе и, не выпуская изъ рукъ зонтика, сталъ писать въ Москву, къ одному изъ своихъ друзей:

«Милый, дорогой Костя, вотъ вамъ новость: я опять люблю! Говорю *опять* потому, что лѣтъ шесть назадъ я былъ влюбленъ въ одну московскую актрису, съ которой мнѣ не удалось даже познакомиться, и въ послѣдніе полтора года жилъ съ извѣстною вамъ «особой»,—женщиной немолодой и некрасивой. Ахъ, голубчикъ, какъ вообще мнѣ не везло въ любви! Я никогда не имѣлъ успѣха у женщинъ, а если говорю *опять*, то потому только, что какъ-то грустно и обидно сознаваться передъ самимъ собой, что молодость моя прошла вовсе безъ любви и что настоящимъ образомъ я люблю впервые только теперь, въ 34 года. Пусть будетъ *опять* люблю.

«Если бы вы знали, что это за дѣвушка! Красавицей ее назвать нельзя,—у нея широкое лицо, она очень худа, но зато какое чудесное выраженіе доброты, какъ улы-

бается! Голосъ ея, когда она говоритъ, поетъ и звенитъ. Она со мной никогда не вступаетъ въ разговоръ, я не знаю ея, но когда я бываю возлѣ, то чувствую въ ней рѣдкое, необыкновенное существо, проникнутое умомъ и высокими стремленіями. Она религіозна, и вы не можете себѣ представить, до какой степени это трогаетъ меня и возвышаетъ ее въ моихъ глазахъ. По этому пункту я готовъ спорить съ вами безъ конца. Вы правы, пусть будетъ по-вашему, но все же я люблю, когда она въ церкви молится. Она провинціалка, но она училась въ Москвѣ, любитъ нашу Москву, одѣвается по-московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю... Я вижу какъ вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мнѣ длинную лекцію о томъ, что такое любовь, и кого можно любить, а кого нельзя и пр., и пр. Но, милый Костя, пока я не любилъ, я самъ тоже отлично зналъ, что такое любовь.

«Моя сестра благодаритъ васъ за поклонъ. Она часто вспоминаетъ, какъ когда-то возила Костю Кочевого отдавать въ приготовительный классъ, и до сихъ поръ еще называетъ васъ *бѣдный*, такъ какъ у нея сохранилось воспоминаніе о васъ, какъ о сиротѣ-мальчикѣ. Итакъ, бѣдный сирота, я люблю. Пока это секретъ, ничего не говорите *тамъ* извѣстной вамъ «особѣ». Это, я думаю, само собой уладится, или, какъ говоритъ лакей у Толстого, *образуется...*»

Кончивъ письмо, Лаптевъ легъ въ постель. Отъ усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось; казалось, что мѣшаетъ уличный шумъ. Стадо прогнали мимо и играли на рожкѣ, потомъ вскорѣ зазвонили къ ранней обѣднѣ. То телѣга проѣдетъ со скрипомъ, то раздастся голосъ какой-нибудь бабы, идущей на рынокъ. И воробьи чирикали все время.

II.

Утро было веселое, праздничное. Часовъ въ десять Нину Ѳедоровну, одѣтую въ коричневое платье, причесанную, вывели подъ руки въ гостиную, и здѣсь она прошлась немного и постояла у открытаго окна, и улыбка у нея была широкая, наивная, и при взглядѣ на нее вспоминался одинъ мѣстный художникъ, пьяный человѣкъ, который называлъ ея лицо ликомъ и хотѣлъ писать съ нея русскую масля-

ницу. И у всѣхъ,—у дѣтей, у прислуги и даже у брата Алексѣя Ѳедорыча, и у нея самой,—явилась вдругъ увѣренность, что она непремѣнно выздоровѣетъ. Дѣвочки съ визгливымъ смѣхомъ гонялись за дядей, ловили его, и въ домѣ стало шумно.

Приходили чужіе справиться насчетъ ея здоровья, приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всѣхъ церквахъ служили молебны. Она въ своемъ городѣ была благотворительницей, ее любили. Благотворила она съ необыкновенною легкостью, такъ же, какъ братъ Алексѣй, который раздавалъ деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нѣтъ. Нина Ѳедоровна платила за бѣдныхъ учениковъ, раздавала старухамъ чай, сахаръ, варенье, наряжала небогатыхъ невѣстъ и если ей въ руки попадала газета, то она прежде всего искала, нѣтъ ли какого-нибудь воззванія или замѣтки о чьемъ-нибудь бѣдственномъ положеніи.

Теперь у нея въ рукахъ была пачка записокъ, по которымъ разные бѣдняки, ея просители, забирали товаръ въ бакалейной лавкѣ, и которыя наканунѣ прислалъ ей купецъ съ просьбой уплатить 82 рубля.

— Ишь ты, сколько набрали, безсовѣстные!—говорила она, едва разбирая на запискахъ свой некрасивый почеркъ.—Шутка ли? Восемьдесятъ два! Возьму вотъ и не отдамъ.

— Я сегодня заплачу,—сказалъ Лаптевъ.

— Зачѣмъ это, зачѣмъ?—встревожилась Нина Ѳедоровна.—Довольно и того, что я каждый мѣсяцъ по 250 получаю отъ тебя и брата. Спаси васъ Господи,—добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга.

— Ну, а я въ мѣсяцъ двѣ тысячи пятьсотъ проживаю,—сказалъ онъ.—Я тебѣ еще разъ повторяю, милая: ты имѣешь такое же право тратить, какъ я и Ѳедоръ. Пойми это разъ навсегда. Насъ у отца трое и изъ каждыхъ трехъ копеекъ одна принадлежитъ тебѣ.

Но Нина Ѳедоровна не понимала, и выраженіе у нея было такое, какъ будто она мысленно рѣшала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость въ денежныхъ дѣлахъ всякій разъ безпокоила и смущала Лаптева. Онъ подозрѣвалъ, кромѣ того, что у нея лично есть долги, о которыхъ она стѣсняется сказать ему и которые заставляютъ ее страдать.

Послышались шаги и тяжелое дыханіе: это вверхъ по лѣстницѣ поднимался докторъ, по обыкновенію, растрепанный и нечесаный.

— Ру-ру-ру,—напѣвалъ онъ.—Ру-ру.

Чтобы не встрѣчаться съ нимъ, Лаптевъ вышелъ въ столовую, потомъ спустился къ себѣ внизъ. Для него было ясно, что сойтись съ докторомъ покороче и бывать въ его домѣ запросто—дѣло невозможное; и встрѣчаться съ этимъ «одромъ», какъ называлъ его Панауровъ, было непріятно. И оттого онъ такъ рѣдко видѣлся съ Юліей Сергѣевной. Онъ сообразилъ теперь, что отца нѣтъ дома, что если понесетъ теперь Юліи Сергѣевнѣ ея зонтикъ, то навѣрное онъ застанетъ дома ее одну, и сердце у него сжалось отъ радости. Скорѣй, скорѣй!

Онъ взялъ зонтикъ и, сильно волнуясь, полетѣлъ на крыльяхъ любви. На улицѣ было жарко. У доктора, въ громадномъ дворѣ, поросшемъ бурьяномъ и крапивой, десятка два мальчиковъ играли въ мячъ. Все это были дѣти жильцовъ, мастеровыхъ, жившихъ въ трехъ старыхъ, неприглядныхъ флигеляхъ, которые докторъ каждый годъ собирался ремонтировать и все откладывалъ. Раздавались звонкіе, здоровые голоса. Далеко въ сторонѣ, около своего крыльца, стояла Юлія Сергѣевна, заложивъ руки назадъ, и смотрѣла на игру.

— Здравствуйте!—окликнулъ Лаптевъ.

Она оглянулась. Обыкновенно онъ видѣлъ ее равнодушною, холодною, или, какъ вчера, усталою, теперь же выраженіе у нея было живое и рѣзвое, какъ у мальчиковъ, которые играли въ мячъ.

— Посмотрите, въ Москвѣ никогда не играютъ такъ весело,—говорила она, идя къ нему навстрѣчу.—Впрочемъ, вѣдь тамъ нѣтъ такихъ большихъ дворовъ, бѣгать тамъ негдѣ. А папа только-что пошелъ къ вамъ,—добавила она, оглядываясь на дѣтей.

— Я знаю, но я не къ нему, а къ вамъ,—сказалъ Лаптевъ, любуясь ея молодостью, которой не замѣчалъ раньше и которую какъ будто лишь сегодня открылъ въ ней; ему казалось, что ея тонкую бѣлую шею съ золотою цѣпочкой онъ видѣлъ теперь только въ первый разъ.—Я къ вамъ...—повторилъ онъ.—Сестра вотъ прислала зонтикъ, вы вчера забыли.

Она протянула руку, чтобы взять зонтикъ, но онъ прижалъ его къ груди и проговорилъ страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой онъ испыталъ вчера ночью, сидя подъ зонтикомъ:

— Прошу васъ, подарите мнѣ его. Я сохраню на память о васъ... о нашемъ знакомствѣ. Онъ такой чудесный!

— Возьмите,—сказала она и покраснѣла.—Но чудеснаго ничего въ немъ нѣтъ.

Онъ смотрѣлъ на нее съ упоеніемъ, молча и не зная, что̀ сказать.

— Что же это я держу васъ на жарѣ?—сказала она послѣ нѣкотораго молчанія и разсмѣялась.—Пойдемте въ комнаты.

— А я васъ не обезпокою?

Вошли въ сѣни. Юлія Сергѣевна побѣжала наверхъ, шумя своимъ платьемъ, бѣлымъ, съ голубыми цвѣточками.

— Меня нельзя обезпокоить,—отвѣтила она, останавливаясь на лѣстницѣ:—я вѣдь никогда ничего не дѣлаю. У меня праздникъ каждый день, отъ утра до вечера.

— Для меня то, что вы говорите, непонятно,—сказалъ онъ, подходя къ ней.—Я выросъ въ средѣ, гдѣ трудятся каждый день, всѣ безъ исключенія, и мужчины и женщины.

— А если нечего дѣлать?—спросила она.

— Надо поставить свою жизнь въ такія условія, чтобы трудъ былъ необходимъ. Безъ труда не можетъ быть чистой и радостной жизни.

Онъ опять прижалъ къ груди зонтикъ и сказалъ тихо, неожиданно для самого себя, не узнавая своего голоса:

— Если бы вы согласились быть моею женой, я бы все отдалъ. Я бы все отдалъ... Нѣтъ цѣны, нѣтъ жертвы, на какую бы я ни пошелъ.

Она вздрогнула и посмотрѣла на него съ удивленіемъ и страхомъ.

— Что вы, что вы!—проговорила она, блѣднѣя.—Это невозможно, увѣряю васъ. Извините.

Затѣмъ быстро, все такъ же шумя платьемъ, пошла выше и скрылась въ дверяхъ.

Лаптевъ понялъ, что̀ это значитъ, и настроеніе у него перемѣнилось сразу, рѣзко, какъ будто въ душѣ внезапно погасъ свѣтъ. Испытывая стыдъ, униженіе человѣка, которымъ пренебрегли, который не нравится, противенъ, быть-можетъ, гадокъ, отъ котораго бѣгутъ, онъ вышелъ изъ дому.

«Отдалъ бы все,—передразнилъ онъ себя, идя домой по жарѣ и вспоминая подробности объясненія. — Отдалъ бы все—совсѣмъ по-купечески. Очень кому нужно это твое *все!*»

Все, что онъ только-что говорилъ, казалось ему, было глупо до отвращенія. Зачѣмъ онъ солгалъ, что онъ выросъ въ средѣ, гдѣ трудятся всѣ безъ исключенія? Зачѣмъ онъ говорилъ назидательнымъ тономъ о чистой, радостной жизни? Это не умно, не интересно, фальшиво, — фальшиво по-московски. Но вотъ мало-по-малу наступило безразличное настроеніе, въ какое впадаютъ преступники послѣ суроваго приговора, онъ думалъ уже о томъ, что, слава Богу, теперь все уже прошло, и нѣтъ этой ужасной неизвѣстности, уже не нужно по цѣлымъ днямъ ожидать, томиться, думать все объ одномъ; теперь все ясно; нужно оставить всякія надежды на личное счастье, жить безъ желаній, безъ надеждъ, не мечтать, не ждать, а чтобы не было этой скуки, съ которой уже такъ надоѣло няньчиться, можно заняться чужими дѣлами, чужимъ счастьемъ, а тамъ незамѣтно наступитъ старость, жизнь придетъ къ концу—и больше ничего не нужно. Ему ужъ было все равно, онъ ничего не хотѣлъ и могъ холодно разсуждать, но въ лицѣ, особенно подъ глазами, была какая-то тяжесть, лобъ напрягался, какъ резина, — вотъ-вотъ брызнутъ слезы. Чувствуя во всемъ тѣлѣ слабость, онъ легъ въ постель и минутъ черезъ пять крѣпко уснулъ.

III.

Предложеніе, которое такъ неожиданно сдѣлалъ Лаптевъ, привело Юлію Сергѣевну въ отчаяніе.

Она знала Лаптева немного, познакомилась съ нимъ случайно; это былъ богатый человѣкъ, представитель извѣстной московской фирмы «Ѳедоръ Лаптевъ и сыновья», всегда очень серьезный, повидимому, умный, озабоченный болѣзнью сестры; казалось ей, что онъ не обращалъ на нее никакогс вниманія, и сама она была къ нему совершенно равнодушна,—и вдругъ это объясненіе на лѣстницѣ, это жалкое, восхищенное лицо...

Предложеніе смутило ее и своею внезапностью, и тѣмъ, что произнесено было слово *жена*, и тѣмъ, что пришлось отвѣтить отказомъ. Она уже не помнила, что̀ сказала Лаптеву, но продолжала еще ощущать слѣды того порывистаго,

непріятнаго чувства, съ какимъ отказала ему. Онъ не нравился ей; наружность у него была приказчицкая, самъ онъ былъ не интересенъ, она не могла отвѣтить иначе, какъ отказомъ, но все же ей было неловко, какъ будто она поступила дурно.

— Боже мой,—не входя въ комнаты, прямо на лѣстницѣ, говорила она съ отчаяніемъ, обращаясь къ образку, который висѣлъ надъ ея изголовьемъ:—и не ухаживалъ раньше, а какъ-то странно, необыкновенно...

Въ одиночествѣ съ каждымъ часомъ ея тревога становилась все сильнѣе и ей одной было не подъ силу справиться съ этимъ тяжелымъ чувствомъ. Надо было, чтобы кто-нибудь выслушалъ ее и сказалъ ей, что она поступила правильно. Но поговорить было не съ кѣмъ. Матери у нея не было уже давно, отца считала она страннымъ человѣкомъ и не могла говорить съ нимъ серьезно. Онъ стѣснялъ ее своими капризами, чрезмѣрною обидчивостью, и неопредѣленными жестами; и стоило только завести съ нимъ разговоръ, какъ онъ тотчасъ же начиналъ говорить о себѣ самомъ. И во время молитвы она не была вполнѣ откровенной, такъ какъ не знала навѣрное, чего собственно ей нужно просить у Бога.

Подали самоваръ. Юлія Сергѣевна, очень блѣдная, усталая, съ безпомощнымъ видомъ, вышла въ столовую, заварила чай, — это было на ея обязанности, — и налила отцу стаканъ. Сергѣй Борисычъ, въ своемъ длинномъ сюртукѣ ниже колѣнъ, красный, не причесанный, заложивъ руки въ карманы, ходилъ по столовой, не изъ угла въ уголъ, а какъ придется, точно звѣрь въ клѣткѣ. Остановится у стола, отопьетъ изъ стакана съ аппетитомъ и опять ходитъ, и о чемъ-то все думаетъ.

— Мнѣ сегодня Лаптевъ сдѣлалъ предложеніе,—сказала Юлія Сергѣевна и покраснѣла.

Докторъ поглядѣлъ на нее и какъ будто не понялъ.

— Лаптевъ?—спросилъ онъ.—Братъ Панауровой?

Онъ любилъ дочь; было вѣроятно, что она рано или поздно выйдетъ замужъ и оставитъ его, но онъ старался не думать объ этомъ. Его пугало одиночество и почему-то казалось ему, что если онъ останется въ этомъ большомъ домѣ одинъ, то съ нимъ сдѣлается апоплексическій ударъ, но объ этомъ онъ не любилъ говорить прямо.

— Что жъ, я очень радъ,—сказалъ онъ, и пожалъ плечами.—Отъ души тебя поздравляю. Теперь представляется тебѣ прекрасный случай разстаться со мной, къ великому твоему удовольствію. И я вполнѣ тебя понимаю. Жить у старика-отца, человѣка больного, полоумнаго, въ твои годы должно быть очень тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. И если бы я околѣлъ поскорѣй, и если бы меня черти взяли, то всѣ были бы рады. Отъ души поздравляю.

— Я ему отказала.

У доктора стало легче на душѣ, но онъ уже былъ не въ силахъ остановиться и продолжалъ:

— Я удивляюсь, я давно удивляюсь, отчего меня до сихъ поръ не посадили въ сумасшедшій домъ? Почему на мнѣ этотъ сюртукъ, а не горячечная рубаха? Я вѣрю еще въ правду, въ добро, я дуракъ-идеалистъ, а развѣ въ наше время это не сумасшествіе? И какъ мнѣ отвѣчаютъ на мою правду, на мое честное отношеніе? Въ меня чуть не бросаютъ камнями и ѣздятъ на мнѣ верхомъ. И даже близкіе родные стараются только ѣздить на моей шеѣ, чортъ бы побралъ меня, старика болвана...

— Съ вами нельзя говорить по-человѣчески! — сказала Юлія.

Она порывисто встала изъ-за стола и ушла къ себѣ, въ сильномъ гнѣвѣ, вспоминая, какъ часто отецъ бывалъ къ ней несправедливъ. Но немного погодя ей уже было жаль отца, и когда онъ уходилъ въ клубъ, она проводила его внизъ и сама заперла за нимъ дверь. А на дворѣ была погода нехорошая, безпокойная; дверь дрожала отъ напора вѣтра и въ сѣняхъ дуло со всѣхъ сторонъ, такъ что едва не погасла свѣча. У себя наверху Юлія обошла всѣ комнаты и перекрестила всѣ окна и двери; вѣтеръ завывалъ и казалось, что кто-то ходитъ по крышѣ. Никогда еще не было такъ скучно, никогда она не чувствовала себя такою одинокой.

Она спросила себя: хорошо ли она поступила, что отказала человѣку только потому, что ей не нравится его наружность? Правда, это не любимый человѣкъ и выйти за него значило бы проститься навсегда со своими мечтами, своими понятіями о счастьѣ и супружеской жизни, но встрѣтитъ ли она когда-нибудь того, о комъ мечтала, и полюбитъ ли? Ей уже 21 годъ. Жениховъ въ городѣ нѣтъ. Она

представила себѣ всѣхъ знакомыхъ мужчинъ—чиновниковъ, педагоговъ, офицеровъ,—и одни изъ нихъ были уже женаты и ихъ семейная жизнь поражала своею пустотой и скукой, другіе были неинтересны, безцвѣтны, неумны, безнравственны. Лаптевъ же, какъ бы ни было, москвичъ, кончилъ въ университетѣ, говоритъ по-французски; онъ живетъ въ столицѣ, гдѣ много умныхъ, благородныхъ, замѣчательныхъ людей, гдѣ шумно, прекрасные театры, музыкальные вечера, превосходныя портнихи, кондитерскія... Въ священномъ писаніи сказано, что жена должна любить своего мужа, и въ романахъ любви придается громадное значеніе, но нѣтъ ли преувеличенія въ этомъ? Развѣ безъ любви нельзя въ семейной жизни? Вѣдь говорятъ, что любовь скоро проходитъ и остается одна привычка, и что самая цѣль семейной жизни не въ любви, не въ счастьѣ, а въ обязанностяхъ, напримѣръ, къ воспитаніи дѣтей, въ заботахъ по хозяйству и проч. Да и священное писаніе, быть-можетъ, имѣетъ въ виду любовь къ мужу, какъ къ ближнему, уваженіе къ нему, снисхожденіе.

Ночью Юлія Сергѣевна внимательно прочла вечернія молитвы, потомъ стала на колѣни и, прижавъ руки къ груди, глядя на огонекъ лампадки, говорила съ чувствомъ:

— Вразуми, Заступница! Вразуми, Господи!

Ей въ своей жизни приходилось встрѣчать пожилыхъ дѣвушекъ, бѣдныхъ и ничтожныхъ, которыя горько раскаивались и выражали сожалѣніе, что когда-то отказывали своимъ женихамъ. Не случится ли и съ ней то же самое? Не пойти ли ей въ монастырь или въ сестры милосердія?

Она раздѣлась и легла въ постель, крестясь и крестя вокругъ себя воздухъ. Вдругъ въ коридорѣ рѣзко и жалобно прозвучалъ звонокъ.

— Ахъ, Боже мой!—проговорила она, чувствуя отъ этого звонка болѣзненное раздраженіе во всемъ тѣлѣ. Она лежала и все думала о томъ, какъ эта провинціальная жизнь бѣдна событіями, однообразна и въ то же время безпокойна. То и дѣло приходится вздрагивать, чего-нибудь опасаться, сердиться или чувствовать себя виноватой, и нервы, въ концѣ-концовъ, портятся до такой степени, что страшно бываетъ выглянуть изъ-подъ одѣяла.

Черезъ полчаса опять раздался звонокъ и такой же рѣзкій. Должно-быть, прислуга спала и не слышала. Юлія

Сергѣевна зажгла свѣчу и, дрожа, досадуя на прислугу, стала одѣваться, и когда, одѣвшись, вышла въ коридоръ, то внизу горничная уже запирала дверь.

— Думала, что баринъ, а это отъ больного пріѣзжали,— сказала она.

Юлія Сергѣевна вернулась къ себѣ. Она достала изъ комода колоду картъ и рѣшила, что если хорошо стасовать карты и потомъ снять, и если подъ низомъ будетъ красная масть, то это значитъ *да*, т.-е. надо согласиться на предложеніе Лаптева, если же черная, то—*нѣтъ*. Карта оказалась пиковою десяткой.

Это ее успокоило, она уснула, но утромъ опять уже не было ни *да*, ни *нѣтъ*, и она думала о томъ, что можетъ теперь, если захочетъ, перемѣнить свою жизнь. Мысли утомили ее, она изнемогала и чувствовала себя больной, но все же въ началѣ двѣнадцатаго часа одѣлась и пошла провѣдать Нину Ѳедоровну. Ей хотѣлось увидѣть Лаптева: быть-можетъ, теперь онъ покажется ей лучше; быть-можетъ, она ошибалась до сихъ поръ...

Ей трудно было идти противъ вѣтра, она едва шла, придерживая обѣими руками шляпу, и ничего не видѣла отъ пыли.

IV.

Войдя къ сестрѣ и увидѣвъ неожиданно Юлію Сергѣевну, Лаптевъ опять испыталъ унизительное состояніе человѣка, который противенъ. Онъ заключилъ, что если она такъ легко можетъ послѣ вчерашняго бывать у сестры и встрѣчаться съ нимъ, то, значитъ, она не замѣчаетъ его или считаетъ полнѣйшимъ ничтожествомъ. Но когда онъ здоровался съ ней, она, блѣдная, съ пылью подъ глазами, поглядѣла на него печально и виновато; онъ понялъ, что она тоже страдаетъ.

Ей нездоровилось. Посидѣла она очень не долго, минутъ десять, и стала прощаться. И, уходя, сказала Лаптеву:

— Проводите меня домой, Алексѣй Ѳедорычъ.

По улицѣ шли они молча, придерживая шляпы, и онъ, идя сзади, старался заслонить ее отъ вѣтра. Въ переулкѣ было тише, и тутъ оба пошли рядомъ.

— Если я вчера была неласкова, то вы простите,—начала она, и голосъ ея дрогнулъ, какъ будто она собиралась заплакать.—Это такое мученье! Я всю ночь не спала.

— А я отлично проспалъ всю ночь,—сказалъ Лаптевъ, не глядя на нее: — но это не значитъ, что мнѣ хорошо. Жизнь моя разбита, я глубоко несчастливъ, и послѣ вчерашняго вашего отказа я хожу точно отравленный. Самое тяжелое было сказано вчера, сегодня съ вами я уже не чувствую стѣсненія и могу говорить прямо. Я люблю васъ больше, чѣмъ сестру, больше, чѣмъ покойную мать... Безъ сестры и безъ матери я могъ жить и жилъ, но жить безъ васъ—для меня это безсмыслица, я не могу...

И теперь, какъ обыкновенно, онъ угадывалъ ея намѣренія. Ему было понятно, что она хочетъ продолжать вчерашнее, и только для этого попросила его проводить ее и теперь вотъ ведетъ къ себѣ въ домъ. Но что она можетъ еще прибавить къ своему отказу? Что она придумала новаго? По всему: по взглядамъ, по улыбкѣ и даже по тому, какъ она, идя съ нимъ рядомъ, держала голову и плечи,— онъ видѣлъ, что она, попрежнему, не любитъ его, что онъ чужой для нея. Что же она хочетъ еще сказать?

Докторъ Сергѣй Борисычъ былъ дома.

— Добро пожаловать, весьма радъ васъ видѣть, Ѳедоръ Алексѣичъ, — сказалъ онъ, путая его имя и отчество. — Весьма радъ, весьма радъ.

Раньше онъ не бывалъ такъ привѣтливъ, и Лаптевъ заключилъ, что о предложеніи его уже извѣстно доктору; и это ему не понравилось. Онъ сидѣлъ теперь въ гостиной, и эта комната производила странное впечатлѣніе своею бѣдною, мѣщанской обстановкой, своими плохими картинами, и хотя въ ней были и кресла, и громадная лампа съ абажуромъ, она все же походила на нежилое помѣщеніе, на просторный сарай, и было очевидно, что въ этой комнатѣ могъ чувствовать себя дома только такой человѣкъ, какъ докторъ; другая комната, почти вдвое больше, называлась залой и тутъ стояли одни только стулья, какъ въ танцклассѣ. И Лаптева, пока онъ сидѣлъ въ гостиной и говорилъ съ докторомъ о своей сестрѣ, стало мучить одно подозрѣніе. Не затѣмъ ли Юлія Сергѣевна была у сестры Нины и потомъ привела его сюда, чтобы объявить ему, что она принимаетъ его предложеніе? О, какъ это ужасно, но ужаснѣе всего, что его душа доступна для подобныхъ подозрѣній. Онъ представлялъ себѣ, какъ вчера вечеромъ и ночью отецъ и дочь долго совѣтовались, быть-можетъ,

долго спорили, и потомъ пришли къ соглашенію, что Юлія поступила легкомысленно, отказавши богатому человѣку. Въ его ушахъ звучали даже слова, какія въ подобныхъ случаяхъ говорятся родителями:

«Правда, ты не любишь его, но зато, подумай, сколько ты можешь сдѣлать добра!»

Докторъ собрался къ больнымъ. Лаптевъ хотѣлъ выйти съ нимъ вмѣстѣ, но Юлія Сергѣевна сказала:

— А вы останьтесь, прошу васъ.

Она замучилась, пала духомъ и увѣряла себя теперь, что отказывать порядочному, доброму, любящему человѣку только потому, что онъ не нравится, особенно когда съ этимъ замужествомъ представляется возможность измѣнить свою жизнь, свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, когда молодость уходитъ и не предвидится въ будущемъ ничего болѣе свѣтлаго, отказывать при такихъ обстоятельствахъ,—это безуміе, это капризъ и прихоть, и за это можетъ даже наказать Богъ.

Отецъ вышелъ. Когда шаги его затихли, она вдругъ остановилась передъ Лаптевымъ и сказала рѣшительно, и при этомъ страшно поблѣднѣла:

— Я вчера долго думала, Алексѣй Ѳедорычъ... Я принимаю ваше предложеніе.

Онъ нагнулся и поцѣловалъ ей руку, она неловко поцѣловала его холодными губами въ голову. Онъ чувствовалъ, что въ этомъ любовномъ объясненіи нѣтъ главнаго — ея любви, и есть много лишняго, и ему хотѣлось закричать, убѣжать, тотчасъ же уѣхать въ Москву, но она стояла близко, казалась ему такой прекрасной, и страсть вдругъ овладѣла имъ, онъ сообразилъ, что разсуждать тутъ уже поздно, обнялъ ее страстно, прижалъ къ груди и, бормоча какія-то слова, называя ее *ты*, поцѣловалъ ее въ шею, потомъ въ щеку, въ голову...

Она отошла къ окну, боясь этихъ ласкъ, и уже оба сожалѣли, что объяснились, и оба въ смущеніи спрашивали себя:

— «Зачѣмъ это произошло?»

— Если бы вы знали, какъ я несчастна! — проговорила она, сжимая руки.

— Что съ вами?—спросилъ онъ, подходя къ ней и тоже сжимая руки.—Дорогая моя, ради Бога, говорите—что? Но только правду, умоляю васъ, только одну правду!

— Не обращайте вниманія, — сказала она и насильно улыбнулась.—Я обѣщаю вамъ, я буду вѣрною, преданною женой... Приходите сегодня вечеромъ.

Сидя потомъ у сестры и читая историческій романъ, онъ вспоминалъ все это и ему было обидно, что на его великолѣпное, чистое, широкое чувство отвѣтили такъ мелко; его не любили, но предложеніе его приняли, вѣроятно, только потому, что онъ богатъ, то-есть предпочли въ немъ то, что самъ онъ цѣнилъ въ себѣ меньше всего. Можно допустить, что Юлія, чистая и вѣрующая въ Бога, ни разу не подумала о деньгахъ, но вѣдь она не любила его, не любила, и, очевидно, у нея былъ расчетъ, хотя, быть-можетъ, и не вполнѣ осмысленный, смутный, но все же расчетъ. Домъ доктора былъ ему противенъ своею мѣщанскою обстановкой, самъ докторъ представлялся жалкимъ, жирнымъ скрягой, какимъ-то опереточнымъ Гаспаромъ изъ *Корневильскихъ колоколовъ*, самое имя Юлія звучало уже вульгарно. Онъ воображалъ, какъ онъ и его Юлія пойдутъ подъ вѣнецъ, въ сущности, совершенно незнакомые другъ другу, безъ капли чувства съ ея стороны, точно ихъ сваха сосватала, и для него теперь оставалось только одно утѣшеніе, такое же банальное, какъ и самый этотъ бракъ, утѣшеніе, что онъ не первый и не послѣдній, что такъ женятся и выходятъ замужъ тысячи людей и что Юлія со временемъ, когда покороче узнаетъ его, то, быть-можетъ, полюбитъ.

— Ромео и Юлія! — сказалъ онъ, закрывая книгу, и засмѣялся.—Я, Нина, Ромео. Можешь меня поздравить, я сегодня сдѣлалъ предложеніе Юліи Бѣлавиной.

Нина Ѳедоровна думала, что онъ шутитъ, но потомъ повѣрила и заплакала. Эта новость ей не понравилась.

— Что жъ, поздравляю, — сказала она.—Но почему же это такъ вдругъ?

— Нѣтъ, это не вдругъ. Это тянется съ марта, только ты ничего не замѣчаешь... Я влюбился еще въ мартѣ, когда познакомился съ ней вотъ тутъ, въ твоей комнатѣ.

— А я думала, что ты женишься на какой-нибудь нашей московской, — сказала Нина Ѳедоровна, помолчавъ. — Дѣвушки изъ нашего круга будутъ попроще. Но, главное, Алеша, чтобы ты былъ счастливъ, это самое главное. Мой Григорій Николаичъ не любилъ меня и, скрыть нельзя,

ты видишь, какъ мы живемъ. Конечно, каждая женщина можетъ полюбить тебя за доброту и за умъ, но вѣдь Юличка— институтка и дворянка, ей мало ума и доброты. Она молода, а ты самъ, Алеша, уже не молодъ и не красивъ.

Чтобы смягчить послѣднія слова, она погладила его по щекѣ и сказала:

— Ты не красивъ, но ты славненькій.

Она разволновалась, такъ что даже на щекахъ у нея выступилъ легкій румянецъ, и съ увлеченіемъ говорила о томъ, будетъ ли прилично, если она благословитъ Алешу образомъ; вѣдь она старшая сестра и замѣняетъ ему мать; и она все старалась убѣдить своего печальнаго брата, что надо сыграть свадьбу какъ слѣдуетъ, торжественно и весело, чтобы не осудили люди.

Затѣмъ онъ сталъ ходить къ Бѣлавинымъ, какъ женихъ, раза по три, по четыре въ день, и уже некогда ему было смѣнять Сашу и читать историческій романъ. Юлія принимала его въ своихъ двухъ комнатахъ, вдали отъ гостиной и отцовскаго кабинета, и онѣ ему очень нравились. Тутъ были темныя стѣны, въ углу стоялъ кіотъ съ образами; пахло хорошими духами и лампаднымъ масломъ. Она жила въ самыхъ дальнихъ комнатахъ, кровать и туалетъ ея были заставлены ширмами и дверцы въ книжномъ шкапу задернуты изнутри зеленою занавѣской, и ходила она у себя по коврамъ, такъ что совсѣмъ не бывало слышно ея шаговъ, — и изъ этого онъ заключилъ, что у нея скрытый характеръ, и любитъ она тихую, покойную, замкнутую жизнь. Въ домѣ она была еще на положеніи несовершеннолѣтней, у нея не было собственныхъ денегъ, и случалось во время прогулокъ она конфузилась, что при ней нѣтъ ни копейки. На наряды и книги выдавалъ ей отецъ понемножку, не больше ста рублей въ годъ. Да и у самого доктора едва ли были деньги, несмотря даже на хорошую практику. Каждый вечеръ онъ игралъ въ клубѣ въ карты и всегда проигрывалъ. Кромѣ того, онъ покупалъ дома въ обществѣ взаимнаго кредита съ переводомъ долга и отдавалъ ихъ внаймы; жильцы платили ему неисправно, но онъ увѣрялъ, что эти операціи съ домами очень выгодны. Свой домъ, въ которомъ онъ жилъ съ дочерью, онъ заложилъ и на эти деньги купилъ пустошь, и уже началъ строить на ней большой двухъэтажный домъ, чтобы заложить его.

Лаптевъ жилъ теперь какъ въ туманѣ, точно это не онъ былъ, а его двойникъ, и дѣлалъ многое такое, чего бы онъ не рѣшился сдѣлать прежде. Онъ раза три ходилъ съ докторомъ въ клубъ, ужиналъ съ нимъ и самъ предложилъ ему денегъ на постройку; онъ даже побывалъ у Панаурова на его другой квартирѣ. Какъ-то Панауровъ пригласилъ его къ себѣ обѣдать, и Лаптевъ, не подумавъ, согласился. Его встрѣтила дама лѣтъ 35, высокая и худощавая, съ легкою просѣдью и съ черными бровями, повидимому, не русская. На ея лицѣ лежали бѣлыя пятна отъ пудры, улыбнулась она приторно и пожала руку порывисто, такъ что зазвенѣли на бѣлыхъ рукахъ браслеты. Лаптеву казалось, что она улыбается такъ потому, что хочетъ скрыть отъ другихъ и отъ самой себя, что она несчастна. Увидѣлъ онъ и двухъ дѣвочекъ, пяти и трехъ лѣтъ, похожихъ на Сашу. За обѣдомъ подавали молочный супъ, холодную телятину съ морковью и шоколадъ—это было слащаво и невкусно, но зато на столѣ блестѣли золотыя вилочки, флаконы съ соей и кайенскимъ перцемъ, необыкновенно вычурный судокъ, золотая перечница.

Только поѣвши молочнаго супу, Лаптевъ сообразилъ, какъ это, въ сущности, было некстати, что онъ пришелъ сюда обѣдать. Дама была смущена, все время улыбалась, показывая зубы, Панауровъ объяснялъ научно, что такое влюбленность и отъ чего она происходитъ.

— Мы тутъ имѣемъ дѣло съ однимъ изъ явленій электричества,—говорилъ онъ по-французски, обращаясь къ дамѣ.— Въ кожѣ каждаго человѣка заложены микроскопическія железки, которыя содержатъ въ себѣ токи. Если вы встрѣчаетесь съ особою, токи которой параллельны вашимъ, то вотъ вамъ и любовь.

Когда Лаптевъ вернулся домой и сестра спросила, гдѣ онъ былъ, ему стало неловко, и онъ ничего не отвѣтилъ.

Все время до свадьбы онъ чувствовалъ себя въ ложномъ положеніи. Любовь съ каждымъ днемъ становилась все сильнѣе и Юлія казалась ему поэтической и возвышенной, но все же взаимной любви не было, а сущность была та, что онъ покупалъ, а она продавалась. Иногда, раздумавшись, онъ приходилъ просто въ отчаяніе и спрашивалъ себя: не бѣжать ли? Онъ уже не спалъ по цѣлымъ ночамъ и все думалъ о томъ, какъ онъ послѣ свадьбы встрѣтится

въ Москвѣ съ госпожей, которую въ своихъ письмахъ къ друзьямъ называлъ «особой», и какъ его отецъ и братъ, люди тяжелые, отнесутся къ его женитьбѣ и къ Юліи. Онъ боялся, что отецъ при первой же встрѣчѣ скажетъ Юліи какую-нибудь грубость. А съ братомъ Ѳедоромъ въ послѣднее время происходило что-то странное. Онъ въ своихъ длинныхъ письмахъ писалъ о важности здоровья, о вліяніи болѣзней на психическое состояніе, о томъ, что̀ такое религія, но ни слова о Москвѣ и о дѣлахъ. Письма эти раздражали Лаптева, и ему казалось, что характеръ брата мѣняется къ худшему.

Свадьба была въ сентябрѣ. Вѣнчаніе происходило въ церкви Петра и Павла, послѣ обѣдни, и въ тотъ же день молодые уѣхали въ Москву. Когда Лаптевъ и его жена, въ черномъ платьѣ со шлейфомъ, уже по виду не дѣвушка, а настоящая дама, прощались съ Ниной Ѳедоровной, все лицо у больной покривилось, но изъ сухихъ глазъ не вытекло ни одной слезы. Она сказала:

— Если, не дай Богъ, умру, возьмите къ себѣ моихъ дѣвочекъ.

— О, обѣщаю вамъ!—отвѣтила Юлія Сергѣевна, и у нея тоже стали нервно подергиваться губы и вѣки.

— Я пріѣду къ тебѣ въ октябрѣ, — сказалъ Лаптевъ, растроганный.—Выздоравливай, моя дорогая.

Они ѣхали въ отдѣльномъ купэ. Обоимъ было грустно и неловко. Она сидѣла въ углу, не снимая шляпы, и дѣлала видъ, что дремлетъ, а онъ лежалъ противъ нея на диванѣ и его безпокоили разныя мысли: объ отцѣ, объ «особѣ», о томъ, понравится ли Юліи его московская квартира. И, поглядывая на жену, которая не любила его, онъ думалъ уныло: «Зачѣмъ это произошло?»

V

Лаптевы въ Москвѣ вели оптовую торговлю галантерейнымъ товаромъ: бахромой, тесьмой, аграмантомъ, вязальною бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двухъ милліоновъ въ годъ; каковъ же былъ чистый доходъ, никто не зналъ, кромѣ старика. Сыновья и приказчики опредѣляли этотъ доходъ приблизительно въ триста тысячъ и говорили, что онъ былъ бы тысячъ на сто больше, если бы старикъ «не раскидывался», то-есть не отпускалъ въ кре-

дитъ безъ разбору; за послѣднія десять лѣтъ однихъ безнадежныхъ векселей набралось почти на милліонъ, и старшій приказчикъ, когда заходила рѣчь объ этомъ, хитро подмигивалъ глазомъ и говорилъ слова, значеніе которыхъ было не для всѣхъ ясно:

— Психологическое послѣдствіе вѣка.

Главныя торговыя операціи производились въ городскихъ рядахъ, въ помѣщеніи, которое называлось амбаромъ. Входъ въ амбаръ былъ со двора, гдѣ всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовыя лошади. Дверь, очень скромная на видъ, обитая желѣзомъ, вела со двора въ комнату съ побурѣвшими отъ сырости, исписанными углемъ стѣнами и освѣщенную узкимъ окномъ съ желѣзною рѣшеткой, затѣмъ налѣво была другая комната, побольше и почище, съ чугунною печью и двумя столами, но тоже съ острожнымъ окномъ: это—контора, и ужъ отсюда узкая каменная лѣстница вела во второй этажъ, гдѣ находилось главное помѣщеніе. Это была довольно большая комната, но, благодаря постояннымъ сумеркамъ, низкому потолку и тѣснотѣ отъ ящиковъ, тюковъ и снующихъ людей, она производила на свѣжаго человѣка такое же невзрачное впечатлѣніе, какъ обѣ нижнія. На верху и также въ конторѣ на полкахъ лежалъ товаръ въ кипахъ, пачкахъ и бумажныхъ коробкахъ, въ расположеніи его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы тамъ и сямъ изъ бумажныхъ свертковъ сквозь дыры не выглядывали то пунцовыя нити, то кисть, то конецъ бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чѣмъ здѣсь торгуютъ. И при взглядѣ на эти помятые бумажные свертки и коробки не вѣрилось, что на такихъ пустякахъ выручаютъ милліоны и что тутъ въ амбарѣ каждый день бываютъ заняты дѣломъ пятьдесятъ человѣкъ, не считая покупателей.

Когда на другой день по пріѣздѣ въ Москву, въ полдень, Лаптевъ пришелъ въ амбаръ, то артельщики, запаковывая товаръ, стучали по ящикамъ такъ громко, что въ первой комнатѣ и въ конторѣ никто не слышалъ, какъ онъ вошелъ; по лѣстницѣ внизъ спускался знакомый почтальонъ съ пачкой писемъ въ рукѣ и морщился отъ стука, и тоже не замѣтилъ его. Первый, кто встрѣтилъ его наверху, былъ братъ Ѳедоръ Ѳедорычъ, похожій на него до такой степени, что ихъ считали близнецами. Это сходство постоянно

напоминало Лаптеву объ его собственной наружности, и теперь, видя передъ собой человѣка небольшого роста, съ румянцемъ, съ рѣдкими волосами на головѣ, съ худыми, непородистыми бедрами, такого неинтереснаго и неинтеллигентнаго на видъ, онъ спросилъ себя: «Неужели и я такой?»

— Какъ я радъ тебя видѣть!—сказалъ Ѳедоръ, цѣлуясь съ братомъ и крѣпко пожимая ему руку.—Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ тебя каждый день, милый мой. Какъ ты написалъ, что женишься, меня стало мучить любопытство, да и соскучился, братъ. Самъ посуди, полгода не видались. Ну, что? Какъ? Плоха Нина? Очень?

— Очень плоха.

— Божья воля,—вздохнулъ Ѳедоръ.—Ну, а жена твоя? Небось, красавица? Я ее уже люблю, вѣдь она приходится мнѣ сестреночкой. Будемъ ее вмѣстѣ баловать.

Показалась давно знакомая Лаптеву широкая, сутулая спина его отца, Ѳедора Степаныча. Старикъ сидѣлъ возлѣ прилавка на табуретѣ и разговаривалъ съ покупателемъ.

— Папаша, Богъ радость послалъ!—крикнулъ Ѳедоръ.—Братъ пріѣхалъ!

Ѳедоръ Степанычъ былъ высокаго роста и чрезвычайно крѣпкаго сложенія, такъ что, несмотря на свои восемьдесятъ лѣтъ и морщины, все еще имѣлъ видъ здороваго, сильнаго человѣка. Говорилъ онъ тяжелымъ, густымъ, гудящимъ басомъ, который выходилъ изъ его широкой груди, какъ изъ бочки. Онъ брилъ бороду, носилъ солдатскіе подстриженные усы и курилъ сигары. Такъ какъ ему всегда казалось жарко, то въ амбарѣ и дома во всякое время года онъ ходилъ въ просторномъ парусинковомъ пиджакѣ. Ему недавно снимали катаракту, онъ плохо видѣлъ и уже не занимался дѣломъ, а только разговаривалъ и пилъ чай съ вареньемъ.

Лаптевъ нагнулся и поцѣловалъ его въ руку, потомъ въ губы.

— Давненько не видались, милостивый государь,—сказалъ старикъ.—Давненько. Что жъ, прикажешь съ законнымъ бракомъ поздравить? Ну, изволь, поздравляю.

И онъ подставилъ губы для поцѣлуя. Лаптевъ нагнулся и поцѣловалъ.

— Что жъ, и барышню свою привезъ?—спросилъ ста-

рикъ и, не дожидаясь отвѣта, сказалъ, обращаясь къ покупателю:—Симъ извѣщаю васъ, папаша, вступаю я въ бракъ съ дѣвицей такой-то. Да. А того, чтобъ у папаши попросить благословенія и совѣта, нѣту въ правилахъ. Теперь они своимъ умомъ. Когда я женился, мнѣ больше сорока было, а я въ ногахъ у отца валялся и совѣта просилъ. Нынче уже этого нѣту.

Старикъ обрадовался сыну, но считалъ неприличнымъ приласкать его и какъ-нибудь обнаружить свою радость. Его голосъ, манера говорить и «барышня» навѣяли на Лаптева то дурное настроеніе, какое онъ испытывалъ всякій разъ въ амбарѣ. Тутъ каждая мелочь напоминала ему о прошломъ, когда его сѣкли и держали на постной пищѣ; онъ зналъ, что и теперь мальчиковъ сѣкутъ и до крови разбиваютъ имъ носы и что, когда эти мальчики вырастутъ, то сами тоже будутъ бить. И достаточно ему было пробыть въ амбарѣ минутъ пять, какъ ему начало казаться, что его сейчасъ обругаютъ или ударятъ по носу.

Ѳедоръ похлопалъ покупателя по плечу и сказалъ брату:

— Вотъ, Алеша, рекомендую, нашъ тамбовскій кормилецъ Григорій Тимоѳеичъ. Можетъ служить примѣромъ для современной молодежи: уже шестой десятокъ пошелъ, а онъ грудныхъ дѣтей имѣетъ.

Приказчики засмѣялись, и покупатель, тощій старикъ съ блѣднымъ лицомъ, тоже засмѣялся.

— Природа сверхъ обыкновеннаго дѣйствія,—замѣтилъ старшій приказчикъ, стоявшій тутъ же за прилавкомъ. — Куда вошло, оттуда и выйдетъ.

Старшій приказчикъ, высокій мужчина лѣтъ 50, съ темною бородой, въ очкахъ и съ карандашомъ за ухомъ, обыкновенно выражалъ свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбкѣ видно было при этомъ, что своимъ словамъ онъ придавалъ какой-то особенный, тонкій смыслъ. Свою рѣчь онъ любилъ затемнять книжными словами, которыя онъ понималъ по-своему, да и многія обыкновенныя слова часто употреблялъ онъ не въ томъ значеніи, какое они имѣютъ. Напримѣръ, слово «кромѣ». Когда онъ выражалъ категорически какую-нибудь мысль и не хотѣлъ, чтобъ ему противорѣчили, то протягивалъ впередъ правую руку и произносилъ:

— Кромѣ!

И удивительнѣе всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иванъ Васильичъ Початкинъ, и родомъ онъ былъ изъ Каширы. Теперь, поздравляя Лаптева, онъ выразился такъ:

— Съ вашей стороны заслуга храбрости, такъ какъ женское сердце есть Шамиль.

Другимъ важнымъ лицомъ въ амбарѣ былъ приказчикъ Макѣичевъ, полный, солидный блондинъ съ лысиной во все темя и съ бакенами. Онъ подошелъ къ Лаптеву и поздравилъ его почтительно, вполголоса:

— Честь имѣю-съ... Господь услышалъ молитвы вашего родителя-съ. Слава Богу-съ.

Затѣмъ стали подходить другіе приказчики и поздравлять съ законнымъ бракомъ. Всѣ они были одѣты по модѣ и имѣли видъ вполнѣ порядочныхъ, воспитанныхъ людей. Говорили они на *о*, *г* произносили какъ латинское *g*; оттого, что почти черезъ каждыя два слова они употребляли *съ*, ихъ поздравленія, произносимыя скороговоркой, напримѣръ, фраза: «желаю вамъ-съ всего хорошаго-съ» слышалась такъ, будто кто хлыстомъ билъ по воздуху — «жвысссъ».

Лаптеву все это скоро наскучило и захотѣлось домой, но уйти было неловко. Изъ приличія нужно было пробыть въ амбарѣ, по крайней мѣрѣ, два часа. Онъ отошелъ въ сторону отъ прилавка и сталъ разспрашивать Макѣичева, благополучно ли прошло лѣто и нѣтъ ли чего новаго, и тотъ отвѣчалъ почтительно, не глядя ему въ глаза. Мальчикъ, стриженый, въ сѣрой блузѣ, подалъ Лаптеву стаканъ чаю безъ блюдечка; немного погодя другой мальчикъ, проходя мимо, спотыкнулся о ящикъ и едва не упалъ, и солидный Макѣичевъ вдругъ сдѣлалъ страшное, злое лицо, лицо изверга, и крикнулъ на него:

— Ходи ногами!

Приказчики были рады, что молодой хозяинъ женился и, наконецъ, пріѣхалъ; они поглядывали на него съ любопытствомъ и привѣтливо, и каждый, проходя мимо, считалъ долгомъ сказать ему почтительно что-нибудь пріятное. Но Лаптевъ былъ убѣжденъ, что все это неискренно и что ему льстятъ потому, что боятся его. Онъ никакъ не могъ забыть, какъ лѣтъ пятнадцать назадъ одинъ приказчикъ, заболѣвшій психически, выбѣжалъ на улицу въ одномъ нижнемъ бѣльѣ, босой и, грозя на хозяйскія окна кулакомъ,

кричалъ, что его замучили; и надъ бѣднягой, когда онъ потомъ выздоровѣлъ, долго смѣялись и припоминали ему, какъ онъ кричалъ на хозяевъ: «плантаторы!»—вмѣсто «эксплуататоры». Вообще служащимъ жилось у Лаптевыхъ очень плохо и объ этомъ давно уже говорили всѣ ряды. Хуже всего было то, что по отношенію къ нимъ старикъ Ѳедоръ Степанычъ держался какой-то азіатской политики. Такъ, никому не было извѣстно, сколько жалованья получали его любимцы Початкинъ и Макѣичевъ; получали они по три тысячи въ годъ вмѣстѣ съ наградными, не больше, онъ же дѣлалъ видъ, что платитъ имъ по семи; наградныя выдавались каждый годъ всѣмъ приказчикамъ, но тайно, такъ что получившій мало долженъ былъ изъ самолюбія говорить, что получилъ много; ни одинъ мальчикъ не зналъ, когда его произведутъ въ приказчики; ни одинъ служащій не зналъ, доволенъ имъ хозяинъ или нѣтъ. Ничто не запрещалось приказчикамъ прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что — нѣтъ. Имъ не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять мѣсто. Имъ позволялось имѣть знакомыхъ и бывать въ гостяхъ, но въ девять часовъ вечера уже запирались ворота и каждое утро хозяинъ подозрительно оглядывалъ всѣхъ служащихъ и испытывалъ, не пахнетъ ли отъ кого водкой: «А ну-ка, дыхни!»

Каждый праздникъ служащіе обязаны были ходить къ ранней обѣднѣ и становиться въ церкви такъ, чтобы ихъ всѣхъ видѣлъ хозяинъ. Посты строго соблюдались. Въ торжественные дни, напримѣръ, въ именины хозяина или членовъ его семьи, приказчики должны были по подпискѣ подносить сладкій пирогъ отъ Флея или альбомъ. Жили они въ нижнемъ этажѣ дома на Пятницкой и во флигелѣ, помѣщаясь по трое и четверо въ одной комнатѣ, и за обѣдомъ ѣли изъ общей миски, хотя передъ каждымъ изъ нихъ стояла тарелка. Если кто изъ хозяевъ входилъ къ нимъ во время обѣда, то всѣ они вставали.

Лаптевъ сознавалъ, что изъ нихъ развѣ одни только испорченные стариковскимъ воспитаніемъ серьезно могли считать его благодѣтелемъ, остальные же видѣли въ немъ врага и «плантатора». Теперь послѣ полугодового отсутствія онъ не видѣлъ перемѣнъ къ лучшему; и было даже еще что-то новое, не предвѣщавшее ничего хорошаго. Братъ Ѳе-

доръ, бывшій раньше тихимъ, вдумчивымъ и чрезвычайно деликатнымъ, теперь съ видомъ очень занятаго и дѣлового человѣка, съ карандашомъ за ухомъ, бѣгалъ по амбару, похлопывалъ покупателей по плечу и кричалъ на приказчиковъ: «Друзья!» Повидимому, онъ игралъ какую-то роль, и въ этой новой роли Алексѣй не узнавалъ его.

Голосъ старика гудѣлъ непрерывно. Отъ нечего дѣлать, старикъ наставлялъ покупателя, какъ надо жить и какъ вести свои дѣла, и при этомъ все ставилъ въ примѣръ самого себя. Это хвастовство, этотъ авторитетный подавляющій тонъ Лаптевъ слышалъ и 10, и 15, и 20 лѣтъ назадъ. Старикъ обожалъ себя; изъ его словъ всегда выходило такъ, что свою покойную жену и ея родню онъ осчастливилъ, дѣтей наградилъ, приказчиковъ и служащихъ облагодѣтельствовалъ и всю улицу и всѣхъ знакомыхъ заставилъ за себя вѣчно Бога молить; что онъ ни дѣлалъ, все это было очень хорошо, а если у людей плохо идутъ дѣла, то потому только, что они не хотятъ посовѣтоваться съ нимъ; безъ его совѣта не можетъ удаться никакое дѣло. Въ церкви онъ всегда становился впереди всѣхъ и даже дѣлалъ замѣчанія священникамъ, когда они, по его мнѣнію, не такъ служили, и думалъ, что это угодно Богу, такъ какъ Богъ его любитъ.

Къ двумъ часамъ въ амбарѣ всѣ уже были заняты дѣломъ, кромѣ старика, который продолжалъ гудѣть. Лаптевъ, чтобы не стоять безъ дѣла, принялъ у одной мастерицы аграмантъ и отпустилъ ее, потомъ выслушалъ покупателя, вологодскаго купца, и приказалъ приказчику заняться.

— Твердо, вѣди, азъ!—слышалось со всѣхъ сторонъ (буквами въ амбарѣ означались цѣны и номера товаровъ). — Рцы, иже, твердо!

Уходя, Лаптевъ простился съ однимъ только Ѳедоромъ.

— Я завтра пріѣду съ женой на Пятницкую,—сказалъ онъ:—но, предупреждаю, если отецъ скажетъ ей хоть одно грубое слово, то я минуты тамъ не останусь.

— А ты все такой же, — вздохнулъ Ѳедоръ.—Женился, не перемѣнился. Надо, братъ, снисходить къ старику. Итакъ, значитъ, завтра часамъ къ одиннадцати. Будемъ съ нетерпѣніемъ ждать. Такъ пріѣзжай прямо съ обѣдни.

— Я въ обѣднѣ не бываю.

— Ну, это все равно. Главное, чтобы не позже одиннадцати, чтобъ успѣть и Богу помолиться, и позавтракать вмѣстѣ. Кланяйся сестреночкѣ и поцѣлуй ручку. У меня предчувствіе, что я ее полюблю, — добавилъ Ѳедоръ вполнѣ искренно.—Завидую, братъ!—крикнулъ онъ, когда уже Алексѣй спускался внизъ.

«И почему это онъ все жмется какъ-то застѣнчиво, будто кажется ему, что онъ голый?—думалъ Лаптевъ, идя по Никольской и стараясь понять перемѣну, какая произошла въ Ѳедорѣ. — И языкъ какой-то новый у него: братъ, милый братъ, Богъ милости прислалъ, Богу помолимся, — точно щедринскій Іудушка».

VI.

На другой день, въ воскресенье, въ 11 часовъ, онъ уже ѣхалъ съ женой по Пятницкой, въ легкой коляскѣ, на одной лошади. Онъ боялся со стороны Ѳедора Степаныча какой-нибудь выходки и уже заранѣе ему было непріятно. Послѣ двухъ ночей, проведенныхъ въ домѣ мужа, Юлія Сергѣевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастіемъ и если бы ей пришлось жить съ мужемъ не въ Москвѣ, а гдѣ-нибудь въ другомъ городѣ, то, казалось ей, она не перенесла бы этого ужаса. Москва же развлекала ее; улицы, дома и церкви нравились ей очень, и если бы можно было ѣздить по Москвѣ въ этихъ прекрасныхъ саняхъ, на дорогихъ лошадяхъ, ѣздить цѣлый день, отъ утра до вечера, и при очень быстрой ѣздѣ дышать прохладнымъ осеннимъ воздухомъ, то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной.

Около бѣлаго, недавно оштукатуреннаго двухъэтажнаго дома кучеръ сдержалъ лошадь и сталъ поворачивать вправо. Тутъ уже ждали. Около воротъ стояли дворникъ въ новомъ кафтанѣ, въ высокихъ сапогахъ и калошахъ, и двое городовыхъ; все пространство съ середины улицы до воротъ и потомъ по двору до крыльца было посыпано свѣжимъ пескомъ. Дворникъ снялъ шапку, городовые сдѣлали подъ козырекъ. Около крыльца встрѣтилъ Ѳедоръ съ очень серьезнымъ лицомъ.

— Очень радъ познакомиться, сестреночка, — сказалъ онъ, цѣлуя Юліи руку. — Добро пожаловать.

Онъ повелъ ее подъ руку вверхъ по лѣстницѣ, потомъ

по коридору сквозь толпу какихъ-то мужчинъ и женщинъ. Въ передней тоже было тѣсно, пахло ладаномъ.

— Я представлю васъ сейчасъ нашему батюшкѣ,—прошепталъ Ѳедоръ среди гробовой торжественной тишины.— Почтенный старичокъ, pater familias.

Въ большой залѣ около стола, приготовленнаго для молебна, стояли, очевидно, въ ожиданіи, Ѳедоръ Степанычъ, священникъ въ камилавкѣ и дьяконъ. Старикъ подалъ Юліи руку и не сказалъ ни слова. Всѣ молчали. Юлія сконфузилась.

Священникъ и дьяконъ начали облачаться. Принесли кадило, изъ котораго сыпались искры и шелъ запахъ ладана и угля. Зажгли свѣчи. Приказчики вошли въ залу на цыпочкахъ и стали у стѣны въ два ряда. Было тихо, даже никто не кашлянулъ.

— Благослови владыко, — началъ дьяконъ.

Молебенъ служили торжественно, ничего не пропуская, и читали два акаѳиста: Іисусу Сладчайшему и Пресвятой Богородицѣ. Пѣвчіе пѣли только нотное, очень долго. Лаптевъ замѣтилъ, какъ давеча сконфузилась его жена; пока читались акаѳисты и пѣвчіе на разные лады выводили тройное «Господи помилуй», онъ съ душевнымъ напряженіемъ ожидалъ, что вотъ-вотъ старикъ оглянется и сдѣлаетъ какое-нибудь замѣчаніе, въ родѣ «вы не умѣете креститься»; и ему было досадно: къ чему эта толпа, къ чему вся эта церемонія съ попами и пѣвчими. Это было слишкомъ по-купечески. Но когда она вмѣстѣ со старикомъ подставила голову подъ евангеліе и потомъ нѣсколько разъ опускалась на колѣни, онъ понялъ, что ей все это нравится, и успокоился.

Въ концѣ молебна, во время многолѣтія, священникъ далъ приложиться къ кресту старику и Алексѣю, но когда подошла Юлія Сергѣевна, онъ прикрылъ крестъ рукой и сдѣлалъ видъ, что желаетъ говорить. Замахали пѣвчимъ, чтобы тѣ замолчали.

— Пророкъ Самуилъ, — началъ священникъ: — пришелъ въ Виѳлеемъ по повелѣнію Господню, и тутъ городскіе старѣйшины вопрошали его съ трепетомъ: «миръ ли входъ твой, о прозорливче?» И рече пророкъ: «миръ, пожрети бо Господу пріидохъ, освятитеся и возвеселитеся днесь со мною». Станемъ ли и мы, раба Божія Юлія, вопрошать тебя о мирѣ твоего пришествія въ домъ сей?..

Юлія раскраснѣлась отъ волненія. Кончивъ, священникъ далъ ей приложиться ко кресту и сказалъ уже совсѣмъ другимъ тономъ:

— Теперь Ѳедора Ѳедорыча надо женить. Пора.

Опять запѣли пѣвчіе, народъ задвигался и стало шумно. Растроганный старикъ съ глазами, полными слезъ, три раза поцѣловалъ Юлію, перекрестилъ ей лицо и сказалъ:

— Это вашъ домъ. Мнѣ старику ничего не нужно.

Приказчики поздравляли и говорили что-то, но пѣвчіе пѣли такъ громко, что ничего нельзя было разслышать. Потомъ завтракали и пили шампанское. Она сидѣла рядомъ со старикомъ, и онъ говорилъ ей о томъ, что нехорошо жить врозь, надо жить вмѣстѣ, въ одномъ домѣ, а раздѣлы и несогласія ведутъ къ разоренію.

— Я наживалъ, а дѣти только проживаютъ, — говорилъ онъ.—Теперь вы живите со мной въ одномъ домѣ и наживайте. Мнѣ старику пора и отдохнуть.

Передъ глазами у Юліи все время мелькалъ Ѳедоръ, очень похожій на мужа, но болѣе подвижной и болѣе застѣнчивый; онъ суетился возлѣ и часто цѣловалъ ей руку.

— Мы, сестреночка, люди простые, — говорилъ онъ, и при этомъ красныя пятна выступали у него на лицѣ.—Мы живемъ просто, по-русски, по-христіански, сестреночка.

Когда возвращались домой, Лаптевъ, очень довольный, что все обошлось благополучно и сверхъ ожиданія не произошло ничего особеннаго, говорилъ женѣ:

— Ты удивляешься, что у крупнаго, широкоплечаго отца такія малорослыя, слабогрудыя дѣти, какъ я и Ѳедоръ. Да, но это такъ понятно! Отецъ женился на моей матери, когда ему было 45 лѣтъ, а ей только 17. Она блѣднѣла и дрожала въ его присутствіи. Нина родилась первая, родилась отъ сравнительно здоровой матери, и потому вышла крѣпче и лучше насъ; я же и Ѳедоръ были зачаты и рождены, когда мать была уже истощена постояннымъ страхомъ. Я помню, отецъ началъ учить меня или, попросту говоря, бить, когда мнѣ не было еще пяти лѣтъ. Онъ сѣкъ меня розгами, дралъ за уши, билъ по головѣ, и я, просыпаясь, каждое утро думалъ прежде всего: будутъ ли сегодня драть меня? Играть и шалить мнѣ и Ѳедору запрещалось; мы должны были ходить къ утренѣ и къ ранней обѣднѣ, цѣловать попамъ и монахамъ руки, читать дома акаѳисты. Ты вотъ религіозна

и все это любишь, а я боюсь религіи, и когда прохожу мимо церкви, то мнѣ припоминается мое дѣтство и становится жутко. Когда мнѣ было восемь лѣтъ, меня уже взяли въ амбаръ; я работалъ, какъ простой мальчикъ, и это было нездорово, потому что меня тутъ били почти каждый день. Потомъ, когда меня отдали въ гимназію, я до обѣда учился, а отъ обѣда до вечера долженъ былъ сидѣть все въ томъ же амбарѣ, и такъ до 22 лѣтъ, пока я не познакомился въ университетѣ съ Ярцевымъ, который убѣдилъ меня уйти изъ отцовскаго дома. Этотъ Ярцевъ сдѣлалъ мнѣ много добра. Знаешь что,—сказалъ Лаптевъ и засмѣялся отъ удовольствія:—давай поѣдемъ сейчасъ съ визитомъ къ Ярцеву. Это благороднѣйшій человѣкъ! Какъ онъ будетъ тронутъ!

VII.

Въ одну изъ ноябрьскихъ субботъ въ симфоническомъ дирижировалъ Антонъ Рубинштейнъ. Было очень тѣсно и жарко. Лаптевъ стоялъ за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидѣли далеко впереди, въ третьемъ или четвертомъ ряду. Въ самомъ началѣ антракта мимо него совершенно неожиданно прошла «особа», Полина Николаевна Разсудина. Послѣ свадьбы онъ часто съ тревогой помышлялъ о возможной встрѣчѣ съ ней. Когда она теперь взглянула на него открыто и прямо, онъ вспомнилъ, что до сихъ поръ еще не собрался объясниться съ ней или написать по-дружески хотя двѣ-три строчки, точно прятался отъ нея; ему стало стыдно, и онъ покраснѣлъ. Она крѣпко и порывисто пожала ему руку и спросила:

— Вы Ярцева видѣли?

И не дожидаясь отвѣта, пошла дальше стремительно, широко шагая, будто кто толкалъ ее сзади.

Она была очень худа и некрасива, съ длиннымъ носомъ, и лицо у нея всегда было утомленное, замученное и казалось, что ей стоило большихъ усилій, чтобы держать глаза открытыми и не упасть. У нея были прекрасные темные глаза и умное, доброе, искреннее выраженіе, но движенія угловатыя, рѣзкія. Говорить съ ней было не легко, такъ какъ она не умѣла слушать и говорить покойно. Любить же ее было тяжело. Бывало, оставаясь съ Лаптевымъ, она долго хохотала, закрывъ лицо руками, и увѣряла, что любовь для нея не составляетъ главнаго въ жизни, жеманилась, какъ

семнадцатилѣтняя дѣвушка, и, прежде чѣмъ поцѣловаться съ ней, нужно было тушить всѣ свѣчи. Ей было уже 30 лѣтъ. Она была замужемъ за педагогомъ, но давно уже не жила съ мужемъ. Средства къ жизни добывала уроками музыки и участіемъ въ квартетахъ.

Во время девятой симфоніи она опять прошла мимо, какъ бы нечаянно, но толпа мужчинъ, стоявшая густою стѣной за колоннами, не пустила ее дальше, и она остановилась. Лаптевъ увидѣлъ на ней ту же самую бархатную кофточку, въ которой она ходила на концерты въ прошломъ и третьемъ году. Перчатки у нея были новыя, вѣеръ тоже новый, но дешевый. Она любила наряжаться, но не умѣла и жалѣла на это деньги, и одѣвалась дурно и неряшливо, такъ что на улицѣ обыкновенно, когда она, торопливо и широко шагая, шла на урокъ, ее легко можно было принять за молодого послушника.

Публика аплодировала и кричала bis.

— Вы проведете сегодня вечеръ со мной,—сказала Полина Николаевна, подходя къ Лаптеву и глядя на него сурово.—Мы отсюда поѣдемъ вмѣстѣ чай пить. Слышите? Я этого требую. Вы мнѣ многимъ обязаны и не имѣете нравственнаго права отказать мнѣ въ этомъ пустякѣ.

— Хорошо, поѣдемте,—согласился Лаптевъ.

Послѣ симфоніи начались нескончаемые вызовы. Публика вставала съ мѣстъ и выходила чрезвычайно медленно, а Лаптевъ не могъ уѣхать, не сказавшись женѣ. Надо было стоять у двери и ждать.

— Мучительно хочу чаю, — пожаловалась Разсудина.— Душа горитъ.

— Здѣсь можно напиться,—сказалъ Лаптевъ.—Пойдемте въ буфетъ.

— Ну, у меня нѣтъ денегъ, чтобы бросать буфетчику. Я не купчишка.

Онъ предложилъ ей руку, она отказалась, проговоривъ длинную, утомительную фразу, которую онъ слышалъ отъ нея уже много разъ, именно, что она не причисляетъ себя къ слабому прекрасному полу и не нуждается въ услугахъ господъ мужчинъ.

Разговаривая съ нимъ, она оглядывала публику и часто здоровалась со знакомыми; это были ея товарки по курсамъ Герье и по консерваторіи, и ученики, и ученицы. Она по-

жимала имъ руки крѣпко и порывисто, будто дергала. Но вотъ она стала поводить плечами, какъ въ лихорадкѣ, и дрожать и, наконецъ, проговорила тихо, глядя на Лаптева съ ужасомъ:

— На комъ вы женились? Гдѣ у васъ были глаза, сумасшедшій вы человѣкъ? Что вы нашли въ этой глупой, ничтожной дѣвчонкѣ? Вѣдь я васъ любила за умъ, за душу, а этой фарфоровой куклѣ нужны только ваши деньги!

— Оставимъ это, Полина, — сказалъ онъ умоляющимъ голосомъ.—Все, что вы можете сказать мнѣ по поводу моей женитьбы, я самъ уже говорилъ себѣ много разъ... Не причиняйте мнѣ лишней боли.

Показалась Юлія Сергѣевна въ черномъ платье и съ большою брильянтовою брошью, которую прислалъ ей свекоръ послѣ молебна; за нею шла ея свита: Кочевой, два знакомыхъ доктора, офицеръ и полный молодой человѣкъ въ студенческой формѣ, по фамиліи Кишъ.

— Поѣзжай съ Костей, — сказалъ Лаптевъ женѣ. — Я пріѣду послѣ.

Юлія кивнула головой и прошла дальше. Полина Николаевна проводила ее взглядомъ, дрожа всѣмъ тѣломъ и нервно пожимаясь, и этотъ взглядъ ея былъ полонъ отвращенія, ненависти и боли.

Лаптевъ боялся ѣхать къ ней, предчувствуя непріятное объясненіе, рѣзкости и слезы, и предложилъ отправиться пить чай въ какой-нибудь ресторанъ. Но она сказала:

— Нѣтъ, нѣтъ, поѣдемте ко мнѣ. Не смѣйте говорить мнѣ о ресторанахъ.

Она не любила бывать въ ресторанахъ, потому что ресторанный воздухъ казался ей отравленнымъ табакомъ и дыханіемъ мужчинъ. Ко всѣмъ незнакомымъ мужчинамъ она относилась съ страннымъ предубѣжденіемъ, считала ихъ всѣхъ развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Кромѣ того, ее раздражала до головной боли трактирная музыка.

Выйдя изъ Благороднаго Собранія, наняли извозчика на Остоженку, въ Савеловскій переулокъ, гдѣ жила Разсудина. Лаптевъ всю дорогу думалъ о ней. Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ ей многимъ обязанъ. Познакомился онъ съ нею у своего друга Ярцева, которому она преподавала теорію музыки. Она полюбила его сильно, совершенно безкорыстно

и, сойдясь съ нимъ, продолжала ходить на уроки и трудиться попрежнему до изнеможенія. Благодаря ей, онъ сталъ понимать и любить музыку, къ которой раньше былъ почти равнодушенъ.

— Полцарства за стаканъ чаю!—проговорила она глухимъ голосомъ, закрывая ротъ муфтой, чтобы не простудиться.—Я была на пяти урокахъ, чтобъ ихъ чортъ взялъ! Ученики такіе тупицы, такіе толкачи, я чуть не умерла отъ злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась. Какъ только скоплю триста рублей, брошу все и поѣду въ Крымъ. Лягу на берегу и буду глотать кислородъ. Какъ я люблю море, ахъ, какъ я люблю море!

— Никуда вы не поѣдете,—сказалъ Лаптевъ.—Во-первыхъ, вы ничего не скопите, и, во-вторыхъ, вы скупы. Простите, я опять повторю: неужели собрать эти триста рублей по грошамъ у праздныхъ людей, которые учатся у васъ музыкѣ отъ нечего дѣлать, менѣе унизительно, чѣмъ взять ихъ взаймы у вашихъ друзей?

— У меня нѣтъ друзей!—сказала она раздраженно.—И прошу васъ не говорить глупостей. У рабочаго класса, къ которому я принадлежу, есть одна привилегія: сознаніе своей неподкупности, право не одолжаться у купчишекъ и презирать. Нѣтъ-съ, меня не купите! Я не Юличка!

Лаптевъ не сталъ платить извозчику, зная, что это вызоветъ цѣлый потокъ словъ, много разъ уже слышанныхъ раньше. Заплатила она сама.

Она нанимала маленькую комнату съ мебелью и со столомъ въ квартирѣ одинокой дамы. Ея большой беккеровскій рояль стоялъ пока у Ярцева, на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть. Въ ея комнатѣ были кресла въ чехлахъ, кровать съ бѣлымъ лѣтнимъ одѣяломъ и хозяйскіе цвѣты, на стѣнахъ висѣли олеографіи, и не было ничего, что напоминало бы о томъ, что здѣсь живетъ женщина и бывшая курсистка. Не было ни туалета, ни книгъ, ни даже письменнаго стола. Видно было, что она ложилась спать, какъ только приходила домой, и, вставая утромъ, тотчасъ же уходила изъ дому.

Кухарка принесла самоваръ. Полина Николаевна заварила чай и, все еще дрожа,—въ комнатѣ было холодно,—стала бранить пѣвцовъ, которые пѣли въ девятой симфоніи.

У нея закрывались глаза отъ утомленія. Она выпила одинъ стаканъ, потомъ другой, потомъ третій.

— Итакъ, вы женаты,—сказала она.—Но не безпокойтесь, я киснуть не буду, я сумѣю вырвать васъ изъ своего сердца. Досадно только и горько, что вы такая же дрянь, какъ всѣ, что вамъ въ женщинѣ нужны не умъ, не интеллектъ, а тѣло, красота, молодость... Молодость! — проговорила она въ носъ, какъ будто передразнивая кого-то, и засмѣялась. — Молодость! Вамъ нужна чистота, Reinheit! Reinheit!—захохотала она, откидываясь на спинку кресла,— Reinheit!

Когда она кончила хохотать, глаза у нея были заплаканные.

— Вы счастливы, по крайней мѣрѣ?—спросила она.

— Нѣтъ.

— Она васъ любитъ?

— Нѣтъ.

Лаптевъ, взволнованный, чувствуя себя несчастнымъ, всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Нѣтъ, — повторилъ онъ. — Я, Полина, если хотите знать, очень несчастливъ. Что дѣлать? Сдѣлалъ глупость, теперь уже не поправишь. Надо философски относиться. Она вышла безъ любви, глупо, быть-можетъ, и по расчету, но не разсуждая, и теперь, очевидно, сознаетъ свою ошибку и страдаетъ. Я вижу. Ночью мы спимъ, но днемъ она боится остаться со мной наединѣ хотя бы пять минутъ и ищетъ развлеченій, общества. Ей со мной стыдно и страшно.

— А деньги, все-таки, беретъ у васъ?

— Глупо, Полина!—крикнулъ Лаптевъ. — Она беретъ у меня деньги потому, что для нея рѣшительно все равно, есть онѣ у нея или нѣтъ. Она честный, чистый человѣкъ. Вышла она за меня просто потому, что ей хотѣлось уйти отъ отца, вотъ и все.

— А вы увѣрены, что она вышла бы за васъ, если бы вы не были богаты?—спросила Разсудина.

— Ни въ чемъ я не увѣренъ,—сказалъ съ тоской Лаптевъ.—Ни въ чемъ. Я ничего не понимаю. Ради Бога, Полина, не будемъ говорить объ этомъ.

— Вы ее любите?

— Безумно.

Затѣмъ наступило молчаніе. Она пила четвертый стаканъ,

а онъ ходилъ и думалъ о томъ, что жена теперь, вѣроятно, въ докторскомъ клубѣ, ужинаетъ.

— Но развѣ можно любить, не зная, за что?—спросила Разсудина и пожала плечами.—Нѣтъ, въ васъ говоритъ животная страсть! Вы опьянены! Вы отравлены этимъ красивымъ тѣломъ, этой Reinheit! Уйдите отъ меня, вы грязны! Ступайте къ ней!

Она махнула ему рукой, потомъ взяла его шапку и швырнула въ него. Онъ молча надѣлъ шубу и вышелъ, но она побѣжала въ сѣни и судорожно вцѣпилась ему въ руку около плеча и зарыдала.

— Перестаньте, Полина! Полно! — говорилъ онъ, и никакъ не могъ разжать ея пальцевъ.—Успокойтесь, прошу васъ!

Она закрыла глаза и поблѣднѣла, и длинный носъ ея сталъ непріятнаго воскового цвѣта, какъ у мертвой, и Лаптевъ все еще не могъ разжать ея пальцевъ. Она была въ обморокѣ. Онъ осторожно поднялъ ее и положилъ на постель и просидѣлъ возлѣ нея минутъ десять, пока она очнулась. Руки у нея были холодныя, пульсъ слабый, съ перебоями.

— Уходите домой,—сказала она, открывая глаза.—Уходите, а то я опять зареву. Надо взять себя въ руки.

Выйдя отъ нея, онъ отправился не въ докторскій клубъ, гдѣ ожидала его компанія, а домой. Всю дорогу онъ спрашивалъ себя съ упрекомъ: почему онъ устроилъ себѣ семью не съ этою женщиной, которая его такъ любитъ и была уже на самомъ дѣлѣ его женой и подругой? Это былъ единственный человѣкъ, который былъ къ нему привязанъ, и развѣ, кромѣ того, не было бы благодарною, достойною задачей дать счастье, пріютъ и покой этому умному, гордому и замученному трудомъ существу? Къ лицу ли ему,—спрашивалъ онъ себя,—эти претензіи на красоту, молодость, на то самое счастье, котораго не можетъ быть и которое, точно въ наказаніе или насмѣшку, вотъ уже три мѣсяца держитъ его въ мрачномъ, угнетенномъ состояніи? Медовый мѣсяцъ давно прошелъ, а онъ, смѣшно сказать, еще не знаетъ, что̀ за человѣкъ его жена. Своимъ институтскимъ подругамъ и отцу она пишетъ длинныя письма на пяти листахъ, и находитъ же, о чемъ писать, а съ нимъ говоритъ только о погодѣ и о томъ, что пора обѣдать или ужинать

Когда она передъ сномъ долго молится Богу и потомъ цѣлуетъ свои крестики и образки, онъ, глядя на нее, думаетъ съ ненавистью: «Вотъ она молится, но о чемъ молится? О чемъ?» Онъ въ мысляхъ оскорблялъ ее и себя, говоря, что, ложась съ ней спать и принимая ее въ свои объятія, онъ беретъ то, за что платитъ, но это выходило ужасно; будь это здоровая, смѣлая, грѣшная женщина, но, вѣдь, тутъ молодость, религіозность, кротость, невинные, чистые глаза... Когда она была его невѣстой, ея религіозность трогала его, теперь же эта условная опредѣленность взглядовъ и убѣжденій представлялась ему заставой, изъ-за которой не видно было настоящей правды. Въ его семейной жизни уже все было мучительно. Когда жена, сидя съ нимъ рядомъ въ театрѣ, вздыхала или искренно хохотала, ему было горько, что она наслаждается одна и не хочетъ подѣлиться съ нимъ своимъ восторгомъ. И замѣчательно, она подружилась со всѣми его пріятелями, и всѣ они уже знали, что она за человѣкъ, а онъ ничего не зналъ, а только хандрилъ и молча ревновалъ.

Придя домой, Лаптевъ надѣлъ халатъ и туфли и сѣлъ у себя въ кабинетѣ читать романъ. Жены дома не было. Но прошло не больше получаса, какъ въ передней позвонили и глухо раздались шаги Петра, побѣжавшаго отворять. Это была Юлія. Она вошла въ кабинетъ въ шубкѣ, съ красными отъ мороза щеками.

— На Прѣснѣ большой пожаръ, — проговорила она, запыхавшись.—Громадное зарево. Я поѣду туда съ Константиномъ Иванычемъ.

— Съ Богомъ!

Видъ здоровья, свѣжести и дѣтскаго страха въ глазахъ успокоилъ Лаптева. Онъ почиталъ еще съ полчаса и пошелъ спать.

На другой день Полина Николаевна прислала ему въ амбаръ двѣ книги, которыя когда-то брала у него, всѣ его письма и его фотографіи; при этомъ была записка, состоявшая только изъ одного слова: «Баста!»

VIII.

Уже въ концѣ октября у Нины Ѳедоровны ясно опредѣлился рецидивъ. Она быстро худѣла и измѣнялась въ лицѣ. Несмотря на сильныя боли, она воображала, что уже

выздоравливаетъ, и каждое утро одѣвалась, какъ здоровая, и потомъ цѣлый день лежала въ постели одѣтая. И подъ конецъ она стала очень разговорчива. Лежитъ на спинѣ и разсказываетъ что-нибудь тихо, черезъ силу, тяжело дыша. Умерла она внезапно и при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Былъ лунный, ясный вечеръ, на улицѣ катались по свѣжему снѣгу и въ комнату съ улицы доносился шумъ. Нина Ѳедоровна лежала въ постели на спинѣ, а Саша, которую уже некому было смѣнить, сидѣла возлѣ и дремала.

— Отчества его не помню,—разсказывала Нина Ѳедоровна тихо:—а звали его Иванъ, по фамиліи Кочевой, бѣдный чиновникъ. Пьяница былъ горькій, царство небесное. Ходилъ онъ къ намъ и каждый мѣсяцъ мы выдавали ему по фунту сахару и по осьмушкѣ чаю. Ну, случалось и деньгами, конечно. Да... Затѣмъ такое происшествіе: запилъ шибко нашъ Кочевой и померъ, отъ водки сгорѣлъ. Остался послѣ него сынишка, мальчоночекъ лѣтъ семи. Сироточка... Взяли мы его и спрятали у приказчиковъ, и жилъ онъ такъ цѣльный годъ, и папаша не зналъ. А какъ увидѣлъ папаша, только рукой махнулъ и ничего не сказалъ. Когда Костѣ, сироткѣ-то, пошелъ девятый годокъ,—а я въ ту пору уже невѣстой была,—повезла я его по всѣмъ гимназіямъ. Туда-сюда, нигдѣ не принимаютъ. А онъ плачетъ... «Что же ты,—говорю,—дурачокъ, плачешь?» Повезла я его на Разгуляй во вторую гимназію и тамъ, дай Богъ здоровья, приняли... И сталъ мальчишечка ходить каждый день пѣшкомъ съ Пятницкой на Разгуляй, да съ Разгуляя на Пятницкую... Алеша за него платилъ... Милости Господни, сталъ мальчикъ хорошо учиться, вникать и вышелъ изъ него толкъ... Адвокатомъ теперь въ Москвѣ, Алешинъ другъ, такой же высокой науки. Вотъ не пренебрегли человѣкомъ, приняли его въ домъ, и теперь онъ за насъ, небось, Бога молитъ... Да...

Нина Ѳедоровна стала говорить все тише, съ долгими паузами, потомъ, помолчавъ немного, вдругъ поднялась и сѣла.

— А мнѣ не того... нехорошо какъ будто, — сказала она.—Господи помилуй. Ой, дышать не могу!

Саша знала, что мать должна скоро умереть; увидѣвъ теперь, какъ вдругъ осунулось ея лицо, она угадала, что это конецъ, и испугалась.

— Мамочка, это не надо!—зарыдала она.—Это не надо!

— Сбѣгай въ кухню, пусть за отцомъ сходятъ. Мнѣ очень даже нехорошо.

Саша бѣгала по всѣмъ комнатамъ и звала, но во всемъ домѣ не было никого изъ прислуги, и только въ столовой на сундукѣ спала Лида въ одежѣ и безъ подушки. Саша, какъ была, безъ калошъ выбѣжала на дворъ, потомъ на улицу. За воротами на лавочкѣ сидѣла няня и смотрѣла на катанье. Съ рѣки, гдѣ былъ катокъ, доносились звуки военной музыки.

— Няня, мама умираетъ!—сказала Саша, рыдая.—Надо сходить за папой!..

Няня пошла наверхъ въ спальну и, взглянувъ на больную, сунула ей въ руки зажженую восковую свѣчу. Саша въ ужасѣ суетилась и умоляла, сама не зная кого, сходить за папой, потомъ надѣла пальто и платокъ и выбѣжала на улицу. Отъ прислуги она знала, что у отца есть еще другая жена и двѣ дѣвочки, съ которыми онъ живетъ на Базарной. Она побѣжала влѣво отъ воротъ, плача и боясь чужихъ людей, и скоро стала грузнуть въ снѣгу и зябнуть. Встрѣтился ей извозчикъ порожнемъ, но она не наняла его: пожалуй, завезетъ ее за городъ, ограбитъ и броситъ на кладбищѣ (за чаемъ разсказывала прислуга: былъ такой случай). Она все шла и шла, задыхаясь отъ утомленія и рыдая. Выйдя на Базарную, она спросила, гдѣ здѣсь живетъ господинъ Панауровъ. Какая-то незнакомая женщина долго объясняла ей и, видя, что она ничего не понимаетъ, привела ее за руку къ одноэтажному дому съ подъѣздомъ. Дверь была не заперта. Саша пробѣжала черезъ сѣни, потомъ коридоръ и, наконецъ, очутилась въ свѣтлой, теплой комнатѣ, гдѣ за самоваромъ сидѣлъ отецъ и съ нимъ дама и двѣ дѣвочки. Но ужъ она не могла выговорить ни одного слова и только рыдала. Панауровъ понялъ.

— Вѣроятно, мамѣ нехорошо?—спросилъ онъ.—Скажи, дѣвочка: мамѣ нехорошо?

Онъ встревожился и послалъ за извозчикомъ.

Когда пріѣхали домой, Нина Ѳедоровна сидѣла обложенная подушками, со свѣчой въ рукѣ. Лицо потемнѣло и глаза были уже закрыты. Въ спальнѣ стояли, столпившись у двери, няня, кухарка, горничная, мужикъ Прокофій и еще

какіе-то незнакомые простые люди. Няня что-то приказывала шопотомъ и ее не понимали. Въ глубинѣ комнаты у окна стояла Лида, блѣдная, заспанная, и сурово глядѣла оттуда на мать.

Панауровъ взялъ у Нины Ѳедоровны изъ рукъ свѣчу и, брезгливо морщась, швырнулъ на комодъ.

— Это ужасно!—проговорилъ онъ и плечи у него вздрогнули.—Нина, тебѣ лечь нужно,—сказалъ онъ ласково.—Ложись, милая.

Она взглянула и не узнала его... Ее положили на спину.

Когда пришли священникъ и докторъ Сергѣй Борисычъ, прислуга уже набожно крестилась и поминала ее.

— Вотъ она какова исторія!—сказалъ докторъ въ раздумьѣ, выходя въ гостиную.—А, вѣдь, еще молода, ей и сорока не было.

Слышались громкія рыданія дѣвочекъ. Панауровъ, блѣдный, съ влажными глазами, подошелъ къ доктору и сказалъ слабымъ, томнымъ голосомъ:

— Дорогой мой, окажите услугу, пошлите въ Москву телеграмму. Я рѣшительно не въ силахъ.

Докторъ добылъ чернилъ и написалъ дочери такую телеграмму: «Панаурова скончалась восемь вечера. Скажи мужу: на Дворянской продается домъ переводомъ долга, доплатить девять. Торги двѣнадцатаго. Совѣтую не упустить».

IX.

Лаптевъ жилъ въ одномъ изъ переулковъ Малой Дмитровки, не далеко отъ Стараго Пимена. Кромѣ большого дома на улицу, онъ нанималъ также еще двухъэтажный флигель во дворѣ для своего друга Кочевого, помощника присяжнаго повѣреннаго, котораго всѣ Лаптевы звали просто Костей, такъ какъ онъ выросъ на ихъ глазахъ. Противъ этого флигеля стоялъ другой, тоже двухъэтажный, въ которомъ жило какое-то французское семейство, состоявшее изъ мужа, жены и пяти дочерей.

Былъ морозъ градусовъ въ двадцать. Окна заиндивѣли. Проснувшись утромъ, Костя съ озабоченнымъ лицомъ принялъ пятнадцать капель какого-то лѣкарства, потомъ, доставши изъ книжнаго шкапа двѣ гири, занялся гимнастикой. Онъ былъ высокъ, очень худъ, съ большими рыжева-

тыми усами; но самое замѣтное въ его наружности — это были его необыкновенно длинныя ноги.

Петръ, мужикъ среднихъ лѣтъ, въ пиджакѣ и въ ситцевыхъ брюкахъ, засунутыхъ въ высокіе сапоги, принесъ самоваръ и заварилъ чай.

— Очень нынче хорошая погода, Константинъ Иванычъ,— сказалъ онъ.

— Да, хорошая, только вотъ, братъ, жаль, живется намъ съ тобой не ахти какъ.

Петръ вздохнулъ изъ вѣжливости.

— Что дѣвочки?—спросилъ Кочевой.

— Батюшка не пришли, Алексѣй Ѳедорычъ сами съ ними занимаются.

Костя нашелъ на окнѣ необледенѣлое мѣстечко и сталъ смотрѣть въ бинокль, направляя его на окна, гдѣ жило французское семейство.

— Не видать,—сказалъ онъ.

Въ это время внизу Алексѣй Ѳедорычъ занимался по закону Божію съ Сашей и Лидой. Вотъ уже полтора мѣсяца, какъ онѣ жили въ Москвѣ, въ нижнемъ этажѣ флигеля, вмѣстѣ со своею гувернанткой, и къ нимъ приходили три раза въ недѣлю учитель городского училища и священникъ. Саша проходила Новый завѣтъ, а Лида недавно начала Ветхій. Въ послѣдній разъ Лидѣ было задано повторить до Авраама.

— Итакъ, у Адама и Евы было два сына, — сказалъ Лаптевъ.—Прекрасно. Но какъ ихъ звали? Припомни-ка!

Лида, попрежнему суровая, молчала, глядя на столъ, и только шевелила губами; а старшая Саша смотрѣла ей въ лицо и мучилась.

— Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться,— сказалъ Лаптевъ.—Ну, какъ же звать сыновей Адама?

— Авель и Кавель,—прошептала Лида.

— Каинъ и Авель,—поправилъ Лаптевъ.

По щекѣ у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснѣла, готовая заплакать. Лаптевъ отъ жалости не могъ уже говорить, слезы подступили у него къ горлу; онъ всталъ изъ-за стола и закурилъ папироску. Въ это время сошелъ сверху Кочевой съ газетой въ рукахъ. Дѣвочки поднялись и, не глядя на него, сдѣлали реверансъ.

— Бога ради, Костя, займитесь вы съ ними,—обратился къ нему Лаптевъ. — Я боюсь, что самъ заплачу, и мнѣ нужно до обѣда въ амбаръ съѣздить.

— Ладно.

Алексѣй Ѳедорычъ ушелъ. Костя съ очень серьезнымъ лицомъ, нахмурясь, сѣлъ за столъ и потянулъ къ себѣ священную исторію.

— Ну-съ?—спросилъ онъ.—О чемъ вы тутъ?

— Она знаетъ о потопѣ,—сказала Саша.

— О потопѣ? Ладно, будемъ жарить о потопѣ. Валяй о потопѣ. — Костя пробѣжалъ въ книжкѣ краткое описаніе потопа и сказалъ:—Долженъ я вамъ замѣтить, такого потопа, какъ здѣсь описано, на самомъ дѣлѣ не было. И никакого Ноя не было. За нѣсколько тысячъ лѣтъ до Рождества Христова было на землѣ необыкновенное наводненіе, и объ этомъ упоминается не въ одной еврейской Библіи, но также въ книгахъ другихъ древнихъ народовъ, какъ-то: грековъ, халдеевъ, индусовъ. Но какое бы ни было наводненіе, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то небось остались. Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно вѣрьте.

У Лиды опять потекли слезы, она отвернулась и вдругъ зарыдала такъ громко, что Костя вздрогнулъ и поднялся съ мѣста въ сильномъ смущеніи.

— Я хочу домой, — проговорила она. — Къ папѣ и къ нянѣ.

Саша тоже заплакала. Костя ушелъ къ себѣ наверхъ и сказалъ въ телефонъ Юліи Сергѣевнѣ:

— Голубушка, дѣвочки опять плачутъ. Нѣтъ никакой возможности.

Юлія Сергѣевна прибѣжала изъ большого дома въ одномъ платьѣ и вязаномъ платкѣ, прохваченная морозомъ, и начала утѣшать дѣвочекъ.

— Вѣрьте мнѣ, вѣрьте,—говорила она умоляющимъ голосомъ, прижимая къ себѣ то одну, то другую:—вашъ папа пріѣдетъ сегодня, онъ прислалъ телеграмму. Жаль мамы, и мнѣ жаль, сердце разрывается, но что же дѣлать? Вѣдь, не пойдешь противъ Бога!

Когда онѣ перестали плакать, она окутала ихъ и повезла кататься. Сначала проѣхали по Малой Дмитровкѣ, потомъ мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились,

поставили по свѣчѣ и помолились, стоя на колѣняхъ. На обратномъ пути заѣхали къ Филиппову и взяли постныхъ баранокъ съ макомъ.

Обѣдали Лаптевы въ третьемъ часу. Кушанья подавалъ Петръ. Этотъ Петръ днемъ бѣгалъ то въ почтамтъ, то въ амбаръ, то въ окружной судъ для Кости, прислуживалъ; по вечерамъ онъ набивалъ папиросы, ночью бѣгалъ отворять дверь и въ пятомъ часу утра уже топилъ печи, и никто не зналъ, когда онъ спитъ. Онъ очень любилъ откупоривать сельтерскую воду, и дѣлалъ это легко, безшумно, не проливъ ни одной капли.

— Дай Богъ! — сказалъ Костя, выпивая передъ супомъ рюмку водки.

Въ первое время Костя не нравился Юліи Сергѣевнѣ; его басъ, его словечки въ родѣ выставилъ, заѣхалъ въ харю, мразь, изобрази самоварчикъ, его привычка чокаться и причитывать за рюмкой, казались ей тривіальными. Но, узнавши его покороче, она стала чувствовать себя въ его присутствіи очень легко. Онъ былъ съ нею откровененъ, любилъ по вечерамъ поговорить съ нею вполголоса о чемъ-нибудь, и даже давалъ ей читать романы своего сочиненія, которые до сихъ поръ составляли тайну даже для такихъ его друзей, какъ Лаптевъ и Ярцевъ. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и онъ былъ радъ, такъ какъ надѣялся стать рано или поздно извѣстнымъ писателемъ. Въ своихъ романахъ онъ описывалъ только деревню и помѣщичьи усадьбы, хотя деревню видѣлъ очень рѣдко, только когда бывалъ у знакомыхъ на дачѣ, а въ помѣщичьей усадьбѣ былъ разъ въ жизни, когда ѣздилъ въ Волоколамскъ по судебному дѣлу. Любовнаго элемента онъ избѣгалъ, будто стыдился, природу описывалъ часто и при этомъ любилъ употреблять такія выраженія, какъ прихотливыя очертанія горъ, причудливыя формы облаковъ или аккордъ таинственныхъ созвучій... Романовъ его нигдѣ не печатали, и это объяснялъ онъ цензурными условіями.

Адвокатская дѣятельность нравилась ему, но все же главнымъ своимъ занятіемъ считалъ онъ не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организація, и его всегда тянуло къ искусству. Самъ онъ не пѣлъ и не игралъ ни на какомъ инструментѣ и совершенно былъ лишенъ музыкальнаго слуха, но посѣщалъ всѣ

симфоническія и филармоническія собранія, устраивалъ концерты съ благотворительною цѣлью, знакомился съ пѣвцами...

Во время обѣда разговаривали.

— Удивительное дѣло, — сказалъ Лаптевъ:—опять меня поставилъ втупикъ мой Ѳедоръ! Надо, говоритъ, узнать, когда исполнится столѣтіе нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянствѣ, и говоритъ это самымъ серьезнымъ образомъ. Что съ нимъ подѣлалось? Откровенно говоря, я начинаю безпокоиться.

Говорили о Ѳедорѣ, о томъ, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Напримѣръ, Ѳедоръ старается казаться простымъ купцомъ, хотя онъ уже не купецъ, и когда приходитъ къ нему за жалованьемъ учитель изъ школы, гдѣ старикъ Лаптевъ попечителемъ, то онъ даже мѣняетъ голосъ и походку и держится съ учителемъ какъ начальникъ.

Послѣ обѣда нечего было дѣлать, пошли въ кабинетъ. Говорили о декадентахъ, объ *Орлеанской дѣвѣ*, и Костя прочелъ цѣлый монологъ; ему казалось, что онъ очень удачно подражаетъ Ермоловой. Потомъ сѣли играть въ винтъ. Дѣвочки не уходили къ себѣ во флигель, а блѣдныя, печальныя сидѣли, обѣ въ одномъ креслѣ, и прислушивались къ шуму на улицѣ: не отецъ ли ѣдетъ? По вечерамъ, въ темнотѣ и при свѣчахъ, онѣ испытывали тоску. Разговоръ за винтомъ, шаги Петра, трескъ въ каминѣ раздражали ихъ и не хотѣлось смотрѣть на огонь; по вечерамъ и плакать уже не хотѣлось, но было жутко и давило подъ сердцемъ. И было не понятно, какъ это можно говорить о чемъ-нибудь и смѣяться, когда умерла мама.

— Что вы сегодня видѣли въ бинокль?—спросила Юлія Сергѣевна у Кости.

— Сегодня ничего, а вчера самъ старикъ французъ ванну принималъ.

Въ семь часовъ Юлія Сергѣевна и Костя уѣхали въ Малый театръ. Лаптевъ остался съ дѣвочками.

— А пора бы уже вашему папѣ пріѣхать, — говорилъ онъ, посматривая на часы.—Должно-быть, поѣздъ опоздалъ.

Дѣвочки сидѣли въ креслѣ, молча, прижавшись другъ къ другу, какъ звѣрки, которымъ холодно, а онъ все ходилъ по комнатамъ и съ нетерпѣніемъ посматривалъ на часы. Въ домѣ было тихо. Но вотъ уже въ концѣ девятаго часа кто-то позвонилъ. Петръ пошелъ отворять.

Услышавъ знакомый голосъ, дѣвочки вскрикнули, зарыдали и бросились въ переднюю. Панауровъ былъ въ роскошной дохѣ, и борода и усы у него побѣлѣли отъ мороза.

— Сейчасъ, сейчасъ,—бормоталъ онъ, а Саша и Лида, рыдая и смѣясь, цѣловали ему холодныя руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, онъ, не спѣша, приласкалъ дѣвочекъ, потомъ вошелъ въ кабинетъ и сказалъ, потирая руки:

— А я къ вамъ не надолго, друзья мои. Завтра уѣзжаю въ Петербургъ. Мнѣ обѣщаютъ переводъ въ другой городъ.

Остановился онъ въ «Дрезденѣ».

X.

У Лаптевыхъ часто бывалъ Ярцевъ, Иванъ Гаврилычъ. Это былъ здоровый, крѣпкій человѣкъ, черноволосый, съ умнымъ, пріятнымъ лицомъ; его считали красивымъ, но въ послѣднее время онъ сталъ полнѣть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что онъ стригъ волосы низко, почти до-гола. Въ университетѣ когда-то, благодаря его хорошему росту и силѣ, студенты называли его вышибалой.

Онъ вмѣстѣ съ братьями Лаптевыми кончилъ на филологическомъ факультетѣ, потомъ поступилъ на естественный, и теперь былъ магистромъ химіи. На каѳедру онъ не разсчитывалъ и нигдѣ не былъ даже лаборантомъ, а преподавалъ физику и естественную исторію въ реальномъ училищѣ и въ двухъ женскихъ гимназіяхъ. Отъ своихъ учениковъ, а особенно ученицъ онъ былъ въ восторгѣ и говорилъ, что подрастаетъ теперь замѣчательное поколѣніе. Кромѣ химіи, онъ занимался еще у себя дома соціологіей и русскою исторіей, и свои небольшія замѣтки иногда печаталъ въ газетахъ и журналахъ, подписываясь буквой Я. Когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь изъ ботаники или зоологіи, то походилъ на историка, когда же рѣшалъ какой-нибудь историческій вопросъ, то походилъ на естественника.

Своимъ человѣкомъ у Лаптевыхъ былъ также Кишъ, прозванный вѣчнымъ студентомъ. Онъ три года былъ на медицинскомъ факультетѣ, потомъ перешелъ на математическій и сидѣлъ здѣсь на каждомъ курсѣ по два года. Отецъ его, провинціальный аптекарь, присылалъ ему по сорока рублей въ мѣсяцъ, и еще мать, тайно отъ отца, по десяти, и этихъ денегъ ему хватало на прожитіе и даже на такую

роскошь, какъ шинель съ польскимъ бобромъ, перчатки, духи и фотографія (онъ часто снимался и раздавалъ свои портреты знакомымъ). Чистенькій, немножко плѣшивый, съ золотистыми бачками около ушей, скромный, онъ всегда имѣлъ видъ человѣка, готоваго служить. Онъ все хлопоталъ по чужимъ дѣламъ: то носился съ подписнымъ листомъ, то съ ранняго утра мерзъ около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы билетъ, то по чьему-нибудь порученію шелъ заказывать вѣнокъ или букетъ. Про него только и говорили: Кишъ сходитъ, Кишъ сдѣлаетъ, Кишъ купитъ. Порученія исполнялъ онъ большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но онъ всегда молчалъ и въ затруднительныхъ случаяхъ только вздыхалъ. Онъ никогда особенно не радовался, не огорчался, разсказывалъ всегда длинно и скучно, и остроты его всякій разъ вызывали смѣхъ потому только, что не были смѣшны. Такъ, однажды, съ намѣреніемъ пошутить, онъ сказалъ Петру: «Петръ, ты не осетръ», и это вызвало общій смѣхъ, и самъ онъ долго смѣялся, довольный, что такъ удачно сострилъ. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то онъ шелъ впереди вмѣстѣ съ факельщиками.

Ярцевъ и Кишъ обыкновенно приходили вечеромъ къ чаю. Если хозяева не уѣзжали въ театръ или на концертъ, то вечерній чай затягивался до ужина. Въ одинъ изъ февральскихъ вечеровъ въ столовой происходилъ такой разговоръ:

— Художественное произведеніе тогда лишь значительно и полезно, когда оно въ своей идеѣ содержитъ какую-нибудь серьезную общественную задачу,—говорилъ Костя, сердито глядя на Ярцева.—Если въ произведеніи протестъ противъ крѣпостного права, или авторъ вооружается противъ высшаго свѣта съ его пошлостями, то такое произведеніе значительно и полезно. Тѣ же романы и повѣсти, гдѣ ахъ да охъ, да она его полюбила, а онъ ее разлюбилъ,—такія произведенія, говорю я, ничтожны и чортъ ихъ побери.

— Я съ вами согласна, Константинъ Иванычъ, — сказала Юлія Сергѣевна.—Одинъ описываетъ любовное свиданіе, другой—измѣну, третій—встрѣчу послѣ разлуки. Неужели нѣтъ другихъ сюжетовъ? Вѣдь, очень много людей, больныхъ, несчастныхъ, замученныхъ нуждой, которымъ, должно-быть, противно все это читать.

Лаптеву было непріятно, что его жена, молодая женщина, которой нѣтъ еще и 22 лѣтъ, такъ серьезно и холодно разсуждаетъ о любви. Онъ догадывался, почему это такъ.

— Если поэзія не рѣшаетъ вопросовъ, которые кажутся вамъ важными,—сказалъ Ярцевъ:—то обратитесь къ сочиненіямъ по техникѣ, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. Къ чему это нужно, чтобы въ *Ромео и Жульетѣ*, вмѣсто любви, шла рѣчь, положимъ, о свободѣ преподаванія или о дезинфекціи тюремъ, если объ этомъ вы найдете въ спеціальныхъ статьяхъ и руководствахъ?

— Дядя, это крайности! — перебилъ Костя. — Мы говоримъ не о такихъ гигантахъ, какъ Шекспиръ или Гёте, мы говоримъ о сотнѣ талантливыхъ и посредственныхъ писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведеніемъ въ массу знаній и гуманныхъ идей.

Кишъ, картавя и немножко въ носъ, сталъ разсказывать содержаніе повѣсти, которую онъ недавно прочелъ. Разсказывалъ онъ обстоятельно, не спѣша; прошло три минуты, потомъ пять, десять, а онъ все продолжалъ, и никто не могъ понять, о чемъ это онъ разсказываетъ, и лицо его становилось все болѣе равнодушнымъ и глаза потускнѣли.

— Кишъ, разсказывайте поскорѣе,—не выдержала Юлія Сергѣевна:—а то вѣдь это мучительно!

— Перестаньте, Кишъ!—крикнулъ на него Костя.

Засмѣялись всѣ, и самъ Кишъ.

Пришелъ Ѳедоръ. Съ красными пятнами на лицѣ, торопясь, онъ поздоровался и увелъ брата въ кабинетъ. Въ послѣднее время онъ избѣгалъ многолюдныхъ собраній и предпочиталъ общество одного человѣка.

— Пускай молодежь тамъ хохочетъ, а мы съ тобой тутъ поговоримъ по душамъ,—сказалъ онъ, садясь въ глубокое кресло, подальше отъ лампы.—Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты въ амбарѣ не былъ? Пожалуй, съ недѣлю.

— Да. Нечего мнѣ у васъ тамъ дѣлать. Да и старикъ надоѣлъ, признаться.

— Конечно, безъ насъ съ тобой могутъ обойтись въ амбарѣ, но надо же имѣть какое-нибудь занятіе. Въ потѣ лица будешь ѣсть свой хлѣбъ, какъ говорится. Богъ труды любитъ.

Петръ принесъ на подносѣ стаканъ чаю. Ѳедоръ выпилъ безъ сахару и еще попросилъ. Онъ пилъ много чаю и въ одинъ вечеръ могъ выпить стакановъ десять.

— Знаешь, что, братъ?—сказалъ онъ, вставая и подходя къ брату. — Не мудрствуя лукаво, баллотируйся-ка ты въ гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведемъ тебя въ члены управы, а потомъ въ товарищи головы. Дальше-больше, человѣкъ ты умный, образованный, тебя замѣтятъ и пригласятъ въ Петербургъ,—земскіе и городскіе дѣятели теперь тамъ въ модѣ, братъ, и, гляди, пятидесяти лѣтъ тебѣ еще не будетъ, а ты ужъ тайный совѣтникъ и лента черезъ плечо.

Лаптевъ ничего не отвѣтилъ; онъ понялъ, что всего этого—и тайнаго совѣтника, и ленты хочется самому Ѳедору, и онъ не зналъ, что отвѣтить.

Братья сидѣли и молчали. Ѳедоръ открылъ свои часы и долго, очень долго глядѣлъ въ нихъ съ напряженнымъ вниманіемъ, какъ будто хотѣлъ подмѣтить движеніе стрѣлки, и выраженіе его лица казалось Лаптеву страннымъ.

Позвали ужинать. Лаптевъ пошелъ въ столовую, а Ѳедоръ остался въ кабинетѣ. Спора уже не было, а Ярцевъ говорилъ тономъ профессора, читающаго лекцію:

— Вслѣдствіе разности климатовъ, энергій, вкусовъ, возрастовъ, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человѣкъ можетъ сдѣлать это неравенство безвреднымъ такъ же, какъ онъ уже сдѣлалъ это съ болотами и медвѣдями. Достигъ же одинъ ученый того, что у него кошка, мышь, кобчикъ и воробей ѣли изъ одной тарелки, и воспитаніе, надо надѣяться, будетъ дѣлать то же самое съ людьми. Жизнь идетъ все впередъ и впередъ, культура дѣлаетъ громадные успѣхи на нашихъ глазахъ, и, очевидно, настанетъ время, когда, напримѣръ, нынѣшнее положеніе фабричныхъ рабочихъ будетъ представляться такимъ же абсурдомъ, какъ намъ теперь крѣпостное право, когда мѣняли дѣвокъ на собакъ.

— Это будетъ не скоро, очень не скоро,—сказалъ Костя и усмѣхнулся:—очень не скоро, когда Ротшильду покажутся абсурдомъ его подвалы съ золотомъ, а до тѣхъ поръ рабочій пусть гнетъ спину и пухнетъ съ голоду. Ну, нѣтъ-съ, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ѣстъ съ

мышью изъ одной тарелки, то вы думаете, она проникнута сознаніемъ? Какъ бы не такъ. Ее заставили силой.

— Я и Ѳедоръ богаты, нашъ отецъ капиталистъ, милліонеръ, съ нами нужно бороться! — проговорилъ Лаптевъ и потеръ ладонью лобъ. — Бороться со мной — какъ это не укладывается въ моемъ сознаніи! Я богатъ, но что мнѣ дали до сихъ поръ деньги, что дала мнѣ эта сила? Чѣмъ я счастливѣе васъ? Дѣтство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня отъ розогъ. Когда Нина болѣла и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любятъ, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратилъ сто милліоновъ.

— Зато вы можете много добра сдѣлать,—сказалъ Кишъ.

— Какое тамъ добро! Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищетъ должности. Вѣрьте, я могу сдѣлать для него такъ же мало, какъ и вы. Я могу дать денегъ, но вѣдь это не то, что онъ хочетъ. Какъ-то у одного извѣстнаго музыканта я просилъ мѣста для бѣдняка-скрипача, а онъ отвѣтилъ такъ: «Вы обратились именно ко мнѣ потому, что вы не музыкантъ». Такъ и я вамъ отвѣчу: вы обращаетесь ко мнѣ за помощью такъ увѣренно потому, что сами ни разу еще не были въ положеніи богатаго человѣка.

— Для чего тутъ сравненіе съ извѣстнымъ музыкантомъ, не понимаю!—проговорила Юлія Сергѣевна и покраснѣла.— Причемъ тутъ извѣстный музыкантъ!

Лицо ея задрожало отъ ненависти, и она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство. И выраженіе ея лица понялъ не одинъ только мужъ, но и всѣ, сидѣвшіе за столомъ.

— Причемъ тутъ извѣстный музыкантъ! — повторила она тихо. — Нѣтъ ничего легче, какъ помочь бѣдному человѣку.

Наступило молчаніе. Петръ подалъ рябчиковъ, но никто не сталъ ѣсть ихъ, и всѣ ѣли одинъ салатъ. Лаптевъ уже не помнилъ, что онъ сказалъ, но для него было ясно, что ненавистны были не слова его, а ужъ одно то, что онъ вмѣшался въ разговоръ.

Послѣ ужина онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ; напряженно, съ біеніемъ сердца, ожидая еще новыхъ униженій, онъ прислушивался къ тому, что происходило въ залѣ. Тамъ опять начался споръ; потомъ Ярцевъ сѣлъ за рояль

и спѣлъ чувствительный романсъ. Это былъ мастеръ на всѣ руки: онъ и пѣлъ, и игралъ, и даже умѣлъ показывать фокусы.

— Какъ вамъ угодно, господа, а я не желаю сидѣть дома,—сказала Юлія.—Надо поѣхать куда-нибудь.

Рѣшили ѣхать за городъ и послали Киша къ купеческому клубу за тройкой. Лаптева не приглашали съ собой, потому что обыкновенно онъ не ѣздилъ за городъ и потому что у него сидѣлъ теперь братъ, но онъ понялъ это такъ, что его общество скучно для нихъ, что онъ въ этой веселой, молодой компаніи совсѣмъ лишній. И его досада, его горькое чувство были такъ сильны, что онъ едва не плакалъ; онъ даже былъ радъ, что съ нимъ поступаютъ такъ не любезно, что имъ пренебрегаютъ, что онъ глупый, скучный мужъ, золотой мѣшокъ, и ему казалось, что онъ былъ бы еще больше радъ, если бы его жена измѣнила ему въ эту ночь съ лучшимъ другомъ и потомъ созналась бы въ этомъ, глядя на него съ ненавистью... Онъ ревновалъ ее къ знакомымъ студентамъ, къ актерамъ, пѣвцамъ, къ Ярцеву, даже къ встрѣчнымъ, и теперь ему страстно хотѣлось, чтобы она въ самомъ дѣлѣ была невѣрна ему, хотѣлось застать ее съ кѣмъ-нибудь, потомъ отравиться, отдѣлаться разъ навсегда отъ этого кошмара. Ѳедоръ пилъ чай и громко глоталъ. Но вотъ и онъ собрался уходить.

— А у нашего старичка, должно-быть, темная вода, — сказалъ онъ, надѣвая шубу. — Совсѣмъ сталъ плохо видѣть.

Лаптевъ тоже надѣлъ шубу и вышелъ. Проводивъ брата до Страстного, онъ взялъ извозчика и поѣхалъ къ Яру.

«И это называется семейнымъ счастьемъ!—смѣялся онъ надъ собой.—Это любовь!»

У него стучали зубы и онъ не зналъ, ревность это, или что другое. У Яра онъ прошелся около столовъ, послушалъ въ залѣ куплетиста; на случай встрѣчи со своими у него не было ни одной готовой фразы, и онъ заранѣе былъ увѣренъ, что при встрѣчѣ съ женой онъ только улыбнется жалко и не умно, и всѣ поймутъ, какое чувство заставило его пріѣхать сюда. Отъ электрическаго свѣта, громкой музыки, запаха пудры и отъ того, что встрѣчныя дамы смотрѣли на него, его мутило. Онъ останавливался

у дверей, старался подсмотрѣть и подслушать, что дѣлается въ отдѣльныхъ кабинетахъ, и ему казалось, что онъ играетъ заодно съ куплетистомъ и этими дамами какую-то низкую, презрѣнную роль. Затѣмъ онъ поѣхалъ въ Стрѣльну, но и тамъ не встрѣтилъ никого изъ своихъ, и только когда, возвращаясь назадъ, опять подъѣзжалъ къ Яру, его съ шумомъ обогнала тройка; пьяный ямщикъ кричалъ и слышно было, какъ хохоталъ Ярцевъ: «га-га-га!»

Вернулся Лаптевъ домой въ четвертомъ часу. Юлія Сергѣевна была уже въ постели. Замѣтивъ, что она не спитъ, онъ подошелъ къ ней и сказалъ рѣзко:

— Я понимаю ваше отвращеніе, вашу ненависть, но вы могли бы пощадить меня при постороннихъ, могли бы скрыть свое чувство.

Она сѣла на постели, спустивъ ноги. При свѣтѣ лампадки глаза у нея казались большими, черными.

— Я прошу извиненія,—проговорила она.

Отъ волненія и дрожи во всемъ тѣлѣ онъ уже не могъ выговорить ни одного слова, а стоялъ передъ ней и молчалъ. Она тоже дрожала и сидѣла съ видомъ преступницы, ожидая объясненія.

— Какъ я страдаю! — сказалъ онъ, наконецъ, и взялъ себя за голову.—Я какъ въ аду, я съ ума сошелъ!

— А мнѣ развѣ легко?—спросила она дрогнувшимъ голосомъ.—Одинъ Богъ знаетъ, каково мнѣ.

— Ты моя жена уже полгода, но въ твоей душѣ ни даже искры любви, нѣтъ никакой надежды, никакого просвѣта! Зачѣмъ ты вышла за меня? — продолжалъ Лаптевъ съ отчаяніемъ. — Зачѣмъ? Какой демонъ толкалъ тебя въ мои объятія? На что ты надѣялась? Чего ты хотѣла?

А она смотрѣла на него съ ужасомъ, точно боясь, что онъ убьетъ ее.

— Я тебѣ нравился? Ты любила меня? — продолжалъ онъ, задыхаясь. — Нѣтъ! Такъ что же? Что? Говори: что? — крикнулъ онъ. — О, проклятыя деньги! Проклятыя деньги!

— Клянусь Богомъ, нѣтъ! — вскрикнула она и перекрестилась; она вся сжалась отъ оскорбленія, и онъ въ первый разъ услышалъ, какъ она плачетъ.—Клянусь Богомъ, нѣтъ!—повторила она.—Я не думала о деньгахъ, онѣ мнѣ не нужны, мнѣ просто казалось, что если я откажу тебѣ,

то поступлю дурно. Я боялась испортить жизнь тебѣ и себѣ. И теперь страдаю за свою ошибку, невыносимо страдаю!

Она горько зарыдала, и онъ понялъ, какъ ей больно, и, не зная, что сказать, онъ опустился передъ ней на коверъ.

— Довольно, довольно, — бормоталъ онъ. — Оскорбилъ я тебя, потому что люблю безумно,—онъ вдругъ поцѣловалъ ее въ ногу и страстно обнялъ.—Хоть искру любви!—бормоталъ онъ. — Ну, солги мнѣ! Солги! Не говори, что это ошибка!..

Но она продолжала плакать, и онъ чувствовалъ, что его ласки она переноситъ только какъ неизбѣжное послѣдствіе своей ошибки. И ногу, которую онъ поцѣловалъ, она поджала подъ себя, какъ птица. Ему стало жаль ея.

Она легла и укрылась съ головой, онъ раздѣлся и тоже легъ. Утромъ оба они чувствовали смущеніе и не знали, о чемъ говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступаетъ на ту ногу, которую онъ поцѣловалъ.

Передъ обѣдомъ пріѣзжалъ прощаться Панауровъ. Юліи неудержимо захотѣлось домой на родину; хорошо бы уѣхать, думала она, и отдохнуть отъ семейной жизни, отъ этого смущенія и постояннаго сознанія, что она поступила дурно. Рѣшено было за обѣдомъ, что она уѣдетъ съ Панауровымъ и погоститъ у отца недѣли двѣ-три, пока не соскучится.

XI.

Она и Панауровъ ѣхали въ отдѣльномъ купэ; на головѣ у него былъ картузъ изъ барашковаго мѣха какой-то странной формы.

— Да, не удовлетворилъ меня Петербургъ, — говорилъ онъ съ разстановкою, вздыхая.—Обѣщаютъ много, но ничего опредѣленнаго. Да, дорогая моя. Былъ я мировымъ судьей, непремѣннымъ членомъ, предсѣдателемъ мирового съѣзда, наконецъ, совѣтникомъ губернскаго правленія; кажется, послужилъ отечеству и имѣю право на вниманіе, но вотъ вамъ: никакъ не могу добиться, чтобы меня перевели въ другой городъ...

Панауровъ закрылъ глаза и покачалъ головой.

— Меня не признаютъ,—продолжалъ онъ, какъ бы за-

сыпая.—Конечно, я не геніальный администраторъ, но зато я порядочный, честный человѣкъ; а по нынѣшнимъ временамъ и это рѣдкость. Каюсь, иногда женщинъ я обманывалъ слегка, но по отношенію къ русскому правительству я всегда былъ джентльменомъ. Но довольно объ этомъ,—сказалъ онъ, открывая глаза:—будемъ говорить о васъ. Что это вамъ вздумалось вдругъ ѣхать къ папашѣ?

— Такъ, съ мужемъ немножко не поладила, — сказала Юлія, глядя на его картузъ.

— Да, какой-то онъ у васъ странный. Всѣ Лаптевы странные. Мужъ вашъ еще ничего, туда-сюда, но братъ его Ѳедоръ совсѣмъ дуракъ.

Панауровъ вздохнулъ и спросилъ серьезно:

— А любовникъ у васъ уже есть?

Юлія посмотрѣла на него съ удивленіемъ и усмѣхнулась.

— Богъ знаетъ, что̀ вы говорите.

На большой станціи, часу въ одиннадцатомъ, оба вышли и поужинали. Когда поѣздъ пошелъ дальше, Панауровъ снялъ пальто и свой картузикъ и сѣлъ радомъ съ Юліей.

— А вы очень милы, надо вамъ сказать,—началъ онъ.—Извините за трактирное сравненіе, вы напоминаете мнѣ свѣже-просоленный огурчикъ; онъ, такъ сказать, еще пахнетъ парникомъ, но уже содержитъ въ себѣ немножко соли и запахъ укропа. Изъ васъ мало-по-малу формируется великолѣпная женщина, чудесная, изящная женщина. Если бъ эта наша поѣздка происходила лѣтъ пять назадъ,—вздохнулъ онъ: — то я почелъ бы пріятнымъ долгомъ поступить въ ряды вашихъ поклонниковъ, но теперь—увы!—я инвалидъ.

Онъ грустно и, въ то же время, милостиво улыбнулся, и обнялъ ее за талію.

— Вы съ ума сошли!—сказала она, покраснѣла и испугалась такъ, что у нея похолодѣли руки и ноги.—Оставьте, Григорій Николаичъ!

— Что же вы боитесь, милая?—спросилъ онъ мягко.—Что тутъ ужаснаго? Вы просто не привыкли.

Если женщина протестовала, то для него это только значило, что онъ произвелъ впечатлѣніе и нравится. Держа Юлію за талію, онъ крѣпко поцѣловалъ ее въ щеку, потомъ въ губы, въ полной увѣренности, что доставляетъ ей большое удовольствіе. Юлія оправилась отъ страха и сму-

щенія, и стала смѣяться. Онъ поцѣловалъ ее еще разъ и сказалъ, надѣвая свой смѣшной картузъ:

— Вотъ и все, что можетъ дать вамъ инвалидъ. Одинъ турецкій паша, добрый старичокъ, получилъ отъ кого-то въ подарокъ, или, кажется, въ наслѣдство цѣлый гаремъ. Когда его молодыя, красивыя жены выстроились передъ нимъ въ шеренгу, онъ обошелъ ихъ, поцѣловалъ каждую и сказалъ: «Вотъ и все, что я теперь въ состояніи дать вамъ». То же самое говорю и я.

Все это казалось ей глупымъ, необыкновеннымъ и веселило ее. Хотѣлось шалить. Ставши на диванъ и напѣвая, она достала съ полки коробку съ конфетами и крикнула, бросивъ кусочекъ шоколода:

— Ловите!

Онъ поймалъ; она бросила ему другую конфетку съ громкимъ смѣхомъ, потомъ третью, а онъ все ловилъ и клалъ себѣ въ ротъ, глядя на нее умоляющими глазами, и ей казалось, что въ его лицѣ, въ чертахъ и въ выраженіи много женскаго и дѣтскаго. И когда она, запыхавшись, сѣла на диванъ и продолжала смотрѣть на него со смѣхомъ, онъ двумя пальцами дотронулся до ея щеки и проговорилъ какъ бы съ досадой:

— Подлая дѣвчонка!

— Возьмите,—сказала она, подавая ему коробку.—Я не люблю сладкаго.

Онъ съѣлъ конфеты, всѣ до одной, и пустую коробку заперъ къ себѣ въ чемоданъ; онъ любилъ коробки съ картинками.

— Однако, довольно шалить,—сказалъ онъ. — Инвалиду пора бай-бай.

Онъ досталъ изъ портъ-плэда свой бухарскій халатъ и подушку, легъ и укрылся халатомъ.

— Спокойной ночи, голубка! — тихо проговорилъ онъ и вздохнулъ такъ, какъ будто у него болѣло все тѣло.

И скоро послышался храпъ. Не чувствуя никакого стѣсненія, она тоже легла и скоро уснула.

Когда на другой день утромъ она въ своемъ родномъ городѣ ѣхала съ вокзала домой, то улицы казались ей пустынными, безлюдными, снѣгъ сѣрымъ, а дома маленькими, точно кто приплюснулъ ихъ. Встрѣтилась ей процессія: несли покойника въ открытомъ гробѣ, съ хоругвями.

«Покойника встрѣтить, говорятъ, къ счастью», — подумала она.

На окнахъ того дома, въ которомъ жила когда-то Нина Ѳедоровна, теперь были приклеены бѣлые билетики.

Съ замираніемъ сердца она въѣхала въ свой дворъ и позвонила у двери. Ей отворила незнакомая горничная, полная, заспанная, въ теплой ватной кофтѣ. Идя по лѣстницѣ, Юлія вспомнила, какъ здѣсь объяснялся ей въ любви Лаптевъ, но теперь лѣстница была немытая, вся въ слѣдахъ. Наверху, въ холодномъ коридорѣ, ожидали больные въ шубахъ. И почему-то сердце у нея сильно билось и она едва шла отъ волненія.

Докторъ, еще больше пополнѣвшій, красный, какъ кирпичъ, и съ взъерошенными волосами, пилъ чай. Увидѣвъ дочь, онъ очень обрадовался и даже прослезился; она подумала, что въ жизни этого старика она — единственная радость, и, растроганная, крѣпко обняла его и сказала, что будетъ жить у него долго, до Пасхи. Переодѣвшись у себя въ комнатѣ, она пришла въ столовую, чтобы вмѣстѣ пить чай, онъ ходилъ изъ угла въ уголъ, засунувъ руки въ карманы, и пѣлъ: «ру-ру-ру»,—значитъ, былъ чѣмъ-то недоволенъ.

— Тебѣ въ Москвѣ живется очень весело, — сказалъ онъ. — Я за тебя очень радъ... Мнѣ же, старику, ничего не нужно. Я скоро издохну и освобожу васъ всѣхъ. И надо удивляться, что у меня такая крѣпкая шкура, что я еще живъ! Изумительно!

Онъ сказалъ, что онъ старый, двужильный оселъ, на которомъ ѣздятъ всѣ. На него взвалили лѣченіе Нины Ѳедоровны, заботы объ ея дѣтяхъ, ея похороны; а этотъ хлыщъ Панауровъ ничего знать не хотѣлъ и даже взялъ у него сто рублей взаймы и до сихъ поръ не отдаетъ.

— Возьми меня въ Москву и посади тамъ въ сумасшедшій домъ!—сказалъ докторъ.—Я сумасшедшій, я наивный ребенокъ, такъ какъ все еще вѣрю въ правду и справедливость!

Затѣмъ онъ упрекалъ ея мужа въ недальновидности: не покупаетъ домовъ, которые продаются такъ выгодно. И теперь уже Юліи казалось, что въ жизни этого старика она—не единственная радость. Когда онъ принималъ больныхъ и потомъ уѣхалъ на практику, она ходила по всѣмъ

комнатамъ, не зная, что дѣлать и о чемъ думать. Она уже отвыкла отъ родного города и родного дома; ее не тянуло теперь ни на улицу, ни къ знакомымъ, и при воспоминаніи о прежнихъ подругахъ и о дѣвичьей жизни не становилось грустно и не было жаль прошлаго.

Вечеромъ она одѣлась понаряднѣе и пошла ко всенощной. Но въ церкви были только простые люди и ея великолѣпная шуба и шляпка не произвели никакого впечатлѣнія. И казалось ей, будто произошла какая-то перемѣна и въ церкви, и въ ней самой. Прежде она любила, когда во всенощной читали канонъ и пѣвчіе пѣли ирмосы, напримѣръ, «Отверзу уста моя», любила медленно подвигаться въ толпѣ къ священнику, стоящему среди церкви, и потомъ ощущать на своемъ лбу святой елей, теперь же она ждала только, когда кончится служба. И, выходя изъ церкви, она уже боялась, чтобы у нея не попросили нищіе; было бы скучно останавливаться и искать карманы, да и въ карманахъ у нея уже не было мѣдныхъ денегъ, а были только рубли.

Легла она въ постель рано, а уснула поздно. Снились ей все какіе-то портреты и похоронная процессія, которую она видѣла утромъ; открытый гробъ съ мертвецомъ внесли во дворъ и остановились у двери, потомъ долго раскачивали гробъ на полотенцахъ и со всего размаха ударили имъ въ дверь. Юлія проснулась и вскочила въ ужасѣ. Въ самомъ дѣлѣ, внизу стучали въ дверь и проволока отъ звонка шуршала по стѣнѣ, но звонка не было слышно.

Закашлялъ докторъ. Вотъ, слышно, горничная сошла внизъ, потомъ вернулась.

— Барыня!—сказала она и постучала въ дверь. — Барыня!

— Что такое?—спросила Юлія.

— Вамъ телеграмма!

Юлія со свѣчой вышла къ ней. Позади горничной стоялъ докторъ, въ нижнемъ бѣльѣ и пальто, и тоже со свѣчой.

— Звонокъ у насъ испортился, — говорилъ онъ, зѣвая спросонокъ.—Давно бы починить надо.

Юлія распечатала телеграмму и прочла: «Пьемъ ваше здоровье. Ярцевъ, Кочевой».

— Ахъ, какіе дураки! — сказала она и захохотала; на душѣ у нея стало легко и весело.

Вернувшись къ себѣ въ комнату, она тихо умылась, одѣлась, потомъ долго укладывала свои вещи, пока не разсвѣло, а въ полдень уѣхала въ Москву.

XII.

На святой недѣлѣ Лаптевы были въ училищѣ живописи на картинной выставкѣ. Отправились они туда всѣмъ домомъ, по-московски, взявши съ собой обѣихъ дѣвочекъ, гувернантку и Костю.

Лаптевъ зналъ фамиліи всѣхъ извѣстныхъ художниковъ и не пропускалъ ни одной выставки. Иногда лѣтомъ на дачѣ онъ самъ писалъ красками пейзажи и ему казалось, что у него много вкуса и что если бъ онъ учился, то изъ него, пожалуй, вышелъ бы хорошій художникъ. За границей онъ заходилъ иногда къ антикваріямъ и съ видомъ знатока осматривалъ древности и высказывалъ свое мнѣніе, покупалъ какую-нибудь вещь, антикварій бралъ съ него, сколько хотѣлъ, и купленная вещь лежала потомъ, забитая въ ящикъ, въ каретномъ сараѣ, пока не исчезала неизвѣстно куда. Или, зайдя въ эстампный магазинъ, онъ долго и внимательно осматривалъ картины, бронзу, дѣлалъ разныя замѣчанія и вдругъ покупалъ какую-нибудь лубочную рамочку или коробку дрянной бумаги. Дома у него были картины все большихъ размѣровъ, но плохія; хорошія же были дурно повѣшены. Случалось ему не разъ платить дорого за вещи, которыя потомъ оказывались грубою поддѣлкой. И замѣчательно, что робкій вообще въ жизни, онъ былъ чрезвычайно смѣлъ и самоувѣренъ на картинныхъ выставкахъ. Отчего?

Юлія Сергѣевна смотрѣла на картины, какъ мужъ, въ кулакъ или бинокль и удивлялась, что люди на картинахъ, какъ живые, а деревья, какъ настоящія; но она не понимала, ей казалось, что на выставкѣ много картинъ одинаковыхъ и что вся цѣль искусства именно въ томъ, чтобы на картинахъ, когда смотришь на нихъ въ кулакъ, люди и предметы выдѣлялись, какъ настоящіе.

— Это лѣсъ Шишкина, — объяснялъ ей мужъ. — Всегда онъ пишетъ одно и то же... А вотъ обрати вниманіе: такого лиловаго снѣга никогда не бываетъ... А у этого мальчика лѣвая рука короче правой.

Когда всѣ утомились, и Лаптевъ пошелъ отыскивать

Костю, чтобы ѣхать домой, Юлія остановилась передъ небольшимъ пейзажемъ и смотрѣла на него равнодушно. На переднемъ планѣ рѣчка, черезъ нее бревенчатый мостикъ, на томъ берегу тропинка, исчезающая въ темной травѣ, поле, потомъ справа кусочекъ лѣса, около него костеръ: должно-быть, ночное стерегутъ. А вдали догораетъ вечерняя заря.

Юлія вообразила, какъ она сама идетъ по мостику, потомъ тропинкой, все дальше и дальше, а кругомъ тихо, кричатъ сонные дергачи, вдали мигаетъ огонь. И почему-то вдругъ ей стало казаться, что эти самыя облачка, которыя протянулись по красной части неба, и лѣсъ, и поле, она видѣла уже давно и много разъ, она почувствовала себя одинокой и захотѣлось ей идти, идти и идти по тропинкѣ; и тамъ, гдѣ была вечерняя заря, покоилось отраженіе чего-то неземного, вѣчнаго.

— Какъ это хорошо написано! — проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдругъ понятна.—Посмотри, Алеша! Замѣчаешь, какъ тутъ тихо?

Она старалась объяснить, почему такъ нравится ей этотъ пейзажъ, но ни мужъ, ни Костя не понимали ея. Она все смотрѣла на пейзажъ съ грустною улыбкой, и то, что другіе не находили въ немъ ничего особеннаго, волновало ее; потомъ она начала снова ходить по заламъ и осматривать картины, хотѣла понять ихъ, и уже ей не казалось, что на выставкѣ много одинаковыхъ картинъ. Когда она, вернувшись домой, въ первый разъ за все время обратила вниманіе на большую картину, висѣвшую въ залѣ надъ роялемъ, то почувствовала къ ней вражду и сказала:

— Охота же имѣть такія картины!

И послѣ того, золотые карнизы, венеціанскія зеркала съ цвѣтами и картины въ родѣ той, что висѣла надъ роялемъ, а также разсужденія мужа и Кости объ искусствѣ уже возбуждали въ ней чувство скуки и досады, и порой даже ненависти.

Жизнь текла обыкновенно, изо дня въ день, не обѣщая ничего особеннаго. Театральный сезонъ уже кончился, наступало теплое время. Погода все время стояла превосходная. Какъ-то утромъ Лаптевы собрались въ окружной судъ послушать Костю, который защищалъ кого-то по назначенію суда. Они замѣшкались дома и пріѣхали въ судъ, когда

уже начался допросъ свидѣтелей. Обвинялся запасный рядовой въ кражѣ со взломомъ. Было много свидѣтельницъ-прачекъ; онѣ показывали, что подсудимый часто бывалъ у хозяйки, содержательницы прачечной; подъ Воздвиженье онъ пришелъ поздно вечеромъ и сталъ просить денегъ, чтобы опохмелиться, но никто ему не далъ; тогда онъ ушелъ, но черезъ часъ вернулся и принесъ съ собой пива и мятныхъ пряниковъ для дѣвушекъ. Пили и пѣли пѣсни почти до разсвѣта, а когда утромъ хватились, то замокъ у входа на чердакъ былъ сломанъ и изъ бѣлья пропало: три мужскихъ сорочки, юбка и двѣ простыни. Костя у каждой свидѣтельницы спрашивалъ насмѣшливо: не пила ли она подъ Воздвиженье того пива, которое принесъ подсудимый? Очевидно, онъ гнулъ къ тому, что прачки сами себя обокрали. Говорилъ онъ свою рѣчь безъ малѣйшаго волненія, сердито глядя на присяжныхъ.

Онъ объяснялъ, что̀ такое кража со взломомъ и простая кража. Говорилъ очень подробно, убѣдительно, обнаруживая необыкновенную способность говорить долго и серьезнымъ тономъ о томъ, что давно уже всѣмъ извѣстно. И трудно было понять, чего собственно онъ хочетъ? Изъ его длинной рѣчи присяжный засѣдатель могъ сдѣлать только такой выводъ: «взломъ былъ, но кражи не было, такъ какъ бѣлье пропили сами прачки, а если кража была, то безъ взлома». Но, очевидно, онъ говорилъ именно то, что нужно, такъ какъ рѣчь его растрогала присяжныхъ и публику и очень понравилась. Когда вынесли оправдательный приговоръ, Юлія закивала головой Костѣ и потомъ крѣпко пожала ему руку.

Въ маѣ Лаптевы переѣхали на дачу въ Сокольники. Въ это время Юлія была уже беременна.

XIII.

Прошло больше года. Въ Сокольникахъ, не далеко отъ полотна Ярославской дороги, сидѣли на травѣ Юлія и Ярцевъ; немного въ сторонѣ лежалъ Кочевой, подложивъ руки подъ голову, и смотрѣлъ на небо. Всѣ трое уже нагулялись и ждали, когда пройдетъ дачный шестичасовой поѣздъ, чтобъ идти домой пить чай.

— Матери видятъ въ своихъ дѣтяхъ что-то необыкновенное, такъ ужъ природа устроила, — говорила Юлія. —

Цѣлые часы мать стоитъ у постельки, смотритъ, какіе у ребенка ушки, глазки, носикъ, восхищается. Если кто посторонній цѣлуетъ ея ребенка, то ей, бѣдной, кажется, что это доставляетъ ему большое удовольствіе. И ни о чемъ мать не говоритъ, только о ребенкѣ. Я знаю эту слабость матерей и слѣжу за собой, но, право, моя Оля необыкновенная. Какъ она смотритъ, когда сосетъ! Какъ смѣется! Ей только восемь мѣсяцевъ, но, ей-Богу, такихъ умныхъ глазъ я не видала даже у трехлѣтнихъ.

— Скажите, между прочимъ, — спросилъ Ярцевъ: — кого вы любите больше: мужа, или ребенка?

Юлія пожала плечами.

— Не знаю, — сказала она. — Я никогда сильно не любила мужа, и Оля—это, въ сущности, моя первая любовь. Вы знаете, я вѣдь не по любви шла за Алексѣя. Прежде я была глупа, страдала, все думала, что погубила и его, и свою жизнь, а теперь вижу, никакой любви не нужно, все вздоръ.

— Но если не любовь, то какое же чувство привязываетъ васъ къ мужу? Отчего вы живете съ нимъ?

— Не знаю... Такъ, привычка, должно-быть. Я его уважаю, мнѣ скучно, когда его долго нѣтъ, но это — не любовь. Онъ умный, честный человѣкъ, и для моего счастья этого достаточно. Онъ очень добрый, простой...

— Алеша умный, Алеша добрый, — проговорилъ Костя, лѣниво поднимая голову: — но, милая моя, чтобы узнать, что онъ умный, добрый и интересный, нужно съ нимъ три пуда соли съѣсть... И какой толкъ въ его добротѣ, или въ его умѣ? Денегъ онъ вамъ отвалитъ сколько угодно, это онъ можетъ, но гдѣ нужно употребить характеръ, дать отпоръ наглецу и нахалу, тамъ онъ конфузится и падаетъ духомъ. Такіе люди, какъ вашъ любезный Алексисъ, прекрасные люди, но для борьбы они совершенно не годны. Да и вообще ни на что не годны.

Наконецъ, показался поѣздъ. Изъ трубы валилъ и поднимался надъ рощей совершенно розовый паръ и два окна въ послѣднемъ вагонѣ вдругъ блеснули отъ солнца такъ ярко, что было больно смотрѣть.

— Чай пить!—сказала Юлія Сергѣевна, поднимаясь.

Она въ послѣднее время пополнѣла и походка у нея была уже дамская, немножко лѣнивая.

— А все-таки безъ любви не хорошо,—сказалъ Ярцевъ, идя за ней.—Мы все только говоримъ и читаемъ о любви, но сами мало любимъ, а это, право, не хорошо.

— Все это пустяки, Иванъ Гаврилычъ,—сказала Юлія.— Не въ этомъ счастье.

Чай пили въ садикѣ, гдѣ цвѣли резеда, левкои, табакъ и уже распускались ранніе шпажники. Ярцевъ и Кочевой по лицу Юліи Сергѣевны видѣли, что она переживаетъ счастливое время душевнаго спокойствія и равновѣсія, что ей ничего не нужно, кромѣ того, что уже есть, и у нихъ самихъ становилось на душѣ покойно, славно. Кто бы что ни сказалъ, все выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, пахло смолой чудесно, какъ никогда раньше, и сливки были очень вкусны, и Саша была умная, хорошая дѣвочка...

Послѣ чаю Ярцевъ пѣлъ романсы, аккомпанируя себѣ на роялѣ, а Юлія и Кочевой сидѣли молча и слушали, и только Юлія изрѣдка вставала и тихо выходила, чтобы взглянуть на ребенка и на Лиду, которая вотъ уже два дня лежала вся въ жару и ничего не ѣла.

— «Мой другъ, мой нѣжный другъ»,—пѣлъ Ярцевъ:— Нѣтъ, господа, хоть зарѣжьте,—сказалъ онъ и встряхнулъ головой:—не понимаю, почему вы противъ любви! Если бъ я не былъ занятъ пятнадцать часовъ въ сутки, то непремѣнно бы влюбился.

Ужинать накрыли на террасѣ; было тепло и тихо, но Юлія куталась въ платокъ и жаловалась на сырость. Когда потемнѣло, ей почему-то стало не по себѣ, она все вздрагивала и упрашивала гостей посидѣть подольше; она угощала ихъ виномъ и послѣ ужина приказала подать коньяку, чтобы они не уходили. Ей не хотѣлось оставаться одной съ дѣтьми и прислугой.

— Мы, дачницы, затѣваемъ здѣсь спектакль для дѣтей,— сказала она.—Уже все есть у насъ—и театръ, и актеры, остановка только за пьесой. Прислали намъ десятка два разныхъ пьесъ, но ни одна не годится. Вотъ вы любите театръ и хорошо знаете исторію,—обратилась она къ Ярцеву:—напишите-ка намъ историческую пьесу.

— Что жъ, это можно.

Гости выпили весь коньякъ и собрались уходить. Былъ уже одиннадцатый часъ, а по-дачному это поздно.

— Какъ темно, зги не видать!—говорила Юлія, провожая ихъ за ворота. — И не знаю, какъ вы, господа, дойдете. Но, однако, холодно!

Она окуталась плотнѣе и пошла назадъ къ крыльцу.

— А мой Алексѣй, должно-быть, гдѣ-нибудь въ карты играетъ!—крикнула она.—Спокойной ночи!

Послѣ свѣтлыхъ комнатъ не было ничего видно. Ярцевъ и Костя ощупью, какъ слѣпые, добрались до полотна желѣзной дороги и перешли его.

— Ни черта не видать, — сказалъ Костя басомъ, останавливаясь, и поглядѣлъ на небо. — А звѣзды-то, звѣзды, точно новенькіе пятиалтынные! Гаврилычъ!

— А?—отозвался гдѣ-то Ярцевъ.

— Я говорю: не видать ничего. Гдѣ вы?

Ярцевъ, посвистывая, подошелъ къ нему и взялъ его подъ руку.

— Эй, дачники!—вдругъ закричалъ Костя во все горло.— Соціалиста поймали!

Навеселѣ онъ всегда былъ очень безпокоенъ, кричалъ, придирался къ городовымъ и извозчикамъ, пѣлъ, неистово хохоталъ.

— Природа, чортъ бы тебя подралъ!—закричалъ онъ.

— Ну, ну, — унималъ его Ярцевъ. — Не надо этого. Прошу васъ.

Скоро пріятели освоились съ потемками и стали различать силуэты высокихъ сосенъ и телеграфныхъ столбовъ. Съ московскихъ вокзаловъ доносились изрѣдка свистки и жалобно гудѣли проволоки. Самая же роща не издавала ни звука, и въ этомъ молчаніи чувствовалось что-то гордое, сильное, таинственное, и теперь ночью казалось, что верхушки сосенъ почти касаются неба. Пріятели отыскали свою просѣку и пошли по ней. Было тутъ совсѣмъ темно, и только по длинной полосѣ неба, усѣянной звѣздами, да потому, что подъ ногами была утоптанная земля, они знали, что идутъ по аллеѣ. Шли рядомъ молча и обоимъ чудилось, будто навстрѣчу имъ идутъ какіе-то люди. Хмельное настроеніе покинуло ихъ. Ярцеву пришло въ голову, что, быть-можетъ, въ этой рощѣ носятся теперь души московскихъ царей, бояръ и патріарховъ, и хотѣлъ сказать это Костѣ, но удержался.

Когда вышли къ заставѣ, на небѣ чуть брезжило. Про-

должая молчать, Ярцевъ и Кочевой шли по мостовой мимо дешевыхъ дачъ, трактировъ, лѣсныхъ складовъ; подъ мостомъ соединительной вѣтви ихъ прохватила сырость, пріятная, съ запахомъ липы, и потомъ открылась широкая длинная улица и на ней ни души, ни огня... Когда дошли до Краснаго пруда, уже свѣтало.

— Москва — это городъ, которому придется еще много страдать, — сказалъ Ярцевъ, глядя на Алексѣевскій монастырь.

— Что это вамъ пришло въ голову?

— Такъ. Люблю я Москву.

И Ярцевъ, и Костя родились въ Москвѣ и обожали ее, и относились почему-то враждебно къ другимъ городамъ; они были убѣждены, что Москва — замѣчательный городъ, а Россія — замѣчательная страна. Въ Крыму, на Кавказѣ и за границей имъ было скучно, неуютно, неудобно, и свою сѣренькую московскую погоду они находили самой пріятной и здоровой. Дни, когда въ окна стучитъ холодный дождь и рано наступаютъ сумерки, и стѣны домовъ и церквей принимаютъ бурый, печальный цвѣтъ, и когда, выходя на улицу, не знаешь, что надѣть, — такіе дни пріятно возбуждали ихъ.

Наконецъ, около вокзала они наняли извозчика.

— Въ самомъ дѣлѣ, хорошо бы написать историческую пьесу, — сказалъ Ярцевъ: — но, знаете, безъ Ляпуновыхъ и безъ Годуновыхъ, а изъ временъ Ярослава или Мономаха... Я ненавижу русскія историческія пьесы всѣ, кромѣ монолога Пимена. Когда имѣешь дѣло съ какимъ-нибудь историческимъ источникомъ и когда читаешь даже учебникъ русской исторіи, то кажется, что въ Россіи все необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю въ театрѣ историческую пьесу, то русская жизнь начинаетъ казаться мнѣ бездарной, нездоровой, не оригинальной.

Около Дмитровки пріятели разстались и Ярцевъ поѣхалъ дальше къ себѣ на Никитскую. Онъ дремалъ, покачивался и все думалъ о пьесѣ. Вдругъ онъ вообразилъ страшный шумъ, лязганье, крики на какомъ-то непонятномъ, точно бы калмыцкомъ языкѣ; и какая-то деревня, вся охваченная пламенемъ, и сосѣдніе лѣса, покрытые инеемъ и нѣжно-розовые отъ пожара, видны далеко кругомъ и такъ ясно, что

можно различить каждую елочку; какіе-то дикіе люди, конные и пѣшіе, носятся по деревнѣ, ихъ лошади и они сами такъ же багровы, какъ зарево на небѣ.

«Это половцы»,—думаетъ Ярцевъ.

Одинъ изъ нихъ—старый, страшный, съ окровавленнымъ лицомъ, весь обожженый—привязываетъ къ сѣдлу молодую дѣвушку съ бѣлымъ русскимъ лицомъ. Старикъ о чемъ-то неистово кричитъ, а дѣвушка смотритъ печально, умно... Ярцевъ встряхнулъ головой и проснулся.

— «Мой другъ, мой нѣжный другъ»...—запѣлъ онъ.

Расплачиваясь съ извозчикомъ и потомъ поднимаясь къ себѣ по лѣстницѣ, онъ все никакъ не могъ очнуться, и видѣлъ, какъ пламя перешло на деревья, затрещалъ и задымилъ лѣсъ; громадный дикій кабанъ, обезумѣвшій отъ ужаса, несся по деревнѣ... А дѣвушка, привязанная къ сѣдлу, все смотрѣла.

Когда онъ вошелъ къ себѣ въ комнату, то было уже свѣтло. На роялѣ около раскрытыхъ нотъ догорали двѣ свѣчи. На диванѣ лежала Разсудина въ черномъ платьѣ, въ кушакѣ, съ газетой въ рукахъ и крѣпко спала. Должно-быть, играла долго, ожидая, когда вернется Ярцевъ, и, не дождавшись, уснула.

«Эка, умаялась!»—подумалъ онъ.

Осторожно вынувъ у нея изъ рукъ газету, онъ укрылъ ее плэдомъ, потушилъ свѣчи и пошелъ къ себѣ въ спальню. Ложась, онъ думалъ объ исторической пьесѣ и изъ головы у него все не выходилъ мотивъ: «Мой другъ, мой нѣжный другъ»...

Черезъ два дня заѣзжалъ къ нему на минутку Лаптевъ сказать, что Лида заболѣла дифтеритомъ и что отъ нея заразились Юлія Сергѣевна и ребенокъ, а еще черезъ пять дней пришло извѣстіе, что Лида и Юлія выздоравливаютъ, а ребенокъ умеръ, и что Лаптевы бѣжали изъ своей сокольницкой дачи въ городъ.

XIV.

Лаптеву было уже непріятно оставаться подолгу дома. Жена его часто уходила во флигель, говоря, что ей нужно заняться съ дѣвочками, но онъ зналъ, что она ходитъ туда не заниматься, а плакать у Кости. Былъ девятый день, потомъ двадцатый, потомъ сороковой, и все нужно

было ѣздить на Алексѣевское кладбище слушать панихиду и потомъ томиться цѣлыя сутки, думать только объ этомъ несчастномъ ребенкѣ и говорить женѣ въ утѣшеніе разныя пошлости. Онъ уже рѣдко бывалъ въ амбарѣ и занимался только благотворительностью, придумывая для себя разныя заботы и хлопоты, и бывалъ радъ, когда случалось изъ-за какого-нибудь пустяка проѣздить цѣлый день. Въ послѣднее время онъ собирался ѣхать за границу, чтобы познакомиться тамъ съ устройствомъ ночлежныхъ пріютовъ, и эта мысль теперь развлекала его.

Былъ осенній день. Юлія только-что пошла во флигель плакать, а Лаптевъ лежалъ въ кабинетѣ на диванѣ и придумывалъ, куда бы уйти. Какъ разъ въ это время Петръ доложилъ, что пришла Разсудина. Лаптевъ обрадовался очень, вскочилъ и пошелъ навстрѣчу нежданной гостьѣ, своей бывшей подругѣ, о которой онъ уже почти сталъ забывать. Съ того вечера, какъ онъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ, она нисколько не измѣнилась и была все такая же.

— Полина!—сказалъ онъ, протягивая къ ней обѣ руки.— Сколько зимъ, сколько лѣтъ! Если бы вы знали, какъ я радъ васъ видѣть! Милости просимъ!

Разсудина, здороваясь, рванула его за руку и, не снимая пальто и шляпы, вошла въ кабинетъ и сѣла.

— Я къ вамъ на одну минуту,—сказала она.—О пустякахъ мнѣ разговаривать некогда. Извольте сѣсть и слушать. Рады вы меня видѣть или не рады, для меня рѣшительно все равно, такъ какъ милостивое вниманіе ко мнѣ господъ мужчинъ я не ставлю ни въ грошъ. Если же я пришла къ вамъ, то потому, что была сегодня уже въ пяти мѣстахъ и вездѣ получила отказъ, между тѣмъ дѣло неотложное. Слушайте,—продолжала она, глядя ему въ глаза:—пять знакомыхъ студентовъ, люди ограниченные и безтолковые, но несомнѣнно бѣдные, не внесли платы и ихъ теперь исключаютъ. Ваше богатство налагаетъ на васъ обязанность поѣхать сейчасъ же въ университетъ и заплатить за нихъ.

— Съ удовольствіемъ, Полина.

— Вотъ вамъ ихъ фамиліи,—сказала Разсудина, подавая Лаптеву записку.—Поѣзжайте сію же минуту, а наслаждаться семейнымъ счастьемъ успѣете послѣ.

Въ это время за дверью, ведущею въ гостиную, послы-

шался какой-то шорохъ: должно-быть, чесалась собака. Разсудина покраснѣла и вскочила.

— Ваша дульцинея насъ подслушиваетъ!—сказала она.— Это гадко!

Лаптеву стало обидно за Юлію.

— Ея здѣсь нѣтъ, она во флигелѣ,—сказалъ онъ.—И не говорите о ней такъ. У насъ умеръ ребенокъ, и она теперь въ ужасномъ горѣ.

— Можете успокоить ее,—усмѣхнулась Разсудина, опять садясь:—будетъ еще цѣлый десятокъ. Чтобы рожать дѣтей, кому ума не доставало?

Лаптевъ вспомнилъ, что это самое или нѣчто подобное онъ слышалъ уже много разъ когда-то давно, и на него пахнуло поэзіей минувшаго, свободой одинокой, холостой жизни, когда ему казалось, что онъ молодъ и можетъ все, что хочетъ, и когда не было любви къ женѣ и воспоминаній о ребенкѣ.

— Поѣдемте вмѣстѣ,—сказалъ онъ, потягиваясь.

Когда пріѣхали въ университетъ, Разсудина осталась ждать у воротъ, а Лаптевъ пошелъ въ канцелярію; немного погодя онъ вернулся и вручилъ Разсудиной пять квитанцій.

— Вы теперь куда?—спросилъ онъ.

— Къ Ярцеву.

— И я съ вами.

— Но вѣдь вы будете мѣшать ему работать.

— Нѣтъ, увѣряю васъ!—сказалъ онъ и посмотрѣлъ на нее умоляюще.

На ней была черная, точно траурная шляпка съ креповою отдѣлкой и очень короткое поношенное пальто, въ которомъ оттопырились карманы. Носъ у нея казался длиннѣе, чѣмъ былъ раньше, и на лицѣ не было ни кровинки, несмотря на холодъ. Лаптеву было пріятно идти за ней, повиноваться ей и слушать ея ворчаніе. Онъ шелъ и думалъ про нее: какова, должно-быть, внутренняя сила у этой женщины, если, будучи такою некрасивой, угловатой, безпокойной, не умѣя одѣться порядочно, всегда неряшливо причесанная и всегда какая-то нескладная, она все-таки обаятельна.

Къ Ярцеву прошли они чернымъ ходомъ, черезъ кухню, гдѣ встрѣтила ихъ кухарка, чистенькая старушка съ сѣдыми кудрями; она очень сконфузилась, сладко улыбнулась,

причемъ ея маленькое лицо стало похоже на пирожное, и сказала:

— Пожалуйте-съ.

Ярцева дома не было, Разсудина сѣла за рояль и принялась за скучные, трудные экзерцисы, приказавъ Лаптеву не мѣшать ей. И онъ не развлекалъ ее разговорами, а сидѣлъ въ сторонѣ и перелистывалъ «Вѣстникъ Европы». Проигравъ два часа,—это была ея дневная порція, — она поѣла чего-то въ кухнѣ и ушла на уроки. Лаптевъ прочелъ продолженіе какого-то романа, потомъ долго сидѣлъ, не читая и не испытывая скуки и довольный, что уже опоздалъ домой къ обѣду.

— Га-га-га!—послышался смѣхъ Ярцева, и вошелъ онъ самъ, здоровый, бодрый, краснощекій, въ новенькомъ фракѣ со свѣтлыми пуговицами,—га-га-га!

Пріятели пообѣдали вмѣстѣ. Потомъ Лаптевъ легъ на диванъ, а Ярцевъ сѣлъ около и закурилъ сигару. Наступили сумерки.

— Я, должно-быть, начинаю старѣть, — сказалъ Лаптевъ.—Съ тѣхъ поръ, какъ умерла сестра Нина, я почему-то сталъ часто подумывать о смерти.

Заговорили о смерти, о безсмертіи души, о томъ, что хорошо бы въ самомъ дѣлѣ воскреснуть и потомъ полетѣть куда-нибудь на Марсъ, быть вѣчно празднымъ и счастливымъ, а, главное, мыслить какъ-нибудь особенно, не поземному.

— А не хочется умирать,—тихо сказалъ Ярцевъ.—Никакая философія не можетъ помирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто какъ на погибель. Жить хочется.

— Вы любите жизнь, Гаврилычъ?

— Да, люблю,

— А вотъ я никакъ не могу понять себя въ этомъ отношеніи. У меня то мрачное настроеніе, то безразличное. Я робокъ, не увѣренъ въ себѣ, у меня трусливая совѣсть, я никакъ не могу приспособиться къ жизни, стать ея господиномъ. Иной говоритъ глупости или плутуетъ, и такъ жизнерадостно, я же, случается, сознательно дѣлаю добро и испытываю при этомъ только безпокойство или полнѣйшее равнодушіе. Все это, Гаврилычъ, объясняю я тѣмъ, что я рабъ, внукъ крѣпостного. Прежде чѣмъ мы, чумазые, вы-

бьемся на настоящую дорогу, много нашего брата ляжетъ костьми!

— Все это хорошо, голубчикъ,—сказалъ Ярцевъ и вздохнулъ.—Это только показываетъ лишній разъ, какъ богата, разнообразная русская жизнь. Ахъ, какъ богата! Знаете, я съ каждымъ днемъ все болѣе убѣждаюсь, что мы живемъ наканунѣ величайшаго торжества, и мнѣ хотѣлось бы дожить, самому участвовать. Хотите вѣрьте, хотите нѣтъ, но, по-моему, подрастаетъ теперь замѣчательное поколѣніе. Когда я занимаюсь съ дѣтьми, особенно съ дѣвочками, то испытываю наслажденіе. Чудесныя дѣти!

Ярцевъ подошелъ къ роялю и взялъ аккордъ.

— Я химикъ, мыслю химически и умру химикомъ,— продолжалъ онъ.—Но я жаденъ, я боюсь, что умру не насытившись; и мнѣ мало одной химіи, я хватаюсь за русскую исторію, исторію искусствъ, педагогію, музыку... Какъ-то лѣтомъ ваша жена сказала, чтобы я написалъ историческую пьесу, и теперь мнѣ хочется писать, писать; такъ бы, кажется, просидѣлъ трое сутокъ, не вставая, и все писалъ бы. Образы истомили меня, въ головѣ тѣснота, и я чувствую, какъ въ мозгу моемъ бьется пульсъ. Я вовсе не хочу, чтобы изъ меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создалъ великое, а мнѣ просто хочется жить, мечтать, надѣяться, всюду поспѣвать... Жизнь, голубчикъ, коротка и надо прожить ее получше.

Послѣ этой дружеской бесѣды, которая кончилась только въ полночь, Лаптевъ сталъ бывать у Ярцева почти каждый день. Его тянуло къ нему. Обыкновенно онъ приходилъ передъ вечеромъ, ложился и ждалъ его прихода терпѣливо, не ощущая ни малѣйшей скуки. Ярцевъ, вернувшись со службы и пообѣдавъ, садился за работу, но Лаптевъ задавалъ ему какой-нибудь вопросъ, начинался разговоръ, было ужъ не до работы, а въ полночь пріятели разставались, очень довольные другъ другомъ.

Но это продолжалось не долго. Какъ-то придя къ Ярцеву, Лаптевъ засталъ у него одну Разсудину, которая сидѣла за роялемъ и играла свои экзерцисы. Она посмотрѣла на него холодно, почти враждебно, и спросила, не подавая ему руки:

— Скажите, пожалуйста, когда этому будетъ конецъ?

— Чему этому?—спросилъ Лаптевъ, не понимая.

— Вы ходите сюда каждый день и мѣшаете Ярцеву работать. Ярцевъ не купчишка, а ученый, каждая минута его жизни драгоцѣнна. Надо же понимать и имѣть хотя немножко деликатности!

— Если вы находите, что я мѣшаю,—сказалъ Лаптевъ кротко, смутившись:—то я прекращу свои посѣщенія.

— И прекрасно. Уходите же, а то онъ можетъ сейчасъ придти и застать васъ здѣсь.

Тонъ, какимъ это было сказано, и равнодушные глаза Разсудиной окончательно смутили его. У нея уже не было никакихъ чувствъ къ нему, кромѣ желанія, чтобы онъ поскорѣе ушелъ, — и какъ это не было похоже на прежнюю любовь! Онъ вышелъ, не пожавъ ей руки, и казалось ему, что она окликнетъ его и позоветъ назадъ, но послышались опять гаммы, и онъ, медленно спускаясь по лѣстницѣ, понялъ, что онъ уже чужой для нея.

Дня черезъ три пришелъ къ нему Ярцевъ, чтобы вмѣстѣ провести вечеръ.

— А у меня новость,—сказалъ онъ и засмѣялся.—Полина Николаевна перебралась ко мнѣ совсѣмъ. — Онъ немножко смутился и продолжалъ вполголоса:—Что жъ? Конечно, мы не влюблены другъ въ друга, но, я думаю, это... это все равно. Я радъ, что могу дать ей пріютъ и покой и возможность не работать въ случаѣ, если она заболѣетъ; ей же кажется, что оттого, что она сошлась со мной, въ моей жизни будетъ больше порядка и что подъ ея вліяніемъ я сдѣлаюсь великимъ ученымъ. Такъ она думаетъ. И пускай себѣ думаетъ. У южанъ есть поговорка: дурень думкой богатѣетъ. Га-га-га!

Лаптевъ молчалъ. Ярцевъ прошелся по кабинету, посмотрѣлъ на картины, которыя онъ уже видѣлъ много разъ раньше, и сказалъ, вздыхая:

— Да, другъ мой. Я старше васъ на три года и мнѣ уже поздно думать о настоящей любви и, въ сущности, такая женщина, какъ Полина Николаевна, для меня находка и, конечно, я проживу съ ней благополучно до самой старости, но, чортъ его знаетъ, все чего-то жалко, все чего-то хочется и все кажется мнѣ, будто я лежу въ долинѣ Дагестана и снится мнѣ балъ. Однимъ словомъ, никогда человѣкъ не бываетъ доволенъ тѣмъ, что у него есть.

Онъ пошелъ въ гостиную и, какъ ни въ чемъ не бывало,

пѣлъ романсы, а Лаптевъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, закрывши глаза, старался понять, почему Разсудина сошлась съ Ярцевымъ. А потомъ онъ все грустилъ, что нѣтъ прочныхъ, постоянныхъ привязанностей, и ему было досадно, что Полина Николаевна сошлась съ Ярцевымъ, и досадно на себя, что чувство его къ женѣ было уже совсѣмъ не то, что раньше.

XV.

Лаптевъ сидѣлъ въ креслѣ и читалъ, покачиваясь; Юлія была тутъ же въ кабинетѣ и тоже читала. Казалось, говорить было не о чемъ и оба съ утра молчали. Изрѣдка онъ посматривалъ на нее черезъ книгу и думалъ: женишься по страстной любви или совсѣмъ безъ любви,—не все ли равно? И то время, когда онъ ревновалъ, волновался, страдалъ, представлялось ему теперь далекимъ. Онъ успѣлъ уже побывать за границей, и теперь отдыхалъ отъ поѣздки и разсчитывалъ съ наступленіемъ весны опять поѣхать въ Англію, гдѣ ему очень понравилось.

А Юлія Сергѣевна привыкла къ своему горю, уже не ходила во флигель плакать. Въ эту зиму она уже не ѣздила по магазинамъ, не бывала въ театрахъ и на концертахъ, а оставалась дома. Она не любила большихъ комнатъ, и всегда была или въ кабинетѣ мужа, или у себя въ комнатѣ, гдѣ у нея были кіоты, полученные въ приданое, и висѣлъ на стѣнѣ тотъ самый пейзажъ, который такъ понравился ей на выставкѣ. Денегъ на себя она почти не тратила и проживала теперь такъ же мало, какъ когда-то въ домѣ отца.

Зима протекала не весело. Вездѣ въ Москвѣ играли въ карты, но если вмѣсто этого придумывали какое-нибудь другое развлеченіе, напримѣръ, пѣли, читали, рисовали, то выходило еще скучнѣе. И оттого, что въ Москвѣ было мало талантливыхъ людей и на всѣхъ вечерахъ участвовали все одни и тѣ же пѣвцы и чтецы, само наслажденіе искусствомъ мало-по-малу пріѣлось и превратилось для многихъ въ скучную, однообразную обязанность.

Къ тому же, у Лаптевыхъ не проходило ни одного дня безъ огорченій. Старикъ Ѳедоръ Степанычъ видѣлъ очень плохо и уже не бывалъ въ амбарѣ, и глазные врачи говорили, что онъ скоро ослѣпнетъ; Ѳедоръ тоже почему-то

пересталъ бывать въ амбарѣ, а сидѣлъ все время дома и что-то писалъ. Панауровъ получилъ переводъ въ другой городъ съ производствомъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники и теперь жилъ въ «Дрезденѣ» и почти каждый день пріѣзжалъ къ Лаптеву просить денегъ. Кишъ, наконецъ, вышелъ изъ университета и, въ ожиданіи, пока Лаптевы найдутъ ему какую-нибудь должность, просиживалъ у нихъ по цѣлымъ днямъ, разсказывая длинныя, скучныя исторіи. Все это раздражало и утомляло, и дѣлало будничную жизнь непріятной.

Вошелъ въ кабинетъ Петръ и доложилъ, что пришла какая-то незнакомая дама. На карточкѣ, которую онъ подалъ, было: «Жозефина Іосифовна Миланъ».

Юлія Сергѣевна лѣниво поднялась и вышла, слегка прихрамывая, такъ какъ отсидѣла ногу. Въ дверяхъ показалась дама, худая, очень блѣдная, съ темными бровями, одѣтая во все черное. Она сжала на груди руки и проговорила съ мольбой:

— Мосьё Лаптевъ, спасите моихъ дѣтей!

Звонъ браслетовъ и лицо съ пятнами пудры Лаптеву уже были знакомы; онъ узналъ ту самую даму, у которой какъ-то передъ свадьбой ему пришлось такъ некстати пообѣдать. Это была вторая жена Панаурова.

— Спасите моихъ дѣтей!—повторила она, и лицо ея задрожало и стало вдругъ старымъ и жалкимъ, и глаза покраснѣли.—Только вы одинъ можете спасти насъ, и я пріѣхала къ вамъ въ Москву на послѣднія деньги! Дѣти мои умрутъ съ голоду!

Она сдѣлала такое движеніе, какъ будто хотѣла стать на колѣни. Лаптевъ испугался и схватилъ ее за руки повыше локтей.

— Садитесь, садитесь...—бормоталъ онъ, усаживая ее.— Прошу васъ, садитесь.

— У насъ теперь нѣтъ денегъ, чтобы купить себѣ хлѣба, — сказала она. — Григорій Николаичъ уѣзжаетъ на новую должность, но меня съ дѣтьми не хочетъ брать съ собой, и тѣ деньги, которыя вы, великодушный человѣкъ, присылали намъ, тратитъ только на себя. Что же намъ дѣлать? Что? Бѣдныя, несчастныя дѣти!

— Успокойтесь, прошу васъ. Я прикажу въ конторѣ, чтобы эти деньги высылали на ваше имя.

Она зарыдала, потомъ успокоилась, и онъ замѣтилъ, что отъ слезъ у нея по напудреннымъ щекамъ прошли дорожки и что у нея растутъ усы.

— Вы великодушны безъ конца, мосьё Лаптевъ. Но будьте нашимъ ангеломъ, нашею доброю феей, уговорите Григорія Николаича, чтобы онъ не покидалъ меня, а взялъ съ собой. Вѣдь я его люблю, люблю безумно, онъ моя отрада.

Лаптевъ далъ ей сто рублей и пообѣщалъ поговорить съ Панауровымъ, и, провожая до передней, все боялся, какъ бы она не зарыдала или не стала на колѣни.

Послѣ нея пришелъ Кишъ. Потомъ пришелъ Костя съ фотографическимъ аппаратомъ. Въ послѣднее время онъ увлекался фотографіей и каждый день по нѣскольку разъ снималъ всѣхъ въ домѣ, и это новое занятіе приносило ему много огорченій, и онъ даже похудѣлъ.

Передъ вечернимъ чаемъ пришелъ Ѳедоръ. Сѣвши въ кабинетѣ въ уголъ, онъ раскрылъ книгу и долго смотрѣлъ все въ одну страницу, повидимому, не читая. Потомъ долго пилъ чай; лицо у него было красное. Въ его присутствіи Лаптевъ чувствовалъ на душѣ тяжесть; даже молчаніе его было ему непріятно.

— Можешь поздравить Россію съ новымъ публицистомъ,— сказалъ Ѳедоръ.—Впрочемъ, шутки въ сторону, разрѣшился, братъ, я одною статеечкой, проба пера, такъ сказать, и принесъ тебѣ показать. Прочти, голубчикъ, и скажи свое мнѣніе. Только искренно.

Онъ вынулъ изъ кармана тетрадку и подалъ ее брату. Статья называлась такъ: «Русская душа»; написана она была скучно, безцвѣтнымъ слогомъ, какимъ пишутъ обыкновенно неталантливые, втайнѣ самолюбивые люди, и главная мысль ея была такая: интеллигентный человѣкъ имѣетъ право не вѣрить въ сверхъестественное, но онъ обязанъ скрывать это свое невѣріе, чтобы не производить соблазна и не колебать въ людяхъ вѣры; безъ вѣры нѣтъ идеализма, а идеализму предопредѣлено спасти Европу и указать человѣчеству настоящій путь.

— Но тутъ ты не пишешь, отъ чего надо спасать Европу,—сказалъ Лаптевъ.

— Это понятно само собой.

— Ничего не понятно,—сказалъ Лаптевъ и прошелся въ

волненіи.—Не понятно, для чего это ты написалъ. Впрочемъ, это твое дѣло.

— Хочу издать отдѣльною брошюрой.

— Это твое дѣло.

Помолчали минуту. Ѳедоръ вздохнулъ и сказалъ:

— Глубоко, безконечно жаль, что мы съ тобой разно мыслимъ. Ахъ, Алеша, Алеша, братъ мой милый! Мы съ тобою люди русскіе, православные, широкіе люди; къ лицу ли намъ всѣ эти нѣмецкія и жидовскія идеишки? Вѣдь мы съ тобой не прохвосты какіе-нибудь, а представители именитаго купеческаго рода.

— Какой тамъ именитый родъ?—проговорилъ Лаптевъ, сдерживая раздраженіе. — Именитый родъ! Дѣда нашего помѣщики драли и каждый послѣдній чиновничишка билъ его въ морду. Отца дралъ дѣдъ, меня и тебя дралъ отецъ. Что намъ съ тобой далъ этотъ твой именитый родъ? Какіе нервы и какую кровь мы получили въ наслѣдство? Ты вотъ уже почти три года разсуждаешь, какъ дьячокъ, говоришь всякій вздоръ и вотъ написалъ,—вѣдь, это холопскій бредъ! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибкости, ни смѣлости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шагъ, точно меня выпорютъ, я робѣю передъ ничтожествами, идіотами, скотами, стоящими неизмѣримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворниковъ, швейцаровъ, городовыхъ, жандармовъ, я всѣхъ боюсь, потому что я родился отъ затравленной матери, съ дѣтства я забитъ и запуганъ!.. Мы съ тобой хорошо сдѣлаемъ, если не будемъ имѣть дѣтей. О, если бы далъ Богъ, нами кончился бы этотъ именитый купеческій родъ!

Въ кабинетъ вошла Юлія Сергѣевна и сѣла у стола.

— Вы о чемъ-то тутъ спорили? — сказала она. — Я не помѣшала?

— Нѣтъ, сестреночка,—отвѣтилъ Ѳедоръ:—разговоръ у насъ принципіальный. Вотъ ты говоришь: такой-сякой родъ, — обратился онъ къ брату: — однакоже, этотъ родъ создалъ милліонное дѣло. Это чего-нибудь да стоитъ!

— Велика важность — милліонное дѣло! Человѣкъ безъ особеннаго ума, безъ способностей случайно становится торгашомъ, потомъ богачомъ, торгуетъ изо дня въ день, безъ всякой системы, безъ цѣли, не имѣя даже жадности къ деньгамъ, торгуетъ машинально, и деньги сами идутъ къ

нему, а не онъ къ нимъ. Онъ всю жизнь сидитъ у дѣла и любитъ его потому только, что можетъ начальствовать надъ приказчиками, издѣваться надъ покупателями. Онъ старостой въ церкви потому, что тамъ можно начальствовать надъ пѣвчими и гнуть ихъ въ дугу; онъ попечитель школы потому, что ему нравится сознавать, что учитель—его подчиненный и что онъ можетъ разыгрывать передъ нимъ начальство. Купецъ любитъ не торговать, а начальствовать, и вашъ амбаръ не торговое учрежденіе, а застѣнокъ! Да, для такой торговли какъ ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготовляете себѣ такихъ, заставляя ихъ съ дѣтства кланяться вамъ въ ноги за кусокъ хлѣба, и съ дѣтства вы пріучаете ихъ къ мысли, что вы—ихъ благодѣтели. Небось вотъ университетскаго человѣка ты въ амбаръ къ себѣ не возьмешь!

— Университетскіе люди для нашего дѣла не годятся.

— Неправда!—крикнулъ Лаптевъ.—Ложь!

— Извини, мнѣ кажется, ты плюешь въ колодецъ, изъ котораго пьешь, — сказалъ Ѳедоръ и всталъ. — Наше дѣло тебѣ ненавистно, однакоже, ты пользуешься его доходами.

— Ага, договорились! — сказалъ Лаптевъ и засмѣялся, сердито глядя на брата.—Да, не принадлежи я къ вашему именитому роду, будь у меня хоть на грошъ воли и смѣлости, я давно бы швырнулъ отъ себя эти доходы и пошелъ бы зарабатывать себѣ хлѣбъ. Но вы въ своемъ амбарѣ съ дѣтства обезличили меня! Я вашъ!

Ѳедоръ взглянулъ на часы и сталъ торопливо прощаться. Онъ поцѣловалъ руку у Юліи и вышелъ, но, вмѣсто того, чтобы идти въ переднюю, прошелъ въ гостиную, потомъ въ спальню.

— Я забылъ расположеніе комнатъ, — сказалъ онъ въ сильномъ замѣшательствѣ.—Странный домъ. Не правда ли, странный домъ?

Когда онъ надѣвалъ шубу, то былъ будто ошеломленъ, и лицо его выражало боль. Лаптевъ уже не чувствовалъ гнѣва; онъ испугался и въ то же время ему стало жаль Ѳедора, и та теплая, хорошая любовь къ брату, которая, казалось, погасла въ немъ въ эти три года, теперь проснулась въ его груди, и онъ почувствовалъ сильное желаніе выразить эту любовь.

— Ты, Ѳедя, приходи завтра къ намъ обѣдать, — сказалъ онъ и погладилъ его по плечу.—Придешь?

— Да, да. Но дайте мнѣ воды.

Лаптевъ самъ побѣжалъ въ столовую, взялъ въ буфетѣ, что первое попалось ему подъ руки, — это была высокая пивная кружка, — налилъ воды и принесъ брату. Ѳедоръ сталъ жадно пить, но вдругъ укусилъ кружку, послышался скрежетъ, потомъ рыданіе. Вода полилась на шубу, на сюртукъ. И Лаптевъ, никогда раньше не видавшій плачущихъ мужчинъ, въ смущеніи и испугѣ стоялъ и не зналъ, что дѣлать. Онъ растерянно смотрѣлъ, какъ Юлія и горничная сняли съ Ѳедора шубу и повели его обратно въ комнаты, и самъ пошелъ за ними, чувствуя себя виноватымъ.

Юлія уложила Ѳедора и опустилась передъ нимъ на колѣни.

— Это ничего,—утѣшала она.—Это у васъ нервы...

— Голубушка, мнѣ такъ тяжело!—говорилъ онъ.—Я несчастливъ, несчастливъ... но все время я скрывалъ, скрывалъ!

Онъ обнялъ ее за шею и прошепталъ ей на ухо:

— Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходитъ и садится въ кресло возлѣ моей постели...

Когда часъ спустя, онъ опять надѣвалъ въ передней шубу, то уже улыбался и ему было совѣстно горничной. Лаптевъ поѣхалъ проводить его на Пятницкую.

— Ты пріѣзжай къ намъ завтра обѣдать,—говорилъ онъ дорогой, держа его подъ руку:—а на Пасху поѣдемъ вмѣстѣ за границу. Тебѣ необходимо провѣтриться, а то ты совсѣмъ закисъ.

— Да, да. Я поѣду, я поѣду... И сестреночку съ собой возьмемъ.

Вернувшись домой, Лаптевъ засталъ жену въ сильномъ нервномъ возбужденіи. Происшествіе съ Ѳедоромъ потрясло ее, и она никакъ не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень блѣдна и металась въ постели и цѣпко хваталась холодными пальцами за одѣяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нея были большіе, испуганные.

— Не уходи отъ меня, не уходи,—говорила она мужу.— Скажи, Алеша, отчего я перестала Богу молиться? Гдѣ моя вѣра? Ахъ, зачѣмъ вы при мнѣ говорили о религіи? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.

Онъ клалъ ей на лобъ компрессы, согрѣвалъ ей руки, поилъ ее чаемъ, а она жалась къ нему въ страхѣ...

Къ утру она утомилась и уснула, а Лаптевъ сидѣлъ возлѣ и держалъ ее за руку. Такъ ему и не удалось уснуть. Цѣлый день потомъ онъ чувствовалъ себя разбитымъ, тунымъ, ни о чемъ не думалъ и вяло бродилъ по комнатамъ.

XVI.

Доктора сказали, что у Ѳедора душевная болѣзнь. Лаптевъ не зналъ, что дѣлается на Пятницкой, а темный амбаръ, въ которомъ уже не показывались ни старикъ, ни Ѳедоръ, производилъ на него впечатлѣніе склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и въ амбарѣ, и на Пятницкой, онъ или молчалъ, или же начиналъ съ раздраженіемъ говорить о своемъ дѣтствѣ, о томъ, что онъ не въ силахъ простить отцу своего прошлаго, что Пятницкая и амбаръ ему ненавистны и проч.

Въ одно изъ воскресеній, утромъ, Юлія сама поѣхала на Пятницкую. Она застала старика Ѳедора Степаныча въ той самой залѣ, въ которой когда-то, по случаю ея пріѣзда, служили молебенъ. Онъ въ своемъ парусинковомъ пиджакѣ, безъ галстука, въ туфляхъ, сидѣлъ неподвижно въ креслѣ и моргалъ слѣпыми глазами.

— Это я, ваша невѣстка, — сказала она, подходя къ нему.—Я пріѣхала провѣдать васъ.

Онъ сталъ тяжко дышать отъ волненія. Она, тронутая его несчастьемъ, его одиночествомъ, поцѣловала ему руку, а онъ ощупалъ ея лицо и голову и, какъ бы убѣдившись, что это она, перекрестилъ ее.

— Спасибо, спасибо, — сказалъ онъ. — А я вотъ глаза потерялъ и ничего не вижу... Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замѣчаю. Да, я слѣпну, Ѳедоръ заболѣлъ, и безъ хозяйскаго глаза теперь плохо. Если случится какой безпорядокъ, то взыскать некому; избалуется народъ. А отчего это Ѳедоръ заболѣлъ? Отъ простуды, что ли? А я вотъ никогда не хворалъ и никогда не лѣчился. Никакихъ я докторовъ не зналъ.

И старикъ, по обыкновенію, сталъ хвастать. Между тѣмъ, прислуга торопливо накрывала въ залѣ на столъ и ставила закуски и бутылки съ винами. Было поставлено бутылокъ десять и одна изъ нихъ имѣла видъ Эйфелевой башни.

Подали полное блюдо горячихъ пирожковъ, отъ которыхъ пахло вареным рисомъ и рыбой.

— Прошу дорогую гостью закусить,—сказалъ старикъ.

Она взяла его подъ руку и подвела къ столу, и налила ему водку.

— Я къ вамъ и завтра пріѣду,—сказала она:—и привезу съ собой вашихъ внучекъ, Сашу и Лиду. Онѣ будутъ жалѣть и ласкать васъ.

— Не нужно, не привозите. Онѣ незаконныя.

— Почему же незаконныя? Вѣдь отецъ и мать ихъ были повѣнчаны.

— Безъ моего позволенія. Я не благословлядъ ихъ и знать не хочу. Богъ съ ними.

— Странно вы говорите, Ѳедоръ Степанычъ,—сказала Юлія и вздохнула.

— Въ евангеліи сказано: дѣти должны уважать и бояться своихъ родителей.

— Ничего подобнаго. Въ евангеліи сказано, что мы должны прощать даже врагамъ своимъ.

— Въ нашемъ дѣлѣ нельзя прощать. Если будешь всѣхъ прощать, то черезъ три года въ трубу вылетишь.

— Но простить, сказать ласковое, привѣтливое слово человѣку, даже виноватому, — это выше дѣла, выше богатства!

Юліи хотѣлось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить въ немъ раскаяніе, но все, что она говорила, онъ выслушивалъ только снисходительно, какъ взрослые слушаютъ дѣтей.

— Ѳедоръ Степанычъ, — сказала Юлія рѣшительно: — вы уже стары и скоро Богъ призоветъ васъ къ Себѣ; Онъ спроситъ васъ не о томъ, какъ вы торговали и хорошо ли шли ваши дѣла, а о томъ, были ли вы милостивы къ людямъ; не были ли вы суровы къ тѣмъ, кто слабѣе васъ, напримѣръ, къ прислугѣ, къ приказчикамъ?

— Для своихъ служащихъ я былъ всегда благодѣтель, и они должны за меня вѣчно Бога молить, — сказалъ старикъ съ убѣжденіемъ; но тронутый искреннимъ тономъ Юліи и желая доставить ей удовольствіе, онъ сказалъ: — Хорошо, привозите завтра внучатъ. Я велю имъ подарочковъ купить.

Старикъ былъ неаккуратно одѣтъ, и на груди и на ко-

лѣняхъ у него былъ сигарный пепелъ; повидимому, никто не чистилъ ему ни сапогъ, ни платья. Рисъ въ пирожкахъ былъ недоваренъ, отъ скатерти пахло мыломъ, прислуга громко стучала ногами. И старикъ, и весь этотъ домъ на Пятницкой имѣли заброшенный видъ, и Юліи, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.

— Я къ вамъ непремѣнно пріѣду завтра,—сказала она.

Она прошлась по комнатамъ и приказала убрать въ спальнѣ старика и зажечь у него лампадку. Ѳедоръ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и смотрѣлъ въ раскрытую книгу, не читая; Юлія поговорила съ нимъ и у него тоже велѣла убрать, потомъ пошла внизъ къ приказчикамъ. Среди комнаты, гдѣ обѣдали приказчики, стояла деревянная некрашенная колонна, подпиравшая потолокъ, чтобы онъ не обрушился; потолки здѣсь были низкіе, стѣны оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника, всѣ приказчики были дома и сидѣли у себя на кроватяхъ въ ожиданіи обѣда. Когда вошла Юлія, они вскочили съ мѣстъ и на ея вопросы отвѣчали робко, глядя на нее исподлобья, какъ арестанты.

— Господи, какое у васъ дурное помѣщеніе! — сказала она, всплескивая руками.—И вамъ здѣсь не тѣсно?

— Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ,—сказалъ Макѣичевъ.— Много вами довольны и возносимъ наши молитвы милосердному Богу.

— Соотвѣтствіе жизни по амбиціи личности, — сказалъ Початкинъ.

И, замѣтивъ, что Юлія не поняла Початкина, Макѣичевъ поспѣшилъ пояснить:

— Мы маленькіе люди и должны жить соотвѣтственно званію.

Она осмотрѣла помѣщеніе для мальчиковъ и кухню, познакомилась съ экономкой и осталась очень недовольна.

Вернувшись домой, она сказала мужу:

— Мы должны какъ можно скорѣе перебраться на Пятницкую и жить тамъ. И ты каждый день будешь ѣздить въ амбаръ.

Потомъ оба сидѣли въ кабинетѣ рядомъ и молчали. У него было тяжело на душѣ и не хотѣлось ему ни на Пятницкую, ни въ амбаръ, но онъ угадывалъ, о чемъ думаетъ

жена, и былъ не въ силахъ противорѣчить ей. Онъ погладилъ ее по щекѣ и сказалъ:

— У меня такое чувство, какъ будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для насъ сѣрая полужизнь. Когда я узналъ, что братъ Ѳедоръ безнадежно боленъ, я заплакалъ; мы вмѣстѣ прожили наше дѣтство и юность, когда-то я любилъ его всею душой и вотъ тебѣ катастрофа, и мнѣ кажется, что, теряя его, я окончательно разрываю со своимъ прошлымъ. А теперь, когда ты сказала, что намъ необходимо переѣзжать на Пятницкую, въ эту тюрьму, то мнѣ стало казаться, что у меня нѣтъ уже и будущаго.

Онъ всталъ и отошелъ къ окну.

— Какъ бы то ни было, приходится проститься съ мыслями о счастьѣ,—сказалъ онъ, глядя на улицу.—Его нѣтъ. Его не было никогда у меня и, должно-быть, его не бываетъ вовсе. Впрочемъ, разъ въ жизни я былъ счастливъ, когда сидѣлъ ночью подъ твоимъ зонтикомъ. Помнишь, какъ-то у сестры Нины ты забыла свой зонтикъ?—спросилъ онъ, обернувшись къ женѣ.—Я тогда былъ влюбленъ въ тебя и, помню, всю ночь просидѣлъ подъ этимъ зонтикомъ и испытывалъ блаженное состояніе.

Въ кабинетѣ около шкаповъ съ книгами стоялъ комодъ изъ краснаго дерева съ бронзой, въ которомъ Лаптевъ хранилъ разныя ненужныя вещи, въ томъ числѣ зонтикъ. Онъ досталъ его и подалъ женѣ.

— Вотъ онъ.

Юлія минуту смотрѣла на зонтикъ, узнала и грустно улыбнулась.

— Помню,—сказала она.—Когда ты объяснялся мнѣ въ любви, то держалъ его въ рукахъ,—и, замѣтивъ, что онъ собирается уходить, она сказала:—Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше. Безъ тебя мнѣ скучно.

И потомъ она ушла къ себѣ въ комнату и долго смотрѣла на зонтикъ.

XVII.

Въ амбарѣ, несмотря на сложность дѣла и на громадный оборотъ, бухгалтера не было и изъ книгъ, которыя велъ конторщикъ, ничего нельзя было понять. Каждый день приходили въ амбаръ комиссіонеры, нѣмцы и англичане, съ которыми приказчики говорили о политикѣ и религіи; при-

ходилъ спившійся дворянинъ, больной, жалкій человѣкъ, который переводилъ въ конторѣ иностранную корреспонденцію; приказчики называли его фитюлькой и поили его чаемъ съ солью. И въ общемъ вся эта торговля представлялась Лаптеву какимъ-то большимъ чудачествомъ.

Онъ каждый день бывалъ въ амбарѣ и старался заводить новые порядки; онъ запрещалъ сѣчь мальчиковъ и глумиться надъ покупателями, выходилъ изъ себя, когда приказчики, съ веселымъ смѣхомъ, отпускали куда-нибудь въ провинцію залежалый и негодный товаръ подъ видомъ свѣжаго и самаго моднаго. Теперь въ амбарѣ онъ былъ главнымъ лицомъ, но попрежнему ему не было извѣстно, какъ велико его состояніе, хорошо ли идутъ его дѣла, сколько получаютъ жалованья старшіе приказчики и т. п. Початкинъ и Макѣичевъ считали его молодымъ и неопытнымъ, многое скрывали отъ него и каждый вечеръ о чемъ-то таинственно шептались съ слѣпымъ старикомъ.

Какъ-то въ началѣ іюня Лаптевъ и Початкинъ пошли въ Бубновскій трактиръ, чтобы позавтракать и кстати поговорить о дѣлахъ. Початкинъ служилъ у Лаптевыхъ уже давно и поступилъ къ нимъ, когда ему было еще восемь лѣтъ. Онъ былъ своимъ человѣкомъ, ему довѣряли вполнѣ и, когда, уходя изъ амбара, онъ забиралъ изъ кассы всю выручку и набивалъ ею карманы, то это не возбуждало никакихъ подозрѣній. Онъ былъ главнымъ въ амбарѣ и въ домѣ, а также въ церкви, гдѣ, вмѣсто старика, исполнялъ обязанности старосты. За жестокое обращеніе съ подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовымъ.

Когда пришли въ трактиръ, онъ кивнулъ половому и сказалъ:

— Дай-ка намъ, братецъ, полдиковинки и двадцать четыре непріятности.

Половой немного погодя подалъ на подносѣ полбутылки водки и нѣсколько тарелокъ съ разнообразными закусками.

— Вотъ что, любезный,—сказалъ ему Початкинъ:—дай-ка ты намъ порцію главнаго мастера клеветы и злословія съ картофельнымъ пюре.

Половой не понялъ и смутился, и хотѣлъ что-то сказать, но Початкинъ строго поглядѣлъ на него и сказалъ:

— Кромѣ!

Половой думалъ съ напряженіемъ, потомъ пошелъ совѣтоваться съ товарищами, и въ концѣ-концовъ все-таки догадался, принесъ порцію языка. Когда выпили по двѣ рюмки и закусили, Лаптевъ спросилъ:

— Скажите, Иванъ Васильичъ, правда ли, что наши дѣла въ послѣдніе годы стали падать?

— Ни отнюдь.

— Скажите мнѣ откровенно, на чистоту, сколько мы получали и получаемъ дохода, и какъ велико наше состояніе? Нельзя же вѣдь въ потемкахъ ходить. У насъ былъ недавно счетъ амбара, но, простите, я этому счету не вѣрю; вы находите нужнымъ что-то скрывать отъ меня и говорите правду только отцу. Вы съ раннихъ лѣтъ привыкли къ политикѣ и уже не можете обходиться безъ нея. А къ чему она? Такъ вотъ, прошу васъ, будьте откровенны. Въ какомъ положеніи наши дѣла?

— Все зависимо отъ волненія кредита, — отвѣтилъ Початкинъ, подумавъ.

— Что вы разумѣете подъ волненіемъ кредита?

Початкинъ сталъ объяснять, но Лаптевъ ничего не понялъ и послалъ за Макѣичевымъ. Тотъ немедленно явился, закусилъ, помолясь, и своимъ солиднымъ, густымъ баритономъ заговорилъ, прежде всего, о томъ, что приказчики обязаны денно и нощно молить Бога за своихъ благодѣтелей.

— Прекрасно, только позвольте мнѣ не считать себя вашимъ благодѣтелемъ,—сказалъ Лаптевъ.

— Каждый человѣкъ долженъ помнить, что онъ есть, и чувствовать свое званіе. Вы, по милости Божіей, нашъ отецъ и благодѣтель, а мы ваши рабы.

— Все это, наконецъ, мнѣ надоѣло!—разсердился Лаптевъ.—Пожалуйста, теперь будете вы моимъ благодѣтелемъ, объясните, въ какомъ положеніи наши дѣла. Не извольте считать меня мальчишкой, иначе я завтра же закрою амбаръ. Отецъ ослѣпъ, братъ въ сумасшедшемъ домѣ, племянницы мои еще молоды; это дѣло я ненавижу, я охотно бы ушелъ, но замѣнить меня некому, вы сами знаете. Бросьте же политику, ради Бога!

Пошли въ амбаръ считать. Потомъ считали вечеромъ дома, причемъ помогалъ самъ старикъ; посвящая сына въ свои коммерческія тайны, онъ говорилъ такимъ тономъ,

какъ будто занимался не торговлей, а колдовствомъ. Оказалось, что доходъ ежегодно увеличивался приблизительно на одну десятую часть и что состояніе Лаптевыхъ, считая однѣ только деньги и цѣнныя бумаги, равнялось шести милліонамъ рублей.

Когда въ первомъ часу ночи, послѣ счетовъ, Лаптевъ вышелъ на свѣжій воздухъ, то чувствовалъ себя подъ обаяніемъ этихъ цифръ. Ночь была тихая, лунная, душная; бѣлыя стѣны замоскворѣцкихъ домовъ, видъ тяжелыхъ запертыхъ воротъ, тишина и черныя тѣни производили въ общемъ впечатлѣніе какой-то крѣпости и недоставало только часового съ ружьемъ. Лаптевъ пошелъ въ садикъ и сѣлъ на скамью около забора, отдѣлявшаго отъ сосѣдняго двора, гдѣ тоже былъ садикъ. Цвѣла черемуха. Лаптевъ вспомнилъ, что эта черемуха во времена его дѣтства была такою же корявой и такого же роста, и нисколько не измѣнилась съ тѣхъ поръ. Каждый уголокъ въ саду и во дворѣ напоминалъ ему далекое прошлое. И въ дѣтствѣ такъ же, какъ теперь, сквозь рѣдкія деревья виденъ былъ весь дворъ, залитый луннымъ свѣтомъ, такъ же были таинственны и строги тѣни, такъ же среди двора лежала черная собака и открыты были настежь окна у приказчиковъ. И все это были невеселыя воспоминанія.

За заборомъ въ чужомъ дворѣ послышались легкіе шаги.

— Моя дорогая, моя милая...— прошепталъ мужской голосъ у самаго забора, такъ что Лаптевъ слышалъ даже дыханіе.

Вотъ поцѣловались. Лаптевъ былъ увѣренъ, что милліоны и дѣло, къ которому у него не лежала душа, испортятъ ему жизнь и окончательно сдѣлаютъ изъ него раба; онъ представлялъ себѣ, какъ онъ мало-по-малу свыкнется со своимъ положеніемъ, мало-по-малу войдетъ въ роль главы торговой фирмы, начнетъ тупѣть, стариться и, въ концѣ-концовъ, умретъ, какъ вообще умираютъ обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающихъ. Но что же мѣшаетъ ему бросить и милліоны, и дѣло, и уйти изъ этого садика и двора, которые были ненавистны ему еще съ дѣтства?

Шопотъ и поцѣлуи за заборомъ волновали его. Онъ вышелъ на средину двора и, разстегнувши на груди рубаху, глядѣлъ на луну, и ему казалось, что онъ сейчасъ велитъ отпереть калитку, выйдетъ и уже болѣе никогда сюда не

вернется; сердце сладко сжалось у него отъ предчувствія свободы, онъ радостно смѣялся и воображалъ, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть-можетъ, даже святая жизнь...

Но онъ все стоялъ и не уходилъ, и спрашивалъ себя: «Что же меня держитъ здѣсь?» И ему было досадно и на себя, и на эту черную собаку, которая валялась на камняхъ, а не шла въ поле, въ лѣсъ, гдѣ бы она была независима, радостна. И ему, и этой собакѣ мѣшало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка къ неволѣ, къ рабскому состоянію...

На другой день въ полдень онъ поѣхалъ къ женѣ и, чтобы скучно не было, пригласилъ съ собой Ярцева. Юлія Сергѣевна жила на дачѣ въ Бутовѣ, и онъ не былъ у нея уже пять дней. Пріѣхавъ на станцію, пріятели сѣли въ коляску, и Ярцевъ всю дорогу пѣлъ и восхищался великолѣпною погодой. Дача находилась недалеко отъ станціи въ большомъ паркѣ. Гдѣ начиналась главная аллея, шагахъ въ двадцати отъ воротъ, подъ старымъ широкимъ тополемъ сидѣла Юлія Сергѣевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отдѣланное кружевами, платье свѣтлое кремоваго цвѣта, а въ рукахъ былъ все тотъ же старый знакомый зонтикъ. Ярцевъ поздоровался съ ней и пошелъ къ дачѣ, откуда слышались голоса Саши и Лиды, а Лаптевъ сѣлъ рядомъ съ ней, чтобы поговорить о дѣлахъ.

— Отчего ты такъ долго не былъ?—спросила она, не выпуская его руки.—Я цѣлые дни все сижу здѣсь и смотрю: не ѣдешь ли ты. Мнѣ безъ тебя скучно!

Она встала и рукой провела по его волосамъ, и съ любопытствомъ оглядывала его лицо, плечи, шляпу.

— Ты знаешь, я люблю тебя, — сказала она и покраснѣла.—Ты мнѣ дорогъ. Вотъ ты пріѣхалъ, я вижу тебя и счастлива, не знаю какъ. Ну, давай поговоримъ. Разскажи мнѣ что-нибудь.

Она объяснялась ему въ любви, а у него было такое чувство, какъ будто онъ былъ женатъ на ней уже лѣтъ десять, и хотѣлось ему завтракать. Она обняла его за шею, щекоча шелкомъ своего платья его щеку; онъ осторожно отстранилъ ея руку, всталъ и, не сказавъ ни слова, пошелъ къ дачѣ. Навстрѣчу ему бѣжали дѣвочки.

«Какъ онѣ выросли!—думалъ онъ.—И сколько перемѣнъ

за эти три года... Но вѣдь придется, быть-можетъ, жить еще тринадцать, тридцать лѣтъ... Что-то еще ожидаетъ насъ въ будущемъ! Поживемъ—увидимъ».

Онъ обнялъ Сашу и Лиду, которыя повисли ему на шею, и сказалъ:

— Кланяется дѣдушка... Дядя Ѳедя скоро умретъ, дядя Костя прислалъ письмо изъ Америки и велитъ вамъ кланяться. Онъ соскучился на выставкѣ и скоро вернется. А дядя Алеша хочетъ ѣсть.

Потомъ онъ сидѣлъ на террасѣ и видѣлъ, какъ по аллеѣ тихо шла его жена, направляясь къ дачѣ. Она о чемъ-то думала и на ея лицѣ было грустное, очаровательное выраженіе, и на глазахъ блестѣли слезы. Это была уже не прежняя тонкая, хрупкая, блѣднолицая дѣвушка, а зрѣлая, красивая, сильная женщина. И Лаптевъ замѣтилъ, съ какимъ восторгомъ смотрѣлъ ей навстрѣчу Ярцевъ, какъ это ея новое, прекрасное выраженіе отражалось на его лицѣ, тоже грустномъ и восхищенномъ. Казалось, что онъ видѣлъ ее первый разъ въ жизни. И когда завтракали на террасѣ, Ярцевъ какъ-то радостно и застѣнчиво улыбался и все смотрѣлъ на Юлію, на ея красивую шею. Лаптевъ слѣдилъ за нимъ невольно и думалъ о томъ, что, быть-можетъ, придется жить еще тринадцать, тридцать лѣтъ... И что придется пережить за это время? Что ожидаетъ насъ въ будущемъ?

И думалъ:

«Поживемъ—увидимъ».

УБІЙСТВО.

I.

На станціи *Прогонной* служили всенощную. Передъ большимъ образомъ, написаннымъ ярко, на золотомъ фонѣ, стояла толпа станціонныхъ служащихъ, ихъ женъ и дѣтей, а также дровосѣковъ и пильщиковъ, работавшихъ вблизи по линіи. Всѣ стояли въ безмолвіи, очарованные блескомъ огней и воемъ метели, которая ни съ того, ни съ сего разыгралась на дворѣ, несмотря на канунъ Благовѣщенія. Служилъ старикъ священникъ изъ Веденяпина; пѣли псаломщикъ и Матвѣй Тереховъ.

Лицо Матвѣя сіяло радостью, онъ пѣлъ и при этомъ вытягивалъ шею, какъ будто хотѣлъ взлетѣть. Пѣлъ онъ теноромъ и канонъ читалъ тоже теноромъ, сладостно, убѣдительно. Когда пѣли «Архангельскій гласъ», онъ помахивалъ рукой, какъ регентъ, и, стараясь подладиться подъ глухой стариковскій басъ дьячка, выводилъ своимъ теноромъ что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывалъ онъ большое удовольствіе.

Но вотъ всенощная окончилась, всѣ тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бываетъ только на станціяхъ, одиноко стоящихъ въ полѣ или въ лѣсу, когда вѣтеръ подвываетъ и ничего не слышно больше, и когда чувствуется вся эта пустота кругомъ, вся тоска медленно текущей жизни.

Матвѣй жилъ недалеко отъ станціи, въ трактирѣ своего двоюроднаго брата. Но ему не хотѣлось домой. Онъ сидѣлъ у буфетчика за прилавкомъ и разсказывалъ вполголоса:

— У насъ на изразцовомъ заводѣ былъ свой хоръ. И долженъ я вамъ замѣтить, хотя мы и простые мастера были, но пѣли мы по-настоящему, великолѣпно. Насъ часто приглашали въ городъ и, когда тамъ викарный владыка Іоаннъ изволилъ служить въ Троицкой церкви, то архіерейскіе пѣвчіе пѣли на правомъ клиросѣ, а мы на лѣвомъ. Только въ городѣ жаловались, что мы долго поемъ: заводскіе, говорили, тянутъ. Оно правда, мы Андреево стояніе и Похвалу начинали въ седьмомъ, а кончали послѣ одиннадцати, такъ что, бывало, придешь домой на заводъ, а уже первый часъ. Хорошо было! — вздохнулъ Матвѣй. — Очень даже хорошо, Сергѣй Никанорычъ! А здѣсь, въ родительскомъ домѣ, никакой радости. Самая ближняя церковь въ пяти верстахъ, при моемъ слабомъ здоровьѣ и не дойдешь туда, пѣвчихъ нѣтъ. А въ семействѣ нашемъ никакого спокойствія, деньденской шумъ, брань, нечистота, всѣ изъ одной чашки ѣдимъ, какъ мужики, а щи съ тараканами... Не даетъ Богъ здоровья, а то бы я давно ушелъ, Сергѣй Никанорычъ.

Матвѣй Тереховъ былъ еще не старъ, лѣтъ 45, но выраженіе у него было болѣзненное, лицо въ морщинахъ и жидкая, прозрачная бородка совсѣмъ уже посѣдѣла, и это старило его на много лѣтъ. Говорилъ онъ слабымъ голосомъ, осторожно и, кашляя, брался за грудь, и въ это время взглядъ его становился безпокойнымъ и тревожнымъ, какъ у очень мнительныхъ людей. Онъ никогда не говорилъ опредѣленно, что у него болитъ, но любилъ длинно разсказывать, какъ однажды на заводѣ онъ поднялъ тяжелый ящикъ и надорвался, и какъ отъ этого образовалась грызь, заставившая его бросить службу на изразцовомъ заводѣ и вернуться на родину. А что значитъ грызь, объяснить онъ не могъ.

— Признаться, не люблю я брата, — продолжалъ онъ, наливая себѣ чаю.—Онъ мнѣ старшій, грѣхъ осуждать, и боюсь Господа Бога, но не могу утерпѣть. Человѣкъ онъ надменный, суровый, ругательный, для своихъ родственниковъ и работниковъ мучитель, и на духу не бываетъ. Въ прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братецъ, поѣдемте въ Пахомово къ обѣднѣ!» А онъ: «Не поѣду,—тамъ, говоритъ, попъ картежникъ». И сюда не пошелъ сегодня, потому, говоритъ, веденяпинскій священникъ куритъ и водку пьетъ. Не любитъ духовенства! Самъ себѣ и обѣдницу слу-

жить, и часы, и вечерню, а сестрица ему вмѣсто дьячка. Онъ: Господу помолимся! А она тонкимъ голосочкомъ, какъ индюшка: Господи помилуй!.. Грѣхъ, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братецъ! Покайтесь, братецъ!» — а онъ безъ вниманія.

Сергѣй Никанорычъ, буфетчикъ, налилъ пять стакановъ чаю и понесъ ихъ на подносѣ въ дамскую. Едва онъ вошелъ туда, какъ послышался крикъ:

— Какъ ты подаешь, поросячья морда? Ты не умѣешь подавать!

Это былъ голосъ начальника станціи. Послышалось робкое бормотанье, потомъ опять крикъ, сердитый и рѣзкій:

— Пошелъ вонъ!

Буфетчикъ вернулся сильно сконфуженный.

— Было время, когда угождалъ и графамъ, и князьямъ,— проговорилъ онъ тихо:—а теперь, видите, не умѣю чай подать... Обругалъ при священникѣ и дамахъ!

Буфетчикъ Сергѣй Никанорычъ когда-то имѣлъ большія деньги и держалъ буфетъ на первоклассной станціи, въ губернскомъ городѣ, гдѣ перекрещивались двѣ дороги. Тогда онъ носилъ фракъ и золотые часы. Но дѣла у него шли плохо, онъ потратилъ всѣ свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга и, запутавшись мало-по-малу, онъ перешелъ на другую станцію, менѣе бойкую; здѣсь отъ него ушла жена и увезла съ собой все серебро, и онъ перешелъ на третью станцію, похуже, гдѣ уже не полагалось горячихъ кушаній. Потомъ на четвертую. Часто мѣняя мѣста и спускаясь все ниже и ниже, онъ, наконецъ, попалъ на *Прогонную* и здѣсь торговалъ только чаемъ, дешевою водкой и на закуску ставилъ крутыя яйца и твердую колбасу, отъ которой пахло смолой и которую самъ же онъ въ насмѣшку называлъ музыкантской. У него была лысина во все темя, голубые глаза навыкатѣ и густые, пушистые бакены, которые онъ часто расчесывалъ гребенкой, глядясь въ маленькое зеркальце. Воспоминанія о прошломъ томили его постоянно, онъ никакъ не могъ привыкнуть къ музыкантской колбасѣ, къ грубости начальника станціи и къ мужикамъ, которые торговались, а по его мнѣнію торговаться въ буфетѣ было такъ же неприлично, какъ въ аптекѣ. Ему было стыдно своей бѣдности и своего униженія, и этотъ стыдъ былъ теперь главнымъ содержаніемъ его жизни.

— А весна въ этомъ году поздняя, — сказалъ Матвѣй, прислушиваясь.—Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергѣй Никанорычъ. Въ книжкахъ пишутъ: весна, птицы поютъ, солнце заходитъ, а что тутъ пріятнаго? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтобъ людей послушать, объ леригіи поговорить или хоромъ спѣть что-нибудь пріятное, а эти тамъ соловьи да цвѣточки — Богъ съ ними!

Онъ опять началъ объ изразцовомъ заводѣ, о хорѣ, но оскорбленный Сергѣй Никанорычъ никакъ не могъ успокоиться и все пожималъ плечами и бормоталъ что-то. Матвѣй простился и пошелъ домой.

Мороза не было и уже таяло на крышахъ, но шелъ крупный снѣгъ; онъ быстро кружился въ воздухѣ и бѣлыя облака его гонялись другъ за другомъ по полотну дороги. А дубовый лѣсъ, по обѣ стороны линіи, едва освѣщенный луной, которая пряталась гдѣ-то высоко за облаками, издавалъ суровый, протяжный шумъ. Когда сильная буря качаетъ деревья, то какъ они страшны! Матвѣй шелъ по шоссе вдоль линіи, пряча лицо и руки, и вѣтеръ толкалъ его въ спину. Вдругъ показалась небольшая лошаденка, облѣпленная снѣгомъ, сани скребли по голымъ камнямъ шоссе, и мужикъ съ окутанною головой, тоже весь бѣлый, хлесталъ кнутомъ. Матвѣй оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, какъ будто все это ему только примерещилось, и онъ ускорилъ шаги, вдругъ испугавшись, самъ не зная чего.

Вотъ переѣздъ и темный домикъ, гдѣ живетъ сторожъ. Шлагбаумъ поднятъ и около намело цѣлыя горы и, какъ вѣдьмы на шабашѣ, кружатся облака снѣга. Тутъ линію пересѣкаетъ старая, когда-то большая дорога, которую до сихъ поръ еще зовутъ трактомъ. Направо, недалеко отъ переѣзда, у самой дороги, стоитъ трактиръ Терехова, бывшій постоялый дворъ. Тутъ по ночамъ всегда брезжитъ огонекъ.

Когда Матвѣй пришелъ домой, во всѣхъ комнатахъ и даже въ сѣняхъ сильно пахло ладаномъ. Братъ его Яковъ Иванычъ еще продолжалъ служить всенощную. Въ молельной, гдѣ это происходило, въ переднемъ углу стоялъ кіотъ со старинными дѣдовскими образами въ позолоченныхъ ризахъ, и обѣ стѣны направо и налѣво были уставлены образами стараго и новаго письма, въ кіотахъ и просто такъ.

На столѣ, покрытомъ до земли скатертью, стоялъ образъ Благовѣщенія и тутъ же кипарисовый крестъ и кадильница; горѣли восковыя свѣчи. Возлѣ стола былъ аналой. Проходя мимо молельной, Матвѣй остановился и заглянулъ въ дверь. Яковъ Иванычъ въ это время читалъ у аналоя; съ нимъ молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха въ синемъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ. Была тутъ и дочь Якова Иваныча, Дашутка, дѣвушка лѣтъ 18, некрасивая, вся въ веснушкахъ, по обыкновенію босая и въ томъ же платьѣ, въ какомъ подъ вечеръ поила скотину.

— Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!—провозгласилъ Яковъ Иванычъ нараспѣвъ и низко поклонился.

Аглая подперла рукой подбородокъ и запѣла тонкимъ, визгливымъ, тягучимъ голосомъ. А вверху надъ потолкомъ тоже раздавались какіе-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвѣщали дурное. Во второмъ этажѣ послѣ пожара, бывшаго когда-то очень давно, никто не жилъ, окна были забиты тесомъ и на полу между балокъ валялись пустыя бутылки. Теперь тамъ стучалъ и гудѣлъ вѣтеръ и казалось, что кто-то бѣгалъ, сцотыкаясь о балки.

Половина нижняго этажа была занята подъ трактиръ, въ другой помѣщалась семья Терехова, такъ что когда въ трактирѣ шумѣли пьяные проѣзжіе, то было слышно въ комнатахъ все до одного слова. Матвѣй жилъ рядомъ съ кухней, въ комнатѣ съ большою печью, гдѣ прежде, когда тутъ былъ постоялый дворъ, каждый день пекли хлѣбъ. Въ этой же комнатѣ, за печкой помѣщалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тутъ по ночамъ кричалъ сверчокъ и суетились мыши.

Матвѣй зажегъ свѣчу и сталъ читать книгу, взятую имъ у станціоннаго жандарма. Пока онъ сидѣлъ надъ ней, моленіе кончилось и всѣ легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапѣла тотчасъ же, но скоро проснулась и сказала, зѣвая:

— Ты, дядя Матвѣй, зря бы свѣчку не жегъ.

— Это моя свѣчка,—отвѣтилъ Матвѣй.—Я ее за свои деньги купилъ.

Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвѣй сидѣлъ еще долго,—ему не хотѣлось спать,—и, кончивъ послѣднюю страницу, досталъ изъ сундука карандашъ и написалъ на книгѣ: «Сію книгу читалъ я, Матвѣй Тере-

ховъ, и нахожу ее изъ всѣхъ читанныхъ мною книгъ самою лутшею, въ чемъ и приношу мою прызнательность унтеръ-офицеру жандармскаго управленія желѣзныхъ дорогъ Кузьмѣ Николаеву Жукову, какъ владѣльцу оной безцѣнной книгы». Дѣлать подобныя надписи на чужихъ книгахъ онъ считалъ долгомъ вѣжливости.

II.

Въ самый день Благовѣщенія, послѣ того, какъ проводили почтовый поѣздъ, Матвѣй сидѣлъ въ буфетѣ, пилъ чай съ лимономъ и говорилъ.

Слушали его буфетчикъ и жандармъ Жуковъ.

— Я, надо вамъ замѣтить, — разсказывалъ Матвѣй: — еще въ малолѣтствѣ былъ приверженъ къ леригіи. Мнѣ только двѣнадцать годочковъ было, а я уже въ церкви апостола читалъ, и родители мои весьма утѣшались, и каждое лѣто мы съ покойной маменькой ходили на богомолье. Бывало, другіе ребяты пѣсни поютъ или раковъ ловятъ, а я въ это время съ маменькой. Старшіе меня одобряли, да и мнѣ самому было это пріятно, что я такого хорошаго поведенія. И какъ маменька благословили меня на заводъ, то я между дѣломъ пѣлъ тамъ теноромъ въ нашемъ хорѣ, и не было лучшаго удовольствія. Само собой, водки я не пилъ, табаку не курилъ, соблюдалъ чистоту тѣлесную, а такое направленіе жизни, извѣстно, не нравится врагу рода человѣческаго, и захотѣлъ онъ, окаянный, погубить меня и сталъ омрачать мой разумъ, все равно, какъ теперь у братца. Самое первое, далъ я обѣтъ не кушать по понедѣльникамъ скоромнаго и не кушать мяса во всѣ дни, и вообще съ теченіемъ времени нашла на меня фантазія. Въ первую недѣлю великаго поста до субботы святые отцы положили сухояденіе, но трудящимъ и слабымъ не грѣхъ даже чайку попить, у меня же до самаго воскресенья ни крошки во рту не было, и потомъ во весь постъ я не разрѣшалъ себѣ масла ни отнюдь, а въ среды и пятницы такъ и вовсе ничего не кушалъ. То же и въ малые посты. Бывало, въ Петровки наши заводскіе хлебаютъ щи изъ судака, а я въ стороночкѣ отъ нихъ сухарикъ сосу. У людей сила разная, конечно, но я объ себѣ скажу: въ постные дни мнѣ не трудно было и такъ даже, что чѣмъ больше усердія, тѣмъ легче. Хочется кушать только въ первые дни

поста, а потомъ привыкаешь, становится все легче и, гляди, въ концѣ недѣли совсѣмъ ничего и въ ногахъ этакое онѣмѣніе, будто ты не на землѣ, а на облакѣ. И, кромѣ того, налагалъ я на себя всякія послушанія: вставалъ по ночамъ и поклоны билъ, камни тяжелые таскалъ съ мѣста на мѣсто, на снѣгъ выходилъ босикомъ, ну и вериги тоже. Только вотъ по прошествіи времени исповѣдаюсь я однажды у священника и вдругъ такое мечтаніе: вѣдь священникъ этотъ, думаю, женатый, скоромникъ и табачникъ; какъ же онъ можетъ меня исповѣдывать и какую онъ имѣетъ власть отпускать мнѣ грѣхи, ежели онъ грѣшнѣе, чѣмъ я? Я даже постнаго масла остерегаюсь, а онъ небось осетрину ѣлъ. Пошелъ я къ другому священнику, а этотъ, какъ на грѣхъ толстомясый, въ шелковой рясѣ, шуршитъ будто дама, и отъ него тоже табакомъ пахнетъ. Пошелъ я говѣть въ монастырь, и тамъ мое сердце не спокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живутъ. И послѣ этого никакъ я не могу найти службу по себѣ: въ одномъ мѣстѣ служатъ очень скоро, въ другомъ, гляди, задостойникъ не тотъ пропѣли, въ третьемъ дьячокъ гугнивый... Бывало, Господи прости меня грѣшнаго, стою это въ церкви, а отъ гнѣва сердце трясется. Какая ужъ тутъ молитва? И представляется мнѣ, будто народъ въ церкви не такъ крестится, не такъ слушаетъ; на кого ни погляжу, всѣ пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, одинъ только я живу по заповѣдямъ. Лукавый бѣсъ не дремалъ, дальше-больше, пересталъ я пѣть въ хорѣ и уже вовсе не хожу въ церковь; такъ ужъ я объ себѣ понимаю, будто я человѣкъ праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходитъ, то-есть, подобно падшему ангелу, возмечталъ я въ гордынѣ своей до невѣроятія. Послѣ этого сталъ я хлопотать, какъ бы свою церковь устроить. Нанялъ я у глухой мѣщанки комнатушечку далеко за городомъ, около кладбища, и устроилъ молельную, вотъ какъ у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. Въ этой своей молельной я держался устава святой Аѳонской горы, то-есть каждый день обязательно утреня у меня начиналась въ полночь, а подъ особо чтимые двунадесятые праздники всенощная у меня служилась часовъ десять, а когда и двѣнадцать. Монахи, все-таки, по уставу, во время каѳизмъ и паремій сидятъ, а я желалъ

быть угоднѣе монаховъ и все, бывало, на ногахъ. Читалъ я и пѣлъ протяжно, со слезами и со воздыханіемъ, воздѣвая руки, и прямо съ молитвы, не спавши, на работу, да и работаю все съ молитвой. Ну, пошло по городу: Матвѣй святой, Матвѣй больныхъ и безумныхъ исцѣляетъ. Никого я, конечно, не исцѣлялъ, но извѣстно, какъ только заведется какой расколъ и лжеученіе, то отъ женскаго пола отбоя нѣтъ. Все равно, какъ мухи на медъ. Повадились ко мнѣ разныя бабки и старыя дѣвки, въ ноги мнѣ кланяются, руки цѣлуютъ и кричатъ, что я святой и прочее, а одна даже на моей головѣ сіяніе видѣла. Стало тѣсно въ молельной, взялъ я комнату побольше, и пошло у насъ настоящее столпотвореніе, бѣсъ забралъ меня окончательно и заслонилъ свѣтъ отъ очей моихъ своими погаными копытами. Мы всѣ въ родѣ какъ бы взбѣсились. Я читалъ, а бабки и старыя дѣвки пѣли, и этакъ, долго не ѣвши и не пивши, простоявши на ногахъ сутки или дольше, вдругъ начинается съ ними трясеніе, будто ихъ лихорадка бьетъ, потомъ этого то одна крикнетъ, то другая—и этакъ страшно! Я тоже трясусь весь, какъ жидъ на сковородкѣ, самъ не знаю, по какой такой причинѣ, и начинаютъ наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потомъ этого крикъ, визгъ, всѣ пляшемъ и другъ за дружкой бѣгаемъ, бѣгаемъ до упаду. И, такимъ образомъ, въ дикомъ безпамятствѣ впалъ я въ блудъ.

Жандармъ засмѣялся, но, замѣтивъ, что никто больше не смѣется, сталъ серьезенъ и сказалъ:

— Это молоканство. Я читалъ, на Кавказѣ всѣ такъ.

— Но не убило меня громомъ, — продолжалъ Матвѣй, перекрестясь на образъ и пошевеливъ губами. — Должно, молилась за меня на томъ свѣтѣ покойница маменька. Когда уже меня всѣ въ городѣ святымъ почитали и даже дамы и хорошіе господа стали пріѣзжать ко мнѣ потихоньку за утѣшеніемъ, какъ-то пошелъ я къ нашему хозяину Осипу Варламычу прощаться,—тогда прощеный день былъ, — а онъ этакъ заперъ на крючочекъ дверь и остались мы вдвоемъ, съ глазу на глазъ. И сталъ онъ меня отчитывать. А долженъ я вамъ замѣтить, Осипъ Варламычъ безъ образованія, но дальняго ума человѣкъ, и всѣ его почитали и боялись, потому былъ строгой, богоугодной жизни и труженникъ. Городскимъ головой былъ и старо-

стой лѣтъ, можетъ, двадцать, и много добра сдѣлалъ; Ново-Московскую улицу всю покрылъ гравиліемъ, выкрасилъ соборъ и колонны расписалъ подъ малафтитъ. Ну, заперъ дверь и — «давно, говоритъ, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говоритъ, думаешь, что ты святой? Нѣтъ, ты не святой, а богоотступникъ, еретикъ и злодѣй!..» И пошелъ, и пошелъ... Не могу я вамъ выразить, какъ это онъ говорилъ, складненько да умненько, словно по писанному, и такъ трогательно. Говорилъ часа два. Пронялъ онъ меня своими словами, открылись мои глаза. Слушалъ я, слушалъ и — какъ зарыдаю! «Будь, говоритъ, обыкновеннымъ человѣкомъ, ѣшь, пей, одѣвайся и молись, какъ всѣ, а что сверхъ обыкновенія, то отъ бѣса. Вериги, говоритъ, твои отъ бѣса, посты твои отъ бѣса, молельная твоя отъ бѣса; все, говоритъ, это гордость». На другой день, въ чистый понедѣльникъ, привелъ меня Богъ заболѣть. Я надорвался, отвезли меня въ больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакалъ и трепеталъ. Думалъ, что изъ больницы мнѣ прямая дорога — въ адъ, и чуть не померъ. Промучился я на одрѣ болѣзни съ полгода, а какъ выписался, то первымъ дѣломъ отговѣлся по-настоящему и сталъ опять человѣкомъ. Отпускалъ меня Осипъ Варламычъ домой и наставлялъ: «Помни же, Матвѣй, что сверхъ обыкновенія, то отъ бѣса». И я теперь ѣмъ и пью, какъ всѣ, и молюсь какъ всѣ... Ежели теперь, случается, отъ батюшки пахнетъ табакомъ или винцомъ, то я не дерзаю осуждать, потому вѣдь и батюшка обыкновенный человѣкъ. Но какъ только говорятъ, что вотъ въ городѣ или въ деревнѣ завелся, молъ, святой, по недѣлямъ не ѣстъ и свои уставы заводитъ, то ужъ я понимаю, чьи тутъ дѣла. Такъ вотъ, судари мои, какая была исторія въ моей жизни. Теперь и я, какъ Осипъ Варламычъ, все наставляю братца и сестрицу и укоряю ихъ, но выходитъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Не далъ мнѣ Богъ дара.

Разсказъ Матвѣя, повидимому, не произвелъ никакого впечатлѣнія. Сергѣй Никанорычъ ничего не сказалъ и сталъ убирать съ прилавка закуску, а жандармъ заговорилъ о томъ, какъ богатъ братъ Матвѣя, Яковъ Иванычъ.

— У него тысячъ тридцать, по крайней мѣрѣ, — сказалъ онъ.

Жандармъ Жуковъ, рыжій, полнолицый (когда онъ хо-

дилъ, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старшихъ, сидѣлъ развалясь и положивъ ногу на ногу; разговаривая, онъ покачивался и небрежно посвистывалъ, и въ это время на лицѣ его было самодовольное, сытое выраженіе, какъ будто онъ только-что пообѣдалъ. Деньги у него водились и онъ всегда говорилъ о нихъ съ видомъ большого знатока. Онъ занимался комиссіонерствомъ и когда нужно было кому-нибудь продать имѣніе, лошадь или подержанный экипажъ, то обращались къ нему.

— Да, тридцать тысячъ будетъ, пожалуй, — согласился Сергѣй Никанорычъ.—У вашего дѣдушки было огромадное состояніе, — сказалъ онъ, обращаясь къ Матвѣю. — Огромадное! Все потомъ осталось вашему отцу и вашему дядѣ. Вашъ отецъ померъ въ молодыхъ лѣтахъ и послѣ него все забралъ дядя, а потомъ, значитъ, Яковъ Иванычъ. Пока вы съ маменькой на богомолье ходили и на заводѣ тенoромъ пѣли, тутъ безъ васъ не зѣвали.

— На вашу долю приходится тысячъ пятнадцать,—сказалъ жандармъ, покачиваясь. — Трактиръ у васъ общій, значитъ и капиталъ общій. Да. На вашемъ мѣстѣ я давно бы подалъ въ судъ. Я бы въ судъ подалъ само собой, а пока дѣло, одинъ на одинъ всю бы рожу ему до крови...

Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь вѣруетъ не такъ, какъ всѣ, то это непріятно волнуетъ даже людей равнодушныхъ къ вѣрѣ. Жандармъ же не любилъ его еще и за то, что онъ тоже продавалъ лошадей и подержанные экипажи.

— Вамъ не охота судиться съ братомъ, потому что у васъ своихъ денегъ много,—сказалъ буфетчикъ Матвѣю, глядя на него съ завистью. — Хорошо тому, у кого есть средства, а вотъ я, должно-быть, такъ и умру въ этомъ положеніи...

Матвѣй сталъ увѣрять, что у него вовсе нѣтъ денегъ, но Сергѣй Никанорычъ уже не слушалъ; воспоминанія о прошломъ, объ оскорбленіяхъ, которыя онъ терпѣлъ каждый день, нахлынули на него; лысая голова его вспотѣла, онъ покраснѣлъ и замигалъ глазами.

— Жизнь проклятая! — сказалъ онъ съ досадой и ударилъ колбасой о полъ.

III.

Разсказывали, что постоялый дворъ былъ построенъ еще при Александрѣ I, какою-то вдовой, которая поселилась здѣсь со своимъ сыномъ; называлась она Авдотьей Тереховой. У тѣхъ, кто, бывало, проѣзжалъ мимо на почтовыхъ, особенно въ лунныя ночи, темный дворъ съ навѣсомъ и постоянно запертыя ворота своимъ видомъ вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, какъ будто въ этомъ дворѣ жили колдуны или разбойники; и всякій разъ, уже проѣхавъ мимо, ямщикъ оглядывался и подгонялъ лошадей. Останавливались здѣсь неохотно, такъ какъ хозяева всегда были неласковы и брали съ проѣзжихъ очень дорого. Во дворѣ было грязно даже лѣтомъ; здѣсь въ грязи лежали громадныя жирныя свиньи и бродили безъ привязи лошади, которыми барышничали Тереховы, и случалось часто, что лошади, соскучившись, выбѣгали со двора и, какъ бѣшеныя, носились по дорогѣ, пугая странницъ. Въ то время здѣсь было большое движеніе; проходили длинные обозы съ товарами, и бывали тутъ разные случаи, въ родѣ того, напримѣръ, какъ лѣтъ 30 назадъ обозчики, разсердившись, затѣяли драку и убили проѣзжаго купца, и въ полуверстѣ отъ двора до сихъ поръ еще стоитъ погнувшійся крестъ; проѣзжали почтовыя тройки со звонками и тяжелые барскіе дормезы, съ ревомъ и въ облакахъ пыли проходили гурты рогатаго скота.

Когда провели желѣзную дорогу, то въ первое время на этомъ мѣстѣ былъ только полустанокъ, который назывался просто разъѣздомъ, потомъ же лѣтъ черезъ десять построили теперешнюю *Прогонную*. Движеніе по старой почтовой дорогѣ почти прекратилось и по ней уже ѣздили только мѣстные помѣщики и мужики, да весной и осенью проходили толпами рабочіе. Постоялый дворъ превратился въ трактиръ; верхній этажъ обгорѣлъ, крыша стала желтой отъ ржавчины, навѣсъ мало-по-малу обвалился, но на дворѣ въ грязи все еще валялись громадныя, жирныя свиньи, розовыя, отвратительныя. Попрежнему, иногда со двора выбѣгали лошади и бѣшено, задравъ хвосты, носились по дорогѣ. Въ трактирѣ торговали чаемъ, сѣномъ, овсомъ, мукой, а также водкой и пивомъ, распивочно и на выносъ; спиртные напитки продавали съ опаской, такъ какъ патента никогда не брали.

Тереховы вообще всегда отличались религіозностью, такъ что имъ даже дали прозвище — Богомоловы. Но, быть-можетъ, оттого, что они жили особнякомъ, какъ медвѣди, избѣгали людей и до всего доходили своимъ умомъ, они были склонны къ мечтаніямъ и къ колебаніямъ въ вѣрѣ, и почти каждое поколѣніе вѣровало какъ-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоялый дворъ, была старой вѣры, ея же сынъ и оба внука (отцы Матвѣя и Якова) ходили въ православную церковь, принимали у себя духовенство и новымъ образамъ молились съ такимъ же благоговѣніемъ, какъ старымъ; сынъ въ старости не ѣлъ мяса и наложилъ на себя подвигъ молчанія, считая грѣхомъ всякій разговоръ, а у внуковъ была та особенность, что они понимали писаніе не просто, а все искали въ немъ скрытаго смысла, увѣряя, что въ каждомъ святомъ словѣ должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнукъ Авдотьи, Матвѣй, съ самаго дѣтства боролся съ мечтаніями и едва не погибъ; другой правнукъ, Яковъ Иванычъ, былъ православнымъ, но послѣ смерти жены вдругъ пересталъ ходить въ церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не ходила въ церковь и Дашутку не пускала. Про Аглаю еще разсказывали, будто въ молодыхъ лѣтахъ она хаживала въ Веденяпино къ хлыстамъ и что втайнѣ она еще продолжаетъ быть хлыстовкой, а потому-де ходитъ въ бѣломъ платочкѣ.

Яковъ Иванычъ былъ старше Матвѣя на десять лѣтъ. Это былъ очень красивый старикъ, высокаго роста, съ широкою, сѣдою бородой, почти до пояса, и съ густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выраженіе. Носилъ онъ длинную поддевку изъ хорошаго сукна или черный романовскій полушубокъ и вообще старался одѣваться чисто и прилично; калоши носилъ даже въ сухую погоду. Въ церковь онъ не ходилъ потому, что, по его мнѣнію, въ церкви не точно исполняли уставъ, и потому, что священники пили вино въ непоказанное время и курили табакъ. Дома у себя онъ каждый день читалъ и пѣлъ вмѣстѣ съ Аглаей. Въ Веденяпинѣ въ заутрени вовсе не читали канона и вечерни не служили даже въ большіе праздники, онъ же у себя дома прочитывалъ все, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь, а въ свободное время читалъ вслухъ житія.

И въ обыденной жизни онъ строго держался устава; такъ, если въ великомъ посту въ какой-нибудь день разрѣшалось, по уставу, вино «ради труда бдѣннаго», то онъ непремѣнно пилъ вино, даже если не хотѣлось.

Онъ читалъ, пѣлъ, кадилъ и постился не для того, чтобы получить отъ Бога какія-либо блага, а для порядка. Человѣкъ не можетъ жить безъ вѣры и вѣра должна выражаться правильно, изъ года въ годъ, изо дня въ день въ извѣстномъ порядкѣ, чтобы каждое утро и каждый вечеръ человѣкъ обращался къ Богу именно съ тѣми словами и мыслями, какія приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значитъ и молиться такъ, какъ угодно Богу, и поэтому каждый день слѣдуетъ читать и пѣть только то, что угодно Богу, то-есть что полагается по уставу; такъ, первую главу отъ Іоанна нужно читать только въ день Пасхи, а отъ Пасхи до Вознесенія нельзя пѣть «Достойно есть» и проч. Сознаніе этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствіе. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этотъ порядокъ, напримѣръ, уѣзжать въ городъ за товаромъ или въ банкъ, то его мучила совѣсть, и онъ чувствовалъ себя несчастнымъ.

Братъ Матвѣй, пріѣхавшій неожиданно изъ завода и поселившійся въ трактирѣ, какъ дома, съ первыхъ же дней сталъ нарушать порядокъ. Онъ не хотѣлъ молиться вмѣстѣ, ѣлъ и пилъ чай не во-время, поздно вставалъ, въ среды и пятницы пилъ молоко, будто бы по слабости здоровья; почти каждый день во время молитвы онъ входилъ въ молельную и кричалъ: «Образумьтесь, братецъ! Покайтесь, братецъ!» Отъ этихъ словъ Якова Иваныча бросало въ жаръ, а Аглая, не выдержавъ, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвѣй входилъ въ молельную и говорилъ тихо: «Братецъ, ваша молитва не угодна Богу. Потому что сказано: прежде смирись съ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ принеси даръ твой. Вы же деньги въ ростъ даете, водочкой торгуете. Покайтесь!»

Въ словахъ Матвѣя Яковъ видѣлъ лишь обычную отговорку пустыхъ и нерадивыхъ людей, которые говорятъ о любви къ ближнему, о примиреніи съ братомъ и проч. для того только, чтобы не молиться, не поститься и не читать святыхъ книгъ, и которые презрительно отзываются о наживѣ и процентахъ только потому, что не любятъ работать.

Вѣдь быть бѣднымъ, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чѣмъ быть богатымъ.

А все же онъ былъ взволнованъ и уже не могъ молиться, какъ прежде. Едва онъ входилъ въ молельную и раскрывалъ книгу, какъ уже начиналъ бояться, что вотъ-вотъ войдетъ братъ и помѣшаетъ ему; и въ самомъ дѣлѣ, Матвѣй появлялся скоро и кричалъ дрожащимъ голосомъ: «Образумьтесь, братецъ! Покайтесь, братецъ!» Сестра бранилась, и Яковъ тоже выходилъ изъ себя и кричалъ: «Пошелъ вонъ изъ моего дома!» А тотъ ему: «Этотъ домъ нашъ общій».

Начиналъ Яковъ снова читать и пѣть, но уже не могъ успокоиться и, самъ того не замѣчая, вдругъ задумывался надъ книгой; хотя слова брата считалъ онъ пустяками, но почему-то и ему въ послѣднее время тоже стало приходить на память, что богатому трудно войти въ царство небесное, что въ третьемъ году онъ купилъ очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойницѣ женѣ однажды какой-то пьяница умеръ у него въ трактирѣ отъ водки...

По ночамъ онъ спалъ теперь не хорошо, чутко и ему слышно было, какъ Матвѣй тоже не спалъ и все вздыхалъ, скучая по своемъ изразцовомъ заводѣ. И Якову ночью, пока онъ ворочался съ боку на бокъ, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельскія слова о верблюдѣ.

Похоже было на то, какъ будто у него опять начинались мечтанія. А какъ нарочно, каждый день, несмотря на то, что уже былъ конецъ марта, шелъ снѣгъ и лѣсъ шумѣлъ по-зимнему и не вѣрилось, что весна настанетъ когда-нибудь. Погода располагала и къ скукѣ, и къ ссорамъ, и къ ненависти, а ночью, когда вѣтеръ гудѣлъ надъ потолкомъ, казалось, что кто-то жилъ тамъ наверху, въ пустомъ этажѣ, мечтанія мало-по-малу наваливали на умъ, голова горѣла и не хотѣлось спать.

IV.

Утромъ въ страстной понедѣльникъ Матвѣй слышалъ изъ своей комнаты, какъ Дашутка сказала Аглаѣ:

— Дядя Матвѣй говорилъ надысь, поститься, говорилъ, не надо.

Матвѣй припомнилъ весь разговоръ, какой у него былъ наканунѣ съ Дашуткой, и ему вдругъ стало обидно.

— Дѣвушка, не грѣши! — сказалъ онъ стонущимъ голосомъ, какъ больной. — Безъ постовъ нельзя, самъ Господь нашъ постился сорокъ дней. А только я тебѣ объяснялъ, что худому человѣку и постъ не въ пользу.

— А ты только послушай заводскихъ, они научатъ добру,—проговорила насмѣшливо Аглая, моя полъ (въ будни она обыкновенно мыла полы и при этомъ сердилась на всѣхъ).—На заводѣ, извѣстно, какой постъ. Ты вотъ спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, какъ онъ съ ней, съ гадюкой, въ постные дни молоко трескалъ. Другихъ-то онъ учитъ, а самъ забылъ про гадюку. А спроси: кому онъ деньги оставилъ, кому?

Матвѣй тщательно, какъ неопрятную рану, скрывалъ ото всѣхъ, что въ тотъ самый періодъ своей жизни, когда во время моленій съ нимъ вмѣстѣ прыгали и бѣгали старухи и дѣвки, онъ вступилъ въ связь съ одною мѣщанкой и имѣлъ отъ нея ребенка. Уѣзжая домой, онъ отдалъ этой женщинѣ все, что скопилъ на заводѣ, а для себя на проѣздъ взялъ у хозяина, и теперь у него было всего нѣсколько рублей, которые онъ тратилъ на чай и свѣчи. «Душенька» потомъ извѣщала его, что ребенокъ умеръ, и спрашивала въ письмѣ, какъ поступить съ деньгами. Это письмо принесъ со станціи работникъ, Аглая перехватила и прочла, и потомъ каждый день попрекала Матвѣя «душенькой».

— Шутка, девятьсотъ рублей!—продолжала Аглая.—Отдалъ девятьсотъ рублей чужой гадюкѣ, заводской кобылѣ, чтобъ ты лопнулъ! — Она уже разошлась и кричала визгливо:—Молчишь? Я бъ тебя разорвала, лядащій! Девятьсотъ рублей, какъ копеечка! Ты бы подъ Дашутку подписалъ,— своя, не чужая,—а то послалъ бы въ Бѣлевъ Марьинымъ сиротамъ несчастнымъ. И не подавилась твоя гадюка, будь она трижды анаѳема проклята, дьяволица, чтобъ ей свѣтлаго дня не дождаться!

Яковъ Иванычъ окликнулъ ее; было уже время начинать часы. Она умылась, надѣла бѣлую косыночку и пошла въ молельную къ своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила съ Матвѣемъ или въ трактирѣ подавала мужикамъ чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, въ молельной же лицо у нея было чистое, умиленное, сама она какъ-то вся молодѣла, манерно присѣдала и даже складывала сердечкомъ губы.

Яковъ Иванычъ началъ читать часы тихо и заунывно, какъ онъ читалъ всегда въ великій постъ. Почитавъ немного, онъ остановился, чтобы прислушаться къ покою, какой былъ во всемъ домѣ, и потомъ продолжалъ опять читать, испытывая удовольствіе; онъ молитвенно складывалъ руки, закатывалъ глаза, покачивалъ головой, вздыхалъ. Но вдругъ послышались голоса. Къ Матвѣю пришли въ гости жандармъ и Сергѣй Никанорычъ. Яковъ Иванычъ стѣснялся читать вслухъ и пѣть, когда въ домѣ были посторонніе, и теперь, услышавъ голоса, сталъ читать шопотомъ и медленно. Въ молельной было слышно, какъ буфетчикъ говорилъ:

— Татаринъ въ Щеповѣ сдаетъ свое дѣло за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсотъ, а на остальныя вексель. Такъ вотъ, Матвѣй Васильичъ, будьте столь благонадежны, одолжите мнѣ эти пятьсотъ рублей. Я вамъ два процента въ мѣсяцъ.

— Какія у меня деньги!—изумился Матвѣй. — Какія у меня деньги!

— Два процента въ мѣсяцъ, это для васъ, какъ съ неба,— объяснялъ жандармъ. — А лежавши у васъ, ваши деньги только моль ѣстъ и больше никакого результата.

Потомъ гости ушли и наступило молчаніе. Но едва Яковъ Иванычъ началъ опять читать вслухъ и пѣть, какъ изъ-за двери послышался голосъ:

— Братецъ, позвольте мнѣ лошади въ Веденяпино съѣздить!

Это былъ Матвѣй. И у Якова на душѣ стало опять непокойно.

— На чемъ же вы поѣдете?—спросилъ онъ, подумавъ.— На гнѣдомъ работникъ свинью повезъ, а на жеребчикѣ я самъ поѣду въ Шутейкино, вотъ какъ кончу.

— Братецъ, почему это вы можете распоряжаться лошадями, а я нѣтъ?—спросилъ съ раздраженіемъ Матвѣй.

— Потому что я не гулять, а по дѣлу.

— Имущество у насъ общее, значитъ, и лошади общія, и вы это должны понимать, братецъ.

Наступило молчаніе. Яковъ не молился и ждалъ, когда отойдетъ отъ двери Матвѣй.

— Братецъ, — говорилъ Матвѣй: — я человѣкъ больной, не хочу я имѣнія, Богъ съ нимъ, владѣйте, но дайте

хоть малую часть на пропитаніе въ моей болѣзни. Дайте, и я уйду.

Яковъ молчалъ. Ему очень хотѣлось развязаться съ Матвѣемъ, но дать ему денегъ онъ не могъ, такъ какъ всѣ деньги были при дѣлѣ; да и во всемъ роду Тереховыхъ не было еще примѣра, чтобы братья дѣлились; дѣлиться — разориться.

Яковъ молчалъ и все ждалъ, когда уйдетъ Матвѣй, и все смотрѣлъ на сестру, боясь, какъ бы она не вмѣшалась и не началась бы опять брань, какая была утромъ. Когда наконецъ Матвѣй ушелъ, онъ продолжалъ читать, но уже удовольствія не было, отъ земныхъ поклоновъ тяжелѣла голова и темнѣло въ глазахъ, и было скучно слушать свой тихій, заунывный голосъ. Когда такой упадокъ духа бывалъ у него по ночамъ, то онъ объяснялъ его тѣмъ, что не было сна, днемъ же это его пугало и ему начинало казаться, что на головѣ и на плечахъ у него сидятъ бѣсы.

Кончивъ кое-какъ часы, недовольный и сердитый, онъ поѣхалъ въ Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около *Прогонной* межевую канаву и прохарчили въ трактирѣ 18 рублей, и теперь нужно было застать въ Шутейкинѣ ихъ подрядчика и получить съ него эти деньги. Отъ тепла и мятелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и мѣстами уже проваливалась; снѣгъ по бокамъ осѣлъ ниже дороги, такъ что приходилось ѣхать, какъ по узкой насыпи, и сворачивать при встрѣчахъ было очень трудно. Небо хмурилось еще съ утра и дулъ сырой вѣтеръ...

Навстрѣчу ѣхалъ длинный обозъ: бабы везли кирпичъ. Яковъ долженъ былъ свернуть съ дороги; лошадь его вошла въ снѣгъ по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и самъ онъ, чтобы не свалиться, согнулся влѣво и сидѣлъ такъ все время, пока мимо него медленно подвигался обозъ, онъ слышалъ сквозь вѣтеръ, какъ скрипѣли сани и дышали тощія лошади и какъ бабы говорили про него: «Богомоловъ ѣдетъ», — а одна, поглядѣвъ съ жалостью на его лошадь, сказала быстро:

— Похоже, снѣгъ до Егорія пролежитъ. Замучились!

Яковъ сидѣлъ неудобно, согнувшись, и щурилъ глаза отъ вѣтра, а передъ нимъ все мелькали то лошади, то красный кирпичъ. И, быть-можетъ, оттого, что ему было неудобно и болѣлъ бокъ, вдругъ ему стало досадно, и дѣло, по кото-

рому онъ теперь ѣхалъ, показалось ему неважнымъ и онъ сообразилъ, что можно было бы въ Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, какъ въ прошлую безсонную ночь, онъ вспомнилъ слова про верблюда и затѣмъ полѣзли въ голову разныя воспоминанія то о мужикѣ, который продавалъ краденую лошадь, то о пьяницѣ, то о бабахъ, которыя приносили ему въ закладъ самовары. Конечно, каждый купецъ старается взять больше, но Яковъ почувствовалъ утомленіе оттого, что онъ торговецъ, ему захотѣлось уйти куда-нибудь подальше отъ этого порядка и стало скучно отъ мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Вѣтеръ билъ ему прямо въ лицо и шуршалъ въ воротникѣ и казалось, что это онъ нашептывалъ ему всѣ эти мысли, принося ихъ съ широкаго бѣлаго поля... Глядя на это поле, знакомое ему съ дѣтства, Яковъ вспоминалъ, что точно такая же тревога и тѣ же мысли были у него въ молодые годы, когда на него находили мечтанія и колебалась вѣра.

Ему было жутко оставаться одному въ полѣ; онъ повернулъ назадъ и тихо поѣхалъ за обозомъ, а бабы смѣялись и говорили:

— Богомоловъ вернулся.

Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длиннымъ. Яковъ Иванычъ давно уже убралъ лошадь, отпустилъ муки на станцію и раза два принимался читать псалтирь, а до вечера все еще было далеко. Аглая вымыла уже всѣ полы и, отъ нечего дѣлать, убирала у себя въ сундукѣ, крышка котораго изнутри была вся оклеена ярлыками съ бутылокъ. Матвѣй, голодный и грустный, сидѣлъ и читалъ, или же подходилъ къ голландской печкѣ и подолгу осматривалъ изразцы, которые напоминали ему заводъ. Дашутка спала, потомъ, проснувшись, пошла поить скотину. У нея, когда она доставала воду изъ колодца, оборвалась веревка и ведро упало въ воду. Работникъ сталъ искать багоръ, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за нимъ по грязному снѣгу, босая, съ красными, какъ у гусыни, ногами и повторяла: «Тамъ глыбя!» Она хотѣла сказать, что въ колодцѣ глубже, чѣмъ можетъ достать багоръ, но работникъ не понималъ ея и, очевидно, она надоѣла ему, такъ какъ онъ вдругъ обернулся и выбранилъ ее нехорошими словами.

Яковъ Иванычъ, вышедшій въ это время на дворъ, слышалъ, какъ Дашутка отвѣтила работнику скороговоркой длинною, отборною бранью, которой она могла научиться только въ трактирѣ у пьяныхъ мужиковъ.

— Что ты, срамница? — крикнулъ онъ ей и даже испугался.—Какія это ты слова?

А она глядѣла на отца съ недоумѣніемъ, тупо, не понимая, почему нельзя произносить такихъ словъ. Онъ хотѣлъ прочесть ей наставленіе, но она показалась ему такою дикою, темной, и въ первый разъ за все время, пока она была у него, онъ сообразилъ, что у нея нѣтъ никакой вѣры. И вся эта жизнь въ лѣсу, въ снѣгу, съ пьяными мужиками, съ бранью представилась ему такою же дикой и темной, какъ эта дѣвушка, и, вмѣсто того, чтобы читать ей наставленіе, онъ только махнулъ рукой и вернулся въ комнату.

Въ это время опять пришли къ Матвѣю жандармъ и Сергѣй Никанорычъ. Яковъ Иванычъ вспомнилъ, что у этихъ людей тоже нѣтъ никакой вѣры и что это ихъ нисколько не безпокоитъ, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и безпросвѣтною, какъ у собаки; онъ безъ шапки прошелся по двору, потомъ вышелъ на дорогу и ходилъ, сжавъ кулаки,—въ это время пошелъ снѣгъ хлопьями,—борода у него развѣвалась по вѣтру, онъ все встряхивалъ головой, такъ какъ что-то давило ему голову и плечи, будто сидѣли на нихъ бѣсы, и ему казалось, что это ходитъ не онъ, а какой-то звѣрь, громадный, страшный звѣрь, и что если онъ закричитъ, то голосъ его пронесется ревомъ по всему полю и лѣсу и испугаетъ всѣхъ...

V.

Когда онъ вернулся въ домъ, жандарма уже не было, а буфетчикъ сидѣлъ въ комнатѣ Матвѣя и считалъ что-то на счетахъ. Онъ и раньше часто, почти каждый день, бывалъ въ трактирѣ; прежде ходилъ къ Якову Иванычу, а въ послѣднее время къ Матвѣю. Онъ все считалъ на счетахъ, и при этомъ лицо его напрягалось и потѣло, или просилъ денегъ, или, разглаживая бакены, разсказывалъ о томъ, какъ когда-то на первоклассной станціи онъ приготовлялъ для офицеровъ крюшонъ и на парадныхъ обѣдахъ самъ разливалъ стерляжью уху. На этомъ свѣтѣ его ничто не инте-

ресовало, кромѣ буфетовъ, и умѣлъ онъ говорить только о кушаньяхъ, сервировкахъ, винахъ. Однажды, подавая чай молодой женщинѣ, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь пріятное, онъ выразился такъ:

— Грудь матери, это—буфетъ для младенца.

Считая на счетахъ въ комнатѣ Матвѣя, онъ просилъ денегъ, говорилъ, что на *Прогонной* ему уже нельзя жить, и нѣсколько разъ повторилъ такимъ тономъ, какъ будто собирался заплакать:

— Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?

Потомъ Матвѣй пришелъ въ кухню и сталъ чистить вареный картофель, который онъ припряталъ, вѣроятно, со вчерашняго дня. Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчикъ ушелъ. Давно уже была пора начинать вечерню; онъ позвалъ Аглаю и, думая, что въ домѣ нѣтъ никого, запѣлъ безъ стѣсненія, громко. Онъ пѣлъ и читалъ, но мысленно произносилъ другія слова: «Господи, прости! Господи, спаси!» — и одинъ за другимъ, не переставая, клалъ земные поклоны, точно желая утомить себя, и все встряхивалъ головой, такъ что Аглая смотрѣла на него съ удивленіемъ. Онъ боялся, что войдетъ Матвѣй, и былъ увѣренъ, что онъ войдетъ, и чувствовалъ противъ него злобу, которой не могъ одолѣть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвѣй тихо-тихо отворилъ дверь и вошелъ въ молельную.

— Грѣхъ, какой грѣхъ! — сказалъ онъ укоризненно и вздохнулъ.—Покайтесь! Опомнитесь, братецъ!

Яковъ Иванычъ, сжавъ кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышелъ изъ молельной. Такъ же, какъ давеча на дорогѣ, чувствуя себя громаднымъ, страшнымъ звѣремъ, онъ прошелъ черезъ сѣни въ сѣрую, грязную, пропитанную туманомъ дымомъ половину, гдѣ обыкновенно мужики пили чай, и тутъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, тяжело ступая, такъ что звенѣла посуда на полкахъ и шатались столы. Ему уже было ясно, что самъ онъ недоволенъ своею вѣрой и уже не можетъ молиться попрежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться какъ-нибудь иначе. Но какъ молиться? А, можетъ-быть, все это только смущаетъ бѣсъ и ничего этого не нужно?... Какъ быть? Что дѣлать? Кто можетъ на-

учить? Какая безпомощность! Онъ остановился и, взявшись за голову, сталъ думать, но то, что близко находился Матвѣй, мѣшало ему покойно соображать. И онъ быстро пошелъ въ комнаты.

Матвѣй сидѣлъ въ кухнѣ передъ чашкой съ картофелемъ и ѣлъ. Тутъ же около печи сидѣли другъ противъ друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столомъ, за которымъ сидѣлъ Матвѣй, была протянута гладильная доска; на ней стоялъ холодный утюгъ.

— Сестрица,—попросилъ Матвѣй: — позвольте мнѣ маслица!

— Кто же въ такой день масло ѣстъ?—спросила Аглая.

— Я, сестрица, не монахъ, а мірянинъ. А по слабости здоровья мнѣ не то что масло, даже молоко можно.

— Да, у васъ на заводѣ все можно.

Аглая достала съ полки бутылку съ постнымъ масломъ и поставила ее передъ Матвѣемъ, сердито стукнувъ, съ злорадною улыбкой, очевидно, довольная, что онъ такой грѣшникъ.

— А я тебѣ говорю, ты не можешь ѣсть масла!—крикнулъ Яковъ.

Аглая и Дашутка вздрогнули, а Матвѣй, точно не слышалъ, налилъ себѣ масла въ чашку и продолжалъ ѣсть.

— А я тебѣ говорю, ты не можешь ѣсть масла!—крикнулъ Яковъ еще громче, покраснѣлъ весь и вдругъ схватилъ чашку, поднялъ ее выше головы и изо всей силы ударилъ о-земь, такъ что полетѣли черепки. — Не смѣй говорить! — крикнулъ онъ неистовымъ голосомъ, хотя Матвѣй не сказалъ ни слова.—Не смѣй!—повторилъ онъ и ударилъ кулакомъ по столу.

Матвѣй поблѣднѣлъ и всталъ.

— Братецъ!—сказалъ онъ, продолжая жевать.—Братецъ, опомнитесь!

— Вонъ изъ моего дома сію минуту!—крикнулъ Яковъ; ему были противны морщинистое лицо Матвѣя и его голосъ, и крошки на усахъ, и то, что онъ жуетъ..— Вонъ, тебѣ говорятъ!

— Братецъ, уймитесь! Васъ обуяла гордость бѣсовская! Молчи! (Яковъ застучалъ ногами). Уходи, дьяволъ!

Вы, ежели желаете знать,—продолжалъ Матвѣй громко, тоже начиная сердиться: — вы богоотступникъ и еретикъ.

Бѣсы окаянные заслонили отъ васъ истинный свѣтъ, ваша молитва не угодна Богу. Покайтесь, пока не поздно! Смерть грѣшника люта! Покайтесь, братецъ!

Яковъ взялъ его за плечи и потащилъ изъ-за стола, а онъ еще больше поблѣднѣлъ и, испугавшись, смутившись, забормоталъ: «Что жъ оно такое? Что жъ оно такое?»—и, упираясь, дѣлая усилія, чтобы высвободиться изъ рукъ Якова, нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвалъ воротникъ, а Аглаѣ показалось, что это онъ хочетъ бить Якова, она вскрикнула, схватила бутылку съ постнымъ масломъ и изо всей силы ударила ею ненавистнаго брата прямо по темени. Матвѣй пошатнулся и лицо его въ одно мгновеніе стало спокойнымъ, равнодушнымъ; Яковъ, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствіе оттого, что бутылка, ударившись о голову, крякнула, какъ живая, не давалъ ему упасть и нѣсколько разъ (это онъ помнилъ очень хорошо) указалъ Аглаѣ пальцемъ на утюгъ, и только когда полилась по его рукамъ кровь и послышался громкій плачъ Дашутки, и когда съ шумомъ упала гладильная доска и на нее грузно повалился Матвѣй, Яковъ пересталъ чувствовать злобу и понялъ, что̀ произошло.

— Пусть издыхаетъ, заводскій жеребецъ!—съ отвращеніемъ проговорила Аглая, не выпуская изъ рукъ утюга; бѣлый, забрызганный кровью платочекъ сползъ у нея на плечи и сѣдые волосы распустились.—Туда ему и дорога!

Все было страшно. Дашутка сидѣла на полу около печки съ нитками въ рукахъ, всхлипывала и все кланялась, произнося съ каждымъ поклономъ: «гамъ! гамъ!» Но ничто не было такъ страшно для Якова, какъ вареный картофель въ крови, на который онъ боялся наступить, и было еще нѣчто страшное, что угнетало его, какъ тяжкій сонъ, и казалось самымъ опаснымъ и чего онъ никакъ не могъ понять въ первую минуту. Это былъ буфетчикъ Сергѣй Никанорычъ, который стоялъ на порогѣ со счетами въ рукахъ, очень блѣдный, и съ ужасомъ смотрѣлъ на то, что̀ происходило въ кухнѣ. Только когда онъ повернулся и быстро пошелъ въ сѣни, а оттуда наружу, Яковъ понялъ, кто это, и пошелъ за нимъ.

Вытирая на ходу руки о снѣгъ, онъ думалъ. Промелькнула мысль о томъ, что работникъ отпросился ночевать къ себѣ въ деревню и ушелъ уже давно; вчера рѣзали свинью,

и громадныя кровяныя пятна были на снѣгу, на саняхъ и даже одна сторона колодезнаго сруба была обрызгана кровью, такъ что если бы теперь вся семья Якова была въ крови, то это не могло бы показаться подозрительнымъ. Скрывать убійство было бы мучительно, но то, что явится со станціи жандармъ, который будетъ посвистывать и насмѣшливо улыбаться, придутъ мужики и крѣпко свяжутъ руки Якову и Аглаѣ и съ торжествомъ поведутъ ихъ въ волость, а оттуда въ городъ, и дорогой всѣ будутъ указывать на нихъ и весело говорить: «Богомоловыхъ ведутъ!» — это представлялось Якову мучительнѣе всего, и хотѣлось протянуть какъ-нибудь время, чтобы пережить этотъ срамъ не теперь, а когда-нибудь послѣ.

— Я вамъ могу одолжить тысячу рублей...—сказалъ онъ, догнавъ Сергѣя Никанорыча. — Если вы кому скажете, то отъ этого никакой пользы... а человѣка все равно не воскресишь, — и, едва поспѣвая за буфетчикомъ, который не оглядывался и старался идти все скорѣе, онъ продолжалъ:— И полторы тысячи могу дать...

Онъ остановился, потому что запыхался, а Сергѣй Никанорычъ пошелъ дальше все такъ же быстро, вѣроятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновавъ переѣздъ и пройдя половину шоссе, которое вело отъ переѣзда до станціи, онъ мелькомъ оглянулся и пошелъ тише. На станціи и по линіи уже горѣли огни, красные и зеленые; вѣтеръ утихъ, но снѣгъ все еще сыпался хлопьями, и дорога опять побѣлѣла. Но вотъ почти около самой станціи Сергѣй Никанорычъ остановился, подумалъ минуту и рѣшительно пошелъ назадъ. Становилось темно.

— Пожалуйте полторы тысячи, Яковъ Иванычъ, — сказалъ онъ тихо, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Я согласенъ.

VI.

Деньги Якова Иваныча лежали въ городскомъ банкѣ и были розданы подъ вторыя закладныя; дома у себя онъ держалъ немного, только то, что нужно было для оборота. Войдя въ кухню, онъ нащупалъ жестянку со спичками и, пока синимъ огнемъ горѣла сѣра, успѣлъ разглядѣть Матвѣя, который лежалъ попрежнему на полу около стола, но уже былъ накрытъ бѣлою простыней, и были видны только его сапоги. Кричалъ сверчокъ. Аглаи и Дашутки не было

въ комнатахъ: обѣ онѣ сидѣли въ чайной за прилавкомъ и молча мотали нитки. Яковъ Иванычъ съ лампочкой прошелъ къ себѣ въ комнату и вытащилъ изъ-подъ кровати сундучокъ, въ которомъ держалъ расхожія деньги. Въ этотъ разъ набралось всего четыреста двадцать однѣми мелкими бумажками и серебра на тридцать пять рублей; отъ бумажекъ шелъ нехорошій, тяжелый духъ. Забравъ деньги въ шапку, Яковъ Иванычъ вышелъ на дворъ, потомъ за ворота. Онъ шелъ и глядѣлъ по сторонамъ, но буфетчика не было.

— Гопъ!—крикнулъ Яковъ.

У самаго переѣзда отъ шлагбаума отдѣлилась темная фигура и нерѣшительно пошла къ нему.

— Что вы все ходите и ходите?—проговорилъ Яковъ съ досадой, узнавъ буфетчика. — Вотъ вамъ: тутъ немного не хватило до пятисотъ... Дома нѣтъ больше.

— Хорошо... Очень вамъ благодаренъ,—бормоталъ Сергѣй Никанорычъ, хватая деньги съ жадностью и запихивая ихъ въ карманы; онъ весь дрожалъ, и это было замѣтно, несмотря на потемки.—А вы, Яковъ Иванычъ, будьте покойны... Къ чему мнѣ болтать? Мое дѣло такое, я былъ да ушелъ. Какъ говорится, знать ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю...—и тутъ же добавилъ со вздохомъ: — Жизнь проклятая!

Минуту стояли молча, не глядя другъ на друга.

— Такъ это у васъ, изъ пустяковъ, Богъ его знаетъ какъ...—сказалъ буфетчикъ, дрожа.—Сижу я, считаю себѣ и вдругъ шумъ... Гляжу въ дверь, а вы изъ-за постнаго масла... Гдѣ онъ теперь?

— Лежитъ тамъ въ кухнѣ.

— Вы бы его свезли куда... Что ждать?

Яковъ проводилъ его до станціи молча, потомъ вернулся домой и запрягъ лошадь, чтобы везти Матвѣя въ Лимарово. Онъ рѣшилъ, что свезетъ его въ Лимаровскій лѣсъ и оставитъ тамъ на дорогѣ, а потомъ будетъ говорить всѣмъ, что Матвѣй ушелъ въ Веденяпино и не возвращался, и всѣ тогда подумаютъ, что его убили прохожіе. Онъ зналъ, что этимъ никого не обманешь, но двигаться, дѣлать что-нибудь, хлопотать было не такъ мучительно, какъ сидѣть и ждать. Онъ кликнулъ Дашутку и вмѣстѣ съ ней повезъ Матвѣя. А Аглая осталась убирать въ кухнѣ.

Когда Яковъ и Дашутка возвращались назадъ, ихъ задержалъ у переѣзда опущенный шлагбаумъ. Шелъ длинный товарный поѣздъ, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая изъ поддувалъ снопы багроваго огня. На переѣздѣ въ виду станціи передній локомотивъ издалъ пронзительный свистъ.

— Свиститъ...—проговорила Дашутка.

Поѣздъ, наконецъ, прошелъ, и сторожъ не спѣша поднялъ шлагбаумъ.

— Это ты, Яковъ Иванычъ?—сказалъ онъ.—Не узналъ, богатымъ быть.

А потомъ, когда пріѣхали домой, надо было спать. Аглая и Дашутка легли рядомъ, постлавши себѣ въ чайной на полу, а Яковъ расположился на прилавкѣ. Передъ тѣмъ, какъ ложиться, Богу не молились и лампадъ не зажигали. Всѣ трое не спали до самаго утра, но не промолвили ни одного слова, и казалось имъ всю ночь, что наверху въ пустомъ этажѣ кто-то ходитъ.

Черезъ два дня пріѣхали изъ города становой приставъ и слѣдователь и сдѣлали обыскъ сначала въ комнатѣ Матвѣя, потомъ во всемъ трактирѣ. Допрашивали прежде всего Якова, и онъ показалъ, что Матвѣй въ понедѣльникъ подъ вечеръ ушелъ въ Веденяпино говѣть и что, должно-быть, дорогой его убили пильщики, работающіе теперь по линіи. А когда слѣдователь спросилъ его, почему же такъ случилось, что Матвѣя нашли на дорогѣ, а шапка его оказалась дома,—развѣ онъ пошелъ въ Веденяпино безъ шапки? И почему около него на дорогѣ на снѣгу не нашли ни одной капли крови въ то время, какъ голова у него была проломлена, и лицо, и грудь были черны отъ крови, Яковъ смутился, растерялся и отвѣтилъ:

— Не могу знать.

И произошло именно то, чего такъ боялся Яковъ: приходилъ жандармъ, урядникъ курилъ въ молельной и Аглая набросилась на него съ бранью и нагрубила становому приставу, и когда потомъ Якова и Аглаю вели со двора, у воротъ толпились мужики и говорили: «Богомолова ведутъ!» — и казалось, всѣ были рады.

Жандармъ на допросѣ показалъ прямо, что Матвѣя убили Яковъ и Аглая, чтобы не дѣлиться съ нимъ, и что у Матвѣя были свои деньги, и если ихъ не оказалось при обыскѣ, то,

очевидно, ими воспользовались Яковъ и Аглая. И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвѣй и тетка Аглая каждый день бранились и чуть не дрались изъ-за денегъ, а дядя былъ богатый, такъ какъ онъ даже какой-то своей душенькѣ подарилъ девятьсотъ рублей.

Дашутка осталась въ трактирѣ одна; никто ужъ не приходилъ пить чай и водку, и она то убирала въ комнатахъ, то пила медъ и ѣла баранки; но черезъ нѣсколько дней допрашивали сторожа на переѣздѣ, и онъ сказалъ, что въ понедѣльникъ поздно вечеромъ видѣлъ, какъ Яковъ ѣхалъ съ Дашуткой изъ Лимарова. Дашутку тоже арестовали, повели въ городъ и посадили въ острогъ. Въ скорости, со словъ Аглаи, стало извѣстно, что во время убійства присутствовалъ Сергѣй Никанорычъ; у него сдѣлали обыскъ и нашли деньги въ необычномъ мѣстѣ, въ валенкѣ подъ печкой, и деньги все были мелкія, однѣхъ рублевыхъ бумажекъ было триста. Онъ божился, что эти деньги онъ наторговалъ и что въ трактирѣ онъ не былъ уже болѣе года, а свидѣтели показали, что онъ былъ бѣденъ и въ послѣднее время сильно нуждался въ деньгахъ, и ходилъ въ трактиръ каждый день, чтобы взять у Матвѣя взаймы, и жандармъ разсказалъ, какъ въ день убійства самъ онъ два раза ходилъ съ буфетчикомъ въ трактиръ, чтобы помочь ему сдѣлать заемъ. Вспомнили кстати, что въ понедѣльникъ вечеромъ Сергѣй Никанорычъ не выходилъ къ товаро-пассажирскому поѣзду, а уходилъ куда-то. И его тоже арестовали и отправили въ городъ.

Черезъ одиннадцать мѣсяцевъ былъ судъ.

Яковъ Иванычъ сильно постарѣлъ, похудѣлъ и говорилъ уже тихо, какъ больной. Онъ чувствовалъ себя слабымъ, жалкимъ, ниже всѣхъ ростомъ, и было похоже на то, какъ будто отъ мученій совѣсти и мечтаній, которыя не покидали его и въ тюрьмѣ, душа его такъ же постарѣла и отощала, какъ тѣло. Когда зашла рѣчь о томъ, что онъ не ходитъ въ церковь, предсѣдатель спросилъ его:

— Вы раскольникъ?

— Не могу знать, — отвѣтилъ онъ.

Онъ не имѣлъ уже никакой вѣры, ничего не зналъ и не понималъ, а прежняя вѣра была ему теперь противна и казалась неразумной, темной. Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойнаго Матвѣя, обвиняя его во

всѣхъ несчастіяхъ. У Сергѣя Никанорыча на мѣстѣ бакеновъ выросла борода; на судѣ онъ потѣлъ, краснѣлъ и видимо стыдился сѣраго халата и того, что его посадили на одну скамью съ простыми мужиками. Онъ неловко оправдывался и, желая доказать, что въ трактирѣ онъ не былъ цѣлый годъ, вступалъ въ споръ съ каждымъ свидѣтелемъ, и публика смѣялась надъ нимъ. Дашутка, пока была въ тюрьмѣ, пополнѣла; на судѣ она не понимала вопросовъ, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвѣя убивали, то она очень испугалась, а потомъ ничего.

Всѣ четверо были признаны виновными въ убійствѣ съ корыстною цѣлью. Яковъ Иванычъ былъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ на двадцать лѣтъ, Аглая — на тринадцать съ половиной, Сергѣй Никанорычъ — на десять, Дашутка — на шесть.

VII.

На Дуэскомъ рейдѣ на Сахалинѣ поздно вечеромъ остановился иностранный пароходъ и потребовалъ угля. Просили командира подождать до утра, но онъ не пожелалъ ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то онъ рискуетъ уйти безъ угля. Въ Татарскомъ проливѣ погода можетъ рѣзко измѣниться въ какіе-нибудь полчаса, и тогда сахалинскіе берега становятся опасны. А уже свѣжѣло и разводило порядочную волну.

Изъ Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой изъ всѣхъ сахалинскихъ тюремъ, погнали въ рудникъ партію арестантовъ. Предстояло нагружать углемъ баржи, затѣмъ тащить ихъ на буксирѣ парового катера къ борту парохода, который стоялъ болѣе чѣмъ въ полверстѣ отъ берега, и тамъ должна была начаться перегрузка — мучительная работа, когда баржу бьетъ о пароходъ и рабочіе едва держатся на ногахъ отъ морской болѣзни. Каторжные, только-что поднятые съ постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь въ потемкахъ и звеня кандалами. Налѣво былъ едва виденъ высокій крутой берегъ, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, безпросвѣтная тьма, въ которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звукъ: «а... а... а... а...», и только когда надзиратель закуривалъ трубку и при этомъ мелькомъ освѣщался конвойный съ ружьемъ и два-три ближайшихъ арестанта съ грубыми ли-

цами, или когда онъ подходилъ съ фонаремъ близко къ водѣ, то можно было разглядѣть бѣлые гребни переднихъ волнъ.

Въ этой партіи находился Яковъ Иванычъ, прозванный на каторгѣ Вѣникомъ за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величалъ, а звали просто Яшкой. Былъ онъ здѣсь на плохомъ счету, такъ какъ мѣсяца черезъ три по прибытіи на каторгу, чувствуя сильную, непобѣдимую тоску по родинѣ, онъ поддался искушенію и бѣжалъ, а его скоро поймали, присудили къ безсрочной каторгѣ и дали ему сорокъ плетей; потомъ его еще два раза наказывали розгами за растрату казеннаго платья, хотя это платье въ оба раза было у него украдено. Тоска по родинѣ началась у него съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ его везли въ Одессу и арестантскій поѣздъ остановился ночью на *Прогонной*, и Яковъ, припавъ къ окну, старался увидѣть родной дворъ и ничего не увидѣлъ впотьмахъ.

Не съ кѣмъ было поговорить о родной сторонѣ. Сестру Аглаю отправили на каторгу черезъ Сибирь, и было неизвѣстно, гдѣ она теперь. Дашутка была на Сахалинѣ, но ее отдали какому-то поселенцу въ сожительницы, въ дальнее селеніе; слуховъ о ней не было никакихъ, и разъ только одинъ поселенецъ, попавшій въ Воеводскую тюрьму, разсказывалъ Якову, будто Дашутка имѣла уже троихъ дѣтей. Сергѣй Никанорычъ служилъ лакеемъ у чиновника тутъ же не далеко, въ Дуэ, но нельзя было разсчитывать повидаться съ нимъ когда-нибудь, такъ какъ онъ стыдился знакомства съ каторжными изъ простого званія.

Партія пришла въ рудникъ и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будетъ, такъ какъ погода все портится и пароходъ будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Одинъ изъ нихъ двигался: это — паровой катеръ ходилъ къ пароходу и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будетъ работа или нѣтъ. Дрожа отъ осенняго холода и морской сырости, кутаясь въ свой короткій, рваный полушубокъ, Яковъ Иванычъ пристально, не мигая, смотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ была родина. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ пожилъ въ одной тюрьмѣ вмѣстѣ съ людьми, пригнанными сюда съ разныхъ концовъ,—съ русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и съ тѣхъ поръ, какъ прислушался

къ ихъ разговорамъ, наглядѣлся на ихъ страданія, онъ опять сталъ возноситься къ Богу, и ему казалось, что онъ наконецъ, узналъ настоящую вѣру, ту самую, которой такъ жаждалъ и такъ долго искалъ и не находилъ весь его родъ, начиная съ бабки Авдотьи. Все уже онъ зналъ и понималъ, гдѣ Богъ и какъ должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребій людей такъ различенъ, почему эта простая вѣра, которую другіе получаютъ отъ Бога даромъ вмѣстѣ съ жизнью, досталась ему такъ дорого, что отъ всѣхъ этихъ ужасовъ и страданій, которые, очевидно, будутъ безъ перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, какъ у пьяницы, руки и ноги? Онъ вглядывался напряженно въ потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верстъ этой тьмы онъ видитъ родину, видитъ родную губернію, свой уѣздъ, *Прогонную,* видитъ темноту, дикость, безсердечіе и тупое, суровое, скотское равнодушіе людей, которыхъ онъ тамъ покинулъ; зрѣніе его туманилось отъ слезъ, но онъ все смотрѣлъ вдаль, гдѣ еле-еле свѣтились блѣдные огни парохода, и сердце щемило отъ тоски по родинѣ и хотѣлось жить, вернуться домой, разсказать тамъ про свою новую вѣру и спасти отъ погибели хотя бы одного человѣка и прожить безъ страданій хотя бы одинъ день.

Катеръ пришелъ, и надзиратель объявилъ громко, что нагрузки не будетъ.

— Назадъ! — скомандовалъ онъ. — Смирно!

Было слышно, какъ на пароходѣ убирали якорную цѣпь. Дулъ уже сильный, пронзительный вѣтеръ и гдѣ-то вверху на крутомъ берегу скрипѣли деревья. Вѣроятно, начинался штормъ.

АРІАДНА.

На палубѣ парохода, шедшаго изъ Одессы въ Севастополь, какой-то господинъ, довольно красивый, съ круглою бородкой, подошелъ ко мнѣ, чтобы закурить, и сказалъ:

— Обратите вниманіе на этихъ нѣмцевъ, что сидятъ около рубки. Когда сойдутся нѣмцы или англичане, то говорятъ о цѣнахъ на шерсть, объ урожаѣ, о своихъ личныхъ дѣлахъ; но почему-то, когда сходимся мы, русскіе, то говоримъ только о женщинахъ и высокихъ матеріяхъ. Но главное—о женщинахъ.

Лицо этого господина было уже знакомо мнѣ. Наканунѣ мы возвращались въ одномъ поѣздѣ изъ-за границы, и въ Волочискѣ я видѣлъ, какъ онъ во время таможеннаго осмотра стоялъ вмѣстѣ съ дамой, своей спутницей, передъ цѣлою горой чемодановъ и корзинъ, наполненныхъ дамскимъ платьемъ, и какъ онъ былъ смущенъ и подавленъ, когда пришлось платить пошлину за какую-то шелковую тряпку, а его спутница протестовала и грозила кому-то пожаловаться; потомъ по пути въ Одессу я видѣлъ, какъ онъ носилъ въ дамское отдѣленіе то пирожки, то апельсины.

Было немножко сыро, слегка покачивало, и дамы ушли къ себѣ въ каюты. Господинъ съ круглою бородкой сѣлъ со мной рядомъ и продолжалъ:

— Да, когда русскіе сходятся, то говорятъ только о высокихъ матеріяхъ и женщинахъ. Мы такъ интеллигентны, такъ важны, что изрекаемъ однѣ истины и можемъ рѣшать вопросы только высшаго порядка. Русскій актеръ не умѣетъ шалить, онъ въ водевилѣ играетъ глубокомысленно; такъ и

мы: когда приходится говорить о пустякахъ, то мы трактуемъ ихъ не иначе, какъ съ высшей точки зрѣнія. Это недостатокъ смѣлости, искренности и простоты. О женщинахъ же мы говоримъ такъ часто потому, мнѣ кажется, что мы неудовлетворены. Мы слишкомъ идеально смотримъ па женщинъ и предъявляемъ требованія, несоизмѣримыя съ тѣмъ, что можетъ дать дѣйствительность, мы получаемъ далеко не то, что хотимъ, и въ результатѣ неудовлетворенность, разбитыя надежды, душевная боль, а что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. Вамъ не скучно продолжать этотъ разговоръ?

— Нѣтъ, нисколько.

— Въ такомъ случаѣ позвольте представиться,—сказалъ мой собесѣдникъ, слегка приподнимаясь: — Иванъ Ильичъ Шамохинъ, московскій помѣщикъ нѣкоторымъ образомъ... Васъ же я хорошо знаю.

Онъ сѣлъ и продолжалъ, ласково и искренно глядя мнѣ въ лицо:

— Эти постоянные разговоры о женщинахъ какой-нибудь философъ средней руки, въ родѣ Макса Нордау, объяснилъ бы эротическимъ помѣшательствомъ, или тѣмъ, что мы крѣпостники и прочее, я же на это дѣло смотрю иначе. Повторяю: мы неудовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотимъ, чтобы существа, которыя рожаютъ насъ и нашихъ дѣтей, были выше насъ, выше всего на свѣтѣ. Когда мы молоды, то поэтизируемъ и боготворимъ тѣхъ, въ кого влюбляемся; любовь и счастье у насъ—синонимы. У насъ въ Россіи бракъ не по любви презирается, чувственность смѣшна и внушаетъ отвращеніе, и наибольшимъ успѣхомъ пользуются тѣ романы и повѣсти, въ которыхъ женщины красивы, поэтичны и возвышенны, и если русскій человѣкъ издавна восторгается рафаэлевской Мадонной, или озабоченъ женской эмансипаціей, то, увѣряю васъ, тутъ нѣтъ ничего напускного. Но бѣда вотъ въ чемъ. Едва мы женимся, или сходимся съ женщиной, проходитъ какихъ-нибудь два-три года, какъ мы уже чувствуемъ себя разочарованными, обманутыми; сходимся съ другими, и опять разочарованіе, опять ужасъ, и въ концѣ-концовъ убѣждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки, — однимъ словомъ, не только не выше, но даже неизмѣримо ниже насъ, мужчинъ. И намъ, неудо-

влетвореннымъ, обманутымъ, не остается ничего больше, какъ брюзжать и походя говорить о томъ, въ чемъ мы такъ жестоко обманулись.

Пока Шамохинъ говорилъ, я замѣтилъ, что русскій языкъ и русская обстановка доставляли ему большое удовольствіе. Это оттого, вѣроятно, что за границей онъ сильно соскучился по родинѣ. Хваля русскихъ и приписывая имъ рѣдкій идеализмъ, онъ не отзывался дурно объ иностранцахъ, и это располагало въ его пользу. Было также замѣтно, что на душѣ у него неладно и хочется ему говорить больше о себѣ самомъ, чѣмъ о женщинахъ, и что не миновать мнѣ выслушать какую-нибудь длинную исторію, похожую на исповѣдь.

И въ самомъ дѣлѣ, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, онъ началъ такъ:

— Помнится, въ какой-то повѣсти Вельтмана кто-то говоритъ: «вотъ такъ исторія» А другой ему отвѣчаетъ: — «нѣтъ, это не исторія, а только интродукція въ исторію». Такъ и то, что я до сихъ поръ говорилъ, есть только интродукція, мнѣ же собственно хочется разсказать вамъ свой послѣдній романъ. Виноватъ, я еще разъ спрошу: вамъ не скучно слушать?

Я сказалъ, что не скучно, и онъ продолжалъ:

— Дѣйствіе происходитъ въ Московской губерніи, въ одномъ изъ ея сѣверныхъ уѣздовъ. Природа тутъ, долженъ я вамъ сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высокомъ берегу быстрой рѣчки, у такъ-называемаго быркаго мѣста, гдѣ вода шумитъ день и ночь; представьте же себѣ большой старый садъ, уютные цвѣтники, пасѣку, огородъ, внизу рѣка, съ кудрявымъ ивнякомъ, который въ большую росу кажется немножко матовымъ, точно сѣдѣетъ, а по ту сторону лугъ, за лугомъ на холмѣ страшный, темный боръ. Въ этомъ бору рыжики родятся видимо-невидимо и въ самой чащѣ живутъ лоси. Я умру, заколотятъ меня въ гробъ, а все мнѣ, кажется, будутъ сниться раннія утра, когда, знаете, больно глазамъ отъ солнца, или чудные весенніе вечера, когда въ саду и за садомъ кричатъ соловьи и дергачи, а съ деревни доносится гармоника, въ домѣ играютъ на роялѣ, шумитъ рѣка — однимъ словомъ, такая музыка, что хочется и плакать, и громко пѣть. Запашка у насъ небольшая, но выручаютъ луга, которые

вмѣстѣ съ лѣсомъ даютъ тысячъ около двухъ ежегодно. Я у отца единственный сынъ, оба мы люди скромные, и этихъ денегъ, плюсъ еще отцовская пенсія, совершенно хватало. Первые три года по окончаніи университета я прожилъ въ деревнѣ, хозяйничалъ и все ждалъ, что меня куда-нибудь выберутъ, главное же, я былъ сильно влюбленъ въ одну необыкновенно красивую, обаятельную дѣвушку. Была она сестрой моего сосѣда, помѣщика Котловича, прогорѣвшаго барина, у котораго въ имѣніи были ананасы, замѣчательные персики, громоотводы, фонтанъ посреди двора и въ то же время ни копейки денегъ. Онъ ничего не дѣлалъ, ничего не умѣлъ, былъ какой-то кволый, точно сдѣланный изъ пареной рѣпы; лѣчилъ мужиковъ гомеопатіей и занимался спиритизмомъ. Человѣкъ онъ, впрочемъ, былъ деликатный, мягкій и неглупый, но не лежитъ у меня душа къ этимъ господамъ, которые бесѣдуютъ съ духами и лѣчатъ бабъ магнетизмомъ. Во-первыхъ, у умственно несвободныхъ людей всегда бываетъ путаница понятій и говорить съ ними чрезвычайно трудно, и, во-вторыхъ, обыкновенно никого они не любятъ, съ женщинами не живутъ, а эта таинственность дѣйствуетъ на впечатлительныхъ людей непріятно. И наружность его мнѣ не нравилась. Онъ былъ высокъ, толстъ, бѣлъ, съ маленькой головой, съ маленькими блестящими глазами, съ бѣлыми пухлыми пальцами. Онъ не жалъ вамъ руку, а мялъ. И все бывало извиняется. Проситъ что-нибудь — извините, даетъ — тоже извините. Что же касается его сестры, то это лицо совсѣмъ изъ другой оперы. Надо вамъ замѣтить, что въ дѣтствѣ и въ юности я не былъ знакомъ съ Котловичами, такъ какъ мой отецъ былъ профессоромъ въ N., и мы долго жили въ провинціи, а когда я познакомился съ ними, то этой дѣвушкѣ было уже двадцать-два года, и она давно успѣла и институтъ кончить, и пожить года два-три въ Москвѣ, съ богатой теткой, которая вывозила ее въ свѣтъ. Когда я познакомился и мнѣ впервые пришлось говорить съ ней, то меня прежде всего поразило ея рѣдкое и красивое имя — Аріадна. Оно такъ шло къ ней! Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно граціозная, съ изящными, въ высшей степени благородными чертами лица. У нея тоже блестѣли глаза, но у брата они блестѣли холодно и слащаво, какъ леденцы, въ ея же взглядѣ свѣтилась моло-

дость, красивая, гордая. Она покорила меня въ первый же день знакомства, — и не могло быть иначе. Первыя впечатлѣнія были такъ властны, что я до сихъ поръ не разстаюсь съ иллюзіями, мнѣ все еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту дѣвушку, былъ какой-то широкій, изумительный замыселъ. Голосъ Аріадны, ея шаги, шляпка и даже отпечатки ея ножекъ на песчаномъ берегу, гдѣ она удила пескарей, вызывали во мнѣ радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекраснымъ формамъ я судилъ о душевной организаціи, и каждое слово Аріадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать въ ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста въ обращеніи, поэтично вѣрила въ Бога, поэтично разсуждала о смерти, и въ ея душевномъ складѣ было такое богатство оттѣнковъ, что даже своимъ недостаткамъ она могла придавать какія-то особенныя, милыя свойства. Положимъ, понадобилась ей новая лошадь, а денегъ нѣтъ,—ну, что жъ за бѣда? Можно продать что-нибудь, или заложить, а если приказчикъ божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать съ флигелей желѣзныя крыши и спустить ихъ на фабрику, или въ самую горячую пору погнать рабочихъ лошадей на базаръ и продать тамъ за безцѣнокъ. Эти необузданныя желанія порой приводили въ отчаяніе всю усадьбу, но выражала она ихъ съ такимъ изяществомъ, что ей, въ концѣ-концовъ, все прощалось и все позволялось, какъ богинѣ или женѣ Цезаря. Любовь моя была трогательна и ее скоро всѣ замѣтили: и мой отецъ, и сосѣди, и мужики. И всѣ мнѣ сочувствовали. Когда, случалось, я угощалъ рабочихъ водкой, то они кланялись и говорили:

— Дай Богъ вамъ жениться на котловичевой барышнѣ.

И сама Аріадна знала, что я ее люблю. Она часто пріѣзжала къ намъ верхомъ или на шарабанѣ и проводила иногда цѣлые дни со мною и съ отцомъ. Съ моимъ старикомъ она подружилась, и онъ даже научилъ ее кататься на велосипедѣ,—это было его любимое развлеченіе. Помню, какъ однажды вечеромъ они собрались кататься и я помогалъ ей сѣсть на велосипедъ, и въ это время она была такъ хороша, что мнѣ казалось, будто я, прикасаясь къ ней, обжигалъ себѣ руки, я дрожалъ отъ восторга, и когда они оба, старикъ и она, красивые, стройные, покатили рядомъ

по шоссе, встрѣчная вороная лошадь, на которой ѣхалъ приказчикъ, бросилась въ сторону, и мнѣ показалось, что она бросилась оттого, что была тоже поражена красотой. Моя любовь, мое поклоненіе трогали Аріадну, умиляли ее, и ей страстно хотѣлось быть тоже очарованною, какъ я, и отвѣчать мнѣ тоже любовью. Вѣдь это такъ поэтично!

Но любить по-настоящему, какъ я, она не могла, такъ какъ была холодна и уже достаточно испорчена. Въ ней уже сидѣлъ бѣсъ, который день и ночь шепталъ ей, что она очаровательна, божественна, и она, опредѣленно не знавшая, для чего собственно она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя въ будущемъ не иначе, какъ очень богатою и знатною, ей грезились балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой salon и цѣлый рой графовъ, князей, посланниковъ, знаменитыхъ художниковъ и артистовъ, и все это поклоняется ей и восхищается ея красотой и туалетами... Эта жажда власти и личныхъ успѣховъ и эти постоянныя мысли все въ одномъ направленіи расхолаживаютъ людей, и Аріадна была холодна: и ко мнѣ, и къ природѣ, и къ музыкѣ. Время между тѣмъ шло, а посланниковъ все не было, Аріадна продолжала жить у своего брата спирита, дѣла становились все хуже, такъ что уже ей не на что было покупать себѣ платья и шляпки и приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бѣдность.

Какъ нарочно, когда она еще жила въ Москвѣ у тетки, къ ней сватался нѣкій князь Мактуевъ, человѣкъ богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрѣзъ, Но теперь иногда ее мучилъ червь раскаянія: зачѣмъ отказала. Какъ нашъ мужикъ дуетъ съ отвращеніемъ на квасъ съ тараканами и, все-таки, пьетъ, такъ и она брезгливо морщилась при воспоминаніи о князѣ и, все-таки, говорила мнѣ:

— Что ни говорите, а въ титулѣ есть что-то необъяснимое, обаятельное...

Она мечтала о титулѣ, о блескѣ, но въ то же время ей не хотѣлось упустить и меня. Какъ тамъ ни мечтай о посланникахъ, а все же сердце не камень и жаль бываетъ своей молодости. Аріадна старалась влюбиться, дѣлала видъ, что любитъ, и даже клялась мнѣ въ любви. Но я человѣкъ нервный, чуткій; когда меня любятъ, то я чувствую это

даже на разстояніи, безъ увѣреній и клятвъ, тутъ же вѣяло на меня холодомъ, и когда она говорила мнѣ о любви, то мнѣ казалось, что я слышу пѣніе металлическаго соловья. Аріадна сама чувствовала, что у нея не хватаетъ пороху, ей было досадно, и я не разъ видѣлъ, какъ она плакала. А то, можете себѣ представить, она вдругъ обняла меня порывисто и поцѣловала, — это произошло вечеромъ, на берегу, — и я видѣлъ по глазамъ, что она меня не любитъ, а обняла просто изъ любопытства, чтобы испытать себя: что, молъ, изъ этого выйдетъ. И мнѣ сдѣлалось страшно. Я взялъ ее за руки и проговорилъ въ отчаяніи:

— Эти ласки безъ любви причиняютъ мнѣ страданіе!

— Какой вы... чудакъ!—сказала она съ досадой и отошла.

По всей вѣроятности, прошелъ бы еще годъ-два, и я женился бы на ней, тѣмъ и кончилась бы эта исторія, но судьбѣ угодно было устроить нашъ романъ по-иному. Случилось такъ, что на нашемъ горизонтѣ появилась новая личность. Къ брату Аріадны пріѣхалъ погостить его университетскій товарищъ Лубковъ, Михаилъ Иванычъ, милый человѣкъ, про котораго кучера и лакеи говорили: «за-анятный господинъ!» Этакъ средняго роста, тощенькій, плѣшивый, лицо, какъ у добраго буржуа, не интересное, но благообразное, блѣдное, съ жесткими холеными усами, на шеѣ гусиная кожа съ пупырышками, большой кадыкъ. Носилъ онъ pince-nez на широкой черной тесьмѣ, картавилъ, не выговаривая ни *р*, ни *л*, такъ что, напримѣръ, слово «сдѣлалъ» у него выходило такъ: сдѣвавъ. Онъ былъ всегда веселъ, все ему было смѣшно. Женился онъ какъ-то необыкновенно глупо, двадцати лѣтъ, получилъ въ приданое два дома въ Москвѣ, подъ Дѣвичьимъ, занялся ремонтомъ и постройкой бани, разорился въ пухъ, и теперь его жена и четверо дѣтей жили въ «Восточныхъ номерахъ», терпѣли нужду, и онъ долженъ былъ содержать ихъ, — и это ему было смѣшно. Ему было 36 лѣтъ, а женѣ его уже 42,—и это тоже было смѣшно. Мать его, чванная, надутая особа съ дворянскими претензіями, презирала его жену и жила отдѣльно съ цѣлою оравой собакъ и кошекъ, и онъ долженъ былъ выдавать ей особо по 75 рублей въ мѣсяцъ; и самъ онъ былъ человѣкъ со вкусомъ, любилъ позавтракать въ Славянскомъ Базарѣ и пообѣдать въ Эрмитажѣ; денегъ

нужно было очень много, но дядя выдавалъ ему только по двѣ тысячи въ годъ, этого не хватало, и онъ по цѣлымъ днямъ бѣгалъ по Москвѣ, какъ говорится, высунувъ языкъ, и искалъ, гдѣ бы перехватить взаймы,—и это тоже было смѣшно. Пріѣхалъ онъ къ Котловичу, какъ говорилъ, для того, чтобы отдохнуть на лонѣ природы отъ семейной жизни. За обѣдомъ, за ужиномъ, на прогулкахъ онъ говорилъ намъ про свою жену, про мать, про кредиторовъ, судебныхъ приставовъ и смѣялся надъ ними; смѣялся надъ собой и увѣрялъ, что, благодаря этой способности брать взаймы, онъ пріобрѣлъ много пріятныхъ знакомствъ. Смѣялся онъ, не переставая, и мы тоже смѣялись. При немъ и время мы стали проводить иначе. Я былъ склоненъ больше къ тихимъ, такъ сказать, идиллическимъ удовольствіямъ; любилъ уженье рыбы, вечернія прогулки, собиранье грибовъ; Лубковъ же предпочиталъ пикники, ракеты, охоту съ гончими. Онъ раза три въ недѣлю затѣвалъ пикники, и Аріадна съ серьезнымъ, вдохновеннымъ лицомъ записывала на бумажкѣ устрицъ, шампанскаго, конфектъ и посылала меня въ Москву, конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикникахъ тосты, смѣхъ и опять жизнерадостные разсказы о томъ, какъ стара жена, какія у матери жирныя собачки, какіе милые люди кредиторы...

Лубковъ любилъ природу, но смотрѣлъ на нее, какъ на нѣчто давно уже извѣстное, притомъ по существу стоящее неизмѣримо ниже его и созданное только для его удовольствія. Бывало остановится передъ какимъ-нибудь великолѣпнымъ пейзажемъ и скажетъ: «Хорошо бы здѣсь чайку попить!» Однажды увидѣвъ Аріадну, которая вдали шла съ зонтикомъ, онъ кивнулъ на нее и сказалъ:

— Она худа, и это мнѣ нравится. Я не люблю полныхъ.

Меня это покоробило. Я попросилъ его не выражаться такъ при мнѣ о женщинахъ. Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и сказалъ:

— Что же въ томъ дурного, что я люблю худыхъ и не люблю полныхъ?

Я ничего ему не отвѣтилъ. Потомъ, какъ-то, будучи въ отличномъ расположеніи и слегка на-веселѣ, онъ сказалъ:

— Я замѣтилъ, вы Аріаднѣ Григорьевнѣ нравитесь. Удивляюсь вамъ, отчего вы зѣваете.

Мнѣ стало неловко отъ этихъ словъ, и я, смущаясь, высказалъ ему свой взглядъ на любовь и женщинъ.

— Не знаю,—вздохнулъ онъ.—По-моему, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Аріадна Григорьевна, какъ вы говорите, поэтична и возвышенна, но это не значитъ, что она должна быть внѣ законовъ природы. Вы сами видите, она уже въ такомъ возрастѣ, когда ей нуженъ мужъ или любовникъ. Я уважаю женщинъ не меньше вашего, но думаю, что извѣстныя отношенія не исключаютъ поэзіи. Поэзія сама по себѣ, а любовникъ самъ по себѣ. Все равно, какъ въ сельскомъ хозяйствѣ: красота природы сама по себѣ, а доходъ съ лѣсовъ и полей самъ по себѣ.

Когда я и Аріадна удили пескарей, Лубковъ лежалъ тутъ же на пескѣ и подшучивалъ надо мной или училъ меня, какъ жить.

— Удивляюсь, сударь, какъ это вы можете жить безъ романа!—говорилъ онъ.—Вы молоды, красивы, интересны,—однимъ словомъ, мужчина хоть куда, а живете по-монашески. Охъ, уже эти мнѣ старики въ 28 лѣтъ! Я старше васъ почти на десять лѣтъ, а кто изъ насъ моложе? Аріадна Григорьевна, кто?

— Конечно, вы,—отвѣчала ему Аріадна.

И когда ему надоѣдало наше молчаніе и то вниманіе, съ какимъ мы глядѣли на поплавки, онъ уходилъ въ домъ, а она говорила, глядя на меня сердито:

— Въ самомъ дѣлѣ, вы не мужчина, а какая-то, прости Господи, размазня. Мужчина долженъ увлекаться, безумствовать, дѣлать ошибки, страдать! Женщина проститъ вамъ и дерзость, и наглость, но она никогда не проститъ этой вашей разсудительности.

Она не на шутку сердилась и продолжала:

— Чтобы имѣть успѣхъ, надо быть рѣшительнымъ и смѣлымъ. Лубковъ не такъ красивъ, какъ вы, но онъ интереснѣе васъ и всегда будетъ имѣть успѣхъ у женщинъ, потому что онъ не похожъ на васъ, онъ мужчина...

И даже какое-то ожесточеніе слышалось въ ея голосѣ. Однажды за ужиномъ она, не обращаясь ко мнѣ, стала говорить о томъ, что если бы она была мужчиной, то не кисла бы въ деревнѣ, а поѣхала бы путешествовать, жила бы зимой гдѣ-нибудь за границей, напримѣръ, въ Италіи.

О, Италія! Тутъ отецъ мой невольно подлилъ масла въ огонь; онъ долго разсказывалъ про Италію, какъ тамъ хорошо, какая чудная природа, какіе музеи! У Аріадны вдругъ загорѣлось желаніе ѣхать въ Италію. Она даже кулакомъ по столу ударила и глаза у ней засверкали: ѣхать!

И начались затѣмъ разговоры, какъ хорошо будетъ въ Италіи,—ахъ Италія, ахъ да охъ—и такъ каждый день, и когда Аріадна глядѣла мнѣ черезъ плечо, то по ея холодному и упрямому выраженію я видѣлъ, что въ своихъ мечтахъ она уже покорила Италію со всѣми ея салонами, знатными иностранцами и туристами и что удержать ее уже невозможно. Я совѣтовалъ обождать немного, отложить поѣздку на годъ-два, но она брезгливо морщилась и говорила:

— Вы разсудительны, какъ старая баба.

Лубковъ же былъ за поѣздку. Онъ говорилъ, что это обойдется очень дешево и что онъ тоже съ удовольствіемъ поѣдетъ въ Италію и отдохнетъ тамъ отъ семейной жизни. Я, каюсь, велъ себя наивно, какъ гимназистъ. Не изъ ревности, а изъ предчувствія чего-то страшнаго, необычайнаго, я старался, когда было возможно, не оставлять ихъ вдвоемъ, и они подшучивали надо мной; напримѣръ, когда я входилъ, дѣлали видъ, что только-что цѣловались и т. п.

Но вотъ въ одно прекрасное утро является ко мнѣ ея пухлый, бѣлый братъ—спиритъ и выражаетъ желаніе поговорить со мной наединѣ. Это былъ человѣкъ безъ воли; несмотря на воспитаніе и деликатность, онъ никакъ не могъ удержаться, чтобы не прочесть чужого письма, если оно лежало передъ нимъ на столѣ. И теперь въ разговорѣ онъ признался, что нечаянно прочелъ письмо Лубкова къ Аріаднѣ.

— Изъ этого письма я узналъ, что она въ скоромъ времени уѣзжаетъ за границу. Милый другъ, я очень взволнованъ! Объясните мнѣ Бога ради, я ничего не понимаю!

Когда онъ говорилъ это, то тяжело дышалъ, дышалъ мнѣ прямо въ лицо, и отъ него пахло вареной говядиной.

— Извините, я посвящаю васъ въ тайны этого письма,— продолжалъ онъ: — но вы другъ Аріадны, она васъ уважаетъ! Быть-можетъ, вамъ извѣстно что-нибудь. Она хочетъ уѣхать, но съ кѣмъ? Господинъ Лубковъ тоже собирается съ ней ѣхать. Извините, но это даже странно со

стороны господина Лубкова. Онъ—женатый человѣкъ, имѣетъ дѣтей, а между тѣмъ объясняется въ любви, пишетъ Аріандѣ *ты*. Извините, но это странно!

Я похолодѣлъ, руки и ноги у меня онѣмѣли, и я почувствовалъ въ груди боль, какъ будто положили туда трехъугольный камень. Котловичъ въ изнеможеніи опустился въ кресло, и руки у него повисли, какъ плети.

— Что же я могу сдѣлать?—спросилъ я.

— Внушить ей, убѣдить... Посудите: что ей Лубковъ? Пара ли онъ ей? О, Боже, какъ это ужасно, какъ ужасно!—продолжалъ онъ, хватая себя за голову. У нея такія чудесныя партіи, какъ Мактуевъ и... и другіе. Князь обожаетъ ее и не дальше, какъ въ среду на прошлой недѣлѣ, его покойный дѣдъ Иларіонъ положительно, какъ дважды два, подтверждалъ, что Аріадна будетъ его женой. Положительно! Дѣдъ Иларіонъ уже мертвъ, но это изумительно умный человѣкъ. Духъ его мы вызываемъ каждый день.

Послѣ этого разговора я не спалъ всю ночь, хотѣлъ застрѣлиться. Утромъ я написалъ пять писемъ и всѣ изорвалъ въ клочки, потомъ рыдалъ въ ригѣ, потомъ взялъ у отца денегъ и уѣхалъ на Кавказъ не простившись.

Конечно, женщина есть женщина, и мужчина есть мужчина, но неужели все это такъ же просто въ наше время, какъ было до потопа, и неужели я, культурный человѣкъ, одаренный сложною духовною организаціей, долженъ объяснять свое сильное влеченіе къ женщинѣ только тѣмъ, что формы тѣла у нея иныя, чѣмъ у меня? О, какъ бы это было ужасно! Мнѣ хочется думать, что боровшійся съ природой человѣческій геній боролся и съ физической любовью, какъ съ врагомъ, и что если онъ и не побѣдилъ ее, то все же удалось ему опутать ее сѣтью иллюзій братства и любви; и для меня по крайней мѣрѣ это уже не просто отправленіе моего животнаго организма, какъ у собаки или лягушки, а настоящая любовь, и каждое объятіе бываетъ одухотворено чистымъ сердечнымъ порывомъ и уваженіемъ къ женщинѣ. Въ самомъ дѣлѣ, отвращеніе къ животному инстинкту воспитывалось вѣками въ сотняхъ поколѣній, оно унаслѣдовано мною съ кровью и составляетъ часть моего существа, и если я теперь поэтизирую любовь, то не такъ же ли это естественно и необходимо въ наше время, какъ то, что мои ушныя раковины неподвижны и что я не по-

крытъ шерстью. Мнѣ кажется, такъ мыслитъ большинство культурныхъ людей, такъ какъ въ настоящее время отсутствіе въ любви нравственнаго и поэтическаго элемента третируется уже, какъ явленіе атавизма; говорятъ, что оно есть симптомъ вырожденія, многихъ помѣшательствъ. Правда, поэтизируя любовь, мы предполагаемъ въ тѣхъ, кого любимъ, достоинства, какихъ у нихъ часто не бываетъ, ну а это служитъ для насъ источникомъ постоянныхъ ошибокъ и постоянныхъ страданій. Но ужъ лучшее, по-моему, пусть будетъ такъ, то-есть лучше страдать, чѣмъ успокаивать себя на томъ, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина.

Въ Тифлисѣ я получилъ отъ отца письмо. Онъ писалъ, что Аріадна Григорьевна такого-то числа отбыла за границу съ намѣреніемъ прожить тамъ всю зиму. Черезъ мѣсяцъ я вернулся домой. Была уже осень. Каждую недѣлю Аріадна присылала моему отцу письма на душистой бумагѣ, очень интересныя, написанныя прекраснымъ литературнымъ языкомъ. Я того мнѣнія, что каждая женщина можетъ быть писательницей. Аріанда очень подробно описывала, какъ ей не легко было помириться съ своей теткой и выпросить у нея на дорогу тысячу рублей и какъ долго она отыскивала въ Москвѣ одну свою дальнюю родственницу, старушку, чтобъ уговорить ее ѣхать вмѣстѣ. Это излишество подробностей очень ужъ отдавало сочиненностью, и я понялъ, конечно, что никакой у нея спутницы не было. Немного погодя, и я получилъ отъ нея письмо, тоже душистое и литературное. Она писала, что соскучилась по мнѣ, по моимъ красивымъ, умнымъ, влюбленнымъ глазамъ, дружески упрекала, что я гублю свою молодость, кисну въ деревнѣ въ то время, какъ могъ бы, подобно ей, жить въ раю, подъ пальмами, вдыхать въ себя ароматъ апельсиновыхъ деревьевъ. И подписалась такъ: «брошенная вами Аріадна». Потомъ дня черезъ два другое письмо въ томъ же родѣ и подпись: «забытая вами». У меня мутилось въ головѣ. Любилъ я ее страстно, снилась она мнѣ каждую ночь, а тутъ еще «брошенная», «забытая»—къ чему это? для чего?—а тутъ еще деревенская скука, длинные вечера, тягучія мысли насчетъ Лубкова... Неизвѣстность мучила меня, отравляла мнѣ дни и ночи, стало невыносимо. Я не выдержалъ и поѣхалъ.

Аріадна звала меня въ Аббацію. Я пріѣхалъ туда въ ясный, теплый день послѣ дождя, капли котораго еще висѣли на деревьяхъ, и остановился въ томъ же громадномъ, похожемъ на казарму dépendance'ѣ, гдѣ жили Аріадна и Лубковъ. Ихъ не было дома. Я отправился въ здѣшній паркъ, побродилъ по аллеямъ, потомъ сѣлъ. Прошелъ мимо австрійскій генералъ, заложивъ руки назадъ, съ такими же красными лампасами, какіе носятъ наши генералы. Провезли въ колясочкѣ младенца, и колеса визжали по сырому песку. Прошелъ дряхлый старикъ съ желтухой, толпа англичанокъ, кзендзъ, потомъ опять австрійскій генералъ. Цоплелись къ будкѣ военные музыканты, только-что пріѣхавшіе изъ Фіуме, со сверкающими трубами; заиграла музыка. Вы бывали когда-нибудь въ Аббаціи? Это грязный славянскій городишка съ одною только улицей, которая воняетъ и по которой послѣ дождя нельзя проходить безъ калошъ. Я такъ много и всякій разъ съ такимъ умиленіемъ читалъ про этотъ рай земной, что когда я потомъ, подсучивъ брюки, осторожно переходилъ черезъ узкую улицу и отъ скуки покупалъ жесткія груши у старой бабы, которая, узнавъ во мнѣ русскаго, говорила «читиры», «давадцать», и когда я въ недоумѣніи спрашивалъ себя, куда же мнѣ, наконецъ, идти и что мнѣ тутъ дѣлать, и когда мнѣ непремѣнно встрѣчались русскіе, обманутые такъ же, какъ я, то мнѣ становилось досадно и стыдно. Тутъ есть тихая бухта, по которой ходятъ пароходы и лодки съ разноцвѣтными парусами; отсюда видны и Фіуме, и далекіе острова, покрытые лиловатою мглой, и это было бы картинно, если бы видъ на бухту не загораживали отели и ихъ dépendance'ы нелѣпой мѣщанской архитектуры, которыми застроили весь этотъ зеленый берегъ жадные торгаши, такъ что большею частью вы ничего не видите въ раю, кромѣ оконъ, террасъ и площадокъ съ бѣлыми столиками и черными лакейскими фраками! Тутъ есть паркъ, какой вы найдете теперь во всякомъ заграничномъ курортѣ. И темная, неподвижная, молчаливая зелень пальмъ, и ярко-желтый песокъ на аллеяхъ, и ярко-зеленыя скамьи, и блескъ ревущихъ солдатскихъ трубъ, и красные лампасы генерала— все это надоѣдаетъ въ десять минутъ. А, между тѣмъ, вы обязаны почему-то прожить здѣсь десять дней, десять недѣль! Таскаясь поневолѣ по этимъ курортамъ, я все болѣе

убѣждался, какъ неудобно и скупо живется сытымъ и богатымъ, какъ вяло и слабо воображеніе у нихъ, какъ не смѣлы ихъ вкусы и желанія. И во сколько разъ счастливѣе ихъ тѣ старые и молодые туристы, которые, не имѣя денегъ, чтобы жить въ отеляхъ, живутъ, гдѣ придется, любуются видомъ моря съ высоты горъ, лежа на зеленой травѣ, ходятъ пѣшкомъ, видятъ близко лѣса, деревни, наблюдаютъ обычаи страны, слышатъ ея пѣсни, влюбляются въ ея женщинъ...

Пока я сидѣлъ въ паркѣ, стало темнѣть и въ сумеркахъ показалась моя Аріадна, изящная и нарядная, какъ принцесса; за нею шелъ Лубковъ, одѣтый во все новое и широкое, купленное, вѣроятно, въ Вѣнѣ.

— Что же вы сидитесь? — говорилъ онъ.—Что я вамъ сдѣвавъ?

Увидѣвъ меня, она вскрикнула отъ радости, и если бъ это было не въ паркѣ, навѣрное, бросилась бы мнѣ на шею; она крѣпко жала мнѣ руки и смѣялась, и я тоже смѣялся и едва не плакалъ отъ волненія. Начались разспросы: какъ въ деревнѣ, что отецъ, видѣлъ ли я брата и проч. Она требовала, чтобы я смотрѣлъ ей въ глаза, и спрашивала, помню ли я пескарей, наши маленькія ссоры, пикники...

— Въ сущности, какъ все это было хорошо,—вздохнула она.—Но мы и здѣсь живемъ не скучно. У насъ есть много знакомыхъ, мой милый, мой хорошій! Завтра я представлю васъ здѣсь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себѣ другую шляпу.—Она оглядѣла меня и поморщилась.—Аббація не деревня,—сказала она.—Тутъ надо быть комильфо.

Потомъ мы пошли въ ресторанъ. Аріадна все время смѣялась, шалила и называла меня милымъ, хорошимъ, умнымъ и точно глазамъ своимъ не вѣрила, что я съ ней. Такъ просидѣли мы часовъ до одиннадцати и разошлись очень довольные и ужиномъ, и другъ другомъ. На другой день Аріадна представила меня русскому семейству: «сынъ извѣстнаго профессора, нашъ сосѣдъ по имѣнію». Говорила она съ этимъ семействомъ только объ имѣніяхъ и урожаяхъ, и при этомъ все ссылалась на меня. Ей хотѣлось казаться очень богатой помѣщицей и, право, это ей удавалось. Дер-

жалась она превосходно, какъ настоящая аристократка, какою, впрочемъ, она и была по происхожденію.

— Но какова тетя! — сказала она вдругъ, глядя на меня съ улыбкой.—Мы съ ней немножко поссорились, и она укатила въ Меранъ. Какова?

Потомъ, когда мы гуляли съ ней въ паркѣ, я спросилъ:

— Про какую это вы тетю говорили давеча? Что еще за тетя?

— Это ложь во спасеніе, — разсмѣялась Аріадна.—Они не должны знать, что я безъ спутницы.—Послѣ минутнаго молчанія она прижалась ко мнѣ и сказала: — Голубчикъ, милый, подружитесь съ Лубковымъ! Онъ такой несчастный! Его мать и жена просто ужасны.

Она говорила Лубкову *вы* и, уходя спать, прощалась съ нимъ такъ же, какъ со мной, «до завтра», и жили они въ разныхъ этажахъ, — это подавало мнѣ надежду, что все вздоръ и никакого романа у нихъ нѣтъ, и, встрѣчаясь съ нимъ, я чувствовалъ себя легко. И когда онъ однажды попросилъ у меня триста рублей взаймы, то я далъ ему ихъ съ большимъ удовольствіемъ.

Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ѣли, то пили. Каждый день разговоры съ русскимъ семействомъ. Я мало-по-малу привыкъ къ тому, что если я войду въ паркъ, то непремѣнно встрѣчу старика съ желтухой, ксендза и австрійскаго генерала, который носилъ съ собою колоду маленькихъ картъ и, гдѣ только можно было, садился и раскладывалъ пасьянсъ, нервно подергивая плечами. И музыка играла все одно и то же. Дома въ деревнѣ мнѣ бывало стыдно отъ мужиковъ, когда я въ будни ѣздилъ съ компаніей на пикникъ или удилъ рыбу, такъ и здѣсь мнѣ было стыдно отъ лакеевъ, кучеровъ, встрѣчныхъ рабочихъ; мнѣ все казалось, что они глядѣли на меня и думали: «Почему ты ничего не дѣлаешь?» И этотъ стыдъ я испытывалъ отъ утра до вечера, каждый день. Странное, непріятное, монотонное время; разнообразилось оно развѣ только тѣмъ, что Лубковъ бралъ у меня взаймы то сто, то пятьдесятъ гульденовъ, и отъ денегъ вдругъ оживалъ, какъ морфинистъ отъ морфія, и начиналъ шумно смѣяться надъ женой, надъ собой, или надъ кредиторами.

Но вотъ пошли дожди, стало холодно. Мы поѣхали въ Италію, и я телеграфировалъ отцу, чтобы онъ, Бога ради,

прислалъ мнѣ въ Римъ переводомъ рублей восемьсотъ. Мы останавливались въ Венеціи, въ Болоньѣ, во Флоренціи и въ каждомъ городѣ непремѣнно попадали въ дорогой отель, гдѣ съ насъ драли отдѣльно и за освѣщеніе, и за прислугу, и за отопленіе, и за хлѣбъ къ завтраку, и за право пообѣдать не въ общей залѣ. Ѣли мы ужасно много. Утромъ намъ подавали café complet. Въ часъ завтракъ: мясо, рыба, какой-нибудь омлетъ, сыръ, фрукты и вино. Въ шесть часовъ обѣдъ изъ восьми блюдъ, съ длинными антрактами, въ теченіе которыхъ мы пили пиво и вино. Въ девятомъ часу чай. Передъ полуночью Аріадна объявляла, что она хочетъ ѣсть, и требовала ветчины и яицъ всмятку. Съ ней за компанію ѣли и мы. А въ промежуткахъ между ѣдой мы бѣгали по музеямъ и выставкамъ, съ постоянною мыслью, какъ бы не опоздать къ обѣду или завтраку. Я тосковалъ передъ картинами, меня тянуло домой полежать, я утомлялся, искалъ глазами стула и лицемѣрно повторялъ за другими: «Какая прелесть! Сколько воздуху!» Мы, какъ сытые удавы, обращали вниманіе только на блестящіе предметы, окна магазиновъ гипнотизировали насъ, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужныхъ, ничтожныхъ вещей.

То же было и въ Римѣ. Тутъ шелъ дождь, дулъ холодный вѣтеръ. Послѣ жирнаго завтрака мы поѣхали осматривать храмъ Петра и, благодаря нашей сытости и, быть-можетъ, дурной погодѣ, онъ не произвелъ на насъ никакого впечатлѣнія, и мы, уличая другъ друга въ равнодушіи къ искусству, едва не поссорились.

Пришли отъ отца деньги. Я отправился получать ихъ, помню, утромъ. Со мной пошелъ и Лубковъ.

— Настоящее не можетъ быть полнымъ и счастливымъ, когда есть прошлое,—сказалъ онъ.—У меня отъ прошлаго остался на шеѣ большой багажъ. Впрочемъ, будь деньги, все бы не бѣда, а то яко нагъ, яко благъ... Вѣрите ли, у меня осталось только восемь франковъ,—продолжалъ онъ, понижая голосъ: — между тѣмъ, я долженъ послать женѣ сто и матери столько же. Да и здѣсь надо жить. Аріадна, точно ребенокъ, не хочетъ войти въ положеніе и соритъ деньгами, какъ герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И, скажите, для чего это намъ продолжать разыгрывать изъ себя какихъ-то паинекъ? Вѣдь то, что она п

я скрываемъ отъ прислуги и знакомыхъ наши отношенія, обходится намъ въ сутки лишнихъ 10—15 франковъ, такъ какъ я занимаю отдѣльный номеръ. Для чего это?

Острый камень повернулся у меня въ груди. Неизвѣстности уже не было, все уже было ясно для меня, я весь похолодѣлъ, и тотчасъ же у меня явилось рѣшеніе: не видѣть ихъ обоихъ, бѣжать отъ нихъ, немедленно ѣхать домой...

— Сходиться съ женщиной легко, — продолжалъ Лубковъ: — стоитъ только раздѣть ее, а потомъ какъ все это тяжело, какая ерунда!

Когда я считалъ полученныя деньги, онъ сказалъ:

— Если вы не дадите мнѣ тысячу франковъ взаймы, то я долженъ буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный рессурсъ.

Я далъ ему, и онъ тотчасъ же оживился и сталъ смѣяться надъ своимъ дядей, чудакомъ, который не могъ сохранить въ тайнѣ отъ жены его адреса. Придя въ отель, я уложился и заплатилъ по счету. Оставалось проститься съ Аріадной.

Я постучался къ ней.

— Entrez!

Въ ея номерѣ былъ утренній безпорядокъ: на столѣ чайная посуда, недоѣденная булка, яичная скорлупа; сильный, удушающій запахъ духовъ. Постель была не убрана и было очевидно, что на ней спали двое. Сама Аріадна недавно еще встала съ постели и была теперь во фланелевой блузѣ, не причесанная.

Я поздоровался, потомъ молча посидѣлъ минуту, пока она старалась привести въ порядокъ свои волосы, и спросилъ, дрожа всѣмъ тѣломъ:

— Зачѣмъ... зачѣмъ вы выписали меня сюда за границу?

Повидимому, она догадалась, о чемъ я думаю; она взяла меня за руку и сказала:

— Я хочу, чтобы вы были тутъ. Вы такой чистый!

Мнѣ стало стыдно своего волненія, своей дрожи. А вдругъ еще зарыдаю! Я вышелъ, не сказавши больше ни слова, и, часъ спустя, уже сидѣлъ въ вагонѣ. Всю дорогу почему-то я воображалъ Аріадну беременной, и она была мнѣ противна, и всѣ женщины, которыхъ я видѣлъ въ вагонахъ и на станціяхъ, казались мнѣ почему-то беремен-

ными и были тоже противны и жалки. Я находился въ положеніи того жаднаго, страстнаго корыстолюбца, который вдругъ открылъ бы, что всѣ его червонцы фальшивы. Чистые, граціозные образы, которые такъ долго лелѣяло мое воображеніе, подогрѣваемое любовью, мои планы, надежды, мои воспоминанія, взгляды мои на любовь и женщину, — все это теперь смѣялось надо мной и показывало мнѣ языкъ. Аріадна, спрашивалъ я съ ужасомъ, эта молодая, замѣчательно красивая, интеллигентная дѣвушка, дочь сенатора, въ связи съ такимъ заурядным, неинтереснымъ пошлякомъ? Но почему же ей не любить Лубкова?—отвѣчалъ я себѣ. Чѣмъ онъ хуже меня? О, пусть она любитъ, кого ей угодно, но зачѣмъ лгать? Но съ какой стати она должна быть откровенна со мной? И такъ далѣе, все въ такомъ родѣ, до одурѣнія. А въ вагонѣ было холодно. Ѣхалъ я въ первомъ классѣ, но тамъ сидятъ по-трое на одномъ диванѣ, двойныхъ рамъ нѣтъ, наружная дверь отворяется прямо въ купэ,—и я чувствовалъ себя, какъ въ колодкахъ, стиснутымъ, брошеннымъ, жалкимъ, и ноги страшно зябли, и, въ то же время, то и дѣло приходило на память, какъ обольстительна она была сегодня въ своей блузѣ и съ распущенными волосами, и такая сильная ревность вдругъ овладѣвала мной, что я вскакивалъ отъ душевной боли, и сосѣди мои смотрѣли на меня съ удивленіемъ и даже страхомъ.

Дома я засталъ сугробы и двадцатиградусный морозъ. Я люблю зиму, люблю, потому что въ это время дома, даже въ трескучіе морозы, мнѣ бывало особенно тепло. Пріятно, надѣвши полушубокъ и валенки, въ ясный морозный день дѣлать что-нибудь въ саду или на дворѣ, или читать у себя въ жарко-натопленной комнатѣ, сидѣть въ кабинетѣ отца передъ каминомъ, мыться въ своей деревенской банѣ... Только вотъ если нѣтъ въ домѣ матери, сестры или дѣтей, то какъ-то жутко въ зимніе вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чѣмъ теплѣе и уютнѣе, тѣмъ сильнѣе чувствуется это отсутствіе. Въ ту зиму, когда я вернулся изъ-за границы, вечера были длинные-длинные, я сильно тосковалъ и отъ тоски не могъ даже читать; днемъ еще туда-сюда, то снѣгъ въ саду почистишь, то куръ и телятъ покормишь, а по вечерамъ—хоть пропадай.

Прежде я не любилъ гостей, теперь же бывалъ имъ радъ, такъ какъ зналъ, что непремѣнно будетъ разговоръ объ

Аріаднѣ. Часто пріѣзжалъ спиритъ Котловичъ, чтобы поговорить о сестрѣ, и иногда привозилъ съ собою своего друга князя Мактуева, который былъ влюбленъ въ Аріадну не менѣе моего. Сидѣть въ комнатѣ Аріадны, перебирать клавиши ея піанино, смотрѣть въ ея ноты,—для князя было уже потребностью, онъ не могъ жить безъ этого, а духъ дѣда Иларіона продолжалъ предсказывать, что рано или поздно она будетъ его женой. У насъ обыкновенно князь сидѣлъ подолгу, этакъ отъ завтрака до полуночи, и все молчалъ; молча выпивалъ бутылки двѣ-три пива и только изрѣдка, чтобы показать, что онъ тоже участвуетъ въ разговорѣ, смѣялся отрывистымъ, печальнымъ, глуповатымъ смѣхомъ. Передъ тѣмъ, какъ уѣхать домой, онъ всякій разъ отводилъ меня въ сторону и говорилъ вполголоса:

— Когда вы видѣли въ послѣдній разъ Аріадну Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю, ей тамъ не скучно?

Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потомъ сѣять яровыя и клеверъ. Было грустно, но уже по-весеннему: хотѣлось мириться съ потерей. Работая въ полѣ и слушая жаворонковъ, я спрашивалъ себя: не покончить ли ужъ сразу съ этимъ вопросомъ личнаго счастья, не жениться ли мнѣ безъ затѣй на простой крестьянской дѣвушкѣ? Какъ вдругъ въ самый разгаръ работъ получаю письмо съ итальянской маркой. И клеверъ, и пасѣка, и телята, и крестьянская дѣвушка — все разлетѣлось, какъ дымъ. На этотъ разъ Аріадна писала, что она глубоко, безконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянулъ ей руку помощи, а взглянулъ на нее съ высоты своей добродѣтели и покинулъ ее въ минуту опасности. Все это было написано крупнымъ нервнымъ почеркомъ, съ помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. Въ заключеніе, она умоляла меня пріѣхать и спасти ее.

Опять меня сорвало съ якоря и понесло. Аріадна жила въ Римѣ. Пріѣхалъ я къ ней поздно вечеромъ и, когда она увидѣла меня, то зарыдала и бросилась мнѣ на шею. За зиму она нисколько не измѣнилась и была все такъ же молода и прелестна. Мы вмѣстѣ поужинали и потомъ до разсвѣта катались по Риму, и все время она разсказывала мнѣ про свое житье-бытье. Я спросилъ, гдѣ Лубковъ.

— Не напоминайте мнѣ про эту тварь!—крикнула она.— Онъ мнѣ противенъ и гадокъ!

— Но, вѣдь, вы, кажется, любили его,—сказалъ я.

— Никогда! На первыхъ порахъ онъ казался оригинальнымъ и возбуждалъ жалость — вотъ и все. Онъ нахаленъ, беретъ женщину приступомъ, и это привлекательно. Но не будемъ говорить о немъ. Это печальная страница моей жизни. Онъ уѣхалъ въ Россію за деньгами—туда ему и дорога! Я сказала, чтобъ онъ не смѣлъ возвращаться.

Она жила уже не въ отелѣ, а на частной квартирѣ изъ двухъ комнатъ, которыя убрала по своему вкусу, холодно и роскошно. Послѣ того, какъ уѣхалъ Лубковъ, она задолжала своимъ знакомымъ около пяти тысячъ франковъ, и мой пріѣздъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ для нея спасеніемъ. Я разсчитывалъ увезти ее въ деревню, но это мнѣ не удалось. Она тосковала по родинѣ, но воспоминанія о пережитой бѣдности, о недостаткахъ, о заржавленной крышѣ на домѣ брата вызывали въ ней отвращеніе, дрожь, и когда я предлагалъ ей ѣхать домой, она судорожно сжимала мнѣ руки и говорила:

— Нѣтъ, нѣтъ! Я тамъ умру съ тоски!

Затѣмъ любовь моя вступила въ свой послѣдній фазисъ, въ свою послѣднюю четверть.

— Будьте прежнимъ дусей, любите меня немножко,—говорила Аріадна, склонясь ко мнѣ.—Вы угрюмы и разсудительны, боитесь отдаться порыву и все думаете о послѣдствіяхъ, а это скучно. Ну, прошу васъ, умоляю, будьте ласковы!.. Мой чистый, мой святой, мой милый, я васъ такъ люблю!

Я сталъ ея любовникомъ. По крайней мѣрѣ, съ мѣсяцъ я былъ какъ сумасшедшій, испытывая одинъ восторгъ. Держать въ объятіяхъ молодое, прекрасное тѣло, наслаждаться имъ, чувствовать всякій разъ, пробудившись отъ сна, ея теплоту и вспоминать, что она тутъ, она, моя Аріадна, — о, къ этому не легко привыкнуть! Но я, все-таки, привыкъ и мало-по-малу сталъ относиться къ своему новому положенію сознательно. Прежде всего я понялъ, что Аріадна, какъ и прежде, не любила меня. Но ей хотѣлось любить серьезно, она боялась одиночества, а главное я былъ молодъ, здоровъ, крѣпокъ, она же была чувственна, какъ всѣ вообще холодные люди — и мы оба дѣлали видъ,

что сошлись по взаимной страстной любви. Затѣмъ я понялъ кое-что и другое.

Жили мы въ Римѣ, въ Неаполѣ, во Флоренціи; поѣхали-было въ Парижъ, но тамъ намъ показалось холодно, и мы вернулись въ Италію. Мы всюду рекомендовались мужемъ и женой, богатыми помѣщиками, съ нами охотно знакомились, и Аріадна имѣла большой успѣхъ. Такъ какъ она брала уроки живописи, то ее называли художницей и, представьте, къ ней это очень шло, хотя таланта не было ни малѣйшаго. Спала она каждый день до двухъ, до трехъ часовъ; кофе пила и завтракала въ постели. За обѣдомъ она съѣдала супъ, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичь, и потомъ, когда ложилась, я подавалъ ей въ постель что-нибудь, напримѣръ, ростбифа, и она съѣдала его съ печальнымъ, озабоченнымъ выраженіемъ, а проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины.

Главнымъ, такъ сказать, основнымъ свойствомъ этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, повидимому, безъ всякой надобности, а какъ бы по инстинкту, по тѣмъ же побужденіямъ, по какимъ воробей чирикаетъ или тараканъ шевелитъ усами. Она хитрила со мной, съ лакеями, съ портье, съ торговцами въ магазинахъ, со знакомыми; безъ кривлянья и ломанья не обходился ни одинъ разговоръ, ни одна встрѣча. Нужно было войти въ нашъ номеръ мужчинѣ, — кто бы онъ ни былъ, гарсонъ или баринъ,—какъ она мѣняла взглядъ, выраженіе, голосъ, и даже контуры ея фигуры мѣнялись. Если бы вы видѣли ее тогда хоть разъ, то сказали бы, что болѣе свѣтскихъ и болѣе богатыхъ людей, чѣмъ мы, нѣтъ во всей Италіи. Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякаго вздора по поводу его замѣчательнаго таланта.

— Вы такой талантъ! — говорила она сладко-пѣвучимъ голосомъ. — Съ вами даже страшно. Я думаю, вы должны видѣть людей насквозь.

И все это для того, чтобы нравиться, имѣть успѣхъ, быть обаятельной! Она просыпалась каждое утро съ единственною мыслью: «нравиться!» И это было цѣлью и смысломъ ея жизни. Если бы я сказалъ ей, что на такой-то улицѣ въ такомъ-то домѣ живетъ человѣкъ, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать.

Ей каждый день нужно было очаровывать, плѣнять, сводить съ ума. То, что я былъ въ ея власти и передъ ея чарами обращался въ совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслажденіе, какое побѣдители испытывали когда-то на турнирахъ. Моего униженія было не достаточно, и она еще по ночамъ, развалившись, какъ тигрица, не укрытая, — ей всегда бывало жарко, — читала письма, которыя присылалъ ей Лубковъ; онъ умолялъ ее вернуться въ Россію, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денегъ и пріѣхать къ ней. Она ненавидѣла его, но его страстныя, рабскія письма волновали ее. О своихъ чарахъ она была необыкновеннаго мнѣнія; ей казалось, что если бы гдѣ-нибудь въ многолюдномъ собраніи увидѣли, какъ хорошо она сложена и какого цвѣта у нея кожа, то она побѣдила бы всю Италію, весь свѣтъ. Эти разговоры о сложеніи, о цвѣтѣ кожи оскорбляли меня, и, замѣтивъ это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мнѣ, говорила всякія пошлости и дразнила меня, и дошло даже до того, что однажды на дачѣ у одной дамы она разсердилась и сказала мнѣ:

— Если вы не перестанете надоѣдать мнѣ вашими поученіями, то я сейчасъ же раздѣнусь и голая лягу вотъ на эти цвѣты!

Часто, глядя, какъ она спитъ или ѣстъ, или старается придать своему взгляду наивное выраженіе, я думалъ: для чего же даны ей Богомъ эта необыкновенная красота, грація, умъ? Неужели для того только, чтобы валяться въ постели, ѣсть и лгать, лгать безъ конца? Да и была ли она умна? Она боялась трехъ свѣчей, тринадцатаго числа, приходила въ ужасъ отъ сглаза и дурныхъ сновъ, о свободной любви и вообще свободѣ толковала, какъ старая богомолка, увѣряла, что Болеславъ Маркевичъ лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумна, и въ обществѣ умѣла казаться очень образованнымъ, передовымъ человѣкомъ.

Ей ничего не стоило даже въ веселую минуту оскорбить прислугу, убить насѣкомое; она любила бои быковъ, любила читать про убійства и сердилась, когда подсудимыхъ оправдывали.

При той жизни, какую вели я и Аріадна, намъ много нужно было денегъ. Бѣдный отецъ высылалъ мнѣ свою

пенсію, всѣ свои доходишки, занималъ для меня, гдѣ только можно было, и когда онъ однажды отвѣтилъ мнѣ «non habeo», я послалъ ему отчаянную телеграмму, въ которой умолялъ заложить имѣніе. Немного погодя, я попросилъ его взять гдѣ-нибудь денегъ подъ вторую закладную. То и другое онъ исполнилъ безропотно и выслалъ мнѣ всѣ деньги до копейки. А Аріадна презирала практику жизни, ей не было никакого дѣла до всего этого и, когда я, бросая тысячи франковъ на удовлетвореніе ея безумныхъ желаній, кряхтѣлъ, какъ старое дерево, она съ легкой душой напѣвала «Addio bella Napoli». Мало-помалу я охладѣлъ къ ней и сталъ стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родовъ, но теперь уже мечталъ иногда о ребенкѣ, который былъ бы хотя формальнымъ оправданіемъ этой нашей жизни. Чтобы не опротивѣть себѣ окончательно, я сталъ посѣщать музеи и галлереи и читать книжки, мало ѣлъ и бросилъ пить. Этакъ гоняешь себя на кордѣ отъ утра до вечера, оно какъ будто на душѣ легче.

Надоѣлъ и я Аріаднѣ. Кстати же люди, у которыхъ она имѣла успѣхъ, были все средніе люди, посланниковъ и салона попрежнему не было, денегъ не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать, и она объявила мнѣ, наконецъ, что, пожалуй, она не прочь бы и въ Россію. И вотъ мы ѣдемъ. Въ послѣдніе мѣсяцы передъ отъѣздомъ она усердно переписывалась со своимъ братомъ, у нея, очевидно, какіе-то тайные замыслы, а какіе—Богъ вѣсть. Мнѣ уже надоѣло вникать въ ея хитрости. Но мы ѣдемъ не въ деревню, а въ Ялту, потомъ изъ Ялты на Кавказъ. Теперь она можетъ жить только въ курортахъ, а если бъ вы знали, до какой степени я ненавижу всѣ эти курорты, какъ въ нихъ мнѣ бываетъ душно и стыдно. Мнѣ бы теперь въ деревню! Мнѣ бы теперь работать, добывать хлѣбъ въ потѣ лица, искупать свои ошибки. Теперь я чувствую въ себѣ избытокъ силъ, и мнѣ кажется, что, напрягши эти силы, я выкупилъ бы имѣніе въ пять лѣтъ. Но вотъ, какъ видите, осложненіе. Здѣсь не заграница, а Россія матушка, приходится подумать о законномъ бракѣ. Конечно, увлеченіе уже прошло, любви прежней нѣтъ и въ поминѣ, но, какъ бы ни было, я обязанъ на ней жениться.

Шамохинъ, взволнованный своимъ разсказомъ, и я спускались внизъ и продолжали говорить о женщинахъ. Было уже поздно. Оказалось, что онъ и я помѣщались въ одной каютѣ.

— Пока только въ деревняхъ женщина не отстаетъ отъ мужчины, — говорилъ Шамохинъ: — тамъ она такъ же мыслитъ, чувствуетъ и такъ же усердно борется съ природой во имя культуры, какъ и мужчина. Городская же, буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается къ своему первобытному состоянію, наполовину она уже человѣкъ-звѣрь и, благодаря ей, очень многое, что было завоевано человѣческимъ геніемъ, уже потеряно; женщина мало-по-малу исчезаетъ, на ея мѣсто садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожаетъ культурѣ серьезной опасностью; въ своемъ регрессивномъ движеніи она старается увлечь за собой мужчину и задерживаетъ его движеніе впередъ. Это несомнѣнно.

Я спросилъ: зачѣмъ обобщать, зачѣмъ по одной Аріаднѣ судить обо всѣхъ женщинахъ? Уже одно стремленіе женщинъ къ образованію и равноправію половъ, которое я понимаю, какъ стремленіе къ справедливости, само по себѣ исключаетъ всякое предположеніе о регрессивномъ движеніи. Но Шамохинъ едва слушалъ меня и недовѣрчиво улыбался. Это былъ уже страстный, убѣжденный женоненавистникъ, и переубѣдить его было невозможно.

— Э, полноте! — перебилъ онъ. — Разъ женщина видитъ во мнѣ не человѣка, не равнаго себѣ, а самца и всю свою жизнь хлопочетъ только о томъ, чтобы понравиться мнѣ, т. е. завладѣть мной, то можетъ ли тутъ быть рѣчь о полноправіи? Охъ, не вѣрьте имъ, онѣ очень, очень хитры! Мы, мужчины, хлопочемъ насчетъ ихъ свободы, но онѣ вовсе не хотятъ этой свободы и только дѣлаютъ видъ, что хотятъ. Ужасно хитрыя, страшно хитрыя!

Мнѣ уже было скучно спорить и хотѣлось спать. Я повернулся лицомъ къ стѣнкѣ.

— Да-съ, — слышалъ я, засыпая. — Да-съ. А всему виной наше воспитаніе, батенька. Въ городахъ все воспитаніе и образованіе женщины въ своей главной сущности сводятся къ тому, чтобы выработать изъ нея человѣка-звѣря, т. е. чтобы она нравилась самцу и чтобы умѣла

побѣдить этого самца. Да-съ, — Шамохинъ вздохнулъ. — Нужно, чтобы дѣвочки воспитывались и учились вмѣстѣ съ мальчиками, чтобы тѣ и другіе были всегда вмѣстѣ. Надо воспитывать женщину такъ, чтобы она умѣла, подобно мужчинѣ, сознавать свою неправоту, а то она, по ея мнѣнію, всегда права. Внушайте дѣвочкѣ съ пеленокъ, что мужчина, прежде всего, не кавалеръ и не женихъ, а ея ближній, равный ей во всемъ. Пріучайте ее логически мыслить, обобщать, и не увѣряйте ее, что ея мозгъ вѣситъ меньше мужского и что поэтому она можетъ быть равнодушна къ наукамъ, искусствамъ, вообще культурнымъ задачамъ. Мальчишка-подмастерье, сапожникъ или маляръ, тоже имѣетъ мозгъ меньшихъ размѣровъ, чѣмъ взрослый мужчина, однакоже, участвуетъ въ общей борьбѣ за существованіе, работаетъ, страдаетъ. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физіологію, на беременность и роды, такъ какъ, во-первыхъ, женщина родитъ не каждый мѣсяцъ; во-вторыхъ, не всѣ женщины родятъ и, въ-третьихъ, нормальная деревенская женщина работаетъ въ полѣ наканунѣ родовъ — и ничего съ ней не дѣлается. Затѣмъ должно быть полнѣйшее равноправіе въ обыденной жизни. Если мужчина подаетъ дамѣ стулъ, или поднимаетъ оброненный платокъ, то пусть и она платитъ ему тѣмъ же. Я ничего не буду имѣть противъ, если дѣвушка изъ хорошаго семейства поможетъ мнѣ надѣть пальто или подастъ мнѣ стаканъ воды...

Больше я ничего не слышалъ, такъ какъ уснулъ. На другой день утромъ, когда мы подходили къ Севастополю, была непріятная сырая погода. Покачивало. Шамохинъ сидѣлъ со мной въ рубкѣ, о чемъ-то думалъ и молчалъ. Мужчины съ поднятыми воротниками пальто и дамы съ блѣдными, заспанными лицами, когда позвонили къ чаю, стали спускаться внизъ. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая въ Волочискѣ сердилась на таможенныхъ чиновниковъ, остановилась передъ Шамохинымъ и сказала ему съ выраженіемъ капризнаго, избалованнаго ребенка:

— Жанъ, твою птичку укачало!

Потомъ, живя въ Ялтѣ, я видѣлъ какъ эта красивая дама мчалась на иноходцѣ, и за ней едва поспѣвали какіе-то два офицера, и какъ она однажды утромъ, во фри-

гійской шапочкѣ и въ фартучкѣ, писала красками этюдъ, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я съ ней. Она крѣпко-крѣпко пожала мнѣ руку и, глядя на меня съ восхищеніемъ, поблагодарила сладко-пѣвучимъ голосомъ за то удовольствіе, какое я доставляю ей своими сочиненіями.

— Не вѣрьте, — шепнулъ мнѣ Шамохинъ: — она ничего нашего не читала.

Какъ-то передъ вечеромъ, когда я гулялъ по набережной, мнѣ встрѣтился Шамохинъ; въ рукахъ у него были большіе свертки съ закусками и фруктами.

— Князь Мактуевъ здѣсь! — сказалъ онъ радостно. — Вчера пріѣхалъ съ ея братомъ спиритомъ. Теперь я понимаю, о чемъ она тогда переписывалась съ нимъ! Господи, — продолжалъ онъ, глядя на небо и прижимая свертки къ груди: — если у нея наладится съ княземъ, то вѣдь это значитъ свобода, я могу уѣхать тогда въ деревню, къ отцу!

И онъ побѣжалъ дальше.

— Я начинаю вѣровать въ духовъ! — крикнулъ онъ мнѣ, оглядываясь. — Духъ дѣда Иларіона, кажется, напророчилъ правду! О, если бы!

На другой день послѣ этой встрѣчи я выѣхалъ изъ Ялты, и чѣмъ кончился романъ Шамохина — мнѣ неизвѣстно.

Оглавленіе

X ТОМА.

	стр.
Володя большой и Володя маленькій	3
Учитель словесности	15
Въ усадьбѣ	39
Студентъ	48
Сосѣди	52
Три года	71
Убійство	159
Аріадна	188

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Супруга.—Анна на шеѣ.—Домъ съ мезониномъ.—Въ родномъ углу.—Печенѣгъ.—Новая дача.—На подводѣ.—Мужики.—Моя жизнь.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл пр., № 29.

СУПРУГА.

— Я просилъ васъ не убирать у меня на столѣ,—говорилъ Николай Евграфычъ. — Послѣ вашихъ уборокъ никогда ничего не найдешь. Гдѣ телеграмма? Куда вы её бросили? Извольте искать. Она изъ Казани, помѣчена вчерашнимъ числомъ.

Горничная, блѣдная, очень тонкая, съ равнодушнымъ лицомъ, нашла въ корзинѣ подъ столомъ нѣсколько телеграммъ и, молча, подала ихъ доктору; но все это были городскія телеграммы, отъ паціентовъ. Потомъ искали въ гостиной и въ комнатѣ Ольги Дмитріевны.

Былъ уже первый часъ ночи. Николай Евграфычъ зналъ, что жена вернется домой не скоро, по крайней мѣрѣ часовъ въ пять. Онъ не вѣрилъ ей и, когда она долго не возвращалась, не спалъ, томился, и въ то же время презиралъ и жену, и ея постель, и зеркало, и ея бонбоньерки, и эти ландыши и гіацинты, которые кто-то каждый день присылалъ ей и которые распространяли по всему дому приторный запахъ цвѣточной лавки. Въ такія ночи онъ становился мелоченъ, капризенъ, придирчивъ, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера отъ брата, хотя эта телеграмма не содержала въ себѣ ничего, кромѣ поздравленія съ праздникомъ.

Въ комнатѣ жены на столѣ подъ коробкой съ почтовой бумагой, онъ нашелъ какую-то телеграмму и взглянулъ на нее мелькомъ. Она была адресована на имя тещи, для передачи Ольгѣ Дмитріевнѣ, изъ Монте-Карло, подпись: Michel... Изъ текста докторъ не понялъ ни одного слова, такъ

какъ это былъ какой-то иностранный, повидимому, англійскій языкъ.

— Кто этотъ Мишель? Почему изъ Монте-Карло? Почему на имя тещи?

За время семилѣтней супружеской жизни онъ привыкъ подозрѣвать, угадывать, разбираться въ уликахъ, и ему не разъ приходило въ голову, что, благодаря этой домашней практикѣ, изъ него могъ бы выйти теперь отличный сыщикъ. Придя въ кабинетъ и начавши соображать, онъ тотчасъ же вспомнилъ, какъ года полтора назадъ онъ былъ съ женой въ Петербургѣ и завтракалъ у Кюба съ однимъ своимъ школьнымъ товарищемъ, инженеромъ путей сообщенія, и какъ этотъ инженеръ представилъ ему и его женѣ молодого человѣка лѣтъ 22—23, котораго звали Михаиломъ Иванычемъ; фамилія была короткая, немножко странная: Рисъ. Спустя два мѣсяца, докторъ видѣлъ въ альбомѣ жены фотографію этого молодого человѣка съ надписью по-французски: «на память о настоящемъ и въ надеждѣ на будущее»; потомъ онъ раза два встрѣчалъ его самого у своей тещи... И какъ разъ это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой въ четыре и пять часовъ утра, и все просила у него заграничнаго паспорта, а онъ отказывалъ ей, и у нихъ въ домѣ по цѣлымъ днямъ происходила такая война, что отъ прислуги было совѣстно.

Полгода назадъ товарищи врачи рѣшили, что у него начинается чахотка, и посовѣтовали ему бросить все и уѣхать въ Крымъ. Узнавши объ этомъ, Ольга Дмитріевна сдѣлала видъ, что это ее очень испугало; она стала ласкаться къ мужу и все увѣряла, что въ Крыму холодно и скучно, а лучше бы въ Ниццу, и что она поѣдетъ вмѣстѣ и будетъ тамъ ухаживать за нимъ, беречь его, покоить...

И теперь онъ понималъ, почему женѣ такъ хочется именно въ Ниццу: ея Michel живетъ въ Монте-Карло.

Онъ взялъ англійско-русскій словарь и, переводя слова и угадывая ихъ значеніе, мало-по-малу составилъ такую фразу: «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу разъ цѣлую маленькую ножку. Нетерпѣливо жду пріѣзда». Онъ представилъ себѣ, какую бы смѣшную, жалкую роль онъ игралъ, если бы согласился поѣхать съ женой въ Ниццу, едва не заплакалъ отъ чувства обиды и въ силь-

номъ волненіи сталъ ходить по всѣмъ комнатамъ. Въ немъ возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась отъ отвращенія, онъ спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, бурсакъ по воспитанію, прямой, грубый человѣкъ, по профессіи хирургъ — какъ это онъ могъ отдаться въ рабство, такъ позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданію.

— Маленькая ножка!—бормоталъ онъ, комкая телеграмму.—Маленькая ножка!

Отъ того времени, когда онъ влюбился и сдѣлалъ предложеніе, и потомъ жилъ семь лѣтъ, осталось воспоминаніе только о длинныхъ душистыхъ волосахъ, массѣ мягкихъ кружевъ и о маленькой ножкѣ, въ самомъ дѣлѣ, очень маленькой и красивой; и теперь еще, казалось, отъ прежнихъ объятій сохранилось на рукахъ и лицѣ ощущеніе шелка и кружевъ — и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерикъ, визга, попрековъ, угрозъ и лжи, наглой, измѣннической лжи... Онъ помнилъ, какъ у отца въ деревнѣ, бывало, со двора въ домъ нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи, такъ и эта женщина, изъ совершенно чуждой ему среды, влетѣла въ его жизнь и произвела въ ней настоящій разгромъ. Лучшіе годы жизни протекли, какъ въ аду, надежды на счастье разбиты и осмѣяны, здоровья нѣтъ, въ комнатахъ его пошлая кокоточная обстановка, а изъ десяти тысячъ, которыя онъ зарабатываетъ ежегодно, онъ никакъ не соберется послать своей матери-попадьѣ хотя бы десять рублей, и уже долженъ по векселямъ тысячъ пятнадцать. Казалось, если бы въ его квартирѣ жила шайка разбойниковъ, то и тогда бы жизнь его не была такъ безнадежно, непоправимо разрушена, какъ при этой женщинѣ.

Онъ сталъ кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь въ постель и согрѣться, но онъ не могъ, а все ходилъ по комнатамъ, или садился за столъ и нервно водилъ карандашомъ по бумагѣ, и писалъ машинально:

«Проба пера... Маленькая ножка»...

Къ пяти часамъ онъ ослабѣлъ и уже обвинялъ во всемъ одного себя, ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитріевна вышла за другого, который могъ бы имѣть на нее

доброе вліяніе, то—кто знаетъ?—въ концѣ-концовъ, быть-можетъ, она стала бы доброй, честной женщиной; онъ же плохой психологъ и не знаетъ женской души, къ тому же неинтересенъ, грубъ...

«Мнѣ уже осталось немного жить,—думалъ онъ:—я трупъ и не долженъ мѣшать живымъ. Теперь въ сущности было бы странно и глупо отстаивать какія-то свои права. Я объяснюсь съ ней; пусть она уходитъ къ любимому человѣку... Дамъ ей разводъ, приму вину на себя...»

Ольга Дмитріевна пріѣхала наконецъ и, какъ была, въ бѣлой ротондѣ, шапкѣ и въ калошахъ, вошла въ кабинетъ и упала въ кресло.

— Противный, толстый мальчишка,—сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула. — Это даже не честно, это гадко. — Она топнула ногой.—Я не могу, не могу, не могу!

— Что такое?—спросилъ Николай Евграфычъ, подходя къ ней.

— Меня провожалъ сейчасъ студентъ Азарбековъ и потерялъ мою сумку, а въ сумкѣ пятнадцать рублей. Я у мамы взяла.

Она плакала самымъ серьезнымъ образомъ, какъ дѣвочка, и не только платокъ, но даже перчатки у нея были мокры отъ слезъ.

— Что жъ дѣлать!—вздохнулъ докторъ.—Потерялъ, такъ и потерялъ, ну и Богъ съ нимъ. Успокойся, мнѣ нужно поговорить съ тобой.

— Я не милліонерша, чтобы такъ манкировать деньгами. Онъ говоритъ, что отдастъ, но я не вѣрю, онъ бѣдный...

Мужъ просилъ ее успокоиться и выслушать его, а она говорила все о студентѣ и о своихъ потерянныхъ пятнадцати рубляхъ.

— Ахъ, я дамъ тебѣ завтра двадцать пять, только замолчи, пожалуйста!—сказалъ онъ съ раздраженіемъ.

— Мнѣ надо переодѣться!—заплакала она.—Не могу же я серьезно говорить, если я въ шубѣ! Какъ странно!

Онъ снялъ съ нея шубу и калоши, и въ это время ощутилъ запахъ бѣлаго вина, того самаго, которымъ она любила запивать устрицъ (несмотря на свою воздушность, она очень много ѣла и много пила). Она пошла къ себѣ и, немного погодя, вернулась переодѣтая, напудренная, съ заплаканными глазами, сѣла и вся ушла въ свой легкій съ

кружевами капотъ, и въ массѣ розовыхъ волнъ мужъ различалъ только ея распущенные волосы и маленькую ножку въ туфлѣ.

— Ты о чемъ хочешь говорить?—спросила она, покачиваясь въ креслѣ.

— Я нечаянно увидѣлъ вотъ это...—сказалъ докторъ и подалъ ей телеграмму.

Она прочла и пожала плечами.

— Что жъ?—сказала она, раскачиваясь сильнѣе.—Это обыкновенное поздравленіе съ новымъ годомъ и больше ничего. Тутъ нѣтъ секретовъ.

— Ты разсчитываешь на то, что я не знаю англійскаго языка. Да, я не знаю, но у меня есть словарь. Это телеграмма отъ Риса, онъ пьетъ здоровье своей возлюбленной и тысячу разъ цѣлуетъ тебя. Но оставимъ, оставимъ это...—продолжалъ докторъ торопливо.—Я вовсе не хочу упрекать тебя, или дѣлать сцену. Довольно уже было и сценъ, и попрековъ, пора кончить... Вотъ что я тебѣ хочу сказать: ты свободна и можешь жить, какъ хочешь.

Помолчали. Она стала тихо плакать.

— Я освобождаю тебя отъ необходимости притворяться и лгать,—продолжалъ Николай Евграфычъ.—Если любишь этого молодого человѣка, то люби; если хочешь ѣхать къ нему за границу, поѣзжай. Ты молода, здорова, а я уже калѣка, жить мнѣ осталось недолго. Однимъ словомъ... ты меня понимаешь.

Онъ былъ взволнованъ и не могъ продолжать. Ольга Дмитріевна, плача и голосомъ, какимъ говорятъ, когда жалѣютъ себя, созналась, что она любитъ Риса и ѣздила съ нимъ кататься за городъ, бывала у него въ номерѣ, и, въ самомъ дѣлѣ, ей очень хочется теперь поѣхать за границу.

— Видишь, я ничего не скрываю,—сказала она со вздохомъ.—Вся душа моя нараспашку. И я опять умоляю тебя, будь великодушенъ, дай мнѣ паспортъ!

— Повторяю: ты свободна.

Она пересѣла на другое мѣсто, поближе къ нему, чтобы взглянуть на выраженіе его лица. Она не вѣрила ему и хотѣла теперь понять его тайныя мысли. Она никогда никому не вѣрила, и какъ бы благородны ни были намѣренія, она всегда подозрѣвала въ нихъ мелкія, или низмен-

ныя побужденія и эгоистическія цѣли. И когда она пытливо засматривала ему въ лицо, ему показалось, что у нея въ глазахъ, какъ у кошки, блеснулъ зеленый огонекъ.

— Когда же я получу паспортъ?—спросила она тихо.

Ему вдругъ захотѣлось сказать «никогда», но онъ сдержалъ себя и сказалъ:

— Когда хочешь.

— Я поѣду только на мѣсяцъ.

— Ты поѣдешь къ Рису навсегда. Я дамъ тебѣ разводъ, приму вину на себя, и Рису можно будетъ жениться на тебѣ.

— Но я вовсе не хочу развода! — живо сказала Ольга Дмитріевна, дѣлая удивленное лицо. — Я не прошу у тебя развода! Дай мнѣ паспортъ, вотъ и все.

— Но почему же ты не хочешь развода? — спросилъ докторъ, начиная раздражаться. — Ты странная женщина. Какая ты странная! Если ты серьезно увлеклась и онъ тоже любитъ тебя, то въ вашемъ положеніи вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между бракомъ и адюльтеромъ.

— Я понимаю васъ,—сказала она, отходя отъ него, и лицо ея приняло злое, мстительное выраженіе.—Я отлично понимаю васъ. Я надоѣла вамъ, и вы просто хотите избавиться отъ меня, навязать этотъ разводъ. Благодарю васъ, я не такая дура, какъ вы думаете. Развода я не приму и отъ васъ не уйду, не уйду, не уйду! Во-первыхъ, я не желаю терять общественнаго положенія, — продолжала она быстро, какъ бы боясь, что ей помѣшаютъ говорить: — во-вторыхъ, мнѣ уже 27 лѣтъ, а Рису 23; черезъ годъ я ему надоѣмъ и онъ меня броситъ. И, въ-третьихъ, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлеченіе можетъ продолжаться долго... Вотъ вамъ! Не уйду я отъ васъ.

— Такъ я тебя выгоню изъ дому! — крикнулъ Николай Евграфычъ и затопалъ ногами. — Выгоню вонъ, низкая, гнусная женщина!

— Увидимъ-съ!—сказала она и вышла.

Уже давно разсвѣло на дворѣ, а докторъ все сидѣлъ у стола, водилъ карандашомъ по бумагѣ, и писалъ машинально:

«Милостивый государь... Маленькая ножка»...

Или же онъ ходилъ и останавливался въ гостиной пе-

редъ фотографіей, снятой семь лѣтъ назадъ, вскорѣ послѣ свадьбы, и долго смотрѣлъ на нее. Это была семейная группа: тесть, теща, его жена Ольга Дмитріевна, когда ей было двадцать лѣтъ, и онъ самъ въ качествѣ молодого, счастливаго мужа. Тесть, бритый, пухлый, водяночный тайный совѣтникъ, хитрый и жадный до денегъ, теща — полная дама съ мелкими и хищными чертами, какъ у хорька, безумно любящая свою дочь и во всемъ помогающая ей; если бы дочь душила человѣка, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своимъ подоломъ. У Ольги Дмитріевны тоже мелкія и хищныя черты лица, но болѣе выразительныя и смѣлыя, чѣмъ у матери; это ужъ не хорекъ, а звѣрь покрупнѣе! А самъ Николай Евграфычъ глядитъ на этой фотографіи такимъ простакомъ, добрымъ малымъ, человѣкомъ - рубахой; добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и онъ наивно вѣритъ, что эта компанія хищниковъ, въ которую случайно втолкнула его судьба, дастъ ему и поэзію, и счастье, и все то, о чемъ онъ мечталъ, когда еще студентомъ пѣлъ пѣсню: «Не любить—погубить значитъ жизнь молодую»...

И опять, съ недоумѣніемъ, спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, по воспитанію бурсакъ, простой, грубый и прямой человѣкъ, могъ такъ безпомощно отдаться въ руки этого ничтожнаго, лживаго, пошлаго, мелкаго, по натурѣ совершенно чуждаго ему существа.

Когда въ одиннадцать часовъ онъ надѣвалъ сюртукъ, чтобы ѣхать въ больницу, въ кабинетъ вошла горничная.

— Что вамъ?—спросилъ онъ.

— Барыня встали, и просятъ двадцать пять рублей, что вы давеча обѣщали.

АННА НА ШЕѢ.

I.

Послѣ вѣнчанія не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переодѣлись и поѣхали на вокзалъ. Вмѣсто веселаго свадебнаго бала и ужина, вмѣсто музыки и танцевъ—поѣздка на богомолье за двѣсти верстъ. Многіе одобряли это, говоря, что Модестъ Алексѣичъ уже въ чинахъ и не молодъ, и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсѣмъ приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновникъ 52 лѣтъ женится на дѣвушкѣ, которой едва минуло 18. Говорили также, что эту поѣздку въ монастырь Модестъ Алексѣичъ, какъ человѣкъ съ правилами, затѣялъ собственно для того, чтобы дать понять своей молодой женѣ, что и въ бракѣ онъ отдастъ первое мѣсто религіи и нравственности.

Молодыхъ провожали. Толпа сослуживцевъ и родныхъ стояла съ бокалами и ждала, когда пойдетъ поѣздъ, чтобы крикнуть ура, и Петръ Леонтьичъ, отецъ, въ цилиндрѣ, въ учительскомъ фракѣ, уже пьяный и уже очень блѣдный, все тянулся къ окну со своимъ бокаломъ и говорилъ умоляюще:

— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась къ нему изъ окна, и онъ шепталъ ей что-то, обдавая ее запахомъ виннаго перегара, дулъ въ ухо, — ничего нельзя было понять, — и крестилъ ей лицо, грудь, руки; при этомъ дыханіе у него дрожало и на глазахъ блестѣли слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша,

гимназисты, дергали его сзади за фракъ и шептали сконфуженно:

— Папочка, будетъ... Папочка, не надо...

Когда поѣздъ тронулся, Аня видѣла, какъ ея отецъ побѣжалъ немножко за вагономъ, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

— Ура-а-а!—кричалъ онъ.

Молодые остались одни. Модестъ Алексѣичъ осмотрѣлся въ купэ, разложилъ вещи по полкамъ и сѣлъ противъ своей молодой жены, улыбаясь. Это былъ чиновникъ средняго роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, съ длинными бакенами и безъ усовъ, и его бритый, круглый, рѣзко очерченный подбородокъ походилъ на пятку. Самое характерное въ его лицѣ было отсутствіе усовъ, это свѣже выбритое, голое мѣсто, которое постепенно переходило въ жирныя, дрожащія, какъ желе, щеки. Держался онъ солидно, движенія у него были не быстрыя, манеры мягкія.

— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства,—сказалъ онъ, улыбаясь.—Пять лѣтъ назадъ, когда Косоротовъ получилъ орденъ святыя Анны второй степени и пришелъ благодарить, то его сіятельство выразился такъ: «Значитъ, у васъ теперь три Анны: одна въ петлицѣ, двѣ на шеѣ». А надо сказать, что въ то время къ Косоротову только-что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надѣюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сіятельство не будетъ имѣть повода сказать мнѣ то же самое.

Онъ улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь отъ мысли, что этотъ человѣкъ можетъ каждую минуту поцѣловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имѣетъ права отказать ему въ этомъ. Мягкія движенія его пухлаго тѣла пугали ее, ей было и страшно, и гадко. Онъ всталъ, не спѣша снялъ съ шеи орденъ, снялъ фракъ и жилетъ и надѣлъ халатъ.

— Вотъ такъ,—сказалъ онъ, садясь рядомъ съ Аней.

Она вспоминала, какъ мучительно было вѣнчаніе, когда казалось ей, что и священникъ, и гости, и всѣ въ церкви глядѣли на нее печально: зачѣмъ, зачѣмъ она, такая милая, хорошая, выходитъ за этого пожилого, неинтереснаго господина? Еще утромъ сегодня она была въ восторгѣ, что все

такъ хорошо устроилось, во время же вѣнчанія и теперь въ вагонѣ чувствовала себя виноватой, обманутой и смѣшной. Вотъ она вышла за богатаго, а денегъ у нея все-таки не было, вѣнчальное платье шили въ долгъ и, когда сегодня ее провожали отецъ и братья, она по ихъ лицамъ видѣла, что у нихъ не было ни копейки. Будутъ ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отецъ и мальчики сидятъ теперь безъ нея голодные и испытываютъ точно такую же тоску, какая была въ первый вечеръ послѣ похоронъ матери.

«О, какъ я несчастна!—думала она.—Зачѣмъ я такъ несчастна?»

Съ неловкостью человѣка солиднаго, непривыкшаго обращаться съ женщинами, Модестъ Алексѣичъ трогалъ ее за талію и похлопывалъ по плечу, а она думала о деньгахъ, о матери, объ ея смерти. Когда умерла мать, отецъ, Петръ Леонтьичъ, учитель чистописанія и рисованія въ гимназіи, запилъ, наступила нужда; у мальчиковъ не было сапогъ и калошъ, отца таскали къ мировому, приходилъ судебный приставъ и описывалъ мебель... Какой стыдъ! Аня должна была ухаживать за пьянымъ отцомъ, штопать братьямъ чулки, ходить на рынокъ и, когда хвалили ея красоту, молодость и изящныя манеры, ей казалось, что весь свѣтъ видитъ ея дешевую шляпку и дырочки на ботинкахъ, замазанныя чернилами. А по ночамъ слезы и неотвязчивая, безпокойная мысль, что скоро-скоро отца уволятъ изъ гимназіи за слабость и что онъ не перенесетъ этого и тоже умретъ, какъ мать. Но вотъ знакомыя дамы засуетились и стали искать для Ани хорошаго человѣка. Скоро нашелся вотъ этотъ самый Модестъ Алексѣичъ, не молодой и не красивый, но съ деньгами. У него въ банкѣ тысячъ сто и есть родовое имѣніе, которое онъ отдаетъ въ аренду. Это человѣкъ съ правилами и на хорошемъ счету у его сіятельства; ему ничего не стоитъ, какъ говорили Анѣ, взять у его сіятельства записочку къ директору гимназіи и даже къ попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдругъ музыка, ворвавшаяся въ окно вмѣстѣ съ шумомъ голосовъ. Это поѣздъ остановился на полустанкѣ. За платформой въ толпѣ бойко играли на гармоникѣ и на дешевой визгливой скрипкѣ, а изъ-за высокихъ березъ и тополей,

изъ-за дачъ, залитыхъ луннымъ свѣтомъ, доносились звуки военнаго оркестра: должно-быть, на дачахъ былъ танцовальный вечеръ. На платформѣ гуляли дачники и горожане, пріѣзжавшіе сюда въ хорошую погоду подышать чистымъ воздухомъ. Былъ тутъ и Артыновъ, владѣлецъ всего этого дачнаго мѣста, богачъ, высокій, полный брюнетъ, похожій лицомъ на армянина, съ глазами на выкатѣ и въ странномъ костюмѣ. На немъ была рубаха, разстегнутая на груди, и высокіе сапоги со шпорами, и съ плечъ спускался черный плащъ, тащившійся по землѣ, какъ шлейфъ. За нимъ, опустивъ свои острыя морды, ходили двѣ борзыя.

У Ани еще блестѣли на глазахъ слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгахъ, ни о своей свадьбѣ, а пожимала руки знакомымъ гимназистамъ и офицерамъ, весело смѣялась и говорила быстро:

— Здравствуйте! Какъ поживаете?

Она вышла на площадку, подъ лунный свѣтъ, и стала такъ, чтобы видѣли ее всю въ новомъ великолѣпномъ платьѣ и въ шляпкѣ.

— Зачѣмъ мы здѣсь стоимъ?—спросила она.

— Здѣсь разъѣздъ,—отвѣтили ей:—ожидаютъ почтоваго поѣзда.

Замѣтивъ, что на нее смотритъ Артыновъ, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ея собственный голосъ звучалъ такъ прекрасно и, что слышалась музыка и луна отражалась въ прудѣ, и оттого, что на нее жадно и съ любопытствомъ смотрѣлъ Артыновъ, этотъ извѣстный донъ-жуанъ и баловникъ, и оттого, что всѣмъ было весело, она вдругъ почувствовала радость и, когда поѣздъ трронулся и знакомые офицеры на прощанье сдѣлали ей подъ козырекъ, она уже напѣвала польку, звуки которой посылалъ ей вдогонку военный оркестръ, гремѣвшій гдѣ-то тамъ за деревьями; и вернулась она въ свое купэ съ такимъ чувствомъ, какъ будто на полустанкѣ ее убѣдили, что она будетъ счастлива непремѣнно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли въ монастырѣ два дня, потомъ вернулись въ городъ. Жили они на казенной квартирѣ. Когда Модестъ Алексѣичъ уходилъ на службу, Аня играла на роялѣ, или плакала отъ скуки, или ложилась на кушетку и читала романы, и разсматривала модный журналъ. За обѣ-

домъ Модестъ Алексѣичъ ѣлъ очень много и говорилъ о политикѣ, о назначеніяхъ, переводахъ и наградахъ, о томъ, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствіе, а долгъ, что копейка рубль бережетъ и что выше всего на свѣтѣ онъ ставитъ религію и нравственность. И, держа ножъ въ кулакѣ, какъ мечъ, онъ говорилъ:

— Каждый человѣкъ долженъ имѣть свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла ѣсть, и обыкновенно вставала изъ-за стола голодной. Послѣ обѣда мужъ отдыхалъ и громко храпѣлъ, а она уходила къ своимъ. Отецъ и мальчики посматривали на нее какъ-то особенно, какъ будто только-что до ея прихода осуждали ее за то, что она вышла изъ-за денегъ, за нелюбимаго, нуднаго, скучнаго человѣка; ея шуршащее платье, браслетки и вообще дамскій видъ стѣсняли, оскорбляли ихъ; въ ея присутствіи они немножко конфузились и не знали, о чемъ говорить съ ней; но все же любили они ее попрежнему и еще не привыкли обѣдать безъ нея. Она садилась и кушала съ ними щи, кашу и картошку, жареную на бараньемъ салѣ, отъ котораго пахло свѣчкой. Петръ Леонтьичъ дрожащей рукой наливалъ изъ графинчика и выпивалъ быстро, съ жадностью, съ отвращеніемъ, потомъ выпивалъ другую рюмку, потомъ третью... Петя и Андрюша, худенькіе, блѣдные мальчики съ большими глазами, брали графинчикъ и говорили растерянно:

— Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а онъ вдругъ вспыхивалъ и стучалъ кулакомъ по столу.

— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричалъ онъ.—Мальчишки! Дѣвчонка! Я васъ всѣхъ выгоню вонъ!

Но въ голосѣ его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. Послѣ обѣда обыкновенно онъ наряжался; блѣдный, съ порѣзаннымъ отъ бритья подбородкомъ, вытягивая тощую шею, онъ цѣлыхъ полчаса стоялъ передъ зеркаломъ и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывалъ бантомъ галстукъ, потомъ надѣвалъ перчатки, цилиндръ и уходилъ на частные уроки. А если былъ праздникъ, то онъ оставался дома и писалъ красками, или игралъ на фисгармоніи, которая шипѣла и рычала; онъ старался выдавить изъ нея

стройные, гармоничные звуки и подпѣвалъ, или же сердился на мальчиковъ:

— Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструментъ!

По вечерамъ мужъ Ани игралъ въ карты со своими сослуживцами, жившими съ нимъ подъ одной крышей въ казенномъ домѣ. Сходились во время картъ жены чиновниковъ, некрасивыя, безвкусно наряженныя, грубыя, какъ кухарки, и въ квартирѣ начинались сплетни, такія же некрасивыя и безвкусныя, какъ сами чиновницы. Случалось, что Модестъ Алексѣичъ ходилъ съ Аней въ театръ. Въ антрактахъ онъ не отпускалъ ее отъ себя ни на шагъ, а ходилъ съ ней подъ руку по коридорамъ и по фойэ. Раскланявшись съ кѣмъ-нибудь, онъ тотчасъ уже шепталъ Анѣ:— «Статскій совѣтникъ... принятъ у его сіятельства...» или: «Со средствами... имѣетъ свой домъ...» Когда проходили мимо буфета, Анѣ очень хотѣлось чего-нибудь сладкаго; она любила шоколадъ и яблочное пирожное, но денегъ у нея не было, а спросить у мужа она стѣснялась. Онъ бралъ грушу, мялъ ее пальцами и спрашивалъ нерѣшительно:

— Сколько стоитъ?

— Двадцать пять копеекъ.

— Однако!—говорилъ онъ и клалъ грушу на мѣсто; но такъ какъ было неловко отойти отъ буфета, ничего не купивши, то онъ требовалъ сельтерской воды и выпивалъ одинъ всю бутылку, и слезы выступали у него на глазахъ, и Аня ненавидѣла его въ это время.

Или онъ, вдругъ весь покраснѣвъ, говорилъ ей быстро:

— Поклонись этой старой дамѣ!

— Но я съ ней незнакома.

— Все равно. Это супруга управляющаго казенной палатой! Поклонись же, тебѣ говорю!—ворчалъ онъ настойчиво.— Голова у тебя не отвалится.

Аня кланялась и голова у нея въ самомъ дѣлѣ не отваливалась, но было мучительно. Она дѣлала все, что хотѣлъ мужъ, и злилась на себя за то, что онъ обманулъ ее, какъ послѣднюю дурочку. Выходила она за него только изъ-за денегъ, а между тѣмъ денегъ у нея теперь было меньше, чѣмъ до замужества. Прежде хоть отецъ давалъ двугривенные, а теперь—ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страхъ къ этому человѣку она носитъ въ своей душѣ

уже давно. Когда-то въ дѣтствѣ самой внушительной и страшной силой, надвигающейся какъ туча или локомотивъ, готовый задавить, ей всегда представлялся директоръ гимназіи, другой такою же силой, о которой въ семьѣ всегда говорили и которую почему-то боялись, былъ его сіятельство; и былъ еще десятокъ силъ помельче, и между ними учителя гимназіи съ бритыми усами, строгіе, неумолимые и, теперь вотъ, наконецъ, Модестъ Алексѣичъ, человѣкъ съ правилами, который даже лицомъ походилъ на директора. И въ воображеніи Ани всѣ эти силы сливались въ одно и въ видѣ одного страшнаго громаднаго бѣлаго медвѣдя надвигались на слабыхъ и виноватыхъ, такихъ, какъ ея отецъ, и она боялась сказать что-нибудь противъ, и натянуто улыбалась и выражала притворное удовольствіе, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятіями, наводившими на нее ужасъ.

Только одинъ разъ Петръ Леонтьичъ осмѣлился попросить у него пятьдесятъ рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень непріятный долгъ, но какое это было страданіе!

— Хорошо, я вамъ дамъ,—сказалъ Модестъ Алексѣичъ подумавъ:—но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вамъ, пока вы не бросите пить. Для человѣка, состоящаго на государственной службѣ, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вамъ общеизвѣстнаго факта, что многихъ способныхъ людей погубила эта страсть, между тѣмъ какъ при воздержаніи они, быть-можетъ, могли бы со временемъ сдѣлаться высокопоставленными людьми.

И потянулись длинные періоды: «по мѣрѣ того»... «исходя изъ того положенія»... «въ виду только-что сказаннаго», а бѣдный Петръ Леонтьичъ страдалъ отъ униженія и испытывалъ сильное желаніе выпить.

И мальчики, приходившіе къ Анѣ въ гости, обыкновенно въ рваныхъ сапогахъ и въ поношенныхъ брюкахъ, тоже должны были выслушивать наставленія.

— Каждый человѣкъ долженъ имѣть свои обязанности!— говорилъ имъ Модестъ Алексѣичъ.

А денегъ не давалъ. Но зато онъ дарилъ Анѣ кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо имѣть про черный день. И часто онъ отпиралъ ея комодъ и дѣлалъ ревизію: всѣ ли вещи цѣлы.

II.

Наступила между тѣмъ зима. Еще задолго до Рождества въ мѣстной газетѣ было объявлено, что 29-го декабря въ дворянскомъ собраніи «имѣетъ быть» обычный зимній балъ. Каждый вечеръ послѣ картъ, Модестъ Алексѣичъ, взволнованный, шептался съ чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потомъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, о чемъ-то думая. Наконецъ, какъ-то поздно вечеромъ онъ остановился передъ Аней и сказалъ:

— Ты должна сшить себѣ бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посовѣтуйся съ Марьей Григорьевной и съ Натальей Кузьминишной.

И далъ ей сто рублей. Она взяла; но заказывая бальное платье, ни съ кѣмъ не совѣтовалась, а поговорила только съ отцомъ и постаралась вообразить себѣ, какъ бы одѣлась на балъ ея мать. Ея покойная мать сама одѣвалась всегда по послѣдней модѣ и всегда возилась съ Аней и одѣвала ее изящно, какъ куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцовать мазурку (до замужества она пять лѣтъ прослужила въ гувернанткахъ). Аня такъ же, какъ мать, могла изъ стараго платья сдѣлать новое, мыть въ бензинѣ перчатки, брать на прокатъ bijoux и такъ же, какъ мать, умѣла щурить глаза, картавить, принимать красивыя позы, приходить, когда нужно, въ восторгъ, глядѣть печально и загадочно. А отъ отца она унаслѣдовала темный цвѣтъ волосъ и глазъ, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.

Когда за полчаса до отъѣзда на балъ Модестъ Алексѣичъ вошелъ къ ней безъ сюртука, чтобы передъ ея трюмо надѣть себѣ на шею орденъ, то, очарованный ея красотой и блескомъ ея свѣжаго, воздушнаго наряда, самодовольно расчесалъ себѣ бакены и сказалъ:

— Вотъ ты у меня какая... вотъ ты какая! Анюта!— продолжалъ онъ, вдругъ впадая въ торжественный тонъ.— Я тебя осчастливилъ, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супругѣ его сіятельства! Ради Бога! Черезъ нее я могу получить старшаго докладчика!

Поѣхали на балъ. Вотъ и дворянское собраніе, и подъѣздъ со швейцаромъ. Передняя съ вѣшалками, шубы,

снующіе лакеи и декольтированныя дамы, закрывающіяся вѣерами отъ сквозного вѣтра; пахнетъ свѣтильнымъ газомъ и солдатами. Когда Аня, идя вверхъ по лѣстницѣ подъ руку съ мужемъ, услышала музыку и увидала въ громадномъ зеркалѣ всю себя, освѣщенную множествомъ огней, то въ душѣ ея проснулась радость и то самое предчувствіе счастья, какое испытала она въ лунный вечеръ на полустанкѣ. Она шла гордая, самоувѣренная, въ первый разъ чувствуя себя не дѣвочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И въ первый разъ въ жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствіе мужа не стѣсняло ея, такъ какъ, перейдя порогъ собранія, она уже угадала инстинктомъ, что близость стараго мужа нисколько не унижаетъ ее, а наоборотъ, кладётъ на нее печать пикантной таинственности, которая такъ нравится мужчинамъ. Въ большой залѣ уже гремѣлъ оркестръ и начались танцы. Послѣ казенной квартиры, охваченная впечатлѣніями свѣта, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядомъ залу и подумала:—«Ахъ, какъ хорошо!» и сразу отличила въ толпѣ всѣхъ своихъ знакомыхъ, всѣхъ, кого она раньше встрѣчала на вечерахъ или на гуляньяхъ, всѣхъ этихъ офицеровъ, учителей, адвокатовъ, чиновниковъ, помѣщиковъ, его сіятельство, Артынова и дамъ высшаго общества, разодѣтыхъ, сильно декольтированныхъ, красивыхъ и безобразныхъ, которыя уже занимали свои позиціи въ избушкахъ и павильонахъ благотворительнаго базара, чтобы начать торговлю въ пользу бѣдныхъ. Громадный офицеръ въ эполетахъ—она познакомилась съ нимъ на Старо-Кіевской улицѣ, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамиліи—точно изъ-подъ земли выросъ и пригласилъ на вальсъ, и она отлетѣла отъ мужа, и ей ужъ казалось, будто она плыла на парусной лодкѣ, въ сильную бурю, а мужъ остался далеко на берегу... Она танцовала страстно, съ увлеченіемъ и вальсъ, и польку, и кадриль, переходя съ рукъ на руки, угорая отъ музыки и шума, мѣшая русскій языкъ съ французскимъ, картавя, смѣясь и не думая ни о мужѣ, ни о комъ и ни о чемъ. Она имѣла успѣхъ у мужчинъ, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась отъ волненія, судорожно тискала въ рукахъ вѣеръ и хотѣла пить. Отецъ, Петръ Леонтьичъ, въ помятомъ фракѣ, отъ котораго пахло бензи-

номъ, подошелъ къ ней, протягивая блюдечко съ краснымъ мороженымъ.

— Ты очаровательна сегодня,—говорилъ онъ, глядя на нее съ восторгомъ:—и никогда еще я такъ не жалѣлъ, что ты поспѣшила замужъ... Зачѣмъ? Я знаю, ты сдѣлала это ради насъ, но...—онъ дрожащими руками вытащилъ пачечку денегъ и сказалъ:—Я сегодня получилъ съ урока и могу отдать долгъ твоему мужу.

Она сунула ему въ руки блюдечко и, подхваченная кѣмъ-то, унеслась далеко и мелькомъ, черезъ плечо своего кавалера, видѣла, какъ отецъ, скользя по паркету, обнялъ даму и понесся съ ней по залѣ.

— Какъ онъ милъ, когда трезвъ!—думала она.

Мазурку она танцовала съ тѣмъ же громаднымъ офицеромъ; онъ важно и тяжело, словно туша въ мундирѣ, ходилъ, поводилъ плечами и грудью, притоптывалъ ногами еле-еле—ему страшно не хотѣлось танцовать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ея горѣли задоромъ, движенія были страстныя, а онъ становился все равнодушнѣе и протягивалъ къ ней руки милостиво, какъ король.

— Браво, браво!..—говорили въ публикѣ.

Но мало-по-малу и громаднаго офицера прорвало; онъ оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованію, вошелъ въ азартъ и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядѣла лукаво, точно она уже была королева, а онъ рабъ, и въ это время ей казалось, что на нихъ смотритъ вся зала, что всѣ эти люди млѣютъ и завидуютъ имъ. Едва громадный офицеръ успѣлъ поблагодарить ее, какъ публика вдругъ разступилась и мужчины вытянулись какъ-то странно, опустивъ руки... Это шелъ къ ней его сіятельство, во фракѣ съ двумя звѣздами. Да, его сіятельство шелъ именно къ ней, потому что глядѣлъ прямо на нее въ упоръ и слащаво улыбался, и при этомъ жевалъ губами, что дѣлалъ онъ всегда, когда видѣлъ хорошенькихъ женщинъ.

— Очень радъ, очень радъ...—началъ онъ. — А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что онъ до сихъ поръ скрывалъ отъ насъ такое сокровище. Я къ вамъ съ порученіемъ отъ жены,—продолжалъ онъ, подавая ей руку.—Вы должны помочь намъ... М-да... Нужно назна-

чить вамъ премію за красоту... какъ въ Америкѣ... М-да... Американцы... Моя жена ждетъ васъ съ нетерпѣніемъ.

Онъ привелъ ее въ избушку, къ пожилой дамѣ, у которой нижняя часть лица была несоразмѣрно велика, такъ что казалось, будто она во рту держала большой камень.

— Помогите намъ,—сказала она въ носъ, нараспѣвъ.— Всѣ хорошенькія женщины работаютъ на благотворительномъ базарѣ, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите намъ помочь?

Она ушла, и Аня заняла ея мѣсто около серебрянаго самовара съ чашками. Тотчасъ же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громаднаго офицера заставила выпить три чашки. Подошелъ Артыновъ, богачъ, съ выпуклыми глазами, страдающій одышкой, но уже не въ томъ странномъ костюмѣ, въ какомъ видѣла его Аня лѣтомъ, а во фракѣ, какъ всѣ. Не отрывая глазъ съ Ани, онъ выпилъ бокалъ шампанскаго и заплатилъ сто рублей, потомъ выпилъ чаю и далъ еще сто — и все это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала съ нихъ деньги, уже глубоко убѣжденная, что ея улыбки и взгляды не доставляютъ этимъ людямъ ничего, кромѣ большого удовольствія. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смѣющейся жизни съ музыкой, танцами, поклонниками, и давнишній страхъ ея передъ силой, которая надвигается и грозитъ задавить, казался ей смѣшнымъ; никого она уже не боялась, и только жалѣла, что нѣтъ матери, которая порадовалась бы теперь вмѣстѣ съ ней ея успѣхамъ.

Петръ Леонтьичъ, уже блѣдный, но еще крѣпко держась на ногахъ, подошелъ къ избушкѣ и попросилъ рюмку коньяку. Аня покраснѣла, ожидая, что онъ скажетъ что-нибудь не подобающее (ей уже было стыдно, что у нея такой бѣдный, такой обыкновенный отецъ), но онъ выпилъ, выбросилъ изъ своей пачечки десять рублей и важно отошелъ, не сказавъ ни слова. Немного погодя, она видѣла, какъ онъ шелъ въ парѣ въ grand rond и въ этотъ разъ онъ уже пошатывался и что-то выкрикивалъ, къ великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, какъ года три назадъ на балу онъ такъ же вотъ пошатывался и выкрикивалъ—и кончилось тѣмъ, что околоточный увезъ его домой

спать, а на другой день директоръ грозилъ уволить со службы. Какъ некстати было это воспоминаніе!

Когда въ избушкахъ потухли самовары и утомленныя благотворительницы сдали выручку пожилой дамѣ съ камнемъ во рту, Артыновъ повелъ Аню подъ-руку въ залу, гдѣ былъ сервированъ ужинъ для всѣхъ участвовавшихъ въ благотворительномъ базарѣ. Ужинало человѣкъ двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сіятельство провозгласилъ тостъ: «Въ этой роскошной столовой будетъ умѣстно выпить за процвѣтаніе дешевыхъ столовыхъ, служившихъ предметомъ сегодняшняго базара». Бригадный генералъ предложилъ выпить «за силу, передъ которой пассуетъ даже артиллерія», и всѣ потянулись чокаться съ дамами. Было очень, очень весело!

Когда Аню провожали домой, то уже свѣтало и кухарки шли на рынокъ. Радостная, пьяная, полная новыхъ впечатлѣній, замученная, она раздѣлась, повалилась въ постель и тотчасъ же уснула...

Во второмъ часу дня ее разбудила горничная и доложила, что пріѣхалъ господинъ Артыновъ съ визитомъ. Она быстро одѣлась и пошла въ гостиную. Вскорѣ послѣ Артынова пріѣзжалъ его сіятельство благодарить за участіе въ благотворительномъ базарѣ. Онъ, глядя на нее слащаво и жуя, поцѣловалъ ей ручку и попросилъ позволенія бывать еще и уѣхалъ, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не вѣря, что перемѣна въ ея жизни, удивительная перемѣна, произошла такъ скоро; и въ это самое время вошелъ ея мужъ, Модестъ Алексѣичъ... И передъ ней также стоялъ онъ теперь съ тѣмъ же заискивающимъ, сладкимъ, холопски-почтительнымъ выраженіемъ, какое она привыкла видѣть у него въ присутствіи сильныхъ и знатныхъ; и съ восторгомъ, съ негодованіемъ, съ презрѣніемъ, уже увѣренная, что ей за это ничего не будетъ, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Подите прочь, болванъ!

Послѣ этого у Ани не было уже ни одного свободнаго дня, такъ какъ она принимала участіе то въ пикникѣ, то въ прогулкѣ, то въ спектаклѣ. Возвращалась она домой каждый день подъ утро и ложилась въ гостиной на полу, и потомъ разсказывала всѣмъ трогательно, какъ она спитъ подъ цвѣтами. Денегъ нужно было очень много, но она уже

не боялась Модеста Алексѣича и тратила его деньги, какъ свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета, или записки: «выдать подателю сего 200 р.», или: «немедленно уплатить 100 р.».

На Пасхѣ Модестъ Алексѣичъ получилъ Анну второй степени. Когда онъ пришелъ благодарить, его сіятельство отложилъ въ сторону газету и сѣлъ поглубже въ кресло.

— Значитъ, у васъ теперь три Анны, — сказалъ онъ, осматривая свои бѣлыя руки съ розовыми ногтями:—одна въ петлицѣ, двѣ на шеѣ.

Модестъ Алексѣичъ приложилъ два пальца къ губамъ изъ осторожности, чтобы не разсмѣяться громко, и сказалъ:

— Теперь остается ожидать появленія на свѣтъ маленькаго Владиміра. Осмѣлюсь просить ваше сіятельство въ воспріемники.

Онъ намекалъ на Владиміра IV степени и уже воображалъ, какъ онъ будетъ всюду разсказывать объ этомъ своемъ каламбурѣ, удачномъ по находчивости и смѣлости, и хотѣлъ сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сіятельство вновь углубился въ газету и кивнулъ головой...

А Аня все каталась на тройкахъ, ѣздила съ Артыновымъ на охоту, играла въ одноактныхъ пьесахъ, ужинала, и все рѣже и рѣже бывала у своихъ. Они обѣдали уже одни. Петръ Леонтьичъ запивалъ сильнѣе прежняго, денегъ не было и фисгармонію давно уже продали за долгъ. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все слѣдили за нимъ, чтобы онъ не упалъ; и когда во время катанья на Старо-Кіевской имъ встрѣчалась Аня на парѣ съ пристяжной на отлетѣ и съ Артыновымъ на козлахъ вмѣсто кучера, Петръ Леонтьичъ снималъ цилиндръ и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его подъ-руки и говорили умоляюще:

— Не надо, папочка... Будетъ, папочка...

ДОМЪ СЪ МЕЗОНИНОМЪ.

(Разсказъ художника.)

I.

Это было 6—7 лѣтъ тому назадъ, когда я жилъ въ одномъ изъ уѣздовъ Т—ой губерніи, въ имѣніи помѣщика Бѣлокурова, молодого человѣка, который вставалъ очень рано, ходилъ въ поддевкѣ, по вечерамъ пилъ пиво и все жаловался мнѣ, что онъ нигдѣ и ни въ комъ не встрѣчаетъ сочувствія. Онъ жилъ въ саду во флигелѣ, а я въ старомъ барскомъ домѣ, въ громадной залѣ съ колоннами, гдѣ не было никакой мебели, кромѣ широкаго дивана, на которомъ я спалъ, да еще стола, на которомъ я раскладывалъ пасьянсъ. Тутъ всегда, даже въ тихую погоду, что-то гудѣло въ старыхъ амосовскихъ печахъ, а во время грозы весь домъ дрожалъ и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда всѣ десять большихъ оконъ вдругъ освѣщались молніей.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не дѣлалъ рѣшительно ничего. По цѣлымъ часамъ я смотрѣлъ въ свои окна на небо, на птицъ, на аллеи, читалъ все, что привозили мнѣ съ почты, спалъ. Иногда я уходилъ изъ дому и до поздняго вечера бродилъ гдѣ-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрелъ въ какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цвѣтущей ржи растянулись вечернія тѣни. Два ряда старыхъ, тѣсно посаженныхъ, очень высокихъ елей стояли, какъ двѣ сплошныя стѣны, образуя мрачную, красивую

аллею. Я легко перелѣзъ черезъ изгородь и пошелъ по этой аллеѣ, скользя по еловымъ игламъ, которыя тутъ на вершокъ покрывали землю. Было тихо, темно и только высоко на вершинахъ кое-гдѣ дрожалъ яркій золотой свѣтъ и переливалъ радугой въ сѣтяхъ паука. Сильно, до духоты пахло хвоемъ. Потомъ я повернулъ на длинную липовую аллею. И тутъ тоже запустѣніе и старость; прошлогодняя листва печально шелестѣла подъ ногами и въ сумеркахъ между деревьями прятались тѣни. Направо, въ старомъ фруктовомъ саду, нехотя, слабымъ голосомъ пѣла иволга, должно-быть, тоже старушка. Но вотъ и липы кончились; я прошелъ мимо бѣлаго дома съ террасой и съ мезониномъ, и передо мною неожиданно развернулся видъ на барскій дворъ и на широкій прудъ съ купальней, съ толпой зеленыхъ ивъ, съ деревней на томъ берегу, съ высокой, узкой колокольней, на которой горѣлъ крестъ, отражая въ себѣ заходившее солнце. На мигъ на меня повѣяло очарованіемъ чего-то родного, очень знакомаго, будто я уже видѣлъ эту самую панораму когда-то въ дѣтствѣ.

А у бѣлыхъ каменныхъ воротъ, которыя вели со двора въ поле, у старинныхъ крѣпкихъ воротъ со львами, стояли двѣ дѣвушки. Одна изъ нихъ, постарше, тонкая, блѣдная, очень красивая, съ цѣлой копной каштановыхъ волосъ на головѣ, съ маленькимъ упрямымъ ртомъ, имѣла строгое выраженіе и на меня едва обратила вниманіе; другая же, совсѣмъ еще молоденькая—ей было 17—18 лѣтъ, не больше—тоже тонкая и блѣдная, съ большимъ ртомъ и съ большими глазами, съ удивленіемъ посмотрѣла на меня, когда я проходилъ мимо, сказала что-то по-англійски и сконфузилась, и мнѣ показалось, что и эти два милыхъ лица мнѣ давно уже знакомы. И я вернулся домой съ такимъ чувствомъ, какъ будто видѣлъ хорошій сонъ.

Вскорѣ послѣ этого, какъ-то въ полдень, когда я и Бѣлокуровъ гуляли около дома, неожиданно, шурша по травѣ, въѣхала во дворъ рессорная коляска, въ которой сидѣла одна изъ тѣхъ дѣвушекъ. Это была старшая. Она пріѣхала съ подписнымъ листомъ просить на погорѣльцевъ. Не глядя на насъ, она очень серьезно и обстоятельно разсказала намъ, сколько сгорѣло домовъ въ селѣ Сіяновѣ, сколько мужчинъ, женщинъ и дѣтей осталось безъ крова и что намѣренъ предпринять на первыхъ порахъ погорѣльческій

комитетъ, членомъ котораго она теперь была. Давши намъ подписаться, она спрятала листъ и тотчасъ же стала прощаться.

— Вы совсѣмъ забыли насъ, Петръ Петровичъ,—сказала она Бѣлокурову, подавая ему руку. — Пріѣзжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилію) захочетъ взглянуть, какъ живутъ почитатели его таланта, и пожалуетъ къ намъ, то мама и я будемъ очень рады.

Я поклонился.

Когда она уѣхала, Петръ Петровичъ сталъ разсказывать. Эта дѣвушка, по его словамъ, была изъ хорошей семьи и звали ее Лидіей Волчаниновой, а имѣніе, въ которомъ она жила съ матерью и сестрой, также какъ и село на другомъ берегу пруда, называлось Шелковкой. Отецъ ея когда-то занималъ видное мѣсто въ Москвѣ и умеръ въ чинѣ тайнаго совѣтника. Несмотря на хорошія средства, Волчаниновы жили въ деревнѣ безвыѣздно, лѣто и зиму, и Лидія была учительницей въ земской школѣ у себя въ Шелковкѣ и получала 25 рублей въ мѣсяцъ. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живетъ на собственный счетъ.

— Интересная семья, — сказалъ Бѣлокуровъ. — Пожалуй, сходимъ къ нимъ какъ-нибудь. Онѣ будутъ вамъ очень рады.

Какъ-то послѣ обѣда, въ одинъ изъ праздниковъ, мы вспомнили про Волчаниновыхъ и отправились къ нимъ въ Шелковку. Онѣ, мать и обѣ дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, повидимому, красивая, теперь же сырая не по лѣтамъ, больная одышкой, грустная, разсѣянная, старалась занять меня разговоромъ о живописи. Узнавъ отъ дочери, что я, быть-можетъ, пріѣду въ Шелковку, она торопливо припомнила два-три моихъ пейзажа, какіе видѣла на выставкахъ въ Москвѣ, и теперь спрашивала, что я хотѣлъ въ нихъ выразить. Лидія, или, какъ ее звали дома, Лида говорила больше съ Бѣлокуровымъ, чѣмъ со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему онъ не служитъ въ земствѣ и почему до сихъ поръ не былъ ни на одномъ земскомъ собраніи.

— Не хорошо, Петръ Петровичъ, — говорила она укоризненно.—Не хорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда,—соглашалась мать.—Не хорошо.

— Весь нашъ уѣздъ находится въ рукахъ Балагина,— продолжала Лида, обращаясь ко мнѣ. — Самъ онъ предсѣдатель управы, и всѣ должности въ уѣздѣ роздалъ своимъ племянникамъ и зятьямъ и дѣлаетъ, что хочетъ. Надо бороться. Молодежь должна составить изъ себя сильную партію, но вы видите, какая у насъ молодежь. Стыдно, Петръ Петровичъ!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земствѣ, молчала. Она не принимала участія въ серьезныхъ разговорахъ, ее въ семьѣ еще не считали взрослой и, какъ маленькую, называли Мисюсь, потому что въ дѣтствѣ она называла такъ *мисъ*, свою гувернантку. Все время она смотрѣла на меня съ любопытствомъ и, когда я осматривалъ въ альбомѣ фотографіи, объясняла мнѣ: «Это дядя... Это крестный папа», и водила пальчикомъ по портретамъ, и въ это время по-дѣтски касалась меня своимъ плечомъ, и я близко видѣлъ ея слабую, неразвитую грудь, тонкія плечи, косу и худенькое тѣло, туго стянутое поясомъ.

Мы играли въ крокетъ и lown-tennis, гуляли по саду, пили чай, потомъ долго ужинали. Послѣ громадной пустой залы съ колоннами мнѣ было какъ-то по себѣ въ этомъ небольшомъ уютномъ домѣ, въ которомъ не было на стѣнахъ олеографій и прислугѣ говорили вы, и все мнѣ казалось молодымъ и чистымъ, благодаря присутствію Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужиномъ Лида опять говорила съ Бѣлокуровымъ о земствѣ, о Балагинѣ, о школьныхъ библіотекахъ. Это была живая, искренняя, убѣжденная дѣвушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко—быть-можетъ, оттого, что привыкла говорить въ школѣ. Зато мой Петръ Петровичъ, у котораго еще со студенчества осталась манера всякій разговоръ сводить на споръ, говорилъ скучно, вяло и длинно, съ явнымъ желаніемъ казаться умнымъ и передовымъ человѣкомъ. Жестикулируя, онъ опрокинулъ рукавомъ соусникъ, и на скатерти образовалась большая лужа, но кромѣ меня, казалось, никто не замѣтилъ этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

— Хорошее воспитаніе не въ томъ, что ты не прольешь соуса на скатерть, а въ томъ, что ты не замѣтишь, если это сдѣлаетъ кто-нибудь другой, — сказалъ Бѣлокуровъ и вздохнулъ.—Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отсталъ

я отъ хорошихъ людей, ахъ какъ отсталъ! А все дѣла, дѣла! Дѣла!

Онъ говорилъ о томъ, какъ много приходится работать, когда хочешь стать образцовымъ сельскимъ хозяиномъ. А я думалъ: какой это тяжелый и лѣнивый малый! Онъ, когда говорилъ о чемъ-нибудь серьезно, то съ напряженіемъ тянулъ «э-э-э-э», и работалъ такъ же, какъ говорилъ,—медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. Въ его дѣловитость я плохо вѣрилъ уже потому, что письма, которыя я поручалъ ему отправлять на почту, онъ по цѣлымъ недѣлямъ таскалъ у себя въ карманѣ.

— Тяжелѣе всего,—бормоталъ онъ, идя рядомъ со мной:— тяжелѣе всего, что работаешь и ни въ комъ не встрѣчаешь сочувствія. Никакого сочувствія!

II.

Я сталъ бывать у Волчаниновыхъ. Обыкновенно я сидѣлъ на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала такъ быстро и неинтересно, и я все думалъ о томъ, какъ хорошо было бы вырвать изъ своей груди сердце, которое стало у меня такимъ тяжелымъ. А въ это время на террасѣ говорили, слышался шорохъ платьевъ, перелистывали книгу. Я скоро привыкъ къ тому, что днемъ Лида принимала больныхъ, раздавала книжки и часто уходила въ деревню съ непокрытой головой, подъ зонтикомъ, а вечеромъ громко говорила о земствѣ, о школахъ. Эта тонкая, красивая, неизмѣнно строгая дѣвушка съ маленькимъ, изящно очерченнымъ ртомъ, всякій разъ, когда начинался дѣловой разговоръ, говорила мнѣ сухо:

— Это для васъ не интересно.

Я былъ ей не симпатиченъ. Она не любила меня за то, что я пейзажистъ и въ своихъ картинахъ не изображаю народныхъ нуждъ и что я, какъ ей казалось, былъ равнодушенъ къ тому, во что она такъ крѣпко вѣрила. Помнится, когда я ѣхалъ по берегу Байкала, мнѣ встрѣтилась дѣвушка-бурятка, въ рубахѣ и въ штанахъ изъ синей дабы, верхомъ на лошади; я спросилъ у нея, не продастъ ли она мнѣ свою трубку и, пока мы говорили, она съ презрѣніемъ смотрѣла на мое европейское лицо и на мою шляпу, и въ одну минуту ей надоѣло говорить со мной, она гикнула и

поскакала прочь. И Лида точно такъ же презирала во мнѣ чужого. Внѣшнимъ образомъ она никакъ не выражала своего нерасположенія ко мнѣ, но я чувствовалъ его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывалъ раздраженіе и говорилъ, что лѣчить мужиковъ, не будучи врачомъ, значитъ обманывать ихъ и что легко быть благодѣтелемъ, когда имѣешь двѣ тысячи десятинъ.

А ея сестра, Мисюсь, не имѣла никакихъ заботъ и проводила свою жизнь въ полной праздности, какъ я. Вставши утромъ, она тотчасъ же бралась за книгу и читала, сидя на террасѣ въ глубокомъ креслѣ, такъ что ножки ея едва касались земли, или пряталась съ книгой въ липовой аллеѣ, или шла за ворота въ поле. Она читала цѣлый день, съ жадностью глядя въ книгу, и только потому, что взглядъ ея иногда становился усталымъ, ошеломленнымъ и лицо сильно блѣднѣло, можно было догадаться, какъ это чтеніе утомляло ея мозгъ. Когда я приходилъ, она, увидѣвъ меня, слегка краснѣла, оставляла книгу и съ оживленіемъ, глядя мнѣ въ лицо своими большими глазами, разсказывала о томъ, что̀ случилось, напримѣръ, о томъ, что въ людской загорѣлась сажа, или что работникъ поймалъ въ прудѣ большую рыбу. Въ будни она ходила обыкновенно въ свѣтлой рубашечкѣ и въ темно-синей юбкѣ. Мы гуляли вмѣстѣ, рвали вишни для варенья, катались въ лодкѣ и, когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкіе рукава просвѣчивали ея тонкія, слабыя руки. Или я писалъ этюдъ, а она стояла возлѣ и смотрѣла съ восхищеніемъ.

Въ одно изъ воскресеній, въ концѣ іюля, я пришелъ къ Волчаниновымъ утромъ, часовъ въ девять. Я ходилъ по парку, держась подальше отъ дома, и отыскивалъ бѣлые грибы, которыхъ въ то лѣто было очень много, и ставилъ около нихъ мѣтки, чтобы потомъ подобрать ихъ вмѣстѣ съ Женей. Дулъ теплый вѣтеръ. Я видѣлъ, какъ Женя и ея мать, обѣ въ свѣтлыхъ праздничныхъ платьяхъ, прошли изъ церкви домой, и Женя придерживала отъ вѣтра шляпу. Потомъ я слышалъ, какъ на террасѣ пили чай.

Для меня, человѣка беззаботнаго, ищущаго оправданія для своей постоянной праздности, эти лѣтнія праздничныя утра въ нашихъ усадьбахъ всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый садъ, еще влажный отъ

росы, весь сіяетъ отъ солнца и кажется счастливымъ, когда около дома пахнетъ резедой и олеандромъ, молодежь только-что вернулась изъ церкви и пьетъ чай въ саду, и когда всѣ такъ мило одѣты и веселы, и когда знаешь, что всѣ эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будутъ дѣлать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думалъ то же самое и ходилъ по саду, готовый ходить такъ безъ дѣла и безъ цѣли весь день, все лѣто.

Пришла Женя съ корзиной; у нея было такое выраженіе, какъ будто она знала или предчувствовала, что найдетъ меня въ саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чемъ-нибудь, то заходила впередъ, чтобы видѣть мое лицо.

— Вчера у насъ въ деревнѣ произошло чудо,—сказала она.—Хромая Пелагея была больна цѣлый годъ, никакіе доктора и лѣкарства не помогали, а вчера старуха пошептала и прошло.

— Это не важно,—сказалъ я.—Не слѣдуетъ искать чудесъ только около больныхъ и старухъ. Развѣ здоровье не чудо? А сама жизнь? Что не понятно, то и есть чудо.

— А вамъ не страшно то, что не понятно?

— Нѣтъ. Къ явленіямъ, которыхъ я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь имъ. Я выше ихъ. Человѣкъ долженъ сознавать себя выше львовъ, тигровъ, звѣздъ, выше всего въ природѣ, даже выше того, что непонятно и кажется чудеснымъ, иначе онъ не человѣкъ, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, какъ художникъ, знаю очень многое и могу вѣрно угадывать то, чего не знаю. Ей хотѣлось, чтобы я ввелъ ее въ область вѣчнаго и прекраснаго, въ этотъ высшій свѣтъ, въ которомъ, по ея мнѣнію, я былъ своимъ человѣкомъ, и она говорила со мной о Богѣ, о вѣчной жизни, о чудесномъ. И я, не допускавшій, что я и мое воображеніе послѣ смерти погибнемъ на-вѣки, отвѣчалъ: «да, люди безсмертны», «да, насъ ожидаетъ вѣчная жизнь». А она слушала, вѣрила и не требовала доказательствъ.

Когда мы шли къ дому, она вдругъ остановилась и сказала:

— Наша Лида замѣчательный человѣкъ. Не правда ли?

Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нея жизнью. Но скажите, — Женя дотронулась до моего рукава пальцемъ: — скажите, почему вы съ ней все спорите? Почему вы раздражены?

— Потому что она неправа.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нея на глазахъ.

— Какъ это непонятно! — проговорила она.

Въ это время Лида только-что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца съ хлыстомъ въ рукахъ, стройная, красивая, освѣщенная солнцемъ, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двухъ-трехъ больныхъ, потомъ съ дѣловымъ, озабоченнымъ видомъ ходила по комнатамъ, отворяя то одинъ шкапъ, то другой, уходила въ мезонинъ; ее долго искали и звали обѣдать, и пришла она, когда мы уже съѣли супъ. Всѣ эти мелкія подробности я почему-то помню и люблю, и весь этотъ день живо помню, хотя не произошло ничего особеннаго. Послѣ обѣда Женя читала, лежа въ глубокомъ креслѣ, а я сидѣлъ на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволоклò облаками, и сталъ накрапывать рѣдкій, мелкій дождь. Было жарко, вѣтеръ давно уже стихъ, и казалось, что этотъ день никогда не кончится. Къ намъ на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, съ вѣеромъ.

— О, мама, — сказала Женя, цѣлуя у нея руку: — тебѣ вредно спать днемъ.

Онѣ обожали другъ друга. Когда одна уходила въ садъ, то другая уже стояла на террасѣ и, глядя на деревья, окликала: «ау, Женя!» или: «мамочка, гдѣ ты?» Онѣ всегда вмѣстѣ молились и обѣ одинаково вѣрили, и хорошо понимали другъ друга, даже когда молчали. И къ людямъ онѣ относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мнѣ, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоровъ ли я. На мои этюды она смотрѣла тоже съ восхищеніемъ, и съ такою же болтливостью и такъ же откровенно, какъ Мисюсь, разсказывала мнѣ, чтò случилось, и часто повѣряла мнѣ свои домашнія тайны.

Она благоговѣла передъ своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезномъ; она

жила своею особенною жизнью, и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, какъ для матросовъ адмиралъ, который все сидитъ у себя въ каютѣ.

— Наша Лида замѣчательный человѣкъ, — говорила часто мать. — Не правда ли?

И теперь, пока накрапывалъ дождь, мы говорили о Лидѣ.

— Она замѣчательный человѣкъ,—сказала мать и прибавила вполголоса тономъ заговорщицы, испуганно оглядываясь:—Такихъ днемъ съ огнемъ поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко безпокоиться. Школа, аптечки, книжки—все это хорошо, но зачѣмъ крайности? Вѣдь, ей уже двадцать четвертый годъ, пора о себѣ серьезно подумать. Этакъ за книжками и аптечками и не увидишь, какъ жизнь пройдетъ... Замужъ нужно.

Женя, блѣдная отъ чтенія, съ помятою причёской, приподняла голову и сказала какъ бы про себя, глядя на мать:

— Мамочка, все зависитъ отъ воли Божіей!

И опять погрузилась въ чтеніе.

Пришелъ Бѣлокуровъ въ поддевкѣ и въ вышитой сорочкѣ. Мы играли въ крокетъ и lown-tennis, потомъ, когда потемнѣло, долго ужинали, и Лида опять говорила о школахъ и о Балагинѣ, который забралъ въ свои руки весь уѣздъ. Уходя въ этотъ вечеръ отъ Волчаниновыхъ, я уносилъ впечатлѣніе длиннаго-длиннаго, празднаго дня, съ грустнымъ сознаніемъ, что все кончается на этомъ свѣтѣ, какъ бы ни было длинно. Насъ до воротъ провожала Женя, и оттого, быть-можетъ, что она провела со мной весь день отъ утра до вечера, я почувствовалъ, что безъ нея мнѣ какъ будто скучно и что вся эта милая семья близка мнѣ; и въ первый разъ за все лѣто мнѣ захотѣлось писать.

— Скажите, отчего вы живете такъ скучно, такъ не колоритно?—спросилъ я у Бѣлокурова, идя съ нимъ домой.— Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художникъ, я странный человѣкъ, я издёрганъ съ юныхъ дней завистью, недовольствомъ собой, невѣріемъ въ свое дѣло, я всегда бѣденъ, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человѣкъ, помѣщикъ, баринъ,—отчего вы живете такъ неинтересно, такъ мало берете отъ жизни? От-

чего, напримѣръ, вы до сихъ поръ не влюбились въ Лиду или Женю?

— Вы забываете, что я люблю другую женщину, — отвѣтилъ Бѣлокуровъ.

Это онъ говорилъ про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую съ нимъ вмѣстѣ во флигелѣ. Я каждый день видѣлъ, какъ эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, въ русскомъ костюмѣ съ бусами, всегда подъ зонтикомъ, и прислуга то и дѣло звала ее то кушать, то чай пить. Года три назадъ она наняла одинъ изъ флигелей подъ дачу, да такъ и осталась жить у Бѣлокурова, повидимому, навсегда. Она была старше его лѣтъ на десять и управляла имъ строго, такъ что, отлучаясь изъ дому, онъ долженъ былъ спрашивать у нея позволенія. Она часто рыдала мужскимъ голосомъ, и тогда я посылалъ сказать ей, что если она не перестанетъ, то я съѣду съ квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Бѣлокуровъ сѣлъ на диванъ и нахмурился въ раздумьи, а я сталъ ходить по залѣ, испытывая тихое волненіе, точно влюбленный. Мнѣ хотѣлось говорить про Волчаниновыхъ.

— Лида можетъ полюбить только зёмца, увлеченнаго такъ же, какъ она, больницами и школами,—сказалъ я.— О, ради такой дѣвушки можно не только стать земцемъ, но даже истаскать, какъ въ сказкѣ, желѣзные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Бѣлокуровъ длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорилъ о болѣзни вѣка—пессимизмѣ. Говорилъ онъ увѣренно и такимъ тономъ, какъ будто я спорилъ съ нимъ. Сотни верстъ пустынной, однообразной, выгорѣвшей степи не могутъ нагнать такого унынія, какъ одинъ человѣкъ, когда онъ сидитъ, говоритъ и неизвѣстно, когда онъ уйдетъ.

— Дѣло не въ пессимизмѣ и не въ оптимизмѣ,—сказалъ я раздраженно:—а въ томъ, что у девяносто девяти изъ ста нѣтъ ума.

Бѣлокуровъ принялъ это на свой счетъ, обидѣлся и ушелъ.

III.

— Въ Малозёмовѣ гоститъ князь, тебѣ кланяется,—говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая пер-

чатки.—Разсказывалъ много интереснаго... Обѣщалъ опять поднять въ губернскомъ собраніи вопросъ о медицинскомъ пунктѣ въ Малозёмовѣ, но говоритъ: мало надежды. — И обратясь ко мнѣ, она сказала:—Извините, я все забываю, что для васъ это не можетъ быть интересно.

Я почувствовалъ раздраженіе.

— Почему же не интересно? — спросилъ я и пожалъ плечами.—Вамъ не угодно знать мое мнѣніе, но увѣряю васъ, этотъ вопросъ меня живо интересуетъ.

— Да?

— Да. По моему мнѣнію, медицинскій пунктъ въ Малозёмовѣ вовсе не нуженъ.

Мое раздраженіе передалось и ей; она посмотрѣла на меня, прищуривъ глаза, и спросила:

— Что же нужно? Пейзажи?

— И пейзажи не нужны. Ничего тамъ не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только-что привезли съ почты; черезъ минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя:

— На прошлой недѣлѣ умерла отъ родовъ Анна, а если бы поблизости былъ медицинскій пунктъ, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мнѣ кажется, должны бы имѣть какія-нибудь убѣжденія на этотъ счетъ.

— Я имѣю на этотъ счетъ очень опредѣленное убѣжденіе, увѣряю васъ,—отвѣтилъ я, а она закрылась отъ меня газетой, какъ бы не желая слушать.—По-моему, медицинскіе пункты, школы, библіотечки, аптечки, при существующихъ условіяхъ, служатъ только порабощенію. Народъ опутанъ цѣпью великой, и вы не рубите этой цѣпи, а лишь прибавляете новыя звенья—вотъ вамъ мое убѣжденіе.

Она подняла на меня глаза и насмѣшливо улыбнулась, а я продолжалъ, стараясь уловить свою главную мысль:

— Не то важно, что Анна умерла отъ родовъ, а то, что всѣ эти Анны, Мавры, Пелагеи съ ранняго утра до потемокъ гнутъ спины, болѣютъ отъ непосильнаго труда, всю жизнь дрожатъ за голодныхъ и больныхъ дѣтей, всю жизнь боятся смерти и болѣзней, всю жизнь лѣчатся, рано блёкнутъ, рано старятся и умираютъ въ грязи и въ вони; ихъ дѣти, подростая, начинаютъ ту же музыку, и такъ проходятъ сотни лѣтъ, и милліарды людей живутъ хуже животныхъ — только ради куска хлѣба, испытывая постоянный

страхъ. Весь ужасъ ихъ положенія въ томъ, что имъ некогда о душѣ подумать, некогда вспомнить о своемъ образѣ и подобіи; голодъ, холодъ, животный страхъ, масса труда, точно снѣговые обвалы, загородили имъ всѣ пути къ духовной дѣятельности, именно къ тому самому, что отличаетъ человѣка отъ животнаго и составляетъ единственное, ради чего стоитъ жить. Вы приходите къ нимъ на помощь съ больницами и школами, но этимъ не освобождаете ихъ отъ путъ, а, напротивъ, еще больше порабощаете, такъ какъ, внося, въ ихъ жизнь новые предразсудки, вы увеличиваете число ихъ потребностей, не говоря уже о томъ, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значитъ, сильнѣе гнуть спину.

— Я спорить съ вами не стану,—сказала Лида, опуская газету. — Я уже это слышала. Скажу вамъ только одно: нельзя сидѣть сложа руки. Правда, мы не спасаемъ человѣчества и, быть-можетъ, во многомъ ошибаемся, но мы дѣлаемъ то, что можемъ, и мы — правы. Самая высокая и святая задача культурнаго человѣка — это служить ближнимъ, и мы пытаемся служить, какъ умѣемъ. Вамъ не нравится, но, вѣдь, на всѣхъ не угодишь.

— Правда, Лида, правда,—сказала мать.

Въ присутствіи Лиды она всегда робѣла и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неумѣстное; и никогда она не противорѣчила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

— Мужицкая грамотность, книжки съ жалкими наставленіями и прибаутками и медицинскіе пункты не могутъ уменьшить ни невѣжества, ни смертности, такъ же, какъ свѣтъ изъ вашихъ оконъ не можетъ освѣтить этого громаднаго сада, — сказалъ я. — Вы не даете ничего, вы своимъ вмѣшательствомъ въ жизнь этихъ людей создаете лишь новыя потребности, новый поводъ къ труду.

— Ахъ, Боже мой, но вѣдь нужно же дѣлать что-нибудь!—сказала Лида съ досадой, и по ея тону было замѣтно, что мои разсужденія она считаетъ ничтожными и презираетъ ихъ.

— Нужно освободить людей отъ тяжкаго физическаго труда,—сказалъ я.—Нужно облегчить ихъ ярмо, дать имъ передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корытъ и въ полѣ, но имѣли бы также время по-

думать о душѣ, о Богѣ, могли бы пошире проявить свои духовныя способности. Призваніе всякаго человѣка въ духовной дѣятельности — въ постоянномъ исканіи правды и смысла жизни. Сдѣлайте же для нихъ ненужнымъ грубый животный трудъ, дайте имъ почувствовать себя на свободѣ, и тогда увидите, какая въ сущности насмѣшка эти книжки и аптечки. Разъ человѣкъ сознаетъ свое истинное призваніе, то удовлетворять его могутъ только религія, науки, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить отъ труда! — усмѣхнулась Лида. — Развѣ это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю ихъ труда. Если бы всѣ мы, городскіе и деревенскіе жители, всѣ безъ исключенія, согласились подѣлить между собою трудъ, который затрачивается вообще человѣчествомъ на удовлетвореніе физическихъ потребностей, то на каждаго изъ насъ, быть-можетъ, пришлось бы не болѣе двухъ-трехъ часовъ въ день. Представьте, что всѣ мы, богатые и бѣдные, работаемъ только три часа въ день, а остальное время у насъ свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менѣе зависѣть отъ своего тѣла и менѣе трудиться, изобрѣтаемъ машины, замѣняющія трудъ, мы стараемся сократить число нашихъ потребностей до минимума. Мы закаляемъ себя, нашихъ дѣтей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за ихъ здоровье, какъ дрожатъ Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лѣчимся, не держимъ аптекъ, табачныхъ фабрикъ, винокуренныхъ заводовъ,—сколько свободнаго времени у насъ остается въ концѣ-концовъ! Всѣ мы сообща отдаемъ этотъ досугъ наукамъ и искусствамъ. Какъ иногда мужики міромъ починяютъ дорогу, такъ и всѣ мы сообща, міромъ, искали бы правды и смысла жизни, и—я увѣренъ въ этомъ—правда была бы открыта очень скоро, человѣкъ избавился бы отъ этого постояннаго мучительнаго, угнетающаго страха смерти, и даже отъ самой смерти.

— Вы, однако, себѣ, противорѣчите,—сказала Лида.—Вы говорите—наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

— Грамотность, когда человѣкъ имѣетъ возможность читать только вывѣски на кабакахъ да изрѣдка книжки, которыхъ не понимаетъ,—такая грамотность держится у насъ со временъ Рюрика; гоголевскій Петрушка давно уже чи-

таетъ, между тѣмъ деревня, какая была при Рюрикѣ, такая и осталась до сихъ поръ. Не грамотность нужна, а свобода для широкаго проявленія духовныхъ способностей. Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете.

— Да. Она была бы нужна только для изученія болѣзней, какъ явленій природы, а не для лѣченія ихъ. Если ужъ лѣчить, то не болѣзни, а причины ихъ. Устраните главную причину—физическій трудъ и тогда не будетъ болѣзней. Не признаю я науки, которая лѣчитъ,—продолжалъ я возбужденно.—Науки и искусства, когда они настоящія, стремятся не къ временнымъ, не къ частнымъ цѣлямъ, а къ вѣчному и общему,—они ищутъ правды и смысла жизни, ищутъ Бога, душу, а когда ихъ пристегиваютъ къ нуждамъ и злобамъ дня, къ аптечкамъ и библіотечкамъ, то они только осложняютъ, загромождаютъ жизнь. У насъ много медиковъ, фармацевтовъ, юристовъ, стало много грамотныхъ, но совсѣмъ нѣтъ біологовъ, математиковъ, философовъ, поэтовъ. Весь умъ, вся душевная энергія ушли на удовлетвореніе временныхъ, преходящихъ нуждъ... У ученыхъ, писателей и художниковъ кипитъ работа, по ихъ милости удобства жизни растутъ съ каждымъ днемъ, потребности тѣла множатся, между тѣмъ до правды еще далеко, и человѣкъ попрежнему остается самымъ хищнымъ и самымъ нечистоплотнымъ животнымъ, и все клонится къ тому, чтобы человѣчество въ своемъ большинствѣ выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При такихъ условіяхъ жизнь художника не имѣетъ смысла, и чѣмъ онъ талантливѣе, тѣмъ страннѣе и непонятнѣе его роль, такъ какъ на повѣрку выходитъ, что работаетъ онъ для забавы хищнаго нечистоплотнаго животнаго, поддерживая существующій порядокъ. И я не хочу работать, и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится въ тартарары!

— Мисюська, выйди, — сказала Лида сестрѣ, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой дѣвушки.

Женя грустно посмотрѣла на сестру и на мать и вышла.

— Подобныя милыя вещи говорятъ обыкновенно, когда хотятъ оправдать свое равнодушіе,—сказала Лида.—Отрицать больницы и школы легче, чѣмъ лѣчить и учить.

— Правда, Лида, правда,—согласилась мать.

— Вы угрожаете, что не станете работать,—продолжала

Лида. — Очевидно, вы высоко цѣните ваши работы. Перестанемъ же спорить, мы никогда не споемся, такъ какъ самую несовершенную изъ всѣхъ библіотечекъ и аптечекъ, о которыхъ вы только-что отзывались такъ презрительно, я ставлю выше всѣхъ пейзажей въ свѣтѣ.—И тотчасъ же, обратясь къ матери, она заговорила совсѣмъ другимъ тономъ:—Князь очень похудѣлъ и сильно измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ былъ у насъ. Его посылаютъ въ Виши.

Она разсказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нея горѣло, и, чтобы скрыть свое волненіе, она низко, точно близорукая, нагнулась къ столу и дѣлала видъ, что читаетъ газету. Мое присутствіе было непріятно. Я простился и пошелъ домой.

IV.

На дворѣ было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька и только на прудѣ едва свѣтились блѣдныя отраженія звѣздъ. У воротъ со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

— Въ деревнѣ всѣ спятъ,—сказалъ я ей, стараясь разглядѣть въ темнотѣ ея лицо, и увидѣлъ устремленные на меня темные, печальные глаза.—И кабатчикъ, и конокрады покойно спятъ, а мы, порядочные люди, раздражаемъ другъ друга и споримъ.

Была грустная августовская ночь,—грустная, потому, что уже пахло осенью;- покрытая багровымъ облакомъ, восходила луна и еле-еле освѣщала дорогу и по сторонамъ ея темныя озимыя поля. Часто падали звѣзды. Женя шла со мной рядомъ по дорогѣ и старалась не глядѣть на небо, чтобы не видѣть падающихъ звѣздъ, которыя почему-то пугали ее.

— Мнѣ кажется, вы правы, — сказала она, дрожа отъ ночной сырости.—Если бы люди, всѣ сообща, могли отдаться духовной дѣятельности, то они скоро узнали бы все.

— Конечно. Мы высшія существа, и если бы въ самомъ дѣлѣ мы сознали всю силу человѣческаго генія и жили бы только для высшихъ цѣлей, то въ концѣ-концовъ мы стали бы какъ боги. Но этого никогда не будетъ,—человѣчество выродится и отъ генія не останется и слѣда.

Когда не стало видно воротъ, Женя остановилась и торопливо пожала мнѣ руку.

— Спокойной ночи,—проговорила она, дрожа; плечи ея были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась отъ холода.—Приходите завтра.

Мнѣ стало жутко отъ мысли, что я останусь одинъ, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я самъ уже старался не глядѣть на падающія звѣзды.

— Побудьте со мной еще минуту,—сказалъ я.—Прошу васъ.

Я любилъ Женю. Должно-быть, я любилъ ее за то, что она встрѣчала и провожала меня, за то, что смотрѣла на меня нѣжно и съ восхищеніемъ. Какъ трогательно прекраены были ея блѣдное лицо, тонкая шея, тонкія руки, ея слабость, праздность, ея книги. А умъ? Я подозрѣвалъ у нея недюжинный умъ, меня восхищала широта ея воззрѣній, быть-можетъ потому, что она мыслила иначе, чѣмъ строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Женѣ, какъ художникъ, я побѣдилъ ея сердце своимъ талантомъ, и мнѣ страстно хотѣлось писать только для нея, и я мечталъ о ней, какъ о своей маленькой королевѣ, которая вмѣстѣ со мною будетъ владѣть этими деревьями, полями, туманомъ, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я, до сихъ поръ, чувствовалъ себя безнадежно одинокимъ и ненужнымъ.

— Останьтесь еще минуту,—попросилъ я.—Умоляю васъ.

— Я снялъ съ себя пальто и прикрылъ ея озябшія плечи; она, боясь показаться въ мужскомъ пальто смѣшной и некрасивой, засмѣялась и сбросила его, и въ это время я обнялъ ее и сталъ осыпать поцѣлуями ея лицо, плечи, руки.

— До завтра!—прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. — Мы не имѣемъ тайнъ другъ отъ друга, я должна сейчасъ разсказать все мамѣ и сестрѣ... Это такъ страшно? Мама ничего, мама любитъ васъ, но Лида!

Она побѣжала къ воротамъ.

— Прощайте!—крикнула она.

И потомъ минуты двѣ я слышалъ, какъ она бѣжала. Мнѣ не хотѣлось домой, да и не зачѣмъ было идти туда. Я постоялъ немного въ раздумьи и тихо пошелся назадъ, чтобы

еще взглянуть на домъ, въ которомъ она жила, милый, наивный, старый домъ, который, казалось, окнами своего мезонина глядѣлъ на меня, какъ глазами и понималъ все. Я прошелъ мимо террасы, сѣлъ на скамьѣ около площадки для lown-tennis, въ темнотѣ подъ старымъ вязомъ, и отсюда смотрѣлъ на домъ. Въ окнахъ мезонина, въ которомъ жила Мисюсь, блеснулъ яркій свѣтъ, потомъ покойный зеленый— эту лампу накрыли абажуромъ. Задвигались тѣни... Я былъ полонъ нѣжности, тишины и довольства собою, довольства, что сумѣлъ увлечься и полюбить, и въ то же время, я чувствовалъ неудобство отъ мысли, что въ это же самое время, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, въ одной изъ комнатъ этого дома живетъ Лида, которая не любитъ, быть-можетъ, ненавидитъ меня. Я сидѣлъ и все ждалъ, не выйдетъ ли Женя, прислушивался и мнѣ казалось, будто въ мезонинѣ говорятъ.

Прошло около часа. Зеленый огонь погасъ и не стало видно тѣней. Луна уже стояла высоко надъ домомъ и освѣщала спящій садъ, дорожки: георгины и розы въ цвѣтникѣ передъ домомъ были отчетливо видны и казались всѣ одного цвѣта. Становилось очень холодно. Я вышелъ изъ сада, подобралъ на дорогѣ свое пальто и не спѣша побрёлъ домой.

Когда на другой день, послѣ обѣда, я пришелъ къ Волчаниновымъ, стеклянная дверь въ садъ была открыта настежь. Я посидѣлъ на террасѣ, поджидая, что вотъ-вотъ за цвѣтникомъ на площадкѣ, или на одной изъ аллей покажется Женя, или донесется ея голосъ изъ комнатъ; потомъ я прошелъ въ гостиную, въ столовую. Не было ни души. Изъ столовой я прошелъ длиннымъ коридоромъ въ переднюю, потомъ назадъ. Тутъ въ коридорѣ было нѣсколько дверей и за одной изъ нихъ раздавался голосъ Лиды.

— Воронѣ гдѣ-то... Богъ...—говорила она громко и протяжно, вѣроятно, диктуя. — Богъ послалъ кусочекъ сыру... Воронѣ... гдѣ-то... Кто тамъ?—окликнула она вдругъ, услышавъ мои шаги.

— Это я.

— А! Простите, я не могу сейчасъ выйти къ вамъ, я занимаюсь съ Дашей.

— Екатерина Павловна въ саду?

— Нѣтъ, она съ сестрой уѣхала сегодня утромъ къ тетѣ, въ Пензенскую губернію. А зимой, вѣроятно, онѣ поѣдутъ за границу...—добавила она, помолчавъ.—Воронѣ гдѣ-то... Бо-огъ послалъ ку-усочекъ сыру... Написала?

Я вышелъ въ переднюю и, ни о чемъ не думая, стоялъ и смотрѣлъ оттуда на прудъ и на деревню, а до меня доносилось:

— Кусочекъ сыру... Воронѣ гдѣ-то Богъ послалъ кусочекъ сыру...

И я ушелъ изъ усадьбы тою же дорогой, какой пришелъ сюда въ первый разъ, только въ обратномъ порядкѣ; сначала со двора въ садъ, мимо дома, потомъ по липовой аллеѣ... Тутъ догналъ меня мальчишка и подалъ записку. «Я разсказала все сестрѣ, и она требуетъ, чтобы я разсталась съ вами, — прочелъ я. — Я была не въ силахъ огорчить ее своимъ неповиновеніемъ. Богъ дастъ вамъ счастья, простите меня. Если бы вы знали, какъ я и мама горько плачемъ!».

Потомъ темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На томъ полѣ, гдѣ тогда цвѣла рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанныя лошади. Кое-гдѣ на холмахъ ярко зеленѣла озимь. Трезвое, будничное настроеніе овладѣло мной, и мнѣ стало стыдно всего, что я говорилъ у Волчаниновыхъ, и попрежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечеромъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Больше я уже не видѣлъ Волчаниновыхъ. Какъ-то недавно, ѣдучи въ Крымъ, я встрѣтилъ въ вагонѣ Бѣлокурова. Онъ попрежнему былъ въ поддевкѣ и въ вышитой сорочкѣ и, когда я спросилъ его о здоровьи, отвѣтилъ: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имѣніе свое онъ продалъ и купилъ другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновыхъ сообщилъ онъ немного. Лида, по его словамъ, жила попрежнему въ Шелковкѣ и учила въ школѣ дѣтей; мало-по-малу ей удалось собрать около себя кружокъ симпатичныхъ ей людей, которые составили изъ себя сильную партію и на послѣднихъ земскихъ выборахъ «прокатили» Балагина, державшаго до того времени въ своихъ рукахъ весь уѣздъ. Про Женю же Бѣлокуровъ сообщилъ только, что она не жила дома и была, неизвѣстно гдѣ.

Я уже начинаю забывать про домъ съ мезониномъ и лишь

изрѣдка, когда пишу или читаю, вдругъ ни съ того, ни съ сего припомнится мнѣ то зеленый огонь въ окнѣ, то звукъ моихъ шаговъ, раздававшихся въ полѣ ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потиралъ руки отъ холода. А еще рѣже, въ минуты, когда меня томитъ одиночество и мнѣ грустно, я вспоминаю смутно и мало-по-малу мнѣ почему-то начинаетъ казаться, что обо мнѣ тоже вспоминаютъ, меня ждутъ и что мы встрѣтимся...

Мисюсь, гдѣ ты?

ВЪ РОДНОМЪ УГЛУ.

I.

Донецкая дорога. Невеселая станція, одиноко бѣлѣющая въ степи, тихая, со стѣнами, горячими отъ зноя, безъ одной тѣни и, похоже, безъ людей. Поѣздъ уже ушелъ, покинувъ васъ здѣсь, и шумъ его слышится чуть-чуть и замираетъ наконецъ... Около станціи пустынно и нѣтъ другихъ лошадей, кромѣ вашихъ. Вы садитесь въ коляску,—это такъ пріятно послѣ вагона,—и катите по степной дорогѣ, и передъ вами мало-по-малу открываются картины, какихъ нѣтъ подъ Москвой, громадныя, безконечныя, очаровательныя своимъ однообразіемъ. Степь, степь—и больше ничего; вдали старый курганъ, или вѣтрякъ; везутъ на волахъ каменный уголь... Птицы, въ одиночку, низко носятся надъ равниной, и мѣрныя движенія ихъ крыльевъ нагоняютъ дремоту. Жарко. Прошелъ часъ-другой, а все степь, степь, и все курганъ вдали. Вашъ кучеръ разсказываетъ что-то, часто указывая кнутомъ въ сторону, что-то длинное и ненужное, и душой овладѣваетъ спокойствіе, о прошломъ не хочется думать...

За Вѣрой Ивановной Кардиной выѣхали на тройкѣ. Кучеръ уложилъ вещи и сталъ поправлять сбрую.

— Все, какъ было, — сказала Вѣра, оглядываясь. — Въ послѣдній разъ я была здѣсь еще дѣвочкой, лѣтъ десять назадъ. Помню, выѣзжалъ за мной тогда старикъ Борисъ. Что, онъ живъ еще?

Кучеръ ничего не отвѣтилъ и только сердито, по-хохлацки поглядѣлъ на нее и полѣзъ на козла.

Нужно было проѣхать отъ станціи верстъ тридцать, и Вѣра тоже поддалась обаянію степи, забыла о прошломъ и думала только о томъ, какъ здѣсь просторно, какъ свободно; ей, здоровой, умной, красивой, молодой—ей было только 23 года — недоставало до сихъ поръ въ жизни именно только этого простора и свободы.

Степь, степь... Лошади бѣгутъ, солнце все выше, и кажется, что тогда, въ дѣтствѣ, степь не бывала въ іюнѣ такой богатой, такой пышной; травы въ цвѣту—зеленыя, желтыя, лиловыя, бѣлыя, и отъ нихъ, и отъ нагрѣтой земли идетъ ароматъ; и какія-то странныя синія птицы по дорогѣ... Вѣра давно уже отвыкла молиться, но теперь шепчетъ, превозмогая дремоту:

«Господи, дай, чтобы мнѣ было здѣсь хорошо».

А на душѣ покойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ѣхать такъ и смотрѣть на степь. Вдругъ неожиданно глубокій оврагъ, поросшій молодымъ дубомъ и ольхой; потянуло влагой,—должно-быть, ручей внизу. На этой сторонѣ, у самаго края оврага, вспорхнула съ шумомъ стая куропатокъ. Вѣра вспомнила, что когда-то къ этому оврагу ходили по вечерамъ гулять; значитъ, уже усадьба близко! И вотъ въ самомъ дѣлѣ виднѣются вдали тополи, клуня; въ сторонѣ черный дымъ: это жгутъ старую солому. Вотъ тетя Даша идетъ навстрѣчу и машетъ платкомъ; дѣдушка на террасѣ. Боже, какая радость!

— Милая! милая!—говорила тетя, вскрикивая, какъ въ истерикѣ.—Пріѣхала наша настоящая хозяйка! Пойми, вѣдь ты наша хозяйка, наша королева! Тутъ все твое! Милая, красавица, я не тетка, а твоя послушная раба!

У Вѣры никого не было родныхъ, кромѣ дѣдушки и тети; мать умерла уже давно, отецъ, инженеръ, умеръ три мѣсяца назадъ въ Казани, проѣздомъ изъ Сибири. Дѣдушка былъ съ большой сѣдой бородой, толстый, красный, съ одышкой, и ходилъ, выпятивъ впередъ животъ и опираясь на палку. Тетя, дама лѣтъ сорока двухъ, одѣтая въ модное платье съ высокими рукавами, сильно стянутая въ таліи, очевидно, молодилась и еще хотѣла нравиться; ходила она мелкими шагами, и у нея при этомъ вздрагивала спина.

— Ты будешь насъ любить? — говорила она, обнимая Вѣру.—Ты не гордая?

По желанію дѣдушки отслужили благодарственный моле-

бенъ, потомъ долго обѣдали — и для Вѣры началась ея новая жизнь. Ей отвели лучшую комнату, снесли туда всѣ ковры, какіе только были въ домѣ, поставили много цвѣтовъ; и когда она вечеромъ легла въ свою уютную, широкую, очень мягкую постель и укрылась шелковымъ одѣяломъ, отъ котораго пахло старымъ лежалымъ платьемъ, то засмѣялась отъ удовольствія. Тетя Даша пришла на минутку, чтобы пожелать ей спокойной ночи.

— Вотъ ты и пріѣхала, слава Богу,—сказала она, садясь на постель.—Какъ видишь, живемъ хорошо, лучше и не нужно. Только вотъ одно: дѣдушка твой плохъ! Бѣда, какъ плохъ! Задыхается и ужъ забываться сталъ. А вѣдь—помнишь?—какое здоровье, какая сила! Неукротимый былъ человѣкъ... Прежде, бывало, чуть прислуга не угодитъ или что, какъ вскочитъ и—«Двадцать пять горячихъ! Розогъ!» А теперь присмирѣлъ и не слыхать его. И то сказать, не тѣ времена теперь, душечка—бить нельзя. Оно, конечно, зачѣмъ бить, но и распускать тоже не слѣдуетъ.

— Тетя, а ихъ теперь бьютъ?—спросила Вѣра.

— Приказчикъ, случается, бьетъ, а я нѣтъ. Богъ съ ними! И дѣдушка твой, по старой памяти, иной разъ замахнется палкой, но бить не бьетъ.

Тетя Даша зѣвнула и перекрестила ротъ, потомъ правое ухо.

— Здѣсь не скучно жить?—спросила Вѣра.

— Какъ тебѣ сказать? Помѣщики теперь перевелись, не живутъ тутъ; но зато понастроили кругомъ заводовъ, душечка, и тутъ этихъ инженеровъ, докторовъ, штейгеровъ—сила! Конечно, спектакли, концерты, но больше все карты. И къ намъ ѣздятъ. Бываетъ у насъ докторъ Нещаповъ, изъ завода, такой красивый, интересный! Въ твою фотографію влюбился. Я ужъ и рѣшила: ну, думаю, это Вѣрочкина судьба. Молодой, красивый, со средствами — партія, однимъ словомъ. Ну, да вѣдь и ты у меня невѣста хоть куда. Фамиліи хорошей, имѣніе наше заложено, но — что жъ?—зато устроено, не запущено; моя тутъ есть часть, но все тебѣ останется; я твоя послушная раба. И покойный мой братъ, папочка твой, пятнадцать тысячъ оставилъ... Ну, однако, я вижу, у тебя глазки слипаются. Спи, дѣточка.

На другой день Вѣра долго гуляла около дома. Садъ

старый, некрасивый, безъ дорожекъ, расположенный неудобно, по скату, былъ совершенно заброшенъ: должнобыть, считался лишнимъ въ хозяйствѣ. Много ужей. Удоды летали подъ деревьями и кричали—«у-ту-тутъ!» такимъ тономъ, какъ будто хотѣли о чемъ-то напомнить. Внизу была рѣка, поросшая высокимъ камышомъ, а за рѣкой, въ полуверстѣ отъ берега, — деревня. Изъ сада Вѣра пошла въ поле; глядя въ даль, думая о своей новой жизни въ родномъ гнѣздѣ, она все хотѣла понять, что̀ ждетъ ее. Этотъ просторъ, это красивое спокойствіе степи говорили ей, что счастье близко и уже пожалуй есть; въ сущности тысячи людей сказали бы: какое счастье быть молодой, здоровой, образованной, жить въ собственной усадьбѣ! И въ то же время нескончаемая равнина, однообразная, безъ одной живой души, пугала ее, и минутами было ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотитъ ея жизнь, обратитъ въ ничто. Она молода, изящна, любитъ жизнь; она кончила въ институтѣ, выучилась говорить на трехъ языкахъ, много читала, путешествовала съ отцомъ, — но неужели все это только для того, чтобы въ концѣ-концовъ поселиться въ глухой степной усадьбѣ и изо-дня-въ-день, отъ нечего дѣлать, ходить изъ сада въ поле, изъ поля въ садъ и потомъ сидѣть дома и слушать, какъ дышитъ дѣдушка? Но что же дѣлать? Куда дѣваться? И никакъ она не могла дать себѣ отвѣта и, когда возвращалась домой, то думала, что едва ли здѣсь она будетъ счастлива и что ѣхать со станціи сюда гораздо интереснѣе, чѣмъ жить здѣсь.

Пріѣхалъ изъ завода докторъ Нещаповъ. Онъ былъ врачомъ, но года три назадъ взялъ на заводѣ пай и сталъ однимъ изъ хозяевъ и теперь не считалъ медицину своимъ главнымъ дѣломъ, хотя и занимался практикой. Наружно это былъ блѣдный, стройный брюнетъ въ бѣломъ жилетѣ; понять же, что̀ у него въ душѣ и въ головѣ, было трудно. Здороваясь, онъ поцѣловалъ у тети Даши руку и потомъ то и дѣло вскакивалъ, чтобы подать стулъ или уступить мѣсто, все время былъ очень серьезенъ и молчалъ, и если начиналъ говорить, то почему-то первую фразу его нельзя было разслышать и понять, хотя говорилъ онъ правильно и че тихо.

— Вы изволите играть на роялѣ?—спросилъ онъ у Вѣры и вдругъ вскочилъ, такъ какъ она уронила платокъ.

Просидѣлъ онъ съ полудня до 12-ти часовъ ночи, молча, и очень не понравился Вѣрѣ; ей казалось, что бѣлый жилетъ въ деревнѣ, это—дурной тонъ, а изысканная вѣжливость, манеры и блѣдное, серьезное лицо съ темными бровями были приторны; и ей казалось, что постоянно молчалъ онъ потому, вѣроятно, что былъ недалекъ. Тетя же, когда онъ уѣхалъ, сказала радостно:

— Ну, что? Не правда ли, прелесть?

II.

Тетя Даша занималась хозяйствомъ. Сильно затянутая, звеня браслетами на обѣихъ рукахъ, она ходила то въ кухню, то въ амбаръ, то на скотный, мелкими шагами, и спина у нея вздрагивала; и когда она говорила съ приказчикомъ или съ мужиками, то почему-то всякій разъ надѣвала pince-nez. Дѣдушка сидѣлъ все на одномъ мѣстѣ и раскладывалъ пасьянсъ или дремалъ. За обѣдомъ и за ужиномъ онъ ѣлъ ужасно много; ему подавали и сегодняшнее, и вчерашнее, и холодный пирогъ, оставшійся съ воскресенья, и людскую солонину, и онъ все съѣдалъ съ жадностью, и отъ каждаго обѣда у Вѣры оставалось такое впечатлѣніе, что когда потомъ она видѣла, какъ гнали овецъ или везли съ мельницы муку, то думала: «Это дѣдушка съѣстъ». Бо́льшею частью онъ молчалъ, погруженный въ ѣду или пасьянсъ; но, случалось, за обѣдомъ, при взглядѣ на Вѣру, онъ умилялся и говорилъ нѣжно:

— Внучка моя единственная! Вѣрочка!

И слезы блестѣли у него на глазахъ. Или вдругъ лицо у него багровѣло, шея надувалась, онъ со злобой глядѣлъ на прислугу и спрашивалъ, стуча палкой:

— Почему хрѣну не подали?

Зимою онъ велъ совершенно неподвижную жизнь, лѣтомъ же иногда ѣздилъ въ поле, чтобы взглянуть на овсы и на травы, и, вернувшись, говорилъ, что безъ него вездѣ безпорядки, и замахивался палкой.

— Не въ духѣ твой дѣдушка,—шептала тетя Даша.— Ну, да теперь ничего, а прежде не дай Богъ: «Двадцать пять горячихъ! Розогъ!»

Тетя жаловалась, что всѣ облѣнились, никто ничего не дѣлаетъ и что имѣніе не приноситъ никакого дохода. Въ самомъ дѣлѣ, никакого сельскаго хозяйства не было; пахали

и сѣяли немного, только по привычкѣ, и въ сущности ничего не дѣлали, жили праздно. Между тѣмъ весь день ходили, считали, хлопотали; бѣготня въ домѣ начиналась съ пяти часовъ утра и постоянно слышалось «подай», «принеси», «сбѣгай», и прислуга обыкновенно къ вечеру уже выбивалась изъ силъ. У тети каждую недѣлю мѣнялись кухарки и горничныя; то она разсчитывала ихъ за безнравственность, то онѣ сами уходили, говоря, что замучились. Изъ своихъ деревенскихъ никто не шелъ служить, и приходилось нанимать дальнихъ. Изъ своихъ жила одна только дѣвушка Алена и не уходила потому, что на ея жалованье кормилась дома вся семья—старухи и дѣти. Эта Алена, маленькая, блѣдная, глуповатая, весь день убирала комнаты, служила за столомъ, топила печи, шила, стирала, но все казалось, что она возится, стучитъ сапогами и только мѣшаетъ въ домѣ; изъ страха, какъ бы ее не разсчитали и не услали домой, она роняла и часто била посуду, и у нея вычитали изъ жалованья, а потомъ ея мать и бабушка приходили и кланялись тетѣ Дашѣ въ ноги.

Разъ въ недѣлю, а иногда и чаще пріѣзжали гости. Тетя входила къ Вѣрѣ и говорила:

— Ты бы посидѣла съ гостями, а то подумаютъ, что ты гордая.

Вѣра шла къ гостямъ и играла съ ними подолгу въ винтъ или играла на роялѣ, а гости танцовали; тетя, веселая, тяжело дыша отъ танцевъ, подходила къ ней и шептала:

— Будь поласковѣй съ Марьей Никифоровной.

6-го декабря, въ Николинъ день, пріѣхало сразу много гостей, человѣкъ тридцать; играли въ винтъ до поздней ночи и многіе остались ночевать. Съ утра опять засѣли за карты, потомъ обѣдали, и когда послѣ обѣда Вѣра пошла къ себѣ въ комнату, чтобы отдохнуть отъ разговоровъ и отъ табачнаго дыма, то и тамъ были гости, и она едва не заплакала съ отчаянія. И когда вечеромъ всѣ они стали собираться домой, то отъ радости, что они, наконецъ, уѣзжаютъ, она сказала:

— Вы бы еще посидѣли!

Гости утомляли ее и стѣсняли; и въ то же время,—это бывало почти каждый день,—едва начинало темнѣть, какъ ее уже тянуло изъ дому, и она уѣзжала въ гости куда-

нибудь на заводъ или къ сосѣдямъ-помѣщикамъ; и тамъ игра въ карты, танцы, фанты, ужины... Молодые люди, служащіе на заводахъ и шахтахъ, иногда пѣли малороссійскія пѣсни и очень недурно. Становилось грустно, когда они пѣли. Или сходились всѣ въ одну комнату и тутъ въ сумеркахъ говорили о шахтахъ, о кладахъ, зарытыхъ когда-то въ степи, о Сауръ-Могилѣ... Во время разговора въ позднее время, случалось, вдругъ доносилось «ка-ра-у-улъ!». Это пьяный шелъ, или грабили кого-нибудь по сосѣдству въ шахтахъ. Или же въ печахъ завывалъ вѣтеръ, хлопали ставни, потомъ, немного погодя, слышался тревожный звонъ въ церкви; это начиналась метель.

На всѣхъ вечерахъ, пикникахъ и обѣдахъ неизмѣнно самой интересной женщиной была тетя Даша и самымъ интереснымъ мужчиной докторъ Нещаповъ. На заводахъ и въ усадьбахъ читали очень мало, играли только марши и польки, и молодежь всегда горячо спорила о томъ, чего не понимала, и это выходило грубо. Спорили горячо и громко, но, странно, нигдѣ въ другомъ мѣстѣ Вѣра не встрѣчала такихъ равнодушныхъ и беззаботныхъ людей, какъ здѣсь. Казалось, что у нихъ нѣтъ ни родины, ни религіи, ни общественныхъ интересовъ. Когда говорили о литературѣ или рѣшали какой-нибудь отвлеченный вопросъ, то по лицу Нещапова видно было, что это его нисколько не интересуетъ и что уже давно, очень давно онъ не читалъ ничего и читать не хочетъ. Онъ, серьезный, безъ выраженія, точно дурно написанный портретъ, постоянно въ бѣломъ жилетѣ, попрежнему все молчалъ и былъ непонятенъ; но дамы и барышни находили его интереснымъ и были въ восторгѣ отъ его манеръ и завидовали Вѣрѣ, которая ему, повидимому, очень нравилась. И Вѣра всякій разъ уѣзжала изъ гостей съ досадой и давала себѣ слово сидѣть дома; но проходилъ день, наступалъ вечеръ, и она снова спѣшила на заводъ, и такъ почти всю зиму.

Она выписывала книги и журналы и читала у себя въ комнатѣ. И по ночамъ читала, лежа въ постели. Когда часы въ коридорѣ били два или три и когда уже отъ чтенія начинали болѣть виски, она садилась въ постели и думала. Что дѣлать? Куда дѣваться? Проклятый, назойливый вопросъ, на который давно уже готово много отвѣтовъ и въ сущности нѣтъ ни одного.

О, какъ это, должно-быть, благородно, свято, картинно— служить народу, облегчать его муки, просвѣщать его. Но она, Вѣра, не знаетъ народа. И какъ подойти къ нему? Онъ чуждъ ей, неинтересенъ; она не выноситъ тяжелаго запаха избъ, кабацкой брани, немытыхъ дѣтей, бабьихъ разговоровъ о болѣзняхъ. Идти по сугробамъ, зябнуть, потомъ сидѣть въ душной избѣ, учить дѣтей, которыхъ не любишь,—нѣтъ, лучше умереть! И учить мужицкихъ дѣтей въ то время, какъ тетя Даша получаетъ доходъ съ трактировъ и штрафуетъ мужиковъ—какая это была бы комедія! Сколько разговоровъ про школы, сельскія библіотеки, про всеобщее обученіе, но вѣдь если бы всѣ эти знакомые инженеры, заводчики, дамы не лицемѣрили, а въ самомъ дѣлѣ вѣрили, что просвѣщеніе нужно, то они не платили бы учителямъ по 15 рублей въ мѣсяцъ, какъ теперь, и не морили бы ихъ голодомъ. И школы, и разговоры о невѣжествѣ — это для того только, чтобы заглушать совѣсть, такъ какъ стыдно имѣть пять или десять тысячъ десятинъ земли и быть равнодушнымъ къ народу. Вотъ про доктора Нещапова говорятъ дамы, что онъ добрый, устроилъ при заводѣ школу. Да, школу построилъ изъ стараго заводскаго камня, рублей за восемьсотъ, и «многая лѣта» пѣли ему на освященіи школы, а вотъ небось пая своего не отдастъ, и небось въ голову ему не приходитъ, что мужики такіе же люди, какъ онъ, и что ихъ тоже нужно учить въ университетахъ, а не только въ этихъ жалкихъ заводскихъ школахъ.

И Вѣра чувствуетъ злобу на себя и на всѣхъ. Она берется опять за книгу и хочетъ читать, но, немного погодя, опять садится и думаетъ. Сдѣлаться врачомъ? Но для этого нужно держать экзаменъ по латинскому языку, и къ тому же еще у нея непобѣдимое отвращеніе къ трупамъ и болѣзнямъ. Хорошо бы стать механикомъ, судьей, командиромъ парохода, ученымъ, дѣлать бы что-нибудь такое, на что уходили бы всѣ силы, физическія и душевныя, и чтобы утомляться и потомъ крѣпко спать ночью; отдать бы свою жизнь чему-нибудь такому, чтобы быть интереснымъ человѣкомъ, нравиться интереснымъ людямъ, любить, имѣть свою настоящую семью... Но что дѣлать? Съ чего начать?

Какъ-то, въ одно изъ воскресеній въ Великомъ посту, тетя зашла къ ней рано утромъ, чтобы взять зонтикъ. Вѣра сидѣла въ постели, охвативъ голову руками, и думала.

— Ты бы, душечка, поѣхала въ церковь,—сказала тетя:— а то подумаютъ, что ты невѣрующая.

Вѣра ничего не отвѣтила.

— Я вижу, ты скучаешь, бѣдняжечка, — сказала тетя, опускаясь на колѣни передъ постелью; она обожала Вѣру.— Признайся: скучаешь?

— Очень.

— Красавица, королева моя, я твоя послушная раба, я желаю тебѣ только добра и счастья... Скажи, отчего ты не хочешь идти за Нещапова? Кого же тебѣ еще нужно, дѣточка? Извини, милая, перебирать такъ нельзя, мы не князья... Время уходитъ, тебѣ не 17 лѣтъ... И не понимаю! Онъ тебя любитъ, боготворитъ!

— Ахъ, Господи, — сказала Вѣра съ досадой: — но почемъ я знаю? Самъ онъ молчитъ, никогда не говоритъ ни слова.

— Онъ стѣсняется, душечка... А вдругъ ты ему откажешь!

И когда потомъ тетя вышла, Вѣра стояла среди своей комнаты, не зная, одѣваться ей или опять лечь. Противная постель, глянешь въ окно — тамъ голыя деревья, сѣрый снѣгъ, противныя галки, свиньи, которыхъ съѣстъ дѣдушка...

«Въ самомъ дѣлѣ,—подумала она:—замужъ, что ли!»

III.

Два дня тетя ходила съ заплаканнымъ, сильно напудреннымъ лицомъ и за обѣдомъ все вздыхала и посматривала на образъ. И нельзя было понять, въ чемъ ея горе. Но вотъ она рѣшилась, вошла къ Вѣрѣ и сказала развязно:

— Это самое, дѣточка, надо проценты въ банкъ взносить, а арендаторъ не платитъ. Позволь заплатить изъ пятнадцати тысячъ, что̀ тебѣ оставилъ папочка.

Потомъ цѣлый день тетя въ саду варила вишневое варенье. Алена съ красными отъ жара щеками бѣгала то въ садъ, то въ домъ, то на погребъ. Когда тетя варила варенье, съ очень серьезнымъ лицомъ, точно священнодѣйствовала, и короткія рукава позволяли видѣть ея маленькія, крѣпкія, деспотическія руки, и когда, не переставая, бѣгала прислуга, хлопоча около этого варенья, которое будетъ ѣсть не она, то всякій разъ чувствовалось мучительство...

Въ саду пахло горячими вишнями. Уже зашло солнце, жаровню унесли, но все еще въ воздухѣ держался этотъ пріятный, сладковатый запахъ. Вѣра сидѣла на скамьѣ и смотрѣла, какъ новый работникъ, молодой прохожій солдатъ, дѣлалъ, по ея приказанію, дорожки. Онъ рѣзалъ лопатой дернъ и бросалъ его въ тачку.

— Ты гдѣ былъ на службѣ?—спросила у него Вѣра.

— Въ Бердянскѣ.

— А куда идешь теперь? Домой?

— Никакъ нѣтъ, — отвѣтилъ работникъ.—У меня нѣтъ дома.

— Но ты гдѣ родился и выросъ?

— Въ Орловской губерніи. До службы я жилъ у матери, въ домѣ вотчима; мать—хозяйка, ее уважали, и я при ней кормился. А на службѣ получилъ письмо: померла мать... Идти мнѣ теперь домой какъ будто ужъ и не охота. Не родной отецъ, стало-быть, и домъ чужой.

— А твой родной отецъ умеръ?

— Не могу знать. Я незаконнорожденный.

Въ это время въ окнѣ показалась тетя и сказала:

— Иль не фо па парлѐ о жансъ... Иди, любезный, въ кухню, — обратилась она къ солдату. — Тамъ разскажешь.

А потомъ, какъ вчера и всегда, ужинъ, чтеніе, безсонная ночь и безконечныя мысли все объ одномъ. Въ три часа восходило солнце, Алена уже возилась въ коридорѣ, а Вѣра все еще не спала и старалась читать. Послышался скрипъ тачки: это новый работникъ пришелъ въ садъ. Вѣра сѣла у открытаго окна съ книгой, дремала и смотрѣла, какъ солдатъ дѣлалъ для нея дорожки, и это занимало ее. Дорожки ровныя, какъ ремень, гладкія, и весело воображать, какія онѣ будутъ, когда ихъ посыплютъ желтымъ пескомъ.

Видно было, какъ въ началѣ шестого часа изъ дома вышла тетя въ розовомъ капотѣ, въ папильоткахъ. Она постояла на крыльцѣ, молча, минуты три, и потомъ сказала солдату:

— Возьми свой паспортъ, уходи съ Богомъ. Я не могу у себя въ домѣ держать незаконнорожденныхъ.

Въ груди у Вѣры камнемъ повернулось тяжелое, злое чувство. Она негодовала, ненавидѣла тетю; тетя надоѣла ей до тоски, до отвращенія... Но что дѣлать? Оборвать ее на словѣ? Нагрубить ей? Но какая польза? Положимъ, бороться

съ ней, устранить ее, сдѣлать безвредной, сдѣлать такъ, чтобы дѣдушка не замахивался палкой, но—какая польза? Это все равно, что въ степи, которой конца не видно, убить одну мышь или одну змѣю. Громадныя пространства, длинныя зимы, однообразіе и скука жизни вселяютъ сознаніе безпомощности, положеніе кажется безнадежнымъ, и ничего не хочется дѣлать, — все безполезно.

Вошла Алена и, низко поклонившись Вѣрѣ, начала выносить кресла, чтобы выбить изъ нихъ пыль.

— Нашла время убирать,—сказала съ досадой Вѣра. — Уйди отсюда!

Алена растерялась и отъ страха не могла понять, что̀ хотятъ отъ нея, и стала быстро убирать на комодѣ.

— Уйди отсюда, тебѣ говорятъ! — крикнула Вѣра, холодѣя; никогда раньше она не испытывала такого тяжелаго чувства. — Уйди!

Алена издала какой-то стонъ, словно птичій, и уронила на коверъ золотые часы.

— Вонъ отсюда! — крикнула Вѣра не своимъ голосомъ, вскакивая и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Гоните ее вонъ, она меня замучила!—продолжала она, быстро идя за Аленой по коридору и топоча ногами. — Вонъ! Розогъ! Бейте ее!

И потомъ вдругъ опомнилась и опрометью, какъ была, непричесанная, немытая, въ халатѣ и туфляхъ, бросилась вонъ изъ дому. Она добѣжала до знакомаго оврага и спряталась тамъ въ терновникѣ, чтобы никого не видѣть и ея бы не видѣли. Лежа тутъ на травѣ неподвижно, она не плакала, не ужасалась, а, глядя на небо, не мигая, разсуждала холодно и ясно, что случилось то, чего нельзя забыть и простить себѣ въ теченіе всей жизни.

«Нѣтъ, довольно, довольно!—думала она.—Пора прибрать себя къ рукамъ, а то конца не будетъ... Довольно!»

Въ полдень проѣзжалъ черезъ оврагъ въ усадьбу докторъ Нещаповъ. Она видѣла его и быстро рѣшила, что начнетъ новую жизнь, заставитъ себя начать, и это рѣшеніе успокоило ее. И провожая глазами стройную фигуру доктора, она сказала, какъ бы желая смягчить суровость своего рѣшенія:

«Онъ славный... Проживемъ какъ-нибудь».

Она вернулась домой. Когда она одѣвалась, въ комнату вошла тетя Даша и сказала:

— Алена тебя встревожила, душечка, я услала ее домой въ деревню. Мать ее избила всю и приходила сюда, плакала...

— Тетя, — быстро проговорила Вѣра: — я выхожу за доктора Нещапова. Только поговорите съ нимъ сами... я не могу...

И опять ушла въ поле. И идя, куда глаза глядятъ, она рѣшила, что, выйдя замужъ, она будетъ заниматься хозяйствомъ, лѣчить, учить, будетъ дѣлать все, что̀ дѣлаютъ другія женщины ея круга; а это постоянное недовольство и собой, и людьми, этотъ рядъ грубыхъ ошибокъ, которыя горой выростаютъ передъ тобою, едва оглянешься на свое прошлое, она будетъ считать своею настоящею жизнью, которая суждена ей, и не будетъ ждать лучшей... Вѣдь лучшей и не бываетъ! Прекрасная природа, грезы, музыка говорятъ одно, а дѣйствительная жизнь другое. Очевидно, счастье и правда существуютъ гдѣ-то внѣ жизни... Надо не жить, надо слиться въ одно съ этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, какъ вѣчность, съ ея цвѣтами, курганами и далью, и тогда будетъ хорошо...

Черезъ мѣсяцъ Вѣра жила уже на заводѣ.

ПЕЧЕНѢГЪ.

Жмухинъ, Иванъ Абрамычъ, отставной казачій офицеръ, служившій когда-то на Кавказѣ, а теперь проживающій у себя на хуторѣ, бывшій когда-то молодымъ, здоровымъ, сильнымъ, а теперь старый, сухой и сутулый, съ мохнатыми бровями и съ сѣдыми, зеленоватыми усами,— какъ-то въ жаркій лѣтній день возвращался изъ города къ себѣ на хуторъ. Въ городѣ онъ говѣлъ и писалъ у нотаріуса завѣщаніе (недѣли двѣ назадъ съ нимъ приключился легкій ударъ), и теперь въ вагонѣ все время, пока онъ ѣхалъ, его не покидали грустныя, серьезныя мысли о близкой смерти, о суетѣ-суетъ, о бренности всего земного. На станціи Провалье,—а такая есть на Донецкой дорогѣ,—въ его вагонъ вошелъ бѣлокурый господинъ, среднихъ лѣтъ, пухлый, съ поношеннымъ портфелемъ, и сѣлъ противъ. Разговорились.

— Да-съ,—говорилъ Иванъ Абрамычъ, задумчиво глядя въ окно.—Жениться никогда не поздно. Я самъ женился, когда мнѣ было сорокъ восемь лѣтъ, говорили — поздно, а вышло не поздно и не рано, а такъ, лучше бы вовсе не жениться. Жена скоро прискучаетъ всякому, да не всякій правду скажетъ, потому что, знаете ли, несчастной семейной жизни стыдятся и скрываютъ ее. Иной около жены— «Маня, Маня», а если бы его воля, то онъ бы эту Маню въ мѣшокъ да въ воду. Съ женой скука, одна глупость. Да и съ дѣтьми не лучше, смѣю васъ увѣрить. У меня ихъ двое, подлецовъ. Учить ихъ тутъ въ степи негдѣ, отдать въ Новочеркаскъ въ ученье—денегъ нѣтъ, и живутъ

они тутъ, какъ волчата. Того и гляди, зарѣжутъ кого на дорогѣ.

Бѣлокурый господинъ слушалъ внимательно, отвѣчалъ на вопросы негромко и кратко и, повидимому, былъ тихаго, скромнаго нрава. Онъ назвался частнымъ повѣреннымъ и сказалъ, что ѣдетъ въ деревню Дюевку по дѣлу.

— Да вѣдь это въ девяти верстахъ отъ меня, Господи ты Боже мой! — сказалъ Жмухинъ такимъ тономъ, какъ будто съ нимъ спорили.—Но позвольте, на станціи вы теперь не найдете лошадей. По-моему для васъ самое лучшее, знаете ли, сейчасъ поѣхать ко мнѣ, у меня переночуете, знаете ли, а утромъ и поѣдете на моихъ лошадяхъ, съ Богомъ.

Частный повѣренный подумалъ и согласился.

Когда пріѣхали на станцію, солнце уже стояло низко надъ степью. Всю дорогу отъ станціи до хутора молчали: говорить мѣшала тряская ѣзда. Тарантасъ прыгалъ, визжалъ и, казалось, рыдалъ, точно его прыжки причиняли ему сильную боль, и частный повѣренный, которому было очень неудобно сидѣть, съ тоской посматривалъ впередъ: не видать ли хутора. Проѣхали верстъ восемь, и вдали показался невысокій домъ и дворъ, обнесенный заборомъ изъ темнаго плитняка; крыша на домѣ зеленая, штукатурка облупилась, а окна маленькія, узенькія, точно прищуренные глаза. Хуторъ стоялъ на припекѣ, и нигдѣ кругомъ не было видно ни воды, ни деревьевъ. Назывался онъ у сосѣдей-помѣщиковъ и у мужиковъ «Печенѣговъ хуторъ». Много лѣтъ назадъ какой-то проѣзжій землемѣръ, ночевавшій на хуторѣ, проговорилъ всю ночь съ Иваномъ Абрамычемъ, остался недоволенъ и утромъ, уѣзжая, сказалъ ему сурово: «Вы, сударь мой, печенѣгъ!» Отсюда и пошло «Печенѣговъ хуторъ», и это прозвище еще болѣе укрѣпилось, когда дѣти Жмухина подросли и стали совершать набѣги на сосѣдніе сады и бахчи. А самого Ивана Абрамыча звали «знаете ли», такъ какъ онъ говорилъ обыкновенно очень много и часто употреблялъ это «знаете ли».

Во дворѣ около сарая стояли сыновья Жмухина: одинъ лѣтъ 19-ти, другой—подростокъ, оба босые, безъ шапокъ; и какъ разъ въ то время, когда тарантасъ въѣзжалъ во дворъ, младшій высоко подбросилъ курицу, которая закудахтала и полетѣла, описывая въ воздухѣ дугу; старшій

выстрѣлилъ изъ ружья, и курица, убитая, ударилась о землю.

— Это мои учатся стрѣлять въ летъ,—смазалъ Жмухинъ.

Въ сѣняхъ пріѣхавшихъ встрѣтила женщина, маленькая, худенькая, съ блѣднымъ лицомъ, еще молодая и красивая; по платью ее можно было принять за прислугу.

— А это, позвольте представить,—сказалъ Жмухинъ:— мать моихъ сукиныхъ сыновъ. Ну, Любовь Осиповна,— обратился онъ къ ней,—поворачивайся, мать, угощай гостя. Ужинать давай! Живо!

Домъ состоялъ изъ двухъ половинъ; въ одной была «зала» и рядомъ съ ней спальня старика Жмухина — комнаты душныя, съ низкими потолками и со множествомъ мухъ и осъ, а въ другой была кухня, въ которой стряпали, стирали, кормили работниковъ; здѣсь же подъ скамьями сидѣли на яйцахъ гусыни и индѣйки, и здѣсь же находились постели Любови Осиповны и ея обоихъ сыновей. Мебель въ залѣ была некрашенная, срубленная, очевидно, плотникомъ; на стѣнахъ висѣли ружья, ягдташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавѣла и казалась сѣрой отъ пыли. Ни одной картины, въ углу темная доска, которая когда-то была иконой.

Молодая баба, хохлушка, накрыла на столъ и подала ветчину, потомъ борщъ. Гость отказался отъ водки и сталъ ѣсть только хлѣбъ и огурцы.

— А ветчинки что жъ?—спросилъ Жмухинъ.

— Благодарю, не ѣмъ,—отвѣтилъ гость.—Я вообще не ѣмъ мяса.

— Почему такъ?

— Я вегетаріанецъ. Убивать животныхъ, это—противно моимъ убѣжденіямъ.

Жмухинъ подумалъ минуту и потомъ сказалъ медленно, со вздохомъ:

— Да... Такъ... Въ городѣ я тоже видѣлъ одного, который не ѣстъ мяса. Это теперь такая вѣра пошла. Что жъ? Это хорошо. Не все же рѣзать и стрѣлять, знаете ли, надо когда-нибудь и угомониться, дать покой и тварямъ. Грѣхъ убивать, грѣхъ,—что̀ и говорить. Иной разъ подстрѣлишь зайца, ранишь его въ ногу, а онъ кричитъ, словно ребенокъ. Значитъ, больно!

— Конечно, больно. Животныя такъ же страдаютъ, какъ и люди.

— Это вѣрно,—согласился Жмухинъ.—Я все это понимаю очень хорошо,—продолжалъ онъ, думая:—только вотъ, признаться, одного не могу понять: если, положимъ, знаете ли, всѣ люди перестанутъ ѣсть мясо, то куда дѣнутся тогда домашнія животныя, напримѣръ, куры и гуси?

— Куры и гуси будутъ жить на волѣ, какъ дикія.

— Теперь понимаю. Въ самомъ дѣлѣ, живутъ вороны и галки и обходятся же безъ насъ. Да... И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, всѣ будутъ жить на волѣ, радоваться, знаете ли, и Бога прославлять, и не будутъ они насъ бояться. Настанетъ миръ и тишина. Только вотъ, знаете ли, одного не могу понять,—продолжалъ Жмухинъ, взглянувъ на ветчину.—Со свиньями какъ быть? Куда ихъ?

— И онѣ такъ же, какъ всѣ, то-есть и онѣ на волѣ.

— Такъ. Да. Но позвольте, вѣдь если ихъ не рѣзать, то онѣ размножатся, знаете ли, тогда прощайся съ лугами и съ огородами. Вѣдь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотрѣть за ней, все вамъ попортитъ въ одинъ день. Свинья и есть свинья, и не даромъ ее свиньей прозвали...

Поужинали. Жмухинъ всталъ изъ-за стола и долго ходилъ по комнатѣ и все говорилъ, говорилъ... Онъ любилъ поговорить о чемъ-нибудь важномъ и серьезномъ и любилъ подумать; да и хотѣлось на старости лѣтъ остановиться на чемъ-нибудь, успокоиться, чтобы не такъ страшно было умирать. Хотѣлось кротости, душевной тишины и увѣренности въ себѣ, какъ у этого гостя, который вотъ наѣлся огурцовъ и хлѣба и думаетъ, что отъ этого сталъ совершеннѣе; сидитъ онъ на сундукѣ, здоровый, пухлый, молчитъ и терпѣливо скучаетъ, и въ сумеркахъ, когда взглянешь на него изъ сѣней, похожъ на большой булыжникъ, который не сдвинешь съ мѣста. Имѣетъ человѣкъ въ жизни зацѣпку—и хорошо ему.

Жмухинъ черезъ сѣни вышелъ на крыльцо, и потомъ слышно было, какъ онъ вздыхалъ и въ раздумьѣ говорилъ самому себѣ: «Да... такъ». Уже темнѣло, и на небѣ показывались тамъ и сямъ звѣзды. Въ комнатахъ еще не зажигали огня. Кто-то безшумно, какъ тѣнь, вошелъ въ залу и остановился около двери. Это была Любовь Осиповна, жена Жмухина.

— Вы изъ города? — спросила она робко, не глядя на гостя.

— Да, я живу въ городѣ.

— Можетъ, вы по ученой части, господинъ, поучите насъ, будьте такіе добрые. Намъ надо бы прошеніе подать.

— Куда?—спросилъ гость.

— У насъ два сына, господинъ хорошій, и давно пора отдавать ихъ въ ученье, а у насъ никто не бываетъ и не съ кѣмъ посовѣтоваться. А сама я ничего не знаю. Потому, если не учить, то ихъ возьмутъ на службу простыми казаками. Не хорошо, господинъ! Не грамотные, хуже мужиковъ, и сами же Иванъ Абрамычъ брезгаютъ, не пускаютъ ихъ въ комнаты. А развѣ они виноваты? Хоть бы младшенькаго отдать въ ученье, право, а то такъ жалко!— сказала она протяжно, и голосъ у нея дрогнулъ; и казалось невѣроятнымъ, что у такой маленькой и молодой женщины есть уже взрослыя дѣти.—Ахъ, такъ жалко!

— Ничего ты, мать, не понимаешь, и не твое это дѣло, — сказалъ Жмухинъ, показываясь въ дверяхъ. — Не приставай къ гостю со своими разговорами дикими. Уходи, мать!

Любовь Осиповна вышла и въ сѣняхъ повторила еще разъ тонкимъ голоскомъ:

— Ахъ, такъ жалко!

Гостю постлали въ залѣ на диванѣ и, чтобы ему не было темно, зажгли лампадку. Жмухинъ легъ у себя въ спальнѣ. И, лежа, онъ думалъ о своей душѣ, о старости, о недавнемъ ударѣ, который такъ напугалъ и живо напомнилъ о смерти. Онъ любилъ пофилософствовать, оставаясь съ самимъ собой, въ тишинѣ, и тогда ему казалось, что онъ очень серьезный, глубокій человѣкъ и что на этомъ свѣтѣ его занимаютъ одни только важные вопросы. И теперь онъ все думалъ, и ему хотѣлось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другія, значительной, которая была бы руководствомъ въ жизни, и хотѣлось придумать для себя какія-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сдѣлать такою же серьезной и глубокой, какъ онъ самъ. Вотъ хорошо бы и ему, старику, совсѣмъ отказаться отъ мяса, отъ разныхъ излишествъ. Время, когда люди не будутъ убивать другъ друга и животныхъ, рано или поздно настанетъ, иначе и быть не можетъ, и онъ во-

ображалъ себѣ это время и ясно представлялъ самого себя, живущаго въ мирѣ со всѣми животными, и вдругъ опять вспомнилъ про свиней, и у него въ головѣ все перепуталось.

— Исторія, Господи помилуй, — пробормоталъ онъ, тяжело вздыхая.—Вы спите?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ.

Жмухинъ всталъ съ постели и остановился въ дверяхъ на порогѣ, въ одной сорочкѣ, показывая гостю свои ноги, жилистыя и сухія, какъ палки.

— Вотъ теперь, знаете ли,—началъ онъ:—пошли разные телеграфы, телефоны и разныя тамъ чудеса, однимъ словомъ, но люди не стали лучше. Говорятъ, что въ наше время, лѣтъ 30—40 назадъ, люди были грубые, жестокіе; но теперь развѣ не то же самое? Дѣйствительно, въ мое время жили безъ церемоній. Помню, на Кавказѣ, когда мы цѣлыхъ четыре мѣсяца стояли на одной рѣчкѣ безъ всякаго дѣла,—я тогда еще урядникомъ былъ,—произошла исторія, въ родѣ какъ бы романъ. Какъ разъ на берегу той рѣчки, знаете ли, гдѣ стояла наша сотня, былъ похороненъ одинъ князекъ, котораго мы же убили незадолго. И по ночамъ, знаете ли, ходила вдова-княгиня на могилку и плакала. Ужъ она голоситъ-голоситъ, ужъ она стонетъ-стонетъ, и такую на насъ тоску нагоняла, что не спимъ да и все. Одну ночь не спимъ, другую не спимъ; ну, надоѣло. И, разсуждая по здравому смыслу, нельзя же въ самомъ дѣлѣ не спать чортъ знаетъ изъ-за чего, извините за выраженіе. Взяли мы эту княгиню, высѣкли ее—и перестала ходить. Вотъ вамъ. Теперь, конечно, ужъ не та категорія людей, и не сѣкутъ, и живутъ чище, и наукъ стало больше, но, знаете ли, душа все та же, никакой перемѣны. Вотъ, изволите ли видѣть, живетъ здѣсь у насъ помѣщикъ одинъ. У него шахты, знаете ли. Работаютъ у него безпаспортные, разные бродяги, которымъ дѣваться некуда. По субботамъ надо расчетъ давать рабочимъ, а платить-то не хочется, знаете ли, денегъ жалко. Вотъ онъ и нашелъ себѣ такого приказчика, тоже изъ бродягъ, хотя и въ шляпѣ ходитъ. «Ты, говоритъ, имъ ничего не плати, ни копейки; они тебя будутъ бить и пускай, говоритъ, бьютъ, а ты терпи, я за это каждую субботу буду тебѣ по десяти рублей платить». Вотъ вечеромъ въ субботу, порядкомъ, какъ во-

дится, рабочіе приходятъ за расчетомъ; приказчикъ имъ: «Нѣту!» Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка... Бьютъ, бьютъ его, и руками и ногами,—знаете ли, народъ озвѣрѣлый съ голоду-то,—бьютъ до безчувствія, а потомъ и уходятъ кто куда. Хозяинъ велитъ отливать приказчика водой, потомъ ему десять рублей въ зубы, а тотъ и беретъ, да еще радъ, потому въ сущности не то, что за десять, онъ и за трешницу согласится хоть въ петлю. Да... А въ понедѣльникъ приходитъ новая партія рабочихъ; приходитъ, дѣваться некуда... Въ субботу опять та же исторія...

Гость повернулся на другой бокъ, лицомъ къ спинкѣ дивана, и пробормоталъ что-то.

— А вотъ другой примѣръ, — продолжалъ Жмухинъ.— Какъ-то была тутъ сибирская язва, знаете ли; скотина дохла, я вамъ скажу, какъ мухи, и ветеринары тутъ ѣздили, и строго было приказано, чтобы палый скотъ зарывать подальше, глубоко въ землю, заливать известкой и прочее, знаете ли, на основаніи науки. Издохла и у меня лошадь. Я со всякими предосторожностями зарылъ ее и одной известки вылилъ на нее пудовъ десять. И что жъ вы думаете? Мои молодцы, знаете ли, сыночки мои милые, ночью вырыли лошадь, содрали съ нея шкуру и продали за три рубля. Вотъ вамъ. Значитъ, люди не стали лучше и, значитъ, какъ волка ни корми, а онъ все въ лѣсъ смотритъ. Вотъ вамъ. Подумать-то есть о чемъ! А? Какъ вы полагаете?

На одной сторонѣ въ окнахъ, въ щеляхъ ставенъ, вспыхивала молнія. Было душно передъ грозой, кусались комары, и Жмухинъ, лежа у себя и размышляя, охалъ, стоналъ и говорилъ самому себѣ: «Да... такъ»—и уснуть было невозможно. Гдѣ-то очень-очень далеко ворчалъ громъ.

— Вы спите?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ гость.

Жмухинъ всталъ и черезъ залу и сѣни, стуча своими пятками, прошелъ въ кухню—воды напиться.

— Хуже всего на свѣтѣ, знаете ли, глупость,—говорилъ онъ, немного погодя, возвращаясь съ ковшомъ.—Моя Любовь Осиповна стоитъ на колѣняхъ и Богу молится. Молится каждую ночь, знаете ли, и поклоны бухаетъ, первое, чтобъ дѣтей въ ученье отдать; боится, что дѣти пойдутъ на службу простыми казаками, и ихъ будутъ тамъ попе-

рекъ спины шашками лупить. Но чтобы учить, надо деньги, а гдѣ ихъ взять? Хоть лбомъ полъ прошиби, а коли нѣтъ, такъ и нѣтъ. Второе, молится, потому что, знаете ли, всякая женщина думаетъ, что несчастнѣе ея нѣтъ на свѣтѣ. Я человѣкъ откровенный и скрывать отъ васъ ничего не желаю. Она изъ бѣднаго семейства, поповна, колокольнаго званія, такъ сказать; женился я на ней, когда ей было 17 лѣтъ, и ее выдали за меня больше изъ-за того, что было ѣсть нечего, нужда, злыдни, а у меня все-таки, видите, земля, хозяйство, ну, какъ ни какъ, все-таки офицеръ; лестно ей было за меня идти, знаете ли. Въ первый день, какъ поженились, она плакала и потомъ всѣ двадцать лѣтъ плакала — глаза на мокромъ мѣстѣ. И все она сидитъ и думаетъ, думаетъ. А о чемъ думаетъ, спрашивается? О чемъ женщина можетъ думать? Ни о чемъ. Я женщину, признаться, не считаю за человѣка.

Частный повѣренный поднялся порывисто и сѣлъ.

— Извините, мнѣ что-то душно стало,—сказалъ онъ.— Я выйду.

Жмухинъ, продолжая говорить о женщинахъ, въ сѣняхъ вынулъ засовъ, и оба вышли наружу. Какъ разъ надъ дворомъ плыла по небу полная луна, и при лунномъ свѣтѣ домъ и сараи казались бѣлѣе, чѣмъ днемъ; и по травѣ между черными тѣнями протянулись яркія полосы свѣта, тоже бѣлыя. Направо далеко видна степь, надъ нею тихо горятъ звѣзды—и все таинственно, безконечно далеко, точно смотришь въ глубокую пропасть; а налѣво надъ степью навалилась одна на другую тяжелыя грозовыя тучи, черныя, какъ сажа; края ихъ освѣщены луной, и кажется, что тамъ горы съ бѣлымъ снѣгомъ на вершинахъ, темные лѣса, море; вспыхиваетъ молнія, доносится тихій громъ, и кажется, что въ горахъ идетъ сраженіе...

Около самой усадьбы маленькая ночная сова кричитъ монотонно: «сплю! сплю!»

— Который теперь часъ?—спросилъ гость.

— Второй вначалѣ.

— Какъ еще далеко до разсвѣта, однако!

Вернулись въ домъ и опять легли. Надо было спать, и обыкновенно передъ дождемъ такъ славно спится, но старику захотѣлось важныхъ, серьезныхъ мыслей; хотѣлось ему не просто думать, а размышлять. И онъ размышлялъ о

томъ, что хорошо бы, въ виду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая такъ незамѣтно и безслѣдно поглощаетъ дни за днями, годы за годами; придумать бы для себя какой-нибудь подвигъ, напримѣръ, пойти бы пѣшкомъ куда-нибудь далеко-далеко, отказаться бы отъ мяса, какъ этотъ молодой человѣкъ. И онъ опять воображалъ себѣ то время, когда не будутъ убивать животныхъ, воображалъ ясно, отчетливо, точно самъ переживалъ это время; но вдругъ въ головѣ опять все перепуталось и все стало неясно.

Гроза прошла мимо, но тучи захватили краемъ, дождь шелъ и тихо стучалъ по крышѣ. Жмухинъ всталъ и, охая отъ старости, потягиваясь, посмотрѣлъ въ залу. Замѣтивъ, что гость не спитъ, онъ сказалъ:

— У насъ на Кавказѣ, знаете ли, одинъ полковникъ тоже былъ вегетаріанцемъ. Не ѣлъ мяса, никогда не охотился и не позволялъ своимъ людямъ рыбу ловить. Конечно, я понимаю. Всякое животное должно жить на свободѣ, пользоваться жизнью; только не понимаю, какъ можетъ свинья ходить, гдѣ ей угодно, безъ присмотра...

Гость поднялся и сѣлъ. Его блѣдное, помятое лицо выражало досаду и усталость; видно было, что онъ замучился, и только кротость и деликатность души мѣшали ему высказать на словахъ свою досаду.

— Уже разсвѣтъ,—сказалъ онъ кротко.—Велите, пожалуйста, дать мнѣ лошадь.

— Что̀ такъ? Погодите, дождь пройдетъ.

— Нѣтъ, прошу васъ,—проговорилъ гость умоляюще, съ испугомъ.—Мнѣ необходимо сейчасъ же.

И онъ сталъ торопливо одѣваться.

Когда подали лошадь, уже восходило солнце. Дождь только-что пересталъ, облака быстро бѣжали, голубыхъ просвѣтовъ становилось все больше и больше на небѣ. Внизу въ лужицахъ робко отсвѣчивали первые лучи. Частный повѣренный проходилъ со своимъ портфелемъ черезъ сѣни, чтобы сѣсть въ тарантасъ, и въ это время жена Жмухина, блѣдная и, казалось, блѣднѣе, чѣмъ вчера, заплаканная, смотрѣла на него внимательно, не мигая, съ наивнымъ выраженіемъ, какъ у дѣвочки, и было видно по ея скорбному лицу, что она завидуетъ его свободѣ,—ахъ, съ какомъ бы наслажденіемъ она сама уѣхала отсюда!—и что ей нужно

сказать ему что-то, должно-быть, спросить совѣта насчетъ дѣтей. И какая жалкая! Это не жена, не хозяйка, даже не прислуга, а скорѣе приживалка, бѣдная, никому не нужная родственница, ничтожество... Ея мужъ, суетясь, не переставая разговаривать и все забѣгая впередъ, провожалъ гостя, а она пугливо и виновато жалась къ стѣнѣ и все ждала удобной минуты, чтобы заговорить.

— Милости просимъ въ другой разъ!—повторялъ старикъ безъ умолку.—Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады, знаете ли!

Гость сѣлъ въ тарантасъ торопливо, видимо, съ большимъ удовольствіемъ и точно боясь, что вотъ-вотъ его задержатъ. Тарантасъ по-вчерашнему запрыгалъ, завизжалъ, застучало неистово ведро, привязанное къ задку. Частный повѣренный оглянулся на Жмухина съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ; было похоже, что ему, какъ когда-то землемѣру, захотѣлось обозвать его печенѣгомъ или какъ-нибудь иначе, но кротость пересилила, онъ удержался и ничего не сказалъ. Но въ воротахъ вдругъ не вытерпѣлъ, приподнялся и крикнулъ громко и сердито:

— Вы мнѣ надоѣли!

И скрылся за воротами.

Около сарая стояли сыновья Жмухина: старшій держалъ ружье, у младшаго былъ въ рукахъ сѣрый пѣтушокъ съ яркимъ красивымъ гребнемъ. Младшій изо всей силы подбросилъ пѣтушка, тотъ взлетѣлъ выше дома и перевернулся въ воздухѣ, какъ голубь; старшій выстрѣлилъ, и пѣтушокъ упалъ, какъ камень.

Старикъ, смущенный, не зная, какъ и чѣмъ объяснить этотъ странный, неожиданный окрикъ гостя, не спѣша, пошелъ въ домъ. И сидя тутъ за столомъ, онъ размышлялъ долго о теперешнемъ направленіи умовъ, о всеобщей безнравственности, о телеграфѣ, о телефонѣ, о велосипедахъ, о томъ, какъ все это не нужно, успокоился мало-по-малу, потомъ закусилъ, не спѣша, выпилъ пять стакановъ чаю и легъ спать.

НОВАЯ ДАЧА.

I.

Въ трехъ верстахъ отъ деревни Обручановой строился громадный мостъ. Изъ деревни, стоявшей высоко на крутомъ берегу, былъ виденъ его рѣшетчатый остовъ, и въ туманную погоду и въ тихіе зимніе дни, когда его тонкія желѣзныя стропила и всѣ лѣса кругомъ были покрыты инеемъ, онъ представлялъ живописную и даже фантастическую картину. Черезъ деревню проѣзжалъ иногда на бѣговыхъ дрожкахъ или въ коляскѣ инженеръ Кучеровъ, строитель моста. полный, плечистый, бородатый мужчина въ мягкой, помятой фуражкѣ; иногда въ праздники приходили босяки, работавшіе на мосту; они просили милостыню, смѣялись надъ бабами и, случалось, уносили что-нибудь. Но это бывало рѣдко; обыкновенно же дни проходили тихо и спокойно, какъ будто постройки не было вовсе, и только по вечерамъ, когда около моста свѣтились костры, вѣтеръ слабо доносилъ пѣсню босяковъ. И днемъ иногда слышался печальный металлическій звукъ: дон... дон... дон...

Какъ-то къ инженеру Кучерову пріѣхала его жена. Ей понравились берега рѣки и роскошный видъ на зеленую долину съ деревушками, церквами, стадами, и она стала просить мужа, чтобы онъ купилъ небольшой участокъ земли и выстроилъ здѣсь дачу. Мужъ послушался. Купили двадцать десятинъ земли, и на высокомъ берегу, на полянкѣ, гдѣ раньше бродили обручановскія коровы, построили красивый двухъэтажный домъ съ террасой, съ балконами, съ башней и со шпилемъ, на которомъ по воскресеньямъ взвивался

флагъ,—построили въ какіе-нибудь три мѣсяца и потомъ всю зиму сажали большія деревья, и когда наступила весна и все зазеленѣло кругомъ, въ новой усадьбѣ были уже аллеи, садовникъ и двое рабочихъ въ бѣлыхъ фартукахъ копались около дома, билъ фонтанчикъ и зеркальный шаръ горѣлъ такъ ярко, что было больно смотрѣть. И уже было названіе у этой усадьбы: Новая дача.

Въ ясное, теплое утро, въ концѣ мая, въ Обручаново къ здѣшнему кузнецу Родіону Петрову привели перековывать двухъ лошадей. Это изъ Новой дачи. Лошади были бѣлыя, какъ снѣгъ, стройныя, сытыя и поразительно похожія одна на другую.

— Чистые лебеди!—проговорилъ Родіонъ, глядя на нихъ съ благоговѣніемъ.

Его жена Степанида, дѣти и внуки вышли на улицу, чтобы посмотрѣть. Мало-по-малу собралась толпа. Подошли Лычковы, отецъ и сынъ, оба безбородые съ рожденія, съ опухшими лицами и безъ шапокъ. Подошелъ и Козовъ, высокій худой старикъ съ длинной узкой бородой, съ палкой крючкомъ; онъ все подмигивалъ своими хитрыми глазами и насмѣшливо улыбался, какъ будто зналъ что-то.

— Только-что бѣлыя, а что̀ въ нихъ?—сказалъ онъ.— Поставь моихъ на овесъ, такія же будутъ гладкія. Въ соху бы ихъ да кнутомъ...

Кучеръ только посмотрѣлъ на него съ презрѣніемъ, но не сказалъ ни слова. И пока потомъ въ кузницѣ разводили огонь, кучеръ разсказывалъ, покуривая папиросы. Мужики узнали отъ него много подробностей: господа у него богатые; барыня Елена Ивановна раньше, до замужества, жила въ Москвѣ бѣдно, въ гувернанткахъ; она добрая, жалостливая и любитъ помогать бѣднымъ. Въ новомъ имѣніи, разсказывалъ онъ, не будутъ ни пахать, ни сѣять, а будутъ только жить въ свое удовольствіе, жить только для того, чтобы дышать чистымъ воздухомъ. Когда онъ кончилъ и повелъ лошадей назадъ, за нимъ шла толпа мальчишекъ, лаяли собаки, и Козовъ, глядя вслѣдъ, насмѣшливо подмигивалъ.

— То-оже помѣщики!—говорилъ онъ.—Домъ построили, лошадей завели, а самимъ небось ѣсть нечего. То-оже помѣщики!

Козовъ какъ-то сразу возненавидѣлъ и новую усадьбу, и бѣлыхъ лошадей, и сытаго красиваго кучера. Это былъ че-

ловѣкъ одинокій, вдовецъ; жилъ онъ скучно (работать ему мѣшала какая-то болѣзнь, которую онъ называлъ то грызью, то глистами), деньги на пропитаніе получалъ отъ сына, служившаго въ Харьковѣ въ кондитерской, и съ ранняго утра до вечера праздно бродилъ по берегу или по деревнѣ, и если видѣлъ, напримѣръ, что мужикъ везетъ бревно или удитъ рыбу, то говорилъ: «это бревно изъ сухостоя, трухлявое», или «въ такую погоду не будетъ клевать». Въ засуху онъ говорилъ, что дождей не будетъ до самыхъ морозовъ, а когда шли дожди, то говорилъ, что теперь все погніетъ въ полѣ, все пропало. И при этомъ все подмигивалъ, какъ будто зналъ что-то.

Въ усадьбѣ по вечерамъ жгли бенгальскіе огни и ракеты, и мимо Обручанова проходила на парусахъ лодка съ красными фонариками. Однажды утромъ пріѣхала на деревню жена инженера Елена Ивановна съ маленькой дочерью въ коляскѣ съ желтыми колесами, на парѣ темно-гнѣдыхъ пони; обѣ, мать и дочь, были въ соломенныхъ шляпахъ съ широкими полями, пригнутыми къ ушамъ.

Это было какъ разъ въ навозницу, и кузнецъ Родіонъ, высокій, тощій старикъ, безъ шапки, босой, съ вилами черезъ плечо, стоялъ около своей грязной, безобразной телѣги и, оторопѣвъ, смотрѣлъ на пони, и видно было по его лицу, что онъ раньше никогда не видѣлъ такихъ маленькихъ лошадей.

— Кучериха пріѣхала! — слышался кругомъ шопотъ. — Гляди, Кучериха пріѣхала!

Елена Ивановна посматривала на избы, какъ бы выбирая, потомъ остановила лошадей около самой бѣдной избы, гдѣ въ окнахъ было столько дѣтскихъ головъ—бѣлокурыхъ, темныхъ, рыжихъ. Степанида, жена Родіона полная старуха, выбѣжала изъ избы, платокъ у нея сползъ съ сѣдой головы, она смотрѣла на коляску противъ солнца, и лицо у нея улыбалось и морщилось, точно она была слѣпая.

— Это твоимъ дѣтямъ,—сказала Елена Ивановна и подала ей три рубля.

Степанида вдругъ заплакала и поклонилась въ землю; Родіонъ тоже повалился, показывая свою широкую, коричневую лысину, и при этомъ едва не зацѣпилъ вилами свою жену за бокъ. Елена Ивановна сконфузилась и поѣхала назадъ.

II.

Лычковы, отецъ и сынъ, захватили у себя на лугу двухъ рабочихъ лошадей, одного пони и мордатаго альгаузскаго бычка и вмѣстѣ съ рыжимъ Володькой, сыномъ кузнеца Родіона, пригнали въ деревню. Позвали старосту, набрали понятыхъ и пошли смотрѣть на потраву.

— Ладно, пускай!—говорилъ Козовъ, подмигивая.—Пуска-ай! Пускай теперь повертятся, инженеры-то. Суда нѣтъ, думаешь? Ладно! За урядникомъ послать, актъ составить!..

— Актъ составить!—повторилъ Володька.

— Этого такъ оставить я не желаю!—кричалъ Лычковъ-сынъ, кричалъ все громче и громче, и отъ этого, казалось, его безбородое лицо распухало все больше. — Моду какую взяли! Дай имъ волю, такъ они всѣ луга потравятъ! Не имѣете полнаго права обижать народъ! Крѣпостныхъ теперь нѣту!

— Крѣпостныхъ теперь нѣту!—повторилъ Володька.

— Жили мы безъ моста, — проговорилъ Лычковъ-отецъ мрачно:—не просили, зачѣмъ намъ мостъ? Не желаемъ!

— Братцы, православные! Этого такъ оставить нельзя!

— Ладно, пуска-ай!—подмигивалъ Козовъ.—Пускай теперь повертятся! То-оже помѣщики!

Повернули назадъ въ деревню и, пока шли, Лычковъ-сынъ все время билъ себя кулакомъ по груди и кричалъ, и Володька тоже кричалъ, повторяя его слова. А въ деревнѣ между тѣмъ около породистаго бычка и лошадей собралась цѣлая толпа. Бычокъ былъ сконфуженъ и глядѣлъ исподлобья, но вдругъ опустилъ морду къ землѣ и побѣжалъ, выбрыкивая задними ногами; Козовъ испугался и замахалъ на него палкой, и всѣ захохотали. Потомъ скотину заперли и стали ждать.

Вечеромъ инженеръ прислалъ за потраву пять рублей, и обѣ лошади, пони и бычокъ, не кормленные и не поенные, возвращались домой, понуривъ головы, какъ виноватые, точно ихъ вели на казнь.

Получивъ пять рублей, Лычковы, отецъ и сынъ, староста и Володька переплыли на лодкѣ рѣку и отправились на ту сторону въ село Кряково, гдѣ былъ кабакъ, и долго тамъ гуляли. Было слышно, какъ они пѣли и какъ кричалъ мо-

лодой Лычковъ. Въ деревнѣ бабы не спали всю ночь и безпокоились. Родіонъ тоже не спалъ.

— Нехорошее дѣло,—говорилъ онъ, ворочаясь съ боку на бокъ и вздыхая.—Осерчаетъ баринъ, тягайся потомъ... Обидѣли барина... охъ, обидѣли, нехорошо...

Какъ-то мужики, и Родіонъ въ ихъ числѣ, ходили въ свой лѣсъ дѣлить покосъ, и когда возвращались домой, имъ встрѣтился инженеръ. Онъ былъ въ красной кумачовой рубахѣ и въ высокихъ сапогахъ; за нимъ слѣдомъ, высунувъ длинный языкъ, шла легавая собака.

— Здравствуйте, братцы!—сказалъ онъ.

Мужики остановились и поснимали шапки.

— Я давно уже хочу поговорить съ вами, братцы,—продолжалъ онъ.—Дѣло вотъ въ чемъ. Съ самой ранней весны каждый день у меня въ саду и въ лѣсу бываетъ ваше стадо. Все вытоптано, свиньи изрыли лугъ, портятъ въ огородѣ, а въ лѣсу пропалъ весь молоднякъ. Сладу нѣтъ съ вашими пастухами; ихъ просишь, а они грубятъ. Каждый день у меня потрава, и я ничего, я не штрафую васъ, не жалуюсь, между тѣмъ вы загнали моихъ лошадей и бычка, взяли пять рублей. Хорошо ли это? Развѣ это по-сосѣдски?—продолжалъ онъ, и голосъ у него былъ такой мягкій, убѣдительный и взглядъ не суровый.—Развѣ такъ поступаютъ порядочные люди? Недѣлю назадъ кто-то изъ вашихъ срубилъ у меня въ лѣсу два дубка. Вы перекопали дорогу въ Ереснево, и теперь мнѣ приходится дѣлать три версты кругу. За что же вы вредите мнѣ на каждомъ шагу? Что я сдѣлалъ вамъ дурного, скажите Бога ради? Я и жена изъ всѣхъ силъ стараемся жить съ вами въ мирѣ и согласіи, мы помогаемъ крестьянамъ, какъ можемъ. Жена моя добрая, сердечная женщина, она не отказываетъ въ помощи, это ея мечта быть полезной вамъ и вашимъ дѣтямъ. Вы же за добро платите намъ зломъ. Вы несправедливы, братцы. Подумайте объ этомъ. Убѣдительно прошу васъ, подумайте. Мы относимся къ вамъ по-человѣчески, платите и вы намъ тою же монетою.

Повернулся и ушелъ. Мужики постояли еще немного, надѣли шапки и пошли. Родіонъ, который понималъ то, что ему говорили, не такъ какъ нужно, а всегда какъ-то посвоему, вздохнулъ и сказалъ:

— Платить надо. Платите, говоритъ, братцы, монетой...

До деревни дошли молча. Придя домой, Родіонъ помолился, разулся и сѣлъ на лавку рядомъ съ женой. Онъ и Степанида, когда были дома, всегда сидѣли рядомъ и по улицѣ всегда ходили рядомъ, ѣли, пили и спали всегда вмѣстѣ, и чѣмъ старше становились, тѣмъ сильнѣе любили другъ друга. Въ избѣ у нихъ было тѣсно, жарко, и вездѣ были дѣти — на полу, на окнахъ, на печкѣ... Степанида, несмотря на пожилые годы, еще рожала, и теперь, глядя на кучу дѣтей, трудно было разобрать, гдѣ Родіоновы и гдѣ Володькины. Жена Володьки — Лукерья, молодая, некрасивая баба съ глазами на-выкатѣ и съ птичьимъ носомъ, мѣсила въ кадкѣ тѣсто; самъ Володька сидѣлъ на печи, свѣсивъ ноги.

— По дорогѣ, около Никитовой гречи, того... инженеръ съ собачкой...—началъ Родіонъ, отдохнувъ, почесывая себѣ бока и локти. — Платить, говоритъ, надо... Монетой, говоритъ... Монетой не монетой, а ужъ по гривеннику со двора надо бы. Ужъ очень обижаемъ барина. Жалко мнѣ...

— Жили мы безъ моста,—сказалъ Володька, ни на кого не глядя:—и не желаемъ.

— Чего тамъ! Мостъ казенный.

— Не желаемъ.

— Тебя и не спросятъ. Чего ты!

— «Не спросятъ»... — передразнилъ Володька. — Намъ ѣздить некуда, на что намъ мостъ? Нужно, такъ и на лодкѣ переплывемъ.

Кто-то со двора постучалъ въ окно такъ сильно, что, казалось, задрожала вся изба.

— Володька дома?—послышался голосъ Лычкова-сына.— Володька, выходи, пойдемъ!

Володька прыгнулъ съ печки и сталъ искать свою фуражку.

— Не ходи, Володя, — проговорилъ Родіонъ несмѣло. — Не ходи съ ними, сынокъ. Ты у насъ глупый, словно ребенокъ малый, а они тебя добру не научатъ. Не ходи!

— Не ходи, сынокъ!—попросила Степанида и заморгала глазами, собираясь заплакать.—Небось, въ кабакъ зовутъ.

— «Въ кабакъ»...—передразнилъ Володька.

— Опять пьяный вернешься, иродъ собачій! — сказала Лукерья, глядя на него со злобой.—Иди, иди и чтобъ ты сгорѣлъ отъ водки, сатана безхвостая!

— Ну, ты молчи!—крикнулъ Володька.

— Выдали меня за дурака, сгубили меня сироту несчастную, пьяница рыжій... — заголосила Лукерья, утирая лицо рукой, которая была вся въ тѣстѣ. — Глаза бы мои тебя не глядѣли!

Володька ударилъ ее по уху и вышелъ.

III.

Елена Ивановна и ея маленькая дочь пришли въ деревню пѣшкомъ. Онѣ прогуливались. Какъ разъ было воскресенье, и на улицу повыходили бабы и дѣвушки въ своихъ яркихъ платьяхъ. Родіонъ и Степанида, сидѣвшіе на крыльцѣ рядышкомъ, кланялись и улыбались Еленѣ Ивановнѣ и ея дѣвочкѣ, уже какъ знакомымъ. И изъ оконъ смотрѣло на нихъ больше десятка дѣтей; лица выражали недоумѣніе и любопытство, слышался шопотъ:

— Кучериха пришла! Кучериха!

— Здравствуйте,—сказала Елена Ивановна и остановилась; она помолчала и спросила:—Ну какъ поживаете?

— Живемъ ничего, благодарить Бога,—отвѣтилъ Родіонъ скороговоркой.—Извѣстно, живемъ.

— Какая наша жизнь!—усмѣхнулась Степанида.—Сами видите, барыня, голубушка, бѣдность! Всего семейства четырнадцать душъ, а добытчиковъ двое. Одно званіе — кузнецы, а приведутъ лошадь ковать, угля нѣтъ, купить не на что. Замучилась, барыня, — продолжала она и засмѣялась:—и-ихъ какъ замучилась!

Елена Ивановна сѣла на крыльцѣ и, обнявъ свою дѣвочку, задумалась о чемъ-то, и у дѣвочки тоже, судя по ея лицу, бродили въ головѣ какія-то невеселыя мысли; въ раздумьѣ она играла наряднымъ кружевнымъ зонтикомъ, который взяла изъ рукъ у матери.

— Бѣдность! — сказалъ Родіонъ. — Заботы много, работаемъ—конца краю не видать. Вотъ дождя Богъ не даетъ... Неладно живемъ, что говорить.

— Въ этой жизни вамъ тяжело, — сказала Елена Ивановна:—зато на томъ свѣтѣ вы будете счастливы.

Родіонъ не понялъ ея и въ отвѣтъ только кашлянулъ въ кулакъ. А Степанида сказала:

— Барыня, голубушка, богатому и на томъ свѣтѣ ладно. Богатый свѣчи ставитъ, молебны служитъ, богатый нищимъ

подаетъ, а мужикъ что? Лба перекрестить некогда, самъ нищій-разнищій, ужъ гдѣ тамъ спасаться. И грѣховъ много отъ бѣдности, да съ горя все какъ псы лаемся, хорошаго слова не скажемъ, и чего не бываетъ, барыня-голубушка,— не дай Богъ! Должно, нѣтъ намъ счастья ни на томъ, ни на этомъ свѣтѣ. Все счастье богатымъ досталось.

Она говорила весело; очевидно, давно уже привыкла говорить о своей тяжелой жизни. И Родіонъ тоже улыбался; ему было пріятно, что у него старуха такая умная, словоохотливая.

— Это только такъ кажется, что богатымъ легко,—сказала Елена Ивановна. — У каждаго человѣка свое горе. Вотъ мы, я и мой мужъ, живемъ не бѣдно, у насъ есть средства, но развѣ мы счастливы? Я еще молода, но у меня уже четверо дѣтей; дѣти все болѣютъ, я тоже больна, постоянно лѣчусь.

— А какая въ тебѣ болѣзнь?—спросилъ Родіонъ.

— Женская. У меня нѣтъ сна, не даютъ покою головныя боли. Я вотъ сижу, говорю, а въ головѣ нехорошо, слабость во всемъ тѣлѣ, и я согласна, пусть лучше самый тяжелый трудъ, чѣмъ такое состояніе. И душа тоже непокойна. Постоянно боишься за дѣтей, за мужа. У каждой семьи есть свое какое-нибудь горе, есть оно и у насъ. Я не дворянка. Дѣдъ мой былъ простой крестьянинъ, отецъ торговалъ въ Москвѣ и тоже былъ простой человѣкъ. А у моего мужа родители знатные и богатые. Они не хотѣли, чтобы онъ женился на мнѣ, но онъ ослушался, поссорился съ ними, и вотъ они до сихъ поръ не прощаютъ насъ. Это безпокоитъ мужа, волнуетъ, держитъ въ постоянной тревогѣ; онъ любитъ свою мать, очень любитъ. Ну, я и безпокоюсь. Душа болитъ.

Около избы Родіона уже стояли мужики и бабы и слушали. Подошелъ и Козовъ и остановился, потряхивая своей длинной, узкой бородкой. Подошли Лычковы, отецъ и сынъ.

— И то сказать, нельзя быть счастливымъ и довольнымъ, если не чувствуешь себя на своемъ мѣстѣ, — продолжала Елена Ивановна.—Каждый изъ васъ имѣетъ свою полосу, каждый изъ васъ трудится и знаетъ для чего трудится; мужъ мой строитъ мосты, однимъ словомъ, у каждаго свое мѣсто. А я? Я только хожу. Полосы у меня своей нѣтъ, я не тружусь и чувствую себя какъ чужая. Все это я говорю,

чтобы вы не судили по наружному виду; если человѣкъ одѣтъ богато и имѣетъ средства, то это еще не значитъ, что онъ доволенъ своей жизнью.

Она встала, чтобы уходить и взяла за руку дочь.

— Мнѣ у васъ здѣсь очень нравится, — сказала она и улыбнулась, и по этой слабой, несмѣлой улыбкѣ можно было судить, какъ она въ самомъ дѣлѣ нездорова, какъ еще молода и какъ хороша собой; у нея было блѣдное, худощавое лицо съ темными бровями и бѣлокурые волосы. И дѣвочка была такая же, какъ мать, худощавая бѣлокурая и тонкая. Пахло отъ нихъ духами.

— И рѣка нравится, и лѣсъ, и деревня... — продолжала Елена Ивановна.—Я могла бы прожить тутъ всю жизнь и мнѣ кажется, здѣсь бы я выздоровѣла и нашла свое мѣсто. Мнѣ хочется, страстно хочется помогать вамъ, быть вамъ полезной, близкой. Я знаю вашу нужду, а то, чего не знаю, чувствую, угадываю сердцемъ. Я больна, слаба, и для меня, пожалуй, уже невозможно измѣнить свою жизнь, какъ я хотѣла бы. Но у меня есть дѣти, я постараюсь воспитать ихъ такъ, чтобы они привыкли къ вамъ, полюбили васъ. Я буду внушать имъ постоянно, что ихъ жизнь принадлежитъ не имъ самимъ, а вамъ. Только прошу васъ убѣдительно, умоляю, довѣряйте намъ, живите съ нами въ дружбѣ. Мой мужъ добрый, хорошій человѣкъ. Не волнуйте, не раздражайте его. Онъ чутокъ ко всякой мелочи, а вчера, напримѣръ, ваше стадо было у насъ въ огородѣ, и кто-то изъ вашихъ сломалъ плетень у насъ на пасѣкѣ, и такое отношеніе къ намъ приводитъ мужа въ отчаяніе. Прошу васъ, — продолжала она умоляющимъ голосомъ и сложила руки на груди: — прошу, относитесь къ намъ какъ добрые сосѣди, будемъ жить въ мирѣ! Сказано вѣдь, худой миръ лучше доброй ссоры, и не купи имѣніе, а купи сосѣда. Повторяю, мой мужъ добрый человѣкъ, хорошій; если все будетъ благополучно, то мы, обѣщаю вамъ, сдѣлаемъ все, что въ нашихъ силахъ; мы починимъ дороги; мы построимъ вашимъ дѣтямъ школу. Обѣщаю вамъ.

— Оно, конечно, благодаримъ покорно, барыня,—сказалъ Лычковъ-отецъ, глядя въ землю: — вы образованные, вамъ лучше знать. А только вотъ въ Ересневѣ Вороновъ, богатый мужикъ, значитъ, обѣщалъ выстроить школу, тоже говорилъ — я вамъ да я вамъ, и поставилъ только срубъ да

отказался, а мужиковъ потомъ заставили крышу класть и кончать, тысяча рублей пошла. Воронову-то ничего, онъ только бороду гладитъ, а мужичкамъ оно какъ будто обидно.

— То былъ воронъ, а теперь грачъ налетѣлъ,—сказалъ Козовъ и подмигнулъ.

Послышался смѣхъ.

— Не надо намъ школы,—проговорилъ Володька угрюмо. — Наши ребята ходятъ въ Петровское и пускай. Не желаемъ.

Елена Ивановна какъ-то оробѣла вдругъ. Она поблѣднѣла, осунулась, вся сжалась, точно къ ней прикоснулись чѣмъ-то грубымъ, и пошла, не сказавъ больше ни слова. И шла все быстрѣй и быстрѣй, не оглядываясь.

— Барыня! — позвалъ Родіонъ, идя за ней. — Барыня, погоди-ка, что̀ я тебѣ скажу.

Онъ шелъ за ней слѣдомъ, безъ шапки, и говорилъ тихо, какъ будто просилъ милостыню.

— Барыня! Погоди, что̀ я тебѣ скажу.

Вышли изъ деревни, и Елена Ивановна остановилась въ тѣни старой рябины, около чьей-то телѣги.

— Не обижайся, барыня,—сказалъ Родіонъ.—Чего тамъ! Ты потерпи. Года два потерпи. Поживешь тутъ, потерпишь, и все обойдется. Народъ у насъ хорошій, смирный... народъ ничего, какъ передъ Истиннымъ тебѣ говорю. На Козова, да на Лычковыхъ не гляди, и на Володьку не гляди, онъ у меня дурачокъ: кто первый сказалъ, того и слушаетъ. Прочіе народъ смирный, молчатъ... Иной, знаешь, радъ бы слово сказать по совѣсти, вступиться, значитъ, да не можетъ. И душа есть, и совѣсть есть, да языка въ немъ нѣтъ. Не обижайся... потерпи... Чего тамъ!

Елена Ивановна смотрѣла на широкую спокойную рѣку, о чемъ-то думала, и слезы текли у нея по щекамъ. И Родіона смущали эти слезы, онъ самъ едва не плакалъ.

— Ты ничего...—бормоталъ онъ.—Потерпи годика два. И школу можно, и дороги можно, а только не сразу... Хочешь, скажемъ къ примѣру, посѣять на этомъ бугрѣ хлѣбъ, такъ сначала выкорчуй, выбери камни всѣ, да потомъ вспаши, ходи да ходи... И съ народомъ, значитъ, такъ... ходи да ходи, пока не осилишь.

Отъ избы Родіона отдѣлилась толпа и пошла по улицѣ

въ эту сторону къ рябинѣ. Запѣли пѣсню, заиграла гармоника. И подходили все ближе и ближе...

— Мама, уѣдемъ отсюда! — сказала дѣвочка, блѣдная, прижимаясь къ матери и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Уѣдемъ, мама!

— Куда?

— Въ Москву... Уѣдемъ, мама!

Дѣвочка заплакала. Родіонъ совсѣмъ смутился, лицо у него сильно вспотѣло. Онъ вынулъ изъ кармана огурецъ, маленькій, кривой, какъ полумѣсяцъ, весь въ ржаныхъ крошкахъ, и сталъ совать его дѣвочкѣ въ руки.

— Ну, ну...—забормоталъ онъ, хмурясь сурово. — Возьми-ка-сь огурчика, покушай... Плакать не годится, маменька прибьетъ... дома отцу пожалится... Ну, ну...

Онѣ пошли дальше, а онъ все шелъ позади нихъ, желая сказать имъ что-нибудь ласковое и убѣдительное. И видя, что обѣ онѣ заняты своими мыслями и своимъ горемъ и не замѣчаютъ его, онъ остановился и, заслоняя глаза отъ солнца, смотрѣлъ имъ вслѣдъ долго, пока онѣ не скрылись въ своемъ лѣсу.

IV.

Инженеръ, повидимому, сталъ раздражителенъ, мелоченъ и въ каждомъ пустякѣ уже видѣлъ кражу или покушеніе. Ворота у него были на запорѣ даже днемъ, а ночью въ саду ходили два сторожа и стучали въ доску, и уже изъ Обручанова никого не брали на поденную. Какъ нарочно кто-то (изъ мужиковъ или босяковъ—неизвѣстно) снялъ съ телѣги новыя колеса и обмѣнилъ ихъ на старыя, потомъ, немного погодя, унесли двѣ уздечки и клещи, и даже въ деревнѣ начался ропотъ. Стали говорить, что надо бы сдѣлать обыскъ у Лычковыхъ и у Володьки, и тогда клещи и уздечки нашлись у инженера въ саду подъ заборомъ: кто-то подбросилъ.

Какъ-то шли толпой изъ лѣса, и опять по дорогѣ встрѣтился инженеръ. Онъ остановился и, не поздоровавшись, глядя сердито то на одного, то на другого, началъ:

— Я просилъ не собирать грибовъ у меня въ паркѣ и около двора, оставлять моей женѣ и дѣтямъ, но ваши дѣвушки приходятъ чуть свѣтъ, и потомъ не остается ни

одного гриба. Проси васъ или не проси, — это все равно. Просьба, и ласки, и убѣжденіе, вижу, все безполезно.

Онъ остановилъ свой негодующій взглядъ на Родіонѣ и продолжалъ:

— Я и жена относились къ вамъ, какъ къ людямъ, какъ къ равнымъ, а вы? Э, да что говорить! Кончится, вѣроятно, тѣмъ, что мы будемъ васъ презирать. Больше ничего не остается!

И, сдѣлавъ надъ собой усиліе, сдерживая свой гнѣвъ, чтобы не сказать еще чего-нибудь лишняго, онъ повернулъ и пошелъ дальше.

Придя домой, Родіонъ помолился, разулся и сѣлъ на лавку рядомъ съ женой.

— Да... — началъ онъ, отдохнувъ. — Идемъ сейчасъ, а баринъ Кучеровъ навстрѣчу... Да... дѣвокъ чуть свѣтъ видѣлъ... Отчего, говоритъ, грибовъ не несутъ... женѣ, говоритъ, и дѣтямъ. А потомъ глядитъ на меня и говоритъ: я, говоритъ, съ женой тебя призирать буду. Хотѣлъ я ему въ ноги поклониться, да сробѣлъ... Дай Богъ здоровья... Пошли имъ, Господи...

Степанида перекрестилась и вздохнула.

— Господа добрые, простоватые...—продолжалъ Родіонъ.— «Призирать будемъ...»—при всѣхъ обѣщалъ. На старости лѣтъ и... оно бы ничего... Вѣчно бы за нихъ Бога молилъ... Пошли, Царица небесная...

На Воздвиженье, 14 сентября, былъ храмовой праздникъ. Лычковы, отецъ и сынъ, еще съ утра уѣзжали на ту сторону и вернулись къ обѣду пьяные; они ходили долго по деревнѣ, то пѣли, то бранились нехорошими словами, потомъ подрались и пошли въ усадьбу жаловаться. Сначала вошелъ во дворъ Лычковъ отецъ съ длинной осиновой палкой въ рукахъ; онъ нерѣшительно остановился и снялъ шапку. Какъ разъ въ это время на террасѣ сидѣлъ инженеръ съ семьей и пилъ чай.

— Что тебѣ?—крикнулъ инженеръ.

— Ваше высокоблагородіе, баринъ...—началъ Лычковъ и заплакалъ.—Явите Божескую милость, вступитесь... Житья нѣтъ отъ сына... Разорилъ сынъ, дерется... ваше высокоблагородіе...

Вошелъ и Лычковъ-сынъ, безъ шапки, тоже съ палкой;

онъ остановился и вперилъ пьяный, безсмысленный взглядъ на террасу.

— Не мое дѣло разбирать васъ,—сказалъ инженеръ.— Ступай къ земскому или къ становому.

— Я вездѣ былъ... прошеніе подавалъ... —проговорилъ Лычковъ-отецъ и зарыдалъ.—Куда мнѣ теперь идти? Значитъ, онъ меня теперь убить можетъ? Онъ, значитъ, все можетъ? Это отца-то? Отца?

Онъ поднялъ палку и ударилъ ею сына по головѣ; тотъ поднялъ свою палку и ударилъ старика прямо по лысинѣ, такъ что палка даже подскочила. Лычковъ-отецъ даже не покачнулся и опять ударилъ сына, и опять по головѣ. И такъ стояли и все стукали другъ друга по головамъ, и это было похоже не на драку, а скорѣе на какую-то игру. А за воротами толпились мужики и бабы и молча смотрѣли во дворъ, и лица у всѣхъ были серьезныя. Это пришли мужики, чтобы поздравить съ праздникомъ, но, увидѣвъ Лычковыхъ, посовѣстились и не вошли во дворъ.

На другой день утромъ Елена Ивановна уѣхала съ дѣтьми въ Москву. И пошелъ слухъ, что инженеръ продаетъ свою усадьбу...

V.

Къ мосту давно приглядѣлись. и уже трудно было представить себѣ рѣку на этомъ мѣстѣ безъ моста. Кучи мусора, оставшіяся съ постройки, уже давно поросли травой, про босяковъ забыли, и вмѣсто «дубинушки» слышится теперь почти каждый часъ шумъ проходящаго поѣзда.

Новая дача давно продана; теперь она принадлежитъ какому-то чиновнику, который въ праздники пріѣзжаетъ сюда изъ города съ семействомъ, пьетъ на террасѣ чай и потомъ уѣзжаетъ обратно въ городъ. У него на фуражкѣ кокарда, говоритъ и кашляетъ онъ, какъ очень важный чиновникъ, хотя состоитъ только въ чинѣ коллежскаго секретаря, и когда мужики ему кланяются, то онъ не отвѣчаетъ.

Въ Обручановѣ всѣ постарѣли; Козовъ уже умеръ, у Родіона въ избѣ стало дѣтей еще больше, у Володьки выросла длинная рыжая борода. Живутъ попрежнему бѣдно.

Ранней весной обручановскіе пилятъ дрова около станціи. Вотъ они послѣ работы идутъ домой, идутъ не спѣша,

другъ за другомъ; широкія пилы гнутся на плечахъ, отсвѣчиваетъ въ нихъ солнце. Въ кустахъ по берегу поютъ соловьи, въ небѣ заливаются жаворонки. На Новой дачѣ тихо, нѣтъ ни души, и только золотые голуби, золотые оттого, что ихъ освѣщаетъ солнце, летаютъ надъ домомъ. Всѣмъ,—и Родіону, и обоимъ Лычковымъ, и Володькѣ,—вспоминаются бѣлыя лошади, маленькія пони, фейерверки, лодка съ фонарями, вспоминается, какъ жена инженера, красивая, нарядная, приходила въ деревню и такъ ласково говорила. И всего этого точно не было. Все, какъ сонъ или сказка.

Они идутъ нога за ногу, утомленные, и думаютъ...

Въ ихъ деревнѣ, думаютъ они, народъ хорошій, смирный, разумный, Бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было такъ жалко глядѣть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, какъ враги? Что это былъ за туманъ, который застилалъ отъ глазъ самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и всѣ эти мелочи, которыя теперь при воспоминаніи кажутся такимъ вздоромъ? Почему съ новымъ владѣльцемъ живутъ въ мирѣ, а съ инженеромъ не ладили?

И не зная, что̀ отвѣтить себѣ на эти вопросы, всѣ молчатъ, и только Володька что-то бормочетъ.

— Что̀ ты?—спрашиваетъ Родіонъ.

— Жили безъ моста... — говоритъ Володька мрачно. — Жили мы безъ моста и не просили... и не надо намъ.

Ему никто не отвѣчаетъ, и идутъ дальше молча, понуривъ головы.

НА ПОДВОДѢ.

Въ половинѣ девятаго утра выѣхали изъ города.

Шоссе было сухо, прекрасное апрѣльское солнце сильно грѣло, но въ канавахъ и въ лѣсу лежалъ еще снѣгъ. Зима злая, темная, длинная, была еще такъ недавно, весна пришла вдругъ, но для Марьи Васильевны, которая сидѣла теперь въ телѣгѣ, не представляли ничего новаго и интереснаго ни тепло, ни томные, согрѣтые дыханіемъ весны прозрачные лѣса, ни черныя стаи, летавшія въ полѣ надъ громадными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушелъ бы съ такою радостью. Вотъ ужъ тринадцать лѣтъ, какъ она учительницей, и не сочтешь, сколько разъ за всѣ эти годы она ѣздила въ городъ за жалованьемъ; и была ли весна, какъ теперь, или осенній вечеръ съ дождемъ, или зима, — для нея было все равно, и всегда неизмѣнно хотѣлось одного: поскорѣе бы доѣхать.

У нея было такое чувство, какъ будто она жила въ этихъ краяхъ уже давно-давно, лѣтъ сто, и казалось ей, что на всемъ пути отъ города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тутъ было ея прошлое, ея настоящее; и другого будущаго она не могла представить себѣ, какъ только школа, дорога въ городъ и обратно, и опять школа, и опять дорога...

О томъ прошломъ, какое было до ея поступленія въ учительницы, она уже отвыкла вспоминать — и почти все забыла. Когда-то были у нея отецъ и мать; жили въ Москвѣ около Красныхъ воротъ, въ большой квартирѣ, но отъ всей этой жизни осталось въ памяти что-то смутное и рас-

плывчатое, точно сонъ. Отецъ умеръ, когда ей было десять лѣтъ, потомъ скоро умерла мать... Былъ братъ офицеръ, сначала переписывались, потомъ братъ пересталъ отвѣчать на письма, отвыкъ. Отъ прежнихъ вещей сохранилась только фотографія матери, но отъ сырости въ школѣ она потускнѣла, и теперь ничего не видно, кромѣ волосъ и бровей.

Когда отъѣхали версты три, старикъ Семенъ, который правилъ лошадью, обернулся и сказалъ:

— А въ городѣ чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идетъ слухъ, въ Москвѣ съ нѣмцами городского голову Алексѣева убивалъ.

— Кто это тебѣ сказалъ?

— Въ трактирѣ Ивана Іонова въ газетахъ читали.

И опять замолчали надолго. Марья Васильевна думала о своей школѣ, о томъ, что скоро экзаменъ и она представитъ четырехъ мальчиковъ и одну дѣвочку. И какъ разъ, пока она думала объ экзаменахъ, ее обогналъ помѣщикъ Хановъ, въ коляскѣ четверкой, тотъ самый, который въ прошломъ году экзаменовалъ у нея школу. Поровнявшись, онъ узналъ ее и поклонился.

— Здравствуйте!—сказалъ онъ.—Домой изволите ѣхать?

Этотъ Хановъ, мужчина лѣтъ сорока, съ поношеннымъ лицомъ и съ вялымъ выраженіемъ, уже начиналъ замѣтно старѣть, но все еще былъ красивъ и нравился женщинамъ. Онъ жилъ въ своей большой усадьбѣ, одинъ, нигдѣ не служилъ, и про него говорили, что дома онъ ничего не дѣлалъ, а только ходилъ изъ угла въ уголъ и посвистывалъ, или игралъ въ шахматы со своимъ старымъ лакеемъ. Говорили про него также, что онъ много пилъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ прошломъ году на экзаменѣ даже отъ бумагъ, которыя онъ привезъ съ собой, пахло духами и виномъ. Тогда на немъ все было новенькое, и Марьѣ Васильевнѣ онъ очень нравился, и, сидя рядомъ съ нимъ, она все конфузилась. Она привыкла видѣть у себя экзаменаторовъ холодныхъ, разсудительныхъ, а этотъ не помнилъ ни одной молитвы и не зналъ, о чемъ спрашивать, и былъ чрезвычайно вѣжливъ и деликатенъ, и ставилъ однѣ пятерки.

— А я къ Баквисту ѣду,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Марьѣ Васильевнѣ:—но, говорятъ, его нѣтъ дома?

Съ шоссе свернули на проселочную дорогу: Хановъ впе-

реди, Семенъ за нимъ. Четверка ѣхала по дорогѣ, шагомъ, съ напряженіемъ вытаскивая изъ грязи тяжелый экипажъ. Семенъ лавировалъ, объѣзжая дорогу то по бугру, то по лугу, часто спрыгивая съ телѣги и помогая лошади. Марья Васильевна думала все о школѣ, о томъ, какая будетъ задача на экзаменѣ—трудная или легкая. И ей было досадно на земскую управу, въ которой она вчера никого не застала. Какіе безпорядки! Вотъ уже два года, какъ она проситъ, чтобы уволили сторожа, который ничего не дѣлаетъ, грубитъ ей и бьетъ учениковъ, но ея никто не слушаетъ. Предсѣдателя трудно застать въ управѣ, а если застанешь, то онъ говоритъ со слезами на глазахъ, что ему некогда; инспекторъ бываетъ въ школѣ разъ въ три года и ничего не смыслитъ въ дѣлѣ, такъ какъ раньше служилъ по акцизу и мѣсто инспектора получилъ по протекціи; училищный совѣтъ собирается очень рѣдко и неизвѣстно, гдѣ собирается; попечитель—малограмотный мужикъ, хозяинъ кожевеннаго заведенія, неуменъ, грубъ и въ большой дружбѣ со сторожемъ, — и Богъ знаетъ, къ кому обращаться съ жалобами и за справками...

«Онъ въ самомъ дѣлѣ красивъ»,—подумала она, взглянувъ на Ханова.

А дорога все хуже и хуже... Въѣхали въ лѣсъ. Тутъ ужъ сворачивать негдѣ, колеи глубокія, и въ нихъ льется и журчитъ вода. И колючія вѣтви бьютъ по лицу.

— Какова дорога? — спросилъ Хановъ и засмѣялся.

Учительница смотрѣла на него и не понимала: зачѣмъ этотъ чудакъ живетъ здѣсь? Что могутъ дать ему въ этой глуши, въ грязи, въ скукѣ его деньги, интересная наружность, тонкая воспитанность? Онъ не получаетъ никакихъ преимуществъ отъ жизни и вотъ такъ же, какъ Семенъ, ѣдетъ шагомъ, по отвратительной дорогѣ, и терпитъ такія же неудобства. Зачѣмъ жить здѣсь, если есть возможность жить въ Петербургѣ, за границей? И казалось бы, что стоитъ ему, богатому человѣку, изъ этой дурной дороги сдѣлать хорошую, чтобы не мучиться такъ и не видѣть этого отчаянія, какое написано на лицахъ у кучера и Семена; но онъ только смѣется, и, повидимому, для него все равно и лучшей жизни ему не нужно. Онъ добръ, мягокъ, наивенъ, не понимаетъ этой грубой жизни, не знаетъ ея такъ же, какъ на экзаменѣ не зналъ молитвъ. Жерт-

вуетъ онъ въ школы одни только глобусы и искренно считаетъ себя полезнымъ человѣкомъ и виднымъ дѣятелемъ по народному образованію. А кому нужны тутъ его глобусы!

— Держись, Васильевна! — сказалъ Семенъ.

Телѣга сильно накренилась—сейчасъ упадетъ; на ноги Марьи Васильевны навалилось что-то тяжелое—это ея покупки. Крутой подъемъ на гору, по глинѣ; тутъ въ извилистыхъ канавахъ текутъ съ шумомъ ручьи, вода точно изгрызла дорогу—и ужъ какъ тутъ ѣхать! Лошади храпятъ. Хановъ вылѣзъ изъ коляски и идетъ по краю дороги въ своемъ длинномъ пальто. Ему жарко.

— Какова дорога?—сказалъ онъ опять и засмѣялся. — Этакъ экипажъ сломать недолго.

— А кто жъ вамъ велитъ въ такую погоду ѣздить! — проговорилъ Семенъ сурово.—И сидѣли бы дома.

— Дома, дѣдъ, скучно. Я не люблю дома сидѣть.

Около стараго Семена онъ казался стройнымъ, бодрымъ, но въ походкѣ его было что-то такое, едва замѣтное, что̀ выдавало въ немъ существо уже отравленное, слабое, близкое къ гибели. И точно въ лѣсу вдругъ запахло виномъ. Марьѣ Васильевнѣ стало страшно и стало жаль этого человѣка, погибающаго неизвѣстно для чего и почему, и ей пришло на мысль, что если бы она была его женой или сестрой, то всю свою жизнь, кажется, отдала бы за то, чтобы спасти его отъ гибели. Быть женой? Жизнь устроена такъ, что вотъ онъ живетъ у себя въ большой усадьбѣ одинъ, она живетъ въ глухой деревнѣ одна, но почему-то даже мысль о томъ, что онъ и она могли бы быть близки и равны, кажется невозможной, нелѣпой. Въ сущности вся жизнь устроена и человѣческія отношенія осложнились до такой степени непонятно, что, какъ подумаешь, дѣлается жу̀тко и замираетъ сердце.

«И непонятно,—думала она:—зачѣмъ красоту, эту привѣтливость, грустные, милые глаза Богъ даетъ слабымъ, несчастнымъ, безполезнымъ людямъ, зачѣмъ они такъ нравятся».

— Здѣсь намъ поворачивать вправо,—сказалъ Хановъ, садясь въ коляску.—Прощайте! Всего хорошаго!

И опять она думала о своихъ ученикахъ, объ экзаменѣ, о сторожѣ, объ училищномъ совѣтѣ; и когда вѣтеръ доносилъ справа шумъ удалявшейся коляски, то эти мысли

мѣшались съ другими. Хотѣлось думать о красивыхъ глазахъ, о любви, о томъ счастьи, какого никогда не будетъ...

Быть женой? Утромъ холодно, топить печи некому, сторожъ ушелъ куда-то; ученики поприходили чуть-свѣтъ, нанесли снѣгу и грязи, шумятъ; все такъ неудобно, неуютно. Квартира изъ одной комнатки, тутъ же и кухня. Послѣ занятій каждый день болитъ голова, послѣ обѣда жжетъ подъ сердцемъ. Нужно собирать съ учениковъ деньги на дрова, на сторожа и отдавать ихъ попечителю, и потомъ умолять его, этого сытаго, наглаго мужика, чтобы онъ, ради Бога, прислалъ дровъ. А ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И отъ такой жизни она постарѣла, огрубѣла, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее налили свинцомъ, и всего она боится, и въ присутствіи члена управы или попечителя школы она встаетъ, не осмѣливается сѣсть и, когда говоритъ про кого-нибудь изъ нихъ, то выражается почтительно: «они». И никому она не нравится, и жизнь проходитъ скучно, безъ ласки, безъ дружескаго участія, безъ интересныхъ знакомыхъ. Въ ея положеніи какой бы это былъ ужасъ, если бы она влюбилась!

— Держись, Васильевна!

Опять крутой подъемъ на гору...

Въ учительницы она пошла изъ нужды, не чувствуя никакого призванія; и никогда она не думала о призваніи, о пользѣ просвѣщенія, и всегда ей казалось, что самое главное въ ея дѣлѣ не ученики и не просвѣщеніе, а экзамены. И когда тутъ думать о призваніи, о пользѣ просвѣщенія? Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадномъ трудѣ не имѣютъ даже утѣшенія думать, что они служатъ идеѣ, народу, такъ какъ все время голова бываетъ набита мыслями о кускѣ хлѣба, о дровахъ, плохихъ дорогахъ, болѣзняхъ. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили ее подолгу только молчаливые ломовые кони, въ родѣ этой Марьи Васильевны; тѣ же живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своемъ призваніи, объ идейномъ служеніи, скоро утомлялись и бросали дѣло.

Семенъ выбиралъ, какъ бы проѣхать посуше и поближе, гдѣ лугомъ, гдѣ задами; но тамъ, гляди, мужики не пускаютъ, тамъ попова земля, нѣтъ проѣзда, тамъ Иванъ Іоновъ ку-

пилъ у барина участокъ и окопалъ его канавой. То и дѣло поворачивали назадъ.

Пріѣхали въ Нижнее Городище. Около трактира, на унавоженной землѣ, подъ которой былъ еще снѣгъ, стояли подводы: везли большія бутылки съ купоросным масломъ. Въ трактирѣ было много народа, все извозчики, и пахло тутъ водкой, табакомъ и овчиной. Шелъ громкій разговоръ, хлопали дверью на блокѣ. За стѣной въ лавочкѣ, не умолкая ни на минуту, играли на гармоникѣ. Марья Васильевна сидѣла и пила чай, а за сосѣднимъ столомъ мужики, распаренные чаемъ и трактирной духотой, пили водку и пиво.

— Слышь, Кузьма!—раздавались безпорядочно голоса.— Чего тамъ! Господи благослови! Иванъ Дементьичъ, я это тебѣ могу! Сватъ, гляди!

Мужикъ маленькаго роста, съ черной бородкой, рябой, уже давно пьяный, вдругъ удивился чему-то и нехорошо выбранился.

— Чего ругаешься тамъ? Ты! — отозвался сердито Семенъ, сидѣвшій далеко въ сторонѣ. — Нешто не видишь: барышня!

— Барышня...—передразнилъ кто-то въ другомъ углу.

— Ворона свинячая!

— Мы ничего...—сконфузился маленькій мужикъ.—Извините. Мы, стало-быть, за свои деньги, а барышня за свои... Здравствуйте!

— Здравствуй,—отвѣтила учительница.

— И чувствительно васъ благодаримъ.

Марья Васильевна пила чай съ удовольствіемъ и сама становилась красной, какъ мужики, и думала опять о дровахъ, о сторожѣ...

— Сватъ, погоди!—доносилось съ сосѣдняго стола.—Учительша изъ Вязовья... знаемъ! Барышня хорошая.

— Порядочная!

Дверь на блокѣ все хлопала, одни входили, другіе выходили. Марья Васильевна сидѣла и думала все про то же, а гармоника за стѣной все играла и играла. Солнечныя пятна были на полу, потомъ перешли на прилавокъ, на стѣну и совсѣмъ исчезли; значитъ, солнце уже склонилось за полдень. Мужики за сосѣднимъ столомъ стали собираться въ путь. Маленькій мужикъ, слегка пошатываясь

подошелъ къ Марьѣ Васильевнѣ и подалъ ей руку; глядя на него, и другіе тоже подали руку на прощанье и вышли одинъ за другимъ, и дверь на блокѣ провизжала и хлопнула девять разъ.

— Васильевна, собирайся!—окликнулъ Семенъ.

Поѣхали. И опять все шагомъ.

— Недавнушко школу строили тутъ, въ ихнемъ Нижнемъ Городищѣ,—сказалъ Семенъ, оборачиваясь.—Грѣха-то что было!

— А что̀?

— Будто предсѣдатель себѣ въ карманъ тысячу, и попечитель тоже тысячу, и учитель пятьсотъ.

— Вся-то школа стоитъ тысячу. Нехорошо на людей клеветать, дѣдъ. Это все вздоръ.

— Я не знаю... Что̀ народъ, то и я.

Но было ясно, что Семенъ не вѣрилъ учительницѣ. Ей крестьяне не вѣрили; они всегда такъ думали, что она получаетъ слишкомъ большое жалованье — двадцать одинъ рубль въ мѣсяцъ (было бы довольно и пяти), и что изъ тѣхъ денегъ, которыя она собирала съ учениковъ на дрова и на сторожа, бо̀льшую часть она оставляла себѣ. Попечитель думалъ такъ же, какъ всѣ мужики, и самъ кое-что наживалъ съ дровъ и за свое попечительство получалъ съ мужиковъ жалованье, тайно отъ начальства.

Лѣсъ, слава Богу, кончился, и теперь до самаго Вязовья будетъ ровное поле. И осталось уже немного: переѣхать рѣку, потомъ желѣзнодорожную линію, а тамъ и Вязовье.

— Куда же ты ѣдешь?—спросила Марья Васильевна у Семена.—Поѣзжай правой дорогой на мостъ.

— Чего? И тутъ проѣдемъ. Глыбина, не очень что̀бъ.

— Смотри, какъ бы намъ лошадь не утопить.

— Чего?

— Вотъ и Хановъ поѣхалъ на мостъ,—сказала Марья Васильевна, увидѣвъ далеко вправо четверку. — Это, кажется, онъ ѣдетъ?

— О-онъ. Должно не засталъ Баквиста. Экой дуроло̀мъ, Господи помилуй, туда поѣхалъ, и зачѣмъ, тутъ на цѣльныхъ три версты ближе.

Подъѣхали къ рѣкѣ. Лѣтомъ это была мелкая рѣчушка, которую легко переходили въ бродъ и которая обыкновенно

пересыхала къ августу, теперь же, послѣ половодья, это была рѣка саженей въ шесть ширины, быстрая, мутная, холодная; на берегу и у самой воды видны были свѣжія колеи,—значитъ, здѣсь проѣзжали.

— Впередъ!—крикнулъ Семенъ сердито и съ тревогой, сильно дергая за вожжи и взмахивая локтями, какъ птица крыльями.—Впередъ.

Лошадь вошла въ воду по брюхо и остановилась, но тотчасъ же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала въ ногахъ рѣзкій холодъ.

— Впередъ!—закричала и она, поднимаясь.—Впередъ!

Выѣхали на берегъ.

— И что̀ оно такое, это самое, Господи, — бормоталъ Семенъ, поправляя сбрую. — Чистое наказаніе съ эстимъ земствомъ...

Калоши и башмаки были полны воды, низъ платья и шубки и одинъ рукавъ были мокры, и текло съ нихъ; сахаръ и мука оказались подмоченными—и это было обиднѣе всего, и съ отчаянія Марья Васильевна только всплескивала руками и говорила:

— Ахъ, Семенъ, Семенъ!.. Какой же ты, право!..

На желѣзнодорожномъ переѣздѣ былъ опущенъ шлагбаумъ: со станціи шелъ курьерскій поѣздъ. Марья Васильевна стояла у переѣзда и ждала, когда онъ пройдетъ, и дрожала всѣмъ тѣломъ отъ холода. Было уже видно Вязовье—и школу съ зеленой крышей, и церковь, у которой горѣли кресты, отражая вечернее солнце; и окна на станціи тоже горѣли, и изъ локомотива шелъ розовый дымъ... И ей казалось, что все дрожитъ отъ холода.

Вотъ онъ—поѣздъ; окна отливали яркимъ свѣтомъ, какъ кресты на церкви, больно было смотрѣть. На площадкѣ одного изъ вагоновъ перваго класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мелькомъ: мать! Какое сходство! У матери были такіе же пышные волосы, такой же точно лобъ, наклонъ головы. И она живо, съ поразительной ясностью, въ первый разъ за всѣ эти тридцать лѣтъ, представила себѣ мать, отца, брата, квартиру въ Москвѣ, акваріумъ съ рыбками и все до послѣдней мелочи, услышала вдругъ игру на роялѣ, голосъ отца, почувствовала себя, какъ тогда, молодой, красивой, нарядной, въ свѣтлой, теплой комнатѣ, въ кругу родныхъ; чувство радости и счастья

вдругъ охватило ее, отъ восторга она сжала себѣ виски ладонями и окликнула нѣжно, съ мольбой:

— Мама!

И заплакала, неизвѣстно отчего. Въ это время какъ разъ подъѣзжалъ на четверкѣ Хановъ, и она, видя его, вообразила счастье, какого никогда не было, и улыбалась, кивала ему головой, какъ равная и близкая, и казалось ей, что и на небѣ, и всюду въ окнахъ, и на деревьяхъ свѣтится ея счастье, ея торжество. Да, никогда не умирали ея отецъ и мать, никогда она не была учительницей, то былъ длинный, тяжелый, странный сонъ, а теперь она проснулась...

— Васильевна, садись!

И вдругъ все исчезло. Шлагбаумъ медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченѣя отъ холода, сѣла въ телѣгу. Четверка переѣхала линію, за ней Семенъ. Сторожъ на переѣздѣ снялъ шапку.

— А вотъ и Вязовье. Пріѣхали.

МУЖИКИ.

I.

Лакей при московской гостиницѣ «Славянскій Базаръ», Николай Чикильдѣевъ, заболѣлъ. У него онѣмѣли ноги и измѣнилась походка, такъ что однажды, идя по коридору, онъ споткнулся и упалъ вмѣстѣ съ подносомъ, на которомъ была ветчина съ горошкомъ. Пришлось оставить мѣсто. Какія были деньги, свои и женины, онъ пролѣчилъ, кормиться было уже не на что, стало скучно безъ дѣла, и онъ рѣшилъ, что, должно-быть, надо ѣхать къ себѣ домой, въ деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и не даромъ говорится: дома стѣны помогаютъ.

Пріѣхалъ онъ въ свое Жуково подъ вечеръ. Въ воспоминаніяхъ дѣтства родное гнѣздо представлялось ему свѣтлымъ, уютнымъ, удобнымъ, теперь же, войдя въ избу, онъ даже испугался: такъ было темно, тѣсно и нечисто. Пріѣхавшія съ нимъ жена Ольга и дочь Саша съ недоумѣніемъ поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не полъ-избы, темную отъ копоти и мухъ. Сколько мухъ! Печь покосилась, бревна въ стѣнахъ лежали криво, и казалось, что изба сію минуту развалится. Въ переднемъ углу, возлѣ иконъ, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги—это вмѣсто картинъ. Бѣдность, бѣдность! Изъ взрослыхъ никого не было дома, всѣ жали. На печи сидѣла дѣвочка лѣтъ восьми, бѣлоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедшихъ. Внизу тёрлась о рогачъ бѣлая кошка.

— Кисъ, кисъ! — поманила ее Саша. — Кисъ!

— Она у насъ не слышитъ,—сказала дѣвочка.—Оглохла.

— Отчего?

— Такъ. Побили.

Николай и Ольга съ перваго взгляда поняли, какая тутъ жизнь, но ничего не сказали другъ другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Ихъ изба была третья съ краю и казалась самою бѣдною, самою старою на видъ; вторая—не лучше, зато у крайней—желѣзная крыша и занавѣски на окнахъ. Эта изба, неогороженная, стояла особнякомъ и въ ней былъ трактиръ. Избы шли въ одинъ рядъ, и вся деревушка, тихая и задумчивая, съ глядѣвшими изъ дворовъ ивами, бузиной и рябиной, имѣла пріятный видъ.

За крестьянскими усадьбами начинался спускъ къ рѣкѣ крутой и обрывистый, такъ что въ глинѣ, тамъ-и-сямъ, обнажились громадные камни. По скату, около этихъ камней и ямъ, вырытыхъ гончарами, вились тропинки, цѣлыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а тамъ внизу разстилался широкій, ровный, ярко-зеленый лугъ, уже скошенный, на которомъ теперь гуляло крестьянское стадо. Рѣка была въ верстѣ отъ деревни, извилистая, съ чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкій лугъ, стадо, длинныя вереницы бѣлыхъ гусей, потомъ такъ же, какъ на этой сторонѣ, крутой подъемъ на гору, а вверху, на горѣ, село съ пятиглавою церковью и немного поодаль господскій домъ.

— Хорошо у васъ здѣсь! — сказала Ольга, крестясь на церковь. — Раздолье, Господи!

Какъ разъ въ это время ударили ко всенощной (былъ канунъ воскресенья). Двѣ маленькія дѣвочки, которыя внизу тащили ведро съ водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звонъ.

— Объ эту пору въ «Славянскомъ базарѣ» обѣды... — проговорилъ Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видѣли, какъ заходило солнце, какъ небо, золотое и багровое, отражалось въ рѣкѣ, въ окнахъ храма и во всемъ воздухѣ, нѣжномъ, покойномъ, невыразимо-чистомъ, какого никогда не бываетъ въ Москвѣ. А когда солнце сѣло, съ блеяньемъ и ревомъ прошло стадо, прилетѣли съ той стороны гуси, — и все смолкло, тихій свѣтъ погасъ въ воздухѣ и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тѣмъ вернулись старики, отецъ и мать Николая, тощіе, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы — невѣстки, Марья и Ѳекла, работавшія за рѣкой у помѣщика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро дѣтей, у Ѳеклы, жены брата Дениса, ушедшаго въ солдаты,—двое; и когда Николай, войдя въ избу, увидѣлъ все семейство, всѣ эти большія и маленькія тѣла, которыя шевелились на полатяхъ, въ люлькахъ и во всѣхъ углахъ, и когда увидѣлъ, съ какою жадностью старикъ и бабы ѣли черный хлѣбъ, макая его въ воду, то сообразилъ, что напрасно онъ сюда пріѣхалъ, больной, безъ денегъ да еще съ семьей, — напрасно!

— А гдѣ братъ Кирьякъ? — спросилъ онъ, когда поздоровались.

— У купца въ сторожахъ живетъ, — отвѣтилъ отецъ: — въ лѣсу. Мужикъ бы ничего, да заливаетъ шибко.

— Не добычикъ!—проговорила старуха слезливо. — Мужики наши горькіе, не въ домъ несутъ, а изъ дому. И Кирьякъ пьетъ, и старикъ тоже, грѣха таить нечего, знаетъ въ трактиръ дорогу. Прогнѣвалась Царица Небесная.

По случаю гостей поставили самоваръ. Отъ чая пахло рыбой, сахаръ былъ огрызанный и сѣрый; по хлѣбу и посудѣ сновали тараканы; было противно пить, и разговоръ былъ противный — все о нуждѣ да о болѣзняхъ. Но не успѣли выпить и по чашкѣ, какъ со двора донесся громкій, протяжный пьяный крикъ:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьякъ идетъ,—сказалъ старикъ: — легокъ на поминѣ.

Всѣ притихли. И немного погодя, опять тотъ же крикъ, грубый и протяжный, точно изъ-подъ земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невѣстка, поблѣднѣла, прижалась къ печи, и какъ-то странно было видѣть на лицѣ у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выраженіе испуга. Ея дочь, та самая дѣвочка, которая сидѣла на печи и казалась равнодушною, вдругъ громко заплакала.

— А ты чего, холера?—крикнула на нее Ѳекла, красивая баба, тоже сильная и широкая въ плечахъ. — Небось, не убьетъ!

Отъ старика Николай узналъ, что Марья боялась жить

въ лѣсу съ Кирьякомъ и что онъ, когда бывалъ пьянъ, приходилъ всякій разъ за ней и при этомъ шумѣлъ и билъ ее безъ пощады.

— Ма-арья!—раздался крикъ у самой двери.

— Вступитесь Христа-ради, родименькіе, — залепетала Марья, дыша такъ, точно ее опускали въ очень холодную воду: — вступитесь, родименькіе...

Заплакали всѣ дѣти, сколько ихъ было въ избѣ, и, глядя на нихъ, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и въ избу вошелъ высокій, чернобородый мужикъ въ зимней шапкѣ и оттого, что при тускломъ свѣтѣ лампочки не было видно его лица, — страшный. Это былъ Кирьякъ. Подойдя къ женѣ, онъ размахнулся и ударилъ ее кулакомъ по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударомъ, и только присѣла, и тотчасъ же у нея изъ носа пошла кровь.

— Экой срамъ-то, срамъ,—бормоталъ старикъ, полѣзая на печь:—при гостяхъ-то! Грѣхъ какой!

А старуха сидѣла молча, сгорбившись, и о чемъ-то думала; Ѳекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшнымъ и довольный этимъ, Кирьякъ схватилъ Марью за руку, потащилъ ее къ двери и зарычалъ звѣремъ, чтобы казаться еще страшнѣе, но въ это время вдругъ увидѣлъ гостей и остановился.

— А, пріѣхали... — проговорилъ онъ, выпуская жену.— Родной братецъ съ семействомъ...

Онъ помолился на образъ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжалъ:

— Братецъ съ семействомъ пріѣхали въ родительскій домъ... изъ Москвы, значитъ. Первопрестольный, значитъ, градъ Москва, матерь городовъ... Извините...

Онъ опустился на скамью около самовара и сталъ пить чай, громко хлебая изъ блюдечка, при общемъ молчаніи... Выпилъ чашекъ десять, потомъ склонился на скамью и захрапѣлъ.

Стали ложиться спать. Николая, какъ больного, положили на печи со старикомъ; Саша легла на полу, а Ольга пошла съ бабами въ сарай.

— И-и, касатка,—говорила она, ложась на сѣнѣ рядомъ съ Марьей:—слезами горю не поможешь! Терпи и все тутъ.

Въ Писаніи сказано: аще кто ударитъ тебя въ правую щеку, подставь ему лѣвую... И-и, касатка!

Потомъ она вполголоса, нарасхлѣвъ, разсказывала про Москву, про свою жизнь, какъ она служила горничной въ меблированныхъ комнатахъ.

— А въ Москвѣ дома большіе, каменные, — говорила она: — церквей много-много, сорокъ сороковъ, касатка, а въ домахъ все господа, да такіе красивые, да такіе приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только въ Москвѣ, но даже въ своемъ уѣздномъ городѣ; она была неграмотна, не знала никакихъ молитвъ, не знала даже «Отче нашъ». Она и другая невѣстка, Ѳекла, которая теперь сидѣла поодаль и слушала,—обѣ были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обѣ не любили своихъ мужей; Марья боялась Кирьяка, и, когда онъ оставался съ нею, то она тряслась отъ страха и возлѣ него всякій разъ угорала, такъ какъ отъ него сильно пахло водкой и табакомъ. А Ѳекла, на вопросъ, не скучно ли ей безъ мужа, отвѣтила съ досадой:

— А ну, его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно и около сарая во все горло кричалъ пѣтухъ, мѣшая спать. Когда синеватый, утренній свѣтъ уже пробивался во всѣ щели, Ѳекла потихоньку встала и вышла, и потомъ слышно было, какъ она побѣжала куда-то, стуча босыми ногами.

II.

Ольга пошла въ церковь и взяла съ собою Марью. Когда онѣ спускались по тропинкѣ къ лугу, обѣимъ было весело. Ольгѣ нравилось раздолье, а Марья чувствовала въ невѣсткѣ близкаго, родного человѣка. Восходило солнце. Низко надъ лугомъ носился сонный ястребъ, рѣка была пасмурна, бродилъ туманъ кое-гдѣ, но по ту сторону на горѣ уже протянулась полоса свѣта, церковь сіяла и въ господскомъ саду неистово кричали грачи.

— Старикъ ничего, — разсказывала Марья: — а бабка строгая, дерется все. Своего хлѣба хватило до масленой, покупаемъ муку въ трактирѣ, — ну, она серчаетъ; много, говоритъ, ѣдите.

— И-и, касатка! Терпи и все тутъ. Сказано: пріидите всѣ труждающіе и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспѣвъ, и походка у нея была, какъ у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала Евангеліе, читала вслухъ, по-дьячковски, и многаго не понимала, но святыя слова трогали ее до слезъ, и такія слова, какъ «аще» и «дондеже», она произносила со сладкимъ замираніемъ сердца. Она вѣрила въ Бога, въ Божію Матерь, въ угодниковъ; вѣрила, что нельзя обижать никого на свѣтѣ, — ни простыхъ людей, ни нѣмцевъ, ни цыганъ, ни евреевъ, и что горе даже тѣмъ, кто не жалѣетъ животныхъ; вѣрила, что такъ написано въ святыхъ книгахъ, и потому, когда она произносила слова изъ Писанія, даже непонятныя, то лицо у нея становилось жалостливымъ, умиленнымъ и свѣтлымъ.

— Ты откуда родомъ?—спросила Марья.

— Я владимірская. А только я взята въ Москву уже давно, восьми годочковъ.

Подошли къ рѣкѣ. На той сторонѣ у самой воды стояла какая-то женщина и раздѣвалась.

— Это наша Ѳекла,—узнала Марья: — за рѣку на барскій дворъ ходила. Къ приказчикамъ. Озорная и ругательная — страсть!

Ѳекла, чернобровая, съ распущенными волосами, молодая еще и крѣпкая, какъ дѣвушка, бросилась съ берега и застучала по водѣ ногами, и во всѣ стороны отъ нея пошли волны.

— Озорная — страсть! — повторила Марья.

Черезъ рѣку были положены шаткія бревенчатыя лавы, и какъ разъ подъ ними, въ чистой, прозрачной водѣ, ходили стаи широколобыхъ голавлей. На зеленыхъ кустахъ, которые смотрѣлись въ воду, сверкала роса. Повѣяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вѣроятно, какая была бы прекрасная жизнь на этомъ свѣтѣ, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, отъ которой нигдѣ не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, какъ живо вспоминалось все вчерашнее—и очарованіе счастья, какое чудилось кругомъ, исчезло въ одно мгновеніе.

Пришли въ церковь. Марья остановилась у входа и не посмѣла идти дальше. И сѣсть не посмѣла, хотя къ обѣднѣ

заблаговѣстили только въ девятомъ часу. Такъ и стояла все время.

Когда читали Евангеліе, народъ вдругъ задвигался, давая дорогу помѣщичьей семьѣ; вошли двѣ дѣвушки въ бѣлыхъ платьяхъ, въ широкополыхъ шляпахъ, и съ ними полный, розовый мальчикъ въ матросскомъ костюмѣ. Ихъ появленіе растрогало Ольгу; она съ перваго взгляда рѣшила, что это—порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядѣла на нихъ исподлобья, угрюмо, уныло, какъ будто это вошли не люди, а чудовища, которыя могли бы раздавить ее, если бъ она не посторонилась.

А когда дьяконъ возглашалъ что-нибудь басомъ, то ей всякій разъ чудился крикъ: «Ма-арья!» — и она вздрагивала.

III.

Въ деревнѣ узнали о пріѣздѣ гостей, и уже послѣ обѣдни въ избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвѣичевы, и Ильичовы узнать про своихъ родственниковъ, служившихъ въ Москвѣ. Всѣхъ жуковскихъ ребятъ, которые знали грамотѣ, отвозили въ Москву и отдавали тамъ только въ официанты и коридорные (какъ изъ села, что по ту сторону, отдавали только въ булочники), и такъ повелось давно, еще въ крѣпостное право, когда какой-то Лука Иванычъ, жуковскій крестьянинъ, теперь уже легендарный, служившій буфетчикомъ въ одномъ изъ московскихъ клубовъ, принималъ къ себѣ на службу только своихъ земляковъ, а эти, входя въ силу, выписывали своихъ родственниковъ и опредѣляли ихъ въ трактиры и рестораны; и съ того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестныхъ жителей, какъ Хамская или Холуевка. Николая отвезли въ Москву, когда ему было одиннадцать лѣтъ, и опредѣлялъ его на мѣсто Иванъ Макарычъ, изъ семьи Матвѣичевыхъ, служившій тогда капельдинеромъ въ саду «Эрмитажъ». И теперь, обращаясь къ Матвѣичевымъ, Николай говорилъ наставительно:

— Иванъ Макарычъ—мой благодѣтель, и я обязанъ за него Бога молить денно и нощно, такъ какъ я черезъ него сталъ хорошимъ человѣкомъ.

— Батюшка ты мой, — проговорила слезливо высокая

старуха, сестра Ивана Макарыча: — и ничего про нихъ, голубчика, не слыхать.

— Зимой служилъ онъ у Омона, а въ нынѣшній сезонъ, былъ слухъ, гдѣ-то за городомъ, въ садахъ... Постарѣлъ! Прежде, случалось, лѣтнимъ дѣломъ, приносилъ домой рублей по десять въ день, а теперь повсемѣстно дѣла стали тихія, мается старичокъ.

Старухи и бабы глядѣли на ноги Николая, обутыя въ валенки, и на его блѣдное лицо, и говорили печально:

— Не добычикъ ты, Николай Осипычъ, не добычикъ! Гдѣ ужъ!

И всѣ ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лѣтъ, но она была мала ростомъ, очень худа, и на видъ ей можно было дать лѣтъ семь, не больше. Среди другихъ дѣвочекъ, загорѣвшихъ, дурно остриженныхъ, одѣтыхъ въ длинныя полинялыя рубахи, она, бѣленькая, съ большими, темными глазами, съ красною ленточкой въ волосахъ, казалась забавною, точно это былъ звѣрекъ, котораго поймали въ полѣ и принесли въ избу.

— Она у меня и читать можетъ! — похвалилась Ольга, нѣжно глядя на свою дочь.—Почитай, дѣтка!—сказала она, доставая изъ угла Евангеліе.—Ты почитай, а православные послушаютъ.

Евангеліе было старое, тяжелое, въ кожаномъ переплетѣ, съ захватанными краями, и отъ него запахло такъ, будто въ избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспѣвъ:

— «Отшедшимъ же имъ, се Ангелъ Господень... во снѣ явился Іосифу, глаголя: «воставъ поими Отроча и Матерь Его»...

— Отроча и Матерь Его,—повторила Ольга и вся раскраснѣлась отъ волненія.

— «И бѣжи во Египетъ... и буди тамо, дондеже реку ти...»

При словѣ «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потомъ сестра Ивана Макарыча. Старикъ закашлялся и засуетился, чтобы дать внучкѣ гостинца, но ничего не нашелъ и только махнулъ рукой. И когда чтеніе кончилось, сосѣди разошлись по домамъ, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома.

Старуха, которую и мужъ, и невѣстки, и внуки, всѣ одинаково называли бабкой, старалась все дѣлать сама; сама топила печь и ставила самоваръ, сама даже ходила наполдень и потомъ роптала, что ее замучили работой. И все она безпокоилась, какъ бы кто не съѣлъ лишняго куска, какъ бы старикъ и невѣстки не сидѣли безъ работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идутъ задами на ея огородъ, и она выбѣгала изъ избы съ длинною палкой и потомъ съ полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, какъ она сама; то ей казалось, что ворона подбирается къ цыплятамъ, и она съ бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она отъ утра до вечера и часто поднимала такой крикъ, что на улицѣ останавливались прохожіе.

Со своимъ старикомъ она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это былъ неосновательный, ненадежный мужикъ и, быть-можетъ, если бы она не понукала его постоянно, то онъ не работалъ бы вовсе, а только сидѣлъ бы на печи да разговаривалъ. Онъ подолгу разсказывалъ сыну про какихъ-то своихъ враговъ, жаловался на обиды, которыя онъ будто бы терпѣлъ каждый день отъ сосѣдей, и было скучно его слушать.

— Да, — разсказывалъ онъ, взявшись за бока. — Да... Послѣ Воздвиженія черезъ недѣлю продалъ я сѣно по тридцать копеекъ за пудъ, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значитъ, везу я утромъ сѣно добровольно, никого не трогаю; въ недобрый часъ, гляжу—выходитъ изъ трактира староста Антипъ Сѣдельниковъ. «Куда везешь, такой сякой?» — и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болѣла голова съ похмелья, и ему было стыдно передъ братомъ.

— Водка-то что дѣлаетъ. Ахъ, ты, Боже мой! — бормоталъ онъ, встряхивая своею больною головой. — Ужъ вы, братецъ и сестрица, простите Христа ради, самъ не радъ.

По случаю праздника купили въ трактирѣ селёдку и варили похлёбку изъ селёдочной головки. Въ полдень всѣ сѣли пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли отъ чая, и уже послѣ этого стали ѣсть похлёбку, всѣ изъ одного горшка. А селёдку бабка спрятала.

Вечеромъ гончаръ на обрывѣ жегъ горшки. Внизу на лугу дѣвушки водили хороводъ и пѣли. Играли на гармо-

пикѣ. И на зарѣчной сторонѣ тоже горѣла одна печь и пѣли дѣвушки, и издали это пѣніе казалось стройнымъ и нѣжнымъ. Въ трактирѣ и около шумѣли мужики; они пѣли пьяными голосами, всѣ врозь, и бранились такъ, что Ольга только вздрагивала и говорила:

— Ахъ, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно, и что громче и дольше всѣхъ бранились старики, которымъ пора уже умирать. А дѣти и дѣвушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли къ ней съ колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здѣсь и на той сторонѣ, а внизу на лугу и въ трактирѣ все еще гуляли. Старикъ и Кирьякъ, пьяные, взявшись за руки, толкая другъ друга плечами, подошли къ сараю, гдѣ лежали Ольга и Марья.

— Оставь, — убѣждалъ старикъ: — оставь... Она баба смирная... Грѣхъ...

— Ма-арья! — крикнулъ Кирьякъ.

— Оставь... Грѣхъ... Она баба ничего.

Оба постояли съ минуту около сарая и пошли.

— Лю-эблю я цвѣты полевы-и!—запѣлъ вдругъ старикъ высокимъ, пронзительнымъ теноромъ.—Лю-эблю по лугамъ собирать!

Потомъ сплюнулъ, нехорошо выбранился и пошелъ въ избу.

IV.

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Былъ жаркій августовскій день. Гуси трактирщика могли пробраться къ огороду задами, но они теперь были заняты дѣломъ, подбирали овесъ около трактира, мирно разговаривая, и только гусакъ поднималъ высоко голову, какъ бы желая посмотрѣть, не идетъ ли старуха съ палкой; другіе гуси могли придти снизу, но эти теперь паслись далеко за рѣкой, протянувшись по лугу длинной бѣлой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идутъ, отошла къ обрыву.

Тамъ она увидала старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадномъ камнѣ и глядѣла на церковь. Марья рожала тринадцать разъ, но осталось у нея

только шестеро и всѣ — дѣвочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лѣтъ. Мотька, босая, въ длинной рубахѣ, стояла на припёкѣ, солнце жгло ей прямо въ темя, но она не замѣчала этого и точно окаменѣла. Саша стала съ нею рядомъ и сказала, глядя на церковь:

— Въ церкви Богъ живетъ. У людей горятъ лампы да свѣчи, а у Бога лампадки красненькія, зелененькія, синенькія, какъ глазочки. Ночью Богъ ходитъ по церкви, и съ нимъ Пресвятая Богородица и Николай угодничекъ — тупъ, тупъ, тупъ... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка, — добавила она, подражая своей матери.— А когда будетъ свѣтопреставленіе, то всѣ церкви унесутся на небо.

— Съ ко-ло-ко-ла-ми?—спросила Мотька басомъ, растягивая каждый слогъ.

— Съ колоколами. А когда свѣтопреставленіе, добрые пойдутъ въ рай, а сердитые будутъ горѣть въ огнѣ вѣчно и неугасимо, касатка. Моей мамѣ и тоже Марьѣ Богъ скажетъ: вы никого не обижали и за это идите направо, въ рай; а Кирьяку и бабкѣ скажетъ: а вы идите налѣво, въ огонь. И кто скоромное ѣлъ, того тоже въ огонь.

Она посмотрѣла вверхъ на небо, широко раскрывъ глаза, и сказала:

— Гляди на небо, не мигай, — ангеловъ видать.

Мотька тоже стала смотрѣть на небо, и минута прошла въ молчаніи.

— Видишь? — спросила Саша.

— Не видать, — проговорила Мотька басомъ.

— А я вижу. Маленькіе ангелочки летаютъ по небу и крылышками — мелькъ, мелькъ, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя на землю, и спросила:

— Бабка будетъ горѣть?

— Будетъ, касатка.

Отъ камня до самаго низа шелъ ровный, отлогій скатъ, покрытый мягкою зеленою травой, которую хотѣлось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась внизъ. Мотька съ серьезнымъ, строгимъ лицомъ, отдуваясь тоже легла и скатилась, и при этомъ у нея рубаха задралась до плечъ.

— Какъ мнѣ стало смѣшно!—сказала Саша въ восторгѣ

Онѣ обѣ пошли наверхъ, чтобы скатиться еще разъ, но въ это время послышался знакомый визгливый голосъ. О,

какъ это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, съ короткими сѣдыми волосами, которые развѣвались по вѣтру, длинною палкой гнала отъ огорода гусей и кричала:

— Всю капусту потолкли, окаянные, чтобъ вамъ переколѣть, трижды анаѳемы, язвы, нѣтъ на васъ погибели!

Она увидѣла дѣвочекъ, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, какъ рогульки, стала ее сѣчь. Саша плакала отъ боли и страха, а въ это время гусакъ, переваливаясь съ ноги на ногу и вытянувъ шею, подошелъ къ старухѣ и прошипѣлъ что-то, и когда онъ вернулся къ своему стаду, то всѣ гусыни одобрительно привѣтствовали его: го-го-го! Потомъ бабка принялась сѣчь Мотьку, и при этомъ у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяніе, громко плача, Саша пошла къ избѣ, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басомъ, не вытирая слезъ, и лицо ея было уже такъ мокро, какъ будто она обмакнула его въ воду.

— Батюшки мои!—изумилась Ольга, когда обѣ онѣ вошли въ избу.—Царица Небесная!

Саша начала разсказывать, и въ это время съ пронзительнымъ крикомъ и съ бранью вошла бабка, разсердилась Ѳекла, и въ избѣ стало шумно.

— Ничего, ничего!—утѣшала Ольга, блѣдная, разстроенная, гладя Сашу по головѣ.—Она—бабушка, на нее грѣхъ сердиться. Ничего, дѣтка.

Николай, который былъ уже измученъ этимъ постояннымъ крикомъ, голодомъ, угаромъ, смрадомъ, который уже ненавидѣлъ и презиралъ бѣдность, которому было стыдно передъ женой и дочерью за своихъ отца и мать, свѣсилъ съ печи ноги и проговорилъ раздраженно, плачущимъ голосомъ, обращаясь къ матери:

— Вы не можете ее бить! Вы не имѣете никакого полнаго права ее бить!

— Ну, околѣваешь тамъ на печкѣ, ледащій!—крикнула на него Ѳекла со злобой.—Принесла васъ сюда нелегкая, дармоѣдовъ!

И Саша, и Мотька, и всѣ дѣвочки, сколько ихъ было, забились на печи въ уголъ, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхомъ, и слышно было, какъ

стучали ихъ маленькія сердца. Когда въ семьѣ есть больной, который болѣетъ уже давно и безнадежно, то бываютъ такія тяжкія минуты, когда всѣ близкіе робко, тайно, въ глубинѣ души желаютъ его смерти; и только одни дѣти боятся смерти родного человѣка и при мысли о ней всегда испытываютъ ужасъ. И теперь дѣвочки, притаивъ дыханіе, съ печальнымъ выраженіемъ на лицахъ, смотрѣли на Николая и думали о томъ, что онъ скоро умретъ, и имъ хотѣлось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Онъ прижимался къ Ольгѣ, точно ища у нея защиты, и говорилъ ей тихо, дрожащимъ голосомъ:

— Оля, милая, не могу я больше тутъ. Силы моей нѣтъ. Ради Бога, ради Христа Небеснаго, напиши ты своей сестрицѣ Клавдіи Абрамовнѣ, пусть продаетъ и закладываетъ все, что есть у ней, пусть высылаетъ денегъ, мы уѣдемъ отсюда. О, Господи,—продолжалъ онъ съ тоской:—хоть бы однимъ глазомъ на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мнѣ, матушка!

А когда наступилъ вечеръ и въ избѣ потемнѣло, то стало такъ тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаныхъ корокъ въ чашкѣ и сосала ихъ долго, цѣлый часъ. Марья, подоивъ корову, принесла ведро съ молокомъ и поставила на скамью; потомъ бабка переливала изъ ведра въ кувшины, тоже долго, не спѣша, видимо довольная, что теперь, въ Успеньевъ постъ, никто не станетъ ѣсть молока и оно все останется цѣло. И только немножко, чуть-чуть, она отлила въ блюдечко для ребенка Ѳеклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребицу, Мотька вдругъ встрепенулась, сползла съ печи и, подойдя къ скамьѣ, гдѣ стояла деревянная чашка съ корками, плеснула въ нее молока изъ блюдечка.

Бабка, вернувшись въ избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрѣли на нее, и имъ было пріятно, что она оскоромилась и теперь ужъ пойдетъ въ адъ. Онѣ утѣшились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный судъ: горѣла большая печь, въ родѣ гончарной, и нечистый духъ съ рогами, какъ у коровы, весь черный, гналъ бабку въ огонь длинною палкой, какъ давеча она сама гнала гусей.

V.

На Успенье, въ одиннадцатомъ часу вечера, дѣвушки и парни, гулявшіе внизу на лугу, вдругъ подняли крикъ и визгъ и побѣжали по направленію къ деревнѣ; и тѣ, которые сидѣли наверху, на краю обрыва, въ первую минуту никакъ не могли понять, отчего это.

— Пожаръ! Пожаръ!—раздался внизу отчаянный крикъ.— Горимъ!

Тѣ, которые сидѣли наверху, оглянулись, и имъ представилась страшная, необыкновенная картина. На одной изъ крайнихъ избъ, на соломенной крышѣ стоялъ огненный, въ сажень вышиною, столбъ, который клубился и сыпалъ отъ себя во всѣ стороны искры, точно фонтанъ билъ. И тотчасъ же загорѣлась вся крыша яркимъ пламенемъ, и послышался трескъ огня.

Свѣтъ луны померкъ, и уже вся деревня была охвачена краснымъ, дрожащимъ свѣтомъ; по землѣ ходили черныя тѣни, пахло гарью; и тѣ, которые бѣжали снизу, всѣ запыхались, не могли говорить отъ дрожи, толкались, падали и, съ непривычки къ яркому свѣту, плохо видѣли и не узнавали другъ друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что надъ огнемъ, въ дыму, летали голуби и въ трактирѣ, гдѣ еще не знали о пожарѣ, продолжали пѣть и играть на гармоникѣ, какъ ни въ чемъ не бывало.

— Дядя Семенъ горитъ! — крикнулъ кто-то громкимъ, грубымъ голосомъ.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожаръ былъ далеко, на другомъ краю; вышелъ Николай въ валенкахъ, повыбѣгали дѣти въ рубашонкахъ. Около избы десятскаго забили въ чугунную доску. Бемъ, бемъ, бемъ... понеслось по воздуху, и отъ этого частаго, неугомоннаго звона щемило за сердце и становилось холодно. Старыя бабы стояли съ образами. Изъ дворовъ выгоняли на улицу овецъ, телятъ и коровъ, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребецъ, котораго не пускали въ табунъ, такъ какъ онъ лягалъ и ранилъ лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньемъ, пробѣжалъ по деревнѣ разъ и другой и вдругъ остановился около телѣги и сталъ бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той сторонѣ, въ церкви.

Около горѣвшей избы было жарко и такъ свѣтло, что на землѣ видна была отчетливо каждая травка. На одномъ изъ сундуковъ, которые успѣли вытащить, сидѣлъ Семенъ, рыжій мужикъ съ большимъ носомъ, въ картузѣ, надвинутомъ на голову глубоко, до ушей, въ пиджакѣ; его жена лежала лицомъ книзъ, въ забытьи, и стонала. Какой-то старикъ лѣтъ восьмидесяти, низенькій съ большою бородой, похожій на гнома, не здѣшній, но, очевидно, причастный къ пожару, ходилъ возлѣ, безъ шапки, съ бѣлымъ узелкомъ въ рукахъ; въ лысинѣ его отсвѣчивалъ огонь. Староста Антипъ Сѣдельниковъ, смуглый и черноволосый, какъ цыганъ, подошелъ къ избѣ съ топоромъ и вышибъ окна, одно за другимъ — неизвѣстно для чего, потомъ сталъ рубить крыльцо.

— Бабы, воды!—кричалъ онъ.—Машину подава-ай! Поворачивайся!

Тѣ самые мужики, которые только-что гуляли въ трактирѣ, тащили на себѣ пожарную машину. Всѣ они были пьяны, спотыкались и падали, и у всѣхъ было безпомощное выраженіе и слезы на глазахъ.

— Дѣвки, воды! — кричалъ староста, тоже пьяный. — Поворачивайся, дѣвки!

Бабы и дѣвки бѣгали внизъ, гдѣ былъ ключъ, и таскали на гору полныя ведра и ушаты, и, выливъ въ машину, опять убѣгали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипѣла, и староста, направляя ее то въ дверь, то въ окна, задерживалъ пальцемъ струю, отчего она шипѣла еще рѣзче.

— Молодецъ, Антипъ! — слышались одобрительные голоса.—Старайся!

А Антипъ лѣзъ въ сѣни, въ огонь и кричалъ оттуда:

— Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастнаго происшествія!

Мужики стояли толпой возлѣ, ничего не дѣлая, и смотрѣли на огонь. Никто не зналъ, за что приняться, никто ничего не умѣлъ, а кругомъ были стога хлѣба, сѣно, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тутъ и Кирьякъ, и старикъ Осипъ, его отецъ, оба на-веселѣ. И, какъ бы желая оправдать свою праздность, старикъ говорилъ, обращаясь къ бабѣ, лежащей на землѣ:

— Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована — чего тебѣ!

Семенъ, обращаясь то къ одному, то къ другому, разсказывалъ, отчего загорѣлось:

— Этотъ самый старичокъ, съ узелкомъ-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, въ поварахъ былъ. Приходитъ вечеромъ: «пусти, говоритъ, ночевать»... Ну, выпили по стаканчику, извѣстно... Баба заходилась около самовара, — старичка чаемъ попоить, да не въ добрый часъ заставила самоваръ въ сѣняхъ, огонь изъ трубы, значитъ, прямо въ крышу, въ солому, оно и того. Чуть сами не сгорѣли. И шапка у старика сгорѣла, грѣхъ такой.

А въ чугунную доску били безъ устали и часто звонили въ церкви за рѣкой. Ольга, вся въ свѣту, задыхаясь, глядя съ ужасомъ на красныхъ овецъ и на розовыхъ голубей, летавшихъ въ дыму, бѣгала то внизъ, то наверхъ. Ей казалось, что этотъ звонъ острою колючкой вошелъ ей въ душу, что пожаръ никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда въ избѣ съ шумомъ рухнулъ потолокъ, то отъ мысли, что теперь сгоритъ непремѣнно вся деревня, она ослабѣла и уже не могла таскать воду, а сидѣла на обрывѣ, поставивъ возлѣ себя ведра; рядомъ и ниже сидѣли бабы и голосили, какъ по покойникѣ.

Но вотъ съ той стороны, изъ городской усадьбы, пріѣхали на двухъ подводахъ приказчики и работники и привезли съ собою пожарную машину. Пріѣхалъ верхомъ студентъ въ бѣломъ кителѣ на-распашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили къ горѣвшему срубу лѣстницу и полѣзли по ней сразу пять человѣкъ, и впереди всѣхъ студентъ, который былъ красенъ и кричалъ рѣзкимъ, охрипшимъ голосомъ и такимъ тономъ, какъ будто тушеніе пожаровъ было для него привычнымъ дѣломъ. Разбирали избу по бревнамъ; растащили хлѣвъ, плетень и ближайшій стогъ.

— Не давайте ломать!—раздались въ толпѣ строгіе голоса.—Не давай!

Кирьякъ направился къ избѣ съ рѣшительнымъ видомъ, какъ бы желая помѣшать пріѣзжимъ ломать, но одинъ изъ рабочихъ повернулъ его назадъ и ударилъ по шеѣ. Послышался смѣхъ, работникъ еще разъ ударилъ, Кирьякъ упалъ и на четверенькахъ поползъ назадъ въ толпу.

Пришли съ той стороны двѣ красивыя дѣвушки въ шляпкахъ,—должно-быть, сестры студента. Онѣ стояли поодаль

и смотрѣли на пожаръ. Растаскáнныя брёвна уже не горѣли, но сильно дымили; студентъ, работая кишкóй, направлялъ струю то на эти бревна, то на мужиковъ, то на бабъ, таскавшихъ воду.

— Жоржъ! — кричали ему дѣвушки укоризненно и съ тревогой.—Жоржъ!

Пожаръ кончился. И только когда стали расходиться, замѣтили, что уже разсвѣтъ, что всѣ блѣдны, немножко смýглы, — это всегда такъ кажется въ раннія утра, когда на небѣ гаснутъ послѣднія звѣзды. Расходясь, мужики смѣялись и подшýчивали надъ пóваромъ генерала Жукова и надъ шапкой, которая сгорѣла; имъ уже хотѣлось разыграть пожаръ въ шутку и какъ будто даже было жаль, что пожаръ такъ скоро кончился.

— Вы, баринъ, хорошо тушили, — сказала Ольга студенту. — Васъ бы къ намъ, въ Москву: тамъ, почитай, каждый день пожаръ.

— А вы развѣ изъ Москвы? — спросила одна изъ барышень.

— Точно такъ. Мой мужъ служилъ въ «Славянскомъ Базарѣ»-съ. А это моя дочь,—указала она на Сашу, которая озябла и жалась къ ней.—Тоже московская-съ.

Обѣ барышни сказали что-то по-французски студенту, и тотъ подалъ Сашѣ двугривенный. Старикъ Осипъ видѣлъ это, и на лицѣ у него вдругъ засвѣтилась надежда.

— Благодарить Бога, ваше высокоблагородіе, вѣтра не было,—сказалъ онъ, обращаясь къ студенту:—а то бы погорѣли въ одночасье. Ваше высокоблагородіе, господа хорошіе, — добавилъ онъ конфузливо, тономъ ниже: — заря холодная, погрѣться бы... на полбутылочки съ вашей милости.

Ему ничего не дали, и онъ, крякнувъ, поплелся домой. Ольга потомъ стояла на краю и смотрѣла, какъ обѣ повозки переѣзжали рѣку бродомъ, какъ по лугу шли господа; ихъ на той сторонѣ ожидалъ экипажъ. А придя въ избу, она разсказывала мужу съ восхищеніемъ:

— Да такіе хорошіе! Да такіе красивые! А барышни— какъ херувимчики.

— Чтобъ ихъ рóзорвало!—проговорила сонная Ѳекла со злобой.

VI.

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Ѳеклѣ же, напротивъ, была по вкусу ея эта жизнь: и бѣдность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ѣла, что давали, не разбирая; спала, гдѣ и на чемъ придется; помои выливала у самаго крыльца: выплеснетъ съ порога, да еще пройдется босыми ногами по лужѣ. И она съ перваго же дня возненавидѣла Ольгу и Николая именно за то, что имъ не нравилась эта жизнь.

— Погляжу, что вы тутъ будете ѣсть, дворяне московскіе!—говорила она съ злорадствомъ.—Погляжу-у!

Однажды утромъ,—это было уже въ началѣ сентября,—Ѳекла принесла снизу два ведра воды, розовая отъ холода, здоровая, красивая; въ это время Марья и Ольга сидѣли за столомъ и пили чай.

— Чай да сахаръ! — проговорила Ѳекла насмѣшливо.— Барыни какія, — добавила она, ставя ведра: — моду себѣ взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы васъ съ чаю-то!—продолжала она, глядя съ ненавистью на Ольгу. — Нагуляла въ Москвѣ пухлую морду, толстомясая!

Она замахнулась коромысломъ и ударила Ольгу по плечу, такъ что обѣ невѣстки только всплеснули руками и проговорили:

— Ахъ, батюшки.

Потомъ Ѳекла пошла на рѣку мыть бѣлье и всю дорогу бранилась такъ громко, что было слышно въ избѣ.

Прошелъ день. Наступилъ длинный осенній вечеръ. Въ избѣ мотали шелкъ; мотали всѣ, кромѣ Ѳеклы: она ушла за рѣку. Шелкъ брали съ ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на немъ немного — копеекъ двадцать въ недѣлю.

— При господахъ лучше было,—говорилъ старикъ, мотая шелкъ. — И работаешь, и ѣшь, и спишь, все своимъ чередомъ. Въ обѣдъ щи тебѣ и каша, въ ужинъ тоже щи и каша. Огурцовъ и капусты было вволю: ѣшь добровольно, сколько душа хочетъ. И строгости было больше. Всякій себя помнилъ.

Свѣтила только одна лампочка, которая горѣла тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонялъ лампочку и большая тѣнь падала на окно, то виденъ былъ яркій лунный свѣтъ.

Старикъ Осипъ разсказывалъ, не спѣша, про то, какъ жили до воли, какъ въ этихъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ теперь живется такъ скучно и бѣдно, охотились съ гончими, съ борзыми, съ псковичами, и во время облавъ мужиковъ поили водкой, какъ въ Москву ходили цѣлые обозы съ битою птицей для молодыхъ господъ, какъ злыхъ наказывали розгами или ссылали въ Тверскую вотчину, а добрыхъ награждали. И бабка тоже разсказала коё-что. Она все помнила, рѣшительно все. Она разсказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой мужъ былъ кутила и развратникъ, и у которой всѣ дочери повыходили замужъ Богъ знаетъ какъ: одна вышла за пьяницу, другая—за мѣщанина, третью—увезли тайно (сама бабка, которая была тогда дѣвушкой, помогала увозить), и всѣ онѣ скоро умерли съ горя, какъ и ихъ мать. И вспомнивъ объ этомъ, бабка даже всплакнула.

Вдругъ кто-то постучалъ въ дверь, и всѣ вздрогнули.

— Дядя Осипъ, пусти ночевать!

Вошелъ маленькій, лысый старичокъ, поваръ генерала Жукова, тотъ самый, у котораго сгорѣла шапка. Онъ присѣлъ, послушалъ и тоже сталъ вспоминать и разсказывать разныя исторіи. Николай, сидя на печи, свѣсивъ ноги, слушалъ и спрашивалъ все о кушаньяхъ, какія готовили при господахъ. Говорили о биткахъ, котлетахъ, разныхъ супахъ, соусахъ, и поваръ, который тоже все хорошо помнилъ, называлъ кушанья, какихъ нѣтъ теперь; было, напримѣръ, кушанье, которое приготовлялось изъ бычьихъ глазъ и называлось «по утру проснувшись».

— А котлеты марешаль тогда дѣлали? — спросилъ Николай.

— Нѣтъ.

Николай укоризненно покачалъ головой и сказалъ:

— Эхъ вы, горё-повара.

Дѣвочки, сидя и лежа на печи, глядѣли внизъ, не мигая; казалось, что ихъ было очень много—точно херувимы въ облакахъ. Разсказы имъ нравились; онѣ вздыхали, вздрагивали и блѣднѣли то отъ восторга, то отъ страха, а бабку, которая разсказывала интереснѣе всѣхъ, онѣ слушали не дыша, боясь пошевельнуться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные разсказами, взволнованные, думали о томъ, какъ хороша мо-

лодость, послѣ которой, какая бы она ни была, остается въ воспоминаніяхъ одно только живое, радостное, трогательное, и какъ страшно холодна эта смерть, которая не за горами, — лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потёмки, и два окошка, рѣзко освѣщенныя луной, и тишина, и скрипъ колыбели напоминали почему-то только о томъ, что жизнь уже прошла, что не вернешь ея никакъ... Вздремнешь, забудешься, и вдругъ кто-то трогаетъ за плечо, дуетъ въ щеку — и сна нѣтъ, тѣло такое, точно отлежалъ его, и лѣзутъ въ голову все мысли о смерти; повернулся на другой бокъ,—о смерти уже забылъ, но въ головѣ бродятъ давнія, скучныя, нудныя мысли о нуждѣ, о кормахъ, о томъ, что мука вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ея...

— О, Господи!—вздохнулъ поваръ.

Кто-то тихо-тихо постучалъ въ окошко. Должно-быть, Ѳекла вернулась. Ольга встала и, зѣвая, шепча молитву, отперла дверь, потомъ въ сѣняхъ вынула засовъ. Но никто не входилъ, только съ улицы повѣяло холодомъ и стало вдругъ свѣтло отъ луны. Въ открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

— Кто тутъ?—окликнула Ольга.

— Я, послышался отвѣтъ.—Это я.

Около двери, прижавшись къ стѣнѣ, стояла Ѳекла, совершенно нагая. Она дрожала отъ холода, стучала зубами, и при яркомъ свѣтѣ луны казалась очень блѣдною, красивою и странною. Тѣни на ней и блескъ луны на кожѣ какъ-то рѣзко бросались въ глаза и особенно отчетливо обозначались ея темныя брови и молодая, крѣпкая грудь.

— На той сторонѣ озорники раздѣли, пустили такъ...— проговорила она.—Домой безъ одежи шла... въ чемъ мать родила. Принеси одѣться.

— Да ты въ избу иди! — тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

— Старики бы не увидали.

Въ самомъ дѣлѣ бабка уже безпокоилась и ворчала, и старикъ спрашивалъ: «Кто тамъ?» Ольга принесла свою рубаху и юбку, одѣла Ѳеклу и потомъ обѣ тихо, стараясь не стучать дверями, вошли въ избу.

— Это ты, гладкая? — сердито проворчала бабка, дога-

давшись, кто это!—У, чтобъ тебя, полунощница... нѣтъ на тебя погибели!

— Ничего, ничего,—шептала Ольга, кутая Ѳеклу:—ничего, касатка.

Опять стало тихо. Въ избѣ всегда плохо спали; каждому мѣшало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику — боль въ спинѣ, бабкѣ — заботы и злость, Марьѣ— страхъ, дѣтямъ — чесотка и голодъ. И теперь тоже сонъ былъ тревожный: поворачивались съ боку на бокъ, брѣдили, вставали напиться.

Ѳекла вдругъ заревѣла громко, грубымъ голосомъ, но тотчасъ же сдержала себя и изрѣдка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами съ той стороны, изъ-за рѣки, доносился бой часовъ; но часы били какъ-то странно: пробили пять, потомъ три.

— О, Господи!—вздыхалъ поваръ.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще свѣтитъ луна, или это уже разсвѣтъ. Марья поднялась и вышла и слышно было, какъ она на дворѣ доила корову и говорила: «Сто-ой!» Вышла и бабка. Было еще темно въ избѣ, но уже стали видны всѣ предметы.

Николай, который не спалъ всю ночь, слѣзъ съ печи. Онъ досталъ изъ зеленаго сундучка свой фракъ, надѣлъ его и, подойдя къ окну, погладилъ рукава, подержался за фалдочки — и улыбнулся. Потомъ осторожно снялъ фракъ, спряталъ въ сундукъ и опять легъ.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, повидимому, еще не совсѣмъ очнулась отъ сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вѣроятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашніе разсказы, такъ какъ она сладко потянулась передъ печью и сказала:

— Нѣтъ, воля лучше!

VII.

Пріѣхалъ баринъ,—такъ въ деревнѣ называли станового пристава. О томъ, когда и зачѣмъ онъ пріѣдетъ, было извѣстно за недѣлю. Въ Жуковѣ было только сорокъ дворовъ, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двухъ тысячъ.

Становой остановился въ трактирѣ; онъ «выкушалъ» тутъ два стакана чаю и потомъ отправился пѣшкомъ въ избу

старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиковъ. Староста Антипъ Сѣдельниковъ, несмотря на молодость, — ему было только 30 лѣтъ съ небольшимъ, — былъ строгъ и всегда держалъ сторону начальства, хотя самъ былъ бѣденъ и платилъ подати неисправно. Видимо, его забавляло, что онъ—староста, и нравилось сознаніе власти, которую онъ иначе не умѣлъ проявлять, какъ строгостью. На сходѣ его боялись и слушались; случалось, на улицѣ или около трактира онъ вдругъ налеталъ на пьянаго, связывалъ ему руки назадъ и сажалъ въ арестантскую; разъ даже посадилъ въ арестантскую бабку за то, что она, придя на сходъ вмѣсто Осипа, стала браниться, и продержалъ ее тамъ цѣлыя сутки. Въ городѣ онъ не живалъ и книгъ никогда не читалъ, но откуда-то набрался разныхъ умныхъ словъ и любилъ употреблять ихъ въ разговорѣ, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осипъ со своею оброчною книжкой вошелъ въ избу старосты, становой, худощавый старикъ съ длинными сѣдыми бакенами, въ сѣрой тужуркѣ, сидѣлъ за столомъ въ переднемъ углу и что-то записывалъ. Въ избѣ было чисто, всѣ стѣны пестрѣли отъ картинъ, вырѣзанныхъ изъ журналовъ, и на самомъ видномъ мѣстѣ около иконъ висѣлъ портретъ Баттенберга, бывшаго болгарскаго князя. Возлѣ стола, скрестивъ руки, стоялъ Антипъ Сѣдельниковъ.

— За имъ, ваше высокоблагородіе, 119 рублей, — сказалъ онъ, когда очередь дошла до Осипа.—Передъ Святой какъ далъ рубль, такъ съ того времени ни копейки.

Приставъ поднялъ глаза на Осипа и спросилъ:

— Почему же это, братецъ?

— Явите божескую милость, ваше высокоблагородіе, — началъ Осипъ, волнуясь:—дозвольте сказать, лѣтошній годъ Люторѣцкій баринъ: «Осипъ, говоритъ, продай сѣно... Ты, говоритъ, продай». Отчего жъ? Было у меня пудовъ сто для продажи, на лоску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

Онъ жаловался на старосту и то и дѣло оборачивался къ мужикамъ, какъ бы приглашая ихъ въ свидѣтели; лицо у него покраснѣло и вспотѣло, и глаза стали острые, злые.

— Я не понимаю, зачѣмъ ты это все говоришь, — сказалъ приставъ.—Я спрашиваю тебѣ... я тебѣ спрашиваю,

отчего ты не платишь недоимку? Вы всѣ не платите, а я за васъ отвѣчай?

— Мочи моей нѣту!

— Слова эти безъ послѣдствія, ваше высокоблагородіе,— сказалъ староста. — Дѣйствительно, Чикильдѣевы недостаточнаго класса, но извольте спросить у прочихъ, причина вся—водка, и озорники очень. Безъ всякаго пониманія.

Приставъ записалъ что-то и сказалъ Осипу покойно, ровнымъ тономъ, точно просилъ воды:

— Пошелъ вонъ.

Скоро онъ уѣхалъ; и когда онъ садился въ свой дешевый тарантасъ и кашлялъ, то даже по выраженію его длинной худой спины видно было, что онъ уже не помнилъ ни объ Осипѣ, ни о старостѣ, ни о жуковскихъ недоимкахъ, а думалъ о чемъ-то своемъ собственномъ. Не успѣлъ онъ отъѣхать и одну версту, какъ Антипъ Сѣдельниковъ уже выносилъ изъ избы Чикильдѣевыхъ самоваръ, а за нимъ шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

— Не отдамъ! Не отдамъ я тебѣ, окаянный!

Онъ шелъ быстро, дѣлая широкіе шаги, а та гналась за нимъ, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирѣпая; платокъ у нея сползъ на плечи, сѣдые съ зеленоватымъ отливомъ волосы развѣвались по вѣтру. Она вдругъ остановилась, и, какъ настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, пѣвучимъ голосомъ, и какъ бы рыдая:

— Православные, кто въ Бога вѣруетъ! Батюшки, обидѣли! Родненькіе, затѣснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!

— Бабка, бабка,—сказалъ строго староста:—имѣй разсудокъ въ своей головѣ!

Безъ самовара въ избѣ Чикильдѣевыхъ стало совсѣмъ скучно. Было что-то унизительное въ этомъ лишеніи, оскорбительное, точно у избы вдругъ отняли ея честь. Лучше бы ужъ староста взялъ и унесъ столъ, всѣ скамьи, всѣ горшки, — не такъ бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала и дѣвочки, глядя на нее, тоже плакали. Старикъ, чувствуя себя виноватымъ, сидѣлъ въ углу понуро и молчалъ. И Николай молчалъ. Бабка любила и жалѣла его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдругъ съ бранью, съ попреками, тыча ему кулаками подъ самое лицо. Она кричала, что это онъ виноватъ во всемъ;

въ самомъ дѣлѣ, почему онъ присылалъ такъ мало, когда самъ же въ письмахъ хвалился, что добывалъ въ «Славянскомъ Базарѣ» по 50 рублей въ мѣсяцъ? Зачѣмъ онъ сюда пріѣхалъ, да еще съ семьей? Если умретъ, то на какія деньги его хоронить?.. И было жалко смотрѣть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старикъ крякнулъ, взялъ шапку и пошелъ къ старостѣ, Уже темнѣло. Антипъ Сѣдельниковъ паялъ что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дѣти его, тощія, неумытыя, не лучше Чикильдѣевскихъ, возились на полу; некрасивая, весноватая жена съ большимъ животомъ мотала шелкъ. Это была несчастная, убогая семья и только одинъ Антипъ выглядѣлъ молодцомъ и красавцемъ. На скамьѣ въ рядъ стояло пять самоваровъ. Старикъ помолился на Баттенберга и сказалъ:

— Антипъ, яви Божескую милость, отдай самоваръ! Христа ради!

— Принеси три рубля, тогда и получишь.

— Мочи моей нѣту!

Антипъ надувалъ щеки, огонь гудѣлъ и шипѣлъ, отсвѣчивая въ самоварахъ. Старикъ помялъ шапку и сказалъ, подумавъ:

— Отдай!

Смуглый староста казался уже совсѣмъ чернымъ и походилъ на колдуна; онъ обернулся къ Осипу и проговорилъ сурово и быстро:

— Отъ земскаго начальника все зависящее. Въ административномъ засѣданіи двадцать шестого числа можешь заявить поводъ къ своему неудовольствію словесно или на бумагѣ.

Осипъ ничего не понялъ, но удовлетворился этимъ и пошелъ домой.

Дней черезъ десять опять пріѣзжалъ становой, побылъ съ часъ и уѣхалъ. Въ тѣ дни погода стояла вѣтреная, холодная; рѣка давно уже замерзла, а снѣга все не было, и люди замучались безъ дороги. Какъ-то въ праздникъ передъ вечеромъ сосѣди зашли къ Осипу посидѣть, потолковать. Говорили въ темнотѣ, такъ какъ работать было грѣхъ и огня не зажигали. Были кое-какія новости, довольно непріятныя. Такъ, въ двухъ-трехъ домахъ забрали за недоимку куръ и отправили въ волостное правленіе, и тамъ

онѣ поколѣли, такъ какъ ихъ никто не кормилъ; забрали овецъ и, пока везли ихъ связанныхъ, перекладывая въ каждой деревнѣ на новыя подводы, одна издохла. И теперь рѣшали вопросъ: кто виноватъ?

— Земство!—говорилъ Осипъ.—Кто жъ!

— Извѣстно, земство.

Земство обвиняли во всемъ—и въ недоимкахъ, и въ притѣсненіяхъ, и въ неурожаяхъ, хотя ни одинъ не зналъ, что значитъ земство. И это пошло съ тѣхъ поръ, какъ богатые мужики, имѣющіе свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали въ земскихъ гласныхъ, остались недовольны и потомъ въ своихъ фабрикахъ и трактирахъ стали бранить земство.

Поговорили о томъ, что Богъ не даетъ снѣга: возить дрова надо, а по кочкамъ ни ѣздить, ни ходить. Прежде, лѣтъ 15—20 назадъ и ранѣе, разговоры въ Жуковѣ были гораздо интереснѣе. Тогда у каждаго старика былъ такой видъ, какъ будто онъ хранилъ какую-то тайну, что-то зналъ и чего-то ждалъ; говорили о грамотѣ съ золотою печатью, о раздѣлахъ, о новыхъ земляхъ, о кладахъ, намекали на что-то; теперь же у жуковцевъ не было никакихъ тайнъ; вся ихъ жизнь была какъ на ладони, у всѣхъ на виду, и могли они говорить только о нуждѣ и кормахъ, о томъ, что нѣтъ снѣга...

Помолчали. И опять вспомнили про куръ и овецъ и стали рѣшать, кто виноватъ.

— Земство!—проговорилъ уныло Осипъ.—Кто жъ!

VIII.

Приходская церковь была въ шести верстахъ, въ Косогоровѣ, и въ ней бывали только по нуждѣ, когда нужно было крестить, вѣнчаться или отпѣвать; молиться же ходили за рѣку. Въ праздники, въ хорошую погоду, дѣвушки наряжались и уходили толпой къ обѣднѣ, и было весело смотрѣть, какъ онѣ въ своихъ красныхъ, желтыхъ и зеленыхъ платьяхъ шли черезъ лугъ; въ дурную же погоду всѣ сидѣли дома. Говѣли въ приходѣ. Съ тѣхъ, кто въ Великомъ посту не успѣвалъ отговѣться, батюшка на Святой, обходя съ крестомъ избы, бралъ по 15 копеекъ.

Старикъ не вѣрилъ въ Бога, потому что почти никогда не думалъ о Немъ; онъ признавалъ сверхъестественное, но

думалъ, что это можетъ касаться однѣхъ лишь бабъ, и когда говорили при немъ о религіи или чудесномъ и задавали ему какой-нибудь вопросъ, то онъ говорилъ нехотя, почесываясь:

— А кто жъ его знаетъ!

Бабка вѣрила, но какъ-то тускло; все перемѣшалось въ ея памяти, и едва она начинала думать о грѣхахъ, о смерти, о спасеніи души, какъ нужда и заботы перехватывали ея мысль, и она тотчасъ же забывала, о чемъ думала. Молитвъ она не помнила и обыкновенно по вечерамъ, когда спать, становилась передъ образами и шептала:

— Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троеручицы Божьей Матери...

Марья и Ѳекла крестились, говѣли каждый годъ, но ничего не понимали. Дѣтей не учили молиться, ничего не говорили имъ о Богѣ, не внушали никакихъ правилъ и только запрещали въ постъ ѣсть скоромное. Въ прочихъ семьяхъ было почти то же: мало, кто вѣрилъ, мало, кто понималъ. Въ то же время всѣ любили Священное Писаніе, любили нѣжно, благоговѣйно, но не было книгъ, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангеліе, ее уважали и всѣ говорили ей и Сашѣ «вы».

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны въ сосѣднія села и въ уѣздный городъ, въ которомъ было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была разсѣянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только, когда возвращалась домой, дѣлала вдругъ радостное открытіе, что у нея есть мужъ и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сіяя:

— Богъ милости прислалъ!

То, что происходило въ деревнѣ, казалось ей отвратительнымъ и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покровъ въ Жуковѣ былъ приходскій праздникъ, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественныхъ денегъ и потомъ еще со всѣхъ дворовъ собирали на водку. Въ первый день у Чикильдѣевыхъ зарѣзали барана и ѣли его утромъ, въ обѣдъ и вечеромъ, ѣли помногу, и потомъ еще ночью дѣти вставали, чтобы поѣсть. Кирьякъ всѣ три дня былъ страшно пьянъ, пропилъ все, даже шапку и сапоги, и такъ билъ

Марью, что ее отливали водой. А потомъ всѣмъ было стыдно и тошно.

Впрочемъ, и въ Жуковѣ, въ этой Холуевкѣ, происходило разъ настоящее религіозное торжество. Это было въ августѣ, когда по всему уѣзду, изъ деревни въ деревню, носили Живоносную. Въ тотъ день, когда ее ожидали въ Жуковѣ, было тихо и пасмурно. Дѣвушки еще съ утра отправились навстрѣчу иконѣ въ своихъ яркихъ нарядныхъ платьяхъ и принесли ее подъ вечеръ, съ крестнымъ ходомъ, съ пѣніемъ, и въ это время за рѣкой трезвонили. Громадная толпа своихъ и чужихъ запрудила улицу; шумъ, пыль, давка... И старикъ, и бабка, и Кирьякъ—всѣ протягивали руки къ иконѣ, жадно глядѣли на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! Заступница!

Всѣ какъ будто вдругъ поняли, что между землей и небомъ не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяжкой, невыносимой нужды, отъ страшной водки.

— Заступница, матушка!—рыдала Марья.—Матушка!

Но отслужили молебенъ, унесли икону, и все пошло постарому и опять послышались изъ трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чѣмъ больше богатѣли, тѣмъ меньше вѣрили въ Бога и въ спасеніе души, и лишь изъ страха передъ концомъ земнымъ, на всякій случай, ставили свѣчи и служили молебны. Мужики же побѣднѣе не боялись смерти. Старику и бабкѣ говорили прямо въ глаза, что они зажились, что имъ умирать пора, и они ничего. Не стѣснялись говорить въ присутствіи Николая Ѳеклѣ, что когда Николай умретъ, то ея мужу Денису, выйдетъ льгота — вернутъ со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалѣла, что она такъ долго не приходитъ, и бывала рада, когда у нея умирали дѣти.

Смерти не боялись, зато ко всѣмъ болѣзнямъ относились съ преувеличеннымъ страхомъ. Довольно было пустяка — разстройства желудка, легкаго озноба, какъ бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: «Умира-а-ю!» Старикъ спѣшилъ за священникомъ, и бабку пріобщали и соборовали. Очень часто говорили о простудѣ, о глистахъ, о желвакахъ, которые хо-

дять въ животѣ и подкатываютъ къ сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже лѣтомъ одѣвались тепло и грѣлись на печи. Бабка любила лѣчиться и часто ѣздила въ больницу, гдѣ говорила, что ей не 70, а 58 лѣтъ; она полагала, что если докторъ узнаетъ ея настоящіе годы, то не станетъ ее лѣчить и скажетъ, что ей впору умирать, а не лѣчиться. Въ больницу обыкновенно уѣзжала она рано утромъ, забравъ съ собою двухъ-трехъ дѣвочекъ, и возвращалась вечеромъ, голодная и сердитая, — съ каплями для себя и съ мазями для дѣвочекъ. Разъ возила она и Николая, который потомъ недѣли двѣ принималъ капли и говорилъ, что ему стало легче.

Бабка знала всѣхъ докторовъ, фельдшеровъ и знахарей на тридцать верстъ кругомъ, и ни одинъ ей не нравился. На Покровъ, когда священникъ обходилъ съ крестомъ избы, дьячокъ сказалъ ей, что въ городѣ около острога живетъ старичокъ, бывшій военный фельдшеръ, который лѣчитъ очень хорошо, и посовѣтовалъ ей обратиться къ нему. Бабка послушалась. Когда выпалъ первый снѣгъ, она съѣздила въ городъ и привезла старичка, бородатаго, длиннополаго выкреста, у котораго все лицо было покрыто синими жилками. Какъ разъ въ это время въ избѣ работали поденщики: старикъ портной въ страшныхъ очкахъ кроилъ изъ лохмотьевъ жилетку и два молодыхъ парня валяли изъ шерсти валенки; Кирьякъ, котораго уволили за пьянство и который жилъ теперь дома, сидѣлъ рядомъ съ портнымъ и починялъ хомутъ. И въ избѣ было тѣсно, душно и смрадно. Выкрестъ осмотрѣлъ Николая и сказалъ, что необходимо поставить банки.

Онъ ставилъ банки, а старикъ-портной, Кирьякъ и дѣвочки стояли и смотрѣли, и имъ казалось, что они видятъ, какъ изъ Николая выходитъ болѣзнь. И Николай тоже смотрѣлъ, какъ банки, присосавшись къ груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовалъ, что изъ него, въ самомъ дѣлѣ, какъ будто что-то выходитъ, и улыбался отъ удовольствія.

— Оно хорошо, — говорилъ портной. — Дай Богъ, чтобъ на пользу.

Выкрестъ поставилъ двѣнадцать банокъ и потомъ еще двѣнадцать, напился чаю и уѣхалъ. Николай сталъ дрожать; лицо у него осунулось и, какъ говорили бабы, сжа-

лось въ кулачокъ; пальцы посинѣли. Онъ кутался и въ одѣяло, и въ тулупъ, но становилось все холоднѣе. Къ вечеру онъ затосковалъ; просилъ, чтобы его положили на полъ, просилъ, чтобы портной не курилъ, потомъ затихъ подъ тулупомъ и къ утру умеръ.

IX.

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже съ Рождества не было своего хлѣба и муку покупали. Кирьякъ, жившій теперь дома, шумѣлъ по вечерамъ, наводя ужасъ на всѣхъ, а по утрамъ мучился отъ головной боли и стыда, и на него было жалко смотрѣть. Въ хлѣву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, какъ нарочно, морозы все время стояли трескучіе, навалило высокіе сугробы; и зима затянулась: на Благовѣщеніе задувала настоящая зимняя вьюга, а на Святой шелъ снѣгъ.

Но, какъ бы ни было, зима кончилась. Въ началѣ апрѣля стояли теплые дни и морозныя ночи, зима не уступала, но одинъ теплый денекъ пересилилъ, наконецъ, — и потекли ручьи, запѣли птицы. Весь лугъ и кусты около рѣки утонули въ вешнихъ водахъ и между Жуковымъ и тою стороной все пространство сплошь было уже занято громаднымъ заливомъ, на которомъ тамъ-и-сямъ вспархивали стаями дикія утки. Весенній закатъ, пламенный, съ пышными облаками, каждый вечеръ давалъ что-нибудь необыкновенное, новое, невѣроятное, именно то самое, чему не вѣришь потомъ, когда эти же краски и эти же облака видишь на картинѣ.

Журавли летѣли быстро-быстро и кричали грустно, будто звали съ собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрѣла на разливъ, на солнце, на свѣтлую, точно помолодѣвшую церковь, и слезы текли у нея и дыханіе захватывало оттого, что страстно хотѣлось уйти куда-нибудь, куда глаза глядятъ, хоть на край свѣта. А ужъ было рѣшено, что она пойдетъ опять въ Москву, въ горничныя, и съ нею отправится Кирьякъ наниматься въ дворники или куда-нибудь. Ахъ, скорѣе бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались въ путь. Ольга и Саша, съ котомками на спинахъ, обѣ въ лаптяхъ, вышли чуть свѣтъ; вышла и Марья, чтобы проводить ихъ.

Кирьякъ былъ нездоровъ, задержался дома еще на недѣлю. Ольга въ послѣдній разъ помолилась на церковь, думая о своемъ мужѣ, и не заплакала, только лицо у нея поморщилось и стало некрасивымъ, какъ у старухи. За зиму она похудѣла, подурнѣла, немного посѣдѣла и уже вмѣсто прежней миловидности и пріятной улыбки на лицѣ у нея было покорное, печальное выраженіе пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное въ ея взглядѣ, точно она не слышала. Ей было жаль разставаться съ деревней и съ мужиками. Она вспоминала о томъ, какъ несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду, и какъ всѣ плакали, сочувствуя ея горю. Въ теченіе лѣта и зимы бывали такіе часы и дни, когда казалось, что эти люди живутъ хуже скотовъ, жить съ ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живутъ не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважаютъ, боятся и подозрѣваютъ другъ друга. Кто держитъ кабакъ и спаиваетъ народъ? Мужикъ. Кто растрачиваетъ и пропиваетъ мирскія, школьныя, церковныя деньги? Мужикъ. Кто укралъ у сосѣда, поджогъ, ложно показалъ на судѣ за бутылку водки? Кто въ земскихъ и другихъ собраніяхъ первый ратуетъ противъ мужиковъ? Мужикъ. Да, жить съ ними было страшно, но все же они люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ люди, и въ жизни ихъ нѣтъ ничего такого, чему нельзя было бы найти оправданія. Тяжкій трудъ, отъ котораго по ночамъ болитъ все тѣло, жестокія зимы, скудные урожаи, тѣснота, а помощи нѣтъ и не откуда ждать ея. Тѣ, которые богаче и сильнѣе ихъ, помочь не могутъ, такъ какъ сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся также отвратительно; самый мелкій чиновникъ или приказчикъ обходится съ мужиками, какъ съ бродягами, и даже старшинамъ и церковнымъ старостамъ говоритъ «ты», и думаетъ, что имѣетъ на это право. Да и можетъ ли быть какая-нибудь помощь или добрый примѣръ отъ людей корыстолюбивыхъ, жадныхъ, развратныхъ, лѣнивыхъ, которые наѣзжаютъ въ деревню только затѣмъ, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкій, приниженный видъ былъ у стариковъ, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами... И теперь ей было жаль всѣхъ этихъ людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводивъ версты три, Марья простилась, потомъ стала на колѣни и заголосила, припадая лицомъ къ землѣ:

— Опять я одна осталася, бѣдная моя головушка, бѣдная-несчастная...

И долго она такъ голосила, и долго еще Ольгѣ и Сашѣ видно было, какъ она, стоя на колѣняхъ, все кланялась кому-то въ сторону, обхвативъ руками голову, и надъ ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было въ охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, имъ было весело и все развлекало ихъ. То курганъ, то рядъ телеграфныхъ столбовъ, которые другъ за другомъ идутъ неизвѣстно куда, исчезая на горизонтѣ, и проволоки гудятъ таинственно; то виденъ вдали хуторокъ, весь въ зелени, потягиваетъ отъ него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что тамъ живутъ счастливые люди; то лошадиный скелетъ, одиноко бѣлѣющій въ полѣ. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергачъ кричитъ такъ, будто въ самомъ дѣлѣ кто-то дергаетъ за старую, желѣзную скобу.

Въ полдень Ольга и Саша пришли въ большое село. Тутъ на широкой улицѣ встрѣтился имъ поваръ генерала Жукова, старичокъ. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сіяла на солнцѣ. Онъ и Ольга не узнали другъ друга, потомъ оглянулись въ одно время, узнали и, не сказавъ ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новѣе, передъ открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонкимъ, пѣвучимъ голосомъ:

— Православные христіане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителямъ вашимъ царство небесное, вѣчный покой.

— Православные христіане, — запѣла Саша: — подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...

МОЯ ЖИЗНЬ.

(Разсказъ провинціала.)

I.

Управляющій сказалъ мнѣ: «Держу васъ только изъ уваженія къ вашему почтенному батюшкѣ, а то бы вы у меня давно полетѣли». Я ему отвѣтилъ: «Вы слишкомъ льстите мнѣ, ваше превосходительство, полагая что я умѣю летать». И потомъ я слышалъ, какъ онъ сказалъ: «Уберите этого господина, онъ портитъ мнѣ нервы».

Дня черезъ два меня уволили. Итакъ, за все время, пока я считаюсь взрослымъ, къ великому огорченію моего отца, городского архитектора, я перемѣнилъ девять должностей. Я служилъ по различнымъ вѣдомствамъ, но всѣ эти девять должностей были похожи одна на другую, какъ капли воды: я долженъ былъ сидѣть, писать, выслушивать глупыя или грубыя замѣчанія и ждать, когда меня уволятъ.

Отецъ, когда я пришелъ къ нему, сидѣлъ глубоко въ креслѣ, съ закрытыми глазами. Его лицо, тощее, сухое, съ сизымъ отливомъ на бритыхъ мѣстахъ (лицомъ онъ походилъ на стараго католическаго органиста), выражало смиреніе и покорность. Не отвѣчая на мое привѣтствіе и не открывая глазъ, онъ сказалъ:

— Если бы моя дорогая жена, а твоя мать была жива, то твоя жизнь была бы для нея источникомъ постоянной скорби. Въ ея преждевременной смерти я усматриваю промыслъ Божій. Прошу тебя, несчастный,—продолжалъ онъ, открывая глаза:—научи: что̀ мнѣ съ тобою дѣлать?

Прежде, когда я былъ помоложе, мои родные и знакомые знали, что со мною дѣлать: одни совѣтовали мнѣ поступить въ вольноопредѣляющіеся, другіе — въ аптеку, третьи — въ телеграфъ; теперь же, когда мнѣ уже минуло двадцать пять и показалась даже сѣдина въ вискахъ, и когда я побывалъ уже и въ вольноопредѣляющихся, и въ фармацевтахъ, и на телеграфѣ, все земное для меня, казалось, было уже исчерпано, и уже мнѣ не совѣтовали, а лишь вздыхали, или покачивали головами.

— Что ты о себѣ думаешь? — продолжалъ отецъ. — Въ твои годы молодые люди имѣютъ уже прочное общественное положеніе, а ты взгляни на себя: пролетарій, нищій, живешь на шеѣ отца!

И, по обыкновенію, онъ сталъ говорить о томъ, что теперешніе молодые люди гибнутъ, гибнутъ отъ невѣрія, матеріализма и излишняго самомнѣнія, и что надо запретить любительскіе спектакли, такъ какъ они отвлекаютъ молодыхъ людей отъ религіи и обязанностей.

— Завтра мы пойдемъ вмѣстѣ, и ты извинишься передъ управляющимъ и пообѣщаешь ему служить добросовѣстно,— заключилъ онъ.—Ни одного дня ты не долженъ оставаться безъ общественнаго положенія.

— Я прошу васъ выслушать меня,—сказалъ я угрюмо, не ожидая ничего хорошаго отъ этого разговора.—То, что вы называете общественнымъ положеніемъ, составляетъ привилегію капитала и образованія. Небогатые же и необразованные люди добываютъ себѣ кусокъ хлѣба физическимъ трудомъ, и я не вижу основанія, почему я долженъ быть исключеніемъ.

— Когда ты начинаешь говорить о физическомъ трудѣ, то это выходитъ глупо и пошло!—сказалъ отецъ съ раздраженіемъ. — Пойми ты, тупой человѣкъ, пойми, безмозглая голова, что у тебя, кромѣ грубой физической силы, есть еще духъ Божій, святой огонь, который въ высочайшей степени отличаетъ тебя отъ осла или отъ гада и приближаетъ къ божеству! Этотъ огонь добывался тысячи лѣтъ лучшими изъ людей. Твой прадѣдъ Полозневъ, генералъ, сражался при Бородинѣ, дѣдъ твой былъ поэтъ, ораторъ и предводитель дворянства, дядя — педагогъ, наконецъ, я, твой отецъ,—архитекторъ! Всѣ Полозневы хранили святой огонь для того, чтобы ты погасилъ его!

— Надо быть справедливымъ,—сказалъ я.—Физическій трудъ несутъ милліоны людей.

— И пускай несутъ! Другого они ничего не умѣютъ дѣлать! Физическимъ трудомъ можетъ заниматься всякій, даже набитый дуракъ и преступникъ, этотъ трудъ есть отличительное свойство раба и варвара, между тѣмъ какъ огонь данъ въ удѣлъ лишь немногимъ!

Продолжать этотъ разговоръ было безполезно. Отецъ обожалъ себя, и для него было убѣдительно только то, что говорилъ онъ самъ. Къ тому же я зналъ очень хорошо, что это высокомѣріе, съ какимъ онъ отзывался о черномъ трудѣ, имѣло въ своемъ основаніи не столько соображенія насчетъ святого огня, сколько тайный страхъ, что я поступлю въ рабочіе и заставлю говорить о себѣ весь городъ; главное же, всѣ мои сверстники давно уже окончили въ университетѣ и были на хорошей дорогѣ, и сынъ управляющаго конторой Государственнаго банка былъ уже коллежскимъ ассесоромъ, я же, единственный сынъ, былъ ничѣмъ! Продолжать разговоръ было безполезно и непріятно, но я все сидѣлъ и слабо возражалъ, надѣясь, что меня, наконецъ, поймутъ. Вѣдь весь вопросъ стоялъ просто и ясно, и только касался способа, какъ мнѣ добыть кусокъ хлѣба, но простоты не видѣли, а говорили мнѣ, слащаво округляя фразы, о Бородинѣ, о святомъ огнѣ, о дядѣ, забытомъ поэтѣ, который когда-то писалъ плохіе и фальшивые стихи, грубо обзывали меня безмозглою головой и тупымъ человѣкомъ. А какъ мнѣ хотѣлось, чтобы меня поняли! Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю, и во мнѣ съ дѣтства засѣла привычка спрашиваться у нихъ, засѣла такъ крѣпко, что я едва ли отдѣлаюсь отъ нея когда-нибудь; бываю я правъ или виноватъ, но я постоянно боюсь огорчить ихъ, боюсь, что вотъ у отца отъ волненія покраснѣла его тощая шея, и какъ бы съ нимъ не сдѣлался ударъ.

— Сидѣть въ душной комнатѣ,—проговорилъ я:—переписывать, соперничать съ пишущею машиной для человѣка моихъ лѣтъ стыдно и оскорбительно. Можетъ ли тутъ быть рѣчь о святомъ огнѣ!

— Все-таки это умственный трудъ, — сказалъ отецъ.— Но довольно, прекратимъ этотъ разговоръ, и во всякомъ случаѣ, я предупреждаю: если ты не поступишь опять на службу и послѣдуешь своимъ презрѣннымъ наклонностямъ,

то я и моя дочь лишимъ тебя нашей любви. Я лишу тебя наслѣдства—клянусь истиннымъ Богомъ!

Совершенно искренно, чтобы показать всю чистоту побужденій, какими я хотѣлъ руководиться во всей своей жизни, я сказалъ:

— Вопросъ о наслѣдствѣ для меня не представляется важнымъ. Я заранѣе отказываюсь отъ всего.

Почему-то, совершенно неожиданно для меня, эти слова сильно оскорбили отца. Онъ весь побагровѣлъ.

— Не смѣй такъ разговаривать со мною, глупецъ! — крикнулъ онъ тонкимъ, визгливымъ голосомъ:—Негодяй!— И быстро и ловко, привычнымъ движеніемъ ударилъ меня по щекѣ разъ и другой.—Ты сталъ забываться!

Въ дѣтствѣ, когда меня билъ отецъ, я долженъ былъ стоять прямо, руки по швамъ, и глядѣть ему въ лицо. И теперь, когда онъ билъ меня, я совершенно терялся и, точно мое дѣтство все еще продолжалось, вытягивался и старался смотрѣть прямо въ глаза. Отецъ мой былъ старъ и очень худъ, но, должно-быть, тонкія мышцы его были крѣпки, какъ ремни, потому что дрался онъ очень больно.

Я попятился назадъ въ переднюю, и тутъ онъ схватилъ свой зонтикъ и нѣсколько разъ ударилъ меня по головѣ и по плечамъ; въ это время сестра отворила изъ гостиной дверь, чтобы узнать, что за шумъ, но тотчасъ же съ выраженіемъ ужаса и жалости отвернулась, не сказавъ въ мою защиту ни одного слова.

Намѣреніе мое не возвращаться въ канцелярію, а начать новую рабочую жизнь, было во мнѣ непоколебимо. Оставалось только выбрать родъ занятія — и это не представлялось особенно труднымъ, такъ какъ мнѣ казалось, что я былъ очень силенъ, выносливъ, способенъ на самый тяжкій трудъ. Мнѣ предстояла однообразная, рабочая жизнь съ проголодью, вонью и грубостью обстановки, съ постоянною мыслью о заработкѣ и кускѣ хлѣба. И — кто знаетъ? — возвращаясь съ работы по Большой Дворянской, я, быть-можетъ, не разъ еще позавидую инженеру Должикову, живущему умственнымъ трудомъ, но теперь думать обо всѣхъ этихъ будущихъ моихъ невзгодахъ мнѣ было весело. Когда-то я мечталъ о духовной дѣятельности, воображая себя то учителемъ, то врачомъ, то писателемъ, но мечты такъ и остались мечтами. Наклонность къ умственнымъ наслажде-

ніямъ, — напримѣръ, къ театру и чтенію, — у меня была развита до страсти, но была ли способность къ умственному труду, — не знаю. Въ гимназіи у меня было непобѣдимое отвращеніе къ греческому языку, такъ что меня должны были взять изъ четвертаго класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли меня въ пятый классъ, потомъ я служилъ по различнымъ вѣдомствамъ, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мнѣ говорили, что это — умственный трудъ; моя дѣятельность въ сферѣ учебной и служебной не требовала ни напряженія ума, ни таланта, ни личныхъ способностей, ни творческаго подъема духа: она была машинной; а такой умственный трудъ я ставлю ниже физическаго, презираю его и не думаю, чтобы онъ хотя одну минуту могъ служить оправданіемъ праздной, беззаботной жизни, такъ какъ самъ онъ не что иное, какъ обманъ, одинъ изъ видовъ той же праздности. По всей вѣроятности, настоящаго умственнаго труда я не зналъ никогда.

Наступилъ вечеръ. Мы жили на Большой Дворянской — это была главная улица въ городѣ, и на ней по вечерамъ, за неимѣніемъ порядочнаго городского сада, гулялъ нашъ beau monde. Эта прелестная улица отчасти замѣняла садъ, такъ какъ по обѣ стороны ея росли тополи, которые благоухали, особенно послѣ дождя, и изъ-за заборовъ и палисадниковъ нависали акаціи, высокіе кусты сирени, черемуха, яблони. Майскія сумерки, нѣжная молодая зелень съ тѣнями, запахъ сирени, гудѣнье жуковъ, тишина, тепло — какъ все это ново и какъ необыкновенно, хотя весна повторяется каждый годъ! Я стоялъ у калитки и смотрѣлъ на гуляющихъ. Съ большинствомъ изъ нихъ я росъ и когда-то шалилъ вмѣстѣ, теперь же близость моя могла бы смутить ихъ, потому что одѣтъ я былъ бѣдно, не по модѣ, и про мои очень узкія брюки и большіе, неуклюжіе сапоги, говорили, что это у меня макароны на корабляхъ. Къ тому же въ городѣ у меня была дурная репутація оттого, что я не имѣлъ общественнаго положенія и часто игралъ въ дешевыхъ трактирахъ на бильярдѣ, и еще оттого, быть-можетъ, что меня два раза, безъ всякаго съ моей стороны повода, водили къ жандармскому офицеру.

Въ большомъ домѣ напротивъ, у инженера Должикова играли на роялѣ. Начинало темнѣть, и на небѣ замигали

звѣзды. Вотъ, медленно, отвѣчая на поклоны, прошелъ отецъ въ старомъ цилиндрѣ съ широкими загнутыми вверхъ полями, подъ-руку съ сестрой.

— Взгляни! — говорилъ онъ сестрѣ, указывая на небо тѣмъ самымъ зонтикомъ, которымъ давеча билъ меня. — Взгляни на небо! Звѣзды, даже самыя маленькія, — все это міры! Какъ ничтоженъ человѣкъ въ сравненіи со вселенной!

И говорилъ онъ это такимъ тономъ, какъ будто ему было чрезвычайно лестно и пріятно, что онъ такъ ничтоженъ. Что это за бездарный человѣкъ! Къ сожалѣнію, онъ былъ у насъ единственнымъ архитекторомъ, и за послѣднія 15—20 лѣтъ, на моей памяти, въ городѣ не было построено ни одного порядочнаго дома. Когда ему заказывали планъ, то онъ обыкновенно чертилъ сначала залъ и гостиную; какъ въ былое время институтки могли танцовать только отъ печки, такъ и его художественная идея могла исходить и развиваться только отъ зала и гостиной. Къ нимъ онъ пририсовывалъ столовую, дѣтскую, кабинетъ, соединяя комнаты дверями, и потомъ всѣ онѣ неизбѣжно оказывались проходными, и въ каждой было по двѣ, даже по три лишнихъ двери. Должно-быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куцая; всякій разъ, точно чувствуя, что чего-то не хватаетъ, онъ прибѣгалъ къ разнаго рода пристройкамъ, присаживая ихъ одну къ другой, и я какъ сейчасъ вижу узкія сѣнцы, узкіе коридорчики, кривыя лѣстнички, ведущія въ антресоли, гдѣ можно стоять только согнувшись и гдѣ вмѣсто пола — три громадныхъ ступени въ родѣ банныхъ полокъ; а кухня непремѣнно подъ домомъ, со сводами и съ кирпичнымъ поломъ. У фасада упрямое, черствое выраженіе, линіи сухія, робкія, крыша низкая, приплюснутая, а на толстыхъ, точно сдобныхъ трубахъ непремѣнно проволочные колпаки съ черными визгливыми флюгерами. И почему-то всѣ эти, выстроенные отцомъ, дома, похожіе другъ на друга, смутно напоминали мнѣ его цилиндръ, его затылокъ, сухой и упрямый. Съ теченіемъ времени въ городѣ къ бездарности отца приглядѣлись, она укоренилась и стала нашимъ стилемъ.

Этотъ стиль отецъ внесъ и въ жизнь моей сестры. Начать съ того, что онъ назвалъ ее Клеопатрой (какъ меня

назвалъ Мисаиломъ). Когда она была еще дѣвочкой, онъ пугалъ ее напоминаніемъ о звѣздахъ, о древнихъ мудрецахъ, о нашихъ предкахъ, подолгу объяснялъ ей, что такое жизнь, что такое долгъ; и теперь, когда ей было уже 26 лѣтъ, продолжалъ то же самое, позволяя ей ходить подъ руку только съ нимъ однимъ и воображая почему-то, что рано или поздно долженъ явиться приличный молодой человѣкъ, который пожелаетъ вступить съ нею въ бракъ изъ уваженія къ его личнымъ качествамъ. А она обожала отца, боялась и вѣрила въ его необыкновенный умъ.

Стало совсѣмъ темно, и улица мало-по-малу опустѣла. Въ домѣ, что напротивъ, затихла музыка; отворились настежь ворота, и по нашей улицѣ, балуясь, мягко играя бубенчиками, покатила тройка. Это инженеръ съ дочерью поѣхалъ кататься. Пора спать!

Въ домѣ у меня была своя комната, но жилъ я на дворѣ въ хибаркѣ, подъ одною крышей съ кирпичнымъ сараемъ, которую построили когда-то, вѣроятно, для храненія сбруи,— въ стѣны были вбиты большіе костыли, — теперь же она была лишней, и отецъ вотъ уже тридцать лѣтъ складывалъ въ ней свою газету, которую для чего-то переплеталъ по полугодіямъ и не позволялъ никому трогать. Живя здѣсь, я рѣже попадался на глаза отцу и его гостямъ, и мнѣ казалось, что если я живу не въ настоящей комнатѣ и не каждый день хожу въ домъ обѣдать, то слова отца, что я живу у него на шеѣ, звучатъ уже какъ будто не такъ обидно.

Меня поджидала сестра. Она тайно отъ отца принесла мнѣ ужинъ: небольшой кусочекъ холодной телятины и ломтикъ хлѣба. У насъ въ домѣ часто повторяли: «деньги счетъ любятъ», «копейка рубль бережетъ» и тому подобное, и сестра, подавленная этими пошлостями, старалась только о томъ, какъ бы сократить расходы, и оттого питались мы дурно. Поставивъ тарелку на столъ, она сѣла на мою постель и заплакала.

— Мисаилъ, — сказала она: — что ты съ нами дѣлаешь?

Она не закрывала лица, слезы у нея капали на грудь и на руки, и выраженіе было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезамъ, вздрагивая всѣмъ тѣломъ и всхлипывая.

— Ты опять оставилъ службу... — проговорила она. — О, какъ это ужасно!

— Но пойми, сестра, пойми...—сказалъ я, и оттого, что она плакала, мною овладѣло отчаяніе.

Какъ нарочно, въ лампочкѣ моей выгорѣлъ уже весь керосинъ, она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стѣнахъ глядѣли сурово, и тѣни ихъ мигали.

— Пощади насъ!—сказала сестра, поднимаясь. — Отецъ въ страшномъ горѣ, а я больна, схожу съ ума. Что съ тобою будетъ?—спрашивала она, рыдая и протягивая ко мнѣ руки. — Прошу тебя, умоляю, именемъ нашей покойной мамы прошу: иди опять на службу!

— Не могу, Клеопатра! — сказалъ я, чувствуя, что еще немного—и я сдамся.—Не могу!

— Почему? — продолжала сестра. Почему? Ну, если не поладилъ съ начальникомъ, ищи себѣ другое мѣсто. Напримѣръ, отчего бы тебѣ не пойти служить на желѣзную дорогу? Я сейчасъ говорила съ Анютой Благово, она увѣряетъ, что тебя примутъ на желѣзную дорогу, и даже обѣщала похлопотать за тебя. Бога ради, Мисаилъ, подумай! Подумай, умоляю тебя!

Мы поговорили еще немного, и я сдался. Я сказалъ, что мысль о службѣ на строящейся желѣзной дорогѣ мнѣ еще ни разу не приходила въ голову и что, пожалуй, я готовъ попробовать.

Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мнѣ руку и потомъ все еще продолжала плакать, такъ какъ не могла остановиться, а я пошелъ въ кухню за керосиномъ.

II.

Среди охотниковъ до любительскихъ спектаклей, концертовъ и живыхъ картинъ съ благотворительной цѣлью первое мѣсто въ городѣ принадлежало Ажогинымъ, жившимъ въ собственномъ домѣ на Большой Дворянской; они всякій разъ давали помѣщеніе и они же принимали на себя всѣ хлопоты и расходы. Эта богатая помѣщичья семья имѣла въ уѣздѣ тысячъ около трехъ десятинъ съ роскошною усадьбой, но деревни не любила и жила зиму и лѣто въ городѣ. Состояла она изъ матери, высокой, худощавой, деликатной дамы, носившей короткіе волосы, короткую коф-

точку и плоскую юбку на англійскій манеръ,—и трехъ дочерей, которыхъ, когда говорили о нихъ, называли не по именамъ, а просто: старшая, средняя и младшая. Всѣ онѣ были съ некрасивыми, острыми подбородками, близоруки, сутулы, одѣты такъ же, какъ мать, непріятно шепелявили и все-таки, несмотря на это, обязательно участвовали въ каждомъ представленіи и постоянно дѣлали что-нибудь съ благотворительною цѣлью — играли, читали, пѣли. Онѣ были очень серьезны и никогда не улыбались, и даже въ водевиляхъ съ пѣніемъ играли безъ малѣйшей веселости, съ дѣловымъ видомъ, точно занимались бухгалтеріей.

Я любилъ наши спектакли, а особенно репетиціи, частыя, немножко безтолковыя, шумныя, послѣ которыхъ намъ всегда давали ужинать. Въ выборѣ пьесъ и въ распредѣленіи ролей я не принималъ никакого участія. На мнѣ лежала закулисная часть. Я писалъ декораціи, переписывалъ роли, суфлировалъ, гримировалъ и на меня было возложено также устройство разныхъ эффектовъ въ родѣ грома, пѣнія соловья и т. п. Такъ какъ у меня не было общественнаго положенія и порядочнаго платья, то на репетиціяхъ я держался особнякомъ, въ тѣни кулисъ, и застѣнчиво молчалъ.

Декораціи писалъ я у Ажогиныхъ въ сараѣ или на дворѣ. Мнѣ помогалъ маляръ, или, какъ онъ самъ называлъ себя, подрядчикъ малярныхъ работъ, Андрей Ивановъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, высокій, очень худой и блѣдный, съ впалою грудью, съ впалыми висками и съ синевой подъ глазами, немножко даже страшный на видъ. Онъ былъ боленъ какою-то изнурительною болѣзнью, и каждую осень и весну говорили про него, что онъ отходитъ, но онъ, полежавши, вставалъ и потомъ говорилъ съ удивленіемъ: «А я опять не померъ!»

Въ городѣ его звали Рѣдькой и говорили, что это его настоящая фамилія. Онъ любилъ театръ такъ же, какъ я, и едва до него доходили слухи, что у насъ затѣвается спектакль, какъ онъ бросалъ всѣ свои работы и шелъ къ Ажогинымъ писать декораціи.

На другой день послѣ объясненія съ сестрой, я съ утра до вечера работалъ у Ажогиныхъ. Репетиція была назначена въ семь часовъ вечера, и за часъ до начала въ залѣ уже были въ сборѣ всѣ любители, и по сценѣ ходили стар-

шая, средняя и младшая и читали по тетрадкамъ. Рѣдька въ длинномъ рыжемъ пальто и въ шарфѣ, намотанномъ на шею, уже стоялъ, прислонившись вискомъ къ стѣнѣ, и смотрѣлъ на сцену съ набожнымъ выраженіемъ. Ажогина-мать подходила то къ одному, то къ другому гостю и говорила каждому что-нибудь пріятное. У нея была манера пристально смотрѣть въ лицо и говорить тихо, какъ по секрету.

— Должно-быть, трудно писать декораціи,—сказала она тихо, подходя ко мнѣ.—А мы только-что съ мадамъ Муфке говорили о предразсудкахъ, и я видѣла, какъ вы вошли. Богъ мой, я всю, всю мою жизнь боролась съ предразсудками! Чтобы убѣдить прислугу, какіе пустяки всѣ эти ихъ страхи, я у себя всегда зажигаю три свѣчи и всѣ свои важныя дѣла начинаю тринадцатаго числа.

Пришла дочь инженера Должикова, красивая, полная блондинка, одѣтая, какъ говорили у насъ, во все парижское. Она не играла, но на репетиціяхъ для нея ставили стулъ на сценѣ, и спектаклей не начинали раньше, пока она не появлялась въ первомъ ряду, сіяя и изумляя всѣхъ своимъ нарядомъ. Ей, какъ столичной штучкѣ, разрѣшалось во время репетицій дѣлать замѣчанія, и дѣлала она ихъ съ милою, снисходительною улыбкой, и видно было, что на наши представленія она смотрѣла, какъ на дѣтскую забаву. Про нее говорили, что она училась пѣть въ петербургской консерваторіи и будто даже цѣлую зиму пѣла въ частной оперѣ. Она мнѣ очень нравилась, и обыкновенно на репетиціяхъ и во время спектакля я не спускалъ съ нея глазъ.

Я уже взялъ тетрадку, чтобы начать суфлировать, какъ неожиданно появилась сестра. Не снимая манто и шляпы, она подошла ко мнѣ и сказала:

— Прошу тебя, пойдемъ!

Я пошелъ. За сценой, въ дверяхъ стояла Анюта Благово, тоже въ шляпкѣ, съ темною вуалькой. Это была дочь товарища предсѣдателя суда, служившаго въ нашемъ городѣ давно, чуть ли не съ самаго основанія окружного суда. Такъ какъ она была высока ростомъ и хорошо сложена, то участіе ея въ живыхъ картинахъ считалось обязательнымъ, и когда она изображала какую-нибудь фею или Славу, то лицо ея горѣло отъ стыда; но въ спектакляхъ

она не участвовала, а заходила на репетицію только на минутку, по какому-нибудь дѣлу, и не шла въ залъ. И теперь видно было, что она зашла только на минутку.

— Мой отецъ говорилъ о васъ, — сказала она сухо, не глядя на меня и краснѣя.—Должиковъ обѣщалъ вамъ мѣсто на желѣзной дорогѣ. Отправляйтесь къ нему завтра, онъ будетъ дома.

Я поклонился и поблагодарилъ за хлопоты.

— А это вы можете оставить,—сказала она, указавъ на тетрадку.

Она и сестра подошли къ Ажогиной и минуты двѣ шептались съ нею, поглядывая на меня. Онѣ совѣтовались о чемъ-то.

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказала Ажогина тихо, подходя ко мнѣ и пристально глядя въ лицо: — въ самомъ дѣлѣ, если это отвлекаетъ васъ отъ серьезныхъ занятій, — она потянула изъ моихъ рукъ тетрадь: — то вы можете передать кому-нибудь другому. Не безпокойтесь, мой другъ, идите себѣ съ Богомъ.

Я простился съ нею и вышелъ сконфуженный. Спускаясь внизъ по лѣстницѣ, я видѣлъ, какъ уходили сестра и Анюта Благово; онѣ оживленно говорили о чемъ-то, должно-быть, о моемъ поступленіи на желѣзную дорогу, и спѣшили. Сестра раньше никогда не была на репетиціяхъ, и теперь, вѣроятно, ее мучила совѣсть, и она боялась, какъ бы отецъ не узналъ, что она безъ его позволенія была у Ажогиныхъ.

Я отправился къ Должикову на другой день, въ первомъ часу. Лакей проводилъ меня въ очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и, въ то же время, рабочимъ кабинетомъ. Тутъ было все мягко, изящно и для такого непривычнаго человѣка, какъ я, даже странно. Дорогіе ковры, громадныя кресла, бронза, картины, золотыя и плюшевыя рамы; на фотографіяхъ, разбросанныхъ по стѣнамъ, очень красивыя женщины, умныя, прекрасныя лица, свободныя позы; изъ гостиной дверь ведетъ прямо въ садъ, на балконъ, видна сирень, виденъ столъ, накрытый для завтрака, много бутылокъ, букетъ изъ розъ, пахнетъ весной и дорогою сигарой, пахнетъ счастьемъ—и все, кажется, такъ и хочетъ сказать, что вотъ-де пожилъ человѣкъ, потрудился и достигъ, наконецъ, счастья, возмож-

наго на землѣ. За письменнымъ столомъ сидѣла дочь инженера и читала газету.

— Вы къ отцу?—спросила она.—Онъ принимаетъ душъ, сейчасъ придетъ. Посидите пока, прошу васъ.

Я сѣлъ.

— Вы вѣдь, кажется, противъ насъ живете?—спросила она, опять, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Да.

— Я отъ скуки каждый день наблюдаю изъ окна, ужъ вы извините,—продолжала она, глядя въ газету:—и часто вижу васъ и вашу сестру. У нея всегда такое доброе сосредоточенное выраженіе.

Вошелъ Должиковъ. Онъ вытиралъ полотенцемъ шею.

— Папа, monsieur Полозневъ,—сказала дочь.

— Да, да, мнѣ говорилъ Благово,—живо обратился онъ ко мнѣ, не подавая руки.—Но, послушайте, что̀ же я могу вамъ дать? Какія у меня мѣста? Странные вы люди, господа! — продолжалъ онъ громко и такимъ тономъ, какъ будто дѣлалъ мнѣ выговоръ.—Ходитъ васъ ко мнѣ по двадцать человѣкъ въ день, вообразили, что у меня департаментъ! У меня линія, господа, у меня каторжныя работы, мнѣ нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники, а вѣдь всѣ вы можете только сидѣть и писать, больше ничего! Всѣ вы писатели!

И отъ него пахнуло на меня тѣмъ же счастьемъ, что̀ и отъ его ковровъ и креселъ. Полный, здоровый, съ красными щеками, съ широкою грудью, вымытый, въ ситцевой рубахѣ и шароварахъ, точно фарфоровый, игрушечный, ямщикъ. У него была круглая, курчавая бородка — и ни одного сѣдого волоска, носъ съ горбинкой, а глаза темные, ясные, невинные.

— Что̀ вы умѣете дѣлать?—продолжалъ онъ.—Ничего вы не умѣете! Я инженеръ-съ, я обезпеченный человѣкъ-съ, но, прежде чѣмъ мнѣ дали дорогу, я долго теръ лямку, я ходилъ машинистомъ, два года работалъ въ Бельгіи, какъ простой смазчикъ. Посудите сами, любезнѣйшій, какую работу я могу вамъ предложить?

— Конечно, это такъ...—пробормоталъ я въ сильномъ смущеніи, не вынося его ясныхъ, невинныхъ глазъ.

— По крайней мѣрѣ, умѣете ли вы управляться съ аппаратомъ?—спросилъ онъ, подумавъ.

— Да, я служилъ на телеграфѣ.

— Гм... Ну, тамъ посмотримъ. Отправляйтесь пока въ Дубечню. Тамъ у меня уже сидитъ одинъ, но дрянь ужасная.

— А въ чемъ будутъ заключаться мои обязанности? — спросилъ я.

— Тамъ увидимъ. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не пьянствовать и не безпокоить меня никакими просьбами. Выгоню.

Онъ отошелъ отъ меня и даже головой не кивнулъ. Я поклонился ему и его дочери, читавшей газету, и вышелъ. На душѣ у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать, какъ принялъ меня инженеръ, то я не могъ выговорить ни одного слова.

Чтобы идти въ Дубечню, я всталъ рано утромъ, съ восходомъ солнца. На нашей Большой Дворянской не было ни души, всѣ еще спали, и шаги мои раздавались одиноко и глухо. Тополи, покрытые росой, наполняли воздухъ нѣжнымъ ароматомъ. Мнѣ было грустно и не хотѣлось уходить изъ города. Я любилъ свой родной городъ. Онъ казался мнѣ такимъ красивымъ и теплымъ! Я любилъ эту зелень, тихія солнечныя утра, звонъ нашихъ колоколовъ; но люди, съ которыми я жилъ въ этомъ городѣ, были мнѣ скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любилъ и не понималъ ихъ.

Я не понималъ, для чего и чѣмъ живутъ всѣ эти шестьдесятъ пять тысячъ людей. Я зналъ, что Кимры добываютъ себѣ пропитаніе сапогами, что Тула дѣлаетъ самовары и ружья, что Одесса портовый городъ, но что̀ такое нашъ городъ и что̀ онъ дѣлаетъ—я не зналъ. Большая Дворянская и еще двѣ улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками изъ казны; но чѣмъ жили остальныя восемь улицъ, которыя тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмомъ, — это для меня было всегда непостижимою загадкой. И какъ жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочнаго оркестра; городская и клубная библіотеки посѣщались только евреями-подростками, такъ что журналы и новыя книги по мѣсяцамъ лежали неразрѣзанными; богатые и интеллигентные спали въ душныхъ, тѣсныхъ спальняхъ, на деревянныхъ кроватяхъ съ клопами, дѣтей держали въ отврати-

тельно грязныхъ помѣщеніяхъ, называемыхъ дѣтскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали въ кухнѣ на полу и укрывались лохмотьями. Въ скоромные дни въ домахъ пахло борщемъ, а въ постные — осетриной, жареной на подсолнечномъ маслѣ. Ѣли не вкусно, пили нездоровую воду. Въ думѣ, у губернатора, у архіерея, всюду въ домахъ много лѣтъ говорили о томъ, что у насъ въ городѣ нѣтъ хорошей и дешевой воды и что необходимо занять у казны двѣсти тысячъ на водопроводъ; очень богатые люди, которыхъ у насъ въ городѣ можно было насчитать десятка три, и которые, случалось, проигрывали въ карты цѣлыя имѣнія, тоже пили дурную воду и всю жизнь говорили съ азартомъ о займѣ — и я не понималъ этого; мнѣ казалось, было бы проще взять и выложить эти двѣсти тысячъ изъ своего кармана.

Во всемъ городѣ я не зналъ ни одного честнаго человѣка. Мой отецъ бралъ взятки и воображалъ, что это даютъ ему изъ уваженія къ его душевнымъ качествамъ; гимназисты, чтобы переходить изъ класса въ классъ, поступали на хлѣба къ своимъ учителямъ, и эти брали съ нихъ большія деньги; жена воинскаго начальника во время набора брала съ рекрутовъ и даже позволяла угощать себя и разъ въ церкви никакъ не могла подняться съ колѣнъ, такъ какъ была пьяна; во время набора брали и врачи, а городовой врачъ и ветеринаръ обложили налогомъ мясныя лавки и трактиры; въ уѣздномъ училищѣ торговали свидѣтельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали съ подчиненныхъ причтовъ и церковныхъ старостъ; въ городской, мѣщанской, во врачебной и во всѣхъ прочихъ управахъ каждому просителю кричали вослѣдъ:— «Благодарить надо!»—и проситель возвращался, чтобы дать 30—40 копеекъ. А тѣ, которые взятокъ не брали, какъ, напримѣръ, чины судебнаго вѣдомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью сужденій, играли много въ карты, много пили, женились на богатыхъ и, несомнѣнно, имѣли на среду вредное, развращающее вліяніе. Лишь отъ однѣхъ дѣвушекъ вѣяло нравственною чистотой; у большинства изъ нихъ были высокія стремленія, честныя, чистыя души; но онѣ не понимали жизни и вѣрили, что взятки даются изъ уваженія къ душевнымъ качествамъ, и, выйдя замужъ, скоро старились,

опускались и безнадежно тонули въ тинѣ пошлаго, мѣщанскаго существованія.

III.

Въ нашей мѣстности строилась желѣзная дорога. Наканунѣ праздниковъ по городу толпами ходили оборванцы, которыхъ звали «чугункой» и которыхъ боялись. Нерѣдко приходилось мнѣ видѣть, какъ оборванца съ окровавленною физіономіей, безъ шапки, вели въ полицію, а сзади, въ видѣ вещественнаго доказательства, несли самоваръ или недавно вымытое, еще мокрое бѣлье. «Чугунка» обыкновенно толпилась около кабаковъ и на базарахъ; она пила, ѣла, нехорошо бранилась и каждую мимо проходящую женщину легкаго поведенія провожала пронзительнымъ свистомъ. Наши лавочники, чтобы позабавить эту голодную рвань, поили собакъ и кошекъ водкой, или привязывали собакѣ къ хвосту жестянку изъ-подъ керосина, поднимали свистъ, и собака мчалась по улицѣ, гремя жестянкой, визжа отъ ужаса; ей казалось, что ее преслѣдуетъ по пятамъ какое-то чудовище, она бѣжала далеко за городъ, въ поле и тамъ выбивалась изъ силъ; и у насъ въ городѣ было нѣсколько собакъ, постоянно дрожавшихъ, съ поджатыми хвостами, про которыхъ говорили, что онѣ не перенесли такой забавы, сошли съ ума.

Вокзалъ строился въ пяти верстахъ отъ города. Говорили, что инженеры за то, чтобы дорога подходила къ самому городу, просили взятку въ пятьдесятъ тысячъ, а городское управленіе соглашалось дать только сорокъ, разошлись въ десяти тысячахъ, и теперь горожане раскаивались, такъ какъ предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по смѣтѣ обходилось дороже. По всей линіи были уже положены шпалы и рельсы, и ходили служебные поѣзда, возившіе строительный матеріалъ и рабочихъ, и задержка была только за мостами, которые строилъ Должиковъ, да кое-гдѣ не были еще готовы станціи.

Дубечня—такъ называлась наша первая станція—находилась въ семнадцати верстахъ отъ города. Я шелъ пѣшкомъ. Ярко зеленѣли озимь и яровыя, охваченныя утреннимъ солнцемъ. Мѣсто было ровное, веселое, и вдали ясно вырисовывались вокзалъ, курганы, далекія усадьбы... Какъ хорошо было тутъ на волѣ! И какъ я хотѣлъ проникнуться

сознаніемъ свободы, хотя бы на одно это утро, чтобы не думать о томъ, что дѣлалось въ городѣ, не думать о своихъ нуждахъ, не хотѣть ѣсть! Ничто такъ не мѣшало мнѣ жить, какъ острое чувство голода, когда мои лучшія мысли странно мѣшались съ мыслями о гречневой кашѣ, о котлетахъ, о жареной рыбѣ. Вотъ я стою одинъ въ полѣ и смотрю вверхъ на жаворонка, который повисъ въ воздухѣ на одномъ мѣстѣ и залился, точно въ истерикѣ, а самъ думаю: «Хорошо бы теперь поѣсть хлѣба съ масломъ!» Или вотъ сажусь у дороги и закрываю глаза, чтобы отдохнуть, прислушаться къ этому чудесному майскому шуму, и мнѣ припоминается, какъ пахнетъ горячій картофель. При моемъ большомъ ростѣ и крѣпкомъ сложеніи мнѣ приходилось ѣсть вообще мало, и потому главнымъ чувствомъ моимъ въ теченіе дня былъ голодъ, и потому, быть-можетъ, я отлично понималъ, почему такое множество людей работаетъ только для куска хлѣба и можетъ говорить только о харчахъ.

Въ Дубечнѣ штукатурили внутри станцію и строили верхній деревянный этажъ у водокачки. Было жарко, пахло известкой, и рабочіе вяло бродили по кучамъ щепы и мусора; около своей будки спалъ стрѣлочникъ, и солнце жгло ему прямо въ лицо. Ни одного дерева. Слабо гудѣла телеграфная проволока, и на ней кое-гдѣ отдыхали ястреба. Бродя тоже по кучамъ, не зная, что̀ дѣлать, я вспоминалъ, какъ инженеръ на мой вопросъ, въ чемъ будутъ заключаться мои обязанности, отвѣтилъ мнѣ: «Тамъ увидимъ». Но что̀ можно было увидѣть въ этой пустынѣ? Штукатуры говорили про десятника и про какого-то Ѳедота Васильева, я не понималъ, и мною мало-по-малу овладѣла тоска, — тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и все свое большое тѣло и не знаешь, что̀ дѣлать съ ними, куда дѣваться.

Походивъ, по крайней мѣрѣ, съ два часа, я замѣтилъ, что отъ станціи куда-то вправо отъ линіи шли телеграфные столбы и черезъ полторы-двѣ версты оканчивались у бѣлаго каменнаго забора; рабочіе сказали, что тамъ контора, и, наконецъ, я сообразилъ, что мнѣ нужно именно туда.

Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Заборъ изъ бѣлаго ноздреватаго камня уже вывѣтрился и обвалился мѣстами, и на флигелѣ, который своею глухою

стѣной выходилъ въ поле, крыша была ржавая, и на ней кое-гдѣ блестѣли латки изъ жести. Въ ворота былъ виденъ просторный дворъ, поросшій бурьяномъ, и старый барскій домъ съ жалюзи на окнахъ и съ высокою крышей, рыжею отъ ржавчины. По сторонамъ дома, направо и налѣво, стояли два одинаковыхъ флигеля; у одного окна были забиты досками, около другого, съ открытыми окнами, висѣло на веревкѣ бѣлье и ходили телята. Послѣдній телеграфный столбъ стоялъ во дворѣ, и проволока отъ него шла къ окну того флигеля, который своею глухою стѣной выходилъ въ поле. Дверь была отворена, я вошелъ. За столомъ у телеграфнаго станка сидѣлъ какой-то господинъ съ темною, кудрявою головой, въ пиджакѣ изъ парусинки; онъ сурово, исподлобья поглядѣлъ на меня, но тотчасъ же улыбнулся и сказалъ:

— Здравствуй, маленькая польза!

Это былъ Иванъ Чепраковъ, мой товарищъ по гимназіи, котораго исключили изъ второго класса за куреніе табаку. Мы вмѣстѣ когда-то, въ осеннее время, ловили щегловъ, чижей и дубоносовъ и продавали ихъ на базарѣ рано утромъ, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетныхъ скворцовъ и стрѣляли въ нихъ мелкою дробью, потомъ подбирали раненыхъ, и одни у насъ умирали въ страшныхъ мученіяхъ (я до сихъ поръ еще помню, какъ они ночью стонали у меня въ клѣткѣ), другихъ, которые выздоравливали, мы продавали и нагло божились при этомъ, что все это одни самцы. Какъ-то разъ на базарѣ у меня остался одинъ только скворецъ, котораго я долго предлагалъ покупателямъ и, наконецъ, сбылъ за копейку. «Все-таки маленькая польза!» — сказалъ я себѣ въ утѣшеніе, пряча эту копейку, и съ того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня маленькою пользой; да и теперь еще мальчишки и лавочники, случалось, дразнили меня такъ, хотя, кромѣ меня, уже никто не помнилъ, откуда произошло это прозвище.

Чепраковъ былъ не крѣпкаго сложенія: узкогрудый, сутулый, длинноногій. Галстукъ веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моихъ—съ кривыми каблуками. Онъ рѣдко мигалъ глазами и имѣлъ стремительное выраженіе, будто собирался что-то схватить, и все суетился.

— Да ты постой, — говорилъ онъ, суетясь. — Да ты послушай!.. О чемъ бишь я только-что говорилъ?

Мы разговорились. Я узналъ, что имѣніе, въ которомъ я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковымъ и только прошлою осенью перешло къ инженеру Должикову, который полагалъ, что держать деньги въ землѣ выгоднѣе, чѣмъ въ бумагахъ, и уже купилъ въ нашихъ краяхъ три порядочныхъ имѣнія съ переводомъ долга; мать Чепракова при продажѣ выговорила себѣ право жить въ одномъ изъ боковыхъ флигелей еще два года и выпросила для сына мѣсто при конторѣ.

— Еще бы ему не покупать! — сказалъ Чепраковъ про инженера. — Съ однихъ подрядчиковъ деретъ сколько! Со всѣхъ деретъ!

Потомъ онъ повелъ меня обѣдать, рѣшивъ суетливо, что жить я буду съ нимъ вдвоемъ во флигелѣ, а столоваться у его матери.

— Она у меня скряга, — сказалъ онъ: — но дорого съ тебя не возьметъ.

Въ маленькихъ комнатахъ, гдѣ жила его мать, было очень тѣсно; всѣ онѣ, даже сѣни и передняя, были загромождены мебелью, которую послѣ продажи имѣнія перенесли сюда изъ большого дома; и мебель была все старинная, изъ краснаго дерева. Госпожа Чепракова, очень полная, пожилая дама, съ косыми китайскими глазами, сидѣла у окна въ большомъ креслѣ и вязала чулокъ. Приняла она меня церемонно.

— Это, мамаша, Полозневъ,—представилъ меня Чепраковъ.—Онъ будетъ служить тутъ.

— Вы дворянинъ? — спросила она страннымъ, непріятнымъ голосомъ; мнѣ показалось, будто у нея въ горлѣ клокочетъ жиръ.

Да, — отвѣтилъ я.

— Садитесь.

Обѣдъ былъ плохой. Подавали только пирогъ съ горькимъ творогомъ и молочный супъ. Елена Никифоровна, хозяйка, все время какъ-то странно подмигивала то однимъ глазомъ, то другимъ. Она говорила, ѣла, но во всей ея фигурѣ было уже что-то мертвенное и даже какъ будто чувствовался запахъ трупа. Жизнь въ ней едва теплилась, теплилось и сознаніе, что она—барыня-помѣщица, имѣвшая когда-то своихъ крѣпостныхъ, что она—генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительствомъ; и когда

эти жалкіе остатки жизни вспыхивали въ ней на мгновеніе, то она говорила сыну:

— Жанъ, ты не такъ держишь ножъ!

Или же говорила мнѣ, тяжело переводя духъ, съ жеманствомъ хозяйки, желающей занять гостя:

— А мы, знаете, продали наше имѣніе. Конечно, жаль, привыкли мы тутъ, но Должиковъ обѣщалъ сдѣлать Жана начальникомъ станціи Дубечни, такъ-что мы не уѣдемъ отсюда, будемъ жить тутъ на станціи, а это все равно, что въ имѣніи. Инженеръ такой добрый! Не находите ли вы, что онъ очень красивъ?

Еще недавно Чепраковы жили богато, но послѣ смерти генерала все измѣнилось. Елена Никифоровна стала ссориться съ сосѣдями, стала судиться, не доплачивать приказчикамъ и рабочимъ; все боялась, какъ бы ея не ограбили— и въ какія-нибудь десять лѣтъ Дубечня стала неузнаваемою.

Позади большого дома былъ старый садъ, уже одичавшій, заглушенный бурьяномъ и кустарникомъ. Я прошелся по террасѣ, еще крѣпкой и красивой; сквозь стеклянную дверь видна была комната съ паркетнымъ поломъ, должно-быть, гостиная; старинное фортепіано, да на стѣнахъ гравюры въ широкихъ рамахъ изъ краснаго дерева—и больше ничего. Отъ прежнихъ цвѣтниковъ уцѣлѣли одни піоны и маки, которые поднимали изъ травы свои бѣлыя и ярко красныя головы; по дорожкамъ, вытягиваясь, мѣшая другъ другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и садъ казался непроходимымъ, но это только вблизи дома, гдѣ еще стояли тополи, сосны и старыя липы-сверстницы, уцѣлѣвшія отъ прежнихъ аллей, а дальше за ними садъ расчищали для сѣнокоса, и тутъ уже не парило, паутина не лѣзла въ ротъ и въ глаза, подувалъ вѣтерокъ; чѣмъ дальше въ глубь, тѣмъ просторнѣе, и уже росли на просторѣ вишни, сливы, раскидистыя яблони, обезображенныя подпорками и гангреной, и груши такія высокія, что даже не вѣрилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городскія торговки, а сторожилъ ее отъ воровъ и скворцовъ мужикъ-дурачокъ, жившій въ шалашѣ.

Садъ, все больше рѣдѣя, переходя въ настоящій лугъ, спускался къ рѣкѣ, поросшей зеленымъ камышомъ и ивнякомъ; около мельничной плотины былъ плёсъ, глубокій и рыбный, сердито шумѣла небольшая мельница съ соломен-

ною крышей, неистово квакали лягушки. На водѣ, гладкой, какъ зеркало, изрѣдка ходили круги, да вздрагивали рѣчныя лиліи, потревоженныя веселою рыбой. По ту сторону рѣчки находилась деревушка Дубечня. Тихій, голубой плёсъ манилъ къ себѣ, обѣщая прохладу и покой. И теперь все это—и плёсъ, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру!

И вотъ началась моя новая служба. Я получалъ телеграммы и отправлялъ ихъ дальше, писалъ разныя вѣдомости и переписывалъ на-чисто требовательныя записи, претензіи и рапорты, которые присылались къ намъ въ контору безграмотными десятниками и мастерами. Но бо́льшую часть дня я ничего не дѣлалъ, а ходилъ по комнатѣ ожидая телеграммъ, или сажалъ во флигелѣ мальчика, а самъ уходилъ въ садъ и гулялъ, пока мальчикъ не прибѣгалъ сказать, что стучитъ аппаратъ. Обѣдалъ я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень рѣдко, блюда все были молочныя, а въ среды и въ пятницы—постныя, и въ эти дни подавались къ столу розовыя тарелки, которыя назывались постными. Чепракова постоянно подмигивала—это была у нея такая привычка, и въ ея присутствіи мнѣ всякій разъ становилось не по-себѣ.

Такъ какъ работы во флигелѣ не хватало и на одного, то Чепраковъ ничего не дѣлалъ, а только спалъ или уходилъ съ ружьемъ на плёсъ стрѣлять утокъ. По вечерамъ онъ напивался въ деревнѣ или на станціи, и передъ тѣмъ, какъ спать, смотрѣлся въ зеркальце и кричалъ:

— Здравствуй, Иванъ Чепраковъ!

Пьяный онъ былъ очень блѣденъ и все потиралъ руки и смѣялся, точно ржалъ: ги-ги-ги! Изъ озорства онъ раздѣвался до-нага и бѣгалъ по полю голый. Ѣлъ мухъ и говорилъ, что онѣ кисленькія.

IV.

Какъ-то послѣ обѣда онъ прибѣжалъ во флигель, запыхавшись, и сказалъ:

— Ступай, тамъ сестра твоя пріѣхала.

Я вышелъ. Въ самомъ дѣлѣ, у крыльца большого дома стояла городская извозчичья линейка. Пріѣхала моя сестра, а съ нею Анюта Благово и еще какой-то господинъ въ

военномъ кителѣ. Подойдя ближе, я узналъ военнаго: это былъ братъ Анюты, докторъ.

— Мы къ вамъ на пикникъ пріѣхали,—сказалъ онъ.— Ничего?

Сестра и Анюта хотѣли спросить, какъ мнѣ тутъ живется, но обѣ молчали и только смотрѣли на меня. Я тоже молчалъ. Онѣ поняли, что мнѣ тутъ не нравится, и у сестры навернулись слезы, а Анюта Благово стала красной. Пошли въ садъ. Докторъ шелъ впереди всѣхъ и говорилъ восторженно:

— Вотъ такъ воздухъ! Мать честная, вотъ такъ воздухъ.

По наружному виду это былъ еще совсѣмъ студентъ. И говорилъ, и ходилъ онъ, какъ студентъ, и взглядъ его сѣрыхъ глазъ былъ такой же живой, простой и открытый, какъ у хорошаго студента. Рядомъ со своею высокою и красивою сестрой онъ казался слабымъ, жидкимъ; и бородка у него была жидкая, и голосъ тоже—жиденькій, теноркъ, довольно, впрочемъ, пріятный. Онъ служилъ гдѣ-то въ полку и теперь пріѣхалъ въ отпускъ къ своимъ, и говорилъ, что осенью поѣдетъ въ Петербургъ держать экзаменъ на доктора медицины. У него уже была своя семья—жена и трое дѣтей; женился онъ рано, когда еще былъ на второмъ курсѣ, и теперь въ городѣ разсказывали про него, что онъ несчастливъ въ семейной жизни и уже не живетъ съ женой.

— Который теперь часъ?—безпокоилась сестра.—Намъ бы пораньше вернуться, папа отпустилъ меня къ брату только до шести часовъ.

— Охъ, ужъ вашъ папа!—вздохнулъ докторъ.

Я поставилъ самоваръ. На коврѣ передъ террасой большого дома мы пили чай, и докторъ, стоя на колѣняхъ, пилъ изъ блюдечка и говорилъ, что онъ испытываетъ блаженство. Потомъ Чепраковъ сходилъ за ключомъ и отперъ стеклянную дверь, и всѣ мы вошли въ домъ. Было здѣсь сумрачно, таинственно, пахло грибами, и шаги наши издавали гулкій шумъ, точно подъ поломъ былъ подвалъ. Докторъ, стоя, тронулъ клавиши фортепіано, и оно отвѣтило ему слабо, дрожащимъ, сиплымъ, но еще стройнымъ аккордомъ; онъ попробовалъ голосъ и запѣлъ какой-то романсъ, морщась и нетерпѣливо стуча ногой, когда какой-нибудь

клавишъ оказывался нѣмымъ. Моя сестра уже не собиралась домой, а въ волненіи ходила по комнатѣ и говорила:

— Мнѣ весело! Мнѣ очень, очень весело!

Въ ея голосѣ слышалось удивленіе, точно ей казалось невѣроятнымъ, что у нея тоже можетъ быть хорошо на душѣ. Это первый разъ въ жизни я видѣлъ ее такою веселою. Она даже похорошѣла. Въ профиль она была некрасива, у нея носъ и ротъ какъ-то выдавались впередъ и было такое выраженіе, точно она дула, но у нея были прекрасные темные глаза, блѣдный, очень нѣжный цвѣтъ лица и трогательное выраженіе доброты и печали, и когда она говорила, то казалась миловидною и даже красивою. Мы оба, я и она, уродились въ нашу мать, широкіе въ плечахъ, сильные, выносливые, но блѣдность у нея была болѣзненная, она часто кашляла, и въ глазахъ у нея я иногда подмѣчалъ выраженіе, какое бываетъ у людей, которые серьезно больны, но почему-то скрываютъ это. Въ ея теперешней веселости было что-то дѣтское, наивное, точно та радость, которую во время нашего дѣтства пригнетали и заглушали суровымъ воспитаніемъ, вдругъ проснулась теперь въ душѣ и вырвалась на свободу.

Но когда наступилъ вечеръ, и подали лошадей, сестра притихла, осунулась и сѣла на линейку съ такимъ видомъ, какъ будто это была скамья подсудимыхъ.

Вотъ они всѣ уѣхали, шумъ затихъ... Я вспомнилъ, что Анюта Благово за все время не сказала со мною ни одного слова.

«Удивительная дѣвушка! — подумалъ я. — Удивительная дѣвушка!»

Наступилъ Петровскій постъ, и насъ уже каждый день кормили постнымъ. Отъ праздности и неопредѣленности положенія, меня тяготила физическая тоска, и я, недовольный собою, вялый, голодный, слонялся по усадьбѣ и только ждалъ подходящаго настроенія, чтобы уйти.

Какъ-то передъ вечеромъ, когда у насъ во флигелѣ сидѣлъ Рѣдька, неожиданно вошелъ Должиковъ, сильно загорѣвшій и сѣрый отъ пыли. Онъ три дня пробылъ на своемъ участкѣ и теперь пріѣхалъ въ Дубечню на паровозѣ, а къ намъ со станціи пришелъ пѣшкомъ. Въ ожиданіи экипажа, который долженъ былъ придти изъ города, онъ со своимъ приказчикомъ обошелъ усадьбу, громкимъ

голосомъ давая приказанія, потомъ цѣлый часъ сидѣлъ у насъ во флигелѣ и писалъ какія-то письма; при немъ на его имя приходили телеграммы, и онъ самъ выстукивалъ отвѣты. Мы трое стояли молча, на-вытяжку.

— Какіе безпорядки!—сказалъ онъ, брезгливо заглянувъ въ вѣдомость. — Черезъ двѣ недѣли я перевожу контору на станцію и ужъ не знаю, что̀ мнѣ съ вами дѣлать, господа.

— Я стараюсь, ваше высокородіе, — проговорилъ Чепраковъ.

— То-то, вижу, какъ вы стараетесь. Только жалованье умѣете получать,—продолжалъ инженеръ, глядя на меня.— Все надѣетесь на протекцію, какъ бы поскорѣе и полегче faire la carrière. Ну, я не посмотрю на протекцію. За меня никто не хлопоталъ-съ. Прежде чѣмъ мнѣ дали дорогу, я ходилъ машинистомъ, работалъ въ Бельгіи, какъ простой смазчикъ-съ. А ты, Пантелей, что здѣсь дѣлаешь?— спросилъ онъ, повернувшись къ Рѣдькѣ. — Пьянствуешь съ ними?

Онъ всѣхъ простыхъ людей почему-то называлъ Пантелеями, а такихъ, какъ я и Чепраковъ, презиралъ и за глаза обзывалъ пьяницами, скотами, сволочью. Вообще къ мелкимъ служащимъ онъ былъ жестокъ и штрафовалъ, и гонялъ ихъ со службы холодно, безъ объясненій.

Наконецъ, пріѣхали за нимъ лошади. Онъ на прощанье пообѣщалъ уволить всѣхъ насъ черезъ двѣ недѣли, обозвалъ приказчика̂ болваномъ и затѣмъ, развалившись въ коляскѣ, покатилъ въ городъ.

— Андрей Иванычъ,—сказалъ я Рѣдькѣ:—возьмите меня къ себѣ въ рабочіе.

— Ну, что жъ!

И мы пошли вмѣстѣ по направленію къ городу. Когда станція и усадьба остались далеко за нами, я спросилъ:

— Андрей Иванычъ, зачѣмъ вы давеча приходили въ Дубечню?

— Первое, ребята мои работаютъ на линіи, а второе— приходилъ къ генеральшѣ проценты платить. Лѣтошній годъ я у нея полсотню взялъ и плачу теперь ей по рублю въ мѣсяцъ.

Маляръ остановился и взялъ меня за пуговицу.

— Мисаилъ Алексѣичъ, ангелъ вы нашъ, — продолжалъ

онъ:—я такъ понимаю, ежели какой простой человѣкъ или господинъ беретъ даже самый малый процентъ, тотъ уже есть злодѣй. Въ такомъ человѣкѣ не можетъ правда существовать.

Тощій блѣдный, страшный Рѣдька закрылъ глаза, покачалъ головой и изрекъ тономъ философа:

— Тля ѣстъ траву, ржа—желѣзо, а лжа—душу. Господи, спаси насъ грѣшныхъ!

V.

Рѣдька былъ не практиченъ и плохо умѣлъ соображать; набиралъ онъ работы больше, чѣмъ могъ исполнить, и при расчетѣ тревожился, терялся и потому почти всегда бывалъ въ убыткѣ. Онъ красилъ, вставлялъ стекла, оклеивалъ обоями и даже принималъ на себя кровельныя работы, и я помню, какъ онъ, бывало, изъ-за ничтожнаго заказа бѣгалъ дня по три, отыскивая кровельщиковъ. Это былъ превосходный мастеръ, случалось ему иногда зарабатывать до десяти рублей въ день, и если бы не это желаніе — во что бы то ни стало, быть главнымъ и называться подрядчикомъ, то у него, вѣроятно, водились бы хорошія деньги.

Самъ онъ получалъ издѣльно, а мнѣ и другимъ ребятамъ платилъ поденно, отъ семидесяти копеекъ до рубля въ день. Пока стояла жаркая и сухая погода, мы исполняли разныя наружныя работы, главнымъ образомъ красили крыши. Съ непривычки моимъ ногамъ было горячо, точно я ходилъ по раскаленной плитѣ, а когда надѣвалъ валенки, то ногамъ было душно. Но это только на первыхъ порахъ, потомъ же я привыкъ и все пошло, какъ по маслу. Я жилъ теперь среди людей, для которыхъ трудъ былъ обязателенъ и неизбѣженъ и которые работали, какъ ломовыя лошади, часто не сознавая нравственнаго значенія труда и даже никогда не употребляя въ разговорѣ самаго слова «трудъ»; около нихъ и я тоже чувствовалъ себя ломовикомъ, все болѣе проникаясь обязательностью и неизбѣжностью того, что я дѣлалъ, и это облегчало мнѣ жизнь, избавляя отъ всякихъ сомнѣній.

Въ первое время все занимало меня, все было ново, точно я вновь родился. Я могъ спать на землѣ, могъ ходить босикомъ, — а это чрезвычайно пріятно; могъ стоять

въ толпѣ простого народа, никого не стѣсняя, и когда на улицѣ падала извозчичья лошадь, то я бѣжалъ и помогалъ поднять ее, не боясь запачкать свое платье. А, главное, я жилъ на свой собственный счетъ и никому не былъ въ тягость!

Окраска крышъ, особенно съ нашею олифой и краской, считалась очень выгоднымъ дѣломъ, и потому этою грубой, скучной работою не брезговали даже такіе хорошіе мастера, какъ Рѣдька. Въ короткихъ брючкахъ, съ тощими лиловыми ногами, онъ ходилъ по крышѣ, похожій на аиста, и я слышалъ, какъ, работая кистью, онъ тяжело вздыхалъ и говорилъ:

— Горе, горе намъ, грѣшнымъ!

По крышѣ онъ ходилъ такъ же свободно, какъ по полу. Несмотря на то, что онъ былъ боленъ и блѣденъ, какъ мертвецъ, прыткость у него была необыкновенная; онъ такъ же, какъ молодые, красилъ куполъ и главы церкви безъ подмостковъ, только при помощи лѣстницъ и веревки, и было немножко страшно, когда онъ тутъ, стоя на высотѣ, далеко отъ земли, выпрямлялся во весь свой ростъ и изрекалъ неизвѣстно для кого:

— Тля ѣстъ траву, ржа—желѣзо, а лжа—душу!

Или же, думая о чемъ-нибудь, отвѣчалъ вслухъ своимъ мыслямъ:

— Все можетъ быть! Все можетъ быть!

Когда я возвращался съ работы домой, то всѣ эти, которые сидѣли у воротъ на лавочкахъ, всѣ приказчики, мальчишки и ихъ хозяева пускали мнѣ вслѣдъ разныя замѣчанія, насмѣшливыя и злобныя, и это на первыхъ порахъ волновало меня и казалось просто чудовищнымъ.

— Маленькая польза!—слышалось со всѣхъ сторонъ. — Маляръ! Охра!

И никто не относился ко мнѣ такъ немилостиво, какъ именно тѣ, которые еще такъ недавно сами были простыми людьми и добывали себѣ кусокъ хлѣба чернымъ трудомъ. Въ торговыхъ рядахъ, когда я проходилъ мимо желѣзной лавки, меня, какъ бы нечаянно, обливали водой, и разъ даже швырнули въ меня палкой. А одинъ купецъ-рыбникъ, сѣдой старикъ, загородилъ мнѣ дорогу и сказалъ, глядя на меня со злобой:

— Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!

А мои знакомые при встрѣчахъ со мною почему-то конфузились. Одни смотрѣли на меня, какъ на чудака и шута, другимъ было жаль меня, третьи же не знали, какъ относиться ко мнѣ, и понять ихъ было трудно. Какъ-то днемъ, въ одномъ изъ переулковъ около нашей Большой Дворянской, я встрѣтилъ Анюту Благово. Я шелъ на работу и несъ двѣ длинныхъ кисти и ведро съ краской. Узнавъ меня, Анюта вспыхнула.

— Прошу васъ не кланяться мнѣ на улицѣ...—проговорила она нервно, сурово, дрожащимъ голосомъ, не подавая мнѣ руки, и на глазахъ у нея вдругъ заблестѣли слезы.— Если, по-вашему, все это такъ нужно, то пусть... пусть, но прошу васъ, не встрѣчайтесь со мною!

Я уже жилъ не на Большой Дворянской, а въ предмѣстьѣ Макарихѣ, у своей няни Карповны, доброй, но мрачной старушки, которая всегда предчувствовала что-нибудь дурное, боялась всѣхъ сновъ вообще и даже въ пчелахъ и въ осахъ, которыя залетали къ ней въ комнату, видѣла дурныя примѣты. И то, что я сдѣлался рабочимъ, по ея мнѣнію, не предвѣщало ничего хорошаго.

— Пропала твоя головушка! — говорила она печально, покачивая головой.—Пропала!

Съ нею въ домикѣ жилъ ея пріемышъ Прокофій, мясникъ, громадный, неуклюжій малый лѣтъ тридцати, рыжій, съ жесткими усами. Встрѣчаясь со мною въ сѣняхъ, онъ молча и почтительно уступалъ мнѣ дорогу, и, если былъ пьянъ, то всей пятерней дѣлалъ мнѣ подъ-козырекъ. По вечерамъ онъ ужиналъ и сквозь дощатую перегородку мнѣ слышно было, какъ онъ крякалъ и вздыхалъ, выпивая рюмку за рюмкой.

— Мамаша!—звалъ онъ вполголоса.

— Ну? — отзывалась Карповна, любившая безъ памяти своего пріемыша.—Что сынокъ?

— Я вамъ, мамаша, могу снисхожденіе сдѣлать. Въ сей земной жизни буду васъ питать на старости лѣтъ въ юдоли, а когда помрете, на свой счетъ похороню. Сказалъ — и вѣрно.

Вставалъ я каждый день до восхода солнца, ложился рано. Ѣли мы, маляры, очень много и спали крѣпко, и только почему-то по ночамъ сильно билось сердце. Съ товарищами я не ссорился. Брань, отчаянныя клятвы и по-

желанія въ родѣ того, напримѣръ, чтобы лопнули глаза или схватила холера, не прекращались весь день, но, тѣмъ не менѣе, все-таки жили мы между собою дружно. Ребята подозрѣвали во мнѣ религіознаго сектанта и добродушно подшучивали надо мною, говоря, что отъ меня даже родной отецъ отказался, и тутъ же разсказывали, что сами они рѣдко заглядываютъ въ храмъ Божій и что многіе изъ нихъ по десяти лѣтъ на духу не бывали, и такое свое безпутство оправдывали тѣмъ, что маляръ среди людей все равно, что галка среди птицъ.

Ребята уважали меня и относились ко мнѣ съ почтеніемъ; имъ, очевидно, нравилось, что я не пью, не курю и веду тихую, степенную жизнь. Ихъ только непріятно шокировало, что я не участвую въ кражѣ олифы и вмѣстѣ съ ними не хожу къ заказчикамъ просить на чай. Кража хозяйской олифы и краски была у маляровъ въ обычаѣ и не считалась кражей, и замѣчательно, что даже такой справедливый человѣкъ, какъ Рѣдька, уходя съ работы, всякій разъ уносилъ съ собою немножко бѣлилъ и олифы. А просить на чай не стыдились даже почтенные старики, имѣвшіе въ Макарихѣ собственные дома, и было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздравляли какое-нибудь ничтожество съ первоначатіемъ или окончаніемъ и, получивъ отъ него гривенникъ, униженно благодарили.

Съ заказчиками они держали себя, какъ лукавые царедворцы, и мнѣ почти каждый день вспоминался шекспировскій Полоній.

— А, должно-быть, дождь будетъ,—говорилъ заказчикъ, глядя на небо.

— Будетъ, безпремѣнно будетъ!—соглашались маляры.

— Впрочемъ, облака не дождевыя. Пожалуй, не будетъ дождя.

— Не будетъ, ваше высокородіе. Вѣрно, не будетъ.

Заглазно они относились къ заказчикамъ вообще иронически, и, когда, напримѣръ, видѣли барина, сидящаго на балконѣ съ газетой, то замѣчали:

— Газету читаетъ, а ѣсть небось нечего.

Дома у своихъ я не бывалъ. Возвращаясь съ работы, я часто находилъ у себя записки, короткія и тревожныя, въ которыхъ сестра писала мнѣ объ отцѣ: то онъ былъ за обѣдомъ какъ-то особенно задумчивъ и ничего не ѣлъ, то

пошатнулся, то заперся у себя и долго не выходилъ. Такія извѣстія волновали меня, я не могъ спать и, случалось даже, ходилъ ночью по Большой Дворянской мимо нашего дома, вглядываясь въ темныя окна и стараясь угадать, все ли дома благополучно. По воскресеньямъ приходила ко мнѣ сестра, но украдкой, будто не ко мнѣ, а къ нянькѣ. И если входила ко мнѣ, то очень блѣдная, съ заплаканными глазами, и тотчасъ же начинала плакать:

— Нашъ отецъ не перенесетъ этого! — говорила она.— Если, не дай Богъ, съ нимъ случится что-нибудь, то тебя всю жизнь будетъ мучить совѣсть. Это ужасно, Мисаилъ! Именемъ нашей матери умоляю тебя: исправься!

— Сестра, дорогая моя, — говорилъ я: — какъ исправляться, если я убѣжденъ, что поступаю по совѣсти? Пойми!

— Я знаю, что по совѣсти, но, можетъ-быть, это можно какъ-нибудь иначе, чтобы никого не огорчать.

— Охъ, батюшки!—вздыхала за дверью старуха.—Пропала твоя головушка!—Быть бѣдѣ, родимые мои, быть бѣдѣ!

VI.

Въ одно изъ воскресеній ко мнѣ неожиданно явился докторъ Благово. Онъ былъ въ кителѣ поверхъ шелковой рубахи и въ высокихъ лакированныхъ сапогахъ.

— А я къ вамъ! — началъ онъ, крѣпко, по-студенчески пожимая мнѣ руку.—Каждый день слышу про васъ и все собираюсь къ вамъ потолковать, какъ говорится, по душамъ. Въ городѣ страшная скука, нѣтъ ни одной живой души, не съ кѣмъ слово сказать. Жарко, Мать Пречистая!— продолжалъ онъ, снимая китель и оставаясь въ одной шелковой рубахѣ.—Голубчикъ, позвольте съ вами поговорить!

Мнѣ самому было скучно и давно уже хотѣлось побыть въ обществѣ не маляровъ. Я искренно обрадовался ему.

— Начну съ того, — сказалъ онъ, садясь на мою постель: — что я вамъ сочувствую отъ всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь. Здѣсь въ городѣ васъ не понимаютъ, да и некому понимать, такъ какъ, сами знаете, здѣсь, за весьма малыми исключеніями, все гоголевскія свиныя рыла. Но я тогда же на пикникѣ сразу угадалъ васъ. Вы—благородная душа, честный, возвышенный человѣкъ! Уважаю васъ и считаю за великую честь пожать

вашу руку! — продолжалъ онъ восторженно. — Чтобы измѣнить такъ рѣзко и круто свою жизнь, какъ сдѣлали это вы, нужно было пережить сложный душевный процессъ, и, чтобы продолжать теперь эту жизнь и постоянно находиться на высотѣ своихъ убѣжденій, вы должны изо дня-въ-день напряженно работать и умомъ, и сердцемъ. Теперь, для начала нашей бесѣды, скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряженіе, всю эту потенцію, вы затратили на что-нибудь другое, напримѣръ, на то, чтобы сдѣлаться со временемъ великимъ ученымъ или художникомъ, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнѣе во всѣхъ отношеніяхъ?

Мы разговорились, и когда у насъ зашла рѣчь о физическомъ трудѣ, то я выразилъ такую мысль: нужно, чтобы сильные не порабощали слабыхъ, чтобы меньшинство не было для большинства паразитомъ или насосомъ, высасывающимъ изъ него хронически лучшіе соки, то-есть, нужно, чтобы всѣ безъ исключенія—и сильные и слабые, богатые и бѣдные, равномѣрно участвовали въ борьбѣ за существованіе, каждый самъ за себя, а въ этомъ отношеніи нѣтъ лучшаго нивелирующаго средства, какъ физическій трудъ, въ качествѣ общей для всѣхъ обязательной повинности.

— Стало-быть, по-вашему, физическимъ трудомъ должны заниматься всѣ безъ исключенія?—спросилъ докторъ.

— Да.

— А не находите ли вы, что если всѣ, въ томъ числѣ и лучшіе люди, мыслители и великіе ученые, участвуя въ борьбѣ за существованіе каждый самъ за себя, станутъ тратить время на битье щебня и окраску крышъ, то это можетъ угрожать прогрессу серьезною опасностью?

— Въ чемъ же опасность? — спросилъ я. — Вѣдь прогрессъ — въ дѣлахъ любви, въ исполненіи нравственнаго закона. Если вы никого не порабощаете, никому не въ тягость, то какого вамъ нужно еще прогресса?

— Но, позвольте!—вдругъ вспылилъ Благово, вставая.— Но, позвольте! Если улитка въ своей раковинѣ занимается личнымъ самосовершенствованіемъ и ковыряется въ нравственномъ законѣ, то вы это называете прогрессомъ?

— Почему же—ковыряется?—обидѣлся я.—Если вы не заставляете своихъ ближнихъ кормить васъ, одѣвать, возить, защищать васъ отъ враговъ, то въ жизни, которая

вся построена на рабствѣ, развѣ это не прогрессъ? По-моему, это прогрессъ самый настоящій и, пожалуй, единственно возможный и нужный для человѣка.

— Предѣлы общечеловѣческаго, мірового прогресса въ безконечности, и говорить о какомъ-то «возможномъ» прогрессѣ, ограниченномъ нашими нуждами или временными воззрѣніями, это, извините, даже странно.

— Если предѣлы прогресса въ безконечности, какъ вы говорите, то, значитъ, цѣли его неопредѣленны, — сказалъ я.—Жить и не знать опредѣленно, для чего живешь!

— Пусть! Но это «не знать» не такъ скучно, какъ ваше «знать». Я иду по лѣстницѣ, которая называется прогрессомъ, цивилизаціей, культурой, иду и иду, не зная опредѣленно, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лѣстницы стоитъ жить; а вы знаете, ради чего живете, — ради того, чтобы одни не порабощали другихъ, чтобы художникъ и тотъ, кто растираетъ для него краски, обѣдали одинаково. Но вѣдь это мѣщанская, кухонная, сѣрая сторона жизни, и для нея одной жить—неужели не противно? Если одни насѣкомыя порабощаютъ другихъ, то и чортъ съ ними, пусть съѣдаютъ другъ друга! Не о нихъ намъ надо думать, — вѣдь они все равно помрутъ и сгніютъ, какъ ни спасайте ихъ отъ рабства,—надо думать о томъ великомъ иксѣ, который ожидаетъ все человѣчество въ отдаленномъ будущемъ.

Благово спорилъ со мною горячо, но въ то же время было замѣтно, что его волнуетъ какая-то посторонняя мысль.

— Должно-быть, ваша сестра не придетъ,—сказалъ онъ, посмотрѣвъ на часы.—Вчера она была у нашихъ и говорила, что будетъ у васъ. Вы все толкуете — рабство, рабство...—продолжалъ онъ.—Но вѣдь это вопросъ частный, и всѣ такіе вопросы рѣшаются человѣчествомъ постепенно, само собой.

Заговорили о постепенности. Я сказалъ, что вопросъ — дѣлать добро или зло, каждый рѣшаетъ самъ за себя, не дожидаясь, когда человѣчество подойдетъ къ рѣшенію этого вопроса путемъ постепеннаго развитія. Къ тому же постепенность — палка о двухъ концахъ. Рядомъ съ процессомъ постепеннаго развитія идей гуманныхъ наблюдается и постепенный ростъ идей иного рода. Крѣпостного права

нѣтъ, зато растетъ капитализмъ. И въ самый разгаръ освободительныхъ идей, такъ же, какъ во времена Батыя, большинство кормитъ, одѣваетъ и защищаетъ меньшинство, оставаясь само голоднымъ, раздѣтымъ и беззащитнымъ. Такой порядокъ прекрасно уживается съ какими угодно вѣяніями и теченіями, потому что искусство порабощенія тоже культивируется постепенно. Мы уже не деремъ на конюшнѣ нашихъ лакеевъ, но мы придаемъ рабству утонченныя формы, по крайней мѣрѣ, умѣемъ находить для него оправданіе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. У насъ идеи — идеями, но если бы теперь, въ концѣ XIX вѣка, можно было взвалить на рабочихъ еще также наши самыя непріятныя физіологическія отправленія, то мы взвалили бы, и потомъ, конечно, говорили бы въ свое оправданіе, что если, молъ, лучшіе люди, мыслители и великіе ученые станутъ тратить свое золотое время на эти отправленія, то прогрессу можетъ угрожать серьезная опасность.

Но вотъ пришла и сестра. Увидѣвъ доктора, она засуетилась, встревожилась и тотчасъ же заговорила о томъ, что ей пора домой, къ отцу.

— Клеопатра Алексѣевна, — сказалъ Благово убѣдительно, прижимая обѣ руки къ сердцу: — что̀ станется съ вашимъ батюшкой, если вы проведете со мною и братомъ какихъ-нибудь полчаса?

Онъ былъ простосердеченъ и умѣлъ сообщать свое оживленіе другимъ. Моя сестра, подумавъ минуту, разсмѣялась и повеселѣла вдругъ, внезапно, какъ тогда на пикникѣ. Мы пошли въ поле и, расположившись на травѣ, продолжали нашъ разговоръ и смотрѣли на городъ, гдѣ всѣ окна, обращенныя на западъ, казались ярко золотыми отъ того, что заходило солнце.

Послѣ этого, всякій разъ, когда приходила ко мнѣ сестра, являлся и Благово, и оба здоровались съ такимъ видомъ, какъ будто встрѣча ихъ у меня была нечаянной. Сестра слушала, какъ я и докторъ спорили, и въ это время выраженіе у нея было радостно восторженное, умиленное и пытливое, и мнѣ казалось, что передъ ея глазами открывался мало-по-малу иной міръ, какого она раньше не видала даже во снѣ и какой старалась угадать теперь. Безъ доктора она была тиха и грустна, и если теперь иногда

плакала, сидя на моей постели, то уже по причинамъ, о которыхъ не говорила.

Въ августѣ Рѣдька приказалъ намъ собираться на линію. Дня за два передъ тѣмъ, какъ насъ «погнали» за городъ, ко мнѣ пришелъ отецъ. Онъ сѣлъ и не спѣша, не глядя на меня, вытеръ свое красное лицо, потомъ досталъ изъ кармана нашъ городской «Вѣстникъ» и медленно, съ удареніемъ на каждомъ словѣ, прочелъ о томъ, что мой сверстникъ, сынъ управляющаго конторою Государственнаго банка, назначенъ начальникомъ отдѣленія въ казенной палатѣ.

— А теперь взгляни на себя,—сказалъ онъ, складывая газету:—нищій, оборванецъ, негодяй! Даже мѣщане и крестьяне получаютъ образованіе, чтобы стать людьми, а ты, Полозневъ, имѣющій знатныхъ, благородныхъ предковъ, стремишься въ грязь! Но я пришелъ сюда не для того, чтобы разговаривать съ тобою; на тебя я уже махнулъ рукой,—продолжалъ онъ придушеннымъ голосомъ, вставая.— Я пришелъ затѣмъ, чтобы узнать: гдѣ твоя сестра, негодяй? Она ушла изъ дому послѣ обѣда, и вотъ уже восьмой часъ, а ея нѣтъ. Она стала часто уходить, не говоря мнѣ, она уже менѣе почтительна, — и я вижу тутъ твое злое, подлое вліяніе. Гдѣ она?

Въ рукахъ у него былъ знакомый мнѣ зонтикъ, и я уже растерялся и вытянулся, какъ школьникъ, ожидая, что отецъ начнетъ бить меня, но онъ замѣтилъ взглядъ мой, брошенный на зонтикъ, и, вѣроятно, это сдержало его.

— Живи, какъ хочешь!—сказалъ онъ.—Я лишаю тебя моего благословенія!

— Батюшки-свѣты!—бормотала за дверью нянька.—Бѣдная, несчастная твоя головушка! Охъ, чуетъ мое сердце, чуетъ!

Я работалъ на линіи. Весь августъ непрерывно шли дожди, было сыро и холодно; съ полей не свозили хлѣба, и въ большихъ хозяйствахъ, гдѣ косили машинами, пшеница лежала не въ копнахъ, а въ кучахъ, и я помню, какъ эти печальныя кучи съ каждымъ днемъ становились все темнѣе, и зерно прорастало въ нихъ. Работать было трудно; ливень портилъ все, что мы успѣвали сдѣлать. Жить и спать въ станціонныхъ зданіяхъ намъ не позволялось, и ютились мы въ грязныхъ, сырыхъ землянкахъ, гдѣ лѣтомъ

жила «чугунка», и по ночамъ я не могъ спать отъ холода и отъ того, что по лицу и по рукамъ ползали мокрицы. А когда работали около мостовъ, то по вечерамъ приходила къ намъ гурьбой «чугунка» только затѣмъ, чтобы бить маляровъ,—для нея это былъ родъ спорта. Насъ били, выкрадывали у насъ кисти и, чтобы раздразнить насъ и вызвать на драку, портили нашу работу, напримѣръ, вымазывали будки зеленою краской. Въ довершеніе всѣхъ нашихъ бѣдъ, Рѣдька сталъ платить крайне неисправно. Всѣ малярныя работы на участкѣ были сданы подрядчику, этотъ сдалъ другому, и уже этотъ сдалъ Рѣдькѣ, выговоривъ себѣ процентовъ двадцать. Работа сама-по-себѣ была невыгодна, а тутъ еще дожди; время пропадало даромъ, мы не работали, а Рѣдька былъ обязанъ платить ребятамъ поденно. Голодные маляры едва не били его, обзывали жуликомъ, кровопійцей, Іудой-христопродавцемъ, а онъ, бѣдняга, вздыхалъ, въ отчаяніи воздѣвалъ къ небу руки и то-и-дѣло ходилъ къ госпожѣ Чепраковой за деньгами.

VII.

Наступила дождливая, грязная, темная осень. Наступила безработица, и я дня по три сидѣлъ дома безъ дѣла, или же исполнялъ разныя не малярныя работы, напримѣръ, таскалъ землю для чернаго наката, получая за это по двугривенному въ день. Докторъ Благово уѣхалъ въ Петербургъ. Сестра не приходила ко мнѣ. Рѣдька лежалъ у себя дома больной, со дня на день ожидая смерти.

И настроеніе было осеннее. Быть-можетъ, отъ того, что, ставши рабочимъ, я уже видѣлъ нашу городскую жизнь только съ ея изнанки, почти каждый день мнѣ приходилось дѣлать открытія, приводившія меня просто въ отчаяніе. Тѣ мои сограждане, о которыхъ раньше я не былъ никакого мнѣнія, или которые съ внѣшней стороны представлялись вполнѣ порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Насъ, простыхъ людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по цѣлымъ часамъ дожидаться въ холодныхъ сѣняхъ или въ кухнѣ, насъ оскорбляли и обращались съ нами крайне грубо. Осенью въ нашемъ клубѣ я оклеивалъ обоями читальню и двѣ комнаты; мнѣ заплатили по семи копеекъ за кусокъ, но приказали расписаться—по двѣнадцати, и когда

я отказался исполнить это, то благообразный господинъ въ золотыхъ очкахъ, должно-быть, одинъ изъ старшинъ клуба, сказалъ мнѣ:

— Если ты, мерзавецъ, будешь еще много разговаривать, то я тебѣ всю морду побью.

И когда лакей шепнулъ ему, что я сынъ архитектора Полознева, то онъ сконфузился, покраснѣлъ, но тотчасъ же оправился и сказалъ:

— А чортъ съ нимъ!

Въ лавкахъ намъ, рабочимъ, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай; въ церкви насъ толкала полиція, въ больницахъ насъ обирали фельдшера и сидѣлки, и, если мы по бѣдности не давали имъ взятокъ, то насъ въ отместку кормили изъ грязной посуды; на почтѣ самый маленькій чиновникъ считалъ себя въ правѣ обращаться съ нами, какъ съ животными, и кричать грубо и нагло: «Обожди! Куда лѣзешь?» Даже дворовыя собаки—и тѣ относились къ намъ недружелюбно и бросались на насъ съ какою-то особенною злобой. Но главное, что больше всего поражало меня въ моемъ новомъ положеніи, это совершенное отсутствіе справедливости, именно то самое, что у народа опредѣляется словами: «Бога забыли». Рѣдкій день обходился безъ мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшіе намъ олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о какихъ нашихъ правахъ не могло быть и рѣчи, и свои заработанныя деньги мы должны были всякій разъ выпрашивать какъ милостыню, стоя у чернаго крыльца безъ шапокъ.

Я оклеивалъ въ клубѣ одну изъ комнатъ, смежныхъ съ читальней; вечеромъ, когда я уже собирался уходить, въ эту комнату вошла дочь инженера Должикова, съ пачкой книгъ въ рукахъ.

Я поклонился ей.

— А, здравствуйте! — сказала она, тотчасъ же узнавъ меня и протягивая руку.—Очень рада васъ видѣть.

Она улыбалась и осматривала съ любопытствомъ и съ недоумѣніемъ мою блузу, ведро съ клейстеромъ, обои, растянутые на полу; я смутился, и ей тоже стало неловко.

— Вы извините, что я на васъ смотрю такъ,—сказала она.—Мнѣ много говорили о васъ. Особенно докторъ Благово,—онъ просто влюбленъ въ васъ. И съ сестрой вашей

я уже познакомилась; милая, симпатичная дѣвушка, но я никакъ не могла убѣдить ее, что въ вашемъ опрощеніи нѣтъ ничего ужаснаго. Напротивъ, вы теперь самый интересный человѣкъ въ городѣ.

Она опять поглядѣла на ведро съ клейстеромъ, на обои и продолжала:

— Я просила доктора Благово познакомить меня съ вами поближе, но, очевидно, онъ забылъ или не успѣлъ. Какъ бы ни было, мы все-таки знакомы, и если бы вы пожаловали ко мнѣ какъ-нибудь запросто, то я была бы вамъ чрезвычайно обязана. Мнѣ такъ хочется поговорить! Я простой человѣкъ,—сказала она, протягивая мнѣ руку:—и надѣюсь, у меня вы будете безъ стѣсненія. Отца нѣтъ, онъ въ Петербургѣ.

Она ушла въ читальню, шурша платьемъ, а я, придя домой, долго не могъ уснуть.

Въ эту же невеселую осень какая-то добрая душа, очевидно, желая хотя немного облегчить мое существованіе, изрѣдка присылала мнѣ то чаю и лимоновъ, то печеній, то жареныхъ рябчиковъ. Карповна говорила, что приносилъ это всякій разъ солдатъ, а отъ кого—неизвѣстно; и солдатъ разспрашивалъ, здоровъ ли я, каждый ли день я обѣдаю и есть ли у меня теплое платье. Когда наступили морозы, мнѣ такимъ же образомъ, въ мое отсутствіе, съ солдатомъ прислали мягкій вязаный шарфъ, отъ котораго шелъ нѣжный, едва уловимый запахъ духовъ, и я угадалъ, кто была моя добрая фея. Отъ шарфа пахло ландышами, любимыми духами Анюты Благово.

Къ зимѣ набралось больше работы, стало веселѣй. Рѣдька опять ожилъ, и мы вмѣстѣ работали въ кладбищенской церкви, гдѣ шпатлевали иконостасъ для позолоты. Это была работа чистая, покойная и, какъ говорили наши, спорая. Въ одинъ день можно было много сработать, и притомъ время бѣжало быстро, незамѣтно. Ни брани, ни смѣха, ни громкихъ разговоровъ. Само мѣсто обязывало къ тишинѣ и благочинію и располагало къ тихимъ, серьезнымъ мыслямъ. Погруженные въ работу, мы стояли или сидѣли неподвижно, какъ статуи; была тишина мертвая, какая подобаетъ кладбищу, такъ что если падалъ инструментъ или трещалъ огонь въ лампадкѣ, то звуки эти раздавались гулко и рѣзко—и мы оглядывались. Послѣ долгой тишины слышалось гу-

дѣнье, точно летѣли пчелы: это у притвора, не торопясь, вполголоса, отпѣвали младенца; или живописецъ, писавшій на куполѣ голубя и вокругъ него звѣзды, начиналъ тихо посвистывать и, спохватившись, тотчасъ же умолкалъ; или Рѣдька, отвѣчая своимъ мыслямъ, говорилъ со вздохомъ: «Все можетъ быть! Все можетъ быть!»; или надъ нашими головами раздавался медленный заунывный звонъ, и маляры замѣчали, что это, должно-быть, богатаго покойника несутъ...

Дни проводилъ я въ этой тишинѣ, въ церковныхъ сумеркахъ, а въ длинные вечера игралъ на бильярдѣ или ходилъ въ театръ на галлерею, въ своей новой триковой парѣ, которую я купилъ себѣ на заработанныя деньги. У Ажогиныхъ уже начались спектакли и концерты; декораціи писалъ теперь одинъ Рѣдька. Онъ разсказывалъ мнѣ содержаніе пьесъ и живыхъ картинъ, какія ему приходилось видѣть у Ажогиныхъ, и я слушалъ его съ завистью. Меня сильно тянуло на репетиціи, но идти къ Ажогинымъ я не рѣшался.

За недѣлю до Рождества пріѣхалъ докторъ Благово. И опять мы спорили, и по вечерамъ играли на бильярдѣ. Играя, онъ снималъ сюртукъ и разстегивалъ на груди рубаху, и вообще старался почему-то придать себѣ видъ отчаяннаго кутилы. Пилъ онъ немного, но шумно, и ухитрялся оставлять въ такомъ плохомъ, дешевомъ трактирѣ, какъ «Волга», по двадцати рублей въ вечеръ.

Опять у меня стала бывать сестра; оба они, увидѣвъ другъ друга, всякій разъ удивлялись, но по радостному, виноватому лицу ея видно было, что встрѣчи эти были не случайныя. Какъ-то вечеромъ, когда мы играли на бильярдѣ, докторъ сказалъ мнѣ:

— Послушайте, отчего вы не бываете у Должиковой? Вы не знаете Маріи Викторовны, это умница, прелесть, простая, добрая душа.

Я разсказалъ ему, какъ весною принялъ меня инженеръ.

— Пустое!—разсмѣялся докторъ.—Инженеръ—самъ по себѣ, а она—сама по себѣ. Право, голубчикъ, не обижайте ея, сходите къ ней какъ-нибудь. Напримѣръ, давайте сходимъ къ ней завтра вечеромъ. Хотите?

Онъ уговорилъ меня. На другой день вечеромъ, надѣвши свою новую триковую пару и волнуясь, я отправился къ

Должиковой. Лакей уже не показался мнѣ такимъ надменнымъ и страшнымъ и мебель такою роскошною, какъ въ то утро, когда я являлся сюда просителемъ. Марія Викторовна ожидала меня и встрѣтила, какъ стараго знакомаго, и пожала руку крѣпко, дружески. Она была въ сѣромъ суконномъ платьѣ съ широкими рукавами и въ прическѣ, которую у насъ въ городѣ, годъ спустя, когда она вошла въ моду, называли «собачьими ушами». Волосы съ висковъ были зачесаны на уши, и отъ этого лицо у Маріи Викторовны стало какъ будто шире, и она показалась мнѣ въ этотъ разъ очень похожей на своего отца, у котораго лицо, было широкое, румяное и въ выраженіи было что-то ямщицкое. Она была красива и изящна, но не молода, лѣтъ тридцати на видъ, хотя на самомъ дѣлѣ ей было двадцать пять, не больше.

— Милый докторъ, какъ я ему благодарна! — говорила она, сажая меня.—Если бы не онъ, то вы не пришли бы ко мнѣ. Мнѣ скучно до смерти! Отецъ уѣхалъ и оставилъ меня одну, и я не знаю, что мнѣ дѣлать въ этомъ городѣ.

Затѣмъ она стала разспрашивать меня, гдѣ я теперь работаю, сколько получаю, гдѣ живу.

— Вы тратите на себя только то, что зарабатываете?— спросила она.

— Да.

— Счастливый человѣкъ! — вздохнула она. — Въ жизни все зло, мнѣ кажется, отъ праздности, отъ скуки, отъ душевной пустоты, а все это неизбѣжно, когда привыкаешь жить на счетъ другихъ. Не подумайте, что я рисуюсь, искренно вамъ говорю: неинтересно и непріятно быть богатымъ. Пріобрѣтайте друзей богатствомъ неправеднымъ— такъ сказано, потому что вообще нѣтъ и не можетъ быть богатства праведнаго.

Она съ серьезнымъ, холоднымъ выраженіемъ оглядѣла мебель, точно хотѣла сосчитать ее, и продолжала:

— Комфортъ и удобства обладаютъ волшебною силой; они мало-по-малу затягиваютъ людей даже съ сильною волей. Когда-то отецъ и я жили небогато и просто, а теперь видите какъ. Слыханное ли дѣло, — сказала она, пожавъ плечами:—мы проживаемъ до двадцати тысячъ въ годъ! Въ провинціи!

— На комфортъ и удобства приходится смотрѣть, какъ

на неизбѣжную привилегію капитала и образованія,—сказалъ я:—и мнѣ кажется, что удобства жизни можно сочетать съ какимъ угодно, даже съ самымъ тяжелымъ и грязнымъ трудомъ. Вашъ отецъ богатъ, однакоже, какъ онъ говоритъ, ему пришлось побывать и въ машинистахъ, и въ простыхъ смазчикахъ.

Она улыбнулась и съ сомнѣніемъ покачала головой.

— Папа иногда ѣстъ и тюрю съ квасомъ, — сказала она.—Забава, прихоть!

Въ это время послышался звонокъ и она встала.

— Образованные и богатые должны работать, какъ всѣ,— продолжала она:—а если комфортъ, то одинаково для всѣхъ. Никакихъ привилегій не должно быть. Ну, Богъ съ нею, съ философіей. Разскажите мнѣ что-нибудь веселенькое, Разскажите мнѣ про маляровъ. Какіе они? Смѣшные?

Пришелъ докторъ. Я сталъ разсказывать про маляровъ, но съ непривычки стѣснялся и разсказывалъ, какъ этнографъ, серьезно и вяло. Докторъ тоже разсказалъ нѣсколько анекдотовъ изъ жизни мастеровыхъ. Онъ пошатывался, плакалъ, становился на колѣни и даже, изображая пьянаго, ложился на полъ. Это была настоящая актерская игра, и Марія Викторовна, глядя на него, хохотала до слезъ. Потомъ онъ игралъ на роялѣ и пѣлъ своимъ пріятнымъ жиденькимъ теноромъ, а Марія Викторовна стояла возлѣ и выбирала для него, что пѣть, и поправляла, когда онъ ошибался.

— Я слышалъ, вы тоже поете?—спросилъ я.

— Тоже! — ужаснулся докторъ. — Она—чудная пѣвица, артистка, а вы—тоже! Эка хватилъ!

— Я когда-то занималась серьезно, — отвѣтила она на мой вопросъ:—но теперь бросила.

Сидя на низкой скамеечкѣ, она разсказывала намъ про свою жизнь въ Петербургѣ и изображала въ лицахъ извѣстныхъ пѣвцовъ, передразнивая ихъ голоса и манеру пѣть; рисовала въ альбомѣ доктора, потомъ меня, рисовала плохо, но оба мы вышли похожи. Она смѣялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло къ ней, чѣмъ разговоры о богатствѣ неправедномъ, и мнѣ казалось, что говорила она со мною давеча о богатствѣ и комфортѣ не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса. Я мысленно ставилъ ее рядомъ съ на-

шими барышнями, и даже красивая, солидная Анюта Благово не выдерживала сравненія съ нею; разница была громадная, какъ между хорошей культурной розой и дикимъ шиповникомъ.

Мы втроемъ ужинали. Докторъ и Марія Викторовна пили красное вино, шампанское и кофе съ коньякомъ; они чокались и пили за дружбу, за умъ, за прогрессъ, за свободу и не пьянѣли, а только раскраснѣлись и часто хохотали безъ причины, до слезъ. Чтобы не показаться скучнымъ, и я тоже пилъ красное вино.

— Талантливыя, богато одаренныя натуры, — сказала Должикова:—знаютъ, какъ имъ жить, и идутъ своею дорогой; средніе же люди, какъ я, напримѣръ, ничего не знаютъ и ничего сами не могутъ; имъ ничего больше не остается, какъ подмѣтить какое-нибудь глубокое общественное теченіе и плыть, куда оно понесетъ.

— Развѣ можно подмѣтить то, чего нѣтъ? — спросилъ докторъ.

— Нѣтъ, потому что мы не видимъ.

— Такъ ли? Общественныя теченія—это новая литература выдумала. Ихъ нѣтъ у насъ.

Начался споръ.

— Никакихъ глубокихъ общественныхъ теченій у насъ нѣтъ и не было,—говорилъ докторъ громко.—Мало ли чего не выдумала новая литература! Она выдумала еще какихъ-то интеллигентныхъ тружениковъ въ деревнѣ, а у насъ обыщите всѣ деревни и найдете развѣ только Неуважай-Корыто въ пиджакѣ или въ черномъ сюртукѣ, дѣлающаго въ словѣ «еще» четыре ошибки. Культурная жизнь у насъ еще не начиналась. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и пятьсотъ лѣтъ назадъ. Теченія, вѣянія, но вѣдь все это мелко, мизерабельно, притянуто къ пошлымъ, грошовымъ интересикамъ—и неужели въ нихъ можно видѣть что-нибудь серьезное? Если вамъ покажется, что вы подмѣтили глубокое общественное теченіе и, слѣдуя за нимъ, вы посвятите вашу жизнь такимъ задачамъ въ современномъ вкусѣ, какъ освобожденіе насѣкомыхъ отъ рабства или воздержаніе отъ говяжьихъ котлетъ, то—поздравляю васъ, сударыня. Учиться намъ нужно, учиться и учиться, а съ глубокими общественными тече-

ніями погодимъ: мы еще не доросли до нихъ и, по совѣсти, ничего въ нихъ не понимаемъ.

— Вы не понимаете, а я понимаю, — сказала Марія Викторовна.—Вы сегодня Богъ знаетъ какой скучный!

— Наше дѣло—учиться и учиться, стараться накоплять возможно больше знаній, потому что серьезныя общественныя теченія тамъ, гдѣ знанія, и счастье будущаго человѣчества только въ знаніи. Пью за науку!

— Одно несомнѣнно: надо устраивать себѣ жизнь какъ-нибудь по-иному,—сказала Марія Викторовна, помолчавъ и подумавъ:—а та жизнь, какая была до сихъ поръ, ничего не стоитъ. Не будемъ говорить о ней.

Когда мы вышли отъ нея, то въ соборѣ било уже два часа.

— Понравилась? — спросилъ докторъ. — Не правда ли, славная?

Въ первый день Рождества мы обѣдали у Маріи Викторовны, и потомъ, въ продолженіе всѣхъ праздниковъ, ходили къ ней почти каждый день. У нея никто не бывалъ, кромѣ насъ, и она была права, когда говорила, что, кромѣ меня и доктора, у нея въ городѣ нѣтъ никого знакомыхъ. Время мы проводили бо́льшею частью въ разговорахъ; иногда докторъ приносилъ съ собою какую-нибудь книгу или журналъ и читалъ намъ вслухъ. Въ сущности, это былъ первый образованный человѣкъ, какого я встрѣтилъ въ жизни. Не могу судить, много ли онъ зналъ, но онъ постоянно обнаруживалъ свои знанія, такъ какъ хотѣлъ, чтобы и другіе также знали. Когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь относящемся къ медицинѣ, то не походилъ ни на одного изъ нашихъ городскихъ докторовъ, а производилъ какое-то новое, особенное впечатлѣніе, и мнѣ казалось, что если бы онъ захотѣлъ, то могъ бы стать настоящимъ ученымъ. И это, пожалуй, былъ единственный человѣкъ, который въ то время имѣлъ серьезное вліяніе на меня. Видаясь съ нимъ и прочитывая книги, какія онъ давалъ мнѣ, я сталъ мало-по-малу чувствовать потребность въ знаніяхъ, которыя одухотворяли бы мой невеселый трудъ. Мнѣ уже казалось страннымъ, что раньше я не зналъ, напримѣръ, что весь міръ состоитъ изъ шестидесяти простыхъ тѣлъ, не зналъ, что̀ такое олифа, что̀ такое краски, и какъ-то могъ обходиться безъ этихъ знаній. Знакомство съ докторомъ подняло

меня и нравственно. Я часто спорилъ съ нимъ, и хотя обыкновенно оставался при своемъ мнѣніи, но все же, благодаря ему, я мало-по-малу сталъ замѣчать, что для самого меня не все было ясно, и я уже старался выработать въ себѣ возможно опредѣленныя убѣжденія, чтобы указанія совѣсти были опредѣленны и не имѣли бы въ себѣ ничего смутнаго. Тѣмъ не менѣе все-таки этотъ самый образованный и лучшій человѣкъ въ городѣ далеко еще не былъ совершенствомъ. Въ его манерахъ, въ привычкѣ всякій разговоръ сводить на споръ, въ его пріятномъ тенорѣ и даже въ его ласковости было что-то грубоватое, семинарское, и когда онъ снималъ сюртукъ и оставался въ одной шелковой рубахѣ или бросалъ въ трактирѣ лакею на чай, то мнѣ казалось всякій разъ, что культура — культурой, а татаринъ все еще бродитъ въ немъ.

На Крещеніе онъ опять уѣхалъ въ Петербургъ. Онъ уѣхалъ утромъ, а послѣ обѣда пришла ко мнѣ сестра. Не снимая шубы и шапки, она сидѣла молча, очень блѣдная, и смотрѣла въ одну точку. Ее познабливало, и видно было, что она перемогалась.

— Ты, должно-быть, простудилась,—сказалъ я.

Глаза у нея наполнились слезами, она встала и пошла къ Карповнѣ, не сказавъ мнѣ ни слова, точно я обидѣлъ ее. И немного погодя я слышалъ, какъ она говорила тономъ горькаго упрека:

— Нянька, для чего я жила до сихъ поръ? Для чего? Ты скажи: развѣ я не погубила своей молодости? Въ лучшіе годы своей жизни только и знать, что записывать расходы, разливать чай, считать копейки, занимать гостей и думать, что выше этого ничего нѣтъ на свѣтѣ! Нянька, пойми, вѣдь и у меня есть человѣческіе запросы, и я хочу жить, а изъ меня сдѣлали какую-ту ключницу. Вѣдь это ужасно, ужасно!

Она швырнула ключи въ дверь, и они со звономъ упали въ моей комнатѣ. Это были ключи отъ буфета, отъ кухоннаго шкапа, отъ погреба и отъ чайной шкатулки,—тѣ самые ключи, которые когда-то еще носила моя мать.

— Ахъ, охъ, батюшки!—ужасалась старуха.—Святители-угодники!

Уходя домой, сестра зашла ко мнѣ, чтобы подобрать ключи, и сказала:

— Ты извини меня. Со мною въ послѣднее время дѣлается что-то странное.

VIII.

Какъ-то, вернувшись отъ Маріи Викторовны поздно вечеромъ, я засталъ у себя въ комнатѣ молодого околоточнаго въ новомъ мундирѣ; онъ сидѣлъ за моимъ столомъ и перелистывалъ книгу.

— Наконецъ-то! — сказалъ онъ, вставая и потягиваясь.—Я къ вамъ уже въ третій разъ прихожу. Губернаторъ приказалъ, чтобы вы пришли къ нему завтра ровно въ девять часовъ утра. Непремѣнно.

Онъ взялъ съ меня подписку, что я въ точности исполню приказъ его превосходительства, и ушелъ. Это позднее посѣщеніе околоточнаго и неожиданное приглашеніе къ губернатору подѣйствовали на меня самымъ угнетающимъ образомъ. У меня съ ранняго дѣтства остался страхъ передъ жандармами, полицейскими, судейскими, и теперь меня томило безпокойство, будто я въ самомъ дѣлѣ былъ виноватъ въ чемъ-то. И я никакъ не могъ уснуть. Нянька и Прокофій тоже были взволнованы и не спали. Къ тому же еще у няньки болѣло ухо, она стонала и нѣсколько разъ принималась плакать отъ боли. Услышавъ, что я не сплю, Прокофій осторожно вошелъ ко мнѣ съ лампочкой и сѣлъ у стола.

— Вамъ бы перцовки выпить... — сказалъ онъ, подумавъ. — Въ сей юдоли какъ выпьешь, оно и ничего. И ежели бы мамашѣ влить въ ухо перцовки, то большая польза.

Въ третьемъ часу онъ собрался въ бойню за мясомъ. Я зналъ, что мнѣ ужъ не уснуть до утра, и, чтобы какъ-нибудь скоротать время до девяти часовъ, я отправился вмѣстѣ съ нимъ. Мы шли съ фонаремъ, а его мальчикъ Николка, лѣтъ тринадцати, съ синими пятнами на лицѣ отъ ознобовъ, по выраженію — совершенный разбойникъ, ѣхалъ за нами въ саняхъ, хриплымъ голосомъ понукая лошадь.

— Васъ у губернатора, должно, наказывать будутъ, — говорилъ мнѣ дорогой Прокофій. — Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждаго званія есть своя

наука. А вы не держитесь своей науки, и этого вамъ нельзя дозволить.

Бойня находилась за кладбищемъ, и раньше я видѣлъ ее только издали. Это были три мрачныхъ сарая, окруженные сѣрымъ заборомъ, отъ которыхъ, когда дулъ съ нихъ стороны вѣтеръ, лѣтомъ въ жаркіе дни несло удушливою вонью. Теперь, войдя во дворъ, впотемкахъ я не видѣлъ сараевъ; мнѣ все попадались лошади и сани, пустыя и уже нагруженныя мясомъ; ходили люди съ фонарями и отвратительно бранились. Бранились и Прокофій, и Николка, такъ же гадко, и въ воздухѣ стоялъ непрерывный гулъ отъ брани, кашля и лошадинаго ржанья.

Пахло трупами и навозомъ. Таяло, снѣгъ уже перемѣшался съ грязью, и мнѣ впотемкахъ казалось, что я хожу по лужамъ крови.

Набравши полныя сани мяса, мы отправились на рынокъ въ мясную лавку. Стало свѣтать. Пошли одна за другою кухарки съ корзинами и пожилыя дамы въ салопахъ. Прокофій съ топоромъ въ рукѣ, въ бѣломъ, обрызганномъ кровью, фартукѣ, страшно клялся, крестился на церковь, кричалъ громко на весь рынокъ, увѣряя, что онъ отдаетъ мясо по своей цѣнѣ и даже себѣ въ убытокъ. Онъ обвѣшивалъ, обсчитывалъ, кухарки видѣли это, но, оглушенныя его крикомъ, не протестовали, а только обзывали его катомъ. Поднимая и опуская свой страшный топоръ, онъ принималъ картинныя позы и всякій разъ со свирѣпымъ выраженіемъ издавалъ звукъ «гекъ!», и я боялся, какъ бы въ самомъ дѣлѣ онъ не отрубилъ кому-нибудь голову или руку.

Я пробылъ въ мясной лавкѣ все утро, и когда, наконецъ, пошелъ къ губернатору, то отъ моей шубы пахло мясомъ и кровью. Душевное состояніе у меня было такое, будто я, по чьему-то приказанію, шелъ съ рогатиной на медвѣдя. Я помню высокую лѣстницу съ полосатымъ ковромъ и молодого чиновника во фракѣ со свѣтлыми пуговицами, который, молча, двумя руками, указалъ мнѣ на дверь и побѣжалъ доложить. Я вошелъ въ залъ, въ которомъ обстановка была роскошна, но холодна и безвкусна, и особенно непріятно рѣзали глаза высокія и узкія зеркала въ простѣнкахъ и ярко-желтыя портьеры на окнахъ; видно было, что губернаторы мѣнялись, а обстановка оставалась

все та же. Молодой чиновникъ опять указалъ мнѣ двумя руками на дверь, и я направился къ большому зеленому, столу, за которымъ стоялъ военный генералъ съ Владиміромъ на шеѣ.

— Господинъ Полозневъ, я просилъ васъ явиться,—началъ онъ, держа въ рукѣ какое-то письмо и раскрывая ротъ широко и кругло, какъ буква *о*: — я просилъ васъ явиться, чтобы объявить вамъ слѣдующее. Вашъ уважаемый батюшка письменно и устно обращался къ губернскому предводителю дворянства, прося его вызвать васъ и поставить вамъ на видъ все несоотвѣтствіе поведенія вашего со званіемъ дворянина, которое вы имѣете честь носить. Его превосходительство Александръ Павловичъ, справедливо полагая, что поведеніе ваше можетъ служить соблазномъ, и находя, что тутъ одного убѣжденія съ его стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное административное вмѣшательство, представилъ мнѣ вотъ въ этомъ письмѣ свои соображенія относительно васъ, которыя я раздѣляю.

Онъ говорилъ это тихо, почтительно, стоя прямо, точно я былъ его начальникомъ, и глядя на меня совсѣмъ не строго. Лицо у него было дряблое, поношенное, все въ морщинахъ, подъ глазами отвисали мѣшки, волоса онъ красилъ, и вообще по наружности нельзя было опредѣлить сколько ему лѣтъ—сорокъ или шестьдесятъ.

— Надѣюсь,—продолжалъ онъ:—что вы оцѣните деликатность почтеннаго Александра Павловича, который обратился ко мнѣ не офиціально, а частнымъ образомъ. Я также пригласилъ васъ не офиціально, и говорю съ вами не какъ губернаторъ, а какъ искренній почитатель вашего родителя. Итакъ, прошу васъ—или измѣнить ваше поведеніе и вернуться къ обязанностямъ, приличнымъ вашему званію, или же, во избѣжаніе соблазна, переселиться въ другое мѣсто, гдѣ васъ не знаютъ и гдѣ вы можете заниматься, чѣмъ вамъ угодно. Въ противномъ же случаѣ я долженъ буду принять крайнія мѣры.

Онъ съ полминуты простоялъ молча, съ открытымъ ртомъ, глядя на меня.

— Вы вегетаріанецъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, ваше превосходительство, я ѣмъ мясо.

Онъ сѣлъ и потянулъ къ себѣ какую-то бумагу; я поклонился и вышелъ.

До обѣда уже не стоило идти на работу. Я отправился домой спать, но не могъ уснуть отъ непріятнаго, болѣзненнаго чувства, навѣяннаго на меня бойней и разговоромъ съ губернаторомъ, и дождавшись вечера, разстроенный, мрачный, пошелъ къ Маріи Викторовнѣ. Я разсказывалъ ей о томъ, какъ я былъ у губернатора, а она смотрѣла на меня съ недоумѣніемъ, точно не вѣрила, и вдругъ захохотала весело, громко, задорно, какъ умѣютъ хохотать только добродушные, смѣшливые люди.

— Если бы это разсказать въ Петербургѣ!—проговорила она, едва не падая отъ смѣха и склоняясь къ своему столу.— Если бы это разсказать въ Петербургѣ!

IX.

Теперь мы видѣлись уже часто, раза по два въ день. Она почти каждый день послѣ обѣда пріѣзжала на кладбище и, поджидая меня, читала надписи на крестахъ и памятникахъ; иногда входила въ церковь и, стоя возлѣ меня, смотрѣла, какъ я работаю. Тишина, наивная работа живописцевъ и позолотчиковъ, разсудительность Рѣдьки, и то, что я наружно ничѣмъ не отличался отъ другихъ мастеровыхъ и работалъ, какъ они, въ одной жилеткѣ и въ опоркахъ, и что мнѣ говорили *ты*—это было ново для нея и трогало ее. Однажды при ней живописецъ, писавшій наверху голубя, крикнулъ мнѣ:

— Мисаилъ, дай-ка мнѣ бѣлилъ!

Я отнесъ ему бѣлилъ, и когда потомъ спускался внизъ по жидкимъ подмосткамъ, она смотрѣла на меня, растроганная до слезъ, и улыбалась.

— Какой вы милый!—сказала она.

У меня съ дѣтства осталось въ памяти, какъ у одного изъ нашихъ богачей вылетѣлъ изъ клѣтки зеленый попугай, и какъ потомъ эта красивая птица цѣлый мѣсяцъ бродила по городу, лѣниво перелетая изъ сада въ садъ, одинокая, безпріютная. И Марія Викторовна напоминала мнѣ эту птицу.

— Кромѣ кладбища, мнѣ теперь положительно негдѣ бывать,—говорила она мнѣ со смѣхомъ.—Городъ прискучилъ до отвращенія. У Ажогиныхъ читаютъ, поютъ, сюсю-

каютъ, я не переношу ихъ въ послѣднее время; ваша сестра—нелюдимка, m-lle Благово за что-то ненавидитъ меня, театра я не люблю. Куда прикажете дѣваться.

Когда я бывалъ у нея, отъ меня пахло краской и скипидаромъ, руки мои были темны—и ей это нравилось; она хотѣла также, чтобы я приходилъ къ ней не иначе, какъ въ своемъ обыкновенномъ рабочемъ платьѣ; но въ гостиной это платье стѣсняло меня, я конфузился, точно былъ въ мундирѣ, и потому, собираясь къ ней, всякій разъ надѣвалъ свою новую триковую пару. И это ей не нравилось.

— А вы, сознайтесь, не вполнѣ еще освоились съ вашею новою ролью,—сказала она мнѣ однажды.—Рабочій костюмъ стѣсняетъ васъ, вамъ неловко въ немъ. Скажите, не отъ того ли это, что въ васъ нѣтъ увѣренности и что вы не удовлетворены? Самый родъ труда, который вы избрали, эта ваша малярія — неужели она удовлетворяетъ васъ? — спросила она, смѣясь.—Я знаю, окраска дѣлаетъ предметы красивѣе и прочнѣе, но вѣдь эти предметы принадлежатъ горожанамъ, богачамъ, и, въ концѣ - концовъ, составляютъ роскошь. Къ тому же вы сами не разъ говорили, что каждый долженъ добывать себѣ хлѣбъ собственными руками, между тѣмъ вы добываете деньги, а не хлѣбъ. Почему бы не держаться буквальнаго смысла вашихъ словъ? Нужно добывать именно хлѣбъ, то-есть нужно пахать, сѣять, косить, молотить или дѣлать что-нибудь такое, что имѣетъ непосредственное отношеніе къ сельскому хозяйству, напримѣръ, пасти коровъ, копать землю, рубить избы...

Она открыла хорошенькій шкапъ, стоявшій около ея письменнаго стола, и сказала:

— Все это я вамъ къ тому говорю, что мнѣ хочется посвятить васъ въ свою тайну. Voilà! Это моя сельскохозяйственная библіотека. Тутъ и поле, и огородъ, и садъ, и скотный дворъ, и пасѣка. Я читаю съ жадностью и уже изучила въ теоріи все до капельки. Моя мечта, моя сладкая грёза: какъ только наступитъ мартъ, уѣду въ нашу Дубечню. Дивно тамъ, изумительно! Не правда ли? Въ первый годъ я буду приглядываться къ дѣлу и привыкать, а на другой годъ уже сама стану работать по-настоящему, не щадя, какъ говорится, живота. Отецъ обѣщалъ подарить мнѣ Дубечню, и я буду дѣлать въ ней все, что захочу.

Раскраснѣвшись, волнуясь до слезъ и смѣясь, она мечтала вслухъ о томъ, какъ она будетъ жить въ Дубечнѣ, и какая это будетъ интересная жизнь. А я завидовалъ ей. Мартъ былъ уже близко, дни становились все больше и больше, и въ яркіе солнечные полдни капало съ крышъ и пахло весной; мнѣ самому хотѣлось въ деревню.

И когда она сказала, что переѣдетъ жить въ Дубечню, мнѣ живо представилось, какъ я останусь въ городѣ одинъ, и я почувствовалъ, что ревную ее къ шкапу съ книгами и къ сельскому хозяйству. Я не зналъ и не любилъ сельскаго хозяйства и хотѣлъ-было сказать ей, что сельское хозяйство есть рабское занятіе, но вспомнилъ, что нѣчто подобное было уже не разъ говорено моимъ отцомъ, и промолчалъ.

Наступилъ Великій постъ. Пріѣхалъ изъ Петербурга инженеръ Викторъ Иванычъ, о существованіи котораго я уже сталъ забывать. Пріѣхалъ онъ неожиданно, не предупредивъ даже телеграммой. Когда я пришелъ, по обыкновенію, вечеромъ, онъ умытый, подстриженный, помолодѣвшій лѣтъ на десять, ходилъ по гостиной и что-то разсказывалъ; дочь его, стоя на колѣняхъ, вынимала изъ чемодановъ коробки, флаконы, книги и подавала все это лакею Павлу. Увидавъ инженера, я невольно сдѣлалъ шагъ назадъ, а онъ протянулъ ко мнѣ обѣ руки и сказалъ, улыбаясь, показывая свои бѣлые, крѣпкіе, ямщицкіе зубы:

— Вотъ и онъ, вотъ и онъ! Очень радъ видѣть васъ, господинъ маляръ! Маша все разсказала, она тутъ спѣла вамъ цѣлый панегирикъ. Вполнѣ васъ понимаю и одобряю!— продолжалъ онъ, беря меня подъ руку.—Быть порядочнымъ рабочимъ куда умнѣе и честнѣе, чѣмъ изводить казенную бумагу и носить на лбу кокарду. Я самъ работалъ въ Бельгіи, вотъ этими руками, потомъ ходилъ два года машинистомъ...

Онъ былъ въ короткомъ пиджакѣ и по-домашнему въ туфляхъ, ходилъ, какъ подагрикъ, слегка переваливаясь и потирая руки. Что-то напѣвая, онъ тихо мурлыкалъ и все пожимался отъ удовольствія, что, наконецъ, вернулся домой и принялъ свой любимый душъ.

— Спора нѣтъ,—говорилъ онъ мнѣ за ужиномъ:—спора нѣтъ, всѣ вы милые, симпатичные люди, но почему-то, господа, какъ только вы беретесь за физическій трудъ или

начинаете спасать мужика, то все это у васъ въ концѣ-концовъ сводится къ сектантству. Развѣ вы не сектантъ? Вотъ вы не пьете водки. Что же это, какъ не сектантство?

Чтобы доставить ему удовольствіе, я выпилъ водки. Выпилъ и вина. Мы пробовали сыры, колбасы, паштеты, пикули и всевозможныя закуски, которыя привезъ съ собою инженеръ, и вина, полученныя въ его отсутствіе изъ-за границы. Вина были превосходны. Почему-то вина и сигары инженеръ получалъ изъ-за границы безпошлинно; икру и балыки кто-то присылалъ ему даромъ, за квартиру онъ не платилъ, такъ какъ хозяинъ дома поставлялъ на линію керосинъ; и вообще на меня онъ и его дочь производили такое впечатлѣніе, будто все лучшее въ мірѣ было къ ихъ услугамъ и получалось ими совершенно даромъ.

Я продолжалъ бывать у нихъ, но уже не такъ охотно. Инженеръ стѣснялъ меня, и въ его присутствіи я чувствовалъ себя связаннымъ. Я не выносилъ его ясныхъ, невинныхъ глазъ, разсужденія его томили меня, были мнѣ противны; томило и воспоминаніе о томъ, что еще такъ недавно я былъ подчиненъ этому сытому, румяному человѣку, и что онъ былъ со мною немилосердно грубъ. Правда, онъ бралъ меня за талію, ласково хлопалъ по плечу, одобрялъ мою жизнь, но я чувствовалъ, что онъ попрежнему презираетъ мое ничтожество и терпитъ меня только въ угоду своей дочери; и я уже не могъ смѣяться и говорить, что хочу, и держался нелюдимомъ, и все ждалъ, что, того и гляди, онъ обзоветъ меня Пантелеемъ, какъ своего лакея Павла. Какъ возмущалась моя провинціальная, мѣщанская гордость! Я, пролетарій, маляръ, каждый день хожу къ людямъ богатымъ, чуждымъ мнѣ, на которыхъ весь городъ смотритъ, какъ на иностранцевъ, и каждый день пью у нихъ дорогія вина и ѣмъ необыкновенное — съ этимъ не хотѣла мириться моя совѣсть! Идя къ нимъ, я угрюмо избѣгалъ встрѣчныхъ и глядѣлъ исподлобья, точно въ самомъ дѣлѣ былъ сектантомъ, а когда уходилъ отъ инженера домой, то стыдился своей сытости.

А главное, я боялся увлечься. Шелъ ли я по улицѣ, работалъ ли, говорилъ ли съ ребятами, я все время думалъ только о томъ, какъ вечеромъ пойду къ Маріи Викторовнѣ, и воображалъ себѣ ея голосъ, смѣхъ, походку. Собираясь къ ней, я всякій разъ долго стоялъ у няньки передъ кри-

вымъ зеркаломъ, завязывая себѣ галстукъ, моя трикoвая пара казалась мнѣ отвратительною, и я страдалъ, и въ то же время презиралъ себя за то, что я такъ мелоченъ. Когда она кричала мнѣ изъ другой комнаты, что она не одѣта, и просила подождать, я слышалъ, какъ она одѣвалась; это волновало меня, я чувствовалъ, будто подо мною опускается полъ. А когда я видѣлъ на улицѣ, хотя бы издали, женскую фигуру, то непремѣнно сравнивалъ; мнѣ казалось тогда, что всѣ наши женщины и дѣвушки вульгарны, нелѣпо одѣты, не умѣютъ держать себя; и эти сравненія возбуждали во мнѣ чувство гордости: Марія Викторовна лучше всѣхъ! А по ночамъ я видѣлъ ее и себя во снѣ.

Какъ-то за ужиномъ мы вмѣстѣ съ инженеромъ съѣли цѣлаго омара. Возвращаясь потомъ домой, я вспомнилъ, что инженеръ за ужиномъ два раза сказалъ мнѣ «любезнѣйшій», и я разсудилъ, что въ этомъ домѣ ласкаютъ меня, какъ большого несчастнаго пса, отбившагося отъ своего хозяина, что мною забавляются и, когда я надоѣмъ, меня прогонятъ, какъ пса. Мнѣ стало стыдно и больно, больно до слезъ, точно меня оскорбили, и я, глядя на небо, далъ клятву положить всему этому конецъ.

На другой день я не пошелъ къ Должиковымъ. Поздно вечеромъ, когда было совсѣмъ темно и лилъ дождь, я прошелся по Большой Дворянской, глядя на окна. У Ажогиныхъ уже спали, и только въ одномъ изъ крайнихъ оконъ свѣтился огонь; это у себя въ комнатѣ старуха Ажогина вышивала при трехъ свѣчахъ, воображая, что борется съ предразсудками. У нашихъ было темно, а въ домѣ напротивъ, у Должиковыхъ, окна свѣтились, но ничего нельзя было разглядѣть сквозь цвѣты и занавѣски. Я все ходилъ по улицѣ; холодный мартовскій дождь поливалъ меня. Я слышалъ, какъ мой отецъ вернулся изъ клуба; онъ постучалъ въ ворота, черезъ минуту въ окнѣ показался огонь, и я увидѣлъ сестру, которая шла торопливо съ лампой и на ходу одною рукой поправляла свои густые волосы. Потомъ отецъ ходилъ въ гостиной изъ угла въ уголъ и говорилъ о чемъ-то, потирая руки, а сестра сидѣла въ креслѣ неподвижно, о чемъ-то думая, не слушая его.

Но вотъ они ушли, огонь погасъ... Я оглянулся на домъ инженера — и тутъ уже было темно. Въ темнотѣ, подъ

дождемъ, я почувствовалъ себя безнадежно одинокимъ, брошеннымъ на произволъ судьбы, почувствовалъ, какъ въ сравненіи съ этимъ моимъ одиночествомъ, въ сравненіи со страданіемъ, настоящимъ и съ тѣмъ, которое мнѣ еще предстояло въ жизни, мелки всѣ мои дѣла, желанія и все то, что я до сихъ поръ думалъ, говорилъ. Увы, дѣла и мысли живыхъ существъ далеко не такъ значительны, какъ ихъ скорби! И не отдавая себѣ ясно отчета въ томъ, что я дѣлаю, я изо всей силы дернулъ за звонокъ у воротъ Должикова, порвалъ его и побѣжалъ по улицѣ, какъ мальчишка, испытывая страхъ и думая, что сейчасъ непремѣнно выйдутъ и узнаютъ меня. Когда я остановился въ концѣ улицы, чтобы перевести духъ, слышно было только, какъ шумѣлъ дождь, да какъ гдѣ-то далеко по чугунной доскѣ стучалъ сторожъ.

Я цѣлую недѣлю не ходилъ къ Должиковымъ. Триковая пара была продана. Малярной работы не было, я опять жилъ впроголодь, добывая себѣ по 10—20 копеекъ въ день, гдѣ придется, тяжелою непріятною работой. Болтаясь по колѣна въ холодной грязи, надсаживая грудь, я хотѣлъ заглушить воспоминанія и точно мстилъ себѣ за всѣ тѣ сыры и консервы, которыми меня угощали у инженера; но все же, едва я ложился въ постель, голодный и мокрый, какъ мое грѣшное воображеніе тотчасъ же начинало рисовать мнѣ чудныя, обольстительныя картины, и я съ изумленіемъ сознавался себѣ, что я люблю, страстно люблю, и засыпалъ крѣпко и здорово, чувствуя, что отъ этой каторжной жизни мое тѣло становится только сильнѣе и моложе.

Въ одинъ изъ вечеровъ некстати пошелъ снѣгъ и подуло съ сѣвера, точно опять наступала зима. Вернувшись съ работы въ этотъ вечеръ, я засталъ въ своей комнатѣ Марію Викторовну. Она сидѣла въ шубкѣ, держа обѣ руки въ муфтѣ.

— Отчего вы не бываете у меня?—спросила она, поднимая свои умные, ясные глаза, а я сильно смутился отъ радости и стоялъ передъ ней на-вытяжку, какъ передъ отцомъ, когда тотъ собирался бить меня; она смотрѣла мнѣ въ лицо и по глазамъ ея было видно, что она понимаетъ, почему я смущенъ.

— Отчего вы не бываете у меня? — повторила она. — Если вы не хотите бывать, то вотъ я сама пришла.

Она встала и близко подошла ко мнѣ.

— Не покидайте меня,—сказала она, и глаза ея наполнились слезами.—Я одна, я совершенно одна.

Она заплакала и проговорила, закрывая лицо муфтой:

— Одна! Мнѣ тяжело жить, очень тяжело, и на всемъ свѣтѣ нѣтъ у меня никого, кромѣ васъ. Не покидайте меня!

Ища платка, чтобы утереть слезы, она улыбнулась; мы молчали нѣкоторое время, потомъ я обнялъ ее и поцѣловалъ, при этомъ оцарапалъ себѣ щеку до крови булавкой, которою была приколота ея шапка.

И мы стали говорить такъ, какъ будто были близки другъ другу уже давно-давно...

X.

Дня черезъ два она послала меня въ Дубечню, и я былъ несказанно радъ этому. Когда я шелъ на вокзалъ и потомъ сидѣлъ въ вагонѣ, то смѣялся безъ причины, и на меня смотрѣли, какъ на пьянаго. Шелъ снѣгъ и былъ морозъ по утрамъ, но дороги уже потемнѣли, и надъ ними, каркая, носились грачи.

Сначала я предполагалъ устроить помѣщеніе для насъ обоихъ, для меня и Маши, въ боковомъ флигелѣ, противъ флигеля госпожи Чепраковой, но въ немъ, какъ оказалось, издавна жили голуби и утки и очистить его было невозможно безъ того, чтобы не разрушить множества гнѣздъ. Пришлось волей-неволей отправляться въ неуютныя комнаты большого дома съ жалюзи. Мужики называли этотъ домъ палатами; въ немъ было больше двадцати комнатъ, а мебели только одно фортепіано да дѣтское креслице, лежавшее на чердакѣ, и если бы Маша привезла изъ города всю свою мебель, то и тогда все-таки намъ не удалось бы устранить этого впечатлѣнія угрюмой пустоты и холода. Я выбралъ три небольшихъ комнаты съ окнами въ садъ и съ ранняго утра до ночи убиралъ ихъ, вставляя новыя стекла, оклеивая обоями, задѣлывая въ полу щели и дыры. Это былъ легкій, пріятный трудъ. То и дѣло я бѣгалъ къ рѣкѣ взглянуть, не идетъ ли ледъ; все мнѣ чудилось, что прилетѣли скворцы. А ночью, думая о Машѣ, я съ невыразимо сладкимъ чувствомъ, съ захватывающею радостью прислушивался къ тому, какъ шумѣли крысы и какъ надъ потолкомъ гудѣлъ и стучалъ вѣтеръ; казалось, что на чердакѣ кашлялъ старый домовой.

Снѣгъ былъ глубокій; его много еще подвалило въ концѣ марта, но онъ растаялъ быстро, какъ по волшебству, вешнія воды прошли буйно, такъ что въ началѣ апрѣля уже шумѣли скворцы и летали въ саду желтыя бабочки. Была чудесная погода. Я каждый день передъ вечеромъ ходилъ къ городу встрѣчать Машу, и что это было за наслажденіе ступать босыми ногами по просыхающей, еще мягкой дорогѣ! На полпути я садился и смотрѣлъ на городъ, не рѣшаясь подойти къ нему близко. Видъ его смущалъ меня. Я все думалъ: какъ отнесутся ко мнѣ мои знакомые, узнавъ о моей любви? Что скажетъ отецъ? Особенно же смущала меня мысль, что жизнь моя осложнилась, и что я совсѣмъ потерялъ способность управлять ею, и она, точно воздушный шаръ, уносила меня Богъ знаетъ куда. Я уже не думалъ о томъ, какъ мнѣ добыть себѣ пропитаніе, какъ жить, а думалъ — право, не помню о чемъ.

Маша пріѣзжала въ коляскѣ; я садился къ ней, и мы ѣхали вмѣстѣ въ Дубечню, веселые, свободные. Или, дождавшись захода солнца, я возвращался домой недовольный, скучный, недоумѣвая, отчего не пріѣхала Маша, а у воротъ усадьбы или въ саду меня встрѣчало неожиданно милое привидѣніе — она! Оказывалось, что она пріѣхала по желѣзной дорогѣ и со станціи пришла пѣшкомъ. Какое это было торжество! Въ простенькомъ шерстяномъ платьѣ, въ косыночкѣ, со скромнымъ зонтикомъ, но затянутая, стройная, въ дорогихъ заграничныхъ ботинкахъ—это была талантливая актриса, игравшая мѣщаночку. Мы осматривали наше хозяйство и рѣшали, гдѣ будетъ чья комната, гдѣ у насъ будутъ аллеи, огородъ, пасѣка. У насъ уже были куры, утки и гуси, которыхъ мы любили за то, что они были наши. У насъ уже были приготовлены для посѣва овесъ, клеверъ, тимошка, греча и огородныя сѣмена, и мы всякій разъ осматривали все это и обсуждали подолгу, какой можетъ быть урожай, и все, что говорила мнѣ Маша, казалось мнѣ необыкновенно умнымъ и прекраснымъ. Это было самое счастливое время моей жизни.

Вскорѣ послѣ Ѳоминой недѣли мы вѣнчались въ нашей приходской церкви, въ селѣ Куриловкѣ, въ трехъ верстахъ отъ Дубечни. Маша хотѣла, чтобы все устроилось скромно; по ея желанію, шаферами у насъ были крестьянскіе парни, пѣлъ одинъ дьячокъ, и возвращались мы изъ церкви на неболь-

цомъ тряскомъ тарантасѣ, и она сама правила. Изъ городскихъ гостей у насъ была только моя сестра Клеопатра, которой дня за три до свадьбы Маша послала записку. Сестра была въ бѣломъ платьѣ и въ перчаткахъ. Во время вѣнчанія она тихо плакала отъ умиленія и радости, выраженіе лица у нея было материнское, безконечно доброе. Она опьянѣла отъ нашего счастья и улыбалась, будто вдыхала въ себя сладкій чадъ, и, глядя на нее во время нашего вѣнчанія, я понялъ, что для нея на свѣтѣ нѣтъ ничего выше любви, земной любви, и что она мечтаетъ о ней тайно, робко, но постоянно и страстно. Она обнимала и цѣловала Машу и, не зная, какъ выразить свой восторгъ, говорила ей про меня:

— Онъ добрый! Онъ очень добрый!

Передъ тѣмъ, какъ уѣхать отъ насъ, она переодѣлась въ свое обыкновенное платье и повела меня въ садъ, чтобы поговорить со мною наединѣ.

— Отецъ очень огорченъ, что ты ничего не написалъ ему,—сказала она:—нужно было попросить у него благословенія. Но, въ сущности, онъ очень доволенъ. Онъ говоритъ, что эта женитьба подниметъ тебя въ глазахъ всего общества, и что подъ вліяніемъ Маріи Викторовны ты станешь серьезнѣе относиться къ жизни. Мы по вечерамъ теперь говоримъ только о тебѣ, и вчера онъ даже выразился такъ: «нашъ Мисаилъ». Это меня порадовало. Повидимому, онъ что-то задумалъ, и мнѣ кажется, онъ хочетъ показать тебѣ примѣръ великодушія и первый заговоритъ о примиреніи. Очень возможно, что на-дняхъ онъ пріѣдетъ сюда къ вамъ.

Она нѣсколько разъ торопливо перекрестила меня и сказала:

— Ну, Богъ съ тобою, будь счастливъ. Анюта Благово очень умная дѣвушка, она говоритъ про твою женитьбу, что это Богъ посылаетъ тебѣ новое испытаніе. Что жъ? Въ семейной жизни не однѣ радости, но и страданія. Безъ этого нельзя.

Провожая ее, я и Маша прошли пѣшкомъ версты три; потомъ, возвращаясь, мы шли тихо и молча, точно отдыхали. Маша держала меня за руку, на душѣ было легко и уже не хотѣлось говорить о любви; послѣ вѣнчанія мы стали другъ другу еще ближе и роднѣй, и намъ казалось, что уже ничто не можетъ разлучить насъ.

— Твоя сестра — симпатичное существо, — сказала Маша: — но похоже, будто ее долго мучили. Должно-быть, твой отецъ ужасный человѣкъ.

Я сталъ разсказывать ей какъ воспитывали меня и сестру, и какъ, въ самомъ дѣлѣ, было мучительно и безтолково наше дѣтство. Узнавъ, что еще такъ недавно меня билъ отецъ, она вздрогнула и прижалась ко мнѣ.

— Не разсказывай больше, — проговорила она. — Это страшно.

Теперь уже она не разставалась со мною. Мы жили въ большомъ домѣ, въ трехъ комнатахъ, и по вечерамъ крѣпко запирали дверь, которая вела въ пустую часть дома, точно тамъ жилъ кто-то, кого мы не знали и боялись. Я вставалъ рано, съ разсвѣтомъ, и тотчасъ же принимался за какую-нибудь работу. Я починялъ телѣги, проводилъ въ саду дорожки, копалъ гряды, красилъ крышу на домѣ. Когда пришло время сѣять овесъ, я пробовалъ двоить, скородить, сѣять, и дѣлалъ все это добросовѣстно, не отставая отъ работника; я утомлялся, отъ дождя, и отъ рѣзкаго холоднаго вѣтра у меня подолгу горѣли лицо и ноги, по ночамъ снилась мнѣ вспаханная земля. Но полевыя работы не привлекали меня. Я не зналъ сельскаго хозяйства и не любилъ его; это, быть-можетъ, оттого, что предки мои не были земледѣльцами и въ жилахъ моихъ текла чисто городская кровь. Природу я любилъ нѣжно, любилъ и поле, и луга, и огороды, но мужикъ, поднимающій сохою землю, понукающій свою жалкую лошадь, оборванный, мокрый, съ вытянутою шеей, былъ для меня выраженіемъ грубой, дикой, некрасивой силы, и, глядя на его неуклюжія движенія, я всякій разъ невольно начиналъ думать о давно прошедшей, легендарной жизни, когда люди не знали еще употребленія огня. Суровый быкъ, ходившій съ крестьянскимъ стадомъ, и лошади, когда онѣ, стуча копытами, носились по деревнѣ, наводили на меня страхъ, и все мало-мальски крупное, сильное и сердитое, былъ ли то баранъ съ рогами, гусакъ или цѣпная собака, представлялось мнѣ выраженіемъ все той же грубой, дикой силы. Это предубѣжденіе особенно сильно говорило во мнѣ въ дурную погоду, когда надъ чернымъ вспаханнымъ полемъ нависали тяжелыя облака. Главное же, когда я пахалъ или сѣялъ, а двое-трое стояли и смотрѣли, какъ я это дѣлаю, то у меня не было сознанія

неизбѣжности и обязательности этого труда, и мнѣ казалось, что я забавляюсь. И я предпочиталъ дѣлать что-нибудь во дворѣ, и ничто мнѣ такъ не нравилось, какъ красить крышу.

Я ходилъ черезъ садъ и черезъ лугъ на нашу мельницу. Ее арендовалъ Степанъ, куриловскій мужикъ, красивый, смуглый, съ густою черною бородой, на видъ—силачъ. Мельничнаго дѣла онъ не любилъ и считалъ его скучнымъ и невыгоднымъ, а жилъ на мельницѣ только для того, чтобы не жить дома. Онъ былъ шорникъ, и около него всегда пріятно пахло смолой и кожей. Разговаривать онъ не любилъ, былъ вялъ, неподвиженъ и все напѣвалъ «у-лю-лю-лю», сидя на берегу или на порогѣ. Къ нему приходили иногда изъ Куриловки его жена и теща, обѣ бѣлолицыя, томныя, кроткія; онѣ низко кланялись ему и называли его «вы, Степанъ Петровичъ». А онъ, не отвѣтивъ на ихъ поклонъ ни движеніемъ, ни словомъ, садился въ сторонѣ на берегу и напѣвалъ тихо: «у-лю-лю-лю». Проходилъ въ молчаніи часъ-другой. Теща и жена, пошептавшись, вставали и нѣкоторое время глядѣли на него, ожидая, что онъ оглянется, потомъ низко кланялись и говорили сладкими, пѣвучими голосами:

— Прощайте, Степанъ Петровичъ!

И уходили. Послѣ того, убирая оставленный ими узелъ съ баранками или рубаху, Степанъ вздыхалъ и говорилъ, мигнувъ въ ихъ сторону:

— Женскій полъ!

Мельница въ два постава работала днемъ и ночью. Я помогалъ Степану, это мнѣ нравилось, и когда онъ уходилъ куда-нибудь, я охотно оставался вмѣсто него.

XI.

Послѣ теплой, ясной погоды наступила распутица; весь май шли дожди, было холодно. Шумъ мельничныхъ колесъ и дождя располагалъ къ лѣни и ко сну. Дрожалъ полъ, пахло мукой и это тоже нагоняло дремоту. Жена въ короткомъ полушубкѣ, въ высокихъ, мужскихъ калошахъ, показывалась раза два въ день и говорила всегда одно и то же:

— И это называется лѣтомъ! Хуже, чѣмъ въ октябрѣ!

Вмѣстѣ мы пили чай, варили кашу, или по цѣлымъ часамъ сидѣли молча, ожидая, не утихнетъ ли дождь. Разъ, когда Степанъ ушелъ куда-то на ярмарку, Маша пробыла

на мельницѣ всю ночь. Когда мы встали, то нельзя было понять, который часъ, такъ какъ дождевыя облака заволокли все небо; только пѣли сонные пѣтухи въ Дубечнѣ и кричали дергачи на лугу; было еще очень, очень рано... Мы съ женой спустились къ плесу и вытащили вершу, которую наканунѣ при насъ забросилъ Степанъ. Въ ней бился одинъ большой окунь и, задирая вверхъ клешню, топорщился ракъ.

— Выпусти ихъ,—сказала Маша.—Пусть и они будутъ счастливы.

Оттого, что мы встали очень рано и потомъ ничего не дѣлали, этотъ день казался очень длиннымъ, самымъ длиннымъ въ моей жизни. Передъ вечеромъ вернулся Степанъ, и я пошелъ домой, въ усадьбу.

— Сегодня пріѣзжалъ твой отецъ,—сказала мнѣ Маша.

— Гдѣ же онъ?—спросилъ я.

— Уѣхалъ. Я его не приняла.

Видя, что я стою и молчу, что мнѣ жаль моего отца, она сказала:

— Надо быть послѣдовательнымъ. Я не приняла и велѣла передать ему, чтобы онъ уже больше не безпокоился и не пріѣзжалъ къ намъ.

Черезъ минуту я уже былъ за воротами и шелъ въ городъ, чтобы объясниться съ отцомъ. Было грязно, скользко, холодно. Въ первый разъ послѣ свадьбы мнѣ стало вдругъ грустно, и въ мозгу моемъ, утомленномъ этимъ длиннымъ сѣрымъ днемъ, промелькнула мысль, что, быть-можетъ, я живу не такъ, какъ надо. Я утомился, мало-по-малу мною овладѣли слабодушіе, лѣнь, не хотѣлось двигаться, соображать, и, пройдя не много, я махнулъ рукой и вернулся назадъ.

Среди двора стоялъ инженеръ въ кожаномъ пальто съ капюшономъ и говорилъ громко:

— Гдѣ мебель? Была прекрасная мебель въ стилѣ empire, были картины, были вазы, а теперь хоть шаромъ покати! Я покупалъ имѣніе съ мебелью, чортъ бы ее дралъ!

Около него стоялъ и мялъ въ рукахъ свою шапку генеральшинъ работникъ Моисей, парень лѣтъ 25-ти, худой, рябоватый, съ маленькими наглыми глазами; одна щека у него была больше другой, точно онъ отлежалъ ее.

— Вы, ваше высокоблагородіе, изволили покупать безъ пебели,—нерѣшительно проговорилъ онъ.—Я помню-съ.

— Замолчать! — крикнулъ инженеръ, побагровѣлъ, затрясся, и эхо въ саду громко повторило его крикъ.

XII.

Когда я дѣлалъ что-нибудь въ саду или на дворѣ, то Моисей стоялъ возлѣ и, заложивъ руки назадъ, лѣниво и нагло глядѣлъ на меня своими маленькими глазками. И это до такой степени раздражало меня, что я бросалъ работу и уходилъ.

Отъ Степана мы узнали, что этотъ Моисей былъ любовникомъ у генеральши. Я замѣтилъ, что когда къ ней приходили за деньгами, то сначала обращались къ Моисею, и разъ я видѣлъ, какъ какой-то мужикъ, весь черный, должно-быть, угольщикъ, кланялся ему въ ноги; иногда, пошептавшись, онъ выдавалъ деньги самъ, не докладывая барынѣ, изъ чего я заключилъ, что при случаѣ онъ оперировалъ самостоятельно, за свой счетъ.

Онъ стрѣлялъ у насъ въ саду подъ окнами, таскалъ изъ нашего погреба съѣстное, бралъ, не спросясь, лошадей, а мы возмущались, переставали вѣрить, что Дубечня наша, и Маша говорила блѣднѣя:

— Неужели мы должны жить съ этими гадами еще полтора года?

Сынъ генеральши, Иванъ Чепраковъ, служилъ кондукторомъ на нашей дорогѣ. За зиму онъ сильно похудѣлъ и ослабѣлъ, такъ что уже пьянѣлъ съ одной рюмки и зябнулъ въ тѣни. Кондукторское платье онъ носилъ съ отвращеніемъ и стыдился его, но свое мѣсто считалъ выгоднымъ, такъ какъ могъ красть свѣчи и продавать ихъ. Мое новое положеніе возбуждало въ немъ смѣшанное чувство удивленія, зависти и смутной надежды, что и съ нимъ можетъ случиться что-нибудь подобное. Онъ провожалъ Машу восхищенными глазами, спрашивалъ, что я теперь ѣмъ за обѣдомъ, и на его тощемъ, некрасивомъ лицѣ появлялось грустное и сладкое выраженіе, и онъ шевелилъ пальцами, точно осязалъ мое счастье.

— Послушай, маленькая польза,—говорилъ онъ суетливо, каждую минуту закуривая; тамъ, гдѣ онъ стоялъ, было всегда насорено, такъ какъ на одну папиросу онъ тратилъ десятки спичекъ. — Послушай, жизнь у меня теперь под-

лѣйшая. Главное, всякій прапорщикъ можетъ кричать: «ты, кондукторъ! ты!» Понаслушался я, братъ, въ вагонахъ всякой всячины и, знаешь, понялъ: скверная жизнь! Погубила меня мать! Мнѣ въ вагонѣ одинъ докторъ сказалъ: если родители развратные, то дѣти у нихъ выходятъ пьяницы или преступники. Вотъ оно что!

Разъ онъ пришелъ во дворъ, шатаясь. Глаза у него безсмысленно блуждали, дыханіе было тяжелое; онъ смѣялся, плакалъ и говорилъ что-то, какъ въ горячечномъ бреду, и въ его спутанной рѣчи были понятны для меня только слова: «Моя мать! Гдѣ моя мать?», которыя произносилъ онъ съ плачемъ, какъ ребенокъ, потерявшій въ толпѣ свою мать. Я увелъ его къ себѣ въ садъ и уложилъ тамъ подъ деревомъ, и потомъ весь день и всю ночь я и Маша поочереди сидѣли возлѣ него. Ему было не хорошо, а Маша съ омерзѣніемъ глядѣла въ его блѣдное, мокрое лицо и говорила:

— Неужели эти гады проживутъ въ нашемъ дворѣ еще полтора года? Это ужасно! Это ужасно!

А сколько огорченій причиняли намъ крестьяне! Сколько тяжелыхъ разочарованій на первыхъ же порахъ, въ весенніе мѣсяцы, когда такъ хотѣлось быть счастливымъ! Моя жена строила школу. Я начертилъ планъ школы на шестьдесятъ мальчиковъ, и земская управа одобрила его, но посовѣтовала строить школу въ Куриловкѣ, въ большомъ селѣ, которое было всего въ трехъ верстахъ отъ насъ; кстати же куриловская школа, въ которой учились дѣти изъ четырехъ деревень, въ томъ числѣ изъ нашей Дубечни, была стара и тѣсна, и по гнилому полу уже ходили съ опаской. Въ концѣ марта Машу, по ея желанію, назначили попечительницей куриловской школы, а въ началѣ апрѣля мы три раза собирали сходъ и убѣждали крестьянъ, что ихъ школа тѣсна и стара, и что необходимо строить новую. Пріѣзжали членъ земской управы и инспекторъ народныхъ училищъ и тоже убѣждали. Послѣ каждаго схода, насъ окружали и просили на ведро водки; намъ было жарко въ толпѣ, мы скоро утомлялись и возвращались домой недовольные и немного сконфуженные. Въ концѣ-концовъ, мужики отвели подъ школу землю и обязались доставить изъ города на своихъ лошадяхъ весь строительный матеріалъ. И какъ только управились съ яровыми, въ первое

же воскресенье изъ Куриловки и Дубечни пошли подводы за кирпичомъ для фундамента. Выѣхали чуть свѣтъ на зарѣ, а возвратились поздно вечеромъ; мужики были пьяны и говорили, что замучились.

Какъ нарочно, дожди и холодъ продолжались весь май. Дорога испортилась, стало грязно. Подводы, возвращаясь изъ города, заѣзжали обыкновенно къ намъ во дворъ — и какой это былъ ужасъ! Вотъ въ воротахъ показывается лошадь, разставивъ переднія ноги, пузатая; она, прежде чѣмъ въѣхать во дворъ, кланяется; вползаетъ на роспускахъ двѣнадцати-аршинное бревно, мокрое, осклизлое на видъ; возлѣ него, запахнувшись отъ дождя, не глядя подъ ноги, не обходя лужъ, шагаетъ мужикъ съ полой, заткнутою за поясъ. Показывается другая подвода — съ тёсомъ, потомъ третья—съ бревномъ, четвертая... и мѣсто передъ домомъ мало-по-малу запруживается лошадьми, бревнами, досками. Мужики и бабы съ окутанными головами и съ подтыканными платьями, озлобленно глядя на наши окна, шумятъ, требуютъ, чтобы къ нимъ вышла барыня; слышны грубыя ругательства. А въ сторонѣ стоитъ Моисей, и намъ кажется, что онъ наслаждается нашимъ позоромъ.

— Не станемъ больше возить!—кричатъ мужики. — Замучились! Пошла бы сама и возила!

Маша, блѣдная, оторопѣвъ, думая, что сейчасъ къ ней ворвутся въ домъ, высылаетъ на полведра; послѣ этого шумъ стихаетъ, и длинныя бревна одно за другимъ ползутъ обратно со двора.

Когда я собирался на постройку, жена волновалась и говорила:

— Мужики злятся. Какъ бы они тебѣ не сдѣлали чего-нибудь. Нѣтъ, погоди, и я съ тобой поѣду.

Мы уѣзжали въ Куриловку вмѣстѣ, и тамъ плотники просили у насъ на чай. Срубъ уже былъ готовъ, пора уже было класть фундаментъ, но не приходили каменщики; происходила задержка, и плотники роптали. А когда наконецъ пришли каменщики, то оказалось, что нѣтъ песку: какъ-то упустили изъ виду, что онъ нуженъ. Пользуясь нашимъ безвыходнымъ положеніемъ, мужики запросили по тридцати копеекъ за возъ, хотя отъ постройки до рѣки, гдѣ брали песокъ, не было и четверти версты, а всѣхъ возовъ понадобилось болѣе пятисотъ. Конца не было недо-

разумѣніямъ, брани и попрошайству, жена возмущалась, а подрядчикъ-каменщикъ, Титъ Петровъ, семидесятилѣтній старикъ, бралъ ее за руку и говорилъ:

— Гляди ты сюда! Гляди ты сюда! Привези ты мнѣ только песку, пригоню тебѣ сразу десять человѣкъ, и въ два дня будетъ готово! Гляди ты сюда!

Но привезли песокъ, прошло и два, и четыре дня, и недѣля, а на мѣстѣ будущаго фундамента все еще зіяла канава.

— Этакъ съ ума сойдешь!—волновалась жена.—Что̀ за народъ! Что̀ за народъ!

Во время этихъ неурядицъ къ намъ пріѣзжалъ инженеръ Викторъ Иванычъ. Онъ привозилъ съ собою кульки съ винами и закусками, долго ѣлъ, и потомъ ложился спать на террасѣ и храпѣлъ, такъ-что работники покачивали головами и говорили:

— Одначе!

Маша бывала не рада его пріѣзду, не вѣрила ему и въ то же время совѣтовалась съ нимъ; когда онъ, выспавшись послѣ обѣда и вставши не въ духѣ, дурно отзывался о нашемъ хозяйствѣ или выражалъ сожалѣніе, что купилъ Дубечню, которая принесла ему уже столько убытковъ, то на лицѣ у бѣдной Маши выражалась тоска; она жаловалась ему, онъ зѣвалъ и говорилъ, что мужиковъ надо драть.

Нашу женитьбу и нашу жизнь онъ называлъ комедіей, говорилъ, что это капризъ, баловство.

— Съ нею уже бывало нѣчто подобное, — разсказывалъ онъ мнѣ про Машу. — Она разъ вообразила себя оперною пѣвицей и ушла отъ меня; я искалъ ее два мѣсяца и, любезнѣйшій, на однѣ телеграммы истратилъ тысячу рублей.

Онъ уже не называлъ меня ни сектантомъ, ни господиномъ маляромъ, и не относился съ одобреніемъ къ моей рабочей жизни, какъ раньше, а говорилъ:

— Вы—странный человѣкъ! Вы — ненормальный человѣкъ! Не смѣю предсказывать, но вы дурно кончите-съ!

А Маша плохо спала по ночамъ и все думала о чемъ-то, сидя у окна нашей спальни. Не было уже смѣха за ужиномъ, ни милыхъ гримасъ. Я страдалъ, и когда шелъ дождь, то каждая капля его врѣзывалась въ мое сердце, какъ дробь, и я готовъ былъ пасть передъ Машей на колѣни и извиняться за погоду. Когда во дворѣ шумѣли мужики, то

я тоже чувствовалъ себя виноватымъ. По цѣлымъ часамъ я просиживалъ на одномъ мѣстѣ, думая только о томъ, какой великолѣпный человѣкъ Маша, какой это чудесный человѣкъ. Я страстно любилъ ее, и меня восхищало все, что она дѣлала, все, что говорила. У нея была склонность къ тихимъ кабинетнымъ занятіямъ, она любила читать подолгу, изучать что-нибудь; она, знавшая хозяйство только по книгамъ, удивляла всѣхъ насъ своими познаніями, и совѣты, какіе она давала, всѣ пригодились, и ни одинъ изъ нихъ не пропалъ въ хозяйствѣ даромъ. И при всемъ томъ, сколько благородства, вкуса и благодушія, того самаго благодушія, какое бываетъ только у прекрасно воспитанныхъ людей!

Для этой женщины со здоровымъ, положительнымъ умомъ безпорядочная обстановка съ мелкими заботами и дрязгами, въ которой мы теперь жили, была мучительна; я это видѣлъ и самъ не могъ спать по ночамъ, голова моя работала и слезы подступали къ горлу. Я метался, не зная, что дѣлать.

Я скакалъ въ городъ и привозилъ Машѣ книги, газеты, конфекты, цвѣты, я вмѣстѣ со Степаномъ ловилъ рыбу, по цѣлымъ часамъ бродя по шею въ холодной водѣ подъ дождемъ, чтобы поймать налима и разнообразить нашъ столъ; я униженно просилъ мужиковъ не шумѣть, поилъ ихъ водкой, подкупалъ, давалъ имъ разныя обѣщанія. И сколько я еще дѣлалъ глупостей!

Дожди, наконецъ, перестали, земля высохла. Встанешь утромъ, часа въ четыре, выйдешь въ садъ,—роса блеститъ на цвѣтахъ, шумятъ птицы и насѣкомыя, на небѣ ни одного облачка; и садъ, и лугъ, и рѣка такъ прекрасны, но воспоминанія о мужикахъ, о подводахъ, объ инженерѣ! Я и Маша вмѣстѣ уѣзжали на бѣговыхъ дрожкахъ въ поле, взглянуть на овесъ. Она правила, я сидѣлъ сзади; плечи у нея были приподняты и вѣтеръ игралъ ея волосами.

— Права держи!—кричала она встрѣчнымъ.

— Ты похожа на ямщика,—сказалъ я ей какъ-то.

— А можетъ-быть! Вѣдь мой дѣдъ, отецъ инженера, былъ ямщикъ. Ты не зналъ этого? — спросила она, обернувшись ко мнѣ, и тотчасъ же представила, какъ кричатъ и какъ поютъ ямщики.

«И слава Богу!—думалъ я, слушая ее.—Слава Богу!»

И опять воспоминанія о мужикахъ, о подводахъ, объ инженерѣ...

XIII.

Пріѣхалъ на велосипедѣ докторъ Благово. Стала часто бывать сестра. Опять разговоры о физическомъ трудѣ, о прогрессѣ, о таинственномъ иксѣ, ожидающемъ человѣчество въ отдаленномъ будущемъ. Докторъ не любилъ нашего хозяйства, потому что оно мѣшало намъ спорить, и говорилъ, что пахать, косить, пасти телятъ недостойно свободнаго человѣка, и что всѣ эти грубые виды борьбы за существованіе люди со временемъ возложатъ на животныхъ и на машины, а сами будутъ заниматься исключительно научными изслѣдованіями. А сестра все просила отпустить ее пораньше домой, и если оставалась до поздняго вечера или ночевать, то волненіямъ не было конца.

— Боже мой, какой вы еще ребенокъ! — говорила съ упрекомъ Маша.—Это даже смѣшно, наконецъ.

— Да, смѣшно,—соглашалась сестра:—я сознаю, что это смѣшно; но что дѣлать, если я не въ силахъ побороть себя? Мнѣ все кажется, что я поступаю дурно.

Во время сѣнокоса у меня съ непривычки болѣло все тѣло; сидя вечеромъ на террасѣ со своими и разговаривая, я вдругъ засыпалъ, и надо мною громко смѣялись. Меня будили и усаживали за столъ ужинать, меня одолѣвала дремота, и я, какъ въ забытьи, видѣлъ огни, лица, тарелки, слышалъ голоса и не понималъ ихъ. А вставши рано утромъ, тотчасъ же брался за косу или уходилъ на постройку и работалъ весь день.

Оставаясь въ праздники дома, я замѣчалъ, что жена и сестра скрываютъ отъ меня что-то и даже какъ будто избѣгаютъ меня. Жена была нѣжна со мною попрежнему, но были у нея какія-то свои мысли, которыхъ она не сообщала мнѣ. Было несомнѣнно, что раздраженіе ея противъ крестьянъ росло, жизнь для нея становилась все тяжелѣе, а между тѣмъ она уже не жаловалась мнѣ. Съ докторомъ теперь она говорила охотнѣе, чѣмъ со мною, и я не понималъ, отчего это такъ.

Въ нашей губерніи былъ обычай: во время сѣнокоса и уборки хлѣба по вечерамъ на барскій дворъ приходили рабочіе и ихъ угощали водкой, даже молодыя дѣвушки вы-

пивали по стакану. Мы не держались этого; косари и бабы стояли у насъ на дворѣ до поздняго вечера, ожидая водки, и потомъ уходили съ бранью. А Маша въ это время сурово хмурилась и молчала, или же говорила доктору съ раздраженіемъ, вполголоса:

— Дикари! Печенѣги!

Въ деревнѣ новичковъ встрѣчаютъ непривѣтливо, почти враждебно, какъ въ школѣ. Такъ встрѣтили и насъ. Въ первое время на насъ смотрѣли, какъ на людей глупыхъ и простоватыхъ, которые купили себѣ имѣніе только потому, что некуда дѣвать денегъ. Надъ нами смѣялись. Въ нашемъ лѣсу и даже въ саду мужики пасли свой скотъ, угоняли къ себѣ въ деревню нашихъ коровъ и лошадей и потомъ приходили требовать за потраву. Приходили цѣлыми обществами къ намъ во дворъ и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей намъ Бышеевки или Семенихи; а такъ какъ мы еще не знали точно границъ нашей земли, то вѣрили наслово и платили штрафъ; потомъ же оказывалось, что косили мы правильно. Въ нашемъ лѣсу драли липки. Одинъ дубеченскій мужикъ, кулакъ, торговавшій водкой безъ патента, подкупалъ нашихъ работниковъ и вмѣстѣ съ ними обманывалъ насъ самымъ предательскимъ образомъ: новыя колеса на телѣгахъ замѣнялъ старыми, бралъ наши пахотные хомуты и продавалъ ихъ намъ же и т. п. Но обиднѣе всего было то, что происходило въ Куриловкѣ на постройкѣ; тамъ бабы по ночамъ крали тесъ, кирпичъ, изразцы, желѣзо; староста съ понятыми дѣлалъ у нихъ обыскъ, сходъ штрафовалъ каждую на два рубля, и потомъ эти штрафныя деньги пропивались всѣмъ міромъ.

Когда Маша узнавала объ этомъ, то съ негодованіемъ говорила доктору или моей сестрѣ:

— Какія животныя! Это ужасъ! ужасъ!

И я слышалъ не разъ, какъ она выражала сожалѣніе, что затѣяла строить школу.

— Поймите, — убѣждалъ ее докторъ: — поймите, что если вы строите эту школу и вообще дѣлаете добро, то не для мужиковъ, а во имя культуры, во имя будущаго. И чѣмъ эти мужики хуже, тѣмъ больше поводовъ строить школу. Поймите!

Въ голосѣ его, однако, слышалась неувѣренность, и мнѣ

казалось, что онъ вмѣстѣ съ Машей ненавидѣлъ мужиковъ.

Маша часто уходила на мельницу и брала съ собою сестру, и обѣ, смѣясь, говорили, что онѣ идутъ посмотрѣть на Степана, какой онъ красивый. Степанъ, какъ оказалось, былъ медлителенъ и не разговорчивъ только съ мужчинами, въ женскомъ же обществѣ держалъ себя развязно и говорилъ безъ умолку. Разъ, придя на рѣку купаться, я невольно подслушалъ разговоръ. Маша и Клеопатра, обѣ въ бѣлыхъ платьяхъ, сидѣли на берегу подъ ивой, въ широкой тѣни, а Степанъ стоялъ возлѣ, заложивъ руки назадъ, и говорилъ:

— Нешто мужики—люди? Не люди, а, извините, звѣрье, шарлатаны. Какая у мужика жизнь? Только ѣсть да пить, харчи бы подешевле, да въ трактирѣ горло драть безъ ума; и ни тебѣ разговоровъ хорошихъ, ни обращенія, ни формальности, а такъ—невѣжа! И самъ въ грязи, и жена въ грязи, и дѣти въ грязи, въ чемъ былъ, въ томъ и легъ, картошку изъ щей тащитъ прямо пальцами, квасъ пьетъ съ тараканомъ,—хоть бы подулъ!

— Бѣдность вѣдь!—вступилась сестра.

— Какая бѣдность! Оно точно, нужда, да вѣдь нужда нуждѣ рознь, сударыня. Вотъ ежели человѣкъ въ острогѣ сидитъ, или скажемъ, слѣпой, или безъ ногъ, то это, дѣйствительно, не дай Богъ никому, а ежели онъ на волѣ, при своемъ умѣ, глаза и руки у него есть, сила есть, Богъ есть, то чего ему еще? Баловство, сударыня, невѣжество, а не бѣдность. Ежели вотъ вы, положимъ, хорошіе господа, по образованію вашему, изъ милости пожелаете оказать ему способіе, то онъ ваши деньги пропьетъ по своей подлости, или, того хуже, самъ откроетъ питейное заведеніе и на ваши деньги начнетъ народъ грабить. Вы изволите говорить — бѣдность. А развѣ богатый мужикъ живетъ лучше? Тоже, извините, какъ свинья. Грубіянъ, горланъ, дубина, идетъ поперекъ себя толще, морда пухлая, красная—такъ бы, кажется, размахнулся и ляпнулъ его, подлеца. Вотъ Ларіонъ дубеченскій тоже богатый, а, небось, лубки въ вашемъ лѣсу деретъ не хуже бѣднаго; и самъ ругатель, и дѣти ругатели, а какъ выпьетъ лишнее, чкнется носомъ въ лужу и спитъ. Всѣ они, сударыня, не стоющіе. Поживешь съ ними въ деревнѣ, такъ словно въ аду. Навязла она у

меня въ зубахъ, деревня-то эта, и благодарю Господа, Царя Небеснаго, и сытъ я, и одѣтъ, отслужилъ въ драгунахъ свой срокъ, отходилъ старостой три года, и вольный я казакъ теперь: гдѣ хочу, тамъ и живу. Въ деревнѣ жить не желаю, и никто не имѣетъ права меня заставить. Говорятъ, жена. Ты, говорятъ, обязанъ въ избѣ съ женой жить. А почему такое? Я къ ней не нанимался.

— Скажите, Степанъ, вы женились по любви?—спросила Маша.

— Какая у насъ въ деревнѣ любовь? — отвѣтилъ Степанъ и усмѣхнулся. — Собственно, сударыня, ежели вамъ угодно знать, я женатъ во второй разъ. Я самъ не куриловскій, а изъ Залегоща, а въ Куриловку меня потомъ въ зятья взяли. Значитъ, родитель не пожелалъ дѣлить насъ промежду себѣ—насъ всѣхъ пять братьевъ, я поклонился и былъ таковъ, пошелъ въ чужую деревню, въ зятья. А первая моя жена померла въ молодыхъ лѣтахъ.

— Отчего?

— Отъ глупости. Плачетъ, бывало, все плачетъ и плачетъ безъ толку, да такъ и зачахла. Какія-то все травки пила, чтобы покрасивѣть, да, должно, повредила внутренность. А вторая моя жена, куриловская—что въ ней? Деревенская баба, мужичка, и больше ничего. Когда ее за меня сватали, мнѣ поманилось; думаю, молодая, бѣлая изъ себя, чисто живутъ. Мать у ней словно бы хлыстовка и кофей пьетъ, а главное, значитъ, чисто живутъ. Стало-быть, женился, а на другой день сѣли обѣдать, приказалъ я тещѣ ложку подать, а она подаетъ ложку и, гляжу, пальцемъ ее вытерла. Вотъ тебѣ на, думаю, хороша у васъ чистота. Пожилъ съ ними годъ и ушелъ. Мнѣ, можетъ, на городской бы жениться,—продолжалъ онъ, помолчавъ.—Говорятъ, жена мужу помощница. Для чего мнѣ помощница, я и самъ себѣ помогу, а ты лучше со мной поговори, да не такъ, чтобъ все те-те-те-те, а обстоятельно, чувствительно. Безъ хорошаго разговора—что за жизнь!

Степанъ вдругъ замолчалъ, и тотчасъ же послышалось его скучное, монотонное «у-лю-лю-лю». Это значило, что онъ увидѣлъ меня.

Маша бывала часто на мельницѣ и въ бесѣдахъ со Степаномъ, очевидно, находила удовольствіе; Степанъ такъ искренно и убѣжденно бранилъ мужиковъ — и ее тянуло

къ нему. Когда она возвращалась съ мельницы, то всякій разъ мужикъ-дурачокъ, который стерегъ садъ, кричалъ на нее:

— Дѣвка Палашка! Здорово, дѣвка Палашка!—И лаялъ на нее по-собачьи:—Гавъ! гавъ!

А она останавливалась и смотрѣла на него со вниманіемъ, точно въ лаѣ этого дурачка находила отвѣтъ на свои мысли, и, вѣроятно, онъ притягивалъ ее такъ же, какъ брань Степана. А дома ожидало ее какое-нибудь извѣстіе, въ родѣ того, напримѣръ, что деревенскіе гуси потолкли у насъ на огородѣ капусту, или что Ларіонъ вожжи укралъ, и она говорила, пожавъ плечами, съ усмѣшкой:

— Что же вы хотите отъ этихъ людей!

Она негодовала, на душѣ у нея собиралась накипь, а я, между тѣмъ, привыкалъ къ мужикамъ и меня все больше тянуло къ нимъ. Въ большинствѣ это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди съ подавленнымъ воображеніемъ, невѣжественные, съ бѣднымъ, тусклымъ кругозоромъ, все съ однѣми и тѣми же мыслями о сѣрой землѣ, о сѣрыхъ дняхъ, о черномъ хлѣбѣ, люди, которые хитрили, но, какъ птицы, прятали за дерево только одну голову,—которые не умѣли считать. Они не шли къ вамъ на сѣнокосъ за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. Въ самомъ дѣлѣ, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всемъ томъ, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, въ общемъ, держится на какомъ-то крѣпкомъ, здоровомъ стержнѣ. Какимъ бы неуклюжимъ звѣремъ ни казался мужикъ, идя за своею сохой, и какъ бы онъ ни дурманилъ себя водкой, все же, приглядываясь къ нему поближе, чувствуешь, что въ немъ есть то нужное и очень важное, чего нѣтъ, напримѣръ, въ Машѣ и въ докторѣ, а именно, онъ вѣритъ, что главное на землѣ—правда, и что спасеніе его и всего народа въ одной лишь правдѣ, и потому больше всего на свѣтѣ онъ любитъ справедливость. Я говорилъ женѣ, что она видитъ пятна на стеклѣ, но не видитъ самаго стекла; въ отвѣтъ она молчала, или же напѣвала, какъ Степанъ: «у-лю-лю-лю»... Когда эта добрая, умная женщина блѣднѣла отъ негодованія и съ дрожью въ голосѣ говорила съ докторомъ о пьянствѣ и обманахъ, то меня приводила въ недоумѣніе и поражала ся забывчивость. Какъ могла

она забыть, что ея отецъ, инженеръ, тоже пилъ, много пилъ, и что деньги, на которыя была куплена Дубечня, были пріобрѣтены путемъ цѣлаго ряда наглыхъ, безсовѣстныхъ обмановъ? Какъ могла она забыть?

XIV.

И сестра тоже жила своею особою жизнью, которую тщательно скрывала отъ меня. Она часто шепталась съ Машей. Когда я подходилъ къ ней, она вся сжималась, и взглядъ ея становился виноватымъ, умоляющимъ; очевидно, въ ея душѣ происходило что-то такое, чего она боялась или стыдилась. Чтобы какъ-нибудь не встрѣтиться въ саду или не остаться со мною вдвоемъ, она все время держалась около Маши, и мнѣ приходилось говорить съ нею рѣдко, только за обѣдомъ.

Какъ-то вечеромъ я тихо шелъ садомъ, возвращаясь съ постройки. Уже начинало темнѣть. Не замѣчая меня, не слыша моихъ шаговъ, сестра ходила около старой, широкой яблони, совершенно безшумно, точно привидѣніе. Она была въ черномъ и ходила быстро, все по одной линіи, взадъ и впередъ, глядя въ землю. Упало съ дерева яблоко, она вздрогнула отъ шума, остановилась и прижала руки къ вискамъ. Въ это самое время я подошелъ къ ней.

Въ порывѣ нѣжной любви, которая вдругъ прилила къ моему сердцу, со слезами, вспоминая почему-то нашу мать, наше дѣтство, я обнялъ ее за плечи и поцѣловалъ.

— Что съ тобою?—спросилъ я.—Ты страдаешь, я давно это вижу. Скажи, что съ тобою?

— Мнѣ страшно...—проговорила она, дрожа.

— Что же съ тобой?—допытывался я.—Ради Бога, будь откровенна!

— Я буду, буду откровенна, я скажу тебѣ всю правду. Скрывать отъ тебя — это такъ тяжело, такъ мучительно! Мисаилъ, я люблю...—продолжала она шопотомъ.—Я люблю, я люблю... Я счастлива, но почему мнѣ такъ страшно!

Послышались шаги, показался между деревьями докторъ Благово въ шелковой рубахѣ, въ высокихъ сапогахъ. Очевидно, здѣсь около яблони у нихъ было назначено свиданіе. Увидѣвъ его, она бросилась къ нему порывисто, съ болѣзненнымъ крикомъ, точно его отнимали у нея:

— Владиміръ! Владиміръ!

Она прижималась къ нему и съ жадностью глядѣла ему въ лицо, и только теперь я замѣтилъ, какъ похудѣла и поблѣднѣла она въ послѣднее время. Особенно это было замѣтно по ея кружевному воротничку, который я давно зналъ и который теперь свободнѣе, чѣмъ когда-либо, облегалъ ея шею, тонкую и длинную. Докторъ смутился, но тотчасъ же оправился и сказалъ, приглаживая ея волосы:

— Ну, полно, полно... Зачѣмъ такъ нервничать? Видишь, я пріѣхалъ.

Мы молчали, застѣнчиво поглядывая другъ на друга. Потомъ мы шли втроемъ, и я слышалъ, какъ докторъ говорилъ мнѣ:

— Культурная жизнь у насъ еще не начиналась. Старики утѣшаютъ себя, что если теперь нѣтъ ничего, то было что-то въ сороковыхъ или шестидесятыхъ годахъ; это — старики, мы же съ вами молоды, нашихъ мозговъ еще не тронулъ marasmus senilis, мы не можемъ утѣшать себя такими иллюзіями. Начало Руси было въ 862 году, а начала культурной Руси, я такъ понимаю, еще не было.

Но я не вникалъ въ эти соображенія. Какъ-то было странно, не хотѣлось вѣрить, что сестра влюблена, что она вотъ идетъ и держитъ за руку чужого и нѣжно смотритъ на него. Моя сестра, это нервное, запуганное, забитое, не свободное существо, любитъ человѣка, который уже женатъ и имѣетъ дѣтей! Чего-то мнѣ стало жаль, а чего именно, — не знаю; присутствіе доктора почему-то было уже непріятно, и я никакъ не могъ понять, что̀ можетъ выйти изъ этой ихъ любви.

XV.

Я и Маша ѣхали въ Куриловку на освященіе школы.

— Осень, осень, осень...—тихо говорила Маша, глядя по сторонамъ. — Прошло лѣто. Птицъ нѣтъ, и зелены однѣ только вербы.

Да, уже прошло лѣто. Стоятъ ясные, теплые дни, но по утрамъ свѣжо, пастухи выходятъ уже въ тулупахъ, а въ нашемъ саду на астрахъ роса не высыхаетъ въ теченіе всего дня. Все слышатся жалобные звуки, и не разберешь, ставня ли это ноетъ на своихъ ржавыхъ петляхъ, или летятъ журавли—и становится хорошо на душѣ и такъ хочется жить!

— Прошло лѣто...—говорила Маша.—Теперь мы съ тобою можемъ подвести итоги. Мы много работали, много думали, мы стали лучше отъ этого,—честь намъ и слава,—мы преуспѣли въ личномъ совершенствѣ; но эти наши успѣхи имѣли ли замѣтное вліяніе на окружающую жизнь, принесли ли пользу, хотя кому-нибудь? Нѣтъ. Невѣжество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая дѣтская смертность,—все осталось, какъ и было, и оттого, что ты пахалъ и сѣялъ, а я тратила деньги и читала книжки, никому не стало лучше. Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя.

Подобныя разсужденія сбивали меня, и я не зналъ, что думать.

— Мы отъ начала до конца были искренни, — сказалъ я:—а кто искрененъ, тотъ и правъ.

— Кто споритъ? Мы были правы, но мы неправильно осуществляли то, въ чемъ мы правы. Прежде всего, самые наши внѣшніе пріемы—развѣ они не ошибочны? Ты хочешь быть полезенъ людямъ, но ужъ однимъ тѣмъ, что ты покупаешь имѣніе, ты съ самаго начала преграждаешь себѣ всякую возможность сдѣлать для нихъ что-нибудь полезное. Затѣмъ, если ты работаешь, одѣваешься и ѣшь, какъ мужикъ, то ты своимъ авторитетомъ какъ бы узаконяешь эту ихъ тяжелую, неуклюжую одежду, ужасныя избы, эти ихъ глупыя бороды... Съ другой стороны, допустимъ, что ты работаешь долго, очень долго, всю жизнь, что, въ концѣ-концовъ, получаются кое-какіе практическіе результаты, но что они, эти твои результаты, что они могутъ противъ такихъ стихійныхъ силъ, какъ гуртовое невѣжество, голодъ, холодъ, вырожденіе? Капля въ морѣ! Тутъ нужны другіе способы борьбы, сильные, смѣлые, скорые! Если въ самомъ дѣлѣ хочешь быть полезенъ, то выходи изъ тѣснаго круга обычной дѣятельности и старайся дѣйствовать сразу на массу! Нужна прежде всего шумная, энергическая проповѣдь. Почему искусство, напримѣръ, музыка, такъ живуче, такъ популярно и такъ сильно на самомъ дѣлѣ? А потому, что музыкантъ или пѣвецъ дѣйствуетъ сразу на тысячи. Милое, милое искусство! — продолжала она, мечтательно глядя на небо. — Искусство даетъ крылья и уноситъ далеко-далеко! Кому надоѣла грязь, мелкіе грошовые интересы, кто возмущенъ, оскорбленъ и негодуетъ, тотъ мо-

жетъ найти покой и удовлетвореніе только въ прекрасномъ.

Когда мы подъѣзжали къ Куриловкѣ, погода была ясная, радостная. Кое-гдѣ во дворахъ молотили, пахло ржаною соломой. За плетнями ярко краснѣла рябина, и деревья кругомъ, куда ни взглянешь, были все золотыя или красныя. На колокольнѣ звонили, несли къ школѣ образа, и было слышно, какъ пѣли: «Заступница усердная». А какой прозрачный воздухъ, какъ высоко летали голуби!

Служили въ классной молебенъ. Потомъ куриловскіе крестьяне поднесли Машѣ икону, а дубеченскіе — большой крендель и позолоченную солонку. И Маша разрыдалась.

— А ежели что было сказано лишнее или какія неудовольствія, то простите, — сказалъ одинъ старикъ и поклонился ей и мнѣ.

Когда мы ѣхали домой, Маша оглядывалась на школу; зеленая крыша, выкрашенная мною и теперь блестѣвшая на солнцѣ, долго была видна намъ. И я чувствовалъ, что взгляды, которые бросала теперь Маша, были прощальные.

XVI.

Вечеромъ она собралась въ городъ.

Въ послѣднее время она часто уѣзжала въ городъ и тамъ ночевала. Въ ея отсутствіе я не могъ работать, руки у меня опускались и слабѣли; нашъ большой дворъ казался скучнымъ, отвратительнымъ пустыремъ, садъ шумѣлъ сердито, и безъ нея домъ, деревья, лошади для меня уже не были «наши».

Я никуда не выходилъ изъ дому, а все сидѣлъ за ея столомъ, около ея шкапа съ сельско-хозяйственными книгами, этими бывшими фаворитами, теперь уже ненужными, смотрѣвшими на меня такъ сконфуженно. По цѣлымъ часамъ, пока било семь, восемь, девять, пока за окнами наступала осенняя ночь, черная, какъ сажа, я осматривалъ ея старую перчатку, или перо, которымъ она всегда писала, или ея маленькія ножницы; я ничего не дѣлалъ и ясно сознавалъ, что если раньше дѣлалъ что-нибудь, если пахалъ, косилъ, рубилъ, то потому только, что этого хотѣла она. И если бы она послала меня чистить глубокій колодецъ, гдѣ бы я стоялъ по поясъ въ водѣ, то я полѣзъ бы

и въ колодецъ, не разбирая, нужно это или нѣтъ. А теперь, когда ея не было возлѣ, Дубечня съ ея развалинами, неубранствомъ, съ хлопающими ставнями, съ ворами, ночными и дневными, представлялась мнѣ уже хаосомъ, въ которомъ всякая работа была бы безполезна. Да и для чего мнѣ было тутъ работать, для чего заботы и мысли о будущемъ, если я чувствовалъ, что изъ-подъ меня уходитъ почва, что роль моя здѣсь, въ Дубечнѣ, уже сыграна, что меня, однимъ словомъ, ожидаетъ та же участь, которая постигла книги по сельскому хозяйству? О, какая это была тоска ночью, въ часы одиночества, когда я каждую минуту прислушивался съ тревогой, точно ждалъ, что вотъ-вотъ кто-нибудь крикнетъ, что мнѣ пора уходить. Мнѣ не было жаль Дубечни, мнѣ было жаль своей любви, для которой, очевидно, тоже наступила уже своя осень. Какое это огромное счастье любить и быть любимымъ, и какой ужасъ чувствовать, что начинаешь сваливаться съ этой высокой башни!

Маша вернулась изъ города на другой день къ вечеру. Она была недовольна чѣмъ-то, но скрывала это и только сказала, зачѣмъ это вставлены всѣ зимнія рамы, — этакъ задохнуться можно. Я выставилъ двѣ рамы. Намъ ѣсть не хотѣлось, но мы сѣли и поужинали.

— Поди, вымой руки,—сказала жена. — Отъ тебя пахнетъ замазкой.

Она привезла изъ города новые иллюстрированные журналы, и мы вмѣстѣ разсматривали ихъ послѣ ужина. Попадались приложенія съ модными картинками и выкройками. Маша оглядывала ихъ мелькомъ и откладывала въ сторону, чтобы потомъ разсмотрѣть особо, какъ слѣдуетъ; но одно платье съ широкою, какъ колоколъ, гладкою юбкой и съ большими рукавами заинтересовало ее, и она минуту смотрѣла на него серьезно и внимательно.

— Это не дурно, — сказала она.

— Да, это платье тебѣ очень пойдетъ, — сказалъ я. — Очень!

И глядя съ умиленіемъ на платье, любуясь этимъ сѣрымъ пятномъ только потому, что оно ей понравилось, я продолжалъ нѣжно:

— Чудное, прелестное платье! Прекрасная, великолѣпная Маша! Дорогая моя Маша!

И слезы закапали на картинку.

— Великолѣпная Маша...—бормоталъ я.— Милая, дорогая Маша...

Она пошла и легла, а я еще съ часъ сидѣлъ и разсматривалъ иллюстраціи.

— Напрасно ты выставилъ рамы, — сказала она изъ спальни. — Боюсь, какъ бы не было холодно. Ишь вѣдь, какъ задуваетъ!

Я прочелъ кое-что изъ «смѣси»—о приготовленіи дешевыхъ чернилъ и о самомъ большомъ брильянтѣ на свѣтѣ. Мнѣ опять попалась модная картинка съ платьемъ, которое ей понравилось, и я вообразилъ себѣ ее на балу съ вѣеромъ, съ голыми плечами, блестящую, роскошную, знающую толкъ и въ музыкѣ, и въ живописи, и въ литературѣ, и какою маленькою, короткою показалась мнѣ моя роль!

Наша встрѣча, это наше супружество были лишь эпизодомъ, какихъ будетъ еще не мало въ жизни этой живой, богато-одаренной женщины. Все лучшее въ мірѣ, какъ я уже сказалъ, было къ ея услугамъ и получалось ею совершенно даромъ, и даже идеи и модное умственное движеніе служили ей для наслажденія, разнообразя ей жизнь, и я былъ лишь извозчикомъ, который довезъ ее отъ одного увлеченія къ другому. Теперь ужъ я ненуженъ ей, она выпорхнетъ, и я останусь одинъ.

И какъ бы въ отвѣтъ на мои мысли на дворѣ раздался отчаянный крикъ:

— Ка-ра-у-лъ!

Это былъ тонкій бабій голосъ, и, точно желая передразнить его, въ трубѣ загудѣлъ вѣтеръ тоже тонкимъ голосомъ. Прошло съ полминуты, и опять послышалось сквозь шумъ вѣтра, но уже какъ будто съ другого конца двора:

— Ка-ра-у-лъ!

— Мисаилъ, ты слышишь?—спросила тихо жена. — Ты слышишь?

Она вышла ко мнѣ изъ спальни въ одной сорочкѣ, съ распущенными волосами, и прислушалась, глядя на темное окно.

— Кого-то душатъ! — проговорила она. — Этого еще не доставало.

Я взялъ ружье и вышелъ. На дворѣ было очень темно,

дулъ сильный вѣтеръ, такъ что трудно было стоять. Я прошелся къ воротамъ, прислушался: шумятъ деревья, свиститъ вѣтеръ и въ саду, должно-быть, у мужика-дурачка лѣниво подвываетъ собака. За воротами тьма кромѣшная, на линіи ни одного огонька. И около того флигеля, гдѣ въ прошломъ году была контора, вдругъ раздался придушенный крикъ:

— Ка-ра-у-лъ!

— Кто тамъ? — окликнулъ я.

Боролись два человѣка. Одинъ выталкивалъ, а другой упирался, и оба тяжело дышали.

— Пусти!—говорилъ одинъ, и я узналъ Ивана Чепракова; онъ-то и кричалъ тонкимъ бабьимъ голосомъ.—Пусти, проклятый, а то я тебѣ всѣ руки искусаю!

Въ другомъ я узналъ Моисея. Я рознялъ ихъ и при этомъ не удержался и ударилъ Моисея по лицу два раза. Онъ упалъ, потомъ поднялся, и я ударилъ его еще разъ.

— Они хотѣли меня убить, — бормоталъ онъ. — Къ мамашиному комоду подбирались... Ихъ я желаю запереть во флигелѣ для безопасности-съ.

А Чепраковъ былъ пьянъ, не узнавалъ меня и все глубоко вздыхалъ, какъ бы набирая воздуху, чтобы опять крикнуть караулъ.

Я оставилъ ихъ и вернулся въ домъ; жена лежала въ постели, уже одѣтая. Я разсказалъ ей о томъ, что происходило на дворѣ, и не скрылъ даже, что билъ Моисея.

— Страшно жить въ деревнѣ, — проговорила она.—И какая это длинная ночь, Богъ съ ней.

— Ка-ра-улъ!—послышалось опять, немного погодя.

— Я пойду уйму ихъ, — сказалъ я.

— Нѣтъ, пусть они себѣ тамъ перегрызутъ горла, — проговорила она съ брезгливымъ выраженіемъ.

Она глядѣла въ потолокъ и прислушивалась, а я сидѣлъ возлѣ, не смѣя заговорить съ нею, съ такимъ чувствомъ, какъ будто я былъ виноватъ, что на дворѣ кричали «караулъ» и что ночь была такая длинная.

Мы молчали, и я съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда въ окнахъ забрезжитъ свѣтъ. А Маша все время глядѣла такъ, будто очнулась отъ забытья и теперь удивлялась, какъ это она, такая умная, воспитанная, такая опрятная, могла попасть въ этотъ жалкій провинціальный пустырь,

въ шайку мелкихъ ничтожныхъ людей, и какъ это она могла забыться до такой степени, что даже увлеклась однимъ изъ этихъ людей и больше полугода была его женой. Мнѣ казалось, что для нея было уже все равно, что я, что Моисей, что Чепраковъ; все для нея слилось въ этомъ пьяномъ, дикомъ «караулъ»—и я, и нашъ бракъ, и наше хозяйство, и осенняя распутица; и когда она вздыхала или двигалась, чтобы лечь поудобнѣе, то я читалъ на ея лицѣ: «О, поскорѣе бы утро!»

Утромъ она уѣхала.

Я прожилъ въ Дубечнѣ еще три дня, поджидая ее, потомъ сложилъ всѣ наши вещи въ одну комнату, заперъ и пошелъ въ городъ. Когда я позвонился къ инженеру, то былъ уже вечеръ, и на нашей Большой Дворянской горѣли фонари. Павелъ сказалъ мнѣ, что никого нѣтъ дома: Викторъ Иванычъ уѣхалъ въ Петербургъ, а Марія Викторовна, должно-быть, у Ажогиныхъ на репетиціи. Помню, съ какимъ волненіемъ я шелъ потомъ къ Ажогинымъ, какъ стучало и замирало мое сердце, когда я поднимался по лѣстницѣ и долго стоялъ вверху на площадкѣ, не смѣя войти въ этотъ храмъ музъ! Въ залѣ на столикѣ, на роялѣ, на сценѣ горѣли свѣчи, вездѣ по три, и первый спектакль былъ назначенъ на тринадцатое число, и теперь первая репетиція была въ понедѣльникъ — тяжелый день. Борьба съ предразсудками! Всѣ любители сценическаго искусства были уже въ сборѣ; старшая, средняя и младшая ходили по сценѣ, читая свои роли по тетрадкамъ. Въ сторонѣ ото всѣхъ неподвижно стоялъ Рѣдька, прислонившись вискомъ къ стѣнѣ, и съ обожаніемъ смотрѣлъ на сцену, ожидая начала репетиціи. Все какъ было!

Я направился къ хозяйкѣ, — надо было поздороваться, но вдругъ всѣ зашикали, замахали мнѣ, чтобы я не стучалъ ногами. Стало тихо. Подняли крышку у рояля, сѣла какая-то дама, щуря свои близорукіе глаза на ноты, и къ роялю подошла моя Маша, разодѣтая, красивая, но красивая какъ-то особенно, по-новому, совсѣмъ не похожая на ту Машу, которая весной приходила ко мнѣ на мельницу; она запѣла:

Отчего я люблю тебя, свѣтлая ночь?

За все время нашего знакомства это въ первый разъ я слышалъ, какъ она пѣла. У нея былъ хорошій, сочный,

сильный голосъ, и, пока она пѣла, мнѣ казалось, что я ѣмъ спѣлую, сладкую, душистую дыню. Вотъ она кончила, ей аплодировали, и она улыбалась, очень довольная, играя глазами, перелистывая ноты, поправляя на себѣ платье, точно птица, которая вырвалась, наконецъ, изъ клѣтки и на свободѣ оправляетъ свои крылья. Волосы у нея были зачесаны на уши, и на лицѣ было нехорошее, задорное выраженіе, точно она хотѣла сдѣлать всѣмъ намъ вызовъ, или крикнуть на насъ, какъ на лошадей: «Эй, вы, милые!»

И, должно-быть, въ это время она была очень похожа на своего дѣда ямщика.

— И ты здѣсь?—спросила она, подавая мнѣ руку.—Ты слышалъ, какъ я пѣла? Ну, какъ ты находишь?—и не дожидаясь моего отвѣта, она продолжала: — Очень кстати, что ты здѣсь. Сегодня ночью я уѣзжаю ненадолго въ Петербургъ. Ты меня отпустишь?

Въ полночь я провожалъ ее на вокзалъ. Она нѣжно обняла меня, вѣроятно, въ благодарность за то, что я не задавалъ ненужныхъ вопросовъ, и обѣщала писать мнѣ, а я долго сжималъ ея руки и цѣловалъ ихъ, едва сдерживая слезы, не говоря ей ни слова.

А когда она уѣхала, я стоялъ, смотрѣлъ на удалявшіеся огни, ласкалъ ее въ своемъ воображеніи и тихо говорилъ:

— Милая моя Маша, великолѣпная Маша...

Ночевалъ я въ Макарихѣ у Карповны, а утромъ уже вмѣстѣ съ Рѣдькой обивалъ мебель у одного богатаго купца, выдававшаго свою дочь за доктора.

XVII.

Въ воскресенье послѣ обѣда приходила ко мнѣ сестра и пила со мною чай.

— Теперь я очень много читаю, — говорила она, показывая мнѣ книги, которыя она, идя ко мнѣ, взяла изъ городской библіотеки. — Спасибо твоей женѣ и Владиміру, они возбудили во мнѣ самосознаніе. Они спасли меня, сдѣлали то, что я теперь чувствую себя человѣкомъ. Прежде, бывало, я не спала по ночамъ отъ разныхъ заботъ: «ахъ, за недѣлю у насъ сошло много сахару! ахъ, какъ бы не пересолить огурцы!» И теперь я тоже не сплю, но у меня уже другія мысли. Я мучаюсь, что такъ глупо,

малодушно прошла у меня половина жизни. Свое прошлое я презираю, стыжусь его, а на отца я смотрю теперь, какъ на своего врага. О, какъ я благодарна твоей женѣ! А Владиміръ? Это такой чудный человѣкъ! Они открыли мнѣ глаза.

— Это не хорошо, что ты не спишь по ночамъ, — сказалъ я.

— Ты думаешь,—я больна? Нисколько. Владиміръ выслушалъ меня и говорилъ, что я совершенно здорова. Но дѣло не въ здоровьѣ, оно не такъ важно... Ты мнѣ скажи: я права?

Она нуждалась въ нравственной поддержкѣ — это было очевидно. Маша уѣхала, докторъ Благово былъ въ Петербургѣ, и въ городѣ не оставалось никого, кромѣ меня, кто бы могъ сказать ей, что она права. Она пристально вглядывалась мнѣ въ лицо, стараясь прочесть мои тайныя мысли, и если я при ней задумывался и молчалъ, то она это принимала на свой счетъ и становилась печальна. Приходилось все время быть насторожѣ, и когда она спрашивала меня, права ли она, то я спѣшилъ отвѣтить ей, что она права и что я глубоко ее уважаю.

— Ты знаешь? Мнѣ у Ажогиныхъ дали роль,— продолжала она.— Хочу играть на сценѣ. Хочу жить, однимъ словомъ, хочу пить изъ полной чаши. Таланта у меня нѣтъ никакого, и роль всего въ десять строкъ, но все же это неизмѣримо выше и благороднѣе, чѣмъ разливать чай по пяти разъ на день и подглядывать, не съѣла ли кухарка лишняго куска. А главное, пусть наконецъ отецъ увидитъ, что и я способна на протестъ.

Послѣ чаю она легла на мою постель и полежала нѣкоторое время съ закрытыми глазами, очень блѣдная.

— Какая слабость! — проговорила она, поднимаясь. — Владиміръ говорилъ, что всѣ городскія женщины и дѣвушки малокровны отъ бездѣлья. Какой умный человѣкъ Владиміръ! Онъ правъ, безконечно правъ. Надо работать!

Черезъ два дня она пришла къ Ажогинымъ на репетицію, съ тетрадкой. Она была въ черномъ платьѣ, съ коралловою ниткой на шеѣ, съ брошью, похожею издали на слоеный пирожокъ, и въ ушахъ были большія серьги, въ которыхъ блестѣло по брильянту. Когда я взглянулъ на нее, то мнѣ стало неловко: меня поразила безвкусица.

Что она некстати надѣла серьги и бриллянты и была странно одѣта, замѣтили и другіе; я видѣлъ на лицахъ улыбки и слышалъ, какъ кто-то проговорилъ, смѣясь:

— Клеопатра Египетская.

Она старалась быть свѣтскою, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною и странной. Простота и миловидность покинули ее.

— Сейчасъ я объявила отцу, что ухожу на репетицію,— начала она, подходя ко мнѣ: — и онъ крикнулъ, что лишаетъ меня благословенія, и даже едва не ударилъ меня. Представь, я не знаю своей роли,—сказала она, заглядывая въ тетрадку.—Я непремѣнно собьюсь. Итакъ, жребій брошенъ,—продолжала она въ сильномъ волненіи.—Жребій брошенъ...

Ей казалось, что всѣ смотрятъ на нее и всѣ изумлены тѣмъ важнымъ шагомъ, на который она рѣшилась, что всѣ ждутъ отъ нея чего-то особеннаго, и убѣдить ее, что на такихъ маленькихъ и неинтересныхъ людей, какъ я и она, никто не обращаетъ вниманія, было невозможно.

До третьяго акта ей нечего было дѣлать, и ея роль гостьи, провинціальной кумушки, заключалась лишь въ томъ, что она должна была постоять у двери, какъ бы подслушивая, и потомъ сказать короткій монологъ. До своего выхода, по крайней мѣрѣ, часа полтора, пока на сценѣ ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила отъ меня и все время бормотала свою роль и нервно мяла тетрадку; и воображая, что всѣ смотрятъ на нее и ждутъ ея выхода, она дрожащею рукой поправляла волосы и говорила мнѣ:

— Я непремѣнно собьюсь... Какъ тяжело у меня на душѣ, если бъ ты зналъ! У меня такой страхъ, будто меня поведутъ сейчасъ на смертную казнь.

Наконецъ, настала ея очередь.

— Клеопатра Алексѣевна,—вамъ!—сказалъ режиссеръ.

Она вышла на середину сцены съ выраженіемъ ужаса на лицѣ, некрасивая, угловатая, и съ полминуты простояла, какъ въ столбнякѣ, совершенно неподвижно, и только однѣ большія сережки качались подъ ушами.

— Въ первый разъ можно по тетрадкѣ, — сказалъ кто-то.

Мнѣ было ясно, что она дрожитъ и отъ дрожи не мо-

жетъ говорить и развернуть тетрадку, и что ей вовсе не до роли, и я уже хотѣлъ пойти къ ней и сказать ей что-нибудь, какъ она вдругъ опустилась на колѣни среди сцены и громко зарыдала.

Все двигалось, все шумѣло вокругъ, одинъ я стоялъ, прислонившись къ кулисѣ, пораженный тѣмъ, что произошло, не понимая, не зная, что̀ мнѣ дѣлать. Я видѣлъ, какъ ее подняли и увели. Я видѣлъ, какъ ко мнѣ подошла Анюта Благово; раньше я не видѣлъ ея въ залѣ, и теперь она точно изъ земли выросла. Она была въ шляпѣ, подъ вуалью, и, какъ всегда, имѣла такой видъ, будто зашла только на минуту.

— Я говорила ей, чтобы она не играла,—сказала она сердито, отрывисто выговаривая каждое слово и краснѣя.— Это — безуміе! Вы должны были удержать ее!

Быстро подошла Ажогина-мать въ короткой кофточкѣ съ короткими рукавами, съ табачнымъ пепломъ на груди, худая и плоская.

— Другъ мой, это ужасно, — проговорила она, ломая руки и, по обыкновенію, пристально всматриваясь мнѣ въ лицо. — Это ужасно! Ваша сестра въ положеніи... она беременна! Уведите ее, прошу васъ...

Она тяжело дышала отъ волненія. А въ сторонѣ стояли три дочери, такія же, какъ она, худыя и плоскія, и пугливо жались другъ къ другу. Онѣ были встревожены, ошеломлены, точно въ ихъ домѣ только-что поймали каторжника. Какой позоръ, какъ страшно! А вѣдь это почтенное семейство всю свою жизнь боролось съ предразсудками; очевидно, оно полагало, что всѣ предразсудки и заблужденія человѣчества только въ трехъ свѣчахъ, въ тринадцатомъ числѣ, въ тяжеломъ днѣ — понедѣльникѣ!

— Прошу васъ... прошу...—повторяла госпожа Ажогина, складывая губы сердечкомъ на слогѣ «шу» и выговаривая его, какъ «шю». — Прошю, уведите ее домой.

XVIII.

Немного погодя, я и сестра шли по улицѣ. Я прикрывалъ ее полой своего пальто; мы торопились, выбирая переулки, гдѣ не было фонарей, прячась отъ встрѣчныхъ, и это было похоже на бѣгство. Она уже не плакала, а глядѣла на меня сухими глазами. До Макарихи, куда я велъ

се, было ходьбы всего минутъ двадцать, и, странное дѣло, за такое короткое время мы успѣли припомнить всю нашу жизнь, мы обо всемъ переговорили, обдумали наше положеніе, сообразили...

Мы рѣшили, что намъ уже нельзя больше оставаться въ этомъ городѣ, и что когда я добуду немного денегъ, то мы переѣдемъ куда-нибудь въ другое мѣсто. Въ однихъ домахъ уже спали, въ другихъ играли въ карты; мы ненавидѣли эти дома, боялись ихъ и говорили объ изувѣрствѣ, сердечной грубости, ничтожествѣ этихъ почтенныхъ семействъ, этихъ любителей драматическаго искусства, которыхъ мы такъ испугали, и я спрашивалъ, чѣмъ же эти глупые, жестокіе, лѣнивые, нечестные люди лучше пьяныхъ и суевѣрныхъ куриловскихъ мужиковъ, или чѣмъ лучше они животныхъ, которыя тоже приходятъ въ смятеніе, когда какая-нибудь случайность нарушаетъ однообразіе ихъ жизни, ограниченной инстинктами. Что̀ было бы теперь съ сестрой, если бы она осталась жить дома? Какія нравственныя мученія испытывала бы она, разговаривая съ отцомъ, встрѣчаясь каждый день со знакомыми? Я воображалъ себѣ это, и тутъ же мнѣ приходили на память люди, все знакомые люди, которыхъ медленно сживали со свѣта ихъ близкіе и родные, припомнились замученныя собаки, сходившія съ ума, живые воробьи, ощипанные мальчишками до-гола и брошенные въ воду—и длинный, длинный рядъ глухихъ медлительныхъ страданій, которыя я наблюдалъ въ этомъ городѣ непрерывно съ самаго дѣтства; и мнѣ было непонятно, чѣмъ живутъ эти шестьдесятъ тысячъ жителей, для чего они читаютъ евангеліе, для чего молятся, для чего читаютъ книги и журналы. Какую пользу принесло имъ все то, что до сихъ поръ писалось и говорилось, если у нихъ все та же душевная темнота и то же отвращеніе къ свободѣ, что̀ было и сто, и триста лѣтъ назадъ? Подрядчикъ-плотникъ всю свою жизнь строитъ въ городѣ дома и все же до самой смерти вмѣсто «галлерея» говоритъ «галдарея», такъ и эти шестьдесятъ тысячъ жителей поколѣніями читаютъ и слышатъ о правдѣ, о милосердіи и свободѣ, и все же до самой смерти лгутъ отъ утра до вечера, мучаютъ другъ друга, а свободы боятся и ненавидятъ ее, какъ врага.

— Итакъ, судьба моя рѣшена,— сказала сестра, когда

мы пришли домой. — Послѣ того, что случилось, я уже не могу возвратиться *туда*. Господи, какъ это хорошо! У меня стало легко на душѣ.

Она тотчасъ легла въ постель. На рѣсницахъ у нея блестѣли слезы, но выраженіе было счастливое, спала она крѣпко и сладко, и видно было, что, въ самомъ дѣлѣ, у нея легко на душѣ и что она отдыхаетъ. Давно-давно уже она не спала такъ!

И вотъ мы начали жить вмѣстѣ. Она все пѣла и говорила, что ей очень хорошо, и книги, которыя мы брали въ библіотекѣ, я уносилъ обратно не читанными, такъ какъ она уже не могла читать; ей хотѣлось только мечтать и говорить о будущемъ. Починяя мое бѣлье или помогая Карповнѣ около печки, она то напѣвала, то говорила о своемъ Владимірѣ, объ его умѣ, прекрасныхъ манерахъ, добротѣ, объ его необыкновенной учености, и я соглашался съ нею, хотя уже не любилъ ея доктора. Ей хотѣлось работать, жить самостоятельно, на свой счетъ, и она говорила, что пойдетъ въ учительницы или въ фельдшерицы, какъ только позволитъ здоровье, и будетъ сама мыть полы, стирать бѣлье. Она уже страстно любила своего маленькаго; его еще не было на свѣтѣ, но она уже знала, какіе у него глаза, какія руки и какъ онъ смѣется. Она любила поговорить о воспитаніи, а такъ какъ лучшимъ человѣкомъ на свѣтѣ былъ Владиміръ, то и всѣ разсужденія ея о воспитаніи сводились къ тому только, чтобы мальчикъ былъ такъ же очарователенъ, какъ его отецъ. Конца не было разговорамъ, и все, что она говорила, возбуждало въ ней живую радость. Иногда радовался и я, самъ не зная чему.

Должно-быть, она заразила меня своею мечтательностью. Я тоже ничего не читалъ и только мечталъ; по вечерамъ, несмотря на утомленіе, я ходилъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки въ карманы, и говорилъ о Машѣ.

— Какъ ты думаешь, — спрашивалъ я сестру: — когда она вернется? Мнѣ кажется, она вернется къ Рождеству, не позже. Что ей тамъ дѣлать?

— Если она тебѣ не пишетъ, то, очевидно, вернется очень скоро.

— Это правда,—соглашался я, хотя отлично зналъ, что Машѣ уже не зачѣмъ возвращаться въ нашъ городъ.

Я сильно соскучился по ней и уже не могъ не обманы-

вать себя и старался, чтобы меня обманывали другіе. Сестра ожидала своего доктора, а я — Машу, и оба мы непрерывно говорили, смѣялись и не замѣчали, что мѣшаемъ спать Карповнѣ, которая лежала у себя на печкѣ и все бормотала:

— Самоваръ-то гудѣлъ поутру, гудѣ-ѣлъ! Охъ, не къ добру, сердечные, не къ добру.

У насъ никто не бывалъ, кромѣ почтальона, приносившаго сестрѣ письма отъ доктора, да Прокофія, который иногда вечеромъ заходилъ къ намъ и, молча поглядѣвъ на сестру, уходилъ и ужъ у себя въ кухнѣ говорилъ:

— Всякое званіе должно свою науку помнить, а кто не желаетъ этого понимать по своей гордости, тому юдоль.

Онъ любилъ слово «юдоль». Какъ-то — это было уже на святкахъ, — когда я проходилъ базаромъ, онъ зазвалъ меня къ себѣ въ мясную лавку и, не подавая мнѣ руки, заявилъ, что ему нужно поговорить со мною о какомъ-то очень важномъ дѣлѣ. Онъ былъ красенъ отъ мороза и отъ водки; возлѣ него за прилавкомъ стоялъ Николка съ разбойничьимъ лицомъ, держа въ рукѣ окровавленный ножъ.

— Я желаю выразить вамъ мои слова, — началъ Прокофій. — Это событіе не можетъ существовать, потому что сами понимаете, за такую юдоль люди не похвалятъ ни насъ, ни васъ. Мамаша, конечно, изъ жалости не можетъ говорить вамъ непріятности, чтобы ваша сестрица перебралась на другую квартиру по причинѣ своего положенія, а я больше не желаю, потому что ихняго поведенія не могу одобрить.

Я понялъ его и вышелъ изъ лавки. Въ тотъ же день я и сестра перебрались къ Рѣдькѣ. У насъ не было денегъ на извозчика, и мы шли пѣшкомъ; я несъ на спинѣ узелъ съ нашими вещами, у сестры же ничего не было въ рукахъ, но она задыхалась, кашляла и все спрашивала, скоро ли мы дойдемъ.

XIX.

Наконецъ, пришло письмо отъ Маши.

«Милый, хорошій М. А., — писала она: — добрый, кроткій «ангелъ вы нашъ», какъ называетъ васъ старый маляръ, прощайте, я уѣзжаю съ отцомъ въ Америку на выставку.

Черезъ нѣсколько дней я увижу океанъ—такъ далеко отъ Дубечни, страшно подумать! Это далеко и необъятно, какъ небо, и мнѣ хочется туда, на волю, я торжествую, я безумствую, и вы видите, какъ нескладно мое письмо. Милый, добрый, дайте мнѣ свободу, скорѣе порвите нить, которая еще держится, связывая меня и васъ. То, что я встрѣтила и узнала васъ, было небеснымъ лучомъ, озарившимъ мое существованіе; но то, что я стала вашею женой, было ошибкой, вы понимаете это, и меня теперь тяготитъ сознаніе ошибки, и я на колѣняхъ умоляю васъ, мой великодушный другъ, скорѣе-скорѣе до отъѣзда моего въ океанъ, телеграфируйте, что вы согласны исправить нашу общую ошибку, снять этотъ единственный камень съ моихъ крыльевъ, и мой отецъ, который приметъ на себя всѣ хлопоты, обѣщаетъ мнѣ не слишкомъ отягощать васъ формальностями. Итакъ, вольная на всѣ четыре стороны? Да?

«Будьте счастливы, да благословитъ васъ Богъ, простите меня грѣшную.

«Жива, здорова. Сорю деньгами, дѣлаю много глупостей и каждую минуту благодарю Бога, что у такой дурной женщины, какъ я, нѣтъ дѣтей. Я пою и имѣю успѣхъ, но это не увлеченіе, нѣтъ, это—моя пристань, моя келія, куда я теперь ухожу на покой. У царя Давида было кольцо съ надписью: «все проходитъ». Когда грустно, то отъ этихъ словъ становится весело, а когда весело, то становится грустно. И я завела себѣ такое кольцо съ европейскими буквами, и этотъ талисманъ удержитъ меня отъ увлеченій. Все проходитъ, пройдетъ и жизнь, значитъ ничего не нужно. Или нужно одно лишь сознаніе свободы, потому что, когда человѣкъ свободенъ, то ему ничего, ничего, ничего не нужно. Порвите же нитку. Васъ и сестру крѣпко обнимаю. Простите и забудьте вашу М.»

Сестра лежала въ одной комнатѣ, Рѣдька, который опять былъ боленъ и уже выздоравливалъ,—въ другой. Какъ разъ въ то время, когда я получилъ это письмо, сестра тихо прошла къ маляру, сѣла возлѣ и стала читать. Она каждый день читала ему Островскаго или Гоголя, и онъ слушалъ, глядя въ одну точку, не смѣясь, покачивая головой, и изрѣдка бормоталъ про себя:

— Все можетъ быть! Все можетъ быть!

Если въ пьесѣ изображалось что-нибудь некрасивое,

безобразное, то онъ говорилъ какъ бы съ злорадствомъ, тыча въ книгу пальцемъ:

— Вотъ она, лжа-то! Вотъ она что дѣлаетъ лжа-то!

Пьесы привлекали его и содержаніемъ, и моралью, и своею сложною искусною постройкой, и онъ удивлялся *ему*, никогда не называя *его* по фамиліи:

— Какъ это *онъ* ловко все пригналъ къ мѣсту!

Теперь сестра тихо прочла только одну страницу и не могла больше: не хватало голоса. Рѣдька взялъ ее за руку и, пошевеливъ высохшими губами, сказалъ едва слышно, сиплымъ голосомъ:

— Душа у праведнаго бѣлая и гладкая, какъ мѣлъ, а у грѣшнаго, какъ пемза. Душа у праведнаго—олифа свѣтлая, а у грѣшнаго — смола газовая. Трудиться надо, скорбѣть надо, болѣзновать надо,—продолжалъ онъ:—а который человѣкъ не трудится и не скорбитъ, тому не будетъ царства небеснаго. Горе, горе сытымъ, горе сильнымъ, горе богатымъ, горе заимодавцамъ! Не видать имъ царствія небеснаго. Тля ѣстъ траву, ржа—желѣзо...

— А лжа—душу,—продолжила сестра и разсмѣялась.

Я еще разъ прочелъ письмо. Въ это время въ кухню пришелъ солдатъ, приносившій намъ раза два въ недѣлю, неизвѣстно отъ кого, чай, французскія булки и рябчиковъ, отъ которыхъ пахло духами. Работы у меня не было, приходилось сидѣть дома по цѣлымъ днямъ, и, вѣроятно, тотъ, кто присылалъ намъ эти булки, зналъ, что мы нуждаемся.

Я слышалъ, какъ сестра разговарила съ солдатомъ и весело смѣялась. Потомъ она, лежа, ѣла булку и говорила мнѣ:

— Когда ты не захотѣлъ служить и ушелъ въ маляры, я и Анюта Благово съ самаго начала знали, что ты правъ, но намъ было страшно высказать это вслухъ. Скажи, какая это сила мѣшаетъ сознаваться въ томъ, что думаешь? Взять вотъ хотя бы Анюту Благово. Она тебя любитъ, обожаетъ, она знаетъ, что ты правъ; она и меня любитъ, какъ сестру, и знаетъ, что я права, и небось въ душѣ завидуетъ мнѣ, но какая-то сила мѣшаетъ ей придти къ намъ, она избѣгаетъ насъ, боится.

Сестра сложила на груди руки и сказала съ увлеченіемъ:

— Какъ она тебя любитъ, если бъ ты зналъ! Въ этой любви она признавалась только мнѣ одной, и то поти-

хоньку, впотемкахъ. Бывало, въ саду заведетъ въ темную аллею и начнетъ шептать, какъ ты ей дорогъ. Увидишь, она никогда не пойдетъ замужъ, потому что любитъ тебя. Тебѣ жаль ее?

— Да.

— Это она прислала булки. Смѣшная, право, къ чему скрываться? Я тоже была смѣшной и глупой, а вотъ ушла оттуда и уже никого не боюсь, думаю и говорю вслухъ, что̀ хочу—и стала счастливой. Когда жила дома и понятія не имѣла о счастьѣ, а теперь я не помѣнялась бы съ королевой.

Пришелъ докторъ Благово. Онъ получилъ докторскую степень и теперь жилъ въ нашемъ городѣ, у отца, отдыхалъ и говорилъ, что скоро опять уѣдетъ въ Петербургъ. Ему хотѣлось заняться прививками тифа и, кажется, холеры; хотѣлось поѣхать за границу, чтобы усовершенствоваться и потомъ занять каѳедру. Онъ уже оставилъ военную службу и носилъ просторные шевіотовые пиджаки, очень широкіе брюки и превосходные галстуки. Сестра была въ восторгѣ отъ его булавокъ, запонокъ и отъ краснаго шелковаго платочка, который онъ, вѣроятно, изъ кокетства держалъ въ переднемъ карманѣ пиджака. Однажды, отъ нечего дѣлать, мы съ нею принялись считать на память всѣ его костюмы и рѣшили, что у него ихъ, по крайней мѣрѣ, штукъ десять. Было ясно, что онъ попрежнему любитъ мою сестру, но онъ ни разу даже въ шутку не сказалъ, что возьметъ ее съ собою въ Петербургъ или за границу, и я не могъ себѣ ясно представить, что̀ будетъ съ нею, если она останется жива, что̀ будетъ съ ея ребенкомъ. А она только безъ конца мечтала и не думала серьезно о будущемъ, она говорила, что пусть онъ ѣдетъ, куда хочетъ, и пусть даже броситъ ее, лишь бы самъ былъ счастливъ, а съ нея довольно и того, что было.

Обыкновенно, придя къ намъ, онъ выслушивалъ ее очень внимательно и требовалъ, чтобы она при немъ пила молоко съ каплями. И въ этотъ разъ было то же самое. Онъ выслушалъ ее и заставилъ выпить стаканъ молока, и послѣ этого въ нашихъ комнатахъ запахло креозотомъ.

— Вотъ умница,—сказалъ онъ, принимая отъ нея стаканъ.—Тебѣ нельзя много говорить, а въ послѣднее время ты болтаешь, какъ сорока. Пожалуйста, молчи.

Она засмѣялась. Потомъ онъ вошелъ въ комнату Рѣдьки, гдѣ я сидѣлъ, и ласково похлопалъ меня по плечу.

— Ну, что, старикъ? — спросилъ онъ, наклоняясь къ больному.

— Ваше высокоблагородіе...—проговорилъ Рѣдька, тихо пошевеливъ губами:—ваше высокоблагородіе, осмѣлюсь доложить... всѣ подъ Богомъ ходимъ, всѣмъ помирать надо... Дозвольте правду сказать... Ваше высокоблагородіе, не будетъ вамъ царства небеснаго!

— Что же дѣлать,—пошутилъ докторъ:—надо быть кому-нибудь и въ аду.

И вдругъ что-то сдѣлалось съ моимъ сознаніемъ; точно мнѣ приснилось, будто зимой, ночью, я стою въ бойнѣ на дворѣ, а рядомъ со мною Прокофій, отъ котораго пахнетъ перцовкой; я сдѣлалъ надъ собой усиліе и протеръ глаза, и тотчасъ же мнѣ представилось, будто я иду къ губернатору для объясненій. Ничего подобнаго не было со мной ни раньше, ни потомъ, и эти странныя воспоминанія, похожія на сонъ, я объясняю переутомленіемъ нервовъ. Я переживалъ и бойню, и объясненіе съ губернаторомъ и въ то же время смутно сознавалъ, что этого нѣтъ на самомъ дѣлѣ.

Когда я очнулся, то увидѣлъ, что я уже не дома, а на улицѣ, и вмѣстѣ съ докторомъ стою около фонаря.

— Грустно, грустно, — говорилъ онъ, и слезы текли у него по щекамъ.—Она весела, постоянно смѣется, надѣется, а положеніе ея безнадежно, голубчикъ. Вашъ Рѣдька ненавидитъ меня и все хочетъ дать понять, что я поступилъ съ нею дурно. Онъ по-своему правъ, но у меня тоже своя точка зрѣнія, и я нисколько не раскаиваюсь въ томъ, что произошло. Надо любить, мы всѣ должны любить — не правда ли?—безъ любви не было бы жизни; кто боится и избѣгаетъ любви, тотъ не свободенъ.

Мало-по-малу онъ перешелъ на другія темы, заговорилъ о наукѣ, о своей диссертаціи, которая понравилась въ Петербургѣ; онъ говорилъ съ увлеченіемъ и уже не помнилъ ни о моей сестрѣ, ни о своемъ горѣ, ни обо мнѣ. Жизнь увлекала его. У той—Америка и кольцо съ надписью, думалъ я, а у этого—докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старомъ.

Простившись съ нимъ, я подошелъ къ фонарю и еще

разъ прочелъ письмо. И я вспомнилъ, живо вспомнилъ, какъ весной, утромъ, она пришла ко мнѣ на мелвницу, легла и укрылась полушубочкомъ — ей хотѣлось походить на простую бабу. А когда, въ другой разъ, — это было тоже утромъ,—мы доставали изъ воды вершу, то на насъ съ прибрежныхъ изъ сыпались крупныя капли дождя, и мы смѣялись...

Въ нашемъ домѣ на Большой Дворянской было темно. Я перелѣзъ черезъ заборъ и, какъ дѣлалъ это въ прежнее время, прошелъ чернымъ ходомъ въ кухню, чтобы взять тамъ лампочку. Въ кухнѣ никого не было; около печи шипѣлъ самоваръ, поджидая моего отца. «Кто-то теперь,— подумалъ я:—разливаетъ отцу чай?» Взявши лампочку, я пошелъ въ хибарку и тутъ примостилъ себѣ постель изъ старыхъ газетъ и легъ. Костыли на стѣнахъ сурово глядѣли попрежнему, и тѣни ихъ мигали. Было холодно. Мнѣ представилось, что сейчасъ должна придти сестра и принести мнѣ ужинъ, но тотчасъ же я вспомнилъ, что она больна и лежитъ въ домѣ Рѣдьки, и мнѣ показалось страннымъ, что я перелѣзъ черезъ заборъ и лежу въ нетопленой хибаркѣ. Сознанье мое путалось, и я видѣлъ всякій вздоръ.

Звонокъ. Съ дѣтства знакомые звуки: сначала проволока шуршитъ по стѣнѣ, потомъ въ кухнѣ раздается короткій, жалобный звонъ. Это изъ клуба вернулся отецъ. Я всталъ и отправился въ кухню. Кухарка Аксинья, увидѣвъ меня, всплеснула руками и почему-то заплакала.

— Родной мой! — заговорила она тихо. — Дорогой! О, Господи!

И отъ волненія стала мять въ рукахъ свой фартукъ. На окнѣ стояли четвертныя бутыли съ ягодами и водкой. Я налилъ себѣ чайную чашку и съ жадностью выпилъ, потому что мнѣ сильно хотѣлось пить. Аксинья только недавно вымыла столъ и скамьи, и въ кухнѣ былъ запахъ, какой бываетъ въ свѣтлыхъ, уютныхъ кухняхъ у опрятныхъ кухарокъ. И этотъ запахъ, и крикъ сверчка когда-то въ дѣтствѣ манили насъ, дѣтей, сюда въ кухню и располагали къ сказкамъ, къ игрѣ въ короли...

— А Клеопатра гдѣ?—спрашивала Аксинья тихо, торопясь, сдерживая дыханіе. — А шапка твоя гдѣ, батюшка? А жена, сказываютъ, въ Питеръ уѣхала?

Она служила еще при нашей матери и купала когда-то меня и Клеопатру въ корытѣ, и теперь для нея мы все еще были дѣти, которыхъ нужно было наставлять. Въ какія-нибудь четверть часа она выложила передо мною всѣ свои соображенія, какія съ разсудительностью старой слуги скапливала въ тиши этой кухни все время, пока мы не видѣлись. Она сказала, что доктора можно заставить жениться на Клеопатрѣ, — стòитъ только припугнуть его, и если хорошо написать прошеніе, то архіерей расторгнетъ его первый бракъ; что хорошо бы потихоньку отъ жены Дубечню продать, а деньги положить въ банкъ на мое имя; что если бы я и сестра поклонились отцу въ ноги и попросили хорошенько, то, быть-можетъ, онъ простилъ бы насъ; что надо бы отслужить молебенъ Царицѣ Небесной...

— Ну, иди, батюшка, поговори съ нимъ,—сказала она, когда послышался кашель отца.—Ступай, поговори, поклонись, голова не отвалится.

Я пошелъ. Отецъ уже сидѣлъ за столомъ и чертилъ планъ дачи съ готическими окнами и съ толстою башней, похожею на пожарную каланчу—нѣчто необыкновенно упрямое и бездарное. Я, войдя въ кабинетъ, остановился такъ, что мнѣ былъ виденъ этотъ чертежъ. Я не зналъ, зачѣмъ я пришелъ къ отцу, но помню, когда я увидѣлъ его тощее лицо, красную шею, его тѣнь на стѣнѣ, то мнѣ захотѣлось броситься къ нему на шею и, какъ учила Аксинья, поклониться ему въ ноги; но видъ дачи съ готическими окнами и съ толстою башней удержалъ меня.

— Добрый вечеръ,—сказалъ я.

Онъ взглянулъ на меня и тотчасъ же опустилъ глаза на свой чертежъ.

— Чтò тебѣ нужно?—спросилъ онъ, немного погодя.

— Я пришелъ вамъ сказать,—сестра очень больна. Она скоро умретъ,—добавилъ я глухо.

— Что жъ?—вздохнулъ отецъ, снимая очки и кладя ихъ на столъ. — Что посѣешь, то и пожнешь. Что посѣешь, — повторилъ онъ, вставая изъ-за стола: — то и пожнешь. Я прошу тебя вспомнить, какъ два года назадъ ты пришелъ ко мнѣ, и вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ я просилъ тебя, умолялъ оставить свои заблужденія, напоминалъ тебѣ о долгѣ, чести и о твоихъ обязанностяхъ по отношенію къ предкамъ, традиціи которыхъ мы должны свято хранить.

Послушалъ ли ты меня? Ты пренебрегъ моими совѣтами и съ упорствомъ продолжалъ держаться своихъ ложныхъ взглядовъ; мало того, въ свои заблужденія ты вовлекъ также сестру и заставилъ ее потерять нравственность и стыдъ. Теперь вамъ обоимъ приходится нехорошо. Что жъ? Что посѣешь, то и пожнешь!

Онъ говорилъ это и ходилъ по кабинету. Вѣроятно, онъ думалъ, что я пришелъ къ нему съ повинною, и, вѣроятно, онъ ждалъ, что я начну просить за себя и сестру. Мнѣ было холодно, я дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и говорилъ съ трудомъ, хриплымъ голосомъ.

— И я тоже прошу вспомнить,—сказалъ я:—на этомъ самомъ мѣстѣ я умолялъ васъ понять меня, вдуматься, вмѣстѣ рѣшить, какъ и для чего намъ жить, а вы въ отвѣтъ заговорили о предкахъ, о дѣдушкѣ, который писалъ стихи. Вамъ говорятъ теперь о томъ, что ваша единственная дочь безнадежна, а вы опять о предкахъ, о традиціяхъ.!. И такое легкомысліе въ старости, когда смерть не за горами, когда осталось жить какихъ-нибудь пять, десять лѣтъ!

— Ты зачѣмъ пришелъ сюда?—строго спросилъ отецъ, очевидно оскорбленный тѣмъ, что я попрекнулъ его легкомысліемъ.

— Не знаю. Я люблю васъ, мнѣ невыразимо жаль, что мы такъ далеки другъ отъ друга,—вотъ я и пришелъ. Я еще люблю васъ, но сестра уже окончательно порвала съ вами. Она не прощаетъ и уже никогда не проститъ. Ваше одно имя возбуждаетъ въ ней отвращеніе къ прошлому, къ жизни.

— А кто виноватъ?—крикнулъ отецъ.—Ты же и виноватъ, негодяй!

— Да, пусть я виноватъ,—сказалъ я.—Сознаю, я виноватъ во многомъ, но зачѣмъ же эта ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для насъ,—зачѣмъ она такъ скучна, такъ бездарна, зачѣмъ ни въ одномъ изъ этихъ домовъ, которые вы строите вотъ уже тридцать лѣтъ, нѣтъ людей, у которыхъ я могъ бы поучиться, какъ жить, чтобы не быть виноватымъ? Во всемъ городѣ ни одного честнаго человѣка! Эти ваши дома—проклятыя гнѣзда, въ которыхъ сживаютъ со свѣта матерей, дочерей, мучаютъ дѣтей... Бѣдная моя мать!—продолжалъ я въ отчаяніи.—Бѣдная

сестра! Нужно одурять себя водкой, картами, сплетнями, надо подличать, ханжить, или десятки лѣтъ чертить и чертить, чтобы не замѣчать всего ужаса, который прячется въ этихъ домахъ. Городъ нашъ существуетъ уже сотни лѣтъ и за все время онъ не далъ родинѣ ни одного полезнаго человѣка — ни одного! Вы душили въ зародышѣ все мало-мальски живое и яркое! Городъ лавочниковъ, трактирщиковъ, канцеляристовъ, ханжей, ненужный, безполезный городъ, о которомъ не пожалѣла бы ни одна душа, если бы онъ вдругъ провалился сквозь землю.

— Я не желаю слушать тебя, негодяй!—сказалъ отецъ и взялъ со стола линейку. — Ты пьянъ! Ты не смѣешь являться въ такомъ видѣ къ отцу! Говорю тебѣ въ послѣдній разъ, и передай это своей безнравственной сестрѣ, что вы отъ меня ничего не получите. Непокорныхъ дѣтей я вырвалъ изъ своего сердца, и если они страдаютъ отъ непокорности и упорства, то я не жалѣю ихъ. Можешь уходить откуда пришелъ! Богу угодно было наказать меня вами, но я со смиреніемъ переношу это испытаніе, и, какъ Іовъ, нахожу утѣшеніе въ страданіяхъ и постоянномъ трудѣ. Ты не долженъ переступать моего порога, пока не исправишься. Я справедливъ, все, что я говорю, это полезно, и если ты хочешь себѣ добра, то ты долженъ всю свою жизнь помнить то, что я говорилъ тебѣ и говорю.

Я махнулъ рукой и вышелъ. Затѣмъ не помню, что было ночью и на другой день.

Говорятъ, что я ходилъ по улицамъ безъ шапки, шатаясь, и громко пѣлъ, а за мною толпами ходили мальчишки и кричали!

— Маленькая польза! Маленькая польза!

XX.

Если бы у меня была охота заказать себѣ кольцо, то я выбралъ бы такую надпись: «ничто не проходитъ». Я вѣрю, что ничто не проходитъ безслѣдно, и что каждый малѣйшій шагъ нашъ имѣетъ значеніе для настоящей и будущей жизни.

То, что я пережилъ, не прошло даромъ. Мои большія несчастья, мое терпѣніе тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовутъ маленькой пользой, не смѣются надо мною, и, когда я прохожу торговыми рядами, меня

уже не обливаютъ водой. Къ тому, что я сталъ рабочимъ, уже привыкли и не видятъ ничего страннаго въ томъ, что я, дворянинъ, ношу ведра съ краской и вставляю стекла; напротивъ, мнѣ охотно даютъ заказы, и я считаюсь уже хорошимъ мастеромъ и лучшимъ подрядчикомъ, послѣ Рѣдьки, который хотя и выздоровѣлъ и хотя попрежнему краситъ безъ подмостковъ купола на колокольняхъ, но уже не въ силахъ управляться съ ребятами; вмѣсто него я теперь бѣгаю по городу и ищу заказовъ, я нанимаю и разсчитываю ребятъ, я беру деньги взаймы подъ большіе проценты. И теперь, ставши подрядчикомъ, я понимаю, какъ это изъ-за грошоваго заказа можно дня по три бѣгать по городу и искать кровельщиковъ. Со мною вѣжливы, говорятъ мнѣ *сы*, и въ домахъ, гдѣ я работаю, меня угощаютъ чаемъ и присылаютъ спросить, не хочу ли я обѣдать. Дѣти и дѣвушки часто приходятъ и съ любопытствомъ и съ грустью смотрятъ на меня.

Какъ-то я работалъ въ губернаторскомъ саду, красилъ тамъ бесѣдку подъ мраморъ. Губернаторъ, гуляя, зашелъ въ бесѣдку и, отъ нечего дѣлать, заговорилъ со мною, и я напомнилъ ему, какъ онъ когда-то приглашалъ меня къ себѣ для объясненій. Онъ минуту вглядывался мнѣ въ лицо, потомъ сдѣлалъ ротъ, какъ *о*, развелъ руками и сказалъ:

— Не помню!

Я постарѣлъ, сталъ молчаливъ, суровъ, строгъ, рѣдко смѣюсь, и говорятъ, что я сталъ похожъ на Рѣдьку и, какъ онъ, нагоняю на ребятъ скуку своими безполезными наставленіями.

Марія Викторовна, бывшая жена моя, живетъ теперь за границей, а ея отецъ, инженеръ, гдѣ-то въ восточныхъ губерніяхъ строитъ дорогу и покупаетъ тамъ имѣнія. Докторъ Благово тоже за границей. Дубечня перешла опять къ госпожѣ Чепраковой, которая купила ее, выторговавъ у инженера двадцать процентовъ уступки. Моисей ходитъ уже въ шляпѣ котелкомъ; онъ часто пріѣзжаетъ въ городъ на бѣговыхъ дрожкахъ по какимъ-то дѣламъ и останавливается около банка. Говорятъ, что онъ уже купилъ себѣ имѣніе съ переводомъ долга и постоянно справляется въ банкѣ насчетъ Дубечни, которую тоже собирается купить. Бѣдный Иванъ Чепраковъ долго шатался по городу, ничего не дѣ-

лая и пьянствуя. Я попытался-было пристроить его къ нашему дѣлу, и одно время онъ вмѣстѣ съ нами красилъ крыши и вставлялъ стекла, и даже вошелъ во вкусъ, и, какъ настоящій маляръ, кралъ олифу, просилъ на чай, пьянствовалъ. Но скоро дѣло надоѣло ему, онъ заскучалъ и вернулся въ Дубечню, и потомъ ребята признавались мнѣ, что онъ подговаривалъ ихъ какъ-нибудь ночью вмѣстѣ съ нимъ убить Моисея и ограбить генеральшу.

Отецъ сильно постарѣлъ, сгорбился и по вечерамъ гуляетъ около своего дома. Я у него не бываю.

Прокофій во время холеры лѣчилъ лавочниковъ перцовкой и дегтемъ и бралъ за это деньги, и, какъ я узналъ изъ нашей газеты, его наказывали розгами за то, что онъ, сидя въ своей мясной лавкѣ, дурно отзывался о докторахъ. Его приказчикъ Николка умеръ отъ холеры. Карповна еще жива и попрежнему любитъ и боится своего Прокофія. Увидѣвъ меня, она всякій разъ печально качаетъ головой и говоритъ со вздохомъ:

— Пропала твоя головушка!

Въ будни я бываю занятъ съ ранняго утра до вечера. А по праздникамъ, въ хорошую погоду, я беру на руки свою крошечную племянницу (сестра ожидала мальчика, но родилась у нея дѣвочка) и иду, не спѣша, на кладбище. Тамъ я стою или сижу, и подолгу смотрю на дорогую мнѣ могилу и говорю дѣвочкѣ, что тутъ лежитъ ея мама.

Иногда у могилы я застаю Анюту Благово. Мы здороваемся и стоимъ молча, или говоримъ о Клеопатрѣ, объ ея дѣвочкѣ, о томъ, какъ грустно жить на этомъ свѣтѣ. Потомъ, выйдя изъ кладбища, мы идемъ молча, и она замедляетъ шагъ — нарочно, чтобы подольше идти со мной рядомъ. Дѣвочка, радостная, счастливая, жмурясь отъ яркаго дневного свѣта, смѣясь, протягиваетъ къ ней ручки, и мы останавливаемся и вмѣстѣ ласкаемъ эту милую дѣвочку.

А когда входимъ въ городъ, Анюта Благово, волнуясь и краснѣя, прощается со мною и продолжаетъ идти одна, солидная, суровая... И уже, никто изъ встрѣчныхъ, глядя на нее, не могъ бы подумать, что она только-что шла рядомъ со мною и даже ласкала ребенка.

Оглавленіе

XI ТОМА.

	стр.
Супруга.	3
Анна на шеѣ.	10
Домъ съ мезониномъ . . .	23
Въ родномъ углу	42
Печенѣгъ	54
Новая дача	64
На подводѣ	78
Мужики	87
Моя жизнь	118

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Случай изъ практики.—Душечка.—По дѣламъ службы.—Іонычъ.—Дама съ собачкой. — Въ оврагѣ. — На святкахъ. — Разсказъ старшаго садовника. — Въ морѣ. — Человѣкъ въ футлярѣ.—Крыжовникъ.—О любви.—Архіерей.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. Ф. МАРКСА
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Пэмайх пр., № 29.

СЛУЧАЙ ИЗЪ ПРАКТИКИ.

Профессоръ получилъ телеграмму изъ фабрики Ляликовыхъ: его просили поскорѣе пріѣхать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, повидимому, владѣлицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять изъ этой длинной, безтолково составленной телеграммы. И профессоръ самъ не поѣхалъ, а вмѣсто себя послалъ своего ординатора Королева.

Нужно было проѣхать отъ Москвы двѣ станціи и потомъ на лошадяхъ версты четыре. За Королевымъ выслали на станцію тройку; кучеръ былъ въ шляпѣ съ павлиньимъ перомъ и на всѣ вопросы отвѣчалъ громко, по-солдатски: «Никакъ нѣтъ!»—«Точно такъ!» Былъ субботній вечеръ, заходило солнце. Отъ фабрики къ станціи толпами шли рабочіе и кланялись лошадямъ, на которыхъ ѣхалъ Королевъ. И его плѣнялъ вечеръ, и усадьбы, и дачи по сторонамъ, и березы, и это тихое настроеніе кругомъ, когда, казалось, вмѣстѣ съ рабочими теперь, наканунѣ праздника, собирались отдыхать и поле, и лѣсъ, и солнце,—отдыхать, быть-можетъ, молиться...

Онъ родился и выросъ въ Москвѣ, деревни не зналъ и фабриками никогда не интересовался и не бывалъ на нихъ. Но ему случалось читать про фабрики и бывать въ гостяхъ у фабрикантовъ и разговаривать съ ними; и когда онъ видѣлъ какую-нибудь фабрику издали, или вблизи, то всякій разъ думалъ о томъ, что вотъ снаружи все тихо и смирно а внутри, должно-быть, непрохбдимое невѣжество и тупой эгоизмъ хозяевъ, скучный, нездоровый трудъ рабочихъ,

дрязги, водка, насѣкомыя. И теперь, когда рабочіе почтительно и пугливо сторонились коляски, онъ въ ихъ лицахъ, картузахъ, въ походкѣ угадывалъ физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въѣхали въ фабричныя ворота. По обѣ стороны мелькали домики рабочихъ, лица женщинъ, бѣлье и одѣяла на крыльцахъ. «Берегись!»—кричалъ кучеръ, не сдерживая лошадей. Вотъ широкій дворъ безъ травы, на немъ пять громадныхъ корпусовъ съ трубами, другъ отъ друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всемъ какой-то сѣрый налетъ, точно отъ пыли. Тамъ и сямъ, какъ оазисы въ пустынѣ, жалкіе садики и зеленыя или красныя крыши домовъ, въ которыхъ живетъ администрація. Кучеръ вдругъ осадилъ лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашеннаго заново въ сѣрый цвѣтъ; тутъ былъ палисадникъ съ сиренью, покрытой пылью, и на желтомъ крыльцѣ сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господинъ докторъ, — говорили женскіе голоса въ сѣняхъ и въ передней; и при этомъ слышались вздохи и шопотъ.—Пожалуйте; заждались... чистое горе. Вотъ сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная, пожилая дама, въ черномъ шелковомъ платьѣ съ модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрѣла на доктора съ тревогой и не рѣшалась подать ему руку, не смѣла. Рядомъ съ ней стояла особа съ короткими волосами, въ pince-nez, въ пестрой цвѣтной кофточкѣ, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитріевной, и Королевъ догадался, что это гувернантка. Вѣроятно, ей, какъ самой образованной въ домѣ, было поручено встрѣтить и принять доктора, потому что она тотчасъ же, торопясь, стала излагать причины болѣзни, съ мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто боленъ и въ чемъ дѣло.

Докторъ и гувернантка сидѣли и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Изъ разговора Королевъ понялъ, что больна Лиза, дѣвушка двадцати лѣтъ, единственная дочь госпожи Ляликовой, наслѣдница; она давно уже болѣла и лѣчилась у разныхъ докторовъ, а въ послѣднюю ночь, съ вечера до утра, у нея было такое сердцебіеніе, что всѣ въ домѣ не спали; боялись, какъ бы не умерла.

— Она у насъ, можно сказать, съ малолѣтства была хворенькая,—разсказывала Христина Дмитріевна пѣвучимъ голосомъ, то и дѣло вытирая губы рукой.—Доктора говорятъ—нервы, но когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, такъ вотъ, думаю, можетъ отъ этого.

Пошли къ больной. Совсѣмъ уже взрослая, большая, хорошаго роста, но некрасивая, похожая на мать, съ такими же маленькими глазами и съ широкой, неумѣренно развитой нижней частью лица, не причесанная, укрытая до подбородка, она въ первую минуту произвела на Королева впечатлѣніе существа несчастнаго, убогаго, которое изъ жалости пригрѣли здѣсь и укрыли, и не вѣрилось, что это была наслѣдница пяти громадныхъ корпусовъ.

— А мы къ вамъ, — началъ Королевъ: — пришли васъ лѣчить. Здравствуйте.

Онъ назвалъ себя и пожалъ ей руку,—большую, холодную, некрасивую руку. Она сѣла и, очевидно, давно уже привыкшая къ докторамъ, равнодушная къ тому, что у нея были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебіеніе,—сказала она.—Всю ночь былъ такой ужасъ... я едва не умерла отъ ужаса! Дайте мнѣ чего-нибудь.

— Дамъ, дамъ! Успокойтесь.

Королевъ осмотрѣлъ ее и пожалъ плечами.

— Сердце, какъ слѣдуетъ,—сказалъ онъ:—все обстоитъ благополучно, все въ порядкѣ. Нервы, должно-быть, подгуляли немножко, но это такъ обыкновенно. Припадокъ, надо думать, уже кончился, ложитесь себѣ спать.

Въ это время принесли въ спальню лампу. Больная прищурилась на свѣтъ и вдругъ охватила голову руками и зарыдала. И впечатлѣніе существа убогаго и некрасиваго вдругъ исчезло, и Королевъ уже не замѣчалъ ни маленькихъ глазъ, ни грубо развитой нижней части лица; онъ видѣлъ мягкое страдальческое выраженіе, которое было такъ разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотѣлось уже успокоить ее не лѣкарствами, не совѣтомъ, а простымъ ласковымъ словомъ. Мать обняла ея голову и прижала къ себѣ. Сколько отчаянія, сколько скорби на лицѣ у старухи! Она, мать, вскормила, выростила дочь, не жалѣла ничего, всю жизнь

отдала на то, чтобъ обучить ее французскому языку, танцамъ, музыкѣ, приглашала для нея десятокъ учителей, самыхъ лучшихъ докторовъ, держала гувернантку, и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачѣмъ столько мукъ, не понимала и терялась, и у нея было виноватое, тревожное, отчаянное выраженіе, точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сдѣлала, кого-то еще не пригласила, а кого—неизвѣстно.

— Лизанька, ты опять... ты опять,—говорила она, прижимая къ себѣ дочь.—Родная моя, голубушка, дѣточка моя, скажи, что̀ съ тобой? Пожалѣй меня, скажи.

Обѣ горько плакали. Королевъ сѣлъ на край постели и взялъ Лизу за руку.

— Полноте, сто̀итъ ли плакать?—сказалъ онъ ласково.—Вѣдь на свѣтѣ нѣтъ ничего такого, что заслуживало бы этихъ слезъ. Ну, не будемъ плакать, не нужно это...

А самъ подумалъ:

«Замужъ бы ее пора»...

— Нашъ фабричный докторъ давалъ ей кали-бромàти,—сказала гувернантка:—но ей отъ этого, я замѣчаю, только хуже. По-моему, ужъ если давать отъ сердца, то капли... забыла, какъ онѣ называются... Ландышевыя, что ли.

И опять пошли всякія подробности. Она перебивала доктора, мѣшала ему говорить и на лицѣ у нея было написано страданіе, точно она полагала, что, какъ самая образованная женщина въ домѣ, она была обязана вести съ докторомъ непрерывный разговоръ и непремѣнно о медицинѣ.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особеннаго,—сказалъ онъ, выходя изъ спальни и обращаясь къ матери. — Если вашу дочь лѣчилъ фабричный врачъ, то пусть и продолжаетъ лѣчить. Лѣченіе до сихъ поръ было правильное, и я не вижу необходимости мѣнять врача. Для чего мѣнять? Болѣзнь такая обыкновенная, ничего серьезнаго...

Онъ говорилъ не спѣша, надѣвая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрѣла на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поѣзда осталось полчаса,—сказалъ онъ:—надѣюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у насъ остаться?—спросила она, и

опять слезы потекли у нея по щекамъ.—Совѣстно васъ безпокоить, но будьте такъ добры... ради Бога,—продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь,—переночуйте у насъ. Она у меня одна... единственная дочь... Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уѣзжайте, Бога ради...

Онъ хотѣлъ сказать ей, что у него въ Москвѣ много работы, что дома его ждетъ семья; ему было тяжело провести въ чужомъ домѣ безъ надобности весь вечеръ и всю ночь, но онъ поглядѣлъ на ея лицо, вздохнулъ и сталъ молча снимать перчатки.

Въ залѣ и гостиной для него зажгли всѣ лампы и свѣчи. Онъ сидѣлъ у рояля и перелистывалъ ноты, потомъ осматривалъ картины на стѣнахъ, портреты. На картинахъ, написанныхъ масляными красками, въ золотыхъ рамахъ, были виды Крыма, бурное море съ корабликомъ, католическій монахъ съ рюмкой, и все это сухо, зализано, бездарно... На портретахъ ни одного красиваго, интереснаго лица, все широкія скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, маленькій лобъ и самодовольное лицо, мундиръ мѣшкомъ сидитъ на его большомъ не породистомъ тѣлѣ, на груди медаль и знакъ Краснаго Креста. Культура бѣдная, роскошь случайная, не осмысленная, не удобная, какъ этотъ мундиръ; полы раздражаютъ своимъ блескомъ, раздражаетъ люстра, и вспоминается почему-то разсказъ про купца, ходившаго въ баню съ медалью на шеѣ...

Изъ передней доносился шопотъ, кто-то тихо храпѣлъ. И вдругъ со двора послышались рѣзкіе, отрывистые, металлическіе звуки, какихъ Королевъ раньше никогда не слышалъ и какихъ не понялъ теперь; они отозвались въ его душѣ странно и непріятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тутъ жить»...—подумалъ онъ и опять принялся за ноты.

— Докторъ, пожалуйте закусить! — позвала вполголоса гувернантка.

Онъ пошелъ ужинать. Столъ былъ большой, со множествомъ закусокъ и винъ, но ужинали только двое: онъ да Христина Дмитріевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него черезъ pince-nez:

— Рабочіе нами очень довольны. На фабрикѣ у насъ каждую зиму спектакли, сами рабочіе играютъ, ну чтенія

съ волшебнымъ фонаремъ, великолѣпная чайная и, кажется, чего ужъ. Они намъ очень приверженные, и когда узнали, что Лизанькѣ хуже стало, заказали молебенъ. Необразованные, а вѣдь тоже чувствуютъ.

— Похоже, у васъ въ домѣ нѣтъ ни одного мужчины,— сказалъ Королевъ.

— Ни одного. Петръ Никанорычъ померъ полтора года назадъ, и мы однѣ остались. Такъ и живемъ втроемъ. Лѣтомъ здѣсь, а зимой въ Москвѣ на Полянкѣ. Я у нихъ уже одиннадцать лѣтъ живу. Какъ своя.

Къ ужину подавали стерлядь, куриныя котлеты и компотъ; вина были дорогія, французскія.

— Вы, докторъ, пожалуйста, безъ церемоніи,—говорила Христина Дмитріевна, кушая, утирая ротъ кулачкомъ, и видно было, что она жила здѣсь въ свое полное удовольствіе. Пожалуйста кушайте.

Послѣ ужина доктора отвели въ комнату, гдѣ для него была приготовлена постель. Но ему не хотѣлось спать, было душно и въ комнатѣ пахло краской; онъ надѣлъ пальто и вышелъ.

На дворѣ было прохладно; уже брезжилъ разсвѣтъ и въ сыромъ воздухѣ ясно обозначались всѣ пять корпусовъ съ ихъ длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было въ окнахъ темно, и только въ одномъ изъ корпусовъ горѣла еще печь, два окна были багровы и изъ трубы вмѣстѣ съ дымомъ изрѣдка выходилъ огонь. Далеко за дворомъ кричали лягушки и пѣлъ соловей.

Глядя на корпуса и бараки, гдѣ спали рабочіе, онъ опять думалъ о томъ, о чемъ думалъ всегда, когда видѣлъ фабрики. Пусть спектакли для рабочихъ, волшебные фонари, фабричные доктора, разныя улучшенія, но все же рабочіе, которыхъ онъ встрѣтилъ сегодня по дорогѣ со станціи, ничѣмъ не отличаются по виду отъ тѣхъ рабочихъ, которыхъ онъ видѣлъ давно въ дѣтствѣ, когда еще не было фабричныхъ спектаклей и улучшеній. Онъ, какъ медикъ, правильно судившій о хроническихъ страданіяхъ, коренная причина которыхъ была непонятна и неизлѣчима, и на фабрики смотрѣлъ, какъ на недоразумѣніе, причина котораго была тоже неясна и неустранима, и всѣ улучшенія въ жизни фабричныхъ онъ не считалъ лишними, но приравнивалъ ихъ къ лѣченію неизлѣчимыхъ болѣзней.

«Тутъ недоразумѣніе, конечно...—думалъ онъ, глядя на багровыя окна.—Тысячи полторы-двѣ фабричныхъ работаютъ безъ отдыха, въ нездоровой обстановкѣ, дѣлая плохой ситецъ, живутъ впроголодь и только изрѣдка въ кабакѣ отрезвляются отъ этого кошмара; сотня людей надзираетъ за работой и вся жизнь этой сотни уходитъ на записываніе штрафовъ, на брань, несправедливости, и только двоетрое, такъ-называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсѣмъ не работаютъ и презираютъ плохой ситецъ. Но какія выгоды, какъ пользуются ими? Ляликова и ея дочь несчастны, на нихъ жалко смотрѣть, живетъ въ свое удовольствіе только одна Христина Дмитріевна, пожилая, глуповатая дѣвица въ pince-nez. И выходитъ такъ, значитъ, что работаютъ всѣ эти пять корпусовъ и на восточныхъ рынкахъ продается плохой ситецъ для того только, чтобы Христина Дмитріевна могла кушать стерлядь и пить мадеру.

Вдругъ раздались странные звуки, тѣ самые, которые Королевъ слышалъ до ужина. Около одного изъ корпусовъ кто-то билъ въ металлическую доску, билъ и тотчасъ же задерживалъ звукъ, такъ что получились короткіе, рѣзкіе, нечистые звуки, похожіе на «дер... дер... дер...» Затѣмъ полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такіе же отрывистые и непріятные, уже болѣе низкіе, басовые—«дрын... дрын... дрын...» Одиннадцать разъ. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часовъ.

Послышалось около третьяго корпуса: «жак... жак... жак...» И такъ около всѣхъ корпусовъ и потомъ за бараками и за воротами. И похоже было, какъ будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище съ багровыми глазами, самъ дьяволъ, который владѣлъ тутъ и хозяевами, и рабочими, и обманывалъ и тѣхъ и другихъ.

Королевъ вышелъ со двора въ поле.

— Кто идетъ?—окликнули его у воротъ грубымъ голосомъ.

«Точно въ острогѣ»...—подумалъ онъ и ничего не отвѣтилъ.

Здѣсь соловьи и лягушки были слышнѣе, чувствовалась майская ночь. Со станціи доносился шумъ поѣзда; кричали гдѣ-то сонные пѣтухи, но все же ночь была тиха, міръ покойно спалъ. Въ полѣ, недалеко отъ фабрики, стоялъ срубъ, тутъ былъ сложенъ матеріалъ для постройки. Королевъ сѣлъ на доски и продолжалъ думать:

«Хорошо чувствуетъ себя здѣсь только одна гувернантка, и фабрика работаетъ для ея удовольствія. Но это такъ кажется, она здѣсь только подставное лицо. Главный же, для кого здѣсь все дѣлается,—это дьяволъ».

И онъ думалъ о дьяволѣ, въ котораго не вѣрилъ, и оглядывался на два окна, въ которыхъ свѣтился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрѣлъ на него самъ дьяволъ, та невѣдомая сила, которая создала отношенія между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничѣмъ не исправишь. Нужно, чтобы сильный мѣшалъ жить слабому, таковъ законъ природы, но это понятно и легко укладывается въ мысль только въ газетной статьѣ или въ учебникѣ, въ той же кашѣ, какую представляетъ изъ себя обыденная жизнь, въ путаницѣ всѣхъ мелочей, изъ которыхъ сотканы человѣческія отношенія, это уже не законъ, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падаютъ жертвой своихъ взаимныхъ отношеній, невольно покоряясь какой-то направляющей силѣ, неизвѣстной, стоящей внѣ жизни, посторонней человѣку. Такъ думалъ Королевъ, сидя на доскахъ, и мало-по-малу имъ овладѣло настроеніе, какъ будто эта неизвѣстная, таинственная сила въ самомъ дѣлѣ была близко и смотрѣла. Между тѣмъ, востокъ становился все блѣднѣе, время шло быстро. Пять корпусовъ и трубы на сѣромъ фонѣ разсвѣта, когда кругомъ не было ни души, точно вымерло все, имѣли особенный видъ, не такой, какъ днемъ; совсѣмъ вышло изъ памяти, что тутъ внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но какъ-то все думалось о свайныхъ постройкахъ, о каменномъ вѣкѣ, чувствовалось присутствіе грубой, безсознательной силы...

И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двѣнадцать разъ. Потомъ тихо, тихо полминуты и—раздается въ другомъ концѣ двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно непріятно!»—подумалъ Королевъ.

— Жак... жак... — раздалось въ третьемъ мѣстѣ отрывисто, рѣзко, точно съ досадой:—жакъ... жак...

И чтобы пробить двѣнадцать часовъ, понадобилось минуты четыре. Потомъ затихло; и опять такое впечатлѣніе, будто вымерло все кругомъ.

— Королевъ посидѣлъ еще немного и вернулся въ домъ, но еще долго не ложился. Въ сосѣднихъ комнатахъ шептались, слышалось шлепанье туфель и босыхъ ногъ.

«Ужъ не опять ли съ ней припадокъ?»—подумалъ Королевъ.

Онъ вышелъ, чтобы взглянуть на больную. Въ комнатахъ было уже совсѣмъ свѣтло и въ залѣ на стѣнѣ и на полу дрожалъ слабый солнечный свѣтъ, проникшій сюда сквозь утренній туманъ. Дверь въ комнату Лизы была отворена, и сама она сидѣла въ креслѣ около постели, въ капотѣ, окутанная въ шаль, непричесанная. Шторы на окнахъ были опущены.

— Какъ вы себя чувствуете?—спросилъ Королевъ.

— Благодарю васъ.

Онъ потрогалъ пульсъ, потомъ поправилъ ей волосы, упавшіе на лобъ.

— Вы не спите,—сказалъ онъ.—На дворѣ прекрасная погода, весна, поютъ соловьи, а вы сидите въ потемкахъ и о чемъ-то думаете.

Она слушала и глядѣла ему въ лицо; глаза у нея были грустные, умные и было видно, что она хочетъ что-то сказать ему.

— Часто это съ вами бываетъ?—спросилъ онъ.

Она пошевелила губами и отвѣтила:

— Часто. Мнѣ почти каждую ночь тяжело.

Въ это время на дворѣ сторожа начали бить два часа. Послышалось—«дер... дер...», и она вздрогнула.

— Васъ безпокоятъ эти стуки?—спросилъ онъ.

— Не знаю. Меня тутъ все безпокоитъ,—отвѣтила она и задумалась.—Все безпокоитъ. Въ вашемъ голосѣ мнѣ слышится участіе, мнѣ съ перваго взгляда на васъ почему-то показалось, что съ вами можно говорить обо всемъ.

— Говорите, прошу васъ.

— Я хочу сказать вамъ свое мнѣніе. Мнѣ кажется, что у меня не болѣзнь, а безпокоюсь я и мнѣ страшно, потому что такъ должно и иначе быть не можетъ. Даже самый здоровый человѣкъ не можетъ не безпокоиться, если у него, напримѣръ, подъ окномъ ходитъ разбойникъ. Меня часто лѣчатъ,—продолжала она, глядя себѣ въ колѣни, и улыбнулась застѣнчиво:—я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лѣченія, но мнѣ хотѣлось бы поговорить не съ

докторомъ, а съ близкимъ человѣкомъ, съ другомъ, который бы понялъ меня, убѣдилъ бы меня, что я права или неправа.

— Развѣ у васъ нѣтъ друзей?—спросилъ Королевъ.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Такъ жизнь сложилась... Одинокіе много читаютъ, но мало говорятъ и мало слышатъ, жизнь для нихъ таинственна; они мистики и часто видятъ дьявола тамъ, гдѣ его нѣтъ. Тамара у Лермонтова была одинока и видѣла дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Вѣдь у меня все время свободно, отъ утра до вечера. Днемъ читаю, а по ночамъ—пустая голова, вмѣсто мыслей какія-то тѣни.

— Вы что-нибудь видите по ночамъ?—спросилъ Королевъ.

— Нѣтъ, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрѣла такъ грустно, такъ умно; и ему казалось, что она вѣритъ ему, хочетъ говорить съ нимъ искренно и что она думаетъ такъ же, какъ онъ. Но она молчала и, быть-можетъ, ждала, не заговоритъ ли онъ.

И онъ зналъ, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорѣе оставить пять корпусовъ, и милліонъ, если онъ у нея есть, оставить этого дьявола, который по ночамъ смотритъ; для него было ясно также, что такъ думала и она сама, и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она вѣритъ, подтвердилъ это.

Но онъ не зналъ, какъ это сказать. Какъ? У приговоренныхъ людей стѣсняются спрашивать, за что они приговорены; такъ и у очень богатыхъ людей неловко бываетъ спрашивать, для чего имъ такъ много денегъ, отчего они такъ дурно распоряжаются своимъ богатствомъ, отчего не бросаютъ его, даже когда видятъ въ немъ свое несчастье; и если начинаютъ разговоръ объ этомъ, то выходитъ онъ обыкновенно стыдливый, неловкій, длинный.

«Какъ сказать?—раздумывалъ Королевъ.—Да и нужно ли говорить?»

И онъ сказалъ то, что хотѣлъ, не прямо, а окольнымъ путемъ:

— Вы въ положеніи владѣлицы фабрики и богатой наслѣдницы недовольны, не вѣрите въ свое право и теперь вотъ не спите, это, конечно, лучше, чѣмъ если бы вы были

довольны, крѣпко спали и думали, что все обстоитъ благополучно. У васъ почтенная безсонница; какъ бы ни было, она хорошій признакъ. Въ самомъ дѣлѣ, у родителей нашихъ былъ бы не мыслимъ такой разговоръ, какъ вотъ у насъ теперь; по ночамъ они не разговаривали, а крѣпко спали, мы же, наше поколѣніе, дурно спимъ, томимся, много говоримъ и все рѣшаемъ, правы мы или нѣтъ. А для нашихъ дѣтей или внуковъ вопросъ этотъ,—правы они, или нѣтъ,—будетъ уже рѣшенъ. Имъ будетъ виднѣе, чѣмъ намъ. Хорошая будетъ жизнь лѣтъ черезъ пятьдесятъ, жаль только, что мы не дотянемъ. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будутъ дѣлать дѣти и внуки?—спросила Лиза.

— Не знаю... Должно-быть, побросаютъ все и уйдутъ.

— Куда уйдутъ?

— Куда?.. Да куда угодно, — сказалъ Королевъ и засмѣялся.—Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человѣку.

Онъ взглянулъ на часы.

— Уже солнце взошло, однако,—сказалъ онъ.—Вамъ пора спать. Раздѣвайтесь и спите себѣ во здравіе. Очень радъ, что познакомился съ вами,—продолжалъ онъ, пожимая ей руку.—Вы славный, интересный человѣкъ. Спокойной ночи!

Онъ пошелъ къ себѣ и легъ спать.

На другой день утромъ, когда подали экипажъ, всѣ вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному въ бѣломъ платьѣ, съ цвѣткомъ въ волосахъ, блѣдная, томная; она смотрѣла на него, какъ вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила и все съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хотѣла сказать ему что-то особенное, важное,—только ему одному. Было слышно, какъ пѣли жаворонки, какъ звонили въ церкви. Окна въ фабричныхъ корпусахъ весело сіяли и, проѣзжая черезъ дворъ и потомъ по дорогѣ къ станціи, Королевъ уже не помнилъ ни о рабочихъ, ни о свайныхъ постройкахъ, ни о дьяволѣ, а думалъ о томъ времени, быть-можетъ, уже близкомъ, когда жизнь будетъ такою же свѣтлою и радостной, какъ это тихое, воскресное утро; и думалъ о томъ, какъ это пріятно въ такое утро, весной, ѣхать на тройкѣ, въ хорошей коляскѣ и грѣться на солнышкѣ.

ДУШЕЧКА.

Оленька, дочь отставного коллежскаго ассесора Племянникова, сидѣла у себя во дворѣ на крылечкѣ, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было такъ пріятно думать, что скоро уже вечеръ. Съ востока надвигались темныя дождевыя тучи, и оттуда изрѣдка потягивало влагой.

Среди двора стоялъ Кукинъ, антрепренеръ и содержатель увеселительнаго сада «Тиволи», квартировавшій тутъ же во дворѣ, во флигелѣ, и глядѣлъ на небо.

— Опять!—говорилъ онъ съ отчаяніемъ.—Опять будетъ дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди—точно нарочно! Вѣдь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Онъ всплеснулъ руками и продолжалъ, обращаясь къ Оленькѣ:

— Вотъ вамъ, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, какъ бы лучше,—и что же? Съ одной стороны публика, невѣжественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерію, великолѣпныхъ куплетистовъ, но развѣ ей это нужно? Развѣ она въ этомъ понимаетъ что-нибудь? Ей нуженъ балаганъ! Ей подавай пошлость! Съ другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечеръ дождь. Какъ зарядило съ десятаго мая, такъ потомъ весь май и іюнь, просто ужасъ! Публика не ходитъ, но вѣдь я за аренду плачу? Артистамъ плачу?

На другой день подъ вечеръ опять надвигались тучи, и Кукинъ говорилъ съ истерическимъ хохотомъ:

— Ну что жъ? И пускай! Пускай хоть весь садъ зальетъ, хоть меня самого! Чтобъ мнѣ не было счастья ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ! (Пускай артисты подаютъ на меня въ судъ! Что судъ? Хоть на каторгу въ Сибирь! Хоть на эшафотъ! Ха-ха-ха!)

И на третій день тоже...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нея на глазахъ. Въ концѣ-концовъ несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Онъ былъ малъ ростомъ, тощъ, съ желтымъ лицомъ, (съ зачесанными височками,) говорилъ жидкимъ теноркомъ и, когда говорилъ, то кривилъ ротъ; и на лицѣ у него всегда было написано отчаяніе, но все же онъ возбудилъ въ ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла безъ этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидѣлъ больной, въ темной комнатѣ, въ креслѣ, и тяжело дышалъ; любила свою тетю, которая иногда, разъ въ два года, пріѣзжала изъ Брянска; а еще раньше, когда училась въ прогимназіи, любила своего учителя французскаго языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня съ кроткимъ, мягкимъ взглядомъ, очень здоровая. Глядя на ея полныя розовыя щеки, на мягкую бѣлую шею съ темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ея лицѣ, когда она слушала что-нибудь пріятное, мужчины думали:—«Да, ничего себѣ»... и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдругъ среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить въ порывѣ удовольствія:

— Душечка!

Домъ, въ которомъ она жила со дня рожденія (и который въ завѣщаніи былъ записанъ на ея имя,) находился на окраинѣ города, (въ Цыганской Слободкѣ,) недалеко отъ сада «Тиволи»; по вечерамъ и по ночамъ ей слышно было, какъ въ саду играла музыка, какъ лопались съ трескомъ ракеты, и ей казалось, что это Кукинъ воюетъ со своей судьбой и беретъ приступомъ своего главнаго врага—равнодушную публику; сердце у нея сладко замирало, спать совсѣмъ не хотѣлось, и когда подъ утро онъ возвращался домой, она тихо стучала въ окошко изъ своей спальни и,

показывая ему сквозь занавѣски только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Онъ сдѣлалъ предложеніе, и они повѣнчались. И когда онъ увидалъ какъ слѣдуетъ ея шею и полныя здоровыя плечи, то всплеснулъ руками и проговорилъ:

— Душечка!

Онъ былъ счастливъ, но такъ какъ въ день свадьбы и потомъ ночью шелъ дождь, то съ его лица не сходило выраженіе отчаянія.

Послѣ свадьбы жили хорошо. Она сидѣла у него въ кассѣ, смотрѣла за порядками въ саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ея розовыя щеки, милая, наивная, похожая на сіяніе, улыбка мелькали то въ окошечкѣ кассы, то за кулисами, то въ буфетѣ. И она уже говорила своимъ знакомымъ, что самое замѣчательное, самое важное и нужное на свѣтѣ—это театръ и что получить истинное наслажденіе и стать образованнымъ и гуманнымъ можно только въ театрѣ.

— Но развѣ публика понимаетъ это?—говорила она.— Ей нуженъ балаганъ! Вчера у насъ шелъ «Фаустъ на изнанку», и почти всѣ ложи были пустыя, а если бы мы съ Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, повѣрьте, театръ былъ бы биткомъ набитъ. Завтра мы съ Ваничкой ставимъ «Орфея въ аду», приходите.

И что говорилъ о театрѣ и объ актерахъ Кукинъ, то повторяла и она. Публику она такъ же, какъ и онъ, презирала за равнодушіе къ искусству и за невѣжество, на репетиціяхъ вмѣшивалась, поправляла актеровъ, смотрѣла за поведеніемъ музыкантовъ, и когда въ мѣстной газетѣ неодобрительно отзывались о театрѣ, то она плакала и потомъ ходила въ редакцію объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы съ Ваничкой» и «душечкой»; она жалѣла ихъ и давала имъ понемножку взаймы, и если случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театръ на всю зиму и сдавали его на короткіе сроки то малороссійской труппѣ, то фокуснику, то мѣстнымъ любителямъ. Оленька полнѣла и вся сіяла отъ удовольствія, а Кукинъ худѣлъ и желтѣлъ и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дѣла шли недурно. По ночамъ онъ кашлялъ, а она пила

его малиной и липовымъ цвѣтомъ, натирала одеколономъ, кутала въ свои мягкія шали.

— Какой ты у меня славненькій!—говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. — Какой ты у меня хорошенькій!

Въ Великомъ посту онъ уѣхалъ въ Москву набирать труппу, а она безъ него не могла спать, все сидѣла у окна и смотрѣла на звѣзды. И въ это время она сравнивала себя съ курами, которыя тоже всю ночь не спятъ и испытываютъ безпокойство, когда въ курятникѣ нѣтъ пѣтуха. Кукинъ задержался въ Москвѣ и писалъ, что вернется къ Святой и въ письмахъ уже дѣлалъ распоряженія насчетъ «Тиволи». Но подъ Страстной понедѣльникъ, поздно вечеромъ, вдругъ раздался зловѣщій стукъ въ ворота; кто-то билъ въ калитку, какъ въ бочку:—бумъ! бумъ! бумъ! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужамъ, побѣжала отворять.

— Отворите, сдѣлайте милость!—говорилъ кто-то за воротами глухимъ басомъ.—Вамъ телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы отъ мужа, но теперь почему-то такъ и обомлѣла. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла слѣдующее:

«Иванъ Петровичъ скончался сегодня скоропостижно сючала ждемъ распоряженій хохороны вторникъ».

Такъ и было напечатано въ телеграммѣ «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сючала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчикъ мой!—зарыдала Оленька. — Ваничка мой миленькій, голубчикъ мой! Зачѣмъ же я съ тобою повстрѣчалася? Зачѣмъ я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинулъ свою бѣдную Оленьку, бѣдную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторникъ, въ Москвѣ, на Ваганьковѣ. Оленька вернулась домой въ среду и, какъ только вошла къ себѣ, то повалилась на постель и зарыдала такъ громко, что слышно было на улицѣ и въ сосѣднихъ дворахъ.

— Душечка! — говорили сосѣдки, крестясь. — Душечка Ольга Семеновна, матушка, какъ убивается!

Три мѣсяца спустя, какъ-то Оленька возвращалась отъ обѣдни, печальная, въ глубокомъ траурѣ. Случилось, что съ нею шелъ рядомъ, тоже возвращавшійся изъ церкви,

одинъ изъ ея сосѣдей Василій Андреичъ Пустоваловъ, управляющій лѣснымъ складомъ купца Бабакаева. Онъ былъ въ соломенной шляпѣ и въ бѣломъ жилетѣ съ золотой цѣпочкой и походилъ больше на помѣщика, чѣмъ на торговца.

— Всякая вещь имѣетъ свой порядокъ, Ольга Семеновна, — говорилъ онъ степенно, съ сочувствіемъ въ голосѣ:—и если кто изъ нашихъ ближнихъ умираетъ, то, значитъ, такъ Богу угодно, и въ этомъ случаѣ мы должны себя помнить и переносить съ покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, онъ простился и пошелъ далѣе. Послѣ этого весь день слышался ей его степенный голосъ и, едва она закрывала глаза, какъ мерещилась его темная борода. Онъ ей очень понравился. И, повидимому, она тоже произвела на него впечатлѣніе, потому что, немного погодя, къ ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая, какъ только сѣла за столъ, то немедля заговорила о Пустоваловѣ, о томъ, что онъ хорошій, солидный человѣкъ, и что за него съ удовольствіемъ пойдетъ всякая невѣста. Черезъ три дня пришелъ съ визитомъ и самъ Пустоваловъ; онъ сидѣлъ недолго, минутъ десять, и говорилъ мало, но Оленька его полюбила, такъ полюбила, что всю ночь не спала и горѣла, какъ въ лихорадкѣ, а утромъ послала за пожилой дамой. Скоро (ее просватали, потомъ) была свадьба.

Пустоваловъ и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно онъ сидѣлъ въ лѣсномъ складѣ до обѣда, потомъ уходилъ по дѣламъ, и его смѣняла Оленька, которая сидѣла въ конторѣ до вечера и писала тамъ счета и отпускала товаръ.

— Теперь лѣсъ съ каждымъ годомъ дорожаетъ на двадцать процентовъ, — говорила она покупателямъ и знакомымъ. — Помилуйте, прежде мы торговали мѣстнымъ лѣсомъ, теперь же Васичка долженъ каждый годъ ѣздить за лѣсомъ (въ Могилевскую губернію.) А какой тарифъ!—говорила она, въ ужасѣ закрывая обѣ щеки руками. — Какой тарифъ!

Ей казалось, что она торгуетъ лѣсомъ уже давно-давно, что въ жизни самое важное и нужное это лѣсъ, и что-то родное, трогательное слышалось ей въ словахъ: балка, круглякъ, тесъ, шелевка, безымянка, рѣшотникъ, лафетъ, гор-

былъ... По ночамъ, когда она спала, ей снились цѣлыя горы досокъ и теса, длинныя, безконечныя вереницы подводъ, везущихъ лѣсъ куда-то далеко за городъ; снилось ей, какъ цѣлый полкъ двѣнадцати-аршинныхъ, пяти-вершковыхъ бревенъ стоймя шелъ войной на лѣсной складъ, какъ бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкій звукъ сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь другъ на друга; Оленька вскрикивала во снѣ, и Пустоваловъ говорилъ ей нѣжно:

— Оленька, что съ тобой, милая? Перекрестись!

Какія мысли были у мужа, такія и у нея. Если онъ думалъ, что въ комнатѣ жарко, или что дѣла теперь стали тихія, то такъ думала и она. Мужъ ея не любилъ никакихъ развлеченій и въ праздники сидѣлъ дома, и она тоже.

— И все вы дома, или въ конторѣ, — говорили знакомые.—Вы бы сходили въ театръ, душечка, или въ циркъ.

— Намъ съ Васичкой некогда по театрамъ ходить,— отвѣчала она степенно.—Мы люди труда, намъ не до пустяковъ. Въ театрахъ этихъ, что хорошаго?

По субботамъ Пустоваловъ и она ходили ко всенощной, въ праздники къ ранней обѣднѣ, и, возвращаясь изъ церкви, шли рядышкомъ, съ умиленными лицами, отъ обоихъ хорошо пахло, и ея шелковое платье пріятно шумѣло; а дома пили чай со сдобнымъ хлѣбомъ и съ разными вареньями, потомъ кушали пирогъ. Каждый день въ полдень во дворѣ и за воротами на улицѣ вкусно пахло борщемъ и жареной бараниной или уткой, а въ постные дни — рыбой, и мимо воротъ нельзя было пройти безъ того, чтобы не захотѣлось ѣсть. Въ конторѣ всегда кипѣлъ самоваръ, и покупателей угощали чаемъ съ бубликами. Разъ въ недѣлю супруги ходили въ баню и возвращались оттуда рядышкомъ, оба красные.

— Ничего, живемъ хорошо, — говорила Оленька знакомымъ:—слава Богу. Дай Богъ всякому жить, какъ мы съ Васичкой.

Когда Пустоваловъ уѣзжалъ въ Могилевскую губернію за лѣсомъ, она сильно скучала и по ночамъ не спала, плакала. Иногда по вечерамъ приходилъ къ ней полковой ветеринарный врачъ Смирнинъ, молодой человѣкъ, квартировавшій у нея во флигелѣ. Онъ разсказывалъ ей что-нибудь или игралъ съ нею въ карты, и это ее развлекало. Осо-

бенно интересны были разсказы изъ его собственной семейной жизни; онъ былъ женатъ и имѣлъ сына, но съ женой разошелся, такъ какъ она ему измѣнила, и теперь онъ ее ненавидѣлъ и высылалъ ей ежемѣсячно по сорока рублей на содержаніе сына. И, слушая, объ этомъ Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси васъ Господи, — говорила она, прощаясь съ нимъ и провожая его со свѣчой до лѣстницы. — Спасибо, что поскучали со мной, дай Богъ вамъ здоровья, Царица Небесная...)

И все она выражалась такъ степенно, такъ разсудительно, подражая мужу; ветеринаръ уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владиміръ Платонычъ, вы бы помирились съ вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то, небось, все понимаетъ.

А когда возвращался Пустоваловъ, она разсказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчикѣ, который, вѣроятно, скучаетъ по отцѣ, потомъ, по какому-то странному теченію мыслей, оба становились передъ образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Богъ послалъ имъ дѣтей.

И такъ прожили Пустоваловы тихо и смирно, въ любви и полномъ согласіи шесть лѣтъ. Но вотъ какъ-то зимой Василій Андреичъ въ складѣ, напившись горячаго чаю, вышелъ безъ шапки отпускать лѣсъ, простудился и занемогъ. Его лѣчили лучшіе доктора, но болѣзнь взяла свое, и онъ умеръ, проболѣвъ четыре мѣсяца. И Оленька опять овдовѣла.

— На кого же ты меня покинулъ, голубчикъ мой?—рыдала она, похоронивъ мужа.—Какъ же я теперь буду жить безъ тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалѣйте меня, сироту круглую...

Она ходила въ черномъ платьѣ съ плерезами и уже отказалась навсегда отъ шляпки и перчатокъ, выходила изъ дому рѣдко, только въ церковь или на могилу мужа, и жила дома, какъ монашенка. И только когда прошло шесть мѣсяцевъ, она сняла плерезы и стала открывать на окнахъ ставни. Иногда уже видѣли по утрамъ, какъ она ходила за провизіей на базаръ со своей кухаркой, но о томъ, какъ

она жила у себя теперь, и что дѣлалось у нея въ домѣ, можно было только догадываться. По тому, напримѣръ, догадывались, что видѣли, какъ она въ своемъ садикѣ пила чай съ ветеринаромъ, а онъ читалъ ей вслухъ газету, и еще по тому, что, встрѣтясь на почтѣ съ одной знакомой дамой, она сказала:

— У насъ въ городѣ нѣтъ правильнаго ветеринарнаго надзора и отъ этого много болѣзней. То и дѣло, слышишь, люди заболѣваютъ отъ молока и заражаются отъ лошадей и коровъ. О здоровьѣ домашнихъ животныхъ въ сущности надо заботиться такъ же, какъ о здоровьѣ людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всемъ такого же мнѣнія, какъ онъ. Было ясно, что она не могла прожить безъ привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигелѣ. Другую бы осудили за это, но объ Оленькѣ никто не могъ подумать дурно, и все было такъ понятно въ ея жизни. Она и ветеринаръ никому не говорили о перемѣнѣ, какая произошла въ ихъ отношеніяхъ, и старались скрыть, но это имъ не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайнъ. Когда къ нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая имъ чай или подавая ужинать, начинала говорить о чумѣ на рогатомъ скотѣ, о жемчужной болѣзни, о городскихъ бойняхъ, а онъ страшно конфузился и, когда уходили гости, хваталъ ее за руку и шипѣлъ сердито:

— Я вѣдь просилъ тебя не говорить о томъ, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говоримъ между собой, то, пожалуйста, не вмѣшивайся. Это, наконецъ, скучно!

А она смотрѣла на него съ изумленіемъ и съ тревогой, и спрашивала:

— Володичка, о чемъ же мнѣ говорить?!

И она со слезами на глазахъ обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринаръ уѣхалъ вмѣстѣ съ полкомъ, уѣхалъ навсегда, такъ какъ полкъ перевели куда-то очень далеко, чуть ли не въ Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отецъ давно уже умеръ, и кресло его валялось на чердакѣ, запыленное, безъ одной ножки. Она похудѣла и подурнѣла, и на улицѣ встрѣчные уже не глядѣли на нее, какъ прежде, и не улы-

бались ей; очевидно, лучшіе годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвѣстная, о которой лучше не думать. По вечерамъ Оленька сидѣла на крылечкѣ, и ей слышно было, какъ въ «Тиволи» играла музыка, и лопались ракеты, но это уже не вызывало никакихъ мыслей. Глядѣла она безучастно на свой пустой дворъ, ни о чемъ не думала, ничего не хотѣла, а потомъ, когда наступала ночь, шла спать и видѣла во снѣ свой пустой дворъ. Ѣла и пила она, точно поневолѣ.

А главное, что хуже всего, у нея уже не было никакихъ мнѣній. Она видѣла кругомъ себя предметы и понимала все, что происходило кругомъ, но ни о чемъ не могла составить мнѣнія и не знала, о чемъ ей говорить. А какъ это ужасно не имѣть никакого мнѣнія! Видишь, напримѣръ, какъ стоитъ бутылка, или идетъ дождь; или ѣдетъ мужикъ на телѣгѣ, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужикъ, какой въ нихъ смыслъ, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказалъ бы. При Кукинѣ и Пустоваловѣ, и потомъ при ветеринарѣ Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнѣніе, о чемъ угодно, теперь же и среди мыслей и въ сердцѣ у нея была такая же пустота, какъ на дворѣ. И такъ жутко, и такъ горько, (какъ будто объѣлась полыни.)

Городъ мало-по-малу расширялся во всѣ стороны; Цыганскую Слободку уже называли улицей, и тамъ, гдѣ были садъ «Тиволи» и лѣсные склады, выросли уже дома, и образовался рядъ переулковъ. Какъ быстро бѣжитъ время! Домъ у Оленьки потемнѣлъ, крыша заржавѣла, сарай покосился, и весь дворъ поросъ бурьяномъ и колючей крапивой. Сама Оленька постарѣла, подурнѣла; лѣтомъ она сидитъ на крылечкѣ, и на душѣ у нея попрежнему и пусто, и нудно, и отдаетъ полынью, а зимой сидитъ она у окна и глядитъ на снѣгъ. Повѣетъ ли весной, донесетъ ли вѣтеръ звонъ соборныхъ колоколовъ, и вдругъ нахлынутъ воспоминанія о прошломъ, сладко сожмется сердце, и изъ глазъ польются обильныя слезы, но это только на минуту, а тамъ опять пустота, и неизвѣстно, зачѣмъ живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычитъ, но не трогаютъ Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ея существо, всю душу, разумъ, дала бы ей мысли, направленіе

жизни, согрѣла бы ея старѣющую кровь. И она стряхиваетъ съ подола черную Брыску и говоритъ ей съ досадой:

— Поди, поди... Нечего тутъ!

И такъ день за днемъ, годъ за годомъ,— и ни одной радости, и нѣтъ никакого мнѣнія. Что сказала Мавра кухарка, то и хорошо.

Въ одинъ жаркій іюльскій день, подъ вечеръ, когда по улицѣ гнали городское стадо, и весь дворъ наполнился облаками пыли, вдругъ кто-то постучалъ въ калитку. Оленька пошла сама отворять и, какъ взглянула, такъ и обомлѣла: за воротами стоялъ ветеринаръ Смирнинъ, уже сѣдой и въ штатскомъ платьѣ. Ей вдругъ вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и въ сильномъ волненіи не замѣтила, какъ оба потомъ вошли въ домъ, какъ сѣли чай пить.

— Голубчикъ мой!—бормотала она, дрожа отъ радости.— Владиміръ Платонычъ! Откуда Богъ принесъ?

— Хочу здѣсь совсѣмъ поселиться,—разсказывалъ онъ.— Подалъ въ отставку и вотъ пріѣхалъ попробовать счастья на волѣ, пожить ослѣдлой жизнью. Да и сына пора ужъ отдавать въ гимназію. Выросъ. Я-то, знаете ли, помирился съ женой.

— А гдѣ же она?—спросила Оленька.

— Она съ сыномъ въ гостиницѣ, а я вотъ хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня домъ! Чѣмъ не квартира? Ахъ, Господи, да я съ васъ ничего и не возьму,— заволновалась Оленька и опять заплакала.—Живите тутъ, а съ меня и флигеля довольно. Радость-то, Господи!

На другой день уже красили на домѣ крышу и бѣлили стѣны, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лицѣ ея засвѣтилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвѣжѣла, точно очнулась отъ долгаго сна. Пріѣхала жена ветеринара, худая, некрасивая дама съ короткими волосами и съ капризнымъ выраженіемъ, и съ нею мальчикъ, Саша, маленькій не по лѣтамъ (ему шелъ уже десятый годъ), полный, съ ясными голубыми глазами и съ ямочками на щекахъ. И едва мальчикъ вошелъ во дворъ, какъ побѣжалъ за кошкой, и тотчасъ же послышался его веселый, радостный смѣхъ.

— Тетенька, это ваша кошка?—спросилъ онъ у Оленьки.—Когда она у васъ ощенится, то, пожалуйста, подарите намъ одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила съ нимъ, попоила его чаемъ, и сердце у нея въ груди стало вдругъ теплымъ и сладко сжалось, точно этотъ мальчикъ былъ ея родной сынъ. И когда вечеромъ онъ, сидя въ столовой, повторялъ уроки, она смотрѣла на него съ умиленіемъ и съ жалостью и шептала:

— Голубчикъ мой, красавчикъ... Дѣточка моя, и уродился же ты такой умненькій, такой бѣленькій.

— Островомъ называется,—прочелъ онъ: — часть суши, со всѣхъ сторонъ окруженная водою.

— Островомъ называется часть суши...—повторила она, и это было ея первое мнѣніе, которое она высказала съ увѣренностью послѣ столькихъ лѣтъ молчанія и пустоты въ мысляхъ.

И она уже имѣла свои мнѣнія и за ужиномъ говорила съ родителями Саши о томъ, какъ теперь дѣтямъ трудно учиться въ гимназіяхъ, но что все-таки классическое образованіе лучше реальнаго, такъ какъ изъ гимназіи всюду открыта дорога: хочешь—иди въ доктора, хочешь—въ инженеры.

Саша сталъ ходить въ гимназію. Его мать уѣхала въ Харьковъ къ сестрѣ и не возвращалась; отецъ его каждый день уѣзжалъ куда-то осматривать гурты и, случалось, не живалъ дома дня по три, и Оленькѣ казалось, что Сашу совсѣмъ забросили, что онъ лишній въ домѣ, что онъ умираетъ съ голоду; и она перевела его къ себѣ во флигель и устроила его тамъ въ маленькой комнатѣ.

И вотъ уже прошло полгода, какъ Саша живетъ у нея во флигелѣ. Каждое утро Оленька входитъ въ его комнату; онъ крѣпко спитъ, подложивъ руку подъ щеку, не дышитъ. Ей жаль будить его.

— Сашенька,—говоритъ онъ печально:—вставай, голубчикъ! Въ гимназію пора.

Онъ встаетъ, одѣвается, молится Богу, потомъ садится чай пить; выпиваетъ три стакана чаю и съѣдаетъ два большихъ бублика и полъ-французскаго хлѣба съ масломъ. Онъ еще не совсѣмъ очнулся отъ сна и потому не въ духѣ.

— А ты, Сашенька, не твердо выучилъ басню, — говоритъ Оленька и глядитъ на него такъ, будто провожаетъ

его въ дальнюю дорогу. — Забота мнѣ съ тобой. Ужъ ты старайся, голубчикъ, учись... Слушайся учителей.

— Ахъ, оставьте, пожалуйста!—говоритъ Саша.

Затѣмъ онъ идетъ по улицѣ въ гимназію, самъ маленькій, но въ большомъ картузѣ съ ранцемъ на спинѣ. За нимъ безшумно идетъ Оленька.

— Сашенька-а!—окликаетъ она.

Онъ оглядывается, а она суетъ ему въ руку финикъ или карамельку. Когда поворачиваютъ въ тотъ переулокъ, гдѣ стоитъ гимназія, ему становится совѣстно, что за нимъ идетъ высокая, полная женщина; онъ оглядывается и говоритъ:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я самъ дойду.

Она останавливается и смотритъ ему вслѣдъ, не мигая, пока онъ не скрывается въ подъѣздѣ гимназіи. Ахъ, какъ она его любитъ! Изъ ея прежнихъ привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ея душа не покорялась такъ беззавѣтно, безкорыстно и съ такой отрадой, какъ теперь, когда въ ней все болѣе и болѣе разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щекахъ, за картузъ, она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы съ радостью, со слезами умиленія. Почему? А кто жъ его знаетъ—почему?

Проводивъ Сашу въ гимназію, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ея лицо, помолодѣвшее за послѣдніе полгода, улыбается, сіяетъ; встрѣчные, глядя на нее, испытываютъ удовольствіе и говорятъ ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Какъ поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало въ гимназіи учиться, — разсказываетъ она на базарѣ. — Шутка ли, вчера въ первомъ классѣ задали басню наизусть, да переводъ латинскій, да задачу... Ну, гдѣ тутъ маленькому?

И она начинаетъ говорить объ учителяхъ, объ урокахъ, объ учебникахъ,—то же самое, что говоритъ о нихъ Саша.

Въ третьемъ часу вмѣстѣ обѣдаютъ, вечеромъ вмѣстѣ готовятъ уроки и плачутъ. Укладывая его въ постель, она долго креститъ его и шепчетъ молитву, потомъ, ложась спать, грезитъ о томъ будущемъ, далекомъ и туманномъ, когда Саша, кончивъ курсъ, станетъ докторомъ или инже-

неромъ, будетъ имѣть собственный большой домъ, лошадей, коляску, женится, у него родятся дѣти... Она засыпаетъ и все думаетъ о томъ же, и слезы текутъ у нея по щекамъ изъ закрытыхъ глазъ. И черная кошечка лежитъ у нея подъ бокомъ и мурлычитъ:

— Мур... мур... мур...

Вдругъ сильный стукъ въ калитку. Оленька просыпается и не дышитъ отъ страха; сердце у нея сильно бьется. Проходитъ полминуты, и опять стукъ.

«Это телеграмма изъ Харькова,—думаетъ она, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Мать требуетъ Сашу къ себѣ въ Харьковъ... О, Господи!»

Она въ отчаяніи; у нея холодѣютъ голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнѣе ея нѣтъ человѣка на всемъ свѣтѣ. Но проходитъ еще минута, слышатся голоса: это ветеринаръ вернулся домой изъ клуба.

«Ну, слава Богу», думаетъ она.

Отъ сердца мало-по-малу отстаетъ тяжесть, опять становится легко; она ложится и думаетъ о Сашѣ, который спитъ крѣпко въ сосѣдней комнатѣ и изрѣдка говоритъ въ бреду:

— Я ттебѣ! Пошелъ вонъ! Не дерись!

ПО ДѢЛАМЪ СЛУЖБЫ.

Исправляющій должность судебнаго слѣдователя и уѣздный врачъ ѣхали на вскрытіе въ село Сырню. По дорогѣ ихъ захватила метель, они долго кружили и пріѣхали къ мѣсту не въ полдень, какъ хотѣли, а только къ вечеру, когда уже было темно. Остановились на ночлегъ въ земской избѣ. Тутъ же, въ земской избѣ, по случайности, находился и трупъ, трупъ земскаго страхового агента Лѣсницкаго, который три дня назадъ пріѣхалъ въ Сырню и, расположившись въ земской избѣ и потребовавъ себѣ самоваръ, застрѣлился совершенно неожиданно для всѣхъ; и то обстоятельство, что онъ покончилъ съ жизнью какъ-то странно, за самоваромъ, разложивъ на столѣ закуски, дало многимъ поводъ заподозрить тутъ убійство; понадобилось вскрытіе.

Докторъ и слѣдователь въ сѣняхъ стряхивали съ себя снѣгъ, стуча ногами, а возлѣ стоялъ сотскій Илья Лошадинъ, старикъ, и свѣтилъ имъ, держа въ рукахъ жестяную лампочку. Сильно пахло керосиномъ.

— Ты кто?—спросилъ докторъ.

— Цоцкай...—отвѣтилъ сотскій.

Онъ и на почтѣ такъ расписывался: цоцкай.

— А гдѣ же понятые?

— Должно, чай пить пошли, ваше высокоблагородіе.

Направо была чистая комната, «пріѣзжая», или господская, налѣво—черная, съ большой печью и полатями. Докторъ и слѣдователь, а за ними сотскій, держа лампочку выше головы, вошли въ чистую. Здѣсь на полу, у самыхъ

ножекъ стола лежало неподвижно длинное тѣло, покрытое бѣлымъ. При слабомъ свѣтѣ лампочки, кромѣ бѣлаго покрывала, ясно были видны еще новыя резиновыя калоши, и все тутъ было нехорошо, жутко: и темныя стѣны, и тишина, и эти калоши, и неподвижность мертваго тѣла. На столѣ былъ самоваръ, давно уже холодный, и вокругъ него свертки, должно-быть, съ закусками.

— Стрѣляться въ земской избѣ—какъ это безтактно!—проговорилъ докторъ.—Пришла охота пустить себѣ пулю въ лобъ, ну и стрѣлялся бы у себя дома, гдѣ-нибудь, въ сараѣ.

Онъ, какъ былъ, въ шапкѣ, въ шубѣ и въ валенкахъ, опустился на скамью; его спутникъ, слѣдователь, сѣлъ напротивъ.

— Эти истерики и неврастеники большіе эгоисты, — продолжалъ докторъ съ горечью. — Когда неврастеникъ спитъ съ вами въ одной комнатѣ, то шуршитъ газетой; когда онъ обѣдаетъ съ вами, то устраиваетъ сцену своей женѣ, не стѣсняясь вашимъ присутствіемъ; и когда ему приходитъ охота застрѣлиться, то вотъ онъ стрѣляется въ деревнѣ, въ земской избѣ, чтобы надѣлать всѣмъ побольше хлопотъ. Эти господа при всѣхъ обстоятельствахъ жизни думаютъ только о себѣ. Только о себѣ! Потому-то старики такъ и не любятъ этого нашего «нервнаго вѣка».

— Мало ли чего не любятъ старики,—сказалъ слѣдователь, зѣвая. — Вы вотъ укажите старикамъ на то, какая разница между прежними и теперешними самоубійствами. Прежній, такъ-называемый порядочный человѣкъ стрѣлялся оттого, что казенныя деньги растратилъ, а теперешній — жизнь надоѣла, тоска... Что лучше?

— Жизнь надоѣла, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрѣлиться и не въ земской избѣ.

— Ужъ такое горе, — заговорилъ сотскій: — такое горе, чистое наказаніе. Народъ очень безпокоится, ваше высокоблагородіе, ужъ третью ночь не спятъ. Ребята плачутъ. Надо коровъ доить, а бабы въ хлѣвъ не идутъ, боятся... Какъ бы въ потемкахъ баринъ не примерещился. Извѣстно, глупыя женщины, но которые и мужики тоже боятся. Какъ вечеръ, мимо избы не ходятъ въ одиночку, а такъ, все табуномъ. И понятые тоже...

Докторъ Старченко, мужчина среднихъ лѣтъ, съ темной бородой, въ очкахъ, и слѣдователь Лыжинъ, бѣлокурый,

еще молодой, кончившій только два года назадъ и похожій больше на студента, чѣмъ на чиновника, сидѣли молча, задумавшись. Имъ было досадно, что они опоздали. Нужно было теперь ждать до утра, оставаться здѣсь ночевать, а былъ еще только шестой часъ, и имъ представлялись длинный вечеръ, потомъ длинная, темная ночь, скука, неудобство ихъ постелей, тараканы, утренній холодъ; и прислушиваясь къ метели, которая выла въ трубѣ и на чердакѣ, они оба думали о томъ, какъ все это не похоже на жизнь, которой они хотѣли бы для себя и о которой когда-то мечтали, и какъ оба они далеки отъ своихъ сверстниковъ, которые теперь въ городѣ ходятъ по освѣщеннымъ улицамъ, не замѣчая непогоды, или собираются теперь въ театръ, или сидятъ въ кабинетахъ за книгой. О, какъ дорого они дали бы теперь, чтобы только пройтись по Невскому или по Петровкѣ въ Москвѣ, послушать порядочнаго пѣнія, посидѣть часъ-другой въ ресторанѣ...

— У-у-у-у!—пѣла метель на чердакѣ, и что-то снаружи хлопало злобно, должно-быть, вывѣска на земской избѣ. — У-у-у-у!

— Какъ вамъ угодно, а я не желаю тутъ оставаться,— сказалъ Старченко, поднимаясь.—Еще шестой часъ, спать рано, я поѣду куда-нибудь. Тутъ недалеко живетъ фонъ-Тауницъ, всего три версты отъ Сырни. Поѣду къ нему, проведу тамъ вечеръ. Сотскій, ступай, скажи ямщику, чтобы не распрягалъ. А вы какъ?—спросилъ онъ у Лыжина.

— Не знаю. Должно-быть, спать лягу.

Докторъ запахнулся въ шубу и вышелъ. Слышно было, какъ онъ разговаривалъ съ ямщикомъ, какъ на озябшихъ лошадяхъ вздрагивали бубенчики. Уѣхалъ.

— Тебѣ, баринъ, здѣсь ночевать не годится,—сказалъ сотскій:—иди въ ту половину. Тамъ не чисто, да ужъ одну ночь ничего. Я сейчасъ самоваръ возьму у мужика, заставлю, потомъ этого навалю тебѣ сѣна, спи, ваше высокоблагородіе, съ Богомъ.

Немного погодя слѣдователь сидѣлъ въ черной половинѣ за столомъ и пилъ чай, а сотскій Лошадинъ стоялъ у двери и говорилъ. Это былъ старикъ за шестьдесятъ лѣтъ, небольшого роста, очень худой, сгорбленный, бѣлый, на лицѣ наивная улыбка, глаза слезились, и все онъ почмокивалъ, точно сосалъ леденецъ. Онъ былъ въ короткомъ полушубкѣ

и въ валенкахъ, и не выпускалъ изъ рукъ палки. Молодость слѣдователя, повидимому, вызывала въ немъ жалость, и потому, вѣроятно, онъ говорилъ ему «ты».

— Старшина Ѳедоръ Макарычъ приказывалъ, какъ пріѣдетъ становой, или слѣдователь, чтобы ему доложить,— говорилъ онъ. — Значитъ, такое дѣло, надо идти теперь... До волости четыре версты, метель, снѣгу намело—страсть; пожалуй, придешь туда не раньше, какъ въ полночь. Ишь гудетъ какъ.

— Старшина мнѣ не нуженъ,—сказалъ Лыжинъ.—Ему тутъ нечего дѣлать.

Онъ съ любопытствомъ посматривалъ на старика и спросилъ:

— Скажи, дѣдъ, сколько лѣтъ ты ходишь сотскимъ?

— Сколько? Да ужъ лѣтъ тридцать. Послѣ воли черезъ пять лѣтъ сталъ ходить, вотъ и считай. Съ того время каждый день хожу. У людей праздникъ, а я все хожу. На дворѣ Святая, въ церквахъ звонъ, Христосъ воскресе, а я съ сумкой. Въ казначейство, на почту, къ становому на квартиру, къ земскому, къ податному, въ управу, къ господамъ, къ мужикамъ, ко всѣмъ православнымъ христіанамъ. Ношу пакеты, повѣстки, окладные листы, письма, бланки разные, вѣдомости, и значитъ, господинъ хорошій, ваше высокоблагородіе, нынче такіе бланки пошли, чтобы цифри записывать—желтые, бѣлые, красные,—и всякій баринъ, или батька, или богатый мужикъ безпремѣнно записать долженъ разъ десять въ годъ, сколько у него посѣяно и убрано, сколько у него четвертей или пудовъ ржи, сколько овса, сѣна и какая, значитъ, погода и разныя тамъ насѣкомыя. Конечно, пиши что̀ хочешь, тутъ одна форма, а ты ходи, раздавай листки, а потомъ опять ходи и собирай. Вотъ, къ примѣру сказать, барина потрошить не къ чему, самъ знаешь, пустое дѣло, только руки поганить, а ты вотъ потрудился, ваше высокоблагородіе, пріѣхалъ, потому форма; ничего тутъ не подѣлаешь. Тридцать лѣтъ хожу по формѣ. Лѣтомъ оно ничего, тепло, сухо, а зимой или осенью оно неудобно. Случалось, и утопалъ, и замерзалъ,—всего бывало. И въ лѣсу сумку отнимали недобрые люди, и въ шею били, и подъ судомъ былъ...

— За что подъ судомъ?

— За мошенничество.

— То-есть какъ за мошенничество?

— А такъ, значитъ, писарь Хрисанфъ Григорьевъ подрядчику чужія доски продалъ, обманулъ, значитъ. Я былъ при этомъ дѣлѣ, меня за водкой въ трактиръ посылали; ну, со мной писарь не дѣлился, даже стаканчика не поднесъ, но какъ я по нашей бѣдности, по видимости, значитъ, человѣкъ не надежный, не стоющій, то насъ обѣихъ судили; его въ острогъ, а меня, далъ Богъ, оправдали по всѣмъ правамъ. Въ судѣ такую бумагу читали. И всѣ въ мундирахъ. На судѣ-то. Я такъ тебѣ скажу, ваше высокоблагородіе, наша служба для непривычнаго—не приведи Богъ, погибель сущая, а для насъ ничего. Когда не ходишь, такъ даже ноги болятъ. И дома для насъ хуже. Дома въ волости писарю печь затопи, писарю воды принеси, писарю сапоги почисть.

— А сколько ты получаешь жалованья? — спросилъ Лыжинъ.

— Восемьдесятъ четыре рубля въ годъ.

— Небось вѣдь и доходишки есть. Не безъ того?

— Какіе наши доходишки! Нынѣшніе господа на чай даютъ рѣдко когда. Господа нынче строгіе, обижаются все. Ты ему бумагу принесъ—обижается, шапку передъ нимъ снялъ—обижается. Ты, говоритъ, не съ того крыльца зашелъ, ты, говоритъ, пьяница, отъ тебя лукомъ воняетъ, болванъ, говоритъ, сукинъ сынъ. Есть, конечно, и добрые, да что съ нихъ возьмешь, только насмѣхаются и разныя прозванія. Къ примѣру, баринъ Алтухинъ; и добрый, и, глядишь, чверезый, въ своемъ умѣ, а какъ увидитъ, такъ и кричитъ, самъ не понимаетъ что. Прозваніе мнѣ такое далъ. Ты, говоритъ...

Сотскій проговорилъ какое-то слово, но такъ тихо, что нельзя было разобрать.

— Какъ?—спросилъ Лыжинъ.—Ты повтори.

— Администрація! — громко повторилъ сотскій. — Давно ужъ такъ зоветъ, лѣтъ шесть. Здравствуй, администрація! Но я ничего, пускай, Богъ съ нимъ. Случается, какая барыня вышлетъ стаканчикъ водочки и кусокъ пирога, ну, выпьешь за ея здоровье. А больше мужики подаютъ; мужики—тѣ душевнѣй, Бога боятся: кто хлѣбца, кто щецъ дастъ похлебать, кто и поднесетъ. Старосты чайкомъ потчуютъ въ трактирѣ. Вотъ сейчасъ понятые пошли чай пить.

«Лошадинъ, говорятъ, побудь тутъ за насъ, постереги»,— и по копейкѣ дали. Страшно имъ съ непривычки. А вчерась дали пятиалтынничекъ и стаканчикъ поднесли.

— А тебѣ развѣ не страшно?

— Страшно, баринъ, да вѣдь наше дѣло такое—служба, никуда отъ ней не уйдешь. Лѣтось веду арестанта въ городъ, а онъ меня—по шеѣ! по шеѣ! по шеѣ! А кругомъ поле, лѣсъ, — куда отъ него уйдешь? Такъ и тутъ вотъ. Барина, Лѣсницкаго, я еще эканькаго помню, и отца его зналъ, и мамашу. Я изъ деревни Недощотовой, а они, господа Лѣсницкіе, отъ насъ не больше, какъ въ верстѣ, и того меньше, межа съ межой. И была у господина Лѣсницкаго сестра, дѣвица богобоязливая и милосердная. Помяни Господи душу рабы твоей Юліи, вѣчная память. Замужъ не пошла, а когда помирала, то все свое добро подѣлила; на монастырь записала сто десятинъ, да намъ обществу крестьянъ деревни Недощотовой, на поминъ души, двѣсти, а братецъ ейный, баринъ-то, бумагу спряталъ, сказываютъ, въ печкѣ сжегъ и всю землю себѣ забралъ. Думалъ, значитъ, себѣ на пользу, анъ—нѣтъ, погоди, на свѣтѣ неправдой не проживешь, братъ. Баринъ потомъ на духу лѣтъ двадцать не былъ, его отъ церкви отшибало, значитъ, и безъ покаянія померъ, лопнулъ. Толстючій былъ. Такъ и лопнулъ вдоль. Потомъ у молодого барина, у Сережи-то, все за долги забрали, все какъ есть; ну, въ наукахъ далеко не пошелъ, ничего не можетъ, и предсѣдатель земской управы, дядя его, «возьму-ка, думаетъ, его, Сережу-то, къ себѣ въ агенты, пускай страхуетъ, дѣло не мудрое». А баринъ молодой, гордый, тоже хочется, да пошире, да повиднѣй, да повольготнѣй, ну, обидно, значитъ, въ телѣжонкѣ трепаться по уѣзду, съ мужиками разговаривать; ходитъ и все въ землю глядитъ, глядитъ и молчитъ; окликнешь его у самаго уха:—«Сергѣй Сергѣичъ!»— а онъ оглянется этакъ:—«А?»—и опять глядитъ въ землю. А теперь, видишь, руки на себя наложилъ. Нескладно, ваше высокоблагородіе, неправильно это самое и не поймешь, что оно такое на свѣтѣ, Господи милостивый. Сказать, отецъ былъ богатый, а ты бѣдный, обидно, это конечно, ну, да что жъ, привыкать надо. Я тоже жилъ хорошо, у меня, ваше высокоблагородіе, были двѣ лошади, три коровы, овецъ штукъ двадцать держалъ, а пришло

время, съ одной сумочкой остался, да и та не моя, а казенная, и теперь, въ нашой Недощотовой, ежели говорить, мой домъ что ни-на-есть хуже. У Мокея было четыре лакея, а теперь Мокей самъ лакей. У Петрака было четыре батрака, а теперь Петракъ самъ батракъ.

— Отчего же ты обѣднялъ?—спросилъ слѣдователь.

— Сыны мои водку пьютъ шибко. Такъ пьютъ, такъ пьютъ, что сказать нельзя, не повѣришь.

Лыжинъ слушалъ и думалъ о томъ, что вотъ онъ, Лыжинъ, уѣдетъ рано или поздно опять въ Москву, а этотъ старикъ останется здѣсь навсегда и будетъ все ходить и ходить; и сколько еще въ жизни придется встрѣчать такихъ истрепанныхъ, давно не чесанныхъ, «не стоющихъ» стариковъ, у которыхъ въ душѣ какимъ-то образомъ крѣпко сжились пятиалтынничекъ, стаканчикъ и глубокая вѣра въ то, что на этомъ свѣтѣ неправдой не проживешь. Потомъ наскучило слушать, и онъ приказалъ принести сѣна для постели. Въ пріѣзжей стояла желѣзная кровать съ подушкой и одѣяломъ, и ее можно было принести оттуда, но возлѣ нея почти три дня лежалъ покойникъ (который, быть-можетъ, садился на нее передъ смертью), и теперь на ней было бы непріятно спать...

«Еще только половина восьмого,—подумалъ Лыжинъ, взглянувъ на часы.—Какъ это ужасно!»

Спать не хотѣлось, но отъ нечего дѣлать, чтобы какъ-нибудь скоротать время, онъ легъ и укрылся пледомъ. Лошадинъ, убирая посуду, выходилъ и входилъ нѣсколько разъ, почмокивая и вздыхая, все топтался у стола, наконецъ, взялъ свою лампочку и вышелъ; и глядя сзади на его длинные сѣдые волосы и согнутое тѣло, Лыжинъ подумалъ:

«Точно колдунъ въ оперѣ».

Стало темно. Должно-быть, за облаками была луна, такъ какъ ясно были видны окна и снѣгъ на рамахъ.

— У-у-у-у!—пѣла метель.—У-у-у-у!

— Ба-а-а-тюшки!—провыла баба на чердакѣ, или такъ только послышалось.—Ба-а-а-тюшки мои-и!

— Ббухъ!—ударилось что-то снаружи о стѣну.—Трахъ!

Слѣдователь прислушался: никакой бабы не было, вылъ вѣтеръ. Было прохладно, и онъ сверхъ пледа накрылся еще шубой. Грѣясь, онъ думалъ о томъ, какъ все это—и метель, и изба, и старикъ, и мертвое тѣло, лежавшее въ

— Трогай!

Поѣхали по деревнѣ. «Бразды пушистыя взрывая»...—думалъ вяло слѣдователь, глядя, какъ пристяжная работала ногами. Во всѣхъ избахъ свѣтились огни, точно былъ канунъ большого праздника: это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучеръ молчалъ угрюмо; должно-быть, соскучился, пока стоялъ около земской избы, и теперь тоже думалъ о покойникѣ.

— А у Тауница,—сказалъ Старченко:—когда узнали, что вы остались ночевать въ избѣ, то всѣ набросились на меня, почему я это васъ съ собой не взялъ.

На выѣздѣ изъ деревни, на поворотѣ, кучеръ вдругъ крикнулъ во все горло:

— Съ дороги!

Промелькнулъ какой-то человѣкъ; онъ стоялъ по-колѣна въ снѣгу, сойдя съ дороги, и смотрѣлъ на тройку; слѣдователь видѣлъ палку крючкомъ и бороду и на боку сумку, и ему показалось, что это Лошадинъ, и даже показалось, что онъ улыбается. Мелькнулъ и исчезъ.

Дорога шла сначала по краю лѣса, потомъ по широкой лѣсной просѣкѣ; мелькали и старыя сосны, и молодой березнякъ, и высокіе молодые, корявые дубы, одиноко стоявшіе на полянахъ, гдѣ недавно срубили лѣсъ, но скоро все смѣшалось въ воздухѣ, въ облакахъ снѣга: кучеръ говорилъ, что онъ видитъ лѣсъ, слѣдователю же не было видно ничего, кромѣ пристяжной. Вѣтеръ дулъ въ спину.

Вдругъ лошади остановились.

— Ну, что еще?—сердито спросилъ Старченко.

Кучеръ молча слѣзъ съ козелъ и сталъ бѣгать вокругъ саней, наступая на пятки; дѣлалъ онъ круги все больше и больше, все удаляясь отъ саней, и было похоже, что онъ танцуетъ; наконецъ вернулся и сталъ сворачивать вправо.

— Съ дороги сбился, что ли?—спросилъ Старченко.

— Ничего-о...

Вотъ какая-то деревушка, ни одного огонька въ ней. Опять лѣсъ, поле, опять сбились съ дороги и кучеръ слѣзалъ съ козелъ и танцовалъ. Тройка понесла по темной аллеѣ, понесла быстро, и горячая пристяжная била по передку саней. Здѣсь деревья шумѣли гулко, страшно и не было видно ни зги, точно неслись куда-то въ пропасть, и вдругъ — ударилъ въ глаза яркій свѣтъ подъѣзда и оконъ, раздался добродушный заливчатый лай, голоса... Пріѣхали.

Пока внизу въ передней снимали шубы и валенки, на верху играли на роялѣ «Un petit verre de Cliquot» и было слышно, какъ дѣти топали ногами. На пріѣзжихъ сразу пахнуло тепломъ, запахомъ старыхъ барскихъ покоевъ, гдѣ, какая бы ни была погода снаружи, живется такъ тепло, чисто, удобно.

— Вотъ и прекрасно,—говорилъ фонъ-Тауницъ, толстякъ съ невѣроятно широкой шеей и съ бакенами, пожимая слѣдователю руку.—Вотъ и прекрасно. Милости прошу, очень радъ познакомиться. Мы вѣдь съ вами немножко коллеги. Когда-то я былъ товарищемъ прокурора, но не долго, всего два года; пріѣхалъ сюда хозяйничать и здѣсь состарился. Старый хрѣнъ, однимъ словомъ. Милости прошу,- продолжалъ онъ, очевидно, сдерживая свой голосъ, чтобы не говорить громко; онъ и гости поднимались наверхъ.—Жены у меня нѣтъ, умерла, а это, рекомендую, мои дочери.—И, обернувшись, онъ крикнулъ внизъ громовымъ голосомъ:—Скажите тамъ Игнату, чтобы завтра подавалъ къ восьми часамъ!

Въ залѣ находились его четыре дочери, молодыя дѣвушки, хорошенькія, всѣ въ сѣрыхъ платьяхъ и одинаково причесанныя, и ихъ кузина съ дѣтьми, тоже молодая и интересная. Старченко, который былъ знакомъ съ ними, тотчасъ же сталъ просить спѣть что-нибудь, и двѣ барышни долго увѣряли, что онѣ не умѣютъ пѣть и что у нихъ нѣтъ нотъ, потомъ кузина сѣла за рояль, и онѣ спѣли дрожащими голосами дуэтъ изъ «Пиковой дамы». Опять заиграли «Un petit verre de Cliquot», и дѣти запрыгали, топая въ тактъ ногами. И Старченко запрыгалъ. Всѣ хохотали.

Потомъ дѣти прощались, уходя спать. Слѣдователь смѣялся, танцовалъ кадриль, ухаживалъ, а самъ думалъ: не сонъ ли все это? Черная половина земской избы, куча сѣна въ углу, шорохъ таракановъ, противная нищенская обстановка, голоса понятыхъ, вѣтеръ, метель, опасность сбиться съ дороги и вдругъ эти великолѣпныя свѣтлыя комнаты, звуки рояля, красивыя дѣвушки, кудрявыя дѣти, веселый, счастливый смѣхъ—такое превращеніе казалось ему сказочнымъ; и было невѣроятно, что такія превращенія возможны на протяженіи какихъ-нибудь трехъ верстъ, одного часа. И скучныя мысли мѣшали ему веселиться, и онъ все думалъ о томъ, что это кругомъ не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что все здѣсь случайно, никакого вывода сдѣлать нельзя; и ему даже было жаль этихъ дѣвушекъ, которыя

живутъ и кончатъ свою жизнь здѣсь въ глуши, въ провинціи, вдали отъ культурной среды, гдѣ ничто не случайно, все осмысленно, законно и, напримѣръ, всякое самоубійство понятно, и можно объяснить, почему оно и какое оно имѣетъ значеніе въ общемъ круговоротѣ жизни. Онъ полагалъ, что если окружающая жизнь здѣсь, въ глуши, ему не понятна и если онъ не видитъ ея, то это значитъ, что ея здѣсь нѣтъ вовсе.

За ужиномъ шелъ разговоръ о Лѣсницкомъ.

— Онъ оставилъ жену и ребенка,—говорилъ Старченко.—Неврастеникамъ и вообще людямъ, у которыхъ нервная система не въ порядкѣ, я запретилъ бы вступать въ бракъ; я отнялъ бы у нихъ право и возможность размножать себѣ подобныхъ. Производить на свѣтъ нервно-больныхъ дѣтей—это преступленіе.

— Несчастный молодой человѣкъ,—говорилъ фонъ-Тауницъ, тихо вздыхая и покачивая головой.—Сколько надо прежде передумать, выстрадать, чтобы, наконецъ, рѣшиться отнять у себя жизнь... молодую жизнь. Въ каждой семьѣ можетъ случиться такое несчастье, и это ужасно. Трудно это переносить, нестерпимо...

И всѣ дѣвушки слушали молча, съ серьезными лицами, глядя на отца. Лыжинъ чувствовалъ, что ему тоже со своей стороны нужно сказать что-нибудь, но онъ ничего не могъ придумать и сказалъ только:

— Да, самоубійства—явленіе не желательное.

Онъ спалъ въ теплой комнатѣ, въ мягкой постели, укрытый одѣяломъ, подъ которымъ была тонкая свѣжая простыня, но почему-то не испытывалъ удобства; быть-можетъ, это оттого, что въ сосѣдней комнатѣ долго разговаривали докторъ и фонъ-Тауницъ, и вверху надъ потолкомъ и въ печкѣ метель шумѣла такъ же, какъ въ земской избѣ, и такъ же выла жалобно:

— У-у-у-у!

У Тауница года два назадъ умерла жена, и онъ до сихъ поръ еще не помирился съ этимъ и, о чемъ бы ни говорилъ, всякій разъ вспоминалъ о женѣ; и въ немъ уже не осталось ничего прокурорскаго.

«Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состоянія?»—думалъ Лыжинъ, засыпая и слушая сквозь стѣну его сдержанный, точно сиротскій голосъ.

Слѣдователь спалъ не покойно. Было жарко, неудобно, и

ему казалось во снѣ, что онъ не въ домѣ Тауница, и не въ мягкой чистой постели, а все еще въ земской избѣ, на сѣнѣ, и слышитъ, какъ вполголоса говорятъ понятые; ему казалось, что Лѣсницкій близко, въ пятнадцати шагахъ. Ему опять вспомнилось во снѣ, какъ земскій агентъ, черноволосый, блѣдный, въ высокихъ запыленныхъ сапогахъ подходилъ къ конторкѣ бухгалтера.—«Это нашъ земскій агентъ...» Потомъ ему представилось, будто Лѣсницкій и сотскій Лошадинъ шли въ полѣ по снѣгу, бокъ-о-бокъ, поддерживая другъ друга; метель кружила надъ ними, вѣтеръ дулъ въ спины, а они шли и подпѣвали:

— Мы идемъ, мы идемъ, мы идемъ.

Старикъ былъ похожъ на колдуна въ оперѣ, и оба въ самомъ дѣлѣ пѣли точно въ театрѣ:

— Мы идемъ, мы идемъ, мы идемъ... Вы въ теплѣ, вамъ свѣтло, вамъ мягко, а мы идемъ въ морозъ, въ метель, по глубокому снѣгу... Мы не знаемъ покоя, не знаемъ радостей... Мы несемъ на себѣ всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идемъ, мы идемъ, мы идемъ...

Лыжинъ проснулся и сѣлъ въ постели. Какой смутный, нехорошій сонъ!.. И почему агентъ и сотскій приснились вмѣстѣ? Что за вздоръ! И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и онъ сидѣлъ въ постели, охвативъ голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотскаго въ самомъ дѣлѣ есть что-то общее въ жизни. Не идутъ ли они и въ жизни бокъ-о-бокъ, держась другъ за друга? Какая-то связь невидимая, но значительная и необходимая, существуетъ между обоими, даже между ними и Тауницемъ, и между всѣми, всѣми; въ этой жизни, даже въ самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имѣетъ одну душу, одну цѣль, и чтобы понимать это, мало думать, мало разсуждать, надо еще, вѣроятно, имѣть даръ проникновенія въ жизнь, даръ, который дается, очевидно, не всѣмъ. И несчастный, надорвавшійся, убившій себя «неврастеникъ», какъ называлъ его докторъ, и старикъ мужикъ, который всю свою жизнь каждый день ходитъ отъ человѣка къ человѣку,—это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существованіе считаетъ случайнымъ, и это части одного организма, чудеснаго и разумнаго, для того, кто и свою жизнь считаетъ частью этого общаго и понимаетъ это. Такъ думалъ

Лыжинъ, и это было его давней затаенною мыслью и только теперь она развернулась въ его сознаніи широко и ясно.

Онъ легъ и сталъ засыпать; и вдругъ опять они идутъ вмѣстѣ и поютъ:

— Мы идемъ, мы идемъ, мы идемъ... Мы беремъ отъ жизни то, что въ ней есть самаго тяжелаго и горькаго, а вамъ оставляемъ легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужиномъ, холодно и здраво разсуждать, отчего мы страдаемъ и гибнемъ, и отчего мы не такъ здоровы и довольны, какъ вы.

То, что они пѣли, и раньше приходило ему въ голову, но эта мысль сидѣла у него какъ-то позади другихъ мыслей и мелькала робко, какъ далекій огонекъ въ туманную погоду. И онъ чувствовалъ, что это самоубійство и мужицкое горе лежатъ и на его совѣсти; мириться съ тѣмъ, что эти люди, покорные своему жребію, взвалили на себя самое тяжелое и темное въ жизни — какъ это ужасно! Мириться съ этимъ, а для себя желать свѣтлой, шумной жизни среди счастливыхъ довольныхъ людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значитъ мечтать о новыхъ самоубійствахъ людей, задавленныхъ трудомъ и заботой, или людей слабыхъ, заброшенныхъ, о которыхъ только говорятъ иногда за ужиномъ, съ досадой или съ усмѣшкой, но къ которымъ не идутъ на помощь... И опять:

— Мы идемъ, мы идемъ, мы идемъ...

Точно кто стучитъ молоткомъ по вискамъ.

Утромъ проснулся онъ рано, съ головною болью, разбуженный шумомъ; въ сосѣдней комнатѣ фонъ-Тауницъ говорилъ громко доктору:

— Вамъ невозможно теперь ѣхать. Посмотрите, что дѣлается на дворѣ! Вы не спорьте, а спросите лучше у кучера: онъ не повезетъ васъ въ такую погоду и за милліонъ.

— Но вѣдь только три версты,— говорилъ докторъ умоляющимъ голосомъ.

— Да хоть полверсты. Коли нельзя, такъ и нельзя. Выѣдете только за ворота, тамъ адъ кромѣшный, въ одну минуту собьетесь съ дороги. Ни за что не отпущу, какъ вамъ угодно.

— Надо быть, къ вечеру утихнетъ,—сказалъ мужикъ, топившій печь.

И докторъ въ сосѣдней комнатѣ сталъ говорить о суровой природѣ, вліяющей на характеръ русскаго человѣка, о длинныхъ зимахъ, которыя, стѣсняя свободу передвиженія.

задерживаютъ умственный ростъ людей, а Лыжинъ съ досадой слушалъ эти разсужденія, смотрѣлъ въ окна на сугробы, которые намело на заборъ, смотрѣлъ на бѣлую пыль, заполнявшую все видимое пространство, на деревья, которыя отчаянно гнулись то вправо, то влѣво, слушалъ вой и стуки и думалъ мрачно:

«Ну, какую тутъ можно вывести мораль? Метель, и больше ничего...»

Въ полдень завтракали, потомъ бродили по дому безъ цѣли, подходили къ окнамъ.

«А Лѣсницкій лежитъ,—думалъ Лыжинъ, глядя на вихри снѣга, которые кружились неистово на сугробахъ.—Лѣсницкій лежитъ, понятые ждутъ»...

Говорили о погодѣ, о томъ, что метель продолжается обыкновенно двое сутокъ, рѣдко болѣе. Въ шесть часовъ обѣдали, потомъ играли въ карты, пѣли, танцовали, наконецъ, ужинали. День прошелъ, легли спать.

Ночью подъ утро все успокоилось. Когда встали и поглядѣли въ окна, голыя ивы со своими слабо опущенными вѣтвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо, точно природѣ теперь было стыдно за свой разгулъ, за безумныя ночи и волю, какую она дала своимъ страстямъ. Лошади, запряженныя гусемъ, ожидали у крыльца съ пяти часовъ утра. Когда совсѣмъ разсвѣло, докторъ и слѣдователь надѣли свои шубы и валенки и, простившись съ хозяиномъ, вышли.

У крыльца рядомъ съ кучеромъ стоялъ знакомый цоцкай, Илья Лошадинъ, безъ шапки, со старой кожаной сумкой черезъ плечо, весь въ снѣгу; и лицо было красное, мокрое отъ пота. Лакей, вышедшій, чтобы посадить гостей въ сани и укрыть имъ ноги, посмотрѣлъ на него сурово и сказалъ:

— Что ты тутъ стоишь, старый чортъ? Пошелъ вонъ отсюда.

— Ваше высокоблагородіе, народъ безпокоится...—заговорилъ Лошадинъ, улыбаясь наивно, во все лицо, и видимо довольный, что, наконецъ, увидѣлъ тѣхъ, кого такъ долго ждалъ.—Народъ очень безпокоится, ребята плачутъ... Думали, ваше благородіе, что вы опять въ городъ уѣхали. Явите божескую милость, благодѣтели наши...

Докторъ и слѣдователь ничего не сказали, сѣли въ сани и поѣхали въ Сырню.

ІОНЫЧЪ.

I.

Когда въ губернскомъ городѣ С. пріѣзжіе жаловались на скуку и однообразіе жизни, то мѣстные жители, какъ бы оправдываясь, говорили, что, напротивъ, въ С. очень хорошо, что въ С. есть библіотека, театръ, клубъ, бываютъ балы, что, наконецъ, есть умныя, интересныя, пріятныя семьи, съ которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиныхъ, какъ на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улицѣ, возлѣ губернатора, въ собственномъ домѣ. Самъ Туркинъ, Иванъ Петровичъ, полный, красивый брюнетъ съ бакенами, устраивалъ любительскіе спектакли съ благотворительною цѣлью, самъ игралъ старыхъ генераловъ и при этомъ кашлялъ очень смѣшно. Онъ зналъ много анекдотовъ, шарадъ, поговорокъ, любилъ шутить и острить, и всегда у него было такое выраженіе, что нельзя было понять, шутитъ онъ, или говоритъ серьезно. Жена его Вѣра Іосифовна, худощавая, миловидная дама въ pince-nez, писала повѣсти и романы и охотно читала ихъ вслухъ своимъ гостямъ. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая дѣвушка, играла на роялѣ. Однимъ словомъ, у каждаго члена семьи былъ какой-нибудь свой талантъ. Туркины принимали гостей радушно и показывали имъ свои таланты, весело, съ сердечной простотой. Въ ихъ большомъ каменномъ домѣ было просторно и лѣтомъ прохладно, половина оконъ выходила въ старый тѣнистый садъ, гдѣ весной пѣли соловьи; когда въ домѣ сидѣли

гости, то въ кухнѣ стучали ножами, во дворѣ пахло жаренымъ лукомъ—и это всякій разъ предвѣщало обильный и вкусный ужинъ.

И доктору Старцеву, Дмитрію Іонычу, когда онъ былъ только-что назначенъ земскимъ врачомъ и поселился въ Дялижѣ, въ девяти верстахъ отъ С., тоже говорили, что ему, какъ интеллигентному человѣку, необходимо познакомиться съ Туркиными. Какъ-то зимой на улицѣ его представили Ивану Петровичу; поговорили о погодѣ, о театрѣ, о холерѣ, послѣдовало приглашеніе. Весной, въ праздникъ—это было Вознесеніе, — послѣ пріема больныхъ, Старцевъ отправился въ городъ, чтобы развлечься немножко и кстати купить себѣ кое-что. Онъ шелъ пѣшкомъ не спѣша (своихъ лошадей у него еще не было), и все время напѣвалъ:

Когда еще я не пилъ слезъ изъ чаши бытія...

Въ городѣ онъ пообѣдалъ, погулялъ въ саду, потомъ какъ-то само собой пришло ему на память приглашеніе Ивана Петровича, и онъ рѣшилъ сходить къ Туркинымъ, посмотрѣть, что̀ это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста,—сказалъ Иванъ Петровичъ, встрѣчая его на крыльцѣ.—Очень, очень радъ видѣть такого пріятнаго гостя. Пойдемте, я представлю васъ своей благовѣрной. Я говорю ему, Вѣрочка, — продолжалъ онъ, представляя доктора женѣ: — я ему говорю, что онъ не имѣетъ никакого римскаго права сидѣть у себя въ больницѣ, онъ долженъ отдавать свой досугъ обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здѣсь, — говорила Вѣра Іосифовна, сажая гостя возлѣ себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой мужъ ревнивъ, это Отелло, но вѣдь мы постараемся вести себя такъ, что онъ ничего не замѣтитъ.

— Ахъ, ты, цыпка, баловница... — нѣжно пробормоталъ Иванъ Петровичъ и поцѣловалъ ее въ лобъ. — Вы очень кстати пожаловали,—обратился онъ опять къ гостю:—моя благовѣрная написала большинскій романъ и сегодня будетъ читать его вслухъ.

— Жанчикъ,—сказала Вѣра Іосифовна мужу:—dites que l'on nous donne du thé.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилѣтнюю дѣвушку, очень похожую на мать, такую же ху-

дощавую и миловидную. Выраженіе у нея было еще дѣтское и талія тонкая, нѣжная; и дѣвственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о веснѣ, настоящей веснѣ. Потомъ пили чай съ вареньемъ, съ медомъ, съ конфетами и съ очень вкусными печеньями, которыя таяли во рту. Съ наступленіемъ вечера, мало-по-малу, сходились гости, и къ каждому изъ нихъ Иванъ Петровичъ обращалъ свои смѣющіяся глаза и говорилъ:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потомъ всѣ сидѣли въ гостиной, съ очень серьезными лицами, и Вѣра Іосифовна читала свой романъ. Она начала такъ: «Морозъ крѣпчалъ...» Окна были отворены настежь, слышно было, какъ на кухнѣ стучали ножами, и доносился запахъ жаренаго лука... Въ мягкихъ, глубокихъ креслахъ было покойно, огни мигали такъ ласково въ сумеркахъ гостиной; и теперь, въ лѣтній вечеръ, когда долетали съ улицы голоса, смѣхъ и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, какъ это крѣпчалъ морозъ и какъ заходившее солнце освѣщало своими холодными лучами снѣжную равнину и путника, одиноко шедшаго по дорогѣ; Вѣра Іосифовна читала о томъ, какъ молодая, красивая графиня устраивала у себя въ деревнѣ школы, больницы, библіотеки и какъ она полюбила странствующаго художника,—читала о томъ, чего никогда не бываетъ въ жизни, и все-таки слушать было пріятно, удобно, и въ голову шли все такія хорошія, покойныя мысли,—не хотѣлось вставать.

— Не дурственно...—тихо проговорилъ Иванъ Петровичъ.

А одинъ изъ гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказалъ едва слышно:

— Да... дѣйствительно...

Прошелъ часъ, другой. Въ городскомъ саду по сосѣдству игралъ оркестръ и пѣлъ хоръ пѣсенниковъ. Когда Вѣра Іосифовна закрыла свою тетрадь, то минутъ пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пѣлъ хоръ, и эта пѣсня передавала то, чего не было въ романѣ и что бываетъ въ жизни.

— Вы печатаете свои произведенія въ журналахъ? — спросилъ у Вѣры Іосифовны Старцевъ.

— Нѣтъ,—отвѣчала она:—я нигдѣ не печатаю. Напишу и спрячу у себя въ шкапу. Для чего печатать?—пояснила она.—Вѣдь мы имѣемъ средства.

И всѣ почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котикъ, сыграй что-нибудь, — сказалъ Иванъ Петровичъ дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшія уже наготовѣ. Екатерина Ивановна сѣла и обѣими руками ударила по клавишамъ; и потомъ тотчасъ же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нея содрогались, она упрямо ударяла все по одному мѣсту и, казалось, что она не перестанетъ, пока не вобьетъ клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громомъ; гремѣло все: и полъ, и потолокъ, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассажъ, интересный именно своею трудностью; длинный и однообразный, и Старцевъ, слушая, рисовалъ себѣ, какъ съ высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотѣлось, чтобы они поскорѣе перестали сыпаться, и въ то же время Екатерина Ивановна, розовая отъ напряженія, сильная, энергичная, съ локономъ, упавшимъ на лобъ, очень нравилась ему. Послѣ зимы, проведенной въ Дялижѣ, среди больныхъ и мужиковъ, сидѣть въ гостиной, смотрѣть на это молодое, изящное и, вѣроятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоѣдливые, но все же культурные звуки,—было такъ пріятно, такъ ново...

— Ну, Котикъ, сегодня ты играла, какъ никогда,—сказалъ Иванъ Петровичъ со слезами на глазахъ, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денисъ, лучше не напишешь.

Всѣ окружили ее, поздравляли, изумлялись, увѣряли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала, молча, чуть улыбаясь, и на всей ея фигурѣ было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно!—сказалъ и Старцевъ, поддаваясь общему увлеченію.—Вы гдѣ учились музыкѣ?—спросилъ онъ у Екатерины Ивановны.—Въ консерваторіи?

— Нѣтъ, въ консерваторію я еще только собираюсь, а пока училась здѣсь, у мадамъ Завловской.

— Вы кончили курсъ въ здѣшней гимназіи?

— О, нѣтъ! — отвѣтила за нее Вѣра Іосифовна. — Мы приглашали учителей на домъ, въ гимназіи же или въ институтѣ, согласитесь, могли быть дурныя вліянія; пока

дѣвушка растетъ, она должна находиться подъ вліяніемъ одной только матери.

— А все-таки въ консерваторію я поѣду,—сказала Екатерина Ивановна.

— Нѣтъ, Котикъ любитъ свою маму. Котикъ не станетъ огорчать папу и маму.

— Нѣтъ, поѣду! Поѣду!—сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужиномъ уже Иванъ Петровичъ показывалъ свои таланты. Онъ, смѣясь одними только глазами, разсказывалъ анекдоты, острилъ, предлагалъ смѣшныя задачи и самъ же рѣшалъ ихъ, и все время говорилъ на своемъ необыкновенномъ языкѣ, выработанномъ долгими упражненіями въ остроуміи и, очевидно, давно уже вошедшемъ у него въ привычку: большинскій, не дурственно, покорчило васъ, благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились въ передней, разбирая свои пальто и трости, около нихъ суетился лакей Павлуша, или, какъ его звали здѣсь, Пава, мальчикъ лѣтъ четырнадцати, стриженый, съ полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказалъ ему Иванъ Петровичъ.

Пава сталъ въ позу, поднялъ вверхъ руку и проговорилъ трагическимъ тономъ:

— Умри, несчастная!

И всѣ захохотали.

«Занятно»,—подумалъ Старцевъ, выходя на улицу.

Онъ зашелъ еще въ ресторанъ и выпилъ пива, потомъ отправился пѣшкомъ къ себѣ въ Дялижъ. Шелъ онъ и всю дорогу напѣвалъ:

Твой голосъ для меня и ласковый, и томный...

Пройдя девять верстъ и потомъ ложась спать, онъ не чувствовалъ ни малѣйшей усталости, а напротивъ, ему казалось, что онъ съ удовольствіемъ прошелъ бы еще верстъ двадцать.

«Не дурственно...»—вспомнилъ онъ, засыпая, и засмѣялся.

II.

Старцевъ все собирался къ Туркинымъ, но въ больницѣ

было очень много работы, и онъ никакъ не могъ выбрать свободнаго часа. Прошло больше года такимъ образомъ въ трудахъ и одиночествѣ; но вотъ изъ города принесли письмо въ голубомъ конвертѣ...

Вѣра Іосифовна давно уже страдала мигренью, но въ послѣднее время, когда Котикъ каждый день пугала, что уѣдетъ въ консерваторію, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиныхъ перебывали всѣ городскіе врачи; дошла, наконецъ, очередь и до земскаго. Вѣра Іосифовна написала ему трогательное письмо, въ которомъ просила его пріѣхать и облегчить ея страданія. Старцевъ пріѣхалъ, и послѣ этого сталъ бывать у Туркиныхъ часто, очень часто... Онъ, въ самомъ дѣлѣ, немножко помогъ Вѣрѣ Іосифовнѣ, и она всѣмъ гостямъ уже говорила, что это необыкновенный, удивительный докторъ. Но ѣздилъ онъ къ Туркинымъ уже не ради ея мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на роялѣ. Потомъ долго сидѣли въ столовой и пили чай, и Иванъ Петровичъ разсказывалъ что-то смѣшное. Но вотъ звонокъ; нужно было идти въ переднюю встрѣчать какого-то гостя; Старцевъ воспользовался минутой замѣшательства и сказалъ Екатеринѣ Ивановнѣ шопотомъ, сильно волнуясь:

— Ради Бога, умоляю васъ, не мучайте меня, пойдемте въ садъ!

Она пожала плечами, какъ бы недоумѣвая и не понимая, что̀ ему нужно отъ нея, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на роялѣ,—говорилъ онъ, идя за ней: — потомъ сидите съ мамой, и нѣтъ никакой возможности поговорить съ вами. Дайте мнѣ хоть четверть часа, умоляю васъ.

Приближалась осень, и въ старомъ саду было тихо, грустно, и на аллеяхъ лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видѣлъ васъ цѣлую недѣлю,—продолжалъ Старцевъ:—а если бы вы знали, какое это страданіе! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоихъ было любимое мѣсто въ саду: скамья подъ старымъ широкимъ кленомъ. И теперь сѣли на эту скамью.

— Что вамъ угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, дѣловымъ тономъ.

— Я не видѣлъ васъ цѣлую недѣлю, я не слышалъ васъ такъ долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свѣжестью, наивнымъ выраженіемъ глазъ и щекъ. Даже въ томъ, какъ сидѣло на ней платье, онъ видѣлъ что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной граціей. И въ то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по лѣтамъ. Съ ней онъ могъ говорить о литературѣ, объ искусствѣ, о чемъ угодно, могъ жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезнаго разговора, случалось, она вдругъ некстати начинала смѣяться, или убѣгала въ домъ. Она, какъ почти всѣ с—ія дѣвушки, много читала (вообще же въ С. читали очень мало, и въ здѣшней библіотекѣ такъ и говорили, что если бы не дѣвушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библіотеку); это безконечно нравилось Старцеву, онъ съ волненіемъ спрашивалъ у нея всякій разъ, о чемъ она читала въ послѣдніе дни, и, очарованный, слушалъ, когда она разсказывала.

— Что вы читали на этой недѣлѣ, пока мы не видѣлись?—спросилъ онъ теперь.—Говорите, прошу васъ.

— Я читала Писемскаго.

— Что именно?

— «Тысяча душъ»,—отвѣтила Котикъ.—А какъ смѣшно звали Писемскаго: Алексѣй Ѳеофилактычъ!

— Куда же вы?—ужаснулся Старцевъ, когда она вдругъ встала и пошла къ дому.—Мнѣ необходимо поговорить съ вами, я долженъ объясниться... Побудьте со мной хоть пять минутъ! Заклинаю васъ!

Она остановилась, какъ бы желая что-то сказать, потомъ неловко сунула ему въ руку записку и побѣжала въ домъ, и тамъ опять сѣла за рояль.

«Сегодня, въ одиннадцать часовъ вечера,—прочелъ Старцевъ:—будьте на кладбищѣ возлѣ памятника Деметти».

«Ну, ужъ это совсѣмъ не умно,—подумалъ онъ, придя въ себя.—При чемъ тутъ кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котикъ дурачилась. Кому, въ самомъ дѣлѣ, придетъ серьезно въ голову назначить свиданіе ночью, далеко за городомъ, на кладбищѣ, когда это легко можно устроить на улицѣ, въ городскомъ саду? И къ лицу ли ему,

земскому доктору, умному, солидному человѣку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищамъ, дѣлать глупости, надъ которыми смѣются теперь даже гимназисты? Къ чему поведетъ этотъ романъ? Что̀ скажутъ товарищи, когда узнаютъ? Такъ думалъ Старцевъ, бродя въ клубѣ около столовъ, а въ половинѣ одиннадцатаго вдругъ взялъ и поѣхалъ на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучеръ Пантелеймонъ въ бархатной жилеткѣ. Свѣтила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. Въ предмѣстьи, около боенъ, выли собаки. Старцевъ оставилъ лошадей на краю города, въ одномъ изъ переулковъ, а самъ пошелъ на кладбище пѣшкомъ. «У всякаго свои странности,—думалъ онъ:—Котикъ тоже странная и—кто знаетъ?—быть-можетъ, она не шутитъ, придетъ»,—и онъ отдался этой слабой, пустой надеждѣ, и она опьянила его.

Съ полверсты онъ прошелъ полемъ. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, какъ лѣсъ или большой садъ. Показалась ограда изъ бѣлаго камня, ворота... При лунномъ свѣтѣ на воротахъ можно было прочесть: «Грядетъ часъ въ онь же...» Старцевъ вошелъ въ калитку, и первое, что̀ онъ увидѣлъ, это бѣлые кресты и памятники по обѣ стороны широкой аллеи и черныя тѣни отъ нихъ и отъ тополей; и кругомъ далеко было видно бѣлое и черное, и сонныя деревья склоняли свои вѣтви надъ бѣлымъ. Казалось, что здѣсь было свѣтлѣй, чѣмъ въ полѣ; листья кленовъ, похожіе на лапы, рѣзко выдѣлялись на желтомъ пескѣ аллей и на плитахъ, и надписи на памятникахъ были ясны. На первыхъ порахъ Старцева поразило то, что̀ онъ видѣлъ теперь первый разъ въ жизни и чего, вѣроятно, больше уже не случится видѣть: міръ, не похожій ни на что̀ другое,—міръ, гдѣ такъ хорошъ и мягокъ лунный свѣтъ, точно здѣсь его колыбель, гдѣ нѣтъ жизни, нѣтъ и нѣтъ, но въ каждомъ темномъ тополѣ, въ каждой могилѣ чувствуется присутствіе тайны, обѣщающей жизнь тихую, прекрасную, вѣчную. Отъ плитъ и увядшихъ цвѣтовъ, вмѣстѣ съ осеннимъ запахомъ листьевъ, вѣетъ прощеніемъ, печалью и покоемъ.

Кругомъ безмолвіе; въ глубокомъ смиреніи съ неба смотрѣли звѣзды, и шаги Старцева раздавались такъ рѣзко и некстати. И только когда въ церкви стали бить часы, и онъ вообразилъ самого себя мертвымъ, зарытымъ здѣсь навѣки,

то ему показалось, что кто-то смотритъ на него, и онъ на минуту подумалъ, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытія, подавленное отчаяніе...

Памятникъ Деметти въ видѣ часовни, съ ангеломъ наверху; когда-то въ С. была проѣздомъ итальянская опера, одна изъ пѣвицъ умерла, ее похоронили и поставили этотъ памятникъ. Въ городѣ уже никто не помнилъ о ней, но лампадка надъ входомъ отражала лунный свѣтъ и, казалось, горѣла.

Никого не было. Да и кто пойдетъ сюда въ полночь? Но Старцевъ ждалъ, и точно лунный свѣтъ подогрѣвалъ въ немъ страсть, ждалъ страстно и рисовалъ въ воображеніи поцѣлуи, объятія. Онъ посидѣлъ около памятника съ полчаса, потомъ прошелся по боковымъ аллеямъ, со шляпой въ рукѣ, поджидая и думая о томъ, сколько здѣсь, въ этихъ могилахъ, зарыто женщинъ и дѣвушекъ, которыя были красивы, очаровательны, которыя любили, сгорали по ночамъ страстью, отдаваясь ласкѣ. Какъ въ сущности не хорошо шутитъ надъ человѣкомъ мать-природа, какъ обидно сознавать это! Старцевъ думалъ такъ, и въ то же время ему хотѣлось закричать, что онъ не хочетъ, что онъ ждетъ любви во что бы то ни стало; передъ нимъ бѣлѣли уже не куски мрамора, а прекрасныя тѣла, онъ видѣлъ формы, которыя стыдливо прятались въ тѣни деревьевъ, ощущалъ тепло, и это томленіе становилось тягостнымъ...

И точно опустился занавѣсъ, луна ушла подъ облака, и вдругъ все потемнѣло кругомъ. Старцевъ едва нашелъ ворота,—уже было темно, какъ въ осеннюю ночь,—потомъ часа полтора бродилъ, отыскивая переулокъ, гдѣ оставилъ своихъ лошадей.

— Я усталъ, едва держусь на ногахъ, — сказалъ онъ Пантелеймону.

И, садясь съ наслажденіемъ въ коляску, онъ подумалъ: «Охъ, не надо бы полнѣть!»

III.

На другой день вечеромъ онъ поѣхалъ къ Туркинымъ дѣлать предложеніе. Но это оказалось неудобнымъ, такъ какъ Екатерину Ивановну въ ея комнатѣ причесывалъ парикмахеръ. Она собиралась въ клубъ на танцовальный вечеръ.

Пришлось опять долго сидѣть въ столовой и пить чай. Иванъ Петровичъ, видя, что гость задумчивъ и скучаетъ, вынулъ изъ жилетнаго кармана записочки, прочелъ смѣшное письмо нѣмца-управляющаго о томъ, какъ въ имѣніи испортились всѣ запирательства и обвалилась застѣнчивость.

«А приданаго они дадутъ, должно-быть, не мало»,—думалъ Старцевъ, разсѣянно слушая.

Послѣ безсонной ночи онъ находился въ состояніи ошеломленія, точно его опоили чѣмъ-то сладкимъ и усыпляющимъ; на душѣ было туманно, но радостно, тепло, и въ то же время въ головѣ какой-то холодный, тяжелый кусочекъ разсуждалъ:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебѣ? Она избалована, капризна, спитъ до двухъ часовъ, а ты дьячковскій сынъ, земскій врачъ...»

«Ну, что жъ?—думалъ онъ.—И пусть».

«Къ тому же, если ты женишься на ней,—продолжалъ кусочекъ:—то ея родня заставитъ тебя бросить земскую службу и жить въ городѣ».

«Ну, что жъ?—думалъ онъ.—Въ городѣ, такъ въ городѣ. Дадутъ приданое, заведемъ обстановку...»

Наконецъ, вошла Екатерина Ивановна въ бальномъ платьѣ, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцевъ залюбовался и пришелъ въ такой восторгъ, что не могъ выговорить ни одного слова, а только смотрѣлъ на нее и смѣялся.

Она стала прощаться, и онъ—оставаться тутъ ему было уже не за чѣмъ—поднялся, говоря, что ему пора домой: ждутъ больные.

— Дѣлать нечего,—сказалъ Иванъ Петровичъ:—поѣзжайте, кстати же подвезете Котика въ клубъ.

На дворѣ накрапывалъ дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, гдѣ лошади. Подняли у коляски верхъ.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь,—говорилъ Иванъ Петровичъ, усаживая дочь въ коляску:—онъ идетъ, пока вретъ... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поѣхали.

— А я вчера былъ на кладбищѣ,—началъ Старцевъ.—Какъ это не великодушно и немилосердно съ вашей стороны...

— Вы были на кладбищѣ?

— Да, я былъ тамъ и ждалъ васъ почти до двухъ часовъ. Я страдалъ...

— И страдайте, если вы не понимаете шутокъ.

Екатерина Ивановна, довольная, что такъ хитро подшутила надъ влюбленнымъ и что ее такъ сильно любятъ, захохотала и вдругъ вскрикнула отъ испуга, такъ какъ въ это самое время лошади круто поворачивали въ ворота клуба и коляска накренилась. Старцевъ обнялъ Екатерину Ивановну за талію; она, испуганная, прижалась къ нему, и онъ не удержался и страстно поцѣловалъ ее въ губы, въ подбородокъ и сильнѣе обнялъ.

— Довольно,—сказала она сухо.

И черезъ мгновеніе ея уже не было въ коляскѣ, и городовой около освѣщеннаго подъѣзда клуба кричалъ отвратительнымъ голосомъ на Пантелеймона:

— Чего сталъ, ворона? Проѣзжай дальше!

Старцевъ поѣхалъ домой, но скоро вернулся. Одѣтый въ чужой фракъ и бѣлый жесткій галстукъ, который какъ-то все топорщился и хотѣлъ сползти съ воротничка, онъ въ полночь сидѣлъ въ клубѣ въ гостиной и говорилъ Екатеринѣ Ивановнѣ съ увлеченіемъ:

— О, какъ мало знаютъ тѣ, которые никогда не любили! Мнѣ кажется, никто еще не описалъ вѣрно любви, и едва ли можно описать это нѣжное, радостное, мучительное чувство, и кто испыталъ его хоть разъ, тотъ не станетъ передавать его на словахъ. Къ чему предисловія, описанія? Къ чему ненужное краснорѣчіе? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю васъ,—выговорилъ, наконецъ, Старцевъ:— будьте моей женой!

— Дмитрій Іонычъ, — сказала Екатерина Ивановна съ очень серьезнымъ выраженіемъ, подумавъ.—Дмитрій Іонычъ, я очень вамъ благодарна за честь, я васъ уважаю, но...— она встала и продолжала, стоя:—но, извините, быть вашей женой я не могу. Будемъ говорить серьезно. Дмитрій Іонычъ, вы знаете, больше всего въ жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успѣховъ, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить въ этомъ городѣ, продолжала эту пустую, безполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сдѣлаться женой—о, нѣтъ, простите! Человѣкъ долженъ стремиться къ высшей,

блестящей цѣли, а семейная жизнь связала бы меня навѣки. Дмитрій Іонычъ (она чуть-чуть улыбнулась, такъ какъ, прознеся «Дмитрій Іонычъ», вспомнила «Алексѣй Ѳеофилактычъ»), Дмитрій Іонычъ, вы добрый, благородный, умный человѣкъ, вы лучше всѣхъ...—у нея слезы навернулись на глазахъ: — я сочувствую вамъ всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла изъ гостиной.

У Старцева перестало безпокойно биться сердце. Выйдя изъ клуба на улицу, онъ, прежде всего, сорвалъ съ себя жесткій галстукъ и вздохнулъ всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбіе его было оскорблено, — онъ не ожидалъ отказа, — и не вѣрилось, что всѣ его мечты, томленія и надежды привели его къ такому глупенькому концу, точно въ маленькой пьесѣ на любительскомъ спектаклѣ. И жаль было своего чувства, этой своей любви, такъ жаль, что, кажется, взялъ бы и зарыдалъ или изо всей силы хватилъ бы зонтикомъ по широкой спинѣ Пантелеймона.

Дня три у него дѣло валилось изъ рукъ, онъ не ѣлъ, не спалъ, но когда до него дошелъ слухъ, что Екатерина Ивановна уѣхала въ Москву поступать въ консерваторію, онъ успокоился и зажилъ попрежнему.

Потомъ, иногда вспоминая, какъ онъ бродилъ по кладбищу, или какъ ѣздилъ по всему городу и отыскивалъ фракъ, онъ лѣниво потягивался и говорилъ:

— Сколько хлопотъ, однако!

IV.

Прошло четыре года. Въ городѣ у Старцева была уже большая практика. Каждое утро онъ спѣшно принималъ больныхъ у себя въ Дялижѣ, потомъ уѣзжалъ къ городскимъ больнымъ, уѣзжалъ уже не на парѣ, а на тройкѣ съ бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Онъ пополнѣлъ, раздобрѣлъ и неохотно ходилъ пѣшкомъ, такъ какъ страдалъ одышкой. И Пантелеймонъ тоже пополнѣлъ, и чѣмъ онъ больше росъ въ ширину, тѣмъ печальнѣе вздыхалъ и жаловался на свою горькую участь: ѣзда одолѣла!

Старцевъ бывалъ въ разныхъ домахъ и встрѣчалъ много людей, но ни съ кѣмъ не сходился близко. Обыватели

своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своимъ видомъ раздражали его. Опытъ научилъ его мало-по-малу, что пока съ обывателемъ играешь въ карты или закусываешь съ нимъ, то это мирный, благодушный и даже не глупый человѣкъ, но стоитъ только заговорить съ нимъ о чемъ-нибудь несъѣдобномъ, напримѣръ, о политикѣ или наукѣ, какъ онъ становится втупикъ или заводитъ такую философію, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцевъ пробовалъ заговорить даже съ либеральнымъ обывателемъ, напримѣръ, о томъ, что человѣчество, слава Богу, идетъ впередъ и что со временемъ оно будетъ обходиться безъ паспортовъ и безъ смертной казни, то обыватель глядѣлъ на него искоса и недовѣрчиво и спрашивалъ: «Значитъ, тогда всякій можетъ рѣзать на улицѣ кого угодно?» А когда Старцевъ въ обществѣ, за ужиномъ или чаемъ, говорилъ о томъ, что нужно трудиться, что безъ труда жить нельзя, то всякій принималъ это за упрекъ и начиналъ сердиться и назойливо спорить. При всемъ томъ обыватели не дѣлали ничего, рѣшительно ничего, и не интересовались ничѣмъ, и никакъ нельзя было придумать, о чемъ говорить съ ними. И Старцевъ избѣгалъ разговоровъ, а только закусывалъ и игралъ въ винтъ, и когда заставалъ въ какомъ-нибудь домѣ семейный праздникъ и его приглашали откушать, то онъ садился и ѣлъ молча, глядя въ тарелку; и все, что въ это время говорили, было не интересно, несправедливо, глупо, онъ чувствовалъ раздраженіе, волновался, но молчалъ, и за то, что онъ всегда сурово молчалъ и глядѣлъ въ тарелку, его прозвали въ городѣ «полякъ надутый», хотя онъ никогда полякомъ не былъ.

Отъ такихъ развлеченій, какъ театръ и концерты, онъ уклонялся, но зато въ винтъ игралъ каждый вечеръ, часа по три съ наслажденіемъ. Было у него еще одно развлеченіе, въ которое онъ втянулся незамѣтно, мало-по-малу, это—по вечерамъ вынимать изъ кармановъ бумажки, добытыя практикой, и, случалось, бумажекъ—желтыхъ и зеленыхъ, отъ которыхъ пахло духами, и уксусомъ, и ладаномъ, и ворванью,—было понапихано во всѣ карманы рублей на семьдесятъ; и когда собиралось нѣсколько сотъ, онъ отвозилъ въ «Общество взаимнаго кредита» и клалъ тамъ на текущій счетъ.

За всѣ четыре года послѣ отъѣзда Екатерины Ивановны

онъ былъ у Туркиныхъ только два раза, по приглашенію Вѣры Іосифовны, которая все еще лѣчилась отъ мигрени. Каждое лѣто Екатерина Ивановна пріѣзжала къ родителямъ погостить, но онъ не видѣлъ ея ни разу; какъ-то не случалось.

Но вотъ прошло четыре года. Въ одно тихое, теплое утро въ больницу принесли письмо. Вѣра Іосифовна писала Дмитрію Іонычу, что очень соскучилась по немъ, и просила его непремѣнно пожаловать къ ней и облегчить ея страданія, и кстати же сегодня день ея рожденія. Внизу была приписка: «Къ просьбѣ мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцевъ подумалъ и вечеромъ поѣхалъ къ Туркинымъ.

— А, здравствуйте пожалуйста!—встрѣтилъ его Иванъ Петровичъ, улыбаясь одними глазами.—Бонжурте.

Вѣра Іосифовна, уже сильно постарѣвшая, съ бѣлыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, докторъ, не хотите ухаживать за мной, никогда у насъ не бываете, я уже стара для васъ. Но вотъ пріѣхала молодая, быть-можетъ, она будетъ счастливѣе.

А Котикъ? Она похудѣла, поблѣднѣла, стала красивѣе и стройнѣе; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котикъ; уже не было прежней свѣжести и выраженія дѣтской наивности. И во взглядѣ, и въ манерахъ было что-то новое—несмѣлое и виноватое, точно здѣсь, въ домѣ Туркиныхъ, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нея тревожно билось сердце; и пристально, съ любопытствомъ глядя ему въ лицо, она продолжала:—Какъ вы пополнѣли! Вы загорѣли, возмужали, но въ общемъ вы мало измѣнились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже не доставало въ ней, или что-то было лишнее—онъ и самъ не могъ бы сказать, что̀ именно, но что-то уже мѣшало ему чувствовать, какъ прежде. Ему не нравилась ея блѣдность, новое выраженіе, слабая улыбка, голосъ, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, въ которомъ она сидѣла, не нравилось что-то въ прошломъ, когда онъ едва не женился на ней. Онъ вспомнилъ о своей любви, о мечтахъ и надеждахъ, которыя волновали его четыре года назадъ,—и ему стало неловко.

Пили чай со сладкимъ пирогомъ. Потомъ Вѣра Іосифовна читала вслухъ романъ, читала о томъ, что никогда не бываетъ въ жизни, а Старцевъ слушалъ, глядѣлъ на ея сѣдую, красивую голову и ждалъ, когда она кончитъ.

«Бездаренъ,—думалъ онъ:—не тотъ, кто не умѣетъ писать повѣстей, а тотъ, кто ихъ пишетъ и не умѣетъ скрыть этого».

— Не дурственно,—сказалъ Иванъ Петровичъ.

Потомъ Екатерина Ивановна играла на роялѣ шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился»,—подумалъ Старцевъ.

Она смотрѣла на него и, повидимому, ждала, что онъ предложитъ ей пойти въ садъ, но онъ молчалъ.

— Давайте же поговоримъ,—сказала она, подходя къ нему.—Какъ вы живете? Что у васъ? Какъ? Я всѣ эти дни думала о васъ,—продолжала она нервно:—я хотѣла послать вамъ письмо, хотѣла сама поѣхать къ вамъ въ Дялижъ, и я уже рѣшила поѣхать, но потомъ раздумала—Богъ знаетъ, какъ вы теперь ко мнѣ относитесь. Я съ такимъ волненіемъ ожидала васъ сегодня. Ради Бога, пойдемте въ садъ.

Они пошли въ садъ и сѣли тамъ на скамью подъ старымъ кленомъ, какъ четыре года назадъ. Было темно.

— Какъ же вы поживаете?—спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живемъ понемножку,—отвѣтилъ Старцевъ.

И ничего не могъ больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь,—сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо:—но вы не обращайте вниманія. Мнѣ такъ хорошо дома, я такъ рада видѣть всѣхъ и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаній! Мнѣ казалось, что мы будемъ говорить съ вами безъ умолку, до утра.

Теперь онъ видѣлъ близко ея лицо, блестящіе глаза, и здѣсь, въ темнотѣ, она казалась моложе, чѣмъ въ комнатѣ, и даже какъ будто вернулось къ ней ея прежнее дѣтское выраженіе. И въ самомъ дѣлѣ, она съ наивнымъ любопытствомъ смотрѣла на него, точно хотѣла поближе разглядѣть и понять человѣка, который когда-то любилъ ее такъ пламенно, съ такой нѣжностью и такъ несчастливо: ея глаза благодарили его за эту любовь. И онъ вспомнилъ все, что

было, всѣ малѣйшія подробности, какъ онъ бродилъ по кладбищу, какъ потомъ подъ утро, утомленный, возвращался къ себѣ домой, и ему вдругъ стало грустно и жаль прошлаго. Въ душѣ затеплился огонекъ.

— А помните, какъ я провожалъ васъ на вечеръ въ клубъ?—сказалъ онъ.—Тогда шелъ дождь, было темно...

Огонекъ все разгорался въ душѣ, и уже хотѣлось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эхъ!—сказалъ онъ со вздохомъ.—Вы вотъ спрашиваете, какъ я поживаю. Какъ мы поживаемъ тутъ? Да никакъ. Старимся, полнѣемъ, опускаемся. День да ночь,—сутки прочь, жизнь проходитъ тускло, безъ впечатлѣній, безъ мыслей... Днемъ нажива, а вечеромъ клубъ, общество картежниковъ, алкоголиковъ, хрипуновъ, которыхъ я терпѣть не могу. Что̀ хорошаго?

— Но у васъ работа, благородная цѣль въ жизни. Вы такъ любили говорить о своей больницѣ. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой піанисткой. Теперь всѣ барышни играютъ на роялѣ и я тоже играла, какъ всѣ, и ничего во мнѣ не было особеннаго; я такая же піанистка, какъ мама писательница. И конечно, я васъ не понимала тогда, но потомъ, въ Москвѣ, я часто думала о васъ. Я только о васъ и думала. Какое это счастье быть земскимъ врачомъ, помогать страдальцамъ, служить народу. Какое счастье!—повторила Екатерина Ивановна съ увлеченіемъ.—Когда я думала о васъ въ Москвѣ, вы представлялись мнѣ такимъ идеальнымъ, возвышеннымъ...

Старцевъ вспомнилъ про бумажки, которыя онъ по вечерамъ вынималъ изъ кармановъ съ такимъ удовольствіемъ, и огонекъ въ душѣ погасъ.

Онъ всталъ, чтобы идти къ дому. Она взяла его подъ руку.

— Вы лучшій изъ людей, которыхъ я знала въ своей жизни,—продолжала она.—Мы будемъ видѣться, говорить, не правда ли? Обѣщайте мнѣ. Я не піанистка, на свой счетъ я уже не заблуждаюсь и не буду при васъ ни играть, ни говорить о музыкѣ.

Когда вошли въ домъ и Старцевъ увидѣлъ при вечернемъ освѣщеніи ея лицо и грустные, благодарные, испытующіе глаза, обращенные на него, то почувствовалъ безпокойство и подумалъ опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Онъ сталъ прощаться.

— Вы не имѣете никакого римскаго права уѣзжать безъ ужина, — говорилъ Иванъ Петровичъ, провожая его. — Это съ вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази!—сказалъ онъ, обращаясь въ передней къ Павѣ.

Пава, уже не мальчикъ, а молодой человѣкъ съ усами, сталъ въ позу, поднялъ вверхъ руку и сказалъ трагическимъ голосомъ:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь въ коляску и глядя на темный домъ и садъ, которые были ему такъ милы и дороги когда-то, онъ вспомнилъ все сразу—и романы Вѣры Іосифовны, и шумную игру Котика, и остроуміе Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумалъ, что если самые талантливые люди во всемъ городѣ такъ бездарны, то каковъ же долженъ быть городъ.

Черезъ три дня Пава принесъ письмо отъ Екатерины Ивановны.

«Вы не ѣдете къ намъ. Почему?—писала она.—Я боюсь, что вы измѣнились къ намъ, я боюсь, и мнѣ страшно отъ одной мысли объ этомъ. Успокойте же меня, пріѣзжайте и скажите, что все хорошо.

«Мнѣ необходимо поговорить съ вами. Ваша Е. Т.»

Онъ прочелъ это письмо, подумалъ и сказалъ Павѣ:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу пріѣхать, я очень занятъ. Пріѣду, скажи, такъ, дня черезъ три.

Но прошло три дня, прошла недѣля, а онъ все не ѣхалъ. Какъ-то, проѣзжая мимо дома Туркиныхъ, онъ вспомнилъ, что надо бы заѣхать хоть на минутку, но подумалъ и... не заѣхалъ.

И больше ужъ онъ никогда не бывалъ у Туркиныхъ.

V.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ. Старцевъ еще больше пополнѣлъ, ожирѣлъ, тяжело дышитъ и уже ходитъ откинувъ назадъ голову. Когда онъ, пухлый, красный, ѣдетъ на тройкѣ съ бубенчиками, и Пантелеймонъ, тоже пухлый и красный, съ мясистымъ затылкомъ сидитъ на козлахъ, протянувъ впередъ прямыя, точно деревянныя, руки, и кричитъ встрѣчнымъ «Прррава держи!», то картина бываетъ внушительная, и кажется, что ѣдетъ не человѣкъ, а язы-

ческій богъ. У него въ городѣ громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имѣніе и два дома въ городѣ, и онъ облюбовываетъ себѣ еще третій, повыгоднѣе, и когда ему въ «Обществѣ взаимнаго кредита» говорятъ про какой-нибудь домъ, назначенный къ торгамъ, то онъ безъ церемоніи идетъ въ этотъ домъ и, проходя чрезъ всѣ комнаты, не обращая вниманія на неодѣтыхъ женщинъ и дѣтей, которыя глядятъ на него съ изумленіемъ и страхомъ, тычетъ во всѣ двери палкой и говоритъ:

— Это кабинетъ? Это спальня? А тутъ что?

И при этомъ тяжело дышитъ и вытираетъ со лба потъ.

У него много хлопотъ, но все же онъ не бросаетъ земскаго мѣста; жадность одолѣла, хочется поспѣть и здѣсь, и тамъ. Въ Дялижѣ и въ городѣ его зовутъ уже просто Іонычемъ.—«Куда это Іонычъ ѣдетъ?» или: «Не пригласить ли на консиліумъ Іоныча?»

Вѣроятно оттого, что горло заплыло жиромъ, голосъ у него измѣнился, сталъ тонкимъ и рѣзкимъ. Характеръ у него тоже измѣнился: сталъ тяжелымъ, раздражительнымъ. Принимая больныхъ, онъ обыкновенно сердится, нетерпѣливо стучитъ палкой о-полъ и кричитъ своимъ непріятнымъ голосомъ:

— Извольте отвѣчать только на вопросы! Не разговаривать!

Онъ одинокъ. Живется ему скучно, ничто его не интересуетъ.

За все время, пока онъ живетъ въ Дялижѣ, любовь къ Котику была его единственной радостью и, вѣроятно, послѣдней. По вечерамъ онъ играетъ въ клубѣ въ винтъ и потомъ сидитъ одинъ за большимъ столомъ и ужинаетъ. Ему прислуживаетъ лакей Иванъ, самый старый и почтенный, подаютъ ему лафитъ № 17, и уже всѣ—и старшины клуба, и поваръ, и лакей—знаютъ, что̀ онъ любитъ и чего не любитъ, стараются изо всѣхъ силъ угодить ему, а то, чего добраго, разсердится вдругъ и станетъ стучать палкой о̀-полъ.

Ужиная, онъ изрѣдка оборачивается и вмѣшивается въ какой-нибудь разговоръ:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по сосѣдству за какимъ-нибудь столомъ заходитъ рѣчь о Туркиныхъ, то онъ спрашиваетъ:

— Это вы про какихъ Туркиныхъ? Это про тѣхъ, что дочка играетъ на фортепьянахъ?

Вотъ и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иванъ Петровичъ не постарѣлъ, нисколько не измѣнился и попрежнему все остритъ и разсказываетъ анекдоты; Вѣра Іосифовна читаетъ гостямъ свои романы попрежнему охотно, съ сердечной простотой. А Котикъ играетъ на роялѣ каждый день, часа по четыре. Она замѣтно постарѣла, похварываетъ и каждую осень уѣзжаетъ съ матерью въ Крымъ. Провожая ихъ на вокзалѣ, Иванъ Петровичъ, когда трогается поѣздъ, утираетъ слезы и кричитъ:

— Прощайте пожалуйста!

И машетъ платкомъ.

ДАМА СЪ СОБАЧКОЙ.

I.

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама съ собачкой. Дмитрій Дмитричъ Гуровъ, прожившій въ Ялтѣ уже двѣ недѣли и привыкшій тутъ, тоже сталъ интересоваться новыми лицами. Сидя въ павильонѣ у Верне, онъ видѣлъ, какъ по набережной прошла молодая дама, невысокаго роста блондинка, въ беретѣ; за нею бѣжалъ бѣлый шпицъ.

И потомъ онъ встрѣчалъ ее въ городскомъ саду и на скверѣ, по нѣскольку разъ въ день. Она гуляла одна, все въ томъ же беретѣ, съ бѣлымъ шпицемъ; никто не зналъ, кто она, и называли ее просто такъ: дама съ собачкой.

— Если она здѣсь безъ мужа и безъ знакомыхъ, — соображалъ Гуровъ:—то было бы не лишнее познакомиться съ ней.

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двѣнадцати лѣтъ и два сына гимназиста. Его женили рано, когда онъ былъ еще студентомъ второго курса, и теперь жена казалась въ полтора раза старше его. Это была женщина высокая, съ темными бровями, прямая, важная, солидная и, какъ она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала въ письмахъ ъ, называла мужа не Дмитріемъ, а Димитріемъ, а онъ втайнѣ считалъ ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ея и не любилъ бывать дома. Измѣнять ей онъ началъ уже давно, измѣнялъ часто и, вѣроятно, поэтому о женщинахъ отзывался почти всегда дурно, и когда въ его присутствіи говорили о нихъ, то онъ называлъ ихъ такъ:

— Низшая раса!

Ему казалось, что онъ достаточно наученъ горькимъ опытомъ, чтобы называть ихъ, какъ угодно, но все же безъ «низшей расы» онъ не могъ бы прожить и двухъ дней. Въ обществѣ мужчинъ ему было скучно, не по себѣ, съ ними онъ былъ неразговорчивъ, холоденъ, но когда находился среди женщинъ, то чувствовалъ себя свободно и зналъ, о чемъ говорить съ ними и какъ держать себя; и даже молчать съ ними ему было легко. Въ его наружности, въ характерѣ, во всей его натурѣ было что-то привлекательное, неуловимое, что распюлагало къ нему женщинъ, манило ихъ; онъ зналъ объ этомъ, и самого его тоже какая-то сила влекла къ нимъ.

Опытъ многократный, въ самомъ дѣлѣ, горькій опытъ научилъ его давно, что всякое сближеніе, которое вначалѣ такъ пріятно разнообразитъ жизнь и представляется милымъ и легкимъ приключеніемъ, у порядочныхъ людей, особенно у москвичей, тяжелыхъ на подъемъ, нерѣшительныхъ, неизбѣжно выростаетъ въ цѣлую задачу, сложную чрезвычайно, и положеніе въ концѣ-концовъ становится тягостнымъ. Но при всякой новой встрѣчѣ съ интересною женщиной этотъ опытъ какъ-то ускользалъ изъ памяти, и хотѣлось жить, и все казалось такъ просто и забавно.

И вотъ однажды подъ вечеръ онъ обѣдалъ въ саду, а дама въ беретѣ подходила не спѣша, чтобы занять сосѣдній столъ. Ея выраженіе, походка, платье, прическа говорили ему, что она изъ порядочнаго общества, замужемъ, въ Ялтѣ въ первый разъ и одна, что ей скучно здѣсь... Въ разсказахъ о нечистотѣ мѣстныхъ нравовъ много неправды, онъ презиралъ ихъ и зналъ, что такіе разсказы въ большинствѣ сочиняются людьми, которые сами бы охотно грѣшили, если бъ умѣли, но когда дама сѣла за сосѣдній столъ въ трехъ шагахъ отъ него, ему вспомнились эти разсказы о легкихъ побѣдахъ, о поѣздкахъ въ горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романѣ съ неизвѣстною женщиной, которой не знаешь по имени и фамиліи, вдругъ овладѣла имъ.

Онъ ласково поманилъ къ себѣ шпица и, когда тотъ подошелъ, погрозилъ ему пальцемъ. Шпицъ заворчалъ. Гуровъ опять погрозилъ.

Дама взглянула на него и тотчасъ же опустила глаза.

— Онъ не кусается, — сказала она и покраснѣла.

— Можно дать ему кость? — и когда она утвердительно кивнула головой, онъ спросилъ привѣтливо: — Вы давно изволили пріѣхать въ Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здѣсь вторую недѣлю.

Помолчали немного.

— Время идетъ быстро, а между тѣмъ здѣсь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здѣсь скучно. Обыватель живетъ у себя гдѣ-нибудь въ Бѣлевѣ или Жиздрѣ — и ему не скучно, а пріѣдетъ сюда: «Ахъ, скучно! ахъ, пыль!» Подумаешь, что онъ изъ Гренады пріѣхалъ.

Она засмѣялась. Потомъ оба продолжали ѣсть молча, какъ незнакомые; но послѣ обѣда пошли рядомъ — и начался шутливый, легкій разговоръ людей свободныхъ, довольныхъ, которымъ все равно, куда бы ни идти, о чемъ ни говорить. Они гуляли и говорили о томъ, какъ странно освѣщено море; вода была сиреневаго цвѣта, такого мягкаго и теплаго, и по ней отъ луны шла золотая полоса. Говорили о томъ, какъ душно послѣ жаркаго дня. Гуровъ разсказалъ, что онъ москвичъ, по образованію филологъ, но служитъ въ банкѣ; готовился когда-то пѣть въ частной оперѣ, но бросилъ, имѣетъ въ Москвѣ два дома... А отъ нея онъ узналъ, что она выросла въ Петербургѣ, но вышла замужъ въ С., гдѣ живетъ уже два года, что пробудетъ она въ Ялтѣ еще съ мѣсяцъ и за ней, быть-можетъ, пріѣдетъ ея мужъ, которому тоже хочется отдохнуть. Она никакъ не могла объяснить, гдѣ служитъ ея мужъ, — въ губернскомъ правленіи, или въ губернской земской управѣ, и это ей самой было смѣшно. И узналъ еще Гуровъ, что ее зовутъ Анной Сергѣевной.

Потомъ у себя въ номерѣ онъ думалъ о ней, о томъ, что завтра она, навѣрное, встрѣтится съ нимъ. Такъ должно быть. Ложась спать онъ вспомнилъ, что она еще такъ недавно была институткой, училась, все равно какъ теперь его дочь, вспомнилъ, сколько еще несмѣлости, угловатости было въ ея смѣхѣ, въ разговорѣ съ незнакомымъ, — должно-быть, это первый разъ въ жизни она была одна, въ такой обстановкѣ, когда за ней ходятъ, и на нее смотрятъ, и говорятъ съ ней только съ одною тайною цѣлью, о которой

она не можетъ не догадываться. Вспомнилъ онъ ея тонкую, слабую шею, красивые, сѣрые глаза.

«Что-то въ ней есть жалкое все-таки», подумалъ онъ и сталъ засыпать.

II.

Прошла недѣля послѣ знакомства. Былъ праздничный день. Въ комнатахъ было душно, а на улицахъ вихремъ носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотѣлось пить, и Гуровъ часто заходилъ въ павильонъ и предлагалъ Аннѣ Сергѣевнѣ то воды съ сиропомъ, то мороженаго. Некуда было дѣваться.

Вечеромъ, когда немного утихло, они пошли на молъ, чтобы посмотрѣть, какъ придетъ пароходъ. На пристани было много гуляющихъ; собрались встрѣчать кого-то, держали букеты. И тутъ отчетливо бросались въ глаза двѣ особенности нарядной ялтинской толпы: пожилыя дамы были одѣты какъ молодыя, и было много генераловъ.

По случаю волненія на морѣ, пароходъ пришелъ поздно, когда уже сѣло солнце; и, прежде чѣмъ пристать къ молу, долго поворачивался. Анна Сергѣевна смотрѣла въ лорнетку на пароходъ и на пассажировъ, какъ бы отыскивая знакомыхъ, и когда обращалась къ Гурову, то глаза у нея блестѣли. Она много говорила, и вопросы у нея были отрывисты, и она сама тотчасъ же забывала, о чемъ спрашивала; потомъ потеряла въ толпѣ лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лицъ, вѣтеръ стихъ совсѣмъ, а Гуровъ и Анна Сергѣевна стояли, точно ожидая, не сойдетъ ли еще кто съ парохода. Анна Сергѣевна уже молчала и нюхала цвѣты, не глядя на Гурова.

— Погода къ вечеру стала получше, — сказалъ онъ. — Куда же мы теперь пойдемъ? Не поѣхать ли намъ куда-нибудь?

Она ничего не отвѣтила.

Тогда онъ пристально поглядѣлъ на нее и вдругъ обнялъ ее и поцѣловалъ въ губы, и его обдало запахомъ и влагой цвѣтовъ, и тотчасъ же онъ пугливо оглядѣлся: не видѣлъ ли кто?

— Пойдемте къ вамъ...—проговорилъ онъ тихо.

И оба пошли быстро.

У нея въ номерѣ было душно, пахло духами, которые она купила въ японскомъ магазинѣ. Гуровъ, глядя на нее теперь, думалъ: какихъ только не бываетъ въ жизни встрѣчъ! Отъ прошлаго у него сохранилось воспоминаніе о беззаботныхъ, добродушныхъ женщинахъ, веселыхъ отъ любви, благодарныхъ ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о такихъ, — какъ, напримѣръ, его жена, — которыя любили безъ искренности, съ излишними разговорами, манерно, съ истеріей, съ такимъ выраженіемъ, какъ будто то была не любовь, не страсть, а что-то болѣе значительное; и о такихъ двухъ-трехъ, очень красивыхъ, холодныхъ, у которыхъ вдругъ промелькало на лицѣ хищное выраженіе, упрямое желаніе взять, выхватить у жизни больше, чѣмъ она можетъ дать, и это были не первой молодости, капризныя, не разсуждающія, властныя, не умныя женщины, и когда Гуровъ охладѣвалъ къ нимъ, то красота ихъ возбуждала въ немъ ненависть и кружева на ихъ бѣльѣ казались ему тогда похожими на чешую.

Но тутъ все та же несмѣлость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатлѣніе растерянности, какъ будто кто вдругъ постучалъ въ дверь. Анна Сергѣевна, эта «дама съ собачкой», къ тому, что произошло, отнеслась какъ-то особенно, очень серьезно, точно къ своему паденію, — такъ казалось, и это было странно и некстати. У нея опустились, завяли черты и по сторонамъ лица печально висѣли длинные волосы, она задумалась въ унылой позѣ, точно грѣшница на старинной картинѣ.

— Не хорошо,—сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столѣ въ номерѣ былъ арбузъ. Гуровъ отрѣзалъ себѣ ломоть и сталъ ѣсть не спѣша. Прошло, по крайней мѣрѣ, полчаса въ молчаніи.

Анна Сергѣевна была трогательна, отъ нея вѣяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свѣча, горѣвшая на столѣ, едва освѣщала ея лицо, но было видно, что у нея нехорошо на душѣ.

— Отчего бы я могъ перестать уважать тебя?—спросилъ Гуровъ.—Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть Богъ меня проститъ!—сказала она, и глаза у нея наполнились слезами. — Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чѣмъ мнѣ оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и объ оправданіи не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчасъ только, а уже давно обманываю. Мой мужъ, быть-можетъ, честный, хорошій человѣкъ, но вѣдь онъ лакей! Я не знаю, что онъ дѣлаетъ тамъ, какъ служитъ, а знаю только, что онъ лакей. Мнѣ, когда я вышла за него, было двадцать лѣтъ, меня томило любопытство, мнѣ хотѣлось чего-нибудь получше; вѣдь есть же,—говорила я себѣ: — другая жизнь. Хотѣлось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь Богомъ, я уже не могла владѣть собой, со мной что-то дѣлалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поѣхала сюда... И здѣсь все ходила, какъ въ угарѣ, какъ безумная... и вотъ я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякій можетъ презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражалъ наивный тонъ, это покаяніе, такое неожиданное и неумѣстное; если бы не слезы на глазахъ, то можно было бы подумать, что она шутитъ или играетъ роль.

— Я не понимаю,—сказалъ онъ тихо:—что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась къ нему.

— Вѣрьте, вѣрьте мнѣ, умоляю васъ... — говорила она. — Я люблю честную, чистую жизнь, а грѣхъ мнѣ гадокъ, я сама не знаю, что дѣлаю. Простые люди говорятъ: нечистый попуталъ. И я могу теперь про себя сказать, что меня попуталъ нечистый.

— Полно, полно... — бормоталъ онъ.

Онъ смотрѣлъ ей въ неподвижные, испуганные глаза, цѣловалъ ее, говорилъ тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась къ ней; стали оба смѣяться.

Потомъ, когда они вышли, на набережной не было ни души, городъ со своими кипарисами имѣлъ совсѣмъ мертвый видъ, но море еще шумѣло и билось о берегъ; одинъ баркасъ качался на волнахъ, и на немъ сонно мерцалъ фонарикъ.

Нашли извозчика и поѣхали въ Ореанду.

— Я сейчасъ внизу въ передней узналъ твою фамилію: на доскѣ написано фонъ-Дидерицъ,—сказалъ Гуровъ.—Твой мужъ нѣмецъ?

— Нѣтъ, у него, кажется, дѣдъ былъ нѣмецъ, но самъ онъ православный.

Въ Ореандѣ сидѣли на скамьѣ, не далеко отъ церкви, смотрѣли внизъ на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренній туманъ, на вершинахъ горъ неподвижно стояли бѣлыя облака. Листва не шевелилась на деревьяхъ, кричали цикады и однообразный, глухой шумъ моря, доносившійся снизу, говорилъ о покоѣ, о вѣчномъ снѣ, какой ожидаетъ насъ. Такъ шумѣло внизу, когда еще тутъ не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумитъ и будетъ шумѣть такъ же равнодушно и глухо, когда насъ не будетъ. И въ этомъ постоянствѣ, въ полномъ равнодушіи къ жизни и смерти каждаго изъ насъ кроется, быть-можетъ, залогъ нашего вѣчнаго спасенія, непрерывнаго движенія жизни на землѣ, непрерывнаго совершенства. Сидя рядомъ съ молодой женщиной, которая на разсвѣтѣ казалась такой красивой, успокоенный и очарованный въ виду этой сказочной обстановки — моря, горъ, облаковъ, широкаго неба, Гуровъ думалъ о томъ, какъ въ сущности, если вдуматься, все прекрасно на этомъ свѣтѣ, все, кромѣ того, что мы сами мыслимъ и дѣлаемъ, когда забываемъ о высшихъ цѣляхъ бытія, о своемъ человѣческомъ достоинствѣ.

Подошелъ какой-то человѣкъ — должно-быть, сторожъ,— посмотрѣлъ на нихъ и ушелъ. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, какъ пришелъ пароходъ изъ Ѳеодосіи, освѣщенный утренней зарей, уже безъ огней.

— Роса на травѣ, — сказала Анна Сергѣевна, послѣ молчанія.

— Да. Пора домой.

Они вернулись въ городъ.

Потомъ каждый полдень они встрѣчались на набережной, завтракали вмѣстѣ, обѣдали, гуляли, восхищались моремъ. Она жаловалась, что дурно спитъ и что у нея тревожно бьется сердце, задавала все одни и тѣ же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхомъ, что онъ недостаточно ее уважаетъ. И часто на скверѣ, или въ саду, когда вблизи ихъ никого не было, онъ вдругъ привлекалъ ее къ себѣ и цѣловалъ страстно. Совершенная праздность, эти поцѣлуи среди бѣлаго дня, съ оглядкой и страхомъ, какъ бы кто не увидѣлъ, жара, запахъ моря и постоянное мелькаціе

передъ глазами праздныхъ, нарядныхъ, сытыхъ людей точно переродили его онъ говорилъ Аннѣ Сергѣевнѣ о томъ, какъ она хороша, какъ соблазнительна, былъ нетерпѣливо страстенъ, не отходилъ отъ нея ни на шагъ, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что онъ ея не уважаетъ, нисколько не любитъ, а только видитъ въ ней пошлую женщину. Почти каждый вечеръ попозже они уѣзжали куда-нибудь за городъ, въ Ореанду, или на водопадъ; и прогулка удавалась, впечатлѣнія неизмѣнно всякій разъ были прекрасны, величавы.

Ждали, что пріѣдетъ мужъ. Но пришло отъ него письмо въ которомъ онъ извѣщалъ, что у него разболѣлись глаза, и умолялъ жену поскорѣе вернуться домой. Анна Сергѣевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уѣзжаю,—говорила она Гурову.— Это сама судьба.

Она поѣхала на лошадяхъ, и онъ провожалъ ее. Ѣхали цѣлый день. Когда она садилась въ вагонъ курьерскаго поѣзда и когда пробилъ второй звонокъ, она говорила:

— Дайте, я погляжу на васъ еще... Погляжу еще разъ. Вотъ такъ.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нея дрожало.

— Я буду о васъ думать... вспоминать,—говорила она.— Господь съ вами, оставайтесь. Не поминайте лихомъ. Мы навсегда прощаемся, это такъ нужно, потому что не слѣдовало бы вовсе встрѣчаться. Ну, Господь съ вами.

Поѣздъ ушелъ быстро, его огни скоро исчезли, и черезъ минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорѣе это сладкое забытье, это безуміе. И, оставшись одинъ на платформѣ и глядя въ темную даль, Гуровъ слушалъ крикъ кузнечиковъ и гудѣніе телеграфныхъ проволокъ съ такимъ чувствомъ, какъ будто только-что проснулся. И онъ думалъ о томъ, что вотъ въ его жизни было еще одно похожденіе или приключеніе, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминаніе... Онъ былъ растроганъ, грустенъ и испытывалъ легкое раскаяніе; вѣдь эта молодая женщина, съ которой онъ больше уже никогда не увидится, не была съ нимъ счастлива; онъ былъ привѣтливъ съ ней и сердеченъ, но все же въ обращеніи съ ней, въ его тонѣ и ласкахъ сквозила тѣнью лег-

кая насмѣшка, грубоватое высокомѣріе счастливаго мужчины, который къ тому же почти вдвое старше ея. Все время она называла его добрымъ, необыкновеннымъ, возвышеннымъ; очевидно, онъ казался ей не тѣмъ, чѣмъ былъ на самомъ дѣлѣ, значитъ, невольно обманывалъ ее...

Здѣсь на станціи уже пахло осенью, вечеръ былъ прохладный.

«Пора и мнѣ на сѣверъ, — думалъ Гуровъ, уходя съ платформы. — Пора!»

III.

Дома въ Москвѣ уже все было по-зимнему, топили печи и по утрамъ, когда дѣти собирались въ гимназію и пили чай, было темно и няня не надолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идетъ первый снѣгъ, въ первый день ѣзды на саняхъ, пріятно видѣть бѣлую землю, бѣлыя крыши, дышится мягко, славно, и въ это время вспоминаются юные годы. У старыхъ липъ и березъ, бѣлыхъ отъ инея, добродушное выраженіе, онѣ ближе къ сердцу, чѣмъ кипарисы и пальмы, и вблизи нихъ уже не хочется думать о горахъ и морѣ.

Гуровъ былъ москвичъ, вернулся онъ въ Москву въ хорошій, морозный день и, когда надѣлъ шубу и теплыя перчатки и прошелся по Петровкѣ, и когда въ субботу вечеромъ услышалъ звонъ колоколовъ, то недавняя поѣздка и мѣста, въ которыхъ онъ былъ, утеряли для него все очарованіе. Мало-по-малу онъ окунулся въ московскую жизнь, уже съ жадностью прочитывалъ по три газеты въ день и говорилъ, что не читаетъ московскихъ газетъ изъ принципа. Его уже тянуло въ рестораны, клубы, на званые обѣды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бываютъ извѣстные адвокаты и артисты, и что въ докторскомъ клубѣ онъ играетъ въ карты съ профессоромъ. Уже онъ могъ съѣсть цѣлую порцію селянки на сковородкѣ...

Пройдетъ какой-нибудь мѣсяцъ, и Анна Сергѣевна, казалось ему, покроется въ памяти туманомъ и только изрѣдка будетъ сниться съ трогательной улыбкой, какъ снились другія. Но прошло больше мѣсяца, наступила глубокая зима, а въ памяти все было ясно, точно разстался онъ съ Анной Сергѣевной только вчера. И воспоминанія разгорались все сильнѣе. Доносились ли въ вечерней ти

шинѣ въ его кабинетъ голоса дѣтей, приготовлявшихъ уроки, слышалъ ли онъ романсъ, или органъ въ ресторанѣ, или завывала въ каминѣ метель, какъ вдругъ воскресало въ памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро съ туманомъ на горахъ, и пароходъ изъ Ѳеодосіи, и поцѣлуи. Онъ долго ходилъ по комнатѣ и вспоминалъ, и улыбался, и потомъ воспоминанія переходили въ мечты, и прошедшее въ воображеніи мѣшалось съ тѣмъ, что будетъ. Анна Сергѣевна не снилась ему, а шла за нимъ всюду, какъ тѣнь, и слѣдила за нимъ. Закрывши глаза, онъ видѣлъ ее, какъ живую, и она казалась красивѣе, моложе, нѣжнѣе, чѣмъ была; и самъ онъ казался себѣ лучше, чѣмъ былъ тогда, въ Ялтѣ. Она по вечерамъ глядѣла на него изъ книжнаго шкапа, изъ камина, изъ угла, онъ слышалъ ея дыханіе, ласковый шорохъ ея одежды. На улицѣ онъ провожалъ взглядомъ женщинъ, искалъ, нѣтъ ли похожей на нее...

И уже томило сильное желаніе подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своими воспоминаніями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а внѣ дома—не съ кѣмъ. Не съ жильцами же и не въ банкѣ. И о чемъ говорить? Развѣ онъ любилъ тогда? Развѣ было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное въ его отношеніяхъ къ Аннѣ Сергѣевнѣ? И приходилось говорить неопредѣленно о любви, о женщинахъ, и никто не догадывался, въ чемъ дѣло, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебѣ, Димитрій, совсѣмъ не идетъ роль фата.

Однажды ночью, выходя изъ докторскаго клуба со своимъ партнеромъ, чиновникомъ, онъ не удержался и сказалъ:

— Если бъ вы знали, съ какой очаровательной женщиной я познакомился въ Ялтѣ!

Чиновникъ сѣлъ въ сани и поѣхалъ, но вдругъ обернулся и окликнулъ:

— Дмитрій Дмитричъ!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то съ душкомъ!

Эти слова, такія обычныя, почему-то вдругъ возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какіе дикіе нравы, какія лица! Что за безтолковыя ночи, какіе неинтересные, незамѣтные дни! Неистовая игра въ карты,

обжорство, пьянство, постоянные разговоры все объ одномъ. Ненужныя дѣла и разговоры все объ одномъ отхватываютъ на свою долю лучшую часть времени, лучшія силы, и въ концѣ концовъ остается какая-то куцая, безкрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бѣжать нельзя, точно сидишь въ сумасшедшемъ домѣ, или въ арестантскихъ ротахъ!

Гуровъ не спалъ всю ночь и возмущался, и затѣмъ весь день провелъ съ головной болью. И въ слѣдующія ночи онъ спалъ дурно, все сидѣлъ въ постели и думалъ, или ходилъ изъ угла въ уголъ. Дѣти ему надоѣли, банкъ надоѣлъ, не хотѣлось никуда идти, ни о чемъ говорить.

Въ декабрѣ на праздникахъ онъ собрался въ дорогу и сказалъ женѣ, что уѣзжаетъ въ Петербургъ, хлопотать за одного молодого человѣка — и уѣхалъ въ С. Зачѣмъ? Онъ и самъ не зналъ хорошо. Ему хотѣлось повидаться съ Анной Сергѣевной и поговорить, устроить свиданіе, если можно.

Пріѣхалъ онъ въ С. утромъ и занялъ въ гостиницѣ лучшій номеръ, гдѣ весь полъ былъ обтянутъ сѣрымъ солдатскимъ сукномъ и была на столѣ чернильница, сѣрая отъ пыли, со всадникомъ на лошади, у котораго была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцаръ далъ ему нужныя свѣдѣнія: фонъ-Дидерицъ живетъ на Старо-Гончарной улицѣ, въ собственномъ домѣ — это недалеко отъ гостиницы, живетъ хорошо, богато, имѣетъ своихъ лошадей, его всѣ знаютъ въ городѣ. Швейцаръ выговаривалъ такъ: Дрыдырицъ.

Гуровъ, не спѣша, пошелъ на Старо-Гончарную, отыскалъ домъ. Какъ разъ противъ дома тянулся заборъ, сѣрый, длинный, съ гвоздями.

«Отъ такого забора убѣжишь», — думалъ Гуровъ, поглядывая то на окна, то на заборъ.

Онъ соображалъ: сегодня день неприсутственный и мужъ, вѣроятно, дома. Да и все равно, было бы безтактно войти въ домъ и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадетъ въ руки мужу и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И онъ все ходилъ по улицѣ и около забора и поджидалъ этого случая. Онъ видѣлъ, какъ въ ворота вошелъ нищій, и на него напали собаки, потомъ, часъ спустя, слышалъ игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно-быть,

Анна Сергѣевна играла. Парадная дверь вдругъ отворилась, и изъ нея вышла какая-то старушка, а за нею бѣжалъ знакомый бѣлый шпицъ. Гуровъ хотѣлъ позвать собаку, но у него вдругъ забилось сердце, и онъ отъ волненія не могъ вспомнить, какъ зовутъ шпица.

Онъ ходилъ и все больше и больше ненавидѣлъ сѣрый заборъ, и уже думалъ съ раздраженіемъ, что Анна Сергѣевна забыла о немъ и, быть-можетъ, уже развлекается съ другимъ, и это такъ естественно въ положеніи молодой женщины, которая вынуждена съ утра до вечера видѣть этотъ проклятый заборъ. Онъ вернулся къ себѣ въ номеръ и долго сидѣлъ на диванѣ, не зная, что дѣлать, потомъ обѣдалъ, потомъ долго спалъ.

«Какъ все это глупо и безпокойно, — думалъ онъ, проснувшись и глядя на темныя окна; былъ уже вечеръ.— Вотъ и выспался зачѣмъ-то. Что же я теперь ночью буду дѣлать?»

Онъ сидѣлъ на постели, покрытой дешевымъ сѣрымъ, точно больничнымъ одѣяломъ, и дразнилъ себя съ досадой:

«Вотъ тебѣ и дама съ собачкой... Вотъ тебѣ и приключеніе... Вотъ и сиди тутъ».

Еще утромъ, на вокзалѣ, ему бросилась въ глаза афиша съ очень крупными буквами: шла въ первый разъ «Гейша». Онъ вспомнилъ объ этомъ и поѣхалъ въ театръ.

«Очень возможно, что она бываетъ на первыхъ представленіяхъ»,—думалъ онъ.

Театръ былъ полонъ. И тутъ, какъ вообще во всѣхъ губернскихъ театрахъ, былъ туманъ повыше люстры, шумно безпокоилась галерка; въ первомъ ряду передъ началомъ представленія стояли мѣстные франты, заложивъ руки назадъ; и тутъ, въ губернаторской ложѣ, на первомъ мѣстѣ сидѣла губернаторская дочь въ боа, а самъ губернаторъ скромно прятался за портьерой и видны были только его руки; качался занавѣсъ, оркестръ долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала мѣста, Гуровъ жадно искалъ глазами.

Вошла и Анна Сергѣевна. Она сѣла въ третьемъ ряду, и когда Гуровъ взглянулъ на нее, то сердце у него сжалось, и онъ понялъ ясно, что для него теперь на всемъ свѣтѣ нѣтъ ближе, дороже и важнѣе человѣка; она, затерявшаяся въ провинціальной толпѣ эта маленькая жен-

щина, ничѣмъ не замѣчательная, съ вульгарною лорнеткой въ рукахъ, наполняла теперь всю его жизнь, была его горемъ, радостью, единственнымъ счастьемъ, какого онъ теперь желалъ для себя; и подъ звуки плохого оркестра, дрянныхъ обывательскихъ скрипокъ, онъ думалъ о томъ, какъ она хороша. Думалъ и мечталъ.

Вмѣстѣ съ Анной Сергѣевной вошелъ и сѣлъ рядомъ молодой человѣкъ съ небольшими бакенами, очень высокій, сутулый; онъ при каждомъ шагѣ покачивалъ головой и, казалось, постоянно кланялся. Вѣроятно, это былъ мужъ, котораго она тогда въ Ялтѣ, въ порывѣ горькаго чувства, обозвала лакеемъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ его длинной фигурѣ, въ бакенахъ, въ небольшой лысинѣ было что-то лакейски-скромное, улыбался онъ сладко, и въ петлицѣ у него блестѣлъ какой-то ученый значокъ, точно лакейскій номеръ.

Въ первомъ антрактѣ мужъ ушелъ курить, она осталась въ креслѣ. Гуровъ, сидѣвшій тоже въ партерѣ, подошелъ къ ней и сказалъ дрожащимъ голосомъ, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и поблѣднѣла, потомъ еще разъ взглянула съ ужасомъ, не вѣря глазамъ, и крѣпко сжала въ рукахъ вмѣстѣ вѣеръ и лорнетку, очевидно, борясь съ собой, чтобы не упасть въ обморокъ. Оба молчали. Она сидѣла, онъ стоялъ, испуганный ея смущеніемъ, не рѣшаясь сѣсть рядомъ. Запѣли настраиваемыя скрипки и флейта, стало вдругъ страшно, казалось, что изъ всѣхъ ложъ смотрятъ. Но вотъ она встала и быстро пошла къ выходу; онъ—за ней, и оба шли безтолково, по коридорамъ, по лѣстницамъ, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у нихъ передъ глазами какіе-то люди въ судейскихъ, учительскихъ и удѣльныхъ мундирахъ, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вѣшалкахъ, дулъ сквозной вѣтеръ, обдавая запахомъ табачныхъ окурковъ. И Гуровъ, у котораго сильно билось сердце, думалъ:

«О, Господи! И къ чему эти люди, этотъ оркестръ»...

И въ эту минуту онъ вдругъ вспомнилъ, какъ тогда вечеромъ на станціи, проводивъ Анну Сергѣевну, говорилъ себѣ, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но какъ еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лѣстницѣ, гдѣ было написано «ходъ въ амфитеатръ», она остановилась.

— Какъ вы меня испугали!—сказала она, тяжело дыша, все еще блѣдная, ошеломленная.—О, какъ вы меня испугали! Я едва жива. Зачѣмъ вы пріѣхали? Зачѣмъ?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорилъ онъ вполголоса, торопясь.—Умоляю васъ, поймите...

Она глядѣла на него со страхомъ, съ мольбой, съ любовью, глядѣла пристально, чтобы покрѣпче задержать въ памяти его черты.

— Я такъ страдаю!—продолжала она, не слушая его.— Я все время думала только о васъ, я жила мыслями о васъ. И мнѣ хотѣлось забыть, забыть, но зачѣмъ, зачѣмъ вы пріѣхали?

Повыше, на площадкѣ, два гимназиста курили и смотрѣли внизъ, но Гурову было все равно, онъ привлекъ къ себѣ Анну Сергѣевну и сталъ цѣловать ея лицо, щеки, руки.

— Что вы дѣлаете, что вы дѣлаете! — говорила она въ ужасѣ, отстраняя его отъ себя. — Мы съ вами обезумѣли. Уѣзжайте сегодня же, уѣзжайте сейчасъ... Заклинаю васъ всѣмъ святымъ, умоляю... Сюда идутъ!

По лѣстницѣ снизу вверхъ кто-то шелъ.

— Вы должны уѣхать... — продолжала Анна Сергѣевна шопотомъ. — Слышите, Дмитрій Дмитричъ? Я пріѣду къ вамъ въ Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я пріѣду въ Москву. А теперь разстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, разстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться внизъ, все оглядываясь на него, и по глазамъ ея было видно, что она въ самомъ дѣлѣ не была счастлива. Гуровъ постоялъ немного, прислушался, потомъ, когда все утихло, отыскалъ свою вѣшалку и ушелъ изъ театра.

IV.

И Анна Сергѣевна стала пріѣзжать къ нему въ Москву. Разъ въ два-три мѣсяца она уѣзжала изъ С. и говорила мужу, что ѣдетъ посовѣтоваться съ профессоромъ насчетъ своей женской болѣзни, — и мужъ вѣрилъ и не вѣрилъ.

Пріѣхавъ въ Москву, она останавливалась въ «Славянскомъ Базарѣ», и тотчасъ же посылала къ Гурову человѣка въ красной шапкѣ. Гуровъ ходилъ къ ней, и никто въ Москвѣ не зналъ объ этомъ.

Однажды онъ шелъ къ ней такимъ образомъ въ зимнее утро (посыльный былъ у него наканунѣ вечеромъ и не засталъ). Съ нимъ шла его дочь, которую хотѣлось ему проводить въ гимназію, это было по дорогѣ. Валилъ крупный мокрый снѣгъ.

— Теперь три градуса тепла, а между тѣмъ идетъ снѣгъ,—говорилъ Гуровъ дочери.—Но вѣдь это тепло только на поверхности земли, въ верхнихъ же слояхъ атмосферы совсѣмъ другая температура.

— Папа, а почему зимой не бываетъ грома?

Онъ объяснилъ и это. Онъ говорилъ и думалъ о томъ, что вотъ онъ идетъ на свиданіе, и ни одна живая душа не знаетъ объ этомъ и, вѣроятно, никогда не будетъ знать. У него были двѣ жизни: одна явная, которую видѣли и знали всѣ, кому это нужно было, полная условной правды и условнаго обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомыхъ и друзей, и другая—протекавшая тайно. И по какому-то странному стеченію обстоятельствъ, быть-можетъ, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, въ чемъ онъ былъ искрененъ и не обманывалъ себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно отъ другихъ, все же, что было его ложью, его оболочкой, въ которую онъ прятался, чтобы скрыть правду, какъ, напримѣръ, его служба въ банкѣ, споры въ клубѣ, его «низшая раса», хожденіе съ женой на юбилеи,—все это было явно. И по себѣ онъ судилъ о другихъ, не вѣрилъ тому, что видѣлъ, и всегда предполагалъ, что у каждаго человѣка подъ покровомъ тайны, какъ подъ покровомъ ночи, проходитъ его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существованіе держится на тайнѣ и, быть-можетъ, отчасти поэтому культурный человѣкъ такъ нервно хлопочетъ о томъ, чтобы уважалась личная тайна.

Проводивъ дочь въ гимназію, Гуровъ отправился въ «Славянскій Базаръ». Онъ снялъ шубу внизу, поднялся наверхъ и тихо постучалъ въ дверь. Анна Сергѣевна, одѣтая въ его любимое сѣрое платье, утомленная дорогой и ожиданіемъ, поджидала его со вчерашняго вечера; она была

блѣдна, глядѣла на него и не улыбалась, и едва онъ вошелъ, какъ она уже припала къ его груди. Точно они не видѣлись года два, поцѣлуй ихъ былъ долгій, длительный.

— Ну, какъ живешь тамъ?—спросилъ онъ.—Что новаго?

— Погоди, сейчасъ скажу... Не могу.

Она не могла говорить, такъ какъ плакала. Отвернулась отъ него и прижала платокъ къ глазамъ.

«Ну, пускай поплачетъ, а я пока посижу», — подумалъ онъ и сѣлъ въ кресло.

Потомъ онъ позвонилъ и сказалъ, чтобы ему принесли чаю; и потомъ, когда пилъ чай, она все стояла, отвернувшись къ окну... Она плакала отъ волненія, отъ скорбнаго сознанія, что ихъ жизнь такъ печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются отъ людей, какъ воры! Развѣ жизнь ихъ не разбита?

— Ну, перестань!—сказалъ онъ.

Для него было очевидно, что эта ихъ любовь кончится еще не скоро, неизвѣстно когда. Анна Сергѣевна привязывалась къ нему все сильнѣе, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же имѣть когда-нибудь конецъ; да она бы и не повѣрила этому.

Онъ подошелъ къ ней и взялъ ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить и въ это время увидѣлъ себя въ зеркалѣ.

Голова его уже начинала сѣдѣть. И ему показалось страннымъ, что онъ такъ постарѣлъ за послѣдніе годы, такъ подурнѣлъ. Плечи, на которыхъ лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Онъ почувствовалъ состраданіе къ этой жизни, еще такой теплой и красивой, но вѣроятно, уже близкой къ тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, какъ его жизнь. За что она его любитъ такъ? Онъ всегда казался женщинамъ не тѣмъ, кѣмъ былъ, и любили онѣ въ немъ не его самого, а человѣка, котораго создавало ихъ воображеніе и котораго онѣ въ своей жизни жадно искали; и потомъ, когда замѣчали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна изъ нихъ не была съ нимъ счастлива. Время шло, онъ знакомился, сходился, разставался, но ни разу не любилъ; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала сѣдой, онъ полюбилъ, какъ слѣдуетъ, по-настоящему — первый разъ въ жизни.

Анна Сергѣевна и онъ любили другъ друга, какъ очень близкіе, родные люди, какъ мужъ и жена, какъ нѣжные друзья; имъ казалось, что сама судьба предназначила ихъ другъ для друга, и было непонятно, для чего онъ женатъ, а она замужемъ; и точно это были двѣ перелетныя птицы, самецъ и самка, которыхъ поймали и заставили жить въ отдѣльныхъ клѣткахъ. Они простили другъ другу то, чего стыдились въ своемъ прошломъ, прощали все въ настоящемъ и чувствовали, что эта ихъ любовь измѣнила ихъ обоихъ.

Прежде, въ грустныя минуты онъ успокаивалъ себя всякими разсужденіями, какія только приходили ему въ голову, теперь же ему было не до разсужденій, онъ чувствовалъ глубокое состраданіе, хотѣлось быть искреннимъ, нѣжнымъ...

— Перестань, моя хорошая, — говорилъ онъ. — Поплакала—и будетъ... Теперь давай поговоримъ, что-нибудь придумаемъ.

Потомъ они долго совѣтовались, говорили о томъ, какъ избавить себя отъ необходимости прятаться, обманывать, жить въ разныхъ городахъ, не видѣться подолгу. Какъ освободиться отъ этихъ невыносимыхъ путъ?

— Какъ? Какъ?—спрашивалъ онъ, хватая себя за голову.—Какъ?

И казалось, что еще немного — и рѣшеніе будетъ найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоимъ было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается.

ВЪ ОВРАГѢ.

I.

Село Уклеево лежало въ оврагѣ, такъ что съ шоссе и со станціи желѣзной дороги видны были только колокольня и трубы ситце-набивныхъ фабрикъ. Когда прохожіе спрашивали, какое это село, то имъ говорили:

— Это то самое, гдѣ дьячокъ на похоронахъ всю икру съѣлъ.

Какъ-то на поминкахъ у фабриканта Костюкова старикъ-дьячокъ увидѣлъ среди закусокъ зернистую икру и сталъ ѣсть ее съ жадностью; его толкали, дергали за рукавъ, но онъ словно окоченѣлъ отъ наслажденія: ничего не чувствовалъ и только ѣлъ. Съѣлъ всю икру, а въ банкѣ было фунта четыре. И прошло ужъ много времени съ тѣхъ поръ, дьячокъ давно умеръ, а про икру все помнили. Жизнь ли была такъ бѣдна здѣсь, или люди не умѣли подмѣтить ничего, кромѣ этого неважнаго событія, происшедшаго десять лѣтъ назадъ, а только про село Уклеево ничего другого не разсказывали.

Въ немъ не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже лѣтомъ, особенно подъ заборами, надъ которыми сгибались старыя вербы, дававшія широкую тѣнь. Здѣсь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выдѣлкѣ ситцевъ. Фабрики,—три ситцевыхъ и одна кожевенная—находились не въ самомъ селѣ, а на краю и поодаль. Это были небольшія фабрики, и на всѣхъ ихъ было занято около четырехсотъ рабочихъ, не больше. Отъ кожевенной фабрики вода въ рѣчкѣ часто становилась вонючей; отбросы заражали лугъ, крестьянскій скотъ страдалъ отъ сибирской язвы, и фабрику приказано было за-

крыть. Она считалась закрытой, но работала тайно съ вѣдома становаго пристава и уѣзднаго врача, которымъ владѣлецъ платилъ по десяти рублей въ мѣсяцъ. Во всемъ селѣ было только два порядочныхъ дома, каменныхъ, крытыхъ желѣзомъ; въ одномъ помѣщалось волостное правленіе, въ другомъ, двухъэтажномъ, какъ разъ противъ церкви, жилъ Цыбукинъ, Григорій Петровъ, епифанскій мѣщанинъ.

Григорій держалъ бакалейную лавочку, но это только для вида, на самомъ же дѣлѣ торговалъ водкой, скотомъ, кожами, хлѣбомъ въ зернѣ, свиньями, торговалъ чѣмъ придется, и когда, напримѣръ, за границу требовались для дамскихъ шляпъ сороки, то онъ наживалъ на каждой парѣ по тридцати копеекъ; онъ скупалъ лѣсъ на срубъ, давалъ деньги въ ростъ, вообще былъ старикъ оборотливый.

У него было два сына. Старшій, Анисимъ, служилъ въ полиціи, въ сыскномъ отдѣленіи, и рѣдко бывалъ дома. Младшій, Степанъ, пошелъ по торговой части и помогалъ отцу, но настоящей помощи отъ него не ждали, такъ какъ онъ былъ слабъ здоровьемъ и глухъ; его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая въ праздники въ шляпкѣ и съ зонтикомъ, рано вставала, поздно ложилась и весь день бѣгала, подобравъ свои юбки и гремя ключами, то въ амбаръ, то въ погребъ, то въ лавку, и старикъ Цыбукинъ глядѣлъ на нее весело, глаза у него загорались и въ это время онъ жалѣлъ, что на ней женатъ не старшій сынъ, а младшій, глухой, который, очевидно, мало смыслилъ въ женской красотѣ.

У старика всегда была склонность къ семейной жизни, и онъ любилъ свое семейство больше всего на свѣтѣ, особенно старшаго сына—сыщика и невѣстку. Аксинья, едва вышла за глухого, какъ обнаружила необыкновенную дѣловитость и уже знала, кому можно отпустить въ долгъ, кому нельзя, держала при себѣ ключи, не довѣряя ихъ даже мужу, щелкала на счетахъ, заглядывала лошадямъ въ зубы, какъ мужикъ, и все смѣялась, или покрикивала; и, что бы она ни дѣлала, ни говорила, старикъ только умилялся и бормоталъ:

— Ай-да невѣстушка! Ай-да красавица, матушка...

Онъ былъ вдовъ, но черезъ годъ послѣ свадьбы сына не выдержалъ и самъ женился. Ему нашли за тридцать верстъ отъ Уклеева дѣвушку Варвару Николаевну изъ хорошаго семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она

поселилась въ комнаткѣ, въ верхнемъ этажѣ, какъ все просвѣтлѣло въ домѣ, точно во всѣ окна были вставлены новыя стекла. Засвѣтились лампадки, столы покрылись бѣлыми, какъ снѣгъ, скатертями, на окнахъ и въ палисадникѣ показались цвѣты съ красными глазками, и ужъ за обѣдомъ ѣли не изъ одной миски, а передъ каждымъ ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась пріятно и ласково, и казалось, что въ домѣ все улыбается. И во дворъ, чего раньше никогда не было, стали заходить нищіе, странники, богомолки; послышались подъ окнами жалобные, пѣвучіе голоса уклеевскихъ бабъ и виноватый кашель слабыхъ, испитыхъ мужиковъ, уволенныхъ съ фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлѣбомъ, старой одеждой, а потомъ, обжившись, стала потаскивать и изъ лавки. Разъ глухой видѣлъ, какъ она унесла двѣ осьмушки чаю, и это его смутило.

— Тутъ мамаша взяли двѣ осьмушки чаю, — сообщилъ онъ потомъ отцу.—Куда это записать?

Старикъ ничего не отвѣтилъ, а постоялъ, подумалъ, шевеля бровями, и пошелъ наверхъ къ женѣ.

— Варварушка, ежели тебѣ, матушка,—сказалъ онъ ласково:—понадобится что въ лавкѣ, то ты бери. Бери себѣ на здоровье, не сомнѣвайся.

И на другой день глухой, пробѣгая черезъ дворъ, крикнулъ ей:

— Вы, мамаша, ежели что нужно,—берите!

Въ томъ, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, какъ въ лампадкахъ и красныхъ цвѣточкахъ. Когда въ заговѣнье или въ престольный праздникъ, который продолжался три дня, сбывали мужикамъ протухлую солонину съ такимъ тяжкимъ запахомъ, что трудно было стоять около бочки, и принимали отъ пьяныхъ въ закладъ косы, шапки, женины платки, когда въ грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грѣхъ, казалось, сгустившись, уже туманомъ стоялъ въ воздухѣ, тогда становилось какъ-то легче при мысли, что тамъ, въ домѣ, есть тихая, опрятная женщина, которой нѣтъ дѣла ни до солонины, ни до водки; милостыня ея дѣйствовала въ эти тягостные, туманные дни, какъ предохранительный клапанъ въ машинѣ.

Дни въ домѣ Цыбукина проходили въ заботахъ. Еще

солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь въ сѣняхъ, самоваръ кипѣлъ въ кухнѣ и гудѣлъ, предсказывая что-то недоброе. Старикъ Григорій Петровъ, одѣтый въ длинный, черный сюртукъ и ситцевыя брюки, въ высокихъ, яркихъ сапогахъ, такой чистенькій, маленькій, похаживалъ по комнатамъ и постукивалъ каблучками, какъ свекоръ-батюшка въ извѣстной пѣснѣ. Отпирали лавку. Когда становилось свѣтло, подавали къ крыльцу бѣговыя дрожки и старикъ молодцовато садился на нихъ, надвигая свой большой картузъ до ушей, и, глядя на него, никто не сказалъ бы, что ему уже 56 лѣтъ. Его провожали жена и невѣстка, и въ это время, когда на немъ былъ хорошій, чистый сюртукъ и въ дрожки былъ запряженъ громадный вороной жеребецъ, стоившій триста рублей, старикъ не любилъ, чтобы къ нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами; онъ ненавидѣлъ мужиковъ и брезговалъ ими, и если видѣлъ, что какой-нибудь мужикъ дожидается у воротъ, то кричалъ гнѣвно:

— Что сталъ тамъ? Проходи дальше!

Или кричалъ, если то былъ нищій:

— Богъ дасьть!

Онъ уѣзжалъ по дѣламъ; жена его, одѣтая въ темное, въ черномъ фартукѣ, убирала комнаты или помогала въ кухнѣ. Аксинья торговала въ лавкѣ, и слышно было во дворѣ, какъ звенѣли бутылки и деньги, какъ она смѣялась или кричала, и какъ сердились покупатели, которыхъ она обижала; и въ то же время было замѣтно, что тамъ въ лавкѣ тайная торговля водкой уже идетъ. Глухой тоже сидѣлъ въ лавкѣ, или безъ шапки, заложивъ руки въ карманы, ходилъ по улицѣ и разсѣянно поглядывалъ то на избы, то вверхъ на небо. Разъ шесть въ день въ домѣ пили чай; раза четыре садились за столъ ѣсть. А вечеромъ считали выручку и записывали, потомъ спали крѣпко.

Въ Уклеевѣ всѣ три ситцевыя фабрики и квартиры фабрикантовъ Хрыминыхъ Старшихъ, Хрыминыхъ Младшихъ и Костюкова были соединены телефономъ. Провели телефонъ и въ волостное правленіе, но тамъ онъ скоро пересталъ дѣйствовать, такъ какъ въ немъ завелись клопы и прусаки. Волостной старшина былъ малограмотенъ и въ бумагахъ каждое слово писалъ съ большой буквы, но когда испортился телефонъ, то онъ сказалъ:

— Да, теперь намъ безъ телефона будетъ трудновато.

Хрымины Старшіе постоянно судились съ Младшими, иногда и Младшіе ссорились между собою и начинали судиться, и тогда ихъ фабрика не работала мѣсяцъ, два, пока они опять не мирились, и это развлекало жителей Уклеева, такъ какъ по поводу каждой ссоры было много разговоровъ и сплетенъ. Въ праздники Костюковъ и Хрымины Младшіе устраивали катанье, носились по Уклееву и давили телятъ. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодѣтая, прогуливалась на улицѣ, около своей лавки; Младшіе подхватывали ее и увозили какъ будто насильно. Тогда выѣзжалъ и старикъ Цыбукинъ, чтобы показать свою новую лошадь, и бралъ съ собой Варвару.

Вечеромъ, послѣ катанья, когда ложились спать, во дворѣ у Младшихъ играли на дорогой гармоникѣ и, если была луна, то отъ звуковъ этихъ становилось на душѣ тревожно и радостно, и Уклеево уже не казалось ямой.

II.

Старшій сынъ Анисимъ пріѣзжалъ домой очень рѣдко, только въ большіе праздники, но зато часто присылалъ съ земляками гостинцы и письма, написанныя чьимъ-то чужимъ почеркомъ, очень красивымъ, всякій разъ на листѣ писчей бумаги, въ видѣ прошенія. Письма были полны выраженій, какихъ Анисимъ никогда не употреблялъ въ разговорѣ: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вамъ фунтъ цвѣточнаго чаю для удовлетворенія вашей физической потребности».

Внизу каждаго письма было нацарапано, точно испорченнымъ перомъ: «Анисимъ Цыбукинъ», и подъ этимъ опять тѣмъ же превосходнымъ почеркомъ: «Агентъ».

Письма читались вслухъ по нѣскольку разъ, и старикъ растроганный, красный отъ волненія, говорилъ:

— Вотъ, не захотѣлъ дома жить, пошелъ по ученой части. Что жъ, пускай! Кто къ чему приставленъ.

Какъ-то передъ масляницей пошелъ сильный дождь съ крупой; старикъ и Варвара подошли къ окну, чтобы посмотрѣть, а глядь—Анисимъ ѣдетъ въ саняхъ со станціи. Его совсѣмъ не ждали. Онъ вошелъ въ комнату безпокойный и чѣмъ-то встревоженный, и такимъ оставался потомъ все время; и держалъ себя какъ-то развязно. Не спѣшилъ

уѣзжать и похоже было, какъ будто его уволили со службы. Варвара была рада его пріѣзду; она поглядывала на него какъ-то лукаво, вздыхала и покачивала головой.

— Какъ же это такое, батюшки?—говорила она.—Этихъ тѣхъ, парню уже двадцать восьмой годочекъ пошелъ, а онъ все холостой разгуливаетъ, охъ-техъ-те...

Изъ другой комнаты ея тихая, ровная рѣчь слышалась такъ: «Охъ-техъ-те». Она стала шептаться со старикомъ и съ Аксиньей, и ихъ лица тоже приняли лукавое и таинственное выраженіе, какъ у заговорщиковъ.

Рѣшили женить Анисима.

— Охъ-техъ-те!... Младшаго брата давно оженили,—говорила Варвара:—а ты все безъ пары, словно пѣтухъ на базарѣ. По-каковски это? Этихъ тѣхъ, оженишься, Богъ дастъ, тамъ какъ хочешь, поѣдешь на службу, а жена останется дома помощницей-те. Безъ порядку-те живешь, парень, и всѣ порядки, вижу, забылъ. Охъ-техъ-те, грѣхъ одинъ съ вами, съ городскими.

Когда Цыбукины женились, то для нихъ, какъ для богатыхъ, выбирали самыхъ красивыхъ невѣстъ. И для Анисима отыскали тоже красивую. Самъ онъ имѣлъ неинтересную, незамѣтную наружность; при слабомъ, нездоровомъ сложеніи и при небольшомъ ростѣ у него были полныя, пухлыя щеки, точно онъ надувалъ ихъ; глаза не мигали и взглядъ былъ острый, бородка рыжая, жидкая и, задумавшись, онъ все совалъ ее въ ротъ и кусалъ; и къ тому же онъ часто выпивалъ, и это было замѣтно по его лицу и походкѣ. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невѣста, очень красивая, то онъ сказалъ:

— Ну, да вѣдь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, всѣ красивые.

Подъ самымъ городомъ было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена къ городу, другая оставалась селомъ. Въ первой, въ своемъ домикѣ, проживала одна вдова; у нея была сестра, совсѣмъ бѣдная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, дѣвушка, ходившая тоже на поденку. О красотѣ Липы уже говорили въ Торгуевѣ, и только смущала всѣхъ ея ужасная бѣдность; разсуждали такъ, что какой-нибудь пожилой или вдовецъ женится, не глядя на бѣдность, или возьметъ ее къ себѣ «такъ», а при ней и мать

сыта будетъ. Варвара узнала о Липѣ отъ свахъ и съѣздила въ Торгуево.

Потомъ въ домѣ тетки были устроены смотрины, какъ слѣдуетъ, съ закуской и виномъ, и Липа была въ новомъ, розовомъ платьѣ, сшитомъ нарочно для смотринъ, и пунцовая ленточка, точно пламень, свѣтилась въ ея волосахъ. Она была худенькая, слабая, блѣдная, съ тонкими, нѣжными чертами, смуглая отъ работы на воздухѣ; грустная, робкая улыбка не сходила у нея съ лица, и глаза смотрѣли по-дѣтски—довѣрчиво и съ любопытствомъ.

Она была молода, еще дѣвочка, съ едва замѣтной грудью, но вѣнчать было уже можно, такъ какъ года вышли. Въ самомъ дѣлѣ она была красива, и одно только могло въ ней не нравиться, это—ея большія мужскія руки, которыя теперь праздно висѣли, какъ двѣ большія клешни.

— Нѣтъ приданаго — и мы безъ вниманія, — говорилъ старикъ теткѣ;—для сына нашего Степана мы взяли тоже изъ бѣднаго семейства, а теперь не нахвалимся. Что въ домѣ, что въ дѣлѣ—золотыя руки.

Липа стояла у двери и какъ будто хотѣла сказать: «дѣлайте со мной, что хотите: я вамъ вѣрю», а ея мать Прасковья, поденщица, пряталась въ кухнѣ и замирала отъ робости. Когда-то еще въ молодости одинъ купецъ, у котораго она мыла полы, разсердившись, затопалъ на нее ногами, она сильно испугалась, обомлѣла, и на всю жизнь у нея въ душѣ остался страхъ. А отъ страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя въ кухнѣ, она старалась подслушать, о чемъ говорятъ гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образъ. Анисимъ, слегка пьяный, отворялъ дверь въ кухню и говорилъ развязно:

— Что же это вы тутъ сидите, мамаша драгоцѣнная? Намъ безъ васъ скучно.

А Прасковья, оробѣвъ, прижимая руки къ своей тощей, исхудалой груди, отвѣчала:

— Что вы, помилуйте-съ... Много вами довольны-съ.

Послѣ смотринъ назначили день свадьбы. Потомъ у себя дома Анисимъ все ходилъ по комнатамъ и посвистывалъ или же, вдругъ вспомнивъ о чемъ то, задумывался и глядѣлъ въ полъ неподвижно, пронзительно, точно взглядомъ хотѣлъ проникнуть глубоко въ землю. Онъ не выражалъ

ни удовольствія отъ того, что женится, женится скоро, на Красной Горкѣ, ни желанія повидаться съ невѣстой, а только посвистывалъ. И было очевидно, что женится онъ только потому, что этого хотятъ отецъ и мачеха, и потому, что въ деревнѣ такой ужъ обычай: сынъ женится, чтобы дома была помощница. Уѣзжая, онъ не торопился и держалъ себя вообще не такъ, какъ въ прошлые свои пріѣзды,— былъ какъ-то особенно развязенъ и говорилъ не то, что нужно.

III

Въ деревнѣ Шикаловой жили портнихи, двѣ сестры-хлыстовки. Имъ были заказаны къ свадьбѣ обновы, и онѣ часто приходили примѣривать и подолгу пили чай. Варварѣ сшили коричневое платье съ черными кружевами и со стеклярусомъ, а Аксиньѣ — свѣтло-зеленое, съ желтой грудью и со шлейфомъ. Когда портнихи кончили, то Цыбукинъ заплатилъ имъ не деньгами, а товаромъ изъ своей лавки, и онѣ ушли отъ него грустныя, держа въ рукахъ узелки со стеариновыми свѣчами и сардинами, которыя были имъ совсѣмъ не нужны, и, выйдя изъ села въ поле, сѣли на бугорокъ и стали плакать.

Анисимъ пріѣхалъ за три дня до свадьбы, во всемъ новомъ. На немъ были блестящія резиновыя калоши и вмѣсто галстука красный шнурокъ съ шариками, и на плечахъ висѣло пальто, не надѣтое въ рукава, тоже новое.

Степенно помолившись Богу, онъ поздоровался съ отцомъ и далъ ему десять серебряныхъ рублей и десять полтинниковъ; и Варварѣ далъ столько же, Аксиньѣ — двадцать четвертаковъ. Главная прелесть этого подарка была именно въ томъ, что всѣ монеты, какъ на подборъ, были новенькія и сверкали на солнцѣ. Стараясь казаться степеннымъ и серьезнымъ, Анисимъ напрягалъ лицо и надувалъ щеки, и отъ него пахло виномъ; вѣроятно, на каждой станціи выбѣгалъ къ буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее въ человѣкѣ. Потомъ Анисимъ и старикъ пили чай и закусывали, а Варвара перебирала въ рукахъ новенькіе рубли и разспрашивала про земляковъ, жившихъ въ городѣ.

— Ничего, благодарить Бога, живутъ хорошо,—говорилъ Анисимъ.—Только вотъ у Ивана Егорова происшествіе въ семейной жизни: померла его старуха Софья Никифо-

ровна. Отъ чахотки. Поминальный обѣдъ за упокой души заказывали у кондитера, по два съ полтиной съ персоны. И виноградное вино было. Которые мужики, наши земляки — и за нихъ тоже по два съ полтиной. Ничего не ѣли. Нешто мужикъ понимаетъ соусъ!

— Два съ полтиной! — сказалъ старикъ и покачалъ головой.

— А что же? Тамъ не деревня. Зайдешь въ ресторанъ подзакусить, спросишь того-другого, компанія соберется, выпьешь—анъ глядишь, уже разсвѣтъ, и пожалуйте по три или по четыре рубля съ каждаго. А когда съ Самородовымъ, такъ тотъ любитъ, чтобъ послѣ всего кофій съ коньякомъ, а коньякъ по шести гривенъ рюмочка-съ.

— И все вретъ,—проговорилъ старикъ въ восхищеніи.— И все вретъ!

— Я теперь всегда съ Самородовымъ. Это тотъ самый Самородовъ, что вамъ мои письма пишетъ. Великолѣпно пишетъ. И если бъ разсказать, мамаша,—весело продолжалъ Анисимъ, обращаясь къ Варварѣ: — какой человѣкъ есть этотъ самый Самородовъ, то вы не повѣрите. Мы его всѣ Мухтаромъ зовемъ, такъ какъ онъ въ родѣ армяшки—весь черный. Я его насквозь вижу, всѣ дѣла его знаю вотъ какъ свои пять пальцевъ, мамаша, и онъ это чувствуетъ и все за мной ходитъ, не отстаетъ, и насъ теперь водой не разольешь. Ему какъ будто жутковато, но и безъ меня жить не можетъ. Куда я, туда и онъ. У меня, мамаша, вѣрный, правильный глазъ. Глядишь на толкучкѣ: мужикъ рубаху продаетъ.—Стой, рубаха краденая!—И вѣрно, такъ и выходитъ: рубаха краденая.

— Откуда же ты знаешь?—спросила Варвара.

— Ни откуда, глазъ у меня такой. Я не знаю, какая тамъ рубаха, а только почему-то такъ меня и тянетъ къ ней: краденая и все тутъ. У насъ въ сыскномъ такъ ужъ и говорятъ: «Ну, Анисимъ пошелъ вальдшненовъ стрѣлять!» Это значитъ—искать краденое. Да... Украсть всякій можетъ, да вотъ какъ сберечь! Велика земля, а спрятать краденое негдѣ.

— А въ нашемъ селѣ у Гунторевыхъ на прошлой недѣлѣ угнали барана и двухъ ярокъ, — сказала Варвара и вздохнула.—И поискать некому... Охъ-техъ-те...

— Что жъ? Поискать можно. Это ничего, можно.

Подошелъ день свадьбы. Это былъ прохладный, но ясный, веселый апрѣльскій день. Уже съ ранняго утра по Уклееву разъѣзжали, звеня колоколами, тройки и пары съ разноцвѣтными лентами на дугахъ и въ гривахъ. Въ вербахъ шумѣли грачи, потревоженные этой ѣздой, и, надсаживаясь, неумолкая, пѣли скворцы, какъ будто радуясь, что у Цыбукиныхъ свадьба.

Въ домѣ на столахъ уже были длинныя рыбы, окорока и птицы съ начинкой, коробки со шпротами, разныя соленья и маринады, и множество бутылокъ съ водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столовъ, постукивая каблучками и точа ножъ о ножъ, ходилъ старикъ. Варвару то и дѣло окликали, чего-нибудь требовали, и она съ растеряннымъ видомъ, тяжело дыша, бѣгала въ кухню, гдѣ съ разсвѣта работалъ поваръ отъ Костюкова и бѣлая кухарка отъ Хрыминыхъ Младшихъ. Аксинья, завитая, безъ платья, въ корсетѣ, въ новыхъ скрипучихъ ботинкахъ, носилась по двору какъ вихрь, и только мелькали ея голыя колѣни и грудь. Было шумно, слышалась брань, божба; прохожіе останавливались у настежь открытыхъ воротъ, и чувствовалось во всемъ, что готовится что-то необыкновенное.

— За невѣстой поѣхали!

Звонки заливались и замирали далеко за деревней... Въ третьемъ часу побѣжалъ народъ: опять послышались звонки, везутъ невѣсту! Церковь была полна, горѣло паникадило, пѣвчіе, какъ пожелалъ того старикъ Цыбукинъ, пѣли по нотамъ. Блескъ огней и яркія платья ослѣпили Липу, ей казалось, что пѣвчіе своими громкими голосами стучатъ по ея головѣ, какъ молотками; корсетъ, который она надѣла первый разъ въ жизни, и ботинки давили ее, и выраженіе у нея было такое, какъ будто она только-что очнулась отъ обморока,—глядитъ и не понимаетъ. Анисимъ, въ черномъ сюртукѣ, съ краснымъ шнуркомъ вмѣсто галстука, задумался, глядя въ одну точку, и когда пѣвчіе громко вскрикивали, быстро крестился. На душѣ у него было умиленіе, хотѣлось плакать. Эта церковь была знакома ему съ ранняго дѣтства; когда-то покойная мать приносила его сюда пріобщать, когда-то онъ пѣлъ на клиросѣ съ мальчиками; ему такъ памятны каждый уголокъ, каждая икона. Его вотъ вѣнчаютъ, его нужно женить для порядка, но онъ ужъ

не думалъ объ этомъ, какъ-то не помнилъ, забылъ совсѣмъ о свадьбѣ. Слезы мѣшали глядѣть на иконы, давило подъ сердцемъ; онъ молился и просилъ у Бога, чтобы несчастья, неминуемыя, которыя готовы уже разразиться надъ нимъ не сегодня — завтра, обошли бы его какъ-нибудь, какъ грозовыя тучи въ засуху обходятъ деревню, не давъ ни одной капли дождя. И столько грѣховъ уже наворочено въ прошломъ, столько грѣховъ, такъ все невылазно, непоправимо, что какъ-то даже несообразно просить о прощеніи. Но онъ просилъ и о прощеніи и даже всхлипнулъ громко, но никто не обратилъ на это вниманія, такъ какъ подумали, что онъ выпивши.

Послышался тревожный дѣтскій плачъ:

— Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!

— Тише тамъ!—крикнулъ священникъ.

Когда возвращались изъ церкви, то бѣжалъ вслѣдъ народъ; около лавки, около воротъ и во дворѣ подъ окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порогъ, какъ громко, изо всей силы, вскрикнули пѣвчіе, которые уже стояли въ сѣняхъ со своими нотами; заиграла музыка, нарочно выписанная изъ города. Уже подносили донское шипучее въ высокихъ бокалахъ, и подрядчикъ-плотникъ Елизаровъ, высокій, худощавый старикъ съ такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорилъ, обращаясь къ молодымъ:

— Анисимъ и ты, дѣточка, любите другъ дружку, живите по-божески, дѣточки, и Царица Небесная васъ не оставитъ. — Онъ припалъ къ плечу старика и всхлипнулъ.— Григорій Петровъ, восплачемъ, восплачемъ отъ радости!— проговорилъ онъ тонкимъ голоскомъ и тотчасъ же вдругъ захохоталъ и продолжалъ громко, басомъ: — Хо-хо-хо! И эта хороша у тебя невѣстка! Все, значитъ, въ ней на мѣстѣ, все гладенько, не громыхнетъ, вся механизма въ исправности, винтовъ много.

Онъ былъ родомъ изъ Егорьевскаго уѣзда, но съ молодыхъ лѣтъ работалъ въ Уклеевѣ на фабрикахъ и въ уѣздѣ, и прижился тутъ. Его давно уже знали старымъ, такимъ же вотъ тощимъ и длиннымъ, и давно уже его звали Костылемъ. Быть-можетъ оттого, что больше сорока лѣтъ ему приходилось заниматься на фабрикахъ только ремонтомъ,— онъ о каждомъ человѣкѣ или вещи судилъ только со сто-

роны прочности: не нуженъ ли ремонтъ. И прежде чѣмъ сѣсть за столъ, онъ попробовалъ нѣсколько стульевъ, прочны ли, и сига тоже потрогалъ.

Послѣ шипучаго всѣ стали садиться за столъ. Гости говорили, двигая стульями. Пѣли въ сѣняхъ пѣвчіе, играла музыка, и въ это же время на дворѣ бабы величали, всѣ въ одинъ голосъ,—и была какая-то ужасная, дикая смѣсь звуковъ, отъ которой кружилась голова.

Костыль вертѣлся на стулѣ и толкалъ сосѣдей локтями, мѣшалъ говорить, и то плакалъ, то хохоталъ.

— Дѣточки, дѣточки, дѣточки...—бормоталъ онъ быстро:— Аксиньюшка матушка, Варварушка, будемъ жить всѣ въ мирѣ и согласіи, топорики мои любезные...

Онъ пилъ мало и теперь опьянѣлъ отъ одной рюмки англійской горькой. Эта отвратительная горькая, сдѣланная неизвѣстно изъ чего, одурманила всѣхъ, кто пилъ ее, точно ушибла. Стали заплетаться языки.

Тутъ было духовенство, приказчики съ фабрикъ съ женами, торговцы и трактирщики изъ другихъ деревень. Волостной старшина и волостной писарь, служившіе вмѣстѣ уже четырнадцать лѣтъ и за все это время не подписавшіе ни одной бумаги, не отпустившіе изъ волостного правленія ни одного человѣка безъ того, чтобы не обмануть и не обидѣть, сидѣли теперь рядомъ, оба толстые, сытые и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лицѣ у нихъ была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела съ собой всѣхъ своихъ дѣтей и, точно хищная птица, косилась на тарелки, и хватала все, что попадалось подъ руку, и прятала себѣ и дѣтямъ въ карманы.

Липа сидѣла окаменѣлая, все съ тѣмъ же выраженіемъ, какъ въ церкви. Анисимъ, съ тѣхъ поръ, какъ познакомился съ ней, не проговорилъ съ ней ни одного слова, такъ что до сихъ поръ не зналъ, какой у нея голосъ; и теперь, сидя рядомъ, онъ все молчалъ и пилъ англійскую горькую, а когда охмелѣлъ, то заговорилъ, обращаясь къ теткѣ, сидѣвшей напротивъ:

— У меня есть другъ, по фамиліи Самородовъ. Человѣкъ спеціальный. Личный почетный гражданинъ и можетъ разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и онъ

это чувствуетъ. Позвольте съ вами выпить за здоровье Самородова, тетенька!

Варвара ходила вокругъ стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и видимо была довольна, что такъ много кушаній и все такъ богато, — никто не осудитъ теперь. Зашло солнце, а обѣдъ продолжался; уже не понимали, что ѣли, что пили, нельзя было разслышать, что говорятъ, и только изрѣдка, когда затихала музыка, ясно было слышно, какъ на дворѣ кричала какая-то баба:

— Насосались нашей крови, ироды, нѣтъ на васъ погибели!

Вечеромъ были танцы подъ музыку. Пріѣхали Хрымины Младшіе со своимъ виномъ, и одинъ изъ нихъ, когда танцовали кадриль, держалъ въ обѣихъ рукахъ по бутылкѣ, а во рту рюмку, и это всѣхъ смѣшило. Среди кадрили пускались вдругъ въ присядку; зеленая Аксинья только мелькала, и отъ шлейфа ея дуло вѣтромъ. Кто-то оттопталъ ей внизу оборку, и Костыль крикнулъ:

— Эй, внизу плинтусъ оторвали! Дѣточки!

У Аксиньи были сѣрые, наивные глаза, которые рѣдко мигали, и на лицѣ постоянно играла наивная улыбка. И въ этихъ немигающихъ глазахъ, и въ маленькой головѣ на длинной шеѣ, и въ ея стройности было что-то змѣиное; зеленая, съ желтой грудью, съ улыбкой, она глядѣла, какъ весной изъ молодой ржи глядитъ на прохожаго гадюка, вытянувшись и поднявъ голову. Хрымины держались съ ней вольно, и замѣтно было очень, что со старшимъ изъ нихъ она давно уже находилась въ близкихъ отношеніяхъ. А глухой ничего не понималъ, не глядѣлъ на нее; онъ сидѣлъ, положивъ ногу на ногу, и ѣлъ орѣхи и раскусывалъ ихъ такъ громко, что, казалось, стрѣлялъ изъ пистолета.

Но вотъ и самъ старикъ Цыбукинъ вышелъ на средину и взмахнулъ платкомъ, подавая знакъ, что и онъ тоже хочетъ плясать русскую, и по всему дому и во дворѣ въ толпѣ пронесся гулъ одобренія:

— *Самъ* вышелъ! *Самъ!*

Плясала Варвара, а старикъ только помахивалъ платкомъ и перебиралъ каблучками, но тѣ, которые тамъ, во дворѣ, нависая другъ на другѣ, заглядывали въ окна, были въ восторгѣ и на минуту простили ему все—и его богатство, и обиды.

— Молодчина Григорій Петровъ!—слышалось въ толпѣ.— Такъ, старайся! Значитъ, еще можешь заниматься! Ха-ха!

Все это кончилось поздно, во второмъ часу ночи. Анисимъ, пошатываясь, обходилъ на прощанье пѣвчихъ и музыкантовъ и дарилъ каждому по новому полтиннику. И старикъ, не качаясь, а все какъ-то ступая на одну ногу, провожалъ гостей и говорилъ каждому:

— Свадьба двѣ тысячи стоила.

Когда расходились, у шикаловскаго трактирщика кто-то обмѣнилъ хорошую поддевку на старую, и Анисимъ вдругъ вспыхнулъ и сталъ кричать:

— Стой! Я сыщу сейчасъ! Я знаю, кто это укралъ! Стой!

Онъ выбѣжалъ на улицу, погнался за кѣмъ-то; его поймали, повели подъ руки домой и пихнули его, пьянаго, краснаго отъ гнѣва, мокраго, въ комнату, гдѣ тетка уже раздѣвала Липу, и заперли.

IV.

Прошло пять дней. Анисимъ, собравшійся уѣзжать, пришелъ наверхъ къ Варварѣ, чтобы проститься. У нея горѣли всѣ лампадки, пахло ладаномъ, а сама она сидѣла у окна и вязала чулокъ изъ красной шерсти.

— Мало съ нами пожилъ, — сказала она. — Заскучалъ небось? Охъ-техъ-те... Живемъ мы хорошо, всего у насъ много, и свадьбу твою сыграли порядкомъ, правильно; старикъ сказывалъ: двѣ тысячи пошло. Одно слово, живемъ, какъ купцы, только вотъ скучно у насъ. Ужъ очень народъ обижаемъ. Сердце мое болитъ, дружокъ, обижаемъ какъ — и Боже мой! Лошадь ли мѣняемъ, покупаемъ ли что, работника ли нанимаемъ—на всемъ обманъ. Обманъ и обманъ. Постное масло въ лавкѣ горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошимъ масломъ торговать?

— Кто къ чему приставленъ, мамаша.

— Да вѣдь умирать надо? Ой-ой, право, поговорилъ бы ты съ отцомъ!..

— А вы бы сами поговорили.

— Н-ну! Я ему свое, а онъ мнѣ, какъ ты, въ одно слово: кто къ чему приставленъ. На томъ свѣтѣ такъ тебѣ и станутъ разбирать, кто къ чему приставленъ. У Бога судъ праведный.

— Конечно, никто не станетъ разбирать,—сказалъ Анисимъ и вздохнулъ. — Бога-то вѣдь, все равно, нѣтъ, мамаша. Чего ужъ тамъ разбирать!

Варвара посмотрѣла на него съ удивленіемъ и засмѣялась, и всплеснула руками. Оттого, что она такъ искренно удивилась его словамъ и смотрѣла на него какъ на чудака, онъ смутился.

— Богъ, можетъ, и есть, а только вѣры нѣтъ,—сказалъ онъ. — Когда меня вѣнчали, мнѣ было не по себѣ. Какъ вотъ возьмешь изъ-подъ курицы яйцо, а въ немъ цыпленокъ пищитъ, такъ во мнѣ совѣсть вдругъ запищала, и, пока меня вѣнчали, я все думалъ: есть Богъ! А какъ вышелъ изъ церкви—и ничего. Да и откуда мнѣ знать, есть Богъ или нѣтъ? Насъ съ малолѣтства не тому учили, и младенецъ еще мать сосетъ, а его только одному и учатъ: кто къ чему приставленъ. Папаша вѣдь тоже въ Бога не вѣруетъ. Вы какъ-то сказывали, что у Гунторева барановъ угнали... Я нашелъ: это шикаловскій мужикъ укралъ; онъ укралъ, а шкурки-то у папаши... Вотъ вамъ и вѣра!

Анисимъ подмигнулъ глазомъ и покачалъ головой.

— И старшина тоже не вѣритъ въ Бога, — продолжалъ онъ:—и писарь тоже, и дьячокъ тоже. А ежели они ходятъ въ церковь и посты соблюдаютъ, такъ это для того, чтобы люди про нихъ худо не говорили, и на тотъ случай, что можетъ и въ самомъ дѣлѣ страшный судъ будетъ. Теперь такъ говорятъ, будто конецъ свѣта пришелъ оттого, что народъ ослабѣлъ, родителей не почитаютъ и прочее. Это пустяки. Я такъ, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совѣсти мало въ людяхъ. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Ежели у человѣка рубаха краденая, я вижу. Человѣкъ сидитъ въ трактирѣ, и вамъ такъ кажется, будто онъ чай пьетъ и больше ничего, а я, чай-то чаемъ, вижу еще, что въ немъ совѣсти нѣтъ. Такъ цѣлый день ходишь— и ни одного человѣка съ совѣстью. И вся причина, потому что не знаютъ, есть Богъ или нѣтъ... Ну-съ, мамаша, прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихомъ.

Анисимъ поклонился Варварѣ въ ноги.

— Благодаримъ васъ за все, мамаша, — сказалъ онъ.— Нашему семейству отъ васъ большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволенъ.

Растроганный Анисимъ вышелъ, но опять вернулся и сказалъ:

— Меня Самородовъ впуталъ въ одно дѣло: богатъ буду или пропаду. Ежели что случится, ужъ вы тогда, мамаша, утѣшьте моего родителя.

— Ну вотъ, что тамъ! Охъ-техъ-те... Богъ милостивъ. А ты бы, Анисимъ, этихъ тѣхъ, жену бы свою приласкалъ, а то глядите другъ на дружку надутые оба; хоть бы усмѣхнулись, право.

— Да, какая-то она чудная...—сказалъ Анисимъ и вздохнулъ.—Не понимаетъ ничего, молчитъ все. Молода очень, пускай подрастетъ...

У крыльца уже стоялъ высокій, сытый, бѣлый жеребецъ, запряженный въ шарабанъ.

Старикъ Цыбукинъ разбѣжался и сѣлъ молодцовато, и взялъ вожжи. Анисимъ поцѣловался съ Варварой, съ Аксиньей и съ братомъ. На крыльцѣ стояла также Липа, стояла неподвижно и смотрѣла въ сторону, какъ будто вышла не провожать, а такъ, неизвѣстно зачѣмъ. Анисимъ подошелъ къ ней и прикоснулся губами къ ея щекѣ слегка, чуть-чуть.

— Прощай,—сказалъ онъ.

И она, не поглядѣвъ на него, улыбнулась какъ-то странно; лицо у нея задрожало, и всѣмъ почему-то стало жаль ея. Анисимъ тоже сѣлъ съ подскокомъ и подбоченился, такъ какъ считалъ себя красивымъ.

Когда выѣзжали изъ оврага наверхъ, то Анисимъ все оглядывался назадъ, на село. Былъ теплый, ясный день. Въ первый разъ выгнали скотину, и около стада ходили дѣвушки и бабы, одѣтыя по-праздничному. Бурый быкъ ревѣлъ, радуясь свободѣ, и рылъ передними ногами землю. Всюду, и вверху, и внизу, пѣли жаворонки. Анисимъ оглядывался на церковь, стройную, бѣленькую—ее недавно побѣлили—и вспомнилъ, какъ пять дней назадъ, молился въ ней; оглянулся на школу съ зеленой крышей, на рѣчку, въ которой когда-то купался и удилъ рыбу, и радость колыхнулась въ груди, и захотѣлось, чтобы вдругъ изъ земли выросла стѣна и не пустила бы его дальше, и онъ остался бы только съ однимъ прошлымъ.

На станціи подошли къ буфету и выпили по рюмкѣ хересу. Старикъ полѣзъ въ карманъ за кошелькомъ, чтобы заплатить.

— Я угощаю!—сказалъ Анисимъ.

Старикъ въ умиленіи похлопалъ его по плечу и подмигнулъ буфетчику: вотъ-де какой у меня сынъ.

— Остался бы ты, Анисимъ, дома, при дѣлѣ,—сказалъ онъ:—цѣны бы тебѣ не было! Я бы тебя, сынокъ, озолотилъ съ головы до ногъ.

— Никакъ нельзя, папапка.

Хересъ былъ кисловатый, пахло отъ него сургучомъ, но выпили еще по рюмкѣ.

Когда старикъ вернулся со станціи, то въ первую минуту не узналъ своей младшей невѣстки. Какъ только мужъ выѣхалъ со двора, Липа измѣнилась, вдругъ повеселѣла. Босая, въ старой, поношенной юбкѣ, засучивъ рукава до плечъ, она мыла въ сѣняхъ лѣстницу и пѣла тонкимъ серебристымъ голоскомъ, а когда выносила большую лохань съ помоями и глядѣла на солнце со своей дѣтской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонокъ.

Старый работникъ, который проходилъ мимо крыльца, покачалъ головой и крякнулъ.

— Да и невѣстки же у тебя, Григорій Петровъ, Богъ тебѣ послалъ!—сказалъ онъ.—Не бабы, а чистый кладъ!

V.

8 іюля, въ пятницу, Елизаровъ, по прозванію Костыль, и Липа возвращались изъ села Казанскаго, куда они ходили на богомолье, по случаю храмового праздника — Казанской Божіей Матери. Далеко позади шла мать Липы Прасковья, которая все отставала, такъ какъ была больна и задыхалась. Время было близко къ вечеру.

— А-аа!.. — удивлялся Костыль, слушая Липу. — А-а!.. Ну-у?

— Я, Илья Макарычъ, до варенья очень охотница, — говорила Липа.—Сяду себѣ въ уголочкѣ и все чай пью съ вареньемъ. Или съ Варварой Николаевной вмѣстѣ пьемъ, а онѣ что-нибудь разсказываютъ чувствительное. У нихъ варенья много — четыре банки. «Кушай, говорятъ, Липа, не сомнѣвайся».

— А-аа!.. Четыре банки!

— Богато живутъ. Чай съ бѣлой булкой; и говядины тоже сколько хочешь. Богато живутъ, только страшно у нихъ, Илья Макарычъ. И-и, какъ страшно!

— Чего жъ тебѣ страшно, дѣточка?—спросилъ Костыль и оглянулся, чтобы посмотрѣть, далеко ли отстала Прасковья.

— Первое, какъ свадьбу сыграли, Анисима Григорьича боялась. Они ничего, не обижали, а только, какъ подойдутъ ко мнѣ близко, такъ по всей по мнѣ морозъ, по всѣмъ косточкамъ. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась и Бога молила. А теперь Аксиньи боюсь, Илья Макарычъ. Она ничего, все усмѣхается, а только часомъ взглянетъ въ окошко, а глазы у ней такіе сердитые и горятъ зеленые, словно въ хлѣву у овцы. Хрымины Младшіе ее сбиваютъ: «У вашего старика, говорятъ, есть землица Бутёкино, десятинъ сорокъ, землица, говорятъ, съ песочкомъ и вода есть, такъ ты, говорятъ, Аксюша, построй отъ себѣ кирпичный заводъ, и мы въ долю войдемъ». Кирпичъ теперь двадцать рублей тысяча. Дѣло спорое. Вчерась за обѣдомъ Аксинья и говоритъ старику: «Я, говоритъ, хочу въ Бутёкинѣ кирпичный заводъ ставить, буду сама себѣ купчиха». Говоритъ и усмѣхается. А Григорій Петровичъ съ лица потемнѣли; видно, не понравилось. «Пока, говоритъ, я живъ, нельзя врозь, надо всѣмъ вмѣстѣ». А она глазами метнула, зубами заскриготѣла... Подали оладьи — не ѣстъ!

— А-аа!..—удивился Костыль.—Не ѣстъ!

— И скажи, сдѣлай милость, когда она спитъ!—продолжала Липа.—Съ полчасика поспитъ, а тамъ вскочитъ, ходитъ, все ходитъ, заглядываетъ: не сожгли бъ чего мужики, не украли бъ чего... Страшно съ ней, Илья Макарычъ! А Хрымины Младшіе послѣ свадьбы и спать не ложились, а поѣхали въ городъ судиться; и народъ болтаетъ, будто черезъ Аксинью все. Два брата пообѣщались ей заводъ построить, а третій обижается, а фабрика съ мѣсяцъ стояла, и мой дяденька Прохоръ безъ работы по дворамъ корочки сбиралъ. Ты бы, говорю, дяденька, пока что, пахать пошелъ или дрова пилить, что срамиться! «Отбился, говоритъ, я отъ хрестіанской работы, ничего, говоритъ, не умѣю, Липынька!..»

Около молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаровъ давно уже былъ подрядчикомъ, но не держалъ лошади, а ходилъ по всему уѣзду пѣшкомъ, съ однимъ мѣшочкомъ, въ которомъ были хлѣбъ и лукъ, и шагалъ широко, размахивая руками. И идти съ нимъ рядомъ было трудно.

У входа въ рощу стоялъ межевой столбъ. Елизаровъ потрогалъ его: проченъ ли. Подошла Прасковья, задыхаясь. Ея сморщенное, всегда испуганное лицо сіяло счастьемъ: она была сегодня въ церкви, какъ люди, потомъ ходила по ярмаркѣ, пила тамъ грушевый квасъ! Съ ней это бывало рѣдко, и даже ей казалось теперь, будто она жила въ свое удовольствіе сегодня первый разъ въ жизни. Отдохнувши, всѣ трое пошли рядомъ. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, свѣтились на стволахъ. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевскія дѣвушки давно ушли впередъ, но задержались тутъ въ рощѣ: вѣроятно, подбирали грибы.

— Эй, дѣвки-и!—кричалъ Елизаровъ.—Эй, красотки!

Въ отвѣтъ слышался смѣхъ.

— Костыль идетъ! Костыль! Старый хрѣнъ!

И эхо тоже смѣялось. Вотъ и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричныхъ трубъ, сверкнулъ крестъ на колокольнѣ: это было село, «то самое, гдѣ дьячокъ на похоронахъ всю икру съѣлъ». Вотъ почти уже и дома; оставалось только спуститься въ этотъ большой оврагъ. Липа и Прасковья, которыя шли босикомъ, сѣли на траву, чтобы обуться; съ ними сѣлъ и подрядчикъ. Если взглянуть сверху, то Уклеево со своими вербами, бѣлой церковью и рѣчкой казалось красивымъ, тихимъ, и мѣшали только крыши фабричныя, выкрашенныя изъ экономіи въ мрачный, дикій цвѣтъ. Видна была на той сторонѣ по скату рожь—и копны, и снопы тамъ, сямъ, точно раскиданные бурей, и только-что скошенная, въ рядахъ; и овесъ уже поспѣлъ и теперь на солнцѣ отсвѣчивалъ, какъ перламутръ. Была страда. Сегодня праздникъ, завтра, въ субботу, убирать рожь, возить сѣно, а потомъ воскресенье, опять праздникъ; каждый день погромыхивалъ дальній громъ; парило, похоже было на дождь, и, глядя теперь на поле, каждый думалъ о томъ, далъ бы Богъ во-время убраться съ хлѣбомъ, и было весело и радостно, и непокойно на душѣ.

— Косари нынче дороги,—сказала Прасковья. — Рубль сорокъ въ день!

А съ ярмарки изъ Казанскаго народъ все шелъ и шелъ; бабы, фабричные въ новыхъ картузахъ, нищіе, ребята... То проѣзжала телѣга, поднимая пыль, и позади бѣжала непроданная лошадь, и точно была рада, что ея не про-

дали, то вели за рога корову, которая упрямилась, то опять телѣга, а въ ней пьяные мужики, свѣсивъ ноги. Одна старуха вела мальчика въ большой шапкѣ и въ большихъ сапогахъ; мальчикъ изнемогъ отъ жары и тяжелыхъ сапогъ, которые не давали его ногамъ сгибаться въ колѣняхъ, но все же изо всей силы, не переставая, дулъ въ игрушечную трубу; уже спустились внизъ и повернули въ улицу, а трубу все еще было слышно.

— А наши фабриканты что-то не въ себѣ... — сказалъ Елизаровъ.—Бѣда! Костюковъ осерчалъ на меня. «Много, говоритъ, тесу пошло на карнизы».—Какъ много? Сколько надо было, Василій Данилычъ, столько, говорю, и пошло. Я его не съ кашей ѣмъ, тесъ-то. «Какъ, говоритъ, ты можешь мнѣ такія слова? Болванъ, такой сякой! Не забывайся! Я, кричитъ, тебя подрядчикомъ сдѣлалъ!»—Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не былъ въ подрядчикахъ, все равно каждый день чай пилъ. «Всѣ, говоритъ, вы жулики...» Я смолчалъ. Мы на этомъ свѣтѣ жулики, думаю, а вы на томъ свѣтѣ будете жулики. Хо-хо-хо! На другой день отмякъ. «Ты, говоритъ, на меня не гнѣвайся, Макарычъ, за мои слова. Ежели, говоритъ, я что лишнее, такъ вѣдь и то сказать, я купецъ первой гильдіи, старше тебя,— ты смолчать долженъ».—Вы, говорю, купецъ первой гильдіи, а я плотникъ, это правильно. И святой Іосифъ, говорю, былъ плотникъ. Дѣло наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вамъ угодно быть старше, то сдѣлайте милость, Василій Данилычъ. А потомъ этого, послѣ, значитъ, разговору, я и думаю: кто же старше? Купецъ первой гильдіи или плотникъ? Стало-быть, плотникъ, дѣточки!

Костыль подумалъ и добавилъ:

— Оно такъ, дѣточки. Кто трудится, кто терпитъ, тотъ и старше.

Солнце уже зашло, и надъ рѣкой, въ церковной оградѣ и на полянахъ около фабрикъ поднимался густой туманъ, бѣлый, какъ молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни и когда казалось, что туманъ скрываетъ подъ собой бездонную пропасть, Липѣ и ея матери, которыя родились нищими и готовы были прожить такъ до конца, отдавая другимъ все, кромѣ своихъ испуганныхъ, кроткихъ душъ,—быть-можетъ, имъ примерещилось на минуту, что въ этомъ громадномъ, таинственномъ

мірѣ, въ числѣ безконечнаго ряда жизней и онѣ сила, и онѣ старше кого-то; имъ было хорошо сидѣть здѣсь наверху, онѣ счастливо улыбались и забыли о томъ, что возвращаться внизъ все-таки надо.

Наконецъ вернулись домой. У воротъ и около лавки сидѣли на землѣ косари. Обыкновенно свои уклеевскіе не шли къ Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужихъ, и теперь казалось въ потемкахъ, что сидятъ люди съ длинными, черными бородами. Лавка была отперта и видно было въ дверь, какъ глухой игралъ съ мальчикомъ въ шашки. Косари пѣли тихо, чуть слышно, или громко просили отдать имъ за вчерашній день, но имъ не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старикъ Цыбукинъ безъ сюртука, въ жилеткѣ, и Аксинья у крыльца подъ березой пили чай; и горѣла на столѣ лампа.

— Дѣдушка-а!—говорилъ за воротами косарь, какъ бы дразня.—Заплати хоть половину! Дѣдушка-а!

И тотчасъ же слышался смѣхъ, а потомъ опять пѣли чуть слышно... Костыль сѣлъ тоже чай пить.

— Были мы, значитъ, на ярмаркѣ, — началъ онъ разсказывать.—Гуляли, дѣточки, очень хорошо гуляли, слава тебѣ Господи. И случай такой вышелъ, нехорошій: кузнецъ Сашка купилъ табаку и даетъ полтинникъ, значитъ, купцу. А полтинникъ фальшивый,—продолжалъ Костыль и оглянулся; ему хотѣлось говорить шопотомъ, но говорилъ онъ придушеннымъ, сиплымъ голосомъ, и всѣмъ было слышно.— А полтинникъ выходитъ фальшивый. Спрашиваютъ: гдѣ взялъ? А это, говоритъ, мнѣ Анисимъ Цыбукинъ далъ. Когда, говоритъ, я у него на свадьбѣ гулялъ... Кликнули урядника, повели... Гляди, Петровичъ, какъ бы чего не вышло, какого разговору...

— Дѣдушка-а! — дразнилъ все тотъ же голосъ за воротами.—Дѣдушка-а!

Наступило молчаніе.

— Ахъ, дѣточки, дѣточки, дѣточки... — быстро забормоталъ Костыль и всталъ; его одолѣвала дремота.—Ну, спасибо за чай, за сахаръ, дѣточки. Пора и спать. Сталъ ужъ я трухлявый, балки во мнѣ всѣ подгнили. Хо-хо-хо!

И уходя, онъ сказалъ:

— Умирать, должно, пора!

И всхлипнулъ. Старикъ Цыбукинъ не допилъ своего чаю,

но еще посидѣлъ, подумалъ; и выраженіе у него было такое, будто онъ прислушивался къ шагамъ Костыля, бывшаго уже далеко на улицѣ.

— А Сашка кузнецъ, чай, навралъ,— сказала Аксинья, угадавъ его мысли.

Онъ пошелъ въ домъ и, немного погодя, вернулся со сверткомъ; развернулъ — и блеснули рубли, совершенно новые. Онъ взялъ одинъ, попробовалъ на зубъ, бросилъ на подносъ; потомъ бросилъ другой...

— Рубли-то взаправду фальшивые...— проговорилъ онъ, глядя на Аксинью и точно недоумѣвая.—Это тѣ... Анисимъ тогда привезъ, его подарокъ. Ты, дочка, возьми,— зашепталъ онъ и сунулъ ей въ руки свертокъ: — возьми, брось въ колодецъ... Ну ихъ! И гляди, чтобъ разговору не было. Чего бы не вышло... Убирай самоваръ, тупи огонь...

Липа и Прасковья, сидѣвшія въ сараѣ, видѣли, какъ одинъ за другимъ погасли огни; только наверху у Варвары свѣтились синія и красныя лампадки, и оттуда вѣяло покоемъ, довольствомъ и невѣдѣніемъ. Прасковья никакъ не могла привыкнуть къ тому, что ея дочь выдана за богатаго, и когда приходила, то робко жалась въ сѣняхъ, улыбалась просительно, и ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и послѣ того, какъ уѣхалъ мужъ, спала не на своей кровати, а гдѣ придется—въ кухнѣ или сараѣ, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на поденкѣ. И теперь, вернувшись съ богомолья, онѣ пили чай въ кухнѣ съ кухаркой, потомъ пошли въ сарай и легли на полу между санями и стѣнкой. Было тутъ темно, пахло хомутами. Около дома погасли огни, потомъ слышно было, какъ глухой запиралъ лавку, какъ косари располагались на дворѣ спать. Далеко, у Хрыминыхъ Младшихъ играли на дорогой гармоникѣ... Прасковья и Липа стали засыпать.

И когда ихъ разбудили чьи-то шаги, было уже свѣтло отъ луны; у входа въ сарай стояла Аксинья, держа въ рукахъ постель.

— Тутъ, пожалуй, прохладнѣй...— проговорила она, потомъ вошла и легла почти у самаго порога, и луна освѣщала ее всю.

Она не спала и тяжко вздыхала, разметавшись отъ жары, сбросивъ съ себя почти все — и при волшебномъ свѣтѣ

луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени и послышались опять шаги: въ дверяхъ показался старикъ, весь бѣлый.

— Аксинья!—позвалъ онъ.—Ты здѣсь, что ли?

— Ну!—отозвалась она сердито.

— Я тебѣ давеча сказалъ, чтобъ бросила деньги въ колодецъ. Ты бросила?

— Вотъ еще, добро въ воду бросать! Я косарямъ отдала...

— Ахъ, Боже мой! — проговорилъ старикъ въ изумленіи и въ испугѣ.—Озорная ты баба... Ахъ, Боже мой!

Онъ всплеснулъ руками и ушелъ, и, пока шелъ, все что-то приговаривалъ. А немного погодя, Аксинья сѣла и вздохнула тяжело, съ досадой, потомъ встала и, забравъ въ охапку свою постель, вышла.

— И зачѣмъ ты отдала меня сюда, маменька! — проговорила Липа.

— Замужъ идти нужно, дочка. Такъ ужъ не нами положено.

И чувство безутѣшной скорби готово было овладѣть ими. Но казалось имъ, кто-то смотритъ съ высоты неба, изъ синевы, оттуда, гдѣ звѣзды, видитъ все, что происходитъ въ Уклеевѣ, сторожитъ. И какъ не велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же въ Божьемъ мірѣ правда есть и будетъ, такая же тихая и прекрасная, и все на землѣ только ждетъ, чтобы слиться съ правдой, какъ лунный свѣтъ сливается съ ночью.

И обѣ, успокоенныя, прижавшись другъ къ другу, уснули.

VI.

Давно уже пришло извѣстіе, что Анисима посадили въ тюрьму за поддѣлку и сбытъ фальшивыхъ денегъ. Прошли мѣсяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и къ тому, что Анисимъ сидитъ въ тюрьмѣ, привыкли и въ домѣ, и въ селѣ. И когда кто-нибудь проходилъ ночью мимо дома или лавки, то вспоминалъ, что Анисимъ сидитъ въ тюрьмѣ; и когда звонили на погостѣ, то почему-то тоже вспоминалось, что онъ сидитъ въ тюрьмѣ и ждетъ суда.

Казалось, будто тѣнь легла на дворъ. Домъ потемнѣлъ, крыша поржавѣла, дверь въ лавкѣ, обитая желѣзомъ, тяжелая, выкрашенная въ зеленый цвѣтъ, пожухла или, какъ

говорилъ глухой, «зашкорубла»; и самъ старикъ Цыбукинъ потемнѣлъ какъ будто. Онъ давно уже не подстригалъ волосъ и бороды, обросъ, уже садился въ тарантасъ безъ подскока и не кричалъ нищимъ: «Богъ дасьть!» Сила у него пошла на убыль, и это было замѣтно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядникъ составилъ въ лавкѣ протоколъ, хотя получалъ попрежнему что слѣдуетъ; и три раза вызывали въ городъ, чтобы судить за тайную торговлю виномъ, и дѣло все откладывалось за неявкой свидѣтелей, и старикъ замучился.

Онъ часто ѣздилъ къ сыну, нанималъ кого-то, подавалъ кому-то прошенія, пожертвовалъ куда-то хоругвь. Смотрителю тюрьмы, въ которой сидѣлъ Анисимъ, онъ поднесъ серебряный подстаканникъ съ надписью по эмали «душа мѣру знаетъ» и съ длинной ложечкой.

— Похлопотать-те, похлопотать-те путемъ некому, — говорила Варвара. — Охъ-техъ-те... Попросить бы кого изъ господъ, написали бы главнымъ начальникамъ.. До суда бы хоть выпустили бы! Что парня томить-то!

Она тоже была огорчена, но пополнѣла, побѣлѣла, попрежнему зажигала у себя лампадки и смотрѣла, чтобы въ домѣ все было чисто, и угощала гостей вареньемъ и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали въ лавкѣ. Затѣяли новое дѣло — кирпичный заводъ въ Бутёкинѣ, и Аксинья ѣздила туда почти каждый день, въ тарантасѣ; она сама правила и при встрѣчѣ со знакомыми вытягивала шею, какъ змѣя изъ молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа все играла со своимъ ребенкомъ, который родился у нея передъ постомъ. Это былъ маленькій ребеночекъ, тощенькій, жалкенькій, и было странно, что онъ кричитъ, смотритъ и что его считаютъ человѣкомъ, и даже называютъ Никифоромъ. Онъ лежалъ въ люлькѣ, а Липа отходила къ двери и говорила кланяясь:

— Здравствуйте, Никифоръ Анисимычъ!

И бѣжала къ нему опрометью, и цѣловала. Потомъ отходила къ двери, кланялась и опять:

— Здравствуйте, Никифоръ Анисимычъ!

А онъ задиралъ свои красныя ножки, и плачъ у него мѣшался со смѣхомъ, какъ у плотника Елизарова.

Наконецъ былъ назначенъ судъ. Старикъ выѣхалъ дней за пять. Потомъ, слышно было, изъ села погнали мужиковъ,

вызванныхъ свидѣтелями; выѣхалъ и старый работникъ, получившій тоже повѣстку.

Судъ былъ въ четвергъ. Но прошло уже воскресенье, а старикъ все не возвращался, и не было никакихъ извѣстій. Во вторникъ передъ вечеромъ Варвара сидѣла у открытаго окна и прислушивалась: не пріѣдетъ ли старикъ. Въ сосѣдней комнатѣ Липа играла со своимъ ребенкомъ. Она подбрасывала его на рукахъ и говорила въ восхищеніи:

— Ты выростешь большо-ой, большой! Будешь ты мужикъ, вмѣстѣ на поденку пойдемъ! На поденку пойдемъ!

— Ну-у!—обидѣлась Варвара.—Какую тамъ еще поденку выдумала, глупенькая? Онъ у насъ кунецъ будетъ!..

Липа запѣла тихо, но, немного погодя, забылась и опять:

— Выростешь большо-ой, большой, мужикъ будешь, вмѣстѣ на поденку пойдемъ!

— Ну-у! Заладила!

Липа съ Никифоромъ на рукахъ остановилась въ дверяхъ и спросила:

— Маменька, отчего я его такъ люблю? Отчего я его жалѣю такъ? — продолжала она дрогнувшимъ голосомъ, и глаза у нея заблестѣли отъ слезъ. — Кто онъ? Какой онъ изъ себѣ? Легкій, какъ перышко, какъ крошечка, а люблю его, люблю, какъ настоящаго человѣка. Вотъ онъ ничего не можетъ, не говоритъ, а я все понимаю, чего онъ своими глазочками желаетъ.

Варвара прислушалась: донесся шумъ вечерняго поѣзда, подходившаго къ станціи. Не пріѣхалъ ли старикъ? Она ужъ не слышала и не понимала, о чемъ говоритъ Липа, не помнила, какъ ило время, а только дрожала вся, и это не отъ страха, а отъ сильнаго любопытства. Она видѣла, какъ прокатила телѣга быстро, съ грохотомъ, полная мужиковъ. Это ѣхали со станціи возвратившіеся свидѣтели. Съ телѣги, когда она катила мимо лавки, спрыгнулъ старый работникъ и пошелъ во дворъ. Слышно было, какъ съ нимъ во дворѣ поздоровались, спросили его о чемъ-то...

— Рѣшеніе правъ и всего состоянія, — громко сказалъ онъ:—и въ Сибирь, въ каторжную работу на шесть лѣтъ.

Видно было, какъ изъ лавочки чернымъ ходомъ вышла Аксинья; она только-что отпускала керосинъ, и въ одной рукѣ держала бутылку, въ другой—лейку, и во рту у нея были серебряныя деньги.

— А папаша гдѣ?—спросила она, шепелявя.

— На станціи,—отвѣтилъ работникъ.—«Ужо, говоритъ, будетъ потемнѣй, тогда пріѣду».

И когда во дворѣ стало извѣстно, что Анисимъ осужденъ въ каторжныя работы, кухарка въ кухнѣ вдругъ заголосила, какъ по покойникѣ, думая, что этого требуетъ приличіе:

— И на кого ты насъ покинулъ, Анисимъ Григорьичъ, соколикъ ясный...

Залаяли встревоженныя собаки. Варвара подбѣжала къ окошку и, заметавшись въ тоскѣ, стала кричать кухаркѣ, изо всей силы напрягая голосъ:

— Бу-удетъ тебѣ, Степанида, бу-удетъ! Не томи, Христа ради!

Забыли поставить самоваръ, уже не соображали ни о чемъ. Только одна Липа никакъ не могла понять, въ чемъ дѣло, и продолжала носиться съ ребенкомъ.

Когда пріѣхалъ старикъ со станціи, то его ужъ ни о чемъ не спрашивали. Онъ поздоровался, потомъ прошелся по всѣмъ комнатамъ молча; не ужиналъ.

— Похлопотать-те некому...—начала Варвара, когда они остались вдвоемъ.—Говорила я, чтобъ господъ попросить,— не послушали тогда... Прошеніе бы...

— Хлопоталъ я!—сказалъ старикъ и махнулъ рукой.— Какъ Анисима осудили, я къ тому барину, что его защищалъ. «Ничего, говоритъ, теперь нельзя, поздно». И самъ Анисимъ такъ говоритъ: поздно. А все жъ я, какъ вышелъ изъ суда, одного адвоката договорилъ; задатокъ ему далъ... Погожу еще недѣльку, а тамъ опять поѣду. Что Богъ дастъ.

Старикъ опять молча прошелся по всѣмъ комнатамъ и, когда вернулся къ Варварѣ, то сказалъ:

— Должно, нездоровъ я. Въ головѣ того... туманится. Мысли мутятся.

Онъ затворилъ дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжалъ тихо:

— Съ деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисимъ передъ свадьбой на Ѳоминой привезъ мнѣ новыхъ рублей и полтинниковъ? Сверточекъ-то одинъ я тогда спряталъ, а прочіе какіе я смѣшалъ со своими... И когда-то, царствіе небесное, живъ былъ дядя мой, Дмитрій Филатычъ, все бывало за товаромъ ѣздилъ то въ Москву, то въ Крымъ.

Была у него жена, и эта самая жена, пока онъ, значитъ, за товаромъ ѣздилъ, съ другими гуляла. Шестеро дѣтей было. И вотъ, бывало, дяденька, какъ выпьетъ, то смѣется: «Никакъ, говоритъ, я не разберу, гдѣ тутъ мои дѣти, а гдѣ чужія». Легкій характеръ, значитъ. Такъ и я теперь не разберу, какія у меня деньги настоящія и какія фальшивыя. И кажется, что онѣ всѣ фальшивыя.

— Ну, вотъ, Богъ съ тобой!

— Покупаю на вокзалѣ билетъ, даю три рубля, и думается мнѣ, будто они фальшивые. И страшно мнѣ. Должно, нездоровъ.

— Что говорить, всѣ подъ Богомъ ходимъ... Охъ-техъ-те...—проговорила Варвара и покачала головой.—Надо бъ объ этомъ подумать бы, Петровичъ... Неровенъ часъ, что случится, человѣкъ ты не молодой. Помрешь, и гляди, безъ тебя бъ внучка не обидѣли. Ой, боюсь, обидятъ они Никифора, обидятъ! Отца, считай такъ, уже нѣтъ, мать молодая, глупая... Записалъ бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, Бутёкино-то это, Петровичъ, право! Подумай!—продолжала убѣждать Варвара.—Мальчикъ-то хорошенькій, жалко! Вотъ завтра поѣзжай и напиши бумагу. Чего ждать?

— А я забылъ про внучка-то...—сказалъ Цыбукинъ.—Надо поздороваться. Такъ ты говоришь: мальчикъ ничего? Ну, что жъ, пускай растетъ. Дай Богъ!

Онъ отворилъ дверь и согнутымъ пальцемъ поманилъ къ себѣ Липу. Она подошла къ нему съ ребенкомъ на рукахъ.

— Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай,—сказалъ онъ.—И что захочешь, кушай, мы не жалѣемъ, была бы здорова...—Онъ перекрестилъ ребенка.—И внучка береги. Сына нѣтъ, такъ внучекъ остался.

Слезы потекли у него по щекамъ; онъ всхлипнулъ и отошелъ. Немного погодя онъ легъ спать и уснулъ крѣпко, послѣ семи безсонныхъ ночей.

VII.

Старикъ уѣзжалъ не надолго въ городъ. Кто-то разсказалъ Аксиньѣ, что онъ ѣздилъ къ нотаріусу, чтобы писать завѣщаніе, и что Бутёкино, то самое, на которомъ она жгла кирпичъ, онъ завѣщалъ внуку Никифору. Объ этомъ ей сообщили утромъ, когда старикъ и Варвара сидѣли

около крыльца подъ березой и пили чай. Она заперла лавку съ улицы и со двора, собрала всѣ ключи, какіе у нея были, и швырнула ихъ къ ногамъ старика.

— Не стану я больше работать на васъ!—крикнула она громко и вдругъ зарыдала. —Выходитъ, я у васъ не невѣстка, а работница! Весь народъ смѣется: «Гляди, говорятъ, Цыбукины какую себѣ работницу нашли!» Я у васъ не нанималась! Я не нищая, не хамка какая, есть у меня отецъ и мать.

Она, не утирая слезъ, устремила на старика глаза; залитые слезами, злобные, косые отъ гнѣва; лицо и шея у нея были красны и напряжены, такъ какъ кричала она изо всей силы.

— Не желаю я больше служить! — продолжала она. — Замучилась! Какъ работа, какъ въ лавкѣ сидѣть деньденьской, по ночамъ шмыгать за водкой — такъ это мнѣ, а какъ землю дарить,—такъ это каторжанкѣ съ ея чертенкомъ! Она тутъ хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Все отдайте ей, арестанткѣ, пусть подавится, я уйду домой! Найдите себѣ другую дуру, ироды окаянные!

Старикъ ни разу въ жизни не бранилъ и не наказывалъ дѣтей и не допускалъ даже мысли, чтобы кто-нибудь изъ семейства могъ говорить ему грубыя слова или держать себя непочтительно; и теперь онъ очень испугался, побѣжалъ въ домъ и спрятался тамъ за шкафомъ. А Варвара такъ оторопѣла, что не могла подняться съ мѣста, а только отмахивалась обѣими руками, точно оборонялась отъ пчелы.

— Ой, что жъ это, батюшки? — бормотала она въ ужасѣ. — Что жъ это она кричитъ? Охъ-техъ-те... Народъ-то услышитъ! Потише бы... Ой, потише бы!

— Отдали каторжанкѣ Бутёкино,—продолжала Аксинья кричать: — отдайте ей теперь все, — мнѣ отъ васъ ничего не надо! Провались вы! Всѣ вы тутъ одна шайка! Наглядѣлась я, будетъ съ меня! Грабили и прохожихъ, и проѣзжихъ, разбойники, грабили стараго и малаго! А кто водку продавалъ безъ патента? А фальшивыя деньги? Понабили себѣ сундуки фальшивыми деньгами—и теперь ужъ я не нужна стала!

Около настежь открытыхъ воротъ уже собралась толпа и смотрѣла во дворъ.

— Пускай народъ глядитъ!—кричала Аксинья.—Я васъ

осрамлю! Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня въ ногахъ наваляетесь! Эй, Степанъ!—позвала она глухого.— Поѣдемъ въ одну минуту домой! Къ моему отцу, къ матери поѣдемъ, съ арестантами я не хочу жить! Собирайся!

Во дворѣ на протянутыхъ веревкахъ висѣло бѣлье; она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрыя, и бросала ихъ на руки глухому. Потомъ, разъяренная, она металась по двору около бѣлья, срывала все, и то, что было не ея, бросала на землю и топтала.

— Ой, батюшки, уймите ее! — стонала Варвара. — Что же она такое? Отдайте ей Бутёкино, отдайте ради Христа Небеснаго!

— Ну, ба-а-ба!—говорили у воротъ.—Вотъ такъ ба-а-ба! Расходилась—страсть!

Аксинья вбѣжала въ кухню, гдѣ въ это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на рѣку полоскать бѣлье. Отъ корыта и котла около плиты шелъ паръ, и въ кухнѣ было душно и тускло отъ тумана. На полу была еще куча немытаго бѣлья, и около него на скамьѣ, задирая свои красныя ножки, лежалъ Никифоръ, такъ что, если бы онъ упалъ, то не ушибся бы. Какъ разъ, когда Аксинья вошла, Липа вынула изъ кучи ея сорочку и положила въ корыто, и уже протянула руку къ большому ковшу съ кипяткомъ, который стоялъ на столѣ...

— Отдай сюда!—проговорила Аксинья, глядя на нее съ ненавистью, и выхватила изъ корыта сорочку. — Не твое это дѣло мое бѣлье трогать! Ты арестантка и должна знать свое мѣсто, кто ты есть!

Липа глядѣла на нее, оторопѣвъ, и не понимала, но вдругъ уловила взглядъ, какой та бросила на ребенка, и вдругъ поняла, и вся помертвѣла...

— Взяла мою землю, такъ вотъ же тебѣ!

Сказавши это, Аксинья схватила ковшъ съ кипяткомъ и плеснула на Никифора.

Послѣ этого послышался крикъ, какого еще никогда не слыхали въ Уклеевѣ, и не вѣрилось, что небольшое, слабое существо, какъ Липа, можетъ кричать такъ. И на дворѣ вдругъ стало тихо. Аксинья прошла въ домъ, молча, со своей прежней наивной улыбкой... Глухой все ходилъ по двору, держа въ охапкѣ бѣлье, потомъ сталъ развѣшивать его опять, молча, не спѣша. И пока не вернулась кухарка

съ рѣки, никто не рѣшался войти въ кухню и взглянуть, что тамъ.

VIII.

Никифора свезли въ земскую больницу и къ вечеру онъ умеръ тамъ. Липа не стала дожидаться, когда за ней пріѣдутъ, а завернула покойника въ одѣяльце и понесла домой.

Больница, новая, недавно построенная, съ большими окнами, стояла высоко на горѣ; она вся свѣтилась отъ заходившаго солнца, и, казалось, горѣла внутри. Внизу былъ поселокъ. Липа спустилась по дорогѣ и, не доходя до поселка, сѣла у маленькаго пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить и лошадь не пила.

— Чего же тебѣ еще? — говорила женщина тихо, въ недоумѣніи.—Чего же тебѣ?

Мальчикъ въ красной рубахѣ, сидя у самой воды, мылъ отцовскіе сапоги. И больше ни души не было видно ни въ поселкѣ, ни на горѣ.

— Не пьетъ...—сказала Липа, глядя на лошадь.

Но вотъ женщина и мальчикъ съ сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинныя облака, красныя и лиловыя, сторожили его покой, протянувшись по небу. Гдѣ-то далеко, неизвѣстно гдѣ, кричала выпь, точно корова, запертая въ сараѣ, заунывно и глухо. Крикъ этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и гдѣ живетъ. Наверху въ больницѣ, у самаго пруда въ кустахъ, за поселкомъ и кругомъ въ полѣ заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета, и опять начинала. Въ прудѣ сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой былъ шумъ! Казалось, что всѣ эти твари кричали и пѣли нарочно, чтобы никто не спалъ въ этотъ весенній вечеръ, чтобы всѣ, даже сердитыя лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: вѣдь жизнь дается только одинъ разъ!

На небѣ свѣтилъ серебряный полумѣсяцъ, было много звѣздъ. Липа не помнила, какъ долго она сидѣла у пруда, но когда встала и пошла, то въ поселкѣ всѣ уже спали и не было ни одного огня. До дома было, вѣроятно, верстъ

двѣнадцать, но силъ не хватало, не было соображенія, какъ идти; мѣсяцъ блестѣлъ то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшимъ голосомъ, со смѣхомъ, точно дразнила: ой, гляди, собьешься съ дороги! Липа шла быстро, потеряла съ головы платокъ... Она глядѣла на небо и думала о томъ, гдѣ теперь душа ея мальчика: идетъ ли слѣдомъ за ней, или носится тамъ вверху, около звѣздъ, и уже не думаетъ о своей матери? О, какъ одиноко въ полѣ ночью, среди этого пѣнія, когда самъ не можешь пѣть, среди непрерывныхъ криковъ радости, когда самъ не можешь радоваться, когда съ неба смотритъ мѣсяцъ, тоже одинокій, которому все равно—весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душѣ горе, то тяжело безъ людей. Если бы съ ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужикъ!

— Бу-у!—кричала выпь.—Бу-у!

И вдругъ ясно послышалась человѣческая рѣчь:

— Запрягай, Вавила!

Впереди, у самой дороги, горѣлъ костеръ; пламени уже не было, свѣтились одни красные уголья. Слышно было, какъ жевали лошади. Въ потемкахъ обозначились двѣ подводы,—одна съ бочкой, другая пониже, съ мѣшками, и два человѣка: одинъ велъ лошадь, чтобы запрягать, другой стоялъ около костра неподвижно, заложивъ назадъ руки. Заворчала около подводы собака. Тотъ, который велъ лошадь, остановился и сказалъ:

— Словно кто идетъ по дорогѣ.

— Шарикъ, молчи!—крикнулъ другой на собаку.

И по голосу можно было понять, что этотъ другой былъ старикъ. Липа остановилась и сказала:

— Богъ въ помощь!

Старикъ подошелъ къ ней и отвѣтилъ не сразу:

— Здравствуй!

— Ваша собачка не порветъ, дѣдушка?

— Ничего, иди. Не тронетъ.

— Я въ больницѣ была, — сказала Липа, помолчавъ.— Сыночекъ у меня тамъ померъ. Вотъ домой несу.

Должно-быть, старику было непріятно слышать это, потому что онъ отошелъ и проговорилъ торопливо:

— Это ничего, милая. Божья воля. Копаешься, парень! — сказалъ онъ, обернувшись къ спутнику.—Ты бы поживѣй.

— Твоей дуги нѣту,—сказалъ парень.—Не видать.

— Прямой ты Вавила.

Старикъ поднялъ уголекъ, раздулъ — освѣтились только его глаза и носъ, потомъ, когда отыскали дугу, подошелъ съ огнемъ къ Липѣ и взглянулъ на нее; и взглядъ его выражалъ состраданіе и нѣжность.

— Ты мать,—сказалъ онъ. — Всякой матери свое дитё жалко.

И при этомъ вздохнулъ и покачалъ головой. Вавила бросилъ что-то на огонь, притопталъ—и тотчасъ же стало очень темно; видѣніе исчезло, и попрежнему было только поле, небо со звѣздами, да шумѣли птицы, мѣняя другъ другу спать. И коростель кричалъ, казалось, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ костеръ.

Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старикъ, и длинный Вавила. Телѣги скрипѣли, выѣзжая на дорогу.

— Вы святые?—спросила Липа у старика.

— Нѣтъ. Мы изъ Фирсанова.

— Ты давеча взглянулъ на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихій. Я и подумала: это, должно, святые.

— Тебѣ далече ли?

— Въ Уклеево.

— Садись, подвеземъ до Кузьменокъ. Тебѣ тамъ прямо, намъ влѣво.

Вавила сѣлъ на подводу съ бочкой, старикъ и Липа сѣли на другую. Поѣхали шагомъ, Вавила впереди.

— Мой сыночекъ весь день мучился,—сказала Липа.— Глядитъ своими глазочками и молчитъ, и хочетъ сказать и не можетъ. Господи батюшка, Царица Небесная! Я съ горя такъ все и падала на полъ. Стою и упаду возлѣ кровати. И скажи мнѣ, дѣдушка, зачѣмъ маленькому передъ смертью мучиться? Когда мучается большой человѣкъ, мужикъ или женщина, то грѣхи прощаются, а зачѣмъ маленькому, когда у него нѣтъ грѣховъ? Зачѣмъ?

— А кто жъ его знаетъ!—отвѣтилъ старикъ.

Проѣхали съ полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачѣмъ да какъ, — сказалъ старикъ.—Птицѣ положено не четыре крыла, а два, потому что и на двухъ летѣть способно; такъ и человѣку положено

знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобъ прожить, столько и знаетъ.

— Мнѣ, дѣдушка, идти пѣшкомъ легче. А теперь сердце трясется.

— Ничего. Сиди.

Старикъ зѣвнулъ и перекрестилъ ротъ.

— Ничего...—повторилъ онъ.—Твое горе съ полъ-горя. Жизнь долгая,—будетъ еще и хорошаго, и дурного, всего будетъ. Велика матушка Россія!—сказалъ онъ и поглядѣлъ въ обѣ стороны. — Я во всей Россіи былъ и все въ ней видѣлъ, и ты моему слову вѣрь, милая. Будетъ и хорошее, будетъ и дурное. Я ходокомъ въ Сибирь ходилъ, и на Амурѣ былъ, и на Алтаѣ, и въ Сибирь переселился, землю тамъ пахалъ, соскучился потомъ по матушкѣ Россіи и назадъ вернулся въ родную деревню. Назадъ въ Россію пѣшкомъ шли; и помню, плывемъ мы на паромѣ, а я худой-худой, рваный весь, босой, озябъ, сосу корку, а проѣзжій господинъ тутъ какой-то на паромѣ,—если померъ, то царство ему небесное,—глядитъ на меня жалостно, слезы текутъ. «Эхъ, говоритъ, хлѣбъ твой черный, дни твои черные...» А домой пріѣхалъ, какъ говорится, ни кола, ни двора; баба была, да въ Сибири осталась, закопали. Такъ, въ батракахъ живу. А что жъ? Скажу тебѣ: потомъ было и дурное, было и хорошее. Вотъ и помирать не хочется, милая, еще бы годочковъ двадцать пожилъ; значитъ, хорошаго было больше. А велика матушка Россія! — сказалъ онъ и опять посмотрѣлъ въ стороны и оглянулся.

— Дѣдушка,—спросила Липа:—когда человѣкъ помретъ, то сколько дней его душа потомъ по землѣ ходитъ?

— А кто жъ его знаетъ! Вотъ спросимъ Вавилу, — онъ въ школу ходилъ. Теперь всему учатъ. Вавила! — позвалъ старикъ.

— А!

— Вавила, какъ человѣкъ помретъ, сколько дней его душа по землѣ ходитъ?

Вавила остановилъ лошадь и тогда ужъ отвѣтилъ:

— Девять дёнъ. Мой дядя Кирилла померъ, такъ его душа въ избѣ нашей жила потомъ тринадцать дёнъ.

— Почему ты знаешь?

— Тринадцать дёнъ въ печкѣ стучало.

— Ну, ладно. Трогай,—сказалъ старикъ, и видно было, что ничему этому онъ не вѣрилъ.

Около Кузьменокъ подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже свѣтало. Когда она спускалась въ оврагъ, то уклеевскія избы и церковь прятались въ туманѣ. Было холодно, и казалось ей, что кричитъ все та же кукушка.

Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли; всѣ спали. Она сидѣла на крыльцѣ и ждала. Первый вышелъ старикъ; онъ сразу, съ перваго взгляда понялъ, что произошло, и долго не могъ выговорить ни слова и только чмокалъ губами.

— Эхъ, Липа, — проговорилъ онъ: — не уберегла ты внучка...

Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала и тотчасъ же стала убирать ребенка.

— И мальчикъ-то былъ хорошенечкій...—приговаривала она. — Охъ-техъ-те... Одинъ былъ мальчикъ, и того не уберегла, глупенькая...

Служили панихиду утромъ и вечеромъ. На другой день хоронили, и послѣ похоронъ гости и духовенство ѣли много и съ такою жадностью, какъ будто давно не ѣли. Липа прислуживала за столомъ, и батюшка, поднявъ вилку, на которой былъ соленый рыжикъ, сказалъ ей:

— Не горюйте о младенцѣ. Таковыхъ есть царствіе небесное.

И только, когда всѣ разошлись, Липа поняла, какъ слѣдуетъ, что Никифора уже нѣтъ и не будетъ, поняла и зарыдала. И она не знала, въ какую комнату идти ей, чтобы рыдать, такъ какъ чувствовала, что въ этомъ домѣ послѣ смерти мальчика ей уже нѣтъ мѣста, что она тутъ не при чемъ, лишняя; и другіе это тоже чувствовали.

— Ну, что голосишь тамъ?—крикнула вдругъ Аксинья, показываясь въ дверяхъ; по случаю похоронъ она была одѣта во все новое и напудрилась.—Замолчи!

Липа хотѣла перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.

— Слышишь?—крикнула Аксинья и въ сильномъ гнѣвѣ топнула ногой. — Кому говорю? Пошла вонъ со двора, и чтобъ ноги твоей тутъ не было, каторжанка! Вонъ!

— Ну, ну, ну!.. — засуетился старикъ. — Аксюта.

угомонись, матушка... Плачетъ, понятное дѣло... дитё померло...

— Понятное дѣло...—передразнила его Аксинья.—Пускай переночуетъ, а завтра чтобы и духу ея тутъ не было! Понятное дѣло!..—передразнила она еще разъ и, засмѣявшись, направилась въ лавку.

На другой день рано утромъ Липа ушла въ Торгуево къ матери.

IX.

Въ настоящее время крыша на лавкѣ и дверь выкрашены и блестятъ какъ новыя, на окнахъ попрежнему цвѣтетъ веселенькая герань, и то, что происходило три года назадъ въ домѣ и во дворѣ Цыбукина, уже почти забыто.

Хозяиномъ считается, какъ и тогда, старикъ Григорій Петровичъ, на самомъ же дѣлѣ все перешло въ руки Аксиньи; она и продаетъ, и покупаетъ, и безъ ея согласія ничего нельзя сдѣлать. Кирпичный заводъ работаетъ хорошо; оттого, что требуютъ кирпичъ на желѣзную дорогу, цѣна его дошла до двадцати четырехъ рублей за тысячу; бабы и дѣвки возятъ на станцію кирпичъ и нагружаютъ вагоны и получаютъ за это по четвертаку въ день.

Аксинья вошла въ долю съ Хрымиными, и ихъ фабрика теперь называется такъ: «Хрымины Младшіе и К°». Открыли около станціи трактиръ, и уже играютъ на дорогой гармоникѣ не на фабрикѣ, а въ этомъ трактирѣ, и сюда часто ходитъ начальникъ почтоваго отдѣленія, который тоже завелъ какую-то торговлю, и начальникъ станціи тоже. Глухому Степану Хрымины Младшіе подарили золотые часы, и онъ то и дѣло вынимаетъ ихъ изъ кармана и подноситъ къ уху.

Въ селѣ говорятъ про Аксинью, что она забрала большую силу; и правда, когда она утромъ ѣдетъ къ себѣ на заводъ, съ наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потомъ распоряжается на заводѣ, то чувствуется въ ней большая сила. Ее всѣ боятся и дома, и въ селѣ, и на заводѣ. Когда она приходитъ на почту, то начальникъ почтоваго отдѣленія вскакиваетъ и говоритъ ей:

— Покорнѣйше прошу садиться, Ксенія Абрамовна!

Одинъ помѣщикъ, щеголь, въ поддевкѣ изъ тонкаго сукна и въ высокихъ лакированныхъ сапогахъ, уже пожилой,

какъ-то, продавая ей лошадь, такъ увлекся разговоромъ съ ней, что уступилъ ей, сколько она пожелала. Онъ долго держалъ ее за руку и, глядя ей въ ея веселые, лукавые, наивные глаза, говорилъ:

— Для такой женщины, какъ вы, Ксенія Абрамовна, я готовъ сдѣлать всякое удовольствіе. Только скажите, когда мы можемъ увидѣться, чтобы намъ никто не помѣшалъ?

— Да когда вамъ угодно!

И послѣ этого пожилой щеголь заѣзжаетъ въ лавочку почти каждый день, чтобы выпить пива. А пиво ужасное, горькое какъ полынь. Помѣщикъ мотаетъ головой, но пьетъ.

Старикъ Цыбукинъ уже не вмѣшивается въ дѣла. Онъ не держитъ при себѣ денегъ, потому что никакъ не можетъ отличить настоящихъ отъ фальшивыхъ, но молчитъ, никому не говоритъ объ этой своей слабости. Онъ сталъ какъ-то забывчивъ, и если не дать ему поѣсть, то самъ онъ не спроситъ; уже привыкли обѣдать безъ него и Варвара часто говоритъ:

— А нашъ вчерась опять легъ не ѣвши.

И говоритъ равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и лѣтомъ, и зимой одинаково онъ ходитъ въ шубѣ и только въ очень жаркіе дни не выходитъ, сидитъ дома. Обыкновенно, надѣвши шубу и поднявъ воротникъ, запахнувшись, онъ гуляетъ по деревнѣ, по дорогѣ на станцію, или сидитъ съ утра до вечера на лавочкѣ около церковныхъ воротъ. Сидитъ и не пошевельнется. Прохожіе кланяются ему, но онъ не отвѣчаетъ, такъ какъ попрежнему не любитъ мужиковъ. Когда его спрашиваютъ о чемъ-нибудь, то онъ отвѣчаетъ вполнѣ разумно и вѣжливо, но кратко.

Въ селѣ идутъ разговоры, будто невѣстка выгнала его изъ собственнаго дома и не даетъ ему ѣсть, и будто онъ кормится подаяніями; одни рады, другіе жалѣютъ.

Варвара еще больше пополнѣла и побѣлѣла, и попрежнему творитъ добрыя дѣла, и Аксинья не мѣшаетъ ей. Варенья теперь такъ много, что его не успѣваютъ съѣдать до новыхъ ягодъ; оно засахаривается, и Варвара чуть не плачетъ, не зная, что съ нимъ дѣлать.

Объ Анисимѣ стали забывать. Какъ-то пришло отъ него письмо, написанное въ стихахъ, на большомъ листѣ бумаги съ видѣ прошенія, всё тѣмъ же великолѣпнымъ почеркомъ.

Очевидно, и его другъ Самородовъ отбывалъ съ нимъ вмѣстѣ наказаніе. Подъ стихами была написана некрасивымъ, едва разборчивымъ почеркомъ одна строчка: «Я все болѣю тутъ, мнѣ тяжко, помогите ради Христа».

Однажды—это было въ ясный осенній день, передъ вечеромъ—старикъ Цыбукинъ сидѣлъ около церковныхъ воротъ, поднявъ воротникъ своей шубы, и виденъ былъ только его носъ и козырекъ отъ фуражки. На другомъ концѣ длинной лавки сидѣлъ подрядчикъ Елизаровъ и рядомъ съ нимъ школьный сторожъ Яковъ, старикъ лѣтъ семидесяти, безъ зубовъ. Костыль и сторожъ разговаривали.

— Дѣти должны кормить стариковъ, поить... чти отца твоего и мать, — говорилъ Яковъ съ раздраженіемъ: — а она, невѣстка-то, выгнала свекра изъ собственнаго дома. Старику ни поѣсть, ни попить—куда пойдетъ? Третій день не ѣвши.

— Третій день!—удивился Костыль.

— Вотъ такъ сидитъ, все молчитъ. Ослабъ. А чего молчать? Подать въ судъ,—ее бъ въ судѣ не похвалили.

— Кого въ судѣ хвалили?—спросилъ Костыль не разслышавъ.

— Чего?

— Баба ничего, старательная. Въ ихнемъ дѣлѣ безъ этого нельзя... безъ грѣха то-есть...

— Изъ собственнаго дома,—продолжалъ Яковъ съ раздраженіемъ.—Наживи свой домъ, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!

Цыбукинъ слушалъ и не шевелился.

— Собственный домъ, или чужой, все равно, лишь бы тепло было, да бабы не ругались... — сказалъ Костыль и засмѣялся. — Когда въ молодыхъ лѣтахъ былъ, я очень свою Настасью жалѣлъ. Бабочка была тихая. И бывало все: «Купи, Макарычъ, домъ! Купи, Макарычъ, домъ! Купи, Макарычъ, лошадь!» Умирала, а все говорила: «Купи, Макарычъ, себѣ дрожки бѣгунцы, чтобъ пѣши не ходить». А я только пряники ей покупалъ, больше ничего.

— Мужъ-то глухой, глупый, — продолжалъ Яковъ, не слушая Костыля: — такъ дуракъ-дуракомъ, все равно, что гусь. Нешто онъ можетъ понимать? Ударь гуся по головѣ палкой—и то не пойметъ.

Костыль всталъ, чтобы идти домой на фабрику. Яковъ

тоже всталъ, и оба пошли вмѣстѣ, продолжая разговаривать. Когда они отошли шаговъ на пятьдесятъ, старикъ Цыбукинъ тоже всталъ и поплелся за ними, ступая нерѣшительно, точно по скользкому льду.

Село уже тонуло въ вечернихъ сумеркахъ и солнце блестѣло только вверху на дорогѣ, которая змѣей бѣжала по скату снизу вверхъ. Возвращались старухи изъ лѣса и съ ними ребята; несли корзины съ волнушками и груздями. Шли бабы и дѣвки толпой со станціи, гдѣ онѣ нагружали вагоны кирпичомъ, и носы и щеки подъ глазами у нихъ были покрыты красной кирпичной пылью. Онѣ пѣли. Впереди всѣхъ шла Липа и пѣла тонкимъ голосомъ, и заливалась, глядя вверхъ на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился и можно отдохнуть. Въ толпѣ была ея мать, поденщица Прасковья, которая шла съ узелкомъ въ рукѣ и, какъ всегда, тяжело дышала.

— Здравствуй, Макарычъ! — сказала Липа, увидѣвъ Костыля.—Здравствуй, голубчикъ!

— Здравствуй, Липынька!—обрадовался Костыль.—Бабочки, дѣвочки, полюбите богатаго плотника! Хо-хо! Дѣточки мои, дѣточки (Костыль всхлипнулъ). Топорики мои любезные.

Костыль и Яковъ прошли дальше, и было слышно, какъ они разговаривали. Вотъ послѣ нихъ встрѣтился толпѣ старикъ Цыбукинъ, и стало вдругъ тихо, тихо. Липа и Прасковья немножко отстали и, когда старикъ поровнялся съ ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорій Петровичъ!

И мать тоже поклонилась. Старикъ остановился и, ничего не говоря, смотрѣлъ на обѣихъ; губы у него дрожали и глаза были полны слезъ. Липа достала изъ узелка у матери кусокъ пирога съ кашей и подала ему. Онъ взялъ и сталъ ѣсть.

Солнце уже совсѣмъ зашло; блескъ его погасъ и вверху на дорогѣ. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потомъ крестились.

НА СВЯТКАХЪ.

I.

— Что писать?—спросилъ Егоръ и умокнулъ перо.

Василиса не видѣлась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья послѣ свадьбы уѣхала съ мужемъ въ Петербургъ, прислала два письма и потомъ какъ въ воду канула; ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на разсвѣтѣ, топила ли печку, дремала ли ночью—и все думала объ одномъ: какъ-то тамъ Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но старикъ писать не умѣлъ, а попросить было некого..

Но вотъ пришли святки и Василиса не вытерпѣла и пошла въ трактиръ къ Егору, хозяйкиному брату, который, какъ пришелъ со службы, такъ и сидѣлъ все дома, въ трактирѣ и ничего не дѣлалъ; про него говорили, что онъ можетъ хорошо писать письма, ежели ему заплатить, какъ слѣдуетъ. Василиса поговорила въ трактирѣ съ кухаркой, потомъ съ хозяйкой, потомъ съ самимъ Егоромъ. Сошлись на пятиалтынномъ.

И теперь—это происходило на второй день праздника въ трактирѣ, въ кухнѣ—Егоръ сидѣлъ за столомъ и держалъ перо въ рукѣ. Василиса стояла передъ нимъ, задумавшись, съ выраженіемъ заботы и скорби на лицѣ. Съ нею пришелъ и Петръ, ея старикъ, очень худой, высокій, съ коричневой лысиной; онъ стоялъ и глядѣлъ неподвижно и прямо, какъ слѣпой. На плитѣ въ кастрюлѣ жарилась свинина; она шипѣла и фыркала, и какъ будто даже говорила: «флю-флю-флю». Было душно.

— Что писать?—спросилъ опять Егоръ.

— Чего!—сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно.—Не гони! Небось, не задаромъ пишешь,

за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимьѣ Петровнѣ съ любовью низкій поклонъ и благословеніе родительское навѣки нерушимо.

— Есть. Стрѣляй дальше.

— А еще поздравляемъ съ праздникомъ Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вамъ желаемъ отъ Господа... Царя Небеснаго.

Василиса подумала и переглянулась со старикомъ.

— Чего и вамъ желаемъ отъ Господа... Царя Небеснаго...—повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночамъ думала, то ей казалось, что всего не помѣстить и въ десяти письмахъ. Съ того времени, какъ уѣхали дочь съ мужемъ, утекло въ море много воды, старики жили, какъ сироты, и тяжко вздыхали по ночамъ, точно похоронили дочь. А сколько за это время было въ деревнѣ всякихъ происшествій, сколько свадебъ, смертей. Какія были длинныя зимы! Какія длинныя ночи!

— Жарко!—проговорилъ Егоръ, разстегивая жилетъ.— Должно, градусовъ семьдесятъ будитъ. Что же еще?—спросилъ онъ.

Старики молчали.

— Чѣмъ твой зять тамъ занимается?—спросилъ Егоръ.

— Онъ изъ солдатъ, батюшка, тебѣ извѣстно,—отвѣтилъ слабымъ голосомъ старикъ.—Въ одно время съ тобой со службы пришелъ. Былъ солдатъ, а теперь, значитъ, въ Петербургѣ въ водоцѣлебномъ заведеніи. Докторъ больныхъ водой пользуетъ. Такъ онъ, значитъ, у доктора въ швейцарахъ.

— Вотъ тутъ написано...—сказала старуха, вынимая изъ платочка письмо.—Отъ Ефимьи получили, еще Богъ знаетъ когда. Можетъ, ихъ ужъ и на свѣтѣ нѣтъ.

Егоръ подумалъ немного и сталъ быстро писать.

«Въ настоящее время, писалъ онъ, какъ судба ваша черезъ себѣ определила на Военое Попрыще, то мы Вамъ советуемъ заглянуть въ Уставъ Дисцыплинарныхъ Взысканій и Уголовныхъ Законовъ Военнаго Ведомства, и Вы усмотрите въ ономъ Законе цывилизацію Чиновъ Военаго Ведомства».

Онъ писалъ и прочитывалъ вслухъ написанное, а Васк-

лиса соображала о томъ, что надо бы написать, какая въ прошломъ году была нужда, не хватило хлѣба даже до святокъ, пришлось продать корову. Надо бы попросить денегъ, надо бы написать, что старикъ часто похварываетъ и скоро, должно-быть, отдастъ Богу душу... Но какъ выразить это на словахъ? Что сказать прежде и что послѣ?

«Обратите вниманіе,—продолжалъ Егоръ писать:—въ 5 томѣ Военыхъ Постановленій. Солдатъ есть Имя обчшее, Знаменитое. Солдатомъ называется Перьвейшый Генералъ и последней Рядовой...»

Старикъ пошевелилъ губами и сказалъ тихо:

— Внучатъ поглядѣть, оно бы ничего.

— Какихъ внучатъ?—спросила старуха и поглядѣла на него сердито.—Да можетъ ихъ и нѣту!

— Внучатъ-то? А можетъ, и есть. Кто ихъ знаетъ!

«И поетому Вы можете судить,—торопился Егоръ:—какой есть врагъ Иноземный и какой Внутреный. Перьвейшый нашъ Внутреный Врагъ есть: Бахусъ».

Перо скрипѣло, выдѣлывая на бумагѣ завитушки, похожія на рыболовные крючки. Егоръ спѣшилъ и прочитывалъ каждую строчку по нѣскольку разъ. Онъ сидѣлъ на табуретѣ, раскинувъ широко ноги подъ столомъ, сытый, здоровый, мордатый, съ краснымъ затылкомъ. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобѣдимая, гордая тѣмъ, что она родилась и выросла въ трактирѣ, и Василиса хорошо понимала, что тутъ пошлость, но не могла выразить на словахъ, а только глядѣла на Егора сердито и подозрительно. Отъ его голоса, непонятныхъ словъ, отъ жара и духоты у нея разболѣлась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда онъ кончитъ скрипѣть. А старикъ глядѣлъ съ полнымъ довѣріемъ. Онъ вѣрилъ и старухѣ, которая его привела сюда, и Егору; и когда упомянулъ давеча о водолѣчебномъ заведеніи, то видно было по лицу, что онъ вѣрилъ и въ заведеніе, и въ цѣлебную силу воды.

Кончивъ писать, Егоръ всталъ и прочелъ все письмо сначала. Старикъ не понялъ, но довѣрчиво закивалъ головой.

— Ничего, гладко...—сказалъ онъ:—дай Богъ здоровья. Ничего...

Положили на столъ три пятака и вышли изъ трактира;

старикъ глядѣлъ неподвижно и прямо, какъ слѣпой, и на лицѣ его было написано полное довѣріе, а Василиса, когда выходили изъ трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:

— У-у, язва!

Всю ночь старуха не спала, безпокоили ее мысли, а на разсвѣтѣ она встала, помолилась и пошла на станцію, чтобы послать письмо.

До станціи было одиннадцать верстъ.

II.

Водолѣчебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала и на Новый годъ такъ же, какъ въ обыкновенные дни, и только на швейцарѣ Андреѣ Хрисанфычѣ былъ мундиръ съ новыми галунами, блестѣли какъ-то особенно сапоги; и всѣхъ приходившихъ онъ поздравлялъ съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ.

Было утро. Андрей Хрисанфычъ стоялъ у двери и читалъ газету. Ровно въ десять часовъ вошелъ генералъ, знакомый, одинъ изъ обычныхъ посѣтителей, а вслѣдъ за нимъ—почтальонъ. Андрей Хрисанфычъ снялъ съ генерала шинель и сказалъ:

— Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, ваше превосходительство!

— Спасибо, любезный. И тебя также.

И идя вверхъ по лѣстницѣ, генералъ кивнулъ на дверь и спросилъ (онъ каждый день спрашивалъ и всякій разъ потомъ забывалъ):

— А въ этой комнатѣ что?

— Кабинетъ для массажа, ваше превосходительство!

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфычъ осмотрѣлъ полученную почту и нашелъ одно письмо на свое имя. Онъ распечаталъ, прочелъ нѣсколько строкъ, потомъ, не спѣша, глядя въ газету, пошелъ къ себѣ въ свою комнату, которая была тутъ же внизу въ концѣ коридора. Жена его Ефимья сидѣла на кровати и кормила ребенка; другой ребенокъ, самый старшій, стоялъ возлѣ, положивъ кудрявую голову ей на колѣни, третій спалъ на кровати.

Войдя въ свою комнатку, Андрей подалъ женѣ письмо и сказалъ:

— Должно, изъ деревни.

Затѣмъ онъ вышелъ, не отрывая глазъ отъ газеты, и остановился въ коридорѣ, недалеко отъ своей двери. Ему было слышно, какъ Ефимья дрожащимъ голосомъ прочла первыя строки. Прочла и ужъ больше не могла; для нея было довольно и этихъ строкъ, она залилась слезами и, обнимая своего старшенькаго, цѣлуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачетъ она или смѣется.

— Это отъ бабушки, отъ дѣдушки...—говорила она.— Изъ деревни... Царица небесная, святители угодники. Тамъ теперь снѣгу навалило подъ крыши... деревья бѣлыя-бѣлыя. Ребятки на махонькихъ саночкахъ... И дѣдушка лысенькій на печкѣ... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!

Андрей Хрисанфычъ, слушая это, вспомнилъ, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать въ деревню, но мѣшали какія-то важныя дѣла: онъ не послалъ, письма гдѣ-то завалялись.

— А въ полѣ зайчики бѣгаютъ,—причитывала Ефимья, обливаясь слезами, цѣлуя своего мальчика. — Дѣдушка тихій, добрый, бабушка тоже добрая, жалосливая. Въ деревнѣ душевно живутъ, Бога боятся... И церковочка въ селѣ, мужички на клиросѣ поютъ. Унесла бы насъ отсюда Царица небесная, заступница Матушка!

Андрей Хрисанфычъ вернулся къ себѣ въ комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришелъ, и Ефимья вдругъ замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у нея дрожали. Она его очень боялась, ахъ какъ боялась! Трепетала, приходила въ ужасъ отъ его шаговъ, отъ его взгляда, не смѣла сказать при немъ ни одного слова.

Андрей Хрисанфычъ закурилъ, но какъ разъ въ это время на верху позвонили. Онъ потушилъ папиросу и, сдѣлавъ очень серьезное лицо, побѣжалъ къ своей парадной двери.

Сверху спускался генералъ, розовый, свѣжій отъ ванны.

— А въ этой комнатѣ что?—спросилъ онъ, указывая на дверь.

Андрей Хрисанфычъ вытянулся, руки по швамъ, и произнесъ громко:

— Душъ Шарко, ваше превосходительство!

РАЗСКАЗЪ СТАРШАГО САДОВНИКА.

Въ оранжереѣ графовъ N. происходила распродажа цвѣтовъ. Покупателей было немного: я, мой сосѣдъ-помѣщикъ и молодой купецъ, торгующій лѣсомъ. Пока работники выносили наши великолѣпныя покупки и укладывали ихъ на телѣги, мы сидѣли у входа въ оранжерею и бесѣдовали о томъ, о сёмъ. Въ теплое апрѣльское утро сидѣть въ саду, слушать птицъ и видѣть, какъ вынесенные на свободу цвѣты нѣжатся на солнцѣ, чрезвычайно пріятно.

Укладкой растеній распоряжался самъ садовникъ, Михаилъ Карловичъ, почтенный старикъ съ полнымъ бритымъ лицомъ, въ мѣховой жилеткѣ, безъ сюртука. Онъ все время молчалъ, но прислушивался къ нашему разговору и ждалъ, не скажемъ ли мы чего-нибудь новенькаго. Это былъ умный, очень добрый, всѣми уважаемый человѣкъ. Всѣ почему-то считали его нѣмцемъ, хотя по отцу онъ былъ шведъ, по матери русскій и ходилъ въ православную церковь. Онъ зналъ по-русски, по-шведски и по-нѣмецки, много читалъ на этихъ языкахъ, и нельзя было доставить ему большаго удовольствія, какъ дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить съ нимъ, напримѣръ, объ Ибсенѣ.

Были у него слабости, но невинныя; такъ, онъ называлъ себя старшимъ садовникомъ, хотя младшихъ не было; выраженіе лица у него было необыкновенно важное и надменное; онъ не допускалъ противорѣчій и любилъ, чтобы его слушали серьезно и со вниманіемъ.

— Этотъ вотъ молодчикъ, рекомендую, ужасный негодяй,—сказалъ мой сосѣдъ, указывая на работника со смуглымъ цыганскимъ лицомъ, который проѣхалъ мимо на бочкѣ съ водой. — На прошлой недѣлѣ его судили въ городѣ за грабежъ и оправдали. Признали его душевно-больнымъ, а между тѣмъ, взгляните на рожу, онъ здоровёхонекъ. Въ

послѣднее время въ Россіи ужъ очень часто оправдываютъ негодяевъ, объясняя все болѣзненнымъ состояніемъ и аффектами, между тѣмъ, эти оправдательные приговоры, это очевидное послабленіе и потворство, къ добру не ведутъ. Они деморализуютъ массу, чувство справедливости притупилось у всѣхъ, такъ какъ привыкли уже видѣть порокъ безнаказаннымъ, и, знаете ли, про наше время смѣло можно сказать словами Шекспира: «Въ нанъ злой, развратный вѣкъ и добродѣтель должна просить прощенья у порока».

— Это вѣрно, вѣрно,—согласился купецъ.—Оттого, что оправдываютъ въ судахъ, убійствъ и поджоговъ стало гораздо больше. Спросите-ка у мужиковъ.

Садовникъ Михаилъ Карловичъ обернулся къ намъ и сказалъ:

— Что же касается меня, господа, то я всегда съ восторгомъ встрѣчаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорятъ «невиновенъ», а, напротивъ, чувствую удовольствіе. Даже когда моя совѣсть говоритъ мнѣ, что, оправдавъ преступника, присяжные сдѣлали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и присяжные болѣе вѣрятъ *человѣку*, чѣмъ уликамъ, вещественнымъ доказательствамъ и рѣчамъ, то развѣ эта *вѣра въ человѣка* сама по себѣ не выше всякихъ житейскихъ соображеній? Эта вѣра доступна только тѣмъ немногимъ, кто понимаетъ и чувствуетъ Христа.

— Мысль хорошая,—сказалъ я.

— Но это не новая мысль. Помнится, когда-то очень давно, я слышалъ даже легенду на эту тему. Очень милая легенда,—сказалъ садовникъ и улыбнулся.—Мнѣ разсказывала ее моя покойная бабушка, мать моего отца, отличная старуха. Она разсказывала по-шведски, но по-русски это выйдетъ не такъ красиво, не такъ классично.

Но мы попросили его разсказывать и не стѣсняться грубостью русскаго языка. Онъ, очень довольный, медленно закурилъ трубочку, сердито посмотрѣлъ на рабочихъ и началъ:

— Въ одномъ маленькомъ городкѣ поселился пожилой, одинокій и некрасивый господинъ по фамиліи Томсонъ или Вильсонъ,—ну, это все равно. Дѣло не въ фамиліи. Профессія у него была благородная: онъ лѣчилъ людей. Онъ былъ всегда угрюмъ и несообщителенъ, и говорилъ только, когда этого требовала его профессія. Ни къ кому онъ не

ходилъ въ гости, ни съ кѣмъ не распространялъ своего знакомства далѣе молчаливаго поклона и жилъ скромно, какъ схимникъ. Дѣло въ томъ, что онъ былъ ученый, а въ ту пору ученые не были похожи на обыкновенныхъ людей. Они проводили дни и ночи въ созерцаніи, въ чтеніи книгъ и лѣченіи болѣзней, на все же остальное смотрѣли какъ на пошлость и не имѣли времени говорить лишнихъ словъ. Жители города отлично понимали это и старались не надоѣдать ему своими посѣщеніями и пустой болтовней. Они были очень рады, что Богъ, наконецъ, послалъ имъ человѣка, умѣющаго лѣчить болѣзни, и гордились, что въ ихъ городѣ живетъ такой замѣчательный человѣкъ.

— Онъ знаетъ все,—говорили они про него.

Но этого было недостаточно. Надо было еще говорить: «онъ любитъ всѣхъ!» Въ груди этого ученаго человѣка билось чудное, ангельское сердце. Какъ бы ни было, вѣдь жители города были для него чужіе, не родные, но онъ любилъ ихъ, какъ дѣтей, и не жалѣлъ для нихъ даже своей жизни. У него самого была чахотка, онъ кашлялъ, но, когда его звали къ больному, забывалъ про свою болѣзнь, не щадилъ себя и, задыхаясь, взбирался на горы, какъ бы высоки онѣ ни были. Онъ пренебрегалъ зноемъ и холодомъ, презиралъ голодъ и жажду. Денегъ не бралъ и странное дѣло, когда у него умиралъ паціентъ, то онъ шелъ вмѣстѣ съ родственниками за гробомъ и плакалъ.

И скоро онъ сталъ для города такъ необходимъ, что жители удивлялись, какъ это они могли ранѣе обходиться безъ этого человѣка. Ихъ признательность не имѣла границъ. Взрослые и дѣти, добрые и злые, честные и мошенники—однимъ словомъ, всѣ уважали его и знали ему цѣну. Въ городкѣ и въ его окрестностяхъ не было человѣка, который позволилъ бы себѣ не только сдѣлать ему что-нибудь непріятное, но даже подумать объ этомъ. Выходя изъ своей квартиры, онъ никогда не запиралъ дверей и оконъ, въ полной увѣренности, что нѣтъ такого вора, который рѣшился бы обидѣть его. Часто ему приходилось, по долгу врача, ходить по большимъ дорогамъ, черезъ лѣса и горы, гдѣ во множествѣ бродили голодные бродяги, но онъ чувствовалъ себя въ полной безопасности. Однажды ночью онъ возвращался отъ больного, и на него напали въ лѣсу разбойники, но, узнавъ его, они почтительно сняли передъ нимъ

шляпы и спросили, не хочетъ ли онъ ѣсть. Когда онъ сказалъ, что онъ сытъ, они дали ему теплый плащъ и проводили его до самаго города, счастливые, что судьба послала имъ случай хотя чѣмъ-нибудь отблагодарить великодушнаго человѣка. Ну, далѣе, понятное дѣло, бабушка разсказывала, что даже лошади, коровы и собаки знали его и при встрѣчѣ съ нимъ изъявляли радость.

И этотъ человѣкъ, который, казалось, своею святостью оградилъ себя отъ всего злого, доброжелателями котораго считались даже разбойники и бѣшеные, въ одно прекрасное утро былъ найденъ убитымъ. Окровавленный, съ пробитымъ черепомъ, онъ лежалъ въ оврагѣ, и блѣдное лицо его выражало удивленіе. Да, не ужасъ, а удивленіе застыло на его лицѣ, когда онъ увидѣлъ передъ собою убійцу. Можете же представить себѣ теперь ту скорбь, какая овладѣла жителями города и окрестностей. Всѣ въ отчаяніи, не вѣря своимъ глазамъ, спрашивали себя: кто могъ убить этого человѣка? Судьи, которые производили слѣдствіе и осматривали трупъ доктора, сказали такъ: — «Здѣсь мы имѣемъ всѣ признаки убійства, но такъ какъ нѣтъ на свѣтѣ такого человѣка, который могъ бы убить нашего доктора, то, очевидно, убійства тутъ нѣтъ и совокупность признаковъ является только простою случайностью. Нужно предположить, что докторъ въ потемкахъ самъ упалъ въ оврагъ и ушибся до смерти».

Съ этимъ мнѣніемъ согласился весь городъ. Доктора погребли, и уже никто не говорилъ о насильственной смерти. Существованіе человѣка, у котораго хватило бы низости и гнусности убить доктора, казалось невѣроятнымъ. Вѣдь и гнусность имѣетъ свои предѣлы. Не такъ ли?

Но вдругъ, можете себѣ представить, случай наводитъ на убійцу. Увидѣли, какъ одинъ шелопай, уже много разъ судившійся, извѣстный своею развратною жизнью, пропивалъ въ кабакѣ табакерку и часы, принадлежавшіе доктору. Когда стали его уличать, онъ смутился и сказалъ какую-то очевидную ложь. Сдѣлали у него обыскъ и нашли въ постели рубаху съ окровавленными рукавами и докторскій ланцетъ въ золотой оправѣ. Какихъ же еще нужно уликъ? Злодѣя посадили въ тюрьму. Жители возмущались и въ то же время говорили:

— Невѣроятно! Не можетъ быть! Смотрите, какъ бы не

вышло ошибки; вѣдь случается, что улики говорятъ неправду!

На судѣ убійца упорно отрицалъ свою вину. Все говорило противъ него и убѣдиться въ его виновности было такъ же не трудно, какъ въ томъ, что эта земля черная, но судьи точно съ ума сошли: они по десяти разъ взвѣшивали каждую улику, недовѣрчиво посматривали на свидѣтелей, краснѣли, пили воду... Судить начали рано утромъ, а кончили только вечеромъ.

— Обвиняемый!—обратился главный судья къ убійцѣ.— Судъ призналъ тебя виновнымъ въ убійствѣ доктора такого-то и приговорилъ тебя къ...

Главный судья хотѣлъ сказать: «къ смертной казни», но выронилъ изъ рукъ бумагу, на которой былъ написанъ приговоръ, вытеръ холодный потъ и закричалъ:

— Нѣтъ! Если я неправильно сужу, то пусть меня накажетъ Богъ, но, клянусь, онъ не виноватъ! Я не допускаю мысли, чтобы могъ найтись человѣкъ, который осмѣлился бы убить нашего друга доктора! Человѣкъ неспособенъ пасть такъ глубоко!

— Да, нѣтъ такого человѣка,—согласились прочіе судьи.

— Нѣтъ!—откликнулась толпа.—Отпустите его!

Убійцу отпустили на всѣ четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей въ несправедливости. И Богъ, говорила моя бабушка, за такую вѣру въ человѣка простилъ грѣхи всѣмъ жителямъ городка. Онъ радуется, когда вѣруютъ, что человѣкъ Его образъ и подобіе, и скорбитъ, если, забывая о человѣческомъ достоинствѣ, о людяхъ судятъ хуже, чѣмъ о собакахъ. Пусть оправдательный приговоръ принесетъ жителямъ городка вредъ, но зато, посудите, какое благотворное вліяніе имѣла на нихъ эта вѣра въ человѣка, вѣра, которая вѣдь не остается мертвой; она воспитываетъ въ насъ великодушныя чувства и всегда побуждаетъ любить и уважать каждаго человѣка. Каждаго! А это важно.

Михаилъ Карловичъ кончилъ. Мой сосѣдъ хотѣлъ что-то возразить ему, но старшій садовникъ сдѣлалъ жестъ, означавшій, что онъ не любитъ возраженій, затѣмъ отошелъ къ телѣгамъ и съ выраженіемъ важности на лицѣ продолжалъ заниматься укладкой.

ВЪ МОРѢ.

(Разсказъ матроса.)

Видны были только тускнѣющіе огни оставленной гавани, да черное, какъ тушь, небо. Дулъ холодный, сырой вѣтеръ. Мы чувствовали надъ собой тяжелыя тучи, чувствовали ихъ желаніе разразиться дождемъ, и намъ было душно, несмотря на вѣтеръ и холодъ.

Мы, матросы, столпившись у себя въ кубрикѣ, бросали жеребій. Раздавался громкій, пьяный смѣхъ нашей братіи, слышались прибаутки, кто-то для потѣхи пѣлъ пѣтухомъ.

Мелкая дрожь пробѣгала у меня отъ затылка до самыхъ пятъ, точно въ моемъ затылкѣ была дыра, изъ которой сыпалась внизъ по голому тѣлу мелкая, холодная дробь. Дрожалъ я и отъ холода, и отъ другихъ причинъ, о которыхъ хочу здѣсь разсказать.

Человѣкъ, по моему мнѣнію, вообще гадокъ, а матросъ, признаться, бываетъ иногда гаже всего на свѣтѣ, гаже самаго сквернаго животнаго, которое все-таки имѣетъ оправданіе, такъ какъ подчиняется инстинкту. Можетъ-быть, я и ошибаюсь, такъ какъ жизни не знаю, но мнѣ кажется, все-таки у матроса больше поводовъ ненавидѣть и бранить себя, чѣмъ у кого-либо другого. Человѣку, который каждую минуту можетъ сорваться съ мачты, скрыться навсегда подъ волной, который знаетъ Бога, только когда утопаетъ или летитъ внизъ головой, нѣтъ нужды ни до чего, и ничего ему на сушѣ не жаль. Мы пьемъ много водки, мы развратничаемъ, потому что не знаемъ, кому и для чего нужна въ морѣ добродѣтель.

Но буду, однако, продолжать.

Мы бросали жеребій. Насъ всѣхъ, не занятыхъ, отбыв-

шихъ свою вахту, было двадцать два. Изъ этого числа только двоимъ могло выпасть на долю счастье насладиться рѣдкимъ спектаклемъ. Дѣло въ томъ, что «каюта для новобрачныхъ», которая была у насъ на пароходѣ, въ описываемую ночь имѣла пассажировъ, а въ стѣнахъ этой каюты было только два отверстія, которыми мы могли распорядиться. Одно отверстіе выпилилъ я самъ тонкой пилкой, пробуравивъ предварительно стѣну штопоромъ, другое же вырѣзалъ ножомъ одинъ мой товарищъ, и оба мы работали больше недѣли.

— Одно отверстіе досталось тебѣ!

— Кому?

Указали на меня.

— Другое кому?

— Твоему отцу!

Мой отецъ, старый, горбатый матросъ, съ лицомъ, похожимъ на печеное яблоко, подошелъ ко мнѣ и хлопнулъ меня по плечу.

— Сегодня, мальчишка, мы съ тобой счастливы, — сказалъ онъ мнѣ. — Слышишь, мальчишка? Счастье въ одно время выпало тебѣ и мнѣ. Это что-нибудь да значитъ.

Онъ нетерпѣливо спросилъ, который часъ. Было только одиннадцать.

Я вышелъ изъ кубрика, закурилъ трубку и сталъ глядѣть на море. Было темно, но, надо полагать, и въ глазахъ моихъ отражалось то, что происходило въ душѣ, такъ какъ на черномъ фонѣ ночи я различалъ образы, я видѣлъ то, чего такъ недоставало въ моей тогда еще молодой, но уже сгубленной жизни...

Въ двѣнадцать я прошелся мимо общей каюты и заглянулъ въ дверь. Новобрачный, молодой пасторъ съ красивой бѣлокурой головой, сидѣлъ за столомъ и держалъ въ рукахъ Евангеліе. Онъ объяснялъ что-то высокой, худой англичанкѣ. Новобрачная, молодая, стройная, очень красивая, сидѣла рядомъ съ мужемъ и не отрывала своихъ голубыхъ глазъ отъ его бѣлокурой головы. По каютѣ изъ угла въ уголъ ходилъ банкиръ, высокій, полный старикъ-англичанинъ съ рыжимъ, отталкивающимъ лицомъ. Это былъ мужъ пожилой дамы, съ которой бесѣдовалъ новобрачный.

«Пасторы имѣютъ привычку бесѣдовать по цѣлымъ часамъ! — подумалъ я. — Онъ не кончитъ до утра!»

Въ часъ подошелъ ко мнѣ отецъ и, дернувъ меня за рукавъ, сказалъ:

— Пора! Они вышли изъ общей каюты.

Я мигомъ слетѣлъ внизъ по крутой лѣстницѣ и направился къ знакомой стѣнѣ. Между этой стѣной и стѣной корабля былъ промежутокъ, полный сажи, воды, крысъ. Скоро я услышалъ тяжелые шаги старика-отца. Онъ спотыкался о кули, ящики съ керосиномъ и бранился.

Я нащупалъ свое отверстіе и вынулъ изъ него четырехугольный кусокъ дерева, который я такъ долго выпиливалъ. И я увидѣлъ тонкую, прозрачную кисею, сквозь которую пробивался ко мнѣ мягкій, розовый свѣтъ. И вмѣстѣ со свѣтомъ до моего горячаго лица коснулся удушающій, въ высшей степени пріятный запахъ; это былъ, должно-быть, запахъ аристократической спальной. Чтобы увидѣть спальную, нужно было раздвинуть кисею двумя пальцами, что̀ я и поспѣшилъ сдѣлать.

Я увидѣлъ бронзу, бархатъ, кружева. И все было залито розовымъ свѣтомъ. Въ полутора саженяхъ отъ моего лица стояла кровать.

— Пусти меня къ твоему отверстію,—сказалъ отецъ, нетерпѣливо толкая меня въ бокъ. — Въ твое лучше видно!

Я молчалъ.

— У тебя, мальчишка, глаза сильнѣе моихъ, и для тебя рѣшительно все равно, глядѣть издали или вблизи!

— Тише! — сказалъ я. — Не шуми, насъ могутъ услышать!

Новобрачная сидѣла на краю кровати, свѣсивъ свои маленькія ноги на мѣхъ. Она глядѣла въ землю. Передъ ней стоялъ ея мужъ, молодой пасторъ. Онъ говорилъ ей что-то, а что̀ именно—не знаю. Шумъ парохода мѣшалъ мнѣ слышать. Пасторъ говорилъ горячо, жестикулируя, сверкая глазами. Она слушала и отрицательно качала головой...

— Черртъ, меня укусила крыса!—проворчалъ отецъ.

Я плотнѣе прижалъ грудь къ стѣнѣ, какъ бы боясь, чтобы не выскочило сердце. Голова моя горѣла.

Говорили новобрачные долго. Пасторъ, наконецъ, опустился на колѣни и, протягивая къ ней руки, сталъ ее умолять. Она отрицательно покачала головой. Тогда онъ вскочилъ и заходилъ по каютѣ. По выраженію его лица и по движенію рукъ я догадался, что онъ угрожалъ.

Его молодая жена поднялась, медленно пошла къ стѣнѣ, гдѣ я стоялъ, и остановилась у самаго моего отверстія. Она стояла неподвижно и думала, а я пожиралъ глазами ея лицо. Мнѣ казалось, что она страдаетъ, что она борется съ собой, колеблется, и въ то же время черты ея выражали гнѣвъ. Я ничего не понималъ.

Вѣроятно, минутъ пять мы простояли такъ лицомъ къ лицу, потомъ она отошла и, остановившись среди каюты, кивнула своему пастору—въ знакъ согласія, должно-быть. Тотъ радостно улыбнулся, поцѣловалъ у нея руку и вышелъ изъ спальной.

Черезъ три минуты дверь отворилась, и въ спальную вошелъ пасторъ, а вслѣдъ за нимъ высокій, полный англичанинъ, о которомъ я говорилъ выше. Англичанинъ подошелъ къ кровати и спросилъ о чемъ-то у красавицы. Та, блѣдная, не глядя на него, утвердительно кивнула головой.

Англичанинъ-банкиръ вынулъ изъ кармана какую-то пачку, быть-можетъ, пачку банковыхъ билетовъ, и подалъ пастору. Тотъ осмотрѣлъ, сосчиталъ и съ поклономъ вышелъ. Старикъ-англичанинъ заперъ за нимъ дверь...

Я отскочилъ отъ стѣны, какъ ужаленный. Я испугался. Мнѣ показалось, что вѣтеръ разорвалъ нашъ пароходъ на части, что мы идемъ ко дну.

Старикъ-отецъ, этотъ пьяный, развратный человѣкъ, взялъ меня за руку и сказалъ:

— Выйдемъ отсюда! Ты не долженъ этого видѣть! Ты еще мальчикъ...

Онъ едва стоялъ на ногахъ. Я вынесъ его по крутой, извилистой лѣстницѣ наверхъ, гдѣ уже шелъ настоящій осенній дождь...

ЧЕЛОВѢКЪ ВЪ ФУТЛЯРѢ.

На самомъ краю села Мироносицкаго, въ сараѣ старосты Прокофія расположились на ночлегъ запоздавшіе охотники. Ихъ было только двое: ветеринарный врачъ Иванъ Иванычъ и учитель гимназіи Буркинъ. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилія — Чимша-Гималайскій, которая совсѣмъ не шла ему, и его во всей губерніи звали просто по имени и отчеству; онъ жилъ около города на конскомъ заводѣ и пріѣхалъ теперь на охоту, чтобы подышать чистымъ воздухомъ. Учитель же гимназіи Буркинъ каждое лѣто гостилъ у графовъ П. и въ этой мѣстности давно уже былъ своимъ человѣкомъ.

Не спали. Иванъ Иванычъ, высокій, худощавый старикъ съ длинными усами, сидѣлъ снаружи у входа и курилъ трубку; его освѣщала луна. Буркинъ лежалъ внутри на сѣнѣ и его не было видно въ потемкахъ.

Разсказывали разныя исторіи. Между прочимъ говорили о томъ, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигдѣ не была дальше своего родного села, никогда не видѣла ни города, ни желѣзной дороги, а въ послѣднія десять лѣтъ все сидѣла за печью и только по ночамъ выходила на улицу.

— Что же тутъ удивительнаго!—сказалъ Буркинъ.—Людей, одинокихъ по натурѣ, которые, какъ ракъ отшельникъ или улитка, стараются уйти въ свою скорлупу, на этомъ свѣтѣ не мало. Быть-можетъ, тутъ явленіе атавизма, возвращеніе къ тому времени, когда предокъ человѣка не

ылъ еще общественнымъ животнымъ и жилъ одиноко въ своей берлогѣ, а можетъ-быть это просто одна изъ разновидностей человѣческаго характера, — кто знаетъ? Я не естественникъ и не мое дѣло касаться подобныхъ вопросовъ; я только хочу сказать, что такіе люди, какъ Мавра, явленіе не рѣдкое. Да вотъ, не далеко искать, мѣсяца два назадъ умеръ у насъ въ городѣ нѣкій Бѣликовъ, учитель греческаго языка, мой товарищъ. Вы о немъ слышали, конечно. Онъ былъ замѣчателенъ тѣмъ, что всегда, даже въ очень хорошую погоду, выходилъ въ калошахъ и съ зонтикомъ и непремѣнно въ тепломъ пальто на ватѣ. И зонтикъ у него былъ въ чехлѣ, и часы въ чехлѣ изъ сѣрой замши и, когда вынималъ перочинный ножъ, чтобы починить карандашъ, то и ножъ у него былъ въ чехольчикѣ; и лицо, казалось, тоже было въ чехлѣ, такъ какъ онъ все время пряталъ его въ поднятый воротникъ. Онъ носилъ темныя очки, фуфайку, уши закладывалъ ватой и, когда садился на извозчика, то приказывалъ поднимать верхъ. Однимъ словомъ, у этого человѣка наблюдалось постоянное и непреодолимое стремленіе окружить себя оболочкой, создать себѣ, такъ сказать, футляръ, который единилъ бы его, защитилъ бы отъ внѣшнихъ вліяній. Дѣйствительность раздражала его, пугала, держала въ постоянной тревогѣ и, быть-можетъ, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращеніе къ настоящему, онъ всегда хвалилъ прошлое и то, чего никогда не было; древніе языки, которые онъ преподавалъ, были для него въ сущности тѣ же калоши и зонтикъ, куда онъ прятался отъ дѣйствительной жизни.

— О, какъ звученъ, какъ прекрасенъ греческій языкъ!— говорилъ онъ со сладкимъ выраженіемъ; и, какъ бы въ доказательство своихъ словъ, прищуривъ глазъ и поднявъ палецъ, произносилъ:—Антропосъ!

И мысль свою Бѣликовъ также старался запрятать въ футляръ. Для него были ясны только циркуляры и газетныя статьи, въ которыхъ запрещалось что-нибудь. Когда въ циркулярѣ запрещалось ученикамъ выходить на улицу послѣ девяти часовъ вечера, или въ какой-нибудь статьѣ запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, опредѣленно; запрещено — и баста. Въ разрѣшеніи же и дозволеніи скрывался для него всегда элементъ сомнитель-

ный, что-то недосказанное и смутное. Когда въ городѣ разрѣшали драматическій кружокъ, или читальню, или чайную, то онъ покачивалъ головой и говорилъ тихо:

— Оно, конечно, такъ-то такъ, все это прекрасно, да какъ бы чего не вышло.

Всякаго рода нарушенія, уклоненія, отступленія отъ правилъ приводили его въ уныніе, хотя, казалось бы, какое ему дѣло? Если кто изъ товарищей опаздывалъ на молебенъ, или доходили слухи о какой-нибудь проказѣ гимназистовъ, или видѣли классную даму поздно вечеромъ съ офицеромъ, то онъ очень волновался и все говорилъ, какъ бы чего не вышло. А на педагогическихъ совѣтахъ онъ просто угнеталъ насъ своею осторожностью, мнительностью и своими чисто-футлярными соображеніями насчетъ того, что вотъ-де въ мужской и женской гимназіяхъ молодежь ведетъ себя дурно, очень шумитъ въ классахъ,—ахъ, какъ бы не дошло до начальства, ахъ, какъ бы чего не вышло, — и что если бъ изъ второго класса исключить Петрова, а изъ четвертаго — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьемъ, своими темными очками на блѣдномъ, маленькомъ лицѣ,—знаете, маленькомъ лицѣ, какъ у хорька, — онъ давилъ насъ всѣхъ, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову баллъ по поведенію, сажали ихъ подъ арестъ и въ концѣ-концовъ исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновеніе—ходить по нашимъ квартирамъ. Придетъ къ учителю, сядетъ и молчитъ, и какъ будто что-то высматриваетъ. Посидитъ, этакъ, молча, часъ-другой, и уйдетъ. Это называлось у него «поддерживать добрыя отношенія съ товарищами» и, очевидно, ходить къ намъ и сидѣть было для него тяжело и ходилъ онъ къ намъ только потому, что считалъ это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директоръ боялся. Вотъ подите же, наши учителя народъ все мыслящій, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневѣ и Щедринѣ, однако же этотъ человѣчекъ, ходившій всегда въ калошахъ и съ зонтикомъ, держалъ въ рукахъ всю гимназію цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ! Да что гимназію? Весь городъ! Наши дамы по субботамъ домашнихъ спектаклей не устраивали, боялись, какъ бы онъ не узналъ; и духовенство стѣснялось при немъ кушать скоромное и играть въ карты.

Іодъ вліяніемъ такихъ людей, какъ Бѣликовъ, за по-
лѣднія десять-пятнадцать лѣтъ въ нашемъ городѣ стали
ояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма,
накомиться, читать книги, боятся помогать бѣднымъ, учить
рамотѣ...

Иванъ Иванычъ, желая что-то сказать, кашлянулъ, но
начала закурилъ трубку, поглядѣлъ на луну и потомъ уже
казалъ съ разстановкой:

— Да. Мыслящіе, порядочные, читаютъ и Щедрина, и
ургенева, разныхъ тамъ Боклей и прочее, а вотъ подчи-
лись же, терпѣли... То-то вотъ оно и есть.

— Бѣликовъ жилъ въ томъ же домѣ, гдѣ и я, — про-
олжалъ Буркинъ: — въ томъ же этажѣ, дверь противъ
зери, мы часто видѣлись, и я зналъ его домашнюю
изнь. И дома та же исторія: халатъ, колпакъ, ставни,
движки, цѣлый рядъ всякихъ запрещеній, ограниченій.
— ахъ, какъ бы чего не вышло! Постное ѣсть вредно, а
коромное нельзя, такъ какъ, пожалуй, скажутъ, что Бѣ-
ковъ не исполняетъ постовъ, и онъ ѣлъ судака на ко-
овьемъ маслѣ, — пища не постная, но и нельзя сказать,
обы скоромная. Женской прислуги онъ не держалъ изъ
раха, чтобы о немъ не думали дурно, а держалъ повара
анасія, старика лѣтъ шестидесяти, нетрезваго и поло-
наго, который когда-то служилъ въ денщикахъ и умѣлъ
е-какъ стряпать. Этотъ Аѳанасій стоялъ обыкновенно у
зери, скрестивъ руки, и всегда бормоталъ одно и то же,
глубокимъ вздохомъ:

— Много ужъ *ихъ* нынче развелось!

Спальня у Бѣликова была маленькая, точно ящикъ, кро-
ть была съ пологомъ. Ложась спать, онъ укрывался съ
ловой; было жарко, душно, въ закрытыя двери стучался вѣ-
ръ, въ печкѣ гудѣло; слышались вздохи изъ кухни, вздохи
овѣщіе...

И ему было страшно подъ одѣяломъ. Онъ боялся, какъ
чего не вышло, какъ бы его не зарѣзалъ Аѳанасій,
къ бы не забрались воры, и потомъ всю ночь видѣлъ
евожные сны, а утромъ, когда мы вмѣстѣ шли въ гим-
зію, былъ скученъ, блѣденъ и было видно, что много-
дная гимназія, въ которую онъ шелъ, была страшна,
отивна всему существу его, и что идти рядомъ со мной
у, человѣку по натурѣ одинокому, было тяжко.

— Очень ужъ шумятъ у насъ въ классахъ, — говорилъ онъ, какъ бы стараясь отыскать объясненія своему тяжелому чувству.—Ни на что не похоже.

И этотъ учитель греческаго языка, этотъ человѣкъ въ футлярѣ, можете себѣ представить, едва не женился.

Иванъ Иванычъ быстро оглянулся въ сарай и сказалъ:

— Шутите!

— Да, едва не женился, какъ это ни странно. Назначили къ намъ новаго учителя исторіи и географіи, нѣкоего Коваленко, Михаила Саввича, изъ хохловъ. Пріѣхалъ онъ не одинъ, а съ сестрой Варенькой. Онъ молодой, высокій, смуглый, съ громадными руками, и по лицу видно, что говоритъ басомъ, и въ самомъ дѣлѣ, голосъ какъ изъ бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лѣтъ тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, — однимъ словомъ, не дѣвица, а мармеладъ, и такая разбитная, шумная, все поетъ малороссійскіе романсы и хохочетъ. Чуть что, такъ и зальется голосистымъ смѣхомъ: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство съ Коваленками у насъ, помню, произошло на именинахъ у директора. Среди суровыхъ, напряженно скучныхъ педагоговъ, которые и на именины-то ходятъ по обязанности, вдругъ видимъ, новая Афродита возродилась изъ пѣны: ходитъ подбоченясь, хохочетъ, поетъ, пляшетъ... Она спѣла съ чувствомъ «Віютъ витры», потомъ еще романсъ, и еще, и всѣхъ насъ очаровала, — всѣхъ, даже Бѣликова. Онъ подсѣлъ къ ней и сказалъ, сладко улыбаясь:

— Малороссійскій языкъ своею нѣжностью и пріятною звучностью напоминаетъ древне-греческій.

Это польстило ей, и она стала разсказывать ему съ чувствомъ и убѣдительно, что въ Гадячскомъ уѣздѣ у нея есть хуторъ, а на хуторѣ живетъ мамочка, и тамъ такія груши, такія дыни, такіе кабаки! У хохловъ тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варятъ у нихъ борщъ съ красненькими и съ синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто—ужасъ!»

Слушали мы слушали, и вдругъ всѣхъ насъ осѣнила одна и та же мысль.

— А хорошо бы ихъ поженить,—тихо сказала мнѣ директорша.

Мы всѣ почему-то вспомнили, что нашъ Бѣликовъ не

женатъ, и намъ теперь казалось страннымъ, что мы до сихъ поръ какъ-то не замѣчали, совершенно упускали изъ виду такую важную подробность въ его жизни. Какъ вообще онъ относится къ женщинѣ, какъ онъ рѣшаетъ для себя этотъ насущный вопросъ? Раньше это не интересовало насъ вовсе; быть-можетъ, мы не допускали даже и мысли, что человѣкъ, который во всякую погоду ходитъ въ калошахъ и спитъ подъ пологомъ, можетъ любить.

— Ему давно уже за сорокъ, а ей тридцать...—пояснила свою мысль директорша. — Мнѣ кажется, она бы за него пошла.

Чего только не дѣлается у насъ въ провинціи отъ скуки, сколько ненужнаго, вздорнаго! И это потому, что совсѣмъ не дѣлается то, что нужно. Ну, вотъ къ чему намъ вдругъ понадобилось женить этого Бѣликова, котораго даже и вообразить нельзя было женатымъ? Директорша, инспекторша и всѣ наши гимназическія дамы ожили, даже похорошѣли, точно вдругъ увидѣли цѣль жизни. Директорша беретъ въ театрѣ ложу, и смотримъ — въ ея ложѣ сидитъ Варинька съ этакимъ вѣеромъ, сіяющая, счастливая, и рядомъ съ ней Бѣликовъ, маленькій, скрюченный, точно его изъ дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуютъ, чтобы я непремѣнно пригласилъ и Бѣликова, и Вариньку. Однимъ словомъ, заработала машина. Оказалось, что Варинька не прочь была замужъ. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по цѣлымъ днямъ спорили и ругались. Вотъ вамъ сцена: идетъ Коваленко по улицѣ, высокій, здоровый верзила, въ вышитой сорочкѣ, чубъ изъ-подъ фуражки падаетъ на лобъ; въ одной рукѣ пачка книгъ, въ другой толстая суковатая палка. За нимъ идетъ сестра, тоже съ книгами.

— Да ты же, Михайликъ, этого не читалъ! — споритъ она громко.—Я же тебѣ говорю, клянусь, ты не читалъ же этого вовсе!

— А я тебѣ говорю, что читалъ! — кричитъ Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ахъ же, Боже жъ мой, Минчикъ! Чего же ты сердишься, вѣдь у насъ же разговоръ принципіальный.

— А я тебѣ говорю, что я читалъ!—кричитъ еще громче Коваленко.

А дома, какъ кто посторонній, такъ и перепалка. Та-

кая жизнь, вѣроятно, наскучила, хотѣлось своего угла, да и возрастъ принять во вниманіе; тутъ ужъ перебирать некогда, выйдешь, за кого угодно, даже за учителя греческаго языка. И то сказать, для большинства нашихъ барышенъ за кого ни выйти, лишь бы выйти. Какъ бы ни было, Варинька стала оказывать нашему Бѣликову явную благосклонность.

А Бѣликовъ? Онъ и къ Коваленку ходилъ такъ же, какъ къ намъ. Придетъ къ нему, сядетъ и молчитъ. Онъ молчитъ, а Варенька поетъ ему «Віютъ витры» или глядитъ на него задумчиво своими темными глазами, или вдругъ зальется:

— Ха-ха-ха!

Въ любовныхъ дѣлахъ, а особенно въ женитьбѣ, внушеніе играетъ большую роль. Всѣ — и товарищи и дамы — стали увѣрять Бѣликова, что онъ долженъ жениться, что ему ничего больше не остается въ жизни, какъ жениться; всѣ мы поздравляли его, говорили съ важными лицами разныя пошлости, въ родѣ того-де, что бракъ есть шагъ серьезный; къ тому же Варинька была не дурна собой, интересна, она была дочь статскаго совѣтника и имѣла хуторъ, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась къ нему ласково, сердечно, — голова у него закружилась, и онъ рѣшилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ нужно жениться.

— Вотъ тутъ бы и отобрать у него калоши и зонтикъ,— проговорилъ Иванъ Иванычъ.

— Представьте, это оказалось невозможнымъ. Онъ поставилъ у себя на столѣ портретъ Вариньки и все ходилъ ко мнѣ и говорилъ о Варинькѣ, о семейной жизни, о томъ, что бракъ есть шагъ серьезный, часто бывалъ у Коваленковъ, но образа жизни не измѣнилъ нисколько. Даже наоборотъ, рѣшеніе жениться подѣйствовало на него какъ-то болѣзненно, онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ и, казалось, еще глубже ушелъ въ свой футляръ.

— Варвара Саввишна мнѣ нравится,—говорилъ онъ мнѣ со слабой кривой улыбочкой:—и я знаю, жениться необходимо каждому человѣку, но... все это, знаете ли, произошло какъ-то вдругъ... Надо подумать.

— Что же тутъ думать?—говорю ему.—Женитесь, вотъ и все.

— Нѣтъ, женитьба—шагъ серьезный, надо сначала взвѣсить предстоящія обязанности, отвѣтственность..., что бы потомъ чего не вышло. Это меня такъ безпокоитъ, я теперь всѣ ночи не сплю. И признаться, я боюсь: у нея съ братомъ какой-то странный образъ мыслей, разсуждаютъ они какъ-то, знаете ли, странно и характеръ очень бойкій. Женишься, а потомъ чего добраго попадешь въ какую-нибудь исторію.

И онъ не дѣлалъ предложенія, все откладывалъ, къ великой досадѣ директорши и всѣхъ нашихъ дамъ; все взвѣшивалъ предстоящія обязанности и отвѣтственность, и между тѣмъ почти каждый день гулялъ съ Варинькой, быть-можетъ, думалъ, что это такъ нужно въ его положеніи, и приходилъ ко мнѣ, чтобы поговорить о семейной жизни. И по всей вѣроятности, въ концѣ-концовъ онъ сдѣлалъ бы предложеніе и совершился бы одинъ изъ тѣхъ не нужныхъ, глупыхъ браковъ, какихъ у насъ отъ скуки и отъ нечего дѣлать совершаются тысячи, если бы вдругъ не произошелъ kolossalische Scandal. Нужно сказать, что братъ Вариньки, Коваленко, возненавидѣлъ Бѣликова съ перваго же дня знакомства и терпѣть его не могъ.

— Не понимаю, — говорилъ онъ намъ, пожимая плечами: — не понимаю, какъ вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эхъ, господа, какъ вы можете тутъ жить! Атмосфера у васъ удушающая, поганая. Развѣ вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у васъ не храмъ науки, а управа благочинія, и кислятиной воняетъ, какъ въ полицейской будкѣ. Нѣтъ, братцы, поживу съ вами еще немного и уѣду къ себѣ на хуторъ и буду тамъ раковъ ловить и хохлятъ учить. Уѣду, а вы оставайтесь тутъ со своимъ іудой, нехай винъ лопне.

Или онъ хохоталъ, хохоталъ до слезъ то басомъ, то тонкимъ писклявымъ голосомъ и спрашивалъ меня, разводя руками:

— Шо онъ у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Онъ даже названіе далъ Бѣликову «глитай абожъ паукъ». И, понятно, мы избѣгали говорить съ нимъ о томъ, что сестра его Варинька собирается за «абожъ паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солиднаго, всѣми уважае-

маго человѣка, какъ Бѣликовъ, то онъ нахмурился и проворчалъ:

— Не мое это дѣло. Пускай она выходитъ хоть за гадюку, а я не люблю въ чужія дѣла мѣшаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказникъ нарисовалъ каррикатуру: идетъ Бѣликовъ въ калошахъ, въ подсученныхъ брюкахъ, подъ зонтомъ, и съ нимъ подъ руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропосъ». Выраженіе схвачено, понимаете ли, удивительно. Художникъ, должно-быть, проработалъ не одну ночь, такъ какъ всѣ учителя мужской и женской гимназій, учителя семинаріи, чиновники,—всѣ получили по экземпляру. Получилъ и Бѣликовъ. Каррикатура произвела на него самое тяжелое впечатлѣніе.

Выходимъ мы вмѣстѣ изъ дому, — это было какъ разъ первое мая, воскресенье, и мы всѣ, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназіи и потомъ вмѣстѣ идти пѣшкомъ за городъ въ рощу, — выходимъ мы, а онъ зеленый, мрачнѣе тучи.

— Какіе есть нехорошіе, злые люди!—проговорилъ онъ, и губы у него задрожали.

Мнѣ даже жалко его стало. Идемъ и вдругъ, можете себѣ представить, катитъ на велосипедѣ Коваленко, а за нимъ Варинька, тоже на велосипедѣ, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы,—кричитъ она,—впередъ ѣдемъ! Уже жъ такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужасъ!

И скрылись оба. Мой Бѣликовъ изъ зеленаго сталъ бѣлымъ и точно оцѣпенѣлъ. Остановился и смотритъ на меня...

— Позвольте, что же это такое?—спросилъ онъ.—Или, быть-можетъ, меня обманываетъ зрѣніе? Развѣ преподавателямъ гимназіи и женщинамъ прилично ѣздить на велосипедѣ?

— Что же тутъ неприличнаго? — сказалъ я. — И пусть катаются себѣ на здоровье.

— Да какъ же можно?—крикнулъ онъ, изумляясь моему спокойствію.—Что вы говорите?!

И онъ былъ такъ пораженъ, что не захотѣлъ идти дальше и вернулся домой.

На другой день онъ все время нервно потиралъ руки и вздрагивалъ, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И

съ занятій ушелъ, что случилось съ нимъ первый разъ въ жизни. И не обѣдалъ. А подъ вечеръ одѣлся потеплѣе, хотя на дворѣ стояла совсѣмъ лѣтняя погода, и поплелся къ Коваленкамъ. Вариньки не было дома, засталъ онъ только брата.

— Садитесь, покорнѣйше прошу, — проговорилъ Коваленко холодно и нахмурилъ брови; лицо у него было заспанное, онъ только-что отдыхалъ послѣ обѣда и былъ сильно не въ духѣ.

Бѣликовъ посидѣлъ молча минутъ десять и началъ:

— Я къ вамъ пришелъ, чтобъ облегчить душу. Мнѣ очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянтъ нарисовалъ въ смѣшномъ видѣ меня и еще одну особу, намъ обоимъ близкую. Считаю долгомъ увѣрить васъ, что я тутъ ни при чемъ... Я не подавалъ никакого повода къ такой насмѣшкѣ,—напротивъ же, все время велъ себя какъ вполнѣ порядочный человѣкъ.

Коваленко сидѣлъ, надувшись, и молчалъ. Бѣликовъ подождалъ немного и продолжалъ тихо, печальнымъ голосомъ:

— И еще я имѣю кое-что сказать вамъ. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгомъ, какъ старшій товарищъ, предостеречь васъ. Вы катаетесь на велосипедѣ, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же?—спросилъ Коваленко басомъ.

— Да развѣ тутъ надо еще объяснять, Михаилъ Саввичъ, развѣ это не понятно? Если учитель ѣдетъ на велосипедѣ, то что же остается ученикамъ? Имъ остается только ходить на головахъ! И разъ это не разрѣшено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидѣлъ вашу сестрицу, то у меня помутилось въ глазахъ. Женщина или дѣвушка на велосипедѣ—это ужасно!

— Что же собственно вамъ угодно?

— Мнѣ угодно только одно — предостеречь васъ, Михаилъ Саввичъ. Вы — человѣкъ молодой, у васъ впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же такъ манкируете, охъ, какъ манкируете! Вы ходите въ вышитой сорочкѣ, постоянно на улицѣ съ какими-то книгами, а теперь вотъ еще велосипедъ. О томъ, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипедѣ, узнаетъ директоръ, потомъ дойдетъ до попечителя... Что же хорошаго?

— Что я и сестра катаемся на велосипедѣ, никому нѣтъ до этого дѣла!—сказалъ Коваленко и побагровѣлъ.— А кто будетъ вмѣшиваться въ мои домашнія и семейныя дѣла, того я пошлю къ чертямъ собачьимъ.

Бѣликовъ поблѣднѣлъ и всталъ.

— Если вы говорите со мной такимъ тономъ, то я не могу продолжать, — сказалъ онъ. — И прошу васъ никогда такъ не выражаться въ моемъ присутствіи о начальникахъ. Вы должны съ уваженіемъ относиться къ властямъ.

— А развѣ я говорилъ что дурное про властей?—спросилъ Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ. Я честный человѣкъ и съ такимъ господиномъ, какъ вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискаловъ.

Бѣликовъ нервно засуетился и сталъ одѣваться быстро, съ выраженіемъ ужаса на лицѣ. Вѣдь это первый разъ въ жизни онъ слышалъ такія грубости.

— Можете говорить, что вамъ угодно, — сказалъ онъ, выходя изъ передней на площадку лѣстницы.—Я долженъ только предупредить васъ: быть-можетъ, насъ слышалъ кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я долженъ буду доложить господину директору содержаніе нашего разговора... въ главныхъ чертахъ. Я обязанъ это сдѣлать.

— Доложить? Ступай, докладывай!

Коваленко схватилъ его сзади за воротникъ и пихнулъ, и Бѣликовъ покатился внизъ по лѣстницѣ, гремя своими калошами. Лѣстница была высокая, крутая, но онъ докатился до низу благополучно; всталъ и потрогалъ себя за носъ: цѣлы ли очки? Но какъ разъ въ то время, когда онъ катился по лѣстницѣ, вошла Варинька и съ нею двѣ дамы; онѣ стояли внизу и глядѣли — и для Бѣликова это было ужаснѣе всего. Лучше бы, кажется, сломать себѣ шею, обѣ ноги, чѣмъ стать посмѣшищемъ; вѣдь теперь узнаетъ весь городъ, дойдетъ до директора, попечителя,—ахъ, какъ бы чего не вышло!—нарисуютъ новую каррикатуру и кончится все это тѣмъ, что прикажутъ подать въ отставку...

Когда онъ поднялся, Варинька узнала его и, глядя на его смѣшное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, въ чемъ дѣло, полагая, что это онъ упалъ самъ нечаянно, не удержалась и захохотала на весь домъ:

— Ха-ха-ха!

И этимъ раскатистымъ, заливчатымъ «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существованіе Бѣликова. Уже онъ не слышалъ, что говорила Варинька, и ничего не видѣлъ. Вернувшись къ себѣ домой, онъ прежде всего убралъ со стола портретъ, а потомъ легъ и уже больше не вставалъ.

Дня черезъ три пришелъ ко мнѣ Аѳанасій и спросилъ, не надо ли послать за докторомъ, такъ какъ-де съ бариномъ что-то дѣлается. Я пошелъ къ Бѣликову. Онъ лежалъ подъ пологомъ, укрытый одѣяломъ, и молчалъ; спросишь его, а онъ только да или нѣтъ—и больше ни звука. Онъ лежитъ, а возлѣ бродитъ Аѳанасій, мрачный, нахмуренный, и вздыхаетъ глубоко; а отъ него водкой, какъ изъ кабака.

Черезъ мѣсяцъ Бѣликовъ умеръ. Хоронили мы его всѣ, то-есть обѣ гимназіи и семинарія. Теперь, когда онъ лежалъ въ гробу, выраженіе у него было кроткое, пріятное, даже веселое, точно онъ былъ радъ, что, наконецъ, его положили въ футляръ, изъ котораго онъ уже никогда не выйдетъ. Да, онъ достигъ своего идеала! И какъ бы въ честь его, во время похоронъ, была пасмурная, дождливая погода, и всѣ мы были въ калошахъ и съ зонтами. Варинька тоже была на похоронахъ и, когда гробъ опускали въ могилу, всплакнула. Я замѣтилъ, что хохлушки только плачутъ или хохочутъ, средняго же настроенія у нихъ не бываетъ.

Признаюсь, хоронить такихъ людей, какъ Бѣликовъ, это большое удовольствіе. Когда мы возвращались съ кладбища, то у насъ были скромныя постныя физіономіи; никому не хотѣлось обнаружить этого чувства удовольствія, — чувства, похожаго на то, какое мы испытывали давно-давно, еще въ дѣтствѣ, когда старшіе уѣзжали изъ дому и мы бѣгали по саду часъ-другой, наслаждаясь полною свободой. Ахъ, свобода, свобода! Даже намекъ, даже слабая надежда на ея возможность даетъ душѣ крылья, не правда ли?

Вернулись мы съ кладбища въ добромъ расположеніи. Но прошло не больше недѣли, и жизнь потекла попрежнему, такая же суровая, утомительная, безтолковая, жизнь не запрещенная циркулярно, но и не разрѣшенная вполнѣ;

не стало лучше. И въ самомъ дѣлѣ, Бѣликова похоронили, а сколько еще такихъ человѣковъ въ футлярѣ осталось, сколько ихъ еще будетъ!

— То-то вотъ оно и есть,— сказалъ Иванъ Иванычъ и закурилъ трубку.

— Сколько ихъ еще будетъ!—повторилъ Буркинъ.

Учитель гимназіи вышелъ изъ сарая. Это былъ человѣкъ небольшого роста, толстый, совершенно лысый, съ черной бородой чуть не по-поясъ; и съ нимъ вышли двѣ собаки.

— Луна-то, луна!—сказалъ онъ, глядя вверхъ.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верстъ на пять. Все было погружено въ тихій, глубокій сонъ; ни движенія, ни звука, даже не вѣрится, что въ природѣ можетъ быть такъ тихо. Когда въ лунную ночь видишь широкую сельскую улицу съ ея избами, стогами, уснувшими ивами, то на душѣ становится тихо; въ этомъ своемъ покоѣ, укрывшись въ ночныхъ тѣняхъ отъ трудовъ, заботъ и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звѣзды смотрятъ на нее ласково и съ умиленіемъ, и что зла уже нѣтъ на землѣ и все благополучно. Налѣво съ края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитаго луннымъ свѣтомъ, тоже ни движенія, ни звука.

— То-то вотъ оно и есть, — повторилъ Иванъ Иванычъ.—А развѣ то, что мы живемъ въ городѣ въ духотѣ, въ тѣснотѣ, пишемъ ненужныя бумаги, играемъ въ винтъ— развѣ это не футляръ? А то, что мы проводимъ всю жизнь среди бездѣльниковъ, сутягъ, глупыхъ, праздныхъ женщинъ, говоримъ и слушаемъ разный вздоръ — развѣ это не футляръ? Вотъ если желаете, то я разскажу вамъ одну очень поучительную исторію.

— Нѣтъ, ужъ пора спать,—сказалъ Буркинъ.—До завтра!

Оба пошли въ сарай и легли на сѣнѣ. И уже оба укрылись и задремали, какъ вдругъ послышались легкіе шаги: тупъ, тупъ... Кто-то ходилъ не далеко отъ сарая; пройдетъ немного и остановится, а черезъ минуту опять: тупъ, тупъ... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходитъ,— сказалъ Буркинъ.

Шаги затихли.

— Видѣть и слышать, какъ лгутъ,—проговорилъ Иванъ Иванычъ, поворачиваясь на другой бокъ:—и тебя же называютъ дуракомъ за то, что ты терпишь эту ложь, сносить обиды, униженія, не смѣть открыто заявить, что ты на сторонѣ честныхъ, свободныхъ людей, и самому лгать, улыбаться, и все это изъ-за куска хлѣба, изъ-за теплаго угла, изъ-за какого-нибудь чинишка, которому грошъ цѣна,—нѣтъ, больше жить такъ невозможно!

— Ну, ужъ это вы изъ другой оперы, Иванъ Иванычъ,—сказалъ учитель.—Давайте спать.

И минутъ черезъ десять Буркинъ уже спалъ. А Иванъ Иванычъ все ворочался съ боку на бокъ и вздыхалъ, а потомъ всталъ, опять вышелъ наружу и, сѣвши у дверей, закурилъ трубочку.

КРЫЖОВНИКЪ.

Еще съ ранняго утра все небо обложили дождевыя тучи; было тихо, не жарко и скучно, какъ бываетъ въ сѣрые пасмурные дни, когда надъ полемъ давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нѣтъ. Ветеринарный врачъ Иванъ Иванычъ и учитель гимназіи Буркинъ уже утомились идти и поле представлялось имъ безконечнымъ. Далеко впереди еле были видны вѣтряныя мельницы села Мироносицкаго, справа тянулся и потомъ исчезалъ далеко за селомъ рядъ холмовъ, и оба они знали, что это берегъ рѣки, тамъ луга, зеленыя ивы, усадьбы и, если стать на одинъ изъ холмовъ, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграфъ и поѣздъ, который издали похожъ на ползущую гусеницу, а въ ясную погоду оттуда бываетъ виденъ даже городъ. Теперь, въ тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иванъ Иванычъ и Буркинъ были проникнуты любовью къ этому полю и оба думали о томъ, какъ велика, какъ прекрасна эта страна.

— Въ прошлый разъ, когда мы были въ сараѣ у старосты Прокофія,—сказалъ Буркинъ:—вы собирались разсказать какую-то исторію.

— Да, я хотѣлъ тогда разсказать про своего брата.

Иванъ Иванычъ протяжно вздохнулъ и закурилъ трубочку, чтобы начать разсказывать, но какъ разъ въ это время пошелъ дождь. И минутъ черезъ пять лилъ уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидѣть, когда онъ кончится. Иванъ Иванычъ и Буркинъ остановились въ раздумьи; собаки, уже мокрыя, стояли, поджавъ хвосты, и смотрѣли на нихъ съ умиленіемъ.

— Намъ нужно укрыться куда-нибудь, — сказалъ Буркинъ.—Пойдемте къ Алехину. Тутъ близко.

— Пойдемте.

Они свернули въ сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, садъ, потомъ красныя крыши амбаровъ; заблестѣла рѣка и открылся видъ на широкій плесъ съ мельницей и бѣлою купальней. Это было Софьино, гдѣ жилъ Алехинъ.

Мельница работала, заглушая шумъ дождя; плотина дрожала. Тутъ около телѣгъ стояли мокрыя лошади, понуривъ головы, и ходили люди, накрывшись мѣшками. Было сыро, грязно, неуютно, и видъ у плеса былъ холодный, злой. Иванъ Иванычъ и Буркинъ испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всемъ тѣлѣ, ноги отяжелѣли отъ грязи и, когда, пройдя плотину, они поднимались къ господскимъ амбарамъ, то молчали, точно сердились другъ на друга.

Въ одномъ изъ амбаровъ шумѣла вѣялка; дверь была открыта и изъ нея валила пыль. На порогѣ стоялъ самъ Алехинъ, мужчина лѣтъ сорока, высокій, полный, съ длинными волосами, похожій больше на профессора или художника, чѣмъ на помѣщика. На немъ была бѣлая, давно не мытая рубаха съ веревочнымъ пояскомъ, вмѣсто брюкъ кальсоны, и на сапогахъ тоже налипли грязь и солома. Носъ и глаза были черны отъ пыли. Онъ узналъ Ивана Иваныча и Буркина и, повидимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, въ домъ, — сказалъ онъ, улыбаясь.—Я сейчасъ, сію минуту.

Домъ былъ большой двухъэтажный. Алехинъ жилъ внизу въ двухъ комнатахъ со сводами и съ маленькими окнами, гдѣ когда-то жили приказчики; тутъ была обстановка простая и пахло ржанымъ хлѣбомъ, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, въ парадныхъ комнатахъ, онъ бывалъ рѣдко, только когда пріѣзжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встрѣтила въ домѣ горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разомъ остановились и поглядѣли другъ на друга.

— Вы не можете себѣ представить, какъ я радъ видѣть васъ, господа, — говорилъ Алехинъ, входя за ними въ переднюю. — Вотъ не ожидалъ! Пелагея, — обратился

онъ къ горничной: — дайте гостямъ переодѣться во что-нибудь. Да кстати и я переодѣнусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, съ весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти въ купальню, а тутъ пока приготовятъ.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на видъ такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехинъ съ гостями пошелъ въ купальню.

— Да, давно я уже не мылся, — говорилъ онъ, раздѣваясь. — Купальня у меня, какъ видите, хорошая, отецъ еще строилъ, но мыться какъ-то все некогда.

Онъ сѣлъ на ступенькѣ и намылилъ свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь...—проговорилъ Иванъ Иванычъ значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся... — повторилъ Алехинъ конфузливо и еще разъ намылился, и вода около него стала темно-синей, какъ чернила.

Иванъ Иванычъ вышелъ наружу, бросился въ воду съ шумомъ и поплылъ подъ дождемъ, широко взмахивая руками, и отъ него шли волны и на волнахъ качались бѣлыя лиліи; онъ доплылъ до самой середины плеса и нырнулъ и черезъ минуту показался на другомъ мѣстѣ и поплылъ дальше, и все нырялъ, стараясь достать дна. «Ахъ, Боже мой.., — повторялъ онъ, наслаждаясь. — Ахъ, Боже мой...» Доплылъ до мельницы, о чемъ-то поговорилъ тамъ съ мужиками и повернулъ назадъ, и на серединѣ плеса легъ, подставляя свое лицо подъ дождь. Буркинъ и Алехинъ уже одѣлись и собрались уходить, а онъ все плавалъ и нырялъ.

— Ахъ, Боже мой...—говорилъ онъ.—Ахъ, Господи помилуй.

— Будетъ вамъ!—крикнулъ ему Буркинъ.

Вернулись въ домъ. И только когда въ большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркинъ и Иванъ Иванычъ, одѣтые въ шелковые халаты и теплыя туфли, сидѣли въ креслахъ, а самъ Алехинъ, умытый, причесанный, въ новомъ сюртукѣ, ходилъ по гостиной, видимо, съ наслажденіемъ ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, безшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносѣ чай съ вареньемъ, только

тогда Иванъ Иванычъ приступилъ къ разсказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркинъ и Алехинъ, но также старыя и молодыя дамы и военные, спокойно и строго глядѣвшіе изъ золотыхъ рамъ.

— Насъ два брата,—началъ онъ:—я, Иванъ Иванычъ, и другой—Николай Иванычъ, года на два помоложе. Я пошелъ по ученой части, сталъ ветеринаромъ, а Николай уже съ девятнадцати лѣтъ сидѣлъ въ казенной палатѣ. Нашъ отецъ Чимша-Гималайскій былъ изъ кантонистовъ, но, выслуживъ офицерскій чинъ, оставилъ намъ потомственное дворянство и имѣньишко. Послѣ его смерти имѣньишко у насъ оттягали за долги, но, какъ бы ни было, дѣтство мы провели въ деревнѣ на волѣ. Мы все равно, какъ крестьянскія дѣти, дни и ночи проводили въ полѣ, въ лѣсу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть разъ въ жизни поймалъ ерша, или видѣлъ осенью перелетныхъ дроздовъ, какъ они въ ясные, прохладные дни носятся стаями надъ деревней, тотъ уже не городской житель и его до самой смерти будетъ потягивать на волю. Мой братъ тосковалъ въ казенной палатѣ. Годы проходили, а онъ все сидѣлъ на одномъ мѣстѣ, писалъ все тѣ же бумаги и думалъ все объ одномъ и томъ же, какъ бы въ деревню. И эта тоска у него мало-по-малу вылилась въ опредѣленное желаніе, въ мечту купить себѣ маленькую усадебку гдѣ-нибудь на берегу рѣки или озера.

Онъ былъ добрый, кроткій человѣкъ, я любилъ его, но этому желанію запереть себя на всю жизнь въ собственную усадьбу я никогда не сочувствовалъ. Принято говорить, что человѣку нужно только три аршина земли. Но вѣдь три аршина нужны трупу, а не человѣку. И говорятъ также теперь, что если наша интеллигенція имѣетъ тяготѣніе къ землѣ и стремится въ усадьбы, то это хорошо. Но вѣдь эти усадьбы тѣ же три аршина земли. Уходить изъ города, отъ борьбы, отъ житейскаго шума, уходить и прятаться у себя въ усадьбѣ — это не жизнь, это эгоизмъ, лѣнь, это своего рода монашество, но монашество безъ подвига. Человѣку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шаръ, вся природа, гдѣ на просторѣ онъ могъ бы проявить всѣ свойства и особенности своего свободнаго духа.

Братъ мой Николай, сидя у себя въ канцеляріи, мечталъ

о томъ, какъ онъ будетъ ѣсть свои собственныя щи, отъ которыхъ идетъ такой вкусный запахъ по всему двору, ѣсть на зеленой травкѣ, спать на солнышкѣ, сидѣть по цѣлымъ часамъ за воротами на лавочкѣ и глядѣть на поле и лѣсъ. Сельско-хозяйственныя книжки и всякіе эти совѣты въ календаряхъ составляли его радость, любимую духовную пищу; онъ любилъ читать и газеты, но читалъ въ нихъ одни только объявленія о томъ, что продаются столько-то десятинъ пашни и луга съ усадьбой, рѣкой, садомъ, мельницей, съ проточными прудами. И рисовались у него въ головѣ дорожки въ саду, цвѣты, фрукты, скворешни, караси въ прудахъ и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемыя картины были различны, смотря по объявленіямъ, которыя попадались ему, но почему-то въ каждой изъ нихъ непремѣнно былъ крыжовникъ. Ни одной усадьбы, ни одного поэтическаго угла онъ не могъ себѣ представить безъ того, чтобы тамъ не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имѣетъ свои удобства,—говорилъ онъ бывало.—Сидишь на балконѣ, пьешь чай, а на прудѣ твои уточки плаваютъ, пахнетъ такъ хорошо и... и крыжовникъ растетъ.

Онъ чертилъ планъ своего имѣнія и всякій разъ у него на планѣ выходило одно и то же: a) барскій домъ, b) людская, c) огородъ, d) крыжовникъ. Жилъ онъ скупо: не доѣдалъ, не допивалъ, одѣвался Богъ знаетъ какъ, словно нищій, и все копилъ и клалъ въ банкъ. Страшно жадничалъ. Мнѣ было больно глядѣть на него, и я кое-что давалъ ему и посылалъ на праздникахъ, но онъ и это пряталъ. Ужъ коли задался человѣкъ идеей, то ничего не подѣлаешь.

Годы шли, перевели его въ другую губернію, минуло ему уже сорокъ лѣтъ, а онъ все читалъ объявленія въ газетахъ и копилъ. Потомъ, слышу, женился. Все съ тою же цѣлью, чтобы купить себѣ усадьбу съ крыжовникомъ, онъ женился на старой, некрасивой вдовѣ, безъ всякаго чувства, а только потому, что у нея водились деньжонки. Онъ и съ ней тоже жилъ скупо, держалъ ее впроголодь, а деньги ея положилъ въ банкъ на свое имя. Раньше она была за почтмейстеромъ и привыкла у него къ пирогамъ и къ наливкамъ, а у второго мужа и хлѣба чернаго не видала вдоволь; стала чахнуть отъ такой жизни, да года черезъ три взяла и от-

дала Богу душу. И конечно, братъ мой ни одной минуты не подумалъ, что онъ виноватъ въ ея смерти. Деньги, какъ водка, дѣлаютъ человѣка чудакомъ. У насъ въ городѣ умиралъ купецъ. Передъ смертью приказалъ подать себѣ тарелку меду и съѣлъ всѣ свои деньги и выигрышные билеты вмѣстѣ съ медомъ, чтобы никому не досталось. Какъ-то на вокзалѣ я осматривалъ гурты, и въ это время одинъ барышникъ попалъ подъ локомотивъ и ему отрѣзало ногу. Несемъ мы его въ пріемный покой, кровь льетъ—страшное дѣло, а онъ все проситъ, чтобы ногу его отыскали, и все безпокоится; въ сапогѣ на отрѣзанной ногѣ двадцать рублей, какъ бы не пропали.

— Это вы ужъ изъ другой оперы,—сказалъ Буркинъ.

— Послѣ смерти жены, — продолжалъ Иванъ Иванычъ, подумавъ полминуты:—братъ мой сталъ высматривать себѣ имѣніе. Конечно, хоть пять лѣтъ высматривай, но все же въ концѣ концовъ ошибешься, и купишь совсѣмъ не то, о чемъ мечталъ. Братъ Николай черезъ комиссіонера, съ переводомъ долга, купилъ сто двѣнадцать десятинъ съ барскимъ домомъ, съ людской, съ паркомъ, но ни фруктоваго сада, ни крыжовника, ни прудовъ съ уточками; была рѣка, но вода въ ней цвѣтомъ какъ кофе, потому что по одну сторону имѣнія кирпичный заводъ, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иванычъ мало печалился; онъ выписалъ себѣ двадцать кустовъ крыжовника, посадилъ и зажилъ помѣщикомъ.

Въ прошломъ году я поѣхалъ къ нему провѣдать. Поѣду, думаю, посмотрю, какъ и что тамъ. Въ письмахъ своихъ братъ называлъ свое имѣніе такъ: Чумбароклова Пустошь, Гималайское тожъ. Пріѣхалъ я въ «Гималайское тожъ» послѣ полудня. Было жарко. Вездѣ канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, — и не знаешь, какъ проѣхать во дворъ, куда поставить лошадь. Иду къ дому, а навстрѣчу мнѣ рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лѣнь. Вышла ихъ кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что баринъ отдыхаетъ послѣ обѣда. Вхожу къ брату, онъ сидитъ въ постели, колѣни покрыты одѣяломъ; постарѣлъ, располнѣлъ, обрюзгъ; щеки, носъ и губы тянутся впередъ,—того и гляди, хрюкнетъ въ одѣяло.

Мы обнялись и всплакнули отъ радости и отъ грустной

мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба сѣды и умирать пора. Онъ одѣлся и повелъ меня показывать свое имѣніе.

— Ну, какъ ты тутъ поживаешь?—спросилъ я.

— Да ничего, слава Богу, живу хорошо.

Это ужъ былъ не прежній робкій бѣдняга чиновникъ, а настоящій помѣщикъ, баринъ. Онъ ужъ обжился тутъ, привыкъ и вошелъ во вкусъ; кушалъ много, въ банѣ мылся, полнѣлъ, уже судился съ обществомъ и съ обоими заводами, и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородіе». И о душѣ своей заботился солидно, по-барски, и добрыя дѣла творилъ не просто, а съ важностью. А какія добрыя дѣла? Лѣчилъ мужиковъ отъ всѣхъ болѣзней содой и касторкой, и въ день своихъ именинъ служилъ среди деревни благодарственный молебенъ, а потомъ ставилъ полведра, думалъ, что такъ нужно. Ахъ, эти ужасныя полведра! Сегодня толстый помѣщикъ тащитъ мужиковъ къ земскому начальнику за потраву, а завтра, въ торжественный день, ставитъ имъ полведра, а они пьютъ и кричатъ ура, и пьяные кланяются ему въ ноги. Перемѣна жизни къ лучшему, сытость, праздность, развиваютъ въ русскомъ человѣкѣ самомнѣніе, самое наглое. Николай Иванычъ, который когда-то въ казенной палатѣ боялся даже для себя лично имѣть собственные взгляды, теперь говорилъ однѣ только истины, и такимъ тономъ, точно министръ. «Образованіе необходимо, но для народа оно преждевременно», «тѣлесныя наказанія вообще вредны, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ они полезны и незамѣнимы».

— Я знаю народъ и умѣю съ нимъ обращаться,—говорилъ онъ.—Меня народъ любитъ. Стòитъ мнѣ только пальцемъ шевельнуть, и для меня народъ сдѣлаетъ все, чтò захочу.

И все это, замѣтьте, говорилось съ умной, доброю улыбкой. Онъ разъ двадцать повторилъ: «мы дворяне», «я, какъ дворянинъ»; очевидно, уже не помнилъ, что дѣдъ нашъ былъ мужикъ, а отецъ—солдатъ. Даже наша фамилія Чимша-Гималайскій, въ сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень пріятной.

Но дѣло не въ немъ, а во мнѣ самомъ. Я хочу вамъ разсказать, какая перемѣна произошла во мнѣ въ эти немногіе часы, пока я былъ въ его усадьбѣ. Вечеромъ, когда

мы пили чай, кухарка подала къ столу полную тарелку крыжовнику. Это былъ не купленый, а свой собственный крыжовникъ, собранный въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ были посажены кусты. Николай Иванычъ засмѣялся и минуту глядѣлъ на крыжовникъ, молча, со слезами, — онъ не могъ говорить отъ волненія, потомъ положилъ въ ротъ одну ягоду, поглядѣлъ на меня съ торжествомъ ребенка, который, наконецъ, получилъ свою любимую игрушку, и сказалъ:

— Какъ вкусно!

И онъ съ жадностью ѣлъ и все повторялъ:

— Ахъ, какъ вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, какъ сказалъ Пушкинъ, «тьмы истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ». Я видѣлъ счастливаго человѣка, завѣтная мечта котораго осуществилась такъ очевидно, который достигъ цѣли въ жизни, получилъ то, что̀ хотѣлъ, который былъ доволенъ своею судьбой, самимъ собой. Къ моимъ мыслямъ о человѣческомъ счастьи всегда почему-то примѣшивалось что-то грустное, теперь же, при видѣ счастливаго человѣка, мною овладѣло тяжелое чувство, близкое къ отчаянію. Особенно тяжело было ночью. Мнѣ постлали постель въ комнатѣ рядомъ съ спальней брата, и мнѣ было слышно, какъ онъ не спалъ и какъ вставалъ и подходилъ къ тарелкѣ съ крыжовникомъ и бралъ по ягодкѣ. Я соображалъ: какъ въ сущности много довольныхъ, счастливыхъ людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильныхъ, невѣжество и скотоподобіе слабыхъ, кругомъ бѣдность невозможная, тѣснота, вырожденіе, пьянство, лицемѣріе, вранье... Между тѣмъ во всѣхъ домахъ и на улицахъ тишина, спокойствіе; изъ пятидесяти тысячъ живущихъ въ городѣ ни одного, который бы вскрикнулъ, громко возмутился. Мы видимъ тѣхъ, которые ходятъ на рынокъ за провизіей, днемъ ѣдятъ, ночью спятъ, которые говорятъ свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащатъ на кладбище своихъ покойниковъ; но мы не видимъ и не слышимъ тѣхъ, которые страдаютъ, и то, что страшно въ жизни, происходитъ гдѣ-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестуетъ одна только нѣмая статистика: столько-то съ ума сошло, столько-то ведеръ выпито, столько-то дѣтей погибло отъ недоѣданія... И такой порядокъ, очевидно, нуженъ:

очевидно, счастливый чувствуетъ себя хорошо только потому, что несчастные несутъ свое бремя молча, и безъ этого молчанія счастье было бы невозможно. Это общій гипнозъ. Надо, чтобы за дверью каждаго довольнаго счастливаго человѣка, стоялъ кто-нибудь съ молоточкомъ и постоянно напоминалъ бы стукомъ, что есть несчастные, что какъ бы онъ ни былъ счастливъ, жизнь рано или поздно покажетъ ему свои когти, стрясется бѣда—болѣзнь, бѣдность, потери, и его никто не увидитъ и не услышитъ, какъ теперь онъ не видитъ и не слышитъ другихъ. Но человѣка съ молоточкомъ нѣтъ, счастливый живетъ себѣ, и мелкія житейскія заботы волнуютъ его слегка, какъ вѣтеръ осину—и все обстоитъ благополучно.

— Въ ту ночь мнѣ стало понятно, какъ я тоже былъ доволенъ и счастливъ,—продолжалъ Иванъ Иванычъ, вставая.—Я тоже за обѣдомъ и на охотѣ поучалъ, какъ жить, какъ вѣровать, какъ управлять народомъ. Я тоже говорилъ, что ученье свѣтъ, что образованіе необходимо, но для простыхъ людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорилъ я, безъ нея нельзя, какъ безъ воздуха, но надо подождать. Да, я говорилъ такъ, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросилъ Иванъ Иванычъ, сердито глядя на Буркина.—Во имя чего ждать, я васъ спрашиваю? Во имя какихъ соображеній? Мнѣ говорятъ, что не все сразу, всякая идея осуществляется въ жизни постепенно, въ свое время. Но кто это говоритъ? Гдѣ доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядокъ вещей, на законность явленій, но есть ли порядокъ и законность въ томъ, что я, живой, мыслящій человѣкъ, стою надо рвомъ и жду, когда онъ заростетъ самъ, или затянетъ его иломъ, въ то время какъ, быть-можетъ, я могъ бы перескочить черезъ него или построить черезъ него мостъ? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нѣтъ силъ жить, а между тѣмъ жить нужно и хочется жить!

Я уѣхалъ тогда отъ брата рано утромъ, и съ тѣхъ поръ для меня стало невыносимо бывать въ городѣ. Меня угнетаютъ тишина и спокойствіе, я боюсь смотрѣть на окна, такъ какъ для меня теперь нѣтъ болѣе тяжелаго зрѣлища, какъ счастливое семейство, сидящее вокругъ стола и пьющее чай. Я уже старъ и не гожусь для борьбы, я неспособенъ даже ненавидѣть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь,

досадую, по ночамъ у меня горитъ голова отъ наплыва мыслей, и я не могу спать... Ахъ, если бъ я былъ молодъ!

Иванъ Иванычъ прошелся въ волненіи изъ угла въ уголъ и повторилъ:

— Если бъ я былъ молодъ!

Онъ вдругъ подошелъ къ Алехину и сталъ пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павелъ Константинычъ, — проговорилъ онъ умоляющимъ голосомъ:—не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте дѣлать добро! Счастья нѣтъ и не должно его быть, а если въ жизни есть смыслъ и цѣль, то смыслъ этотъ и цѣль вовсе не въ нашемъ счастьѣ, а въ чемъ-то болѣе разумномъ и великомъ. Дѣлайте добро!

И все это Иванъ Иванычъ проговорилъ съ жалкой, просящею улыбкой, какъ будто просилъ лично для себя.

Потомъ всѣ трое сидѣли въ креслахъ, въ разныхъ концахъ гостиной, и молчали. Разсказъ Ивана Иваныча не удовлетворилъ ни Буркина, ни Алехина. Когда изъ золотыхъ рамъ глядѣли генералы и дамы, которые въ сумеркахъ казались живыми, слушать разсказъ про бѣднягу-чиновника, который ѣлъ крыжовникъ, было скучно. Хотѣлось почему-то говорить и слушать про изящныхъ людей, про женщинъ. И то, что они сидѣли въ гостиной, гдѣ все — и люстра въ чехлѣ, и кресла, и ковры подъ ногами, говорили, что здѣсь когда-то ходили, сидѣли, пили чай вотъ эти самые люди, которые глядѣли теперь изъ рамъ, и то, что здѣсь теперь безшумно ходила красивая Пелагея,—это было лучше всякихъ разсказовъ.

Алехину сильно хотѣлось спать; онъ всталъ по хозяйству рано, въ третьемъ часу утра, и теперь у него слипались глаза, но онъ боялся, какъ бы гости не стали безъ него разсказывать что-нибудь интересное, и не уходилъ. Умно ли, справедливо ли было то, что̀ только-что говорилъ Иванъ Иванычъ, онъ не вникалъ; гости говорили не о крупѣ, не о сѣнѣ, не о дегтѣ, а о чемъ-то, что̀ не имѣло прямого отношенія къ его жизни, и онъ былъ радъ и хотѣлъ, чтобы они продолжали...

— Однако, пора спать,—сказалъ Буркинъ, поднимаясь.— Позвольте пожелать вамъ спокойной ночи.

Алехинъ простился и ушелъ къ себѣ внизъ, а гости оста-

лись наверху. Имъ обоимъ отвели на ночь большую комнату, гдѣ стояли двѣ старыя деревянныя кровати съ рѣзными украшеніями и въ углу было распятіе изъ слоновой кости; отъ ихъ постелей, широкихъ, прохладныхъ, которыя постилала красивая Пелагея, пріятно пахло свѣжимъ бѣльемъ.

Иванъ Иванычъ молча раздѣлся и легъ.

— Господи, прости насъ грѣшныхъ! — проговорилъ онъ и укрылся съ головой.

Отъ его трубочки, лежавшей на столѣ, сильно пахло табачнымъ перегаромъ, и Буркинъ долго не спалъ и все никакъ не могъ понять, откуда этотъ тяжелый запахъ.

Дождь стучалъ въ окна всю ночь.

О ЛЮБВИ.

На другой день къ завтраку подавали очень вкусные пирожки, раковъ и бараньи котлеты; и пока ѣли, приходилъ наверхъ поваръ Никаноръ справиться, что̀ гости желаютъ къ обѣду. Это былъ человѣкъ средняго роста, съ пухлымъ лицомъ и маленькими глазами, бритый, и, казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехинъ разсказалъ, что красивая Пелагея была влюблена въ этого повара. Такъ какъ онъ былъ пьяница и буйнаго нрава, то она не хотѣла за него замужъ, но соглашалась жить такъ. Онъ же былъ очень набоженъ, и религіозныя убѣжденія не позволяли ему жить такъ; онъ требовалъ, чтобы она шла за него, и иначе не хотѣлъ, и бранилъ ее, когда бывалъ пьянъ, и даже билъ. Когда онъ бывалъ пьянъ, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехинъ и прислуга не уходили изъ дому, чтобы защитить ее въ случаѣ надобности.

Стали говорить о любви.

— Какъ зарождается любовь,—сказалъ Алехинъ,—почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, болѣе подходящаго къ ней по ея душевнымъ и внѣшнимъ качествамъ, а полюбила именно Никанора, этого мурло̀,—тутъ у насъ всѣ зовутъ его мурло̀мъ,—поскольку въ любви важны вопросы личнаго счастья—все это неизвѣстно и обо всемъ этомъ можно трактовать какъ угодно. До сихъ поръ о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сія велика есть», все же остальное, что писали и говорили о любви, было не рѣшеніемъ, а только постановкой вопросовъ, которые такъ и оставались

неразрѣшенными. То объясненіе, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти другихъ, и самое лучшее, по-моему,—это объяснять каждый случай въ отдѣльности, не пытаясь обобщать. Надо, какъ говорятъ доктора, индивидуализировать каждый отдѣльный случай.

— Совершенно вѣрно,—согласился Буркинъ.

— Мы, русскіе, порядочные люди, питаемъ пристрастіе къ этимъ вопросамъ, остающимся безъ разрѣшенія. Обыкновенно любовь поэтизируютъ, украшаютъ ее розами, соловьями. мы же, русскіе, украшаемъ нашу любовь этими роковыми вопросами, и притомъ выбираемъ изъ нихъ самые неинтересные. Въ Москвѣ, когда я еще былъ студентомъ, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякій разъ, когда я держалъ ее въ объятіяхъ, думала о томъ, сколько я буду выдавать ей въ мѣсяцъ и почемъ теперь говядина за фунтъ. Такъ и мы, когда любимъ, то не перестаемъ задавать себѣ вопросы: честно это, или не честно, умно, или глупо, къ чему поведетъ эта любовь и такъ далѣе. Хорошо это, или нѣтъ, я не знаю, но что это мѣшаетъ, не удовлетворяетъ, раздражаетъ—это я знаю.

Было похоже, что онъ хочетъ что-то разсказать. У людей, живущихъ одиноко, всегда бываетъ на душѣ что-нибудь такое, что они охотно бы разсказали. Въ городѣ холостяки нарочно ходятъ въ баню и въ рестораны, чтобы только поговорить, и иногда разсказываютъ банщикамъ, или офиціантамъ очень интересныя исторіи, въ деревнѣ же обыкновенно они изливаютъ душу передъ своими гостями. Теперь въ окна было видно сѣрое небо и деревья, мокрыя отъ дождя, въ такую погоду некуда было дѣваться и ничего больше не оставалось, какъ только разсказывать и слушать.

— Я живу въ Софьинѣ и занимаюсь хозяйствомъ уже давно,—началъ Алехинъ, — съ тѣхъ поръ, какъ кончилъ въ университетѣ. По воспитанію я бѣлоручка, по наклонностямъ — кабинетный человѣкъ, но на имѣніи, когда я пріѣхалъ сюда, былъ большой долгъ, а такъ какъ отецъ мой задолжалъ отчасти потому, что много тратилъ на мое образованіе, то я рѣшилъ, что не уѣду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я рѣшилъ такъ и началъ тутъ работать, признаюсь, не безъ нѣкотораго отвра-

щенія. Здѣшняя земля даетъ немного и, чтобы сельское хозяйство было не въ убытокъ, нужно пользоваться трудомъ крѣпостныхъ, или наемныхъ батраковъ, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянскій ладъ, то-есть работать въ полѣ самому, со своей семьей. Середины тутъ нѣтъ. Но я тогда не вдавался въ такія тонкости. Я не оставлялъ въ покоѣ ни одного клочка земли, я сгонялъ всѣхъ мужиковъ и бабъ изъ сосѣднихъ деревень, работа у меня тутъ кипѣла неистовая; я самъ тоже пахалъ, сѣялъ, косилъ и при этомъ скучалъ и брезгливо морщился, какъ деревенская кошка, которая съ голоду ѣстъ на огородѣ огурцы; тѣло мое болѣло, и я спалъ на ходу. Въ первое время мнѣ казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоитъ только, думалъ я, держаться въ жизни извѣстнаго внѣшняго порядка. Я поселился тутъ наверху, въ парадныхъ комнатахъ, и завелъ такъ, что послѣ завтрака и обѣда мнѣ подавали кофе съ ликерами и, ложась спать, я читалъ на ночь «Вѣстникъ Европы». Но какъ-то пришелъ нашъ батюшка, отецъ Иванъ, и въ одинъ присѣстъ выпилъ всѣ мои ликеры; и «Вѣстникъ Европы» пошелъ тоже къ поповнамъ, такъ какъ лѣтомъ, особенно во время покоса, я не успѣвалъ добраться до своей постели и засыпалъ въ сараѣ въ саняхъ, или гдѣ-нибудь въ лѣсной сторожкѣ, — какое ужъ тутъ чтеніе? Я мало-по-малу перебрался внизъ, сталъ обѣдать въ людской кухнѣ, и изъ прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мнѣ было бы больно.

Въ первые же годы меня здѣсь выбрали въ почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наѣзжать въ городъ и принимать участіе въ засѣданіяхъ съѣзда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здѣсь безвыѣздно мѣсяца два-три, особенно зимой, то въ концѣ-концовъ начинаешь тосковать по черномъ сюртукѣ. А въ окружномъ судѣ были и сюртуки, и мундиры, и фраки, все юристы, люди, получившіе общее образованіе; было съ кѣмъ поговорить. Послѣ спанья въ саняхъ, послѣ людской кухни сидѣть въ креслѣ, въ чистомъ бѣльѣ, въ легкихъ ботинкахъ, съ цѣпью на груди—это такая роскошь!

Въ городѣ меня принимали радушно, я охотно знако-

мился. И изъ всѣхъ знакомствъ самымъ основательнымъ и, правду сказать, самымъ пріятнымъ для меня было знакомство съ Лугановичемъ, товарищемъ предсѣдателя окружного суда. Его вы знаете оба: милѣйшая личность. Это было какъ разъ послѣ знаменитаго дѣла поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Лугановичъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

— Знаете что? Пойдемте ко мнѣ обѣдать.

Это было неожиданно, такъ какъ съ Лугановичемъ я былъ знакомъ мало, только офиціально, и ни разу у него не былъ. Я только на минутку зашелъ къ себѣ въ номеръ, чтобы переодѣться, и отправился на обѣдъ. И тутъ мнѣ представился случай познакомиться съ Анной Алексѣевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двухъ лѣтъ, и за полгода до того у нея родился первый ребенокъ. Дѣло прошлое, и теперь бы я затруднился опредѣлить, что собственно въ ней было такого необыкновеннаго, что мнѣ такъ понравилось въ ней, тогда же за обѣдомъ для меня все было неотразимо ясно; я видѣлъ женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встрѣчалъ; и сразу я почувствовалъ въ ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти привѣтливые, умные глаза я видѣлъ уже когда-то въ дѣтствѣ, въ альбомѣ, который лежалъ на комодѣ у моей матери.

Въ дѣлѣ поджигателей обвинили четырехъ евреевъ, признали шайку и, по-моему, совсѣмъ неосновательно. За обѣдомъ я очень волновался, мнѣ было тяжело, и ужъ не помню, что я говорилъ, только Анна Алексѣевна все покачивала головой и говорила мужу:

— Дмитрій, какъ же это такъ?

Лугановичъ—это добрякъ, одинъ изъ тѣхъ простодушныхъ людей, которые крѣпко держатся мнѣнія, что разъ человѣкъ попалъ подъ судъ, то, значитъ, онъ виноватъ, и что выражать сомнѣніе въ правильности приговора можно не иначе, какъ въ законномъ порядкѣ, на бумагѣ, но никакъ не за обѣдомъ и не въ частномъ разговорѣ.

— Мы съ вами не поджигали,—говорилъ онъ мягко,— и вотъ насъ же не судятъ, не сажаютъ въ тюрьму.

И оба, мужъ и жена, старались, чтобы я побольше ѣлъ и пилъ; по нѣкоторымъ мелочамъ, по тому, напримѣръ,

какъ оба они вмѣстѣ варили кофе, и по тому, какъ они понимали другъ друга съ полусловъ, я могъ заключить, что живутъ они мирно, благополучно и что они рады гостю. Послѣ обѣда играли на роялѣ въ четыре руки, потомъ стало темно, и я уѣхалъ къ себѣ. Это было въ началѣ весны. Затѣмъ все лѣто провелъ я въ Софьинѣ безвыѣздно, и было мнѣ некогда даже подумать о городѣ, но воспоминаніе о стройной бѣлокурой женщинѣ оставалось во мнѣ всѣ дни; я не думалъ о ней, но точно легкая тѣнь ея лежала на моей душѣ.

Позднею осенью въ городѣ былъ спектакль съ благотворительной цѣлью. Вхожу я въ губернаторскую ложу (меня пригласили туда въ антрактѣ), смотрю—рядомъ съ губернаторшей Анна Алексѣевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатлѣніе красоты и милыхъ ласковыхъ глазъ, и опять то же чувство близости.

Мы сидѣли рядомъ, потомъ ходили въ фойэ.

— Вы похудѣли,—сказала она.—Вы были больны?

— Да. У меня простужено плечо и въ дождливую погоду я дурно сплю.

— У васъ вялый видъ. Тогда, весной, когда вы приходили обѣдать, вы были моложе, бодрѣе. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто въ теченіе лѣта вы приходили мнѣ на память и сегодня, когда я собиралась въ театръ, мнѣ казалось, что я васъ увижу.

И она засмѣялась.

— Но сегодня у васъ вялый видъ,—повторила она.— Это васъ старитъ.

На другой день я завтракалъ у Лугановичей; послѣ завтрака они поѣхали къ себѣ на дачу, чтобы распорядиться тамъ насчетъ зимы, и я съ ними. Съ ними же вернулся въ городъ и въ полночь пилъ у нихъ чай въ тихой, семейной обстановкѣ, когда горѣлъ каминъ и молодая мать все уходила взглянуть, спитъ ли ея дѣвочка. И послѣ этого въ каждый свой пріѣздъ я непремѣнно бывалъ у Лугановичей. Ко мнѣ привыкли, и я привыкъ. Обыкновенно входилъ я безъ доклада, какъ свой человѣкъ.

— Кто тамъ?—слышался изъ дальнихъ комнатъ протяжный голосъ, который казался мнѣ такимъ прекраснымъ.

божденіе родины, или былъ знаменитымъ ученымъ, артистомъ, художникомъ, а то вѣдь изъ одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее въ другую такую же, или еще болѣе будничную. И какъ бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы съ ней въ случаѣ моей болѣзни, смерти, или, просто, если бы мы разлюбили другъ друга?

И она, повидимому, разсуждала подобнымъ же образомъ. Она думала о мужѣ, о дѣтяхъ, о своей матери, которая любила ея мужа, какъ сына. Если бъ она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать, или говорить правду, а въ ея положеніи то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучилъ вопросъ: принесетъ ли мнѣ счастье ея любовь, не осложнитъ ли она моей жизни, и безъ того тяжелой, полной всякихъ несчастій? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила съ мужемъ о томъ, что мнѣ нужно жениться на умной, достойной дѣвушкѣ, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей,—и тотчасъ же добавляла, что во всемъ городѣ едва ли найдется такая дѣвушка.

Между тѣмъ годы шли. У Анны Алексѣевны было уже двое дѣтей. Когда я приходилъ къ Лугановичамъ, прислуга улыбалась привѣтливо, дѣти кричали, что пришелъ дядя Павелъ Костантинычъ, и вѣшались мнѣ на шею; всѣ радовались. Не понимали, что дѣлалось въ моей душѣ, и думали, что я тоже радуюсь. Всѣ видѣли во мнѣ благородное существо. И взрослые, и дѣти чувствовали, что по комнатѣ ходитъ благородное существо, и это вносило въ ихъ отношенія ко мнѣ какую-то особую прелесть, точно въ моемъ присутствіи и ихъ жизнь была чище и красивѣе. Я и Анна Алексѣевна ходили вмѣстѣ въ театръ, всякій разъ пѣшкомъ; мы сидѣли въ креслахъ рядомъ, плечи наши касались, я молча бралъ изъ ея рукъ бинокль и въ это время чувствовалъ, что она близка мнѣ, что она моя, что намъ нельзя другъ безъ друга, но, по какому-то странному недоразумѣнію, выйдя изъ театра, мы всякій разъ прощались и расходились, какъ чужіе. Въ городѣ уже говорили о насъ Богъ знаетъ что, но изъ всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

Въ послѣдніе годы Анна Алексѣевна стала чаще уѣзжать то къ матери, то къ сестрѣ; у нея уже бывало дурное на-

строеніе, являлось сознаніе неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотѣлось видѣть ни мужа, ни дѣтей. Она уже лѣчилась отъ разстройства нервовъ.

Мы молчали и все молчали, а при постороннихъ она испытывала какое-то странное раздраженіе противъ меня; о чемъ бы я ни говорилъ, она не соглашалась со мной, и если я спорилъ, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронялъ что-нибудь, то она говорила холодно:

— Поздравляю васъ.

Если, идя съ ней въ театръ, я забывалъ взять биноклѣ, то потомъ она говорила:

— Я такъ и знала, что вы забудете.

Къ счастью, или къ несчастью, въ нашей жизни не бываетъ ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, такъ какъ Лугановича назначили предсѣдателемъ въ одной изъ западныхъ губерній. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ѣздили на дачу и потомъ возвращались и оглядывались, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на садъ, на зеленую крышу, то было всѣмъ грустно, и я понималъ, что пришла пора прощаться не съ одной только дачей. Было рѣшено, что въ концѣ августа мы проводимъ Анну Алексѣевну въ Крымъ, куда посылали ее доктора, а немного погодя уѣдетъ Лугановичъ съ дѣтьми въ свою западную губернію.

Мы провожали Анну Алексѣевну большой толпой. Когда она уже простилась съ мужемъ и дѣтьми и до третьяго звонка оставалось одно мгновеніе, я вбѣжалъ къ ней въ купэ, чтобы положить на полку одну изъ ея корзинокъ, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тутъ, въ купэ, взгляды наши встрѣтились, душевныя силы оставили насъ обоихъ, я обнялъ ее, она прижалась лицомъ къ моей груди, и слезы потекли изъ глазъ; цѣлуя ея лицо, плечи, руки, мокрыя отъ слезъ,—о, какъ мы были съ ней несчастны!—я признался ей въ своей любви, и со жгучей болью въ сердцѣ я понялъ, какъ ненужно, мелко и какъ обманчиво было все то, что намъ мѣшало любить. Я понялъ, что когда любишь, то въ своихъ разсужденіяхъ объ этой любви нужно исходить отъ высшаго, отъ болѣе важнаго, чѣмъ счастье или несчастье, грѣхъ или добродѣтель въ ихъ ходячемъ смыслѣ, или не нужно разсуждать вовсе.

Я поцѣловалъ въ послѣдній разъ, пожалъ руку, и мы разстались—навсегда. Поѣздъ уже шелъ. Я сѣлъ въ сосѣднемъ купэ,—оно было пусто,—и до первой станціи сидѣлъ тутъ и плакалъ. Потомъ пошелъ къ себѣ въ Софьино пѣшкомъ...

Пока Алехинъ разсказывалъ, дождь пересталъ и выглянуло солнце. Буркинъ и Иванъ Иванычъ вышли на балконъ; отсюда былъ прекрасный видъ на садъ и на плесъ, который теперь на солнцѣ блестѣлъ, какъ зеркало. Они любовались и въ то же время жалѣли, что этотъ человѣкъ съ добрыми, умными глазами, который разсказывалъ имъ съ такимъ чистосердечіемъ, въ самомъ дѣлѣ вертѣлся здѣсь, въ этомъ громадномъ имѣніи, какъ бѣлка въ колесѣ, а не занимался наукой, или чѣмъ-нибудь другимъ, что дѣлало бы его жизнь болѣе пріятной; и они думали о томъ, какое, должно-быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда онъ прощался съ ней въ купэ и цѣловалъ ей лицо и плечи. Оба они встрѣчали ее въ городѣ, а Буркинъ былъ даже знакомъ съ ней и находилъ ее красивой.

АРХІЕРЕЙ.

I.

Подъ вербное воскресеніе къ Старо-Петровскомъ монастырѣ шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то былъ уже десятый часъ на исходѣ, огни потускнѣли, фитили нагорѣли, было все, какъ въ туманѣ. Въ церковныхъ сумеркахъ толпа колыхалась, какъ море, и преосвященному Петру, который былъ нездоровъ уже дня три, казалось, что всѣ лица—и старыя, и молодыя, и мужскія, и женскія, походили одно на другое, у всѣхъ, кто подходилъ за вербой, одинаковое выраженіе глазъ. Въ туманѣ не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нѣтъ и не будетъ конца. Пѣлъ женскій хоръ, канонъ читала монашенка.

Какъ было душно, какъ жарко! Какъ долго шла всенощная! Преосвященный Петръ усталъ. Дыханіе у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болѣли отъ усталости, ноги дрожали. И непріятно волновало, что на хорахъ изрѣдка вскрикивалъ юродивый. А тутъ еще вдругъ, точно во снѣ или въ бреду, показалось преосвященному, будто въ толпѣ подошла къ нему его родная мать Марія Тимофеевна, которой онъ не видѣлъ уже девять лѣтъ, или старуха, похожая на мать, и принявши отъ него вербу, отошла и все время глядѣла на него весело, съ доброй, радостной улыбкой, пока не смѣшалась съ толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душѣ было покойно, все было благополучно, но онъ неподвижно глядѣлъ на лѣвый клиросъ, гдѣ читали, гдѣ въ вечерней мглѣ уже нельзя было узнать ни

одного человѣка, и—плакалъ. Слезы заблестѣли у него на лицѣ, на бородѣ. Вотъ вблизи еще кто-то заплакалъ, потомъ дальше кто-то другой, потомъ еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихимъ плачемъ. А немного погодя, минутъ черезъ пять, монашескій хоръ пѣлъ, уже не плакали, все было попрежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архіерей садился въ карету, чтобы ѣхать домой, то по всему саду, освѣщенному луной, разливался веселый, красивый звонъ дорогихъ, тяжелыхъ колоколовъ. Бѣлыя стѣны, бѣлые кресты на могилахъ, бѣлыя березы и черныя тѣни и далекая луна на небѣ, стоявшая какъ разъ надъ монастыремъ, казалось теперь, жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человѣку. Былъ апрѣль въ началѣ, и послѣ теплаго весенняго дня стало прохладно, слегка подморозило, и въ мягкомъ холодномъ воздухѣ чувствовалось дыханіе весны. Дорога отъ монастыря до города шла по песку, надо было ѣхать шагомъ; и по обѣ стороны кареты, въ лунномъ свѣтѣ, яркомъ и покойномъ, плелись по песку богомольцы. И всѣ молчали, задумавшись, все было кругомъ привѣтливо, молодо, такъ близко, все—и деревья и небо, и даже луна, и хотѣлось думать, что такъ будетъ всегда.

Наконецъ, карета въѣхала въ городъ, покатила по главной улицѣ. Лавки были уже заперты и только у купца Еракина, милліонера, пробовали электрическое освѣщеніе, которое сильно мигало, и около толпился народъ. Потомъ пошли широкія, темныя улицы, одна за другою, безлюдныя, земское шоссе за городомъ, поле, запахло сосной. И вдругъ выросла передъ глазами бѣлая зубчатая стѣна, а за нею высокая колокольня, вся залитая свѣтомъ, и рядомъ съ ней пять большихъ, золотыхъ, блестящихъ главъ, — это Панкратіевскій монастырь, въ которомъ жилъ преосвященный Петръ. И тутъ также высоко надъ монастыремъ тихая, задумчивая луна. Карета въѣхала въ ворота, скрипя по песку, кое-гдѣ въ лунномъ свѣтѣ замелькали черныя монашескія фигуры, слышались шаги по каменнымъ плитамъ...

— А тутъ, ваше преосвященство, ваша мамаша безъ васъ пріѣхали,—доложилъ келейникъ, когда преосвященный входилъ къ себѣ.

— Маменька? Когда она пріѣхала?

— Передъ всенощной. Справлялись сначала, гдѣ вы, а потомъ поѣхали въ женскій монастырь.

— Это, значитъ, я ее въ церкви видѣлъ давеча! О, Господи!

И преосвященный засмѣялся отъ радости.

— Онѣ велѣли, ваше преосвященство, доложить,—продолжалъ келейникъ,—что придутъ завтра. Съ ними дѣвочка, должно, внучка. Остановились на постояломъ дворѣ Овсянникова.

— Который теперь часъ?

— Двѣнадцатый въ началѣ.

— Эхъ, досадно!

Преосвященный посидѣлъ немного въ гостиной, раздумывая и какъ бы не вѣря, что уже такъ поздно. Руки и ноги у него поламывало, болѣлъ затылокъ. Было жарко и неудобно. Отдохнувъ, онъ пошелъ къ себѣ въ спальню и здѣсь тоже посидѣлъ, все думая о матери. Слышно было, какъ уходилъ келейникъ и какъ за стѣной покашливалъ отецъ Сисой, іеромонахъ. Монастырскіе часы пробили четверть.

Преосвященный переодѣлся и сталъ читать молитвы на сонъ грядущимъ. Онъ внимательно читалъ эти старыя, давно знакомыя молитвы и въ то же время думалъ о своей матери. У нея было девять душъ дѣтей и около сорока внуковъ. Когда-то со своимъ мужемъ, дьякономъ, жила она въ бѣдномъ селѣ, жила тамъ очень долго, съ 17 до 60 лѣтъ. Преосвященный помнилъ ее съ ранняго дѣтства, чуть ли не съ трехъ лѣтъ и — какъ любилъ! Милое, дорогое, незабвенное дѣтство! Отчего оно, это навѣки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется свѣтлѣе, праздничнѣе и богаче чѣмъ было на самомъ дѣлѣ? Когда въ дѣтствѣ или юности онъ бывалъ нездоровъ, то какъ нѣжна и чутка была мать! И теперь молитвы мѣшались съ воспоминаніями, которыя разгорались все ярче, какъ пламя, и молитвы не мѣшали думать о матери.

Кончивъ молиться, онъ раздѣлся и легъ, и тотчасъ же, какъ только стало темно кругомъ, представились ему его покойный отецъ, мать, родное село Лѣсополье... Скрипъ колесъ, блеянье овецъ, церковный звонъ въ ясныя, лѣтнія утра, цыгане подъ окномъ, — о, какъ сладко думать объ этомъ! Припомнился священникъ лѣсопольскій, отецъ Симеонъ, кроткій, смирный, добродушный; самъ онъ былъ тощъ,

невысокъ, сынъ же его, семинаристъ, былъ громаднаго роста, говорилъ неистовымъ басомъ; какъ-то поповичъ обозлился на кухарку и выбранилъ ее:—«Ахъ, ты ослица Іегудіилова!» и отецъ Симеонъ, слышавшій это, не сказалъ ни слова и только устыдился, такъ какъ не могъ вспомнить, гдѣ въ священномъ писаніи упоминается такая ослица. Послѣ него въ Лѣсопольѣ священникомъ былъ отецъ Демьянъ, который сильно запивалъ и напивался подчасъ до зеленаго змія, и у него даже прозвище было: Демьянъ-Змѣевидецъ. Въ Лѣсопольѣ учителемъ былъ Матвѣй Николаичъ, изъ семинаристовъ, добрый, неглупый человѣкъ, но тоже пьяница; онъ никогда не билъ учениковъ, но почему-то у него на стѣнѣ всегда висѣлъ пучокъ березовыхъ розогъ, а подъ нимъ надпись на латинскомъ языкѣ, совершенно безсмысленная—betula kinderbalsamica secuta. Была у него черная. мохнатая собака, которую онъ называлъ такъ: Синтаксисъ.

И преосвященный засмѣялся. Въ восьми верстахъ отъ Лѣсополья село Обнино съ чудотворной иконой. Изъ Обнина лѣтомъ носили икону крестнымъ ходомъ по сосѣднимъ деревнямъ, и звонили цѣлый день, то въ одномъ селѣ, то въ другомъ, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожитъ въ воздухѣ, и онъ (тогда его звали Павлушей) ходилъ за иконой безъ шапки, босикомъ, съ наивной вѣрой, съ наивной улыбкой, счастливый безконечно. Въ Обнинѣ, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошній священникъ отецъ Алексѣй, чтобы успѣвать на проскомидіи, заставлялъ своего глухого племянника Иларіона читать записочки и записи на просфорахъ «о здравіи» и «за упокой»; Иларіонъ читалъ, изрѣдка получая по пятаку или гривеннику за обѣдню, и только ужъ когда посѣдѣлъ и облысѣлъ, когда жизнь прошла, вдругъ видитъ, на бумажкѣ написано: «Да и дуракъ же ты, Иларіонъ!» По крайней мѣрѣ, до пятнадцати лѣтъ Павлуша былъ неразвитъ и учился плохо, такъ что даже хотѣли взять его изъ духовнаго училища и отдать въ лавочку; однажды, придя въ Обнино на почту за письмами, онъ долго смотрѣлъ на чиновниковъ и спросилъ: — «Позвольте узнать, какъ вы получаете жалованье: помѣсячно или поденно?»

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бокъ, чтобы больше не думать и спать.

— Моя мать пріѣхала...—вспомнилъ онъ и засмѣялся.

Луна глядѣла въ окно, полъ былъ освѣщенъ и на немъ лежали тѣни. Кричалъ сверчокъ. Въ слѣдующей комнатѣ за стѣной похрапывалъ отецъ Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось въ его стариковскомъ храпѣ. Сисой былъ когда-то экономомъ у епархіальнаго архіерея, а теперь его зовутъ «бывшій отецъ экономъ»; ему 70 лѣтъ, живетъ онъ въ монастырѣ въ 16 верстахъ отъ города, живетъ и въ городѣ, гдѣ придется. Три дня назадъ онъ зашелъ въ Панкратіевскій монастырь, и преосвященный оставилъ его у себя, чтобы какъ-нибудь на досугѣ поговорить съ нимъ о дѣлахъ, о здѣшнихъ порядкахъ...

Въ половинѣ второго ударили къ заутрени. Слышно было, какъ отецъ Сисой закашлялъ, что-то проворчалъ недовольнымъ голосомъ, потомъ всталъ и прошелся босикомъ по комнатамъ.

— Отецъ Сисой!—позвалъ преосвященный.

Сисой ушелъ къ себѣ и, немного погодя, явился уже въ сапогахъ, со свѣчой; на немъ сверхъ бѣлья была ряса, на головѣ старая, полинялая скуфейка.

— Не спится мнѣ,—сказалъ преосвященный садясь.— Не здоровъ я, должно-быть. И что оно такое, не знаю. Жаръ!

— Должно, простудились, владыко. Надо бы васъ свѣчнымъ саломъ смазать.

Сисой постоялъ немного и зѣвнулъ: «О, Господи, прости меня грѣшнаго!»

— У Еракина нынче электричество зажигали,—сказалъ онъ.—Не ндравится мнѣ!

Отецъ Сисой былъ старъ, тощъ, сгорбленъ, всегда недоволенъ чѣмъ-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, какъ у рака.

— Не ндравится!—повторилъ онъ уходя.—Не ндравится, Богъ съ нимъ совсѣмъ!

II.

На другой день въ вербное воскресеніе преосвященный служилъ обѣдню въ городскомъ соборѣ, потомъ былъ у епархіальнаго архіерея, былъ у одной очень больной старой генеральши и, наконецъ, поѣхалъ домой. Во второмъ часу у него обѣдали дорогіе гости: старуха мать и племянница

Катя, дѣвочка лѣтъ восьми. Во время обѣда въ окна со двора все время смотрѣло весеннее солнышко и весело свѣтилось на бѣлой скатерти, въ рыжихъ волосахъ Кати. Сквозь двойныя рамы слышно было, какъ шумѣли въ саду грачи и пѣли скворцы.

— Уже девять лѣтъ, какъ мы не видались,—говорила старуха,—а вчера въ монастырѣ какъ поглядѣла на васъ— Господи! И ни капельки не измѣнились, только вотъ развѣ похудѣли и бородка длиннѣй стала. Царица небесная, Матушка! И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, всѣ плакали. Я тоже вдругъ, на васъ глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И несмотря на ласковость, съ какою она говорила это, было замѣтно, что она стѣснялась, какъ будто не знала, говорить ли ему ты, или вы, смѣяться или нѣтъ, и какъ будто чувствовала себя больше дьяконицей, чѣмъ матерью. А Катя не мигая глядѣла на своего дядю, преосвященнаго, какъ бы желая разгадать, что это за человѣкъ. Волоса у нея поднимались изъ-за гребенки и бархатной ленточки и стояли какъ сіяніе, носъ былъ вздернутый, глаза хитрые. Передъ тѣмъ, какъ садиться обѣдать, она разбила стаканъ, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала отъ нея то стаканъ, то рюмку. Преосвященный слушалъ свою мать и вспоминалъ, какъ когда-то, много-много лѣтъ назадъ, она возила и его, и братьевъ, и сестеръ къ родственникамъ, которыхъ считала богатыми; тогда хлопотала съ дѣтьми, а теперь съ внучатами и привезла вотъ Катю...

— У Вареньки, у сестры вашей, четверо дѣтей,—разсказывала она: — вотъ эта Катя самая старшая, и Богъ его знаетъ, отъ какой причины, зять отецъ Иванъ захворалъ это и померъ дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по міру ступай.

— А какъ Никаноръ?—спросилъ преосвященный про своего старшаго брата.

— Ничего, слава Богу. Хоть и ничего, а благодарить Бога, жить можно. Только вотъ одно: сынъ его Николаша, внучекъ мой, не захотѣлъ по духовной части, пошелъ въ университетъ въ доктора. Думаетъ, лучше, а кто его знаетъ! Его святая воля.

— Николаша мертвецовъ рѣжетъ,—сказала Катя и пролила воду себѣ на колѣни.

— Сиди, дѣточка, смирно,—замѣтила спокойно бабушка и взяла у нея изъ рукъ стаканъ.— Кушай съ молитвой.

— Сколько времени мы не видались!—сказалъ преосвященный и нѣжно погладилъ мать по плечу и по рукѣ.— Я, маменька, скучалъ по васъ за границей, сильно скучалъ.

— Благодаримъ васъ.

— Сидишь, бывало, вечеромъ у открытаго окна, одинъ-одинешенекъ, заиграетъ музыка, и вдругъ охватитъ тоска по родинѣ и, кажется, все бы отдалъ, только бы домой, васъ повидать...

Мать улыбнулась, просіяла, но тотчасъ же сдѣлала серьезное лицо и проговорила:

— Благодаримъ васъ.

Настроеніе перемѣнилось у него какъ-то вдругъ. Онъ смотрѣлъ на мать и не понималъ, откуда у нея это почтительное, робкое выраженіе лица и голоса, зачѣмъ оно, и не узнавалъ ея. Стало грустно, досадно. А тутъ еще голова болѣла такъ же, какъ вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась прѣсной, не вкусной, все время хотѣлось пить...

Послѣ обѣда пріѣзжали двѣ богатыя дамы, помѣщицы, которыя сидѣли часа полтора молча, съ вытянутыми физіономіями; приходилъ по дѣлу архимандритъ, молчаливый и глуховатый. А тамъ зазвонили къ вечернѣ, солнце опустилось за лѣсомъ, и день прошелъ. Вернувшись изъ церкви, преосвященный торопливо помолился, легъ въ постель, укрылся потеплѣй.

Непріятно было вспоминать про рыбу, которую ѣлъ за обѣдомъ. Лунный свѣтъ безпокоилъ его, а потомъ послышался разговоръ. Въ сосѣдней комнатѣ, должно-быть, въ гостиной отецъ Сисой говорилъ о политикѣ:

— У японцевъ теперь война. Воюютъ. Японцы, матушка, все равно, что черногорцы, одного племени. Подъ игомъ турецкимъ вмѣстѣ были.

А потомъ послышался голосъ Маріи Тимофеевны:

— Значитъ, Богу помолившись, это, чаю напившись, поѣхали мы, значитъ, къ отцу Егору въ Новохатное, это...

И то и дѣло «чаю напившись», или «напимшись», и похоже было, какъ будто въ своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинарія, академія. Года три онъ былъ учителемъ греческаго языка въ семинаріи, безъ очковъ уже

не могъ смотрѣть въ книгу, потомъ постригся въ монахи, его сдѣлали инспекторомъ. Потомъ защищалъ диссертацію. Когда ему было 32 года, его сдѣлали ректоромъ семинаріи, посвятили въ архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, пріятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же сталъ болѣть, похудѣлъ очень, едва не ослѣпъ и, по совѣту докторовъ, долженъ былъ бросить все и уѣхать за границу.

— А потомъ что?—спросилъ Сисой въ сосѣдней комнатѣ.

— А потомъ чай пили...—отвѣтила Марья Тимофеевна.

— Батюшка, у васъ борода зеленая!—проговорила вдругъ Катя съ удивленіемъ и засмѣялась.

Преосвященный вспомнилъ, что у сѣдого отца Сисоя борода въ самомъ дѣлѣ отдаетъ зеленью, и засмѣялся.

— Господи Боже мой, наказаніе съ этой дѣвочкой!—проговорилъ громко Сисой разсердившись.—Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилась преосвященному бѣлая церковь, совершенно новая, въ которой онъ служилъ, живя за границей; вспомнился шумъ теплаго моря. Квартира была въ пять комнатъ, высокихъ и свѣтлыхъ, въ кабинетѣ новый письменный столъ, библіотека. Много читалъ, часто писалъ. И вспомнилось ему, какъ онъ тосковалъ по родинѣ, какъ слѣпая нищая каждый день у него подъ окномъ пѣла о любви и играла на гитарѣ, и онъ, слушая ее, почему-то всякій разъ думалъ о прошломъ. Но вотъ минуло восемь лѣтъ, и его вызвали въ Россію, и теперь онъ уже состоитъ викарнымъ архіереемъ, и все прошлое ушло куда-то далеко, въ туманъ, какъ будто снилось...

Въ спальню вошелъ отецъ Сисой со свѣчой.

— Эва,—удивился онъ:—вы уже спите, преосвященнѣйшій?

— Что такое?

— Да вѣдь еще рано, десять часовъ, а то и меньше. Я свѣчку нынче купилъ, хотѣлъ-было васъ саломъ смазать.

— У меня жаръ...—проговорилъ преосвященный и сѣлъ.—Въ самомъ дѣлѣ, надо бы что-нибудь. Въ головѣ нехорошо...

Сисой снялъ съ него рубаху и сталъ натирать ему грудь и спину свѣчнымъ саломъ.

— Вотъ такъ... вотъ такъ...—говорилъ онъ.—Господи

Іисусе Христе... Вотъ такъ. Сегодня ходилъ я въ городъ, былъ у того—какъ его?—протоіерея Сидонскаго... Чай пилъ у него... Не ндравится онъ мнѣ! Господи Іисусе Христе... Вотъ такъ... Не ндравится!

III.

Епархіальный архіерей, старый, очень полный, былъ боленъ ревматизмомъ или подагрой и уже мѣсяцъ не вставалъ съ постели. Преосвященный Петръ провѣдывалъ его почти каждый день и принималъ вмѣсто него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чемъ просили, о чемъ плакали; его сердили неразвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь онъ понималъ епархіальнаго архіерея, который когда-то, въ молодые годы писалъ «Ученія о свободѣ воли», теперь же, казалось, весь ушелъ въ мелочи, все позабылъ и не думалъ о Богѣ. За границей преосвященный, должно-быть, отвыкъ отъ русской жизни, она была не легка для него; народъ казался ему грубымъ, женщины - просительницы скучными и глупыми, семинаристы и ихъ учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящія и исходящія, считались десятками тысячъ, и какія бумаги! Благочинные во всей епархіи ставили священникамъ, молодымъ и старымъ, даже ихъ женамъ и дѣтямъ, отмѣтки по поведенію, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и объ этомъ приходилось говорить, читать и писать серьезныя бумаги. И положительно, нѣтъ ни одной свободной минуты, цѣлый день душа дрожитъ, и успокаивался преосвященный Петръ, только когда бывалъ въ церкви.

Не могъ онъ никакъ привыкнуть и къ страху, какой онъ, самъ того не желая, возбуждалъ въ людяхъ, несмотря на свой тихій, скромный нравъ. Всѣ люди въ этой губерніи, когда онъ глядѣлъ на нихъ, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. Въ его присутствіи робѣли всѣ, даже старики протоіереи, всѣ «бухали» ему въ ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова отъ страха, такъ и ушла ни съ чѣмъ. И онъ, который никогда не рѣшался въ проповѣдяхъ говорить дурно о людяхъ, никогда не упрекалъ, такъ какъ было жалко, — съ просителями выходилъ

въ себя, сердился, бросалъ на полъ прошенія. За все время, пока онъ здѣсь, ни одинъ человѣкъ не поговорилъ съ нимъ искренно, попросту, по-человѣчески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсѣмъ не та! И почему, спрашивается, съ Сисоемъ она говорила безъ умолку и смѣялась много, а съ нимъ, съ сыномъ, была серьезна, обыкновенно молчала, стѣснялась, что совсѣмъ не шло къ ней? Единственный человѣкъ, который держалъ себя вольно въ его присутствіи и говорилъ все, что хотѣлъ, былъ старикъ Сисой, который всю свою жизнь находился при архіереяхъ и пережилъ ихъ одиннадцать душъ. И потому-то съ нимъ было легко, хотя, несомнѣнно, это былъ тяжелый, вздорный человѣкъ.

Во вторникъ послѣ обѣдни преосвященный былъ въ архіерейскомъ домѣ и принималъ тамъ просителей, волновался, сердился, потомъ поѣхалъ домой. Ему попрежнему нездоровилось, тянуло въ постель; но едва онъ вошелъ къ себѣ, какъ доложили, что пріѣхалъ Еракинъ, молодой купецъ, жертвователь, по очень важному дѣлу. Надо было принять его. Сидѣлъ Еракинъ около часа, говорилъ очень громко, почти кричалъ, и было трудно понять, что онъ говоритъ.

— Дай Богъ, чтобъ!—говорилъ онъ уходя. — Всенепремѣннѣйше! По обстоятельствамъ, владыко преосвященнѣйшій! Желаю, чтобъ!

Послѣ него пріѣзжала игуменья изъ дальняго монастыря. А когда она уѣхала, то ударили къ вечернѣ, надо было идти въ церковь.

Вечеромъ монахи пѣли стройно, вдохновенно, служилъ молодой іеромонахъ съ черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущаго въ полунощи, и про чертогъ украшенный, чувствовалъ не раскаяніе въ грѣхахъ, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями въ далекое прошлое, въ дѣтство и юность, когда также пѣли про жениха и про чертогъ, и теперь это прошлое представлялось живымъ, прекраснымъ, радостнымъ, какимъ, вѣроятно, никогда и не было. И, быть-можетъ, на томъ свѣтѣ, въ той жизни мы будемъ вспоминать о далекомъ прошломъ, о нашей здѣшней жизни съ такимъ же чувствомъ. Кто знаетъ! Преосвященный сидѣлъ въ алтарѣ, было тутъ темно. Слезы текли по лицу. Онъ думалъ о томъ, что вотъ онъ достигъ всего, что было доступно человѣку

въ его положеніи, онъ вѣровалъ, но все же не все было ясно, чего-то еще не доставало, не хотѣлось умирать; и все еще казалось, что нѣтъ у него чего-то самаго важнаго, о чемъ смутно мечталось когда-то, и въ настоящемъ волнуетъ все та же надежда на будущее, какая была и въ дѣтствѣ, и въ академіи, и за границей.

«Какъ они сегодня хорошо поютъ! — думалъ онъ, прислушиваясь къ пѣнію.—Какъ хорошо!»

IV.

Въ четвергъ служилъ онъ обѣдню въ соборѣ, было омовеніе ногъ. Когда въ церкви кончилась служба, и народъ расходился по домамъ, то было солнечно, тепло, весело, шумѣла въ канавахъ вода, а за городомъ доносилось съ полей непрерывное пѣніе жаворонковъ, нѣжное, призывающее въ покою. Деревья уже проснулись и улыбались привѣтливо, и надъ ними, Богъ знаетъ куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Пріѣхавъ домой, преосвященный Петръ напился чаю, потомъ переодѣлся, легъ въ постель и приказалъ келейнику закрыть ставни на окнахъ. Въ спальнѣ стало сумрачно. Однако, какая усталость, какая боль въ ногахъ и спинѣ, тяжелая, холодная боль, какой шумъ въ ушахъ! Онъ давно не спалъ, какъ казалось теперь, очень давно, и мѣшалъ ему уснуть какой-то пустякъ, который брезжилъ къ мозгу, какъ только закрывались глаза. Какъ и вчера, изъ сосѣднихъ комнатъ сквозь стѣну доносились голоса, звукъ стакановъ, чайныхъ ложекъ... Марія Тимофеевна весело, съ прибаутками разсказывала о чемъ-то отцу Сисою, а этотъ угрюмо, недовольнымъ голосомъ отвѣчалъ:—«Ну ихъ! Гдѣ ужъ! Куда тамъ!» И преосвященному опять стало досадно и потомъ обидно, что съ чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, съ нимъ же, съ сыномъ, робѣла, говорила рѣдко и не то, что хотѣла, и даже, какъ казалось ему, всѣ эти дни, въ его присутствіи все искала предлога, чтобы встать, такъ какъ стѣснялась сидѣть. А отецъ? Тотъ, вѣроятно, если бы былъ живъ, не могъ бы выговорить при немъ ни одного слова...

Что-то упало въ сосѣдней комнатѣ на полъ и разбилось; должно-быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отецъ Сисой вдругъ плюнулъ и проговорилъ сердито:

— Чистое наказаніе съ этой дѣвочкой, Господи, прости меня грѣшнаго! Не напасешься!

Потомъ стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открылъ глаза, то увидѣлъ у себя въ комнатѣ Катю, которая стояла неподвижно и смотрѣла на него. Рыжіе волосы, по обыкновенію, поднимались изъ-за гребенки, какъ сіяніе.

— Ты, Катя? — спросилъ онъ.—Кто это тамъ внизу все отворяетъ и затворяетъ дверь?

— Я не слышу,—отвѣтила Катя и прислушалась.

— Вотъ сейчасъ кто-то прошелъ.

— Да это у васъ въ животѣ, дядечка!

Онъ разсмѣялся и погладилъ ее по головѣ.

— Такъ братъ Николаша, говоришь, мертвецовъ рѣжетъ?—спросилъ онъ, помолчавъ.

— Да. Учится.

— А онъ добрый

— Ничего, добрый. Только водку пьетъ шибко.

— А отецъ твой отъ какой болѣзни умеръ?

— Папаша были слабые и худые, худые, и вдругъ — горло. И я тогда захворала и братъ Ѳедя,—у всѣхъ горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровѣли.

У нея задрожалъ подбородокъ, и слезы показались на глазахъ, поползли по щекамъ.

— Ваше преосвященство,—проговорила она тонкимъ голоскомъ, уже горько плача:—дядечка, мы съ мамашей остались несчастными... Дайте намъ немножечко денегъ... будьте такіе добрые... голубчикъ!..

Онъ тоже прослезился и долго отъ волненія не могъ выговорить ни слова, потомъ погладилъ ее по головѣ, потрогалъ за плечо и сказалъ:

— Хорошо, хорошо, дѣвочка. Вотъ наступитъ Свѣтлое Христово воскресеніе, тогда потолкуемъ... Я помогу... помогу...

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Замѣтивъ, что онъ не спитъ, она спросила:

— Не покушаете ли супчику?

— Нѣтъ, благодарю...—отвѣтилъ онъ.—Не хочется.

— А вы, похоже, нездоровы... какъ я погляжу. Еще бы, какъ не захворать! Цѣлый день на ногахъ, цѣлый день— и Боже мой, даже глядѣть на васъ и то тяжко. Ну, Свя-

тая не за горами, отдохнете, Богъ дастъ, тогда и поговоримъ, а теперь не стану я безпокоить васъ своими разговорами. Пойдемъ, Катечка,—пусть владыка поспитъ.

И онъ вспомнилъ, какъ когда-то очень давно, когда онъ былъ еще мальчикомъ, она точно такъ же, такимъ же шутливо-почтительнымъ тономъ говорила съ благочиннымъ... Только по необыкновенно добрымъ глазамъ, робкому, озабоченному взгляду, который она мелькомъ бросила, выходя изъ комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Онъ закрылъ глаза и, казалось, спалъ, но слышалъ два раза, какъ били часы, какъ покашливалъ за стѣной отецъ Сисой. И еще разъ входила мать и минуту робко глядѣла на него. Кто-то подъѣхалъ къ крыльцу, какъ слышно, въ каретѣ или въ коляскѣ. Вдругъ стукъ, хлопнула дверь: вошелъ въ спальню келейникъ.

— Ваше преосвященство!—окликнулъ онъ.

— Что?

— Лошади поданы, пора къ Страстямъ Господнимъ.

— Который часъ?

— Четверть восьмого

Онъ одѣлся и поѣхалъ въ соборъ. Въ продолженіе всѣхъ двѣнадцати евангелій нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангеліе, самое длинное, самое красивое, читалъ онъ самъ. Бодрое, здоровое настроеніе овладѣло имъ. Это первое евангеліе «Нынѣ прославися сынъ человѣческій» онъ зналъ наизусть; и, читая, онъ изрѣдка поднималъ глаза и видѣлъ по обѣ стороны цѣлое море огней, слышалъ трескъ свѣчей, но людей не было видно, какъ и въ прошлые годы, и казалось, что это все тѣ же люди, что были тогда, въ дѣтствѣ и въ юности, что они все тѣ же будутъ каждый годъ, а до какихъ поръ—одному Богу извѣстно.

Отецъ его былъ дьяконъ, дѣдъ—священникъ, прадѣдъ—дьяконъ, и весь родъ его, быть-можетъ, со временъ принятія на Руси христіанства, принадлежалъ къ духовенству, и любовь его къ церковнымъ службамъ, духовенству, къ звону колоколовъ была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; въ церкви онъ, особенно когда самъ участвовалъ въ служеніи, чувствовалъ себя дѣятельнымъ, бодрымъ, счастливымъ. Такъ и теперь. Только когда прочли уже восьмое евангеліе, онъ почувствовалъ, что ослабѣлъ у него

голосъ, даже кашля не было слышно, сильно разболѣлась голова, и сталъ безпокоить страхъ, что онъ вотъ-вотъ упадетъ. И въ самомъ дѣлѣ, ноги совсѣмъ онѣмѣли, такъ что мало-по-малу онъ пересталъ ощущать ихъ, и непонятно ему было, какъ и на чемъ онъ стоитъ, отчего не падаетъ...

Когда служба кончилась, было безъ четверти двѣнадцать. Пріѣхавъ къ себѣ, преосвященный тотчасъ же раздѣлся и легъ, даже Богу не молился. Онъ не могъ говорить и, какъ казалось ему, не могъ бы уже стоять. Когда онъ укрывался одѣяломъ, захотѣлось вдругъ за границу, нестерпимо захотѣлось! Кажется, жизнь бы отдалъ, только бы не видѣть этихъ жалкихъ, дешевыхъ ставень, низкихъ потолковъ, не чувствовать этого тяжкаго монастырскаго запаха. Хоть бы одинъ человѣкъ, съ которымъ можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги въ сосѣдней комнатѣ, и онъ никакъ не могъ вспомнить, кто это. Наконецъ, отворилась дверь, вошелъ Сисой со свѣчой и съ чайной чашкой въ рукахъ.

— Вы уже легли, преосвященнѣйшій?—спросилъ онъ.— А я вотъ пришелъ, хочу васъ смазать водкой съ уксусомъ. Ежели натереться хорошо, то большая отъ этого польза. Господи Іисусе Христе... Вотъ такъ... Вотъ такъ... А я сейчасъ въ нашемъ монастырѣ былъ... Не ндравится мнѣ! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Іисусе Христе... Вотъ такъ...

Сисой не могъ долго оставаться на одномъ мѣстѣ, и ему казалось, что въ Панкратіевскомъ монастырѣ онъ живетъ уже цѣлый годъ. А главное, слушая его, трудно было понять, гдѣ его домъ, любитъ ли онъ кого-нибудь или что-нибудь, вѣруетъ ли въ Бога... Ему самому было непонятно, почему онъ монахъ, да и не думалъ онъ объ этомъ, и уже давно стерлось въ памяти время, когда его постригли; похоже было, какъ будто онъ прямо родился монахомъ.

— Уйду завтра. Богъ съ нимъ, со всѣмъ!

— Мнѣ бы потолковать съ вами... все никакъ не соберусь,—проговорилъ преосвященный тихо, черезъ силу.—Я вѣдь тутъ никого и ничего не знаю...

— До воскресенья, извольте, останусь, такъ и быть ужъ, а больше не желаю. Ну ихъ!

— Какой я архіерей? — продолжалъ тихо преосвящен-

ный. — Мнѣ бы быть деревенскимъ священникомъ, дьячкомъ... или простымъ монахомъ... Меня давитъ все это... давитъ...

— Что? Господи Іисусе Христе... Вотъ такъ... Ну, спите себѣ, преосвященнѣйшій!.. Что ужъ тамъ! Куда тамъ! Спокойной ночи!

Преосвященный не спалъ всю ночь. А утромъ, часовъ въ восемь, у него началось кровотеченіе изъ кишокъ. Келейникъ испугался и побѣжалъ сначала къ архимандриту, потомъ за монастырскимъ докторомъ Иваномъ Андреичемъ, жившимъ въ городѣ. Докторъ, полный старикъ, съ длинной сѣдой бородой, долго осматривалъ преосвященнаго и все покачивалъ головой и хмурился, потомъ сказалъ:

— Знаете, ваше преосвященство? Вѣдь у васъ брюшной тифъ!

Отъ кровотеченій преосвященный въ какой-нибудь часъ очень похудѣлъ, поблѣднѣлъ, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большіе, и какъ будто онъ постарѣлъ, сталъ меньше ростомъ, и ему уже казалось, что онъ худѣе и слабѣе, незначительнѣе всѣхъ, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже болѣе не повторится, не будетъ продолжаться.

«Какъ хорошо!—думалъ онъ.—Какъ хорошо!»

Пришла старуха мать. Увидѣвъ его сморщенное лицо и большіе глаза, она испугалась, упала на колѣни предъ кроватью и стала цѣловать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что онъ худѣе, слабѣе и незначительнѣе всѣхъ, и она уже не помнила, что онъ архіерей, и цѣловала его, какъ ребенка, очень близкаго, родного.

— Павлуша, голубчикъ,—заговорила она:—родной мой!.. Сыночекъ мой!.. Отчего ты такой сталъ? Павлуша, отвѣчай же мнѣ!

Катя, блѣдная, суровая, стояла возлѣ и не понимала, что съ дядей, отчего у бабушки такое страданіе на лицѣ, отчего она говоритъ такія трогательныя, печальныя слова. А онъ уже не могъ выговорить ни слова, ничего не понималъ, и представлялось ему, что онъ, уже простой, обыкновенный человѣкъ, идетъ по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а надъ нимъ широкое небо, залитое солнцемъ, и онъ свободенъ теперь, какъ птица, можетъ идти, куда угодно!

— Сыночекъ, Павлуша, отвѣчай же мнѣ!—говорила старуха.—Что съ собой? Родной мой!

— Не безпокойте владыку,—проговорилъ Сисой сердито, проходя черезъ комнату.—Пущай поспитъ... Нечего тамъ... чего ужъ!..

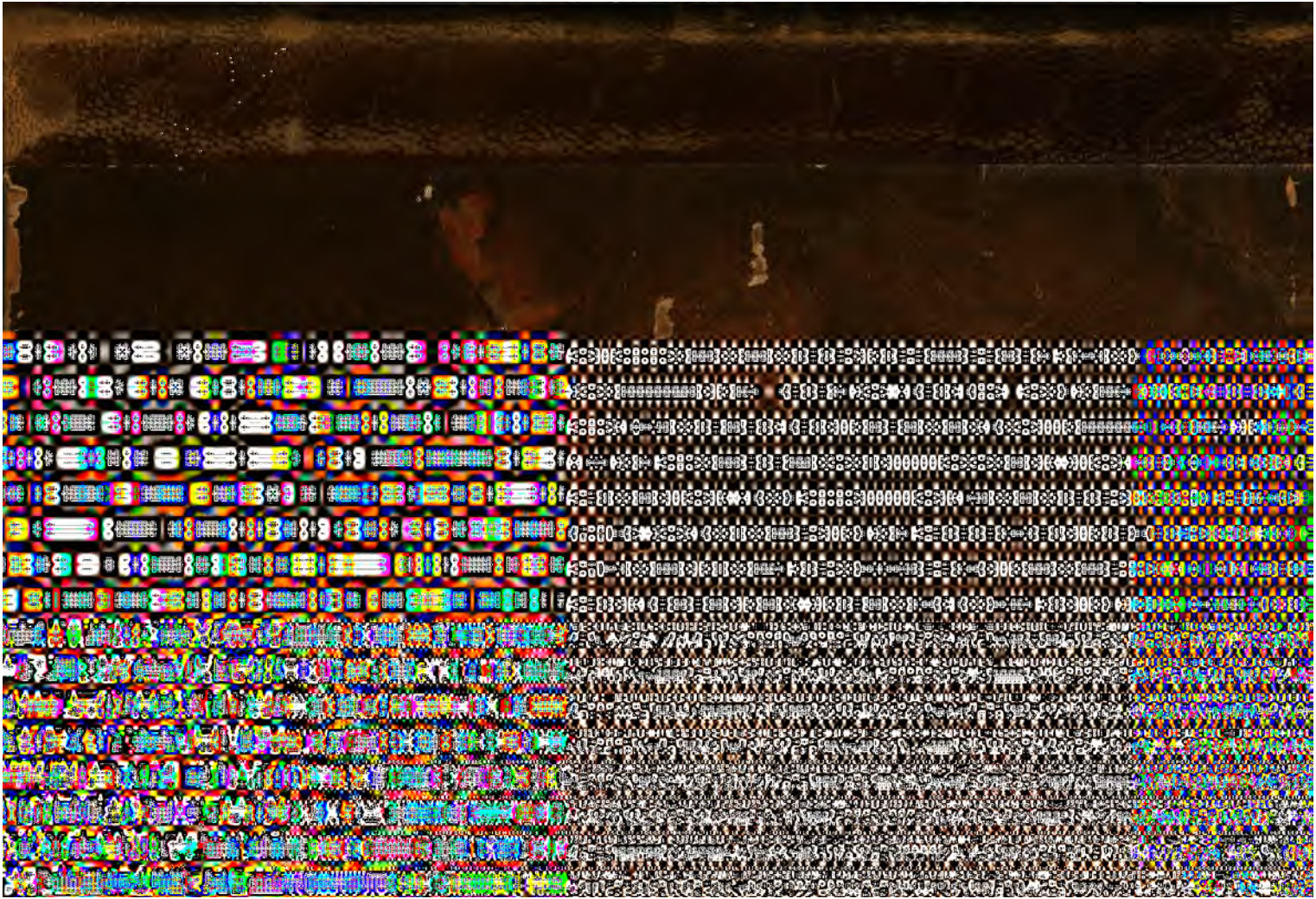
Пріѣзжали три доктора, совѣтовались, потомъ уѣхали. День былъ длинный, неимовѣрно длинный, потомъ наступила и долго-долго проходила ночь, а подъ утро, въ субботу, къ старухѣ, которая лежала въ гостиной на диванѣ, подошелъ келейникъ и попросилъ ее сходить въ спальню: преосвященный приказалъ долго жить.

А на другой день была Пасха. Въ городѣ было сорокъ двѣ церкви и шесть монастырей; гулкій, радостный звонъ съ утра до вечера стоялъ надъ городомъ, неумолкая, волнуя весенній воздухъ; птицы пѣли, солнце ярко свѣтило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улицѣ послѣ полудня началось катанье на рысакахъ,—однимъ словомъ, было весело, все благополучно, точно такъ же, какъ было въ прошломъ году, какъ будетъ, по всей вѣроятности, и въ будущемъ.

Черезъ мѣсяцъ былъ назначенъ новый викарный архіерей, а о преосвященномъ Петрѣ уже никто не вспоминалъ. А потомъ и совсѣмъ забыли. И только старуха, мать покойнаго, которая живетъ теперь у зятя дьякона, въ глухомъ уѣздномъ городишкѣ, когда выходила подъ вечеръ, чтобы встрѣтить свою корову, и сходилась на выгонѣ съ другими женщинами, то начинала разсказывать о дѣтяхъ, о внукахъ, о томъ, что у нея былъ сынъ архіерей, и при этомъ говорила робко, боясь, что ей не повѣрятъ...

И ей въ самомъ дѣлѣ не всѣ вѣрили.

Оглавленіе

XII ТОМА.

	стр.
Случай изъ практики . . .	3
Душечка.	14
По дѣламъ службы	27
Іонычъ	42
Дама съ собачкой	61
Въ оврагѣ	78
На святкахъ.	116
Разсказъ старшаго садовника	121
Въ морѣ.	126
Человѣкъ въ футлярѣ. . .	130
Крыжовникъ.	144
О любви.	155
Архіерей	165